

А.Н.Наумов

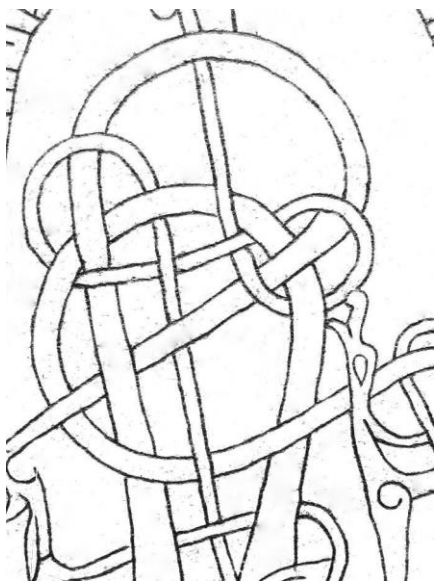
Из уцелевших воспоминаний
1868 — 1917

материалы по истории позднеимперской России
том 03

Издательство Упыря Лихого
2022

Наше издательство названо именем **Упыря Лихого** (Эпир Неробкий, Öpir Ofeigr), первого русского переписчика книг, имя которого мы знаем.

Соратник нормано-русских князей, священник, переписчик книг и рунорезац, Упырь Лихой своим примером напоминает нам о том, как важно без робости распространять знания и красоту среди варварства и тьмы.



орнамент на камне U-104 в Уппланде, созданном Упырем Лихим

Наумов А.Н.

Из уцелевших воспоминаний. 1868 - 1917

Издательство Упыря Лихого

2022

Настоящее издание повторяет двухтомное авторское издание
1954 года (Нью-Йорк)

Оглавление

Часть I. Детство. Гимназичество. Село Головкино.	1
Часть II. Студенчество. Университет. Москва.	98
Часть III. Земское начальничество. Ставрополь. Новый Буян. Семья Ушковых. Самарское общество.	197
Часть IV. Земство. Избрание в состав Самарской Земской Управы. Семейное горе. Женитьба. Заграничное путешествие. Устройство головкинских дел. Самара. Управление Ушковскими имениям. Заболевание. Крым. Форос. Черноморская поездка. Объезд Юга России. Возврат в Головкино. Жизнь в деревне.	375
Часть V. 1902 — 1905 гг. Уездное предводительство. Уездные чины. Училищное дело. Комитет о сельскохозяйственных нуждах. Воинские наборы. Смерть отца. Рождение сына Александра. Картины головкинской жизни. Дом. Зимний день. Малинов лес. Лосиные охоты. Яхта «Сирена». Личный состав предводителей и депутатов. Дом дворянства. Сословная деятельность. Японская война. Общественные настроения. Приезд Государя в Самару. Оппозиционные круги земства. Январское земское собрание 1905 года. Июньское дворянское собрание 1905 года. Губернатор Засядко. Избрание меня губернским предводителем. Новоизбранные сотрудники. Вступление в должность. Самарский дом.	497

Часть VI. Вызов в Петербург. Съезд губернских предводителей дворянства. Переезд в Самару. Беспорядки в Самаре. Манифест 17 октября. Революционное движение в селах. Встреча с Гучковым. Прием у Дурново. Беседа с Витте. Аудиенция у Государя. Партия порядка. Н.Н.Львов..... 579

Часть VII. Общепредводительский съезд в Москве. Выборы в Государ-ственную Думу. Весна и лето в имении. Второй съезд Всероссийского объединения дворян в Петербурге. Пожалование придворного звания. Праздник в Аркашоне. Новый 1907 год. Поездка по Европе. Возвращение в Рос-сию. Роспуск Государственной Думы. Поездка в Петербург ко дню рождения Наследника. Переезд семьи в Самару. Предвыборная деятельность. Третья Государственная Дума. Пожалование егермейстерского звания и представление Государю. Переизбрание предводителем и участие в работе Землеустроительной комиссии. 671

Часть VIII. 1909 год. Избрание меня Самарским Земством в члены Государственного Совета. Вступление в правую группу. Партийное подразделение членов Государственного Совета. Экономическая группа. Порядок занятий Государственного Совета. Роль комиссии. Мои доклады о зернохранилищах кредитных товариществах. Комиссии: земельная и судебная. Мариинский дворец. Зала заседаний. Мои соседи. Президиум. Общие собрания. Характеристика некоторых членов Государственного Совета. Перемена в отношениях ко мне Столыпина. Чествование 30 апреля

1909 года самарским дворянством памяти Сергея Тимофеевича Аксакова. Кончина брата Николая. Бердянск. Западное земство. Провал законопроекта. Поведение Столыпина. Его «кондиции». Поездка в Крым. Покупка «Гурзувитты». Настроения законодательных сфер. Всероссийский национальный клуб. Князь Александр Дмитриевич Оболенский. Императорское музыкальное общество. Принцесса Елена Георгиевна Саксен-Альтенбургская. Приезд Столыпина и Кривошеина в Самару для осмотра землеустроительных работ. Вице-губернатор С.П.Белецкий. Губернатор В.Н.Протасьев. Вице-губернатор фон Витте. 1911 год. Очередное дворянское собрание. Мои перевыборы. В.М.Шошин. Новые уездные предводители. Раут дворянства в честь воинских чинов самарского гарнизона. Генерал Гернгросс. Очередное земское собрание. Рождение сына Николая. Доброе отношение самарского общества. Благотворительность. Л.С.Аржанов. Милостивый прием у Государя. Выздоровевший Наследник. Самарские ходатайства. Взаимоотношения Столыпина и Коковцова. Постройка Головкинской мельницы. Болезнь Пашеньки. 1912 год. Новый состав губернской земской управы. Мое переизбрание в члены Государственного Совета. Правый центр. Барон В.В.Меллер-Закомельский. Взаимоотношения между двумя законодательными палатами. Тревожные настроения столичных кругов. Беседа с М.Г.Акимовым. Поездка членов Государственного Совета в Кронштадт. Я.А.Ушаков. Завершение мельничной постройки. Обсуждение

дворянскими организациями способов юбилейных
чествований. Открытие в Москве памятника
Александру III. Раут в Дворянском институте.
Бородинский юбилей. Банкет в московском Английском
клубе. Поднесение государю дворянского стяга. Выборы
в Четвертую Государственную Думу. Пагубная политика
Харузина и Саблера. Раскол среди самарцев.
Неблагоприятный процесс выборов. Смешанный блок.
Освящение и открытие Головкинской мельницы. 1913
год. Празднование Трехсотлетия Дома Романовых.
Петербургские торжества. Московские юбилейные дни.
Расцвет моих хозяйственных дел. Успех мукомольного
производства. Думы о предводительстве. Кн.
А.А.Щербатов. 1914 год. Земский юбилей.
Петербургские торжества. Очередное дворянское
собрание. Мои пере выборы. Намерение переселиться в
Петербург. Дом фон Дервиз. Гадалка. Лечение в Виши.
Покупка дома. А.П.Струков. Наши расхождения во
взглядах на сословные дела. Сараевское убийство.
Поспешный возврат в Петербург. Проведение в
Государственном Совете законопроекта об открытии в
Самаре политехникума. 797

Часть IX. 1914-1915. Манифест 20-го июля (ст. ст.) 1914
года о войне с Германией. Отношение населения.
Краснокрестная деятельность. Князь Г.Е.Львов.
Лазаретный быт и настроения. Присылка в Самару
больных пленных турок. 1915 год. Приезд в Самару
принца А.Г.Ольденбургского. Самарский объеди-
ненный комитет. Открытие 17 января сессий Госу-
дарственного Совета и Государственной Думы. Встречи.

Беседа с С.Д.Сазоновым. Раут у Ив. Лог. Горемыкина. Правительственное совещание по хлебным заготовкам. Экономическая группа членов Государственного Совета. Прием у принца А.Г.Ольденбургского. Главное управление Красного Креста. Гр. А.Д. и М.Ф.Шереметевы. Доклады о народной музыке и сберегательных кассах. Министр финансов П.Л.Барк. Министр внутренних дел Н.А.Маклаков. Польский вопрос. Столичные сплетни. Тифозная эпидемия в Самаре. Юбилейное земское собрание. Отец и сын Щербатовы - их последняя встреча. Ряд смертей. Семья Поливановых и их имения. Знакомство Николая Поливанова с нашей дочерью Марией и их помолвка. Заболевание сына Александра. Опека над детьми брата Николая. Организация в Самаре резервов военных санитаров и обозов. Благодарность вдовствующей императрицы. Проводы губернатора Протасьева. Вице-губернатор князь С.В.Горчаков и новый министр князь Н.Б.Щербатов. Враждебность ко всему немецкому. Открытие 19 июля сессий законодательных палат. А.Н.Куломзин. Угнетенные настроения. Панические слухи. Критика графа В.Н.Коковцова. Доклады министров: А.А.Поливанова и С.Д.Сазонова. Мнения генералов Палицына и Джунковского, Варун-Секрета и др. Письмо А.П.Струкова. Князь Н.П.Урусов о Галицийском фронте. Нарастание всеобщего недовольства. Образование Верховной следственной комиссии и вслед за ней Особых совещаний. Смена Верховного командования. Письмо с протестом министров. Заседание 16 сентября Совета министров

под председательством Государя. Увольнение князя Н.Б.Щербатова и А.Д.Самарина. Высочайшее назначение меня 1-го августа в состав Верховной следственной комиссии. Ее деятельность. Председатель - генерал Петров. Члены: И.Я.Голубев, генерал Пантелеев, сенатор Посников, граф В.А.Бобринский и С.Т.Варун-Секрет. Дело бывшего военного министра Сухомлинова. Блок «общественников». Распределение и порядок следственных работ. Переизбрание меня 20 сентября Самарским земством в члены Государственного Совета. Обследование мною деятельности артиллерийских заводов. Царицынский завод. История его возникновения. Сенсационные разоблачения генерала А.А.Маниковского. Морской министр И.К.Григорович. Роль председателя генерала Петрова. Конечная судьба начатого мною следствия. Общие выводы. 972

Часть X 1915-1916 год. Обзор моей деятельности, как председателя Особого продовольственного совещания. Служебно-деловые взаимоотношения с Государственным Советом и Государственной Думой. Выступление в таврическом дворце 18-го февраля 1916 года. Заседания думских комиссий. Выступление в мариинском дворце 21-го марта 1916 года. Высочайший прием 20-го ноября 1916 года. Императрица Александра Феодоровна. Всеподданнейшие доклады в Царском Селе. Присутствие на них наследника. Посещение Киева. Сахарозаводчики. Юго-Западный фронт. Бердичевское совещание. Генерал Н.И.Иванов. Всеподданнейшие доклады в Верховной ставке.

Могилев. Обстановка, быт царской резиденции.
Окружение государя. Генерал М.В.Алексеев. Министр
двора граф Фредерикс. Великий князь Сергей
Михайлович. Генерал Воейков. Епископ Константин.
Наследник цесаревич в Могилеве. П.М.Кауфман -
Туркестанский. День Государя. Аудиенция 15-го июня
1916 года. Докладная записка генерала Алексеева.
Главнейшие темы моих Всеподданейших докладов.
отношение к ним Государя. Доклады у Императрицы
Александры Феодоровны. Мой уход из министров.
Запрос членов верхней палаты. Срыв предположенного
моего выступления в Государственном Совете 21 июня
1916 года. Поведение Штюмера и А.Ф.Трепова.
«Суточное» обдумывание. Бесповоротное решение.
Съезд министров 28-го июня в Могилеве. Наглая ложь
Штюмера. Отношение к моему уходу чинов верховной
ставки. Совещание под председательством Его
Величества. Последняя аудиенция у Государя. Обратный
отъезд в столицу. Переживания. Подпольная
деятельность Штюмера. Трогательное отношение
ведомственных и продовольственных сотрудников.
Проводы. Пресса. Отъезд в Головкино. 1288

Часть I.

Детство. Гимназичество. Село Головкино.

1

Появился я на Божий свет в ночь с 20 на 21 сентября (ст. ст.) 1868 года в гор. Симбирске в так называемом Ермоловском доме — большом двухэтажном каменном особняке, стоявшем на видном месте Московской улицы.

Родителями моими были — Николай Михайлович Наумов и Прасковья Николаевна, урожденная княжна Ухтомская. Тот и другая принадлежали к старинным русским родам.

Наумовы ведут свое происхождение от родоначальника Наума, сына Павлина, выходца из свицких земель, вступившего на службу в XIV столетии к Великому Князю Симеону Гордому. Последующие поколения Наумовых в лице своих представителей являли собою непрерывную серию служилых русских людей так или иначе привлеченных к делу собирания и строительства российской земли и государственности. Многие из них состояли в числе лиц в той или иной степени приближенных сначала к Великокняжескому, затем Царскому и, наконец, Императорскому Престолу, а один из моих предков, стольник Наумов, значился в списке избирателей на русское царство Михаила Федоровича Романова¹.

1 Решив документально восстановить древнее дворянское происхождение нашего рода, я обратился в 1910 г. к д.с.с. Георгию Андреевичу Кондратьеву, занимавшему в то время должность Управляющего Канцелярией Особого Отдела при Министерстве

Как было упомянуто мною выше, происхождение рода Наумовых относится ко времени княжения Симеона Гордого. Затем потомство этого рода получило значительное разветвление в шести губерниях Европейской России.

Приволжская ветвь Наумовых ведет свое начало со времени пожалования Царем Алексеем Михайловичем стольнику

Внутренних Дел по дворянским делам. Благодаря его энергичной работе в течение двух лет, упорным поискам в разных центральных учреждениях и архивах — удалось собрать чрезвычайно ценный и интересный материал, касавшийся происхождения и истории рода Наумовых, который был обстоятельно систематизирован, приведен в соответствующий порядок и при особом прошении за моей подписью представлен в Сенат на предмет получения Высочайшей Грамоты на внесение нашего рода в шестую часть родословных книг Самарского Депутатского собрания.

Основой подобного ходатайства перед Сенатом и Монархом должно быть документально обставленное указание на то, что этот род (Наумовы) владеет своими родовыми поместьями еще за два столетия до Жалованной Грамоты Императрицы Екатерины II, каковое доказательство упомянутому Кондратьеву удалось установить, благодаря чему собранный им материал не только касался персональной служилой характеристики наших предков, но вместе с тем широко обнимал всю последовательную историю их земельных владений и всего их хозяйственного уклада.

В результате вышеозначенных работ и ходатайств состоялся Сенатский Указ по Департаменту Герольдии о внесении нашего рода в VI часть родословных книг Самарского Депутатского Собрания и мною получена была соответствующая Высочайшая на то Грамота.

Даниилу Наумову обширного поместья в местности, прилегавшей к луговой стороне р. Волги, называвшейся в то время Казанской четью, которая ныне соответствует землям, расположенным в южной части Спасского уезда Самарской губернии.

В описываемое мною время, т.е., ко дню появления моего на Божий свет, Наумовские поместья, после ряда семейных перемен и связанных с ними земельных мобилизаций, сосредоточились в Поволжье главным образом — в Спасском уезде Казанской губ. при с. Кокряти и в Ставропольском уезде бывш. Симбирской губ., ныне Самарской, — при селах: Головкине (— Бого-явленское тож) и Репьевке (— Архангельское тож) с прилегавшими к ним деревнями и хуторами. Кокряти и Головкино принадлежали моим дедам, родным братьям: первое — Евграфу, второе — Михаилу Михайловичам Наумовым, а землями при с. Репьевке владел Павел Алексеевич Наумов, двоюродный брат вышепоименованных.

О Михаиле Михайловиче Наумове остались у меня сравнительно ясные воспоминания, так как он скончался в г. Симбирске в 1880 году, т.е., когда мне было 12 лет.

Как сейчас помню его грузную фигуру, старчески сгорбленную, но с характерными очертаниями энергичного, властного лица, носившего все признаки былой красоты, что с несомненностью подтверждали сохранившиеся в семье портреты моего деда в молодости.

Родившись в 1800 г., Михаил Михайлович, как и подобало столбовому дворянину его времени, сначала проходил военную службу, будучи офицером Лейб-Гвардии Конного полка. Дослужившись до чина полковника, дедушка осел на землю, переехал жить в свое родовое поместье при селе Головкине, переменяв военную службу на выборную сословную. В пятидесятых годах

прошлого XIX-го столетия он был избран Симбирским Губернским Предводителем Дворянства.

Дедушка Михаил Михайлович был женат на Варваре Алексеевне Пановой, происходившей из старинной дворянской семьи Симбирской губернии. Бабушка скончалась в ранних годах - вскоре после рождения моего отца, и в памяти моей остались лишь изображенные на портретах черты ее худощавого, умного и удивительно привлекательного лица, обрамленного модным для того времени батистовым кружевным чепчиком. Отец мой вспоминал о ней всегда с чувством особой сыновней нежности.

У дедушки было трое сыновей старший Михаил, затем Алексей и, наконец, Николай — мой отец. Все они к концу тех же пятидесятих годов пережились. Приблизительно в то же время старик Михаил Михайлович — распорядился своим имуществом так, что все свое родовое поместье при с. Головкине, около 20.000 десятин земли, разделил на три части, а путем жеребьевки между собой сыновья его — Михаил, Алексей и Николай — получили каждый свою часть в собственность. После сего дед переехал на постоянное жительство в г. Симбирск, где у него был на Лисиной улице дом-особняк с флигелями, хозяйственными постройками и обширным тенистым и плодовым садом. Доживал он там в одиночестве, если не считать его сиделки-экономки, почтенной Олимпиады Тимофеевны, преданнейшей и заботливой его телохранительницы. Всегда чисто одетая в старомодного фасона колоколообразных платьях, скромно-важная, она, вместе с тем, отличалась необычайной приветливостью и предупредительностью. Помимо нее, дедушку окружали: его верный слуга — рябоватый Феодор Финюгейч, прежнего покроя аристократ-камердинер, шут Юдавка и бесконечное количество во всех комнатах пернатых певцов, начиная с попугаев и кончая канарейками.

В светлый, солнечный, морозный день, бывало, зайдешь к дедушке навестить его, раскроешь дверь в залу, и сразу охватывало особое настроение чего-то тёплого, уютного, хозяйственного и жизнерадостного... Отовсюду раздавались бесчисленные птичьи голоса с трелями и мелодичными переливами, везде солнце, порядок и всюду не только обычная, но какая-то особенная глянцевиная чистота.

Сам дедушка обычно сидел у себя, в угловой комнате, обставленной старинной красного дерева массивной мебелью изделия своих крепостных еще столяров. Его любимое кресло представляло собой полный комфорт для хозяина и на нем можно было принимать любое положение, ибо имелась у него удобная откидная спинка, выдвижные подножки, боковые столики, всевозможные подушки и пр.

При всем серьезно-деловом укладе его прошлой служебной и хозяйственной жизни, дедушка по натуре своей любил, как средство развлечения, шутку. Приходилось слышать отзывы о нем, как о бывлом большом барине, пользовавшемся местной популярностью и авторитетом; но вместе с тем, вспоминали о нем также, как об известном в свое время шутнике, позволявшем себе, особенно в условиях крепостнического быта, высмеивать тех или других лиц, пользовавшихся в округе не особенно лестной репутацией.

Держал дедушка около себя постоянно, как я упоминал выше, не то шута, не то юродивого карлика — Ивана Юдовича, или попросту Юдавку, ходившего дома и по городу в особом наряде, обшитом всякими галунами и позументами с массой разнокалиберных, блестящих пуговиц, всевозможных цепочек и медалей. На голове у Юдавки красовалось старинного офицерского фасона высокое кэпи, также обшитое сплошь золотыми галунами, торчащими султанами и причудливыми шишаками В

руках неизменно носилась им преважно булава с блестящим шарообразным набалдашником. В Симбирске Юдавку все хорошо знали от мала до велика. Уличные мальчишки всегда окружали его целой гурьбой, редко впрочем обижая. Сам по себе Юдавка был незлобив, но чрезвычайно меток в своих смелых характеристиках и разговорах. По своему положению юродивого он позволял себе часто в довольно отвлеченных, своеобразных выражениях, но достаточно удобопонятных, высказывать людям то, о чем лишь говорилось про них за глаза.

Лично я очень любил Юдавку, который проявлял ко мне необычайное внимание и трогательную нежность.

Скончался дедушка от удара. Помню, как меня приводили прощаться к нему, недвижно лежавшему на широкой оттоманке и тяжело с хрипом дышавшему. При мне его соборовали. Первые присутствовал я при этом таинстве, оставившем во мне надолго сильное впечатление. Мне сказали, что таинство это совершается перед смертью, и я впервые задумался пытливо и серьезно об этом конечном житейском событии и о его роковой неизбежности.

Похоронен мой дед в Симбирске в мужском Покровском монастыре в склепе, вместе с прахом бабушки Варвары Алексеевны, недалеко от алтаря главной церкви, вблизи от покоящихся там многих родных и близких семье Наумовых... В добеженские времена могилу стариков я часто навещал.

Со смертью дедушки, гнездо его на Лисиной улице все распалось. Самый дом был продан доктору Карлу Михайловичу Боровскому. Олимпиада Тимофеевна переехала в г. Ставрополь Самарской губ., причем всю доставшуюся ей обстановку дедушкиного дома она неумело, негласно распродала, так что лишь редкие вещи удалось сохранить в фамильных руках. Юдавка

вскоре после кончины старика Михаила Михайловича тоже отошел в вечность, смертельно угорев в бане, и лишь старый слуга Феодор Финогеныч остался в Симбирске, в качестве служащего в Троицкой гостинице, никому не уступая нас, как своих Наумовских господ.

2

Из родных братьев и сестер моего деда я никого не знал. Владимир Михайлович скончался в молодости и похоронен в Риме. Евграф Михайлович, женатый на гр. Толстой и владевший родовым Наумовским имением при с. Кокряти Казанской губ. Спасского уезда, жил постоянно в Казани и скончался задолго до смерти дедушки Михаила Михайловича. Имение же его перешло по завещанию к их приемной дочери Анастасии, вышедшей замуж за казанского искателя богатых невест, некоего Греве, вскоре, за ненадобностью, бросившего свою некрасивую, разоренную им супругу.

Бабушек моих — сестер деда Михаила Михайловича — Анну Михайловну, по замужеству Тургеневу, и Веру Михайловну Родионову, я тоже не застал, и помню лишь их потомство в лице Михаила Борисовича Тургенева, Анны Борисовны Татариновой (ур. Тургеневой), Ольги Борисовны Соковниной (ур. Тургеневой), а также Владимира Петровича, Александра Петровича, Дмитрия Петровича Родионовых и др., но о них речь впереди.

Крестным отцом моим был двоюродный брат моего деда — Павел Алексеевич Наумов, о котором я знаю лишь понаслышке. Он владел огромными основными родовыми Наумовскими имениями, жалованными еще Царем Алексеем Михайловичем,

при с. Репьевке, при дер. Юрманке и Ивановской с великолепными пахотными, лесными и луговыми угодьями, в 18 верстах от с. Головкина и в 17 верстах от города Симбирска.

Судя по рассказам, фотографиям и писанным портретам Павел Алексеевич был и по импозантной красивой внешности, и по образу жизни, настоящим барином аристократом, отличаюсь ровностью и чрезвычайной мягкостью характера. От первого брака с Бахметьевой у него было трое детей - сын Николай, в ранней молодости скончавшийся, и две дочери: Александра, по мужу Безобразова, и Екатерина, вышедшая замуж за родного моего дядю Михайла Михайловича Наумова (брата моего отца).

Вторым браком дед Павел Алексеевич женился на дочери местного сельского священника (Репьевской церкви), полюбив, как предание гласит, ее красоту и кротость. От этого брака родился сын Алексей, о котором придется потом подробнее говорить в виду бывшей нашей с ним дружбы, соседства и совместной службы.

Перейду теперь к воспоминаниям, связанным с дорогими и незабвенными для меня обликами моих родителей.

Отец мой, Николай Михайлович Наумов, родился 3 апреля (ст. ст.) 1835 года. Свои ученические годы он провел в Москве, посещая известную в то время гимназию на Лубянке. Затем он поступил в Казанский Университет, где его застала вспыхнувшая в 1854 году Крымская война.

Несмотря на родительский запрет, отец все же покинул Университет и, поступив вольноопределяющимся в Саксен-Веймарнский Гусарский полк, в котором служил офицером брат его, Алексей Михайлович, восемнадцатилетним юношей отправился на войну. Таким образом, он сразу же попал в исключительно тяжелые условия не только походной, но и боевой

службы и жизни. Участвуя в ряде дел с неприятелем, отец быстро своей молодцеватой неустрашимостью выдвинулся, вскоре же получил за боевые отличия офицерский чин и назначен был ординарцем к известному генералу Липранди. Господь хранил моего отца даже от ранений, несмотря на ряд испытанных им опасностей. Так, запомнился мною его рассказ, как, исполняя одно срочное поручение генерала Липранди, он попал в линию перекрестного огня, когда пули и снаряды свистали и разрывались вокруг него. Конь пал, гусарский кивер отца был насквозь изрешечен, сам же он чудом уцелел...

Много тревожных ночей приходилось проводить отцу, лежа в грязи, лужах, под дождем лишь с седлом под головой. К глубокому сожалению, интереснейшие отцовские письма, посылавшиеся во время войны моему деду Михаилу Михайловичу и сохранявшиеся в моем семейном архиве, сделались достоянием большевиков и вероятно подверглись общей участи всего оставшегося нашего домашнего скарба.

По окончании Крымской кампании отец вышел в отставку, и с гордостью до конца своих дней именовал себя поручиком в отставке. Поселившись после войны в Москве, он весь отдался музыке, усиленно занимаясь игрой на виолончели. Учителем его был известный профессор Шмидт, у которого одновременно с отцом брал уроки также Давыдов, впоследствии знаменитый солист и концертант, В Москве того времени жили Аксаковы (Иван Сергеевич, Александр Николаевич и др.), Самарины, Хомяковы, которые, как известно, представляли собой культурный, оживленный и интересный славянофильский кружок, в котором довольно часто бывал мой отец, принятый как свой человек в родственных семьях — Аксаковской — по Пановым, и Хо-

мяковской — по Наумовым. Встречал он там также Николая Васильевича Гоголя и нередко слушал его художественно-мастерские чтения.

К этому же времени относится и жениховство моего отца, сопровождавшееся частыми наездами его из Москвы в Рыбинск и в пошехонское имение будущего его тестя, князя Николая Васильевича Ухтомского, женатого на Елизавете Алексеевне Наумовой. В Восломе — так именовалось это имение — отец видался со своей будущей женой и моей матерью — княжной Прасковьей Николаевной; там было сделано им предложение, и в Восломе же, 24 января 1860 года, состоялась их свадьба, после которой молодые сначала некоторое время прожили в семье Ухтомских, а весной переехали к себе на Волгу, причем переезд этот из Рыбинска до с. Головкина совершен был на лошадях (в то далекое время иных способов передвижение не было) — до Казани на санях, а дальше пришлось еле-еле передвигаться на колесах.

В 1860 году дедушка мой Михаил Михайлович продолжал еще жить в с. Головкине, занимая обширный каменный флигель, где вместе с ним проживал его старший сын (родной мой дядя), Михаил Михайлович, в то время уже женатый на Екатерине Павловне Наумовой и имевший от нее двух детей — Михаила и Марию.

Третий их брат, Алексей Михайлович, в описываемое время продолжал еще свою военную службу, перейдя после Крымской кампании в кавказские войска, участвовал там в памятных и славных боевых действиях против известного Шамиля, цикл которых закончился пленением этого знаменитого вождя непокорных горских племен. После этого дядя Алексей

Михайлович вернулся в родное Головкино, женившись впоследствии на своей троюродной сестре Наталии Эрнестовне фон-Вик.

Прожив около года в общем доме, отец потом переселился в большую усадьбу, заняв ее западный флигель.

Вся главная Головкинская усадьба расположена была покоем с большим внутренним двором между центральным домом и обоими боковыми флигелями, причем оба последние были каменные, а основной, центральный, двухэтажный дом был деревянный. Произошло это потому, что при прадеде Михаиле Михайловиче случился пожар Головкинской усадьбы, представлявшей собой ранее дворец в 120 комнат, с турами и прочими архитектурными украшениями в стиле итальянского ренессанса. После пожара прадеду не под силу было восстанавливать прежнее грандиозное здание в первоначальном его виде, в виду чего он решил всю центральную часть сгоревшей усадьбы снести до самого фундамента, сохранив таковой и обе боковые соединенные с ним каменные постройки, а вместо снесенного центрального строения, поставил на уцелевшем фундаменте двухэтажный, деревянный дом, целиком перевезенный из другого его Казанского имения.

В одном из боковых каменных флигелей с двухсветной большой залой отец с матерью прожили все время до раздела имение с братьями, который совпал по времени с освобождением крестьян.

Помнится еще рассказ моей матери о размерах былой садовой оранжерейной культуры, когда корзинками собирали лимоны, также об обширных грунтовых сараях и пр.

В описываемое время, по дошедшим до меня рассказам, у молодых моих родителей немало перебивало родных, соседей

и гостей. Оба они любили музыку и на этой почве они, между прочим, тесно сошлись со своими соседями кн. Трубецкими, владевшими в Ставропольском уезде Самарской губ. двумя богатыми имениями. Князь Иван Петрович Трубецкой нередко приезжал в Головкино и услаждал слух хозяев своей артистической игрой на его ценнейшем Амате.

Жили родители мои в деревне не безвыездно — бывали нередко в Симбирске, жила в Самаре, где мама лечилась одно время у доктора Черецкого; наезжали они и в Ярославское имение к старикам своим Ухтомским.

В 1861 году родилась у них дочка Елизавета, вскоре скончавшаяся. В 1862 году появился на Божий свет сын Димитрий, а за ним через два года — Николай. Родились все они в упомянутом выше Головкинском флигеле.

К этому времени надо отнести акт раздела всего Головкинского родового имения (общей сложностью в 20.000 десятин земли) между тремя братьями по дарственному отцу их Михаила Михайловича, переехавшего после этого на постоянное жительство в г. Симбирск в тот дом-особняк на Лисиной улице, который описан был мною ранее.

Раздел этот назначено было произвести по жребию: предварительно все имение со всеми угодьями, чрезвычайно разнообразными, включавшими в себе пахоту, луга, леса, огромные рыбные ловли, мельницы, пристани, усадьбы и пр., было распределено на три части, более или менее представлявшие собою равноценное имущество по качеству и доходности. Затем, для каждого из трех братьев, участников дележа, предположен был особый жребий (свернутый билетик с обозначением причитающейся части). Но старший их брат, дядя мой Михаил Михайлович, просил в вознаграждение за все предварительные хозяйственные хлопоты, которые он много лет нес по управлению

имением, предоставить ему, в виде исключения без жеребьевки, ранее облюбованную им часть Головкинского имения, на что остальные братья — Алексей и Николай — согласились, и Михаил Михайлович получил желанное.

Таким образом, жребий вынимали лишь остальные два брата: Алексей Михайлович и мой отец.

Отцу моему досталась та часть имения, которая включала в себе всю старинную родовую усадьбу с многодесятинным вековым парком за каменной оградой в стиле ренессанс, обширными гумнами, житными дворами, водяной мельницей на р. Уреке, с ее пристанью во время Волжского половодья.

По разделу отец получил сравнительно небольшой пахотный участок размером около 1.000 дес., но зато к нему перешли обширные, займищные Волжские луговые и лесные угодья, с принадлежавшими к ним большими и малыми Волжскими островами, так называемыми середишами. каковых угодий было в круглых цифрах — лугов до 3.500 десятин, лесов до 1.500 десятин. Главное же раздолье отцовской части заключалось в Волгематушке со всеми ее Воложками, озерами и речными притоками. Право на рыбные ловли простиралось по одной Волге, по обоим ее берегам на 25 верст, а считая все водное пространство, то такового было до 26.000 десятин.

Надо думать, что отцу нелегко было справляться с доставшимся ему дарственным наследием, ввиду исключительной обширности и сравнительной ветхости полученных им усадебных и других хозяйственных построек, меж тем, наличных денег при разделе получено им не было.

Особенное внимание и заботы молодого хозяина были направлены на продуктивное использование той водяной силы

по речке Уреню и прилегавшей к ней мельницы, которая досталась отцу при разделе. Для этого он пригласил из Ярославской губернии одного техника, знатока по мельничному устройству и оборудованию.

Дедовскую старую колотовку отец снес, укрепил основательно вершник, устроил обводный канал с шлюзами и необходимыми приспособлениями, в конце коего в поемном (заливавшемся внешней Волжской водой) месте выстроил новую мельницу, технически усовершенствованную, с двумя наливными водяными колесами. Помимо этого, здание и машины этой новой мельницы были приспособлены также к производству молотбы хлебов, для чего снопы после жнитва свозились к мельнице и складывались под особые навесы.

В виду значительного усиления механизма, против ранее существовавшей дедовской небольшой мельницы, отец опасался недостатка воды, почему предпринял большие земляные работы, прорыв широкий канал, соединявший речку Урень около самого вершника с целой системой близлежащих луговых озер, из которых одно, главное, — Яик, имело протяжение до 9 верст; благодаря этому, путем особого шлюза, в необходимых случаях добавлялась на новую мельницу озерная вода.

Пристань была тоже приведена в порядок: были выстроены обширные амбары, куда свозилась с мельницы мука в мешках, а затем при внешнем половодье из амбаров тут же грузилась в баржи, заводившиеся с Волги по устью р. Уреня буксирным парходом.

Новая мельница стала давать отцу верный доход, прочно зарекомендовав себя в Ярославских и Рыбинских мукомольных кругах. Более 15 лет подряд мельницу с пристанью арендовал Рыбинский купец Полетаев, а за ним почти столько же лет брал

ее в аренду известный Ярославский хлеботорговец и мукомол И.А.Вахромеев, преемственно перешедший потом и ко мне.

Несмотря на обилие лугов, отец конного завода не держал, считая это дело обременительным и рискованным для своего скромного бюджета.

Дойное стадо коров было им заведено голов до сорока т.н. Бестужевской породы, и поддерживалось в образцовом порядке главным образом моей матерью, любившей и понимавшей это дело. Все стадо, как на подбор, было темно-бурой масти с мелкими белыми крапинками и красиво-выгнутыми в виде лиры рогами. Помню, как в годы моего раннего детства мама подвела меня к одной из своих любимых коров и сказала: это твоя, Саша, добрая кормилица — Вознесенка!, после чего я считал ее серьезно своей, всегда навещал ее и лакомил черным хлебом, сильно сдобренным солью.

Само собой, отцу пришлось составить новые хозяйственные планы, упорядочить дело арендной сдачи лугов, расширить пахотные угодья за счет бывших ранее выгонов, как например, в Подстепном, где он поднял новую землю в количестве более 55 хозяйственных десятин.

Неустанная и непрерывная работа по устройению своего обширного хозяйства, с одной стороны, с другой — недостаточная материальная обеспеченность в смысле обладания свободными денежными средствами, хотя бы для найма управляющего и т. п. (отец имел в описываемое время только приказчика — бывшего своего слугу-лакея Лукьяна и контору вел сам) делали то, что отец смог уделить свои силы местному общественному служению лишь в 60-х годах, и то на короткое время, пробыв мировым посредником при введении Уставных Грамот и

один год Уездным Предводителем Дворянства; после же он вынужден был оставить и эту службу, целиком отдавшись устроению своих хозяйственных дел.

Несмотря на природную свою темпераментность, нервность и вспыльчивость, отец пользовался во всех общественных и деловых кругах прочным и большим уважением. К его голосу внимательно и охотно прислушивались в виду всеми признанной рыцарской честности его натуры и правдивой искренности, всегда проявлявшейся им в его публичных выступлениях. На дворянских собраниях почти непрерывно его выбирали кандидатом в Губернские Предводители, но отец от подобной почетной должности уклонялся за неимением достаточных свободных средств.

Среднего роста, худой, с тонкими темными назад зачесанными волосами, небольшой окладистой бородой, густыми усами с слегка закрученными концами, голубыми близорукими глазами, прикрытыми всегда очками, крупным энергичным носом, отец отличался живостью движений, речи и поступков, ставя превыше всего соблюдение долга, аккуратность и порядок.

Будучи верующим, отец любил церковную службу и долгое время исполнял в Головкинской церкви должность церковного старосты. Между прочим, при нем совершен был основательный ремонт церкви, представлявшей собой, до известной степени, исторический, а главное художественный интерес, ибо церковь эта была выстроена в 1786 году известным Екатерининским временщиком Григорием Орловым по рисункам знаменитого архитектора Растрелли в стиле итальянского ренессанса с удивительно красивыми очертаниями ее внешнего фасада и редкой гармоничностью ее внутренней отделки.

Всякое дело отец любил исполнять с возможной точностью в строгом соответствии с намеченным планом или полученным им поручением. Давая другим те или другие приказания, отец имел привычку повторять свой наказ по несколько раз, при этом был взыскателен, требователен и вспыльчив как все Наумовы, но отходчив, и по натуре был очень добрым и сердечным человеком.

Отец был прекрасным семьянином, любил мать и нас всех. Сам по себе очень скромный, он всего себя отдавал семье и хозяйству, во многом себе отказывая.

Он любил музыку, брал до женитьбы уроки на виолончели у профессора Шмидта, через посредство которого сделался обладателем редкого Страдивариуса. После его продажи, он купил другой инструмент (Вильома) у соседа и родственника — Леонтия Борисовича Тургенева, на котором он и продолжал впоследствии играть. Как бы отец ни устал в течение своего трудового дня, вечером, после ужина, отпустив приказчиков после наряда и заперев свою контору, он садился в своем кабинете за виолончель и от 9-10 часов вечера из его окон слышались во дворе одинокие звуки этого благородного инструмента — сначала гаммы, упражнения, а затем и мелодичные темы разных классиков. Если этого не бывало, это значило или, что отец нездоров, или чем-либо особенно озабочен или расстроен...

В общем, будучи общительного и скорее веселого характера, отец любил общество и предоставлял все возможное моей матери в смысле устройства приемов, знакомств и развлечений. С 1875 — 1887 г., по зимам, мои родители, ради учения своих сыновей, жили в Симбирске. Сначала была наемная квартира в доме Данилова, около церкви Ильи Пророка, а затем дедушка подарил моему отцу дом-особняк, бывший Денисова, с обширным садом.

Все мои детские и юношеские годы, вплоть до окончания мною гимназического курса, проведены были в этом доме. Прежде чем переехать в него, отцу пришлось капитально всю усадьбу отремонтировать, причем в верхнем этаже (он был двухэтажный) были с обеих сторон устроены крытые галереи, столь памятные для нашего детского времяпрепровождения. Из окон одной из них открывался незабываемый вид на Волжский простор, особенно во время весеннего разлива, с обычными его спутниками — плывущими пароходами, плотами, белянами и пр...

В верхнем этаже жили мы, дети, — трое сыновей, а в нижнем — родители, причем у отца и матери были свои половины, а затем помещались: удобная столовая и большая зала-гостиная. Главное же достоинство нижнего этажа заключалось в расположенной около маминого будуара террасе, тоже с видом на Волгу и выходом прямо в сад.

Весь Симбирск бывал у моих гостеприимных родителей, и это немудрено, ибо добрая половина его были нашими родственниками. Деловые разговоры чередовались с веселой болтовней, музыка с картами, а про наше раздолье юношеских игр и забав в тенистом плодовом саду и говорить нечего — было где разгуляться и порезвиться!

3

С переездом в 1887 году в Москву матери и меня (братья давно жили вне Симбирска), отец сначала сдавал дом вице-губернатору Беру, а затем — увы — вынужден был продать купцу Ногашеву. Нелегко было отцу и всем нам расставаться с чудным насиженным гнездом.

В Москве жизнь наша установилась скромнее — приемов больших делать не приходилось. Бывал десяток другой родных и близких друзей, главный же контингент, окружавший мать и меня, были студенты, о которых речь будет дальше.

В 1892 году, по окончании мною курса в Университете, родители мои поселились в Головкине, где у отца было все то же кровное хозяйское дело, которому он продолжал с той же энергией целиком отдаваться. Мы, сыновья, навещали довольно часто наших стариков и все шло сравнительно по-хорошему, как вдруг в 1897 году стряслась в нашей семье лихая беда: брат Димитрий смертельно захворал сердечной болезнью, а с братом Николаем случилось тоже немалое горе. На почве холостяцкого легкомысленного поведения, он совершил преступление, которое было тотчас же искусственно раздуто в крупный скандал его личными недоброжелателями. Эти мелкие завистники поспешили бросить грязью в незапятнанное до того времени имя Наумовых! Отец не выдержал и весной 1897 года его разбил нервный удар и у него отнялась вся правая половина туловища.

Повезли его в Москву, где, благодаря помощи и вниманию семьи моей невесты — Ушковых — удалось положение отца настолько улучшить, что после моей свадьбы в 1898 году, он с моей матерью вновь переехал в Головкино, и там был установлен за ним постоянный медицинский присмотр.

В этом же году, 19-го августа, скончался брат Димитрий, имение же при с. Головкине путем двух, одновременно совершенных, крепостных актов (дарственной отца и раздельной между братьями) перешло в мою собственность.

Конечно, первое время все шло, как и ранее: поддерживались те же порядки, оставались те же люди. Был только представлен к больному отцу, лишенному возможности владеть рукой, в качестве его секретаря и конторщика, некий Павел Петрович

Бажмин, лично хорошо мне известный молодой человек, честный, исполнительный и знавший конторское дело.

Отцу было приятно продолжать свое исконное дело хозяйничанья в Головкине, угождая коего он наизусть знал, так что заглазно мог давать свои привычные распоряжение старому и давнему своему сотруднику — приказчику Федору Афанасьевичу Ключникову.

Состояние отца, сначала подававшее надежду на быстрое восстановление, все же полному излечению не поддавалось, и хотя в более легкой форме, но параличное состояние оставалось. При нем бессменно были моя мать и, в качестве хожалки, старинная прислуга, дочь еще крепостного — Авдотья Всеволодовна (Дуняша). Кроме того, постоянное наблюдение за отцом имел местный врач, собственно фельдшер по цензу, Дмитрий Николаевич Гальченко, но за свои 30 лет безукоризненной практики издавна признанный всем окружающим населением за популярного и авторитетного доктора.

С 1901 года отец, видимо, стал слабеть, ничем особенно не страдая, а в 1903 году, 24 июля ночью, позвали меня к нему и под утро он тихо, на моих руках, отошел в иной, лучший мир.

Как, казалось бы, ни были мы, в частности я лично, в течение долгого времени готовы встретить этот конец неизлечимой многолетней болезни, но когда совершилось это, когда застыли глаза и холодная голова безжизненно склонилась мне на плечо, непередаваемое чувство боли от роковой вечной разлуки прожгло все мое нутро и лишь в эту минуту я осознал, что значит потеря родного отца.

Похоронили мы его в церковной ограде около Головкинского храма. Отдать ему последний долг съехалось много род-

ных и соседей. Отцовские обе комнаты, расположенные в каменном корпусе, я после его кончины сохранял всегда в том виде, как они были при нем, и это было моим любимым помещением, где я впоследствии жил и работал. Мир праху твоему, дорогой папа!

4

Моя мать Прасковья Николаевна родилась в с. Восломе Рыбинского уезда Ярославской губернии, 20-го октября 1840 г. Отцом ее был князь Николай Васильевич Ухтомский, прямой потомок Рюриковичей, а матерью — княгиня Елизавета Алексеевна, урожденная Наумова, дочь Алексея Михайловича Наумова, родного брата прадеда моего Михаила Михайловича.

Князь Николай Васильевич жил безвыездно в своей родовой вотчине, пользовался всеобщим уважением и почетом всего окрестного населения, начиная с дворян, кончая своими крепостными; был он удивительным хлебосолом и слыл за редкого по уму человека.

Дошедшие до меня портреты и дагерротипы изображали его в ополченском кафтане, времен Отечественной Войны, когда он возглавлял все Ярославское ополчение. Княгиня-бабушка была, говорят, удивительно красива и добра; по крайней мере, моя мать всегда вспоминала об ней с чувством особого благоговения. Семья их была очень многочисленна, и мать моя была младшей дочерью и общей их любимицей.

Судя по воспоминаниям ее, жизнь в Восломе была необычайно людная и оживленная — масса соседей, постоянные съезды и разъезды по гостям — и все это отличалось здоровым деревенским весельем, причем наряду с гуляньем и катаньем на

лоне природы, не забывались музыка, пение, поэзия, литература и пр.

Надо думать, что у младшей княжны Полины (так звали маму в семье) немало было вздыхателей и претендентов, но выбор родителей и ее самой пал на троюродного ее брата — Николая Михайловича Наумова — моего отца, без ума ее полюбившего и остававшегося верным ее спутником до самой своей смерти.

Моя мать была в настоящем смысле этого слова — красавица. Высокая, статная, она обладала классически-правильным овалом лица и изумительно красивыми внешними его очертаниями, большими темно-голубыми глазами и великолепными от природы вьющимися каштановыми волосами. При всем этом она была чрезвычайно одаренной и чуткой ко всему художественному, будучи прекрасной музыкантшей (фортепиано) и обладая выдающимися способностями к рисованию.

Выйдя замуж, она покинула свой отчий дом и попала в Головкинскую среду семей Наумовых. Разница для нее была весьма ощутительна, ибо в Головкине и настроения, и вся окружавшая ее атмосфера казались совершенно иными, чем в ее родном Восломе. Со своей стороны, отец все делал, чтобы сгладить эту резкую перемену в жизненной обстановке, и вскоре же моя мать перезнакомилась с обитателями соседнего с Головкиным города Симбирска, отличавшегося в 60-х годах исключительным оживлением своего многочисленного дворянского общества.

Наезжая нередко в Симбирск, мои родители сблизились с музыкальной семьей жившего в то время в Симбирске князя Ивана Петровича Трубецкого, коему принадлежали, как я ранее имел случай упомянуть, большие имение в Ставропольском

уезде Самарской губернии (против Симбирска) — Мулловка и Новый Буян.

Симбирск описываемых времен доживал свои крепостные дни и достатки — приемы, охоты, пикники, домашние театры, оркестры и пр. Во всем этом сказывались еще ширь и барство былых помещичьих времен.

Свою мать я вспоминаю более отчетливо и сознательно с периода переезда в Симбирск, в собственный наш дом на Большой Саратовской улице. Интересующаяся всем, общительная, живая и веселая, она привлекала к себе все многочисленное общество Симбирска. Собирались в салон музицировать, на террасе дышать не-городским садовым воздухом, любоваться красотой Волжского вида; увлекались входившей в то время в моду карточной игрой винт.

Ухтомские, Беляковы, Ратаевы, Языковы, Родионовы, Валуевы и др. — все это были наши родные и, вместе с тем, основные обитатели Симбирска. Все эти семьи часто друг с другом видались и к ним примыкало все пришлое общество, будь это высшая губернская администрация, учебное начальство и др.

Театр, любительские спектакли, концерты, балы широко процветали после победоносной Турецкой кампании 1877-1878 годов.

Моя комнатка была наверху у входа деревянной лестницы, ведущей вниз в столовую и залу. Все мои детские вечерние занятия обычно проходили под издали слышавшийся аккомпанемент превосходной и вдохновенной игры на Блютнеровском рояле дорогой, незабвенной моей мамы.

Как я любил ее слушать, и как, благодаря ей, я мог хорошо знакомиться с великими композиторами...

В начале 80-х годов с бедной матерью случилось происшествие, едва не стоившее ей жизни. В Симбирске, центре исконных коннозаводчиков, весной происходили бега, привлекавшие к себе общий интерес. На них обычно съезжалось почти все местное помещичье общество.

Как-то раз матери подали коляску, чтобы ехать на бега, запряженную только что купленной отцом красивой парой мощных и нарядных пятивершковых караковых жеребцов. Выехав по Большой Саратовской, лошади вдруг подхватили и понесли. Бедная мама, безумно перепугавшись, пыталась выброситься из экипажа, но, упав на мостовую, зацепилась платьем за крыло коляски, и в таком виде лошади проволокли ее по мостовой. К счастью, вскоре народ остановил их, и маму принесли в наш дом в бесчувственном состоянии.

До сих пор не без ужаса представляется мне на всю жизнь врезавшееся в моей памяти картина внесение в дом несчастной моей матери в разодранном на лоскутки платье и с совершенно окровавленной головой. Долгое время врачи не могли ручаться за восстановление ее здоровья и серьезно опасались за состояние ее головы и мозга. Благодаря Богу все же удалось ее спасти и до известной степени привести ее здоровье в нормальное состояние. Но само собой, это событие не могло не отозваться на общем ее нервном состоянии. После случившегося несчастья мама признавала лишь самых старых и ленивых лошадей, на которых только и решалась ездить и которые специально для нее мною подбирались до конца ее жизни.

5

В 1887 году я окончил курс гимназии, и мы с мамой с осени переселились на зиму в Москву, сначала устроившись в меблированном доме Базилевского на Большой Кисловке, а затем, спустя года два, переехали на особую квартиру на Арбат, в Большой Афанасьевский переулок, заняв весь бельэтаж небольшого старинного особняка, принадлежавшего госпоже Хавской (вдове бывшего Московского сенатора).

Мать моя всегда отличалась хозяйственными способностями, была по натуре расчетлива и бережлива, и в этом отношении являлась серьезной помощницей моему отцу. Жизнь наша в Москве протекала спокойно и умеренно — приемов никаких не было, если не считать свиданий с некоторыми наиболее близкими нашими родными и моими товарищами-студентами, к которым мама относилась обычно тепло и хорошо.

В 1893 году мы покинули Москву и я принялся за земскую работу в своем родном Ставропольском уезде Самарской губернии. Мама переехала к отцу в с. Головкино, где жизнь оказалась лишенной всего того духовно-культурного комфорта, который мать находила в Белокаменной. Здоровье матери, благодаря руководству Нестерова, значительно поправилось; тем не менее, она продолжала соблюдать долгое время предписанный ей режим во избежание повторения осложнений с печенью

Годы проходили... Выезжала мама иногда гостить к брату Димитрию в Буинск, а в Головкине занималась садом, коровами, вела домашнее хозяйство и часто присаживалась за свой любимый Блютнер, отдаваясь Московским воспоминаниям и проигрывая бывало одним вечером ту или другую оперу с начала до конца.

Вспоминая в это время обычную жизненную обстановку матери, невольно представляешь себе ее с кружевной наколкой на красивой еще голове, в белом широком пеньюаре, распоряжающейся в саду среди всяческих плантаций клубничных, малиновых, огородных и пр. со своими обычными сотрудниками-садовниками — ранее Павлом Степановичем, а затем Андреем, и окруженной ее славными мопсиками, которых так любил в минуты отдыха дразнить вернувшийся с своих полей отец.

Затем мама садилась за ручную работу (обычно кружево на коклюшках) под большим навесом с пологом из марли в ограждение от мошек и комаров. Рядом присаживалась очередная мамина ученица — чтица.

Наступил тяжелый для нас 1897-й год, когда смертельный недуг старшего брата Димитрия и жизненная драма другого брата — Николая отразились роковым образом на здоровье моих родителей — отца разбил паралич, а мать почти с ума сходила. Жизнь была нарушена в корне: приходилось делать невероятные усилия, чтобы спасти уцелевшие крохи их здоровья, и в этом отношении Господь ниспослал в нашу разбитую семью воистину ангела-утешителя в лице моей невесты, а с 4-го февраля 1898 года, жены моей — Анны Константиновны, урожденной Ушковой. И сама она, и семья ее так тепло и участливо отнеслись к нашему горю, что только благодаря им всем, я сам уцелел и смог посильно лечить и утешать своих стариков.

Пребывание отца в Московской клинике зимой 1897-1898 г.г., свадьба моя в феврале 1898 года в Петербурге — все это вынудило и мою мать проживать эту зиму в столицах, где для восстановления ее расстроенного нервного состояния было мною сделано все возможное.

Весной 1898 года я перевез моих родителей опять в Головкино — отца в состоянии еще не вполне оправившегося после

удара, а мать значительно успокоенную. Она целиком отдалась заботам и уходу за больным отцом до самой его смерти, после которой она на зиму переехала в Казань к своей *belle fille* Ольге, вдове умершего брата Димитрия, а затем с 1907 года мама переезжала со всей моей семьей на зиму в Самару в наш новый особняк на Дворянской.

Перенесенное горе и годы взяли свое: мама заметно состарилась, стала ограничиваться обществом близких родных и немногочисленных особо симпатичных ей людей. В ее самарской комнате стоял тоже рояль, но к нему старушка подходила все реже и реже. Ей, видимо, были приятны мои успехи и популярность, из года в год возрастающие — материнскому сердцу это не могло быть безразлично. В Самаре ее полюбили и, видимо, вся жизненная обстановка в этом городе складывалась для нее благоприятно. Отношение к маме всех моих семейных, и в частности жены моей Анны, было исключительно теплое и предвзвешенное.

Начиная с 1912 года у матери в организме найден был врачам сахар. Приходилось делать ей в Общине Самарского Красного Креста операции вырезывание нарывов (карбункулов), стала проявляться прогрессирующая слабость. Лечением ее занимал доктор Голишевский.

Мало по малу, стали мы с женой подумывать о переезде семьи в Петербург в силу создавшихся условий моей службы и ради воспитания детей. В виду этого в 1914 году мною был куплен у А.Л. фон Дервиз превосходный особняк на Английской набережной.

Осенью 1916 года я перевез в Петербург семью, а сам остался при сильно одряхлевшей матери, настолько ослабевшей, что в день ее именин, 28 октября 1916 года, она, в послед-

ний раз, с трудом поднялась из своих апартаментов, расположенных в боковом каменном флигеле на десяток ступеней ниже среднего главного корпуса.

К этому дню я украсил всю залу зеленью и теми расшитыми полотенцами, которыми так щедро награждали нас в былое время в виде подарков по случаю своих свадеб, приходившие к своим господам на поклон Гловинские крестьяне.

Бедная старушка, поддерживаемая под руки, была видимо очень тронута моим вниманием, крепко обняла меня, прошептала как это хорошо; поздоровалась с многочисленными соседями, съехавшимися ко дню ее именин, но, посидев минут десять, попросила ее вновь проводить в ее келью, как она любила называть свою комнату.

Это было последнее ее появление в доме — больше моя мать никуда не выходила из своей кельи. Ноябрь, декабрь она сильно страдала сердечными припадками, и у нее стали появляться отеки. 8-го января 1917 г. доктора меня предупредили о приближении роковой развязки.

Обычно около мамы дежурили посменно или ее старинная горничная, Ольга Никифоровна, или сестра милосердия Самарской общины, или фельдшерица из Старой Майны Александра Дмитриевна.

Вспоминается мне 9 января, когда я как-то днем остался один с моей дорогой, измученной страданиями мамой; которая могла сидеть только полулежа. Так и теперь она сидела предомной с закрытыми глазами. Смотрел я на нее, и невольно всего меня охватило жуткое предчувствие что она меня скоро покинет навсегда. Сознание это было тяжело и больно для меня; я стал целовать бедную, осунувшуюся, но еще живую дорогую мне голову... Вечером, когда я переносил ее с кресла на диван,

мама припала ко мне и вся бессильно затряслась от душивших ее рыданий.

10-го января доктор Ровенский установил столь резкое ухудшение, что предсказал жить маме не более суток. Давали бедной страдальце морфий и шампанское ложечкой. Она была в забытие и тяжело дышала. Я все время сидел около нее, мысленно прощаясь с ней, прикладывал свою голову к недвижной ее руке, прося ее благословенья.

Вся бывшая наша совместная жизнь невольно мне вспоминалась. Так прошла еще ночь, а 11 января, в 12 часов 40 минут дня, мама скончалась.

Никогда мне не приходилось переживать более мучительных душевных страданий. При кончине был наш батюшка о. Александр Рождественский, прекрасный человек и иерей, прочитавший отходную молитву. Был момент, когда доктор торопил его... Пульс то и дело останавливался у мамы, и доктор Ровенский, все время сидевший слева от мамы и державший ее руку, прислушивался к ее дыханию. С правой стороны я стоял на коленях. Взяв мамину руку, я положил ее себе на голову, призывая ее благословение. Пока она еще дышала, я поторопился свой складень и иконку приложить к ее голове и руке, а потом, когда доктор сказал — пульса нет... отходит, я встал и приложил свою голову к маминой, обхватив её обеими руками. Все внутри у меня рвалось — я чувствовал, что жить маме осталось несколько мгновений... Она стала холодеть около моей головы, рук и губ... Сдержатъ себя я более не мог: слезы хлынули неудержимо, и когда я их заметил на волосах и лице дорогой застывающей моей мамы, я вытер их и волосы ей пригладил. Последний вздох ее я принял в себя поцелуем и при последнем мгновении ее жизни я открыл глаза матери, и в последний раз в них посмотрел, сказав: голубка моя, дорогая мама — до свидания!

скорого или нет — то Господь знает... Затем закрыл их навеки, отойдя к батюшке, который меня еще раз от имени матери благословил.

Не могу не вспомнить того момента и того моего настроения, которое охватило меня при моем последнем расставании с прахом незабвенной моей матери. Когда спустили ее гроб в склеп, приготовленный мною для моих родителей после кончины моего отца, я просил меня оставить одного с прахом обоих моих отошедших в вечность родителей. Я опустил на колени между гробами отца и мамы, обняв их обоих руками. Склонив голову, я мысленно представлял их себе живыми и через мгновение, на самом деле, у меня было чувство необычайной близости к ним.

Очнувшись и перекрестившись, я приложился на прощанье с ними к их гробам, и в этот момент я вдруг ощутил во всем своем существе какое-то внутреннее сознание и убеждение, как бы в виде напутствия со стороны моих родителей, что отныне для меня начинается какая-то иная, новая жизнь, что, выходя от них из склепа, я должен буду расстаться со всем своим прошлым и обычным... Об этом я в тот же день сообщил моему родному другу — жене.

Увы, предчувствия, зародившиеся у меня при последнем моем прощании с останками моих стариков, оказались вещими. Выехав по окончании сорокоуста из Головкина с женой, мы приехали в Петроград в знаменательный день — 27 февраля 1917 г., т.е., к началу Великой бескровной Революции... Мир праху вашему, дорогие мои папа и мама — за Вами я ходил, как умел, получил величайшее сыновнее счастье покоить Вашу старость и упокоить Вас на своей груди при отходе Вашем в лучший мир. — Вас давно нет со мной, но Вы всегда около меня — я это

сознаю всем своим нутром и духом ощущаю. Говорят, что могла их цела — слава Господу! Моя заветная мечта иметь возможность перед своей смертью еще раз поклониться дорогому праху на родной земле!

6

Нас было трое братьев — старший Димитрий, родившийся в 1862 г., средний — Николай — в 1864 г. и я — младший, как сказано, появившийся на Божий свет 21-го сентября 1868 г. в день именин брата Димитрия.

От моей матери я слышал, что в этот день она своему старшему любимому сыну-имениннику преподнесла меня вместо подарка... Впоследствии нас с Димитрием на всю жизнь соединяла самая горячая дружба и сердечная братская привязанность. Он рос и казался среди своих братьев каким-то старшим, большим; был он выше всех нас ростом, видным и красивым. Воспитываясь в Симбирской военной гимназии с 1875 по 1878 г., он также выделялся среди своих товарищей ростом, выправкой и здоровым видом.

Поступив по окончании курса военной гимназии в Николаевское Кавалерийское Училище, он был особенно наряден в новой своей форме, щеголяя в нашем захолустном Симбирске своей каской с белым султаном, красной грудью и генеральскими лампасами, приводившими в трепет местных гарнизонных солдатиков, встававших во фронт перед... юнкером. Увы! это училище его и сгубило: на одном из учений брат сильно простудился и петербургский климат его не пощадил — он заболел остро-суставчатым ревматизмом, так что его пришлось перевезти в Симбирск, где его лечил доктор Михаил Васильевич Декер, но неудачно: когда сняли гипсовую повязку с его правой

руки, то локоть ее оказался сросшимся. Бедный брат Дмитрий на всю жизнь остался калекой, крестясь, принимая пищу, здороваясь левой рукой, стреляя с левого плеча и т.д. Конечно, эта болезнь его отразилась губительно на общем состоянии его сердца, что и послужило впоследствии причиной его преждевременной кончины.

Красавцу корнету Николаевского Кавалерийского Училища пришлось сдать выпускной экзамен не на лихого кавалерийского офицера, а на скромного Губернского Секретаря... То было в 1880 г., когда в означенном чине он поступил на службу чиновником особых поручений к Самарскому Губернатору Александру Дмитриевичу Свербееву, близкому другу наших родителей.

Лет пятнадцать Александр Дмитриевич управлял Самарской губернией. Огромного роста, с большим плоским лицом, обрамленным висячими чиновными бакеннами, Свербеев был типичным помпадуром, взиравшим на вверенную ему губернию, как на свою барскую вотчину. Будучи на самом деле большим барином в лучшем смысле этого слова, глубоко-порядочный, честный и благородный Александр Дмитриевич оставил по себе в общем добрую память в Самарском Поволжье.

С уходом Свербеева, получившего назначение в Сенат, Дмитрий перешел на службу в Удельное Ведомство. Вскоре он получил место Управляющего Удельным имением в г. Буинске Симбирской губернии, где познакомился и близко сошелся с семьей А.Н.Теренина, постоянно жившего в своем имении при с. Кишаки. В 1890 г. Дмитрий женился на его дочери Ольге Александровне, продолжая жить в гор. Буинске. В 1897 г. родился у них сын Дмитрий, а в 1898 г., 20-го августа, брат скончался от болезни сердца — сравнительно молодым — всего 36 лет от роду.

Мой старший брат Митя был удивительно симпатичный, отзывчивый, добрый и, до последней своей сердечной болезни, веселый и жизнерадостный человек. Обладая красивым баритоном, он любил петь, причем обычным его репертуаром служили русские старинные романсы и, вместе с тем, еще в то сравнительно отдаленное время, он сильно увлекался музыкой Мусоргского. Его любили слушать за привлекательный тембр его бархатного голоса и увлекательную выразительность самого пения.

Страстный любитель природы, Дмитрий с ранних лет любил собирать бабочек, жуков и других насекомых, расправлял их, составлял коллекции и пр. Позже он много охотился и меня пристрастил к этому спорту, вплоть до охоты на медведей.

Никогда не забуду того исключительного удовольствия, которое он мне доставил, устроив мне возможность участвовать на медвежьей охоте в Южно-Сурской Удельной даче 1-го января 1895 года. Обстановка этой охоты при чудной зимней погоде в непроходимом хвойном корабельном лесу, весь процесс таковой и самый результат ее были столь необычны, что запечатлелись в моей памяти на всю жизнь. Когда-нибудь я постараюсь подробно воспроизвести эту охоту в особом рассказе, а пока ограничусь лишь тем, что медведя мною убитого на другой день торжественно отвезли на санях в г, Буинск, где на площади в присутствии огромной толпы взвесили на городских весах и оказалось в нем до 18 пудов!..

Жена Дмитрия, Ольга Александровна, пережила его долго: скончалась она лишь в 1926 году. Воспитанная на строгих началах в прекрасной стародворянской семье, Ольга представляла собой идеальную во всех отношениях жену, женщину и

мать. Хрупкая здоровьем, она с изумительным смирением переносила тяжкий крест, выпавший на ее долю — ухаживать около пяти лет за больным мужем.

Незабвенная Олечка представляла собою изумительное существо высшего человеческого порядка, перед коим надо было лишь преклоняться, и о которой ныне все мы, знавшие ее, вспоминаем с чувством особого благоговения. Сын ее, Димитрий, мой племянник и крестник, славный был юноша, способный и чистый. Революция нас раз единила: он остался с матерью в России и, окончив курс в Медицинской Академии, ныне состоит врачом недалеко от Буинска в с. Киять.

Другой брат мой Николай, среднего роста, крепко сложенный, отличался большой физической силой и лицом напоминал скорее Ухтомских — портили его следы бывшей у него в детстве оспы. Он был очень близорук и постоянно носил очки или пенсне.

Способный, брат Коля шел в классах той же Симбирской Военной Гимназии в числе первых. В 1880 г. он поступил в Михайловское Артиллерийское Училище в Петербурге, по окончании коего служил в 23-ей Артиллерийской Бригаде, стоявшей в Гатчине.

При всех своих в общем, хороших качествах Николай отличался бесхарактерностью, подпадая под влияние окружавшей его обстановки. Еще будучи в Гатчине, он весь отдавался служебной обыденщине и офицерскому клубному товариществу, вместо того, чтобы серьезно взяться за подготовку для поступления в Академию. В конце концов, ему самому надоела такая бессодержательная жизнь — захотелось более интересного и живого. Отец устроил ему ценз, и брат Николай был избран Ставропольским Уездным Земством Самарской губернии в гласные, а затем в члены Уездной Земской Управы.

Когда в Симбирской губернии было введено Положение о Земских Начальниках, Николай бросил только что начатую земскую работу в родном уезде и перешел в г. Буинск Симбирской губ. в Земские Начальники, благодаря чему устроился вместе с братом Димитрием и его семьей. Но и там, вместо увлечение живым служебным делом и общение с интересными деловыми людьми, слабовольный Николай мало-помалу втянулся в компанию местных клубмэнов и проводил жизнь большею частью в нездоровой обстановке карт, закусок и пошлых разговоров.

Последующая жизнь сложилась для него, да и для всех его близких, тяжкая... Судьба его бедного не пощадила, закинув его сначала в Иркутск, затем в Бердянск, где он последние свои годы прожил в кругу своей семьи, состоявшей из жены и двух милых мальчиков. В Бердянске в 1910 году брат Николай скончался, и там же похоронен.

Вспоминаю я брата Николая не иначе, как с чувством любви и искренней жалости к нему. Действительно, это был человек прекрасных душевных качеств и благородных порывов, но по складу характера своего был мягок и уступчив.

7

Более ясные и отчетливые мои воспоминание о самом себе начинаются лишь с гимназических моих лет т.е., с 1877 г. До этого в туманных очертаниях всплывают некоторые Головкинские картины и лица в период моего раннего детства, например, облик няни моей Аннушки, моя комната с лежанкой, на которой всегда почему-то стоял любимый мною холодный чай.

Вспоминается дорогая моя любимая Тата с ее мягким добрым лицом, та самая Тата, которая в нашем доме не играла роли профессиональной нянюшки, а жила в качестве постоянного

члена семьи в особом помещении из двух комнат и кухни с прихожей, в одном из каменных флигелей. Читала она духовные книги, искусно плела кружева, пекла вкусные пироги и особенно блины, окружала себя бесчисленными экземплярами кошачьей породы, а главное, всем своим добрым сердцем любила нас, детей, помогала матери и нянькам в уходе за нами и была всегда и во всем глубоко преданной нашим родителям.

Заговорив об этой милой, душевной, чистой, столь любимой мною старушке, я не могу не остановиться подольше на ее характеристике, черпая свои воспоминание само собой не из одного лишь периода моего раннего детства. Александра Николаевна Гафидова — Тата, как все ее называли — была старой девой. Дворянка по происхождению, она рано осталась сиротой и воспитывалась в семье Оренбургского муфтия, почему знала в совершенстве татарский язык. Впоследствии я у нее учился этому языку, но, признаюсь, трудно его было мне усвоить.

Глубоко верующая, она строго исполняла религиозные обряды православной церкви, посещала все службы, соблюдала посты и пр., всей своей жизнью приближаясь к монашескому быту. Квартирку свою Тата называла не иначе, как кельей.

Тата обладала особым свойством привлекать к себе наши детские сердца и души — всегда она находила для нас интересные беседы, полезные советы, умела занимать нас. Бывало, наловишь в купальне разных рыбешек, бежишь к Тата уху варить в ее маленьком горшочке или упросишь ее блинчики спечь, а вместо блинчиков, начнешь выпекать разных фигурных птиц да зверей. Засаживались мы с ней и ее старушками нередко даже в карты поиграть — в дурачки, мельники и пр., но само собой, не во время постов: в эти дни Тата любила мне читать вслух житие святых или другие духовные книги.

Называла она меня Шушей, как в раннем детстве, так даже потом в более зрелые мои годы, вплоть до моего Предводительства. Скончалась она в 1904 г. древней старушкой, безболезненно, тихо отойдя в вечность, как и подобает настоящей христианской праведнице. Тяжела была мне эта утрата и до сих пор часто я обращаюсь мысленно к ней, прося ее защиты и помощи.

8

Возвращаясь к самому раннему моему детству, я вспоминаю рассказ о том, как Тата спасла меня от неминуемой гибели. Аннушка, моя няня, желая отвлечь меня от каприза, сняла свое кольцо и, по своей недальновидности, дала его мне для игры, а сама на некоторое время вышла. Вскоре вошла в мою комнату Тата и застала меня задыхающимся. Призвав тотчас же Аннушку, она, после ее признания по поводу данного ею мне кольца, взяла меня за ножки и стала вытряхивать кольцо, которое я засунул в рот и горлышко. Благодаря этим мерам, кольцо выпало и я был спасен.

В доме у нас было много гувернеров и гувернанток, при братьях — больше французов, при мне — немок в роде вечно сморкавшейся Изабеллы Ивановны, на долго отвратившей меня от игры на фортепиано своими выговорами и хлопками по рукам, причем гнусавым голосом обычно произносилась ею фраза пред физическим воздействием: си-бемол — осел!...

Другая у меня была славная, добренькая старушенция — Луиза Егоровна, вечно всего боявшаяся, особенно т.н. Лейденской электрической банки — самодельщины моих старших братьев, терроризировавших бедную старуху прикосновением к ней этой банки, да еще исподтишка...

Последним моим гувернером до поступления в гимназию (1878 г.) был Борис Борисович Шпехт, из балтийских немцев, пожилой, среднего роста, полный, с большой лысой головой и красным мясистым рябоватым лицом. Несмотря на всю непривлекательность его внешности, Борис Борисович вселил к себе общую симпатию всех лиц, так или иначе соприкасавшихся с ним.

Умный, ровный, спокойный, страстный любитель природы и детей, Шпехт был очень начитанным натуралистом и прекрасным педагогом-воспитателем. Он был приглашен в наш дом лишь благодаря исключительным рекомендациям. И в самом деле, отец не ошибся — лучшего человека трудно было найти!

Начать с того, что Борис Борисович был первый, который заговорил со мной душевным, искренне-любящим языком, заставив, незаметно для меня самого, открыть ему мою юную душу и сокровенные детские мысли.

—До сих пор ловлю я себя на воспоминании, с какой любовью и охотой прислушивался я к повествованиям милейшего и умного моего воспитателя о всем том, что принято называть окружающей нас природой. На все, бывало, Борис Борисович умел обращать мое внимание при совместных наших ежедневных прогулках — все живое, летало-ли оно, ползало-ли или цвело — все находило отклик у почтенного натуралиста. Жизнь при нем изо-дня в день для меня становилась осмысленнее, интереснее, а с этим явственнее казалась мне и сила Небесного Творца вселенной и самая вера в Него.

За первый же год пребывания у нас, комната Шпехта превратилась в настоящий маленький музей: на полках, на стенах, всюду в идеальном порядке, красовались коллекции всевозможных бабочек, жуков, кузнечиков и пр.; лежали груды папок

с заложенными листьями, цветами; стояло множество стеклянных банок, заполненных разными червями, с целью наблюдение за превращением их в куколки и бабочки и т. п. К 8 годам я уже умел сам расправлять бабочек и других насекомых, запоминая их латинские названия, до сих пор сидящие в моей памяти.

При всем этом, Борис Борисович любил во всем определенную систему и порядок. Своим примером, своими доказательными советами и, наконец, совместными своими со мной поступками и действиями, Борис Борисович заложил во мне на всю жизнь страстную любовь к природе в широком смысле этого слова, ко всему натуральному, природному, а, следовательно, и правдивому, и к тому порядку, о котором Франклин еще высказался: *Lordre a trois avantages: il soulage la mémoire, il ménage le temps, et conserve les choses*².

Борис Борисович вел жизнь удивительно чистую и совершенно трезвую; вина он не признавал, но зато чай мой милый губернёр так любил, что готов был пить его во всякое время и в большом количестве.

Популярность его была велика среди даже деревенского нашего люда, часто обращавшегося к нему за медицинским советом, само собой, в случаях срочных и требовавших немедленной помощи.

9

Благодаря постоянному общению с немцами, я совершенно почти отстал от своего родного языка, так что перед по-

2 Порядок имеет три преимущества: он облегчает память, экономит время и сохраняет вещи. (фр.)

ступлением моим в военную гимназию, я вынужден был несколько месяцев специально подготавливаться по русскому языку, которым плохо владел и на котором еще хуже писал. Со мною занимался по просьбе отца Инспектор военной гимназии полковник Егор Иванович Ельчанинов и одновременно репетировал брат Николай. Удалось быстро усвоить родную речь, тем более, что тогда же пришлось расстаться с своим любимым Борисом Борисовичем и дома говорить по-русски.

Благодаря занятиям с Ельчаниновым, я сошелся с его семьей и его двумя сыновьями моими сверстниками — Андреем и Егором; с первым из них я одновременно поступил в 1878 г. в первый класс Симбирской военной гимназии и мы вместе просидели до III-го класса. Семью Ельчаниновых я очень любил и всегда их вспоминаю с добрым чувством и признательностью.

В описываемое время 1877 — 1878 г.г., наряду с остальной Россией, все мы, юные крошки, только что надевшие на себя военную форму гимназистов с золотыми пуговицами, синими погонами и кепкой с красным околышем старинного образца, тоже были вовлечены в поток всеобщего интереса, возбуждение и подъема по поводу происходивших событий на театре военных действий в Турции. Все кругом нас только и обсуждало текущие новости, доходившие до тихого Симбирска с отдаленного Балканского полуострова, охваченного пожаром русско-турецкой войны.

Без всяких газет, лишь вчера научившись читать и писать, мы все же знали многое про героические подвиги русской армии, друг другу с жаром пересказывая все слышанное, а больше подслушанное: про знаменитую Дунайскую переправу, тяжкую Шипку, неприступную Плевну. До слез торжествовали мы вместе со старшими, когда все это было с Божьей помощью

русским воином-героем превзойдено. С языка, бывало, не сходили прославленные имена Скобелева, Гурко, Радецкого, Дубасова и др., вырезали, собирали их портреты.

Вспоминается мне обычная для того времени обстановка нашей гостиной где вместо карточных игр, все столы были завалены бельем и корпией, которую заготавливали все кто-только мог, даже во время визитов, разговоров или специальных для сего собраний.

Помню я также и другие события, связанные с той же Турецкой кампанией. Ясно восстанавливается в моей памяти приход в Симбирск партии пленных турок, встреченных, к моему детскому удивлению, отнюдь не враждебно, как моему возбужденному юному патриотизму казалось следовало бы. Все городское население отнеслось к ним жалостливо и приветливо, снабжая их одеждой, обувью, продовольствием и пр. А затем еще более ярко выплывает незабываемая картина торжественного вступления в город возвратившегося с театра войны боевого пехотного Калужского полка, радостной его встречи всем городским населением и того невиданного мною дотоле подъема, когда люди неудержимо плакали и, воистину, по-христиански между собой братались. Воинственные звуки полкового марша, громовые восторженные ура, всеобщее пение Боже Царя храни, неудержимый, радостный гул многотысячной толпы — все это раз навсегда запечатлелось в моей детской душе, познавшей с тех пор впервые смысл понятие родины и чувства народного патриотизма...

В те времена средне-учебные военные школы назывались военными гимназиями и не носили того специально-военного характера, который был им придан в после-Милютинский период. Учительский персонал был большей частью составлен из лиц штатских по вольному найму, и лишь Директор, Инспектор

и лица, обучавшие военному строю, принадлежали к воинским чинам.

Директором Симбирской военной гимназии, при моем вступлении, был генерал-майор Николай Андреевич Якубович. До него был полковник Альбедиль, который был первым ее директором и в 1876 г. был переведен в Москву на ту же должность во 2-ую гимназию (в Лефортово). Семья Альбедилья была многочисленна и некоторые его дети, в особенности дочь Анна, отличались музыкальными способностями.

По переезде нашем в Москву, где Альбедиль долгое время продолжал служить, мы часто с ним видались, и помню, как однажды мы с мамой, в конце 80-х годов, были приглашены к ним в Лефортово и слушали вдохновенную игру ученика старшего класса Альбедилевского кадетского корпуса, впоследствии знаменитого, Скрябина, поразившего еще тогда всех нас своим исключительным талантом.

Семья Якубовичей состояла из отца, матери — Варвары Игнатьевны, совершенно глухой, высокой, худой брюнетки, постоянно внутрь себя всхлипывавшей, и четырех детей: трех барышень и младшего в семье — мальчика Володи. Барышни были моими сверстницами и впоследствии, будучи подростками, мы часто виделись, веселились, участвуя в любительских спектаклях и домашних вечерах.

Сам Николай Андреевич был крошечного роста, полный, с плотными немного приподнятыми плечами, с большой курчавой головой, круглым лицом, на котором было все миниатюрно, кроме больших золотых очков и слегка вьющихся, темно-каштановых усов.

Николай Андреевич был мягким и добрым существом, в домашней обстановке всецело подчинявшимся неограниченной власти его супруги Глухарки, как прозвали ее гимназисты. Зато при появлении среди своих подчиненных, он принимал всегда важные, воистину директорские позы, расставлял свои маленькие с генеральскими лампасами ножки, приподымал плечики, складывал на выдающемся брюшке свои крошечные пухлые ручки, закидывал свою курчавую голову назад кверху и, поблескивая очками, старался всегда важным баском говорить, причем имел привычку уснащать свою речь частыми вставками слов: ну да, ну да!... Окончивший Михайловскую Артиллерийскую Академию, Николай Андреевич был математик по преимуществу, но в общем оказался хорошим руководителем вверенного ему учебного заведения.

В 1876 году в Симбирске было выстроено, в самом центре города, прекрасное и огромное здание для военной гимназии с обширным двором для строевого обучения и гимнастики. Красно-кирпичного цвета корпус этого здания состоял из трех этажей, которые впоследствии, при переименовании гимназии в Кадетский Корпус (1881 г.), соответствовали делению состава учащихся на три роты.

Педагогический персонал состоял из людей знающих и опытных. Особенно посчастливилось мне иметь исключительного по своим способностям учителя русского языка Александра Иосифовича Рязанова, сумевшего сразу же направить грамотность своих учеников настолько основательно и разумно, что через два года его руководства мы почти все безошибочно освоились с правописанием родного языка...

Правда, был Рязанов учитель чрезвычайно строгий и требовательный. Таковым же по своей специальности был преподаватель немецкого языка Гуго Андреевич Гульбе — высокий

красивый блондин с большой, светлой, пушистой бородой. Французский язык проходил я под руководством Генриха Ивановича Шапрон дю-Ларрэ, который сравнительно недавно приехал в Симбирск из Швейцарии, будучи первое время гувернером в семье Беляковых. Затем он был приглашен Якубовичем в состав учительского персонала гимназии. Молодой, крепкий, славившийся своей физической силой, жизнерадостный, занятый немало своей видной наружностью, он был любим своими учениками за свою доброту и лишь кажущуюся взыскательность. Всегда безукоризненно одетый, Генрих Иванович сумел за 25 лет превратиться в Действительного Статского Советника и помещика, женившись на представительнице одной из стариннейших местных дворянских фамилий — Марии Владимировне Трубниковой, а его сыновья Алексей и Владимир поочередно (sic!) были женаты на единственной наследнице искони Наумовского поместья — Наталье Алексеевне, дочери Алексея Павловича Наумова.

Учителем математики был Павел Алексеевич Келейн — сухой, угрюмый брюнет с большим горбатым носом и выдающимся острым подбородком, считавшийся знатоком своего дела и умным преподавателем.

Естественную историю мы изучали под руководством Владимира Николаевича Машина, удивительно милого и симпатичного, человека средних лет, чисто русской внешности. Был он видимо лентяй немалой руки, но вместе с тем, благодаря его задушевно-милому отношению к нам, малышам, мы всегда с большой охотой слушали его немудрые рассказы про природу и легко усваивали все то, что слышали от любимого всеми нами преподавателя. Машин предпочитал знакомить нас с своим предметом наглядно, на лоне самой природы; поэтому, как только наступала весна, Владимир Николаевич устраивал ряд

интереснейших для нас экскурсий по живописным окрестностям г. Симбирска. Это единственный из наших учителей, к которому мы любили заходить по свободным дням на его частную квартиру, и который всегда ласково и тепло встречал своих юных учеников, показывая разные разности из хранимых у него интересных вещей по его специальности.

Предмету рисования придавалось в военной гимназии большое значение и проходили мы его под руководством Ивана Феликсовича Купровича, который состоял одновременно нашим классным воспитателем. Иван Феликсович был прекрасным человеком, но страдал неизлечимой болезнью, чахоткой, мало-помалу подтачивавшей его силы и само собой отзывавшейся на его внешности и всей его нервной субстанции.

Самым популярным нашим учителем был штабс-капитан квартировавшего в Симбирске пехотного Калужского полка Николай Васильевич Колпиков, который учил нас военной гимнастике и строю. Происходило это ученье в особой зале нового корпуса гимназии и, благодаря умению и воодушевлению молодцеватого капитана, занятие наши проходили всегда с большим и неослабным вниманием и подъемом.

Я числился в 1878 г. в строю и гимназии под фамилией Наумова Ш-го, в отличие от брата Димитрия, в то время бывшего в старшем классе, и брата Николая — ученика 5-го класса. До сих пор помню, как бывало, невольно вздрогнешь при сочном повелительном выкрике командира Колпикова: Наумов третий! Особенно любил я проделывать примерные отдание чести перед ним, как воображаемым генералом, молодцевато проходя и пожирая глазами начальство. Насколько строг Колпиков был во время строя и обучения, настолько же снисходительно, мило и душевно относился он ко всем нам вне своих служебных занятий и в частности ко мне, которого, бывало,

нежно приговаривая: Наумчик, Наумчик, брал своими здоровенными руками и кверху подбрасывал, как мячик.

Потом, с 1881 г., все переменялось. Гимназия была преобразована в кадетский корпус, и Колпикова заменил ряд офицерских чинов — командиров трех рот и их помощников. В общем, и внешне, и внутренне характер прежнего военно-гимназического быта и учение существенно изменился, к лучшему или худшему, трудно сказать. Думается, что излишняя формалистика для детей гимназического возраста явилась в ущерб сути учения и воспитания.

Я пробыл в военной гимназии два с половиной года. Сначала, будучи в первом классе, я ездил из наше-1-го дома в гимназию совместно с моими братьями на небольшой долгушке с неизменным нашим Иваном; последние же полтора года только с братом Николаем, так как старший, Димитрий, в то время проходил курс в Петербурге в Николаевском Кавалерийском Училище.

Из бывших моих одноклассников я дружил всего более с Андреем Ельчаниновым, с которым мы одновременно поступили в гимназию, сидели на одной парте, играли, рисовали, проходили совместно уроки и т.д. Не могу не отметить здесь судьбу наших дальнейших с Андреем Ельчаниновым отношений. Расставшись друг с другом, как одноклассники, в 1881 году, вследствие перехода моего из военной в классическую Симбирскую гимназию, мы продолжали нашу дружбу и свидания, более, правда, редкие, до окончания Андреем Симбирского Кадетского Корпуса, переименованного из военной гимназии, в 1881 г., после чего он переехал в Петербург и поступил в Михайловское Артиллерийское Училище, а затем в Николаевскую Академию. Наши пути коренным образом разошлись: — окончив гражданскую гимназию, а затем Университет, я вернулся к себе

в провинцию и весь отдался местной земской работе, а Андрей пошел по ученой и учебной карьере, сделавшись профессором Академии Генерального Штаба.

Прошло много лет... Расстались юными гимназистами, а встретились: он — военным генералом, профессором Академии, я — Егермейстером Высочайшего Двора, Членом Государственного Совета и Губернским Предводителем Дворянства. С тех пор мы снова стали довольно часто встречаться и товарищески беседовать о прошлом, настоящем и возможном будущем. Смотря на облысело, седоватого Андрюшу, приходилось невольно самому сознавать собственную свою приближающуюся старость.

10

В военной гимназии было у меня в то время много родных и друзей в других отделениях и классах: годом старше учился мой двоюродный брат кн. Михаил Ухтомский, троюродный брат Александр, Капка Беляков, Михаил Валуев, братья Депрейс Михаил и Николай, Герман Молоствов (последние трое все Казанские), Языковы и др. Со всеми ними у меня осталась тесная дружба и после перехода моего в 1881 г. из военной гимназии в классическую в том же Симбирске.

Не без грусти узнал я о решении моих родителей перевести меня в классическую гимназию. Праздники рождественские 1880-1881 г.г. я прогулял как следует. Учителями военной гимназии задано было много по разным предметам, особенно Рязановым по русскому языку, как раз на эти каникулы; после же решение моих родителей, я оказался свободен от прежних обязательств и праздники провел воистину празднично, от всяких

заданных уроков отдыхая. Зато после пришлось усиленно работать, главным образом, по изучению и усвоению совершенно для меня незнакомого латинского языка. В 39 уроков я прошел основательно двухгодичный курс латинской грамматики и весной сдал благополучно свой вступительный экзамен, превратившись таким образом в третьеклассника Симбирской классической гимназии.

Перемена получилась для меня во всех отношениях огромная. Прежде всего, самое более, чем скромное, здание повой гимназии сильно отличалось от великолепных апартаментов прежнего военно-учебного корпуса, где самые классы, физические и др. рабочие кабинеты, гимнастические и рекреационные залы на много были обширнее, светлее, чище и лучше обставлены.

Состав учительского персонала также был далеко не схожим с тем, к которому я за два с половиной года успел привыкнуть. Начать с директора: вместо маленького генеральски-важного Якубовича, передо мной очутился человек средних лет, одетый в просторный синий вицмундир, большого роста, кражистый, широкоплечий, с огромной стриженной бобриком головой, сильно скуластый с маленькими стриженными усами под мясистым носом и небольшими, но умными глазами, пронзительно выглядывавшими из-под сильно развитого лобного бугра. То был Федор Михайлович Керенский, сравнительно недавно до моего поступления в гимназию назначенный из Казани, вместо Ивана Васильевича Вишневого, отбывшего чуть ли не 25-тилетие своего директорства и оставившего после себя тяжелое наследство в смысле порядка управления.

Федор Михайлович, благодаря своей исключительной энергии, быстро начал все улучшать и подтягивать. Он был директором активным, отзывчивым, во все вникавшим, за всем

лично наблюдавшим. Враг лжи и притворства, Керенский был по существу человеком добрым и справедливым. Образованный и умный, он являлся вместе с тем, исключительным по своим способностям педагогом. Мне посчастливилось попасть в классы пятый и шестой, в которых, помимо директорства, он нес обязанности нашего воспитателя, одновременно состоя учителем словесности и латинского языка.

Феодор Михайлович прекрасно владел русской речью и любил родную литературу, причем система преподавания его была по тому времени совершенно необычная. Свои уроки по словесности он, благодаря присущему ему таланту, превращал в исключительно интересные часы, во время которых с захватывающим вниманием заслушивались своим лектором, для которого в эти часы не существовало никаких официальных программ и учебников с обычными отметками чиновников-педагогов: от сих до сих. Благодаря подобному способу живого преподавания, мы сами настолько заинтересовывались предметом русской словесности, что многие из нас, не ограничиваясь гимназическими учебниками, в свободное, время дополнительно читали, по рекомендации того же Феодора Михайловича, все относившееся до родной словесности. Девизом его во всем было: *non multa, sed multum*³. Так он требовал при устных ответах, того же он искал и при письменных сочинениях, к существу и форме коих он был особенно строг. Благодаря этому Феодор Михайлович приучил мыслить много, по высказывать и писать лишь экстракт продуманного в краткой, ясной и литературной форме.

3 Не многое, но много (в значении дело не в количестве, а в качестве). (лат.)

Уроки словесности Феодор Михайлович преподавал с V-го до последнего класса, а латинский язык, к сожалению, лишь в V-м и VII-м классах. Говорю: к сожалению потому, что Феодор Михайлович и в этом отношении оказался необычным педагогом. Как это ни парадоксально, но мы охотно ждали уроков даже латинского языка, благодаря опять-таки незаурядной личности нашего педагога и его неказенной системе преподавания. Дело в том, что вместо зазубривание всех-правил и частных сложной латинской грамматики, мы их усваивали попутно при чтении классиков, причем чтение это обставлено было Феодором Михайловичем опять-таки совершенно по-иному, чем обычно у других учителей. Он не задавал нам известные уроки, а, приходя в класс, брал сочинение Овидия Назона, Саллюстия, Юлия Цезаря или др. и давал кому-нибудь читать *à livre ouvert*⁴, лично помогая, когда нужно, переводившему, и попутно объясняя содержание читаемого в таких увлекательных рассказах и ярких красках, что все мы в конце концов сами напрашивались на подобное чтение. Вместо мертвечины, получался интересный живой предмет ознакомления с древней Римской историей и литературой по подлинным источникам. В конце VII-го класса мы легко читали Римских классиков и знали все необходимое в смысле грамматических требований даже при исполнении т.н. знаменитых *extemporalia*⁵.

Лично ко мне Феодор Михайлович относился очень хорошо, ценил мои успехи, а в последние годы заставлял меня

4 По раскрытой книге (то есть без подготовки). (фр.)

5 Классное письменное упражнение, состоявшее в переводе русского текста на латинский или греческий язык без предварительной подготовки.

громко читать классу вместо себя, чем, не скрою, я бывал немало горд и польщен.

Прошли года. Я окончил курс; после этого вскоре Феодор Михайлович получил повышение, будучи переведен Окружным Инспектором в Ташкент. Более мы с ним никогда не встречались. И вот, спустя 25 лет, на фоне взбаломученной рядом государственных реформ столичной жизни появился Керенский, Александр Феодорович, сначала в качестве представителя крайней оппозиционной партии четвертой Государственной Думы, а затем, после февральской революции 1917 года, на ролях виднейшего руководителя Временного Правительства... Конец его карьеры известен... Смотря, бывало, на него, странно и больно было мне сознавать, что этот маленький, худенький, нервный политический смутьян и болтун мог быть сыном почтенного Феодора Михайловича. Продолжу свои воспоминания про педагогический персонал Симбирской классической гимназии.

Особенно запечатлелась в моей памяти типичная фигура Ивана Яковлевича Христофорова, нового инспектора, коренным образом непохожего на бывшего моего инспектора по военной гимназии, образованного и благовоспитанного полковника Егора Ивановича Ельчанинова.

Происходя из духовного звания и окончив курс семинарии, Иван Яковлевич продолжал говорить на о и преподавал греческий язык с типичным бурсацким произношением. В непосредственном его ведении был гимназический пансион, содержащий в себе до 40 гимназистов, которых инспектор считал своей полной крепостной собственностью.

Ближайшим помощником Христофорова по части инспекторского сыска и наблюдения был помощник классных наставников — Иван Николаевич Романов, по прозвищу сыч. На самом

деле, редко можно было бы найти человеческую физиономию более схожую именно с упомянутой ночной хищной птицей, чем у этого Ивана Николаевича... При этом вся фигура его, костлявая, сутуло-согнутая действительно во многом напоминала ночного пернатого хищника... Немало ему, бедному, пришлось переиспытать за свою долгую службу от безжалостных школяров, чего-чего только не выдумывавших для извода своего неказистого и нелюбимого сыщика-надзирателя.

Учитель Александр Федорович Пятницкий, подготавливавший меня для вступления в классическую гимназию, вскоре скончался, и вместо него, для преподавание латинского языка был приглашен в старшие классы Павел Васильевич Федоровский, а в младших (до 5-го кл.) учил означенному предмету Николай Михайлович Моржов, красивый, яркий брюнет, с большой мелко-курчавой бородой, чрезвычайно симпатичный, взыскательный, но справедливый, а главное, интересный преподаватель. Не так приходится мне вспоминать о Павле Васильевиче Федоровском, к которому попали мы после Федора Михайловича Керенского, перешедши в 7-ой класс.

Лучшие ученики класса Ф.М.Керенского, попав к Федоровскому, за первую четверть еле-еле натянули среднюю тройку. Волей-неволей, пришлось всем нам выучить на зубок конспект латинской грамматики, составленный бездарным Федоровским, и бормотать ему, кстати и некстати, его латинскую мудрость. За полгода подобного преподавание наш класс стал неузнаваем; вместо интереса к чтению классиков, мы стали смотреть на часы Федоровского, как на неизбежное зло.

Всех нас нервировало самое появление этого чижа (прозвище Федоровского). Семена и прискакивая своими маленькими ножками, Павел Васильевич стремительно, взлетал на высокую кафедру и, не успев еще открыть журнала, как-то кряхтя

и все время причмокивая, начинал вызывать кого-либо из учеников для ответа на заданный накануне урок. Стоило ученику немного замяться, как чиж, все время ерзая на стуле и мотая беспрестанно головой, сразу выкрикивал целую серию фамилий на подмогу. В результате получалась сплошная неразбериха ответов, волнение самого Федоровского, и журнал уснащался целой фалангой всяческих отметок.

Павел Васильевич был до крайности пристрастен: были у него любимцы, но были ученики, к которым несправедливая придирчивость его не знала границ, за что однажды он жестоко поплатился. Один из моих товарищей, доведенный подобными придирками до состояния лютого озлобления, перед приходом его в класс, взял и воткнул в сиденье учительского стула иголку. Чиж прилетел и сразу же наскочил на предуготовленное орудие мести. Пришлось бедному юноше покинуть гимназию.

Греческий язык с 3-го класса и до окончания курса преподавал нам Иван Алексеевич Ежов — крепкий мужчина средних лет и роста, худой, у которого вся наружность была рыжая. Походка и речь его были всегда размеренно-спокойными. Никогда не видали мы его чрезмерно раздраженным, но вместе с тем никто Ежова не замечал когда-либо улыбавшимся. Дельный, обстоятельный преподаватель, Иван Алексеевич был необычайно строг и требователен, считался грозой гимназии и пятерки никому не ставил, шутя говоря, что он сам на высший балл своего предмета не знал. В старших классах Ежов сделал исключение лишь Вл. Ульянову (будущий Ленин).

Историю и географию преподавал нам милый, симпатичный Николай Сергеевич Ясницкий — молодой, высокий, худой, с умным, рябоватым, почти безусым лицом и прекрасными, светлыми, вьющимися волосами. Николай Сергеевич знакомил нас

с сущностью его предметов с увлечением, часто не ограничиваясь кратким содержанием официальных учебников. Недостаток его заключался в излишней торопливости речи и крайней нервности всего его поведения.

Новые языки преподавали нам: немецкий — Яков Михайлович Штэйнгауэр; французский — Адольф Иванович Пор. По поводу первого надо сказать так: сколько лет существовала в Симбирске сама гимназия, столько и состоял при ней учителем немецкого языка почтеннейший и милейший Яков Михайлович, успевший издать свой собственный учебник, очень распространенный во всем Казанском Учебном Округе. Дослужившийся до статского советника и шейного Владимира, Штэйнгауэр был настоящий ветеран по педагогике, всеми уважаемый и любимый. Его ученики мало боялись, но все же занимались его предметом в общем добросовестно. Ко мне лично старик относился особенно мило и сердечно, но, увы, слишком снисходительно, никогда почти меня не спрашивая, в силу чего за шесть лет гимназического курса я значительно перезабыл язык.

Французский язык проходили мы под руководством Адольфа Ивановича Пора — высокого, здоровенного швейцарца, довольно красивого брюнета с тщательно расчесанными густейшими волосами на голове и раздвоенной плотной который умел нас, школьников, заставлять заниматься и слушаться.

Что было исключительно плохо поставлено в гимназии и чего еще не мог или не успел Керенский реформировать и улучшить — это преподавание математики, представителями коей были какие-то ископаемые экземпляры, вроде старика Н.М.Степанова и полусумасшедшего А.Э.Федотченко, Первый был древний старик, еле ходивший, довольно благообразной внешности, белый как лунь, с широкой русской бородой. Преподавал он в младших классах скучно, нудно, заражая всех

своей собственной нелюбовью к преподаваемому предмету, который, видимо, надоел ему самому до тошноты. Благодаря этому, развлечение ради, старик, вместо преподавания, вдавался в разные посторонние разговоры и препирательства с мальшами, а сии последние, праздности ради, в свою очередь, тоже не оставались в долгу, приготавливая, время от времени, старику разные бенефисные представления, вроде того, что запускали в класс перед его приходом разных пичужек, благодаря чему весь урок проходил в ловле таковых под аккомпанемент изысканных ругательств картавого старика.

От Степанова дети переходили к учителю математики и физики в старших классах, А.Ф.Федотченко (или Федот, как его сокращенно именовали гимназисты). До сих пор для меня является загадкой, как могли держать преподавателем, да еще математических наук, такого до комизма странного, я бы сказал — душевнобольного субъекта, каким был Федотченко. Начать с того, что он страдал болезнью — боязнью пространства.

Придя в класс, он, бывало, начнет спрашивать. Ученик давно кончит свой ответ, а Федот все еще чего-то ждет, видимо думая совершенно о другом. Отметки ставил он часто не попадая, в несоответствии с справедливой оценкой знаний. Урок задавал больше по учебнику, если же, бывало, начнет сам объяснять, то обращаясь к классу, он все время заглядывал в тот же учебник, без помощи которого он двух слов не мог связать...

Надо удивляться, как терпели таких учителей и как еще находились такие товарищи, правда, единицы, вроде моего кузена гр. Вл.Толстого, которые по окончании Симбирской гимназии, шли в Университет на математический факультет! Очевидно, к этому влекло собственное их природное призвание, а не результат преподаваний Степановых и Федотченко!..

После дружной товарищеской семьи военной гимназии мне было на первых порах нелегко привыкнуть к новой весьма пестрой среде моих одноклассников по классической гимназии. Там большинство было тесно связано единством происхождения (дети офицеров), воспитания и возраста, в результате чего все в классе быстро сходились на товарищеское ты, остававшееся на всю последующую их жизнь. Здесь же, в гражданской школе, я застал полное различие во всех упомянутых отношениях; поэтому замечалась некоторая натянутость в товарищеских взаимоотношениях, и если проявлялось какое-либо более тесное сближение, то таковое усматривалось между юношами, имевшими между собой ту или другую лишь групповую, а не внеклассную общность. Дети чиновников всяких рангов, дворянских, купеческих, мещанских, крестьянских семей, служащих всяческих профессий, чернорабочих — все это мешалось в одном общем здании и классе, приурочиваясь к одному совместному обучению.

В нашем третьем классе я застал 30 учеников, из которых дошло до выпускных гимназических экзаменов не более половины.

Центральной фигурой во всей товарищеской среде моих одноклассников был несомненно Владимир Ульянов, с которым мы учились бок о бок, сидя рядом на парте в продолжение всех шести лет, и в 1887 году, окончили вместе курс. В течение всего периода совместного нашего с ним учения мы шли с Ульяновым в первой паре: он — первым, я — вторым учеником, а при получении аттестатов зрелости он был награжден золотой, я же серебряной медалью.

Маленького роста, довольно крепкого телосложения, с много приподнятыми плечами и большой, сдавленной с боков головой, Владимир Ульянов имел неправильные — я бы сказал

— некрасивые черты лица: маленькие уши, заметно выдающиеся скулы, короткий, широкий, немного приплюснутый нос и вдобавок — большой рот, с желтыми, редко расставленными, зубами. Совершенно безбровый, покрытый сплошь веснушками, Ульянов был светлый блондин с зачесанными назад длинными, жидкими, мягкими, немного вьющимися волосами.

Но все указанные выше неправильности невольно скрашивались его высоким лбом, под которым горели два карих круглых уголька. При беседах с ним вся невзрачная его внешность как бы стусевывалась при виде его небольших, но удивительных глаз, сверкавших недюжинным умом и энергией. Родители его жили в Симбирске — отец Ульянова долгое время служил директором Народных училищ. Как сейчас помню старичка елейного типа, небольшого роста, худенького, с небольшой, седенькой, жиденькой бородкой, в вицмундире Министерства Народного Просвещения с Владимиром на шее...

Ульянов в гимназическом быту довольно резко отличался от всех нас — его товарищей. Начать с того, что он ни в младших, никем более в старших классах, никогда не принимал участие в общих детских и юношеских забавах и шалостях, держась постоянно в стороне от всего этого и будучи непрерывно занят или учением или какой-либо письменной работой. Гуляя даже во время перемен. Ульянов никогда не покидал книжки и, будучи близорук, ходил обычно вдоль окон, весь уткнувшись в свое чтение. Единственно, что он признавал и любил, как развлечение, — это игру в шахматы, в которой обычно оставался победителем даже при единовременной борьбе с несколькими противниками. Способности он имел совершенно исключительные, обладал огромной памятью, отличался ненасытной научной любознательностью и необычайной работоспособностью. Повторяю, я все шесть лет прожил с ним в гимназии бок о

бок, и я не знаю случая, когда Володя Ульянов не смог бы найти точного и исчерпывающего ответа на какой-либо вопрос по любому предмету. Воистину, это была ходячая энциклопедия, полезно-справочная для его товарищей и служившая всеобщей гордостью для его учителей.

Как только Ульянов появлялся в классе, тотчас же его обычно окружали со всех сторон товарищи, прося то перевести, то решить задачку. Ульянов охотно помогал всем, но насколько мне тогда казалось, он все же недолюбливал таких господ, норовивших жить и учиться за чужой труд и ум.

По характеру своему Ульянов был ровного и скорее веселого нрава, но до чрезвычайности скрытен и в товарищеских отношениях холоден: он ни с кем не дружил, со всеми был на вы, и я не помню, чтоб когда-нибудь он хоть немного позволил себе со мной быть интимно-откровенным. Его душа воистину была чужая, и как таковая, для всех нас, знавших его, оставалась, согласно известному изречению, всегда лишь потемками.

В общем, в классе он пользовался среди всех его товарищей большим уважением и деловым авторитетом, но вместе с тем, нельзя сказать, чтоб его любили, скорее — его ценили. Помимо этого, в классе ощущалось его умственное и трудовое превосходство над всеми нами, хотя надо отдать ему справедливость — сам Ульянов никогда его не выказывал и не подчеркивал.

Еще в те отдаленные времена Ульянов казался всем окружающим его каким-то особенным... Предчувствие наши нас не обманули. Прошло много лет и судьба в самом деле исключительным образом отметила моего тихого и скромного школьного товарища, превративши его в мировую известность, в знаменитую отныне историческую личность — Владимира Ильича Ульянова-Ленина, сумевшего в 1917 году выхватить из рук без-

вольного Временного Правительства власть, в несколько лет путем непрерывного кровавого террора стереть старую Россию, превратив ее в СССР-ию, и произвести над ней небывалый в истории человечества опыт — насаждение коммунистического строя на началах Ш-го Интернационала. Ныне положен он в своем нелепом надгробном Московском мавзолее на Красной площади для вечного отдыха от всего им содеянного...

Наследство оставил Ульянов после себя столь беспримерно-сложное и тяжелое, что разобраться в нем в целях оздоровление исковерканной сверху до низу России сможет лишь такой же недюжинный ум и талант, каким обладал, отошедший ныне в историю, гениальный разрушитель Ленин.

Недавно мне принесли номер газеты За свободу от 2 июня 1924 года, небезынтересный для характеристики Ульянова в описываемое мною время. В статье, озаглавленной: Аттестат зрелости Ленина (подлинный документ, хранящийся в Институте Ленина в Москве), — помещен текст протокола о допущении к экзаменам Владимира Ульянова и его аттестат зрелости, а в особом примечании к упомянутому протоколу имеется приписка: Ульянов и Наумов полагают наибольшие надежды на дальнейшие успехи. Оба заявили, что они желают поступить на юридический факультет. Ульянов — на Казанский и Наумов — на Московский. Кроме того, директор Симбирской гимназии Ф. Керенский написал Ульянову обширную рекомендацию, в которой, между прочим, говорится, что после смерти отца, мать Ленина сама сосредоточила все свое внимание на воспитании сына. Основой воспитания была религия и разумная дисциплина. Рекомендация Керенского кончается следующей фразой: Мать Ульянова предполагает не оставлять сына без своего надзора и во время университетских занятий. Эта рекомендация была нужна для того, чтобы Ульянов, после казни его брата

Александра, был принят без подозрений в Казанский Университет.

Воистину — пути Божии неисповедимы!

11

В детстве я рос довольно слабым ребенком. Таким же оставался я и в младших классах, несмотря на мой вид полненького, румяного во всю щеку, мальчика. Как-то раз, будучи в 4 классе, вступив в общее побоище с противником⁶, я очутился лицом к лицу с неприятелем-гимназистом, которого я терпеть не мог за постоянные ко мне приставания, вышучивание и издевательства. Воспользовавшись моментом военных действий, я хотел, как говорится, свою душу отвести и закатил ему здорового (так, по крайней мере, казалось мне) тумака, но увы, не успел опомниться, как сам получил сдачу, да при этом такую сильную, затрещину что очутился растянувшимся где-то в углу под партой с разбитой физиономией... Раздался общий хохот, и столь знакомый мне отвратительный насмешливый голос моего счастливого соперника: Туда же дрянь лезет драться! Вот и валяйся теперь там, барская косточка!.

С раннего детства самолюбивый, я долго не мог отойти от пережитых под партой своих унижений, затаив в детском маленьком обиженном сердчишке неудержимое чувство мщенья, которое вылилось у меня вскоре в определенное сознание самой срочной необходимости начать вырабатывать из себя фи-

6 Обычно враждовали два отделения одного и того же класса, т.н. нормальные и параллельные, которые после VI класса сливались в один. (прим. автора)

зически сильного человека. И вот, с 14 лет начал я над собой работать в этом смысле, пользуясь советами опытных людей, причем со стороны отца я встретил полное сочувствие и поддержку, благодаря чему рядом с моей комнатой в проходной большой комнате, где раньше спали мои братья, отец устроил мне все необходимые приспособление для гимнастических упражнений (лестницу, кольца, трапецию, турник, козлы и пр.).

С раннего утра я сбегал вниз во двор к дворнику Федору, колол, пилил дрова, затем проделывал разные гимнастические упражнения; в этом отношении советами много помог мне брат Николай — сам прекрасный гимнаст. В спальне у меня на почетном месте появились гири. Упражнялся я во всякое время, сильно увлекаясь своим новым спортом и, тихо про себя, радуясь несомненным своим достижениям.

Само собой, я решил выступить на арену мщения не торопясь, когда я смогу почувствовать себя силачом (почетнейшее в то время среди гимназистов наименование некоторых счастливых). Летние каникулы тоже проходили у меня все время в физических упражнениях: верховой езде, ежедневной гребле, ходьбе, бегании, рубке, пилке, работе в разных мастерских, саду и пр.

Все это любовно и сознательно проделывалось мною. Впереди была одна мечта - быть силачом! В самом деле, креп я сам у себя на глазах и не только физически, но и духом — на самом себе испытывая правильность мудрого латинского изречения: *mens sana in corpore sano*⁷. Работая так над собой, я в классах

7 В здоровом теле здоровый дух. (лат.)

сторонился от братоубийственных стычек, предоставляя заклятым борцам продолжать считать меня в этом отношении ничтожеством, дрянью...

Но вот в 7-м классе, когда мне минуло 17 лет, случилось нечто неожиданное для моих друзей и главное недругов, но очевидно заслуженное за многолетнюю мою упомянутую подготовку. Тот самый задира, которому я был обязан начатым своим физическим саморазвитием, на глазах многих товарищей так стал ко мне приставать, что я решил нарушить, наконец, свое долготерпение. Результат превзошел все мои ожидания и ошеломил присутствующих... Поражение моего давнего противника оказалось полное — под партой, вместо меня, теперь очутился он сам; разница была только в годах: тогда мне было всего 14 лет, а теперь валялся на полу 18-тилетний детина.

С тех пор я ощущал вокруг себя мир и благодать, прослыв за силача.

Гимнастику свою после описанного акта отмщения я не только не забросил, но продолжал еще усиленнее ею увлекаться, особенно в годы студенчества, не оставляя укоренившейся привычки к ежедневным физическим упражнениям до весьма почтенного возраста, чуть ли не до нового своего звания дедушки...

Оглядываясь на много десятков лет назад, я не могу сказать, чтоб у меня остались какие-либо плохие воспоминание о моих бывших товарищах-одноклассниках. Среди них не было ни особенных озорников, ни особо досаждавших задир. В общем, отношения со всеми ними лично у меня были самые добрые, а с некоторыми даже задушевно-дружеские, как например, с Владимиром Варламовым.

С ним объединяла нас общая страсть к театру. Вместе участвовали мы в любительских спектаклях, читали друг другу излюбленные произведения русских классиков и пр. Дружба с ним еще более окрепла во времена совместного нашего студенчества и оставалась на всю нашу жизнь. По окончании курса Московского Университета, Варламов пошел по Судебному Ведомству — сначала был судебным следователем, затем членом Симбирского Окружного Суда. При общей эвакуации в 1917 — 1918 г., во время большевистской революции, он, как и все симбиряки, попал в Сибирь, где спустя два года скончался от тифа.

Среднего роста блондин, худощавый, Володя Варламов обладал на редкость подвижной физиономией и несомненным талантом забавного комика, умевшего артистически пересказывать всевозможные анекдоты, имитировать, подмечать смешные стороны людей и т.д. При всем этом, Володя обладал исключительно благодарным голосом, модуляция коего не знала пределов: то слышишь бывало низкий трескучий басок, то при пересказах бабьих разговоров звучали женские голоса. Трудно забыть, каким всеобщим хохотом обычно сопровождалась передача Володи всяческих анекдотов из обширного его бабьего репертуара, хотя бы, например, такого краткого, кажется, из Горбуновских рассказов, диалога, повстречавшихся двух старушек из простонародья: — Слышала? — Что? — Папа-то Римская! — Ну? — Родила! — Ох грехи тяжкие! Надо было при этом видеть и слышать самого рассказчика, его мимику и бабью интонацию, чтобы понять неотразимость его комического дарования.

Запас всяческих рассказов и прибауток был у него неистощимый, но пошло-скабрязного он не любил, отдаваясь всей душой, главным образом, чтению и изучению русской классической драмы. Играли мы с ним также Горе от ума: он — Фамусова,

я — Чацкого. Знали мы Грибоедова наизусть, часто его декламируя друг другу в свободное время. Любили мы и других драматических классиков — Пушкина, Алексея Толстого. Само собой, Ревизора знали от слова до слова, причем в исполнении Хлестакова, мы с ним сильно соперничали.

Попав в Москву, Володя встретился со своим дядюшкой — знаменитым артистом Императорской сцены К.А.Варламовым. Сам Володя происходил из старой дворянской семьи. Отец его, Александр Дмитриевич, чуть ли не полных четверть века служил в г. Сенгилее Симбирской губернии исправником и пользовался в своей округе всеобщим уважением и любовью. По совету своего дядюшки, Володя, будучи студентом, поступил в драматическую школу, находившуюся под управлением тоже знаменитого артиста Московского Малого театра — М.П.Садовского. Школа эта помещалась в театре Мошнина в Каретном Ряду. Варламов впрочем не долго пробыл в ней, разочаровавшись в условиях преподавания и работы. Дарование осталось при нем. Впоследствии удовлетворял он себя, участвуя в ряде любительских спектаклей в Москве, а потом, состоя уже на службе по Судебному Ведомству, — в своем родном Симбирске, где был женат, но неудачно.

Не могу не вспомнить среди бывших моих приятелей-одноклассников певцов: Писарева, Прушакевича и Дардадьонова — тенора, баса-октавы и баритона, которые считались главными устоями гимназического церковного хора. Действительно, все они превосходно пели на клиросе и в особенности отличались при исполнении великопостного Да исправится молитва моя...

12

Осенью 1881 года, т.е., в год вступления моего в 3-й класс Симбирской классической гимназии, я оставался в нашем доме, на Большой Саратовской, у моих родителей один. Старший брат Димитрий в то время хворал, как об этом ранее я упомянул, а брат Николай поступил в Петербурге в Михайловское Артиллерийское Училище. Я жил наверху, имея в своем распоряжении три комнаты и две боковые галереи.

Из одной из них открывался редкий по своей красоте и грандиозности вид на долину Волги, вплоть до Сентилеевских гор.

Великий след на весь уклад моего духовного нутра оставила эта незабываемая панорама, открывавшаяся из окон домашней нашей галереи на Волжскую ширь и весь ее величественный простор.

Волга, Волга — мать родная! С тобой связана вся моя жизнь с колыбели; на тебе я рос и мужал; на твоём просторе развивал я свои силы и вольную душу; в твоих стихиях закалял свой характер и черпал запасы энергии и неустрашимости!.. Без тебя я скучал и тосковал, привыкнув тобою всегда любоваться. Ушел Симбирский дом, я выстроил новый в Самаре из твоих же Жигулевских камней да так, чтоб опять наслаждаться без конца твоей родной для меня бесконечно чарующей стихией и жизнью...

В небольшой моей комнате, где я спал и занимался, все было просто, но уютно. Имелась небольшая, складная металлическая кровать, скромный стол для занятий с керосиновой лампой и этажеркой для книг, крашеный железный умывальник с ножной педалью, в углу круглая железная печь, выкрашенная в золотую краску.

Усадебное городское место наше было огромное. С одной стороны дома имелся обширный двор, на котором были расположены конюшни, коровник, каретный и дровяной сарай, погреб и пр. За перечисленными постройками простирался большой пустырь, заросший бузиной и репейником. По другую сторону дома шел, пространством с добрую десятину, если не больше, наш столь памятный мне сад, расположенный вдоль всей Старо-Театральной площади вниз до начала Петро-Павловского спуска, ведущего из города к Волжским пристаням.

Отец не держал особого садовника, а имел для всего своего усадебного хозяйства одного служащего — дворника Федора, удивительно осмысленного и работающего человека, которого я очень любил и от которого я многому с раннего детства научился по части дворовых и садовых работ. Первая моя рубка, колка дров, копанье гряд и пр. прошли под его руководством. Среднего роста, кряжистый, смуглый, красивый, с черными кудрями и небольшой русской бородкой, Федор отличался ровным характером и особого рода, если можно так выразиться, благовоспитанностью по отношению к своим господам. Неразлучными спутниками его были две собаки: одна цепная — большой, желтый с розовой мордой Гектор, и другая маленькая, мохнатая дворняжка с закорючкой вместо хвоста, именовавшаяся Мухтаркой.

На конюшне царствовал неизменный кучер Иван, любивший себя величать Иваном Николаевичем Исподниковым. Среднего роста, плотный, краснолицый брюнет с небольшой бородой, Иван, несмотря на свою природную дурковатость, любил распространяться на ученые темы и говорить о политике. По служебной части он был старателен, но предпочитал ездить на привычных и покойных лошадях.

На кухне хозяйничал повар Михайло под названием курносый — мастер своего дела, особенно по части всевозможных пирогов, закусок и копченых стерлядей.

В доме прислуживал тоже Михайло — небольшой блондин с большими лакейскими усами, научившийся от братьев разным юнкерским выражениям, из которых излюбленным у него было: Эн удовольствий (выговариваемым им иен удовольствием). Женской прислугой была буфетчица Дуняша, на которой Михайло потом женился, а при маме, в качестве ее горничной и экономки, состояла Софья Трифоновна с дочкой Надей, любившая всюду совать свой нос, подсматривать и подслушивать. Худая, с большими карими глазами за очками, прикрытая старомодным кружевным чепцом, Софья Трифоновна была всеми нелюбима, что, впрочем, не мешало ей неслышно всюду и всегда как бы невзначай появляться.

Будничный день мой начинался с 7 ч. утра зимой и с 6 ч. утра в летнее время. Умывшись, первым долгом проделывал обычные свои упражнения на домашней гимнастике. Одевшись, сбегал на двор к Федору, успевал попилить, порубить дров, а в теплое время поработать даже немного в саду и огороде. В 8 часов утра пил чай с молоком и бутербродами, любил яйцо всмятку, особенно, когда милая моя Таташа жила с нами по зимам. Бывало добрая моя старушка, сидя в нижней столовой, сварит свеженькое яичко в любимый мой мешочек, очистит его кончик и ждет сверху своего Шушу...

Захватив в ранец холодный завтрак, из тех же бутербродов, садишься, чтоб ехать в гимназию, к кучеру Ивану на дрожки или в санки с высокой ковровой спинкой, — каковые я видел лишь в Симбирске в помещичьих домах.

Уроки в гимназии начинались с 9 часов утра. Предварительно за 14 часа все учащиеся собирались в церковном зале на

молитву; затем с пятиминутными перерывами до 12 ч. проходило 3 урока, после чего от 12 до 12 12 была т. н. большая перемена, во время которой завтракали. С 12 12 ч. по расписанию полагалось еще 2 урока, которые к 2 ч. дня кончались, и мы возвращались домой обычно пешком, гурьбой, с шумом и гамом вываливая с гимназического двора.

Обедали мы все вместе обычно в 3 часа в столовой. Часто бывали гости, старшие засиживались, а я, поблагодарив родителей, поднимался к себе наверх и принимался за уроки, которые, кстати сказать, задавали нам в объемистых размерах, так что до вечернего чая еле-еле удавалось их одолеть. Репетиторов у меня никогда не было. Господь помогал мне одному справляться с школьным делом, не обременяя и не беспокоя родителей, вносивших лишь ежегодно за меня сначала по 40 р., а затем по 60 р. за весь учебный год... Занятия мои шли удачно. Переходил я из класса в класс с наградами, окончил, как я раньше сказал, с медалью.

Два раза в неделю, по вечерам, приходил ко мне учитель скрипичной игры, Антон Осипович Крыжевинский. Музыку я любил с раннего детства. Сначала обучала меня игре на рояле гувернантка Изабелла Ивановна, но, увы, ее способ занятий меня надолго отвратил от сего инструмента; и лишь спустя много лет, когда в Москве я стал брать уроки пения, я стал сам себе аккомпанировать и мало по малу так приохотился к роялю, что к 24 годам свободно разбирал ноты и мог проигрывать *à livre ouvert* целые оперы. В 14 лет мне очень хотелось научиться играть на скрипке; родители пошли навстречу и вот приглашен был ко мне в качестве учителя вышеупомянутый Антон Осипович, в то время дававший в Симбирске уроки во многих домах — кому на скрипке, кому на виолончели, и даже на рояле.

Сам Антон Осипович был превосходный скрипач, выступал нередко в концертах и доставлял слушателям своей игрой высокохудожественное наслаждение. Будучи польского происхождения, он в числе многих, после шестидесятых годов, был выслан из Польши и поселился в Симбирске со всей своей семьей.

Мало-помалу, одолев все первоначальные технические трудности, я потом сильно увлекся своим инструментом, тем более, что благодаря тому же Антону Осиповичу, удалось почти за даром, по случаю, приобрести драгоценнейшую скрипку Антония Гварнериуса, подлинную редкость с отметкой внутри: *Antonius Guarnerius faciebat in Cremona an. 1726*, с которой я никогда потом не расставался и которую в ноябре 1917 года уничтожила все та же большевистская бесовщина.

Впоследствии дошел до нас слух, что музыкальные наши инструменты в имении: рояли Блютнера и Стэнвэй, отцовская виолончель Вильома, моя скрипка, чудная фисгармония были в том же году вдребезги разбиты, как господская буржуйная за-
тея...

Помимо домашних выступлений соло или трио с братьями Ухтомскими, Антон Осипович меня выпускал под конец даже на больших благотворительных концертах. Помню как приходилось в качестве солиста участвовать в парадном любительском концерте в губернаторском зале у Долгово-Сабуровых, в котором я исполнял трудный концерт Мендельсона. Затем я выступал совместно с отцом (виолончель), матерью (рояль) и Николаем Беляковым (фисгармония) в квартете из последнего акта оперы Риголетто на благотворительном концерте, дававшемся в огромной красивой зале Симбирского Дворянского Собрани-
я.

Воскресные и праздничные дни проходили у меня обычно в сообществе моих сверстников — родных и друзей. В числе первых, прежде всего, были двоюродные мои братья, князья Ухтомские, Михаил и Александр; затем троюродные: Александр Беляков, Михаил Валуев, гр. Толстые и наконец, в качестве ближайших друзей: Герман Молоствов, братья Депрейс, Михаил и Николай, и Сергей Быков. Александр Беляков или Капка, как его все звали, рано нас покинул навсегда, скончавшись 14 лет от аппендицита. Это был смуглый, живой, немного озорной, но милый мальчик, большой любитель ловли птиц, каковым спортом мы нередко с ним занимались около их сада на обширном в то время совершенно запущенном, городском месте, около знаменитого Венца — обычного места гулянья Симбирской публики, с которого открывался изумительный по красоте вид на Волгу и далекое наше Заволжье.

Ухтомские и Беляковы были наиболее близкими и дружными с нами семьями. С Михаилом и Александром Ухтомскими я рос как с родными братьями; постоянно мы бывали друг у друга, играли, веселились, совместно занимались музыкой, съезжались по летам, охотились и т.д.

Михаил был старше Александра на год и отличался с ранних лет любовью к хозяйству и ко всякой живности — лошадям, коровам, собакам и пр. В науках зато он мало преуспевал и, в конце концов, вынужден был выйти из старших классов военной гимназии, после чего он весь отдался своему любимому призванию — хозяйству, тем более, что к тому времени его отец князь Николай Николаевич скончался, и Михаил стал естественным помощником своей матери.

Впоследствии ему было выделено имение Китовка с отличной землей и прекрасными луговыми угодьями по р. Свияге, где он хозяйничал самостоятельно и вскоре обзавелся хозяйкой в

лице миловидной светлой блондинки — Клавдии Михайловны (урожденной Есиповой), обладавшей прекрасным сопрано и мечтавшей одно время о сцене, но счастье их недолго продолжалось.

Года через два Клавдия покинула своего хозяйственного супруга и опостылевшую ей Китовку; вскоре простудилась и скончалась от злой чахотки, а Михаил мало-помалу превратился из сельского хозяина в мелкого торгаша и робкого грошового спекулянта по разнообразнейшим отраслям. Все это отразилось невыгодно и на нем самом, на складе его характера и умственном его кругозоре. На меня, по крайней мере, в последнее наше свидание с ним (в июле 1917 г.) он произвел впечатление человека замкнутого и, я бы сказал, сильно опустившегося. Впоследствии до меня дошли слухи, что он при большевиках скончался.

Князь Александр резко отличался от брата во всех отношениях. Начать с того, что Михаил рос крепышом, Александр же с раннего детства не мог похвалиться своим здоровьем, был всегда худ и бледен.

Будучи по природе своей очень способным, он не в пример брату своему, шел в гимназии одним из первых учеников, много читал, любил музыку, играл хорошо на рояле. Перейдя в Университет, сначала в Петербургский, а потом через год — в Московский, Александр поселился с нами вместе и с этого времени, главным образом, создалась и окрепла наша дружба.

Он отличался всегда широтой своих взглядов, идеалов и поступков, и эти качества и выдвинули его в последующее время его жизненной карьеры в ряды наиболее видных местных общественных деятелей. По сдаче государственных экзаменов, Александр поступил на должность Земского Начальника, женился на местной состоятельной барышне, Анне Валерьяновне

Назарьевой, и вскоре, разделившись с братом Михаилом, получил в свое полное распоряжение при с. Репьевке, в 40 верстах от г. Симбирска, прекрасное материнское имение, обширное, черноземное и благоустроенное. Спустя много лет, он был избран Председателем Уездной Земской Управы, и на этой должности застала его революция. Князю Александру со всей семьей (сын и две дочери) пришлось эвакуироваться в Сибирь, а затем, после падения Колчака, продвинувшись дальше до Харбина.

В семье Ухтомских, кроме братьев, были две сестры: княжна Евгения, которая была старшая из детей, и княжна Елизавета, самая младшая.

Княжна Елизавета вышла потом замуж за кавалериста Пифиева, сына Симбирского полицмейстера — здорового, смуглого, довольно красивого молодого человека, оказавшегося вскоре грубым забулдыгой, бесцеремонно третировавшим свою несчастную супругу, что не мешало ему одновременно весело проводить время на стороне. Наплодив кучу детей, Пифиев довел в конце концов бедную Лизу до состояния душевной болезни, и она покончила свою жизнь самоубийством.

Княжна Евгения осталась старой девой и жила безразлично со своей старухой матерью, сначала помогая ей по хозяйству, а под конец, ухаживая за ней во время ее старости и болезни. Это была прекрасная во всех отношениях девушка — чистая, добрая и любящая, с выдающимися хозяйственными способностями и отличавшаяся необыкновенной заботливостью о всех своих родных и близких. После смерти матери она унаследовала городской дом в Симбирске, на Покровской улице, с садом, с аллеями из лип, вязов и акаций, имевший в общем запущенный вид.

С домом Ухтомских у меня связано немало воспоминаний, относящихся ко времени моей гимназической жизни. Живя любовно и дружно с моими двоюродными братьями, Сашей и Мишей, и также с обеими моими кузинами, часто с ними видаясь, я, бывало, целыми днями по праздникам проводил у них; вместе бегали мы по саду, играли на дворе, любили ходить по конюшням, вникать в хозяйственные заботы и дела, танцевали в небольшой квадратной домовый зале. В ней же устраивались нередко домашние сцены и разыгрывались наши любительские спектакли.

Беляковская семья состояла из отца, — дяди моего Феодора Афанасьевича, его жены Марьи Ивановны (урожденной княжны Гагариной) и детей: Николая, Михаила, Александра и дочерей: Марии и Ольги.

Феодор Афанасьевич приходился двоюродным братом моей матери и троюродным — отцу, так как мать его, Евгения Алексеевна была урожденная Наумова, родная сестра княгини Елизаветы Алексеевны Ухтомской. Жили они в большом белокаменном двухэтажном особняке, расположенном вблизи Венца, на возвышенном месте, над самым склоном городской Симбирской горы, с которого открывался великолепный вид на Волгу и Заволжье. Дом был старинный и представлял собой настоящую старопомещичью усадьбу со всяческими хозяйственными службами, конюшнями, коровниками и пр., причем от самого дома спускался довольно круто к Волге огромный плодовый сад. Дядя Феодор Афанасьевич вспоминается мне в виде плотного, солидного мужчины довольно высокого роста, с выразительным, умным лицом, большими карими красивыми глазами и ровно подстриженными усами. Он служил в Симбирском Земстве в качестве Члена Губернской Земской Управы,

слыл за дельного хозяина, а главное, за прекрасного знатока-коннозаводчика.

Феодор Афанасьевич скончался скоропостижно в молодых годах. У него было три брата: Николай Афанасьевич, бывший гусар, женившийся на цыганке; Петр Афанасьевич — силач, жуир, с внешностью стареющего Дон Жуана помещичьего стиля, страстный охотник и игрок, необычайно темпераментный. Он где-то и как-то жил, незаметно с горизонта Поволжского, в конце концов, исчезнув. Привычным восклицанием его в разговорах было странное слово: Рамбац!, которое нередко употреблялось, по крайней мере, в нашем Ставропольском уезде, в виде клички самого его изобретателя.

Я знал двух сестер покойного дяди Феди: Евгению Афанасьевну, бывшую замужем за Никанором Александровичем Анненковым, Симбирским помещиком, земским гласным, дворянином и симпатичным добряком, и другую — вдову Леониду Афанасьевну Ратаеву — смуглую, крупную, полную женщину, необычайно темпераментную, с большими, круглыми, карими глазами, удивительно добрую и симпатичную, бывшую наилучшим и ближайшим другой моей матери.

Тетя Леонида была хорошая музыкантша и обладала в молодости прекрасным меццо-сопрано, часто выступая в благотворительных концертах и в домашнем кругу своих знакомых.

Супруга Феодора Афанасьевича Беякова, тетя Марья Ивановна, после смерти мужа оказалась пожизненной владелицей оставшегося наследственного имущества и продолжала жить в том же Симбирском доме.

Зимой 1918 года ей пришлось проделать тяжелый путь в Сибирь, а затем, с падением Колчака, передвинуться с ее

детьми и внуками дальше на Восток, в Харбин, где она еще прожила несколько лет, и лишь в 1925 году, чуть ли не в 90 лет, отошла в иной, лучший мир.

В Симбирске жили две ее родные сестры: Александра Ивановна и Прасковья Ивановна. Была еще третья — Вера Ивановна, постоянно обитавшая за границей, в Каире. Обе Симбирские сестры были замужем за Языковыми, тоже родными между собой братьями: Александром и Василием, помещиками, но в общественной служилой жизни роли не игравшими.

Александра Ивановна была исключительно видной фигурой среди бывшей Симбирской аристократии, всей своей импозантной внешностью позируя на некоторое сходство с самой Великой Екатериной, В высоком седом парике, статная, с мелкими красивыми чертами слегка подрумяненного и припудренного лица, с непременными мушками на щеке или подбородке, Александра Ивановна отличалась парадностью в отношении костюмов и в смысле умения жить.

Принимала ли она у себя дома, появлялась ли сама в гостях, она вносила всегда струйку какого-то особого светского подъема и салонного житейского изящества. В свое время ее приемы, вечера, выезды и пр. считались лучшими, так же, как и кухня — самой изысканной. Супруг ее, Александр Петрович, и по характеру, и по внешности, мало общего имел с своей прекрасной половиной. Сестра ее, Прасковья Ивановна, после веселой, светской жизни как-то сразу с ней порвала и поступила в местный женский монастырь, тихо устроившись в особой своей келье.

Старшим сыном в семье Беляковых был Николай, сверстник брата моего Димитрия. Окончив вместе с ним Симбирскую Военную Гимназию, он поступил в Петербургское Павловское

Военное Училище, откуда вышел офицером в Лейб-Гвардии Измайловский полк. С ранней юности он проявлял музыкальные способности, играл на рояле и пел. Впоследствии, будучи офицером и обладая довольно красивым баритоном, Николай брал уроки пения у знаменитого Эверарди и готовился в мечтах своих на оперную сцену, но судьба по-своему решила и повернула всю его карьеру на совершенно иной путь.

Выйдя в отставку, Николай Федорович был избран, по памяти к заслугам его дельного отца, в члены Губернской Земской Управы, женился на дочери бывшего Симбирского Губернского Предводителя Дворянства М.Т.Теренина, чрезвычайно симпатичной Елизавете Михайловне. От этого брака у них был единственный сын Михаил, потом превратившийся в настоящего красавца-мужчину. Спустя несколько трехлетий, Николая Федоровича выбрали Председателем Симбирской Губернской Земской Управы, а после смерти В.Н.Поливанова, в члены Государственного Совета от местного Земства.

Помимо музыки, Николай Федорович, наряду со своими земскими занятиями, увлекался отцовской страстью к лошадям и конскому спорту, и в этом отношении он успел многое сделать, улучшив состав своего Ногаткинского завода и завоевав своим лошадям почетное место среди первоклассных, рекордных российских рысаков.

Брат Николая, Михаил Беляков, тоже прошел курс военной гимназии и затем Михайловского Артиллерийского Училища, по окончании которого вышел в офицеры 23-й Артиллерийской Бригады, где одно время служил вместе, с моим братом Николаем. Вскоре он по болезни вынужден был выйти в отставку и вернуться к своим в Симбирск. Это был человек серьезный, дельный, хозяйственный, точный и верный на словах и в поступках. Высокий, худой (в Училище недаром звали его палкой),

Михаил имел то, что принято называть породистой внешностью.

Совершенно еще юного Михаила Федоровича избрали в Симбирские Уездные Предводители Дворянства, где он сразу же проявил свои незаурядные деловые способности и привлекательные душевные качества. Вскоре он вынужден был покинуть эту службу за массой хозяйственных обязанностей по управлению делами и имуществом своей матери. Скромный, выдержанный, Михаил Иванович пользовался всеобщим уважением и любовью симбирского общества, что и выразилось избранием его в 1916 году Губернским Предводителем Дворянства. Но революция 1917 года захватила и его в числе других симбирцев, заставив бежать в Сибирь вместе с матерью и другими родными.

Моим сверстником в семье Беляковых был Александр или Капка, о котором я в своем месте упомянул. Неразлучной спутницей его детства была его сестра, Маня, годом его моложе, постоянная участница наших детских игр в их обширной городской усадьбе. Самой младшей в их семье была Ольга, на несколько лет моложе нас и рано отданная матерью в Москву, в Елизаветинский институт. С ней мне приходилось редко встречаться. Судьба столкнула нас во время революции в Крыму, когда она, измученная болезнью своего мужа, лежавшего в чухотке, имела вид совершенно больной старухи. Похоронив мужа, она бедная вскоре ослепла, и в таком состоянии добралась все же до своих семейных в Харбин.

Вернусь к старшей ее сестре — Марии, игравшей в годы моей юности исключительную роль, а по окончании Университета, волею судеб, оказавшей на всю последующую мою жизнь решающее значение, но об этом скажу позже...

Светлая шатенка с чудной косой, естественно вьющимися на лбу и висках волосами, среднего роста, статная, крепкая, Маня имела редко привлекательное лицо, не столько по внешним красивым его очертаниями, сколько по выражению ее умных, искренних, правдивых глаз, то искрящихся жизнерадостным весельем, то бездонно-темных в минуты огорчения. Глаза ее без утайки отражали сложность ее темперамента и вместе с тем, всю красоту ее вольной, но хорошей души... Характера она была веселого, но своенравного.

Кончина Александра Белякова на Маню сильно повлияла, долго и много она о нем тосковала, и это еще более сблизило нас с ней, так как в моем лице она видела некоторое отражение ее прошлой совместной жизни с братом.

Маня воспитывалась дома. Пробовали ее отдать в один из лучших пансионатов столицы, но вскоре она вернулась в свою семью и брала уроки на дому.

Домашняя обстановка Мани была самая патриархальная — масса старой прислуги и челяди, из которых наиболее памятны две Дарьи: Дарья Петровна — камер-фрейлина тети Марии Ивановны, важная, малокровная персона с белой туго-накрахмаленной наколкой на тонкой голове; и другая — Дарья Андриановна — горничная Мани, рябоватая, большеглазая, чрезвычайно подвижная, худая женщина, смотревшая на свою барышню, как на свою собственность, вникавшая и вмешивавшаяся во все мелочи ее жизни. В общем, Дарья Андриановна была добрая и милая женщина, и мы все ее любили.

Выросши из озорного мальчика в 16-тилетнюю красивую, здоровую, смугло-краснощекую девушку, Маня осталась по характеру своему вольницей и своенравной. Ее любимое занятие было общение с хозяйством, природой. Она обожала лошадей, собак, кошек, любила верховую езду и охоту. Все ее помыслы

сводились к деревне, деревенскому быту, а жизнь в городе она органически ненавидела... Тем не менее, по зимам, Мане приходилось жить в Симбирске, участвовать в общей городской жизни. Общества и веселья она не чуждалась, но сходилась лишь с теми, кто более или менее отвечал ее природным вкусам.

Маня Белякова была центром внимания всей нашей молодежи. Про себя могу лишь сказать одно: мои отношение к ней из детских дружеских вылились в старшем возрасте, приблизительно к 16-17 годам, в чувство более сложное и глубокое... Я ее полюбил так, как только может полюбить впервые забившееся чистое юношеское сердце. Зародившееся чувство я хранил в себе, как некую святыню, не только не говоря об этом ей, но стараясь всячески не выдавать себя. Надо думать, что чуткая Маня догадывалась об этом. Временами казалось отвечала она мне взаимностью, но вспоминаются и иные моменты, когда приходилось моему юному сердцу до известной степени страдать — и виновником тому был не кто иной, как Герман Молоствов, мой лучший друг из всей компании моих гимназических сверстников.

Герман, как и все его семейные, был смуглый брюнет, среднего роста, статный и красивый. Одетый в военную форму с иголочки, он умел себя держать франтовски и молодцевато. Бодрый и жизнерадостный, он всегда приносил с собой в общество веселый под ем и задор, а своим приятным юношеским баритоном, напевавшим чувствительные романсы, доставлял нам всем немалое удовольствие. Мы всегда делились друг с другом самыми задушевыми мыслями и сокровенными чувствами. Молоствов знал о своем увлечении, а он, в свою очередь в мельчайших, подробностях сообщал мне о своих нежных симпатиях к соседке по Казанскому имению Екатерине Нератовой.

В обществе барышень Герман пользовался большим успехом, ибо, помимо своей привлекательной внешности и природной жизнерадостности, он был еще искусным, элегантным танцором, с ума сводившим дам изумительным умением вальсировать и лихо гарцевать в мазурке. Недаром он готовил себя в кавалеристы!.. На вечерах мы с ним были почти постоянными визави, причем обычно попеременно приглашали Маню Белякову с ее любимой подругой Тосей Якубович.

Герман был в последнем классе корпуса, когда мне показалось, что Маня к нему становится равнодушной... Стало мне грустно тогда и тяжело не только по отношению к любимой мною Мане, но и к самому Герману, дружба с которым готова была порваться... Кончилось, впрочем, все благополучно, причем благотворную роль сыграла молодая наставница Мани — милая Варвара Никитишна, выяснившая всю неосновательность моих волнений и подозрений.

Окончив корпус, Герман переехал в Петербург, поступив в Николаевское Кавалерийское Училище. Тяжело было с ним расставаться, и тоскливо стало мне без него. Волею судеб, дороги наши разошлись. Сначала мы нежно и горячо переписывались, а затем мало-помалу и эта сторона нашей прошлой дружбы заглохла.

Братья Михаил и Николай Депреис были тоже Казанцы, принадлежа к почтенной дворянской помещицкой семье. Отец их, Петр-Николаевич, был крупный землевладелец Казанской и Уфимской губерний и служил по Губернскому Земству. Так же, как и Герман Молоствов, они воспитывались в кадетском корпусе и ходили к нам в отпуск по субботам, воскресеньям и праздникам. Позже Николай заделался Уфимским земским деятелем. С Мишей я более дружил.

Самым безудержным, и я бы сказал распущенным, членом нашей компании был троюродный мой кузен Михаил Валуев, по прозвищу Мишон. Что бы он ни делал — рассказывал ли, пел, хохотал, танцевал — все у него было как-то экспансивно, через край, шумно и, подчас, вульгарно, за что и доставалось ему много раз даже от барышень.

Мишон любил всем и каждому рассказывать всевозможные анекдоты и над всем потешаться, причем обладал выдающимся талантом быстро набрасывать удивительно схожие портреты-шаржи своих друзей и недругов. Отец его, Михаил Александрович, женатый на Вере Михайловне, урожденной Метальниковой, сочинительнице знаменитого романа А из рощи..., был крупным Симбирским помещиком и общественным деятелем, несмотря на свой огромный недостаток — тяжелую форму заикания.

В общем, Михаил Александрович был человек неглупый, сердечный и высоко порядочный, и за эти качества его местные люди уважали и любили, относясь снисходительно к его временами болезненной несдержанности.

У Мишона Валуева была сестра Верочка, воспитывавшаяся в Казанском Родионовском институте. Это была высокого роста хорошенькая шатенка, очень бойкая и кокетливая. Впоследствии она вышла замуж за сызранского помещика Алексея Александровича Толстого. Воспитанник Александровского Лицея, Алексей Александрович был человек образованный и неглупый, сумел после кратковременной службы Сызранским Земским Председателем сделаться Вице-Губернатором. Дальнейшая его карьера была приостановлена вспыхнувшей революцией, в которой он, так же, как и бедный Мишон Валуев, погиб от беспощадной кровавой расправы большевиков.

13

Все мои друзья и товарищи, воспитывавшиеся в военной гимназии, окончили курс тогда, когда я лишь перешел в седьмой класс Классической Гимназии, вследствие чего вся наша юношеская компания силою вещей расстроилась.

Горько и тяжело было нам всем друг с другом расставаться, а мне же даже несколько обидно, так как я невольно сознавал, что все мои друзья-кадеты едут в столицы, надевают форму юнкеров, следовательно становятся молодыми людьми, через два года офицерами, и а я еще надолго должен пребывать в положении гимназиста — синей говядины!...

Итак, как ни грустно это было, но пришлось нам всем друг с другом расстаться. Нарушилась наша тесная, веселая компанейская жизнь. Кончились уютные семейные вечера, концерты, спектакли и так удачно налаженное хоровое пение. Как только собирались, бывало, мы вместе, любимым нашим удовольствием было петь хором, под аккомпанемент Саши Ухтомского на рояле или моей двухрядной мелодичной гармонии. Обычно начинали мы с «Вниз по матушке по Волге», а затем исполняли ряд других народных песен, переходя затем к репертуару юнкерскому, вроде «Наливай, брат, наливай», или студенческому — «Там, где тинный Булак», «Быстры, как волны», и пр. Первым тенором и запевалой был у нас Герман Молоствов, остальные были больше в басах, кроме крепкого медвежонка Миши Де-прейса, который умел петь простонародным высоким подголоском.

С разъездом моих друзей-кадет, я сошелся ближе с Толстыми и Варламовым, но прежней товарищеской жизни мне было не воротить.

Семья гр. Толстых состояла из вдовы графини Екатерины Александровны, моей тетки (по ее матери, Наталье Алексеевне, урожденной Наумовой) и ее детей: старшего Александра, сверстника моего брата Димитрия, Ратаева и Николая Белякова, затем Владимира, Петра и дочери Марии. Последние трое были все погодки и приходились мне более или менее сверстниками. Граф Александр Петрович поступил в Казанский Университет на естественный факультет и сошелся в Казани с моими двоюродными братьями Наумовыми. Потом, в 1912 г., судьба нас свела с ним в Государственном Совете, где оба мы были избранниками своих земств — он — Уфимского, я — Самарского.

С Владимиром же и Петром мы, начиная с гимназии, продолжали нашу дружбу в Москве, где некоторое время вместе жили и одновременно слушали лекции в Университете; Владимир числился на математическом, а Петр — на естественном факультете. Все они так же, как и их мать, графиня Екатерина Александровна, были весьма радушными, милыми и простыми людьми.

Среднего роста, широкий в плечах, с большой, продолговатой головой, густо покрытой курчавыми темными волосами, здоровенный, краснощекий Владимир Толстой имел один существенный недостаток — косые глаза и привычку, остававшуюся у него до зрелого возраста, — часто и громко всхлипывать через зубы. Несмотря на свою кажущуюся грубую внешность, он был по существу добрым, подчас даже сентиментальным юношей. Вместе с тем, он отличался в молодых годах крайней неустойчивостью своего характера. Так, проходя успешно Университетский курс своих излюбленных математических наук, он вдруг, почти перед самыми государственными выпускными экзаменами, увлекся велосипедным спортом до такой степени, что вместо сдачи экзаменов, совершил на своем стальном коне

беспримерное по тем временам путешествие до самой Швейцарии.

Вернувшись и не получив Университетского диплома, он стал мотаться по разным службам, и одно время я его совершенно потерял из виду. Лишь спустя много лет, в 1897 г. в Самаре, будучи Председательствующим Губернской Земской Управы, я вышел однажды к ожидавшим меня в приемной посетителям, и среди других, увидал какого-то оборванца, грязного, исхудалого, но напоминавшего своим обветренным, заросшим и видимо немывтым лицом что-то давно знакомое из дорогого моего юного прошлого. Отпустив всех, я подошел к нему вплотную и только тут разглядел и узнал в упомянутом оборванце своего старого приятеля Володю Толстого.

Само собой, забрал я его с собой на свою, тогда еще холостую, квартиру, обмыл, накормил, одел и наслушался его рассказов о всех перенесенных им житейских передрыгах. Как оказалось, Владимир, состоя одно время на службе по Министерству Финансов, увлекся женщиной бездушной и расточительной, заставившей его влезть в долги и совершить растрату, после чего он лишился средств и службы; особа же его бросила, и бедный Толстой предался с отчаяние беспробудному пьянству, окончательно опустившись. Попад в Самару в качестве золоторотца, он услышал про то, что в этом городе живу я и работаю в Земской Управе. Долго Толстой не решался показаться мне, но в конце концов все же произошла описанная мною наша встреча.

Что случилось с Владимиром Толстым во время революции — не знаю.

Упомяну еще о двоих своих сверстниках-соседях — Михаиле Лентовском и Дмитриии Волкове, с которыми приходилось летом в деревне мне — гимназисту сталкиваться. Первый был

единственный сын своей почтенной матери Екатерины Дмитриевны Лентовской, урожденной Ребровской. Отец его давно скончался. Имение их было при с. Старая Майна в 9 верстах от Головкина. Лентовский, будучи умным и даровитым юношей, обладал незаурядными способностями главным образом по части всяческих механических изделий и выдумок.

Дмитрий Волков был тоже моим соседом по имению, учился в Казанской гимназии, где и окончил курс, так же, как и я, с серебряной медалью. Судьба нас свела летом 1887 года отпраздновать вместе наше окончание гимназического курса в имении его брата Николая при дер. Рузаново.

14

В Головкине я увлекался главным образом верховой ездой, рыбной ловлей, а с 16 лет — ружейной охотой.

Мне было лет 14, когда впервые отец разрешил мне самостоятельно ездить верхом. До этого меня лишь сажали на оседланную смирную лошадь, которую конюха водили обычно под уздцы по расположенному перед домом дворовому кругу. Но вот, наступил для меня счастливый день, когда отец подарил мне почтенного башкира, крупного, костистого, с симпатичной головой и, что я особенно любил, — розовой мягкой мордочкой, которую я не раз нежно целовал. Звали этого башкира Милок, и на самом деле он вполне заслуживал свое наименование. Крепкий, выносливый, непугливый, сообразительный, Милок мой отличался хорошим, спокойным нравом и послушанием даже своему юному, неопытному новому хозяину.

Много уделял я времени в гимназические мои годы другому моему любимому спорту — рыбной ловле, условие для ко-

торой в Головкинском имении были исключительно благоприятные. Не стану я говорить о Волге и Воложках, где рыболовство находилось в профессиональных руках и где рыба ловилась особыми рыбацкими приспособлениями (неводами, крючковыми снастями и пр.). Коснусь лишь ловли на удочку, главным образом, по р. Уреню, впадавшей в Воложку-Княгиньку.

Перед самым домом находилась купальня, крытая холстом и поставленная на двух выдолбленных лодкообразных колодах.

Как внутри самой купальни, так и около нее, рыбная ловля представляла собой интересную и увлекательную забаву: окунь, ерш, язь, сорожняк, плотва, густера, иногда лини и щурята — все это шло на удочку, временами в таком изобилии, что не успевали бывало закидывать леску; нередко попадались крупные экземпляры для вящего восторга удильщика.

Ловили мы больше на червяка, находимого в перепрелом навозе, а также на хлебный мякиш, до которого особенно жадны были язи и сорожняки. Более серьезная ловля была около мельничного вершника и в речке Урене за мельницей, где на малявку (мелкая рыбешка, поддеваемая сачком) попадались огромные окуни и основательные щурята. Охота эта требовала раннего вставания и особо тщательного приготовления рыболовных снастей. Зато, бывало, с какой гордостью возвращался я домой с длинным куканом, сплошь насаженным глянцевыми окунями, да еще вперемешку с палкообразными зубастыми щурятами.

Обычно приходилось больше всего удить в купальне; или сядешь, бывало, на лодку, от едешь по речке к противоположному берегу, пристанешь к кусту и там расположишься на несколько часов с удочкой. Блаженное, юное, беззаботное время! Около купальни всегда находились на привязи несколько

наших лодок, служивших для катанья; все они были хорошо обшиты досками, выкрашены, с прилаженными сиденьями и приспособлениями для весел. Я же всем им предпочитал свою легкую охотничью бударку, доморощенного изделия, выдолбленную из своего же лугового леса, на которой с раннего детства я научился грести и ею управлять одним лишь кормовым веслом. В старших классах гимназии я считался хорошим и выносливым гребцом. Помню, как на каникулах я целый месяц прослужил на Волге у одного из рыбаков в качестве наемного весельщика, день и ночь, почти без перерыва, сидя на рыбацкой лодке, живя вместе с рыбаками в шалашах и питаясь вместе с ними из одного котла ухой да кашицей. Вытренировал я себя тогда по части гребли основательно и близко освоился с рыбацким волжским бытом и ремеслом.

Плывать научили меня братья по-военному быстро. Однажды взяли они меня, маленького еще мальчишку, с собой в лодку, от ехали на середину речки Уреня и сбросили меня в воду. Инстинктивно забарабанил я по воде ручонками и ногами... Продержался немного на поверхности, а там стал тяжелесть и потянуло меня ко дну... Братья тотчас же меня выхватили, подвели к купальне, спустили в нее и сказали: Ну, теперь ты плавать научился; и они были правы — я быстро освоился с малых лет с этим новым для меня спортом, а впоследствии так полюбил его, что познал в совершенстве, умея плавать на все лады.

Любя с детства природу, простор и вольные прогулки, с годами я стремился уходить за пределы своего обширного двора и красивого сада. В конце последнего находился плетень, отгораживавший сад от т.н. ближнего выгона — большого пустыря, где на зиму свозились сено и дрова, а ранее, в дедовские времена, были кирпичные сараи. На этом выгоне, среди всяческой

заросли и глубоких ям, заросших бузиной, крапивой и репейными кустами, я любил воображать себя охотником и играть в Майн-Ридовского героя, отдаваясь по тому времени со всей детской резвостью охоте лишь на бабочек.

За ближним выгоном через улицу следовал другой, еще больший выгон т.н. дальний, при входе в который расположен был житный двор, где хранились запасы семян, разных круп и мучных продуктов. Все это оберегалось жившим при этом дворе ключником — лицом, пользовавшимся особым хозяйским доверием. Таковым в описываемое время был благообразный и всеми уважаемый старик с большой седою бородой Афанасий, любивший меня и позволявший мне ходить по амбарам с его огромной связкой ключей, отпирать и засматривать в закрома. Любил я особенно горох и пшено; захватывал, бывало, ручонками сколько мог этого добра и бежал потом к птичьему двору, расположенному невдалеке от амбаров, где разбрасывал зерно и любовался возникавшему оживлению среди пернатого царства. Забавно казалось, как куры, индейки, утки и гуси, все с гамом и шумом, смешавшись вперемежку, друг у друга из-под клюва спешили перехватить вкусный мой гостинец.

За линией амбаров начинался выгон, в давние времена представлявший собой опушку того лиственного леса, остатки которого заметны были еще и теперь в виде разбросанных на нем редких огромных перестойных берез, из года в год за ветхостью отмиравших или погибавших под напором бурь. Тут же находился колодезь — предмет особого моего детского любопытства, тем более, что Афанасий строго всегда мне наказывал не залезать на сруб и не смотреть вниз на колодезное дно. Далее выгон шел чистый — весной зеленый, а к августу изжелта-выжженный. За ним начиналось наше поле, окаймленное сначала небольшим дубовым лесочком, расположенным на пригорке, с

которого открывался превосходный вид на всю нашу усадьбу с возвышавшейся над нею красавицей-церковью. Лесочек этот мы детьми очень любили: весной мы собирали в нем массу фиалок, ландышей и других цветов, а в конце лета забирались на горку и с нее стремглав скатывались, или попросту сломя голову кувыркались. Называли мы его нашим леском, и первые мои вольные выходы за пределы усадьбы направлялись, именно туда, в его таинственную, как мне тогда казалось, чащу...

С годами я рвался дальше, и в этом отношении братья мои, страстные охотники, шли мне навстречу и стали мало-помалу брать меня с собой на охоту на наши привольные, безграничные луга с массой обитавшей в них разнообразнейшей дичи.

Собственное свое ружье я получил лишь после окончания университетского курса. Отец тогда дал мне 100 рублей на покупку ружья и необходимых охотничьих принадлежностей. На эти деньги я купил в московском магазине только что полученное из заграницы ружье - франкотт марки Чемпион 12 калибра, левый ствол чок-бор. Ружье это, за которое я заплатил 85 рублей, оказалось превосходным и сделалось моим любимым и самым надежным спутником во всей дальнейшей многолетней охотничьей жизни.

За время моего гимназичества первыми учителями моих любимых летних спортивных увлечений были мои братья. До 16 лет мне не разрешали стрелять, а с наступлением этого возраста брат Дмитрий впервые дал мне свое ружье - великолепное по виду и отличное по бою - старинное, шомпольное еще, Лебеду.

Вспоминаю свой первый дебют: на Полетаевской даче из-под берега выплыла гагара с вытянутой шеей и мохнатой головой. Брат Дмитрий шепнул стреляй! - я потянул собачку. Грянул выстрел. Сильно толкнуло меня в щеку и плечо. Слышу братнин возглас: Молодец, Сашка! Толк из тебя будет! — Фидель, пиль,

аппорт иси! Радости не было конца, когда мы переняли от старого сеттера первую мою дичь, увы, — несъедобную гагару, но потом я понял, почему меня брат горячо похвалил, ибо не так-то легко бывало сшибить эту проворную водяную птицу, умевшую обычно перед самым выстрелом вовремя нырнуть в воду. Стрелял я сначала из ружья брата Дмитрия, а затем завелась у меня и своя двустволка, шомпольная, с которой я не расставался до покупки централки Франкотта, о которой я ранее упоминал.

Охотничьей собакой был почтенный белый с палевыми пятнами сеттер Фидель, доставшийся мне после Дмитрия. Отличный он был утятник, но с притупившимся чутьем. После него появился у меня Шамиль — тоже сеттер — темно-рыжий, здоровенный, идеальный охотничий пес, прекрасно подававший убитую дичь из любого места, как бы оно ни было трудно и глухо.

В описываемое мною время все наши места еще изобиловали благородной дичью — дупелями и бекасами. Много приходилось бывало палить по ним, особенно по увертливому бекасу. В некоторых местах их попадалось такая масса, что мы положительно не успевали заряжать свои шомпольные ружья, и сколько раз сгоряча, бывало, насыплешь в ствол сначала дробь вместо пороха!

Домой в те времена возвращались мы со сказочной добычей; на кухне не знали даже, что делать с такой дичью, как вкусные дупеля.

Особенно часто, если можно так выразиться - запоем охотился я в лето после окончания моего гимназического курса, на радостях получения мною аттестата зрелости.

К этому времени, между прочим, относится один памятный для меня случай на охоте. Сговорились мы с соседом моим,

сверстником, также только что окончившим курс классической гимназии, Дмитрием Волковым, вместе поохотиться на дупелей недалеко от имения его отца, на знаменитом Чердаклинском болоте.

Огромная, в несколько десятков десятин низина, была покрыта большей частью мягкой, чрезвычайно привлекательной на вид, зеленоватой травой, но кое-где она представляла собой местность с сплошными, высокими, тоже обросшими мелкой травой, кочками, среди которых попадались и ровные места, с налетом ясно обозначенной ржавчины. Дупель главным образом держался именно этого кочкарника.

Зная это, но будучи впервые на этом болоте, и не слыхав ничего об опасности имевшихся на нем засасывающих т.н. окон, с бодростью 18-летнего крепкого юноши, стал я вышагивать по просторному болоту, разойдясь с Волковым на далекое расстояние. Дичи было масса.

То и дело вырывались нервные бекасы и степенные кофейно-серые дупеля.

После одного из выстрелов собака бросилась за подбитой птицей, которая трепыхалась среди кочек. Я поспешил в этом направлении, и чувствую вдруг, что почва под моими ногами заколыхалась. Я остановился как раз на предательском окошке, и сразу же почувствовал, как ноги начали втягиваться в ржавую почву. Инстинктивно я стал их вытаскивать, но безрезультатно. Через несколько минут меня засосало по колена. Зная понаслышке, как подобные места губительно опасны, и будучи отделен от Волкова огромным пространством, я стал стрелять, чтобы обратить на себя его внимание. Но увы! До этого стрельба была тоже частая благодаря попадавшейся массы дичи.

Под руками у меня не было ничего, обо что можно было бы опереться, чтобы вытянуть увязавшие ноги. Положение становилось критическим.... Пробовать кричать было также тщетно — кругом никого не было. К счастью, у Волкова не хватило мелкой дробы — все успел расстрелять. Благодаря этому пришлось ему в голову идти мне навстречу, чтобы у меня раздобыть дробы... По мере продвижения ко мне сначала небольшой отдаленной точки, превратившейся потом в облик моего сотоварища, в моей груди росла радость и надежды на спасение... Кто никогда ничего подобного не испытал, тот не знает настоящей цены жизни! Когда Волков, наконец, разобрал еще издали то неладное, что со мной стряслось, и увидав на поверхности лишь половину моего туловища и машущие с призывом к спасению мои руки, он бросился стремительно ко мне на помощь, но сам он один ничего со мной сделать не смог. Тогда он решил сбегать за необходимой помощью на село, отстоявшее от нас в полутора верстах. На счастье, попалась ему встречная телега. Вскоре оказался народ — принесли доску, веревки и пр., и я был спасен.

15

Вернусь я теперь в своих пересказах к памяtnому для меня времени — последней зиме, проведенной мною в Симбирске — кстати сказать, полной для меня всяческих искушений в смысле любимых мною зимних развлечений: вечеров, любительских спектаклей, концертов, катаний на тройках и пр. Всюду я принимал, по живости своего характера, самое горячее участие. Все это отнимало немало времени. Учебных же занятий было масса и приближалось ответственное время выпускных экзаменов.

Не могу не сознаться также и в том, что в этот учебный 1886 — 87 г. я чаще всего встречался со своей кузиной М.Беяковой,

не только на вечерах и частых собраниях Симбирской молодежи, но нередко забегал к ней на дом и любил сидеть в ее уютной комнатке, около нее, постоянно чем-нибудь занятой.

Маня знала мои чувства сильной привязанности к ней и, видимо, сама шла навстречу моей усиливавшейся потребности чаще видиться с ней, беседовать и делиться всем тем, что накапливалось в моей юной душе. Дома я рос одинокий, в обстановке лишь мальчишеской среды. Сестры у меня не было, и Маня в то время ее мне заменяла. Влияние ее на меня было огромное.

Маня знала меня хорошо, мое острое самолюбие и, надо думать, не без цели как-то Великим постом, месяца за два до экзаменов, сказала: Мне кажется, что вряд ли ты получишь, как одно время мне обещал, медаль при окончании курса! Мне этого было достаточно, чтобы отказаться от участия на Пасхе в концертах и любительских спектаклях.

Засев вплотную за учебники, я усиленно проработал до самых экзаменов. Наградой было мне за это прежде всего одобрение самой Мани, а затем осуществление моего ей обещания: при окончании я получил, правда, серебряную, но все же медаль.

Экзамены на аттестат зрелости делились на письменные и устные. Сначала сдавались первые, и вслед за ними, лишь те ученики допускались к устным, которые успешно выдержали письменные испытания. Требования того времени были доведены до крайних пределов — главным образом по знанию древних языков. Но тут приключилось одно обстоятельство, мною лично совершенно непредвиденное, о котором, как ни стыдно, а приходится упомянуть.

Дело в том, что из года в год при производстве выпускных письменных испытаний практиковался в Учебном Округе следующий порядок: все темы по экзаменационным предметам (по словесности, математике — алгебраические, геометрические и тригонометрические задачи, переводы на древние и новые языки) вырабатывались заранее в особом отделе Учебного Округа. Содержание их должно было храниться в величайшем секрете; в запечатанных конвертах эти темы подлежали пересылке непосредственно в руки самого директора гимназии, который их лично вскрывал лишь в самый последний момент, когда экзаменовавшиеся приглашались в особую залу и рассаживались каждый за отдельный столик.

До сих пор для меня осталось тайной, каким образом это все произошло, но факт тот, что мы за неделю до открытия сессии письменных выпускных испытаний получили в копиях все темы, подлежавшие нашему разрешению при сдаче экзаменационных ответов. Помню, что за это с меня, как и со всех моих товарищей по выпуску, сколько-то взяли денег, очевидно, для оплаты добывания этой страшной и важной для нас тайны, от судьбы которой зависело все наше будущее. Факт остается фактом, и мы через какие-то темные силы все темы узнали заранее.

Между прочим, вспоминается мне задание по словесности: Характеристика Бориса Годунова по произведениям Пушкина. В наших руках имелись также тексты диктовок по всем языкам и задач по математике. Стали мы спешно соответствующим образом подготавливаться, как вдруг, накануне самых экзаменов, разошелся среди нас, и без того нервно настроенных и утомленных юношей, слух будто, в силу замеченных злоупотреблений, из Округа ко дню экзаменов будет прислано совершенно новое содержание всех письменных заданий, во всяком случае иное, чем имевшееся у нас на руках. Растерянности нашей не было

конца. Спокойнее всех был Владимир Ульянов, не без усмешки поглядывавший на своих встревоженных товарищей: очевидно, ему, с его поразительной памятью и всесторонней осведомленностью, было совершенно безразлично.

Как сейчас помню жуткий момент утра того дня, когда мы все, сдавшие экзамены на аттестат зрелости, были собраны в залу, смежную с помещением гимназической церкви; размещены мы были каждый за отдельным столиком и с замиранием сердца взирали на крупную фигуру в служебном вицмундире нашего директора Керенского. В его руках виднелся объемистый, за большой казенной печатью пакет, который Феодор Михайлович немедленно вскрыл, вынул из него лист, приблизил его к своим глазам, фыркнул и, промолвив свое обычное н-да, отчетливо объявил: «Тема для сочинения по словесности нижеследующая...» трудно передать, что происходило в юных сердцах экзаменовавшихся в ожидании дальнейших слов Керенского....

В наших умах невольно мелькало такое соображение: все зависит от начала — если тема иная, чем та, о которой нам из Округа сообщили, стало быть слух о перемене верен и вся наша подготовка гибнет; если же та самая — все спасено... Характеристика Бориса Годунова по произведениям Пушкина, расчлененно провозглашает директор.

Уф! У всех лица прояснились. Керенский повторно продиктовал наименование темы, предупредив, что на изготовление письменной работы дается всего лишь пять часов, по истечении которых все будет у экзаменовавшихся отобрано.

Во все последующие письменные экзаменационные дни по остальным предметам все прошло так же гладко и благополучно. К устным испытаниям были допущены все.

Прошло с тех пор немало времени, но до сих пор при воспоминании о той обстановке, при которой пришлось сдавать свои письменные экзамены, испытываешь чувство не только некоторой неловкости, но и полного стыда перед совершенным нами в то юношеское время. Единственным оправданием себе самому нахожу лишь то, что поступал я тогда не по своей инициативе, а под влиянием общего, чисто стадного побуждению.

Устные наши экзамены проходили при более торжественной обстановке. В большом актовом зале стоял под портретом Государя огромный стол, покрытый красным сукном, за которым заседал целый синклит начальствующих лиц и почетных гостей, включительно с Архиереем — при экзамене Закона Божьего, и Попечителем Гимназии, Егермейстером Высочайшего Двора А.А.Пашковым.

Экзаменовавшиеся отвечали сначала по вынужтому билету, а затем педагогический персонал спрашивал их по всей программе. На испытаниях по древним языкам предлагалось читать и переводить любую из книг, разложенных для сего на экзаменационном столе, представлявших собою произведение всех выдающихся римских и греческих классиков. В общем, отношение к нам, несмотря на повышенные в то время требования, со стороны экзаменовавших, было сравнительно снисходительное, и в конце концов, аттестаты зрелости были выданы всем, причем медалями с изображением Афины Паллады были награждены Ульянов и я.

Счастлив был я расстаться с гимназической учебой, впереди ожидалось много нового и интересного, ведь кроме Симбирска, я еще ничего не видал! Перспектива попасть в Москву, жить там в условиях студенческого быта — все это волновало

мое воображение и заполняло ум и сердце радостными мечтами. Решено было, что в Москву на жительство поедет со мной вместе мама, нуждавшаяся в серьезном лечении.

Часть II.

Студенчество. Университет. Москва.

16

В начале августа 1887 года отец, мать и я, после напутственного молебна, тронулись в путь к месту нашего нового жительства — в Москву, сначала на пароходе, а от Нижнего Новгорода — по железной дороге.

Остановились мы в Москве в районе около Никитского Девичьего монастыря, на улице Большой Кисловке, соединявшей Большую Никитскую улицу и Воздвиженку, в меблированных комнатах Базилевского. Эти номера, описанные Боборыкиным в одном из бесчисленных его романов под наименованием Дворянское Гнездо, оказались для нас с мамой как нельзя больше удобными.

Меблированные комнаты Базилевского занимали собой особое двухэтажное здание, когда-то выкрашенное в серый цвет, узкой своей стороной выходившее фасадом на улицу Кисловку, с невзрачным парадным подъездом; главным же своим корпусом, в виде глаголя, здание это вдавалось в огромный двор, смежный с барски-импозантной и просторной городской усадьбой светлейших князей Волконских, проживавших за массивной золоченой решеткой в их угловом красивом дворце-особняке.

Несмотря на внешний непривлекательный вид, дом Базилевского имел прочную репутацию среди московского общества в смысле высокой порядочности, граничившей с традиционным понятием об аристократичности. Высшее заведывание

этими меблированными комнатами находилось в руках управлявшего тогда Государственным Банком Н.Я.Мальвинского, непосредственно же управляли всем домом дамы, назначавшиеся им из лучшего московского общества. При нас таковой была вдова генеральша Глазенап.

Прожили мы с мамой в означенных комнатах счастливо и хорошо в течение двух лет, но потом решили обзавестись собственной квартирой, тем более, что мы с условиями московской жизни достаточно свыклись и обстоятельно успели ознакомиться. В выборе места мы держались привычного нам Арбатского городского района в виду его центральности и близости к Университету. Остановились мы на чрезвычайно симпатичном и по внешнему своему виду, и по внутреннему расположению своих комнат, доме-особняке в Большом Афанасьевском переулке, принадлежавшем вдове Сенатора и Тайного Советника Хавского.

Наша верхняя квартира состояла из передней, порядочной залы, где водрузили первым долгом пианино, небольшой уютной гостиной, углового кабинета и рядом спальни. Эти комнаты взяла себе мама. Все они выходили окнами на улицу; мне же была отведена комната во двор, где был поставлен большой студенческий диван. Для прислуги были две небольшие комнаты наверху, в мезонине, с окнами во двор.

Омеблировали мы нашу квартиру скромно, но прилично. На этой квартире мы прожили около трех лет, т.е. до самого конца нашей с мамой совместной жизни в Москве.

Вернусь к августу 1887 года и попробую восстановить в своей памяти начало вступление моего в университетскую жизнь, неожиданно для меня оказавшееся чреватым исключительными событиями и всяческими осложнениями.

Дело в том, что поступление мое в высшее учебное заведение состоялось спустя лишь два года, как введен был Новый Университетский Устав 1884 года, отличавшийся большей строгостью по отношению к студентам в смысле установление дисциплины, надзора, учета занятий и пр., вплоть до ношение особой студенческой формы. В частности, Новым Уставом строжайше запрещались студенческие организации, именовавшиеся землячествами, существование которых в свое время вызывалось естественным стремлением молодых людей, приехавших часто издалека, объединиться во имя общности своих местных интересов, а также для установления взаимопомощи.

Правда, за последнее время, до Нового Устава, среди некоторых землячеств, особенно окраинных, немаловажную роль стала играть политика, с направлением ярко антиправительственным. Работа их, мало-помалу, стала крепнуть и организовываться благодаря установлению особого руководящего центра, в виде так называемого Центрального землячества, в состав которого входили особо выбранные депутаты от рядовых существовавших землячеств. Запрещение, установленное Новым Уставом, естественно, внесло значительное потрясение в весь уклад внеучебной жизни студенчества, вызвав в огромном его большинстве острое недовольство.

Ко всему этому надо добавить, что в целях неукоснительного проведения в жизнь запретительных требований, должны были усиливаться надзор и сыск со стороны университетской инспекции.

В этом отношении особой славой пользовался известный в то время Инспектор Московского Университета Брызгалов, с которым и мне самому, пришлось волею судеб познакомиться вскоре же по моем вступлении в Университет.

В описываемое время всех симбиряков в Московском Университете было не более 30. Из нашего гимназического выпуска поступило со мною всего пять человек: Владимир Толстой (граф), Кутенин, Владимир Варламов, Сергей Сахаров и я; первые двое — на Физико-Математический Факультет, а остальные — на Юридический. Общее количество всех студентов в Университете было около 3500 человек, и на один наш первый курс юристов-студентов зачислилось свыше 300.

Откровенно говоря, при моем поступлении я совершенно не знал, кто из симбиряков, старше меня по выпуску, слушал лекции в Москве. Александр Ухтомский, на год ранее меня окончивший, поступил в Петербургский Университет; других близких лиц я не имел.

Первые недели прошли у меня, как в тумане. Новая, необычная обстановка городской и личной учебной жизни захватила целиком всех нас, свежих, юных провинциалов, и на первых порах отодвигала от понимания того действительного положения вещей, того крайне нервного, напряженного настроения, в котором находилось студенчество в описываемый период времени (сентябрь, октябрь 1887 г.), вылившееся вскоре в целый ряд бурных демонстративных эксцессов со стороны молодежи, в памятный цикл студенческих беспорядков 1887 г., окончившихся закрытием, в декабре того же года всех Российских Университетов.

Как-то раз на Кисловку к нам заходил один из старых симбиряков — студент юрист Свенцицкий, познакомился с нами и, после некоторых расспросов про всех нас, новичков, предупредил нас относительно личности Инспектора Брызгалова, охарактеризовав его с самой отрицательной стороны.

Расставаясь с нами, Свенцицкий выразил надежду, что мы не откажемся приобщиться к товарищеской земляческой среде бывших симбиряков.

Не прошло и двух суток после посещения нас Свенцицким, как поздно вечером (около 10 час.) послышался в мою запертую дверь осторожный стук. Я поднялся, отпер дверь и растворил ее...

На фоне темного коридора, при рассеянном зеленоватом свете моей лампы, передо мною обрисовались две огромные, с ног до головы в черное одетые мужские фигуры в фетровых широкополых шляпах, из-под которых виднелись: у одного бритая полная физиономия, а у другого — продолговатое, худое, обрамленное небольшой бородкой, красивое лицо сильного bruneta, с большими, нагло всматривавшимися глазами. Последний стоял впереди, и не успел я открыть дверь, как он бесцеремонно вошел в комнату, а за ним последовал и другой, с портфелем в одной руке и небольшим карманным фонариком в другой.

Откровенно говоря, я сначала растерялся при виде таких поздних и необычных гостей, не зная, чему приписать такой визит, и что это за мрачные типы. Но высокий brunet с бородой и пронизательными глазами поспешил мне отрекомендоваться, заявив, что он — инспектор Брызгалов, а другой — его секретарь, после чего он уселся на мое место у лампы, не преминув тотчас же просмотреть книжку, которую я перед их приходом читал.

Пригласив меня сесть рядом с ним, Брызгалов своего секретаря отправил обратно в коридор. Вкрадчивым, ласковым голосом начал он свои расспросы, предварив, что характеристика, данная обо мне симбирским директором, выше всяких похвал,

и что он рассчитывает во мне видеть юношу искреннего, доверчивого, не успевшего еще подпасть под разрушительное влияние старостуденческой среды.

Сначала он интересовался всем тем, что касалось моей семьи, нашего имущества, а затем перешел к расспросам более его занимавшим, начав допытываться у меня относительно характеристики моих земляков, со мною вместе окончивших гимназию и ранее меня вступивших в Московский Университет. Мало-помалу, облик и тон речи Брызгалова стали заметно меняться: овечья шкура с матерого волка начала слезать: ясно стала обрисовываться жесткая его щетина, острые зубы и хищные глаза.

Как-то инстинктивно, я сам в себе замкнулся и внутри у меня стало нарастать к сидевшему около меня незвано-ночному посетителю чувство опасливого отвращения... На мой правдивый ответ, что я никого из прежних симбиряков не знаю и ничего про них сказать не могу, Брызгалов резко оборвал меня, воскликнув: Ложь! Вы их знаете, вы вступили в их землячество! Отпираться глупо и для вас невыгодно! Извольте немедленно все мне изложить про симбирское землячество, его состав, условие вашего в него вступления!...

Повторив еще раз, что ничего по этому поводу ему сказать не могу, я решил про себя — больше этому несправедливому насильнику не отвечать и замолчал. Чего только я ни наслушался вслед за этим от этого господина! Как только ни запугивал он меня, вплоть до угрозы исключения меня из Университета, какие только ни сулил мне льготы, если я соглашусь ему все подробно о моих земляках доносить! Я сидел молча, не проронив более ни одного слова.

Выведенный из себя, инспектор шумно встал, вызвал из коридора своего секретаря и, грозя мне пальцем, гневно на прощанье кинул: — Ну-с, Наумов, попомните меня! Было около полуночи, когда он, наконец, оставил меня в покое.

Не успел я захлопнуть за ними дверь, как из соседней комнаты показались курчавая голова Володи Толстого и здоровенный его кулачище, направленный по адресу ушедшего. Ну, и подлец-же этот господин! — злобно прошипел он, а затем бросился меня обнимать и руку трясти, со словами: Молодец! Побарски выдержал хамский допрос! Вскоре факт этот — посещение меня Инспектором — со всеми подробностями стал известен среди симбирской студенческой компании, а Свенцицкий заходил позать мне руку от лица всех моих старых земляков и просил непременно зайти на их собрание.

Брызгалов со мною сделал лишь то, что я решил возможно ближе сойтись именно с теми, о которых он отрицательно отзывался, и познакомиться с организацией того землячества, про мое вступление в которое он тоже был, якобы, так хорошо осведомлен. То, что ранее было узаконено и происходило безбоязненно, открыто, после Нового Устава продолжало существовать.

Несмотря ни на что, в замаскированном виде земляческие собрания продолжали существовать, и вот на одно из них я с моими сожителями был приглашен под предлогом товарищеского чаепития, устроенного на квартире у Свенцицкого.

Типичная меблированная студенческая комната, каких тысячи разбросаны по всей Москве, была заполнена двумя десятками студентов вперемежку с несколькими курсисточками.

Все разместились в тесном кругу вокруг овального стола с самоваром и чайным прибором, у которого сидел и встречал

сам хозяин, а чай разливала какая-то курсистка. На лестнице установлено было дежурство на случай прихода инспекции.

Спустя некоторое время, Свенцицкий попросил у присутствовавших внимание и начал читать денежный отчет, затем доложил о состоянии библиотеки, о поданных заявлениях по поводу пособий и т.д.. Впечатление я вынес тогда очень хорошее: ни слова не было сказано о политике, все клонилось к интересам взаимопомощи земляческой молодежи, которая в общем произвела на меня самое благоприятное впечатление; с некоторыми же из них впоследствии установились у меня наилучшие товарищеские отношения

Угрозы Брызгалова оказались не безрезультатными: в начале ноября все мы, первокурсники-симбиряки, получили повестку явиться 22 ноября в канцелярию Попечителя Округа, которым в то время состоял гр. П.А.Капнист. Переполох возник среди нас немалый.

Но все наши тревоги и предположение волею судеб должны были сами собой исчезнуть и потонуть в бурном водовороте студенческих беспорядков, вспыхнувших как раз накануне назначенной явки нашей к попечителю.

21-го ноября в парадной зале Московского Дворянского Собрания происходил обычный студенческий концерт, традиционная торжественность которого и в этот раз проявилась в полной мере. Масса народу, во главе с Генерал-Губернатором Генералом-Адъютантом князем Долгоруковым и другими начальствующими лицами; парадные мундиры, дамские туалеты; студенческая молодежь в новой элегантной форме; великолепная а-жирно освещенная красавица зала — все предвещало концерту в пользу недостаточных студентов обычный успех и шумное веселье.

Вдруг, в начале второго музыкального отделения, появился из-за зальных колонн молодой студент скромного вида, который спокойным шагом по среднему проходу дошел до сидевшего во втором ряду на крайнем кресле инспектора Брызгалова и, громко крикнув, Мерзавец!, ударил его по щеке... Поднялась невероятная суматоха. Студента, оказавшегося по фамилии Синявским, немедленно схватили и увели. Брызгалов уехал домой. Большинство публики покинуло концерт, который еле-еле довели до конца почти при пустой зале.

Этим же вечером, во многих местах центральной части Москвы на Никитском, Тверском, Страстном бульварах, на площади перед генерал-губернаторским домом начали собираться студенческие группы, раздавались кое-где возбужденные голоса, выкрики против администрации университетского начальства. Сам я на концерте не был, а сидел вечером с некоторыми из товарищей в любимой пивной на Тверском бульваре, куда неожиданно, около 11 часов вечера, ворвалась толпа студентов, сильно возбужденная. Один из вошедших взобрался на стол и сообщил о только что происшедшем инциденте на концерте.

Масса студенческой молодежи, узнав в чем дело, с песнями и гиком высыпала на бульвар, на котором стали раздаваться возгласы: Долой Брызгалова! Молодец Синявский! Образовалась многочисленная сходка, вскоре разошедшаяся, но участники ее демонстративно профланировали с Тверского бульвара по Тверской, мимо генерал-губернаторского дома, около которого огромной толпой стали петь Гаудеамус игитур вперемежку с теми же выкриками по адресу Брызгалова и Синявского...

На другой день нам предстояло явиться в канцелярию попечителя Округа, куда мы и отправились все впятером. Встре-

тивший нас дежурный чиновник имел вид чрезвычайно обеспокоенный и нервный. Просмотрев наши повестки, он пошел с ними докладывать по начальству и вскоре вернувшись, махнул на нас рукой и сердитым голосом сказал: Идите, молодые люди, по домам, теперь не до вас! Он был прав, ибо пощечина Брызгалову оказалась сигналом, после которого началось общее возбуждение студентов во всех высших учебных заведениях не только в Москве, но и в остальных университетских городах.

Немедленно после случившегося на концерте была послана из Москвы шифрованная телеграмма в другие университетские города — с кратким содержанием: мать заболела. После Москвы начались совершенно однородные демонстративные эксцессы в Казани, Харькове, Киеве и Петербурге. В самой же Москве в тот день, когда мы ходили к попечителю, на некоторых бульварах, около Университета, Технического Училища, Петровско-Разумовской Академии, стали собираться многочисленные студенческие толпы и, одновременно, начали появляться наряды пешей и конной полиции, а к вечеру по всем главным артериям города стали разъезжать патрули донских казаков с лихо заломленными набекрень шапками, пиками и шашками наголо, нагло вызывающе обращавшихся со всяким, одетым в студенческую форму.

Пишу это потому, что до сих пор осталось у меня тяжелое чувство неожиданного оскорбления, полученного мною от встретившегося отряда казаков. Один из них, проезжавший с края, поравнявшись со мной, без всякого с моей стороны повода, концом пики ударил меня по спине с презрительным окриком: Эх ты, скубент, и вслед раздалась по моему адресу площадная брань под аккомпанемент общего кругом хохота... Было

темно и никто не мог видеть моих слез, невольно капавших от непривычной обиды.

Мама была крайне встревожена всем происходившим на улице, тем более, что слухи доходили до московских обывателей чрезвычайно тревожные — и не без основания, так как во многих местах к вечеру того же 22-го ноября начались серьезные схватки между возбужденными студентами и высланными для разгона сходов полицейскими и воинскими чинами. В результате оказалось немало раненых и стали производиться массовые аресты.

На другой день 23-го утром я пошел в Университет по Никитской улице, но меня прохожие предупредили, чтобы я дальше в форме не показывался. Уходите от греха! — услышался их совет, и я повернул в Долгоруковский переулок, но сразу же попал в самую кашу неистовой расправы казаков с участниками сходки, происходившей около Химической Лаборатории.

Узкий переулок был весь заполнен массой народа; вдоль тротуаровъехали казаки с пиками наперевес, с обеих сторон, образуя таким образом ряд живой непроницаемой и весьма колючей изгороди. В середине, между подобными казачьими стенками, как сельди в бочонке толпились, друг на друга наступая, застигнутые на сходке, студенты, которых казаки гнали сквозь строй по переулку по направлению к Никитской улице, причем при попытке к бегству казаки тотчас же покушавшегося подымали с обеих сторон вверх на свои пики, к общей своей потехе и ужасу публики. При виде всего этого, я счел за более благоразумное отказаться от мысли идти в Университет и поспешил вернуться к себе домой на Кисловку.

Уличные беспорядки разгорались все сильнее и ожесточеннее. Во многих частях города стали раздаваться выстрелы,

студенты начали вооружаться. Около Императорского Технического Училища произошло кровопролитное побоище, в котором приняли участие и Петровцы. К Университету были стянуты войска, расположившиеся на постой в огромном соседнем манеже. Судьба Синявского была решена: его исключили из Университета и сослали в Туркестан в дисциплинарный батальон. Брызгалов, как слышно, заболел нервным потрясением и слег в постель. За два дня репрессий студенчество не только не успокоилось, но стало вести себя еще нервнее и смелее.

Наступил Екатеринин день — 24-ое ноября. Я решил вновь попытаться с утра пройти к себе на лекции. На улицах было тихо, пустынно и внешне видимо благополучно. Собралось нас юристов-первокурсников немного, несмотря на то, что должен был читать профессор А.И.Чупров лекцию по политической экономии, на которые обычно сходились все студенты нашего курса.

С большим опозданием вошел в аудиторию бледный и взволнованный общий наш любимец — Александр Иванович, который, прежде чем приступить к очередной своей лекции, в кратких, но искренне-сердечных словах призывал своих слушателей к успокоению и благоразумию, после чего, поправив обычным жестом свои золотые очки, перешел к изложению учение о капитале. Но не успел он произнести нескольких вступительных слов, как раздался в дверях необычайный шум, слышались громкие голоса с требованием отпереть двери, почему-то оказавшиеся запертыми. Наконец, двери были вышиблены и в нашу аудиторию ввалилась толпа посторонних студентов, требовавших прекращения лекций и следования за ними в рядом расположенную актовую залу для участия на всеобщей сходке. Деликатный А.И.Чупров трясущимся от волнения голосом просил ворвавшихся лиц удалиться и не мешать начатой им

лекции, к чему присоединились и все мы, столпившиеся вокруг нашего профессора, но на это раздалось еще большие крики с угрозами по адресу всех нас и самого Чупрова, который в конце концов махнул рукой, собрал свои бумаги и, понуря голову, вышел в двери, ведущие в библиотеку.

За ним следом пошли многие из нас, и я в том числе. Тяжело было видеть и воочию испытывать грубое насилие кучки наглецов над мирным отправлением своих обязанностей гуманнейшим и достойнейшим профессором Чупровым.

Александр Иванович вскоре нас покинул, мы же все попали прямо в актовый зал, наполовину заполненный студентами, входившими в помещение прямо со двора, в верхних одеждах, фуражках, с папирусами в зубах.

Судьба меня столкнула лицом к лицу с графом Владимиром Алексеевичем Бобринским, тоже первокурсником, и мы вместе были невольно втянуты в общую лавину рассаживавшихся по местам студентов. Оказалось, что попали мы на сходку, официально разрешенную самим Попечителем, на которую он сам решил приехать для личных переговоров с представителями московского студенчества по поводу всех возникших недоразумений и беспорядков. Мы с Бобринским были со всех сторон совершенно стиснуты массой народа, представлявшую собой сплошное море голов и спин, причем первоначально вся эта тысячная толпа вела себя сравнительно умеренно и спокойно, очевидно, в ожидании появления самого попечителя.

Время шло, нетерпение нарастало, граф Капнист не появлялся. Многоголовый молодой организм еле сдерживал себя — психологией его пренебрегали, а в конце концов, и вовсе по наболевшему месту острием провели: вместо Капниста, со всех сторон актовой залы появились синие жандармские мундиры с

шашками наголо. При виде их, вместо ожидавшегося попечителя, зала, как один человек ахнула... Раздались свистки и возгласы: Долой охрану! — Стыдно! и пр. Шум ежеминутно нарастал сильнее, общее настроение становилось крайне возбужденным, и вот как раз в это время (нарочно нельзя было придумать худшего момента!) — в главных дверях появляется сам граф Капнист в сопровождении целой свиты опять-таки жандармского окружение — одетый в вицмундир с лентой через плечо.

Раздалось чье-то властное из среды студенчества приказание: Тише! Молчать! Зала стихла, и попечитель, поднявшись на кафедру, прошел в нишу. Мы с Бобринским сидели зажатые в задних рядах и еле видели издали фигуру Капниста.

При общей тишине тот же звучный голос обратился к попечителю с следующим заявлением: Господин попечитель, мы, студенты Московского Университета, предъявляем в Вашем лице своему учебному начальству три требования, которые просим удовлетворить: 1) Удалить ненавистного нам всем инспектора Брызгалова. 2) Смягчить участь студента Синявского. 3) Отменить новый Университетский Устав, восстановив прежний.

Сказано это было отчетливо и так громко, что каждое слово доходило и раздавалось в ушах слушателей во всем огромном помещении. По окончании этого заявления, в зале раздались долго не смолкавшие единодушные аплодисменты. Но тот же повелительный голос вновь заглушил всех и послышался его громкий призыв: «Тише, товарищи! Господин попечитель хочет говорить!» В зале водворилась мертвая тишина — все очевидно с нетерпением ждали мудрого примирительного ответа.

Видимая нами издали маленькая фигура в ленте с чиновными круглыми бакенами и красным волнующимся упитанным

лицом что-то стала, картавя, говорить, при этом столь неразборчиво и тихо, что мы лишены были возможности что-либо слышать... Но вдруг перед нашими глазами свершилось нечто невероятное и совершенно непредвиденное. Вся передняя часть студенчества внезапно сорвалась с мест, со свистом, руганью и крайним озлоблением полезла вперед по направлению к нише, задние ряды стали наваливаться на передние; люди с поднятыми кулаками вскакивали один на другого на плечи и, по спинам бесцеремонно переходя, все устремились к тому же одному месту — нише, где стояла кафедра с попечителем.

Мы с Бобринским почували во всем этом столь стихийное и грозное, что, не сговорившись, инстинктивно потянулись к выходу, для чего тоже пришлось перешагивать через спины соседей. Не забуду мелькнувшей при этом перед нашими глазами тяжелой сцены: в глубине зальной ниши виднелась несчастная фигура Капниста, измятого, разодранного, которого, однако, успела окружить вооруженная стража, бросившаяся от главных выходных дверей к нему на выручку. Мы с Бобринским смогли пройти эти двери незамеченными, вышли на площадку, а затем на университетский двор, переполненный полицейскими чинами. При выходе на улицу мы предъявили свои билеты и были выпущены на свободу. Наш незамеченный выход из актовой залы явился обстоятельством особого нашего благополучия и счастья.

На той же площадке, спустя может быть минуту после нашего выхода, огромным вооруженным нарядом жандармов отбирались билеты от всех остальных выходивших из залы студентов, и в тот же день все участники этой злосчастной сходки, окончившейся избиением Попечителя Округа, отправлены были в Бутырскую тюрьму на высылку.

Впоследствии мы узнали причину столь внезапного и ожесточенного озлобления студентов против гр. Капниста. Оказалось, что в ответ на предъявленные ему требования студенчества, он будто бы сказал следующее: Мне трудно в такой обстановке обсуждать затронутые вами вопросы, тем более, что, на мой взгляд, большинство собравшихся здесь студентов представляет из себя не больше, как стадо баранов... Далее ему не дали договорить и произошло то, что мною описано выше...

Университетская жизнь была в корне нарушена. Лекции прекратились. Сами профессора раскололись на два лагеря: одни стояли за уступки и за принятие мер к мирному улажению беспорядков, другие — за неукоснительное применение самых решительных репрессивных мер.

Во всех университетских городах происходило то же почти, что и в Москве, причем в некоторых местах против студенчества нарастало возбуждение среди простонародья. Начались случаи избиения студентов, не без содействия во многих случаях самой полиции. Все районы в Москве, где находились высшие учебные заведения, были оцеплены войсками, по главным улицам разъезжали патрули. Тюрьмы изо дня в день заполнялись новыми партиями студентов. В Бутырках стала издаваться особая студенческая газета, а среди интеллигентной столичной молодежи возникло своего рода паломничество по местам заключения, куда носили еду, книги, журналы и пр.

В конце концов, Петербург надумал мудрое решение, и вскоре был издан министерский приказ о закрытии до 1-го января 1888 года всех Университетов и тех высших учебных заведений, которые принимали участие в беспорядках. После означенного срока объявлен был прием студентов лишь под условием, закрепленным собственноручною подписью каждого из

них, требовавшим от всех вновь вступающих лиц беспрекословного подчинения всем правилам Устава 1884-го года. После упомянутого распоряжение Министра Народного Просвещения все университеты были закрыты.

Мера была правильная; она дала возможность и начальству хладнокровно разобраться во всем происшедшем, да и студенчеству было предоставлено достаточно времени, чтобы одуматься и успокоиться.

Результаты сказались скоро. С 1-го января 1888 года начался прием студентов. Заново принято было таким образом до 3000 человек, остальные как бы сами собой отпали.

Лекции начались при наилучших условиях. Учебная жизнь сразу наладилась. Все принялись за работу с удвоенной энергией; о прошлом не говорили, тем более, что бывший виновник университетского озлобления — инспектор Брызгалов после концертного инцидента на самом деле захворал настолько сильным нервным потрясением, что ему пришлось выйти в отставку и покинуть Москву.

Атмосфера очистилась, шпионаж прекратился, студенчество вздохнуло. Вместо безличного неспособного Иванова, с нового 1888 года Ректором нашего Университета назначен был профессор римского права Николай Павлович Боголепов — человек спокойный, обстоятельный и крепкий. Одним словом, все пришло в норму, и так продолжалось до самого окончания мною курса.

Но прежде чем перейти к воспоминаниям о моей академической жизни, не могу обойти молчанием один памятный для меня эпизод, относящийся именно к тому тревожному периоду, когда университеты были закрыты, и мы, студенты, оказались

временно выкинутыми за борт. Случилось это в последних числах декабря 1887 года, во время рождественских праздников, к которым из Головкина приехал к нам отец, немало встревоженный университетскими событиями. Брат мой Николай служил в то время офицером в Гатчинской Артиллерийской Бригаде. Отец хотел его навестить и решил взять меня с собой.

Приехав в Петербург, мы остановились в Европейской гостинице. Уставши с дороги, отец решил переночевать, а на следующее утро имел в виду отправиться в Гатчину. Были мы совсем раздеты и укладывались спать, как вдруг раздался стук в дверь... Отец был человеком нервным и вспыльчивым. Отворив дверь, он был крайне удивлен при виде в столь поздний час — (было около десяти с половиной вечера) — пред собой полицейского чина, вежливо извинившегося за беспокойство и спросившего про студента Московского Университета А.Наумова, которому он имел срочную надобность вручить повестку от Петербургского Градоначальника генерала Грессера, с вызовом его к нему в канцелярию на следующее утро. Отец, не впуская пришедшего в номер, еле дал ему договорить и раздраженным голосом заявил, что никакого студента с ним нет и никакой повестки от него не примет. С этими словами он захлопнул перед самым носом полицейского дверь и запер ее на ключ. Обеспокоенный папа вернулся ко мне и сообщил о вызове меня к Грессеру, грозная слава о котором доходила и до нашей провинции. Я сказал, что тебя нет. — Знаешь, Саша, удерем-ка завтра утром отсюда подобру-поздорову! Я стал уговаривать отца остаться, обещал утром отправиться в канцелярию к Градоначальнику, вызывавшему меня, вероятно, для отбытия пустой формальности. Отец слушал, крутил свой ус и категорически заявил о своем непреклонном решении завтра же утром с первым возможным поездом уехать обратно в Москву.

Сказано — сделано. На другое же утро взял меня отец в охапку и увез в Москву обратно...

Не успели мы войти в наши меблированные комнаты Бази-левского, как меня уже поджидали двое господ в штатском, потребовавшие меня в участок для допроса. Отец вспылил и стал их уверять в необходимости меня оставить в покое, ввиду моей полной непричастности к каким-либо студенческим проступкам, на что полицейские агенты резонно ответили, что, прежде всего, надлежало выяснить причину моего неподчинение требованию Петербургского Градоначальника.

Разволновавшегося отца пришлось всячески успокаивать, чему помогли и сами полицейские. Через несколько часов все выяснилось, и я, отбыв допрос, благополучно вернулся домой к общей радости моих родителей. Вот как и чем кончилась моя первая поездка в северную столицу: ни ее, ни брата я не повидал — Грессер напугал!

17

Московский Университет времен моего студенчества славился выдающимся составом своих профессоров и в частности, по Юридическому Факультету. Такие имена, как А.И.Чупров (политическая экономия и статистика), И.И.Янжул (финансовое право), Н.П.Боголепов (римское право), Павлов (церковное право) могли справедливо называться красой и гордостью русской науки и профессуры.

На первом курсе основными предметами были: история русского права, история римского права, политическая экономия и энциклопедия права.

На втором курсе: римская догма, государственное право, финансовое право, церковное право, статистика и история философии права.

На третьем и четвертом курсах проходились: уголовное право (материальное и процессуальное), гражданское право (тоже материальное и процессуальное), международное право, полицейское право, торговое право и ряд необязательных предметов: тюремное устройство, судебная медицина и др. Богословие можно было слушать на любом курсе.

Римское право (историю и догму) читал профессор Николай Павлович Боголепов — выдающийся знаток этого предмета, и обладавший исключительной способностью — ясно, внятно и интересно передавать слушателям огромный, сложный и трудный для усвоения материал своих курсовых лекций. При всем этом, Николай Павлович слыл, и в действительности был, грозой факультета, будучи профессором чрезвычайно требовательным и беспощадным на проверочных испытаниях и государственных экзаменах. Всей своей фигурой, отточенностью своих лекций, строгостью к исполнению своих обязанностей, Николай Павлович как бы олицетворял сам собой *jus strictum populi Romani*⁸. Требования его к студентам в отношении записи лекций были неумолимы — всякий должен был иметь свой конспект, который Николай Павлович тщательно проверял на семестровых зачетах, попутно дополняя устными расспросами.

Надо отдать справедливость, что записывать за Николаем Павловичем было чрезвычайно легко — настолько отчетливо, не торопясь, читал он на обоих курсах свой предмет. Всякая сказанная Николаем Павловичем с кафедры фраза, каждое слово —

были им предварительно обдуманы, взвешены и потом громко, размеренно, отчетливо сказаны. Таких же ответов он требовал и от студентов — *non multa, sed multum*.

Благодаря всем этим качествам Боголепова, студенты-юристы, в общей массе, знали его курс римского права основательно и местами, как говорится, на зубок.

Как я ранее упоминал, Боголепов был назначен с 1888 г. ректором Московского Университета, а затем был призван Государем на пост Министра Народного Просвещения, на котором и погиб от руки злоумышленника.

Иного уклада и характера, но столь же выдающимся знатком своего предмета, был Александр Иванович Чупров, читавший нам на первом курсе политическую экономию, а на втором — статистику. В ученом мире, не только в России, но и за границей, это было большое имя, среди же нашего студенчества Александр Иванович пользовался не только всеобщим уважением, но и любовью. Весь курс посещал его лекции. Александр Иванович умел вкладывать в них столько интереса, столько жизненной сути и искреннего своего увлечения, что студенты с захватывающим вниманием слушали их и старались не пропускать ни одного часа его чтений.

Несмотря на обширность курса политической экономики, сравнительную его трудность и сухость статистики, общий уровень знаний по этим предметам среди студенчества был безусловно более чем удовлетворительный.

Среди профессоров, читавших нам лекции на первом и втором курсах, был также Николай Андреевич Зверев. На первом курсе мы слушали его лекции по энциклопедии права, а на втором — историю философии права, и не только слушали, но со всем юношеским пылом жадно воспринимали все то, что с

таким воодушевлением и искренним увлечением проповедовал нам с кафедры Николай Андреевич.

Он обладал выдающимися ораторскими способностями и говорил с тем присущим ему темпераментом, благодаря которому умел всецело овладевать своими слушателями. Редкая его лекция не заканчивалась единодушными оглушительными аплодисментами всей аудитории...

Как сейчас вижу памятную мне обстановку Зверевских лекций: все библиотечное помещение, где происходили занятия первого курса, битком набито студентами; на всех молодых лицах напряженное внимание; все глаза устремлены по направлению к возвышающейся кафедре, за которой, обычно стоя, облокотись одной стороной своего хрупкого туловища, Николай Андреевич не читал, а именно вдохновенно проповедовал свои интереснейшие лекции о государственных образованиях, их росте, о намечаемых наукой конечных идеалах человеческих обществ и пр.

Временами Николай Андреевич доходил в своих лекторских выступлениях до удивительного подъема — вся его фигура преображалась, глаза горели, голос приобретал захватывающую вибрацию, и сам он в своем экстазе с распростертыми руками как бы взлетал куда-то ввысь. Рисуемая им перспектива научных данных и выводов казалась ему самому, да и всем нам, очарованным его воодушевленным словом, ясной, доказанной, желанной... Жизнь государственного организма уподобляется физическому — вспоминаются обрывки Зверевских учений. «В своем развитии государство испытывает в порядке постепенности те же ступени, как и существо физическое: имеются налицо зарождение, образование, младенчество, юность и пр. Все эти периоды представляют собой непрерывную цепь, звенья коей

тесно и крепко сплетены одна с другой в порядке тесной преемственности. Если крайнее звено мы назовем периодом восточного деспотизма, последующее, с ним связанное, представляет собой просвещенный абсолютизм, за ним следует монархия конституционная и т.д.. М. Г.! Россия сейчас уподобляется тому звену, которое мы назвали просвещенным абсолютизмом. Отсюда ясный вывод и переход к неизбежному последующему — конституционной монархии...» Дальше Зверева и не слышать и не видеть... В аудитории раздавался при этих словах оглушительный треск молодых ладоней и все студенчество устремлялось к своему вдохновенному глашатаю будущих Российских государственных перспектив...

Прошло с тех пор немало лет: Николай Андреевич Зверев успел быть, вместо Легонина, деканом юридического факультета, затем Товарищем Министра при Н.П.Боголепове и, в конце концов, был назначен Членом Государственного совета.

Почти через 20 лет произошла наша с ним встреча в стенах Мариинского Дворца, где заседал преобразованный Государственный Совет. Крепко обнялись бывший профессор со своим бывшим слушателем, тем более, что оба принадлежали к правой группе членов Государственного Совета. За истекшее время Николай Андреевич сильно сдал и в своем внешнем облике, да и в темпераментности... Что же касается политических убеждений, то видимо идеализированная им во времена моего студенчества цепь государственного развития для него оборвалась на звене 17-го октября 1905 года, и, пожалуй, он был бы не прочь это звено оторвать, удовлетвоваввшись предшествовавшим. В группе правых он занимал в Государственном Совете крайнее непримиримое положение даже по вопросам народного образования. Много усилий пришлось мне приложить, чтобы прове-

сти в 1910-1913 г.г. устройство в Самаре Высшего Политехнического Института, ярким противником чему был не кто иной, как Николай Андреевич Зверев, опасавшийся открытие еще нового рассадника революционеров!! Воистину — *tempora mutantur et nos in illis!*⁹..

Прямой противоположностью живому, энергичному Звереву был профессор Мрочек-Дроздовский, читавший на первом курсе нам лекции по истории русского права, до Соборного Уложения Царя Алексея Михайловича. Сам по себе предмет этот был исключительного интереса и особой важности для образовательного ценза русского юриста; однако, к стыду Московского Университета, прохождение его было возложено на человека не только застывшего в своей профессорской деятельности, но и вовсе омертвевшего. Вследствие этого молодежь предпочитала знакомиться с историей русского права по ранее изданным лекциям и другим печатным источникам, а не слушать скучное, нудное, по тону и по существу пренебрежительно-усталое, перечитывание Мрочек-Дроздовским из года в год одного и того же своего курса....

Быстро Мрочек-Дроздовский отучил нас ходить на его лекции, и едва ли нужно говорить, что подобное профессорство крайне неблагоприятно отзывалось на общем уровне знаний предмета такой первостепенной важности для русского юриста.

На втором курсе выдающимся профессором считался Иван Иванович Янжул (впоследствии академик) — краса и гордость факультета, но вместе с тем, едва ли не большая, чем Боголепов, гроза студентов. Общепризнанный знаток и авторитет по финансовой науке, Иван Иванович, несмотря на изданный им в

печатном виде свой курс Финансовое Право, требовал от слушателей конспективных записей его лекций, что было для студентов исполнять довольно затруднительно в силу излишней торопливости и некоторой неразборчивости в изложении Янжулом своих лекций. Вообще, как лектор, Иван Иванович имел немало погрешностей: произношение его было недостаточно ясно и чисто, в нем слышалось преобладание шипящих звуков, но все это восполнялось необычайно талантливо составленным содержанием его курса..

Иван Иванович отличался необычайной раздражительностью, крайней несдержанностью, и, ко всему этому, чрезвычайной строгостью к экзаменуемым. Он терпеть не мог так называемых белоподкладчиков — студентов-франтов, носивших форменные свои сюртуки на белой подкладке. Некоторые из них знали это и, идя на экзамен к Янжулу, временно брали на прокат самую скромную студенческую форму!

Совершенно иным был заслуженный профессор церковного права — Павлов. Скромный, тихий и добрый, он имел большое имя в ученом мире и лекции его считались выдающимися.

Государственное право — один из важнейших предметов юридического факультета, читалось нам профессором Алексеевым. До него, незадолго до моего вступления в Университет, таковое преподавалось известным профессором М.М.Ковалевским, впоследствии Членом Государственного Совета. Самый курс был обстоятельно составлен и хорошо укладывался в наших молодых головах, но, как лектор, Алексеев представлял собой среднюю величину; читал он размеренно, но неинтересно. Человек он был мягкий, ровный, и студенты к нему относились благожелательно и с доверием.

На старших курсах основными предметами были: уголовное и гражданское право. По расписанию на чтение этих лекций

было уделено много часов. Материальная часть того и другого права представляла собой обширный курс чрезвычайной сложности и теоретического значения. Процессуальная же их сторона составляла особую часть университетского преподавания и, хотя не была столь объемистой, но представляла собой изложение, которое, в силу своей чисто технической сути, приходилось брать почти целиком на память, и в этом отношении курс процессуального права являлся предметом очень трудным.

Материальную часть уголовного права читал нам небезызвестный в научном мире профессор Колоколов.

Как лектор, он пользовался хорошей репутацией, выше же всего был его объемистый курс, талантливо и интересно составленный, особенно та его часть, где говорилось о закономерности явлений и их причинной связи. Он принадлежал к категории профессоров строгих и требовательных. На его экзаменах нечего было думать проскользнуть, как говорится, на фу-фу.

Уголовный процесс читали нам два приват-доцента: престарелый Вульферт и Викторский. К первому студенты ходили неохотно — было сухо и скучно; обратное отношение было к молодому, энергичному Викторскому, который в деле изучения и усвоения процессуальных уголовных норм проявил умную инициативу, заставившую студенчество заинтересоваться этим сухим предметом, а главное, практически изучить нелегкий для памяти предмет.

Дело в том, что Викторский, параллельно с теорией, задумал, если можно так выразиться, натаскивать молодежь по многостатейному уголовному процессуальному кодексу. Для этого он брал из Архива Судебных Мест какое-либо уголовное дело и предлагал студентам таковое процессуально воспроизвести на практике во всех мельчайших подробностях. Некоторые записывались в председатели судебных заседаний (обычно, в

первую голову, на эту должность шли по природному своему властолюбию — евреи), другие в прокуроры, защитники, судебные пристава, присяжные заседатели и пр.... Было занято и полезно постепенно усваивать на практике многочисленные статьи Устава Уголовного Судопроизводства.

Гражданское право, материальную его часть, читал профессор Гамбаров, а процесс — профессор Нерсесов; он же преподавал нам курс торгового права.

И тот и другой были типичными армянами, и по внешности, и по выговору — особенно Нерсес Осипович Нерсесов. Что же касается Гамбарова, как лектора, то исполнение им этой обязанности казалось всем нам сплошным недоразумением. Гамбаров страдал сильнейшим заиканием. Тяжело бывало на него смотреть, особенно в первое время, с каким трудом ему давалось произношение некоторых недававшихся ему слов. В это время армянское лицо его — большое, смуглое, с характерной бородой и огромными глазами-маслинами, принимало жалкое, страдальческое выражение, как будто ему дали раскусить кислейшую клюкву. Долго он, бедный, бывало, так заминался и, наконец, скороговоркой выговаривал незадачливое слово.

Остается вспомнить еще двух наших профессоров, читавших на старших курсах т. н. обязательные предметы — Тарасова и графа Комаровского. Под руководством первого мы проходили курс полицейского права, имевшего скорее юридически-бытовой характер. Гр. Комаровский читал лекции по международному праву.

Оба предмета были интересны и преподавались этими профессорами довольно живо и увлекательно. У гр. Комаровского при произношении слышался особый акцент, которым обладают по-русски говорящие иностранцы или русские, с дет-

ства проживающие за границей, но это ему не мешало вдохновенно исповедовать и проповедовать идею о мире всего мира. В то время это было ново, но путь к Гаагской конференции намечался и постепенно проводился в жизнь. Как экзаменатор, гр. Комаровский имел слабость ко всевозможным иностранным цитатам, которыми был уснащен весь его довольно объемистый курс. Студенты это знали и наиболее ходовые из них старались запомнить, и это обстоятельство при ответах всегда их выгодно выручало.

Что касается Тарасова, то это был один из немногих профессоров, сумевший завоевать среди студентов всеобщие симпатии. Вся его внешность, доброе, ласковое лицо профессорского типа настолько располагало к нему, а самая манера держать себя со своими слушателями была столь искренне-проста и благожелательна, что с ним установились у нас самые наилучшие, чисто-дружеские отношения. Читал он хорошо, увлекательно и интересно, нередко предоставляя возможность студентам практически знакомиться с существовавшими в Москве полицейско-правовыми учреждениями.

Переходя в своих воспоминаниях к профессорам, читавшим необязательные предметы, не могу не упомянуть про престарелого заслуженного профессора богословия о. Сергиевского, по внешнему облику которого трудно было сказать сколько ему лет. По слухам, ему было не менее 90... Во всяком случае, почтенный профессор был настолько дряхл, что большей частью впадал в состояние полной старческой расслабленности, особенно, когда ему приходилось выслушивать ответы экзаменовавшихся.

За четырехлетнее пребывание на факультете богословие необходимо было сдать. Слушать таковой курс было необходимо, но получение по нему переходной экзаменационной

отметки требовалось для допущения к государственным испытаниям.

Самый курс богословия о. Сергиевского представлял собой объемистый, чрезвычайно сложный труд, изложенный тяжелым, схоластическим, нередко малопонятным языком. Вспоминается мне, например, такая в нем фраза: мы апеллируем от труппа к живой душе — и многое в том же стиле...

За редкими исключениями, мало кто знал курс о. Сергиевского; все больше рассчитывали на случай и дряхлость экзаменатора. Дело, однако, в том, что престарелый профессор имел способность иногда вдруг прозревать, проявляя своего рода *lucida intervalla*¹⁰; тогда начинал он вслушиваться в ответы и бывал взыскателен и неумолим — оторопевшего завравшегося студента резко обрывал, стыдил и отсылал для переэкзаменовки.

Курс тюрьмоведения читал приват-доцент Пусторослев, которому мы были признательны за то, что, благодаря его хлопотам, нам удалось видеть в Москве, или скорее под Москвой, некоторые системы тюрем новейшей конструкции.

Посетили мы и новую военную тюрьму, выстроенную по сложному Пенсильвано-Оксфордскому типу, представлявшую систему радиусообразных, сквозных коридоров, сходящихся в одном центре, откуда можно было производить наблюдение за всем происходившим в этой тюрьме. Все проходы и полы были покрыты мягкими коврами, благодаря чему надзирателям был слышен малейший шум. Далее, в этой тюрьме, при одиночном заключении, была достигнута полнейшая изоляция. При нас

10 Светлые промежутки (лат.), старый медицинский термин, относимый к психически больным.

вывели на свободу одного солдата, пробывшего в одиночной камере 6 месяцев; он имел вид не человека, а скорее какого-то существа, в первое время совершенно бессловесного, видимо отвыкшего говорить.

Судебную медицину читал декан нашего факультета Легонин, почтенный старичок, много работавший по своей специальности. На его лекции ходило очень мало народу, а на практические занятия в анатомический театр — и того меньше...

Каковы же были условия занятий во время пребывания моего в Университете? Прежде всего, коснусь самой техники преподавания, а затем скажу несколько слов по поводу своих общих впечатлений о прошлом своего студенчества в отношении прохождения и изучения лекционных курсов.

Из всего написанного мною выше явствует, что ограничиваться одним слушанием лекций было невозможно. Необходимо было еще и записывать все то, что говорилось нам с кафедры. Некоторые профессора, вроде Боголепова, читали так, как будто диктовали. Запись за ними представлялась делом сравнительно легким, но были и другие лекторы, за которыми записывать было невероятно трудно, почти невозможно, — приходилось набрасывать самый краткий конспективный перечень главнейших доводов и выводов. В силу этого ощущалась крайне настоятельная нужда в издании полного курса читанных лекций.

В этих целях с первого же курса из среды студентов образовывалась особая комиссия, которая обычно в полном составе присутствовала на всех лекциях, и потом выпускала в литографированном виде соответствующие по каждому предмету лекционные листы. В общем, весь материал, по своему содержанию и с чисто внешней стороны, издавался весьма добросовестно и недорого. Это издание и служило основной помощью для

нашего домашнего прохождение и изучение факультетских наук.

Оглядываясь спустя почти 40 лет на прошлую обстановку моего учебного периода, приходишь к некоторым выводам по поводу общей постановки учебного дела в прошлой России.

Прежде всего, бросается в глаза огромная разница в условиях учение в гимназиях и затем университетского. Строгость, требовательность и бдительный надзор, которые мы все испытывали в средней школе, с получением аттестата зрелости и переходом в университет, сразу как бы обрывались. Молодые люди фактически освобождались от какой-либо опеки и представлялись самим себе.

Существовало на бумаге правило, чтобы студенты без уважительных причин не пропускали лекций. Для сего курсовой т.н. педель (сторож, дядька) имел соответствующий разграфленный журнал, где против каждого студента должен был отмечать его приход или отсутствие. Фактически это требование превратилось в сплошную комедию. Педеля относились к своим обязанностям не только небрежно, но, если получали от некоторых своих студентов чаевые, то проставляли против них в соответствующих графах пометки о беспрестанном присутствии их на лекциях, хотя бы сии господа ни разу и в глаза своих профессоров не видали.

Народу в Московском Университете было много — особенно на юридическом факультете. Были профессора, как например Боголепов, Янжул и Колоколов, которые до известной степени примечали своих слушателей и строго относились к исполнению своих требований по ведению конспектов. К таковым лицам волей-неволей студенты должны были ходить. Охотно посещали также профессоров, увлекавших своими талантливыми и интересными лекциями, но были и такие горе-лекторы,

у которых в аудитории присутствовали лишь члены издательской комиссии.

Повторяю — надзора и учета по посещению лекций фактически не было и, надо сказать правду, — соблазн в силу этого, для молодежи, только что освободившейся от гимназического строгого режима, получался немалый.

К этому надо добавить еще и то соображение, что по Новому Уставу 1884 года центр тяжести проверок студенческих знаний сводился к моменту государственных испытаний, так как в течение прохождения курсов семестровые зачеты не могли носить характера серьезных экзаменов, и лишь спустя некоторое время были установлены т.н. полукурсовые устные проверочные испытания. Итак, в начале действия Нового Устава обычно все сводилось к зачетам по письменным конспектным записям и лишь некоторые профессора, более требовательные, попутно при зачетах проверяли студенчество еще устными дополнительными расспросами.

Все это, в общем, создавало губительную обстановку свободы жизни и действий, понимаемую каждым студентом по-своему.

В результате безрежимного, бездисциплинного, четырехлетнего пребывания в звании студента университета многие разбалтывались в безбрежной области предоставленной им свободы, после чего особенно тяжело бывало приступать к конечному моменту университетской жизни — сдаче государственных экзаменов, которые, кстати сказать, были также обставлены исключительно неблагоприятными условиями для оканчивавшей свой курс молодежи.

На юридическом факультете все двадцать предметов были сбиты на протяжении лишь одного экзаменационного месяца.

Получалась в силу этого чрезмерно напряженная мозговая работа, отрицательно отзывавшаяся на продуктивности подготовительных занятий, на качестве экзаменационных ответов и на здоровье самих испытуемых. У некоторых из экзаменовавшихся нервная система расшатывалась до такой степени, что после окончания государственных испытаний многим приходилось не только отдыхать, но и лечиться, а один из моих товарищей чуть с ума не сошел. И то сказать: чтобы только на скорую руку перечитать все курсовые лекции в столь короткий период времени, мы вынуждены были, не разгибаясь, без отдыха, сидеть за исключительно напряженной мозговой работой. Обычно по ночам пили мы для бодрствования и возбуждения крепчайший черный чай, но и он, под конец, стал терять свою живительную силу.

Вспоминается мне, как пошел я на последний свой экзамен по международному праву, для подготовки к которому были даны всего лишь одни сутки, а курс был довольно объемистый. За месяц сверхсильной умственной работы голова и весь мой организм настолько устали и ослабли, что я, взявшись за курс гр. Комаровского, почувствовал чисто физическую невозможность его, хотя бы бегло, пробежать. Все предшествовавшие экзамены прошли у меня более, чем благополучно — по всем предметам я получил в государственной комиссии оценку: весьма удовлетворительно¹¹ и имел два т.н. особых зачета по уголовному и церковному праву, для получения же диплома необходимо было иметь не менее двух таких особых зачетов.

Решив окончательно себя не надирать, я залег спать, благодаря чему, после отдыха, я смог поздно вечером перелистать

11 Всего было три категории оценок: весьма удовлетворительно, удовлетворительно и слабо. (прим. автора)

курс, а утром повторил и хорошенько запомнил особую сделанную мною выписку тех иностранных изречений, на которые так падок был гр. Комаровский. В результате, последний экзамен был мною тоже сдан не только благополучно, но сверх ожидания, даже с особым зачетом, третьим по счету... Удачная вставка одной любимой профессором французской цитаты довершила мой триумф.

Свершилось, наконец, великое для меня событие — я благополучно сдал все государственные экзамены, и с чувством величайшей радости и счастья покинул в последний раз здание Исторического Музея, где заседала наша испытательная комиссия. Вместе с Островским, сыном писателя, с которым мы экзаменовались все время в одной группе, прошли прямо к внизу расположенной часовне Иверской Божьей Матери, чтобы горячо поблагодарить Владычицу за ее помощь и ниспосланное счастье. Надо сказать, что перед каждым экзаменом я заходил к Иверской и ставил свечку к чудотворной иконе.

Письменная моя диссертация: Об Уголовной давности оказалась тоже удачной, так что диплом первой степени был для меня обеспечен.

Через сутки я сидел в Нижнем на пароходе, спеша в родное Головкино.

18

Мечты мои о дальнейшей жизненной карьере были разные: с одной стороны, меня чрезвычайно увлекала сама наука, в частности, уголовное право. По этому поводу, после удачного моего ответа на государственных испытаниях и получение по этому предмету особого зачета, произошел у меня серьезный

разговор с профессором Колоколовым. Рисовалась далекая перспектива профессуры, с предварительным командированием меня для довершения моего специального образования за границу. С другой стороны, будучи на последнем курсе университета, я познакомился в радушной семье кн. Сергея Ивановича Урусова с братом его кн. Александром Ивановичем — известным присяжным поверенным того времени, человеком блестящего, увлекающего красноречия и огромного темперамента, который произвел на меня чрезвычайно сильное впечатление. С своей стороны, он убеждал меня пойти по пути адвокатуры, горячо и искренне отстаивая свою точку зрения на свою профессию, как на наилучший способ проявления добра своему ближнему и как на единственную работу, дающую наиболее удовлетворение и смысл человеческой жизни.

Семя, брошенное Урусовым, глубоко запало в мое юное отзывчивое сердце, и у меня возникла мысль, по его же совету, временно зачислить себя кандидатом на судебную должность при Прокуратуре Московской Судебной Палаты. В то время должность эту занимал Николай Валерианович Муравьев, впоследствии Министр Юстиции, с тем, чтобы устроившись и отбыв воинскую повинность, затем перейти к кн. Александру Ивановичу в помощники.

Всему этому не суждено было осуществиться по причинам, о которых я в свое время скажу, а пока вернусь к воспоминаниям, связанным с моей личной студенческой жизнью в Москве, ее домашней и внеучебной обстановкой.

За редким исключением наездов к нам отца, мы жили с мамой одни вдвоем.

Любимым удовольствием ее было посещение оперы, драмы и концертов, и в этом отношении не могу не вспомнить тех услуг, которые всегда оказывал ей мой милый друг Володя

Варламов, предлагавший и достававший все наиболее для нее интересное в смысле выбора музыкальных представлений и театральных зрелищ-

Дома имелся у нас всегда инструмент — отличное прокатное пианино, за которое мало-помалу выздоравливавшая мама садилась все чаще, доставляя мне своей вдумчивой игрой величайшее наслаждение.

Надо сказать, что с момента переезда нашего в Москву, я скрипку забросил, лишь изредка, под аккомпанемент мамы, играя некоторые бывшие излюбленные свои вещи. Случилось это вот почему: еще в Симбирске, когда я был в последнем классе гимназии, к нам в дом, по приглашению моих родителей, пришли однажды два оперных артиста. Оба они участвовали в Казанской труппе, которая временно приехала на несколько гастрольных представлений в симбирский театр. Один из них был популярный тогда тенор Петр Феофилович Давыдов, прекрасный Ленский, а другой, не менее известный провинциальный певец, — баритон Николай Владимирович Унковский, великолепный Демон.

Стояло прекрасное весеннее время и оба они так в нашем доме разошлись, что под аккомпанемент мамы пропели ряд своих арий, а затем, шутя пристали ко мне, чтоб я им что-нибудь спел. В конце концов, они заставили меня под свой аккомпанемент спеть вместе с ними: «Среди долины ровныя», после чего Николай Владимирович серьезно при мне маме сказал: «Обратите внимание на голос Вашего сына — тембр его подает большие надежды. Попробуйте, по переезде в Москву, позаняться с ним и посерьезнее...» Увы! после этих слов судьба моей милой скрипки была решена.

В Москве с осени я решил начать брать уроки пения, и с этой целью обратился, по совету некоторых своих знакомых, к

знаменитой, бывлой гордости нашей оперной сцены — Дарье Михайловне Леоновой, первой исполнительнице Вани в Жизнь за Царя Глинки.

На Бронной улице, в одном из типичных для нее флигельков-особнячков, с входом через двор, жила эта престарелая певица, окруженная с утра до вечера массой учеников и учениц.

Была у нее одна специальная комната, превращенная в маленький домашний театр с крошечной сценой и небольшим — человек на 100 — партером. У одной из ее стен стояло пианино, у которого происходили все занятия.

Низенького роста, с небольшой головой, покрытой старомодным, но всегда ярких цветов, чепчиком с лентами и бантами, на старчески располневшем, коротеньком туловище, почтенная Дарья Михайловна, при всей своей — уродливой — наружности (особенно портил ее огромный рот), была удивительно симпатичным и привлекательным существом, настоящей артистической натурой — простой, искренней, стремящейся к правде и красоте, сохранившей до глубокой старости силу увлечения и темперамента. По отзывам ее современников и по признанию ее самой, Леонова получила свой необыкновенный певческий дар Божьей милостью. Господь таковыми сотворил и ее и ее горло, вдунул затем в нее свою Божью искру и пустил на сцену. Таков же был ее метод обучения других... Пой так, как я пою, таков был ее первоначальный совет пения всякому новичку. При этом параллельно с вокализациями она тотчас же давала для разучивания один из ее любимых романсов в виде полезного этюда. Так было и со мной. Заставив меня взять несколько нот, испробовав мой верхний и нижний регистры, Дарья Михайловна определила мой голос высоким баритоном и,

вместо всяких разъяснений и наставлений, просила взглядеться и вслушаться в то, как она будет сама брать своим голосом ноты.

После себя, она заставила меня повторить то же, а затем достала романс Цезаря Кюи: Я помню вечер и велела мне его спеть. Смущен я этим был немало. Робким голосом приступил к исполнению приказа моей учительницы, но, когда я столь же застенчиво стал кончать этот романс, милая Дарья Михайловна не выдержала, расхохоталась, обняла меня и, погрозя пальцем, простодушным тоном сделала мне выговор: Ох, милый мальчик, не так, не так! Сейчас видно, что молод чересчур, не успел еще испытать, как следует, этой штуки — любви! — Слушайте, как надо этот чудный романс петь!...

Села и под собственный аккомпанемент вновь запела... и как запела! Я стоял, как очарованный.

Месяц спустя речь у нас с ней зашла о разучивании партии Валентина в Фаусте и выходе моем на ее ученическом представлении, но сам я чувствовал себя сильно не по себе. Подражательная система мне видимо не удавалась, голосом своим я был недоволен, и ко всему, появилась легкая сипота и заметная усталость голосовых связок. Дарья Михайловна все время сильно тянула мой голос в верхний регистр. Очевидно я стал переутомляться.

Одновременно, мама слышала от многих лиц неодобрительные отзывы о системе Леоновой, как очень опасной для целостности голоса. Я решил во избежание окончательного срыва отдохнуть, и в это время судьба столкнула нас с мамой с семьей Кашперовых.

Вскоре я был представлен старику, Владимиру Никитичу, известному музыканту и композитору, другу Глинки, занимав-

шемуся долгое время в Италии, а затем у себя в России обучением пению по всем правилам старой классической итальянской школы.

Владимир Никитич был женат на Адели Николаевне, урожденной Бекетовой. Оба они принадлежали к старинным дворянским фамилиям исконных помещиков Симбирской губернии, Сызранского уезда. Ко времени нашего знакомства Кашперовы были в преклонных годах и имели многочисленную семью, состоявшую из трех сыновей и четырех дочерей.

Вся семья была чрезвычайно музыкальна. Все они или пели или играли, более же всего музыкальные способности выявлялись у Елизаветы и незабвенного моего друга Александра, безвременно в молодых годах скончавшегося от скоротечной чахотки.

Не могу не сказать о нем несколько слов в своих воспоминаниях — слишком я его любил, слишком это была удивительно одаренная артистически-музыкальная натура. Начать с того, что он, несмотря на свой юный возраст, обладал исключительным по красоте своего тембра и широте диапазона басом (то, что называется *basso cantanto*). Он способен был положительно очаровывать всех своим неподражаемым *mezza-voce*.

Вернувшись в 1888 году после каникул осенью в Москву, я пошел к Владимиру Никитичу для пробы голоса в надежде, что он возьмет меня в свои ученики. В этом отношении он был разборчивее других и не всякого принимал.

В общем, Кашперов был старик еще бодрый, энергичный, в музыкально-педагогической области — темпераментный и своенравный. Требования у него к своим ученикам были определенные и суровые. Для сохранения свежести и силы голоса он

заставлял их строго соблюдать неукоснительный режим и правильный образ жизни. В этом отношении он был неумолим и верен староитальянской школе и традициям.

В музыкальном и, в частности, в певческом мире Владимир Никитич имел обширные знакомства. Почти все гастролировавшие знаменитости посещали Кашперовский дом — кто по старой дружбе, кто по памяти об его прошлой выдающейся музыкальной деятельности. За несколько лет частых моих посещений семьи Кашперовых, со многими из них мне пришлось в их доме сталкиваться и знакомиться.

За два года моих занятий у Владимира Никитича я сердечно привязался к оригинальному, но милому старику, который, со своей стороны, проявлял ко мне чисто родственную ласку и редкое внимание, видимо задавшись целью сделать из меня будущего оперного певца.

Благодаря подобному отношению ко мне моего учителя, за 3 1/2 года моего у него обучения я, как бы на всю свою жизнь, наслушался лучшей музыки и научился от моего умного и разборчивого наставника многому в смысле распознавания в мире звуков подлинной красоты.

Последний год я проходил попутно у него начала контрапункта и теории музыки.

Кашперовский метод преподавание заключался прежде всего в развитии диафрагмы, как основы звукового начального толчка и дальнейшей его базы, благодаря чему достигалась установка т.н. грудного голоса, в отличие от горлового сдавленного, непрочного пения. В непосредственной связи с этим обращалось серьезное внимание на развитие дыхания, экономию голосовых связок и правильное держание внутренней полости рта.

Помощь Кашперов приносил своими советами всем нам огромную и очевидную. Дело говорило само за себя... В какой-нибудь один год нельзя было узнать моего первоначального ученического голоса — настолько он улучшился в смысле мощи и полноты звука, а про здоровье организма и говорить нечего. В этом отношении лично про себя я должен сказать, что за два года работы у Владимира Никитича грудная клетка и общее состояние моего организма окрепли удивительно. Это было достигнуто ежедневными упражнениями для развития правильного дыхания и соблюдением нормального жизненного режима. Силу голоса и дыхания он довел у меня до степени совершенно достаточной, чтобы думать даже о сцене, на что старик серьезно меня наталкивал. Я успел пройти у него немало оперных партий, включая Риголетто. Для их исполнения я попутно изучал итальянский язык у почтенной супруги Владимира Никитича, милой, умной и добрейшей Адели Николаевны.

Изучая пение, я все же не охладевал к драматическому искусству и продолжал довольно часто выступать в любительских спектаклях. Вспоминается мне, как в том же Кашперовском доме Ипполит Васильевич Шпажинский неоднократно смущал мой покой, уговаривая отдаться целиком драме и рисуя мне блестящие перспективы, чуть ли не приглашение дирекцией Малого театра на роли первых любовников. Все это говорилось и делалось за спиной милейшего моего маэстро и опекуна по пению — спаси Бог, если бы он это узнал! Совместно с Шпажинским в заговоре была Екатерина Владимировна, которая одно время меня даже брала с собой в гастрольную труппу при поездках в ближайшую от Москвы провинцию (Коломну и др.), где я играл под псевдонимом Вомуан (обратное произношение нашей фамилии).

Знакомство с семьей Кашперовых, занятия пением и частые посещения этого маленького музыкального центра в Николо-Песковском переулке, в общем итоге, имело в моем студенческом бытии огромное и самое благотворное влияние, решительным образом направив всю мою жизнь и досуги в русло благородных, положительных увлечений, способствовавших здоровому развитию тела и духа.

Сами условия моих занятий у Кашперова были обставлены требовательным стариком так, что приходилось строго держаться правильного образа жизни и стараться не выходить из рамок дозволенного.

Между тем, до этого, в бытность мою на первом курсе, мы, симбирская молодежь, только что скинувшая с себя гимназические мундиры и почувствовавшая себя вольными студентами, невольно изо дня в день втягивались в водоворот праздной, легкомысленной уличной жизни шумного, большого города со всеми его соблазнами.

Наше молодое общество состояло из следующих лиц: двух братьев гр. Толстых — Владимира и Петра, Владимира Варламова, Александра Санкова, Леонида Афанасьева, Ивана Рютчи, князя Александра Ухтомского и меня. Это был наш интимный товарищеский кружок, который ежедневно сходилась и одно время почти весь обитал в вышеупомянутых номерах Базилевского.

Леонид Афанасьев пробовал быть два года на естественном факультете, два года — на юридическом, но дальше второго курса не доходил и, в конце концов, бросил университет, уехал к себе в Симбирск, женился, занялся хозяйством и очутился позже Симбирским Городским Головой. В этой должности застала его революция 1917-1918 г.г. Пришлось со своей семьей

бежать в Сибирь, откуда он большевиками был сослан в Соловецкую тюрьму, где и нашел мученическую свою кончину.

Вспоминается мне Афанасьев студентом: крепкий, цветущий брюнет с крупными чертами лица, блестящими карими глазами и большими для юного возраста усами. Леонид был веселый малый, обладавший, несмотря на свою мужественную внешность, тонким голосом, которым он говорил обычной скороговоркой; не прочь он был подтрунивать над некоторыми из своих приятелей.

Года на два старше его был Александр Сачков, сын своего знаменитого отца — Александра Дмитриевича, которого вся симбирская и поволжская округа хорошо знала по той простой причине, что по всем селам и городам нашего Заволжья, до введения в стране казенной винной монополии, можно было встретить винные лавки и трактиры с надписью: А.Д.Сачкова. Начав на одном из винокуренных заводов служить в качестве небольшого приказчика, Александр Дмитриевич сумел быстро встать на ноги, обзавестись собственным винокуренным заводом — впоследствии даже несколькими, начать винную торговлю и сделаться в этом отношении местным почти монополищиком, нажив огромные деньги.

Сачков-сын обладал в общем приятной внешностью, для некоторых женских кругов даже привлекательной; небольшого роста, пухленький, с кругленькой головой и таковой же физиономией; главным же его достоинством было умение держать себя всегда и всюду удивительно чинно и скромно.

Сашера (так звали его товарищи) был добрый малый, но ленивый и недалекий. Много горя он причинял своему отцу своей нерадивостью и... склонностью, вместо университета, посещать загородные рестораны, главным образом «Яр», где не столько

он вкушал и пил, сколь предавался своим сердечным увлечениям в кругу знаменитого тогда русского хора Анны Ивановны Ивановой.

Старик Сачков думал сначала воздействовать на своего слабого по сердечной части сына тем, что выдавал ему на руки более чем скромные деньги... Увы! Хотя Симбирск и далек был от Москвы, но слава о Сачковских миллионах доходила и до нее — в частности до Яра и хозяина его, Аксенова, предоставлявшего Сашере широкий кредит для его частых к нему наездов. В результате получалось то, что ежегодно, вместо удостоверений о сдаче экзаменов, сынок привозил отцу в Симбирск кучу неоплаченных счетов, векселей и прочих заработанных им в Первопрестольной всевозможных обязательств. Деляга отец из себя выходил...

Наконец папа Сачков не выдержал и решил снять с милого Сашеры столь шедшую к нему студенческую форму, перевез его к себе в Симбирск на жительство и превратил в маленького хозяина одного из своих имений под губернским городом.

Попав в отцовскую обстановку, Александр Сачков стал сразу неузнаваем — остепенился и приобрел вид доброго солидного помещика, вскоре женился на живой, хорошенькой А.И.Афанасьевой, развел конный завод и зажил домовито и спокойно, забыв свои прежние романтические охи и вздохи.

С Афанасьевым и Сачковым еще ранее по Симбирску был дружен Иван Петрович Рютчи, год спустя после меня поступивший в Московский Университет и примкнувший также к нашей компании. Ни семьи его, ни родителей я ранее не знал. Слышал, что отец его, Петр Иванович, служил одно время в одном из уездов Симбирской губернии Предводителем Дворянства.

Тощий, болезненного вида, с некрасивым, нечистым лицом и бегавшими, ничего не выражавшими, небольшими тускло-голубыми глазами, Иван Рютчи был добрым, сердечным малым, но очень неуравновешенным, суетливым, всюду совавшим свой нос и любившим собирать от всех и вся всевозможные слухи и великосветские сплетни. У него были две слабости — морочить публику рассказами о своих великосветских связях, и затем мнить о себе, как о неотразимом Дон-Жуане. То и другое в нашей компании находило обильную пищу для всевозможных проделок с ним в целях не столько злого издевательства, а скорее исправительных, ибо в общем, — повторяю, — мы его любили за его доброту и сердечность.

Вспоминаю эпизод, из-за которого администрация меблированных комнат Базилевского, в лице маленькой, толстенькой, как бомба, всюду внезапно появлявшейся, генеральши Глазенап, с физиономией породистого, но злющего бульдога, — положила конец нашему веселому студенческому общежитию в нижнем коридоре заведываемого ею здания.

Решили мы основательно проучить нашего Ваню, надоевшего нам своими рассказами о ряде светских удач и сердечных побед. Написали мы от имени одной небезызвестной в обществе красивой дамы письмо Ивану Рютчи, в котором она признавалась ему в любви и предупреждала, что разгоревшаяся страсть безудержно толкает ее на безумный шаг — идти самой к нему в его апартамент на свидание в таком-то часу такого-то дня...

Милый наш Ваня, получив сию любовную цидулку, был вне себя от охватившего его восторга. Мы же все, рядом в комнатах с ним жившие, как бы случайно сговорились идти в оперу в ложу в день и вечер, назначенные в письме светской красавицы для часа любовного с Ваней свидания. Пробовали мы

звать и Рютчи идти с нами, но встретили категорический, несколько надменный, отказ, причем Ваня сослался само собой на приглашение в какой-то известный великосветский дом на вечер. За час до условленного срока прихода к Рютчи дамы, мы все собрались в боковой комнате у мамы и стали гримировать и принаряжать на свидание с Рютчи... Варламова. Будучи природным комиком, превращенный в облик светской львицы, Володя смешил всех нас — Толстых, Ухтомского, Афанасьева, Сачкова — положительно до упаду.

Женское платье взяли мы у прислуги, Ольги Никифоровны; достали дамскую шляпу, вуальи пр. Намазали Варламовскую физиономию жирным слоем румян и белил с тем, чтобы хорошенько при жарких поцелуях измазать нашего героя. Все было наконец готово. Час настал, Варламов спустился вниз, мы же все выбежали на двор, куда выходили наши окна, чтоб следить за событиями. Условились так, чтобы Варламов, как только войдет в комнату к Рютчи, тотчас же должен был потушить лампу и затем броситься в объятие и вымазать всю физиономию великосветского льва... Все было исполнено по расписанию. Мы были очевидцами, как интересная дама общества за густым вуалем переступила порог апартаментов предмета своей страсти... Свет потух, началась внутри Ваниного номера шумная возня... Мы бросились скорее в коридор, но тут случилось нечто, нами непредвиденное...

Дело в том, что генеральша Глазенап занимала комнату в конце коридора. Не знаю, не донесли ли ей, или она сама узрела через свое золотое пенсне, но факт остается фактом — Глазенаппе стало известно, что в ее святая святых, — во вверенном ей доме, славившемся на всю Москву чистотой нравов и строгостью порядков, произошла неслыханная дерзость: — к холостому одинокому жильцу пришла какая-то подозрительная

особа весьма странного, но несомненно женского облика. Надеть на лысую голову чепец с париком — (или парик с чепцом, не все ли равно...), накинуть на свои генеральские плечи походную накидку — для Глазенапши было делом одной минуты. Пока домоправительница с расвирепевшим выражением своей бульдожьей физиономии подходила к двери злополучного номера, мы к тому же месту из разных темных углов коридора тоже подкрадывались.

В этот момент в самой комнате счастливого обладателя великосветской красавицы происходило что-то невообразимое — очевидно, любовный экстаз доходил до своего апогея... Слышалась за дверью страшная возня, стук падавших предметов, разбитой посуды (оказывается, в темноте был задет умывальник), раздавались какие-то дикие возгласы, доносились то ругань, то хохот... Генеральша, запыхавшаяся от спеха, волнение и душившего ее гнева берется решительно за ручку двери... Но тут случилась для нее и всех нас неожиданная и страшная катастрофа. Дверь с треском распаивается и из темноты вываливаются две сцепившиеся друг с другом, растерзанные фигуры, наталкиваются на блюстительницу нравов, сшибают ее с ног и все втроем распластываются на скользком каменном коридорном полу. Мы бросаемся с разных сторон на выручку — и хорошо сделали, так как Глазенапша оказалась основательно задавленной нашими Ромео с Джульеттой и нам ее пришлось не на шутку спасать.

После избавления генеральши от грозившей ей опасности, на наши головы посыпался весь походный лексикон ругательств ее покойного супруга с конечной угрозой выставить всех нас из дома Базилевского.

Надо было видеть при всем этом трагическом финале облик и физиономии наших главных действующих лиц: измазанного вдоль и поперек героя — Дона-Жуана и кикиморообразного Варламова со сбившейся на шее вуалью и задранной на затылок дамской шляпой, в бабьей разодранной кофте и суконных студенческих панталонах, обнаружившихся на нем за утратой где-то прочего женского туалета.... Ко всему этому, у того и у другого в глазах можно было прочесть сплошной ужас от неожиданной близости к страшной во всех отношениях генеральше...

На ее крики и угрозы, наша озорная молодость могла лишь ответить одним бесконечным веселым хохотом, от которого, бывало, не могли мы отойти и впоследствии, при одном только воспоминании о неудачном походе милого нашего Дона-Жана...

Несмотря на присущие ему недостатки, Рютчи вел свои учебные университетские занятия довольно усердно и успешно, окончил курс и вернулся хозяйничать к себе в Симбирск. Но, как оказалось, здоровье его было подорвано тяжелым недугом, из года в год беспощадно превращавшим бедного Ваню в физически и умственно ненормального, расслабленного человека. Сорока лет с небольшим он погас навеки.

19

В описываемое время Императорская оперная труппа изобиловала выдающимися артистами. В составе ее значились такие силы, как Хохлов — общий любимец Москвы и особенно студенчества, Донской, Преображенский, Корсов, Бутенко, Барцал, Муромцева, Коровина, Клямжинская, Збруева, Альма

Фострем, Фелия Литвин и др. Приезжали в Москву и знаменитые гастролеры в роде Котоньи, Мазини, Таманьо, Зембрих, Адель Борги и др.

Ложи верхних ярусов, где мы обычно сживали в Большом театре, были поместительные и удобные, так что вмещали всю нашу студенческую компанию: Толстых, Ухтомского, Виктора, Афанасьева и Сахарова. Варламов же предпочитал драму.

Любил я с Володей Варламовым посещать театры. Оба мы были страстными поклонниками драматического искусства, да еще в той классической постановке, как это было в наше время на сцене Императорского Малого театра, с такими величайшими художниками сцены, как Ленский, Южин, Садовский, Правдив, Рыбаков, Музиль, Ермолова, Федотова, Никулина, Садовская, Лешковская, или у Корша: Давыдов, потом перешедший на Александринскую сцену, Киселевский, Андреев-Бурлак, Гламма-Мещерская и др.

Репертуар тех времен на московских сценах был удивительно разнообразный и интересный. Благодаря этому за пять лет моей жизни в Москве удалось мне вдоволь набраться театральных впечатлений, музыкальных и художественных знаний, на всю последующую жизнь.

Театральная моя страсть, проявившаяся еще в гимназические годы, приняла за время моего студенчества столь серьезный характер и оборот, что один год, совпадавший с последним курсом моих университетских занятий, я не только мечтал о сцене, но серьезно стал готовиться к ней, особенно под влиянием частых моих посещений Кашперовской семьи. Несмотря на старание старика Кашперова меня направить на оперно-артистическую карьеру, я тяготел больше к драматическому искусству, и в этом отношении находил всегда горячую поддержку в лице моего друга и товарища по любви к театру — Варламова.

Весь классический репертуар наших драматургов знали мы с Володей в совершенстве, часто друг другу читая и декламируя, причем до тонкости изучили мы манеру и всю мельчайшую нюансировку исполнения современных нам драматических артистов.

Вполне понятно, что и Володя, и я не могли удержаться от участия в спектаклях: он играл в ученических (на курсах Садовского), а я случайно и счастливо завязал знакомство в Московском обществе с целым рядом кружков, устраивавших любительские спектакли.

С самого начала, как только поселились мы с мамой в доме Базилевского, мы свели знакомство с теми семьями, которые издавна до нас проживали в этом доме, недаром писателем Боборыкиным прозванном Дворянским Гнездом: Слезкины, кн. Туркестановы, Позен, Гартунг и др.

В семье Слезкиных я познакомился с двумя сестрами, из которых одна — Екатерина Михайловна, воспитанница Екатерининского Московского Института была красивой, статной барышней, близко дружившей с Еленой Сергеевной Яковлевой, дочерью камергера и Почетного Опекуна, Сергея Павловича Яковлева, которому в Москве принадлежало большое печатное дело. Елена Сергеевна была очень живой, энергичной особой, страстно любившей театр и часто устраивавшей у себя на дому любительские спектакли.

В Яковлевском доме сходилась много молодежи, устраивались музыкальные вечера, засаживались играть в модный тогда винт, а главное, что меня влекло в этот дом — это участие в устраиваемых Еленой Сергеевной любительских спектаклях. Обычной моей партнершей была Екатерина Михайловна Слез-

кина, обладавшая чрезвычайно мелодичным голосом и умением завораживать слушавшую ее публику жестокими цыганскими романсами.

Было время, когда я сам стал чувствовать над собой силу ее чар и, при взгляде на ее отточенное красивое лицо и темные глаза с выражением невинной ласки и ангельской доброты, в моем воображении вставал неземной облик классической Мадонны, перед которой хотелось с благоговением преклоняться.

Но вскоре судьба сыграла со мной злую шутку, натолкнув на житейский эпизод, после которого моя Мадонна в сердце и мечтах была для меня развенчана навсегда... Надумали мы однажды со Слезкиной сыграть в винт. Екатерина Михайловна, прежде чем сесть за зеленый стол в качестве моей партнерши, предупредила меня, чтобы я при назначении сильных мастей смотрел на нее соответственно большими глазами и наоборот. Сели мы играть и сразу же на договоренной почве стряслось недоразумение — назначив масть, я посмотрел на свою очаровательную партнершу столь неосторожно-восторженно, что она приняла мой пылкий взор за намек на сильную мою масть. К этому оказалась еще на ее картах хорошая поддержка, благодаря чему довинтились мы с ней до большого шлема и... остались в конце игры без пяти! Произошла невероятная метаморфоза: вместо ангелоподобной Мадонны с точеным ликом и ласковым взором томных глаз, передо мной, правда лишь на мгновение, мелькнула взбешенная фурия с искаженной от злобы физиономией и сверкавшими от ненависти вытаращенными глазами... Сердце мое, при виде подобной Кати Слезкиной застыло и захлопнулось для нее, повторяю, навсегда.

Будучи на втором курсе, я познакомился с семьями кн. Курдашевых и кн. Урусовых, в состав которых входил многочислен-

ный кружок симпатичных барышень, очень любивших драматическое искусство, и у нас быстро сорганизовался ряд любительских спектаклей.

Князь Сергей Сергеевич Кудашев — отец, занимал должность Управляющего московским отделением Дворянского Банка. Для наших спектаклей он охотно предоставлял не только свою квартиру, но впоследствии даже обширную залу в помещении, занимаемом самим банком, на Тверской, близ Английского Клуба.

Княгиня Еликонида Ивановна была крупная, рыхлая женщина, очень гостеприимная и без ума любившая своих деток-дочек, из которых выделялась среди других своей внешностью и одаренностью средняя по возрасту, носившая материнское имя Еликониды. Небольшого роста, тонкая, изящная, Еликонида Сергеевна обладала выдающимся драматическим талантом и удивительным, в душу проникавшим тембром голоса. Участвовать мне с ней приходилось часто, что доставляло мне огромное удовольствие — природная ее чуткость и музыкальность подсказывали ей всегда верность тона в репликах.

Вместе с Кудашевыми, участвовали и другие барышни, в частности, две княжны Урусовы, дочери князя Сергея Ивановича Урусова, родного брата известного присяжного поверенного князя Александра Ивановича. Князь Сергей Иванович был членом Дворянского Банка и служил в одном и том же учреждении с князем Сергеем Сергеевичем Кудашевым. Жили они на Пречистенке, занимали хорошую квартиру и вообще вели открытую светскую жизнь, несмотря на ограниченные средства. У них и Кудашевых я встретился с двумя молодыми людьми, с которыми впоследствии связан был узами теснейшей дружбы — графом Владимиром Васильевичем Стенбок-Фермор и

В.И.Фриде. Оба были студентами Петровско-Разумовской Академии. В.Стенбок был тоже страстный любитель драматического искусства и всегда участвовал с нами в любительских спектаклях у Кудашевых, в амплуа простаков. Был он приветливым, душевным человеком, интересным собеседником и хорошим товарищем.

В доме Урусовых произошло, как я упомянул раньше, мое знакомство с знаменитым князем Александром Ивановичем, который чуть-чуть не сыграл в моей жизни решающую роль советчика... Помню мое первое впечатление об этом выдающемся деятеле. Был у Урусовых вечер; в большой, красиво убранной комнате гости разбились в разных местах небольшими группами. Всюду шел оживленный говор, как вдруг появляется в дверях высокая, плотная фигура элегантно одетого пожилого господина барской внешности с зачесанными назад длинными волосами, небольшой, темной с проседью бородкой и золотым пенсне на крупном носу. Подойдя к одной из дамских групп, этот господин через несколько времени стал с ними оживленно беседовать, а, спустя еще немного, вся гостиная превратилась в одну аудиторию, восторженно внимавшую его звучному и красивому голосу. Господин этот и оказался князем Александром Ивановичем Урусовым, только что вернувшимся с цыганского концерта. Спрошенный знакомыми его дамами о полученных им впечатлениях, князь, будучи сам страстным поклонником цыганской песни, увлекся в своей беседе, перейдя к общему вопросу о значении и особой красоте цыганизма в музыке и пении. Впервые слышал я его вдохновенное блестящее красноречие, дышавшее таким молодым и искренним подъемом, что невольно все слушавшие его подпадали под неотразимые чары его удивительного дара речи.

Помимо Кашперовского дома и кружков Яковлевского и Кудашевского, с которыми мои воспоминания связаны, поскольку в их среде я находил удовлетворение моим музыкально-драматическим склонностям и артистически-художественным потребностям, — в обширной и многолюдной Москве имелся у меня ряд других, частью родственных, а частью просто знакомых семей, где приходилось бывать, танцевать и по-своему веселиться... Но, откровенно говоря, ни танцев, ни салонных разговоров, ни бальной суеты и толкотни, а тем более заниматься банальным светским остроумием дам и барышень я не любил, предпочитая всему либо свою товарищескую компанию, или ту артистически-любительскую среду, о которой я говорил раньше. В былой Москве встречались еще такие семьи и дома, где простота и радушие создавали полную иллюзию домашней родственной обстановки. Такими были весьма симпатичные семейства дальних наших родственников (с маминой стороны): Столпаковых, Толстых и Загряжских, живших все вместе в своем типично-московском барском особняке за оградой среди обширного двора на Тверском бульваре.

Связанные между собой тесными узами родства, быта и воспитания, семьи эти представляли собою в небольшом своем фокусе ту прежнюю стародворянскую Москву времен генерал-губернаторства князя В.А.Долгорукова, которая жила широко, гостеприимно, по-барски весело, но вместе с тем, по сложившимся традициям и навыкам, отмежевываясь от остальной шумной, пестрой и многолюдной Первопрестольной, из года в год завоевываемой новым классом т.н. денежной аристократии.

Въезд в широкий двор типично помещичьего особняка; стоящие у его подъезда московские старо-барского стиля солидные экипажи; выдержанная прислуга; спокойно величавый

вид комнат с их старинной, из поколение в поколение унаследованной обстановкой, и, наконец, простой радушный, без всяких условных аффектаций, прием в насиженном салоне милых, гостеприимных хозяек, родных сестер: Марьи Алексеевны Столпаковой и Надежды Алексеевны Толстой (вдовы), урожденных Козловых, — все это вместе взятое, создавало то особое настроение, которое лично я ощущал только в одной Москве и лишь в редких домах уцелевшей подлинной стародворянской ее аристократии.

Обе почтенные сестры — хозяйки, Мария и Надежда Алексеевны были рады встретиться с моей матерью. Без конца вспоминали они свою молодость, общих родных и знакомых, меня называли сразу же Сашей, и тут же перезнакомили меня с целым цветником симпатичных барышень — кузин: Марией Алексеевной (Мусей) Столпаковой, Екатериной Алексеевной (Катусей) Загряжской и Марией Алексеевной (Марусей) Толстой. Удивительно миловидные, с прекрасным цветом лица, веселые, родственные — все они любили танцевать до упаду, а зимой ежедневно кататься на коньках на Патриарших прудах.

К этому же времени относятся мои воспоминание о рауте, который ежегодно устраивал у себя во время зимнего сезона князь В.А.Долгоруков в бытность свою московским Генерал-Губернатором. На этот раут удостоился и я получить приглашение, благодаря Свербеевым и Столпаковым. Затянувшись в новенький парадный студенческий с золотыми галунами мундир, не без робости вошел я в ярко освещенный парадный подъезд всем знакомого генерал-губернаторского дома на Тверской.

Огромная толпа приглашенных медленно двигалась, подымаясь по широкой лестнице, великолепно декорированной коврами, зеленью, цветами и ведущей прямо в огромную,

красивую, а-джиорно освещенную залу. Всюду шпалерами стояла прислуга в парадной придворной форме. На хорах играла музыка, а посредине залы стоял, окруженный свитой, и встречал приглашенных сам гостеприимный, столь любимый всей Москвой, хозяин Генерал-Адъютант князь Владимир Андреевич Долгоруков. Маленького роста, в темном парике, с красноватым старческим бритым полным лицом, на котором ярко выделялись небольшие нафабранные темные усики, князь Владимир Андреевич, одетый в конногвардейскую бальную форму с Андреевской лентой, генерал-адъютантскими аксельбантами и маленькой каской в левой руке, находил для всех ласковое слово и всех встречал с приветливой улыбкой. В его лице объединялась вся без исключения Москва.

На его раутах сходилась старая помещичья дворянская аристократия и именитое купечество; высшие представители воинских частей и чиновная знать; местный ученый и учебный мир и прочий разнородный столичный люд. Парадные мундиры, фраки, бальные туалеты нарядных московских дам и ба-рышень — все это разливалось шумным и пестрым потоком по обширным залам и гостиным красивого генерал-губернаторского помещения...

Но вот грянул оркестр и раздались знакомые бравурные звуки мазурки из Жизни за Царя, призывавшие к открытию бала. В большой зале начались оживленные танцы и старик князь удалился во внутренние покои, перекидываясь любезными фразами то с одной, то с другой группой своих многочисленных гостей.

Не могу не занести в свои записки одного эпизода, оставшегося до сих пор у меня на памяти: кончилась мазурка, сыгран был ритурнель для контр-данса. Пришел смотреть на танцы и сам хозяин, усевшись на свое обычное место около стены между

двумя дверьми в гостиную. В зале слышался мерный гул и шум от говора и движений наполнявшей ее публики и танцующих пар, рассаживавшихся по своим местам для кадрили.

Вдруг, словно по мановению волшебного жезла, все в зале замолкло. С удивлением вокруг себя оглянувшись, я сразу понял в чем дело: из боковых входных дверей, среди почтительно расступившихся дам и кавалеров, появилась и плавно стала подходить к хозяину высокая, статная, в полном смысле этого слова, русская красавица, — известная всей Москве, графиня Наталия Павловна Головина. При виде ее величаво-царственного облика все вокруг смолкло и замерло... Старик князь встал ей навстречу и молодцевато поцеловал у нее ручку. Тотчас же светлейший князь Волконский очутился ее кавалером. Музыка заиграла, миг всеобщего оцепенения прошел, все вновь ожило и зашумело... Далеко за полночь был дан распорядителем сигнал приступить к обычному финалу Долгоруковских балов. Оркестр заиграл полонез и гости попарно, медленно и плавно, стали исполнять гротеск, поочередно подходя к престарелому хозяину, который, несмотря на свои восемьдесят лет, до конца раута оставался среди своих приглашенных и на прощанье всем находил слово радушной признательности.

Год спустя после нашего переезда в Москву появилась из своего симбирского имения на жительство в Первопрестольную родственная нам семья Гагариных, состоявшая из отца князя Александра Николаевича, княгини Надежды Эрнестовны, урожденной фон Вик, трех дочерей-погодов: Енички, Верочки, Любочки и младшего члена — единственного их сына: Мишеньки.

В Москве проживала еще чета Гагариных также считавшихся по фон Викам нашими родственниками — то были: князь Юрий Петрович, женатый на Елене Семеновне, рожденной княжне Абамелек-Лазаревой. Бывший Сумской гусар, князь

Юрий состоял на службе в личных адъютантах у Командующего Московским Военным Округом генерала Костанды.

Жили Гагарины издавна на Кудринской Садовой, занимая в большом особняке, расположенном среди обширного двора и сада, прекрасную квартиру, богато и со вкусом обставленную, с выдержанной прислугой и отличным городским выездом. Княгиня Елена Семеновна имела большие средства и без ума любила своего супруга, ревниво следя за его жизнью и оберегая своего Юрия от всяческих возможных соблазнов. Небольшого роста, смуглая, с большими красивыми темно-кариими глазами и плотно зачесанными как смоль черными волосами, Елена Семеновна всей своею внешностью выдавала свое наследственное кровное происхождение. Чуткая и умная, она была всегда оживленной и интересной собеседницей. ее муж, мой троюродный брат, князь Юрий, сын князя Петра Яковлевича Гагарина, жена-того тоже на одной из сестер фон Вик, был огромного роста, не до годам располневший и распутившийся грузный мужчина, с большой головой бобриком, по-военному подстриженной и бритым мясистым лицом, на котором виднелись книзу торчавшие щетинистые усы.

Приезд в Москву из Симбирской глуши Гагариных был для Юрия как нельзя более кстати. Воистину, трудно было найти даже во всей многолюдной и разнотипной матушке-Москве семью более оригинальную, чем та, о которой будет речь. Сам старик-князь Александр Николаевич, отслужив в свое время в гусарах и отбыв Польскую кампанию, засел безвыездно в деревне, хозяйничая в своем крупном лесном имении около Инзы, Корсунского уезда Симбирской губ., и участвуя в сословной и земской жизни. Последнее время он служил земским начальником, часто исправляя обязанности Уездного Предводителя Дворянства. Среднего роста, коренастый, князь Александр Николаевич

казался хорошо сохранившимся, плотным, сильным мужчиной. Темный шатен, он имел большое, широкое, скуластое лицо с усами и бородой, напоминавшими облик Наполеона III. Голос его был громкий и грубый, слова выговаривал медленно с расстановкой; говор его можно было бы сравнить с каким-то сплошным рокотом, т. к. в речи его преобладающим звуком была буква р, произносившаяся им длительно и звучно-раскатисто. Забавно было слышать его обычное приветствие: здоррррово, брррат ты мой, Александррр!

Его супруга — Надежда Эрнестовна, среднего роста смуглая брюнетка с большими черными глазами и большущим шиньонном собственных с сильной проседью волос, подобранных под старомодного фасона чепец с верхним бантом, была в свое время несомненно привлекательной женщиной, но увы! безжалостное время сделало свое дело — от нее остались лишь кости, да потемневшая кожа... Худая, нервная, Надежда Эрнестовна вечно суежилась, обо всем беспокоилась, с одним и тем же вопросом обращаясь к окружающим по несколько раз. Мнительная и суеверная, княгиня всего боялась и во всем сомневалась. Излюбленным у тетушки было слово: ужас, которое она склоняла при всех случаях своей жизни во всех падежах. Бедный князь Александр Николаевич привык к жениному характеру и продолжал оставаться неизменно-спокойным. Все три дочери-княжны были типичными провинциальными барышнями, но всемерно старавшимися подойти под стать столичных. Экспансивные, быстро реагиовавшие на испуг, страх или на противоположное настроение — смех или восторженность, княжны имели свойство говорить, восклицать всегда все вместе, к этому часто прибавлялся истошный голос их матери-наседки.. Можно себе представить, какое общее кудахтанье происходило в их домашнем быту.

Мои отношение к кузинам-княжнам были самые добрые, простые и родственные. Все они были очень радушные, веселые барышни, охотно и искренне всем интересовавшиеся. Внешность их нельзя было назвать красивой. Наиболее привлекательной из них была средняя — Верочка, любимица матери, относительно которой Юрий Гагарин в обычно шутовском тоне мне все уши прожужжал, советуя на ней жениться. 17-ое сентября было большим днем в этой семье, благодаря празднованию в ней сразу трех именинниц.

Семья Гагариных поселилась по соседству с нами. В этот именинный день приходим мы с мамой поздравить Гагариных и оба сразу же почувствовали во всей их домашней обстановке что-то совершенно необычное и для нас загадочное — замечалась среди них какая-то особливая восторженность, доходившая до нежных объятий со стороны княгини-мамаши и ласкающих взглядов, исходивших из томных много говоривших глаз кузины Верочки. Слышу затем слова благодарности за какой-то чудный подарок. Мы с мамой с недоумением друг на друга посматриваем, теряясь в догадках, а князь Юрий сидит на своем месте и всем своим грузным телом и тарашенной физиономией выражает затаенный восторг, еле сдерживая душивший его смех. Хорошенько вглядевшись в него, я догадался, что Юрий видимо успел сочинить какой-то излюбленный свой трюк, да и нас в это дело очевидно впутать. Но смелость его озорства в этот раз превзошла все мои предположения, и кончилась его затея, вместо потехи, серьезной драмой. Оказывается, в этот день с утра Юрий прислал княжне Верочке огромный букет чудных цветов и коробку от Трамблэ чуть ли не с пятью фунтами конфет от моего имени, для чего стащил предварительно мои визитные карточки. Приехав к Гагариным нарочно раньше нас, таинственно поведал мамаше и княжнам, что Саша Наумов именно

сегодня решил сделать Верочке предложение. Выдумке этой радостно все поверили.

Тяжело и неловко всем стало, когда выяснилась вся неуместность подобного именинного озорства. Будучи добрейшим малым, Юрий невольно причинил бедной Верочке настоящее горе. Впоследствии он сам это сознал и всячески старался успокоить им же самым взбаламученное семейство. Даже сам старик князь Александр Николаевич, нарочно приехавший к этому дню из своей лесной глуши, сердито рокотал на Юрия, повторяя: не хорррошо, брррат ты мой Юрррий, не хорррошо!...

Одно время в Москве проживал родной брат княгини Надежды Эрнестовны — Николай Эрнестович фон Вик со своей семьей, с которыми мы тоже нередко виделись в кругу их родни Гагариных. Бывший желтый кирасир, Николай Эрнестович сохранил до старости типично заливчатый вид старого кавалериста. По темпераменту своему он походил на свою сестру Надежду Эрнестовну: страшно экспансивный, он был до комизма вспыльчив; белки огромных на выкате его глаз сразу же заливались кровью и являли воистину устрашающее зрелище. По существу же Николай Эрнестович был человеком добрым, сердечным и быстро отходчивым.

Описывая наше совместное с мамой проживание в Москве, не могу не упомянуть про дом Свербеевых, где мы встречали всегда радушный, ласковый прием. Родство это всегда подчеркивал один из членов этого дома, ранее в Самаре губернаторствовавший, а затем сенатор — Александр Дмитриевич Свербеев, бывший потом у меня на свадьбе посаженным отцом.

Семья Свербеевых была многочисленная. Кроме Александра Дмитриевича было еще несколько его братьев: Михаил, Николай и Дмитрий Дмитриевичи, служивших кто по админи-

страции, кто в Министерстве Иностранных дел, и столько же сестер. Из них только одна была замужняя, впоследствии овдовевшая — Екатерина Дмитриевна, по мужу Арнольди — почтенная старушка небольшого роста с мелкими, правильными и чрезвычайно симпатичными чертами лица. Почему-то она приняла самое живое участие во мне, пожелав во что бы то ни стало лансировать меня в большой свет, что ей мало-помалу удавалось. В известные дни я должен был к ней, по визитному расфранченный, заезжать и она сопровождала меня в знакомые ей дома в зависимости от установленных в свете приемных дней и часов....

Должен сознаться, что все это я проделывал без всякой охоты, но таков был уговор Екатерины Дмитриевны с мамой и я беспрекословно тому подчинялся.

Свербеевы жили в то время на Арбате, в Николо-Песковском переулке, в большом своем двухэтажном белом доме-особняке. Я еще застал в живых их почтенную старушку мать, Екатерину Александровну, принимавшую гостей у себя в угловой, в широком кресле — в огромном, старомодном, кружевном, с торчащими фижмами чепце, из-под которого чуть вырисовывалось старческое, сморщенное личико древней хозяйки, носившее следы былой породистой красоты; остальное ее немощное тело утопало в целом море тончайших белых покрывал ее старушечьего костюма.

Итак, благодаря старым связям моих родителей, двери родовитой Москвы были для меня раскрыты — той самой дворянской Москвы, которая, несмотря на свою относительную замкнутость, умела широко веселиться и отличалась московским широким радушием. Надо было видеть блестящие балы у Хомяковых, Гагариных, Волконских, Соллогубов, Нейгардт, Веригиных и др., чтобы иметь о них действительное представление —

в смысле блеска и изящества избранного общества, богатства и красоты самой бальной обстановки с необычайным изобилием благоухающих цветов, вагонами получавшихся тароватыми москвичами из далекой Ниццы. Недаром лучшая гвардейская молодежь того времени стремилась из Питера в Москву на ее сказочные балы, славившиеся к тому же свежестью и красотой дамского персонажа...

Стоило мне показаться на двух-трех московских вечерах, как приглашения посыпались со всех сторон... Время это совпало с пребыванием моим на последних курсах университета. Должен сознаться, что я вскоре же остыл ко всем этим приглашениям и бальным соблазнам, на некоторое время совершенно отойдя от московского света.

По этому поводу нельзя не отметить ту роль, которую сыграли для моего молодого пытливого ума Зверевские лекции по истории философии права, прослушанные мною на втором университетском курсе и оставившие во мне глубочайший след. Талантливое изложение истории всех главнейших философских теорий, начиная с древнейших, т.н. классических времен, и кончая современными учениями, впервые раскрыло передо мною интереснейшую область всех изгибов и тайников человеческой мысли и духа, натолкнув мою мысль на стремление осмыслить свою жизнь.... Найти ответ — какая цель существование моего Я?

Начавшийся процесс моего самоуглубления и целеискательства был длителен и временами он проходил небезболезненно. Отношение мое ко всему окружающему, виденному, слышанному и воспринимаемому при чтении, стало более вдумчивым; во всем этом хотелось яснее разбираться и найти скорейшее разрешение вставшего передо мною во всей своей

остроте и широте вопроса — для чего жить?! Одни впечатление сменялись другими, за одними выводами следовали обратные...

Не находя ответа в книжных теориях, я стал ближе присматриваться к жизни, и вот теперь, оглядываясь на много десятков лет назад, могу только отдать должное тому величайшему учебнику, который представляет сама повседневная, пытливым глазом и умом рассматриваемая, многогранная наша действительность.

В этом отношении на фоне моего далекого прошлого всплываются два события, сыгравшие немаловажную роль в сдвиге моего мирозерцания.

Первым таким событием была поездка моя в январе 1890 г. из Москвы в Буинский уезд Симбирской губ., на свадьбу моего старшего брата Дмитрия, которая должна была совершиться в имении Кишаки, принадлежавшем Александру Николаевичу Теренину, отцу братниной невесты — Ольги. Старики Теренины, крупные помещики Симбирской и Казанской губерний, были известными на всю округу сельскими хозяевами и видной в названных губерниях дворянской знатью.

Степан Николаевич Теренин владел землями в Спасском уезде Казанской губ., и служил губернским предводителем. Михаил Николаевич имел обширные вотчины и прекрасный конный завод при с. Кияти, в Буинском уезде Симбирской губ. Рядом с его владениями расположено было упомянутое мною имение третьего брата — Александра Николаевича, много лет выбиравшегося уездным предводителем. Все упомянутые Теренины были женаты и многосемейны. У Александра Николаевича были две дочери и два сына; женат он был на Марье Дмитриевне Еремеевой. Старшая их дочь — Ольга, впоследствии жена брата моего Дмитрия, вторая — Александра, вышедшая замуж за казанского помещика и земского деятеля Казина, и,

наконец, двое мальчиков Юрий и Дмитрий — все они росли в здоровой деревенской обстановке, в условиях, главным образом, материнской заботы, ласки и наставления. Вышедшая за брата Дмитрия Ольга оказалась, по примеру своей матери, такой же идеальной женой и матерью крестника моего и единственного их сына Дмитрия.

Имение Кишаки, где Теренины безвыездно в то время проживали, было расположено в 17 верстах от уездного города Буинска, и приблизительно в 75 верстах от Симбирска. Брат Дмитрий, служивший в Буинске удельным управляющим, часто бывал в гостеприимной Теренинской семье, полюбил старшую их дочь, милую Ольгу Александровну, сделал ей предложение и на январь 1890 г. была назначена их свадьба в Кишаковской церкви. Брат вызвал меня из Москвы, прося быть его шафером.

Надо иметь в виду, что в описываемое время Московско-Казанской железной дороги с разветвлением на Инзу-Симбирск не существовало. Чтоб в зимнее, не навигационное время, попасть в Симбирск, необходимо было по железнодорожной линии Москва-Рязань-Вязьма-Пенза доехать до Сызрани, откуда до Симбирска надо было сделать на лошадях все 135 верст, и затем из Симбирска следовать таким же образом дальше до Буинска. Подобный, сложный и длительный путь пришлось проделать и мне. Все то, что я впервые на этом пути встретил, оказалось одним из тех событий, которое на меня и на мое тогдашнее неопытно-молодое мирозерцание произвело огромное впечатление и оказало решающее воздействие.

В истории Среднего Поволжья 1890 и 1891 года останутся навсегда памятными по тому страшному народному бедствию — голоду, который охватил в то время губернии Казанскую, Симбирскую, Самарскую, часть Саратовской, Уфимской и Пен-

зенской, и который явился результатом небывалой летней засухи 1889 г., причинившей полнейший недород озимых, яровых хлебов и гибель всех трав.

Выехав из сытой, веселившейся Москвы, и попав через два дня в Сызрань, большой узловой центр, откуда тянулись бесконечные обозы по всем направлениям с продовольственным и семенным грузом, я был поражен и подавлен невиданной мною доселе обстановкой сплошных лишений, людской скорби и болезней.

В январе 1890 года, на почве многомесячного недоедания, а в некоторых местностях подлинного голода, тифозная эпидемия стала повсеместно свирепствовать в ужасающих размерах. Отправившись из Сызрани в дальний, непривычный для меня путь на Симбирск, на отчаянного вида тощих, некормленных клячах, с полуголодным ямщиком на облучке; кувыряясь до морской тошноты из одного ухаба в другой по разбитой ободами большой Ташлинской дороге, я бывал рад остановкам для перепряжек лошадей, чтобы размять затекшие ноги и отдохнуть от своеобразной морской дорожной качки по бесконечным раскатам и ухабам. Но эти же остановки, давая мне физический отдых, вместе с тем, мучительно каждый раз отзывались на моей юной психике при встречах с распухшими от голода крестьянами и их детьми, просившими от проезжих куска хлеба; при виде заколоченных изб, вследствие поголовно вымерших в них от тифа семей, или тех заплесневелых черствых комков, напоминавших темно-бурую пористую землю, которые назывались в тех местах хлебом и которые представляли собой не что иное, как смесь лебеды с землей, в лучшем случае с прибавлением желудиной муки...

И вот, под впечатлением раскрывавшихся перед моими глазами ярких по своей силе и правде картин суровой житейской действительности, много мною было передумано и пережито... Резко выявившаяся передо мною параллель — сытой до обжорства Москвы и голодного до ужаса Сызранского пути — неотступно сверлила мои мозг и душу. Все мое молодое нутро жестоко страдало от этого потрясающего сопоставления и инстинктивно тянулось на помощь голодному, больному и обездоленному своему... ближнему.

Цель жизни стала как бы сама собой намечаться. Дальнейшая поездка из Симбирска в Буинск сопровождалась той же безотрадной картиной вымиравшей, голодной деревни... Обратный проезд до Сызрани лишь удвоил силу общих моих впечатлений от моего путешествия... и в Москву я вернулся не тем, каким я выехал.

Теоретическая путаница, ранее царившая в моей голове при анализе разнообразных философских теорий с целью выбора наилучшей из них для осознания жизненного идеала, теперь разрешилась сама собой... Не в столице, а там — в глухой провинции, я впервые увидел вопиющую человеческую нужду и ощутил всем своим юным помыслом, всем своим сердцем повелительную необходимость идти навстречу страждущим.

Сознал я также впервые и то, что философия Христова учение о цели жизни — всемерно любить своего ближнего — единственно верная, стоящая превыше всех остальных...

Другое событие, оставшееся у меня в памяти и так же сильно повлиявшее на всю мою психику, случилось в последующем 1891 году, явившимся прямым последствием предыдущего голодного 1890 года, как в смысле продолжение недорода и недоедания, так, главным образом, в отношении развития на

почве ослабленного народного организма всевозможных эпидемий, включая появление на Волге летом 91 года страшной гостыи — холеры.

Зловещие слухи о возникновении холерной эпидемии стали появляться еще с ранней весны этого года, тотчас же по открытии навигации; первые же ее грозные признаки обнаружались в Астрахани на рыбных промыслах и, несмотря на принятые санитарные меры, холера стала быстро распространяться по всему Волжскому бассейну, продвигаясь вверх попутно с пароходным движением, а с пристанских центров быстро овладевая всей прибрежной территорией, проникая далеко вглубь в провинцию и стремительно заражая целые поселения.

Мало-помалу, страшная гостыя подбиралась и к нашим местам. Появились заболевания в Симбирске и наконец гром грянул: холерные случаи начались и в нашем селе Головкине. Эпидемия стала быстро и беспощадно распространяться среди обезумевших от страха и ужаса крестьян... Мимо нашей усадьбы и рядом расположенной церкви потянулись мрачные процессии: — ежедневно проносили на особо огороженное кладбище по десяти и более гробов.

Настроение всего поволжского населения — в частности и нашего Головкинского, сначала паническое, вскоре превратилось в злобно-подозрительное. Стали ходить всевозможные слухи об отраве простого люда господами и попами, по наущению которых, с ними заодно, действует якобы весь врачебный и санитарный персонал. Начали учащаться случаи народного самосуда над отдельными лицами, заподозренными в лихих действиях по распространению заразы. То там, то сям убивались доктора, фельдшера.

В Головкине было также тревожно. Слухи ползли недобрые. Холера продолжала немилосердно свирепствовать, и на

селе виднелось много домов с забитыми ставнями. Мор шел сплошной... Говорили о господском дворе, где останавливались врачи, начался со стороны насторожившегося населения устанавливаться присмотр за ним днем и особенно по ночам...

При подобном напряженном настроении Головкинских обывателей случилось вдруг событие, повлекшее за собой ряд тяжелых и неожиданных последствий, оставивших глубокий след на всем укладе моих мыслей.

В один из июньских дней к берегу Головкинского Борка прибило Волжским течением труп неизвестного человека. Случалось это не раз на нашем огромном водном плесе в 30 верст длиной, а великая река Волга, кому была родной матерью, а другому и злой мачехой сказывалась...

О прибитом к берегу мертвом теле узнало начальство раньше времени. Надо думать, что об этом случайно на Борковском хуторе узнал кто-либо из местных полицейских — десятник или сотник, сделал приказ о сохранности и донес уряднику, а там дело пошло, как следует тому быть, по начальству. Становой пристав, живший в то время в с. Старой Майне, в 9 верстах от Головкина, узнав о происшествии, приказал установить, согласно закона, надлежащий порядок охранения обнаруженного трупа впредь до производства осмотра, дознание и дальнейшего следствия. Устроен был около берега особо приспособленный ледник в виде крытого шалашика и положили туда полуразложившийся труп. Двое рыбаков были приставлены для окарауливания и доставки из деревни льда. В Головкине об этом случае мало кто знал, да и время было такое, что не до других было — свое горе стояло выше головы... Холера продолжала свирепствовать без жалости и разбора. Приехал, наконец, около полудня, в село Головкино сам становой для производства дознания; остановился на въезде и сделал для сего через урядника

ряд распоряжений, между прочим, и о вызове с Борка, расположенного в 17 верстах от Головкина, для допроса обоих рыбаков, карауливших мертвое тело.

Напрасно Его Благородию докладывали, что время стоит недоброе, что вызывать с Волги, за 17 верст, чужих людей, на ночь глядя, опасно и т.д. Приказ был дан и больше становой слушать не хотел, а пока, в ожидании Его Благородия занялось приятным времяпрепровождением в виде выпивки, закусок. А там, глядишь, настала пора за ужин приниматься... Одним словом, время шло для начальства незаметно....

Тем временем, там, за стенами въезжей, происходило следующее: караулившие тело тетюшкинские рыбаки, получив поздно вечером, почти перед закатом солнца, срочный вызов начальства немедленно явиться в Головкино на въезжую для дознания, были сначала в большой нерешительности, как им поступить. Люди они были сторонние; слышали они про неблагополучие Головкинского люда и про злобное их настроение; время было позднее, придут ночью... Как бы греха какого не случилось?! —так говорили они между собой, да и наш лесник Алексей Тарасов клонился к тому, что не след им обоим ночью в чужом селе, да еще в такое опасное время путаться.

С другой стороны, приказ строгий начальства... Рыбак помоложе советовал отложить до утра, а другой — старший все ж надумал идти по закону и послушаться начальства, а там, что будет!... На все де воля Божья... Сказано — сделано...

И вот, почти около полуночи из-под горного спуска, с луговой стороны, появляются на церковной площади с. Головкина две таинственные фигуры, которые натываются на ночного караульщика, приставленного населением исключительно в виду неблагополучного времени и слухов о возможных лихих людях, распускающих среди народа страшную заразу... Что за люди?!

останавливает ночных пришельцев окрик караульщика. Те ему объяснили, что они сторонние, и спросили, как им найти въезжую, где их ждет становой. Тот им по-своему порассказал, где находится эта изба: Идите, мол, прямо по селу, а затем, пройдя домов двадцать, заверните в проулок налево...

Все ж этому дозорному такое появление сторонних, в ночное время, да еще к становому, показалось странным.

—Пошел он за ними следить... Несчастные рыбаки, чтоб не сбиться стали подходить по дороге к избам, стучали и —спрашивали все про одно и то же —где найти въезжую? Так подошли к одному дому, разбудили хозяев, дальше других встревожили и не успели дойти до переулка, где обреталась пресловутая их въезжая, как сзади их образовалась многочисленная толпа Головкинских крестьян, встревоженных приходом в неурочный час и такое страдное время сторонних людей.

Толпа росла ежеминутно. Народился сам собой слух: пришли де лихие люди по наущению господ и начальства пущать заразу... Как пламя, разбушевавшееся по разлитому керосину, так и молва эта всех Головкинских обитателей в миг обуяла...

Бросились к церкви, забили в набат, и не успел заглухнуть последний удар колокола, как на обрыве села как раз против которого находился поворот в злосчастный переулок, оказались бездыханные, растерзанные озверелой толпой, два трупа несчастных рыбаков, явившихся жертвенной данью жестокому холерному безвременью и дикому невежеству крестьянских масс.

Быстро вокруг убитых образовалось огромное скопление Головкинских обывателей, взбудораженных набатом, шумом, и всевозможными тревожными слухами. Неизвестно, как были в ночной темноте убиты пришлые с Волги рыбаки, но жестокая

расправа совершилась. Первая вспышка народного гнева против лихих распространителей страшной заразы в зверской форме была удовлетворена. Результат на лицо — растерзанные трупы, освещенные тусклыми фонарями, валялись у всех на глазах...

Но вот начала наступать реакция: среди обступившей толпы зародилась невольная жалость и закралось у многих сомнение: виновны ли эти несчастные?.. Ведь шли они к становому на въезжую! Недаром же они спрашивали у некоторых, как дойти до нее!... Стали на эту тему рассуждать народ как бы опомнился и надумал отправиться сам по пути, по которому пробирались злополучные жертвы его же дикого самосуда...

Решено было всем идти на въезжую к становому узнать правду от самого начальства. Время было за полночь, когда толпа повалила в переулок к избе, где находился пристав, и которая принадлежала богатому в то время местному крестьянину Сергею Акутенкову, гонявшему ямщину.

Мужик он был ловкий и хитрый. Когда дошла до него страшная весть об убийстве рыбаков, он быстро сообразил, что не сдобровать находившемуся в его избе начальству тем более, что его благородие продолжало прохлаждаться и бражничать... Закрыв всюду ставни, потушив огонь, он спрятал испугавшегося станового во дворе на сеновале, и встретил подошедшую толпу заверением, что пристав уехал обратно в Майну. Народ этому, однако, не поверил. Акутенков понял, что дело его плохо и сам скрылся.

Толпа взломала дверь, стала шарить всюду и искать пропавшего станового. Утихшие страсти стали снова разрастаться. Был момент, когда становой, спрятавшийся в сене, подвергся опасности быть заколотым вилами, которыми всюду тыкали и шарили в поисках беглеца. В конце концов, разломав часть

крыши сеновала, он, пользуясь ночной темнотой, каким-то чудом, разными задворками и глухими гумнами, пробрался в поле, откуда прямо бросился бежать в близь расположенную усадьбу дяди моего Михаила Михайловича Наумова, который тотчас же дал ему лошадей, и на рассвете окружным путем, минуя село Головкино, становой доехал до своей Майнской квартиры. Первое, что он сделал, вернувшись благополучно домой, — послал шифрованную срочную депешу в Самару губернатору о вспыхнувшем в селе Головкино холерном бунте с человеческими жертвами.

Исправлял должность губернатора в то время А.И.Рогович, впоследствии член Государственного Совета и Товарищ Обер-Прокурора Святейшего Синода, который немедленно приехал в Головкино во главе целой сотни казаков.

Рогович был жестокий человек и правитель, ни с кем не говоря, и слушая только местного станового, фактического виновника всего происшедшего, он ему же поручил произвести срочное по делу дознание. Казаки были расквартированы по сельским домам; офицерство было размещено в наших усадьбах. Становой, сам решительно ничего не зная, будучи в памятную ту ночь полупьян и до смерти перепуган, заносил в дознание главным образом все со слов хозяина въезжей — пройдохи Акутенкова.

Здесь я должен пояснить одно для этого дела важное входящее обстоятельство: надо иметь в виду, что самое село Головкино церковью и смежной с ней нашей (Николаевской) усадьбой делилось поровну на два т.н. конца один, ведущий по дороге к с. Старой Майне и расположенный вдоль озера Яик, назывался также Яицким, другой, в противоположном направлении по дороге к Симбирску вдоль реки Урения, именовался

Уренем или Уренским. Въезжая изба, куда направлялись вызванные становым рыбаки с Борка, расположена была в Уренском конце села. Следовательно, все те люди, которые разбужены были опросами проходивших ночью рыбаков и которые, прямо или косвенно, были виновниками случившегося зверского самосуда — все они принадлежали к обитателям того же Уреня. где проживал и сам Акутенков, числясь с ним в соседстве или по местному наречию в шабрах. Несмотря на набат, вряд ли кто мог сбежаться с Яицкого конца; а, если кто и подошел, то пожалуй лишь к тому времени, когда расправа с несчастными рыбаками была окончена.

И вот Акутенков, которому становой поручил составить список зачинщиков бунта, будучи мужиком себе на уме, и зная, может быть, действительных виновников произведенного самосуда и нападения на его избу, но не желая выдавать своих шабров — соседей, взял да и записал кого попало, а больше своих недругов из числа Головкинских крестьян, проживавших на совершенно противоположной стороне села.

Дознание быстро было становым закончено, списки представлены, и Губернатор на другой же день приказал привести в исполнение свое распоряжение. В результате до 100 человек с Яицкого конца неповинных крестьян были подвергнуты на площади публичной порке. На другой день Губернатор уехал, казак оставались еще с неделю. Все эти событие произошли в какие-нибудь три — четыре дня.

От неожиданности наезда необычных властей с войсками и невероятных последствий экспедиции сначала все голову потеряли... Лишь спустя некоторое время люди мало-помалу стали приходить в себя и отдавать себе отчет в том сплошном ужасе, который произошел на наших глазах. Первые взялись за выяснение правды — старики Наумовы — отец и его братья.

Общими же усилиями удалось вскоре же выяснить всю преступность поведения самого станового, который был уволен от должности и предан суду. Хозяин взъезжей, Акутенков, вынужден был вскоре покинуть свое родное село; сама судьба его потом доконала: из зажиточного крестьянина впоследствии он принужден был превратиться в рабочего золоторотца. По поводу же убийства обоих рыбаков возбуждено было соответствующее судебное дело.

Все это так, но первоначальное впечатление от всего виденного и пережитого оставило во мне надолго тяжелый осадок, и в моей юной голове зародилась определенная решимость в будущем посвятить всего себя на дело отстаивание правды, просвещение народа и защиты угнетенных.

Более понятны и осмысленны стали для меня известные стихи Некрасова:

Господь! твори добро народу!
Благослови народный труд,
Упрочь народную свободу,
Упрочь народу правый суд!
Чтобы благие начинанья
Могли свободно возрасти,
Развей в народе жажду знанья
И к знанью укажи пути....

Хотелось выработать из себя человека знания и посвятить себя всецело служению народу, столь нуждавшемуся в советах, просвещении и защите. На это и были направлены в то время все мои помыслы и силы. Отсюда понятно, почему с зимы 1890-91 г. у меня стало проявляться заметное охлаждение к бывшим моим мечтам о музыкально-артистической карьере и я с осо-

бым рвением принялся за изучение университетских наук, знакомясь одновременно с обширной в то время литературой т.н. народнического направления, главным образом в лице Златовратского, Успенского, Пругавина и др.

К этому же времени надо отнести возникновение, под влиянием бесед с князем А.И.Урусовым, стремление посвятить себя адвокатуры, как профессии, наиболее соответствовавшей, согласно тогдашним моим взглядам, влечением моим идти на помощь и защиту ближних в лице темного и бесправного, как мне казалось, русского народа. В юной пылкой голове складывалась такая завидная перспектива — окончить блестяще курс, получить от университета заграничную командировку, сдать потом магистерский экзамен, причислиться по той или другой специальности (намечалась кафедра по уголовному праву) к Университету, затем — профессура, и одновременно — вступление в сословие московской адвокатуры с зачислением в качестве помощника к князю А.И.Урусову.

Вся эта программа была одобрена самим князем и профессором Колоколовым. Первоначальную ее часть удалось осуществить полностью. С этой целью я даже остался лишний год на последнем курсе для более основательной подготовки к Государственным Экзаменам, которые я и сдал более чем благополучно.

В ожидании же осуществления последующих стадий намеченной мною жизненной схемы, а также в силу необходимости, так или иначе, решить вопрос об отбывании мною воинской повинности, я временно причислился в качестве кандидата на судебную должность при Московской Судебной Палате.

Но в дальнейшей моей судьбе все вышло согласно мудрому изречению: человек предполагает, Бог располагает. Моим сту-

денческим мечтам не суждено было осуществиться... По неисповедимому Божьему предопределению, личная и деловая моя жизнь приняла совершенно неожиданный для меня самого оборот, давший мне, впрочем, полностью удовлетворение в основном моем желании — служить родному народу честным советом и посильными своими знаниями.... Случилось все это так: основательно отдохнувши летом после государственных экзаменов, я собирался отбывать воинскую повинность в качестве вольноопределяющегося в Москве в 3-м Сумском бывшем гусарском, в то время драгунском, полку, для чего еще ранее я подучивался и тренировал себя в манеже в кавалерийской езде.

В сентябре 1892 года получаю я вдруг от Михаила Феодоровича Белякова, бывшего тогда Симбирским Уездным Предводителем Дворянства следующую телеграмму: Если хочешь приезжай — освободим. Дело в том, что будучи незадолго до-этого в Симбирске, я имел с Беляковым разговор по поводу отбывания мною воинской повинности, ввиду того, что по окончании курса гимназии, я был приписан к Симбирскому городскому участку. Беляков знал о моем дефекте зрения, довольно оригинальном — сильной близорукости правого глаза.

Уезжая в Москву, я на всякий случай просил Михаила Феодоровича Белякова справиться по поводу моего зрения, возможно ли мне освободиться от воинской повинности, благодаря моей одноглазой близорукости. Вследствие этого я и получил от Михаила Феодоровича телеграмму, побудившую меня выехать в Симбирск на очередной осенний воинский набор...

Заручившись свидетельством о состоянии моего зрения от известного московского окулиста Крюкова, я предъявил такое Симбирскому Воинскому Присутствию. Меня отправили в больницу на испытание, которое оказалось в мою пользу, и в тот

же день мне было объявлено постановление Присутствия, признавшего меня негодным для военной службы и вследствие этого освободившего от нее меня навсегда.

Обстоятельство это являлось для меня событием огромной важности: оно развязывало мне руки и предоставляло возможность немедленно же приступить к задуманной работе, но попав в Симбирск в среду близких родных и добрых друзей, будучи пока свободным от каких-либо обязанностей и срочных дел, я прежде всего навестил отца в Головкине.

Вернувшись оттуда в Симбирск около 10 ноября, перед отъездом моим к родным, проживавшим в Симбирской губ., я встретил бывшего в то время нашим Уездным Ставропольским Предводителем Дворянства Бориса Михайловича Тургенева, который, узнав, что я освобожден от воинской повинности, стал настойчиво звать к себе в уезд в качестве земского начальника, институт которых только что вводился в Самарской губернии. Как раз в это время, за уходом из земских начальников князя Юрия Сергеевича Хованского, получившего место Управляющего Отделением Крестьянского Банка в Симбирске, в Ставропольском уезде освобождался один участок, и Борис Михайлович Тургенев горячо убеждал меня его взять, во всех отношениях его расхваливая. Зная мою любовь к охоте и природе, он особенно подчеркивал красоту местности и изобилие в ней всяческой дичи. Участок этот расположен был в самой южной части уезда, около Царева Кургана, с центральной резиденцией в с. Новом Буяне.

Несмотря на все уговоры, я отказался наотрез, сославшись на принятое мною решение идти по намеченному пути — профессуры и адвокатуры. Борис пришел от подобного ответа в состояние крайнего раздражения... Как? — воскликнул он — Наумову, да в аблокаты идти? Да ты с ума сошел! и пр. Я был

неумолим, и Тургенев ушел от меня расстроенный и обозленный.

Подобное же, если не худшее, отношение я встретил со стороны других ставропольцев-дворян, так что, в конце концов, был рад уехать к Ухтомским в с. Репьевку, отстоявшую от Симбирска в 40 верстах. Выпал снег, установилась отличная первопутка, и я заранее предвкушал любимую охоту по пороше.

Студенческая моя жизнь в Москве, новый круг занятий и знакомых, неиспытанные ранее всевозможные впечатления и переживания — все это заслоняло прежнее, и лишь в те редкие случаи, когда бывало во время каникул наезжал я в Репьевку и Нагаткинские края при встречах с Маней во мне воскресало то прежнее чувство к ней, которое ни к кому другому я никогда не ощущал. Так и теперь, скользя по пухлому снегу и ровному пути, я стал как-то особенно радостно думать о встрече с ней, мечтая с нею поделиться по-старому.

Дорога от Симбирска до Репьевки быстро промелькнула и вскоре произошла наша радостная встреча с братьями Ухтомскими, с которыми тоже приходилось редко встречаться за последние годы, за исключением, конечно, князя Александра, с которым мы были вместе в Университете.

По приезде моем к Ухтомским, я застал у них большое общество молодежи. По вечерам музицировали, слушали чудные голоса княгини Ухтомской и местного врача Н.В.Глядкова, весело и охотно играли в винт и пр. Днем, пользуясь установившейся чудной зимней погодой и первопуткой, большой компанией, мы обычно отъезжали в Свяжские места на охоту с загонщиками и гончими, кто с ружьями, другие с борзыми... Естественным охотничьим привалом был небольшой, но уютный дом-хутор князя Михаила Ухтомского, где нас встречала с

обычной своей веселостью и радушием столь любившая общество и скущавшая в своем деревенском одиночестве его жена — княгиня Клавдия.

Первая моя поездка из Репьевки, совместно с Ухтомскими, была в Нагаткино к Беляковым, где в то время они жили всей своей семьей. Гостила у них одна из моих любимых тетушек, как пороховспыльчивая, но сердечная и добрейшая Леонида Афанасьевна Ратаева, родная сестра покойного Феодора Афанасьевича Белякова.

Встреча моя с Маней была для меня огромной радостью, но, как это обыкновенно случается, ничего, о чем мечталось мне в дороге, почти друг другу сказано не было. Ограничились обычными приветственными фразами и малоинтересными разговорами, прошлись по усадьбе, заходили на конный завод и расстались, условившись вскоре встретиться у Ухтомских.

Хуже всего было для меня то, когда меня спрашивали, где и как я собираюсь служить. В Москве моя житейская деловая программа казалась мне естественной и достойной, здесь же, в Симбирске, она возбуждала у всех моих родных чувство изумления и всеобщего порицания... То же случилось и в Нагаткине, когда на вопросы, заданные мне обеими моими тетушками М.И.Беляковой и Л.А.Ратаевой, что я буду делать, обе пришли в неопишемую ярость, услышав от Саши Наумова, что он собирается быть адвокатом... Одна лишь Маня — помнится мне — на это ничего не сказала и что-то про себя видимо думала...

Потом, спустя неделю, мнение ее я узнал и оно меня победило, направив намеченное деловое творчество на благо того же родного народа, но по совершенно новому пути, оказавшемуся для меня с начала и до конца полным интереса, успеха и счастья во всех отношениях, вплоть до сложившейся потом моей личной семейной жизни.

Случилось это событие 22 ноября 1892 года. С утра этого дня съехалось в Китовку на охоту много гостей. Подъехала из Нагаткина и Маня Белякова со своими знакомыми — супругами Глядковыми. Погода стояла отличная и охота оказалась удачной. По окончании ее, к 4 ч. пополудни к крыльцу Китовской усадьбы стали подъезжать одна тройка за другой. Небольшие, но уютные комнаты деревенского дома князя Михаила Ухтомского быстро заполнились оживленной толпой проголодавшихся гостей. Простой вкусный обед со всякими предварительными закусками и доморощенными винами — все это дополнило веселое довольство съехавшихся... Никто не торопился покидать гостеприимный дом... Наступала великолепная тихая зимняя ночь, ждали восхода полной луны для разъезда... Упросили Н.В.Глядкова спеть. Все замолкло при первых же бархатных нотах его чудного мощного баритона... Высокий, красивый статный брюнет с лицом русского витязя запел: У врат обители святой... Очарованное общество долго его не отпускало, без конца прося его продолжать, но, наконец, хозяйка сжалась над ним, и к общему восторгу, сама запела своим удивительным сопрано редкой мощи и красоты... Потом слышались дуэты, перешли затем на общий хор...

Все столпились в зале и столовой. Одни лишь мы с Маней, незаметно для самих себя, очутились в маленькой гостиной за раскрытым карточным столом, приготовленным для игры в винт, но забытым, благодаря начавшемуся импровизированному концерту.

И вот, под аккомпанемент пения, возник у нас с Маней давно желанный мною разговор обо всем за время нашей разлуки пережитом и передуманном мною в Москве. Никому другому, а именно ей, моей прежней любимой подруге детства и

юности, хотелось пересказать все мои мечты и планы о будущем и подробно объяснить мотивы моих решений и предположений.

Маня меня слушала, не перебивая, а потом стала что-то чертить мелком перед собой да зеленом сукне ломберного столика. Сначала я не обращал на это внимания, продолжая торопиться высказать все накопившееся во мне. Говорил я о том, как я стремился всего себя отдать на пользу ближнему, как русский простой народ нуждался в нашей помощи, и почему я хочу идти в его советники и защитники.. Дальше я не говорил... дальше было не до слов — глаза мои явственно различили начертанные Маней слова: Я тебя ждала, а под этой фразой: я т... л....

Замолкнув, я на нее взглянул и сердце подсказало весь радостный смысл, скрытый под этими инициалами. Невольно прильнув к ее руке, я почувствовал ее торопливый поцелуй в голову... В это время к нам в комнату стали входить. Быстрым движением руки Маня стерла написанное, незаметно сняла висевший на ее браслете брелок в виде пчелки и передала мне, сказав: Возьми на счастье...

Все остальное время пребывание моего в Китовке, охваченный избытком безудержного счастья, я провел в безпредельно-радостном настроении, ни на одно мгновение стараясь не упускать из виду дорогое для меня существо, с которым, к общей нашей досаде, мне не пришлось более быть наедине.<

Но время шло... Гости собрались разъезжаться... Луна взошла и, как сказочно-мощный электрический фонарь, освещала свежий снежный покров российского деревенского простора. Начались взаимные прощанья, слышались веселые пожелания, шум, хохот...

Одевшись в серый полушубок, с каракулевой шапкой на голове, я стал помогать то тем, то другим усаживаться в широкие сани. В Китовку я приехал с Александром Ухтомским на его тройке и рассчитывал с ним же вернуться обратно.

Но вот, к крыльцу без бубенцов, но на могучем ходу кровных Орловских красавцев, подкатывает вороная тройка... Лихой кучер мастерски осаживает послушных ему лошадей. Не успели конюха раскрыть меховую полость, как одетая в полушубке и серой каракулевой шапочке Маня Белякова быстро впрыгнула в поданные сани и, вскинув на меня своими горящими карими глазами, быстро и тихо промолвила: Саша, садись! — Броситься к ней в сани было делом одной секунды... Раздался затем властный приказ барышни: Пошел! и застоявшиеся рысаки понесли нас плавной рысью в белесоватую полевою даль, сказочно освещенную полной луной, единственной свидетельницей нашего, тогда беззаветного, молодого счастья... И вот — в эту нашу с Маней совместную поездку от Китовки до Репьевки, в эту дивную лунную зимнюю ночь решилась вся моя дальнейшая участь, судьба всей моей будущей жизни и деловой карьеры... На то видно была воля Божья.

Прижавшись близко друг к другу и закрывшись почти с головой огромной меховой полостью, мы успели обо многом наговориться, а главное остановиться на одном основном решении — поженившись, поселиться в деревне. В этом отношении Маня была неумолима, доказывая мне, что пользу, которую я хочу принести простому народу, возможно наиболее полно осуществить именно, живя в деревне, среди самого населения.

Узнав, что Борис Тургенев предлагал мне должность земского начальника, она посоветовала мне воспользоваться этим и немедленно принять такое назначение. Благословись и ре-

шай, а там и заживем счастливо! С этими напутственными словами рассталась со мной моя новонареченная невеста у подъезда Репьевского флигеля, сама торопясь к себе домой в Нагаткино — был поздний час...

Вошел я к себе, и, не зажигая света, сел к окну, да так и оставался до утра в каком-то невольном оцепенении, чувствуя всем своим юным существом, что произошло со мной что-то небывалое, неожиданно-серьезное. Было на душе у меня тогда и радостно, и страшно...

Думала ли, предполагала ли ты, дорогая Маня, тогда, в ту чудную ночную нашу поездку, что возымев силу надо мной, ты принесла мне столько добра и счастья, направив своим любовным советом всю мою последующую жизнь на действительно верный путь служение русскому народу и на устройство моего семейного счастья?!...

Против нашего с Маней желания, жениховство наше, как-то само собой, сделалось достоянием окружавшей нас близкой родственной среды... Я поспешил вернуться в Головкино к отцу с намерением с ним обо всем переговорить и просить его благословения. Мама была в то время в Москве — ей я написал соответствующее письмо.

Отец отнесся к моей женитьбе одобрительно, особенно, когда узнал мое перерешание относительно устройства будущей моей жизни и службы. Переезд мой из столицы в земские начальники нашего родного Ставропольского уезда по близости к нему был, видимо, ему очень по душе, главным образом по тем соображениям, что тогда и мама вернулась бы на жительство к нему в Головкино и стала бы разделять его одиночество.

Решено было вместе ехать к Беляковым в Нагаткино для переговоров более официального характера с тетей Марьей

Ивановной, у которой я должен был также просить согласие и благословение на брак с Маней. Все это произошло в начале декабря того же 1892 года.

Проездом из Головкина в Нагаткино, в Симбирске я вторично встретился с Борисом Тургеневым, и в этот раз, к немалому его изумлению и видимой радости, я ему заявил, что я передумал и решил последовать его совету — идти в свой уезд в земские начальники на освободившуюся вакансию. Борис меня крепко обнял, и помню, как бывшие тогда в Троицкой гостинице некоторые ставропольцы удивительно тепло и дружески приветствовали мое согласие вернуться в их среду для совместной земской работы. Меня это в сильной степени тронуло, подбодрило, и оба довольные — отец и я — продолжили свой путь к Беляковым, предварительно совместно с Тургеневым оформив все необходимое для подачи прошения Самарскому Губернатору. Жребий был брошен!

6 декабря в Беляковской семье в Нагаткине праздновался Николин день: старший брат Мани Николай Феодорович справлял свои именины. В этот день был разговор родителей между собой. Все шло благополучно, лишь тетушка Леонида Афанасьевна затащила меня в свою комнату, вытаращила на меня свои черные, круглые глаза и грозно спросила: Александр, да ты понимаешь ли, что такое женитьба? Имей в виду, что это очень серьезное дело. Ведь это на всю жизнь решение! Тебе еле минуло 24 года! Отдаешь ли ты себе в этом отчет и любишь ли ты Маню настолько, чтобы быть ей достойным мужем? Все это вышло у вас так внезапно и неожиданно, что я боюсь за вас обоих, хотя обоих и люблю!

С этими словами она меня обняла, прослезилась и, не дождавшись моего ответа, шумно вышла из комнаты, сама не сознавая, какое чувство заронила в моем мозгу и сердце своими

жуткими вопросами. Искренно любившая нас обоих, тетя Леля, сама того не желая, посеяла в тот краткий со мной разговор семена, которые потом разрослись в роковые для меня сомнения. Но тогда, в круговороте и тумане внезапно охвативших меня событий, от них я отмахнулся, догнал тетушку, нагнулся к уху и прошептал: Люблю я Маню без ума! Она же лишь пригрозила мне пальцем и наставительно промолвила: Ну, смотри!

Семейным советом решено было, пока я от мамы ничего не получу или с ней не свижусь (я должен был вскоре возвращаться в Москву на службу), официально о нашей помолвке не объявлять.

За столом пили молча за наше здоровье, и тем дело кончилось.

На другой день утром мы с отцом уехали — каждый воссояси... Он опять вернулся в свое Головкино, я же отправился в Москву к маме и своим делам...

Чем дальше отъезжал я от Симбирска, тем больше начинал сознавать всю значительность случившихся со мной событий, совершенно выбивших меня из колеи. Давно ли, думалось мне в моем дорожном одиночестве, и тем настойчивее, чем ближе подъезжал к Москве — по тому же пути я следовал из Белокаменной, и мог ли я предполагать, что через какой-нибудь месяц с небольшим возвращусь обратно женихом, да еще будущим земским начальником. Последнее обстоятельство как-то стало укладываться все больше и больше в моей голове: оно соответствовало всему моему сложившемуся деловому жизненному плану.

В отношении же моего неожиданного жениховства — изодня-на день разрасталось во мне чувство довольно сложного

свойства: с одной стороны, я сознавал себя несомненно счастливым, но с этим рядом возникали у меня всевозможные сомнения и страхи за будущее: до сих пор о браке своем я никогда не думал. Случилось наше с Маней объяснение в памятный вечер 22 ноября столь внезапно, и оба мы так неудержимо поддались целиком охватившему нас взаимному чувству, что хладнокровное, рассудочное отношение ко всему этому стало у меня появляться незаметно, но настойчиво, спустя лишь некоторое время в иной — прежней обстановке.

С такими настроениями вернулся я к себе домой в Москву, и первым долгом обо всем подробно поведал своей родимой. Мама отнеслась к моему неожиданному жениховству и крутой перемене всей предполагавшейся служебно-деловой карьеры несколько иначе, чем отец.

Ничего не имея против брака моего с Маней, которую она с детства хорошо знала и любила, мама в очень деликатной форме намекала на мою молодость и высказывала свои опасения, как бы ранняя женитьба не связала меня на первых порах моей самостоятельной службы, искренно, вместе с тем, жалея о том, что я изменил первоначальному намеченному много жизненному плану и должен буду покинуть Москву.

Мама ближе, чем кто-либо была в курсе всей моей личной жизни во времена моего студенчества, чутко воспринимая своим материнским сердцем все мои переживания последних двух лет. Ей, видимо, было больно за меня, что я, подававший столько надежд на блестящую карьеру столичной адвокатуры (это было ее искреннее убеждение), должен буду с таких молодых лет уйти в деревенскую глушь и лишиться себя сразу всего того, что давала мне Москва. Вполне понятно, что такое отношение мамы не могло остаться без некоторого влияния на мою

психику и в моей душе стала зарождаться реакция... Но начатое дело приходилось, так или иначе, завершать...

Тотчас по приезде я заявил своему начальству — Прокурору Московской Судебной Палаты Н.В.Муравьеву, в распоряжение которого я зачислен был кандидатом на судебную должность, о своем намерении перейти на службу земского начальника к себе в губернию.

Надо сказать, что должность эта в то время Судебным Ведомством расценивалась отрицательно, главным образом по следующим основаниям: прежде всего, по условиям замещения таковой привилегированным сословием; затем ввиду соединения в означенной должности функций административных и судебных; и, наконец, в силу крайней неопределенности — самой ее компетенции, предоставлявшей земскому начальнику почти неограниченный произвол.

К моему удивлению, Муравьев отнесся к моему решению чрезвычайно одобрительно. — Это будет для Вас основательной академией — сказал он мне на прощанье. Впоследствии слова эти мне не раз вспоминались.

Бумаги были взяты и отправлены с соответствующим прошением по принадлежности — Самарскому Губернатору А.С.Брянчанинову. Итак, с этим делом было покончено. Вскоре нам пришлось принимать у себя проезжавшего через Москву Брянчанинова, который сообщил, что делу дан ход и, вероятно, через месяц состоится мое назначение.

Друзья и знакомые, прослышав о моем скором отъезде на службу в провинцию, стали устраивать мне одни проводы за другими, да и сам я спешил по-хорошему с милой своей Москвой попрощаться. Усиленно посещал я напоследок свои любимые оперы, драмы, не прочь был с добрыми друзьями скромно

наезжать на лихих Емельяновских лошадях по санному пути к Яру, в Стрельну, и чаще всего, — в любимое наше Всесвятское, где в то время певал известный цыганский Рыбинский хор Глафиры Лебедевой, питавшей к Саше Ухтомскому и ко мне особую слабость по памяти к деду нашему князю Николаю Васильевичу.

Перед разлукой я стал брать от милой Москвы все, что было можно, и день за днем у меня проходил в веселом сообществе многочисленных моих знакомых.

Не стану повторяться и вновь говорить о красоте и барской широте московских балов, но не могу обойти молчанием заключительный Веригинский раут, на котором, волею судеб, мне пришлось в последний раз в Москве выступить в роли царевича Феодора в трилогии гр. А.К.Толстого «Царь Борис».

Надежда Александровна Веригина по личным связям и по огромным своим средствам принадлежала к той категории энергичных и умных женщин света, которые легко и умеючи могли объединять у себя все лучшее из столичного общества. Некрасивая лицом, но удивительно статная, с безукоризненной фигурой, интересная и радушная Надежда Александровна владела на Поварской прекрасным особняком — с виду невзрачным, но внутри богато и со вкусом истого аристократизма отделанным, в котором она не часто, но зато с таким выдающимся умением устраивала свои приемы, рауты, балы и пр., что заставляла надолго говорить всю Москву.

В описываемое мною время пришла ей мысль в белокаменной столице организовать у себя то, что имело исключительный успех в Петербурге не только в высших столичных сферах, но и в самой Августейшей среде. Надежда Александровна надумала у себя на дому устроить любительский спектакль и поставить

несколько сцен из трилогии А.Толстого «Царь Борис», тех самых, которые в предшествовавшем 1892 году в Петербургском Эрмитаже были исполнены в присутствии всей Царской Семьи и при участии некоторых Августейших Особ.

О сем дерзком намерении Веригиной заговорила старушка Москва на разные лады, тем более, что один из участников Эрмитажного представления — Великий Князь Сергей Александрович, исполнявший роль Царевича Феодора был незадолго перед тем назначен в Москву Генерал-Губернатором.

Режиссерская часть была поручена известному артисту Императорского Малого Театра Осипу Андреевичу Правдину. Среди других приглашенных для участия в Веригинском спектакле оказался и я, причем мне было предложено исполнение роли царевича Феодора. Сестру мою — царевну Ксению должна была играть племянница Веригиной — очаровательная 18-тилетняя Софья Александровна Арапова. Роль самого Царя Бориса взял на себя князь Сергей Иванович Урусов. Семена Годунова — Александр Бори-сович Нейдгарт, Доктора — Александр Павлович Тучков, Инокиню Марфу — М. А. Воейкова и др.

Как режиссер, Осип Андреевич Правдин был необычайно требователен и настойчив; в особенности мучил он бедную Арапову в ее заключительной сцене, когда она, узнав о смерти своего жениха, падает ко мне на руки в обморок... Несчетное количество раз приходилось мне поддерживать сначала несмело, а затем доверчиво падавшую мне на руки прелестную свою сестру, которой удивительно шел ее великолепный царственный русский наряд! Благодаря любезности Надежды Александровны Веригиной, в соответствии с костюмом Царевны, был сшит и для меня богатый парчовый наряд Царевича.

Сцена была оборудована в кабинете мужа Веригиной. Это была удлиненной формы комната, роскошно отделанная мореным дубом в средневековом стиле. Часть кабинета была приспособлена под небольшую сцену и заключена в особую раму, устроенную в полном соответствии со всей остальной обстановкой кабинета.

Все носило характер вдумчивого и тонкого художественного вкуса — все костюмы, декорации, вплоть до грима, подвергались строгой оценке, а исполнение таковых было вверено лучшим мастерам. Надежда Александровна ни-перед чем не оставалась для достижения успеха. Я уже не говорю о ее милом радушии и обычном ее гостеприимстве, превратившем все наши многочисленные репетиции в сплошное удовольствие и веселье, несмотря на строгого взыскательного режиссера.

Наконец все было кончено, и спектакль должен был дважды пройти — вечером 6-го февраля и вторично — на следующий день 7-го, после намеченного завершительного *folle journée*¹², которое приходилось на прощенное воскресенье в конце масляной недели. На первое представление приглашены были. Августейшая Чета — Е.И.В. Великий Князь Сергей Александрович и Великая Княгиня Елизавета Феодоровна с их свитой и тем немногочисленным обществом высшей московской аристократии, которому приличествовало быть на парадном спектакле в присутствии Высоких Особ. На последующем повторном представлении была остальная вся своя Москва.

Спектакль прошел во всех отношениях блестяще. Дерзкая мысль в Москве изобразить то, о чем в свое время говорил весь

12 Безумного дня (фр.).

придворный Петербург, удалась Надежде Александровне Веригиной в совершенстве. Великий Князь Сергей Александрович был очарован безукоризненной художественностью всей постановки классической пьесы, участником которой он сам был год тому назад в Эрмитаже. Ему был представлен и им обласкан артист О.А.Правдин.

Лично со мной после первого представление произошел следующий совершенно неожиданный для меня эпизод: не успел я снять с себя парик и грим с лица, как в мою уборную входит Великий Князь в сопровождении Правдина, который меня тотчас же ему представил. Протягивая мне свою руку, Его Высочество сказал: «Благодарю за доставленное мне удовольствие. Вы мне напомнили мое собственное недавнее приятное прошлое, и должен сказать откровенно, что Вы исполнили роль Царевича превосходно!...» Я так растерялся неожиданностью прихода ко мне столь высокого гостя и высказанными им по моему адресу комплиментами, что сумел лишь низко поклониться, ничего Великому Князю не ответив.

В оба вечера после спектакля, по желанию Веригиной, некоторые участвовавшие лица оставались в своих театральных костюмах, между прочими, и мы с очаровательной Араповой продолжали красоваться в наших нарядных парчевых русских одеяниях и, сидя вместе на парадном ужине, привлекали на себя всеобщее внимание.

До сих пор остался у меня на памяти характерный для светской, но искренней и милой Софьи Александровны Араповой вопрос, тихо обращенный ко мне в то время, когда мы с ней рядом сидели за старинным серебром и золотом убраным столом: Приветствую от души Ваш успех — сказала мне Царевна — внимание к Вам Великого Князя известно всем... Скажите! неужели после всего этого Вы все-таки оставите нас, бросите

Москву и уедете Бог знает куда, в какую-то Вашу самарскую глушь, а вратах которой наверное изображены страшные слова: «Lasciate ogni speranza, o voi che entrate»¹³?!... На эту тему милая Софья Александровна продолжала говорить мягко, но с тем же настойчивым укором и в последующий день нашего совместного с ней пребывания на *folle journée* у той же радушной Веригиной, завершившимся столь же удачным повторным спектаклем и столь же великолепным ужином, на котором мы с ней тоже сидели вместе в нарядных наших костюмах.

Веселье этого памятного для меня воскресенья — 7 февраля 1893 г. было таково, что оно по справедливости могло быть названо безумным днем, а само воскресенье, приходившееся на масленицу перед Великим постом, оказалось для меня скорее прощальным, чем прощеным, ибо, скрепя сердце, приходилось надолго расставаться с радушной, близкой мне Москвой и отправляться в ту глухую неизвестность, о которой Царевна Ксения так много страшного старалась мне наговаривать....

Дело прошлое! Нелегко все это было мне в то время переносить, чувствовал я, что и мама разделяла мнение московского общества и была склонна удержать меня в привычной для нее московской обстановке. Борьба во мне шла не малая, но победил, в конце концов, голос сознанного долга.

Простившись 7 февраля 1893 г. с шумной, баловавшей меня своим вниманием Москвой, я снял надолго бальный фрак и свой парчовый кафтан Царевича, заменив на многие годы русским полушубком и помещичьей поддевкой... до той поры, когда за-

13 Оставь надежду, всяк сюда входящий (надпись на вратах Дантова Ада) (ит.).

тейнице-судьбе не пришло в голову, спустя десяток с небольшим лет, одеть меня, деревенщину, в золотой придворный мундир...

Выехал я в Самару 10 того же февраля в свой уезд, на новую служебно-деловую жизнь, подсказанную в памятный вечер 22 ноября любовным советом дорогого моего друга детства — Мани Беляковой. Что же касается наших личных с ней, установившихся с того же вечера 22 ноября, взаимных отношений — жениха и невесты, — то для выяснение их я вынужден буду вернуться в своих воспоминаниях к периоду, несколько предшествовавшему моему отъезду из Москвы в Самару.

Как я ранее имел случай отметить, то состояние моего жениховства, с которым я приехал в Москву после разлуки нашей с Маней, нельзя было назвать только радостным: на ряду с испытываемым счастьем, я мало-помалу стал поддаваться возникавшим в моей голове сомнениям. И, чем дольше я жил в своей прежней московской обстановке, чем чаще и ближе вращался в среде своих многочисленных друзей и знакомых, тем сильнее сомнение эти росли во мне и углублялись...

В конце концов, передо мной вставал во всей своей остроте вопрос, имел ли я право считаться женихом, чувствуя, что чары юной, свободной, холостой жизни для меня еще не совсем прошли?!

Мы с Маней вели переписку. Девушка она была умная и чуткая. Чувства мои к ней оставались теми же, как и ранее; писал я ей все откровенно, иначе по отношению к ней я не мог и не умел поступать... Наличность возникавших у меня колебаний, очевидно, до известной степени, начинала сказываться в тоне и самом содержании моих писем.

В то время по рукам ходило появившееся новое произведение Льва Толстого — «Крейцера Соната». Находясь под впечатлением только что прочитанной повести, я написал Мане письмо, полное своих по поводу нее размышлений и выводов. На это я получил от нее ответ, содержание которого заставило меня, серьезнее, чем когда-либо, задуматься над создавшимся положением.

В моей критике Толстовского произведения Маня усмотрела некоторое сопоставление с моей стороны того, что у нас с ней произошло в памятный китовский вечер 22 ноября. В конце письма она меня спросила — так ли это? И, если это так, то не лучше ли нам обоим вовремя одуматься?! Отвечать на это Мане поспешно, сгоряча, хорошенько не продумав, я не мог.

День шел за днем, голова горела от непривычных для меня житейских размышлений и всяческих сомнений, а в частых беседах с мамой прямого ответа я не находил. Словом, мучился я не мало...

Помнится мне день (в половине января 1893 г.), особенно для меня тягостный, когда я, наконец, решился высказать Мане все то, что лежало у меня на сердце, предоставив дальнейшую нашу судьбу на ее решение. Прежде, чем изложить ей это все в письме, я решил пройти и еще раз предварительно обдумать его содержание...

Спустившись по Воздвиженке, пройдя Боровицкие ворота, весь поглощенный своими мыслями, я неожиданно для самого себя очутился перед старенькой, небольшой церковкой, пристроенной к одной из кремлевских крепостных башен, перед которой стояла кучка бедного люда, истово молившегося на большую икону, написанную на одной из стен самого входа. Оказывается, вместо того, чтобы из Боровицких ворот идти обычным, верхним путем, ведущим мимо Кремлевского Дворца

к Спасским воротам, я незаметно для самого себя, прошел из Боровицких ворот нижней дорожкой, ведущей прямо к церкви Благовещения, что на Житном Дворе, в которой обреталась, чтимая в Москве и во всей России, чудотворная икона Божьей Матери Нечаянной Радости, копия которой изображена на стене входных церковных сеней.

Опомнившись и расспросив, что это за церковь, перед которой я так неожиданно впервые в своей жизни очутился, я вошел в нее и прослушал общий молебен перед чудотворной иконой... Давно я так искренно и горячо не молился... Моя просьба была одна — чтобы Господь помог, так или иначе, разрешить мои сомнения...

Вместе с толпой подошел я к небольшой древней, потемневшей от времени чудотворной иконе и, прикладываясь к ней, я как бы всего себя отдавал воле Божией... Не забуду только одного — выйдя из церкви, я чувствовал полное душевное облегчение и необычайно бодрое настроение

Я пошел быстрыми шагами домой, где меня встречает мама и передает мне письмо с хорошо знакомым почерком. Содержание его положило конец всем моим сомнениям и всяческим опасениям за будущее.

Не дождавшись от меня ответа на тревожившие и ее те же вопросы, Маня, в сердечно-дружеском тоне, сама взяла на себя инициативу в своем письме восстановить наши прежние лишь любовно-братские отношения, освободив себя и меня от последствий, возникших под влиянием временного острого нашего взаимного увлечения. Умная, чуткая и правдивая, Маня вся сказала в этом последнем полученном от нее письме...

Этим закончилось наше кратковременное жениховство, оставившее, однако, решительный и, как оказалось впоследствии, благотворный след на всю мою дальнейшую и деловую, и личную жизнь. Маня сама отошла от меня, но успела направить меня так, как хотела, — именно на службу в деревню, в непосредственной близости к тому населению, которое так нуждалось в добром совете и честной защите...

Помимо этого, в той же деревне, куда я попал опять-таки благодаря Мане, я нашел ту подругу всей последующей моей жизни, которая всегда и везде давала мне всю полноту истинного семейного счастья.

Вот уже 30 лет, как я женат, и память о Мане, нас с женой невольно соединившей, в наших сердцах и помыслах неизменно остается священной. Мы ее чтим, часто вспоминаем и молимся за ее упокой...

Скажу несколько слов о судьбе незабвенной Мани. Приблизительно через год после всего мною описанного она вышла замуж за богатого симбирского помещика Бориса Нечаева, обычно проживавшего за границей или в Петербурге... Зная характер и склонности Мани, для меня этот брак до сих пор совершенно необъясним. Нечаев пользовался неважной репутацией и ненавидел деревню: в результате Маня вынуждена была проживать на заграничных курортах, наряжаться в парижские туалеты и вести светскую жизнь. По тем или другим причинам, она стала быстро хиреть и гаснуть...

После памятного для меня 1892 года мы с Маней встретились лишь дважды — в первый раз, спустя года четыре, я ее случайно видел в Симбирске, в доме Ухтомских... Изменилась бедная Маня до неузнаваемости — похудела и резко состарилась. Друг другу мы ничего, кроме приветствия, не успели сказать —

она торопилась садиться в коляску, чтобы ехать к матери, в Нагаткино...

При последней встрече я был лишен возможности ее видеть — Маня лежала в забитом гробу... Еще в цветущих годах скончалась она за границей, и прах ее был привезен в Симбирск для погребения в фамильном Беляковском склепе в мужском монастыре. Господь привел меня совершенно случайно попасть в Симбирск в день ее похорон, благодаря чему удалось отдать последний долг дорогому для меня существу, сыгравшему в моей жизни исключительную роль.

Нередко заходил я к ней потом на могилку и вспоминал около нее все мое далекое детство, веселую, беззаботную юность и все то доброе и значительное, что она, сама того не ведая, сделала для всегда любившего ее Саши Наумова.

Мир праху твоему, дорогая незабвенная моя Маня, памятью о тебе всегда и буду помнить до конца своих дней - спи спокойно! Господь с тобой!

С того чудесного совпадения — неожиданного обретения мною иконы Божией Матери Нечаянной Радости и получение в тот же день памятного для меня разрешительного письма Мани Беляковой — во всей моей дальнейшей жизни я всегда молитвенно обращался к этой чудотворной иконе, явившейся для меня той святыней, без которой я никакого дела не начинал, и перед которой молился при всех случаях заездов моих в Москву. В горячих молитвах перед Божьей Матерью Нечаянной Радости я черпал те нужные мне силы, благодаря которым приходилось и удавалось преодолевать многие трудности и испытание в моей сложной жизни, полной всяческих неожиданностей и превратностей.

До сих пор я не расстаюсь с той небольшой иконкой той же Божией Матери Нечаянной Радости, которой незабвенная моя мама в 1893 году благословила меня, напутствуя в Самару на новую для меня деловую и личную жизнь.

Так же неразлучно при мне находится складень, который был мне поднесен дворянами Ставропольского уезда Самарской губернии при назначении моем в 1915 году Министром. Земляки мои пожелали благословить меня на предстоящую мне трудную и ответственную работу святыней, особо мной почитаемой. Именно поэтому центральное место в складне занимает изображение опять-таки Божьей Матери Нечаянной Радости при боковых иконках с ликами св. Александра Невского и Анны Пророчицы.

Передавая мне этот складень, ставропольцы выразили надежду, что он будет неразрывно сопутствовать мне во всей дальнейшей моей жизни, напоминая о тех чувствах неизменной любви и уважения, которую они все питали к их бывшему уездному и губернскому предводителю. Я им это обещал и слово свое сдержал до сего времени, несмотря на все встреченные на моем житейском пути превратности судьбы со всеми пережитыми революционными и эвакуационными лихолетиями. Ежедневно я вижу перед собой это ценнейшее для меня благословение родных и близких мне. лиц, молюсь перед ним, и мысленно переношусь на свою далекую родину, ко всему дорогому прошлому, ныне стихийно замятому и загрязненному большевистским кроваво-красным произволом.

Часть III.

Земское начальничество. Ставрополь. Новый Буян. Семья Ушковых. Самарское общество.

20

10 февраля 1893 года, помолясь и со всеми простившись, сел я в вагон и выехал из Москвы к месту своего служения....

Самару я увидел впервые и нельзя сказать, чтобы город этот по внешнему своему виду мне понравился. Первым в Самаре я встретил отца, только что приехавшего туда в качестве губернского гласного на земское собрание. Благодаря его связям и знакомствам я сразу же окунулся в среду самарских земцев и стал осваиваться с совершенно доселе незнакомым, но сразу же заинтересовавшим меня земским делом.

Конечно, не преминул я представиться своему новому начальнику А.С.Брянчанинову, от которого получил указание возможно скорее отправиться в свой уездный город Ставрополь для срочной подготовительной работы при уездном съезде. Оказывается, мое назначение исправляющим обязанности земского начальника только что состоялось¹⁴ и я должен был спешить с принятием своего участка.

Ставрополя я тоже никогда не видал по той причине, что имение наше при с. Головкине расположено было вблизи г.

14 Назначался я исправляющим обязанности в виду моего возраста - мне было тогда 24 года, так как по закону требовались полные 25 лет. (прим. автора)

Симбирска, всего лишь в сорока верстах от него, тогда как Ставрополь, в уезде которого Головкино числилось, находился от него в 135 верстах, а Самара — на 90 верст еще того дальше.

Головкинское имение лежало в самой северной части Самарской губернии, соприкасаясь со стороны Волги с Симбирской, а на северной окраине с Казанской губерниями; естественно тяготение к ближайшему своему городскому центру — к Симбирску, где ранее мы жили постоянно по зимам и где проходило мое гимназическое учение.

Одновременно со мной назначен был в наш же уезд, вместо отказавшегося Н.М.Наумова (моего двоюродного брата), земским начальником 3-го участка местный дворянин Иван Владимирович Черноуцкий, с которым я в Самаре познакомился и сговорился ехать из Самары в Ставрополь.

Летом сообщение между названными городами было легкое, скорое и приятное благодаря комфортабельным Волжским пароходам, в зимнее же время приходилось делать на лошадях весь 90-верстный путь, для непривычного люда весьма утомительный.

Простившись с отцом и новыми своими знакомыми-самарцами, я уселся в ямщицьи сани рядом с милейшим Иваном Владимировичем, бывшим офицером и бывалым деревенским путешественником.

Перед нами растянулись в «гусевой» запряжке сытые крепкие башкирские лошадки, бодро позвякивавшие надетыми на них бубенцами. Послышался напутственный окрик: «Ну, с Богом!», и мы быстро тронулись сначала по скользкой накатанной Дворянской, затем, раскатываясь с боку на бок, спустились на

коренную Волгу, по которой весело и лихо покатили в белесоватую даль по великолепной, ровной, свежим снегом заметенной дороге.

Стоял чудный, солнечный, безветренный слегка морозный день... Я жадно вдыхал живительный чистый воздух и вглядывался в незнакомые, но удивительно живописные места, встречавшиеся на пути. Вскоре стали вырисовываться огромные массивы Жигулевских гор, покрытых густым чернолесьем с редкими полосами сосновых насаждений.

При сгустившихся сумерках добрались до места нашего конечного путешествия — города Ставрополя.

Остановились мы с Черноруцким в каменном двухэтажном здании, где помещался Уездный Съезд, нижний этаж которого приспособлен был для временного размещения Председателя Съезда — Предводителя Дворянства и земских начальников.

Сам город Ставрополь, несмотря на сравнительно древнее свое происхождение, будучи еще в допетровские времена заложен в виде крепостного заграждения против вторжения кочевых народов (киргизов, башкиров и т. п.) — представлял собой по виду скорее большое село, чем город. В центре его высился довольно красивый, старинной архитектуры Собор с высоким колокольным шпилем; около него виднелась безобразная, двухэтажная, каменная, со старой полуобвалившейся штукатуркой и крошечными оконцами за толстыми железными решетками, тюрьма, а рядом с ней стояло большое казенное белое, под зеленой крышей, здание Ставропольского Уездного Съезда — вот и все, что красовалось в сем древнем граде; остальная же часть его представляла собой ряд низеньких одноэтажных домиков, редко каменных — больше деревянных, и лишь на окраине виднелась деревянная пожарная каланча. Лет пять спустя после моего приезда появилось в центре города еще

одно двух этажное кирпичное здание, занятое под помещение Уездной Земской Управы.

С населением в 6.000 человек, Ставрополь был расположен приблизительно в пяти верстах от самой реки Волги на левой, луговой ее стороне, так что во время летней навигации приходилось по сыпучим пескам на безрессорных дрожках, т.н. гита-рах, совершать пренеприятное путешествие от города до т.н. Крутика — обычной стоянки паромных пристаней. Зато вид из Ставрополя на все стороны был превосходный: к Волжской стороне раскрывалась перед глазами живописнейшая гряда Жигулевских гор с наиболее возвышенными их утесами; с противоположной стороны город был окаймлен в виде амфитеатра сплошными огромными казенными и удельными хвойными лесами, благодаря чему Ставрополь считался природной санаторией и привлекал по летам массу народа из разных мест России. Нашелся даже один предприниматель, местный торговец Борисов, выстроивший на опушке ближайшего леса довольно большое кирпичное здание, названное курзалом, где было все, что полагается для курортных развлечений, вплоть до танцевального зала и театральной сцены.

Условия в Ставрополе для санаторного пребывания были исключительно благоприятные: весь воздух был насыщен сосновым запахом, пыли никакой, всюду песок — ни грязи, ни сырости; имелся превосходный кумыс, масса было всяческих ягод, в особенности лесной земляники, и рядом было отличное купанье в Подборном озере. Но все это сравнительное оживление наступало лишь с момента открытия навигации; зимой же Ставрополь замирал совершенно, заносило его снегом и обитателям его оставалось лишь посасывать в маленьких одноэтаж-

ных берлогах свои не медвежьи лапы, играть в карты и до одурения заниматься сплетнями про своих немногочисленных соседей.

Попав в Ставрополь, я с превеликим интересом и рвением принялся за подготовку к предстоящей работе по исполнению обязанностей земского начальника. Главными руководителями в моих съездовских занятиях были: уездный член суда по Ставропольскому уезду, наш местный дворянин, Сергей Александрович Сосновский и проживавший около Ставрополя в своем имении, земский начальник 1-го участка Михаил Павлович Яровой, заведывавший временно тем 2-м участком, который должен был перейти впоследствии в мое ведение.

В таких занятиях я провел период с конца февраля по 20 мая, памятное число, когда мы вместе с Михаилом Павловичем Яровым, приехали в мою будущую резиденцию 2-го земского участка — с. Новый Буян, и я принял от него бразды правления.

Занятие мои при Уездном Съезде главным образом заключались в изучении всего необходимого для предстоящей моей службы законодательства, в ознакомлении с самим производством дел в Съезде и у земского начальника. Практически я работал в канцеляриях съезда и у Ярового. Самостоятельно составлял разные протоколы, решения в окончательной форме по судебным делам и пр.

Сначала меня не мало подавляла сложность и трудность разносторонней компетенции земского начальника, особенно в делах надзора и регулировки крестьянских земельных дел. Но, с другой стороны, чем больше я вчитывался в дела съездовского административного и судебного производства, тем все более убеждался в необычайном интересе предстоявшей мне работы, именно той, о которой я в свое время мечтал — в целях оказания помощи беззащитному и темному народу.

Едва ли нужно говорить, что за три месяца моего пребывания в уездном городе я перезнакомился не только с всеми постоянными его обитателями, но и со всеми теми моими сотрудниками, которые по делам службы лишь временно наезжали в богоспасаемый Ставрополь.

Попробую их всех посильно вспомнить и с ними хоть на короткий срок вновь мысленно повстречаться. С грустью придется сказать — из них в живых не осталось ныне почти что никого!

Начну сначала с постоянных городских обитателей.

Прежде всего, к моей великой радости, в Ставрополе я застал своего двоюродного брата — Павла Михайловича Наумова, занимавшего в то время выборную должность Председателя Ставропольской Уездной Земской Управы. Недавно женившись на Наталии Иосифовне Черецкой, он поселился со своей молодой супругой на окраине города в уютном деревянном сереньком флигельке с великолепным видом на Волгу и ее величественные Жигули.

Наряду с Павликом Наумовым я встретил в Ставрополе родственное и теплое ко мне отношение в лице Сергея Александровича Сосновского, женатого на Софье Осиповне Черецкой, родной сестре Наточки Наумовой, и занимавшего ответственную должность уездного члена по Ставропольскому уезду.

Сергей Александрович принадлежал к дворянской семье нашего уезда, поместье которой расположено была приблизительно в 50 верстах от уездного города, при с. Сосновке Ташелкской волости.

Семья состояла из старухи матери — Елизаветы Андреевны, урожденной Головинской, давно овдовевшей; двух пожилых сыновей — Ипполита и Сергея, и замужних дочерей —

Ольги Александровны Хирьяковой и Елены Александровны Шишковой. У всех у них были дети. Муж Елизаветы Андреевны, Александр Ипполитович, много лет тому назад скончавшийся, служил в Самарской Губернской Земской Управе первого ее состава.

Именье при с. Сосновке было обширное с превосходными пахотными угодьями. В нем постоянно жила и хозяйничала добрейшая и приветливая Елизавета Андреевна, невзирая на свой почтенный возраст (далеко за 70 лет), удивительно бодрая, жизнерадостная и радушная, с редко симпатичным старческим лицом. Дружба родителей Сосновских и Наумовых перешла на детей, взаимоотношение которых носили характер близкого родства.

Ипполит Александрович Сосновский, окончив гимназию и университет, сначала вел после смерти отца хозяйство и служил по земству, а затем перешел на правительственную службу на должность Управляющего Самарскими отделениями Крестьянского и Дворянского Банка, откуда был назначен помощником Главноуправляющего Крестьянским Банком; на этом ответственном посту Ипполит Александрович скончался от рака в печени.

Он был женат на своей двоюродной сестре Елене Александровне Головинской. От этого брака у него было четверо детей — два сына и две дочери. Вскоре Елена Александровна, их мать, скончалась и Ипполит вторично женился на воспитательнице своих детей, умной и видной англичанке, прекрасно относившейся к нему и всей семье. О судьбе дочерей я ничего не знаю, сыновья же, Константин — правовед погиб от большевиков, а другой, Александр — моряк, чудом спасся во время гибели корабля в Средиземном море, был подобран итальянским миноносцем, перевезен в Италию, где, найдя свое семейное счастье

в лице богатой итальянской маркизы, проживает с ней в своем замке под Флоренцией.

Обе сестры — Елена и Ольга Александровны — были в свое время подругами моей кузины Марьи Михайловны Наумовой, вышедшей впоследствии замуж за Сазонова. Обе они были милые, благовоспитанные, темнорусые блондинки. Выйдя замуж, они оказались прекрасными женами и матерями. У каждой из них было по многу детей.

Перейду теперь к воспоминаниям, связанным у меня с личностью и деятельностью Сергея Александровича Сосновского, имевшего по занимаемой им должности Уездного Члена, постоянное местожительство в самом городе Ставрополе и лишь изредка выезжавшего в уезд по обязанностям службы или к себе в имение.

Сергей Александрович учился в Казани, где окончил курс гимназии и затем юридический факультет Университета, после чего служил по Министерству Юстиции — сначала судебным следователем, а затем Товарищем Прокурора. При введении положения о Земских Участковых начальниках в Самарской губ. (1891 г.) он получил назначение на должность Уездного Члена по Ставропольскому уезду, что было для него очень удобно ввиду близости его имения, а для самого дела отправление правосудия подобное назначение являлось тоже крайне благоприятным, так как вновь назначенный Уездный Член знал всесторонне свой родной уезд.

В общем, подобные назначения на означенную должность из местных людей, да еще дворян, было довольно редким явлением, но такое назначение лишь соответствовало самому духу реформы, выдвигая роль и значение поместного дворянства.

По новому закону Председателем Уездного Съезда был Уездный Предводитель Дворянства, но фактически судебные заседания в большинстве случаев велись под председательством законного заместителя Предводителя - Уездного Члена. Происходило это главным образом потому, что Предводители Дворянства были завалены множеством других дел и не всегда могли приезжать на заседание съезда.

За время службы Сосновского много сменилось Предводителей. Первым был Борис Михайлович Тургенев; затем служил Алексей Павлович Наумов, которого заменил Николай Михайлович Наумов; после него одно трехлетие ставропольским Предводителем пришлось прослужить мне, а после избрания меня Губернским Предводителем вступил на эту должность Алексей Михайлович Наумов, а за ним, наконец, сам Сергей Сосновский занял наш предводительский престол, и на нем оставался до конца — иначе говоря, до февральской революции 1917 года, заставшей его в Симбирске, где он вскоре и скончался.

Среднего роста, плотный, сильный и выносливый, Сергей Александрович обладал представительной внешностью и при исполнении своих обязанностей имел весьма внушительный вид. Дело служебное он знал в совершенстве, обладал исключительными способностями быстро схватывать суть всякой тяжбы или проступка, прекрасно руководил судебным разбирательством и мастерски ясно составлял резолюции. Временами мешала ему в жизни и службе излишняя темпераментность.

Женат он был на Софье Осиповне Черецкой — высокого роста блондинке, удивительно милой и симпатичной, но болезненной. Софья Осиповна была прекрасной музыкантшей, превосходно играла на рояле; она любила классический репертуар — особенно Шопена; для меня это было всегда настоящим

наслаждением — она это знала и всегда с особым удовольствием садилась за инструмент и подолгу мне играла.

Сосновские занимали целый особняк — деревянный двухэтажный дом с террасами и большим дворовым местом. В верхнем этаже находилась канцелярия, где работал письмоводитель Сосновского.

Сергей Александрович был скорее ровного и веселого нрава; присутствие его в доме можно было всегда узнать по раздававшемуся громкому хохоту, похожему на гусиное гоготание. В то время их единственному сыну Шурке было около 12 лет; при нем состоял старик француз с клювообразным носом над седыми усами и вечной трубкой во рту. От своего гувернера Шурка постоянно удирал, особенно если тот засядет, бывало, с отцом играть в шашки. Вообще сын Сосновского, не столько в описываемое время, сколько впоследствии, доставлял родителям немало забот и даже огорчений.

Распущенный, безалаберный, он с годами превратился в какого-то дикого необузданного юношу, а затем в здорового малого, идеал которого заключался — к ужасу и полному недоумению его родителей — попасть на полицейскую службу! Под конец он этого и достиг, пройдя предварительно воинскую повинность и надев затем на себя форму помощника частного пристава г. Самары; все его служебные аксессуары — шашка, шпоры и пр. по своей величине, блеску и звону напоминали рыцарские доспехи. Кончилась его служба печально: Шурка стал нещадно избивать интеллигенцию, а затем учинил нечаянное, но все же смертоубийство. Пришлось и мне, из уважения и жалости к его родителям, хлопотать за него... Выручила война — Шурка был помилован и вступил в ряды защитников отечества и дрался храбро.

Милая, но слабая здоровьем Софья Осиповна мало-помалу становилась совсем немощной, и лет за пять до войны тихо скончалась в одной из московских клиник. Сергей Николаевич женился потом на Антонине Николаевне, разведенной жене Петра Иустиновича Ледомского, секретаря Ставропольского Уездного Предводителя Дворянства — маленькой смуглой брюнетке, юркой кокетке с красивыми темными много говорившими глазами и чувственным ртом. Насколько Софья Осиповна была бессильна влиять на мужа, настолько вторая его супруга окончательно забрала Сергея Александровича в свои маленькие ловкие ручки. Последнее время они жили в Симбирске, где после революции один за другим скончались.

В моей жизни и всей моей службе, первоначальной в уезде и последующей — губернской, Сергей Александрович играл всегда благотворительную роль, будучи в первое время полезным руководителем, а затем всегда искренно-расположенным ко мне разумным советником, настоящим другом и горячим сотрудником во всей моей сложной и ответственной предводительской работе, особенно в лихолетья 1905-1908 г.г., о чем я скажу ниже в своем месте.

По приезде в Ставрополь, где пришлось мне прожить около 3-х месяцев, я перезнакомился со всеми должностными лицами, имевшими своим постоянным жительством уездный город, и в первую голову, с местным исправником, полковником Алексеем Никаноровичем Лукьянчиковым. Назначение его ставропольским исправником состоялось незадолго до моего с ним знакомства, так что для самого Ставрополя и его уезда Алексей Никанорович был человеком новым, да и для исправничьей службы видимо он сам себя чувствовал таким же, оставаясь по долголетней своей привычке военным человеком — командиром пехотного батальона.

Несмотря на свою внешность боевого и волевого начальника, Алексей Никанорович в домашнем быту жил целиком под властью своей строгой и взыскательной супруги; по службе же, силою вещей, находился всецело в зависимости от своих ближайших подчиненных-сотрудников по Полицейскому Управлению, а в уезде г.г. становых приставов, в большинстве случаев, людей долголетнего опыта. Сам же Алексей Никанорович ни крестьянского быта, ни административных законоположений не знал, умея лишь командовать и подтягивать, а нрава был настолько вспыльчивого и горячего, что временами терял всякое самообладание, впадая в анекдотический раж и экстаз во вред себе и другим...

Лукьянчиков был честнейший, благороднейший человек и идеальный семьянин, добрейшей души и кристальной нравственности. Он был прямой противоположностью рыхлой, полной, обычно недвижно сидевшей на своем излюбленном диване, супруге своей Екатерине Александровне (рожденной Смирницкой), деловитой, рассудительной особе, фактически управлявшей всем домоводством, семьей, да и самим воинственным своим супругом, быстро утихавшем при малейшем с ее стороны замечании вроде: «Ну, довольно, Алексей Никанорович, здесь тебе не Полицейское Управление, утомись и пойди распорядись, чтобы закуску подавали...» Говорилось это в спокойном, но внушительном тоне, и наш исправник исправно тотчас же исполнял приказ своей далеко не прекрасной половины.

С Лукьянчиковым служить пришлось мне вместе около двух лет. Всегда вспоминаю его редкую душевность, удивительную отзывчивость и доброту. Про его служебную работу можно сказать лишь одно — он не служил в принятом смысле этого слова, а скорее горел, принимая все от мала до велика к своему

пылкому сердцу, которое в конце концов не выдержало и быстро сдало — особенно после ряда неприятностей его последующей службы в качестве пристава гор. Москвы во время коронационных торжеств в 1896 году и памятной Ходынской катастрофы.

Вспоминая милого Алексея Никаноровича, встают в моей памяти некоторые эпизоды его безудержной горячности и вспыльчивости, доводивших его временами до какого-то иступленного самозабвения, а подчас и смехотворной бестактности...

Возьму для примера одно событие — приезд Самарского архиерея Гурия в наш Ставропольский уезд для освящения церкви в далекой, глухой мордовской деревушке — Новой Хмелевке, Ново-Бинарадской волости, расположенной в моем земском участке. Надо сказать, что Самарская Епархия долгие годы жила обычной своей спокойной жизнью, никакими наездами Владык не нарушаемой.

В год моего поступление на службу в Ставропольский уезд, Самарским Епископом назначен был Преосвященный Гурий, ранее занимавший архиерейский пост в Восточной Сибири и далекой Камчатке, где, неся одновременно миссионерские обязанности, Владыка привык беспрестанно объезжать, к тому же, обычно на собаках, необозримые, еле населенные пространства.

Энергичный, подвижной, крепкий, невысокого роста с умным, обветренным, загорелым лицом, обрамленным клинообразной, темной с проседью бородкой, Гурий, получив Самарскую епархию, сразу же принялся за неутомимый ее объезд, наведя на губернский и уездный весь духовный клир невероятную панику и трепетный страх. Не прошло и года, как произве-

дена была почти сплошная перетасовка всех приходских батюшек, очутившихся после долгого безмятежного покоя в состоянии другой крайности — полной неуверенности в завтрашнем дне... Все, в ожидании дальнейших перемещений, сидели на сложенных дорожных вещах и упакованном домашнем скарбе...

После тяжелых, долгих, полных всяческих невзгод и лишений сибирских способов передвижений, Гурию представлялись все самарские поездки в самые отдаленные и глухие места епархии, лишь приятными и нисколько не обременительными для него прогулками.

Так было и с освящением крошечной церковки в самом незначительном местечке моего земского участка, деревушке Новой Хмелевке, не только ранее никогда не встречавшей видных губернских чинов, тем более архиереев, но вряд ли когда-либо принимавшей у себя станового...

И вот пришла необычная весть — сам Преосвященнейший Владыка собирается в Хмелевочку приехать! Начался немалый переполох не только среди местного населения, сколько у его начальства, включая и городское ставропольское самоуправление, так как дело было летнее (август месяц) и архиерей должен был проследовать из Самары — сначала на пароходе до Ставрополя, откуда все 90 верст приходилось доставить Его Преосвященство до самой Хмелевочки на лошадях.

Открылось скоропалительному Лукьянчикову широкое поприще для проявления его начальнических и исправничьих способностей... Посыпались от него приказ за приказом — вся местная и городская полиция была поднята на ноги. Ставропольский городской голова — типичный местный малограмотный мещанин Киселев, хозяин бакалейной лавочки, небольшого роста, одетый всегда в длиннополый сюртук, в высоких са-

погах бутылками — по причине предстоявших ему непривычных экстренных забот и исправничьих строжайших приказов, окончательно с ног сбился.

Прием нового архиерея в г. Ставрополе решено было устроить самый торжественный, с парадным завтраком в здании Городской Управы, представлявшим собой одноэтажный, ветхий деревянный дом, без всяких приспособлений для кулинарных затей. Вследствие этого, по приказу исправника, для изготовления архиерейской трапезы была предоставлена кухня ставропольского курзала, расположенного за городом, по крайней мере в полутора версты от Городской Управы....

Предполагалось изготовить к завтраку стерляжьую уху, кулебяку и прочие вкусные рыбные и иные яства, до масседуана включительно. Все, казалось, было налажено. Голова еле ноги волочил и хватался за свою действительно лысую голову, окончательно отупевшую от исправничьих понуканий и окриков, а сам милейший Александр Никанорович от волнений и распоряжений спал с голоса и охрип.

Встреченный торжественно на пароходной пристани, Его Преосвященство проследовал в Собор, а затем был приглашен к трапезе в Городскую Управу. Впереди Владыке предстоял немалый путь до Хмелевочки — надо было доехать непременно в тот же день к вечеру, чтобы успеть всенощную отслужить,

У Преосвященного Гурия характер был властный и горячий. Пароход пришел в Ставрополь с некоторым опозданием — времени оставалось в обрез. Приехав в Городскую Управу, Владыка выразил желание немедленно тронуться в путь, но его упростили принять от города хлеб-соль. Гурий согласился, но с условием поторопиться с подачей трапезы.

Вот тут и начались все невзгоды для бедного головы и испытание для изнервничавшегося исправника.

Для перевозки блюд из курзала в Городскую Управу были мобилизованы вся наличная пожарная команда и все ставропольские полицейские чины. Все шло горячо, все несло и скакало, курьеры верхами то и дело сновали со двора Управы на кухню курзала, и обратно. Однако, дело угощения Владыки не ладилось, то одного не хватало, то другого не доставало... Преосвященный давно нетерпеливо сидел на почетном месте, но... перед пустым прибором! Исправник и голова, вместо того, чтобы занимать высокого гостя, ушли из-за стола и следили за исполнением своих приказаний на управском дворе...

Охрипший, уставший, весь в поту и с клочками пены у рта, Алексей Никанорович стоял у крыльца в позе полководца, наблюдавшего за ходом жаркого, решительного сражения. Наконец, на пожарной тройке, со стуком и гиком появляется давножданная архиерейская уха! Решили ее подать, не ожидая расстегая. Владыка, похлебав несколько ложек, вдруг встал, обратился к иконе и стал читать благодарственную послетрапезную молитву... Городской голова обратились к архиерею с просьбой продолжать начатую еду, указав, что вся она еще впереди, и что за ухой следуют иные кушанья и яства, Гурий лишь грозно на них обоих прикрикнул и велел немедленно подавать лошадей.... Все вновь заметалось и заволновалось... Послышались многочисленные колокольчики и бубенчики. Лошади были поданы и Владыка быстро сел в коляску с крытым верхом, запряженную добрым четвериком, а впереди, на лихой ямщицкой тройке, уселись мы с исправником и помчались вглубь уезда.

Надо было видеть милейшего Лукьянчикова, его посадку, позу, выражение его разгоряченного лица, чтобы понять всю его экспансивную темпераментность и необычайное служебное

рвение, доходившее до полного подчас самозабвения. Вскочив с подъезда Городской Управы в свой дорожный тарантас, наш рьяный исправник положительно застыл в позе как бы скачущего на пожар брандмейстера. Одной ногой он опирался на подножку, всем же остальным своим корпусом нагнулся вперед, зорко вглядываясь в ширь и гладь расстилавшейся впереди дороги.

По мере приближения к попадавшимся по пути селениям, пыл и энергия у него накапливались до таких чудовищных размеров, что, не доезжая еще до околицы, он уже кричал иступленным, охрипшим голосом: На колени! Колокольный звон! Пусть не верят читатели, но дело дошло до того, что при въезде в одну из околиц затуманившийся от охватившего его азарта, исправник крикнул обычное «На колени!..» несколькими деревенским теляткам, чуть но задавленным нашей мчавшейся тройкой.

Можно себе представить, что делалось с ним при проезде села, когда, стоя во весь свой высокий рост, одной рукой держась за шиворот ямщика, а другой грозно для чего-то потрясая в воздухе, под шум поддужных колоколов и лошадиных бубенчиков, в густом облаке дорожной пыли, среди кудахтанья спасавшихся из-под колес кур и разбегавшихся в стороны с задранными хвостами телят, Лукьянчиков орлиным взглядом окидывал мелькавшие мимо него крестьянские усадьбы, перед которыми приказано было всем хозяевам выйти для встречи архиерея с хлебом и солью и в ожидании встать на колени. Бедным бабам и мужичкам подолгу пришлось простаивать в выжидательной коленопреклоненной позе, ибо наша передовая тройка намного усккала вперед от более степенного, архиерейского четверика...

Другая забота у моего начальственного спутника все время проявлялась относительно неукоснительного требования звонить ко встрече Владыки в колокола. Врываемся мы в село Узюково, скачем мимо церкви — вдруг послышался хриплый горячий приказ исправника остановиться. Ямпиик сразу же осадил вспенившихся лошадей. Вскочивший на ноги Алексей Никанорович поднял на колокольню голову и заметно обомлел... — никакого звона не оказалось, и злосчастная колокольня была безмолвна и пуста.

Не успел я опомниться, как мои исправник, скинувши дорожный плащ, звеня шпорами и шашкой, помчался к церкви, где только что стало сходиться духовенство и народ... Жестикулируя неистово руками, показывая им то на околицу, то на колокольню, Лукьянчиков стремительно скрылся в церкви и через мгновение я увидел его, взобравшегося на колокольню и принявшего лично немилосердно звонить во все колокола, не смотря на то, что архиерея не было еще ни видно и ни слышно... Отведя свою душу на Узюковской колокольне, окончательно безголосый, весь в поту и пыли, Алексей Никанорович вернулся в свой тарантас, чтобы продолжать наш длинный путь до Хмелевочки, где его бедного, уставшего от дорожных всяческих волнений, ожидало событие, повергшее его в состояние окончательного извода, а меня, как хозяина, — в немалое затруднение.

Хорошо было Владыке пожелать приехать в Хмелевочку, но не так-то легко обстояло для меня организовать его встречу и достойный прием в такой отдаленной глуши. Спасло меня отчасти то обстоятельство, что местный волостной старшина Астафий Семенович Алексашин — мужчина огромного телосложения с большой окладистой, рыжезолотистой бородой на кирпично-красном лице — был родом именно из упомянутой Хмелевочки, где у него единственного имелась просторная, чистая

изба, которую он и предоставил в мое распоряжение для приема архиерея; для сего было устроено особое кухонное приспособление — сложена была специально для этого событие плита. Провизию пришлось доставать издалека, а потребная рыба была привезена из того же Ставрополя. Готовить ужин поручено было служившему в то время у меня в качестве повара, старику Терентьичу. Был он хорошим и преданным служащим, превкусно готовившим и знавшим приготовление даже изысканных тонких блюд, т.н. французской кухни, чем в особенности гордился; при этом названья он давал этим блюдам самые фантастические. Но у него был один недостаток, из-за которого старик вынужден был менять своих господ: он страдал запоем и как ни лечили его, но все оставалось безрезультатно. Прежде чем решиться его послать в Хмелевочку для изготовления архиерейской трапезы, я с Терентьевичем имел серьезную душевспасительную беседу, предостерегая его не впадать в великий соблазн и грех в присутствии самого Преосвященного Владыки. Старик поклялся перед образом, что не дерзнет на такой гибельный поступок и заверил меня, что забудет и думать на все время приема архиерейского о винном зелье. В кулинарном его искусстве я был заранее уверен. Заказан был ряд вкусных блюд, а старшине был дан приказ неукоснительно следить за поваром во избежание соблазна.

Приехав поздно вечером в Хмелевочку, архиерей приступил к служению всенощной накануне дня освящения храма. Мы с исправником, осмотрев предварительно все заготовленное для приема Владыки в избе старшины, и найдя все в порядке, решили тоже пойти на архиерейскую службу, Лукьянчиков же приказал, без моего ведома, приставить к Терентьичу особого полицейского для надзора и безопасности.

Служба в церкви была долгая. Мне пришло в голову пойти проверить, что делается на кухне, так как час ужина приближался. Со мной пошел и Лукьянчиков. Войдя в помещение, мы сразу же остановились и друг на друга с беспокойством посмотрели — пахло сильно чем-то пригорелым. Подойдя к полуоткрытой кухонной двери, мы увидели валивший из нее удушливый дымный чад и услышали следующий диалог двух пьяных голосов: И как тебе не стыдно, братец ты мой? — говорил Терентьич, — Приставило тебя начальство смотреть за мной, за моей слабостью, да ты, Христопродавец, меня же еще спаиваешь! — Не робей, Терентьич — раздалось в ответ — наплюй ты на начальство! Давай-ка выпьем еще, пока что...

Рядом со мной раздался какой-то невообразимый шипящий хрип, вырвавшийся из возмущенной груди ошеломленного исправника. Открыв стремительно дверь, мы увидели потрясающую картину: среди дыма и чада около плиты, на которой горел вывалившийся откуда-то судачий хвост, стоял пьяный Терентьич с прожженным фартуком и сбившимся на затылок поварским колпаком, а за ним еще более подвыпивший десятник, при чисто вычищенной полицейской бляхе, с бутылкой пива в одной руке и пустым стаканом в другой. Ряд пустых бутылок, разбросанных в разных местах крошечной кухни, показывал, что искуститель и искушаемый недаром обретались в одинаковом неземном настроении.

Я не успел опомниться, как мгновенно произошло в кухне нечто невероятное где-то зазвенело, что-то затрещало, послышались какие-то сверхчеловеческие вопли и звуки, а меня обдало брызгами и осколками... Наконец, выходная из кухни дверь разверзлась и все куда-то стремительно исчезло — даже чад рассеялся... Один лишь я оказался среди опустевшей кухни и заброшенной плиты. Положение создавалось критическое —

для меня было ясно, что Терентьич мой вдвойне погиб: прежде всего, от начавшегося запоя, во-вторых же от исправничьего гнева и натиска. Оказалось, что рассвирепевший Лукьянчиков обоих их собственноручно вышвырнул на двор и велел засадить в кладовку... Между тем, время ужина беспощадно близилось — ничего не было готово, кроме некоторых закусок, ранее заготовленных злосчастным Терентьичем... Спас меня опять старшина, приказав своей хозяйке, здоровенной энергичной бабе, наладить и собрать ужин. Я сам взялся ей помогать, и через час была готова архиерею рыбная селянка и жареная рыба с картошкой. Напоследок выручил нас всех добрый сочный арбуз. Впоследствии Преосвященному Гурию стала известна вся рассказанная мною здесь история. Не раз Владыка о ней вспоминал и другим любил, смеясь, рассказывать.

На обратном пути Преосвященному пришлось еще одну перестроенную церковь освящать — в с. Новом Еремкине Ново-Буяновской волости, куда весь архиерейский кортеж прибыл к вечеру. Владыка остановился в доме священника, а мы с исправником расположились на въезде — просторной избе. За вечерней трапезой, сидевший рядом с Владыкой Лукьянчиков в разговоре с ним стал расхваливать праздничную одежду местной мордвы — главным образом женщин.

Сидя за столом по другую сторону архиерея, я мельком слышал этот разговор, но о дальнейших его результатах я узнал лишь впоследствии. Завалились мы с исправником спать рано. Станным показалось мне какое-то необычное для исправника многозначительное шушуканье втайне от меня с местным становым, Соколовым — дошлым матерым приставом, выдавшим виды на своем долгом веку полицейского пройдохи. Ложась

спать и закутываясь в свой дорожный плащ, Алексей Никанорович пожелал мне спокойной ночи и вместе с тем каким-то загадочным тоном сказал: «Утро вечера мудренее».

Не успела ночь пройти, чуть забрезжил свет сквозь затворенные ставни, как послышался осторожный стук в дверь и вошел на цыпочках с «подколюзным» видом становой. Исправник вскочил и хрипло спросил: Ну, что?! На это послышался вкрадчивый ответ подначальнаго: «Все, Ваше Высокоблагородие, готово-с! Прикажете впустить?»

Вместо ответа, Алексей Никанорович обращается ко мне и на всю избу гаркнул: «Ну, земский начальник, вставай! — Девки пришли!... Какие девки? В чем дело?» — спрашиваю я, уставясь с недоумением на спешившего по-военному одеться исправника... И лишь только тогда, к своему немалому ужасу, я узнал про невероятно нелепое и бестактное распоряжение скоропалительного Алексея Никаноровича. Оказывается, после вечерней трапезы и разговора с архиереем по поводу костюмов местного населения, у него явилась фантазия устроить на другой день сюрприз Владыке и представить ему с десятков отборнейших Еремкинских девок, разодетых в их праздничные национальные наряды. Можно себе представить, что получилось в результате подобного распоряжения, какой переполох в ночное время начался во всех Ново-Еремкинских семьях при обходе полицией домов для точного исполнения исправничьего наряда — выбора десяти лучших девок, празднично одетых, и препровождение их на «въезжую» к начальству.

Потом передавали, что на селе стон стоял от ругани и плача родителей и избранных полицией девиц, обреченных на неизвестное... Узнав обо всем этом, я принял немедленно самые решительные меры к ликвидации подобной авантюры.

Вышел я сам к согнанным к въезжей избе разряженным, но заплаканным мордовкам, и через посредство своего старшины постарался разъяснить им, что распоряжение было сделано в целях украшения предстоящего церковного торжества, поручив тому же старшине лично их провести от нашего помещения прямо в церковь, выставив их впереди всех для встречи архиерея.

Так или иначе, дело удалось умиротворить, но беспощадная молва надолго осталась в народе, приписав тому же неосторожному исправнику совершенно несвойственные ему качества.

В общем, Алексея Никаноровича в Съезде у нас любили, но служить с его пылким нравом и врожденной бестактностью в уезде было тяжело: мужики его только боялись, а подчиненные, учитывая его слабости, вечно его подводили и изводили. Лично же я успел его полюбить от всего сердца за удивительную свежесть и молодость его души, всегдашнюю искренность и чуткую отзывчивость.

21

Из других постоянных обитателей Ставрополя я вспоминаю: воинского начальника, полковника Рогальского, типичного польского пана с сильно выраженным акцентом, говорившего по-русски, и обладавшего прехорошенькой кокетливой дочкой — панной Стефанией, с поразительным цветом лица, напоминавшим бело-красные головки фарфоровых куколок. Немало, бывало, засидевшихся в своих берлогах холостых и женатых ставропольцев засматривалось на лукаво-игривое и смазливое личико панночки Рогальской.

Не забуду одной зимней прогулки с ней, стоившей временного разрыва моих дружеских отношений с земским начальником Яровым, старым холостяком и завзятым ловеласом. Дело было на рождественских святках. У пана полковника был званный вечер, во время которого решили устроить троечное катанье. М.П.Яровой был пленен чарами Стефании и предложил ей прокатиться на его лихой тройке, а меня пригласил разделить их веселую компанию.

В широком задке его ковровых саней мы плотно друг около друга разместились в следующем порядке: — панночка посередине, а по бокам — мы с Яровым, оба одетые в оленьих дохах. Кучер гикнул, весело заголосили звонкие бубенчики и резвые, крепкие, застоявшиеся башкиры быстро понесли нас по Борковской дороге... Поле мириадами алмазных искр отражало на своем пушистом снеговом покрове яркое лунное сияние. Затем въехали мы в вековой Орловский бор, своей ночной таинственностью невольно навевавший сказочно-фантастическое настроение...

Панночка была в восторге, временами даже взвизгивала от избытка чувств. Яровой, с надвинутым на нос козырьком теплой дворянской фуражки, сквозь заиндепевшие усы и бакенбарды мягко, вкрадчиво и нежно ворковал на ушко своей очаровательницы... Мало-помалу, несмотря на толщину своего рукава, я начал ощущать какой-то посторонний нажим на часть моей руки, соприкасавшейся со станом моей юной соседки, и, чем дальше мы мчались, тем нажим этот становился все крепче и смелее; с особой силой, я бы сказал, даже страстностью, обхват моей руки сказывался при ухабах и раскатах...

Очевидно, Яровой, вместо талии пленительной панночки, зацепил рукав моего ергака и, сам того не зная, жал его пылко от избытка охватившего его чувства. Развеселившаяся же наша

спутница, которая не прочь была с кем угодно пококетничать, приписывала в свою очередь ощущавшийся ею нажим моей инициативе и любовной смелости, а потому при каждом толчке и обхвате со стороны Ярового, хорошенькая Стефания дарила не его, а меня своими игривыми, многозначными взорами... Комбинация эта меня забавляла до такой степени, что к концу прогулки я положительно устал от душившего меня все время хохота. Яровой яростно на меня смотрел, видя во мне очевидную помеху его влюбленным воркованьям и лунным настроениям. Когда же, по возвращении нашем в отчий дом панночки, он узнал, что всю дорогу он мял восторженно, вместо панночки, лишь мой мохнатый рукав, Михаил Павлович пришел в столь неопишное состояние злобы и досады, что порвал, правда на короткое время, с его душевным другом всякие сношения...

Коренным старожилом Ставропольского уездного града был секретарь Предводителя Дворянства, он же делопроизводитель Уездного Военного Присутствия — Петр Иустинович Ледомский, женатый на дочери бывшего военного начальника — предшественника Рогальского, Антонине Николаевне, о которой я ранее упоминал, как о второй супруге С.А.Сосновского. Ледомский имел невероятно мрачную внешность и соответствующий характер. Исполнительный и корректный чиновник, в домашнем своем быту и семейной жизни он был тяжелым, мелочно придирчивым, а главное до болезненности ревнивым человеком, доведшим свою маленькую кокетливую супругу до того, что она предпочла перейти под кров более спокойного и уравновешенного С.А.Сосновского.

Вспоминается мне также из Ставропольских моих новых знакомых Иван Гаврилович Хлебников — земский врач, заведы-

вавший много лет местной участковой больницей и пользовавшийся в уезде всеобщим уважением и заслуженным профессиональным доверием.

Иван Гаврилович имел почтенную семью, любил у себя принимать и отличался теми душевными качествами, благодаря которым его можно было назвать истинным другом человечества. Ставропольское земство очень ценило его работу и заслуги.

Недалеко от него жил городской судья Константин Андреевич Иванов — бесцветнейшая личность и типичнейший продукт полного интеллектуального омертвления не от служебного переутомления, а по причине беспробудного картежничества российской провинциальной глуши.

Немногим лучше его был местный удельный управляющий г. Муринов, занимавший эту интереснейшую в хозяйственном отношении должность по какому-то недоразумению, ибо более мнительного и оберегавшего себя от всяких сквозняков и перемен температуры человека трудно было себе представить.

Между тем, огромное ставропольское удельное имение с великолепными разнородными угодьями: пахотными, луговыми и лесными, неукоснительно требовало постоянного хозяйского глаза. Фактически, силою вещей, заведывание всем этим добром находилось в руках целой серии низших служащих — разных смотрителей, приказчиков, объездчиков и т. п., а сам Муринов, закутанный и нелюдимый, из себя представлял какую-то замурованную («замурированную», как в Ставрополе в шутку говорили) мумию, всецело лишь занятую канцелярскими манипуляциями с номерами исходящими и входящими.

Можно себе представить, как все это отзывалось на значительном контингенте местной хозяйственной клиентуры имения.

Жил также в Ставрополе в описываемое мною время некий Николай Осипович Цвилленев — акцизный чиновник. Среднего роста, тщедушный, сильно сутулый, с изможденным геморроидального оттенка лицом, почти без всякой на нем растительности, Николай Осипович был существом необычайно желчным, раздражительным, а главное — обидчивым!

Не было человека в городе и уезде, с кем бы Цвилленев, по тому или другому поводу не умудрился поссориться. Однако, был он человеком недурным, любил дома играть на виолончели и фисгармонии, из-за чего в первое время — особенно, когда мне пришлось безвыездно жить в городе Ставрополе и работать в Съезде — у нас с ним на почве обоюдной любви к музыке установились самые добрые отношения.

Много общего по свойству своего характера с Цвилленевым имел еще один ставропольский обитатель — Е.П.Каржавин, судебный следователь, нелюдимый, против всех и вся озлобленный, болезненно-самолюбивый и тоже готовый при каждом удобном и неудобном случае неистово обижаться. Вся фигура и внешность его соответствовали его характеру: небольшого роста, весь искривленный, худой, с уродливой крошечной физиономией, сплошь заросшей вихрястыми рыжими волосами и взъерошенной бороденкой, Каржавин слыл за скрытого социал-демократа. Сосновский, органически его не переносивший, отзывался о нем с отвращением, и с самого начала предупреждал меня быть с ним осторожнее... Подобное существо, как Каржавин — не раз говаривал мне Сергей Александрович — может мстить и мерзить. Обходи его подальше и не дави — хуже клопа завоняет... Увы! в первую же зиму моей службы судьба со мной

сыграла плохую шутку: пришлось именно этого Каржавина жестоко раздавить, вопреки предупреждению моего доброжелателя Сосновского и, разумеется, помимо моего желания.

Случилось это в зимнее время, когда пришлось мне среди снежных заносов и сугробов объезжать по делам свой участок. Растянутая во всю длину гусевой зимней запряжки моя тройка только что стала приближаться к околице села Мусорки, как из нее вынырнула тоже гусевая пара ямщицких лошадей. Дорога была узкая, разъехаться на ней было невозможно, кому-то надо было повернуть в сторону — в самую глубь нанесенных бураном снежных сугробов. Мой кучер, Николай Киселев, молодой лихой здоровяк, грозно, по-начальнически окрикнул встречного ямщика, чтоб тот взял в сторону, но приказа его не послушали. Привстав тогда во весь свой мощный рост, Киселев крепко выругался, и чтобы так или иначе расчистить себе проезд, стал действовать единственным своим боевым дорожным оружием — длиннейшим гусевым кнутом.

Посыпались один за другим удары со свистом рассекавшего воздух бича; поднялась невероятная суматоха, раздалась неистовая дорожная ругань нескольких голосов; лошади сначала сбились в кучу, потом как-то разобрались, и наши встречные сани, накренившись в разные стороны и стукнувшись друг с другом своими отводинами, благополучно разъехались...

Мимо меня мелькнула вылезшая из мохнатого тулупа знакомая, ожесточенно-разъяренная от злобы, физиономия седока... самого Каржавина, которого, как оказалось, кучер Николай, усердствуя своим кнутом, нечаянно задел тонко скрученным волосяным его концом.

Отсюда начались все мои невзгоды, посыпались на меня следовательские бесконечные жалобы, на каждом шагу чинились в наших служебных взаимоотношениях всевозможные

придирки и пр... Одним словом, предсказание Сосновского полностью сбылись...

Хочется мне упомянуть еще о двух ставропольских старожилах, о двух городских друзьях — скорее собутыльниках: судебном приставе, Иване Матвеевиче Сафарове и нотариусе Быстрицком.

Первый был мужчиной огромных размеров, с большой круглой головой с жидкими волосами и мясистым лунообразным лицом почти без всякой растительности. Широко расставленные, круглые, большие, карие глаза имели обычно флегматичное выражение, и лишь на охоте принимали более оживленный вид.

Иван Матвеевич помещал кое-когда свои статейки больше сатирического свойства в местных самарских газетах, описывая, главным образом, непорядки городского самоуправления. Обычно, писательский зуд проявлялся у него в период тяжелого отрезвления, после ряда безудержных запойных дней, проведенных в сообществе всегда пьяного Быстрицкого — местного нотариуса, один вид которого достаточно говорил о принадлежности его к категории убежденных алкоголиков.

Когда, бывало, приходилось его встречать на песчаных ставропольских улицах, спотыкавшегося и шатавшегося из стороны в сторону, припоминались хоровые напевы из классической оперетки «Птички певчие», сопровождавшие появление на сцене двух подвыпивших нотариусов: вот они нотариусы, да как шатаются они...

Оба приятеля — Сафаров и Быстрицкий — были завсегдатями ставропольского общественного собрания, единственного местного клуба, где имелась особая комната специально предназначенная для бильярдного спорта, каковому и тот и

другой предавались до самозабвения, сопровождавшегося опустошением ими бесчисленного количества пивных бутылок.

Описывая Ставропольское общество и его служилых представителей, не могу не сказать нескольких слов также и про местное городское купечество, которое было немногочисленно и состояло преимущественно из мелких хлебных торговцев — скупщиков базарного крестьянского зернового подвоза.

Наиболее оборотистый из таких перекупщиков был некий Борисов — энергичный умный делец, быстро наживший хорошие средства, на которые выстроил в Ставрополе каменную двухэтажную гостиницу и большой загородный курзал. Но деловая его карьера вскоре оборвалась: на те же нажитые деньги Борисов спился и быстро опустился.

Самой солидной купеческой семьей в городе считалась Климушинская, то были почтенные старики, выдержанные, умные и всеми уважаемые, которые занимались тоже хлебным делом, но главным образом продажей галантерейного товара во всей южной части уезда.

Жил также в Ставрополе крупный по своему коммерческому обороту торговец Черкасов, арендатор рыбных ловель на Волге под Ставрополем. Остальные обитатели Ставрополя, в массе своей принадлежавшие к мещанскому сословию, занимались хлебопашеством; главным посевным злаком издавна был у них в яровом клине — лук, славившийся на всю Приволжскую округу.

22

Прожив в Ставрополе с февраля около трех месяцев, усиленно подготовляясь к предстоявшей мне служебной работе, я естественно успел перезнакомиться со всеми будущими своими

коллегами по службе. Здесь скажу несколько слов о Председателе Съезда, Уездном Предводителе Дворянства — Борисе Михайловиче Тургеневе.

Как сказано, он приходился мне троюродным братом по бабке своей — родной сестре моего деда Михаила Михайловича Наумова.

Всей своей повадкой и грузной фигурой он походил скорее на увальня-барина не без склонности к некоторой обломовщине. Не только у себя в доме, но и в уезде, Борис любил носить русский костюм, и даже не всегда надевал поддевку, оставаясь больше в широких шароварах и огромной ситцевой рубашке, подпоясанной кушаком с кистями. Высшее образование он получил в Петербургском Университете. В общем, он производил на всех, встречавшихся с ним, самое благоприятное впечатление, благодаря своему ровному характеру, доступности и душевной отзывчивости.

Бывая наездом по делам службы в Ставрополе, Борис всегда весьма приветливо относился ко мне, всячески стараясь содействовать ознакомлению моему с поместной земской службой, и впоследствии отличая мое участие в общей работе путем предоставления мне особо трудных и наиболее интересных деловых поручений по разработке разных вопросов по крестьянскому быту и законодательству. Память о Борисе Тургеневе останется навсегда у меня самая добрая и светлая, как о прекрасном человеке, дельном Предводителе и душевно-расположенном ко мне первом руководителе.

При нем был образован окончательный состав земских начальников т.н. первого призыва, которых, согласно расписанию Положения о Земских Участковых Начальниках, на наш Ставропольский уезд полагалось всего десять.

Перейду теперь в своих воспоминаниях к моменту особо памятного и важному в моей жизни — приемке того земского участка, где впервые я должен был оказаться на ответственной самостоятельной должности. Момент этот является собственно настоящим началом моей служебной работы.

После получения в Съезде всех необходимых от Губернатора и Губернского Присутствия официальных бумаг о моем утверждении и назначении, условились мы с Михаилом Павловичем Яровым, земским начальником 1-го уч., временно заведовавшим вверенным мне 2-м участком, ехать вместе в с. Новый Буян. Это было 20-го мая 1893 г., и это число мы и решили установить, как срок официального вступления моего в исполнение служебных обязанностей.

От Ставрополя до с. Нового Буяна, места моей будущей резиденции, было около пятидесяти верст, которые обычно проезжали на лошадях в «одну пряжку».

В этот раз Михаил Павлович предложил мне ехать вместе с ним, на его серых, крепких и послушных в руках давнего его лихого кучера Василия «башкирах», увешанных множеством звонких бубенцов.

Захватив с собой лишь легкий багаж и свои портфели, мы уехали в дорожный тарантас Ярового казанской работы. Раздался властный приказ: «Пошел!» — и сразу заголосили на разные лады переливчатые бубенцы с двумя подвязанными под дугой колокольчиками. Лихо вынесли нас привычные лошади на Ставропольскую песчаную гору, прорезали опушку Бора и мерно понесли по великолепной дороге — большому Мелекесскому тракту, вдоль бесконечного, векового, казенного, хвойного леса.

Проехав деревню Васильевку, мы мало-помалу стали отдаляться вглубь степи, покуда не доехали до большого села Узюкова, к которому опять подходила лесная гряды; но то был уже удельный лес, тоже в десятки тысяч десятин, примыкавший межа к меже к Ставропольской казенной лесной даче. Въехав в узюковскую околицу, Яровой пробасил: «Крестись, Саша! Начинается твой участок!» На улице около дворов толпилось много народу — нас видимо ждали. Я был поражен удивительно вежливым к нам отношением встречавшихся по дороге — все почтительно снимали шапки, женщины приветливо кланялись...

Все, что я видел и чувствовал на этом первом пути к предстоявшей мне работе на пользу народа — доставляло мне чувство глубочайшего удовлетворения. Вся окружающая меня природа, в соединении с великолепной весенней погодой, как бы вторили ясной, радостной цели моей будущей жизни и всему моему бодрому самочувствию.

Чудные хвойные леса, насыщавшие смолистым запахом всю нашу дорогу до Узюкова; парное дыхание освободившейся от снегового покрова пахотной земли и тонкий, еле уловимый аромат свежей майской зелени, полевых всходов и межниковых зарослей — все это радостно возбуждало меня и ободряло на будущую работу именно в этом захолустье. В ту же памятную поездку я еще раз осознал себя и одобрил свое решение, мысленно благодаря друга моего Маню Белякову.

Попав в Узюково, я сразу почувствовал себя как бы в родной семье, которую я давно успел полюбить и для которой стоило жить...

Поразила меня также общая картина села — не было видно ни одной соломенной крыши; встречались больше все тесовые, часто попадались крытые железом. По улицам — красовались

крепкие высокие, чистые избы попеременно с каменными домами, и лишь сравнительно небольшая, де—ревянная церковь как-то не соответствовала общему впечатлению зажиточности Узюковского селенья, весьма, повторяю, удивившего меня своим внешним видом по сравнению с скудными селениями северного района Ставропольского уезда.

Объяснение этому надо искать в различных условиях социального прошлого и земельного обеспечения отдельных местностей нашего уезда. В селе Узюкове и ему подобных проживали т.н. государственные и удельные крестьяне, вольные землепашцы, не знавшие гнета крепостного права, в противоположность тем бывшим помещичьим крестьянам, главный контингент которых населял северо-западный район Ставропольского уезда.

Помимо этого, часть его, расположенная к югу от р. Черемшана, по уставным грамотам, была богаче наделена землей, чем северная, и кроме того, в южной части уезда селения были окружены обширными удельными и казенными оброчными статьями отличной пахотной земли, которыми местные крестьяне с избытком пользовались на исключительно льготных арендных условиях.

Чтоб продолжать путь из Узюкова на Буян, нам нужно было свернуть с большой дороги на с. Новое Еремкино и ехать по колеистому, довольно тряскому проселку, отдалявшему нас от сплошного лесного массива. Мало-помалу мы стали терять из виду этот лес, и нам пришлось проезжать по голым крестьянским полям с их обычным трехпольем, встречая то пышные озимые, просящиеся идти в трубку, то ранние яровые всходы, то зазеленевшиеся паровые клинья с пасущимся на них тощим крестьянским скотом типичной т.н. «тасканской» породы, т.е. таскавшей обычно по чужим угодыям...

На восьмой версте, из-под пригорка, вдруг выросла деревянная церковка и мы очутились в Новом Еремкине, небольшом мордовском селении Ново-Буяновской волости, раскинутом на безлесной плешине, сплошь изрытой оврагами, которые из года в год все расширялись и углублялись, особенно после спада внешних вод.

На борьбу с обвалами и песчаными наносами местное земство тратило много средств, засаживая пораженные места особыми породами растений — лохом, вербовником, тамариском и др.¹⁵

- 15 Еремкинские овраги памятни мне по происшествию, случившемуся в одну из зим моего пребывания в Буяне. Как-то в феврале месяце пришлось мне возвращаться из с. Мусорки к себе домой в Буян через Еремкино.

Выехал я поздно вечером, будучи задержан служебными делами в Мусорском волостном правлении. Стояла ветряная погода, превратившаяся к ночи в жестокий буран. Вез меня местный ямщик на паре своих гонных лошадей. Выехав из Мусорки, мы сначала еще различали дорожные вехи, а спустя немного погода стала такая, что, как говорится, зги Божьей не было видать. Мокрый густой снег сплошной пеленой хлопьями залеплял нам глаза и слепил лошадей, привычных к зимним гусевым дорогам. Вскоре мы почувствовали, что сбились с дороги. Ямщик слез с козел, стал ее искать, вернулся и, махнув рукой, заявил, что нечистый запутал; попробовал он было снова тронуть продрогших животных... и тут случилось нечто совершенно непредвиденное: все мы свалились в мягкую снеговую пропасть. Сани накрыли нас обоих, а лошади барахтались рядом. Разобраться куда мы попали не было никакой возможности, кругом стояла непроглядная тьма и завывал беспощадный буран, постепенно превращавшийся в сухой и морозный. Ежеминутно нас заваливало

Из Еремкина дорога шла прямо на с. Новый Буян, до которого оставалось еще верст двенадцать. Сначала ехали мы сплошным пахотным полем, покуда не показалась на горизонте обширная полоса леса... Это виднеется Ушковский лес — пробасил Яровой и стал знакомить меня со всеми слухами, доходившими до него по поводу самих владельцев, их служащих, хозяйства и пр.

Я весь ушел в свое раздумье о предстоявшей работе, я меня тянуло узнать не то, кого я встречу, а скорее то, какая будет там вокруг меня природа. Поэтому я не переставал всматриваться во все то, что встречалось мне на пути к моей будущей резиденции.

Скучное Еремкинское поле с его колеистой разбитой дорогой, наконец, кончилось. Мы стали въезжать в т.н. Ушковскую «Ереминскую» лесную дачу. Потянулся хороший, взрослый, вперемежку с частыми соснами, густой лиственный лес, столь напоминавший мне Малиновский заповедник. День был жаркий, лошади притомились. Кучер Василий пустил их шагом. В

все сильнее и толще огромными снеговыми пластами. Ямщик мой закрылся с головой своим чапаном (верхняя крестьянская одежда) и зловеще затих...

В подобном положении нас обоих, прикрытых санями, занесенных саженным снеговым покровом и оказавшихся на дне Еремкинского оврага, застало ясное солнечное зимнее утро, сменившее бешеную ночную вьюгу.

Еремкинские крестьяне насилиу нашли и откопали нас в окочевшем состоянии, почти уже готовых отойти в зимний вечный сон, который так ярко описан Л.Толстым в его повести «Хозяин и работник».

лесу ощущалась живительная прохлада, и мы решили передохнуть перед конечным этапом нашего пути. Разговор не клеился; седоки, видимо, тоже слегка приустали. Тихо, не спеша, продвигались мы среди лесной чащи, таившей в себе на мой охотничий взгляд немало звериной и птичьей приманки. Выехав на открытую долину, Василий своим кнутовищем указал на начавшийся с правой стороны седой вековой бор и промолвил: «Это, барин, называется Моховой бор — в ём глухаря весной живет до пропасти».

Дальше на нашем пути показалась узенькая лощинка, извивавшаяся змейкой из конца в конец мохового поля и обросшая живописной грядой старой ольхи с ее пересвечивавшейся на солнышке глянцевиной листвой.

Моховое поле замыкалось на взгорье небольшим перелеском, проехав который, мы очутились лицом к лицу с раскрывшимся перед нашими глазами удивительно живописным ландшафтом: на переднем плане показался блестящий ровной зеркальной поверхностью пруд, окаймленный то там, то сям, разбросанными вдоль его берегов нарядными плакучими березами, ивами, хмурыми величавыми дубами и кудрявыми ольхами. Дальше пруд сливался с обширной долиной, вдоль левого края которой виднелось растянувшееся по косогору селение, а с правой, более нагорной стороны, высился красивой архитектуры коричневый с зеленой крышей господский дом, за которым белела церковь... Вся эта панорама завершалась синевшей в самой дали полосой дремучего хвойного леса.

«Вот, дорогой мой! — раздался голос Ярового — и Новый Буян перед нами! Твоя будущая резиденция. Ведь красиво?!» — «Ну-ка, Вася! — обратился он к кучеру — Отдохнули! С Богом! Ходу!» — «Эй вы, соколики — разбойнички, ну-ка тряхнем! —

тотчас же заголосил своим звонким тенорком наш лихой возница»...

Зашумело, зазвенело, и передохнувшие добрые «башкиры» вновь дружно вложились в свои постромки... Мелькнул пруд с плотиной и приютившейся сбоку мельницей. Быстро проехали мы заросшую таловым кустарником низину, по которой извиристо протекала из-под мельничного шлюза быстрая речка. Вскоре показалась околица и, наконец, въехали мы в желанный наш Буян.

Народу на улице столпилось много. Наш троечный бубенцовый перезвон очевидно издавлек еще был слышен, особенно благодаря непрерывному зычному покрику голосистого Василия, для которого лихой проезд по селению и «форсный» подъезд к крыльцу были делом профессионального самолюбия.

Проехав таким образом по растянувшемуся чуть ли не с версту Буяновскому селению, мы очутились около местного волостного правления, расположенного на довольно крутом склоне и представлявшего собой сравнительно ветхое деревянное здание с полинявшей от времени вывеской.

У крыльца собралось все наличное начальство: старшина с писарями, староста, судьи и урядник с сотскими. Мы приостановились, и Михаил Павлович, заметив, что мне до приемки участка пока делать здесь нечего, поздоровался со всеми, не выходя из экипажа и распорядился, чтобы все они явились в камеру земского начальника.

Снова заголосили бубенцы; мы круто повернули в сторону господской усадьбы и переехали с неистовым грохотом по деревянному мосту через пересекавшие путь глубокий овраг и речку, после чего мы очутились перед довольно крутой горой,

на которую добрые кони махом внесли нас под аккомпанемент разудалого гиканья Василия.

Внизу под горой мимо нас промелькнул винокуренный завод, а взобравшись на гору, мы проехали так же стремительно разные службы, главные ворота, через которые на миг показалась господская усадьба, промчались мимо конторы, и под раскатистый кучерской «тпррр» мы лихо остановились у подъезда двухэтажного деревянного флигеля с балкончиком в верхнем этаже. — «Ну вот, дорогой Александр Николаевич, мы и дома — вот твоя квартира — Господи благослови!», радостно воскликнул Михаил Павлович, вылезая из тарантаса. На крыльце встретили нас оба наши письмоводителя и кое-кто из местных служащих.

Чистенькие, уютные комнатки произвели на меня самое благоприятное впечатление, но, когда из столовой мы вышли на балкон, я положительно замер от охватившего меня восторга при виде раскрывшейся перед моими глазами чудесной панорамы... Перед самыми окнами за оврагом виднелась белая каменная, старинной постройки, церковь с расположенными вокруг нее причтовыми домами и поместительными школами: церковно-приходской и земской. За ними, в виде декоративного фона, вырисовывался конец главного порядка села Нового Буяна, упиравшегося в вековой сосновый бор, бесконечной синей лентой уходивший в глубокую даль до границы уезда.

Вдоволь насладившись видом и перекрестясь на высившуюся перед нами церковь, мы с Яровым приступили к очередному делу — приемке мною земского участка.

Проверив дела и отчетность, мы к вечеру кончили все требуемое по закону. Таким образом, с 20 мая 1893 года я принял на себя юридически и фактически всю ответственность и все бремя заведывания вторым участком Ставропольского уезда

Самарской губернии, включавшим в себе четыре огромные волости: Ново-Буяновскую, Мусорскую, Ново-Бинарадскую и Старо-Бинарадскую. Ново-Буяновская волость состояла из нижеследующих населенных мест: села Новый Буян с хуторами, с. Новое Еремкино, деревень: Мошки с хуторами, Николаевки и Сергиевки, Мусорская — из селений Мусорки (волостное правление), Кирилловки, Узюкова и Ташлы; Ново-Бинарадская — Новой Бинарадки (волостное правление), Сухих Авралей, дер.: Михайловки, Новой Хмелевки, Урайкина и Кубань-Озера; Старо-Бинарадская — с. Старой Бинарадки (волостное правление), с. Пискалы и с. Курумыча. Обе последние волости, также как и Новое Еремкино населены были мордвой двух наречий — Мокша и Эрзя (куръез тот, что оба на столь друг от друга разнствовали, что лишь редкие слова были одинакового корня и произношения). Остальные селения, за исключением татарских: Урайкина и Кубань-Озера, были заселены русскими.

Характерной чертой для состава население моего участка являлось то обстоятельство, что крестьяне лишь с. Нового Буяна и дер. Мошек принадлежали к бывшим помещичьим (первые — бывшие кн. Трубецких, вторые — Аверкиевых), все же остальные были бывшие удельные, на много по своим природным и унаследованным качествам выгодно отличаясь от обычного типа бывших помещичьих крепостных, благодаря большей присущей им искренности, доверчивости и той самостоятельной предприимчивости, которые сравнительно легко отвлекали их от рутины и наталкивали на полезные для их сельско-хозяйственного быта новшества. В общей массе все это был народ работающий, трезвый, зажиточный, благодаря исключительным, благоприятным условиям их землепользования.

Само собой — в семье не без урода — существовал и среди них гулящий элемент, доставлявший доuku полицейским властям, но сравнительно весьма незначительный, причем таковой встречался больше в приволжских селениях — как например, в с. Курумыч, расположенном не遠далеке от Царева Кургана и от той гряды Жигулевских гор, которая в свое время служила местом, разгула и разбоя волжского эпического героя Стеньки Разина, причем курумчан мне называли, как прямых потомков разинской молодецкой артели, — на самом деле. — судя по поведению буйных обитателей упомянутого селения, представлявших собою настоящую приволжскую вольницу.

На следующий день после сдачи участка Михаил Павлович меня покинул, предварительно представив мне явившихся в мою канцелярию всех четверых волостных старшин: Ново-Буяновского — Егора Егоровича Мигачева, Мусорского — Ивана Константиновича Зулаева, Ново-Бинарадского — Астафия Семеновича Алексашина и Старо-Бинарадского — Ивана Емельяновича Сидорова.

Средних лет, большого роста, весь могучий, Мигачев, с красивым открытым, приветливо-умным лицом, пользовался всеобщим уважением не только в своей волости, но и далеко за ее пределами, в силу своего природного ума и безупречно честного отношения к исполнению своих обязанностей.

Мусорским старшиной был Иван Константинович Зулаев, крестьянин с. Мусорки, небольшого роста, всей своей неказистой наружностью мало как бы соответствовавшей занимаемому положению старшего лица в волости. Но на деле этот маленький, с взъерошенной бороденкой, невзрачный человек был превосходным старшиной, который пользовался всеобщей любовью и авторитетом. В его волости все прислушивались к тому, что скажет Иван Константинович. И Зулаев, благодаря

своей заботливости и доброму сердцу, несомненно преуспевал в своих трудных служебных обязанностях.

В противовес Зулаеву, Ново-Бинарадский старшина, Астафий Семенович Алексашин, казался по внешним своим качествам наиболее подходящей фигурой для несения своих обязанностей. Огромного роста, кряжистый, с солидным брюшком, подтянутым плотно застегнутой поддевкой, Алексашин особенно импонировал всему окружающему своей огненно-рыжего оттенка лопатообразной бородой, которую он сам, видимо, высоко ценил, холил, при всяком удобном случае бережно расчесывая. Разговор его и вся повадка были строго размеренными и величаво-обстоятельными... Ума Астафий Семенович был невеликого, но зато в разговорах и делах его вырочала природная начальственная солидность... Раз только он сплюшал и смалодушничал, но об этом расскажу после...

Сидоров, Иван Емельянович, был бесцветным, но исполнительным старшиной; служить ему было тяжело среди курумчанской вольницы, но оставаться на видной должности ему хотелось, ибо был он в высшей степени честолюбив.

Первое знакомство мое со всеми этими лицами оставило во мне неизгладимо радостное впечатление. При всей их манере вести себя перед новым своим начальником сдержанно и корректно, я, вместе с тем, почувствовал их искреннее доброжелательство лично ко мне и ко всем высказанным мною служебным соображениям и заданиям.

Такое отношение старшин, в связи с путевыми моими впечатлениями, подтверждало лишь то, что передавал мне отец в Самаре, еще в феврале 1893 года, по поводу вступления моего в состав земских начальников нашего уезда. По дороге из Головкина в Самару отцу не раз приходилось слышать относительно

моего назначение одобрительные отзывы крестьян ставропольцев, приветствовавших меня, Наумова, как своего местного «природного» земского начальника.

23

Столь же теплое к себе отношение я встретил со стороны местных обитателей с. Нового Буяна — моей новой резиденции. Прежде всего, я остановлюсь в своих воспоминаниях на семье Ушковых, крупных местных землевладельцах, которым принадлежало до 13.500 десятин земли с широко раскинутой усадьбой, включавшей и тот флигель, в котором мне была отведена квартира.

Семья Ушковых состояла из отца — Константина Капитоновича и шестерых детей — четырех сыновей: Григория, Алексея, Михаила и Александра, и двух дочерей — Анны и Наталии. Их мать — Марья Григорьевна, долгое время хворала, страдая туберкулезом легких; в силу этого она, а с ней и вся семья, вынуждены были проживать в теплых краях заграницей, в последнее время на острове Мадере, где она и скончалась.

Овдовевший Константин Капитонович с детьми вернулся в Россию, решив на лето поселиться в любимом им Новом Буяне, отличавшемся прекрасным местоположением и здоровым климатом. Вместе с этой семьей понаехало множество гостей, воспитателей, учительниц, гувернанток и прочих домочадцев — одним словом, в Ново-Буяновской усадьбе жизнь закипела всюю. Все это веселилось, устраивало ежедневные верховые кавалькады, оживленные-пикники, катанья на лодке, рыбные ловли, ружейные охоты и пр... Слышались, наряду с родной речью, иностранные языки — французский, немецкий и английский...

Откровенно говоря, я лично никак не ожидал встретить в глухом Заволжье все то, что довелось мне увидеть в Ново-Буяновской усадьбе, и не скрою, что по началу я считал такое многолюдье, до известной степени, себе помехой: это шумное светское общество как бы нарушало созданное мною заранее настроение деловитого одиночества... Но дальнейшее более близкое мое знакомство с этой семьей и редкие личные качества отца — Ушкова не только примирили меня с неожиданным оживленным соседством, но превратили меня со временем в близкого друга милого и душевного Константина Капитоновича, которого я искренно полюбил.

Впоследствии судьба учинила со мною еще большее: через пять лет после моего знакомства с Ушковыми я породнился с ними, женившись на старшей дочери — Анне. Произошла удивительная и чудеснейшая комбинация моих житейских превратностей: сватовство с кузиной Маней Беляковой, вскоре обрвавшееся, коренным образом видоизменило русло всей моей жизни, направив меня в то именно село; где я нашел своё будущее прочное семейное счастье...

Константин Капитонович принадлежал к почтенной семье, издавна известной в Вятской губернии и пользовавшейся всеобщим уважением, наравне с другими старинными родами того же Пермско-Вятского края — Любимовых, Кузнецовых и Стахевых.

С ранней молодости Константин Капитонович был втянут его отцом, Капитоном Яковлевичем, в ответственную работу, исполняя всевозможные его поручения по хлебным и лесным операциям. Женат он был на Марье Григорьевне Кузнецовой, родной внучке большого и видного дельца, Алексея Семеновича Губкина, основателя богатейшего чайного дела и крупного

жертвователя в Прикамском районе на учебно-техническое образование. Благодаря этому Алексей Семенович стал лично известен Государю Александру II, а внучка его, Марья Григорьевна, при своем бракосочетании с Ушковым, удостоилась Высочайшей милости — благословения Императрицы Марии Александровны образом Казанской Божьей Матери; этой же иконой была молитвенно напутствована и моя супруга Анна Костантиновна при выходе ее в замужество.

У Алексея Семеновича Губкина была единственная дочь Анна Алексеевна, выданная замуж за Григория Кирилловича Кузнецова. От этого брака было у них двое детей: упомянутая выше Марья Григорьевна, по мужу Ушкова, и ее брат — Александр Григорьевич, оставшийся холостым и в сравнительно молодых годах скончавшийся в Москве.

К Александру Григорьевичу перешло от его деда все чайное дело, которое он сумел организовать в особое товарищество, известное на всем мировом рынке под наименованием «Торгово-промышленное товарищество Преемники А.С.Губкина А.Г.Кузнецов и Ко».

К глубокому сожалению, я не знал Марьи Григорьевны, скончавшейся в 1891 году на о. Мадере и перевезенной потом в подаренное ей дедом Губкиным имение при с. Рождественно Сызранского уезда Симбирской губ. Равным образом не имел я случая познакомиться с ее братом, Александром Григорьевичем, до его кончины. Могу лишь судить о них по дошедшим до меня слухам.

Больше всего я слышал про покойную мать моей жены от самого Константина Капитоновича, всегда отзывавшегося о ней с чувством благоговения и горячей любви. Отлично образованная, получившая превосходное воспитание в одном из петер-

бургских институтов, Марья Григорьевна была женщиной умной, обладавшей редкими душевными качествами и врожденной чуткостью. Будучи гостеприимной хозяйкой и приятной собеседницей, она умела метким кратким словом всякого наградить по его заслугам.

Ее брат, Александр Григорьевич, по отзывам всех знавших его, был по своим взглядам, убеждениям, свойствам ума и характера настоящим джентльменом, истинным аристократом в лучшем смысле этого слова. Недаром, несмотря на свои тридцать лет с небольшим, имя его в больших коммерческих кругах не только в России, но и за границей, произносилось с особым уважением. Когда, бывало, его яхта «Форос» бросала якорь в Ниццском порту, к нему жаловали на беседы и широкое русское гостеприимство не только именитые представители банковского мира в лице Ротшильдов и др., но и такие высокопоставленные особы, как русские Великие Князья, принц Уэльский, герцоги Мекленбургский, Лейхтенбергский и др.

Вернусь теперь к самому Константину Капитоновичу, которому ко времени нашего с ним первого знакомства было не много более сорока лет. На вид моложавый — он отличался большою живостью, всем интересовался, любил общество, развлечения, охоту, в особенности, рыбную ловлю.

В его густо-очерченных темными ресницами серо-голубых глазах, полных энергии и здоровой любознательности, ясно отражалась вся неизбывная его страсть к жизни. Это был редкий человек по своим душевным качествам, по доброте, отзывчивости и незлобivosti. Вспылив, что с ним нередко случалось, он быстро отходил. Для злого чувства в его сердце не было места.

Преобладающими свойствами его характера были — благожелательная ко всем доверчивость и подчас излишняя мяг-

кость. Подобные качества в деловом отношении не всегда приносили ему пользу и, может быть, благодаря этому в широких московских коммерческих кругах он не считался серьезным дельцом. Да и сам он на это не претендовал, сознавая свои недостатки, чему доказательством, служило, между прочим, его поведение после ухода его главноуправляющего, Оскара Карловича Корста, совпавшего как раз с первым годом моей женитьбы.

Не рассчитывая на собственные силы, с уходом Корста, он возложил на меня все дело управление обширным Ушковским имуществом, на что им и была выдана соответствующая доверенность.

При всем этом, Константин Капитонович пользовался всеобщей любовью за свою приветливость. Простодушный, доверчивый и жизнерадостный, он был глубоко верующим человеком, относившимся к религии и церковной жизни с искренним усердием; он много помогал бедным и больным, немало поспособствовав делу юношеского обучения и воспитания.

К своей семье, осиротевшей после кончины его жены Марии Григорьевны, Константин Капитонович относился заботливо и сердечно. Отвлекаемый обширным знакомством и общественно-благотворительными делами, он окружил своих детей всем необходимым в смысле обеспечения их наилучшего образования и воспитания.

Обе дочери — Анна и Наталия — были неразлучны с отцом, постоянно проживая с ним по зимам в Москве в их богатом и красивом особняке на Рождественском бульваре (б. фон Мекк). К ним приходили лучшие в Москве педагоги, и при них состоял целый штат гувернанток для изучения иностранных языков, под наблюдением старшей воспитательницы. Таковыми были

на моей памяти: баронесса Косподт, А.И. фон Зекк и г-жа Тютчева.

Что же касается воспитания мальчиков, то оно было целиком возложено на Михаила Ивановича Лопаткина, числившегося, если не ошибаюсь, лаборантом при Императорском Казанском университете, так что все сыновья — Григорий, Алексей, Михаил и Александр жили врозь с отцом, будучи устроены при семье Лопаткина, проживавшей постоянно в Казани на собственной даче. Такое устройство детей было подсказано Константину Капитоновичу, тотчас же по возвращении всей семьи из заграницы, его шурином Александром Григорьевичем Кузнецовым, являвшимся авторитетным советчиком и руководителем во всех семейных делах своей сестры.

Лопаткин был рекомендован Александру Григорьевичу бывшим главноуправляющим Ушковых, Пальчиковым, и сумел быстро войти в полное доверие, как самого Кузнецова, так и отца Ушкова. Вследствие этого все четыре мальчика были отданы для их обучения и воспитания всецело в руки Михаила Ивановича, который отказался переехать в Москву и остался у себя в Казани, поместив сыновей Константина Капитоновича в Казанскую первую гимназию.

Всей своей внешностью Михаил Иванович напоминал заурядного русского солидного крестьянина. Под его высоким лбом виднелись небольшие, но умные, не без хитрости и некоторой насмешки, карие глаза.

Крестьянского происхождения, пробившись до университета, но не сумевши добиться профессуры, Лопаткин обзавелся семьей, женившись на казанской помещице — Ольге Павловне Николаи, у брата которой он в свое время репетиторствовал. Ольга Павловна была умной, сердечной женщиной и доброй хозяйкой. Трех старших им удалось довести до университета,

младший же мальчик Александр (Тулинька) двенадцати лет погиб жертвой безжалостной скарлатины.

По мере окончания гимназического курса, молодые Ушковы теряли первоначальную тесную связь с Лопаткинским домом, тем более, что согласно духовному завещанию Александра Григорьевича Кузнецова, все они, в год их совершеннолетия, становились в имущественном отношении не только обеспеченными, но и вовсе богатыми людьми.

23

Вернусь к прерванному повествованию о первом моем Знакомстве с Буяном и его обществом. В красивой обширной деревянной усадьбе, расположенной на возвышенной береговой стороне живописной широкой речной долины, в мае 1893 года, разместилась вся семья Ушковых, с Константином Капитоновичем во главе — все четыре сына с их воспитателем Лопаткиным, и обе дочери.

Милые, симпатичные, веселые и общительные Ушковы сразу завоевали мои симпатии, и в часы досуга я испытывал искреннее удовольствие быть в обществе этой, Господом Богом ниспосланной мне, радушной семьи. Особенно полюбился мне сам Константин Капитонович, редкий по обаятельности человек, простой, веселый сотоварищ по бесчисленным нашим совместным охотам, хозяйственным поездкам и пикникам, в исключительной по своей красоте Ново-Буяновской местности. Несмотря на разницу лет, нас объединяла одна общая страсть к природе, к вольному ее простору, к земле, хозяйству и всему деревенскому быту.

Сколько велось у меня откровенных с ним душевных бесед, с этим удивительно сердечным и отзывчивым человеком.

Вспоминается мне, например, теплая, благоухающая, майская лунная ночь. Трудовой день прошел. Закончено все срочное. Канцелярия закрыта, прислуга отпущена. Задув последнюю лампу в своей квартирке, я вышел на балкон. Деревня спит; кое-где лишь перестукиваются ночные караульщики. Светло, как днем. Месяц, словно огромный небесный фонарь, освещает своим таинственным фосфорическим блеском расстилающуюся передо мной улицу, овраг, а за ним белеющую церковь. Стоишь и млеешь от пряного ночного воздуха, насыщенного спелым запахом оттаявшей земли и издали доносящимся ароматом разогретой за жаркий день лесной Буяновской громады...

Вдруг в ночной тиши послышались шаги. На темном фоне улицы ясно стал выделяться облик одетой в белое человеческой фигуры, остановившейся перед моим флигелем в нерешительности. Догадываясь, я со своего балкона окликаю милого соседа-хозяина... — «Я так и знал, что Вы еще не спите, — слышу в ответ голос Константина Капитоновича: — хотел Вам предложить на часок-другой прокатиться к Николаевскому Бору... Уж больно ночь хороша!» Сказано — сделано! И вот, вдвоем, в шарбане, легкой рысью, а где и шагом, проезжаем мы по чудному сосновому бору, фантастически. как затейливое кружево, разукрашенному под сенью таинственных лунных лучей. Хорошо, красиво было тогда вокруг нас и тепло на душе!..

Вспоминается мне тот же незабвенный Константин Капитонович в иной обстановке и в другое время года: ноябрь. Легкий мороз — градусов 6 — 8. Вдали от всего и всех, в лесной глуши, на опушке слегка заиндеветшего березового молодняка, сижу в наскоро устроенном шалаше... Только что окончилась охота. Из лесу десятков верхачей на нас наганивали тетеревов, доверчиво подсаживавшихся около искусно сделанных и насаженных над нашими головами чучелообразных своих сородичей.

Выстрелы отпугнули на далекое пространство уцелевших пернатых красавцев. Делать в своем прикрытии оставалось нечего... Покинув свое насиженное место и дыша полной грудью свежим ядреным воздухом начавшейся зимы, ступая по мягкому пухлому покрову белоснежной пороши, перехожу через обширную поляну к шалашу Константина Капитоновича и, конечно, застаю его за любимым делом — раскладкой обильной охотничьей закуски, которую обычно заготавливала на дорогу и охоту почтенная экономка Любовь Максимовна, вынынчившая всех молодых Ушковых. Торопиться домой было не к чему, погода стояла великолепная, загонщики-верхахи отпущены, лошади с кучерами расположены тоже в стороне в ожидании сигнала — охотничьего рога. Мы одни, кругом — тишина, чистота девственного снега и до страсти любимая нами обоими красота близкой Божьей природы... И без конца, бывало, велась в подобной обстановке наша непринужденная душевная беседа, касавшаяся всего понемногу, причем само собой и Москву с ее шумным весельем в нашем шалаше не забывали...

Однажды ехали мы с Константином Капитоновичем из Нового Буяна в другое его имение при селе Рождественно Симбирской губ., расположенное против Самары. Переправившись через Волгу около Царевщины, под Царевым Курганом, нам пришлось проезжать вдоль реки симбирским крутым берегом, а дорога была сильно раскатана и выбита огромными ухабами. Ехали мы на Ушковской вороной тройке с знаменитым «Знатым» в корню, сильным жеребцом исключительной выносливости. На козлах сидел малосильный кучер Артемий. Снегу в тот год было много. Зима была ветряная, и буранами на некоторых местах надуло саженные сугробы. На одном из ухабов лошади почему-то рванули, сани подскочили, за ухабом последовал

крутой раскат, за ним — сильный толчок и оба седока, Константин Капитонович и я, выбитые из своих сидений, сразу же окунулись в мерзлую, пушистую снеговую пучину...

Высунувшись из своей неожиданной берлоги, я увидел вдали остановленную тройку с обернувшейся красной заиндеветшей физиономией Артемия. Кое-как выбравшись на дорогу, я не без опаски начал спрашивать: «Где же Константин Капитонович?»

Вследствие силы толчка, крутизны берега и снежных сувоев, ожидать можно было всего... Стали мы звать Ушкова и кричать. Прошло некоторое время, показавшееся нам вечностью, как вдруг в нескольких саженях от дороги, из-под нависших над крутояром таловых ветвей, сплошь заваленных глубочайшим снежным покровом, послышался знакомый голос, весело меня звавший. Бросаюсь не без труда к нему, увязая по пояс в сугробе, добираюсь до тальника и что же вижу? На дне глубокой снежной воронки, образовавшейся от падения бедного Константина Капитоновича, сидит он сам в спокойной, счастливой позе, держа в руках дорожную флягу с коньяком и налитый стаканчик. Весь запорошенный снегом, но все такой же бодрый и веселый, Ушков, увидав меня, радостно воскликнул: «Наконец-то! Шесть аршин три четверти! (обычная его поговорка) — за твоё здоровье я уже выпил — теперь твой черед осушить стаканчик за моё чудесное спасение!»...

Лишь впоследствии, когда судьба свела его с Терезой Валентиновной, урожденной Элукен, по мужу Михайловой, и в 1904 г. состоялся его брак с ней, Константин Капитонович сразу изменился и из года в год терял свою прежнюю бодрость и жизнерадостность. На меня он тогда производил тягостное впечатление угасавшего человека,

Предчувствие мои сбылись. Не прошло и десяти лет, как у ранее молодцеватого и крепкого Константина Капитоновича начались разные недомогания; облик его заметно изменился, и жизнь его навсегда прекратилась в апреле 1918 года. Скончался Константин Капитонович 67 лет, похоронен в Москве в ту пору, когда мы с женой, проживая в Крыму, были совершенно отрезаны от Москвы революционными событиями. Царствие тебе небесное, дорогой, незабвенный Константин Капитонович! Память о тебе остается в наших сердцах на вечные времена!

24

Прежде чем перейти к последующим моим воспоминаниям, остановлюсь на краткой характеристике остальных членов Ушковской семьи.

Старшим сыном Константина Капитоновича был Григорий, с юных лет державший себя по отношению к остальным своим братьям и сестрам несколько властно с явным превосходством. Среднего роста, белокурый, он типом своего лица походил скорее на Кузнецовых.

Григорий был несомненно одаренной натурой, но ранняя материальная обеспеченность и неблагоприятно создававшаяся для развития его самостоятельности житейская сытая и беззаботная обстановка выработали из него человека, склонного к праздной жизни. Еле достигнув совершеннолетия, получив по завещанию дяди Кузнецова на руки крупный капитал (свыше 200.000 р. наличными и около миллиона паями и процентными бумагами), он забросил университетские науки, женился на дочери казанского пивовара Петцольда, выпросив себе у сына-

следников бывшее Шипова имение «Осташево» Московской губернии, с известным конным рысистым заводом чистых Орловских кровей.

С течением времени, под влиянием модных конно-заводческих увлечений, Григорий Ушков стал на дорогу скрещивания орловского рысака с американскими дербистами и наконец надумал перевести Осташевский завод в Крым, в имение Форос; Осташево же он продал Великому Князю Константину Константиновичу. Из этой затеи, кроме худа для рысаков, ничего не вышло.

Григорий Константинович вел жизнь нездоровую, сказывавшуюся на его душевном и физическом состоянии. С первой женой он развелся; женился затем на бывшей артистке Саратовой, с которой тоже вскоре не поладил, и сошелся после нее с венгеркой из хора одного из столичных загородных ресторанов. Детей у него не было.

Революция застала его, когда он жил в Форосе, который он после Осташева взял себе у сонаследников и образовал, совместно с банковской группой Второва, акционерную компанию для эксплуатации этого чудного крымского имение в качестве курорта.

При общей эвакуации в 1920 г. он ранее других успел выехать сначала в Константинополь, а потом в Афины, где мы имели наше последнее с ним свидание ранней весной 1921 г., проездом со всей нашей семьей из Константинополя в Марсель.

Спустя полтора года, живя во Франции, до нас дошла весть о скоропостижной кончине бедного Григория. Во всяком случае память о нем у меня навсегда останется, как о добром и сердеч-

ном человеке... Остальное в его бурной жизни было все преходящее, явившееся в результате неудачно сложившейся для него житейской обстановки.

Вторым по старшинству сыном Константина Капитоновича был Алексей (Леля), по первым моим воспоминаниям о нем, когда ему было еще тринадцать лет — маленький, кругленький, с востреньким носиком и удивительно всегда комичным выражением приветливого лица. Веселый озорник, юркий шалун, выдумщик всяких невинных проказ. Леля, или «Ксешко», был моим любимчиком и, вероятно, это чувствовал.

Много доставалось Леле за его невинные проделки от Михаила Ивановича Лопаткина.

Подрастая, Алексей в общем продолжал оставаться таким же кругленьким, небольшого роста, подвижным, веселым, шутливым человечком. Характером своим он более других походил на своего отца; одного, однако, у него не хватало против родителя, а именно — прошлого делового воспитания, которое на себе испытал Константин Капитонович, будучи с юных лет посылаем своим родителем по разным ответственным торговым поручениям, благодаря чему отец-Ушков знал цену времени, работе и людям.

Алексей, единственный из братьев, окончил курс в Казанском Университете по естественному факультету, и еще будучи студентом, женился на дочери казанского профессора Высоцкого. Брак этот был неудачен. Немало лет супруга его пользовалась мягкосердием и деликатностью своего юного мужа, пока, в конце концов, оба они не пришли к взаимному решению предоставить друг другу полную свободу...

Что с ней стало, я не знаю, а Алексей Константинович нашел утешение во вторичном браке с известной московской балериной — Александрой Михайловной Балашовой.

Казалось бы, что тихий, скромный, созданный для семейной жизни молодой Алексей, с одной стороны, а с другой — Балашова, краса и гордость Императорской Московской балетной труппы — вся огонь, темперамент, целиком преданная служению искусству, — люди столь разные, что об их супружеской общности и житейской брачной солидарности предполагать было невозможно. Между тем, тот и другой, поженившись, продолжают благополучно свою совместную супружескую жизнь.

У Алексея, как и у Григория, детей не было. Революция его застала в Москве, где ему пришлось первые четыре года провести в тяжелых условиях большевистского режима. Спасла их причастность Балашовой к артистическому миру, а также близкая дружба с военным инженером Казиным, состоявшим на службе у советской власти в качестве спеца. Благодаря ему в 1922 году им удалось выехать всем вместе за границу и поселиться в Париже.

Последующим молодым Ушковым, третьим сыном Константина Капитоновича, является Михаил (Мика), также проживавший в Париже со своей семьей. Как сейчас помню его маленьким гимназистиком с каштановыми волосами и большими темно-синими близорукими глазами, оттененными густыми, слегка изогнутыми ресницами. В противоположность своему брату Алексею, Михаил казался юношей спокойным, медлительным и рассудительным. Лопаткин ему предсказывал ученую карьеру. Но все та же беспощадная жизнь, полная всяческого соблазна, отвлекла юного 21-летнего Мику от намеченного пути.

Получив, как и его братья, свою наследственную богатую долю, он оставил университет и тоже, едва достигнув совершеннолетия, женился на казанской барышне, дочери почтенного артиллерийского генерала Орел, высокой, стройной шатенке, оказавшейся прекрасно семьяниной. У них родилось трое детей — сын Владимир и две дочери — Ксения и Мария, воспитывавшиеся дома под непосредственным наблюдением матери.

Высокого роста, худой, немного сутуловатый, с бледным бритым лицом, Михаил Ушков с детства до зрелого своего возраста остался верен себе — таким же спокойно-медлительным и рассудительным.

Любитель сельского хозяйства, охоты, деревенского быта, Михаил Константинович по разделу получил огромное земельное имущество (почти в 42.000 десятин) при с. Рождественном (против Самары), где он ежегодно подолгу жил со всей своей семьей. Помимо этого он был не чужд общественным делам, и в революционный период, при Временном Правительстве, Мика принимал живейшее участие в образовании Союза Землевладельцев. При большевиках ему пришлось многое переиспытать, сначала на Кавказе, а потом с нами в Крыму. Наконец они, еще до нас эвакуировались в Константинополь, затем в Афины, куда он переехал со всей семьей, а напоследок в Париж.

Младший их брат Александр (Туленька) в том возрасте, как я его встретил в 1893 году в Буяне, был белокуренький, маленький, стройненький, хорошенький мальчик, живо всем интересовавшийся, страстно любивший природу и всех ее обитателей, включая всяческих насекомых.

Недолго милому существу пришлось пожить на столь любимом им Божьем свете; двенадцати лет он отдал свою чистую детскую душу Господу Богу, жертвой беспощадной скарлатины.

Барышням Ушковым в год моего знакомства было: старшей Анне — 14 лет, а младшей Наталии — 12. Обе белокурые, среднего роста, сопровождаемые то одной, то другой гувернанткой, они казались мне сначала замкнутыми и мало общительными девочками. Большой живостью, как будто, отличалась вторая — Наташа, скорее походившая овалом и чертами лица на своего отца и брата Туленьку. Старшая же Анна была обычно менее разговорчива и казалась со своими большими синими, оттененными густыми темными ресницами, глазами более вдумчивой и застенчивой. Первое время она мне даже казалась несколько гордой, о чем впоследствии, когда я ее ближе узнал, я вспоминал не без улыбки: настолько моя первоначальная оценка ее характера не соответствовала действительности. Более скромной, простой и прямой в мыслях и обращении, редко можно было найти в человеческом общении, отравленном светскими, т.н. приличиями и условностями.

Обе сестры получили серьезное домашнее образование, не говоря уже об их воспитательной обстановке, на что их отец не жалел никаких средств. Преподавание Закона Божьего, истории, литературы, трех иностранных языков, математики, музыки и пр. велось систематически опытными педагогами и заполняло все зимнее пребывание Ушковых в Москве, конечно, вперемешку с обычными прогулками, катаниями и пр.

Круг знакомых в период прохождения ими образовательного курса был весьма ограничен. Отец за этим строго следил, и лишь впоследствии, когда сестры стали выезжать, Москва радушно приняла на редкость благовоспитанных и миловидных

барышень Ушковых и, благодаря связям их отца и дяди Кузнецова, широко раскрыла перед ними двери лучших домов высшего общества столицы.

Судьба, столкнувшая меня с Ушковской семьей, позволяла следить за постепенным, год за годом, развитием Ушковской молодежи и превращением, в частности, обеих девочек в взрослых барышень. Главное их обаяние для меня, искушенного в прошлом моим столичным знакомством, заключалось в их, если можно так выразиться, девственной простоте, чистоте, искренности и скромности.

Особенное мое внимание все более и более приковывала к себе старшая сестра — Анна, превратившаяся в стройную девушку с прекрасными густыми белокурыми косами с слегка золотистым оттенком и удивительно ясными большими синими глазами, в которых выражались ум, наблюдательность, а главное — бесконечная ласка и доброта. Ниже в своих воспоминаниях я уделю особое место для того, чтобы отметить то конечное событие, огромное для всей моей дальнейшей жизни, которое явилось результатом нашего знакомства с Анной Константиновной Ушковой, превратившейся с 1898 г. в мою верную, вот уже тридцатилетнюю, всем моим умом и сердцем любимую подругу моей сложной, нелегкой жизни.

Ея сестра — Наталия, оставшаяся после нашей свадьбы одинокой, отдалась еще усерднее изучению особенно интересовавших ее научных отраслей. При ней безотлучно находилась, в качестве наставницы, дочь известного московского педагога и директора основанной им гимназии — Екатерина Францевна Крейман, старая дева, высокая, худая, некрасивая, но умная и слегка экзальтированная особа. С нею Наташа ездила путешествовать за границу и прожила целую зиму в Париже, слушая вновь открытые там высшие курсы, на которых, среди других,

читал лекции перед увлеченной молодежью известный профессор Максим Максимович Ковалевский, впоследствии мой коллега по Государственному Совету. Несомненно, этот период парижского пребывания наложил некоторый отпечаток на общий уклад мыслей и взглядов Наталии Константиновны.

К этому же времени надо отнести ее увлечение серьезной музыкой, сопровождавшееся частыми посещениями наиболее интересных концертов. На одном из них произошло у нее знакомство с Сергеем Александровичем Кусевицким, за которого она впоследствии вышла замуж, и который своей талантливой игрой и исключительными музыкальными способностями быстро завоевал себе заслуженную славу выдающегося солиста и затем известного дирижера.

Среднего роста, полная светлая блондинка с небольшими вдумчивыми голубыми глазами и тонким с заметной горбинкой носом, Наталия Константиновна, благодаря своему природному уму и унаследованной деловой сметливости, оказывала своему мужу помощь не только в домашнем его обиходе; она также содействовала Сергею Александровичу в достижении им музыкальной карьеры, помогая вести все деловые переговоры, переписку, устраивая приемы и налаживая всю коммерческую сторону различных антреприз. Поддерживая своей тактичной обходительностью сложные сношение своего мужа со всем многочисленным представительством музыкального мира, Наталия Константиновна была радушной хозяйкой у себя дома и нарядно-привлекательной гостьей с типом средневековой маркизы на званых вечерах или многолюдных парадных концертах. Я уже не говорю о той большой, чисто-денежной первоначальной поддержке, которую она оказывала своему талантливому супругу для достижения им намеченной профессиональной карьеры. Ныне имя Сергея Кусевицкого достигло апогея

своей славы и мировой известности, но думаю, и он сам, вероятно, отдает должное своей незаурядной супруге, по праву разделяющей его заслуженный успех.

Построенная еще бывшим владельцем Ново-Буяновского имения, князем Иваном Петровичем Трубецким, господская усадьба, в которой проживала семья Ушковых, представляла собой большой двухэтажный дом со всевозможными в архитектурном отношении мастерски пристроенными поместительными крыльями-флигелями и красиво выведенным под русский стиль мезонином. Середину дома в нижнем этаже занимала обширная зала — сквозная, с выходом на широкую террасу в сад и живописным видом на новобуяновский деревенский пейзаж и окружавшие со всех сторон усадьбу лесные уголья. Внизу, под домом, расстилалась глубокая долина с прудом и всевозможными хозяйственными службами и постройками, в том числе, зданием винокуренного завода.

С противоположной стороны к господскому дому примыкал широкий палисадник с густыми зарослями сирени и подъездной круговой дорожкой, подходившей к стеклянному, красиво выстроенному главному крыльцу. Далее, за палисадником, на обширном ровном пространстве усадебной земли, был разбросан ряд служебных построек: контора с квартирами для служащих, аптека, при которой жил фельдшер со своей семьей, а дальше шли выездные конюшни и все то, что при них полагается.

Самой отдаленной постройкой в описываемой мною части усадьбы, почти на самой границе господской и крестьянской земли, был тот двухэтажный флигель, в котором мне была предоставлена квартира, и в нижнем этаже которого отведено было особое помещение под мою канцелярию.

Само имение заключало в себе земли около 13.500 десятин, из них приблизительно до двух третей общего пространства находилось под разным видом лесных насаждений, а остальная часть состояла из земельных угодий. Ввиду чересполосицы, приходилось иметь в целях удобства управления, в нескольких местах особые хутора и несколько лесных сторожек.

На одном из таких хуторов, верстах в пяти от главной усадьбы, проживал родной брат Константина Капитоновича Иван Капитонович Ушков или дядя Ваня, как величали его молодые Ушковы.

В то время у Константина Капитоновича было трое братьев: старший Петр, постоянно проживавший в Москве со всей своей семьей и стоявший во главе большого торгово-промышленного химического производства на р. Каме; затем Яков Капитонович, живший в Казани и, наконец, младший — Иван, которому было Константином Капитоновичем предложено поселиться на постоянное жительство у него в имении, и предоставлен был Михайловский хутор, отличный деревянный одноэтажный поместительный дом-особняк, живописно расположенный на опушке обширной лесной дачи, именовавшейся «Студеным долом».

Петр Капитонович Ушков, высокий, мощный, с сильной проседью красивый брюнет чисто русского склада и облика, обладал недюжинным умом, выдающейся работоспособностью и железной энергией. Это был человек исключительно деловой. Вся его манера жить и действовать характеризовалась его любимой поговоркой: Слова — от черта, цифры от Бога.

Получив в свои руки отцовское химическое дело, Петр Капитонович сумел его расширить и настолько прочно поставить,

что об его заводах знал весь промышленный мир страны, включительно до Военного Министерства. Оба основные его завода расположены были на р. Каме (Кокшанский и Бондюжский).

Скончался он скоропостижно, сравнительно не в старых годах, в Москве, оставив после себя вдову, урожденную Любимову, сестру известных казанских пароходовладельцев, замужних дочерей, породнившихся с представителями старинных московских торгово-промышленных семей (Барановых, Прохоровых и др.), и единственного сына Ивана, окончившего Московский Технический Институт и унаследовавшего дело и место своего отца.

Похожий во многих отношениях на своего энергичного родителя, Иван Петрович не обладал основным его свойством — настойчивой работоспособностью. Горячность и риск — вот что главным образом руководило нервным, излишне темпераментным и молодым Директором-Распорядителем. Родной дядя его Константин Капитонович тоже влияние на него иметь не мог. Дело пошло не по верному руслу, и пришлось его ликвидировать тем более, что молодой Иван Ушков захворал неизлечимой болезнью, от которой и скончался в Швейцарии.

Таким неожиданным образом оборвалась старшая мужская линия Ушковых, а с ней погасло и знаменитое в свое время Ушковское химическое дело, перейдя в посторонние руки.

Вторым по старшинству после Петра братом Константина Капитоновича был Яков, женатый на казанской горожанке Куракиной. У него было многочисленное семейство, состоявшее из четырех симпатичных дочерей и одного сына. Яков Капитонович являлся полной противоположностью своему старшему брату. Простодушный, добрейший, любивший немного подвыпить, подзакусить, поиграть в карточки и на бильярде он

обычно ограничивался своим домашним семейным кругом, где главенствовала его энергичная толковая супруга.

Какой-либо деловитости милейший Яков Капитонович проявить при всем своем желании никак не умел. Все любили его, как милого и доброго человека.

Жил дядя Яша обычно со всей семьей в Казани, в доме своей жены, причем часто гостил по летам в имении Рождественно, у брата Константина, со своими дочками, подругами Анны и Наталии. В Казани Яков Капитонович тихо скончался, а дочери все повышли замуж. За время революции мы потеряли всякий их след.

Младшим братом Константина Капитоновича был тот самый дядя Ваня, о котором я выше упоминал, как о постоянном обитателе Михайловского хутора в Ново-Буяновской экономии.

В молодости Иван Капитонович рос неудачником, приобретя пагубную страсть к вину, под влиянием которой временами впадал в состояние полной невменяемости. При мне был случай, когда во время происшедшего поздно вечером на селе пожара, к месту несчастья вдруг подъезжает на дрожках Иван Капитонович, останавливается, слезает и со всех ног бросается к пылающему воротному столбу, намереваясь его обнять. Ему, находившемуся в периоде запоя, показалось, что горел не столб, а человек, пылавший в огне и звавший его к себе на помощь, да еще махавший ему при этом своими огненными руками — вот почему Иван Капитонович и бросился спасать этого несчастного... Еле удалось спасти его, совершенно обгоревшего и долгое время после этого находившегося между жизнью и смертью.

В общем, тяжкие периоды его болезни случались сравнительно редко; в остальное же время Иван Капитонович был совершенно нормальным человеком, страстно любившим природу, хозяйство и в особенности охоту, которой он предавался со всем пылом истого знатока и любителя. В этом отношении для его жизни лучшего места, как Михайловский хутор, трудно было выдумать. Весной, бывало, заслушаешься, сидя у него на терраске, гоном тетеревиных токовищ. Стоило отойти на сотню шагов от его хутора, как со всех сторон раздавались страстные чufыканья ищущих своих подруг красавцев-косачей. Не раз приходилось той же весной выпускать заряды, стоя почти рядом с его усадьбой, в хорькавших над лесной опушкой благородных вальдшнепов. В летнее время тетеревиные выводки попадались тоже рядом, а осенью охота на зверя — главным образом на волков, была такой, что не всякий этому поверит. Случались, например, такие эпизоды: как-то в один из сентябрьских чудных дней, т.н. бабьего лета, сидя у себя в канцелярии около трех часов пополудни, получаю я краткую записку от Ивана Капитоновича: «Немедленно приезжайте вместе с Ваньчо. Захватите картечь. Волчий выводок.» Через полчаса мы катили к нему на хутор вместе с Ваньчо — такое прозвище носил местный фельдшер Ушковской экономии, чрезвычайно популярный по всей округе целитель всяческих недугов и болезней — милейший Иван Петрович Лопатин, сосед мой по усадьбе и постоянный соохотник за все четыре года моего Буяновского проживания. Иван Капитонович недаром нас к себе торопил и, как оказалось, не попусту нас к себе зазывал.

Стояла дивная осенняя пора. На Михайловском поле шла спешная уборка картофеля многими десятками баб, нанятых из Буяна и Михайловки. После полудня, на их глазах, по одной из

полевых меж, неторопливым махом прошел целый волчий выводок по направлению к Курносым Зимовьям. Верховой объездчик, приставленный к работавшим поденщицам, тотчас же поскакал к Ивану Капитоновичу и сообщил о виденном; тот, в свою очередь, послал верхача за нами. Приехавши и узнавши в чем дело, мы условились немедленно перехватить узенький перешеек — ерик, а затем приказали объездчику, ввиду окончания поденщицами урочной работы, попросить некоторых баб, числом до 50, подойти со стороны поля к Курносому Зимовью и громко запеть какую-либо песню. Наш расчет был таков: успеть предварительно перехватить единственный лаз для возвращавшегося на ночлег в Студеный Дол волчьего выводка, а с другой стороны — вспугнуть его путем визгливых бабьих голосов. Удался нам этот план, как нельзя лучше. Не успели мы занять свои места, как вскоре невдалеке заголосили приглашенные нами гастролерши-загонщицы, и волки, один за другим, шарахнулись мимо нас... Раздалась горячая пальба. В течение каких-либо десяти минут из одиннадцатиголового выводка взято было нами 7 штук. Остальные прорвались... Вся охота, считая со времени получения мною записки Ивана Капитоновича, заняла не более двух часов.

Были и другие случаи таких же внезапных охотничьих наших совместных выступлений и все больше по близости от памятного для меня хутора Ивана Капитоновича. Невдалеке от самого дома имелся у опушки полуразвалившийся сарай, запущенный и заброшенный. Около него Иван Капитонович несколько ночей подряд выкладывал куски лошадиного мяса. Когда в конце концов ясно стали обозначаться волчьи следы около падали, мне дано было знать, и я приехал к Ивану Капитоновичу на ночлег, пользуясь установившейся превосходной ясной по-

годой. Вечером мы с хозяином забрались в защитный угол старого сарая и стали ожидать прихода привадившихся за последнее время к приманке серых гостей. Трудно выразить на бумаге все то, что ощущает охотник при подобной обстановке. Одно лишь скажу, что городскому и южному жителю не понять всей красоты и гипнотизирующей властности фосфорически яркого света зимнего полнолуния на нашей многоснеговой северной и приволжской матушке-Руси! В наши зимние, морозные, тихие и ясные, как день, лунные ночи все замирает и становится как бы подвластным таинственно-манящему к себе чудному небесному светилу, во всю свою ничем не сдерживаемую мощь простирающему свою яркую власть над сверкающим мириадами алмазных искр пышным снеговым покровом.

Сидишь в затененном от лунного света углу полу-развалившегося сарая, и перед глазами переливает своим ровным синеватым светом снеговой саван расстилающейся дали, обрамленной в своих конечных очертаниях темной лентой лесных зарослей... И вот, вдруг, около них показались на белесоватом фоне полевого пространства несколько темных точек, медленно и неровно приближавшихся к нашему сараю. Несомненно, то были желанные наши гости. Заколотившееся сердце сильно давало себя знать под меховым покровом охотничьего полушубка, и знакомая для всякого охотника нервная внутренняя дрожь заставляла невольно еще больше ежиться на морозном воздухе... Но надо было сидеть смирно. Малейшее неосторожное движение могло выдать нашу засаду... Точки тем временем все приближались.. Можно было даже подсчитать их число — пять... Мы взвели без шума курки — тихо поднимаем стволы ружей... Ждем подхода серых к месту свалки привады, но звери, видимо, что-то учуяли, осторожно остановившись вдали от нее. Лишь один из них, видимо самый смелый, а может

быть более голодный, стал подходить к падали и в конце концов принялся за свою жратву. Я приложил мерзлую щеку к холодному прикладу и стал целиться, лишь только тогда заметив расплывчатость лунного света. Ружейная мушка осталась невидимой, в силу чего стволы направлялись лишь по догадке на темную массу, находившуюся перед глазами и образовавшуюся из лошадиного трупа и раздирающего его серого хищника. Раздался гулко выстрел. Зверь опрометью принялся махать от нас, направляясь с остальными в свою лесную даль. Охота была кончена. На утро лишь следы яркой крови на белом снежном покрове говорили о ранении ночного визитера.

Окруженный целым сонмом всяческих домашних животных, дядя Ваня особенное пристрастие имел к разным пернатым друзьям. Любимцем его был скворец, который отлично выговаривал: здравствуйте, Иван Капитонович, болтали также у него говоруны-попугаи и, наконец, в особой клетке проживала довольно оригинальная для домашнего обихода птица — самая обыкновенная галка, с которой в минуты вдохновения Иван Капитонович нежно объяснялся. В общем, его комнатная обстановка оказывалась лишь отражением его доброй натуры и страстного влечения к природе со всей ее живностью. Мне это было по душе и я любил навещать Ивана Капитоновича, с которым у нас велись нескончаемые беседы про охоту и обо всем, что с ней так или иначе тесно связано.

Бедный дядя Ваня, которого, кстати сказать, детки Ушковы очень любили за его добрый нрав и охотничью природу, после описанного мною выше случая с пожаром сильно ослабел, и вскоре от воспаления легких скончался.

В первый же свой приезд в с. Новый Буян я застал среди Ушковской семьи их главноуправляющего, Оскара Карловича

Корста, заведовавшего обоими именными наследников покойной Марьи Григорьевны Ушковой. Имений этих было два — одно при с. Рождественном, бывшее Левашевой, и расположенное против г. Самары, а другое, описываемое мною, при с. Новом Буяне, в 13.500 десятин, находившееся от Самары в 75 верстах, а от Волги — в 24-х.

Корст имел в своем непосредственном заведывании сложное хозяйство Рождественской Ушковской экономии, заключавшее в себе обширные посевы, огромное лесное дело с широко поставленной дровяной торговлей и только что выстроенный им и оборудованный по всем правилам новейших технических требований винокуренный и ратификационный заводы с выкуркой до 200.000 ведер, каменоломни и пр. Вместе с тем, Оскар Карлович руководил хозяйством и Ново-Буяновской экономии, непосредственным управляющим которой был Илья Егорович Чирков. Масштаб последней экономии был несомненно ограниченнее Рождественской, тем не менее дело было само по себе тоже не малое, как в отношении полевого хозяйства, так и в смысле лесной эксплуатации. В Буяне, между прочим, существовал издавна винокуренный завод на такое же, как в Рождественном, количество выкурки спирта, кроме этого имелся там же конный завод и велось племенное стадо.

Сравнительно еще молодой человек, воспитанник Петровско-Разумовской Академии, Оскар Карлович обладал выдающимися хозяйственными и административными способностями. Скорее высокого, чем среднего роста, широко-плечий, сильно сложенный, немного сутуловатый, краснощекий красивый брюнет, Корст всюду и везде как-то выделялся среди людей и толпы. Особенно запечатлелись в моей памяти его небольшие карие, удивительно живые глаза. И на самом деле ничего, бы-

вало, не ускользало от их взора — это все знали и с этим считались. Оскар Карлович был весь — работа и энергия. Того же требовал он и от других.

Вне службы Оскар Карлович был веселый добрый малый, шутник и интересный собеседник. Константин Капитонович Ушков его очень любил и высоко ценил; тем же отплачивал ему и Корст, но спустя лет шесть после нашего с ним знакомства, он не выдержал возмутительного к нему отношения старшего из сыновей Константина Капитоновича, Григория, только что женившегося на девице Петцольд, которая совместно с Михаилом Ивановичем Лопаткиным, сумела так настроить своего невоздержанного супруга против честного и дельного Корста, что разлад между ними принял непримиримый характер.

Оскар Карлович, несмотря на горячую просьбу Константина Капитоновича и всех нас, его почитавших, от дела отошел совершенно, расстроенный и до глубины своего благородного сердца возмущенный взведенной на него клеветой. Впоследствии он перенес острую нервную болезнь и вскоре отошел в вечность.

После ухода Корста, Константин Капитонович поручил мне (это было в 1898 г.) разобраться в оставшихся управленских делах и временно заменить Корста, на что и дана была им мне полная доверенность, которую я в то время, несмотря на трудность для меня, все же принял, исключительно из-за любви к моему тестю и желания ему в тяжелую для него минуту всемерно помочь. Тщательное ознакомление со всем отчетным материалом, оставшимся после Оскара Карловича, и личный опрос всех бывших сотрудников дали мне возможность и обязанность сказать всей семье Ушковых про Корста, что это был честный чистый человек и добросовестный работник. Мир праху его!

Непосредственным управляющим Ново-Буяновской экономики был Илья Егорович Чирков, получивший агро-номическую подготовку в среднем сельскохозяйственном училище. В хозяйском деле, Илья Егорович был несомненно хорошим работником и полезным для Корста сотрудником.

В господском доме Чирков со своей семьей занимал особое отделение, состоявшее из ряда комфортабельных комнат. У него было трое человек детей, супруга же его именовалась Людмилой Николаевной. На своего Ильюшу она смотрела как на нечто судьбой ей ниспосланное, как на что-то житейски должное и весьма прозаическое.

Иван Петрович Лопатин для своих лет обладал еще бодрым и хорошо сохранившимся организмом. Имея лишь фельдшерский диплом, но будучи настоящим врачом по общему признанию, Лопатин с утра до вечера жил среди приемов и забот, имея в округе обширную медицинскую практику и распространяя свои профессиональные услуги далеко за пределы обслуживающие им лишь экономического персонала в Новом Буяне.

Глушь его не заедала, в нем чувствовалась всегда живая, не омертвевшая человеческая душа... При всем том милый наш Ваньчо одержим был непреодолимо страстью к двум спортам — карточной игре и охоте, в обоих случаях проявляя исключительную свою темпераментность.

В мое время в Буяне карты играли первенствующую роль забавы и отдыха для его обитателей. Преферанс, а главное винт редкую неделю не объединяли всех нас то у одного, то у другого из жительствовавших в благословенной Буяновской глуши. Приходилось и мне волей-неволей участвовать в этом сидячем спорте, к которому, откровенно говоря, пристрастия у меня никогда не было, но все же не без удовольствия проводил я время среди общества удивительно милых и приятных партнеров, из

которых Иван Петрович был несомненно одним из главных персонажей. Все ж надо отдать справедливость, что большее влечение он имел к другому спорту — охоте, являясь удивительным знатоком всего птичьего и звериного быта. Ваньчо словно чувствовал, как и где найти ту или другую дичь, как подойти к ней и как ее взять.

28

Наибольшей популярностью среди Ново-Буяновского общества пользовался местный настоятель церкви о. Михаил Никанорович Болотов. Воспитанник Тверской семинарии, о. Михаил задолго до нашего знакомства появился в Самарской Епархии и священствовал в Ново-Буяновской церкви, успев заслужить всеобщее уважение и любовь своих прихожан.

Скромный, непритязательный, правдивый и душевный, ласковой простотой своего обхождения, о. Болотов неотразимо привлекал к себе сердца всех соприкасавшихся с ним, являясь как бы прямым олицетворением истинной христианской любви к ближнему; свойства эти были присущи батюшке Болотову не по принятому на себя сану иерея, но проявлялись, как природные черты его прекрасной человеческой и христианской души и натуры.

Не забуду впечатление моей первой с ним встречи в Новом Буяне, когда он, поздоровавшись, задержал мою руку и, близко в меня всматриваясь своими карими, умными и добрыми глазами, веселым голосом промолвил: Ну, вот, Александр Николаевич, поживите-ка с нами деревенскими, да с Божьей здешней прекрасной природой, отдохните душой и телом от Вашей Москвы и хорошо вам будет! Сказано это было так просто и,

вместе с тем, так ласково-задушевно, что на сердце у меня сделалось сразу удивительно хорошо и тепло — словно с этими немудрыми словами на меня в самом деле сошла та частица Божьей благодати, которая испрашивается верующим, когда он подходит под благословение своего духовного пастыря.

Внешне Михаил Никанорович не только не старался держать себя по-священнически благочинно, но вел себя совершенно просто, обыденно, позволяя себе в сообществе, местных добрых знакомых, своих же прихожан, проводить часы отдыха одинаково с другими: не прочь он был и подзакусить, и выпить рюмку — другую доброй деревенской настойки, и попеть вместе с хором, и в картишки поиграть, и даже покурить. При этом батя в дни нашего первого знакомства мне как-то, нисколько не рисуясь, сказал: Вот видите! Какой я священник?! — и в карты играю, и пью, и курю... не следовало бы это мне все делать при моей иерейской рясе!... Но в этом он глубоко ошибался: о. Михаил был именно природным служителем Христа и Его заповедей, как бы он ни уверял о своем несоответствии и сколько бы он ни позволял себе некоторого рода отступлений от профессиональных запретов. Могу лишь сказать, что такой проникновенной исповеди и такого воистину неземного исповедника я никогда более в своей жизни не встречал.

Сама внешность о. Болотова удивительно соответствовала занимаемой им святительской должности. Среднего роста, худой, темный шатен, о. Михаил имел смугловатое лицо, с которого можно было бы свободно лепить или срисовывать классически-художественный облик самого Христа Спасителя.

Батя был женат и имел многочисленное семейство. На четвертом году моей службы в Буяне я попал даже в крестные одной из его дочек. Супруга его, Раиса Ивановна, была родом из местной духовной семьи. Белокурая, высокая, плоско-худая,

своим характером матушка являлась полной противоположностью о. Михаилу, будучи особой чересчур земной, своенравной и не без хитрости. Не мало доставалось милому Бате именно за его ничем неисправимую житейскую простоту и светскую общительность...

Соберется, бывало, Михаил Никанорович вечером к соседу повинтить, а матушка запретит, да еще сапоги спрячет.

Хуже всего обстоял для завистливой и беспокойной Раисы Ивановны вопрос визитный в большие праздничные дни — Рождества Христова, Пасхи или на Новый Год. Две дамы проживали в богоспасаемом Буяне, претендовавшие на высшее свое положение среди прочего местного женского общества и оспаривавшие между собою эту позицию до... смешного.. Дом управляющего (собственно господская усадьба) отделялся от церкви и близ расположенного от нее священнического флигеля глубоким оврагом, заканчивавшимся как раз перед моим обиталищем. Наскучившись друг друга ждать с первым визитом, обе гранд-дамы Буяновского высшего общества, выходили, под видом прогулки, каждая на свою сторону оврага и, как бы невзначай, сходились у конца его, где и происходили взаимные приветствия, церемонные поцелуи, поздравление и сговоры, кто, где, у кого соберется в гости... Этим обычно благополучно разрешались первоначальные дипломатические недоразумения Буяновских великосветских соперниц.

Илья Егорович Чирков, Иван Петрович Лопатин, Батя о. Михаил, иногда и Иван Капитонович — вот те Буяновские жители, с которыми я чаще всего виделся и проводил часы досуга, особенно в длинные зимние вечера, беседуя, играя в карты или сидя за общей трапезой из забористых домашних настоек и вкусных деревенских яств. Нередко устраивали мы, собравшись, импровизированные любительские концерты, в которых

я исполнял роль аккомпаниатора, а все вместе составляли хор, подчас складный.

Наши собрание носили всегда самый задушевный характер и служили в нашей благословенной Буяновской глуши действительно для всех нас, местных работников, живительным отдыхом.

Помимо перечисленных лиц, в Ушковской экономии имелся многочисленный штат служащих — помощник управляющего — П.Дм.Хмельков, бухгалтер Г.В.Богданов, лесничий и др.

Значительную и типичную во всех отношениях фигуру представлял собой некий Евгений Яковлевич Титов, доверенный богатого Самарского купца Н.Ф.Дунаева, заведовавший, арендуемым его доверителем у Ушковых, в Новом Буяне винокурным заводом. Жил он в особом поместительном флигеле внизу под горой, недалеко от центра села, совершенно одиноко, будучи старым холостяком. Евгений Яковлевич (Явлентий Яковлевич, как звало его простонародье.) был человек умный, сообразительный и хозяйственный. Дело свое он знал превосходно и пользовался у своего хозяина исключительным доверием, жил особняком, нигде не показываясь, но вместе с тем, любил принимать у себя гостей, отличаясь таким радушием и хлебосольством, что невольно вспоминалась известная басня дедушки Крылова!

Рядом с Титовым, в том же флигеле была квартира для винокура, которым был в то время Аполлон Николаевич Матвеев, почтенный человек преклонных лет, европейски-образованный, с университетским стажем, когда-то за крайние свои политические убеждения подвергшийся кратковременной уголовной каре и проживший затем некоторое время за границей.

В общем, о нем у меня осталось впечатление чего-то скрытного, недосказанного, и беседы наши с ним как-то не клеились.

Проживали в Буяне в квартире, особо отводимой в господской усадьбе, также и чины акцизного ведомства, т. наз. контролеры. Вспоминается мне из них один — молодой, принадлежавший к старинной помещицкой семье Симбирской губернии — кн. М.В.Волконский, маленький, черненький, скуластый, с заросшей почти сплошь волосатой головой, с длинными руками и огромными ладонями, он обладал, особенно в своих длиннейших пальцах, исключительной силой.

По свойству своего характера он был, что называется «разудалым малым»; был он всегда весел, беспечен; отлично играл на гитаре и ухарски напевал цыганские или просто «жестокые» романсы. Помнится мне его излюбленная песенка, начинавшаяся словами: — «Уж и Маша хороша, что за чудная душа! Шьет, манеры тонки, что, брат, за глазенки!» Приятный тenor, картавый голосок, залихватский с переборами аккомпанемент — все вместе взятое заставляло забывать его неприглядную внешность: Буяновские дамы млели, а кавалеры с особым чувством вкушали еще по единой под забористую княжескую музыку.

Был он также страстным охотником и не раз сопровождал меня в моих охотничьих поездках, а главное, при частых хождениях моих на лыжах по февральскому и мартовскому насту. Надо отдать ему справедливость: ходок он был неутомимый, и много мы с ним излыжничали по Буяновским лесам и оврагам в поисках зверя или засевших под сугробы в свои искусные лунки глухарей и тетеревей.

Пробыл разудалый князь в Буяновских местах не более года. Провожая его, мы искренно жалели об его уходе.

Прежде чем перейти к воспоминаниям о моей четырехлетней службе в Буяне земским начальником, опишу в нескольких словах то, что представляло собой мой собственный угол — помещение, прислугу, канцелярию и т. п.

Для меня, молодого, холостого и здорового человека, отвещенное мне во флигеле помещение было более чем подходящее и во всех отношениях удобное.. Но в зимнюю стужу, особенно во время буранов, сильно натопленная к ночи, моя квартира под утро обычно превращалась в ледниковое обиталище, и нередко случалось, что вода в умывальнике, находившемся в моей спальне, затягивалась слоем, правда, тонким, — но все же настоящего льда. Вскоре удалось мне постичь причины подобного непостоянства комнатной температуры. Пришло мне как-то в голову переместить прибитую на стене моего кабинета вешалку, представлявшую собой лосиный рог. Выдернув железный шпиль, на котором означенный рог держался, я к немалому своему изумлению очутился перед сквозной дырой, образовавшейся в стене на месте изъятого из нее толстого гвоздя. Оказалось, что обитаемый мною флигель сложен был не из цельных бревен, а лишь из половинчатых лесин.

Несмотря на все эти недостатки, я все же был доволен своими маленькими, уютными по виду комнатками и, в особенности, выходящим из крошечной столовой балкончиком, на котором я любил подолгу просиживать. Обстановку я имел самую холостяцкую и лишь самую необходимую. Кое что мне прислали из Головкина (особенно я ценил отцовскую оттоманку, на которой у меня переночевало не мало моих уездных друзей и знакомых), кое-какие вещи я приобрел по случаю в Ставрополе.

Единственным предметом роскоши в моей квартирной обстановке было взятое мною в Самане на прокат пианино, на котором в свободные вечера я играл, как умел, свои любимые музыкальные вещи, главным образом, оперы: Глинки, Даргомыжского, Чайковского, Рубинштейна, Гуно, Верди, Мейербера и др. Скрипку я давно забросил, петь перестал и голос свой приходилось расходовать с утра до вечера лишь на служебные разговоры да разные публичные выступления, больше на многолюдных сельских сходах; на рояле же я хотя не учился, но мало-помалу сам напрактиковался, когда случалось, еще в Москве, себе или другим аккомпанировать. Перебирая страницу за страницей, обходя трудные пассажи, лишь так, чтобы нить мелодии не терять, я таким образом пробегал по вечерам целые оперы, освежая в памяти все ранее в Москве мною слышанное в превосходном исполнении на Императорской сцене. Благодаря этому много того благотворного и возвышенного, что дает человеческому духовному нутру музыка, удалось мне сохранить и в той глуши, в которую судьбе угодно было меня забросить.

Надо сознаться, что несмотря на обилие живого и интересного служебного дела, на исключительно-благоприятную житейскую обстановку в смысле красоты окружающей природы, превосходных охотничьих условий и милого соседства, перемещение из Москвы в глухую деревню, далекую даже от своего родного угла, явилось крутым для всей моей молодой жизни поворотом, несомненно лишившим меня многого, к чему я стал органически в столице привыкать, особенно в области удовлетворение музыкальных потребностей.

Случались моменты, когда, проживая на острове на Буяне, я ловил себя на тоскливом сознании одиночества и оторванности от всего духовно-культурного мира. Временами ощущалась непреодолимая потребность перенестись, хотя бы мысленно, в

музыкальную Москву, в ее столь памятные для меня оперные или концертные залы... Сядешь, бывало, в таком удрученном настроении за свой инструмент, развернешь первую попавшуюся под руку оперу, и невольно всем своим существом перенесешься в иной облагораживающий мир чарующих мелодий. В подобном занятии своего досуга я вновь обретал необходимую мне бодрость духа и то отвлечение, которое меня спасало от иного средства забытья, столь опасного, а подчас даже фатального для одинокого обитателя деревенской глуши...

Вот этот инструмент — это скромное небольшое пианино и было единственной мебелью моего зальца, если не считать расставленных вдоль белых, известью вымазанных стен шести венских стульев.

После кратковременного пребывания у меня старого повара Терентьича, скомпрометировавшего себя при приезде Епископа Гурия в деревню Новую Хмелевку, все остальное время в качестве единственной прислуги состояла у меня почтенная, седовласая, всегда приветливая и со всеми обходительная Анна Васильевна, особа преклонных лет, исполнявшая обязанности отличной кухарки и одновременно удивительно чистоплотной и сообразительной горничной.

Касаясь общей обстановки и обихода своего домашнего угла, не могу не вспомнить о моем верном друге — породистом пойнтере Джэке, впоследствии перевезенном мною в Головкино и там отошедшем в иной лучший собачий мир. Подарен он был мне дочерью Константина Капитоновича Анной крошечным щеночком. Заметив его сметливость и послушание, я занялся его серьезным воспитанием, и в результате получился идеальный комнатный сожитель и такой же охотничий сотрудник. С утра он заменял мне исполнительного лакея, зная массу

предметов по названию и подавая мне все, что я ему приказывал. Изучил он своего хозяина до тонкости и когда замечал, что я устал или бывал чем-либо расстроен, он делал все возможное, чтобы меня развлечь. Скажешь, бывало, ему: Спой! — Джек усаживался, поднимал морду, устраивал из своих мягких брыл комичное круглое отверстие и жалобно начинал подвывать. Умел он также играть на пианино, усаживаясь на стул, мордой поднимая крышку и хлопая передними лапами поочередно по клавишам... Словом, понятливости мой незабвенный Джек был поразительной и преданности своему хозяину беспредельной.

Почему-то рядом с ним невольно встает в моей памяти облик премилого белокурого мальчика — Порфирия Еремина, Ново-Буяновского крестьянского сироты, окончившего школу и первое время прислуживавшего в чайной-читальне, основанной мною на средства комитета трезвости. Затем Порфиша взят был мною в дом, и они оба с Джеком были неразлучными друзьями.

В связи с моей домашней и служебной обстановкой хочется вспомнить тоже о той верной тройке лошадей, которая все четыре года непрерывно и лихо возила своего хозяина из конца в конец по его земскому участку, а также много верст пробегала от Буяна до Ставрополя и обратно, да и до Самары не раз добираясь. В корню была рослая, рыжая, широкая, красивая своего завода Голубка, а на пристяжках легкие серые в яблоках полукровки (наполовину верхового сорта): Азра и Тамара. Добрые были лошади, ходкие и выносливые. Из кучеров дольше всех служил у меня местный крестьянин Николай Киселев, здоровый молодой парень, честный, старательный и видимо меня любивший. У него на руках была в Буяне пара моих гончих — настоящих костромичей — удивительных по работе сук. Одну звали Затейкой, быстро подымавшей зверя, а другая была Милка —

моя любимица по своей верности (зря голоса не давала) и исключительной вязкости. Немало они меня в свое время потешали!...

Внизу под моей квартирой расположена была моя канцелярия — довольно обширная комната с портретом Государя, под которым стоял мой письменный стол, а за особой перегородкой расположены были скамьи для просителей или участников судебных разбирательств. Рядом с камерой находилась еще комната, где работали мой письмоводитель с помощниками, и где хранился архив и все делопроизводство.

С самого начала поступил ко мне в качестве письмоводителя некий Крайнев Николай Никитич, рекомендованный мне Уездным Съездом, как опытный работник, служивший ранее на таковой же должности у мировых судей. Николай Никитич имел вид интеллигентного человека. Надо отдать справедливость, в первые месяцы, благодаря своим знанию и опытности, он оказался в действительности полезным для меня сотрудником. Однако, в дальнейшем, когда практически я до известной степени освоился с техникой делопроизводственной части, я стал тяготиться этим человеком, ввиду явного на мой взгляд несоответствия ранее им усвоенных привычек по ведению письмоводства с действительной потребностью самого дела. Особенно сказывалась его старая «канцелярская» школа в составлении судебных приговоров «в окончательной форме». Сначала я по неопытности стеснялся, а затем приходилось многое видоизменять или же вовсе заново самому составлять. Все это казалось избалованному прежними начальниками Крайневу для его самолюбие обидным. В конце концов, я предпочел себя освободить от «излишне опытного» письмоводителя и взял к себе в сотрудники по канцелярской части помощника волостного писаря из Мусорского волостного правление Петра Дмитриевича

Жировова, превосходного человека и работника, отлично зарекомендовавшего себя по ведению делопроизводства Мусорского Волостного Суда. Бедный Петр Дмитриевич был калекой — с искривленной ногой, так что ходил на костылях, но это не мешало ему все три с половиной года безукоризненно честно и аккуратно исполнять свои обязанности.

30

Перейду теперь к воспоминаниям, связанным с самой сущностью моей службы земским начальником.

Еще в бытность мою студентом старшего курса Университета, я слышал по поводу только-что изданного закона — Положения о Земских Участковых Начальниках — всяческой критики, исходившей, как от некоторых наших Московских профессоров, так и от авторитетных публицистов того времени.

Главными недостатками нового Положения, по их мнению, считались: 1) сословность, 2) смешение в одной и той же должности административных и судебных функций, 3) неопределенность редакции самого закона в смысле отсутствия точного обозначения прав и обязанностей новой должности и отсюда: 4) т.н. ее «индивидуальность», под которой понималось, что отправление функций этой должности слишком тесно связывалось с личными свойствами чиновника, ее занимавшего.

Особенно подчеркивалось противоречившее понятию «правового» порядка, допущение на основании «знаменитых» статей — 61 и 62, применения дисциплинарных взысканий без суда, по личному усмотрению Земского Начальника, как в отношении должностных лиц, так и рядовых обывателей крестьянского сословия подведомственного ему участка.

Эта критика, не только в академическом смысле, но и на практике, имела за собой некоторое основание и само время мало-помалу подсказывало необходимость внесения в закон некоторых изменений в смысле большого его уточнения.

Вместе с тем, благодаря предоставленной новым Положением привилегии, в нашем Ставропольском уезде должности земских начальников во всех десяти участках были замещены лучшими общественными деятелями — бывшими мировыми судьями, предводителями дворянства, местными потомственными дворянами, землевладельцами — с высшим образовательным цензом (исключение представляли собой — Н.М.Наумов и Г.Г.Ларионов: первый не имел высшего образовательного, второй — земельного ценза). Все они несли новые свои обязанности с чрезвычайным достоинством и пользовались уважением и доверием местного населения. Но со временем первоначальный состав подвергся постепенному изменению. Со вступлением же, летом 1905 года, на пост Самарского губернатора г. Засядко, неуравновешенного неврастеника, бестактно обращавшегося с местным служивым сословием, почти все коренные Ставропольцы покинули свои должности, которые были затем замещены т.н. «варягами», т.е. лицами не местными и не потомственными дворянами..

Равным образом, со временем, были урезаны и дискреционные права земских начальников, так что, в общем, через какое-либо десятилетие само Положение подверглось существенной модификации, в ущерб идее, положенной в его основание Императором Александром III.

Мне пришлось работать в условиях еще неизменного Положения, и могу откровенно признаться, что лично мне именно некоторая неопределенность его редакции давала полный простор моей молодой, инициативе в давно желанном стремлении

— приносить посильную пользу своему ближнему; открывалось широкое поле для живого творчества по оказанию действительной и непосредственной помощи сельскому населению — темному, малограмотному, запутавшемуся в сложных земельных неурядицах, далекому от правовой правды и должной защиты.

Пройдя после земского начальничества много всяческих служебных ступеней по земству и дворянству, участвуя в составе Губернского Управления, законодательствуя в Государственном Совете и закончив служебную карьеру Министром, я скажу, что большего удовлетворения, чем в бытность мою земским начальником, я нигде не получал, именно благодаря свойственной этой должности близости к запросам всевозможных человеческих нужд, и одновременно, предоставленной законом широкой возможности безотлагательного их удовлетворения...

Церковь, школа, семья, сиротство, суд, защита личная и общественная и, наконец, все то существенное, что разумеется под этими четырьмя словами: «материальное благосостояние и нравственное преуспевание» — все это вместе, в высшей степени сложное, и житейски-обыденное, требовало со стороны земского начальника ежечасной заботы, быстрого решения, разумного совета или руководственного подсказа. Правда, сущность моей деятельности в то время обслуживала интересы не сотен тысяч уездных жителей, не нескольких миллионов губернских, ни тем более полутора миллиона имперских граждан — а вся сводилась лишь для 38.000 обитателей 2-го земского участка — но за то как все они были близки от меня какая предоставлялась возможность лично мне, без всяких чиновных посредников и мертвых циркуляров, тотчас же и тут же оказывать быструю и решительную помощь той или другой выявившейся нужде, и какое ощущалось после этого личное сознатель-

ное удовлетворение и счастливое самочувствие! В этом отношении редакция Положения, повторяю, давала действительный простор той живой непосредственной деятельности, о которой в свое время я лишь мечтал, а ныне не без увлечение вспоминаю.

Продолжая говорить о субъективных моих впечатлениях, вынесенных мною от этой службы, не могу не отметить чисто утилитарной для меня стороны дела. Четырехлетний стаж земского начальничества оказался для меня своего рода Высшей Практической Академией, в которой мне была предоставлена широкая возможность близко ознакомиться не только с крестьянскими, чрезвычайно сложными, законоположениями в применении их на практике, но главное, — с самим бытом и укладом деревни. Все сложившиеся у меня о них понятие и практические выводы впоследствии, во всей дальнейшей общественно-государственной моей деятельности, послужили для меня ценными данными, благодаря которым мне легко было с достаточной авторитетностью высказываться по многим вопросам, связанным с крестьянскими интересами и нуждами.

31

Вспоминаются мои первые впечатление при вступлении моем в отправление обязанностей земского начальника.

На другой день моего приезда в Буян, после представления всех волостных старшин и отъезда Ярового, в канцелярии моей появилось множество просителей. Не без смущения стал я выслушивать их обращение ко мне, сразу же окунувшись в необычайное разнообразия крестьянских нужд.

Помню, подходит ко мне одна старушка с какой-то просьбой и протягивает какой-то узелочек, я машинально беру его и

спрашиваю, в чем дело? — «А это тебе, Ваше благородие, свежих яичек принесла — уж, сделай милость, уважь мою просьбицу!».. Как ни старался я ее заверить, что и без всяких яиц делу ее будет дан ход, настойчивая старушка отказывалась принять их обратно.

Изо дня в день в мою канцелярию народу приходило все больше и больше. Я был сразу же завален всевозможными просьбами, жалобами и пр. Видимо, ощущалась нужда настоятельная в широком и планомерном руководительстве местной правовой жизнью; чувствовались, вместе с тем, с одной стороны, искреннее доверие крестьянских масс к новой власти, а с другой, — полная беспомощность этих малограмотных людей в деле личной самозащиты и охраны своих имущественных интересов.

Ко мне поступало множество, составленных местными «аблокатами», письменных заявлений; читать их было делом нелегким и противным, ибо чем больше эти присяжные писаки наворачивали в своем сочинительстве крикливого вздора и невероятных ссылок на апокрифические законы и несуществующие Сенатские решения, тем для невежественного просителя подобная галиматья представляла большую цену, за что бралась немалая, в пользу ее составителя мзда.

Между тем, для администратора или судьи подобные «мудреные» писания, с запутанным и неясным содержанием, служили лишь явной помехой для правильности делового разрешения, почему-то же земскому начальнику приходилось лично подробно передопрашивать жалобщика и самому заносить то, что нужно, в особый протокол.

Все эти обстоятельства с первых же шагов моей деятельности показались мне столь очевидными, что я тотчас предпринял немилосердную борьбу с подпольной сельской «аблокатурой»,

— разорительной для бедного люда. Прежде всего, я объявил по всему своему участку, что всякий проситель, имевший нужду обратиться к земскому начальнику, приглашался являться ко мне без всякой предварительно написанной кем-либо бумаги. Я же заносил у себя всякую просьбу в лично мною, или моим письмоводителем, тут же подписывался самим просителем. Подобный порядок был предусмотрен самим законоположением.

Если же, несмотря на мое предупреждение, мне продолжали подавать письменные прошения, то я оставлял лишь те, которые считал разумно составленными, остальные же возвращал обратно, заменяя их собственными своими записями. Через год «аблокатов» в моем участке не стало. Все вздохнули свободнее, да и кляузных дел меньше стало заводиться.

Участок я принял в делопроизводственном отношении сильно запущенным. После моего предшественника осталось большое наследство неразрешенных административных, а в особенности судебных дел. Пришлось ежемесячно назначать не менее как по 10 дней для разбирательства таких дел, преимущественно заключавшихся в самовольных лесных порубках, травokoшениях и пастьбе скота в чужих угодьях. Все эти правонарушения происходили почти исключительно — или в удельных, или казенных дачах.

Дело в том, что во 2-м земском участке находились 3 удельных имения и 2 казенных лесничества; частных же помещичьих владений было всего 2 — Ушковское при с. Новом Буяне и Аверкиевых при с-це Мошках, которые за 4 года моей службы дали не более 3-4-х судебных дел.

Удельное же и Казенное Ведомства вчиняли огромное количество судебно-уголовных дел, которые приходилось назначать целыми пачками, по 20-25 на день, ввиду их однородности

и сравнительно ограниченного количества участвовавших в них лиц.

Благодаря частым судебным разбирательствам, мне пришлось ближе ознакомиться со всем служебным персоналом означенных Ведомств. Во главе одного удельного имения стоял Муринов, проживавший почти безвыездно в г. Ставрополе; в другом имении, т.н. «Мусорском» хозяйничал Николай Кириллович Скурский, с которым я более всего сошелся. Это был человек живой, энергичный, умевший себе подбирать людей и держать их в строгом послушании. К крестьянам у него было отношение тоже дельно-хозяйственное, и при нем были предприняты разумные начинания Удельного Ведомства в смысле раскрепощения круговой ответственности арендаторов.

В третьем удельном имении, тоже входившем в мой участок, в качестве управляющего состоял Дмитрий Александрович Ламбер д'Ансэ, резиденция которого была в наиболее живописном месте всего Поволжья — в с. Царевщине, расположенном у подножья шапкообразной возвышенности, т.н. «Царева Кургана», на луговом берегу реки Волги.

Обширное Царевщинское имение изобиловало великолепными лесами, преимущественно хвойной породы. Расположенное вдоль Волги, напротив высившихся с противоположной ее стороны Жигулевских гор; в свое время оно было историческим местом, излюбленным для лихих действий приволжских молодцов Стеньки Разина. Времена эти прошли, кое где в описываемых местах появились сначала людские поселки, из которых образовались впоследствии на нагорной Жигулевской стороне Волги среди скалистых расщелин деревушки: Отважное, Моркваша, а на луговой просторной ее стороне — огромные села: Царевщина и Курумьч, конечное населенное место моего участка. Народ в упомянутых селениях отличался качествами, очевидно

унаследованными от «Разинских» удалых и воровских дружин. Во всяком случае, главный контингент всех правонарушений доставляло мне население именно Царевщинского имения.

Итак, во главе означенного имение стоял Ламбер дАнсэ, считавшийся ранее как будто сносным работником, чего нельзя было сказать в период моего знакомства с этим болезненным, полусумасшедшим человеком.

Ламбер отличался необычайной рассеянностью, полным безволием и совершеннейшим индифферентизмом к порученному ведомственному делу, проявляя явные признаки начинавшегося психического расстройства. Большой удельный дом, где он жил в полном одиночестве, имел вид совершенно необитаемого помещения — все казалось запущено, и много комнат было наглухо заперто.

В таком же положении обреталось его делопроизводство, да и само все хозяйство.

Фактически управляющего в Царевщинском имении не существовало. Вместо него властвовали всемогущие смотрители, вроде Старо-Бинарадского — Пескова, в противоположность своему начальнику, отъездившего, краснощекого, белокурого красавца-бородача, с наглым видом и властно-заносчивой повадкой разъезжавшего, заместо барина, по своим лесам и долам в щегольской рессорной бричке на любительски подобранной тройке сытых саврасых «башкиров».

Надо было видеть и слышать этого Пескова на первых заседаниях моего судебного разбирательства, чтобы сразу же понять бессилие начальства в отношении подобного типа ведомственных подчиненных, с одной стороны, и беспомощность многих тысяч подвластных им крестьян — с другой.

В Старо-Бинарадской волости «Петр Филиппыч», так величали Пескова, был «все» для населявших ее бывших удельных крестьян. Пользование лесом (торги, выборочная рубка, сбор валежника и пр.), съемка оброчных статей, лугов, выпас скота и пр., одним словом, весь сельский хозяйственный обиход зависел от всемогущего Пескова, бесконтрольно царствовавшего в своем обширном смотрительском «объезде». Против него никто не смел голоса возвысить, — во-первых, некому было на него жаловаться, так как все знали Ламберта, во-вторых, всякого жалобщика ожидала беспощадная месть со стороны «Петра Филиппыча», в виде лишения его всех хозяйственных «земных благ», да еще в придачу возбуждение уголовного против него преследования. Составление вымышленных актов не только на одно лицо, но нередко на целое общество (чаще всего по самовольному, якобы, выпасу на удельных землях) на почве личного мщения или с целью того или другого вымогательства — было для негодья Пескова делом обычным.

Все это вскоре же всплыло наружу при производившихся мною судебных разбирательствах; преступная личность Старо-Бинарадского удельного смотрителя обрисовалась совершенно определенно, и народ, увидав во мне добросовестного защитника, осмелел и выдал мне его с головой.

Песков был удален от должности и предан суду. Совпало это также с заменой несчастного Ламберта дельным и хозяйственным Ю.Е.Щербаковым, быстро подтянувшим управление в обширном Царевщинском имении. Все приняло другой вид и характер, включая и самый дом, превратившийся в прекрасное помещение, полное хозяйственного комфорта, семейного счастья и здорового веселья... Устраивались у Ю.Е. отличные охоты, на которые обычно съезжались из Самары губернатор Брянчанинов и Начальник Удельного Округа Д.П.Терлецкий.

В моем участке находились также довольно обширные казенные лесные дачи; но самих лесничих я мало встречал: проживали они далеко, вне пределов моего участка. В общем, могу о них вспомнить лишь с наилучшей стороны.

Ставропольский уезд был распределен на четыре полицейских стана, управлявшихся полицейскими приставами. Все четыре волости моего земского участка входили в первый «стан», во главе которого состоял сначала Соколов, а после его удаление скромный и исполнительный Созинов.

Для службы земского начальника роль уездных полицейских чинов была весьма существенной, и от личных свойств приставов зависела согласованность действий в области административных распоряжений. Что же касается до судебных дел, то способ и сущность производившихся полицейских и следственных дознаний непосредственно влияла на весь ход и самый результат судебных разбирательств уголовных дел у земского начальника. Возьму, например, огромную категорию дел, связанных с величайшим бедствием деревни — конокрадством. Весь центр тяжести борьбы само собою сводился к срочной возможности ограждения население от тех вредных элементов, которые профессионально занимались своим преступным ремеслом. Осуществление подобной меры целиком зависело от неукоснительного применения к конокрадам карательных судебных приговоров, правильность обоснование которых, в свою очередь, зиждилась на том или другом точном выяснении всей фактической стороны совершенных преступлений. Иначе говоря, все сводилось к умению станowego пристава производить на месте уголовное следствие. К глубокому сожалению, постановка этой части обязанностей уездной полиции оставляла желать много лучшего. Министерству Внутренних Дел давно бы следовало озаботиться упорядочением этой области, учредив

особые практические курсы для обучения уездных полицейских чинов производству предварительных дознаний по уголовным делам.

Первоначальная забота моя была направлена на скорейшую ликвидацию залежей всевозможных дел, образовавшихся до вступление моего в заведывание вторым земским участком.

Успев за первый же год более или менее подобрать все свое делопроизводство, и одновременно практически освоившись с обширной компетенцией своей должности, я наметил себе на предстоящее время осуществление заранее составленной мною программы планомерного упорядочение наиболее важных сторон сельской правовой и бытовой жизни.

В первую очередь, внимание мое было обращено на делопроизводство Волостного суда, компетенция которого, согласно новому Положению, была значительно против прежнего расширена, особенно в сфере семейно-наследственных дел.

С первых же шагов, я поставил себе задачей произвести наилучший подбор личного состава волостных судей, главным же образом, найти подходящих Председателей суда и заведующих судопроизводством. С этой целью мне пришлось говорить на волостных сходах о том важном значении, которое, по новому закону, выпало на долю Волостных Судов, и убеждать не жалеть необходимых средств на содержание и наем достойных лиц для замещения судейских должностей.

Волости очень отзывчиво откликнулись на этот призыв, благодаря чему действительно и удалось привлечь хороших работников.

Неоднократно затем собирал я Председателей и членов Волостных судов с их делопроизводителями на особые практиче-

ские курсы, беседовал с ними на тему волостного судопроизводства, объяснял им основные и отличительные понятия уголовных и гражданских правонарушений, одновременно знакомя их с практической стороной ведения того или другого процесса. Для памяти составлен был мною небольшой, в удобопонятной форме изложенный, конспект, как практическое руководство для Волостного судопроизводства. Не малое число раз я присутствовал лично при разбирательствах в Волостных судах.

Делом этим я сильно увлекался, и труды мои, видимо, не пропали даром. На избрание в волостные судьи, особенно на должность Председателя, население стало смотреть более вдумчиво и заинтересованно, придавая этому делу особо почетное и ответственное значение. Что же касается до самого существа волостного судопроизводства, то не могу не отметить, что некоторые решения, в особенности Мусорского Волостного суда, признавались в свое время не только нашим Съездом, но и высшими кассационными инстанциями, образцовыми.

Для меня становилось совершенно ясно, что никто, как именно Суд из местных добросовестных жителей, не мог лучше разбираться в мелочных, но сложных подчас, взаимоотношениях крестьянских семей, особенно в области их семейно-наследственных прав, где закон и обычай тесно между собой переплетались.

Вера моя в жизненность и пользу Волостного суда, за время моей службы, из года в год крепла и настолько укоренилась, что спустя много лет, когда мне пришлось в 1910 году участвовать в качестве Члена Государственного Совета в особой комиссии по преобразованию местного судопроизводства, я горячо выступал в защиту сохранения для деревни Волостного Суда.

Следующая область дел, наиболее меня заинтересовавших в смысле необходимости возможно спешного их упорядочения, обнимала собою все крестьянское землепользование и бесконечное количество связанных с ним спорных взаимоотношений.

Во 2-м земском участке форма землепользование была однотипная — общинная; почти все крестьяне числились бывшими удельными и владели, согласно Уставной Грамоте, на правах выкупа, полными наделами в соответствии с количеством душ, отмеченных в документах еще со времен ревизской сказки 1857 г. Исключение в моем участке представляло собой лишь селение Новый Буян, принадлежавшее ранее князю Ивану Петровичу Трубецкому, крестьяне которого, после освобождения от крепостной зависимости, перешли, согласно их желанию, на дарственный или т.н. нищенский надел, избавившись таким образом от выкупных платежей, но получив зато в свою общинную собственность лишь по 1 десятине на ревизскую душу.

Остановлюсь несколько подробнее на положении Ново-Буяновских крестьян в отношении их земельного пользования. Отведена была им земля по Уставной Грамоте на бугристых, прилегающих к селу, местах, оказавшаяся неплодородной и недостаточной по своему количеству. В противоположность остальным селениям моего участка, расположенным в большинстве случаев среди обширных удельных полевых угодий, на льготных сравнительно условиях сдававшихся им в аренду, Ново-Буяновские крестьяне с трудом могли заарендовывать в экономии небольшие пахотные пространства, и то находившиеся в значительном отдалении от села.

Года за два до моего приезда в Буян, крестьяне этого села надумали взять в аренду в казенном ведомстве около 4.000 десятин в пределах соседнего Самарского уезда в сорока верстах от Нового Буяна. Называлась эта местность «Алтай-Гора». Образовав на этот предмет особое товарищество, большинство Ново-Буяновских семей работало на этом участке, переселяясь туда на летние страдные месяцы и устраиваясь на нем во временных жилищах.

Отмечу здесь тот вред имущественный и социально-государственный, который причиняла на местах аграрная политика казенного ведомства того времени.

Не успел я появиться в Буяне в качестве земского начальника, как со всех сторон от местных крестьян посыпались ко мне претензии все об одном и том же — защитить их справедливые интересы от губительных распоряжений казенного ведомства.

Дело в том, что казна ригорично применяла к заарендовавшему «Алтай-Гору» товариществу требование круговой ответственности по взысканию с него причитавшегося оброчного платежа. Застал я такое положение вещей: за два года урожаи хлебов оставались на участке нетронутыми под секвестром казны. Некоторые скирды с пшеницей представляли собой внутри лишь сплошную гниль и мышеедину. Несмотря на это, ведомство продолжало оставаться рутинно-последовательным и неизменно-глухим к раздававшимся справедливым воплям об отпуске хлеба тем из арендаторов, которые аккуратно вносили в общую кассу причитавшиеся с них арендные деньги. Таких исправных лиц было подавляющее большинство, и тем не

менее, казна руководствовалась принципом: *fiat Justitia, pereat mundus*¹⁶!

Вокруг себя я видел лишь плач, ругань и злобное отчаяние хозяйственных крестьян, обездоленных тупой и безжалостной политикой казны. Я сам делал все, что мог, для защиты Ново-Буяновских арендаторов: писал, лично обращался к губернским властям, но всюду встречал глухой отпор...

Наконец, воспользовался первой же своей поездкой в декабре 1893 года в Петербург и навестил, в числе прочих, семью добрых наших знакомых по Симбирску Долгово-Сабуровых, переехавших в столицу, ввиду назначения Николая Павловича, бывшего Симбирского Губернатора, на пост Товарища Министра Внутренних Дел.

По неопытности своей я предполагал разжалобить старика и вынудить его тотчас же вступить за погрязшие интересы моих мужичков...

Большой, сановитый, величавый Николай Павлович слушал меня спокойно, затем слегка улыбнулся и с деревянным выражением умного лица покровительственным тоном сначала похвалил меня за горячность и отзывчивость, а затем совершенно уже сухо промолвил: «Все это — чувство, а разум повелевает поступать так, как действует опытное в сем деле Ведомство. Будете постарше, сами сие уразумеете.»

Так смотрел на это вопиющее дело чиновный Петербург; для которого удобство «свое — казенное» было выше общечеловеческой справедливости. Меж тем от ее удовлетворения зависело многое — довольство народных масс, каковое довольство,

со своей стороны, обеспечивает действительное, а не кажущееся лишь спокойствие всего государства. Вот когда я поймал себя на зародившейся во мне острой неприязни к черствой, себялюбивой бюрократии, и вот с тех пор я понял, какая пропасть лежит между Царем с его столичными сановниками и народом с его нуждами и невзыскательной психологией.

Этому «вопиющему» делу по секвестрованию многолетних урожаев «Алтай-Горы» положен был конец совершенно неожиданным образом. Манифесты 1894 года и последующий 1896 года (Восшествие на престол Государя Николая II и его коронование) скостили все недоимки, числившиеся за Ново-Буяновским товариществом, тем самым уравнивая старательных с лентяями, расслабив и ожесточив первых, поощрив и вознаградив последних...

Разве подобная политика не послужила подготовительной работой со стороны самого же Правительства для воспитания народных масс в духе современного ныне коммунистического пролетариата?!

Спустя несколько лет, то же казенное ведомство как бы одумалось и пошло иным, более разумным и справедливым в отношении своих арендаторов путем, следуя благому примеру Удела, положившего в основу своей деятельности, приблизительно еще с 1895 года, новое здоровое начало замены круговой ответственности индивидуальной. Благодаря этому, каждый арендатор стал отвечать лишь за себя. Несомненно создалось для ведомственных чинов больше работы и забот по делу учета, взысканий и пр., но за то, какой вздох облегчения вырвался из груди сильных трезвых хозяев, освободившихся от круговых пут слабых своих товарищей, способных легко в первом попавшемся кабаке пропивать Богом данный урожай.

Вообще надо отдать справедливость Удельному Ведомству, сыгравшему в наших Самарских краях крупную роль благодетельного культуртрегера. Мало того, что оно проявило упомянутую инициативу, для того времени смелую, в отношении способа взыскание аренды, Уделы настойчиво проводили в жизнь в высшей степени разумную меру для поднятия общего уровня земледелия в наших местах, посредством установления особого способа землепользования на своих оброчных статьях по принципу: «do ut des». Нуждающийся в их земле арендатор получал таковую лишь при условии неуклонного исполнения ряда принятых при подписании контракта обязательств, как-то: ведение многопольного севооборота с непременным травосеянием, унаваживанием, черного пара, пропашной культуры и пр.

Все это создало в одно десятилетие чисто сказочное изменение местного народного хозяйства, в смысле материального довольства и избытка. С 1895 по 1905 год Удельные земли, представлявшие собой сплошные степи, растянувшиеся между Ставрополем и Мелекесом, ранее, бывало, в летнее время покрытые чахлой степной растительностью и лишь кое-где засеянные клиньями трехпольного хозяйства, превратились ныне в зеленые участки, обильно заросшие сочными травами и другими злаками, в соответствии с тем многочисленным севооборотом, который подсказывался Удельным Ведомством при сдаче земель. Всюду виднелся навоз, многочисленные стоги сена; везде попадался сытый скот и пр. Одним словом, по благодетельному указу хозяина — Уделов, все оживилось, разбогатело и поздоровело. Но, увы! ненадолго.

Наступило октябрьское лихолетье 1905 года, и все тот же чиновный Петербург поспешил пойти на уступки революционным уличным требованиям. Издан был ноябрьский указ 1905

года о мобилизации казенных и удельных земель на предмет удовлетворение крестьянских аграрных нужд. Большое культурное дело, столь успешно начатое Удельным ведомством, а за ним и казной, оборвалось и... погибло. Прошло несколько лет, и те же степи стали принимать прежний захудалый полузаброшенный вид...

Остальные селение моего участка имели общинное землепользование с полными выкупными наделами, распределенными по Уставной Грамоте, согласно числу душ, зарегистрированных по ревизским сказкам 1857 года. Само собой разумеется, с того времени, почти за 40 лет, произошли крупные изменения в семейном составе местного населения. Некоторые семьи оказались в исключительно благоприятных условиях с точки зрения земельного обеспечения, владея, по тем или другим причинам, многими «душевыми» наделами; и обратно — много семей, имевших с основания наделения одну или две «души» и разросшиеся в многочисленное потомство, оставались при том же ограниченном количестве земли.

Кроме того, за эти долгие годы, много перемен в первоначальную схему земельного распределения 60-х годов внесло само крестьянское самоуправление, получившее право, в некоторых указанных законом случаях; вмешиваться в порядок общинного землепользования, отбирая в свое распоряжение душевые наделы у одних (за выморочностью, накопление недоимок, в силу безвестного отсутствия) и предоставляя таковые другим своим однообщественникам.

Надо принять во внимание, что с момента уничтожения института мировых посредников и до появления земских начальников ушло много времени; в этот промежуток надзор за деятельностью крестьянских самоуправлений и руководство ими фактически почти совершенно отсутствовали. И то сказать:

мог ли один человек, именовавшийся непременно членом уездного по крестьянским делам присутствия, уследить за законностью и целесообразностью правовой административной жизни целого уезда, включавшего в себе от 36 (Ставропольский уезд) до 54 волостей (Бузулукский уезд). Несомненно, обыденная деревенская жизнь, со всей своей мелочностью, людскими инстинктами и страстями, брала верх над писаными законами, как скоро наблюдавшего глаза не стало.

Действительными хозяевами деревни были не сельские сходы, а волостные и сельские писаря, которые, совместно с обычно в то время малограмотными, а то и вовсе неграмотными, сельскими и волостными должностными лицами, почти бесконтрольно руководили всей местной крестьянской жизнью, внося хаос и бесправие во взаимоотношение членов общества в области землепользования.

Всюду царствовало безудержное взяточничество, въевшееся в плоть и кровь народную настолько, что приняло характер как бы узаконенного обычая. Вино, деньги, хозяйственные припасы и пр. — все это давалось во всех тех случаях, когда требовалась для кого-либо или чего-либо т.н. «общественная» санкция.

Выборы на какую-нибудь общественную должность, жеребьевка на пользование землей, земельные переделы, получение в аренду «выморочных душ», волостная судебная тяжба и т.п. — все это сопровождалось взяточничеством, львиная доля которого перепадала на почти единственно хорошо грамотного в то время волостного или сельского писаря.

Отсюда ясно, почему писанный закон и действовавшая на местах практика в области общинного землепользования со-

вершенно не совпадали друг с другом. Здесь, повторяю, властвовал полнейший произвол на почве самого бессовестного взяточничества.

Подобный уклон правовой жизни деревни способствовал образованию того земельного «кулачества», о котором в свое время было столько говорено, и борьба с которым была возможна лишь путем близкого и неукоснительного надзора за порядком землераспределения и землепользования.

В области семейно-наследственных крестьянских взаимоотношений и связанных с ними всевозможных тяжб и претензий точно также царил невообразимый хаос, чему способствовал, сам того не ведая, Правительствующий Сенат, вынесший в 80-х годах решение, в силу коего тот или другой местный обычай удостоверялся местным же сельским сходом.

Из всего сказанного представляется ясным, почему одним из главных своих заданий я поставил себе дело упорядочение местного крестьянского землепользования.

После первого же года в моем участке установился такой порядок, что обо всех сельских сходах я заранее знал у себя в канцелярии, и всюду, где нужно, я мог по желанию и выбору лично появляться, благодаря чему мне удалось однажды в с. Узюкове самому проследить за вынуждением жеребьевок при отводе земельных участков после передела на наличные души, и этим предупредить готовившиеся, по дошедшим до меня слухам, злоупотребление со стороны местных кулаков.

Чаще всего приходилось мне бывать на сходах, собиравшихся для производства переделов общинной земли со старых ревизских душ на т.н. наличные. Проверка подобных приговоров была для меня обязательна и по закону, и по исключительной важности самого существа дела.

Некоторые члены общества стремились разбить землю лишь на одни мужские души, другие требовали разверстки на все души, считая и женские; многие тянули наделять землей лишь со дня совершеннолетия и, наконец, были группы, отстаивавшие раздачу общинной земли на все наличные «живые души» — мужские и женские, включая новорожденных...

Когда же разговор заходил об основаниях разверстки земли на «наличные» души, то сходы обычно превращались в разгорячённые, спорные и шумные сборища. Села были большие, в некоторых местах на сходы собиралось до тысячи, а то и больше крестьян. Договориться им самим бывало трудно — требовалось чье-либо авторитетное посредничество, которое, естественно, приходилось брать на себя мне, как местному земскому начальнику.

Нелегкое и ответственное это было дело, главным образом потому, что сопряжено оно было с коренной ломкой многолетнего хозяйственного уклада, как всей земельной общины, так и каждого из ее сочленов. Но, как говорится, лиха беда начало, и после первого удачного передела с ревизских на наличные души, мне удалось провести подобные же переделы во многих других селениях. За основу наделения я предлагал, и обществом всюду принималось, — распределение земли на каждую душу мужского и женского пола, включая новорожденных, с 1 января того года, в течение которого составлялся общественный приговор.

После каждого такого «общего» передела, заводилась, по моему указанию, в соответствующем сельском Управлении особая кадастровая земельная книга, с последующим обозначением в ней всех тех отдельных случаев «частичного» передела (перехода душевых наделов из одних рук в другие), которые

предусматривались законом и совершались каждый раз лишь по приговору схода или решению Волостного суда.

Пришлось мне служить Земским Начальником как раз в памятный период наибольшего закрепощения общины столичными верхами, в лице Министра Внутренних Дел И.Н.Дурново и его близоруких советчиков, видевших в сохранении крестьянского земельного единства, стиснутого железным обручем круговой поруки — панацею государственного консерватизма и целостности, с точки же зрения техники управление — простоту и удобство всяческих взысканий и обложений. И вот, еще то, что законодателем, при освобождении крестьян от крепостной зависимости и наделении их общинной землей, было намечено, как отдушина, через посредство которой давался простор каждой отдельной личности выходить из круга своих сочленов на свободную дорогу самоусовершенствования, включая и материально-земельное — все это взмахом министерского пера было стерто во имя модной формулы — сохранение общины и само собой во вред общечеловеческой правде и государственному прогрессу.

Я вспоминаю исторически знаменитый циркуляр Министра Внутренних Дел от 14 декабря 1893 года, коим указывалось, что для удовлетворения просьб тех членов сельского общества, которые заявили о своем желании выделить из общинной земли выкупленные ими в их полную собственность душевые наделы, должно состояться особое постановление сельского схода, действительное лишь при наличии согласия двух третей всех домохозяев данного общества.

Ясное дело, что подобным распоряжением был нанесен тяжкий удар тем, сравнительно немногим лицам, наиболее крепким и хозяйственным, которые имели квитанции Государственного Казначейства на выкупы в полную их собственность

своих земельных наделов, и которые, доверяя незыблемости законов, твердо уповали на возможность выделения своих земель из общей надельной массы. Возможность эта предоставлялась самим законом, как неотъемлемое право для «выходцев», при всяком общем (не частичном) переделе надельной земли, но подобных «общих» переделов ранее почти вовсе не происходило и земельно-хозяйственная жизнь шла по счету старых «ревизских» душ. Лишь при мне, как я выше отметил, началось движение среди крестьянских масс в пользу новых «общих» переделов на «наличные» души, широко захватившее все наше Поволжье...

Далекий, чиновно-рутинный Петербург насторожился и наложил на это свое «вето», — тот самый Петербург, который через 15 лет всю свою аграрную политику начал строить именно на всяческом содействии элементам, в то время столь грубо и непоследовательно-противозаконно (если взять циркуляр 1893 года в соответствии с крестьянским законоположением 60-х годов) отброшенным на задворки деревни, к общему ликованию всех местных «пролетарских» масс. Воистину, само правительство как бы предуказало тогда ту борьбу классов, которая явилась лозунгом современного советского режима.

Теперь невольно я спрашиваю себя, не был ли упомянутый министерский циркуляр по существу и по своим последствиям именно той ставкой на «пролетариат», которую Ленинский коммунизм избрал основой всей своей аграрной политики.

Надо удивляться, какое колебание курса всегда проявлял Петербург в отношении далекой от него деревни, какая непоследовательность политики, какое непонимание психологии крестьян-общинников, всемерно старавшихся выйти «в люди» и сделаться завзятыми землевладельцами!

При взгляде на все, сравнительно не столь далекое, прошлое, приходится с несомненностью установить тот факт, что столичные верхи того времени допускали непростительное легкомыслие при разрешении крупнейших проблем местного значения, как бы закрывая глаза на все то, в ту пору еще глухое, недовольство, которое зарождалось в народных низах, постепенно накапливалось и, в конце концов, всегда могло вылиться наружу...

Как сейчас вижу перед собой огромный сход общества с Кирилловки, Ново-Бинарадской волости, на котором надо было решить вопрос о выделении около одной десятой части всего количества общинной земли к одному месту, в собственность некоторым Кирилловским крестьянам, сполна и давно выкупившим свои душевые наделы. Вопрос этот был поднят в виду того, что Кирилловны только что порешили перейти на наличные души и предстоял общий передел. «Выходцев» этих было человек 40. Я всех их знал с наилучшей стороны — народ это был степенный, крепкий, хозяйственный, отнюдь не кулаки, и до той поры пользовавшийся общим уважением. Не будь этого циркуляра — все прошло бы спокойно и хорошо, так как, по здравому смыслу основного закона, общество обязано было их удовлетворить. В данном же случае, когда согласно министерского распоряжения деревенская голытьба и все то, что ныне характеризуется модным словом «пролетариата», почувствовало за собой силу перед этой кучкой «сильных», начались по их адресу со стороны некоторой части собравшейся на сход людской массы резкие, недоброжелательные выкрики, сопровождавшиеся всевозможными хулиганскими выходками. Невольно, вспоминая эту давнюю сцену, теперь сравниваешь с затравленной сорокоголовой группой кирилловских «выходцев» себя самого и себе подобных, т.н. буржуев, капиталистов, выброшенных

ныне за борт нормальной хозяйственной жизни тоже волею пролетариата. Эти степенные зажиточно-солидные люди, столпившись около крыльца въезжей избы, как бы ища защиты у земского начальника, должно быть переживали тогда те же думы и чувства, которые мы и поныне носим в своей уставшей голове и измученном сердце, задавая мысленно один и тот же вопрос: «За что все это с нами так случилось?!»

Помню я — когда успокоился взбаламученный сход, и получился в результате голосования отказ в удовлетворении просьбы выходцев, как некоторые из них, — бородатые, мужественные по виду люди, смахивали своими закорузлыми, сильными руками невольно скатывавшиеся по лицу слезы горечи и незаслуженной обиды. На другой день многие из них же приходили ко мне в канцелярию, задавая такие жуткие вопросы по поводу совершенно непонятного для них циркуляра, что невольно приходилось переживать тяжелые минуты и мысленно всем своим существом возмущаться близорукой столичной аграрной политикой. Результатом, между прочим, этого памятного для меня Кирилловского схода было то, что добрая половина этих хозяев-выходцев, распродав все свое добро и имущество, отправилась в Сибирь на «новые» места... Этим закончилась единичная в моем участке попытка освободиться от общинной кабалы.

Зловредный циркуляр, о котором я сказал выше, надолго отучил, население думать о том выделении на земельные «собственные» участки, которое через каких-нибудь 15 лет стало в той же столице лозунгом дня и предметом даже излишней спешки, если не сказать почти насильственных мер.

В общем, многое на местах населением воспринималось тяжело и болезненно, что в свое время столь легкомысленно исходило из петербургских канцелярий, и столичный центр, сам

того подчас не ведая, сеял собственными руками недобрые семена в сильно унавоженную землю... Причина подобного государственного разлада становилась мне из года в год яснее — между столичным руководившим центром и деревней лежала пропасть. Ощущалась срочная необходимость установления между ними живой, разумной связи...

Касаясь в своих записках распоряжков общинного землепользования, не могу не вспомнить об одном эпизоде, имевшем место в с. Новой Бинарадке. За обществом этого села числилась незначительная сумма денежной недоимки, оставшейся невыплаченной в расчет за выданную Ставропольским земством в голодный 1891 год продовольственную и семенную ссуду.

Дело в том, что уездное земское собрание, оказавшее в тот год многим пострадавшим обществам нашего уезда своевременную помощь, вместе с тем, в последующем году постановило в обеспечение выплаты обязать сельские общества, взявшие ссуды, завести у себя особые, т.н. «общественные запашки», урожай с которых должен был поступать в погашение долга.

Много было хлопот и склоки с этими запашками, являвшимися лишь новой формой пресловутой круговой поруки односельчан, из которых наиболее добросовестные поспешили погасить свои долги, а другие, более нерадивые, продолжали беспечное существование земских должников, благодаря чему начальство вынуждено было понуждать то или другое общество продолжать отбывать принятую на себя натуральную повинность до окончательного покрытия числившегося за ним долга земству.

Из года в год росло недовольство исправных крестьян, заявлявших о необходимости снятия со всего общества, и их в том

числе, тягостной круговой ответственности, и о своевременности переложение оставшихся непогашенных сумм на односельчан-недоимщиков. Но голос их встречал все то же упорное требование сохранения прежней меры гарантии. В этом отношении Земство было бессильно что-либо сделать, в силу существовавших на этот предмет специальных министерских инструкций.

В таком именно положении находилось и общество села Новой Бинарадки, когда наступила весна 1894 года. Несмотря на незначительность оставшейся недоимки, Уездная Управа вынуждена была настаивать на продолжении «общественной запашки».

Среди Ново-Бинарадских крестьян росло сначала глухое, а затем явное недовольство. Слышались горячие протесты. Местный волостной старшина, обычно солидный и уравновешенный Алексашин, еще с зимы неодобрительно покачивал головой, предвидя «неладное для спокойя» его волости наступление весеннего сева. Все его советы и убеждения у Ново-Бинарадской мордвы не имели обычного успеха.

Тем временем, до слуха взбалмошного исправника Лукьянчикова какими-то судьбами дошел слух о якобы начавшемся брожении в умах Ново-Бинарадских крестьян.

«По долгу присяги» он счел нужным, незадолго до начала ярового сева, по дороге в посад Мелекесс, завернуть в Бинарадку, собрать сход и наговорить на нем сгоряча «для остратки смутьянов», таких угроз и ужасов, что народ, вместо умиротворения, был окончательно сбит с толку.

Возбуждение среди Бинарадского общества достигло крайних пределов, когда пришло время взяться за плуг и приступить

к яровому посеву. «Сановитый» Алексашин был со схода прогнан, как только он заикнулся о своевременности отвода земли под общественную запашку. Тотчас же ко мне приехавший, обычно хладнокровный и степенный «Астафий Семеныч» имел растерянный вид и заявил, что после такого «конфуза» он вынужден уйти со службы.

Успокоив и ободрив его, я приказал ему немедленно вернуться обратно и назавтра (воскресенье) собрать в Новой Бинарадке сход. Запуганный Алексашин пробовал меня отговаривать от моего намерения, но я настоял на своем и на другой день, около полудня, я был в Бинарадке. Около Волостного Правления собрался многолюдный, т.н. «свальный» сход, с участием всех сельских обывателей, старых и малых, с бабьем в придачу. Встретили меня необычно холодно. Чувствовалась в лицах и общей повадке затаенная злоба и решимость «идти напролом».

Дорогой в Ново-Бинарадку я сам не знал, в какую форму выльется мое выступление на сходе; была лишь уверенность, что все обойдется «по-хорошему». Войдя в середину толпы, я с приветливым видом и спокойным голосом стал им пересказывать всю историю взаимоотношений земства с их обществом, напомнив сколько услуг первое оказало последнему в тяжелую годину голода, и как трудно Земской Управе вести дело учета и взыска с каждого должника в отдельности.

Мало-помалу стали вмешиваться голоса, задавать мне вопросы. В конце концов, завязалось общее спокойное, чисто деловое собеседование. Я чувствовал, что с окружавшими меня людьми можно говорить более смело, и мне блеснула одна мысль, показавшаяся мне для данного момента подходящей. Не вызывая сход к немедленному ответу по волновавшему всех

делу, обходя, следовательно, вопрос об его повиновении, в котором я не был еще уверен, и не желая на этой почве раздражать без того возбужденных крестьян, я им лишь поставил на вид, что при общем дружном их усилии, вся работа отняла бы у них не более одного утра, зато с земством все было бы покончено раз навсегда, в Бинарадке же установился бы вновь покой и прежнее благополучие.

«Само собой, продолжал я — проще и справедливее было бы, если б находящиеся среди вас должники сейчас взяли бы, да подошли ко мне, да выплатили бы добровольно, сколько с них причитается, но ведь этого не дождешься?»

В ответ послышался кое-где смех и добродушные замечания. Я пошел увереннее дальше: «Мой вам искренний совет — выезжайте-ка, не откладывая, завтра же рано поутру каждый со своим плужком в поле. Всем миром дружно за одно утро и покончите последний ваш урок! — Хотите, старики, и я с вами заодно пропашу, чтобы не скучно было?!» — Раздался оглушительный смех — со всех сторон послышались веселые голоса — «Айда, айда с нами! вот-те так!»

Я с облегчением вздохнул. Перелом общего настроения произошел — от бунта до добродушия оказался один шаг. Свое обещание я исполнил. Переночевав у местного батюшки, я рано утром в поле провел две полосы для заделки рассеянного овса предоставленным в мое распоряжение «Эккертским» плужком. Работал я на виду всего Ново-Бинарадского мира, собравшегося «поглазеть» на пахавшего «Земского», да заодно расквитаться перед Земством...

Взялся я за пахоту смело потому, что дома у себя в Головкине, любил и умел проходить за таким же плужком по родной своей пашне.

В большинстве селений второго земского участка в том виде, как я его первоначально принял, ветхие, деревянные церковные и школьные здания во всех отношениях оставляли желать многого лучшего. Местное население за время моей службы земским начальником проявило изумительную энергию и щедрое содействие в деле церковно-школьного благоустройства. За каких-нибудь три года в моем участке было сооружено пять совершенно новых каменных церквей и два деревянных храма. Что же касается школ, то почти повсеместно они были заново перестроены; в некоторых местах были выстроены для них превосходные каменные здания, и вновь открыто было до 10 церковно-приходских школ и 2 школы грамоты. Об устроенной мной в с. Новом Буяне библиотеке-читальне, при чайной Комитета Трезвости, мною упомянуто будет несколько ниже.

В самом населении в то время ощущалась настоятельная потребность, если не в образовании, то хотя бы в простой грамотности. Поэтому сельские сходы так охотно вносили для этого в свои бюджеты довольно значительные денежные суммы. Некоторые общества для сооружения каменных церквей и школ заводили даже кирпичные заводы. Кроме того, отводились особые общественные запашки, урожай с которых шел непосредственно на образование специального фонда для сооружения и полного оборудования церквей и школ.

В ту пору земство наше еще не ассигновывало достаточных средств на школьное дело: лишь лет через десять осуществлялись т.н. «нормальные сети» для всеобщего школьного обучения, медицинской помощи и пр. В бытность же мою земским начальником вся тяжесть расходов ложилась на сами общества.

Участвуя в школьных экзаменационных комиссиях, я с самого начала был поражен отсутствием у кончавших курс детей каких-либо, даже самых элементарных знаний по отечественной истории. Оканчивали ученики свою школу в сравнительно не столь уж малом возрасте, с другой стороны — общий уровень способностей был у них явно выдающийся в смысле быстрой восприимчивости, понятливости и усваиваемости. Меж тем то, что называется основой национального воспитания, ни в чем у школьников не проявлялось, оно безусловно отсутствовало

Об этом обстоятельстве мною неоднократно возбуждался вопрос на заседаниях Уездного Училищного Совета. Инспектором в то время был некий Гравицкий, честный службист, но заядлый формалист, всячески доказывавший недопустимость вносить в существующую школьную программу дополнительные предметы. Я же настаивал на возможности, и при существующих урочных расписаниях, попутно давать детям основную духовную пищу, необходимую для всякого русского ребенка, будущего гражданина, в смысле ознакомления его, хотя бы в самых общих чертах, с историей и славой своей страны.

Чтобы не быть голословным, я у себя в Ново-Буяновской земской общественной школе занялся сам с детьми, и в два месяца прошел с ними в старшем отделении весь мой краткий курс элементарного отечествоведения.

Подошли экзамены, и в присутствии того же инспектора — моего постоянного оппонента — и других лиц, я на заданные вопросы по своему предмету получал ответы, являвшиеся лучшим подтверждением справедливости моих предположений. Впоследствии подобные дополнительные программы по отечествоведению привились, но не всюду, к сожалению, были одинаковые результаты.

Хотелось бы здесь добавить одно мимолетное воспоминание, как доказательство удивительной подчас сметливости наших крестьянских малышей.

Однажды в дер. Михайловке я со своими ассистентами — батюшкой и учителем — экзаменовали детишек. Вызывается ученик лет четырнадцати по фамилии Широков, красивый, кудрявый, с живыми умными глазенками мальчик.

Стал я его спрашивать по арифметике. Задачку Широков решил отлично.

После этого я задал ему вопрос — не знает ли он, сколько верст от Михайловки до Буяна? — Ответ получился — восемь верст. Спрашиваю затем: «а саженой?» Так же быстро ответил. Тогда я пошел дальше, задавая последовательно мальчику: сколько аршин, затем четвертей и наконец... вершков. На все это Широков отвечал так быстро, почти моментально разрешая мои вопросы, что в конце концов я сам, как его проверочная инстанция, был крайне смущен, вынужденный просчитывать в своем уме мною же заданные цифры гораздо дольше, чем это делал шустрый экзаменуемый.

Касаясь церковного строительства, проходившего во всех случаях обычно гладко и удачно — не могу не вспомнить одной, сильно в то время на шумевшей истории, происшедшей в большом приволжском селении «Курумоч», в связи с выбором места под сооружение нового каменного храма. Изобилие своей и арендуемой земли, лугов, близость великолепных хвойных лесов удельных и казенных, а главное — своя общественная пристань на р. Волге, — все это служило причиной того, что общество названного села из года в год богатело, размножалось, а самое селение заметно ширилось. Я застал Курумоч в том виде, что параллельно со старой улицей, в середине которой стояла небольшая, серенькая, деревянная церковка, красовался новый

сельский порядок, застроенный богатыми, больше каменными, железом крытыми строениями. Нужда в поместительной церкви была давняя, общественная церковная запашка велась не первый год, так что капитал, нужный для стройки, почти весь имелся налицо, да и материал был готов. Все дело тормозилось из-за ожесточенного спора обеих вышеупомянутых улиц — старой и новой, — на которой из них ставить храм Божий. Старая улица отстаивала свои исконные права и указывала на место рядом с существующей церковкой, подлежащей сносу, «новая» же на это так говорила устами своих самолюбивых обывателей: «довольно мы хаживали на вашу сторону, пора и честь знать! походите-ка теперь вы сами на нашу улицу, которая будет не хуже, а почище вашей!...» Сколько сходов ни собиралось для разрешение этого спора — кроме общей свалки, ожесточенных драк и скандалов, в результате ничего не получалось.

В таком положении я унаследовал Курумоч, пробовал с обществом говорить по-хорошему. Первоначально казалось мне, что Курумчане готовы были меня слушать и идти на мировую, но в действительности они принимались вновь за старое. Пришло мне в голову помирить их всех на следующем: пригласить к ним на место Самарского Епископа Гурия и всем согласиться на том, куда укажет его владычная рука. Собрал сход и предложил пригласить для окончательного решения их давнего спора самого Преосвященнейшего Владыку. Сход единодушно согласился и просил меня взяться за осуществление этого дела. Епископ Гурий был живым, отзывчивым и весьма подвижным архипастырем. Охотно согласившись, он вскоре действительно прибыл в село Курумоч и выбрал возвышенное, красиво доминирующее над всем селением место, расположенное несколько вдали, как от одной, так и от другой улиц; оказавшееся таким образом как бы нейтральным для обеих враждовавших сторон.

На означенное место Преосвященный сам показал своей святительской рукой при всем собравшемся народе, который с обнаженными головами все это торжество видел, выслушал затем в нерушимой тишине архипастырское вразумительное слово (говорил Гурий хорошо, крепко и внятно), после чего все благоговейно, вслед за Владыкой, перекрестились со словами: «Быть по сему!» — «Слава-те Господи!»

Но темные силы и тут не дремали. Среди Курумчан было немало раскольников т.н. «Спасова согласия». Сам их архиерей, Николай Архипов, проживал в этом селе. Им на руку была церковная смута — и вот двое смельчаков (один из них бывший когда-то волостной старшина пропойца Кадичев, другой его приятель Ванякин) надумали такое дело: назвавшись членами церковного Курумчанского попечительства, эти лица явились лично к Епископу Гурию с прошением, в котором эти самозванцы нагло наклеветали на всех активных руководителей церковной жизни, донеся архиерею, что Курумчане хотят строить храм не на том месте, на которое было указано самим Владыкой, а на совершенно другом, при этом они в письменном изложении своей жалобы так запутанно и хитро подстроили, что, в случае удовлетворение их ходатайства, место для постройки получалось опять таки не архиереем указанное, а именно то, которое в свое время отстаивала новая улица. Епископ Гурий был человек горячий и в решениях своих быстрый. Выслушав Кадичева с его приятелем, как членов церковного попечительства и предполагая, что, удовлетворив их просьбу, он тем самым восстановит свое решение, высказанное на месте и положенное в основу сельского приговора, — с обычной своей вспыльчивостью и неосмотрительной поспешностью, на их жалобе написал собственноручную резолюцию в смысле удовлетворения всего изложенного в поданном ему прошении, не ведая, как жестоко

эти проходимцы подвели его самого, начертавшего на их бумаге о. благочинному приказ, противоречащий его прежнему распоряжению, лично сделанному на сельском сходе. С этой архиерейской резолюцией самозванные члены церковного попечительства приехали из Самары в Ставрополь к благочинному о. Николаю, разумному протоиерею, который прошение с епископской резолюцией у них отобрал и тотчас же с нарочным переслал ко мне. Сразу же поняв, в чем дело, я принял соответствующие меры предупредительного характера на месте и самолично тотчас же отправился в Самару к Епископу Гурию, которому разъяснил, как его два негодяя подвели. Трудно описать, в какую ярость пришел Преосвященный Гурий от всего происшедшего. Разорвав в клочки злосчастное прошение, возвращенное ему мною, он меня горячо поблагодарил за приезд и содействие в этом «сатанинском», как он тогда выразился, деле.

Несмотря на все встречавшиеся злоключения, все ж удалось дело довести до торжественного дня закладки, который приходился на 14 февраля 1894 года и совпадал с празднованием «торжества Православия». Все было заготовлено для этого. событие на том действительно месте, которое было выбрано обществом совместно с архиереем, Кадичев с Ванякиным были преданы мною суду за присвоение не принадлежащих им должностей и званий, но находились на свободе и, как доходили до меня слухи, продолжали сильно мутить парод, в целях всячески помешать началу стройки. Вспоминается мне картина закладки. Прежде всего, рано утром этого дня приезжает ко мне Старо-Бинарадский старшина Сидоров, сильно расстроенный, с недобрыми вестями из Курумоча — будто некоторая группа курумчан, во главе с Кадичевым, решила на все, чтоб сорвать предположенное торжество, грозя даже покушением на самого «земского». Нервный по натуре Сидоров умолял меня остаться

дома, во избежание возможных случайностей — священники де отслужат сами по себе, полиция будет наряжена, и дело обойдется без меня... Само собой, я на это не пошел, велел подавать свою тройку, надел свой дорожный полушубок, подпоясался кавказским ремнем с надетым на нем револьвером и тронулся в путь.

В Курумоче около старой церкви и места закладки стояла огромная толпа народа. Съехались несколько священников с благочинным о. Николаем во главе. Среди них чувствовалась заметная растерянность. — очевидно и до них доходили разные недобрые слухи. Подъехал становой с урядниками, присутствовали также два удельных управляющих. Началась торжественная процессия с хоругвями и иконами из старой церкви на место закладки, которое было предварительно со всех сторон огорожено. Взойдя на него вместе с духовенством, я сразу же увидел недалеко за изгородью хорошо известных мне Кадичева с Ванякиным. Вспомнив предупреждение старшины, я, прежде чем духовенство начало службу, вышел на середину устроенного помоста и, указав рукой на заготовленный для водружения на месте закладки большой деревянный крест, громко, во всеуслышание всего собравшегося вокруг нас народа, заявил: «до меня дошли слухи, что сегодняшнему нашему великому торжеству хотят лихие люди помешать (при этом я в упор посмотрел на две пары недобрых глаз — Кадичева и Ванякина). — Предупреждаю, что первый, кто дерзнет поднять свою нечестивую руку, чтобы воспрепятствовать водружению сего честного креста, будет мною уложен на месте». При этом я показал рукой на свой револьверный кобур. Обратившись затем к священникам, я просил приступить к богослужению. Все торжество прошло спокойно и благолепно, а через два года на освященном месте

высился и красовался большой каменный храм, стройная колокольня которого виднелась издалека с Волжского простора.

Вспоминая Курумчанскую историю, я все же должен оговориться, что не все население подведомственного мне участка отличалось столь буйной страстностью и беспокойным характером. Курумчане были скорее как исключение из общего состава остального, более спокойного и покладистого крестьянского люда. Ранее в своих записках я неоднократно высказывал свои предположения об общей причине тех отличительных свойств приволжского населения моего участка, которые являлись как бы унаследованными от их предков, входивших когда-то в состав вольных воровских дружин, разгуливавших главным образом на Жигулевском плесе «Волги-матушки широкой» и существовавших за счет своего свободного простора и чужого добра.

В общем же население второго участка Ставропольского уезда, сплошь состоявшее из т.н. бывших удельных крестьян, отличалось приветливым характером, честностью, миролюбием и деловитой хозяйственностью. Конечно, и их обычно трудовая размеренная жизнь нарушалась исключительными событиями стихийного характера, вроде пожаров, эпидемий, эпизоотий и т. п. Случались также с ними разные несчастья и от преступных действий отдельных «лихих» лиц. Со всем этим деревенским злом и бедствиями приходилось посильно бороться, но борьба эта протекала при сравнительно благоприятных условиях — при содействии и поддержке, как местного земства (губернского и уездного), так и самого населения, в массе своей сочувственного, доверчивого, склонного ко всему доброму и общественно-полезному.

Останавливаясь на характеристике населения, я прежде всего скажу несколько слов о религиозно-нравственном его настроении и уровне.

Подавляющая часть его в моем участке были православные, верующие, относившиеся строго к исполнению церковных обрядностей. Ранее я упомянул, как щедро сельские общества относились к улучшению своих храмов.

Несомненно отношение это являлось лучшим доказательством преданности их церковно-религиозному культу. В церковные попечительства тоже выбирались все дельные, почтенные люди.

Состав самих священнослужителей был в среднем удовлетворительный и столь любимый своими приходами, что среди них даже сам Епископ Гурий не решался устраивать обычные свои перемещения. Лишь единственный из них был отправлен «на покой» — престарелый о. Дроздов, лет около 45 священствовавший безвыездно в Старо-Бинарадской церкви. Я еще его застал на том же месте священнической службы.

Касаясь общего уровня нравственности населения, могу лишь заметить, что наиболее патриархальными, строгими и чистыми нравами отличались татары, у которых местный их мулла играл решающую роль блюстителя и руководителя, строжайше соблюдая семейную и личную чистоту членов своей паствы.

За ними, в порядке последовательности, шли все мордовские селения, — обоих наречий «мокша» и «эрзя», и на последнем месте стояли русские общества. Среди последних издавна возникла и продолжала распространяться возмутительная секта «хлыстов», имевшая своим главным покровителем и вдохновителем, или «Христом», как его называли сами сектанты, богатого самарского купца Прохорова.

Организация этой «Прохоровщины» была широко раскинута по губернии. Всюду имелись свои «богородицы», вокруг

которых происходили в особо приспособленных для этого помещениях — обычно подвальных — тайные «радения». На подобные сборища сходились «верующие» обоего пола, пели свои стихи с восхвалением и вызыванием «Св. Духа», кружились, бесновались до самозабвения, до тех пор, покуда не «накатывал» на них всех сходявший «дух святой».

Браков хлысты не совершали, детей же признавали лишь тех, которые рождались у девиц после «радения» и «накатывания». В результате такого культа, в некоторых селах проживали целые порядки «келейниц» — обычно во все черное одетых девиц, но семейных, т.е. имевших своих детей, с точки зрения сектантской законных, по обычному же нашему пониманию незаконнорожденных.

Центром хлыстовщины, или по местному выражению, «Прохоровского корабля», в моем районе служило с. Кирилловна, где обреталась сама «богородица» и происходили радения. Допуская смешение удовлетворение половых животных инстинктов с проявлением душевных экстазов религиозного порядка, устанавливая соединение свального греха с признанием в нем божественного начала, секта эта собственно представляла собой не что иное, как обожествление разврата, являя собою социальное уродство людского сообщества, не встречаемое даже в животном мире.

Хлысты, фактически предававшиеся при отправлении своих сектантских обрядностей «свальному греху», в то же время официально заявляли себя верующими христианами, посещали православные храмы, и вне своих хлыстовских обрядностей, вели образ жизни скромный и внешне даже строго благочестивый.

Бороться с этой сектой неоднократно принимались и духовные и светские власти, но обычно безуспешно. Слишком

тайно, умно, осторожно вели себя «Прохоровцы», и совершенно обратно вели себя в деле сыска консисторские агенты и чины полиции.

Так или иначе, но существование секты вносило несомненный соблазн, хотя бы в виде образования особой группы келейниц, вокруг которых выросло особого рода безотцовское молодое поколение.

В некоторых селах подобных «сирот» было довольно значительное количество, и это обстоятельство еще более осложняло опекуновское дело в деревне, обратившее также мое внимание.

В деле сиротской опеки и защиты особенно часто переплетались закон и обычай. Упорядочить эту область представлялось мне вопросом большой важности. Повсеместно мною были заведены регистрационные списки сирот и их опекунов, проводились общественные приговоры по учету сиротского имущества и т.д.

Вспоминается по этому поводу одно в высшей степени характерное дело: скоропостижно умирает в с. Кирилловке богатый крестьянин Бугринский, после которого оказалось наследственное имущество. У скончавшегося старика остались в живых сын Кирилл и дочь Марфа. Первый был давно женат и незадолго до смерти отца был им выделен, так что жил с женой и детьми отдельно в собственном своем, наделенном родителем, доме, получив при выделе также и прочее немалое имущество — землю, скот, разную движимость и пр. Дочь же Марфа была незамужняя, жила всегда с отцом, который ее любил и ценил за хозяйственную помощь, несмотря на то, что она вступила в ряды келейниц и, года за три до внезапной кончины ее родителей, прижила «со стороны» (народное выражение) дочку Евфросинью.

Тотчас же после смерти старика Бугринского, Кирилл, жадный и грубый по натуре, пользуясь беспомощностью своей сестры, заявил претензию на оставшееся после умершего родителя имущество, выставляя себя единственным его наследником, и совершенно отстраняя свою сестру и ее трехлетнюю дочку, как незаконнорожденную.

В один прекрасный день к осиротевшему родительскому дому под ехали подводы. Кирилл со своими присными стал забирать ценное отцовское добро и отвез его к себе, угнав со двора даже часть скота. Узнал я обо всем этом лишь тогда, когда ко мне приехали с жалобой на Кирилла его сестра и Кирилловский сельский староста, не знавший, что предпринять против самоуправства молодого Бугринского, наотрез отказавшегося подчиняться его распоряжениям.

Как выделенный ранее своим отцом, Кирилл безусловно лишился прав на наследство, Марфа же просила не только за себя, но и за дочь, которая по букве закона считалась «незаконнорожденной».

В этом отношении, для установления опеки над ней представлялся единственный исход — обратиться к Кирилловскому сельскому сходу, который был вправе санкционировать назначение опеки над незаконнорожденной Евфросиньей, согласно «местному обычаю».

Пришлось мне самому присутствовать на собранном по этому поводу сходе Кирилловского общества, на котором старики высказались за возможность назначение опеки. Не забуду я высказанного на сходе мотива: «Чем же дитё виновато, что на Божий свет появилось?!»

Таков был гуманный глас народа, который и был положен в основание установление немедленной опеки. Это дало возможность возбудить дело в Мусорском Волостном Суде об истребовании от Кирилла Бугринского всего самоуправно забранного им имущества, в пользу его сестры Марфы, как дочери и опекунши.

В качестве общей черты того времени, надо сказать, что семейное начало стояло в местных нравах и обычаях довольно твердо. Бывали, конечно, семейные недоразумения, ссоры, тяжбы, но как исключение.

Вспоминаю то мое душевное состояние, когда, бывало, ко мне, юному и неопытному в жизни холостяку, обращались целыми семьями за советом и разрешением домашних ссор и претензий. Когда же я, неуверенный в целесообразности своих советов, отсылал их иногда в волостной суд, просители отмахивались и настойчиво добивались моего посредничества.

Временами приходилось выслушивать множество смущавших меня интимных подробностей деревенского семейного быта. Надо правду сказать: в описываемое время доверие среди населения к земским начальникам было безграничное, да и авторитет их стоял на должной высоте. Смешно вспоминать, но бывали случаи, когда я мирил супругов, возвращая мужу строптивую его жену. Но встречались и иные казусы, когда приходилось советовать родителям брать временно обратно к себе дочь-молодуху, во избежание дальнейших ее мучений, испытываемых от ее пропойцы-мужа. Однажды, присутствовавший тут же отец сына-пьяницы вымолвил: «И правильно: пусть вздохнет бабенка, а я тем временем, с сынком по-свойски покалякаю — небось, живо исправится, тогда и за женой вновь пошлем. Так что ли, старики-сватушки?» На этом порешив, все удовлетворенные пошли к себе по домам.

Престиж старшего в семье в то время еще свято чтился и крепко стоял. Самый закон о семейных разделах этот строй в целости поддерживал. Ввиду полного сочувствия моего к такому порядку вещей, мне оставалось лишь следить за неослабным применением закона на практике.

34

Вернусь я теперь к вопросу о том, как и что приходилось делать мне, как земскому начальнику, в случаях, когда нарушалась обычная трудовая жизнь деревни какими-либо бедствиями стихийного характера или от преступных умыслов — отдельных злонамеренных лиц.

Что касается эпидемий, эпизоотий, так часто посещавших наше Поволжье, то с этими бедствиями боролось главным образом губернское земство. Земские начальники были лишь пособниками на местах.

Пожаров было немного, в большинстве случаев ограничиваясь небольшим количеством дворов. В деле борьбы с этим деревенским бедствием Ставропольское уездное земство со своей стороны предпринимало ряд мер, из которых одной из наиболее существенных считалось повсеместное устройство в уезде т.н. «глинобитных» крыш. Крестьянские соломенные крыши являлись главными распространителями деревенских пожаров, и в этом отношении плетневые, обмазанные глиной покровы домов и дворов на практике несомненно служили наилучшими предохранителями от распространения огня.

Следить за проведением в жизнь указанных обязательных постановлений и карать непослушных — земством было возложено на земских начальников. Это создавало для них хлопотливый труд. Много уговоров и немало времени затрачивалось

всеми нами на этот предмет. Частично кое-где удавалось добиваться успеха, но, в общем, благое земское намерение осуществлялось туго по многим причинам, в некоторых местностях безусловно уважительным, как например, в степных, где лесного материала невозможно было достать.

Спустя лет пять, постановление это было самым земством отменено, да и в деревнях стали больше переходить на тесовые и даже железные крыши, чему очень способствовала разумная политика страхового отдела губернского земства.

Случались кое-где при мне «красные петухи» — поджоги, особенно часто одно время имевшие место в селе Мусорке. Народ жестоко реагировал на это зло. Когда были пойманы оба поджигателя, оказавшиеся известными на селе хулиганами и ворами, Мусорское сельское общество постановило сослать обоих в Сибирь, благодаря чему вся местная округа была избавлена от постоянных страхов за целостность имущества. Это был единственный за всю мою четырехлетнюю практику случай применения законом предоставленной сельскому сходу столь исключительной и суровой дискреционной меры.

В отношении воровства в моем участке обстояло сравнительно благополучно: случались покражи леса, большей частью в Курумчанском районе, и в начале моей службы развито было в значительной степени конокрадство, но и оно исчезло после того, как удалось «выудить» заядлых профессионалов этого воровского спорта, которые были удивительными мастерами своего дела.

Усиленного браконьерства тоже не замечалось, несмотря на обилие в моем участке дичи и зверя. Очевидно, лесная стража казенного и, в особенности, удельного ведомств исполняла свое дело добросовестно.

В этом отношении не все обстояло благополучно как раз по близости от самого земского начальника — в Ново-Буяновском районе, где в Ушковских лесных и овражных «крепких» угодьях царствовал некий Саккадеев, известный на всю округу охотник, завзятый браконьер, не имевший ни охотничьего билета, ни владельческого разрешения. Никто не решался притянуть его к ответственности из-за страха перед его жестокой мстительностью, да и уловить его, как мне говорили, не было никакой возможности: это был настоящий бродячий, лесной, осторожный, сметливый, хищный зверь... Все отзывались о нем с боязнью и меня предупреждали о его злобе. Весной (1895 года) как-то собрались мы со сторожем «комитетской» чайной Золотаревым на глухариный ток в Моховой Бор, — куда мы забрались в самую еще темь — в глухую полночь, как это требовалось условиями этой охоты. Каждый из нас расположился ко временному отдыху и сладкой для охотничьего самочувствия выжидательной дреме. Пройдет еще какой-нибудь час и придется весь свой чуткий слух настораживать над пробуждением лесного птичьего царства.

Устроившись у корня сосны, мы замерли. Прошло немного времени. Небо оставалось еще ровным без проблеска зари, как вдруг до нашего слуха стали доходить из лесного далека чьи-то шаги, мерные, неторопливые и несомненно людские. Мало-помалу шаги эти, явственно раздававшиеся, благодаря подмороженному насту, приближались к нашему месту. «Барин, слышка, — прошептал мне на ухо взволнованным голосом Золотарев: — это не иначе, как Саккадеев!.. Опричь его, некому больше шататься по здешним местам!..» — «Не робь, Золотарев, — ответил ему я: дичь хорошая, почище глухаря, коли удастся взять!» С этими словами я приказал ему встать за другую сосну кинуться мне на помощь, если позову. Сам я остался на месте, взведя на

всякий случай курки. Через некоторое время шаги раздались вплоть около нас. Человек остановился, очевидно раздумывая, куда идти. На нашем месте как раз скрещивались два оврага. Пристально вглядываясь в темноту, я все же никак не мог разобрать силуэта пришедшего бродяги. Вдруг чиркнула спичка; и я в нескольких шагах от себя увидел освещенную на минуту физиономию закуривавшего свою «носогрейку» ночного пришельца, по всем приметам подходившего к облику пресловутого браконьера. Спичка была брошена, осталась приметной лишь точка раскуриваемой трубки. Я решил действовать. Моя ближайшая цель была прежде всего — отобрать его оружие. Быстро подойдя к нему, я назвал его. Видимо огорошенный, Саккадеев отозвался, бросив мне хриплым голосом: «чего тебе, леший, нужно, аль не знаешь Саккадеева?»

Убедившись, что это тот самый, за которым я столько времени охотился и, боясь, что и теперь, того и гляди, этот лесной зверь из моих рук ускользнет, я, очевидно побуждаемый сам хищным инстинктом охотника, захватил левой рукой его за грудь, другой, что было силы, обхватил бродягу за шею и крикнул Золотарева на помощь. Судьба помогла мне во всем — ружье и кинжал были отобраны, сам Саккадеев был нами связан по рукам и ногам. Золотарева я просил остаться при нем, пока я пробуду в лесу на охоте. Рассвет наступил быстро — мне удалось подскочить к одному глухарю и выстрелом свалить его с сосновой верхушки. Часов около семи утра вернулся я в Буян с полем — в ногах валялся пятифунтовый красавец глухарь, а со мной рядом сидел хмурый, худой с затравленно-озлобленным видом, седой щетиной обросший, старый хищник Саккадеев (или «Саккадев» по простонародному выговору). Не медля, я в своей камере составил протокол на него и вынес приговор с высшей ме-

рой наказания, само собой навсегда отобрав от него все охотничье оружие. Когда, по окончании и прочтении приговора, я объявил ему порядок обжалования и сказал, что он может теперь идти домой, Саккадеев, злобно сверкнув глазами, промолвил: «какой я теперь Саккадев! шабаш ноне, порешу свое дело, пойду, отсижу, да и в караульщики на угольные ямы попрошусь! Стар видно стал, а то бы во век не поймать вашему брату Саккадева! Да и то Господь наслал на меня беду — собачонка сдохла моя, а то бы и ноне не был здесь!» Тем дело и кончилось. Саккадеев сдержал свое слово — ремесло браконьерское с великой той досады бросил и занялся на самом деле окарауливанием угольных ям в Ушковской экономии. Меня же в округе стали остальные более мелкие самовольные охотнички не на шутку побаиваться, и браконьерство, даже в Ново-Буяновском районе, за последние годы моей службы стало редким явлением.

По части браконьерства случались иногда забавные эпизоды. Однажды, залезая ночью перед тетеревиным током, в бурке и с фонарем в руках, внутрь мною же самим накануне устроенного из веток шалаша, я наткнулся на удобно расположившегося в нем одного Михайловского мужичка-охотничка. Надо было видеть его перепуганную физиономию и слышать все те клятвы, которые он надавал своему земскому в зарок дальнейшего мирного поведения! Все же главное наказание он претерпел тут же — его одностовалка перешла в казенный арсенал.

А вот еще случай. Февраль. Тихая, яркая, лунная ночь. В накинутах на полубубок белом холщовом балахоне и с таким же чехлом на голове, стою я на гумне деревушки Сергеевки, расположенном у опушки дубовой рощи, в полуверсте от самого селения. Жду обычных ночных посетителей гуменного корма, прожорливых зайчишек, — пушистых, жирных русаков.

Охота эта не добычливая, но интересна по необычайности фееричной обстановки. При свете небесного фонаря, как подвешенного Миротворцем на невидимый крюк под самый купол вселенной, — все вокруг представлялось в каком-то сказочно-таинственном виде. Самый снежный покров был похож на мягко-голубоватое покрывало, сплошь затканное мириадами переливавшихся ярко фосфорическим блеском алмазов. В такое время все в природе принимает какую-то причудливо-неестественную форму: сам заяц, подбирающийся пластичными скачками к своему излюбленному гуменнику, кажется тоже каким-то необычным существом, да и прицел по нему бывает при лунном освещении также обманчив.

Итак, стою я в этой чудесной обстановке и тиши, наслаждаюсь и выжидаю. Издали по снеговому насту послышались не то шаги, не то заячьи прыжки. Притаившись около занесенного снегом «шиша» (род сушилки), взвел я на всякий случай курки и замер недвижимо, чтоб не спугнуть чуткого ночного воришку-грызуна... Но вот, вместо него, на снежном поле, отделявшем гумны от деревни, явственно показалась фигура человека, приближавшаяся прямо по направлению к тому месту, где я стоял в своем белом одеянии Ближе и ближе — наконец, шагах в десяти, останавливается и пристально начинает всматриваться в мою покрытую саваном, сказочно-страшную фигуру. Тогда, во избежание возможной случайной неприятности, видя в руках у моего ночного визитера тоже ружье, я предпочел обнаружить себя и ободрить его, крикнув: «Не бойся, это я...» Но дальше я не успел себя назвать, ибо произошло следующее: мужик заорал, как говорится, благим матом: «Караул! Чур меня! Свят, свят!» Когда же я отделился от его «шиша» (оказалось, он шел проверять сушку своего зерна), бедный его хозяин, бросив в снег свое

ружьишко, со всех ног пустился бежать обратно домой на село, продолжая неистово вопить и звать на помощь.

Во избежание всяческих осложнений, связанных с ночным переполохом в деревне, я, подобрав брошенную одностволку типа «самопала», предпочел скорее добраться до стоявшего около опушки кучера моего Николая и поторопился вернуться к себе в Буян, отстоявший от Сергеевки всего в шести верстах.

На другой день появился ко мне Ново-Буяновский старшина и с улыбкой доложил мне, что у него был Сергеевский сельский староста, который, со слов его односельчанина, уверял о появлении у них на гумнах нечистой силы в лице какого-то белого чудища... Тогда я велел показать подобранное мною ружье, и поведал старшине все, случившееся со мной. Курьез получился еще тот, что хозяина этого ружья не оказалось — тот, который старосте передавал о нечистой силе, тоже наотрез отказался от собственного своего самопала.

Коснусь теперь одной области деревенского быта, которую я не мог оставить без должного внимания. Хочу сказать несколько слов о том, что принято называть — народным пьянством.

В первые два года своей службы я застал еще частную или, как ее называли, вольную продажу крепких напитков. Существовали две-три фирмы виноторговцев (Дунаева, Маркова, Сачкова), которые конкурировали между собой и всяческими коммерческими способами распространяли по деревням свое зелье.

Ограничительные требования закона, регулировавшие качество винного продукта, место и время его продажи, умело обходились этими фирмами, в целях собственной наживы и во вред сельскому населению. Хотя за всем этим и полагалось

наблюдать местной полиции и крайне ограниченному числу агентов государственного фиска, но обход закона всюду царил безнаказанно. Во всех больших селах существовали шинки, торговавшие недоброкачественным вином в ненадлежащих местах и в запретное время, даже ночью.

Проездом из Ставрополя к себе в Буян в ночное время, я иногда останавливал своих лошадей посреди села Узюкова и прислушивался. Таким образом мне удавалось обнаруживать тайные притоны ночного разгула и привлекать виновных к ответственности.

Казенная винная монополия внесла серьезное упорядочение в дело производства водочных изделий и их продажи. Всюду был установлен многоголовый и строгий контроль, с подбором добросовестного персонала. Самое введение монополии сопровождалось весьма благотельным для населения правительственным распоряжением — ассигнованием Министерством Финансов довольно крупных средств на организацию мер по борьбе с пьянством.

Благодаря этому, удалось во многих пунктах уезда основать ряд полезных просветительных учреждений и развлечений для народных масс.

Одно из таковых возникло и в моем участке, в селе Новом Буяне, в виде превосходного обширного здания в центре селения, около базарной площади, под наименованием «Народного Дома Комитета Трезвости», в котором помещались чайная и библиотека-читальня.

Помимо средств, полученных мною из уездного Комитета (около 10.000 р.), в деле устройства и оборудования этого комитетского учреждения существенную помощь оказала мне мест-

ная Ушковская экономия. В Доме Трезвости сходились крестьяне, получали чай, холодную закуску; особо приглашенные мною мальчики из бывших школьников предлагали грамотным газеты, а неграмотным сами читали их вслух. В особой комнате имелась библиотека с разнообразным комплектом книг. Каждое воскресенье по вечерам я устраивал волшебные картины, привлекавшие целые толпы народа, битком заполнявшего здание чайной.

Потребность населения в таком полезном и интересном развлечении, носившем несомненно здоровый просветительный характер, была ощутительная. В зимнее время, при демонстрации мною картин, помещение чайной представляло собой сплошное море голов, бабьих платков, полушубков, от которых исходило такое густое испарение, что потухал огонь в лампе, изображение на экране блекло и, в конце концов, совершенно исчезало.

Положение создавалось отчаянное, и приходилось делать частые перерывы для вентиляции зрительного зала, но публика была терпеливая и благодушная, во всяком случае, не избалованная и невзыскательная...

Показывались обычно картины религиозно-исторического содержания. Подбор их оставлял желать лучшего, но что в особенности меня не только не удовлетворяло, но прямо-таки раздражало — это предусмотренное в министерском циркуляре условие, лишь при соблюдении которого допускалось применение волшебного фонаря, коим ограничивалась роль оператора в отношении пояснительного толкования показываемого на экране сюжета. Разрешалось только доводить до сведения публики краткое наименование картин. Если, например, на экране появляется верхом на белой Лошади генерал Скобелев, то, согласно букве инструкции, приходилось ограничиваться лишь

следующими словами: Это — генерал Скобелев, известный герой Турецкой кампании и на этом кончать все пояснения.

К глубокому сожалению, с моим уходом из земских начальников, налаженное дело разумного народного развлечения приостановилось. Вся постановка читальни-чайной, которая сама себя стала окупать, все это, несомненно благое для народных масс начинание, в руках престарелого А.Ф.Виноградова, моего заместителя, замерло и вскоре было закрыто.

Очевидно, в Петербурге боялись замаскированной антигосударственной пропаганды, но казалось бы — для земских-то начальников надо было бы сделать исключение!

Помню я, как при первоначальных моих сеансах во мне происходила борьба чувства долга и присяжной подчиненности с требованиями моей совести и здравого рассудка. Последнее в конце концов побеждало, и я невольно увлекался и делился с темным народом своими посильными познаниями.

До появления в деревнях земских начальников, пьянство среди сельских и волостных должностных лиц было обычным явлением, которое, благодаря Новому Положению, устанавливавшему близость и строгость надзора, стало исчезать.

В моей практике за все четыре года пришлось лишь двоих старост уволить за пьянство при отправлении ими своих служебных обязанностей. Применять к должностным лицам 61 ст. Положение о Земских Участковых Начальниках я не любил, предпочитая, вместо штрафованных, иметь во главе обществ свежие силы, ничем себя не скомпрометировавшие. Также лишь в исключительно редких случаях пользовался я своей дискреционной властью и по 62 ст. Положения, не желая зря при-

туплять острие предоставленного мне карательного меча и стараясь приучать население слушаться слова их начальника, а не страха наказания.

35

Считаю небезынтересным отметить те случаи, когда мне приходилось действовать вне рамок компетенции занимаемой мною должности.

Так, в 1894 году Правительством было возложено на нас, земских начальников, руководство работами по всеобщей переписи, представлявшей собой очень сложную схему, в некоторых отношениях неясно отредактированную, и требовавшую в силу этого постоянных дополнительных инструктивных разъяснений из центра.

На нашу долю выпало нелегкое задание набрать достаточное число местных счетчиков и затем стать их непосредственными руководителями и наблюдателями по точному ими выполнению порученной статистической работы исключительной срочности и государственной важности.

Трудность этого положения, главным образом, заключалась в установлении согласованного понимания всеми счетчиками статистических заданий.

Техника осуществления переписи для сельского люда была сложная, включая в себе целый ряд различных форм ее требований. Предварительно, самим земским начальникам приходилось неоднократно собираться для обсуждения их понимания и в целях согласованности действий. Приезжало к нам для соответствующих руководственных разъяснений даже особо командированное из столицы сановное лицо — Член Совета Министра Внутренних Дел, Тайный Советник Морозов.

В общем, перепись прошла сравнительно благополучно. За редкими исключениями, счетчики оказались на высоте оказанного им доверия. В их состав мною было привлечено из местного населения решительно все мало-мальски грамотное и сметливое.

В первую голову на эту работу была приглашена мною вся деревенская интеллигенция — духовенство, весь учительский персонал, хуторяне, разные приказчики, лавочники и т. п., не говоря уже обо всем писарском сословии, волостном и сельском, для которых возложенная на них по переписи работа оказалась хорошим экзаменом.

Во всяком случае, несколько месяцев предварительной и десятков дней завершительной работы сблизили всех нас — участников этого исключительного для деревенской жизни события. Пережитое время лихорадочной и ответственной нашей деятельности всегда нами охотно потом вспоминалось, и все бывшие счетчики не без гордости впоследствии носили на своей груди присланные им за перепись медали на трехцветной национальной ленточке.

Население всего нашего Ставропольского уезда, включая татарское, отнеслось к переписи спокойно и доверчиво. Не то было в Бугульминском уезде, где среди мусульман возникло серьезное брожение на почве распространенных злонамеренными людьми слухов, будто бы о желании Правительства переписать всех мусульман для обращения их в христианскую веру. В некоторых татарских селах этого уезда брожение вылилось в открытые бунты с категорическими отказами пускать к себе счетчиков. На места были вызваны войска, и сам губернатор ездил на усмирение взбунтовавшихся татар, завершившееся применением жестоких карательных мер.

Другой случай моей, если можно так выразиться, экстренной деятельности, не предусмотренной компетенцией земского начальника, связан был с участием моим в занятиях сначала особого Уездного, а затем — Губернского Комитета по пересмотру крестьянского законодательства, в соответствии с присланной из Петербурга программой, состоявшей из «66 пунктов».

Работа в Уездном Комитете была сведена, за редкими поправками и дополнениями, к принятию той докладной, по всем программным пунктам, записки, которая, по поручению Ставропольского Уездного Съезда, составлена была, Г.К.Татариновым и мною, о чем я в своем месте упоминал.

Что же касается участия в Губернском Комитете, то для работ в нем из всей губернии Губернатором было вызвано три земских начальника: из южного района — Петр Владимирович Кругликов — дельный и обстоятельный служака, имевший резиденцию в местечке Покровской Слободе с 45.000 душ населения; из средней зоны губернии, от Бузулукского уезда — Дмитрий Яковлевич Слободчиков, способный, ловкий карьерист; и третьим был я, очевидно, как представитель от северной части губернии.

Общий состав Комитета, заседания которого происходили в течение двух недель под председательством Начальника губернии А.С.Брянчанинова, был многочисленный, и работа сводилась к заслушиванию и сводке обширного материала, представленного от всех уездных комитетов. Цензура со стороны Губернатора отличалась нетерпимостью, главным образом в смысле сохранения в полной неприкосновенности сельской общины со всеми ее специфическими свойствами: круговой порукой, земельным закреплением и т. п. Таков был дух времени.

Судьба трудов по разработке «66 пунктов» правительственной программы известна: весь этот огромный и несомненно поучительный материал сделался достоянием министерского архива без малейших последствий. Спустя лишь восемь лет, все тот же заботливый Петербург вновь взбудоражил провинцию и местные общественные силы, пригласив их, по почину Витте, высказаться по вопросам почти аналогичным прежним пресловутым «66 пунктам», тоже в особо образованных местных комитетах, но лишь под другим наименованием — в т.н. «комитетах о нуждах сельскохозяйственной промышленности».

В то время я был уездным Ставропольским Предводителем и вел означенную уездную работу под своим председательством, но об этом скажу ниже в своем месте.

Едва ли нужно говорить, что, набрасывая свои воспоминания, касавшиеся сущности деятельности моей, как Земского Начальника, я не имею возможности с достаточной полнотой описать все то, что приходилось встречать на своем разнородном служебном пути. Ранее я отметил, что компетенция этой должности была многосторонняя и не укладывалась ни в какие ограничительные рамки формального закона, предоставляя большой простор живой творческой работе на благо и пользу своего ближнего. В силу этого, деятельность земского начальника не только возбуждала мой интерес, но в течение всей моей четырехлетней службы продолжала неослабно увлекать. Не без грусти пришлось мне ее покинуть, ввиду совершенно неожиданного избрания меня в члены Губернской Земской Управы.

Слабая сторона обстановки деятельности земских начальников, являвшаяся, к глубокому сожалению, дефектом всего служебного механизма Империи, заключалась в отсутствии здоровой планомерной ревизии, которая объединяла бы работу на местах и содействовала бы в нужных случаях правильному и

единообразному пониманию и применению соответствующих законоположений. Правда, функции эти законом были предусмотрены и отнесены к компетенции Губернских Присутствий, явившихся по духу Нового Положения о земских начальниках своего рода местными сенатами, с широкими правами контролирующих и разъясняющих учреждений, а для некоторых дел представлявших даже высшую кассационную инстанцию. Но Губернское присутствие, в силу целого ряда причин, оставалось, к сожалению, для всех нас, местных работников, слишком далеким, скорее канцелярским установлением, издававшим лишь всевозможные циркуляры и не представлявшим собою того живого общения с нами, в котором мы так нуждались.

Тем не менее, подобную связь было бы легко установить именно путем планомерной организованной ревизии.

Фактически происходило следующее: за все четыре года моей службы ко мне заявился для ревизии из Самары лишь один раз некий Николай Константинович Попов, непременный член Губернского Присутствия, бывший ранее нотариусом, пожилой, симпатичный, мягкого характера господин, пробывший у меня в канцелярии несколько часов, просмотревший наскоро кое-какие книги и дела, просчитавший судебные марки и во всем меня на прощанье похваливший... Этим вся ревизия и ограничилась. На все вопросы, которые меня так интересовали, получал я один ответ: — «Приезжайте в Самару — там поговорим...». Ни в одно волостное правление Попов не заглянул.

Вообще у нас в матушке-России велся порядок, для меня всегда казавшийся ненормальным: законы писались строгие, но разумного, планомерного надзора за ходом управление не было. Под понятием «ревизия» обычно разумелось ниспослание свыше на ту или иную служебную инстанцию карательного воздействия за какое-либо содеянное правонарушение, вместо

того, чтобы из этой меры создавать ту органическую живую связь, о которой я выше упоминал и которая только и могла бы гарантировать отождествление писанного закона с его исполнением. В этом отношении у меня было всегда различное понимание с окружавшей меня служебной обстановкой, начиная с земского моего начальничества и кончая временем управления мною министерством. Вспоминается мне, между прочим, характерный диалог, относящийся к 1915 году — между мною и товарищем министра Г.В.Глинкой при первых его докладах мне по продовольственному вопросу. Когда я его спросил, в каком виде предшественником моим — А.В.Кривошеиным установлен был контроль над продовольственными агентами на местах? — Глинка мне нервно ответил: «А.В. этого обстоятельства совершенно не затрагивал, считая не деликатным выставлять перед земскими и общественными деятелями, самоотверженно предложившими свои безвозмездные ему услуги, вопрос об их обревизовании. Мы ограничивались лишь их отчетностью».

Насколько в начальный период моей службы я сам для себя искал интересной и полезной для дела ревизии, настолько в последующие периоды моей общественно-государственной деятельности я сам, уже в качестве руководящего лица, осуществлял в служебной жизни все то, что считал необходимым в деле контроля и надзора для достижения порядка и успеха всякого дела. Так, в бытность мою Министром, несмотря на взгляды моего предшественника Кривошеина, я не медля по всем наиболее важным районам Империи установил надлежащую планомерную ревизию, которая при соответствующих с моей стороны попутных разъяснениях, была принята всей нашей местной общественной агентурой благожелательно, разумно и без всякого с их стороны протеста.

Такой практики я всегда держался и в частном моем хозяйственно-коммерческом деле, дававшей самые положительные результаты: оказывая широкое доверие своему ответственному служащему, я наряду с этим требовал у него строжайшей отчетности и подвергал его периодическому контролю. На этих началах я мечтал в свое время пересмотреть схему функционирования всего государственного механизма Империи, в связи с реорганизацией для этого Правительствующего Сената и распределения России на особые ревизуемые районы. В этом отношении я встречал живое сочувствие со стороны разных слоев общественного и служилого люда.

37

Скажу несколько слов о своем участии в работах Ставропольского Уездного Съезда. Председателем его, при вступлении моем в должность, состоял Уездный Предводитель Дворянства Борис Михайлович Тургенев. К сожалению, он вскоре вынужден был по семейным обстоятельствам покинуть свой пост, и трехлетие заканчивал, в качестве его заместителя, кандидат Уездного Предводителя, Алексей Павлович Наумов, бывший сумской гусар, никогда ничего общего ни с хозяйством, ни с крестьянским бытом не имевший, знавший свое великолепное приволжское, старинное родовое имение при с. Архангельском лишь со слов своего управляющего, Николая Ивановича Смирнова. Съездовская работа была для него темным лесом, в котором он, бедный, плутал и страдал. По этой причине, судебная часть целиком велась Уездным Членом Суда С.А.Сосновским, а административная работа Съезда протекала обычно под председательством земского начальника, Тихона Андреевича Шишкова.

Заседание Съезда происходили регулярно ежемесячно; не было лишь апрельской сессии, ввиду бездорожья и наступление весеннего сева. Ранее съезжались в город Ставрополь земские начальники и все вызванные лица, причастные к разбирательству дел. С северной и северо-восточной части уездной территории приходилось делать в один конец до города около 150 верст. Во избежание такого рода неудобств, разрешено было производить половину съездовских заседаний в посаде Мелекесе, являвшемся наиболее центральным местом для всей северной половины уезда.

Об участии в этих заседаниях у меня остались лишь самые добрые воспоминания: в деловом отношении ощущалась всесторонняя налаженность и серьезная, толковая подготовка, как по судебным делам, так и в отношении административного разбирательства. Чувствовалась опытная рука главного рычага съездовского механизма — секретаря, Алексея Осиповича Старкова, способного, неутомимого работника.

Взаимные отношения членов Съезда были самые дружеские. Со временем, к сожалению, в силу перемен в личном составе, когда стал входить в съездовскую семью чуждый для помещного дворянства элемент, характер этих взаимоотношений коренным образом изменился: семья превратилась в чиновную коллегию.

Впрочем, как и во всякой семье, так и среди нашей съездовской, случались между некоторыми из ее членов недоразумение и ссоры, но все это обычно завершалось миролюбиво. Особенно взаимной нетерпимостью отличались двое из ставропольцев — С.А.Сосновский и М.П.Яровой, которых нередко приходилось мирить.

Лично я ближе всего сошелся с С.А.Сосновским, Т.А.Шишковым, М.М.Лентовским, Г.К.Татариновым и Н.Д.Волковым. На

съездовских сессиях работы было много, но все же мы находили время собираться иногда где-либо и вне стен Съезда. В Ставрополе обычно нас приглашал к себе Сосновский, у которого играли в карты и любили слушать музыку в превосходном исполнении его супругой, симпатичной Софьей Осиповной, излюбленного ею классического репертуара.

В Мелекессе весь личный состав Съезда приглашался и охотно бывал у посадского головы Константина Григорьевича Маркова. По поводу него скажу несколько слов. Имя его пользовалось заслуженной известностью не только в Ставропольском уезде, но было весьма популярно во всем Самарском Поволжье. Отец мой мне рассказывал, что в былые времена его поместной службы, ему нередко приходилось заезжать в небольшой поселок, называвшийся посадом Мелекессом, где существовал трактир Марков с сыновьями, в который заходили господа пить чай и закусывать. Старику-хозяину помогали разносить гостям пищу и питье его молодцы-сыновья, которые впоследствии, после смерти их отца, образовали торговый дом, повели счастливо дела и заметно выдвинулись во всей округе.

Особой сметливостью и деловитостью отличался Константин Григорьевич. Благодаря ему, не только личные дела их торгового дома ширились и умножались, но и сам Мелекесс из года в год процветал, улучшался, рос воистину американским темпом.

На моих глазах этот посад превратился в большой городской центр, с прекрасными многоэтажными домами, улицами, магазинами, электрическим освещением и пр. Росту и благоустройству Мелекесса значительно способствовало проведение Волго-Бугульминской железной дороги, соединившей Симбирск с Уфой.

Дело это тоже не обошлось без энергичных хлопот со стороны того же Константина Григорьевича, сумевшего в качестве посадского головы сначала добиться устройства Мелекесского подъездного пути к Симбирску. Посадские жители бесменно в течение многих лет выбирали Маркова своим головой.

В частной жизни Константин Григорьевич был простой, гостеприимный хозяин, не отличавшийся изысканными светскими манерами, подчас даже несколько грубоватый.оборот его речи был скорее простонародный, и нередко вырывались у него выражения далеко не литературного свойства.

Константин Григорьевич был очень ценным участником в земской жизни, будучи выбираем постоянно гласным не только уездного, но и губернского земских собраний. Он не любил зря болтать, больше работая в разных комиссиях, и если выступал на собраниях, то немногоречиво, всегда толково и дельно.

Во время Мелекесских съездовских сессий мы пользовались гостеприимством головы, любезность и внимание которого временами бывали даже излишне предупредительны.

Излюбленным развлечением большинства служилого уездного люда были карты — игра в т.н. винт, за которым некоторые любители способны были просиживать целые ночи напролет. Меры в этом отношении, как впрочем и во многом другом, русский человек не знал.

Беда, бывало, смотреть на этих горе-винтёров, вялых, не выспавшихся после ночного картежного азарта, вынужденных приходить с раннего утра на заседание съезда. Ни мысли, ни интереса, тем более рабочей энергии от таких завязятых картежников нельзя было ожидать. И так по всей матушке России!

Часто я задумывался над этой фатальной стороной дела, задавая себе в мечтах вопрос — что было бы с государством,

если бы по свойствам своей натуры умный, способный и сердечно-чуткий русский человек употреблял на пользу и могущество своей родины все то огромное время и все те мыслительные и физические силы, которые он так безжалостно тратил на карточную игру?!

Сам я в карты редко играл, исключительно ограничиваясь Буяном и его милыми обитателями, с которыми обычно за винтом мы больше шутили и беседовали, чем всерьез играли, к тому же, долго засиживаться никому из нас было нельзя — у всякого трудовой день начинался рано. Сыграем, бывало, лишь роббера три, да разгонный на прощанье..., а там за шапки и по домам. За пределами Буяна я в карты не садился, не имея к ним особого влечения и боясь прослыть за игрока — невольно пришлось бы тогда участвовать повсеместно в непрерывных партиях. В этом отношении, я особенно дорожил свободой и временем, да и сидеть бесконечное число часов за карточным столом надоедало, предпочитал подбирать себе компанию для прогулок и поездок по ближайшим окрестностям, устраивал в Ставрополе пикники, катанья на лодке по Волге, перебирался на Жигулевскую горную ее сторону, лазил по зеленым скалам — забирался на крутые вершины «Молодецкого», «Девичьего» курганов, отдаваясь целиком наслаждению любоваться просто-ром, красотой и величием Волжской природы.

Дома у себя в Буяне, несмотря на массу интересного и увлекательного для меня служебного дела, я все же имел достаточный для отдыха досуг, который я употреблял преимущественно на охоту, тем более, что окрестности Нового Буяна, даже ближайшие, представляли собой живописнейшие места, пригодные для моего любимого спорта во все времена года. Первый период моей службы, ввиду запущенности участка, не давал мне возможности часто пользоваться этим развлечением; но

зато в последующие годы я был более хозяином своего времени, и мог чаще отдаваться своей страсти, исходив и изъездив вдоль и поперек Буяновские чудесные уголья.

Осенью съезжалось ко мне много народу на устраивавшиеся мною в конце октября или начале ноября облавы. Успех их бывал временами исключительный.

Обычным участником моих осенних облав был специально подъезжавший к этому времени незабвенный Константин Капитонович, но обо всем этом хотелось бы мне написать особо, отдавшись цепком своим охотничьим воспоминаниям. Не раз в беженском изгнании я переносился в сладостных мечтах в сказочные по своей девственной красоте Буяновские места, в их таинственную лесную овражную крепь, называемую «Барской Дубравой», где так хотелось бы хоть на одно мгновение вновь прислониться к могучей, вековой, «счастливой» сосне, под сенью которой довелось мне уложить на облавах до пяти волков. Привольное, незабываемое то было время!

Выезжать за пределы своего участка мне приходилось довольно часто для участия в работах Уездного Съезда в Ставрополь и Мелекессе, два-три раза в год навещал я также своих стариков в с. Головкино, где они проживали в одиночестве, так как оба старших моих брата служили в то время в г. Буинске Симбирской губернии.

Любил я навещать не только своих родителей, но и само Головкино, столь дорогое мне по воспоминаниям детства и юности. Пройтись по вековой Екатерининской липовой аллее; завернуть в излюбленные уголки милого моему сердцу Головкинского сада, свидетеля моих детских игр и юных мечтаний — было для меня истинным отдыхом и наслаждением..

В отцовское хозяйство я мало вникал, тем более, что старик этого не любил, советуясь лишь со своим старым несменяемым сотрудником — малограмотным, но толковым приказчиком Феодором Афанасьевичем. В описываемое время отец был еще полон сил и энергии — всюду, во всех хозяйственных мелочах поспевал разбираться сам и не держал у себя даже конторщика.

Присутствуя аккуратно на церковных службах в качестве старосты, отец еле успевал после обедни выпивать свою объемистую зеленую чашку холодного крепкого чая. На его крыльце к тому времени скапливалась масса работавших в течение истекшей недели поденщиков с жестяными бляшками в руках для получения по ним причитающейся заработной платы. Отец усаживался к окошечку, вделанному во входной двери, принимал бляшки с проштампованными на них цифрами и выдавал соответствующее количество денег. Процедура эта длилась, бывало, до поздних часов, особенно в страдное летнее время, что не мешало отцу по вечерам, в виде отдыха, играть в нижнем кабинете, свои излюбленные вещи на виолончели.

Мама любила чтение, работу, особенно на пядлях и плетение кружев коклюшками; вела домашнее хозяйство и с увлечением руководила садовыми работами, разводила отличные сорта всевозможных ягод, наготавливала на зиму запасы всяких варений, цукатов, солений, наливок и пр., рассылая их своим взрослым птенцам, не обижая и меня в том числе.... Как все это было всегда заботливо, хозяйственно заготовлено, и как все это было вкусно!

К братьям в Буинск мне было труднее попадать — приходилось испрашивать специальные отпуска для того, чтобы выезжать не только за пределы участка, но и губернии. Все же за время моего земского начальничества мне удалось их навестить

раза три или четыре. Из этих поездок одна остается в особенности мне памятной, благодаря исключительной ее обстановке.

Брат Димитрий заведывал в Буинске обширным удельным имением, соприкасавшимся с необъятными лесными массивами Симбирской и Нижегородской губерний, расположенными по многоводному Волжскому притоку, реке Суре. Димитрий продолжал оставаться страстным охотником, несмотря на сросшуюся в локте от ревматизма правую руку.

Попав в Буинск и получив в свое заведывание девственные леса, оказавшиеся обиталищем всевозможных зверей, вплоть до громадных бурых медведей, он не преминул воспользоваться своим положением и, пока позволяло ему здоровье, неоднократно устраивал медвежьи охоты совместно с Буинским Предводителем Дворянства, Николаем Михайловичем Терениным. Обычным их спутником бывал известный в округе знаток охотничьего ремесла и быта, некий Петр Дмитриевич (Митрич) Мокринцев.

Димитрий знал мою страсть и горячее желание как-нибудь попасть на никогда не испытанную мною медвежью охоту. И вот, в конце декабря 1894 года, перед самыми Рождественскими праздниками, получаю я от него телеграмму такого лаконического содержания: — «Медведь верный. Немедленно приезжай».

Испросив себе, тоже по телеграмме, отпуск, я поспешил в Буинск проездом через Головкино. Весь путь пришлось сделать на лошадях — до Головкина около 150 верст, да от Головкина до Буинска еще около 70.

В то время брат был уже четыре года как женат на редко симпатичной Ольге Александровне, урожденной Терениной, о

которой я упоминал выше. Занимали они уютную, довольно обширную квартиру — беленький домик особняк с мезонином и террасками. Мой брат был любителем домашней культуры всевозможных пальм — особенно т.н. «кенций». Он их сам сажал, выращивал — все комнаты представляли собой зеленый сад. Детей у них тогда еще не было, но родных и знакомых бывал всегда полон дом.

Брат Николай, занимавший в то время должность земского начальника 1-го участка, имел резиденцию в самом Буинске, маленьком захолустном уездном городке. Жил он отдельно от Димитрия, занимая одноэтажный флигель-особняк, где у него помещалась канцелярия и камера.

Буинское общество состояло главным образом из представителей некоторых помещичьих семей, владевших усадьбами по близости от уездного города.

Ехал я из Буяна в Буинск спешно, и было из-за чего торопиться — оказалось, что недаром Димитрий вызывал меня депешей: — «Медведь верный». Это значило, что профессионал обкладчик из Южно-Сурской удельной лесной дачи, как только выследил, что медведь залег в свою берлогу, тотчас же дал об этом знать в Буинск брату, предупредив его о скорейшей высылке охотников, ибо он боялся, что зверь, ввиду малоснежной зимы, сможет сняться и уйти.

Из Буинска отправились мы на охоту втроем: опытный медвежатник Николай Михайлович Теренин, я и неизменный спутник охотников — «господ», Петр Дмитриевич Мокринцев. Прежде всего обращала внимание сама его хитро-добродушная бабьего вида физиономия — круглая, мясистая, с жидкими рыженькими волосиками на голове, совершенно безбровая, безусая и безбородая, с заплывшими небольшими острыми глазами. Трудно было определить его годы — можно было ему дать

и сорок и шестьдесят лет... Ниже среднего роста, он казался столь плотным и широким, что выглядел каким-то квадратом с приделанными руками и ногами.

Дмитрий уступил мне свое место — ему в то время уже нездоровилось, и доктора, ввиду состояния его больного сердца, запретили всякие волнения, тем более сопряженные с охотой на медведей.

От Буинска до места охоты предстояло сделать около 30 верст. Тронулись мы в путь 30 декабря рано утром, проехали Буинский уезд и после полудня въехали в «Южно-Сурскую» Удельную дачу, заключающую в себе до 80.000 десятин сплошного леса «в одной меже» и славившуюся своей «корабельной» сосновой, прямой, как мачта, вышиной в 15 и более саженей. Перед тем, как въехать в бор, мы остановились для отдыха и перепряжки лошадей в селении, растянувшимся в виде одного «порядка» (улицы) на протяжении чуть ли не двух верст. Расположено это село было у самой опушки леса и называлось «Трехболтаево», очевидно, вследствие заселявших его представителей трех народностей, «болтавших» на трех разных наречиях: русском, чувашском и татарском. Проезжая дальше, в дикой лесной глуши нам встретилось небольшое, домов в тридцать, чувашское селение «Шемурша», жилища и обитатели которого представляли собой нечто столь же первобытное и девственное, сколь и вся окружавшая их еле проходима́я лесная природа. В избах печей не было. Весь дым от разводимого на глиняном полу огня выходил через растворенную дверь. Сами люди имели совершенно зверинообразный дикий вид — недаром с ними медведи бок о бок вместе уживались...

К вечеру мы под ехали, среди высившегося «мачтовника», к обширной поляне, на которой красовался удельный смотрительский дом, скорее целая усадьба, с плодовым садом, огородом и целым рядом хозяйственных построек.

Встретило нас удельное лесное начальство — сам бородастый, почтенный смотритель в окружении своих объездчиков, при ярко блестящих должностных бляхах и зеленых шнурах. Приятно было, после долгого зимнего пути, очутиться в теплом, чистом помещении удельного дома, поразмять свои застывшие ноги, обогреться и сесть за обеденный стол, накрытый белоснежной, с вышитым узором, скатертью.

Первое и главное, что мы узнали от лесной стражи и обкладчика: медведь лежит в своей берлоге «верно»; за ним следят с должной осторожностью, проверяя лишь дальним от его спячки обходом. Охота была намечена на 1 января, а накануне, т.е. на следующий день нашего приезда на Шемшуринский кордон, предполагено было произвести еще одну, окончательную, проверку по обходным квартальным просекам, по которым всегда можно узнать, есть ли «выходной» след обложенного зверя.

Следующий день (31 декабря) ушел у нас на подготовку и отдых. Погода стояла идеальная — за ночь выпорошило, за день выяснило. Было солнечно и слегка морозно. Все предсказывало нам полную удачу. Обход по пороше оказался благоприятным — выходных следов нигде замечено не было.

Наступал новый 895 год, но мы его встретили, растянувшись на полу на мягком сене, укрывшись дорожными тулупами и чапанами. Вставать надо было перед рассветом — ждать новогодних 12-ти часов по-городски не приходилось. Впереди предстояла серьезная, исключительная для меня, новичка, охота... на медведя. Помнится мне лишь одно — все вокруг меня давно храпело, но я, ворочаясь с боку на бок, никак не мог заснуть в

трепетном ожидании чего то острого, неиспытанного... Забывшись, в конце концов, я был разбужен Мокринцевым, бабья физиономия которого показалась мне в этот раз серьезной, как никогда.

Надо сказать, что исстари существовавшие в описываемых местах медвежьи охоты создали известного рода обычаи, неукоснительно всегда соблюдавшиеся их участниками. Так и в этот раз я был очевидцем, как, прежде чем тронуться в ранний путь на медведя, охотники и сопровождающие их — обкладчик, его помощники, лесники, рогатчики и др., всего человек 14, должны были сначала чинно рассесться в ряд на стоявших вдоль стены скамейках.

На стол была поставлена четверть водки с чаркой. Обкладчик (Шемшуринский чувашанин) встал к образу, за ним поднялись остальные все, и мы в том числе. Стали все креститься и Бога молить о благополучном завершении охоты; затем хозяин дома принялся разливать водку и подавать каждому по полной чарке вина. Пришлось и этот обычай всем нам по очереди, тоже крестясь, исполнить. Не скрою — на ранний тощак, да еще без закуски, водку пить показалось мне делом довольно тяжким.

Закончив все эти церемонии, расселись мы на множество поданных одиночных лесных санок и, опять-таки перекрестившись, тронулись в дремучий лес по направлению ехавшего впереди обкладчика.

Накануне дня охоты мы договаривались насчет цены берлоги, а также между собой с Н.М.Терениным по поводу очереди выстрелов. За берлогу мы установили цену 100 р. в пользу нашедшего ее обкладчика; расходы брали мы с Николаем Михайловичем пополам, а относительно очереди стрельбы кинули торжественно жребий. Первому стрелять выпало мне.

Выехали мы на рассвете. Погода оставалась превосходной, небо было чистое. Проезжая осторожно, не шумя, по квартальным просекам, мы двигались среди многосаженных, ровных, стройных, мохнатых гигантов. Попадались изредка полянки с густо заросшим ельником, но преимущественно виднелась сплошная вековая сосна густого насаждения. Полозья лесных легких саней без подрезов плавно скользили по мерзлому пушистому снегу. Еле заметные верхушки деревьев стали постепенно розоветь от восходящего солнышка, как вдруг весь цуг наш остановился и был дан бессловесный молчаливый приказ всем высаживаться.

Лошадей пришлось оставить в стороне, а нам был передан приказ обкладчика, являвшегося нашим полным распорядителем, хорошенько оправиться, так как впереди предстояло соблюдение полнейшего безмолвия — ни курить, ни сморкаться, ни тем более, разговаривать не разрешалось.

Выровнявшись один за другим, — впереди обкладчик, за ним я, потом Николай Михайлович, Мокринцев, двое рогатчиков, лесник и четверо односельчан обкладчика — стали все мы осторожно гуськом шествовать, стараясь попадать ногами в проделанный передовым след. Обкладчик же шел целиной — очевидно, по направлению к берлогу. Молчаливый, осторожный подход в таинственно-чарующей обстановке лесной глуши, ожидание чего-то невиданного, необычайного — все это до сих пор остается у меня живым воспоминанием этого незабываемого момента.

Шли мы-довольно долго, не спеша, часто останавливаясь. Мне это время казалось бесконечно долгим... как вдруг, обкладчик, приостановившись, оглянулся на всех нас и показал рукой на видневшийся сквозь чащу деревьев небольшой просвет лесной поляны. Я шепотом спрашиваю: «что такое?» На это также

тихо последовал односложный, но многозначительный ответ обкладчика: «ён, т.е. — сам медведь, тут близко». Еще десятка два шагов, и мы вышли на полянку величиной с четверть десятины, обрамленную небольшим ельником, за которым вновь высились огромные сосны. Снеговой покров этой поляны был в общем ровным; лишь в одном месте виднелась небольшая возвышенность, примыкавшая к необъятному комлю многовековой, ветвистой седой сосны, немного выдвинувшейся на простор поляны от остальной соседней лесной массы.

Выйдя из-за опушки, обкладчик вторично показал рукой прямо на видневшийся бугор около сосны, покрытый, как и все остальное видимое пространство, девственным снеговым покровом, отливавшим лиловато-розовым отблеском утренней лесной зари.

Сделан знак снять шапки, перекреститься и взвести охотникам курки. Мне было затем указано все тем же обкладчиком встать шагах в 10 от одинокой сосны, Теренину — по другую ее сторону. Сзади нас размещены были рогатчики; Мокринцев стал с ними. Возвышенность, видневшаяся на поляне, оказалась берлогой, чело (отверстие) которой было обращено к комлю той сосны, около которой я стоял, так что на ней явственно были заметны следы замерзшей земли и глины, выкидывавшихся зверем при оборудовании своего логовища.

Расставлял нас обкладчик все так же тихо и многозначительно. Когда с нами было покончено, он сам отошел в тыл берлоги и стал осторожно подходить к ней сзади, а под конец начал даже ползти по рыхлому снегу на коленках, пока не забрался на самый верх медвежьего обиталища. Тут, скинув шапку и перекрестившись, он стал спускать мало-помалу свою голову вниз, с целью заглянуть через чело берлоги в самое ее нутро. Все кру-

гом было тихо, все затаили дыхание, ожидая с минуты на минуту результатов действий обкладчика, который вдруг откинулся назад, вскочил и радостно объявил уже громким голосом о том, что медведь тут. Как искра пробежала по всему моему телу эта весть, в висках сильно застучало, и в то же время я почувствовал, к своей досаде, что у меня внутри все ходуном ходило, да еще руки и ноги не от страха, конечно, а от волнения затряслись...

В голове пронеслось, как же я буду стрелять?! Ко всему этому, сзади послышался знакомый голос Мокринцева — «Лександр Миколаич — готовься!»....

К обкладчику тем временем подошли его товарищи, забрались на верх берлоги и к моему немалому удивлению стали почувашски, громко, крикливо что-то припевать, в такт хлопая ладошами и притопывая ногами. Оказывается, у местных аборигенов существует особая песнь, чтобы будить медведя, заснувшего в своей берлоге.

Проделав свой концертный номер, правда, весьма непродолжительный, певцы отшатнулись в сторону, за исключением их главного дирижера-обкладчика, вновь начавшего, с еще большей осторожностью, заглядывать внутрь медвежьей зимней квартиры. Но в этот раз все было быстро прервано раздавшимся его криком: «Держи!» и мощным глухим ревом, послышавшимся из берложьего отверстия; оттуда сначала показался легкий пар, а затем через мгновение выглянула огромная темная голова разбуженного медведя, очевидно находившегося еще в добродушно-сонном настроении.

Вскинув к плечу ружье, я вспомнил данные мне накануне советы и стал целить зверю прямо в лоб, между глаз. Я снова овладел собой, и мушка на стволах не дрожала... Раздался выстрел, за ним послышалось какое-то хриплое короткое уханье.

Медведь исчез, и берлога приняла свой первоначальный вид; лишь из ее чела продолжал идти пар. Казалось, все опять по-прежнему затихло. В голове шевелился назойливый вопрос — «промазал» или нет? а вдруг попал? убил?

Но вот обкладчик вновь стал с еще большей опаской, все так же сзади, подкрадываться к отверстию берлоги. Но не успел он ее достичь, как раздался на всю лесную округу страшный, дикий рев, повалил из логовища сильный пар, и через мгновение оттуда высунулся до половины своего огромного туловища медведь с разинутой пастью и окровавленной, приподнятою кверху, страшной мордой. Раздался второй выстрел, принадлежавший по праву Теренину. Оглушительный рев прервался, слышалось какое-то клокотанье, и зверь быстро рухнул весь обратно в берлогу, откуда сначала стал вырываться клубами пар, а затем все затихло, и испарение исчезли.

Прошло некоторое время, и обкладчик снова полез на рекогносцировку, дополз до чела и стал долго сверху всматриваться внутрь берлоги. Все ждали, что он скажет... И вот обкладчик, не торопясь, встает, снимает шапку и торжественно заявляет: «Кончал батька!» Все бросились к берлоге, на дне которой, во весь свой мощный рост, раскинулся сраженный нашими пулями медведь.

Послали за людьми и лошадью, привезли веревки, вытащили огромного зверя наружу и навалили его на сани, головой назад. Размеры его были таковы, что задние ноги приходились по бокам лошади, кстати сказать, беспокоило фыркавшей от необычного соседства, а голова его была уложена на особую перекладину, приделанную к задку саней.

Радости у всех нас не было конца — обкладчики опять пустились в неистовый пляс и по-своему запели, Мокринцев же, после того, как медведь был из своего логовища выволочен,

уселся на него верхом, и для поздравления господ с полем получил от Н.М.Теренина традиционную чарочку с добрым хересом — единственное вино и единственный случай, когда Петр Митрич разрешал себе хмельное.

Про себя я ничего не буду говорить — то была первая и последняя моя медвежья охота... Записывая ее сейчас, после многих истекших годов и лихолетий, был счастлив хоть несколько часов провести в сладких воспоминаниях об этом исключительном для меня интересном событии...

На кордоне был произведен тщательный осмотр убитого медведя, в результате которого все единогласно высказались за присуждение шкуры мне, как выпустившему первый и несомненно смертельный выстрел.

На другой день, распроставшись со всеми, горячо поблагодарив за прием и хлебосольство, а также за все услуги, оказанные нам для успешного завершения охоты, мы отправились в обратный путь.

Медведь действительно оказался великолепным и по размерам и по его ровной темно-бурой шерсти. На Буинских городских весах его взвесили — оказалось 18 пудов! Вернувшись в Буинск, перед разлукой с Николаем Михайловичем, я предложил ему шкуру взять себе. Теренин, видимо, был чрезвычайно тронут и в благодарность, обрезал у передней и задней лапы по когтю, которые были постоянными моими спутниками в дальнейшей моей жизни. Огромный коготь с передней лапы был вделан в серебряную доску с соответствующей надписью о подробностях памятной охоты и служил всегда на моем письменном столе красивым пресс-папье.

Получая от отца 100 р. в месяц и жалованье по службе около 178 р., я, несмотря на большие расходы, связанные с содержанием канцелярии, разъездами и необходимыми приемами, все же умел скапливать некоторые сбережения, на которые ежегодно позволял себе поездку в столицы — Москву и Петербург, где пользовался возможностью слушать хорошую музыку, посещать театры, музеи, выставки и пр. В Москве большую часть свободного времени я проводил в обществе милого моего нового знакомого и друга Константина Капитоновича Ушкова, с которым я любил тепло побеседовать и от души повеселиться.

Петербург меня с самого же начала успел во многом разочаровать и в некоторых смыслах, пожалуй, даже озлобить.

Ранее я имел случай упомянуть о моем посещении делового характера Товарища Министра В.Д.Долгово-Сабурова. В то время в большой моде и силе был кн. Мещерский («Гражданин»), пожалуй, более других интересовавшийся в столице тем, что происходило в деревне. Могу об этом судить по своим личным впечатлениям: встретил я его у одного нашего казанского общего знакомого, помещика Спасского уезда Валериана Таврионовича Молоствова. Узнав, что я земский начальник с Самарского Поволжья, только что приехавший из деревни, Мещерский бросил карты и друзей, отвел меня в сторону и добрых часа два подробнейшим образом расспрашивал про службу, интересовался общим положением вещей среди крестьянства, дворянства и пр.

Пригласил он меня любезно к себе на обед, но я не пошел, узнав от одних моих знакомых, что они званы были к Мещерскому специально на «обед с земским начальником»: не понутри мне это было и не захотелось служить забавой скучающему чиновному Петербургу.

За время моей службы приходилось нередко выезжать в свой губернский город Самару, отстоявший от меня в-нескольких часах езды. Летом чаще всего пользовался я пароходным сообщением через Ставрополь, что служило всегда для меня лучшим отдыхом и развлечением. Волжский плес между Ставрополем и Самарой был наиболее живописный, благодаря расположенным вдоль него Жигулевским горам с их курганами, включая Царевщинский, ниже которого шли знаменитые т.н. «Самарские Ворота», образовавшиеся в далекие доисторические времена, вследствие промыва Волгой горного отрога Уральского хребта. Сколько бы раз ни проезжал я по этому плесу, я всегда продолжал любоваться с палубы скользивших по многоводной поверхности красавицы-реки пароходов, мелькавшими перед моими глазами чарующими видами волжской природы.

Своеобразную величавую картину представляла собой Волга и в зимнем ее наряде, когда по ней не на пароходе, а в дорожных санях на сибирском ходу я, бывало, «скользил», лихо несомый гусевой тройкой добрых разгонных лошадей, пофыркивавших и нежно позвякивавших серебристым звоном нарядных бубенцов.

Необычайно живописен подъезд к Самаре с Волжского верховья. Гряда Соколиных гор, начинавшаяся с устья р. Сока, красиво утесистая, кое-где заросшая узкими рейками горной хвои, по мере приближения к городу, переходит в покатую возвышенную береговую полосу, сплошь заросшую великолепным густым лиственным лесом, большей частью кудрявым дубняком и тенистой липой, сильно пахучей в период половодья.

Не доезжая верст 15 до города, по всему берегу, начиная с т.н. Барбашиной поляны, можно было любоваться понастроенными зажиточным самарским торговым людом дачами самой

разнообразной, местами красивой, а иногда и вовсе причудливой архитектуры, уютно разбросанными среди живописной лесной чащи. В летнее время вдоль всего берега всегда наблюдалось большое оживление — сновали лодки, моторные, гоночные и просто весельные, семейно-пикникового типа.

Около некоторых дач имелись свои пристани, где красовались элегантные яхты, приставали дачные пароходики и пр. Нигде в других приволжских городах подобного берегового оживления примечать мне не приходилось. Правый Жигулевский берег, столь близко отстоявший от Соколиных гор в начале Самарских ворот, мало-помалу отходил в даль, заменяясь характерным луговым видом Волжской поймы, с ее бесконечными береговыми, отлогими, песчаными отмелями, раздольными травными полянами, с зеленеющими бордюрами лесных, больше вязовых и осокоревых, грив.

Но вот показалась и Самара, счастливо расположенная близ самого стержня великой реки, так что от пароходных пристаней сразу попадаешь в центр городской жизни и уличного движение — в этом было ее большое преимущество перед остальными приволжскими городами.

С проведением Самаро-Златоустовской железной дороги и соединением ее с Ташкентом, рост Самары, природно-удобной Волжской пристани, оказался исключительным. Население, торговля, кредитные обороты — все шло чисто американским темпом. Недаром с историей возникновения и развития города связана народная легенда о том, как св. Алексей, вызванный в княжение Иоанна II ханом Чанибеком для исцеления заболевшей глазами ханши Тайдулы, при проезде в Орду, предсказал местности, впоследствии заселенной Самарой, великую будущность. В память этого события, святитель чтится покровителем

г. Самары, и на одной из ее пристанских улиц, недалеко от сливание реки Самарки с ее матерью Волгой, на том именно месте, где по преданию было предсказано величие будущему на нем граду, сооружена часовня, с чтимой иконой, изображавшей Великого Российского Святителя Митрополита Алексия. В Самаре окраины быстро сливались с городом, образовав, спустя каких-нибудь 10-15 лет, оживленные центры, застроенные большими городскими домами. Благоустройство самого города не могло поспевать за столь быстрым его ростом. Из всех платьев Самара скоро вырастала — отсюда раздавались упреки по ее адресу, самарская пыль приобрела всероссийское почему-то признание, хотя подобная же пыль не в меньшем количестве существовала и в других городах...

Когда, в качестве Главноуполномоченного Красного Креста по оборудованию во время Великой Европейской войны санитарных отрядов, я имел счастье представляться Государыне Марии Феодоровне, и когда Императрица услышала из моего доклада, что центром этого оборудования является Самара, ее Величество изволила вспомнить о своем проезде через этот город, и с выражением нескрываемого ужаса на лице заменила: «Какая там пыль!»

Впрочем, о сем недуге моего родного города я частенько вспоминаю и теперь, проживая на Côte d'Asur, во всемирно известном курортном его центре — Ницце, где пыль и грязь, местами не отстающие от самарских, властвуют одинаково безнаказанно.

Несмотря на свои внешние недостатки муниципального порядка, Самара представляла собой город бойкий, торговый и живой, без специфической черты провинциальной затхлости, столь присущей многим губернским городам прошлой нашей

матушки Руси. Самара напоминала нечто вроде коридора большой коммерческой гостиницы, где сталкивались и расходились деловые люди по разным направлениям — кто в Сибирь и на Дальний Восток; кто в Туркестанские края, а кто и на Запад, в сторону Имперских столиц и дальше — в Европу... Как-то мне на юге сказали: «У вас, на Волге, есть своя Одесса — Самара!» Пожалуй, что это было верное сравнение.

Дворянства в нашем городе было мало, больше проживало в нем торгового элемента — мукомолов, хлеботорговцев, пивоваров, представителей крупных русских и зарубежных посреднических контор; много попадалось банковских дельцов и разного служебного люда — все это работало, не покладая рук; сплетнями и пустыми пересудами некогда было заниматься — воздух самарский был весь пропитан интересным творческим делом...

Коренными городскими обитателями являлись многочисленные почтенные семьи, в большинстве своем принадлежавшие к казачьему сословию (Оренбургскому, Уральскому) и владевшие в Самарской и Оренбургской губерниях огромными земельными имуществами: Аржановы, Шихобаловы, Курлины, Сурошниковы, Соколовы и много др.

За время моего земского начальничества знакомств делового служебного характера в городской среде у меня было сравнительно немного. Прежде всего, я вспоминаю семью Губернатора Брянчанинова, всегда тепло и радушно ко мне относившуюся, и состоявшую из самого Александра Семеновича, его супруги, Софьи Борисовны, и дочери, Анны Александровны. Губернаторство Александр Семенович принял от своего предшественника, Александра Дмитриевича Свербеева, у которого он довольно продолжительное время состоял в «вицах». Оба они

были видного роста и сложения, оба вели себя чинно и «по-губернаторски» представительно.

На губернаторском посту Александр Семенович держал себя в высшей степени корректно и, не мудрствуя лукаво, более двадцати лет управлял обширной и сложной губернией, сумев приобрести симпатии и одобрения, как со стороны Петербурга, назначившего его в звании Гофмейстера в состав Государственного Совета, так и от лица Самары, устроившей своему бывшему Губернатору торжественные проводы.

Правда, Господь наградил слабовольного и добрейшего Александра Семеновича такой подругой жизни, как Софья Борисовна — женщиной исключительной по деловитости, энергии, уму и настойчивости в достижении намеченных целей. Недаром в губернии называли ее «Софьей Правительницей».

Фактически губернией управляла она — ее супруг являлся лишь декоративной фигурой, исполнявшей советы своей мудрой супруги. В этом отношении Александр Семенович по внешности и умению себя держать был незаменимым, воистину «первым» сановником в губернии. Высокого роста, когда нужно с военной выправкой (служил ранее в кавалергардах), умеренно полный, с плавной барской повадкой и речью, Брянчанинов обладал приятной наружностью.

Надо отдать справедливость — оба Брянчаниновы несомненно были людьми высоко порядочными и не только кажущимися, но на самом деле природными аристократами в лучшем смысле этого слова, что так редко бывало в губернаторской среде. Не столько сам Александр Семенович, сколько Софья Борисовна искренне и горячо привязана была своими симпатиями к Самарскому обществу, что было впрочем вполне естественно, так как она родом принадлежала к потомственному самарскому дворянству — к семье Обуховых, землевладельцев Бузулукского

уезда. ее Отец — Борис Петрович, был в свое время губернским Самарским Предводителем Дворянства и затем в той же Самаре губернатором.

У Брянчаниновых была дочь, но не родная, а приемная — Звали ее Анной Александровной; старики ее очень любили и прекрасно воспитывали. Среднего роста, шатенке, Анна Александровна была милой, умной и приветливой девушкой. Впоследствии она вышла замуж за графа Мстислава Николаевича Толстого, служивого одно время по выборам Самарским уездным Предводителем Дворянства, а потом Петербургским Вице-Губернатором. Революция застала ее больную чахоточную в Крыму, где она проживала с двумя детьми и матерью — Софьей Борисовной, превратившейся в древнюю, слепую, беспомощную старуху — *Sic transit!*

А сам Александр Семенович умер задолго до революции.

В описываемое мною время в Самаре я бывал лишь наездом, и потому обширного знакомства с городским обществом я иметь не мог. Но все же встречался довольно часто с некоторыми лицами и семьями. Упомяну о двух моих земляках, живших в то время в Самаре и принадлежавших к нашему Ставропольскому потомственному дворянству — Ипполите Александровиче Сосновском и Николае Александровиче Шишкове. Первый занимал должность Управляющего Дворянским и Крестьянским Банком, второй служил Непременным Членом Губернского Присутствия. Тот и другой жили со своими семьями, оба были людьми серьезными, умными и недюжинными работниками.

О Сосновском я в своем месте имел случай говорить. Что же касается до Шишкова, то его не нужно смешивать с Тихоном Андреевичем Шишковым, тоже нашим ставропольцем, о кото-

ром я ранее упоминал и который приходился лишь однофамильцем Николаю Александровичу. Последний принадлежал к старинному роду Шишковых чисто русского происхождения, тогда как Тихон Андреевич вел свой род от грузинских царей.

Отец Николая Александровича, Александр Александрович Шишков, был женат на кн. М.А.Хованской, и их родовое поместье было расположено в 17 верстах от нашего Головкина, по дороге к Симбирску.

У Николая Александровича Шишкова было две сестры и три брата. Старшая сестра Вера была замужем за Борисом Михайловичем Тургеневым, одно время служившим ставропольским Предводителем Дворянства, младшая — Екатерина была женой моего соседа по Головкину М.М.Лентовского. Следующий по возрасту брат — умный и одаренный Сергей, вел в качестве директора частное промышленное дело химическое и стекольное, на Каме и р. Белой. За ним шли: Владимир и, наконец, младший — Евгений. Тот и другой окончили Рижский Политехнический Институт и были способными молодыми людьми, хорошими лингвистами, но к практической жизни совершенно неприспособленными.

Евгений — музыкант, мечтатель, до крайности экспансивный, пробовал свои силы на земском поприще, но неудачно, после чего, как говорится, болтался между небом и землей, покуда брат его Сергей не вызвал к себе.

Оба брата мученически погибли в Вятском крае во время революции.

О Владимире Шишкове я скажу, как о моем ближайшем соседе в Головкине. Это был необычайно оригинальный тип с премногими чуждечествами, склонный к авантюристическим порывам.

вам и азартной страсти. Закончил он свою жизнь в прозаической обстановке глухого деревенского хутора, состоя подневольным супругом простой, рябой, грубой деревенской бабы, может быть спасшей его от большевицкой расправы, но, надо думать, также способствовавшей образованию у него злой чухотки, быстро унесшей его в могилу.

39

Вернусь к моим воспоминаниям о проживавшем в 1894-96 г.г. в Самаре Николае Александровиче Шишкове, который был женат два раза — первым браком на Тургеневой, дочери Леонтия Борисовича, и вторым на кн. Хованской. Николай Александрович был очень близорук, носил постоянно очки и кроме того страдал глухотой.

Европейски-образованный, много читавший, прекрасно владевший английским и французским языками, Шишков был человек исключительно кабинетный, и хотя он любил говорить о хозяйстве и увлекал, благодаря своему таланту, слушателей, но как практик, он был для дела совершенно неприспособленным, и собственное его хозяйство шло до крайности плохо.

На земских собраниях его речами все, бывало, заслушивались, но за ним не шли и его на ответственные роли не выбирали, и лишь когда нужно было от губернского земского собрания впервые послать нашего избранника в состав реформированного Государственного Совета, в 1906 году, Николай Александрович одним лишь голосом прошел в его члены. Но в столице он не долго оставался. Первая Государственная Дума была распущена, и Шишков в виде протеста, с некоторыми другими левыми «академистами» вышел из состава Верхней Палаты. По своим политическим убеждениям он принадлежал к кадетской

партии. Это был несомненно живой и острый ум, с которым можно было не соглашаться, но который, во всяком случае, давал не малый материал для размышления. Николай Александрович жил не долго, скончавшись едва достигнув 50 лет.

Помимо Сосновских и Шишковых, где я чаще всего бывал, вспоминаются мне также почтенные самарские семьи Лавровых, Араповых и Ворониных.

Сергей Осипович Лавров, землевладелец Самарского уезда, был заслуженный, почтенный землец, очень популярный и всеми уважаемый за свой практический здравый уклад мыслей, за многолетний служебный опыт и за свою собственную личность, привлекавшую всех своей радушной приветливостью и деловой доступностью. Сергей Осипович неоднократно избирался, и всегда подавляющим большинством, в состав Губернской Земской Управы — сначала членом, а затем ее Председателем. Лучшего Председателя Самарское Земство не знало ни до, ни после него.

Из Председателей он был, Министром Земледелие А.С.Ермоловым, назначен Управляющим Самарским Округом Государственных Имуществ, а затем его избрали в члены 3-й Государственной Думы. Петербургский климат оказался для него губительным — года через два после его избрания он скончался.

В родстве с Лавровыми состояла, по Смирницким, семья Араповых. Петр Александрович Арапов был женат на Е.А.Смирницкой, дочери Александра Ивановича Смирницкого, самарского старожила, бесконечное количество лет прослужившего Товарищем Председателя Самарского Окружного Суда.

Петр Александрович Арапов состоял Уездным членом Самарского Окружного Суда по Самарскому уезду, отличался необычайной живостью, был хлопотлив, вращался в свете и

страстно любил театр, причем иногда привлекал и меня к участию в любительских спектаклях, и в этом отношении не мало бередил мою остывшую в Буяновских лесах врожденную страсть к театральным подмосткам. Часто участвовать я не мог, в силу моей службы, требовавшей почти постоянного моего пребывания в далеком Буяновском участке, но все же несколько раз удавалось мне выступить в Самаре — чаще всего у Брянчаниновых.

Довелось мне однажды выступить на Самарской театральной сцене в большом благотворительном спектакле, устроенным неутомимым по этой части Араповым. Совпало это с периодом подготовительных напряженных работ по переписи, так что, за неимением другого свободного времени, роль я свою штудировал по дороге из Буяна в Самару, выступив прямо на генеральной репетиции.

Шла пьеса «Нина» Мансфельда. Я играл молодящегося дядюшку, а Петр Александрович — красавца кавказца.

При всех своих несомненных умственных и душевных достоинствах, милейший Петр Александрович в смысле внешности был природой серьезно обижен. Рыжий, нескладно сложенный, Арапов обладал продолговатой; с выпяченным подбородком, физиономией, покрытой жидкой белесоватой растительностью, с небольшими бесцветными и безбровыми глазками, слегка сдвинутым в сторону мясистым дулеобразным носом и огромным, косо расположенным, прямо-таки уродливым, том...

И вот такой-то Петр Александрович вздумал изобразить кавказского горца, по пьесе неотразимого красавца.

Приходилось мне играть на любительских самарских сценах также с незабвенным и милым Александром Александровичем Ворониным, служившим в то время Прокурором Самарского Окружного Суда, с которым мы тесно сошлись и продолжали наши дружеские сердечные отношения и после того, как он был назначен в Москву Управляющим Генерал-Губернаторской Канцелярией при Великом Князе Сергие Александровиче. Женат Воронин был на Александре Александровне Салтыковой.

Воронины были бездетны и представляли собой удивительно милую, симпатичную чету. Несмотря на полную противоположность своих характеров, они жили душа в душу, всюду появляясь вместе и расставаясь лишь по необходимости. В частной жизни Александр Александрович был незаменимым собеседником, много читавшим и всем интересовавшимся. Между прочим, он отличался удивительной способностью всех имитировать и артистически рассказывать анекдоты, запас которых был у него неистощим.

Судьба его была трагична. Приглашенный Великим Князем Сергием Александровичем занять пост Управляющего его Канцелярией, Александр Александрович два раза чудом спасся от верной гибели при террористических покушениях на жизнь Его Высочества. В первый раз, Воронин задержался в канцелярии, и Великий Князь, не дождавшись его, посадил, вместо него, в свою коляску своего адъютанта, который через несколько минут погиб от взрыва бомбы на углу Тверской.

Второй раз — Александр Александрович тоже должен был ехать вместе с Великим Князем, который ожидал его в своем экипаже около Николаевского Дворца в Кремле, но был срочно отозван Великой Княгиней Елизаветой Федоровной для каких-

то распоряжений, и Великий Князь решил ехать один. Через несколько минут его не стало, — Каляев совершил свое зверское дело.

Вскоре после этого, довелось мне встретиться с милым Ворониным в Москве, в Английском клубе, где он поведал мне свои недобрые предчувствия. Два раза сошло — сказал он мне — в третий, пожалуй, дешево так не отделаешься... Его слова оказались пророческими. В 1906 году он отправился в Петербург и представлялся новому Министру Внутренних Дел П.А.Столыпину как раз в день страшного террористического на него покушение на Аптекарском Острове. Одетый в свой малый церемониймейстерский мундир, прислонившись к стене в ожидании своего приема, Александр Александрович о чем-то весело беседовал с чиновником особых поручений Приселковым, как вдруг раздался ужасающий взрыв, и силою газа голову бедного Воронина мгновенно снесло прочь, словно срезало с золотого воротника, оставив в полной неприкосновенности омертвевшее туловище и застывшие жестикулировавшие руки.

Об этом поведал мне сам Приселков, чудом уцелевший от террористического погрома. Так неожиданно оборвалась еще молодая жизнь незабвенного Александра Александровича, моего искреннего друга и прекрасного во всех отношениях человека.

В губернаторском доме в описываемое время чаще всего я встречал двух наиболее близких А.С.Брянчанинову лиц: Начальника Самарского Удельного Округа Дмитрия Павловича Терлецкого и Управляющего Самарским отделением Волжско-Камского Банка — Арсения Дмитриевича Соколова. То были его интимные друзья и постоянные партнеры в винт. Терлецкий пользовался среди своих подчиненных и всех его знавших всеобщим уважением за свой недюжинный ум, служебный опыт,

превосходное знание подведомственного ему дела и умелое обхождение с людьми. При Дмитрие Павловиче Самарский Удельный Округ безусловно переживал свой цветущий период.

Будучи одновременно страстным охотником, Дмитрий Павлович часто приглашал для совместной охоты Александра Семеновича Брянчанинова, у которого было три главных развлечения в его губернаторской жизни: скрипка, звучавшая в его руках лишь среди своих домашних слушателей, под аккомпанемент дочки Нюты, карты — винт с добрыми друзьями и охота (облавы и с гончими), причем, кроме Дмитрия Павловича Терлецкого любимыми его соохотниками бывали — нотариус Михаил Семенович Афанасьев и Врачебный Инспектор — Леонид Николаевич Малиновский — оба превосходные стрелки и знатоки этого спорта.

Арсений Дмитриевич Соколов занимал место управляющего отделением Волжско-Камского Банка, за много лет своей службы сделавшись Самарским старожилом. Это был тип спокойного, уравновешенного, банковского дельца, сумевшего завоевать за время своей долголетней работы всеобщие симпатии среди самарского населения. Обходительный и вместе с тем осторожный, Арсений Дмитриевич считался человеком широко идущим навстречу удовлетворения кредитной нужды, именно в силу превосходного своего ознакомления с этим краем и самарским деловым людям.

Выше я указал еще на двух лиц, проживавших в то время в Самаре — нотариуса Афанасьева и Врачебного Инспектора Малиновского. Оба были видными городскими фигурами — каждый в своем роде.

Михаил Семенович Афанасьев был дельцом совершенно американской складки. Кроме исполнения своих профессиональных функций, он одновременно вел свое личное хозяйство,

участвовал в городских общественных делах и имел ряд доверенностей от многих проживавших за пределами Самарской губернии лиц на ведение их всевозможных хозяйственных и промышленных дел. Необычайно работоспособный, энергичный Михаил Семенович обладал быстрой сообразительностью, превосходным знанием нужных законоположений, давая своим клиентам точные указания и дельные советы.

Что касается Леонида Николаевича Малиновского, доктора медицины, Инспектора Самарского Врачебного Округа, он был несомненно исключительной личностью. Это был человек живой, интересовавшийся не только своей специальностью, но и всем, происходившим вокруг него и во всем мире. Он много путешествовал, успев объехать весь земной шар. Отсюда становится понятным, почему Малиновский являлся собеседником, необычайно увлекавшим слушателей интереснейшими рассказами о своих путевых впечатлениях, охотах на львов, тигров и пр. Не без основания его вскоре перевели из Самары в Петербург на ответственный пост по заведыванию Инспекторской Частью всего врачебного дела в Империи. После него Самара получила обычный тип Врачебного Инспектора — узкого чиновника и формалиста.

В бытность мою земским начальником мне приходилось посещать своего Губернского Предводителя, которым в то время состояли сначала Александр Николаевич Осоргин, занимавший эту должность недолго, а затем два трехлетия — Александр Николаевич Булгаков. Оба были преклонными старцами.

Первый был характера живого, общительного, имел светские манеры, любил общество, город, вечера, удовольствия, посещал клуб. Скорее высокого роста, элегантною внешности, с серебристо-белой головой, коротко остриженной бородкой,

Осоргин, розоватый, жизнерадостный, шепелявя и картавя, любил много говорить и вести салонный разговор, но на ответственных ролях Председателя Дворянских и Земских Собраний Александр Николаевич чувствовал себя не на месте, терялся, путал и, в конце концов, вынужден был от предводительских обязанностей окончательно отойти.

Иным был Андрей Николаевич Булгаков, крепкий Бузулукский хозяин-помещик, страстный охотник-борзятник, по внешности сильно напоминавший собою Льва Николаевича Толстого — с такой же львиной головой, большой широкой бородой, грубыми чертами лица и впавшими под лобной костью глазами, полузакрытыми мохнатыми бровями. Молчаливый, туго думавший и нудно складывавший фразы своей речи, Андрей Николаевич, вместе с тем, был человеком хозяйственно-умным, стойким в своих религиозных и монархических верованиях, не легко склонявшимся на какие-либо компромиссы, ввиду чего под его Председательством Губернские Собрания велись в определенном направлении — хозяйственно-экономическом, без какой-либо политической окраски.

С виду строгий, Андрей Николаевич был добрейшей души человеком, сильно тяготившимся городской жизнью и необходимостью известного представительства по занимаемой им высокой почетной должности.

Личные отношения Губернатора Брянчанинова с Осоргиным были самые лучшие и близкие, но с Булгаковым они приняли другой оборот, в силу случившегося при нем в стенах Самарского Дворянского Дома исключительного события, о котором в свое время много в обществе говорилось и которое озлобило Брянчанинова против самарского дворянства.

Событие сие в хронике самарской жизни именовалось «Историей о руке и ноге» и произошло оно при следующих обстоятельствах: в 80-х и начале 90-х годов прошлого столетия долгое время избирался Предводителем Дворянства в Николаевском уезде Самарской губернии, Алексей Григорьевич Акимов, родной брат Михаила Григорьевича Акимова, бывшего Министра Юстиции, а затем Председателя Государственного Совета. Алексей Григорьевич был человек властный, с дикой волей и необузданным характером, получивший прозвище «Степного Богатыря». На его самодурство и самоуправство подавались многочисленные жалобы, но время шло, и Акимов продолжал по-прежнему царствовать в своем захолустном уезде. Но, наконец, Сенат откликнулся, отрешил Акимова от должности и предал его суду.

Все знали, что на решение Сената в значительной мере повлиял отзыв Губернатора Брянчанинова, указавшего на недопустимость возглавления уезда подобным Предводителем. Об этом отзыве не безызвестно стало и самому Акимову, которому, однако, пришлось подчиниться определению Сената.

Вскоре после его отрешения — в январе 1894 года — в Самаре было созвано экстренное губернское дворянское собрание, на котором пришлось мне впервые участвовать по уполномочию отца, и быть очевидцем следующего эпизода. Съехалось дворянство, обычно разодетое в мундиры, и лишь один виднелся в штатском фраке — то был опальный Николаевский «степной богатырь» Акимов.

Появляется в зале Дворянства торжественная фигура Губернатора Брянчанинова, приехавшего на открытие Собрания и начавшего с присущей ему величавой любезностью со всеми дворянами поочередно здороваться. Небольшого роста, сухой,

крепкий, с бритым, худым, желчным и злым лицом, расхаживавший до появления Губернатора в стороне от всех, Акимов стоял в самом отдаленном конце зала, опершись у подножие колонны и, когда Губернатор, дойдя до него, так же, как и всем другим, протянул ему руку, чтобы поздороваться, Алексей Григорьевич демонстративно медленно обе свои руки заложил за спину, и Брянчанинов остался со своей протянутой рукой в воздухе. В среде дворянства произошло замешательство. Губернатор, сильно побледневший, быстро отошел прямо к депутатскому столу и взволнованным голосом объявил экстренное собрание дворянства открытым, после чего поспешно, ни с кем не прощаясь, прошел в переднюю, куда бросились его провожать все переконфуженные Предводители. Одевшись и подавая на прощанье руку Губернскому Предводителю, Брянчанинов торжественно произнес: «В вашем Дворянском Доме мне не подали руки, отныне в нем не будет моей ноги...» Сел в карету и уехал.

Происшедший инцидент произвел среди дворян большой переполох; начались разные частные и депутатские совещания, выработан был план извинительного коллективного выступления перед Губернатором, но, в силу отсутствия у грубоватого Булгакова соответствующих дипломатических и светских качеств, намеченный ход переговоров с Брянчаниновым не достигал своей цели.

Губернатор удовлетворен не был, требовал большего. Ко всему этому примешивались ловкие интриги со стороны завистливого противника Булгакова, вечно мечтавшего попасть в Губернские Предводители — графа Н.А.Толстого, Самарского Уездного Предводителя, запросто вхожего к Брянчанинову и нарочито путавшего все карты для достижения своих заветных целей.

Все это складывалось и выливалось в длительную процедуру все более и более осложнявшихся взаимоотношений, продолжавшуюся почти за все остальное время губернаторства Брянчанинова, тем более, что выбранный после ухода Булгакова Губернским Предводителем Бугурусланский Уездный Предводитель А.А.Чемодуров, благодаря особенностям своего характера, подлил лишь масла в огонь, но об этом придется говорить в своем месте.

Здесь же не могу не вспомнить одного происшествия, явившегося откликом описанной «истории о руке и ноге». В том же январе месяце 1894 года, тотчас же после экстренного дворянского собрания, началось очередное губернское земское собрание, в котором я также впервые участвовал в качестве только что избранного губернского гласного.

Наступает 12 января. На собрании оказалось среди гласных несколько москвичей — Александр Сергеевич Алашеев, Матвей Васильевич Головинский и я — все воспитанники Московского Университета. Решили собраться, оповестить кое-кого из городских жителей — тоже бывших московских студентов. И вот, в одной из комнат самарской гостиницы «Россия», вечером 12 января мы все собрались — человек около пятнадцати и начали мирно дружески вспоминать нашу общую *alma mater* и чествовать свою Татьяну.

В конце стола вдруг завязался разговор в довольно повышенном тоне, и раздался задорный голос Матвея Головинского: — «Алексей Григорьевич Акимов мой личный друг, и прошу о нем при мне дурно не отзываться!»

Должен оговориться относительно Головинского, что, будучи землевладельцем Бугульминского уезда, он получил блестящее образование, окончил Дерптский университет и отличался исключительным даром слова и изумительной памятью.

Прежде чем появиться в дебрях Бугульминского захолустья в качестве земского начальника, Головинский проделал невероятные скачки в своей жизненной карьере, начиная со службы в Государственном Коннозаводстве, и кончая сотрудничеством в Парижской газете «Фигаро». Живой, впечатлительный и болезненно-нервный, он как метеор промелькнул на экране Самарской жизни, успев всюду в уезде и на губернских собраниях наговорить многое, поражая всех своим красноречием, начитанностью и поразительной памятью. Он, бывало, наизусть цитировал пространные выдержки из ученых сочинений знаменитых мыслителей, включая древне-классических. Так и на нашем земляческом собрании Головинский начал свою речь длинейшими выдержками из трактата Цицерона «De amititia», но, спустя час-другой, разговорная тема перешла на современные события; стали обсуждать происшедший скандал в Дворянском доме, и один из присутствовавших, Товарищ Прокурора Богданович, назвал поступок Акимова «диким», на что и последовала упомянутая мною реплика Головинского, которая вызвала общее возмущение.

Стали раздаваться голоса: «Мы свободны говорить то, что подсказывает нам наша совесть и разум». Тогда Головинский вскакивает на середину стола и запальчиво вскрикивает: «Всякого, кто посмеет еще раз отозваться неодобрительно про моего друга Акимова, я вызываю к барьеру». На это еще сильнее раздались протестующие голоса. Обезумевший Головинский со стола бросается на Богдановича; началась свалка, и в конце концов пришлось всем разойтись под тяжелым впечатлением происшедшего.

На другой день по городу стали разъезжать от имени Головинского два секунданта — г.г. Алашеев Сергей Николаевич (од-

нофамилец Александра Сергеевича) и Сергей Григорьевич Аксаков — наши дворяне, оба недалекие, обрадовавшиеся случаю играть «ответственную» показную роль и разодетые какими-то ходульными героями во все черное с цилиндрами в руках; они начали появляться то у того, то у другого из участников московского земляческого столь нелепо закончившегося собрания. Разъезжали они по списку адресов, врученных им самим же Головинским, в котором, между прочим, было помечено: — «Соколов, судебный следователь по особо важным делам».

Соколов был тоже студентом-москвичом, но на вечеринку не попал из-за экстренных занятий. Это был работник исключительный, серьезный и решительно ничего еще не знавший о происшедшем накануне в гостинице «Россия».

Подъезжают к его квартире в коляске описанные мною обе фигуры в строго-мрачном одеянии, с глупо-сосредоточенным выражением на официально вытянутых физиономиях. Встречает их дежурный полицейский и спрашивает: «В чем дело?» — Тот и другой вручают ему свои визитные карточки и требуют личного свидания с г. Соколовым, который через некоторое время выходит, с недоумением вглядывается в стоящие перед ним какие-то чучелообразные фигуры и, с своей стороны, осведомляется: — «что им нужно?» — Те начинают ему излагать содержание параграфов дуэльного кодекса... Соколову некогда. Он вновь переспрашивает — что им от него нужно? На это опять-таки слышит какой-то бред, как ему показалось, спятивших с ума лиц — о какой-то дуэли с Головинским, о требованиях их, как секундантов и пр. Соколов не выдержал, приказал полицейскому наблюсти за пришедшими, а сам по телефону сообщил полицмейстеру о необходимости немедленного задержания появившихся у него двух умалишенных людей.

Этим закончилась вся миссия секундентов г. Головинского, которого, узнав про его проделки, Губернатор отправил немедленно в уезд, с тем, чтоб вскоре вовсе освободиться от его службы. Что же касается г.г. секундентов, то тот же Брянчанинов, зная обоих хорошо, спас их от Томашева Колка (лечебное заведение для умалишенных), объяснив их поступки не сумасшествием, а просто их природным слабоумием.

Часть IV.

Земство. Избрание в состав Самарской Земской Управы. Семейное горе. Женитьба. Заграничное путешествие. Устройство головкинских дел. Самара. Управление Ушковскими имениям. Заболевание. Крым. Форос. Черноморская поездка. Объезд Юга России. Возврат в Головкино. Жизнь в деревне.

40

В сентябре 1893 года мне минуло 25 лет — иначе говоря, я достиг полного земского возрастного ценза, благодаря чему, а также желанию моего отца, передоверившего мне свои выборные полномочия, с №94 года я был единогласно избран от землевладельческой курии уездным гласным Ставропольского Земского Собрания.

Этим я был обязан доброму имени моего незабвенного отца, как сказано в классической фразе бессмертного Грибоедова — «по отцу и сыну честь»...

В ту же осеннюю очередную сессию уездного собрания я попал в число шести избранных губернских гласных.

С этого года я стал участником многосложной хозяйственной жизни Ставропольского уездного и Самарского губернского Земства. Это участие продолжалось непрерывно до конца существования самих земских учреждений и моего пребывания в дореволюционной России, т.е. до памятного 1917 года.

Моя земская деятельность не ограничивалась положением рядового гласного; я прошел всю иерархическую лестницу ответственных земских должностей, начиная с секретаря уезд-

ного и губернского собрания и члена ревизионных и других специальных комиссий, и исполнял обязанности члена и председателя Губернской Земской Управы. Затем по должности Уездного и Губернского Предводителя Дворянства я состоял три года председателем уездных земских собраний; в течение четырех последующих трехлетий председательствовал в губернских земских собраниях и, наконец, с сорокалетнего возраста до дня оставления мною министерского поста (с января 1909 г. по июль 1916 г.), я бесценно избирался Самарским Губернским Земством в члены Государственного Совета.

С самого же начала большое земское дело, с его разнороднейшей областью всевозможных губернских и уездных польз и нужд, меня живо заинтересовало. Моей неопытной, юной еще голове нелегко было сначала справляться с обширным хозяйственным масштабом земской уездной, а тем более — губернской жизни, и лишь после первого трехлетия, в течение которого мне приходилось вести и редактировать все почти журналы заседаний и одновременно участвовать в работе ревизионных комиссий, я более или менее освоился с многочисленными отраслями земского бюджета.

Созданное Царем-Освободителем Положение о Земских учреждениях предоставило местным людям широкое поле деятельности для упорядочения и развития общественный и хозяйственной жизни. Полновластным хозяином всей земской деятельности являлось собрание гласных, исполнительным же органом его постановлений служила избираемая им Управа. Ход земской работы и жизни зависел от качественного личного состава земских учреждений, а также и от самого порядка ведение земских собраний, руководимых по закону на уездных заседаниях — Уездным, а на губернских — Губернским Предводителями Дворянства.

Как известно, для права участие на земских избирательных собраниях необходимо было иметь имущественный ценз. В 1890 году, при Императоре Александре III, было издано законоположение, видоизменившее порядок избрания гласных соответственно принадлежности имущественных цензовиков к тому или другому сословию, причем значительный перевес предоставлен был классу дворян-землевладельцев. До двух третей Ставропольского Уездного Земского Собрания, при мне, состояло из поместных дворян-землевладельцев (около 18 человек). Остальная треть включала в себе представителей крестьян-общинников и лиц других группировок.

Я не буду здесь касаться критики Положения 1890 года. Скажу лишь, что какого-либо антагонизма между большинством гласных, принадлежавших к поместному цензовому дворянству, и остальной их частью за все время моего участия в земской работе не замечалось.

Надо отдать справедливость — поведение гласных-дворян на земском поприще в отношении крестьянства проявлялось всегда в самом благожелательном направлении, отличаясь скорее забвением ими своих собственных интересов ради удовлетворения местных сельских потребностей.

Неся наиболее обременительные земские платежи, дворяне-гласные вместе с тем менее всего пользовались ими же самими созданными культурно-полезными учреждениями поместной жизни, каковыми являлись школы, приюты, больницы, агрономические учреждения, мелкие сельские кредитные товарищества и т. п. В этом отношении вся работа означенных дворянских представителей на земской ниве носила характер чисто альтруистический.

Но вместе с тем, невольно приходило мне в голову следующее соображение: если у законодателя, создавшего Положение

1890 г., и был повод улучшить состав земских собраний путем привлечения наиболее лояльного и культурного хозяйственного элемента, то все же, с течением времени, следовало бы, на мой взгляд, постепенно вновь демократизировать состав гласных, привлекая крепкие хозяйственные единицы из не-дворянского населения. Благодаря этому было бы достигнуто постепенное перевоспитания крестьянских масс, которые смогли бы, через своих представителей, непосредственно знакомиться с ходом работ и взглядами опытных и просвещенных земцев. На почве служение общим интересам получилось бы большее сближение сословных групп с крестьянами. Подобный ход постепенной «демократизации» состава уездных земских собраний был бы в государственном отношении более осторожным и рациональным, чем та полная перекройка всего земского строя, которая проектировалась в духе господствовавших тогда модных тенденций путем создание т.н. «мелких земских единиц».

Старейшим гласным Ставропольского уезда был кн. Юрий Сергеевич Хованский, состояний в свое время Председателем Ставропольской Уездной Земской Управы, служивший потом недолго земским начальником «первого призыва», а затем Управляющим отделения Поземельного Крестьянского и Дворянского банка в Симбирске.

Он получил высшее образование в Императорском Александровском Лицее и затем всю свою жизнь провел в деревне, в своем имении при с. Старой Майне, занимаясь сельским хозяйством и отдаваясь любимому своему земско-общественному делу.

В порядке возрастного старшинства за кн. Хованским шли братья Виноградовы, Александр и Андрей. О первом я имел случай говорить, когда описывал участников уездного съезда. Его брат Андрей Федорович получил университетское образование;

он превосходно вел свое хозяйство, устроил у себя в имении при селе Чердаклы винокуренный и крахмально-паточный заводы, скупал скот на Бузулукской и Сорочинской ярмарках для откорма и перепродажи.

Умный и расчетливый, Андрей Федорович умел на собраниях хорошо говорить, однако он не пользовался ни уважением, ни тем более любовью. Ему боялись верить — слишком он был человек хитрый и лживый, а главное — до мозга костей — эгоист. Избирали же его в гласные потому, что в земском деле его советы отличались расчетливостью и практичностью.

Лучшими ораторами на Ставропольских земских собраниях были: Николай Александрович Шишков и Ипполит Александрович Сосновский. Первый говорил увлекательно, красиво, но не убедительно.

Не то представлял собой Ипполит Александрович Сосновский, выступавший не так уж красноречиво. Но своими, в сжатой форме выраженными, деловыми и практически разумными мнениями, он значительно влиял на ход работ наших уездных собраний.

В общем, вся работа Ставропольских земских собраний шла более или менее ровным, чисто деловым, определенным рамками закона темпом, и не отклонялась в сторону обсуждение политических вопросов, не связанных с хозяйственной жизнью уезда. Само собой, на собраниях по некоторым отраслям земской компетенции, особенно по вопросу школьного и т.н. внешкольного образования, неоднократно возникали разноречивые суждения и гласные раскалывались на два противоположных лагеря. Одни — «либеральные» стремились скорейшим образом приобщить население к благам всяческой культурности, другие — «консервативные», по разным соображениям, главным образом, финансово-бюджетным, старались

сдерживать порывы первых и проповедовали большую осторожность и постепенность....

Лидерами «либерального» направления обычно выступали Н.А.Шишков и Г.К.Татаринов. Насколько первый был сладкоречив, настолько второй оказывался неудачным защитником своих идей, благодаря излишней нервности, путанному изложению мыслей и всему своему суетливому поведению, с явным заискиванием перед крестьянскими представителями. К ним можно пожалуй присоединить и их обычного единомышленника кн. Ю.С.Хованского.

Представителями «консервативно-сдерживающего» течения надо назвать в первую голову С.А.Сосновского и Наумовых.

В общем, земская работа в Ставропольском уезде шла ровным темпом, из года в год расширяясь. Ко времени объявления Великой Войны годовой бюджет Ставропольского земства вырос до солидной цифры в 330 с лишком тысяч рублей, причем было достигнуто осуществление в уезде т.н. «нормальной сети», как по насаждению школьного преподавания, так и в отношении оборудования медицинских участков.

За последнее десятилетие Ставропольским земством было обращено усиленное внимание также на развитие разумной и планомерной помощи населению. Вопрос этот меня горячо интересовал, и я неоднократно выступал по нему на собраниях докладчиком, проводя в жизнь именно то, о чем хочу здесь сообщить.

Первоначально идея агрономической помощи возникла в среде Губернского Земства, когда я стал членом Губернской Управы. Постепенно это дело децентрализовалось и перешло почти целиком в руки уездных земств, пользовавшихся лишь кредитной помощью со стороны Губернского Земства.

С самого начала был основан и оборудован при Самарской Губернской Земской управе центральный склад земледельческих орудий и машин. Дело это стало развиваться гигантскими шагами. Выработанная форма снабжения сельскохозяйственным инвентарем, с предоставлением покупателям льготных кредитных условий и установлением за отпускаемый товар низких фабричных цен, оказалась настолько целесообразной и выгодной для населения, что вскоре подобные склады образовались во всех уездах. В нашем Ставропольском уезде стали широко работать три склада — в г. Ставрополе, в посаде Мелекессе и в с. Старой Майне.

Помимо этого, внимание земства, за последнее десятилетие его существования, было обращено на воздействие на население в смысле улучшения и интенсификации земледелия. Нелегкая была это задача, главным образом, в силу массовой некультурности крестьянского общинного населения, его не столько консервативности, сколько инертности, а также вследствие укоренившегося у него мнения, что у помещиков потому родится хлеб лучше, что наделены они более плодородной землей, а вовсе не потому, что обработка у них выше. Крестьянское население упорно придерживалось своего исконного способа ведения хозяйства, и ко всякому «господскому» совету относилось недоверчиво.

Первые шаги деятельности разъездных земских агрономических отрядов ни к какому реальному результату не приводили; получалось лишь ненужное обременение сметного бюджета, о чем неоднократно говорилось тогда на собраниях, с требованием вовсе прекратить подобную организацию агрономической помощи. Между тем, как раз в описываемое время приходилось наблюдать только что вводившуюся удельным ведом-

ством систему по сдаче им своих оброчных статей, производившую благотворительный переворот во всем аграрно-экономическом укладе нашего Поволжья. Нуждавшемуся в земле лицу участок сдавался в аренду, но Уделы предъявили ряд требований, имевших одну определенную цель — заставить арендатора постепенно переходить с первобытных форм пользования землею к более совершенному многополью, травосеянию, унавоживанию, пропашной обработке и пр. В какое-нибудь десятилетие в местностях, хорошо мне известных, огромные удельные степные пространства совершенно преобразились, превратившись в превосходно обработанные пахотные угодья, со всеми признаками интенсивной культуры. Убедившись в разумности удельной аграрной политики, я стал настойчиво выступать у себя на собраниях с предложением последовать примеру передового в этом отношении ведомства. Так как это время совпало с периодом начатых, по инициативе министра Столыпина, землеустроительных работ, земство наше, согласившись стать на предложенный мною путь насаждения среди населения усовершенствованных способов земельной обработки, воспользовалось случаем приобретения по крайне сходной цене нескольких земельных участков в разных наиболее типичных местах уезда, исключительно в целях эксплуатации их на условиях аналогичных, практикуемых в Уделах.

Земства ставили арендаторам те же условие — применение на арендуемом участке преподанных земской агрономией улучшенных способов землепользования. Результаты сказались быстро: население, ранее глухое к «господским» советам, воочию увидало всю реальную выгоду интенсивного хозяйства. Но — увы!... Безудержная революционная стихия, разыгравшаяся на почве грубых людских инстинктов, подогретых ленин-

скими лозунгами «черного передела», всему начавшемуся культурно-агрономическому просвещению земледельческих деревенских масс положила предел... Оборвалось великое творчество — государственное и земское дело!

Ставропольские земцы отличались редким постоянством, избирая в течение долгих трехлетий своим председателем управы почтенного, доброго и обходительного Владимира Сергеевича Тресвятского — зарекомендовавшего себя экономным, честным и кропотливым работником. Когда под конец, усталый и больной, он категорически заявил на собрании о невозможности для него продолжать земскую службу, произошла редкая и трогательная картина: на его место единогласно Председателем был избран его единственный сын Николай, молодой еще человек с университетским образованием, сумевший быстро снискать всеобщую симпатию и доверие. И вот, у председательского стола встретились — бывший и новый председатели, отец и сын — оба счастливые, со слезами на глазах, бросившиеся друг другу в объятия, при общих аплодисментах растроганных гласных..

Членами управы избирались обычно крестьяне, пользовавшиеся репутацией хороших хозяев. Приглашалось на земскую службу также немало специалистов — техников, агрономов и пр. Медицинский персонал в нашем уезде отличался превосходным составом. Среди земских врачей были известные хирурги, офтальмологи, к которым приезжали издалека для операций.

В ходе работ на земских собраниях, конечно, многое зависело также от личности и умения их председателей. Не могу не вспомнить добром дельного и властного на своем председательском кресле Предводителя Дворянства — Бориса Михайловича Тургенева, хорошо осведомленного в земских делах и

пользовавшегося среди гласных безусловным авторитетом. При нем дело шло безукоризненно.

В 1897 году, в первую же январскую очередную сессию Самарского Губернского Земского Собрания, я совершенно неожиданно, скажу больше — помимо моего желания и согласия, был избран членом Губернской Земской Управы.

Произошло это событие, коренным образом отразившееся на всем укладе моей служебной и частной жизни, следующим образом. Приехав из с. Нового Буяна в Самару к открытию очередного Губернского Земского Собрания, я, как обычно, остановился в т.н. «Аннаевской» гостинице и с первых же дней сильно захворал острой формой распространенной в то время в городе инфлуэнцы. Лечивший меня д-р Бодэ уложил меня в постель. Земское собрание шло в это время своим чередом и отличалось некоторой нервностью ввиду предстоявших в конце сессии выборов дополнительного члена Губернской Управы, вокруг которых обычно разгорались партийные и междууездные страсти.

Самарский уезд, во главе которого стоял гр. А.Н.Толстой, не глупый, но общеизвестный интриган, претендовал на получение места члена управы для своего кандидата, против чего сильно восставали два всегда дружественных между собою уезда: Ставропольский и Бугурусланский, отрицательно относившиеся к проишкам Толстого и его клики. Пока я лежал в жару и в больном одиночестве, происходили всевозможные совещания, намечались разные кандидатуры и комбинации. Ставропольцы, по соглашению с Бугурусланцами, Бугульминцами и Новоузенцами, надумали выдвинуть мою кандидатуру в противовес намеченного Толстым кандидата.

Мое имя оказалось подходящим, прежде всего по доброй памяти земцев к личности моего отца, а затем — мое имя было

новым и безобидным, я никому на собраниях — никаким уездам, партиям или отдельным гласным, не успел причинить ни вреда, ни неприятностей...

Ближе меня знали одни лишь мои земляки — Ставропольцы, которые были заинтересованы иметь в составе Губернской Земской Управы своего человека, в силу чего старательно пропагандировали, отмечая мои заслуги по местной службе и земской работе.

И вот, в конечном результате, я оказался заочно избранным значительным большинством, вопреки всяческим махинациям со стороны злобствовавшего гр. Толстого.

Несмотря на протест врача, тотчас по окончании баллотировки, торжествующие победители — инициаторы моей новой земской службы, ворвались ко мне в комнату и стали радостно меня, еще лежавшего пластом в постели, поздравлять. Я сначала принял их слова за шутку, но потом пришлось поверить, я не благодарил их, но высказал искреннее свое негодование по их адресу, и заявил, что я безусловно откажусь от навязанной мне чести. Слишком я полюбил службу земского начальника и в помыслах своих в то время никогда не имел в виду расставаться с ней и со всей, счастливо сложившейся для меня, обстановкой.

Но обстоятельства оказались сильнее меня: мое намерение отказаться от работы в Губернской Управе встретило серьезный протест не только со стороны моих Ставропольцев, но, главным образом, представителей прочих уездов, поддержавших мою кандидатуру. Пришлось волей-неволей подчиниться своей судьбе.

Вспоминаются горькие переживания при расставании с моим земским начальничеством, с многочисленными сотрудниками в лице волостных старшин, старост, писарей, которые с

редкой отзывчивостью и искренним сожалением отнеслись к моему вынужденному уходу. Были составлены от всех волостных и сельских сходов особые приговоры, в которых высказана была лестная для меня оценка четырехлетней моей службы. Постановили испросить разрешение повесить мой портрет во всех волостных правлениях, но губернским начальством пожелание это было отклонено. Тогда мне преподнесена была фотографическая группа волостных старшин с трогательной их надписью. Я всегда бережно хранил ее у себя в кабинете на видном месте, вплоть до последних дней моего пребывания в России...

Таким совершенно непредвиденным путем оборвалась моя Буяновская счастливая жизнь, полная делового интереса и творческой работы на благо привыкшего ко мне населения, которое, при моих проводках, оказало мне такое исключительное внимание, что забыть этого я до сих пор не могу.

Когда, расставшись с болью в сердце с моим уютным коричневым флигелем, с милыми соседями — со всеми этими «Ильюшами», «Батями», «Ваньчо», «дядей Ваней» и другими Буяновцами, я на своей верной испытанной тройке подъехал к выездной околице — моим глазам представилась неожиданная картина... Ново-Буяновский сельский сход полностью, с иконами и хоругвями, стоял и ждал моего появления, чтобы отслужить мне напутственный молебен. Горячо я молился тогда... Больно было разлучаться с радостным прошлым, пережитым в Ново-Буяновской тихой деловой обстановке и, вместе с тем, жутко становилось за будущее... Мне в то время казалось, что, покидая Буяновскую околицу, я оставлял проторенную знакомую мне дорогу и выезжал на новый, неизвестный путь, чреватый всяческими осложнениями и неожиданностями, что на самом деле и оказалось...

В Уездном Съезде ко мне отнеслись также удивительно тепло. Организованы были в мою честь трогательные проводы, на которых я впервые услышал в сказанных моими бывшими сослуживцами дружеских речах гласную оценку моей прошлой деятельности. Не без слез я со всеми с ними расставался... То были слезы радости и печали вместе.

Помню, как многие из моих уездных друзей, провожая меня на широкое поприще губернской земской работы, мне говорили: до свидания, прозрачно намекая на желательный мой скорейший возврат обратно в Ставрополь в качестве Предводителя.

Об этом ранее мне никогда не думалось; но должен, однако, откровенно сознаться, что посеянные тогда моими друзьями семена заманчивой перспективы предводительской службы глубоко запали в мое восприимчивое сердце.

Сдав участок моему заместителю и переехав в Самару, я сначала поселился в гостинице П.Е.Аннаева, где я и ранее обычно останавливался, не столько в силу удобств и комфорта, сколько из-за моих личных симпатий к ее хозяину — приветливому, тихому и доброму человеку.

Благодаря его знакомству с городом, я вскоре же нашел себе квартиру в небольшом особнячке на углу Троицкой и Алексеевской улиц, удобство которой заключалось в близости к Губернской Земской Управе.

Я занимал весь верхний этаж, заключавший в себе маленькую переднюю, рядом с ней — довольно поместительную комнату, служившую мне одновременно залой, гостиной и столовой; затем небольшой кабинет, спальню, широкий коридор, соединявший мою половину с помещением для прислуги, кухни и довольно обширной кладовой.

В Сурнакинском доме прислугой служила мне все та же почтенная и заботливая старушка Анна Васильевна. Вместе с ней, я захватил с собой из Нового Буяна еще мальчика Порфирия Еремина в качестве казачка, и верного моего друга по дому и охоте пойнтера Джека.

Приехал я из деревни, как говорится, налегке — вещей было мало, мебель взял лишь ту, которая дана была мне отцом из Головкина — его оттоманку и свою складную кровать. Все остальное, самое необходимое, приобрел я на скорую руку в самой Самаре только для того, чтобы можно было мне сидеть.. Дома бывал я мало, и об излишнем комфорте смешно было думать.

Председателем Самарской Губернской Земской Управы был Владимир Николаевич Карамзин. Он принадлежал к старинному дворянскому роду, прославленному принадлежностью к нему знаменитого Российского историографа Н.М.Карамзина. В описываемое мною время семья Карамзиных владела обширными поместьями в Бугурусланском уезде Самарской губ. и состояла из трех братьев: старшего Александра, затем Владимира и младшего Бориса Николаевичей. Все они были примерными хозяевами, почти безвыездно работавшими в своих имениях и лишь в силу крайней необходимости покидавшими свои насиженные гнезда. Это были настоящие представители того типа дворян-землевладельцев, которые денег по границам и городам не швыряли, отличались не показной, а действительной любовью к земле — их родной кормилице, и умели в своем хозяйстве не только сводить концы с концами, но и получать солидные с него доходы. Скромные, трудолюбивые Карамзины пользовались всеобщим уважением местного населения.

Старший, Александр Николаевич, никогда почти не снимал своего деревенского русского костюма, лишь в самых исключительных случаях появляясь в немецком платье.

Окончив в свое время Военно-Инженерное Училище и Горный Институт, он отличался редкой любознательностью ко всему тому, что происходило вокруг него в мире флоры и фауны. Особенно интересовался он метеорологией, 25 лет вел записи, свои наблюдения, которые потом издал. Труд этот получил впоследствии высокую оценку со стороны Академии Наук.

Помимо этого, известны были его работы по лесонасаждению на его земельных угодьях, представлявших ранее сплошные степи.

Следующий по старшинству брат — Владимир Николаевич, избранный в январскую сессию 1897 г. Председателем Губернской Земской Управы, в молодости, как офицер Лейб-Эриванского полка, участвовал в Турецкой кампании 1877 г.г. на Кавказском фронте, и получил за проявленную храбрость ряд боевых отличий. Выйдя в отставку, он поселился в своем Бугурусланском имении и стал принимать деятельное участие в местной общественной жизни.

Спокойный, рассудительный, Владимир Николаевич отличался невозмутимо-ровным характером и редко вдумчивым отношением к служебным делам. Говорил он плавно, обстоятельно и логично, умел при самых острых столкновениях спорящих сторон вносить разумную примирительную ноту, благодаря чему смягчались личные страсти и выигрывало само общественное и хозяйственное дело. Простой, общительный и страстно любивший природу, Владимир Николаевич быстро завоевал мою искреннюю и горячую симпатию, являясь для меня душевным и добрым советчиком в моей одинокой городской жизни и новой губернской земской работе. По природе прямой

и правдивый, Карамзин ненавидел ложь и интригу. Вследствие этого, ему трудно жилось в губернском центре и нелегко переносилось ответственное служение на председательском месте, вокруг которого скапливалось обычно множество всяких оценок, нареканий, интриг и злословий со стороны лиц, претендовавших занять этот видный земский пост. В конце концов, Владимиру Николаевичу переживать все это стало не под силу и, прослужив Самарскому губернскому земству два трехлетия, он отошел в сторону, предоставив свое место старому боевому земцу В.А.Племянникову, о котором скажу ниже.

Младшего Карамзина звали Борисом Николаевичем. Он редко появлялся на губернских собраниях и отличался крайней нетерпимостью в отношении своих политических противников.

Все Карамзины были убежденными монархистами — Александр и Борис крайне правого направления, Владимир же скорее примыкал к конституционалистам. Образчиком его нетерпимости может служить следующий эпизод. Давний друг Карамзиных, А.А.Чемодуров, бывший до меня губернским предводителем дворянства, после избрания его от дворянских обществ членом Государственного Совета, проживал часто в Петербурге и вот однажды, справляя свое шестидесятилетие — (в 1907 г.) позвал на обед в Европейскую гостиницу случайно оказавшихся в столице своих близких бугурусланцев и некоторых Самарцев, в том числе и меня. Зашел разговор на политические темы, и перешли к оценке видной в то время фигуры министра Столыпина. Некоторые из обедавших стали высказывать опасение за принятый им правительственный курс, критикуя намеченные им реформы по реорганизации губернской и уездной администрации, земства и пр. А.А.Чемодуров, определенно правый монархист, стал заверять присутствующих, что

их опасение преувеличены, что Столыпин честный монархист, преданный царю и своему долгу... Сидевший рядом со мною Борис Карамзин обращается ко мне и уныло-отчаянным голосом говорит мне на ухо: «что делает гнилой Питер с людьми! Не узнаешь теперь нашего Александра Александровича (Чемодурова) — до чего он полевел!»

Перейду к характеристике других моих коллег по Губернской Управе, из которых наиболее старым по годам давним по земской службе был Василий Андреевич Племянников.

Опытный земский работник, знавший хорошо свою губернию, честный и в душе добрый, отзывчивый человек, Василий Андреевич отличался необычайной вспыльчивостью, упрямством и болезненным самолюбием, а главное им руководил присущий его характеру дух противоречия, благодаря чему ладить с ним бывало нелегко.

Несмотря на это, Василий Андреевич был видной фигурой в земской среде, главным образом, в силу его огромной земской осведомленности, давнего служилого опыта и редкой работоспособности. С губернскими властями жил он не в ладах, находясь в отношении к ним в состоянии «хронической» оппозиции, с земским же всем персоналом ладил хорошо.

Иосиф Августинович Вельц был землевладельцем Бугурусланского уезда, по происхождению из обруселых чехов. Вельц представлял собою неутомимую машину, с раннего утра до поздней ночи занимаясь в своем управском кабинете делами по взятым на себя отраслям земского губернского хозяйства.

Четвертым управским моим коллегой был Николай Сергеевич Тресвятский, юрист по образованию, бывший судебный следователь. Как работник, это была несомненно полезная сила

— большинство его за это и ценило, но... не любило. Ему вредила приторная слащавость в сношениях с лицами высшего порядка и деланная надменность в отношении людей подчиненного ему ранга.

По состоявшемуся взаимному соглашению управской коллегии все дела губернского земского хозяйства были распределены между членами Управы. Мне было поручено организовать и вести только что, в январскую сессию 1897 года, образованные два отдела: санитарный и статистико-оценочный с почвенным подотделом. Также мне передано было заведывание пенсионной кассой. Ко всему этому, на одном из первых же наших управских заседаний, несмотря на мой упорный отказ, я был избран своими коллегами заступающим место Председателя Управы. Не соглашался я на принятие этой должности, потому что был недостаточно еще знаком с обширным губернским земским хозяйством. Но управа настояла на своем, и я вынужден был подчиниться.

В общем ходе занятий в Губернской Управе играло первостепенную роль лицо, занимавшее должность ее секретаря. Он являлся ближайшим доверенным сотрудником Председателя, редактировал всю обширную его переписку с внешним миром и составлял по его поручению доклады для земских собраний.

При моем вступлении в состав Самарской губернской управы секретарем состоял Александр Степанович Пругавин — известный литератор-публицист народнического направления, которым я в свое время, на старших курсах университета, зачитывался наряду с Успенским, Златовратским и др. Высокий, стройный, всегда элегантно одетый, изысканно-вежливый Александр Степанович, со своей выхоленной, плотной, с легкой проседью, бородой и золотыми очками на профессорского типа

лице, внешним своим видом мало походил на апостола народнической идеологии и опального автора зловредных по тому времени политических исповеданий... Импозантная выложенная фигура Пругавина, с щегольским портфелем подмышкой и лоснящимся цилиндром на голове, напоминала собой скорее столичного завязтого бюрократа привилегированных министерских департаментов, и резко выделялась на общем фоне остальных земских служащих по найму, заслуживших с легкой руки одного из Самарских вице-губернаторов (В. Г. Кондоиди — в 1904 г.) крылатое наименование «третьего элемента».

Александру Степановичу приходилось бывать с докладами у меня, как заместителя Председателя. На первых порах совместной с ним работы я бывал смущен, видя перед собой, в качестве подчиненного лица человека, имя которого так еще недавно представлялось мне непререкаемым литературным авторитетом. Ныне же, в силу сложившихся обстоятельств, я бывал вынуждаем нередко его доклады — своего рода литературу — сокращать, видоизменять, в соответствии с требованием земского дела и моего понимания. Пругавин не подавал вида какого-либо недовольства или задетого авторского самолюбия.

Но надо сказать правду, если Пругавин действительно владел прекрасным пером, излагал порученную ему переписку и доклады в смысле стиля и слога красиво-литературным языком, то все же для занятия должности земского секретаря у него многого не хватало. Прежде всего, он был далек от понимания главной основы земской жизни — ее хозяйственности. Это мешало ему во всех его секретарских работах

Служащих по найму в Губернском Земстве было немало. Такие отделы, как страховой, благотворительный, дорожно-строительный представляли собой целые министерские департаменты; бухгалтерия из года в год тоже разрасталась по мере

роста губернского земского бюджета, доходившего перед войной 1914 года до трех с половиной миллионов рублей.

Во главе каждого отдела стоял особый заведующий, выбор которого намечался всем составом Управы. Большинство из них были настоящими ветеранами земской службы. Такие лица, как главный бухгалтер с его помощником служили в Управе чуть ли не с основания Самарского земства.

С особой симпатией вспоминаю я губернского земского агронома, милейшего Михаила Алексеевича Трофимова и его способного помощника Александра Владимировича Тейтеля, оказавшего мне впоследствии неоценимые услуги своим сотрудничеством по ведению всего делопроизводства в комитете по устройству в Самаре политехникума, а после объявление войны 1914 года по сбору пожертвований на нужды самарских воинов. Превосходный был состав врачебно-административного персонала в нашем земстве; старшим врачом был В.М.Рожанский — специалист по детским болезням, д-р Вертел — известный акушер, д-р П.П.Крылов — заведывавший образцовой бактериологической и Пастеровской станцией, и, наконец, знаток своей профессии — Степан Александрович Беляков, директор прекрасно оборудованной психиатрической колонии-лечебницы, расположенной в 7 верстах от города.

Избрание меня в дополнительные члены Управы находилось в прямой связи с состоявшимся на том же январском собрании 1897 года постановлением об образовании при Самарской Губернской Земской Управе новых двух отделов: санитарного и статистико-оценочного. Формирование первого подсаживалось самой жизнью, ввиду не прекращавшихся в Самарской губернии периодических вспышек разного рода эпидемий

— тифа, холеры и, временами, даже чумы, главный очаг которой гнезился на окраинах Новоузенского уезда, граничивших с Астраханской губернией.

Что же касается статистико-оценочного отдела, то его необходимо было организовать в силу особого правительственного распоряжения, инициатором которого был министр С.Ю.Витте, и которое устанавливало определенные правила переоценки всех земельных имуществ в губернии и составление на основании ее соответствующего кадастра для налогового обложения с недвижимостей.

Тот и другой отделы базировались, главным образом, на счетной части, на переработке тех статистических данных которые затребовались нами из всех уездов, и на основании которых производились известные выводы и давались те или иные распоряжения. Разумеется, в отношении системы собирания необходимых статистических данных, несравненно проще обстояло в первом отделе, где сведения получались по особо выработанным т.н. «санитарным карточкам». Гораздо сложнее и ответственнее было с делом организации статистико-оценочных работ в связи с почвенным учетом земельных имуществ губернии, требовавших многочисленного штата специалистов и значительное количество более или менее интеллигентных лиц на местах, для толкового производства намеченных опросов. На местах обследования земельных имуществ агрономами брались образцы почв, которые подвергались, в особо устроенной лаборатории, специальному анализу для установления качества земли, и ее соответствующей оценки.

Приведение в ясность собранного обширного материала; выработка кадастрового распределения; составление планов и почвенных карт, — вся эта работа требовала необыкновенного напряжения, тем более, что закон указывал сроки этих заданий,

а население было очень заинтересовано в добросовестности и справедливости произведенных земством счетных выводов.

Приходилось списываться со всеми культурными центрами России, вызывать специалистов, которых брали в то время нарасхват благодаря тому, что переоценочный закон вводился почти повсеместно в земской России одновременно. В этом отношении не могу не вспомнить с чувством особой благодарности известного проф. Докучаева, давшего нам некоторых превосходных сотрудников по статистике и почвоведению.

Существенное затруднение встречал я при формировании летучих статистических отрядов для собирания данных на местах. Требовались люди, не только хорошо грамотные, но более или менее смышленные и образованные, которые могли бы объяснять темному населению, чего от них хотят.

Первые статистическо-оценочные работы управой назначены были в Новоузенском уезде, сравнительно мало заселенном и с ограниченным числом местной интеллигенции. Нами составлялись списки приглашаемых в отряды работников и представлялись на утверждение губернской власти.

Помимо того, что в губернской канцелярии подолгу задерживалось все это производство, с самого начала все мои представления почти целиком отклонялись по причине «политической неблагонадежности» упоминавшихся в них кандидатов. Работа, однако, была срочная, время шло, и положение очень осложнялось отсутствием персонала. Приходилось лично говорить на эту тему с начальником губернии А.С.Брянчаниновым, который мне категорически заявил, что он «всех статистиков» считает опасными социалистами, и рассылку их по губернии ни в каком случае не допустит.

Создавался какой-то заколдованный круг: с одной стороны, столичное Правительство приказывало приступить к срочной работе, а губернское начальство чинило тому препятствие.

Надо отдать справедливость нашему милейшему А.С. Брянчанинову, что его губернаторские способности в отношении политического сыска и наблюдения за вверенным ему краем отличались крайней простотой и априорностью в распознавании действительного зла и блага. Так, у него, в его начальнической сановной голове, заранее установлен был взгляд на известные категории людей в отношении их политической «благонадежности» в зависимости от принадлежности их к той или другой профессии, тому или другому обществу. Подобный взгляд я испытал на себе. Пока я служил земским начальником, я был «на хорошем счету» у Его Превосходительства. Стоило мне перейти на земскую службу, как я попал у него под великое подозрение. Так, А.С. жаловался И.А.Сосновскому на меня после первого моего появления в губернском городе в качестве члена Управы, за то, что, представляясь Губернатору по утверждении меня в новой должности, я явился к нему не в мундире, а в штатском сюртуке. В этом Брянчанинов усмотрел «демонстративный» мой уклон в сторону политической оппозиционности к власти.

До моего «земства», постоянно принятый в семье Брянчаниновых я, не стесняюсь присутствием того же А.С., позволял себе высказывать много непочтительного по адресу далекого чиновного Петербурга, глухого ко всему местному, и мечтал вслух о необходимости установления живой связи между столицей и провинцией, в лице выбранных от губернского земства людей... Но тогда я был «земским начальником», следовательно, человеком надежным, а теперь стал «земцем», да еще

позволившим себе представляться начальству в сюртуке вместо мундира... Такова психология была у нашего губернатора, много горя и бед причинившего в отношении набора упомянутых мною выше статистическо-оценочных отрядов

Пришлось мне обратиться, помимо самого Брянчанинова, к всесильному И.А.Протопопову — Правителю его же губернской канцелярии, фактически державшему губернию в своих руках. Он снесся с Петербургом, указав с одной стороны, на необходимость срочного формирования отрядов по новому законоположению, и с другой, — на вынужденность со стороны Начальника губернии допущения в их состав некоторых т.н. «поднадзорных», в силу крайней затруднительности для земства найти достаточное количество служащих для статистическо-оценочных отрядов.

Министерство разрешило Губернатору встать на этот путь. Дело было наконец сдвинуто с места. Протопопов стал пропускать список за списком — отряды формировались и отсылались.

Другое бюро, которым я руководил, было санитарное. Непосредственное заведывание им было поручено д-ру Моисею Марковичу Грану, талантливому работнику и дельному организатору.

Состав земских служащих в губернской Управе за время моего в ней пребывания оставил во мне наилучшие воспоминания: все они были честными исполнительными работниками, искренне любившими свое дело и ревниво к нему относившимися.

В описываемое мною время 1897-1898 г.г. о каких-либо политических течениях среди них не было слышно и стали они выставляться лишь позднее, после печальной памяти Японской кампании 1904 г.

Знакомство мое с самим земским делом в его широком губернском масштабе шло быстро, благодаря создавшейся для меня благоприятной служебной обстановке, а также в силу необходимости отправлять в нужных случаях обязанности Председателя Управы. Работать в общем приходилось много, дело было исключительного объема и интереса. Представлялся немалый простор для проявления творчества и инициативы. Это в особенности понадобилось в 1898 году, когда Самарскому земству пришлось бороться с последствиями неурожая 1897 года и заняться продовольственно-семенными операциями. Но я должен в хронологическом порядке упомянуть о некоторых событиях, сыгравших в 1897 году в моей личной и семейной жизни исключительную роль.

41

Начавшееся в с. Новом Буяне весной 1893 года знакомство мое с Ушковской семьей из года в год становилось ближе и душевнее, перейдя за четыре истекшие года в тесную, искреннюю дружбу между мной и милым Константином Капитоновичем. Дети его, главным образом, малыши-мальчики, видимо, тоже мне симпатизировали. Что же касается барышень, то к той характеристике, которая мною была дана ранее в моих воспоминаниях могу лишь добавить, что из милых белокурых подростков, которых я застал впервые при нашей встрече, за эти же четыре года обе они превратились в миловидных взрослых барышень, воспитанных, строго выдержанных, образованных, свободно владевших иностранными языками, просто и достойно державших себя в обществе.

Невольно мое особое внимание привлекала старшая из них — Анна, с годами приобретающая то внешнее очарование, которое поддается лишь внутренними отличительными свойствами любящей, ясной и чистой души. Не раз ловил я себя на том чувстве особого восхищения и бесконечного преклонения, когда, бывало, увидишь ее лучистые большие голубые — «Анютинны» — глаза, отражавшие всю красоту ее доброго, правдивого нутра.

Скромная, внутренне-сосредоточенная, по природе скорее замкнутая, Анна Константиновна внешне была мало общительна, но тем не менее, наши взаимоотношения становились из года в год искреннее и проще. Немало содействовали нашему обоюдному сближению некоторые лица, общие наши знакомые, старые служащие в той же Ушковской семье, как например, почтенная нянюшка Любовь Максимовна, выхаживавшая всех детей, почему-то благоволившая ко мне, или их главным управляющим Оскар Карлович Корст, все время мечтавший о нашей будущей помолвке.

Сватал нас сам Владыка, Самарский Епископ Гурий.

Сам я далек был от этой мысли: многое меня останавливало от этого шага; главное — я не давал еще сам себе ясного отчета, насколько чувства мои к Анне были прочны и серьезны. Выяснилось это для меня в начале того же 1897 года, когда до меня дошли упорные слухи, что Анна Константиновна выходит в Москве замуж... Только тогда я осознал, какое сильное чувство зародилось у меня к ней, и понял, кого и что я в ее лице теряю... Сердце рвалось ее повидать, спросить, переговорить и поведать ей все мое сокровенное. Однако, при создавшихся условиях моей новой службы и жизни осуществить это было невозможно... Приходилось покоряться судьбе и оставаться одиноким холостяком, целиком отдавшимся земской работе.

Наступила весна, и с первыми пароходами, внезапно для меня, приезжают в с. Рождественно все Ушковы... Слухи о замужестве оказались вздорными. Предложения делались, но Анна Константиновна их все отклонила... Помнится мне, как все это было мною радостно воспринято! Ко всему этому с Ушковской семьей приехала новая старшая наставница барышень, г-жа Тютчева — особа умная, энергичная и достаточно решительная. Очевидно, она была прослышана про наши взаимоотношения. Познакомившись со мной, она решила оказывать всяческое содействие нашему дальнейшему сближению, устраивала поездки барышень Ушковых в Самару, в театр, приглашала меня в Рождественно на разные пикники, катанья и пр.

Я не мог скрывать дальше своих чувств к Анне, которая, в свою очередь, тоже проявляла по отношению ко мне все яснее и решительнее взаимность своего сердца.

Вспоминаются наши вечерние сидения на Рождественском балконе при таинственном свете восходящего из-за Самары полумесяца и мерцающего звездного небесного купола; катания вдоль берега Волги; гуляния по Жигулевским полянам...

Я написал отцу, чтобы приехал ко мне в Самару. Сам я поехать к нему не мог — слишком был занят. С ним я хотел посоветоваться прежде, чем решиться на окончательный шаг, который — я чувствовал — должен был скоро свершиться. Отцу я высказал все и он пожелал познакомиться с Ушковыми, главным образом с Анной. Съездили мы вместе в Рождественно. В результате отец со слезами на глазах меня благословил, сказав: «Лучшей ты не найдешь». Он был очарован новым знакомством, которому суждено было, с его благословения, превратиться в близкое и радостное для нашей семьи родство.

Отец уехал и я решился откровенно объясниться прежде с Константином Капитоновичем, испросить его предварительное

согласие. Он был в курсе наших с ней отношений и дал мне разрешение, подтвердив свое искреннее ко мне расположение. «Ступай с Богом, — сказал он мне напоследок — переговоры с дочерью... Она тебя любит... Будьте счастливы!»

Помнится мне, в тот же день после обеда, который в Рождественке подавался в 1 час дня, барышни надумали прокатиться по Воложке на лодке. Собрались Анна, ее сестра Наталия и, гостившие у них, двоюродные их кузины, тоже Ушковы. Расположились мы все в превосходной, новой, только что из Самары доставленной лодке и весело отчалили вверх по течению.

Стоял чудный июньский день (17 число). Несмотря на полуденные часы, на воде ощущалась приятная прохлада от легкого встречного ветерка — «Волжского бриза». Я работал на веслах, против меня, за рулем сидела та, о которой одной были все мои помыслы, и к которой так безудержно влекло меня мое сердце. На душе у меня было спокойно: чувство свое теперь я знал хорошо и радостно, сознательно шел к определенному серьезному для всей моей последующей жизни шагу.

Мы плыли под луговым берегом одного из Волжских середышей — так обычно именовались острова, заливаемые внешним половодьем великой реки. Пришла кому-то в голову мысль причалить к суше и погулять по зеленеющим луговинам. В лодке оказалась целая батарея всевозможных деревенских прохладительных напитков — все это было вытащено на берег и был устроен из всех этих домашних лимонадов и квасов своеобразный кутеж....

Весело, молодо разбежались все кто куда по пустынному живописному острову... Мы с Анной Константиновной остались одни среди кущи молодого тальника и сокорника на свежем волжским половодьем песчаном береговом утесе... И вот

тут, на коренной почве моей родной, любимой с детства ма-тушки-реки, свершилось то важное и решительное, что для всей моей последующей жизни оказалось величайшим благом. Произошло все это просто, как-то само собой: сели мы рядом, взяли друг друга за руки и сказали взаимное, искреннее, любовное слово: «да... навеки!»...

В чистых, правдивых глазах Анны, отныне моей дорогой, любимой подруги жизни, я увидел отблеск ее искреннего беззаветного чувства ко мне и спокойной уверенности в предстоящем нашем взаимном счастье. Вернувшись домой, радостные, мы бросились искать милого нашего Константина Капитоновича, чтобы сообщить ему о свершившемся.

Наступило для нас обоих счастливое, незабываемое время... Хотя помолвка наша не была еще объявлена, но нам с Анной дана была свобода для наших свиданий, любимым местом которых была одна из скамеек в Рождественском саду. При малейшей возможности оторваться от текущих занятий по земству, я стремился из Самары на противоположный берег в Ушковскую усадьбу, где ждало меня счастье, и где жилось в то время всем весело и разнообразно. Постоянно устраивались катанья, то на лошадях в живописнейшие Жигулевские леса и горы, то на т.н. «гулянке» — особой барже, буксируемой небольшим перевозным пароходиком «Ванькой», и приспособленной специально для господских пикников по волжскому простору. Любимое же наше с Анной катанье было вдвоем в шарабане, запряженном вороной с лысинкой «Маруськой», сильно и спокойно возившей нас по полям, душистым лугам и лесным дубравам. Где хотели, мы останавливались, прогуливались и собирали цветы, причем лесному колокольчику в нашей памяти

навсегда оставлено было почетное перед остальными преимущество — то был первый цветок, поднесенный мною Аняте, в первые еще времена нашего с ней знакомства...

Но не суждено было мне спокойно наслаждаться выпавшим на мою долю счастьем. В нашей Наумовской семье, сравнительно вскоре после всего только что мною описанного, неожиданно для всех нас, произошло ужасное событие, в корень подорвавшее весь наш семейный уклад и тяжело отозвавшееся на нашем, до тех пор незапятнанном, фамильном самолюбии. Тяжесть случившегося в то время несчастья настолько еще во мне до сих пор жива, несмотря на многие десятки истекших с того момента лет, что я и теперь отказываюсь воспроизводить в своих воспоминаниях все его подробности. Ограничусь лишь кратким пересказом.

В начале июля все того же 1897 года я получил из г. Буинска, от брата Николая, срочную депешу такого убийственного содержания, что я отказался ей поверить и телеграфно его переспросил, но, к моему ужасу, получилось лишь подтверждение первоначального сообщения, и одновременно, из Головкина отец вызывал меня к себе. Пришлось бросить все — Рождественно и службу. В Головкине застал родителей, совершенно подавленных случившимся. Надо было срочно ехать с отцом в Буинск, узнавать, в чем дело и освобождать под залог злосчастного брата Николая. Преступление его, совершенное на почве холостяцкого легкомысленного поведения, не без доли отвратительного шантажа. было тотчас же искусственно раздуто в крупный скандал различными недоброжелателями. Эти мелкие завистники поспешили бросить грязью в незапятнанное до того времени имя Наумовых.

Там же в Буинске я был поражен состоянием здоровья другого моего брата Дмитрия, страдавшего болезнью сердца, но

тяжелее всего мне было видеть убитого горем нашего отца, рыцарски честного, чистого и благородного человека, вынужденного под старость лет переносить позор родного сына...

Невозможно передать, что пришлось всем нам переиспытать в то кошмарное время. Как сердце сжималось при виде моих несчастных родителей, и как все это повлияло на их и Дмитрия здоровье! Начались всевозможные, тяжкие хлопоты, связанные с предстоящим процессом. Ужас положения усугублялся еще тем, что я не мог оставаться все время около отца, который просил меня вследствие случившегося не прерывать своей службы. Срок моего отпуска истек, и я должен был возвращаться на работу. Не стану вспоминать, как угнетающе все эти события отразились на моем самочувствии и всем моем существе..

Спасло меня от полного отчаяния сознание моего личного счастья и необходимость беречь свои силы ради всего своего светлого будущего. Я был рад скорее выбраться из создавшейся для нашего имени кошмарной обстановки Буинска, да и самого Симбирска, где история с Николаем служила злобой дня, и о ней говорилось и шепталось на всех углах и перекрестках. В Самаре, у себя, за ответственной текущей работой, вблизи от чистого любящего существа, мои нервы мало-помалу стали приходить в норму, и со своей стороны, я всячески старался хотя бы письмами посылить утешать и подбодрять бедных моих стариков.

42

В конце того же июля мне пришлось совершить большую служебную поездку в Новоузенский уезд для проверки статистико-оценочных работ. Перед моим отъездом и нашей временной разлукой, мы с Анютой решили друг друга благословить

нашими тельными крестами, которыми мы обменялись тогда на всю нашу дальнейшую жизнь... На память при расставании Анюта сняла также с руки свой простенький витого золота bracelet и надела мне его «на счастье»...

Начальный путь мы с Пегеевым — моим помощником — проделали на пароходе до огромного села-пристани «Ровного», с населением до 20.000 чел., из которых значительный процент приходился на немцев-колонистов. Смешно было нанимать извозчика на немецком языке, и тем более странно было изъясняться на том же чуждом наречии с явившимся ко мне на «взъезжую» полицейским урядником.

В Ровном жил, имел обширное хозяйство и великолепный дом один из видных и влиятельных Самарских губернских гласных — Шельгорн, по происхождению тоже немец-колонист. Он говорил довольно правильно по-русски и пользовался у себя в округе общим уважением.

В селе мы осмотрели только что выстроенный и оборудованный земством холерный барак, а затем тронулись дальше на лошадях в объезд обширной Новоузенской территории.

Первый перегон надлежало нам сделать до с. Полтавки, расположенной от Ровного в 50 верстах. Путь лежал по совершенно голой, выжженной от стоявшей в том году необыкновенной засухи, степи. Ехали мы на ямщичьей тройке, в безрессорной открытой тележке-плетенке, окутанные густыми облаками едкой солончаковой пыли, беспощадно проникавшей сквозь платье всюду на тело, а сквозь чемоданные скважины и на чистое запасное белье.

Через несколько часов подобной езды под палящими лучами солнца, мы с Пегеевым пришли в состояние полного отчаяния, превратившись в какие-то мумии, занесенные сплошным

толстым налетом серой пыли. Не раз мы радостно оживлялись, видя на горизонте подобие селений и растительности... Но увы! то был лишь обычный в тех местах обман зрения — мираж! В действительности же мы встречали на своем унылом, казавшемся бесконечным пути, лишь черепа и скелеты павших верблюдов и лошадей. Попадавшиеся колодцы оказывались пересохшими, и когда, наконец, мы добрались до давно желанной Полтавки, то и тут нас ждало разочарование— вода, даже в самоваре, отзывалась горько-соленым привкусом.

Впервые пришлось мне попасть в уезд, который, также как соседний Николаевский, геологами именуется «Каспийскими отложениями». Эти уезды происхождением своим обязаны были Каспийскому морю, простиравшемуся когда-то по всему занимаемому ныне этими уездами пространству, а затем, когда море обмелело и отошло в настоящие его берега, обсохшее дно образовало сушу упомянутых уездов.

Новоузенский уезд заселен был сравнительно недавно. При его объезде пришлось мне столкнуться с некоторыми уцелевшими дряхлых лет старожилками, которые в числе первых переселенцев стали заселять девственные Новоузенские степи, покрытые, по их словам, в то время, лет 70-75 тому назад, тучными травами, в низинах камышами и разной кустарниковой порослью, в чаще которой водились табуны диких лошадей и масса всякой дичи...

Проезжая по огромным степным пространствам, теперь превращенным в безводные и пахотные угодья, трудно было поверить почтенным столетним рассказчикам о прошлых флоре и фауне Новоузенского уезда

Несомненно, что почва там при соответствующей влаге должна была быть очень плодородной, а по химическому своему составу пригодной для произрастания пшеницы и богатой

теми элементами, которые создали мировую извесность знаменитой местной «белотурке». Уровень подпочвенной влаги с течением времени понизился. Вместо былых озерин и низких мочезин, покрытых камышовой и иной зарослью, появились оголенные овраги с белесоватым солончаковым налетом на их поверхности.

Борьба с высыханием земной поверхности, с т.н. «суховеями», доходившими из закаспийских пустынь, стала предметом усиленных забот местного уездного земства, являвшегося по многим отраслям своего образцового хозяйства безусловно передовым в губернии, а также и самого Правительства, в лице Ведомства Государственных Имуществ.

В этом отношении большой интерес представлял образцово оборудованный казенный т.н. «Валуйский участок», на который мы с П.В.Пегеевым попали после с. Полтавки, проездом в уездный город Новоузенск. Но прежде чем коснуться в своих воспоминаниях этого «чудо-участка», я хотел бы закончить свое описание Новоузенского уезда. Его заселение происходило постепенно и из разных мест. Первоначальными переселенцами были немцы-«колонисты». Со всех концов матушки-России съехались представители всевозможных наречий и бытовых особенностей. Новоузенский уезд превратился в своеобразные «соединенные штаты».

Разъезжая по служебным надобностям по уезду, я наталкивался на типичное хохлацкое селение, с белыми, чистыми, вымазанными известью «хатами» с прочими глинобитными крышами; то на выложенный, стройный, хозяйственно распланированный немецкий поселок с чисто подметенными широкими улицами и видневшимися на задворках, в порядке расставленными, прекрасно содержавшимися сельскохозяйственными

орудиями... Рядом — грязная деревня с неприбранными улицами, несуразными избами, крытыми соломой... Слышалась великорусская речь и называлось это селение Тамбовкой. Далее, попадали мы в громадное, более опрятное село, основанное переселенцами из-под Петербурга, считавшими себя теперь обитателями уже не России. «За Волгой какая же Россия... у нас не иначе как Азия», обмолвился старик на сходе.

Путешествуя более недели по выжженным засухой полям и степным целинам, добрались мы до Валуйского участка и сразу же почувствовали необыкновенную перемену. В воздухе и почве ощущалась влага и приятная прохлада. Поля имели свежий, сочный вид. Вдали простирался сплошной оазис из зеленеющей густой лесной дубравы, за которой серебрилась водная поверхность огромного озера.

Нам предстояло заехать на ближайший главный хутор, где проживал заведующий участком. Пришлось свернуть с дороги на «межник», возвышавшийся между полевыми угодьями, только что освободившимися от искусственного орошения. Со всех сторон стала подыматься целыми стаями пернатая дичь — дикие утки и разнопородные кулики, видимо, совершенно непуганые, т.к. охота была строго запрещена. Главная цель обширного Валуйского участка заключалась в образцово-показательной организации целой системы искусственного орошения казенной земли путем запруд и задерживания шлюзами внешних вод. Угодья участка были так распределены, что некоторые могли быть орошаемы лишь однократно, другие же по мере надобности. На эти участки арендные цены при торгах доходили до баснословных размеров в силу их исключительной урожайности.

После Валуйского участка мы попали в город Новоузенск — уездную столицу, где снова беспощадно подверглись палящему

зною и невероятно едкой «солончаковой» пыли, от которых спасенья можно было искать в единственном месте — городском парке, куда меня любезно привел почтеннейший уездный предводитель дворянства, Н.А.Путилов. Не претендуя на особые свойства своих умственных дарований, он все же своей ровностью и беспристрастием вносил в кипучую местную земско-хозяйственную жизнь большую долю успокоения. Жил он постоянно в Новоузенске на положении маленького «губернатора», приходя почти ежедневно в упомянутый сад в генеральской легкой накидке и красной предводительской фуражке. При входе его в парк, местный оркестр исполнял особый встречный марш весьма бравурного свойства. Так было и при нашем совместном с «дедушкой» появлении.

Дальше путь лежал к северу от станции Нэйурбах; путешествовать пришлось на ямщицких лошадях. Я решил воспользоваться случаем, чтобы обстоятельно, не торопясь, осмотреть одно из наиболее типичных хозяйств — хутор братьев Трипольских. Это был образец хозяйственности, чистоты и порядка. Многоголовые стада верблюдов и овец, паровая молотилка, усовершенствованные сельскохозяйственные орудия, безбрежные пространства окружавших хутор пшеничных засевов — все это подтверждало сложившуюся в уезде репутацию Трипольских, как примерных сельских хозяев.

Хозяева были люди живые, свежие, толковые, от которых я много узнал про местный край и хозяйство. Попутно я успел и все необходимое занести в опросные свои оценочно-статистические листы.

Дальше предстоял мне путь в самую глубь северо-восточной части уезда, конечным пунктом которого намечено было мною селение Миасс, расположенное в наиболее глухой и отдаленной от всяких культурных центров местности, откуда я

намеревался вернуться обратно, прямо домой к себе в Самару. Но недаром говорится: «человек предполагает, а Бог располагает».

Доехал я до Миасса сильно уставший, еле добрался до отведенной мне въездной избы, и тут же свалился на первую попавшуюся скамью без памяти... Несколько дней я до этого еще перемогался, пока тифоидальная горячка окончательно не забрала меня в свои жесткие лапы. Лежал я в сильном жару на полатях несколько дней почти в полном забытии. Вспоминаю лишь, как приятно было мне в минуты просветления ощущать на руке ту самую браслетную цепочку, которая была дана мне Анютой при разлуке на память и на счастье... Я ее подносил к пересохшим губам и мысленно переносился под защиту светлого милого облика своей нареченной. Хозяева мои, как потом мне передавали, сильно растерялись при виде такого постояльца. Доктор жил далеко — чуть ли не в 70 верстах.

Помощь мне Господь послал совершенно случайную и неожиданную. На другой день после моего заболевания, заехал в глухой Миасс наш земский ветеринар Николай Михайлович Попов с несколькими своими студентами для производства скоту противосибирязвенных прививок. Попов оказался для меня добрым ангелом-хранителем и... спасителем. В его сопровождении на пароходе доплыл до своей Самары. При прощанье милейший Николай Михайлович мне своим низким баском наставительно сказал: — «Ну-с, Александр Николаевич, скорее поправляйтесь, но никому не говорите, что лечил Вас ветеринар!»

Вскоре предстояла мне новая разлука с моей еще негласной невестой. Ушковы в начале сентября решили все ехать в свое Крымское имение «Форос», куда вслед за ними и я должен был последовать, тотчас по получении мною отпуска. Брать

этот отпуск для меня в то время было делом нелегким — не столько по формальным основаниям, сколько по существу создавшегося положения вещей. Земская работа, тяжелое состояние потрясенных горем стариков, наконец, исключительное предстоявшее событие в семье моего старшего брата Димитрия, где ожидали прибавления семейства и просили меня быть крестным отцом — все это заполняло мою голову, когда я мечтал о своем отъезде в Крым. Сильно я колебался — на что решиться.

В конце концов, я стал на путь, предуказанный моей личной судьбой, закрыв глаза на всю создавшуюся в то время для меня исключительно сложную обстановку. Я как бы предчувствовал, что, если откажусь ехать в Крым, где ожидал нас с Анютой решительный акт всей нашей будущей жизни, — я в личных своих переживаниях дойду до непосильного нервного переутомления. Я инстинктивно стремился, хотя бы на миг, оборвать вокруг меня сложившееся в связи с Буинской кошмарной историей, от всего, столь меня глубоко гнетущего, временно отойти и отдохнуть. Я знал, что впереди мне предстояла трудная и сложная жизнь — необходимо было набраться сил и закрепить начатое счастье...

Я так и поступил, написав обо всем откровенно моему бедному отцу и брату Димитрию. Управские мои коллеги, понимая мое положение, тоже дружески откликнулись и отпустили меня недели на две в Крым, к моей невесте, о чем тогда вся Самара, естественно, догадывалась и говорила.

Что же касается Димитрия, которому Господь, после долголетнего брачного бездетного сожительства, послал, наконец, сына — великую радость — то он, видимо, сначала очень сетовал на меня за мой отъезд от крестин, но все же записал меня крестным к своему маленькому, тоже Димитрию, а впоследствии при

личном свидании и вовсе простил, увидав и всем сердцем полюбив мою избранницу...

Попал я в благодатный Крым в самом начале октября. Стояла великолепная погода. Впервые увидав Севастополь, о котором часто слышал от моего отца, участника Крымской кампании, я был ошеломлен общим его видом — портом, бухтой, морскими судами, а главное несравненным зрелищем безбрежного синего моря, его теплым дыханьем, яркостью красок, прозрачным бодрящим воздухом...

В Севастополе меня встретил Константин Капитонович, останавливавшийся постоянно в гостинице «Мария» Киста. Осмотрев наскоро город, успев заглянуть в исторический музей, где нашел фотографическую карточку моего отца в общем числе выставленных участников Крымской кампании, — мы выехали на крупных, сильных лошадях четвериком по направлению к знаменитому имению «Форос», доставшемся сравнительно недавно Ушковской семье по наследству от создателя его — Александра Григорьевича Кузнецова.

Сначала путь лежал через все те исторически места, о которых я неоднократно слышал от отца, когда он вспоминал в своих рассказах о битвах под Черной речкой, Альмой и др. На этих местах всюду виднелись скромные памятники. Проехав живописную Балаклавскую бухту, а за ней гористые ущелья, мы очутились среди широкого плодороднейшего плато, сплошь занятого всевозможными местными культурами — виноградниками, табаком, плодовыми деревьями и пр. Это была знаменитая «Байдарская» долина, после которой начался подъем среди векового горного леса. Я стал чувствовать некоторое переутомление, не столько от усталости физической, сколько от новизны всего мною за день переведенного, и досаждал своему милому спутнику, забрасывая его вопросами: «Когда же море? Скоро ли

Форос?»... На это Константин Капитонович, только улыбаясь, отмалчивался.

Взехав на конечный пункт Байдарского горного перевала, мы остановились около почтовой станций. В отдалении высились огромные, из камней выложенные ворота, в старо-романском стиле, казавшиеся как бы самой природой втиснутыми между горным ущельем. Константин Капитонович, взяв меня под руку, подвел к ним, и выйдя из-под широчайшей их арки к краю примыкавшей к ним площадки, радостно воскликнул: «Ну вот, Саша, смотри! Любуйся теперь на море и на Форос!»

Кто никогда не взбирался на Байдарские ворота и не видал той единственной панорамы, сразу же открывавшейся с них на сверкавшее величественное море, на поражающую красоту всего горного побережья с красной скалой на первом плане, увенчанной на самом краю ее дивным церковным храмом православно-византийского стиля, — тому невозможно ни описать, ни пересказать всей силы исключительного впечатления, которое захватывает всякого попавшего впервые на это благословенное место...

Не помню, сколько времени я простоял, совершенно ошеломленный этим поразительным по своей красоте и неожиданным для меня зрелищем... Меня отрезвил раздавшийся около меня голос того же Константина Капитоновича: «Вот наше обиталище — Форосское имение и его дворец» — показал мне рукою вниз Ушков: «Там тебя давно ждут!»... Посмотрев по указанному направлению с горного верха вниз на извилины морского побережья, я увидел на одной из них, наиболее выдававшейся в море, ряд построек среди еле заметных пересекавшихся дорожных линий и парковых распланировок. Там меня ждут... Это верно! подумал я и бодро воскликнул: «Так едем же, Константин Капитонович, скорей!»

Дорога шла винтообразным спуском. Вскоре мы очутились около площадки, устроенной на самой вершине одного из горных утесов т.н. «Красной скалы», представлявшей собой огромный отвалившийся когда-то от Яйлы осколок из сплошного розовато-красного мраморах. На самом краю этого возвышенно-выдававшегося места, видного на все далекое береговое пространство, Александр Григорьевич Кузнецов, верный своему изысканному вкусу и уменью, при содействии лучших архитекторов и художников, соорудил небольшой, необычайной красоты храм Творцу вселенной. Изумительное сочетание! — На фоне грозных дикой, девственной, как бы только-что вышедшей из общего хаоса мироздания Крымской природы, появилась искусством ума и рук человеческих созданная чудо-церковка, напоминавшая всем и каждому о величии Бога и сил человека. Особенно эта мысль приходит всегда на ум при проезде вдоль Форосского побережья на пароходе... Около церкви, на той же площадке, несколько в стороне, среди кущи деревьев виднелись причтовые каменные одноэтажные флигеля, окруженные садами и огородами. От церкви спуск начался еще круче и извилистее — недаром он носил название «Штопора».

Через полчаса после Байдарских ворот мы подъезжали, посреди великолепных растений, цветочных клумб с фонтанами, к главному подъезду красивого, в стиле итальянского ренессанса, Форосского дворца. Вся Ушковская семья была в сборе. Мало того, съехались к тому времени и остальные братья Константина Капитоновича — старший Петр, затем Яков, даже мой Буяновский земляк и соохотник — Иван Капитонович («дядя Ваня»).

Радостная встреча; осмотр исключительного по своей красоте Форосского имения с его изумительным парком, справед-

ливо носившим наименование «Райского»; дальние интересные прогулки по живописным соседним имениям, по окрестным горам, местами покрытым чудным хвойным или кедровым лесом; катанья на лодках; веселая рыбная ловля с прибрежных камней; раздольное купанье; живительный воздух; близость безбрежного морского простора с его почти ежедневно менявшимися красочными оттенками, световыми «бликами» и прохладными «бризами»; наконец, самое проживание в великолепной усадьбе, воистину, дворце, своего рода музее, заполненном бывшим его основателем выдающимися произведениями всякого рода искусства; великолепными полотнами лучших русских и заграничных мастеров, редкими коллекциями бронзы, мебели, книг и художественных эстампов — все это вместе взятое производило на меня впечатление какого-то волшебного сна, заставив временно отойти от всего гнетущего, что осталось позади у меня не столько в Самаре, сколько в Головкине и злосчастном Буинске с Симбирском вкупе.

Вспоминаются мне на первых порах пытливо направленные на меня взгляды будущих моих родственников.

Особенно присматривался ко мне старший — Петр Капитонович, мужчина умный и прозорливый, пользовавшийся во всей Ушковской семье непререкаемым авторитетом. Часто, подсаживаясь ко мне, он заводил со мною на разные хозяйственные и общественные темы, интересуясь видимо узнавать мои суждения и взгляды на вещи.

«Дядя Яша» (Яков Капитонович) был иного склада и характера человек — более легкий и простодушный. С ним я сражался чуть ли не ежедневно на бильярде, кстати сказать помещавшимся в великолепной высокой комнате, с чудными подлинниками кисти Серова и Маковского на стенах.

С милым Константином Капитоновичем мы устроились для ночлега во флигеле, соединенном с дворцом красивой пероголой, густо покрытой вьющимися розами. За нашим своевременным отходом ко сну бдительно следил Петр Капитонович, обычно входивший в бильярдную комнату, где мы по вечерам собирались — кто для игры, а кто и ради стакана доброго Форосского вина и скороговоркой начальнически нам выговаривал: «Спать пора!». Тогда мы с будущим моим тестем, захватив недопитые стаканы, да и бутылочку-другую с нами, отходили якобы для сна к себе во флигель, где частенько у открытой веранды по вечерам засиживались, душевно друг с другом подолгу беседуя.

19-го октября 1897 года состоялось семейное торжество, устроенное по случаю совершеннолетия старшего сына Константина Капитоновича — Григория, бывшего в то время московским студентом и проживавшего с нами в Форосе. За парадным обеденным столом, утопавшим в цветах, после подачи жаркого, было разлито всем шампанское. Встает Константин Капитонович, и вдруг во всеуслышание, официально объявляет нас с Анютой женихом и невестой. Раздалось общее «ура», нас стали обнимать, поздравлять. Откровенно говоря, для нас обоих это было несомненно радостной, но полной неожиданностью.

После этого перешли к чествованию совершеннолетия Григория. Все это двойное празднество завершилось вечерним банкетом в исключительной, чисто фееричной обстановке огромной оранжереи, залитой разноцветными электрическими огнями, среди массы цветов и красиво переплетававшихся гирлянд.

Но близился день моего отъезда. Было намечено место и время нашей свадьбы: Петербург и начало февраля. Сами Ушковы спешили тоже вскоре после моего отъезда к себе в Москву для всевозможных свадебных приготовлений.

44

В конце октября я вновь сидел в своем Самарском управском кабинете и усиленно работал над сводками Новоузенских работ и принятием мер по борьбе с начавшими появляться в разных местах губернии эпидемическими заболеваниями на почве почти повсеместного недорода и его обычного спутника — голода. Вести с мест шли в то время одна другой безотраднее и тревожнее. Надо было серьезно и планомерно готовиться не только к противоэпидемической борьбе, но и к продовольственной и семенной кампании. Работа Губернскому Земству предстояла большая и ответственная.

К тому же времени относится образование в Самаре частного кружка помощи детям в голодающих местностях. Успех работы всецело зависел от собранных средств. В этом отношении мне удалось добывать довольно значительные суммы денег при содействии семьи Ушковых, присылавших мне их из Москвы. Благодаря деятельности этого «Комитета детской помощи» спасено было в свое время много детских жизней.

В начале зимы наступил для меня жестокий период моих житейских исключительно тяжких переживаний, временами доводивших меня до степени такого душевного отчаяния, что не будь у меня внутренней моральной опоры в лице сопутствовавшего мне везде и всегда светлого облика моей горячо-любимой невесты, я мог бы окончательно свалиться или подпасть под «недобрые» мысли...

Я говорю о памятном начале декабря 1897 года, которое мне пришлось провести в кошмарной обстановке с несчастным отцом и братом Николаем в ожидании суда над ним и затем во все время самого ужасного процесса. Все завершилось фатально трагично: Николай был осужден, а бедного отца на моих руках разбил паралич, и его, бессловесного и недвижимого, пришлось из Алатыря везти в Москву и там поместить в клинику. К нему приехала из Головкина мама, тоже еле живая с совершенно расстроенными нервами.

Все это происходило незадолго до январской очередной сессии Губернского Земского Собрания, к которому мне надо было готовиться с докладами по заведуемым мною отделам. Благодаря удивительно отзывчивому и сердечному отношению добрейшего Ушкова ко всем моим семейным событиям и горестям, я смог, напуствуемый любовным благословением дорогой моей Анюты, и обнадуженный обещанием милого Константина Капитоновича следить за ходом лечения отца, более или менее спокойно отправиться к себе в Самару для срочных подготовительных к Собранию работ.

Впервые мне предстояло выступить в качестве ответственного лица по исполнению возложенных на меня земских обязанностей. Положение осложнялось тем обстоятельством, что оба порученные мне отделы были недавно учреждены и прошли незначительным большинством голосов — много гласных относилось к их образованию скептически. Надо было ожидать при обсуждении моих докладов оппозиционно-критических выпадов.

Морально и физически надорванный семейными событиями, я не был достаточно уверен в благополучном исходе моих выступлений. Мне впервые приходилось публично, перед всей губернией, выходить с деловыми речами. До тех пор я еще не

решался говорить на губернских собраниях, ограничиваясь участием в них лишь в качестве секретаря. Своими же выступлениями на уездных Ставропольских собраниях я не бывал доволен: за отсутствием навыка к публичным речам я первое время стеснялся и не умел ладно резюмировать свои основные предложения. Впоследствии все это ко мне пришло, благодаря практике и некоторой над собой работе.

Наконец, ожидаемая мною не без трепета очередная сессия Самарского Губернского Земского Собрания открылась, и к моей величайшей радости, все по моим отделам прошло удачно, несмотря на попытки некоторых земцев доказывать их ненужность.

Вспоминаются выступления трех моих главных оппонентов — гр. Н.А.Толстого, Л.Ги.Поздюнина и А.Э.Свенцицкого. Из них первый, пользовавшийся в своем уезде безграничной властью, был не по соображениям существа самого дела, а исключительно по мотивам личного характера одним из самых ярких противников представленных мною на обсуждение земского собрания докладов.

Отвечал я Толстому хладнокровно, не горячась, в рамках сути самого дела. В результате нашей словесной дуэли, в перерыве подходит ко мне Николай Александрович и, вопреки своей манере, приветливо протягивает мне свою руку. «Отныне, — сказал мне граф, — я заключаю с Вами — союз. Вы меня победили не столько сутью дела, сколько Вашим умением докладывать и сдержанно отвечать; я Вам предрекаю широкую будущность»... И надо отдать Толстому справедливость — после этих своих слов и до самого своего жизненного и служебного тиража, он ко мне относился всегда благожелательно.

В отношении же «умения моего докладывать» я снискал не только его, но и общее одобрение

Все боялись, что я свои длинные доклады буду читать на собрании полностью, как они были напечатаны. Все были приятно удивлены, когда я представил взиманию собрания лишь самый необходимый и интересный для г.г. гласных экстракт всего содержания.

Итак, все окончилось для меня благополучно. Собрание закрылось. Гласные разъехались. Мы, управцы, вновь были предоставлены своей служебной самостоятельности, и я получил от своих милых и дружелюбно ко мне настроенных коллег новый отпуск, ради небезызвестного для них, ожидавшего меня в Петербурге немаловажного события — бракосочетания.

В конце января я был уже в Москве, где ждала меня радость свидания с моей нареченной и, вместе с тем, вновь встало передо мною во всей своей силе живое горе моих несчастных родителей и злой рок брата Николая, получившего временную свободу и проживавшего в Москве же, среди своих близких... Эта двойственность была непрестанной спутницей во весь описываемый период моей жизни — одно согревало, давало бодрость и светлую надежду — другое приводило меня в отчаяние.

Бедного отца я застал почти в том же параличном состоянии. Мама тоже находилась в крайне угнетенном настроении, страдая острыми нервными припадками. Отношение к ним обоим и к их тяжкому горю со стороны моей невесты и в особенности отца ее, продолжало быть исключительно теплым, родственно-сочувственным.

Почти ежедневно навещали мы отца, лежавшего в превосходно оборудованной новой клинике на Девичьем поле. При этом однажды произошел следующий памятный случай: надумали мы с Анютой проехать к больному на Ушковской великолепной, всей Москве известной, паре серых в яблоках, могу-

чих Орловских кровных красавцах. Запряжены они были в четырехместные городские сани. На козлах сидел московского типа кучер Павел, представительный бородач, разодетый и круто завернутый в парадный кафтан. В клинике мы застали маму, которую уговорили сесть с нами в сани, чтоб вернуться домой. Издавна напуганная еще в Симбирске случившимся с ней несчастьем, мама вообще опасалась езды, признавая лишь возможным садиться на заведомо спокойных лошадей. Она просила предоставить ей вернуться на скромном извозчике, но мы настоятельно убеждали ее довериться испытанным городским лошадям и превосходному опытному кучеру. Мама сдалась и, крестясь, уселась с нами. При спуске с Девичьего Поля вниз под гору по Пречистенке, вдруг из одного небольшого переулочка выскакивает «лихач», столь невзначай и так преступно неумело, что нога одной из наших лошадей попадает в днище проезжавших поперек извозчичьих санок. В результате получился невероятный кавардак. Наш, как кукла связанный долгополым одеянием, кучер попадает под козлы и... мощные жеребцы понесли, да еще под гору. Спасенье наше оказалось в том, что молодец Павел остался до конца верен своему долгу — попав под сани, вывернувшись немного в сторону от бивших рядом с ним, как смертельные молоты, тяжелых лошадиных копыт, он, стремительно влачимый по снеговой мостовой, задев панельные столбы, все же не бросил завернутых на руки вожжей. Только благодаря этому удалось мне спуститься вниз до самых полозьев, перехватить вожжи, вновь забраться на козлы и сдержать умных красавцев. Бедная мама теряла сознание. Мы ее с Анютой бережно пересняли с наших саней и довели на извозчике до дому. Оказалось, она была права — лучше было ее послушаться...

В Москве в Ушковском доме лихорадочно все приготавливалось к нашей свадьбе. Большое участие в этом принимал старший брат моей невесты — Григорий. Он все делал на широкую ногу, «первоклассно», как он сам любил выражаться. Чего чего только не было им заготовлено в приданое сестре. Наше дело с Анютой было только молчать, слушаться и любоваться... Было чем! Все, что было наиболее художественного у знаменитого Волина из серебра и хрусталя; у Колесникова — в отношении всяческого белья, вплоть до скатертей на полсотни персон, изумительно мастерски затканых золотом и шелками — все это Григорий присылал в дом на просмотр и заказывал без конца. Нам все это казалось излишним, ненужным и до известной степени несвоевременным.

Общее высшее руководство по предсвадебным хлопотам вел милейший, энергичный и расторопно умный главно-управляющий делами Ушковых — Оскар Карлович Корст. Благодаря ему, наша свадьба была обставлена превосходно. Все, за исключением моего бедного отца, переехали в Петербург, где разместились в Европейской гостинице, заняв чуть ли не весь уголвой, на Невский выходивший бельэтаж. Вместе с Ушковыми, прибыли из Москвы в северную столицу на нашу свадьбу некоторые из их родственников.

Приехала со мной в Петербург также и моя мать, остававшаяся во все время ее пребывания в столице в крайне подавленном настроении и занятая лишь не покидавшими ее помыслами о злосчастной судьбе ее сына Николая.

Наступил, наконец, памятный в моей жизни день — 4-го февраля, которому накануне предшествовало празднование именин моей невесты, сопровождавшихся устройством «девишника», веселым пиршеством, прогулками на тройках и пр.

Посаженным отцом моим был друг моих родителей, бывший Самарский Губернатор, в то время сенатор, Александр Дмитриевич Свербеев, проявивший при исполнении своих обязанностей такой невероятный педантизм и столь придирчивую взыскательность по отношению к отданному под его власть жениху, что сей бедный чувствовал себя одно время совершенно ошеломленным от беспрестанно сыпавшихся на его голову строжайших замечаний со стороны его сановного «посаженного папаши».

Таинство бракосочетания происходило в Адмиралтейском Соборе — красивом, обширном храме, с белым нарядным иконостасом и боковыми колоннадами вдоль стен входной залы. Перед тем же самым алтарем в свое время бракосочетались родители моей невесты — Константин Капитонович Ушков и Мария Григорьевна Кузнецова, удостоившаяся по сему случаю получить акт высокой Августейшей милости, как внучка А.С.Губкина, лично известного Государю Императору Александру II. Марию Григорьевну благословила Государыня Императрица Мария Александровна иконой Казанской Божьей Матери в массивной, позолоченной, серебряной оправе с нижеследующей, синей эмалью выгравированной внизу, надписью: «Ея Императорское Величество Государыня Императрица Мария Александровна соблаговолила изъявить Всемиловитейшее соизволение благословить настоящей иконой Божьей Матери девицу Марию Кузнецову при выходе ее в замужество за Константина Ушкова 10-го сентября 1875 года».

Этой же иконой 4 февраля 1898 года отец благословил свою дочь Анну. Эта святыня по сие время хранится нерушимо в нашем доме. Удалось спасти ее от всех перенесенных нами невзгод, от страшной революционной стихии 1917-1920 г.г., от наглых обысков и всяческих случайностей при внезапных и

стремительных эвакуациях, вплоть до нашего всесемейного бегства из Крыма в Константинополь в памятный день 1 ноября (н. с.) 1920 г.

Церковное служение на нашей свадьбе отправлял высокочтимый протоиерей Ставровский, настоятель Адмиралтейского Собора, и проходило оно в удивительно торжественно-благоговейной обстановке. Прекрасное, сдержанно-гармоничное хоровое пение усиливало наше проникновенное молитвенное настроение.

По окончании богослужения, все спустились вниз, где в особом боковом помещении было приготовлено шампанское. Нас стали приветствовать и поздравлять. Нам — молодым, предложено было взять из футляров особо заготовленные хрустальные бокалы с серебряными основаниями, в виде изящно вычеканенных херувимов. При чокании мой бокал оказался разбитым... Нельзя не верить после этого в народные приметы; после случая с моим бокалом, вот уже тридцать лет, как я пользуюсь величайшим жизненным благом непрерывного брачного счастья,

Из церкви мы, счастливые молодые, вернулись часов в 6 вечера прямо к себе в Европейскую гостиницу, в особо отведенный, обставленный всевозможными декоративными растениями и массой цветов — огромный апартамент (№ 31), представляющий собой целую квартиру, в обширном салоне которой был сервирован обеденный свадебный стол, красиво разукрашенный цветочными гирляндами и мелкими букетиками из ниццских фиалок.

Во все время нашего свадебного пиршества из соседней гостиной раздавалась удивительно приятная, легко-игривая музыка известного в то время оркестра балалаечников Конногвардейского полка.

Медовые дни провели мы радостно и весело. Погода стояла чудесная и редкая для обычно сырого и туманного Петербурга. Светило солнце, было слегка морозно и установился отличный санный путь. Прожили мы в приветливом Питере в памятном нашем парадном, и вместе с тем уютном, апартаменте около недели, после чего, со всеми родными — с мамой и Ушковыми, вернулись в Москву. Повидав моего отца и простившись со всеми, мы, молодожены, отправились в традиционную «свадебную прогулку», интерес к которой лично у меня проявлялся исключительный — ведь впервые я имел возможность попасть «за границу»!

Протоиерей Ставровский был зверски убит большевиками, тогда 85-летним старцем.

Путь мы наметили на французскую Ривьеру — в Ниццу и ее окрестности. Экспресс нас быстро промчал мимо Варшавы и на вторые сутки мы очутились в Вене, где на некоторое время решили остановиться. Устроившись в превосходной гостинице «Гранд-Отель», мы, как дети, радовались всему новому, что приходилось видеть и встречать.

Взяв из гостиницы гида, мы с утра до ночи спешили знакомиться с интересным городом, поразившим нас красотой некоторых своих зданий, церквей, улиц, их порядком, чистотой, здоровой, привлекательной внешностью самого населения. Превосходные памятники, богатые музеи, нарядные магазины, среди которых немало содержалось нашими братьями по крови — славянами. Устроили мы поездку в знаменитый Шенбрунн, любовались его красиво распланированным парком.

Успел я посетить и Венский Парламент. Добился я не без труда пропуска. Как раз в этот день происходило заседание,

имевшее для Австро-Венгерской Империи значение, и оно протекало при исключительно бурной обстановке разгоряченных партийных страстей.

Забравшись на самый верх круговой галереи, я с птичьего полета стал наблюдать за всем, происходившим внизу... Сначала ничего не мог понять.

Обширнейшая зала была почти совершенно пуста — виднелись лишь кое-какие кучки людей в противоположных ее двух концах. Остальное пространство заполнено было правильно расположенными рядами пустых кресел. Полная тишина. Раздавался один уныло звучащий монотонный голос, еле до моего слуха доходивший.

Я обратился к стоявшему около меня в особой форме служащему за разъяснениями. Оказалось, что заседание идет своим чередом.

В одной кучке, на которую этот служащий мне показал перстом, собрание президиума, а в другой говорил, окруженный несколькими своими единомышленниками и десятком стенографов, знаменитый лидер немецкой партии — Шенерер, выступавший, на мое счастье, со своей исторической обструкционной речью, длившейся, если мне память не изменяет, чуть ли не 16 часов подряд... О ней — я помню — писалось тогда во всех газетах.

Плотный толстяк с огромной лысиной, которую он беспрестанно обтирал платком, с красной крупной физиономией, обрамленной седоватой бородой, Шенерер, полусидя, опираясь на заднюю спинку своего кресла, цедил слово за слово, просматривая имевшуюся у него на руках бумажку. Груда подобных ли-

сточков лежала перед ним на столе. Оратор, безостановочно говоря, методически брал бумажку из правой кучки, прочитывал ее и затем перекладывал налево от себя.

Долго я не мог оставаться зрителем заседания Венского Парламента, оставив жену одну и пообещав ей скоро вернуться, чтобы совместно продолжать осмотр столицы. Сам же я непременно хотел попасть в Австрийское Имперское Законодательное Учреждение, побуждаемый чисто профессиональным любопытством — ведь и себя я тоже до известной степени причислял к разряду единственных российских парламентариев — Земцев!

Я уже собирался уходить, как вдруг до моего слуха дошел, нарушивший царившую до того монотонную тишину, резкий выкрик все того же Шенерера: «Edle Herm!» и дальше послышалось мне несколько громко на всю залу сказанных им фраз самого вызывающего смысла по адресу Правительства.

Не прошло нескольких минут, как из разных дверей стали высыпать кучками депутаты, и все тесным кольцом окружили Шенерера, теперь уже приподнявшегося во весь свой большой рост и резким голосом выкрикивавшего очевидно целый лексикон парламентской ругани по адресу своих противников. Последние в долгу у него не оставались и стали, в свою очередь, со всех сторон на него кричать, шуметь пюпитрами, грозить кулаками и пр. Появились целые шеренги людей, которые начали силой протискиваться сквозь сплотившуюся вокруг оратора толпу — то оказались его политические друзья, которые спешили образовать вокруг их лидера своего рода защитную дружину.

В довершение всего, моим глазам представилась необычайная картина начавшегося форменного кулачного побоища

между приверженцами Шенерера и его противниками, игравшими роль нападающей стороны. Все, что только воюющие парламентарии имели под руками, пускалось в ход: летели кипы бумаг, книги, ручки от кресел, чернильницы и пр. Местами происходили единоличные схватки завязтых кулачных боксеров, физически же бессильные попросту подходили к своим врагам и, подражая верблюдам, плевали в противные им физиономии!...

Гудевший колокол президиума бил набат напрасно — его не слушали, да и не слышали! Что же делал в это время сам знаменитый обструкционист? — К моему величайшему удивлению, Шенерер, защищенный плотной стеной своих храбрых союзников, преспокойно уселся на свое кресло, очевидно, не только для одного отдыха, но, как мои собственные глаза это сверху видели, он использовал это время парламентарного взаимного побоища, чтобы освежиться и в других смыслах — усиленно пил воду и... слегка закусывал. Бросился я вновь к служащему на галерее и спрашиваю, чем же все это кончится?! Со спокойной-снисходительной усмешкой этот, очевидно, выдававший виды тип, постарался меня успокоить, заверив, что все скоро образуется и войдет в свою норму...

И он оказался прав: раздался в зале опять мощный окрик: «Edle Herrn!»

Отдохнув и подкрепившись, Шенерер снова заговорил. Вскоре страсти улеглись.. Депутаты устали. Слушать скучное им не захотелось... Величественная зала Венского Парламента опустела. Вновь под ее огромными художественно отделанными сводами послышалось уныло-монотонное «обструкционное» словоизвержение неугомимого Шенерера...

Вернулся я к жене с превеликим опозданием и с премерзким впечатлением от впервые виденного и слышанного мною

«настоящего» «Европейского» парламента. Наши земские собрания вспомнились мне тогда, как «девственно» чистые, воистину серьезно деловые учреждения! Почему — напрашивалась мне тогда в мою юную голову мысль — лица приписывающие себя к избранному классу русской интеллигенции, хотят России навязывать непременно этот лично мною ныне виденный «Европейский парламентаризм», за который вчуже становилось стыдно, и уродливость которого бросалась свежему человеку столь явственно в глаза!..

Из Вены, в стремительном поезде, промчались мы до конечного пункта нашего путешествия — Ниццы. Остановились мы в одной из лучших по тем временам гостинице «Ривьера Палас», расположенной в наиболее здоровой части города — Симье.

В наше распоряжение предоставлен был небольшой, но комфортабельный угловой апартамент во втором этаже, с чудным видом на море.

Когда мы заняли наш номер, солнце стало заходить за видневшиеся горы, красноватым заревом освещая все окружающее и превращая морскую даль в сказочную по своей красоте картину. Мы с женой бросились на балкон, полюбоваться волшебным вечерним видом... Кто мог предвидеть, что Ницца станет нашей многолетней беженской резиденцией, где пришлось детей и внуков воспитывать, и картошку с виноградом в огороде сажать.

Пишу я эти строки спустя более 30-и лет после моего первого знакомства с благодатным югом Франции, с ее прославленным Кот-д-Азюр, с той самой, ныне приевшейся мне, опостылевшей Ниццей, которая в то описываемое мною время казалась воистину волшебным мирком.

Попали мы в редко удачное время. «Сезон» был в полном разгаре, привлекая к себе исключительно многочисленный съезд Европейских суверенов, а за ними и массу простых смертных. Рядом с нашей «Ривьера Палас», в только-что выстроенной огромной гостинице «Рэжина Палас» проживала престарелая Английская королева Виктория, ежедневно совершавшая обычную свою прогулку в открытой коляске, запряженной элегантной парой великолепных рыжих лошадей. Расплывшаяся, пудренно-красная, с типичным, загнутым книзу, большим носом, Королева, тепло закутанная, в капоре с белыми фижмами, сидела обычно одинокая в углу своего ландо.

В соседнем городе Канн гостил ее сын, наследный принц Уэльский, впоследствии Король Эдуард VII, часто навещавший свою мать и запросто всюду появлявшийся, в элегантных штатских, обычно серых, костюмах и мягкой фетровой шляпе. Пришлось его видеть близко в нашей же гостинице, когда он приезжал с визитом к проживавшему в то время под одной крышей с нами Президенту Французской Республики Феликсу Форю, которому отведены были в «Ривьера Палас» обширные апартаменты в бэльэтаже, и с которым пришлось мне однажды подниматься в лифте.. Феликс Фор держал себя степенно, просто и с достоинством.

Вспоминается мне один курьез: позвал я как-то к себе гостиничного парикмахера. Пока он занимался моей стрижкой, успел я многого от него наслушаться. Наивному Россиянину, привыкшему с чувством особого благоговения высказываться о своем Августейшем суверене, не только странно, но, пожалуй, и страшно было слушать резко пренебрежительные речи отельного куафера о своем Президенте: «Какой он для меня Прези-

дент?!» — под щелканье ножниц тенорком запищал мой циркульник: — «Феликс Фор для меня, прежде всего, кожаных дел мастер — это его специальность».

Гостил также в Ницце Бельгийский Король — благообразный, видный, убеленный сединами старик, с огромной, длинной бородой. Нередко показывалась на Promenade des Anglais красивая Королева Румынская Мария, в щегольских ярких костюмах со своей любимцей белой собакой на цепочке. И наши Великие Князья веселились тогда на французской Ривьере. Встретили мы в Ницце много родных и знакомых. Время проходило весело, счастливо и незаметно.

Как-то раз решили мы с женой проехаться позавтракать в Канн; там с женой стало вдруг нехорошо, она отказалась от еды, сильно побледнела, жаловалась на слабость и головокружение. Вернувшись домой, я уложил ее в постель, думая, что это просто усталость от непривычной празднично-суеверной жизни...

Я обратился за советом к В.А.Харитоненко, давней и привычной обительнице Ниццы, прося ее указать какого-либо надежного доктора. Рекомендовала она мне некую г-жу Херидинову, оказавшуюся действительно очень добросовестной и симпатичной женщиной. Оставшись наедине с женой, спустя некоторое время, Херидинова выходит из спальни и, приветливо улыбаясь, сообщила мне такую новость, от которой я некоторое время не мог прийти в себя — Анна оказалась беременной. Зародилось в Ницце то самое дорогое для нас существо, которое в Самаре 14 ноября того же 1898 года появилось на свет в лице нашего первенца, очаровательной дочки Марии, и которому суждено было в цветущие еще годы отойти в вечность. Она покоится на русском кладбище в той же Ницце. В нескольких

шагах от ее могилки, среди кущи роз виднеется скромный мраморный крестик, на котором значится надпись: Madame Hérédinoff.

Первая беременность у Анюты проходила в исключительно тяжелых для нее условиях, и никакие средства облегчить ее мучений не могли. Ее обессиливало полное отсутствие аппетита. Бедная Анюта заметно таяла и слабела. Мало-помалу, я стал положительно терять голову и обратился уже с письмом к Константину Капитоновичу, прося его приехать к нам.

Однажды, поздно ночью, я услышал слабый стон бедной Анюты. Осветив спальню электричеством, я подошел к ней и с ужасом увидел, что она вся похолодела, еле подавая признаки жизни. ее прозрачное худенькое личико казалось омертвевшим...

Меня обуял щемящий страх. Перекрестив ее и себя, я бросился стремглав по коридору вниз и попросил дежурившего ночного швейцара послать немедленно за Херединовой и дать мне тотчас шампанского марки «Монтебелло». Я вернулся в свой номер, и решил потихоньку вливать шампанское с ложки в горло лежавшей, как пласт недвижимо, бедной Анюты. Приходилось с силой разжимать стиснутые ее челюсти, чтоб пропускать капельки вина. Но Анюта как будто успокоилась, чуть порозовела, стала лучше и глубже дышать и, наконец, спокойно спала.

Ранним утром пришла Херединова и нашла в состоянии здоровья жены заметное улучшение. Последняя ночь оказалась временем перелома в состоянии жены. С тех пор мы с Анютой марку «Монтебелло» особо чтим, в память ее чудесного целительного значения.

После описанной мною ночи кризис благополучно миновал, здоровье жены стало восстанавливаться, и мы смогли двинуться в обратный путь. Мне надо было торопиться к себе на Волгу, ко всему тому многому и значительному в смысле службы и дела, что меня там ожидало...

Приехав в Москву, мы были обрадованы значительным улучшением в здоровье моего отца, подававшего надежду, по мнению профессоров, на дальнейшее улучшение. Решено было с весенним теплом отправить его в Головкино. Организацию предстоящего его путешествия и принятие всех необходимых для этого подготовительных мер любезно принял на себя Константин Капитонович, благодаря чему мы могли с более или менее спокойной душой выехать на место моего служения в Самару.

Возвратившись наконец к своим деловым обязанностям, я первым делом имел длительное совещание с моими коллегами по Управе, которым высказал благодарность за их доброе ко мне отношение, а затем заявил, что желал бы знать их откровенное мнение по поводу возможности дальнейшего продолжения мною совместной с ними службы, столь часто, в силу исключительных моих семейных обстоятельств, прерываемой отлучками. Весь состав Управы, во главе с Карамзиным, просил отбросить сомнения и оставаться на службе до конца всех наших полномочий.

С новыми силами принялся я тогда за свою любимую работу, стараясь наверстать потерянное время.

По приезде в Самару, мы переехали в Рождественскую усадьбу, где нам были отведены особые комнаты. Туда я приезжал ночевать и оттуда ежедневно с утра переправлялся через Волгу в Самару на пароходике или на особой, имевшейся специально в моем распоряжении, лодке.

Благодаря установившимся не только добрым, но и душевным отношениям с моими коллегами, я позволял себе, пользуясь удобством паровозных сообщений, довольно часто навещать моих стариков, устроившихся покойно у себя в Головкине.

Здоровье отца заметно улучшалось: среди лета он уже мог тихо двигаться и достаточно ясно говорить. Не раз он высказывал мне свое беспокойство за судьбу родного своего Головкинского хозяйства, неоднократно намекая на единственно-возможное разрешение волнующего его вопроса — передачи всего имения мне в единоличную собственность, с выплатой братни- ных частей и обязательством обеспечения жизни их — стариков...

Я согласился и принял за осуществление воли отца, но положение вещей было чрезвычайно осложнено болезнью отца, прикованного к Головкинской усадьбе и болезнью бед- ного моего брата Дмитрия, тоже почти недвижимо лежавшего в постели, в усадьбе Терениных в 12 верстах от г. Буинска Симбирской губ., и наконец, вследствие вошедшего в силу уголовного приговора над другим моим братом — несчастным Николаем, который был лишен прав и заключен в Симбирскую тюрьму...

Как бы то ни было, но мне необходимо было приступить к выполнению воли моего отца. Я обратился за советом и содействием к нашему Самарскому нотариусу Михаилу Семеновичу Афанасьеву. Благодаря его деловитой сообразительности, энергии и судебно-служебным связям, я мог успешно и своевременно завершить начатое сложное дело. В памятный мне день, 19 августа 1898 г., в г. Самаре, были заключены два последовательных акта: 1) дарственная моего отца Николая Михайловича Наумова, передавшего все свое Головкинское недвижимое имущество двум сыновьям — Дмитрию и Александру, и 2) приобретение мною части моего брата Дмитрия, с принятием на

себя всего расчетного и банковского долга. О моем морально взятом на себя обязательстве выплаты причитающейся доли брату Николаю в акте не было упомянуто.

Меня заставляло лихорадочно спешить со всеми этими хлопотами здоровье бедного брата Димитрия. Оно становилось угрожающим, и опоздай я не только на день, но на каких-нибудь два часа — все бы рушилось! Все сделки у нотариуса были закончены к двум часам дня, а в четыре часа того же дня, волею Божьею, Димитрий скончался.

Расчетной основой заключенной сделки была преподанная отцом оценка Головкинского имения в 360.000 рублей, составными частями которой были: 1) долг Дворянскому Банку — 135.000 рублей, 2) три равные части, причитающиеся на нас, сыновей, по 75.000 рублей — всего 225.000 рублей. Следовательно, я обязывался принять на себя банковский долг в 135.000 р. и произвести уплату обоим братьям по 75.000 каждому — всего 150.000 р. Помимо этого, я брал на себя полное содержание обоих моих родителей до конца их дней, выплачивая каждому из них по 1200 рублей в год, следовательно, всего 2.400 р. обоим. Само собой, что об этом последнем в нотариальной сделке тоже не упоминалось. Все это с Божьей помощью было мною до конца исполнено в точности и полностью.

Получив телеграмму о кончине брата Димитрия, я срочно выехал в Кишаки (имение Терениных), чтобы проститься с горячо любимым мною близким человеком и помочь убитой горем вдове в печальных хлопотах по погребению. Горе осиротевшей Ольги, вдовы брата Димитрия, не поддается описанию.

С похорон я поспешил навестить моих стариков, чтоб, по мере возможности, их утешить и наладить необходимые формальности по управлению имением, ввиду перехода его в мою собственность. На первых порах я все оставил по-старому, не

внося, ради спокойствия отца, которому выдал полную доверенность, никаких перемен ни в управлении, ни в составе служащих, пригласив лишь для ведения конторы, кассы и необходимой переписки бывшего помощника Мусоргского волостного писаря П.П.Бажмина.

Бедная мама находилась в состоянии крайне тяжелом, и не было сил ее утешить. Смерть одного сына и ужасная судьба другого окончательно подорвали ее нервы. После кончины брата Димитрия, все ее помыслы были направлены на спасение брата Николая: она писала то одному, то другому из своих влиятельных знакомых и родных в Петербург, упрекала меня в недостаточности принятых мною мер к освобождению брата, хотя больше того, что было мною предпринято, невозможно было сделать.

Благодаря добрым отношениям моего тестя с князем Феликсом Феликсовичем Юсуповым, а последнего — с бывшим в то время Министром Юстиции Н.В.Муравьевым, удалось в значительной степени смягчить участь бедного брата. Срок его ссылки в Сибирь на поселение как раз наступал. Мне пришлось поспешить в Симбирск и навестить Николая, ожидавшего своей отправки. Я вынес много хлопот перед Симбирскими властями, с целью исходатайствования предоставления брату льгот для предстоявшего ему пути.

Искреннее и доброе содействие я встретил со стороны управлявшего в то время Симбирской губернией Вице-Губернатора Александра Петровича Наумова, не приходившегося нам родственником, но судя по одинаковому с нами гербу принадлежавшего к одному из шести разветвлений разросшегося за много веков Наумовского рода. Все эти спешные и тяжкие хлопоты; посещения брата в его одиночной тюремной камере; вся эта унижительная и для него, бедного, и для нас всех обстановка,

очень угнетала мое самолюбие и тяжело отзывалась на моем самочувствии, осложнявшемся вынужденной оторванностью от ожидавшей меня в Самаре работы и от нашей только что начатой семейной счастливой жизни...

В Симбирске мне удалось достигнуть возможных благоприятных результатов. В начале сентября брат Николай отправился в далекий Сибирский путь. Его поселили недалеко от Иркутска; затем ему было разрешено переехать и проживать в самом городе, где он получил хорошее место по железнодорожному ведомству. Спустя несколько лет ему были возвращены все права, и Николай с женой и двумя сыновьями, Сергеем и Николаем, вернулся в Россию. Он побывал в Головкине, а затем переселился на юг в г. Бердянск, где приобрел себе дом-особняк и счастливо прожил в нем несколько лет.

Итак, похоронив одного брата и простившись надолго с другим, утешив, как мог, своих горемычных стариков и наладив их хозяйственную жизнь, я, наконец, смог вернуться к своему земскому делу и к молодой жене. Надо было торопиться с подысканием «семейной» квартиры в г. Самаре. Удалось найти отличную квартиру в самом центре города на Дворянской улице в двухэтажном доме Васильева. У нас была гостиная, кабинет, столовая и спальня со смежной комнатой, предназначавшейся для будущей малютки, кухня, комната прислуги, каретник и конюшня.

Я перевез из Рождественного жену, и началась наша самарская жизнь в уютном небольшом гнездышке, из которого удалось сделать красивый уголок, с хорошим городским выездом и приличной прислугой. Кучером мы взяли Артемия из Рождественного.. Любимой одиночкой был у нас чистокровный «Орловский» рысак, четырехлетний, темно-серый в яблоках

«Лимон», родной брат известного «Летуна» Осташевского завода, взявшего Императорский приз. Впоследствии «Лимон» брал на московских бегах первые призы, а затем был переведен в Головкино и оказался одним из родоначальников нашего рысисто-конного завода. Это была лошадь исключительной мощи, но вместе с тем умная и покладистая, так что даже рыхловатый Артемий мог с ним справляться.

Вспоминаю, как однажды пришлось, в качестве заступающего место Председателя Губернской Земской Управы, получать для закупочных продовольственно-семенных операций из казначейства миллион золотых рублей. Сумму эту я должен был перевезти в Государственный Банк. Пересчет означенной суммы занял столь много времени, что, к моему немалому смущению, у меня для перевозки денег в Банк осталось четверть часа. День был субботний. Не попади я до закрытия Банка, мне пришлось бы хранить эту огромную сумму в двух кожаных мешках в Управе, либо у себя дома. Выручил меня тогда резвый наш «Лимон». Получив по телефону согласие Управляющего Государственного Банка А.К.Ершова задержать на некоторое время присяжных счетчиков, я, уложив себе в ноги оба мешка, наполненные золотой монетой, прикрыл их полостью и дал кучеру приказ пустить «Лимона» полным ходом до банка. Мигом домчал меня резвый красавец до банка, где меня поджидали предупрежденные люди, принявшие мой драгоценный вклад. Я облегченно вздохнул и, выйдя из банка, с благодарностью потрепал своего любимца по могучей крутой шее.

Возвращаясь к описанию нашей самарской квартиры, не могу не вспомнить поступившей к нам тогда в услужение удивительно симпатичной четы Огневых с крошкой-сыном Аркашей, из которого впоследствии вышел сначала темный озорник, а затем бравый офицер, участвовавший в Великой войне.

Отец его, Владимир, поступил к нам в качестве повара, а его жена, Анна Гавриловна, оказалась искусной портнихой, обшивавшей все наше многочисленное впоследствии семейство. Тот и другая сделались, за много лет нашей совместной жизни, как бы неотъемлемыми членами нашего семейства. С ними мы делили тягости нашего Крымского пребывания под большевистским игом в 1918- 1919 г.г. Не без боли в сердце мы с ними расстались при Крымской нашей эвакуации, в 1920 году.

Итак, несмотря ни на что, все ж удалось молодоженную нашу жизнь на новом месте, в Самаре, наладить быстро и похорошему. Аня была видимо всем довольна. Здоровье ее в последний период ее беременности не оставляло желать лучшего. Постепенно она стала заниматься своим молодым хозяйством и готовиться к желанному и великому в жизни женщины событию.

45

С осени 1898 года Самарская Губернская Земская Управа была завалена работой, как по семенным заготовкам, так и по продовольственным операциям. Небывалая засуха 1897 года, и последующий недород 1898 года, повлекли за собой почти повсеместное недоедание, а в некоторых районах настоящий голод с его тяжкими последствиями — цингой и тифом. Управе пришлось проявить сверхчеловеческие усилия, чтобы наладить губернскую семенную и продовольственную организацию. Из дому я уходил обычно в 9 часов утра, возвращался к 3-4 часам дня, а в 7 вечера вновь спешил в Управу, где нередко приходилось засиживаться до 2 часов утра. Ко всему этому, захворал Каграмзин, которого я вынужден был замещать.

Одно время в Управе я оставался в сообществе одного И.А.Вельца, замещая Председателя и остальных наших членов — Тресвятского и Племянникова, командированных в разные места по продовольственным закупкам и борьбе с эпидемией. Одновременно, за болезнью артельщика Блинова, я вынужден был вести также и кассу, сидя за особо загороженной решеткой. За эти две недели моего кассирства я воочию убедился, как легко допускать «кассовые просчеты», даже при самом внимательном отношении к Делу.

1898 год был тяжел не только для одной нашей Самарской местности, но также и для соседних пострадавших губерний: Саратовской, Симбирской, Казанской и Уфимской. К глубокому сожалению, каждая из губерний действовала в области закупок совершенно изолированно; операции губернских земств не были объединены и между собой согласованы. Отсюда получилась на рынке убийственная конкуренция между их уполномоченными, спешившими, особенно в последний месяц волжской навигации, скорее закупить возможно больший запас продуктов и семян.

Председательский мой кабинет Губернской Управы, сплошь загроможденный пакетами и мешочками всяческих зерновых и семенных проб, а также присылаемыми из пострадавших мест образцами т.н. «голодных» хлебов, обычно изготовлявшихся из смеси желудевой муки, лебеды и пр., представлял собою в описываемое время своего рода хлебную биржу.

Безотлучно, с утра до позднего часа, сидя в нем, я бывал вынужден, то по телефону, то по личному приказу, заканчивать закупочные хлебные сделки с лицами, предлагавшими земству те или другие партии. Приходилось отдавать и срочные распоряжения, во избежание перехвата хлебных партий другими

земствами. При подобных условиях цены взвинчивались невероятно, шли в гору не по дням, а буквально по часам. В области хлебных закупок царствовал бешеный ажиотаж. За счет свирепствовавшего в Поволжье голода г.г. комиссионеры, не отходя от телефонов, умели быстро обогащаться.

В таком диком водовороте приходилось работать, пока не произошла памятная мне история с покупкой одного каравана солидной партии пшеницы, шедшего из Саратовского низовья вверх по Волге.

Приходит ко мне один известный комиссионер Самарской хлебной биржи, с предложением немедленно «покрыть» сделку, т.е. купить четыре баржи доброй пшеницы, идущей вверх по Волге близ Саратова (приблизительно около 300.000 пудов). Об этой солидной партии я слышал, имел пробу и знал ее цену. Я ему заявил, что — «подумаю», на что получился ответ: «Прошу через два часа сказать мне Ваше решение, в противном случае предложу эту партию другим». При этом он мне назначил цену на добрую треть выше той, о которой я слышал накануне. Терпение мое лопнуло. Я решил действовать и начать борьбу, против воцарившегося лихорадочного закупочного хаоса.

Сказав, что через два часа я ему дам, ответ, я приказал одному моему ловкому служащему не спускать глаз с названного комиссионера, всюду за ним следить, даже при телефонных его переговорах. Тактика моя оказалась правильной.

Тотчас же по выходе от меня, Анисимов подошел к будке, где помещался общий управский телефон, заперся в ней и начал переговоры — сначала с Аннаевской гостиницей, а затем с Ивановской. В той и другой он вызывал лиц, с которыми говорил, как со мной, диктуя условия и запугивая спешностью. Я сразу принял меры для выяснения лиц, проживавших в упомянутых

гостиницах и заинтересованных в покупке столь крупных пшеничных партий. Оказалось, что в одной из них остановился для закупочных целей уполномоченный Казанского Губернского Земства, а в другой — для той же надобности — только что прибывший представитель Уфимской Губернской Земской Управы.

Затем все было проделано быстро и своевременно. За предоставленные мне Анисимовым два часа я успел все узнать и переговорить по телефону с обоими моими земскими коллегами. Я убедил их согласовать наши многомиллионные закупочные операции. Оба они с радостью согласились. Каково же было удивление г-на Анисимова, когда, вернувшись ко мне в Управу, он застал в моем кабинете всех нас троих, дружно беседовавших и объявивших ему о решении приобрести весь хлебный Саратовский караван по первоначальной нормальной цене, о которой я узнал прежде моих земских конкурентов. К общему нашему благополучию и к великой досаде Анисимова, сделка была завершена, партия была куплена по сравнительно нормальной цене и распределена соответственно между нашими тремя земствами.

Подобный образ действий заинтересованных земств более или менее продолжался и в последующее время продовольственной кампании. Благодаря этому, начавшийся было пожар биржевой ажитации сам собой потух, а общее дело выиграло.

Приходилось по поводу хлебных сделок вести разговоры и с «нашим братом», с местными землевладельцами, и выслушивать от них всяческие претензии относительно расценки и приемов их партий нашими агентами на местах.

Самарский голод, о котором в то время много писалось во всех столичных газетах, привлек в зимние месяцы 1898-1899 г.г.

многих приезжих из Петербургских благотворительных организаций, которые направлялись в голодающие деревни, для оказания помощи обессилевшему и больному населению.

Встав лицом к лицу с постигшим бедствием, я воочию увидел всю слабость организации в стране продовольственных запасов, с одной стороны, и с другой, — отсутствие соответствующего законоположения, которое регулировало бы дело продовольствования на случай стихийных бедствий. Прошло почти 20 лет. В 1915-1916 г.г., во время Великой войны, мне, как Министру, председательствующему в Особом Продовольственном Совещании, пришлось руководить ответственным делом продовольственного снабжения не только всех четырех наших фронтовых армий, но и почти всей Европейской России. И что же пришлось мне тогда встретить и увидеть? — Все те же недостатки — отсутствие правильно размещенных по стране продовольственных запасов и их учета, а также полная неподготовленность административных верхов к принятию экстренных необходимых мер для налаживания снабжения. Не было заранее предусмотренного и разработанного «мобилизационного» продовольственного плана..

Незаметно настал памятный день 14-го ноября ст.ст., день рождения Вдовствующей Императрицы Марии Феодоровны и нашей милой Манюши.

46

.. Счастливая жизнь началась в нашей квартире с появлением милого маленького существа, прелестной здоровенькой девочки — Манички, общей любимицы — в особенности ее крестного — дедушки Константина Капитоновича.

Самарское общество отнеслось к нашему пребыванию в городе в высшей степени приветливо, оценив редкие привлекаемые качества доброй, обходительной молодой хозяйки. С земской семьей, как я ранее упоминал, у меня установились со многими наилучшие отношения; особенно сдружились мы с Карамзиными и с Надеждой Васильевной Батюшковой, урожденной Мешковой, Надежда Васильевна принимала деятельное участие во многих общественных делах и всюду приносила не малую долю пользы своей практичностью и энергией.

Проживал также в то время в Самаре, в качестве Управляющего отделением Торгово-Промышленного Банка, Александр Семенович Медведев, человек незаурядный по уму, прошлому общественному опыту и по выдающейся своей деловитости. Познакомился я с ним на заседаниях нашего Кружка по оказанию детской помощи, и, несмотря на ходившие в обществе о нем «страшные» слухи, как о политически озлобленном субъекте, я видел в нем всегда очень милого, симпатичного и интересного собеседника.

Александр Семенович был тверяк, много проработавший у себя на земской ниве, превосходно знавший все отрасли земского хозяйства, и в особенности увлекавшийся разумной постановкой страхового дела. На эти темы мы часто с ним толковали. Оторванный от своей тверской земли, он, видимо, рад был душу отвести при обсуждениях всех этих вопросов; я же, новичок, страстно интересовавшийся задачами земского управления, с неослабным вниманием прислушивался к умным речам и советам знатока этого дела. Я не помню, чтоб он когда-либо высказывал приписываемую ему противоправительственную озлобленность.

Не скрою, из всего Самарского общества я считал его одним из наиболее интересных для меня людей. Свое банковское

дело Медведев вел отлично, завоевал обширную клиентуру среди местного купечества и делового люда, и все делал быстро, точно и решительно.

Спустя несколько лет, Александр Семенович не вытерпел и вернулся к своим тверским общественным делам, играя видную роль в эпоху октябрьских свобод 1905 г. и последующих думских выборов, но вскоре он умер.

Как я ни был занят в описываемое время службой и своим молодым семейством, все же помыслы мои неотступно вращались вокруг вдали проживавших от меня, моих стариков, с их невеселыми думами и печальным душевным настроением. Не забыта была и бедная вдова — Олечка с ее милым младенцем — моим крестником Митюшей. Олеша обращалась ко мне по всем вопросам осложнившейся ее жизни, видя во мне главного советчика и наставника; я же, со своей стороны, особенно ценил ее ко мне обращения и рад бывал ей помочь в память незабвенного брата Димитрия.

Своих головкинских родных я старался навещать. До сих пор не могу забыть одну такую поездку, предпринятую мною перед самым почти закрытием волжской навигации, в начале октября 1898 года. Ночью, под Сенгилеем, наш небольшой пароход был застигнут сильнейшим штормом, быстро залепившим всю поверхность судна сплошным белым ледяным покровом. Все кругом неистово бушевало, стонало и завывало; пароход всем корпусом накренился и весь трещал... Команда отказывалась работать, боцмана наверх к штурвалу не шли, пассажиры обрелись в полной панике... В запорошенном снегом углу паровой рубки стояли на коленях почтенные супруги — Сенгилеевские коммерсанты и клали поклоны перед иконой. Из трюмов раздавались стон, плач и отчаянная ругань. За рулевым колесом продолжал бесстрашно стоять сам молодчина капитан,

которому то и дело носили «для подкрепления» коньячную влагу. Каким-то чудом, навалившись со страшным треском всем бортом, наш утлый пароходик все же сумел пристать к Сенгилеевской пристани, около которой и заночевали.

Утро встало ясное, солнечное и морозное. Волга со своими берегами представляла из себя изумительное и редкое зрелище — все было покрыто густым слоем сверкавшего своей яркой близкой снега, граничившего с темной массой быстро несущейся волжской воды.

Этим злоключения поездки еще не кончились. Через два дня, возвращаясь из Головкина в Симбирск, с тем, чтобы сесть там на пароход и спуститься по реке к себе в Самару, я попал вновь в такую бурю, что перевоза из Часовни на Симбирск не оказалось¹⁷. На мое счастье, нашлась-таки артель, согласившаяся выручить «Головкинского барина», предложившего немалые деньги.. Отчалили и вот... на самой «коренной» Волге, когда огромные валы с бурлящей пеной на гребнях стали захлестывать нашу лодку, гребцы «сробели» и заявили, что дальше не поплывут и повернут назад «по валам».

¹⁷ Село Головкино расположено было на «луговой» Волжской стороне, противоположной «нагорной», на круче которой находился г. Симбирск. Чтобы попасть в этот город, необходимо было из Головкина на лошадях проехать тридцать шесть верст до населенного места, называемого «Часовней», расположенной у самого берега левой луговой стороны Волги, напротив самого Симбирска. Переправа из Часовни в город производилась на особых паромов, буксируемых пароходом. В описываемый мною день, вследствие шторма исключительной силы, переправочные рейсы были отменены.

Меня обуяла злобная досада: на той стороне, у симбирских пристаней, я видел стоявший большой пассажирский пароход, последний, отходивший в Самару. Я решил действовать — мне помогло с детства воспринятое «волжское» воспитание! Недавно проработал я в рыбацкой среде чуть ли не целый месяц — всему научился. Взял я рулевое весло, выровнял как следует лодочный нос, чтобы лодку не так захлестывало валами, и сумел крепким словом да рублевым посулом «на водку» подбодрить гребцов... Через два часа, с ног до головы все мокрые, причаливали мы к городской пристани, где было сравнительно гораздо тише. На берегу собралось множество людей: они за нами давно следили. Были даже предприняты некоторые меры на случай несчастья. Собравшийся народ не мало волновался за нас. При встрече люди радовались, но и попрекнули за безрассудство. Как-никак, а я оказался на симбирском берегу и бросился на первый попавшийся пароход, отходивший в Самару.

Кто на Волге родился и на ней — на великой реке — всю жизнь проживал, — тот близко знает ее нрав, и должен во все времена года, при встрече с волжской стихией, ожидать риска. Буря могла застать в широкое внешнее половодье. Ранней весной или поздней осенью мог настигнуть ледоход. Зимой случались на той же «Матушке-Волге» вероломные «попыньи», снегом запырошенные, или предательские «теплые» воды у берегов... А летние мели, осенние туманы, или весной еле приметные на глаз подводные карши?!

Со всем этим приходилось считаться, умеючи бороться и... все же продолжать крепко любить родную свою, великую реку!

Наступал 1899 год. На праздники и новогоднюю встречу съехалась в с. Рождественно вся Ушковская семья. Старший из сыновей Константина Капитоновича — Григорий тоже успел обзавестись за это время молодой хозяйкой, взяв в жены дочь известного казанского пивовара, Маргариту Эдуардовну Петцольд.

Вряд ли я ошибусь, если скажу, что эта особа, с первых же шагов своих, принесла с собой в дружную дотоле семью Ушковых разлад и взаимные счеты.

Григорий Ушков, отпраздновав в октябре 1897 года совершеннолетие, сделался сразу же, согласно оставленному его дядей А.Г.Кузнецовым завещанию, богатым человеком. К глубокому, однако, сожалению, это обстоятельство не послужило ему впрок, так как, в силу своей крайней несдержанности, он сразу же стал бросать деньги без всякого расчета.

Но тут явилась перед ним серьезная преграда, в лице стойкого, разумного Корста, открыто упрекавшего Григория, которого он знал с малых лет, в преступном разбрасывании доставшихся ему наследственных денег и определенно заявившего свой отказ предоставлять ему какие-либо кредиты или ссуды за счет имущества его сонаследников. Со стороны Григория и его ближайших советников на Корста началось беспощадное наступление: стали распускаться про него разные слухи, порочившие его деятельность. Науськиваемый своей хитрой «подругой жизни», Григорий все громче и громче стал критиковать работу прежнего управления, всячески загрязняя доброе и честное имя почтенного работника Оскара Карловича. Не имея более сил терпеть возбужденную против него Григорием с его

присными травлю, с тяжелым сердцем он заявил искренне любимому им Константину Капитоновичу о своем вынужденном уходе со службы. Надо было видеть в то время их обоих, чтобы понять, как они друг друга успели полюбить и взаимно оценить.

Так или иначе, но поднятая против Оскара Карловича кампания достигла своей цели — Корст ушел...

Константин Капитонович заговорил со мной о создавшемся положении вещей, и к большому моему удивлению, обратился ко мне с неожиданной просьбой помочь ему в том критическом положении, в котором очутились все ушковские дела. Искренно любя Константина Капитоновича и желая посылить ему помощь, я, несмотря на исключительно сложную обстановку моей земской служебной деятельности и всех моих семейных дел, решил пойти ему навстречу и дал свое согласие. В результате мне была выдана полная доверенность по управлению всеми делами и неразделенными имуществами наследников М.Г.Ушковой и А.Г.Кузнецова со всеми их многомиллионными оборотами.

В связи с уходом Корста, судьбой было мне предопределено ознакомиться с совершенно новой для меня обширнейшей деловой областью то заведыванию крупными частными хозяйствами, с разнообразнейшими разветвлениями торгово-промышленных предприятий и с деятельностью банковских учреждений. Помимо этого, предстояло руководство большой конторской и бухгалтерской работой, составление сметных исчислений и отчетных данных.

Обращение ко мне Константина Капитоновича застигло меня в самое горячее время подготовительных работ нашей Управы, по составлению докладного материала к очередному январскому собранию. Времени у меня оставалось мало, в силу

чего я наметил вплотную заняться ушковскими делами лишь по окончании январской сессии.

Как это мне было ни жаль, но на предстоявшем очередном Земском Собрании я решил категорически отказаться от продолжения моей земской выборной службы по нижеследующим мотивам: во-первых, в силу необходимости быть при моих больных стариках, во-вторых, ради устройства личных дел, и в-третьих, ввиду предстоявшего заведывания ушковскими имуществами.

Земское январское собрание прошло для меня и в этот раз не только благополучно, но и вовсе удачно: Собрание относилось ко мне чрезвычайно благожелательно. Когда подошли переборы состава Управы, то Собрание единодушно обратилось ко мне с настойчивой просьбой вновь баллотироваться в члены Управы. Но, верный принятому решению, я, поблагодарив гласных, заявил им, что вынужден временно отойти от общественного служения. Раздались на это повторные единодушные настояния со стороны всего Земского Собрания, превратившиеся, совершенно неожиданно для меня, в сплошные овации по моему адресу, к которым присоединились также шумные аплодисменты многочисленных управских служащих, расположившихся в качестве публики на хорах. То был первый мой публичный триумф на арене общественной деятельности. Вспоминаю я его не без чувства горячей признательности всем тем лицам, которые своим единодушным одобрением моей работы наградили меня за понесенные труды и зародили во мне уверенность в успехе всей дальнейшей моей общественно-служилой карьеры. Меня в губернии, видимо, узнали, и я с ее делами и людьми ближе освоился. Временный перерыв работы не значил окончательный ее обрыв — на этом мы все в Собрании и расстались под лучшими взаимными впечатлениями.

После оставления мною службы, мы с Константином Капитоновичем отправились в Москву, где мне предстояла новая, тяжелая, ответственная и мало благодарная работа по «замещению» бедного Корста. Но я сознательно пошел на нее, желая, прежде всего, помочь своему милому тестю и тем самым, хотя бы отчасти, отплатить ему за все то доброе, что я постоянно видел от него по отношению к моим, в частности, к моему несчастному брату Николаю.

Мне хотелось лично разобраться в тех зlostных нареканиях по адресу Корста, которые так безответственно-легко распускались досужими сочинителями. Я был убежден в сплошной выдумке всех возводимых на него обвинений; но мне хотелось документально доказать и самым решительным образом пресечь недостойную кампанию Григория со всеми его окружающими, которым мое согласие заняться делами семьи свалилось, как снег на голову.

Надо, впрочем, оговориться: отношение ко мне Григория было всегда безупречным, даже он никакого шума и протеста не проявил, предоставив мне спокойно приняться за работу. Лишь впоследствии, надо думать, под влиянием все тех же своих советчиков, он как бы начал выказывать в отношении меня некоторую неприязнь, но потом, сменив Маргариту на других жен, он стал по-прежнему относиться ко мне хорошо.

Отъезжая в Москву, я телеграфно вызвал всех четырех главных управляющих, пригласив их явиться в определенный срок в Московскую контору Наследников М.П.Ушковой и А.Г. Кузнецова.

Первым долгом мы с Константином Капитоновичем довели до сведения явившихся Ушковских доверенных об уходе Оскара Карловича Корста, что громом поразило бывших его сослуживцев, искренно его уважавших. Всеми собравшимися

были высказаны горячие пожелания уговорить Корста вновь вернуться на свою прежнюю работу.

Константин Капитонович ознакомил служащих с созданным положением вещей, в связи с выдачей мне полной доверенности по главному заведыванию всеми Ушковскими наследственными делами и имуществами, и пригласил нас всех к дружному продолжению работ.

Надо было отдать справедливость достойному подбору Константином Капитоновичем главных своих служащих.

Не менее двух недель пришлось проработать мне в Московской Ушковской конторе, почти безвыходно просиживая в ней за делами с утра и до поздней ночи. В конце концов, все удалось завершить и уладить. По-видимому, управляющие остались довольны нашей усидчивой и плодотворной работой. Константин Капитонович тоже горячо благодарил меня за оказанную помощь и намеченный на будущее организационный план управления, составленный мною на подобие функционирования обыкновенных акционерных обществ.

Хозяином всего дела, по моему предположению, должно было быть ежегодное собрание владельцев, которое рассматривает и утверждает отчеты каждого из отдельных отраслей управления и их сметы.

Основная схема личного моего руководства намечена была на следующих основаниях: прежде всего, полное доверие с моей стороны к заведующим тем или другим имуществом, но при условии производства строжайшей планомерной ежегодной личной ревизии всей их хозяйственной деятельности на местах, при содействии бухгалтера. Ввиду некоторой сложности распределения долей среди сонаследников, пришлось все иму-

щество раздробить на 42 части, так что вся хозяйственная единица представляла собой $42/42$ благодаря чему определялась вдовья часть Константина Капитоновича в $6/42$, части обеих дочерей по $3/42$ для каждой — и остальная сумма между сыновьями поровну каждому по $10/42$.

Вся работа, произведенная мною в Московской конторе совместно с доверенными, была письменно оформлена и закреплена подписями. На все составлены были особые инструкции. Управляющие были отпущены к себе на работы, снабженные всем необходимым, и дело пошло ровным, здоровым ходом... Близко ознакомившись за время моей кропотливой работы в Москве с обширным документальным материалом по всем хозяйственным и денежным делам Наследников Ушковой и Кузнецова, я вынес сугубое подтверждение моей вере в кристальную честность Корста.

48

Вернулся я домой в Самару в начале марта, и стали мы готовиться к переезду всей нашей семьи с первыми весенними пароходами в Головкино к одиноким старикам и своему родному хозяйскому делу.

Радостной представлялась нам с Анютой перспектива нашей будущей жизни в деревне, совместно с нашей Манюшей, редко симпатичной, здоровенькой, способной и приветливой малюткой, около которой всем бывало хорошо; при ней даже мои старики невольно отходили от своих горьких дум и тяжелых настроений.

«Няня Маша», на руках которой росла наша милая крошка, оказалась удивительно хорошей, степенной и знающей свое

дело женщиной. Любила она ребенка не напоказ, ходила за милой нашей Манюшей как нельзя лучше, называя ее излюбленным своим словом: «коза!» Это была прекрасная ровная, бесхитростная и умная старуха. Я любил заходить к ней в детскую и сидеть около «Козы» — очаровательной, розовенькой, голубенькими прелестными, глазками Манюши. Мир, покой и любовь наполняли в эти мгновенья мою душу, успевшую уже изведать житейскую суету сует.

Возвращаясь под родительский кров, женатый на неведомой для всей Головкинской родни и округи «богачке» Ушковой, я отлично сознавал всю предстоящую для нас сложность взаимоотношений между нами, «молодыми», и прежними — «старыми» хозяевами, а также со всем тем обжившимся местным мирком. Я не мог вычеркнуть из своей памяти разговор, происходивший у меня с женой одного моего близкого родственника, спросившей меня, правда ли, что я собираюсь жениться на «девушке не нашего круга», презрительно добавив: «какой-то Ушковой?!» Когда я сказал, что правда, надо было видеть, с каким возмущением эта особа сказала: «Ну, если так, то я надеюсь, что ты не решишься свою супругу привозить к нам сюда в наше родовое Головкино?!»

Мы с женой давали себе об этом отчет, но я был уверен, что природная скромность, простота и выдержка Анюты со временем возьмут свое и победят все кривотолки.

Я не ошибся. Она произвела на всех окружающих такое впечатление, что сделалась сразу же общей любимицей не только головкинской, но и губернской, завоевав, до конца нашего в России пребывания, прочные симпатии всех, с кем встречалась. По иронии затейницы-судьбы, одной из ее первых

поклонниц оказалась та самая непримиримая «по своим взглядам» снобистка, посовествовавшая мне в качестве жены «какую-то» Ушкову в заповедные дворянские места не привозить!...

Тихая и деликатная, Аня внесла немалое успокоение и утешение в надломленные сердца моих бедных родителей, быстро оценивших ее высокие душевные качества. Они искренне к ней привязались. Благодаря всему этому, жизнь наша не только «дома», но и «на людях» стала мало-помалу налаживаться самым благоприятным образом.

Что же касается моих хозяйственных забот и дел, то, несмотря на очевидную необходимость скорейших реформ в головкинском хозяйстве, я принял с самого же начала решение крайне осторожно вмешиваться, ввиду явно выраженного желания больного моего отца продолжать свое исконное дело руководства Головкинским имением при содействии прежнего управляющего.

Единственное новшество, на которое я тотчас же по нашем приезде решился — это приспособить наш большой деревенский дом для нашей молодой семейной жизни, и ввести в него то, что именуется современным комфортом.

К первому сентября предстояла мне срочная поездка в Москву по делам моей жены и всех Ушковых.

Для оформления некоторых нужных документов требовалось личное присутствие моей жены. Мы поехали в Москву вместе, и так как потом мы ехали в Крым, то захватили с собой и нашу малютку с ее няней.

Попав в Форос, я весь отдался изучению виноделия. С этой целью я старался возможно подробнее осматривать наиболее интересные и показательные подвалы Южного Побережья —

частные, удельные и казенные. Но здоровье мое было не в порядке. Раз, на пути из Фороса в Севастополь, я почувствовал себя очень худо: со мною случился припадок сильнейшей слабости и острый приступ кашля.

Из горла показалась кровь и я сильно ослабел. Тотчас же меня перевезли домой, и тогда Константин Капитонович взял меня окончательно под свое покровительство, позвав в качестве консультантов известных в то время врачей Бокова и Щуровского.

Оказывается, добрейший мой тесть давно, еще с Крыма, не без опаски присматривался к состоянию моего здоровья. Его тревожные подозрения оправдались. Произведенный по приказу упомянутых врачей анализ дал печальный результат: были найдены целые очаги Коховских туберкулезных бацилл. Весной следующего года опасность миновала, но врачи требовали, чтобы мы уехали на юг, да еще на Принцевы острова.

Меня уложили в постель. Температура все время держалась повышенная. Самочувствие было прескверное. Я стал не в меру раздражителен и не хотел слышать о поездке на Принцевы острова, настаивая на том, чтобы меня отпустили домой к себе — в родное Головкино.

В конце концов, мы сговорились на том, что нас со всей семьей тотчас же отправят не на острова, а обратно в Форос, где за мной будет установлен надлежащий медицинский уход, и где велено было мне жить одной лишь «животной» жизнью.

В Форосе нам были отведены во дворце лучшие солнечные комнаты и предоставлено было для нас все в смысле идеального комфорта и самого заботливого ухода.

Условия Форосской жизни создались для нас исключительно благоприятные. Погода стояла превосходная. Яркое,

теплое солнце, заливавшее своим светом огромные, прекрасные комнаты дворца, кругом чудная растительность, масса хвои; перед Форосом расстилалась безбрежная морская стихия со своими бризами и иодистыми испарениями — ни пылинки кругом — все чисто, красиво, благоуханно...

Попав в благодатный Форос, я всеми своими помыслами и силами старался все сделать, чтобы достигнуть быстрых и положительных результатов.

В результате я, через три недели по моем приезде, перестал кашлять, температура установилась нормальная, вернулось бодрое самочувствие, а через месяц-другой я пользовался почти полной свободой здорового человека.

Начались тогда мои интереснейшие горные экскурсии с гончими и ружьем.

Одновременно я страстно увлекался морским спортом — в моем распоряжении имелась парусная шлюпка с двумя прикомандированными матросами-рыболовами — смелыми, опытными моряками. Мы уходили далеко в синее море, пользуясь «свежим» ветром. Пробовал я охотиться и за сновавшими под самым носом шлюпки, или рядом около бортов выпрыгивавшими «морскими свиньями» — дельфинами: забавная была охота, но не добычливая.

Выходя из комнат, я брал всегда с собой через плечо складную винтовку, зная, что под берегом, да и в самом «Райском саду» на обширных бассейнах можно было встретить интересную пернатую «дичь» — диких уток, гагар и пр. За одну эту зиму я наколотил столько белогрудых гагар, что впоследствии из их шкурок жена устроила воротнички, рукавчики, шапочки — одним словом полный гарнитур для наших трех очаровательных дочек подростков.

Наступил новый 1900 год, который пришлось нам с Анютой встретить вдали от родного Головкина и дорогих для нас престарелых его обитателей...

Новый Год встречали с нами почти все Ушковы, и во дворце вновь ожило веселье и появилось многолюдье.

Съехалось и снова все так же быстро разъехалось, а мы сами, оставшись опять в своем счастливом одиночестве, стали готовиться к повторному великому нашему событию. В начале февраля ожидались роды. Все к этому сроку было мною заранее приготовлено: приехали заблаговременно из Москвы акушер Александров с опытной женщиной.

К этому же времени относится также приезд ко мне архитектора Александра Александровича Щербачева, специально вызванного мною из Самары, с целью обсудить проект постройки мною городского дома, под который я имел в виду приобрести в г. Самаре полномерный, в 500 кв. саженей, участок в превосходном месте — на Дворянской улице против Струковского городского сада.

Щербачев, окончивший одним из лучших курс Императорской Академии Художеств, ученик Бенуа, попал в городские архитекторы в Самару, женился на дочери бывшего известного Самарского Головы Алабина и обжился там, заплывая мало-помалу провинциальным жирком. Познакомившись с его бывшими работами, я уверовал в его способности и захотел предварительно оживить его несомненный, но былой, ныне «осама-рившийся», талант.

Осматривая от Севастополя и до Алушты все побережье, мы восторгались всего более дивным Алушкинским дворцом, любуясь его классическими пропорциями, строгими линиями и

кладкой из вечного диорита. Многое нам также нравилось из архитектурного стиля самого Форосского дворца, выстроенного в стиле итальянского ренессанса. Щербачев, как я и рассчитывал, действительно весь ожил и преобразился. Карандаш его по-прежнему заходил смело и талантливо. Из всех эскизов я остановился на наброске дома именно в любимом мною стиле итальянского ренессанса, с его красивыми колоннами, смелыми оконными очертаниями, уютными лоджиями и пр.

Все это, само собой, нами намечалось пока еще в сыром первоначальном виде; предстояла еще длительная обстоятельная работа, которую он обещал выполнить по возвращении своем в Самару, а пока, пользуясь его пребыванием, я рад был с ним проводить вместе время, беседуя на любимые наши строительные темы, и совместно восхищаясь творчеством покойного А.Г.Кузнецова, сумевшего оставить после себя такую, созданную им, красоту, какую представляло из себя Форосское царство, с его удивительным дворцом и райским парком.

Трудно было себе представить что-либо лучшее, чем роскошный парк Фороса, с его огромными лужайками, роскошными розариями, причудливыми группами тропических разнообразных растений, хвойными массивами, огромными клумбами пахучих цветов, разбросанными то там, то сям прудами, искусственными протоками в затейливых извилистых берегах с переброшенными через них легкими мостиками и т.п. Однажды гость спросил покойного А.Г.Кузнецова, дорого ли ему обошелся созданный им «Райский» сад? на что получился ответ: «Во столько, во сколько сложится сумма всех радужных сторублевых билетов, если ими покрыть всю поверхность этого сада»!... И этому приходилось верить!

Время ожидаемых родов близилось и, наконец, — в день рождения самой матери: 3 марта 1900 г. у нее появилось новое

маленькое существо женского рода. В силу подобного совпадения, решено было наименовать девочку, в честь новорожденной самой родительницы — также Анной. Все прошло благополучно, и крестины отпраздновали парадно, среди моря цветов, в Форосском дворце. Здоровье Анюты восстановилось быстро, и никто уже ей больше не мешал выкармливать самой свое новорожденное сокровище.

В конце того же марта мы с Константином Капитоновичем задумали предпринять интереснейшую поездку вокруг берегов Черного моря. Здоровье мое не оставляло желать лучшего, так что доктор Брюховский разрешил осуществить мое намерение, и мы с милым моим тестем отправились из Севастополя сначала напрямик в Константинополь на небольшом пароходе «Олег».

С каким интересом, ранним утром второго дня нашего путешествия, встречал я знаменитый Босфор, о котором столько слышал и читал.

При самом входе в Босфор, перед нашими глазами с обеих сторон стали проходить чудеснейшие виды. Не успели мы налюбоваться одной панорамой, как перед нами развернулась новая, еще более грандиозная. Путь по Босфору оказался недолог, и вскоре открылся Стамбул во всей его исторической красе, Золотой Рог, Султанская резиденция и пр. Впечатление получалось ошеломляющее, но мечтать и созерцать всю эту красоту было некогда — нас рвали целые своры подплывших на своих «каяках» турок, друг перед другом спешивших перехватить пассажиров и их багаж.

Вскоре добрались мы до очень хорошей гостиницы — «Пера-Палас». Нам дали отличный номер, и мы не успели внести наши вещи, как сейчас же бросились на улицу, с жадностью

осматривать интереснейшую и своеобразную турецкую столицу.

Описывая все это теперь, спустя много лет и пережив тяжкую революционную бурю, со всеми ее ужасными последствиями, задаешь себе вопрос: мог ли я тогда предполагать, что когда-нибудь придется мне не только в положении отца, но и деда, со всем своим многочисленным потомством, в качестве беженца, нищенски проживать в период зимы 1920-1921 г. в этом самом Константинополе, да еще в турецкой его части на Стамбуле, ютясь сначала в отвратительной грязной гостинице, а затем — там же в частном домике, где жене, сидя на корточках, приходилось готовить еду семье?..

Пробыв в Константинополе всего дней пять, мы далеко не все успели осмотреть, но надо было торопиться, чтобы не упустить отходивший в Батум пароход Итальянского общества Ллойда «Аврора», который по расписанию должен был заходить во все порты Мало-Азиатского берега. Об этом мы только и мечтали.

Пароход несколько раз заходил в турецкие порты, и мы не без удовольствия сходили на берег, поразмять ноги и очутиться на «твердой земле». Погода, на наше счастье, установилась тихая и такая продолжала держаться во все дальнейшее наше путешествие, вплоть до возвращения нашего в Севастополь. Побывали мы в Самсуне и в Трапезунде, с его замечательными греко-восточными церквями, многие из которых переделаны в мечети. Навестили мы некоторые монастыри, включая женский Св.Георгия, расположенный среди горных вершин, доминирующих над всем Трапезундом и его укреплениями. С него открывался грандиозный вид. Самый монастырь, сооруженный целое тысячелетие тому назад, имел характер веками освященной

святыни. Особенно хорошо сохранилась живопись под входными аркадами. Удалось удачно сфотографировать некоторые иконы, которые, в увеличенном виде, могли бы служить мотивом для нашего возрождавшегося в России иконописного искусства. Но снимки эти, как и все прочее мое добро, сделались достоянием большевицкого варварства.

Побывали в Батуме, где, несмотря на краткость времени, имевшегося у нас в распоряжении перед отходом нашего парохода из Батума на Сухум-Новороссийск, мы все же решили с Константином Капитоновичем осмотреть Чаквинские чайные плантации, частные (Поповские) и удельные. Удельные чайные плантации заведены были сравнительно недавно — кусты были все еще молодые. При нас как раз происходил сбор листьев. Затем мы присутствовали на всех манипуляциях отбора, сортировки, прессования и сушки чайных лепестков — все это было для нас ново, интересно и поучительно. Приходилось отдавать должное образцовой деятельности Удельного Ведомства, его инициативе, энергии и хозяйственной настойчивости. Рядом с чайными, производились опыты по насаждению бамбуковых зарослей для нужд мебельных, корзиночных и других всяческих производств. И это новшество было, видимо, поставлено так же удачно.

Величайшее наслаждение испытывали мы с моим милым спутником, когда, после грязной и голодной итальянской «Авроры», попали на один из лучших пароходов Русского Черноморского Общества, с его великолепными, просторными каютами и обильным вкусным столом. Мы шли почти все время в виду живописнейшего Кавказского побережья.

Погода стояла превосходная — море было спокойно, и наш мощный пароход, весь сверкая на ослепительном солнце,

плавно скользил по зеркальной водной поверхности, сопровождаемый бесчисленным количеством выскакивавших, фыркавших и лоснившихся от жира дельфинов.

Приятно было целыми днями прогуливаться по широкой палубе или, лежа в удобном шезлонге, любоваться горными очертаниями. Не забуду, какую исключительно красивую и красочную панораму из себя представляли окрестности Нового Афона. Пароход остановился довольно далеко от берега и простоял не более часа. Сойти нам не удалось — капитан спешил. Пришлось ограничиться лишь фотографированием замечательного по своей живописности места.

Бросалась в глаза удивительная красота горных очертаний, начиная с береговых начальных возвышенностей и кончая амфитеатром расположенными, грозными хребтами, с цепью белоснежных вершин, видневшимися на заднем плане Ново-Афонского поселка. Южное небо, под ним ослепительно-белая полоска снегового хребта, за ней — темные силуэты горных массивов разных оттенков, впереди — ярко-зеленое плоскогорье, на котором белыми и иными цветными точками вкраплены колокольни и здания обширного монастыря, окруженные со всех сторон густыми апельсиновыми и мандариновыми рощами... и наконец, в виде нижнего фона — бирюзово-синеватая широкая полоса самого моря, пересеченная ярко-ослепительным солнечным бликом. Все это, вместе взятое, представляло собой редкое по силе и красоте зрелище.

В дальнейшем нашем путешествии наибольший интерес представил для нас заезд в Сухум, где успели осмотреть парк с ботаническим садом, и где нам показывали огромный мощный чайный куст, перевезенный из Китая и отлично здесь акклиматизировавшийся. Там же подвели нас к эвкалиптовому дереву,

метров десять высотой, пояснив, что подобный его рост получился в результате всего лишь пяти лет (по 2 метра в год). Эвкалиптовые посадки в то время только-что были начаты в Сухуме и других местах Кавказского побережья, в целях осушения нездоровой, по своей излишней влажности, почвы.

После Сухума останавливались мы в Новороссийск; заходили в Феодосию, где успели осмотреть музей Айвазовского. После этого попали в веселую, нарядную Ялту, заполнившую наш пароход оживленной публикой.

Цикл нашей круговой черноморской поездки заканчивался. Финальным зрелищем для нас оказался ни с чем несравнимый наш родной милый Форос, названный мною «второй моей родиной», в знак признательности чудодейственному его воздействию на мой организм.

Вид на всю Форосскую местность открывался с парохода изумительный. Прежде всего, бросались в глаза отвесные скалы Яйлы с промежуточным Байдарским перевалом под которым, во всей своей величавой красе, на красно-мраморном утесе высился великолепный Божий храм, сооруженный А.Г.Кузнецовым.

Внизу расстилалась живописная зеленеющая долина, с прекрасными зданиями и заманчивыми уголками «Райского» сада.

Все это медленно, как грандиозная кинематографическая лента, проходило перед нашими очарованными глазами. Взглянув на нашу церковь, мы оба, словно сговорившись, сняли шапки и истово перекрестились, возблагодарив Господа за милость его и наше благополучное совместное путешествие.

Дома мы застали всех в добром здравии и полном благополучии. Лично я чувствовал себя превосходно, и с разрешения

доктора Брюховского, предпринял вскоре другое путешествие, уже делового характера, совместно с нашим Форосским коммивояжером Вальтером. Предстоял нам объезд южного рынка по сбыту виноградного вина — Одессы, Харькова, Киева и др.

Мне самому хотелось на месте разобраться в условиях виноторговли и нащупать возможность наибольшего распространения Форосского вина, сбыт которого, за время моего пребывания на юге, мне удалось почти удвоить в пределах лишь ближайших рынков спроса — Севастополя, Ялты, Алушты с их окрестностями. На такой же успех я рассчитывал и в названных густонаселенных районах, известных своим широким спросом на виноградное вино.

Начали мы свою поездку с Севастополя, избрав отличный пароход того же Русского Общества «Цесаревич Георгий».

После бурного перехода доехали мы до Одессы, где остановились в лучшей тогда гостинице «Лондон», славившейся своей едой — особенно знаменитой ухой из морских «бычков».

Одесса показалась мне большим культурным городом, красиво застроенным многоэтажными солидными зданиями и украшенным превосходными памятниками, садами и бульварами.

Жизнь города сосредоточена была, главным образом, в его огромном порту с многочисленными крытыми платформами, конторами и специально приспособленными зданиями. Неоднократно, пользуясь близостью моей гостиницы, я заходил в него и любовался кипящей там работой.

При мне как раз шла разгрузка китайских чаев, и я случайно познакомился с Одесским доверенным Товарищества «Губкина-Кузнецова, С.О.Сыромятниковым, любезно пригласившим меня на их «развесную». Это было огромное здание,

приспособленное под разные манипуляции, совершаемые специалистами с пробой чаев, их купажированием, расценкой, разновеской, укупоркой и пр. По случайному и счастливому для меня совпадению, за сравнительно недолгий промежуток времени, мне удалось видеть — сначала в Чакве — сбор и производство чая, а затем здесь, в Одессе, — познакомиться со всей сложной процедурой подготовительных операций для розничной его продажи. Все это было для меня ново и чрезвычайно интересно.

Близость морского порта, с его бесчисленными дымящими пароходными трубами, оказалась, совершенно неожиданным образом, неприятным для меня соседством: окна мои из гостиницы «Лондон» выходили на Николаевскую набережную и Одесский порт. В первый же день, покидая свой номер, я забыл закрыть окно. Вернувшись лишь к вечеру, я увидел все свое платье, белье, бумаги и пр. покрытым толстым слоем черной копоти... Конечно, на последующее время пришлось быть предусмотрительнее.

Времени я с Вальтером не терял. Мы встречались с нужными для сбыта нашего вина людьми, из числа коих наиболее интересными оказались: грек А.А.Трапани, глава большой транспортной конторы, и некий Кочетков. При их посредстве мне удалось запродать большую партию Форосского вина на Дальний Восток — в Ханькоу и Манчжурию. Ради этого пришлось просиживать с упомянутыми лицами в отдельных кабинетах уютного Лондонского ресторана, угощать и самому угощаться вкусными яствами. Имел я случай отведать и пресловутую уху из бычков, о которой так много говорили. Она оказалась удивительно вкусной.

Оставшись доволен результатом моего одесского посещения и налаженных коммерческих знакомств, отправился я, в со-

обществе того же Вальтера и старого моего приятеля графа Владимира Стенбок-Фермора, в дальнейший свой объезд. Горел я превеликим нетерпением увидеть «мать городов Русских» — старопрестольный Киев, с его тысячелетними историческими воспоминаниями, восходившими к дням зачатия русской государственности и православной веры. Многого я ждал, но действительность превзошла все мои чаяния.

Попав в Киев, я долго стоял очарованный раскрывшимся с конца Крещатика видом на днепровскую безграничную даль и на Киевский «Подол». Немного спустившись, очутился я около обелиска, с крестом наверху, напоминавшего о месте крещения Руси. Пройдя дальше по кособогу вправо, мы подошли к «Аскольдовой Могиле»... Одним словом, — на что ни взглянь, куда ни зайди — все отзывалось давними веками, и я проникался чувством благоговения перед историческими памятниками седой нашей старины... Несколько дней мы со Стенбоком, не расставаясь, обходили, объезжали все, что только было наиболее для меня интересного. На это время Вальтер был мною откомандирован в Бахмутский район, по делам той же нашей коммерции, с тем расчетом, чтоб, по его возвращении, вместе заняться Киевским рынком.

Один день мы почти целиком посвятили подробному осмотру Киево-Печерской Лавры, посещение которой совпало с даем Лазаревой субботы и скоплением массы богомольцев. Когда мы спустились в бесконечный подземный лабиринт т.н. «ближних» и «дальних» пещер, мы очутились среди беспрерывной вереницы посетителей святых мест, проходивших друг за другом по мрачным туннелям. Впечатление я вынес тогда двойное — с одной стороны, несомненно внушительное и положительное, воочию видя явные доказательства бывшего величайшего религиозного подвижничества; но невольно зарождалось

во мне и иное впечатление. При встрече на нашем пещерном пути всяких сомнительных «мироточивых голов», около которых шла самая беззастенчивая торговля за писанье разных здравий и молений, я ловил себя на чувстве возмущения перед проявлениями цинично-наглого вымогательства и кощунственного одурачивания простых людей, на почве их религиозного фанатизма. Владимир Стенбок оказался одного мнения со мною, добавив, что немало «людей общества» одинаково с нами мыслят, но сознают свое бессилие в борьбе с вкоренившимися обычаями и снисходительностью иерархических верхов.

Из общей массы осмотренных нами городских мест и зданий, остался у меня также в памяти Киевский дворец, очень понравившийся мне своим скромным, но приятным, уютно-помещичьим видом.

Не без сожаления расстались мы с Стенбоком, успев за проведенное нами время многое перебрать из сравнительно недавнего прошлого нашего совместного московского житья-бытья.

Мы с Вальтером торопились к праздникам покончить наши дела в Киеве и Харькове, где особенно много было получено нами заказов, именно ввиду наступавшей Пасхи. Нам хотелось поспеть в Форос к пасхальной заутрене и домашнему разговенью, что и удалось осуществить.

Пасху — радостную, светлую, яркую и благоуханную, встретили мы в «райском» Форосе. В виде красного яичка я преподнес владельцам, как результат своей поездки, огромное количество заказов на форосское вино со всего юга России, так что некоторых сортов вин, как например Бордо № 1, в наших подвалах не хватило; пришлось в спешном порядке закупать выдержанные сусли, купажировать и выпускать под форосской этикеткой.

За короткий срок удалось увеличить сбыт вина более, чем вдвое: вместо 8.000 ведер, проданных за весь истекший отчетный год, за одну лишь первую половину операционного (1900) года отпущено было из флоросских подвалов около 10.000 ведер, и заказов получено было на такое же количество. Несомненно, Флорос переходил на положение доходного имения, так как, по моему расчету, при реализации 12.000 ведер, весь владельческий расход (содержание дворца, парка и пр.) сполна покрывался, а все, что выручалось при продаже за год свыше 12.000 ведер, являлось уже чистой прибылью с имения.

Здоровье мое настолько восстановилось, что со стороны доктора Брюховского последовало давно желанное мною разрешение вернуться к себе — в Россию, на Волгу, к старикам и родному делу.

Приехав со всеми своими семейными и домочадцами в Москву, я подвергся тщательному докторскому осмотру и исследованию. Результат получился самый благоприятный, и лишь тогда Константин Капитонович и доктор Щуровский рассказали нам с Анютой страшную правду, которую они от нас скрывали, что в ноябре прошлого года у меня был туберкулез.

Горячо поблагодарили мы моего истинного спасителя Константина Капитоновича, своевременно обратившего внимание на мое заболевание и принявшего против него решительные меры.

Перенесенная мною болезнь впоследствии никогда у меня больше не проявлялась, и здоровьем я потом пользовался исключительно хорошим, обладая немалым запасом физических и душевных сил, в которых я постоянно нуждался во всей последующей моей жизни, протекавшей в условиях напряженной работы и тяжких испытаний.

Радостные и счастливые вернулись мы под головкин-ский кров, к нашим одиноким старичкам и осиротевшему хозяйству. Трудно и нудно было нам всем рассказывать действительную причину нашего долгого отсутствия и крымского проживания. Смотря на мой цветущий вид, никто не верил, что я был тяжело болен.

После всего мною за последние года перенесённого, я становился совершенно безразличен к условностям т.н. «общественного мнения», избрав единственный на мой взгляд верный и определенный путь в своей жизни, которого я впоследствии всегда держался — путь чисто делового достижения, ради которого я ни перед чем не останавливался, всячески отстраняя себя от сплетен и интриг личного свойства.

По приезде в родные места, я весь отдался устройству головкинских дел, в чем явно ощущалась безотлагательная необходимость. К большому нашему горю, я застал бедного моего отца с признаками заметного ухудшения его здоровья: он сам стал просить меня взять все хозяйство в свои руки, со слезами на глазах сознаваясь в своей немощи. Мама мне тоже не нравилась — нервность ее вновь усилилась. Все ее помыслы, часто при нас высказываемые, вращались около брата Николая, служившего в то время в г. Иркутске, или вокруг сиротства ее внука — Митюши. Наше личное благополучие и молодое счастье служили ей как бы фоном для подчеркивания тяжелой судьбы обоих ее остальных сыновей. Присутствие ласковой и ровной Анюты вносило общее успокоение, что же касается меня самого, то я с раннего утра и до позднего вечера был занят своими срочными работами и хозяйственными хлопотами, преисполненный здоровья, бодрости и надежды на лучшее будущее. Захаживая часто

к своим старикам, я старался занимать отца рассказами о нашем хозяйстве. Что же касается мамы, то с ней было труднее, но все же, мало-помалу, и она сделалась по отношению к нам задушевнее и ласковее, а со временем и вовсе успокоилась.

У меня и ранее еще складывался план преобразования голыкинского хозяйства, как бы застывшего и превратившегося в почти бездоходную рутину. Между тем, природных богатств в отцовском имении было немало — требовалось лишь их вызвать к жизни и разумно и интенсивно использовать. На этом собственно и основана была вся мной намеченная реформаторская работа.

На самом деле, — пахотной земли при имении было совершенно достаточно — 1.000 десятин казенной меры, но она требовала частью освежения путем глубокой зябки, частью правильного унаваживания и, главное, введения, вместо трехполья, многополья с пропашными растениями.

Далее, лугов было огромное богатство — до 4.500 десятин. Выручалось с них до смешного мало, и арендные цены отстали от соседних во много раз. У отца велся давний порядок сдавать луга целыми дачами известным ему арендаторам, которые передавали от себя другим за более высокую плату. В силу подобной системы, арендная цена за десятину у отца проходила, примерно, в 5 рублей в то время, как у соседей взималось за такую же 12-15 рублей. Отсюда напрашивалось задание, с одной стороны, изменить установившийся способ сдачи лугов в аренду, и с другой, — изъять из общего количества лугов возможно лучшую и значительную их часть и расширить животноводство.

Далее, в имении находилось до 2.000 десятин разного, больше лугового, леса, не приносявшего отцу почти никакого

дохода, за исключением бессистемной выборочной рубки единичных каршей — обруча и т. п. Эта хозяйственная отрасль также требовала серьезного упорядочения.

Вопрос сдачи рыбных ловель по Волге и во всех займищных водах (таковых, включая Воложскую воду, было свыше 30.000 десятин), тоже требовал пересмотра. Цены на эти ловли стояли при отцовском управлении обидно низкие, но старик держался своих взглядов, главным образом, не желая менять прежних своих арендаторов.

Наконец, в имении существовала водяная сила, правда, образцово использованная отцом в свое время для его любимого детища — мельницы, но последующая техника давала возможность еще больших достижений, при замене колес турбинами. Одним словом, никаких новшеств я не имел в виду заводить у себя, а желал лишь то, что мне Господом и отцом было передано в мою собственность и распоряжение, использовать возможно разумнее и полнее.

Основой всей моей будущей работы намечалась правильная постановка конторского дела в имении, с возможно ясным учётом всех главнейших отраслей хозяйства. В этом отношении у меня была серьезная подготовка по прошлой моей деятельности. Кроме того, я вообще интересовался системами наиболее дешевой и упрощенной бухгалтерии, которые могли бы применяться в небольших сравнительно экономиях, не требуя лишних людей и расходов.

Более всего мне понравилась «система Мороховца», которую я еще в Крыму обстоятельно проштудировал и наметил завести у себя в Головкине. Девизом этой системы, помнится мне, было «время — деньги», а основой: — «нет счета, который бы получал, без счета, который бы отдавал». Я был убежденный

сторонник введения в помещичий хозяйственный обиход известной доли чисто промышленного элемента, в чем бы он ни заключался, лишь бы был пригоден для данной местности и применен к данному хозяйственному укладу.

Лично у меня по отношению моего будущего головкинского хозяйства складывалось твердое убеждение в безусловной выгодности расширения мукомольного дела до пределов большого промышленно-коммерческого предприятия. Для этого имелись под рукой все благоприятные условия: своя пристань, наличие даровой водяной силы и возможность применения для мельничного механизма дешевой паровой силы, выгода которой обуславливалась имевшейся около Головкина займищной малоценной древесиной. Вблизи моего имения был расположен ряд обширных частновладельческих полевых, урожай с которых, в виде крупных зерновых партий, большей частью ржи, должен был тяготеть для сбыта и ссыпки в ближайший и наиболее для них во всех отношениях удобный пункт — именно на мою головкинскую пристань. Это то, что мною намечалось в первую голову.

Последующим мероприятием должно было быть оборудование широко поставленного сыроварения, с доставкой продукта на Московский рынок.. На это меня наталкивали опять-таки сами местные условия, в виде большого изобилия лугов, кормов и пастбищ, а также возможность скупки молока во всей округе, что вызвало бы увеличение не только своего, но и соседских молочных стад, включая и крестьянские. Это подняло бы спрос и цены на луговую аренду и выпасы.

Предварительные переговоры с московскими крупными сыроторговцами убедили меня в неисчерпаемой емкости сырного столичного рынка, особенно на некоторые ходовые сорта.

Помимо этого, мною учитывался также ряд других благоприятных для задуманного мною дела условий, как то: удобство и сравнительная дешевизна доставки готового продукта из Головкина до Москвы, наличие подходящего здания, в виде правого каменного флигеля нашей усадьбы, и несложность самого сыроваренного производства.

Трудно пересказать все, что намечалось мною в то счастливое, юное, хозяйственно-творческое время. Господу угодно было мало-помалу все мои мечты превращать в дело. Результаты получались не только удачные, но и по некоторым отраслям безусловно блестящие, во всяком случае превзошедшие все мои сметные предположения.

Достаточно здесь упомянуть, что то самое имение, которое при отце давало за последние десять лет его управления, средний чистый доход около 8.000 рублей, приносило мне, в конце моего хозяйничанья, начиная с 1912 года, до 80.000 рублей чистого барыша, причем главная доля выручки имела своим источником значительно расширенное и на коммерческую ногу поставленное мельнично-мукомольное дело.

Должен, правда, оговориться, что благодаря содействию жены, мною был сполна погашен числившийся на Головкинском имении долг Дворянскому Банку (135.000 р.), что, конечно, много облегчало и улучшало общий кассовый баланс, ранее обременяемый процентными платежами.

Война 1914 года помешала осуществить последнее мое хозяйственное задание — оборудование сыроварения. Последующая за ней страшная революция смела все на своем стихийно-разрушительном пути. Все вложенные в прошлом отцом и мною труды пошли прахом. Об этом, впрочем, не только писать, но и думать невыносимо тяжело!...

Среди всяких хозяйственных забот и предприятий, я уделял много времени и сил и постепенному благоустройству всей нашей усадебной обстановки. Решив в полной неприкосновенности сохранить внешний облик нашего головкинского дома, я произвел лишь самые необходимые в нем и вокруг него ремонтные работы. Но из левого каменного флигеля я убрал рабочих, птичник и инвентарный склад и превратил его в превосходное жилое помещение, в котором были устроены квартиры для служащих, с окнами на конный двор, и несколько запасных комнат для приезжающих, с видом на внутренний, т.н. «барский» двор. В том же флигеле была восстановлена в прежнем ее виде двухсветная обширная зала, приспособленная мною под читальную-библиотеку, с поместительными стенными шкафами и удобной диванной мебелью. В ней стояло пианино, а по стенам были развешаны охотничьи трофеи в виде лосиных рогов, и целая серия моих охотничьих фотографий, изображавших все виды головкинского спорта, быт и образ деревенской жизни моей семьи, а также наиболее интересные сцены из сельскохозяйственного обихода.

Рядом с этим помещением, в конце флигеля, с окнами и выходом на улицу, была устроена мною контора, вход в которую со стороны «барского» двора был красиво отделан в русском стиле, в виде уютного крытого крылечка, с соответствующей резьбой и витыми, легкими колонками. В конторе имелся мой «хозяйский» обширный кабинет, со всеми необходимыми принадлежностями, уставленный шкафами и полками для хранения конторских архивов и текущих дел, зерновых, семенных и мучных проб, с планами на стенах и конторской стойкой около оборудованной в углу центральной телефонной станции.

В первый же год моего головкинского управления, я приступил к проведению телефонной линии до почтово-телеграфной станции при с. Старой Майне — всего около девяти верст. Простой подсчет мне подсказывал выгодность этого мероприятия, не говоря уже о тех удобствах, которые давали мне возможность непосредственно сноситься с Майнским населенным пунктом, где бывал обширный хлебный базар, были склады всевозможных сельскохозяйственных материалов, имелась врачебная помощь и пр. За доставку телеграммы из Майны с нарочным в Головкино, мы платили 75 коп., не считая «чаевых». Заведуя богатыми и ответственными делами, порученными мне моим тестем, и проживая вместе с тем вдали от всех руководимых мною центров Ушковского управления, я был заинтересован в возможно скорейшем упорядочении не столько почтовых, сколько именно телеграфных сношений с моими сотрудниками и доверителями.

Приглашенный мною специалист-техник оказался дельным работником, быстро установившим на протяжении девяти верст связь между Головкиным и Майной. Было получено разрешение тоже со стороны собственников всех земель, через которые пришлось проводить линию и вкапывать столбы, заготовленные из своего же лугового отличного прямоствольного дуба. В какой-нибудь месяц все было закончено, и я смог непосредственно посылать и получать депеши во все страны мира.

С моей легкой руки, телефонное сообщение стало устанавливаться во многих местах. Вскоре же я смог соединяться в самой Майне с больницей, аптекой, соседом — моим большим другом — М.М.Лентовским и др. Я провел из конторской центральной станции линию к себе в дом, в свой небольшой рабочий кабинет, и в нововыстроенное мной помещение для управ-

ляющего. Затем была добавлена линия на новую мою вальцовую мельницу (с 1912 года), а с этой мельницы было проведено по всей нашей обширной усадьбе электрическое освещение.

Выселив рабочих из бокового флигеля, примыкавшего к господскому дому, я их разместил вдали от себя, ближе к рабочему конному двору, в просторном флигеле-особняке, постройки еще крепостных времен. Я выстроил в центре всех хозяйственных построек поместительный каменный дом и в нем отвел комфортабельную квартиру для управляющего.

С годами, около упомянутого нового флигеля, образовался целый хутор-поселок, заключавший в себе ряд кирпичных построек, исключительно хозяйственно-служебного характера. В числе таковых имелось обширное помещение для конского завода с манежем, отделениями для маток и жеребят, а также всевозможные цейхгаузы, мастерские: кузнечно-слесарные, столярно-плотничные и обширные навесы для хранения всяческого инвентаря. Наконец, невдалеке от упомянутого хутора, за садовой оградой, в самом центре нашей обширной разросшейся усадьбы, я вырыл «Абиссинский» колодезь с водокачкой и обширным бассейном, откуда была проведена во все необходимые помещения вода, оказавшаяся сильно железистой и по вкусовым качествам превосходной

По другую сторону нашей господской усадьбы, рядом с церковью, я выстроил превосходные, каменные — выездную, разгонную и запасную конюшни, с поместительным каретником, обращенным к улице. На этом дворе, всегда содержавшемся в большом порядке, производилась выводка нашей рысистой молодежи, в несколько лет завоевавшей себе имя не только на провинциальных, но и столичных ипподромах. Основанием нашего завода послужила тройка серых маток, приведенных с собой Анютой из Осташевского завода. Все они были

высоких орловских кровей, от «Молодца» Тулиновского завода. В то же время были нам подарены из Осташевского же завода два жеребца — старый «Любезный» и молодой «Лимон» (родной брат «Летуна»). После этого приобретена была от Григория Ушкова еще тройка караковых маток — редко энергичных и статистых — дочерей «Касатика» завода герцога Лейхтенбергского. С этих всех лошадей и началось дело разведения нами собственного рысистого завода параллельно с основанием коневодства, которое велось путем скрещивания рысистых кровей с наиболее подходящими типами тяжеловозов (главным образом — першеронов).

С первого же года нашего приезда в Головкино, мы с женой решили ознаменовать наше «новоселье» путем посадки молодого сада. Я прихватил около двух десятин земли под наше новое детище, а на грани прежнего парка и нашего молодого сада мы посадили куст белой махровой сирени, который был нам поднесен в день нашего бракосочетания в Петербурге среди прочей массы свадебных цветов. Милая моя мама умудрилась благополучно довести его до самого Головкина. Прошли года. Новый сад дружно разросся вокруг своей огромной матки — могучей пятнадцатисаженной красавицы пихты. Пустил корни и наш «свадебный» куст, красовавшийся невдалеке от обширной, устроенной в новом саду, теннисной площадки.

Спустя 18 лет после посадки, «наша» «брачная сирень», превратившаяся в высокий, широко и ровно разросшийся красивый куст, оказалась, по воле Провидения, тем местом, около которого свершилось знаменательное событие того же «брачного» порядка, но касавшееся уже последующего поколения: весной 1915 года около этого куста опустились на колени перед родителями два молодых красивых существа — наша цветущая, румяная, старшая дочь Мария, а рядом с ней стройный молодой

Поливанов... Они просили нашего благословения на будущую их совместную супружескую жизнь... Куст продолжал и после цвести, зацвела и жизнь молодой повенчанной пары — но, увы — ненадолго... Счастье их оборвалось внезапно, стихийно. Надо думать, что и куст, нами посаженный, давно сломан и затоптан новыми непрошенными хозяевами России...

Будучи занят разведением нового сада, я делал все возможное и для поддержания старого нашего парка, представлявшего собою особую ценность, благодаря разнообразию хвойных пород. Виднелись огромные вековые сосны, с широко раскинутыми ветвями. Словно зеленый обелиск возвышалась над всеми, единственная в своем роде по стройности и красоте, темнозеленая пихта с ее многочисленным потомством, самосевно распространившимся по всему саду. В особенности памятна мне чудная прямая аллея старых дуплистых лип, о которых предание передавало, что сажены они были будто бы самой Императрицей, Великой Екатериной, при посещении ею Казани, когда она побывала и в Головкинском Приволжья.

Обстраивая свой усадебный поселок, я завел собственные кирпичные заводы. И глины, и топлива было в изобилии. Кирпич выпускался превосходного качества и в большом количестве. Хватало его не только на все мои постройки, но я отпускал его на чрезвычайно льготных условиях и крестьянам с Головкина, особенно обитавшим в моем т.н. «Яицком конце», который за десять лет почти весь успел застроиться каменными домами.

За 16 лет моего соседства с головкинскими крестьянами, установились у меня с ними добрые отношения и взаимное доверие. Не могу не вспомнить того чувства удовлетворения, которое я всегда испытывал, проезжая по «Яицкому» концу и

глядя на крестьянские постройки, почти сплошь каменные, железом крытые, добрый, видный скот и довольство. Хозяева всегда учтиво, от старого до малого, поклоном и добрым словом встречали своего соседа. Я убежден, что и сами Головкинские старики — мои сверстники так же меня вспоминают !..

Благоприятно началось и шло мое, с детства любимое, сельское хозяйство, которым я всем своим разумом и сердцем горячо увлекался, счастливый своей непосредственной близостью к природе, бодрый духом от сознания полезного творчества и здоровый телом от приятного труда и деревенской привольной жизни.

Добрые отношения с моими двоюродными братьями, с первого же года нашей совместной головкинской жизни, заметно упрочились. Ближайшие мои соседи — Павел и Николай Михайловичи Наумовы, оба крупные помещики и превосходные хозяева, с утра до ночи занятые своим большим делом, оценили и во мне такую же однородную с ними силу, со временем отдавая должное моим знаниям, предвидениям и даже советам. В свободные дни или зимние вечера мы друг с другом виделись, сходились семьями и всегда братски-задушевно встречались, что лично я, лишившийся сразу обоих своих родных братьев, особенно в них ценил. Павел с Николаем, видимо, понимали мое положение и искренно высказывали мне свои сердечные, чисто братские отношения.

Спустя некоторое время переехал к нам в Головкино еще и третий мой двоюродный брат Алексей Михайлович Наумов. Алексей Михайлович по характеру своему резко отличался от своих братьев: проведя всю свою молодость на судебной службе, вращаясь больше в городском обществе, он предпочитал развлечение серьезному усидчивому труду. Попад в Ел-

шанку, он все время именно «развлекался», но не работал. Получая проценты с капитала, вырученного за Хлебодаровку, он мог жить, не заботясь о завтрашнем дне, расходуя все свое время на разные «пустяки», как выражались его братья. Алексей то и дело катался на выведенных им из Уфимской губернии лошадаках-«вятках», потом завел себе автомобиль «Адлер», пугая на пути все и вся. Он был в наших местах пионером этой «анти-христовой машины», как обзывали ее крестьяне-

Лично я решился завести у себя в Головкине автомобиль, спустя лишь много лет, когда и люди, и деревенский скот, главным образом, лошади, более или менее с ними освоились.

В описываемое мною время все мы жили у себя, в помещичьих гнездах, размеренной, широкой — именно «помещичьей» жизнью. Позже, всем другим Наумовым, как и мне, пришлось надолго покидать милое наше Головкино и возвращаться в него лишь на краткое летнее пребывание. У всех подросли дети, требовавшие городского обучения. Мне служба мешала жить так, как хотелось бы — мирно, тихо, в скромной деревенской обстановке. В то счастливое время (1900-1901-1902 г.г.) никуда мы не спешили из своего Головкина и крепко, почти безвыездно сидели круглый год в своих усадьбах.

Упомянув о своей страсти ко всему тому, что именуется Божьим миром, и имея особое тяготение к природе, нетронутой человеческой рукой, к ее девственным чарам, я не могу не подчеркнуть, что в этом отношении наше Головкино представляло собой в действительности непочатый край целины, природной «девственности».

Начну с весны. — Хотя у нас не было глухариних и тетеревиных токов, но зато, что такое представляла собою весною вся волжская пойма, кишмя кишевшая пернатыми, слетающимися со всех концов вселенной!? Пусть мои дети вспомнят, как я их,

маленьких, водил по незаливаемым низинам заповедного места, т.н. «Подстепного» — традиционного вешнего этапа перелетных птиц, где они оседали, любили, размножались.

Во время волжского разлива, Подстепное представляло собою место исключительное для удобства оседания на нем всяческой перелетной птицы — уток, гусей, лебедей и всевозможных пород куликов. Далеко расположенное от населенного места (в трех верстах от Головкина), оно изобиловало ольховыми зарослями и удобными, травянистыми, кочковатыми луговинами. В Подстепном исстари веков запрещалось весной охотиться — с прадедовских времен это было освященное, заповедное место. Ходишь, бывало, там весной по мягкой, свежей, кудрявой мураве, среди кустарниковых зарослей, и видишь почти рядом с собой то парных лебедей, то серых, с виду совсем домашних, диких гусей.

Неоднократно наши детки натыкались на сидевших на своих гнездышках диких уток. Токовали и танцевали на своих длинных ножках турухтанчики, с взъерошенным на шейках оперением и раскрытыми веером хвостиками. Среди прочего пернатого гомона раздается как бы бляение молодого барашка — это бекас по-весеннему играет, тоже по-своему любовно токует, забираясь в высь, под небеса, и оттуда стремглав ниспадая, трепыхая своими жилистыми крылышками и издавая это своеобразное бляение.

И сколько всего прочего прилетного пернатого мира скапливалось в вешнее время на этом благодатном заповедном местечке, где птица, видимо, не считалась с человеком, как своим врагом-хищником и не опасалась его: не сказки это, милые мои читатели, а истинная быль, — головкинская правда!

Как-то раз, тоже весной, в бытность мою Губернским Предводителем, подъезжал я на своей яхте «Сирена» по весеннему

разливу из Симбирска к нашему дому, вдоль залитого русла реки Урены.

Напротив нашей усадьбы, через речку, была расположена моя хлебная пристань, а в конце ее стояла каменная, еще прадедовских времен, караулка, где обитал старинный наш служащий — Емельян Иванович. Весной, обычно, к «дедушке Емеле» с «житного двора» отсылались на прокорм наши гуси, которым раздолье там предоставлялось великое — кругом вода, свежая трава, простор. Но был лишь один «грех», как выражался старик Емельян, — его донимали лебеди, без опаски и оглядки пожиравшие у «Емели» и его «господских» гусей весь корм...

Подъезжая к нашему дому, я как раз застал картину битвы дедушки Емельяна с осаждавшей его внушительной лебединой стаей. Старик, с большущей «шелудиной» в руке, яростно отгонял от гусяного корма явившихся с волжского разлива непрощенных гостей. До нас доносились его неистовые выкрики: «У-у вы! проклятые! пошли прочь!» Бывший со мной граф Мстислав Толстой спрашивает меня: — «Скажи, ведь это лебеди твои? домашние?» — Но когда мой гость узнал, что это лебеди дикие, он обомлел от охватившего его удивления. Потом годами всем рассказывал о сей чудесной встрече, приговаривая — «если б я сам своими глазами не видал, никогда бы этому не поверил»...

О наших нетронутых «целинах», блюденных, заповедных и сказочных летних охотах на водяную дичь, лучше бывало и не рассказывать — настолько наша охотничья обстановка казалась невероятною!

После Петрова дня начинались по беспредельным займищным лугам знаменитые головкинские охоты, на которые обычно любил приезжать дорогой мой тесть Константин Капи-

тонович, человек моего уклада мыслей и одинакового пристрастия к Божьему вольному миру. Сколько дней, с раннего утра и до поздней ночи, мы с ним проводили в дебрях наших девственных займищных лугов. В этом отношении Константин Капитонович был надежным и приятным спутником: — его также манила девственная «крепь» со всеми ее богатствами.

Любили мы с ним забираться в самую непроходимую луговую глушь и стоять за прикрытием талового кустарника или густого, выше роста человеческого, камыша перед озерными прогалинами, предварительно послав собак искать среди кочек и осоки припрятавшуюся водяную дичь. Стоишь, бывало, и выжидаешь, не без сердечного трепета, весь насторожившись зрением и слухом. Где-то собака шарахнулась в воду, очевидно, бросившись за выводком; что-то рядом бултыхнулось и обозначились невдалеке подозрительные на вид валики. Не проходило и мгновенья, как в нескольких шагах из-за осоки, среди камышей, показывалась целая вереница водяных пернатых обитателей, быстро выплывавшая на чистую озерную поверхность, с недоумением оглядываясь, кто посмел нарушить их спокойное существование?

Бывали в таких глухих местах случаи, что вместе с утиными выводками всяких видов и пород, показывались из камышовой чащи и лебединые, на которые, кстати сказать, лично у меня рука никогда не подымалась.

Сергей Тимофеевич Аксаков в свое время проживал подолгу в Головкине, прежде чем составить и написать свой классический труд «Записки ружейного охотника», где им описаны все сорта водяной дичи, встречавшейся в наших займищных местах. Мы часто с Константином Капитоновичем или с Алешей Наумовым заезжали на наш любимый приволжский «Борок», где купались, вкушали стерляжьую уху, и где нередко я устраивал

особое охотничье блюдо — «сальмэ» из дичи, в которой нехватки в наших ягдташах не бывало.

Отдохнешь потом, бывало, на волжском бережку, на чистой, рассыпчатой, песочной перине, налюбуйешься на родную даль с проходящими пароходами и плавно скользящими белянами или плотами; встанешь, вздохнешь полной грудью на вольном воздухе волжского простора, и отправишься вновь по камышам и берегам займищных нетронутых озер, не столько ради дичи, сколь во имя ощущения непосредственной близости к любимой мною луговой обстановке.

С наступлением осени, появлялись вечерние перелеты с волжской займы на яровые поля бесчисленных верениц утя и гусей. Невероятное зрелище в это время представляли собой т.н. «середыши», т.е. волжские дальние острова, озера которых сплошь чернели от масс скапливавшихся на них диких гусей, перед их отлетом в теплые края.

Поздней осенью птицы исчезали, разве кое-где взлеты-вал на опушках, среди опавшего осинника, благородный, серый, долгоносый вальдшнеп. Но зато в головкинских местах началась иная, идеальная по своей обстановке и добычливости, охота с гончими, сначала по черноstopу, а затем и по пороше.

Держал я несколько смывков этих собак, но любимцами моими были две суки, привезенные мною из Буяна — «Милка» и «Затейка», с которыми я всякую осень обшаривал лесные наши колки, вплоть до расположенного на краю моих владений, заповедного «Малинового» леса. Редкий колок не давал нескольких добрых русаков, а во многих проскальзывала и мышатница — лисица.

Облавы в Головкине устраивались мною ежегодно в течение всей поздней осени и до больших снегов. То был излюбленный способ моих охот, и в их организацию я вкладывал весь мой охотничий пыл и опыт. За несколько лет у меня подобрались опытные и дисциплинированные, не только пешие, но и конные загонщики. Местность во всей округе я знал превосходно, и зверя было изобилие, особенно в нашем Малиновом лесу, где облавы отличались исключительной удачей и добычливостью.

В период 1902-1905 годов в головкинских займищных местах появилось небывалое количество лосей, беспощадно истреблявших молодые лесные побеги, ради предохранения которых мною организовывались обычно в начале ноября месяца специальные облавы против непрошенных «лохматых» гостей.

Невозможно пересказать про все то, что испытывалось мною в те счастливые времена моего деревенского житья-бытья, в обстановке красивой волжской природы, ее приволья и раздолья. Я уже не стану говорить о разнообразных видах богатейшей рыбной ловли в головкинских водах. Все это чередовалось одно за другим в калейдоскопе головкинской жизни, представляя ныне для меня незабываемые картины счастливого моего прошлого.

Отношение общественных местных кругов ко мне также меня радовало — мне было оказано внимание со стороны Земского Собрания, избравшего меня почетным мировым судьей, попечителем больниц и уездного Ставропольского училища. В очередной осенней сессии Уездного Земского Собрания 1900 года я охотно принимал участие. Очень радовало меня и общее ко мне со стороны гласных доверчивое отношение. Не без чувства удовлетворения приходилось выслушивать и от крестьян добрые отзывы о прошлой моей службе в земских начальниках.

Все чаще и чаще до меня доходили намеки о желательности в будущем завербовать меня в Уездные Предводители. Все это, конечно, льстило моему самолюбию, зароня во мне мечты о возобновлении дальнейшей моей общественной деятельности, а пока я продолжал все с тем же увлечением заниматься своим домашним делом, которое в то время осложнилось еще новыми заботами и хлопотами по постройке задуманного нами с Анютой самарского дома.

Проект его фасада и общего плана был мною окончательно утвержден. Остановился я на строгом, спокойном стиле италийанского ренессанса, талантливо разработанном Щербачевым. Я поставил архитектору основное требование, чтобы весь фасад был непременно сложен из жигулевского камня Рождественских каменоломен.

Идея постройки этого дома возникла на почве обоюдного нашего с женой желания увековечить нашу рождественскую помолвку. Отсюда возникло решение выстроить в Самаре красивое здание, с видом на Рождественно, Волгу и те самые Жигули, где происходили наши частые встречи и памятные свидания.

Теперь пишу все это откровенно, но в то время никто и не догадывался, с чем связана задуманная нами постройка. Меня отговаривали строить из жигулевского камня, говорили, что он выветрится; я же был убежден в противном и настоял на своем.

53

Новый 1901 год мы встретили все вместе со стариками и нашими милыми двумя малютками у себя в родном Головкине.

В январе 1901 года предстояла мне поездка в Самару на Губернское Земское Собрание, а затем в Москву на общее собрание владельцев — Ушковых.

Встреча моя в Самаре со всеми моими прежними сотрудниками и гласными вышла самая радушная и даже трогательная. На собрании я был избран в целый ряд комиссий — ревизионную, школьную, экономическую и т. п., так что пришлось работать без устали, чему я был очень рад, — дело земское я любил.

Из Самары я проехал в Москву, для участия на общем собрании владельцев — Наследников М.Г.Ушковой и А.Г.Кузнецова. Налаженная мною организация управления за оба года дала не только положительные, но блестящие результаты, дав пайщикам наивысшие за все время существования их имений дивиденды — чистый доход Нового Буяна за последний отчетный год достиг 85.000 р., а Рождественка — 120.000 р. Казалось бы, что в таком виде дело могло бы идти и развиваться беспрепятственно, но те же силы, которые сгубили честного Корста, не дремали и подтачивали все то, что удалось с таким трудом мне наладить.

Дело в том, что Лопаткин, по мере подрастания его воспитанников, терял источник своего существования — ему нужно было к чему-либо пристроиться. Пользуясь моим продолжительным пребыванием на юге и потом в Головкине, вдали от семьи Ушковых, он сумел постепенно обойти всех владельцев и заручиться их общим согласием на приглашение его для сотрудничества по общему управлению в качестве главного их контролера.

В этот свой приезд я намеревался окончательно закрепить и оформить организацию устроенного мной общего управления. Я еще ранее имел случай советоваться относительно технически-юридической части такого оформления с известными цивилистами, включая А.Ф.Дерюжинского. Все было уже мною подготовлено для учреждения «Товарищества по эксплуатации

имущества Наследников М.Г.Ушковой и А.Г.Кузнецова». Фактически организация уже существовала и превосходно функционировала — оставалось лишь ее узаконить. Но, видя создавшуюся в Москве обстановку, далекую от той, при которой я принял два года тому назад общее заведывание ушковским имуществом; усмотрев в приглашении без моего ведома Лопаткина игнорирование со стороны владельцев моей ответственной роли, как руководителя общего хода их дел; взвесив все эти обстоятельства, и побуждаемый неудержимым желанием возобновить мою общественную деятельность, я бесповоротно решил отойти от Ушковского дела. Я переговорил откровенно с Константином Капитоновичем. Он продолжал ко мне искренно любовно относиться, но был бессилен против своего домашнего царства. Я предложил Ушковым приступить не к узаконению существующего порядка, а к совершению семейного раздела. Предложение мое было принято единодушно. Было решено пока продолжать общее хозяйство, но подготовить семейный раздел.

Руководя всеми этими операциями, лично я считал необходимым, хотя бы в ущерб жениным интересам, идти на возможные уступки, ради достижения скорейшего общего согласия.

Не стану долго останавливаться на подробностях ушковского дела, отмечу лишь главное: Григорий настойчиво потребовал себе бывшее Кузнецовское имение «Осташево» с конским заводом цену ему он сам назначил, вопреки нашей с Максимым расценке, всего лишь в 280.000 рублей. Таково было будто бы желание его дяди — самого Кузнецова. Несмотря на абсурдность предложенной им сделки, пришлось ему уступить. Остальные боялись ему в чем-либо перечить.

Каково же было мое изумление, смешанное — скажу прямо — с негодованием, когда, года два спустя, я вдруг узнаю, что Григорий перепродал свое «заветное» Осташево Великому Князю Константину Константиновичу, без рысистого завода — за вдвое большую цену!

Второй брат, Алексей, получил с. Новый Буян, а младший, Михаил, с. Рождественно. Все эти имения они приняли с разными обязательствами взаимных расчётов.

Сестрам Анне и Наташе досталось по расчёту деньгами из расценки рождественского и буяновского имущества лишь по 1/14 части, из осташевского — по 1/6, а Форос оставался сначала в общем владении; после продажи Григорием своего Осташева, он, совместно с сестрой Натальей, приобрел Форосское имение от остальных совладельцев, и Лопаткин очутился там в качестве их главного контролера.

Расценка Фороса происходила также в атмосфере невоздержанных и хлестких аргументов со стороны того же Григория, которому пришлось уступить имущество миллионной стоимости сравнительно за грошовую цену.

Хозяйство в Форосе пошло сразу же вкривь и вкось. Впоследствии Григорий намеревался из Фороса устроить курорт, затратил колоссальные средства на расширение парка и много хлопотал по проведению Крымской побережной железной дороги. Но революция положила всему этому конец.

В остальных имениях — в Рождественском и Новом Буяне — их налаженная хозяйственная жизнь была нарушена с первых же лет перехода их в единоличную собственность молодых, совершенно неопытных и не деловитых хозяев. В результате Буя-

новская экономия, приносившая ранее свыше 80.000 рублей чистого дохода, должна была для своих оборотов забирать средства из московской конторы.

В таком же положении очутилось и Рождественское имение. Молодой хозяин, Михаил, преисполнен был столь многими фантазиями, что через год — другой Рождественская экономия, вместо стотысячного дохода, стала тоже перекачивать себе деньги из той же Московской конторы, со счетов других промышленных дел, принадлежавших молодому Михаилу.

На полученные моей женой после раздела деньги, я решил приобрести опять-таки землю. Для этого представился мне исключительный случай — престарелый и слепой князь Дионисий Михайлович Оболенский, ради выдела своих четырех дочерей, решил продать свое имение «Софьевку», которое мне очень расхваливали. Я решил туда проехать и самолично ознакомиться с этим имуществом. Имение оказалось действительно превосходным, из 4.000 десятин 2.000 десятин находилось под великолепным спелым листовным лесом, 1.000 десятин было мягкой пахотной земли, а остальная 1.000 — под вековой степной залежью с ее классическим спутником — ковыльной шарообразной пушистой зарослью.

Самое качество земли оказалось столь исключительно богатым, что, делая выемки в разных местах пахоты и целины, я и мой спутник не могли удержаться от выражения своего восторга. Это был глубочайший пласт великолепного перегнойного чернозема, с песчано-известковой подпочвой.

На полугоре красовалась двухэтажная деревянная усадьба с балконом, с которого открывался живописнейший вид на всю многоверстную долину.

Имение было окружено четырьмя деревнями, население которых «сидело» на «даровом», т.е. «нищенском» наделе, в силу чего нужда в аренде «господской» Софьевской земли была насущной, и рабочих рук имелось изобилие.

Вернувшись в Самару, я с делом покончил. Софьевка была куплена на Анютино имя.

54

Отделавшись от ушковского управления, я почувствовал истинное облегчение. Свалилась великая и неприятная гора с плеч. Мы с Анютой были предоставлены сами себе. У нас было свое обособленное хозяйство, и немалое — «Головкинское» и «Софьевское» — всего около 12.000 десятин, с разнообразнейшими богатыми угодьями и целым планом намеченных мною улучшений.

Заботило меня лишь неотвязно одно — необходимо было подыскать себе способного, работающего помощника. Дело это было нелегкое, но, видимо, сам Господь мне в нем помог. Случайно в Ставрополе встретился я с управляющим одного из имений гр. Орлова-Давыдова Бэком. Он порекомендовал мне человека, имя которого я буду чтить до конца моей жизни, и чей прах покоится на родной нашей головкинской земле.

С запиской от Бэка ко мне приехал человек среднего роста, пожилых лет, но еще бодрый, скромно, но чисто одетый, с умным, симпатичным лицом, в очках и с седоватой бородкой. Он назвал себя: «Кошкин, Илья Петрович». По профессии землемер, он на своем веку работал сначала в Удельном Ведомстве, последние же годы приводил в порядок угодья гр. Орлова-Давыдова, временами заступая место управляющих.

Слушал я его и мысленно Бога благодарил. Быстро мы с ним сошлись, почувствовав искреннюю друг к другу симпатию.

Кошкин поселился в нашем головкинском доме и начал свою работу с лугов. С раннего утра и до позднего вечера, не спеша, но споро, методически, шаг за шагом, стал он обходить с «цепями» и другими своими землемерными инструментами мои луговые дачи. Менее чем в два года он успел в Головкине снять и привести в идеальный порядок все мои разнообразные уголья, составив необходимые для них планы, с надлежащими подробнейшими учетами, подсчетами и таксировками.

Благодаря всем этим работам, я смог коренным образом улучшить способ луговой сдачи в аренду. С легкой руки Кошкина начались в Головкине правильные нарезки лесных делянок. Стали назначаться неслыханные раньше лесные торги на отведенные очередные делянки. Об этих торгах производились всюду публикации — стал съезжаться народ. Начался спрос на застоявшийся товар. Лесоводство делалось доходной отраслью.

С появлением Ильи Петровича, у меня, как говорится, душа была на месте, и все дела шли удивительно удачно. С годами наша взаимная привязанность росла и крепла: в моей семье Илья Петрович был принят, как самый близкий родной человек. Это был человек особого высшего духовного порядка, святой христианской жизни и неустанного честного труда.

Я не могу не упомянуть его чудесных предвидений. В страшную смуту осени 1905 года, он, несмотря на железнодорожную забастовку и начинавшуюся почтово-телеграфную, настоял на необходимости мне ехать в столицу, лично обо всем доложить Царю и «научить, как действовать».

Кошкин был уверен в правоте моих советов, с сущностью которых он был знаком из частых наших с ним собеседований в

те тяжкие и смутные времена. Я стоял на определенной позиции — «за твердую власть». Он это знал, одобрял и посылал меня поэтому в Питер, к царю. Я его послушал и 23 ноября 1905 года получил аудиенцию у Государя. Верно предсказал Илья Петрович: моя поездка оказалась не безрезультатной.

Кошкин предвидел и мою работу в Государственном Совете. Не раз он высказывал полную уверенность, что Царь меня призовет к себе в министры. Все это говорил святой старец (иначе я о нем теперь не думаю), когда мне это казалось до смешного невероятным. Я приписывал его предсказания пристрастным его ко мне отношениям. Но вот, незадолго до его кончины, меня совершенно неожиданно, единогласно выбрали от земства в Государственный Совет. Илья Петрович принял это, как должное, и уверенно сказал: «После этого будете министром»...

Однажды, в 1910 году, Илья Петрович собрался мне из Головкина написать свой отчет по Головкинскому хозяйству. Обычно он карандашом составлял черновик, который затем начисто переписывал чернилами.

Написав несколько строк, вдруг остановился на слове «овес», выронил небольшой желтенький кусочек карандаша из рук, и тихо отошел в иной, лучший мир!

Кусочек бумаги, исписанный им при последнем издыхании, с приделанным к ней карандашиком, в особой траурной рамке с соответствующей надписью и его портретом, свято хранился в моем конторском кабинете.

55

2-го июля 1901 года наше семейство умножилось: появилась третья по счету девица — Ольга, названная в честь своей

крестной — Ольги Александровны, вдовы брата Димитрия. Восприемником у нее был дедушка, мой бедный отец, здоровье которого стало заметно ухудшаться.

Пришла осень с ее облагами и Земскими Собраниями, а за ней незаметно подошла и чистая, пушистым снегом и узорным инеем раскрашенная, наша русская, да еще приволжская, зимуха-зима, со всеми ее деревенскими занятиями, красотами и развлечениями... По-прежнему основными моими житейскими устоями оставались — хозяйство да природа, и душу мою заполняло величайшее счастье, выпавшее на мою долю — жить у себя в родном месте, среди своих близких, заниматься любимым творческим делом, ощущая во всем простор своему духу и телу!... Мое благостное самочувствие разделяла и милая моя Анюта, окруженная уже тремя очаровательными своими птенчиками... Хорошо было всем нам, да и Господь, видимо, нас не оставлял!

Часть V. 1902 — 1905 гг.

Уездное предводительство. Уездные чины. Училищное дело. Комитет о сельскохозяйственных нуждах. Воинские наборы. Смерть отца. Рождение сына Александра. Картины головкинской жизни. Дом. Зимний день. Малинов лес. Лосиные охоты. Яхта «Сирена». Личный состав предводителей и депутатов. Дом дворянства. Сословная деятельность. Японская война. Общественные настроения. Приезд Государя в Самару. Оппозиционные круги земства. Январское земское собрание 1905 года. Июньское дворянское собрание 1905 года. Губернатор Засядко. Избрание меня губернским предводителем. Новоизбранные сотрудники. Вступление в должность. Самарский дом.

56

Летом 1902 года произошло в моей жизни крупное и решающее событие: 15-го июня, на очередном Дворянском Собрании в г. Самаре, я был единогласно избран Ставропольским Уездным Предводителем Дворянства.

Сбылась моя мечта — не честолюбия, а именно мечта обновления моей местной общественной службы, без которой мне все же было тоскливо. Предводительство меня всегда привлекало, потому что в качестве руководителя всей поместной уездной жизни можно было много добра и пользы приносить местному крестьянскому населению. Предводительство давало мне возможность вновь вернуться в родную знакомую среду и обычную деловую обстановку.

Должен сознаться, выборы, да еще столь единодушные, меня до глубины души порадовали и несомненно польстили моему самолюбию. Принял я свое избрание на ответственный уездный пост бодро и уверенно, с сознанием достаточной подготовленности к этой сложной должности.

Уездная моя работа стала протекать в дружной обстановке бывших моих сотрудников по Съезду.

Судебные заседания обычно вел С.А.Сосновский, но нередко приходилось и мне председательствовать по делам, которым я придавал особо серьезное значение.

Состав земских начальников я застал почти тот же, что был и ранее.

Исправником был мой старый знакомый, почтенный А.А.Агатицкий.

Спокойный и ровный, Агатицкий превосходно знал полицейское дело, всю свою жизнь проведя на этой службе. В короткое время он сумел сделаться общим нашим любимцем, почти со всеми сойдясь на «ты», несмотря на некоторый свой уездно-обывательский недостаток, заключающийся в том, что он водки совершенно не пил, в редких случаях лишь «пригубливая» какое-нибудь сладковатое слабое винцо.

Более приятного спутника, чем Александр Алексеевич, во время воинских наборов, нельзя было себе представить. Надо, отдать справедливость, при нем полиция была подтянута и исполнительна, но много говорить со своими подчиненными он не любил, да и... не умел.

Однажды, на одном из сборных пунктов, по окончании набора, я попросил Агатицкого поставить на вид старшинам о необходимости должного содержания зимних дорог. — «Это по твоей части, дорогой Александр Алексеевич, — сказал я ему, —

прошу, как следует — внуши им». Когда вошли к нам все старшины, урядники и старосты, я обратился к ним с речью, высказав все, что считал для общего дела важным и необходимым, и предупредил их, что с ними сейчас будет говорить исправник. Он встряхнулся, оправил многочисленные регалии, встал в величественную позу, солидно откашлялся и медленным длинными паузами, охрипшей октавой, произнес: — «Старшины! Скоро зима! вешки! слышите?!..» То была единственная публично-произнесенная «начальническая речь», слышанная мною из исправничьих уст за все мое предводительское трехлетие. Но дело у него в уезде шло и — повторяю — хорошо шло.

Наш милый исправник был добрейшей души, деликатный в высшей степени, временами даже застенчивый.

Любил я бывать в его уютной Ставропольской квартире, сплошь завешанной всевозможными фотографическими группами из прошлой его службы. Душевный простой и милый был человек.

Ставропольским воинским начальником в описываемое мною время состоял полковник Н.М.Стафиевский — маленький человечек, по внешнему своему виду лишенный всякой воинственности, вечно жаловавшийся на свой склероз, рамолик настолько, что временами он путал наименование царствующего Государя в своих начальнических публичных выступлениях перед собравшимися новобранцами. Вообще много было у нас на былой Руси доброго и хорошего, но и немало встречалось в ее официально-служебной жизни непонятного. По гражданскому ведомству почему-то часто сдавали все устаревшее или лишнее на склад в Сенат, а по военному — в воинские начальники. Между тем, казалось бы, по заданиям Великого Петра, ответственные должности следовало бы снабжать отборными силами!

Секретарем Воинского Присутствия состоял Петр Иустинович Ледомский. Он же, искони веков, бессменный секретарь Предводителя Дворянства.

Одновременно с моим избранием в 1902 году были установлены и особые правила для замещения должности секретаря Воинского Присутствия. Требовалось представление кандидата Председателем Уездного Присутствия и затем его утверждение Губернатором. Я рекомендовал Начальнику Губернии Ледомского, как человека аккуратного, знающего, всем давно известного и безусловно подходящего для должности секретаря Ставропольского Уездного Воинского Присутствия.

Пришлось мне вскоре после этого быть в Самаре. Являюсь к Губернатору, А.С.Брянчанинову. Обычно он радушно меня встречал. Вдруг мой милый «Помпадур» величественно заявляет, что он не считает возможным утвердить представленного мною Ледомского, на том основании, что новая должность, «по духу закона», требует серьезного к себе отношения и должна быть замещаемая лишь «людьми специального знания и настоящего труда».

Брянчанинов начальнически-снисходительно, не без некоторого благодушия, дал мне понять, что мое представление Ледомского, вероятно, основано не на его пригодности для данной должности, а исходит из великодушного желания «своему» человеку предоставить лишнее материальное обеспечение... «У меня имеется свой кандидат», добавил внушительным тоном Губернатор, «подсказанный милейшим Иваном Афанасьевичем — человек на самом деле достойный и опытный делега»...

Меня взорвало. Я не выдержал, встал и, стараясь сдерживаться, заявил Начальнику Губернии, что подобная его оценка личности моего кандидата носит совершенно произвольный характер, также как и высказанные им догадки о самых мотивах

моего представления. «То и другое, — добавил я взволнованно твердым голосом — по моему мнению настолько порочат, как почтенного Ледомского, так и самого Предводителя, подписавшего представление, что дальнейшая служба последнего представляется мне, при подобном явно недоверчивом отношении Начальника Губернии, совершенно невозможной. Потому, не желая входить в препирательства с Вашим Превосходительством относительно личных и служебных качеств достойнейшего и давнего уездного работника Ледомского, принимая во внимание проявленное ко мне недоверие со стороны Начальника Губернии, я вынужден теперь же, перед уходом из кабинета, заявить Вам, что обо всем этом будет мною доложено моим дворянам-избирателям на предмет избавления меня от дальнейшего несения моих обязанностей Предводителя Дворянства, о чем имею честь Вас предупредить»....

Во время произнесения мною этих слов Брянчанинов тоже встал, начал махать руками, старался всячески меня успокоить. Окончив, я повернулся и пошел к выходу... Заметно растерявшийся Губернатор догнал меня, стал обнимать, приговаривая: «Да что Вы? Бог с Вами! Разве я хотел Вас обидеть?! Да пусть будет этот самый Ледовский секретарем! Ради Бога лишь успокойтесь! Присядьте!» Этим я не удовольствовался и тут же, не уходя и не садясь, попросил Губернатора ускорить утверждение Ледомского. Был дан звонок, вытребована бумага и подписана. О всем происшедшем город и губерния узнали из уст болтливого Брянчанинова, прозвавшего меня «бедовым» молодым Предводителем. Дальнейшая совместная наша с ним служба протекала в течение всего моего трехлетия гладко, мирно, и даже не помешало ему через год украсить меня шейным Станиславом...

Уездное предводительство обязывало работать в двух направлениях — в уезде: в качестве Председателя всех имевшихся

в нем учреждений всевозможных ведомств и наименований; в губернии — как участник заседаний собраний Предводителей и Депутатов местного Губернского Дворянского Общества, где обсуждались вопросы, связанные большею частью с интересами чисто сословного характера.

В уездной жизни предводительская работа заключалась, прежде всего, в ежемесячном руководстве заседаний Уездного Съезда, не столько по судебным разбирательствам, сколько по рассмотрению административных дел. Сюда, большей частью, входили дела земельно-общинного характера; их было очень много и сущность их подчас отличалась необычайной сложностью и путанностью.

Съезды я посещал аккуратно. С весны и до заморозков я пользовался удобным сообщением из Головкина до Ставрополя по Волге на пароходах.

По зимам приходилось совершать путь до Ставрополя на сменных лошадях, в своих заветных, дорожных, удобных санях на «сибирском» ходу, обитых лосиными шкурами с волчьей полостью и прикрытых сверху циновкой.

Уляжешься, бывало, с вечера в Головкине в эти сани среди кучи подушек, со всех сторон закутаешься меховым одеялом и в таком виде остаешься во всю ночную дорогу вплоть до самого утра..

Первый этап я делал на своих лошадях, а там дальше начинались перепряжки.

Уляжешься с вечера в Головкине, всласть выспишься, успеешь долгими часами и помечтать, и кое-что пообдумать, любуясь на зимнее яркое звездное небо, на его мерцающие светила. А в это время, незаметно, одна пряжка заменялась другой, пока,

наконец, утром, с гиком и обычными своими поговорками, лохматый Евдоким не подкатывал лихо к съездовскому предводительскому подъезду.

Приятно бывало вылезти из санного логовища и расправить «заснувшие» за всю дорожную долгую ночь члены. Вскоре появлялся на столе кипящий во все свои отдушины, как зеркало вычищенный самовар, свежие, румяные булки и добрая закуска. Часа через два, бодрый и переодетый, я принимал в своих предводительских апартаментах очередные доклады и ожидавших просителей.

Вспоминаются мне первые дни моей новой службы: приезжаю я впервые в Ставрополь, в качестве только что избранного Предводителя Дворянства. Начался прием пожелавших мне представиться ставропольских чинов разных наименований, мастей, характеров и обликов. Одним из первых заявился в своей отставной военной докторской форме бывший полковой, ныне уездный врач — статский советник Дюнтер — грузный, с большим брюшком, сутуловатый, но еще бодрый и подвижной старик.

Вошел Дюнтер ко мне на цыпочках, придерживая рукой свою залежалую шпажонку, при Станиславе и каких-то медалях, прикрепленных на отвислом животе. Осторожно присел на кончик стула, невдалеке от входной двери. Я его стал расспрашивать про его прошлую службу и что он теперь делает. О своем былом он говорил сладко и ровным голосом, пересыпая чуть ли не каждую фразу величанием «Ваше Превосходительство», но перейдя на разговор о своей ставропольской службе, Дюнтер вдруг съезжился, насторожился, привстал, выглянул в коридор, и убедившись, что там никого нет, стал хриплым, волнующимся шепотком мне наговаривать разные сплетни то про одного из ставропольских чинов, то про другого.

Сначала я намеревался сразу его остановить, но вся фигура старого эскулапа, его допотопный облик, манера держать себя — были столь необычайно-характерны, и с точки зрения бытовой — ярко-типичны, что, как завзятый любитель-театрал, я решил предоставить ему «отводить» свою кляузную душу, чтобы продлить удовольствие — своими глазами увидеть живой гоголевский тип. Хотелось во всей его целости и неприкосновенности, ввести его в одну из сцен бессмертного «Ревизора».

Дюнтер, как потом оказалось, отличался бесцеремоннейшим взяточничеством. Однажды мне дорогой повстречался ветхий старомодный тарантас, запряженный в одну лошадь, сзади плелась привязанная тощая корова. На козлах сидел мальчишка, около которого была пристроена огромная клетка, заполненная курами, утками, гусями. Ни сидении, в виде грузной массы, высился сам статский советник Дюнтер. По обоим бокам его виднелись живые существа — с одной стороны, из-под складок его дорожного плаща выглядывал теленок, а с другой — копошились жалостно хрюкавшие поросята. Встретившись со мною, Дюнтер отдал честь, взяв под козырек, но, видимо, был чем-то сильно сконфужен. Я спросил своего возницу, куда доктор всю эту живность везет и ведет? Оказалось, что так Дюнтер возвращается «из уезда», после исполнения им служебной обязанности — в большинстве случаев — по вскрытию трупов. Вся окружавшая его живность являлась данью населения за оказанные статским советником профессиональные услуги. Все это свозилось и приводилось на Дюнтеровскую загородную ставропольскую дачку, хозяину которой жилось недурно и прибыльно.

Была одна область в моей уездной служебной деятельности, которой я особенно интересовался — это работа в Училищном Уездном Совете, председателем которого я состоял, как Предводитель Дворянства.

Наиболее активную роль в означенном Совете играл Инспектор Народных Училищ, от него зависело многое в общей постановке училищного дела в уезде — главным образом, подбор надлежащего учительского персонала. Между тем, ни в самой инспекции, ни тем более на низших ступенях педагогического состава, в большинстве случаев, не было подходящих людей, понимающих сущность народного просвещения, т.е. насаждение среди темных крестьянских масс не одной только грамоты, но хотя бы самых элементарных основ государственно-гражданского воспитания на национально-исторических началах.

Отсутствие подобного воспитания в низах русского народа являлось, по моему крайнему разумению, несомненным и основным государственным злом, постепенно подтачивавшим мощь и устойчивость нашей родины.

В то время, когда многомиллионное крестьянство, после великой реформы Александра Второго, осенило себя крестным знаменем и вступило на свободный путь гражданской жизни, — реформаторы-шестидесятники прияли на свою душу величайший грех тем, что при освобождении крестьян, не создали одновременно прочную сеть правительственных учительских институтов, дабы государственная власть смогла всю «свободную» крестьянскую молодежь взять в свои руки, в смысле ее начального обучения и параллельного постепенного воспитания. Вместо этого дело величайшей — именно, государственной — важности было самим же правительством от себя отстранено и предоставлено всецело во власть только что образованных,

разнообразнейших общественных самоуправлений (земских, городских и пр.), действовавших каждое «по-своему», без всякой согласованности, без общего руководящего здорового направления, без наличия подготовленного дисциплинированного педагогического персонала и, во всяком случае, без каких-либо признаков того, что я называю элементарным государственным воспитанием.

Мы хорошо знаем, во что обратились во многих местах земские и городские школы, оказавшиеся в большинстве случаев центрами скорее государственного развращения, чем воспитания. Из года в год десятки тысяч крестьянских детишек, в лучшем случае, ничего об истории и былой славе России не слышали.

Мало того, в силу долголетнего отсутствия в этой области действительного, разумного правительственного, не только руководства, но и контроля, революционно настроенные, антигосударственные элементы избрали себе именно это народно-учительское поприще, как наиболее влиятельную и удобную для них арену деятельности и кафедру для их развращающей юные умы и сердца пропаганды. Мало-помалу, яд подобного учительского слова стал проникать во все кровеносные сосуды обширного государственного организма. Попытки борьбы с этим злом носили частичный характер; единства оздоровительных мер также проявлено не было, да при создавшейся обстановке как бы узаконенного правительственного индифферентизма нельзя было его и ожидать. Отсюда проистекала бесплодность этих частичных мер и бессилие самой борьбы с заболеванием всего народного организма, предоставленного в лице почти всего своего подрастающего поколения, в течение долгих лет, полному простору производства ему «инфекционных при-

вивок», возбуждавших классовую ненависть, недовольство правительством и преступные аппетиты на почве мечтаний о «черных переделах».

При принятии Училищного Совета под свое председательство, я застал, в качестве Инспектора Народных Училищ в Ставропольском Уезде, только что назначенного Казанским Учебным Округом В.Г.Архангельского. Я ничего не знал об его прошлом, но личное впечатление было далеко не в его пользу. Его манера вести себя и говорить со мной показалась мне отталкивающей. Его льстивый тон, многократное величание меня «Вашим Превосходительством», небольшие, нечистого оттенка, глаза, постоянно смотревшие куда-то в сторону, — все это было неприятно. Таких людей я не любил и всегда инстинктивно их опасался

Прошло с полгода, как новый Инспектор занимал свою должность и знакомился со своими школами, нередко заезжая ко мне и докладывая «Его Превосходительству» о положении «подведомственных ему дел». Архангельский никогда не говорил со мною о наших общих училищных нуждах и пользах, а подчеркнуто «докладывал» в сухо-официальном тоне. Это мне сильно не нравилось.

Школьное дело я любил, им интересовался, сам входил во все подробности уездной училищной жизни, не довольствуясь краткими официальными «докладами» Архангельского. Случайно узнаю, что в некоторых школах начались, помимо Училищного Совета, частичные перемещения училищного персонала. Были случаи увольнения давних, известных в уезде своей безупречной службой, учителей и замещения их новыми лицами.

На ближайших заседаниях Училищного Совета я по этому поводу просил Инспектора дать объяснения, которые никого из

членов не удовлетворили. Я стал собирать об Архангельском подобные справки, равно как и о вновь назначенных им учителях и учительницах. Оказалось, что сей господин, незадолго до назначения его к нам Инспектором, был исключен из состава педагогического персонала Симбирской Духовной Семинарии, как главный инициатор сильнейшего оппозиционного брожения среди учеников.

Несмотря на это, в Казанском Учебном Округе Архангельскому дали еще более ответственную должность, совершенно упуская из виду, что для подобного типа уездная жизнь, со всеми ее многочисленными училищами, открывала еще более широкое и свободное поприще для осуществления его зловердных намерений, к чему этот «рыцарь лукавого образа» постепенно и приступил. Мне было сообщено, что те несколько учителей, которых Архангельский поторопился всунуть в состав ставропольской учительской семьи, оказались из его же «стаи славных» семинаристов-симбиряков, исключенных совместно с их революционным принципалом за учиненные беспорядки.

Не теряя времени, я настоял на срочном изъятии подобного инспектора из нашего уезда. Просьба моя была уважена. Спустя полгода, я узнаю, что Архангельский вновь назначается Инспектором Народных Училищ в самый отдаленный, огромный Новоузенский уезд Самарской губернии, где школьное дело получило наибольший расцвет, и где заканчивалось осуществление т.н. нормальной училищной сети. Итак, лицо, дважды уволенное со службы за зловердную агитаторскую деятельность, в том же Учебном Округе получает вскоре новое аналогичное назначение в уезд, где имелась масса школ и, вдобавок, не было ненавистного ему дворянства. Дико, но это так!

Дальнейшая карьера Архангельского была такова: среди членов Государственной Думы второго созыва избран был и

наш Инспектор Народных Училищ, официально зарегистрировавший себя, как член партии социал-революционеров.

Остановился я так подробно на всей этой истории служебно-житейской карьеры бывшего моего кратковременного сослуживца по Ставропольскому Уездному Училищному Совету исключительно в интересах освещения порядков, или скорее, беспорядков, которые царствовали у нас на матушке-Руси в области особой государственной важности — обучения народной молодежи.

В 1902 году в Петербурге, по Высочайшему повелению было образовано т.н. «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности», в котором предполагалось по мысли его инициатора, бывшего в то время Министром Финансов, С.Ю.Витте, рассмотреть потребности сельскохозяйственной промышленности и устройства быта русского земледельца-крестьянина.

Совещание это просуществовало с января 1902 года по март 1905 года и собрало со всей России огромный и интереснейший материал, в большинстве своем подробно разработанный, но его постигла та же судьба, как и другие подобные столичные благие начинания, оставшиеся без всякого практического результата; когда грянул гром и заявила о себе народная стихия — поспешили креститься, но было уже поздно.

Цель Витте была в высшей степени государственно важная и предупредительно-полезная. Он считал своевременным озаботиться о статридцатимиллионной крестьянской массе, освободив ее, по его собственному выражению, от ««рабства, произвола, незаконности и невежества». Под рабством и произволом он разумел, главным образом, гнет общины со всеми ее «круговыми» путями, требовавшей, по его мнению, самого срочного ее уничтожения. Под беззаконием — смешанную подсудность

крестьянства волостному и общему суду, вместо единого для всех судопроизводства, с существовавшими судебными уставами. Под невежеством он понимал потребность в поднятии низкого просветительного уровня народных масс, которую имел в виду удовлетворить лишь под условием, чтобы народное обучение всецело находилось в руках правительства.

В том же 1902 году на местах были образованы губернские и уездные комитеты о сельскохозяйственных нуждах, первые под председательством Губернаторов, вторые — Уездных Предводителей Дворянства.

Взялся я за это дело с превеликой охотой и живым интересом. Программа работ почти совпадала с 66-ю вопросами по крестьянскому благоустройству, о которых мы столько думали и говорили почти десять лет тому назад, по поводу которых, нам с Г.К.Татариновым, Уездный Съезд поручил составить особый доклад. Вставала неразрешимая загадка, почему в Северной столице верхи относились столь мертво ко всему, что требовало быстрого, чуткого и государственно-разумного разрешения?! Десять добрых лет прошло, а воз и ныне оставался там.

Имея перед собой интереснейшие задания обсуждения целого ряда злободневных вопросов, касавшихся крестьянского уклада и экономически-аграрного положения, я решил широко поставить дело и вызвал в центральное место уезда — в посад Мелекесс — все, что было наиболее толкового, знающего и полезного из среды известных мне лиц всех званий и сословий. Под моим председательством образовался многочисленный комитет, заключавший в себе наиболее видных представителей от землевладельцев и крестьян; уполномоченных от некоторых арендных товариществ, Удельного Ведомства, отдельных хуторян, управляющих частных имений и пр.

Подъем у всех тогда был удивительный. Работа шла с неослабным интересом и воодушевлением. Вспоминается мне такой, например, случай: среди приглашенных землевладельцев был потомственный дворянин, Николай Африканович Бабкин, владевший небольшой усадьбой и землей около с. Озерок. По убеждениям он был идеалист-шестидесятник, с либеральным уклоном в сторону народоправства, по характеру — человек редкой доброты и необычайной деликатности. Несмотря на то, что ему было далеко за 60 лет, Бабкин представлял собою совершенна нетронутую, юную, девственную душу. Его особо страстное увлечение было народной школой. Он составлял для земства обстоятельные доклады о желательной постановке школьного и внешкольного образования в уезде. Для нашего Комитета он составил превосходный доклад, единодушно одобренный многочисленными присутствовавшими. Бабкин был крайне тронут и взволнован подобным отношением Комитета к «величайшему», по его мнению, «государственному делу». Бледный, дрожащий от волнения, он подошел к председательскому месту и проникновенным голосом воскликнул: «наконец-то наша столичная власть проснулась, верит нам и дает возможность громко говорить о наших народных великих нуждах!» — и как сноп свалился в глубоком обмороке.

В результате нашей комитетской работы были установлены некоторые общие выводы: желательность скорейшего облегчения выхода из земельной общины и развития индивидуального права земельного пользования; отмена круговой поруки; упорядочение судопроизводства; проведение в жизнь мелкой земской единицы, как всесословной волости; расширение деятельности мелкого кредита и пр.

В губернской инстанции наш обширный материал был отмечен, как наиболее интересный, но вместе с тем, чересчур либеральный (!). Увы, этот жупел — наш «местный», «лояльный» либерализм всегда казался помехой для чиновного Питера, пока последний не дождался стихийно-разрушительных результатов подпольного воздействия закулисных оппозиционных сил... Громко говорить честным государственнымникам про действительные местные пользы и нужды Петербург запрещал, а то, что творилось втайне темными силами на почве народного недовольства — не умели ни замечать, ни тем более предотвращать.

В моей предводительской службе я придавал особо серьезное значение непременно моему участию на воинских наборах, обычно происходивших поздней осенью — с 15 октября по 15 ноября. Я широко пользовался ими, чтобы входить в непосредственные сношения с населением, и попутно, в разговоре, разяснять то, что считал своевременным и необходимым.

Заседания Воинского Присутствия я вел всегда под своим председательством.

Весь уездный набор полагалось провести в месячный срок. На каждый из четырех наборных участков приходилась неделя. До меня обычно заседания в Присутствиях затягивались; одной из причин к тому была страсть наших уездных чинов к карточной игре, которую я не любил, и с первого же года мною были приняты меры для самой решительной борьбы с этой закоренелой привычкой. Съезжавшиеся члены Присутствия просиживали за карточным столом далеко за полночь, а то и вовсе до утра. Часы открытия заседания Воинского Присутствия на следующее утро отсрачивались до позднего времени. В ожидании «начальства» сельские и волостные должностные лица, уряд-

ники, да и сама молодежь, вызванная на набор и приготовленная к осмотру, — часами томились, пока бледные, заспанные и вялые господа члены Присутствия, наконец, не появятся и не приступят, позевывая, к своей скучной работе, решавшей, однако, судьбу новобранцев.

Всему этому я положил конец. При мне Присутствие началось ровно в 9 часов утра и продолжалось, с перерывом на полчаса, до сумерек, как полагалось по закону. Я брал на себя неприятную обязанность просить моих сотрудников по Военскому Присутствию не позднее полуночи прекращать игру и расходиться на ночлег. Нелегко было это мне налаживать в первом году, а потом с этим все стали считаться. Количество присутственных дней сократилось до минимума, на радость всему населению, да и мне самому. Оставшиеся свободными дни из причитавшейся на каждый сборный пункт недели я использовал на свой любимый отдых — охоту, наверстывая на вольном чистом воздухе все то, что приходилось затрачивать нашим легким в ужасающей обстановке спертых помещений Военских Присутствий, насквозь пропитанных испарениями тысяч голых человеческих тел.

Последний мой набор осенью 1904 года протекал при исключительно тяжелых условиях, в памятную эпоху неудачной Японской войны и общей подавленности настроения. С каким стесненным сердцем приходилось принимать молодежь в ряды армии, о которой ежедневно сообщалась одна скорбная весть за другой.

Согласно воинских инструкций, среди многотысячной массы вызванных на набор людей, Присутствие наше старательно выбирало все, что было наиболее крепкого, способного и лучшего, для пополнения Сибирских стрелковых частей и, главным образом, флота. Одновременно же до нас доходили

страшные вести о гибели огромных морских военных судов с тысячами подобных, отмеченных Богом и избранных людьми, единиц!

Надо было удивляться тому общему бодрому духу, который проявлялся среди самих новобранцев: ведь слухи о наших боевых неудачах и огромных потерях проникали во все слои населения, а в силу этого набор 1904 года проходил при воплях провожавшей молодежь родни. Надежд на скорое окончание дальневосточной бойни тоже еще не предвиделось. Несмотря на это, когда, бывало, в качестве Председателя Присутствия, произнесешь магическое слово: «годен», молодой парень перекрестится, встряхнет головой и бодро скажет: «Рад послужить Царю и Отечеству!» В голову мне тогда не приходило приписывать подобное поведение какому-либо напускному молодечеству — слишком сама обстановка того времени не соответствовала чему-либо лживому и искусственному! По моим наблюдениям, молодежь искренне и героически шла на защиту родины и когда подумаешь, сколько еще в то время было нетронутого и здорового материала в русском крестьянстве, и сколько можно было бы сделать из него доброго и великого в государственном отношении при разумном его использовании!..

Роковая по своим последствиям Японская война послужила преддверием для резкой перемены всей обстановки и самого характера моей дальнейшей сословно-выборной и общественной службы, придав ей яркую политическую окраску и создав вокруг нее тревожную атмосферу разыгравшихся партийных страстей. Но прежде чем говорить об этом, я хочу коснуться хотя бы вкратце описания нашего головкинского домашнего житья-бытья за описываемое время.

Я продолжал жить у себя в имении и вести по намеченному плану свое хозяйство, которое постепенно стало давать заметные благоприятные результаты.

Здоровье отца шло заметно на убыль: с весны 1903 года он почти не выходил из своей комнаты, изо дня на день слабея, и становился как-то ко всему индифферентнее. Отцу было приятно сознание, что мы с детками живем около него, очень любил он Анюту, видимо рад был избранию моему в Предводителя, но хозяйство ему больше в голову не шло, оно его перестало интересовать.

Все шло к неизбежному концу. Печальное событие это свершилось 24 июля 1903 года. Около пяти часов утра, мне пришли сказать, что отцу стало плохо. Прибежав к нему, я застал его при последнем издыхании, все же успели приобщить св. Таинств, после чего он тихо почил на моих руках.

Тяжело было ощущать в своих объятиях холодеющее тело самого близкого родного существа. Как ни был я готов за последний год его жизни к возможности потери дорогого для меня лица, но момент конечного расставания с ним был для меня исключительно тяжел. Великое счастье мое заключалось лишь в том, что я оказался дома и мог своей рукой навеки закрыть глаза отцу.

На похороны съехалось много родных. Его отпевали в верхней церкви, где отец столько лет состоял старостой; похоронили его в церковной ограде.

Жизнь человеческая никогда не остается неизменной — в ней беспрерывно происходит чередование горя с радостью. Не прошло и года после описанной скорби, как в том же головкин-

ском доме случилось иное событие — давножданное, ниспосланное Божеской благодатью и встреченное общей великой радостью: 7 июня родился у нас сын, которого мы долгие годы ждали, и, наконец, вымолили его у Господа Бога, через молитвенное предстательство преподобного великого Саровского старца Серафима, которого мы в нашей семье глубоко и свято почитали.

Начиная с лета 1906 года, я ежегодно, несмотря на осложнившуюся мою деловую жизнь, несколько дней в году проводил в Саровской обители, отдаваясь тихой уединенной молитве в исключительно благоприятной для меня обстановке. Там я говел, и там же, с Божьей помощью, запасался свежими силами для несения тяжелых и ответственных моих служебных обязанностей.

Все наши детки появлялись на свет Божий в моем присутствии; исключением оказалось рождение сына Александра. Приблизительно за неделю до этого события, после объявленной дополнительной мобилизации т.н. «стариков» (прежних годов призывных), в г. Ставрополе стало скапливаться множество бородатых запасных для проверок и переосвидетельствования.

Я не имел в виду уезжать из Головкина и оставлять жену накануне ожидаемых родов, но числа 2-го или 3-го июня я вдруг получил телеграмму за подписью моего доброго друга и сослуживца С.А.Сосновского, в которой он срочно вызывал меня в Ставрополь, чтобы успокоить волнения среди запасных. Вялый и болезненный Воинский Начальник справиться не мог, и дело стало принимать серьезный оборот.

Благословив Анюту, я, скрепя сердце, покинул Головкино и ночь спустя очутился в Ставрополе, сплошь забитом вызванным народом и многочисленными семьями, понаехавшими со всего уезда провожать запасных «стариков». Настроение было

очень нервное. По ночам слышались на улицах и площадях рыдания, вопли, бабы причитания.

Жил в то время в Ставрополе крупный арендатор волжских рыбных ловель, Черкасов, высокий, представительный, полный мужчина, что называется «кровь с молоком». Черкасов явился в Присутствие и предъявил удостоверение от известного казанского профессора, что у него ожирение сердца.

Пошел в народе слух, что такого здоровяка, как Черкасов, «господа собираются освободить от призыва». Это объясняли его приятельскими отношениями с уездным начальством. Слухи эти среди съехавшихся в Ставрополь призывных порождали озлобление, доходившее до открытых, дерзких, со стороны призывных стариков и их баб, выпадов по адресу членов Военного Присутствия. Шел упорный разговор, что будь сам Наумов в городе, он поблажки Черкасову не дал, повел бы дело но справедливости.

Приехав в город, я к себе со стороны всего пришлого люда встретил самое доброе и доверчивое отношение. Прежде, чем решать что-либо, я обратился к почтенному ставропольскому земскому врачу И.Г.Хлебникову, в верность диагноза которого, а также и в общеизвестную честность, я твердо верил. После произведенного им обстоятельного освидетельствования оказалось, что, несмотря на свою цветущую внешность, Черкасов действительно страдал сильным ожирением и расширением сердца. Я собрал Присутствие и просил Хлебникова, чье имя в народе говорило само за себя, участвовать в качестве врача при публичном освидетельствовании Черкасова. В результате я провозгласил: «негоден». Пользуясь присутствием в зале заседания ожидавших своих очередей призывных, я разъяснил сущность сердечной болезни Черкасова, сославшись на диагноз Хлебникова и на закон, освобождавший подобных больных от военной

службы. Освобождение Черкасова прошло благополучно, народ нам поверил, и я спокойно продолжал свое дело.

8-го июня я смог пуститься в обратный путь к себе в Головкино. Подъезжаю к нашему дому, а из парадного крыльца выходит в белом капоте вся сияющая и радостная моя мать... Вбегаю по большим каменным плитам к ней, обнимаю и слышу мамин счастливый голос: «Поздравляю, дорогой Саша, с наследником»... Я так и опешил от этой вести, глубоко и радостно меня взволновавшей.

Наконец-то около, меня будет жить существо, которому я смогу передать со временем свое кровное, родовое, многими трудами и заботами сохраненное и обработанное Головкино, — оставить исстари Наумовское имущество тому же Наумову... Сладкие мечты, ныне, по велению злой мачехи-судьбы, не сбывшиеся.

Крестины сына Александра прошли в исключительно торжественных и радостных условиях. Не только вся родня, друзья, соседи, наши служащие, но и головкинские крестьяне приняли участие в общем веселии, искренно приветствуя рождение «наследника». Яицкие мои односельчане устроили вечером в день крестин своеобразную деревенскую иллюминацию: вдоль реки и озера Яик зажжены были факелы и целые бочки со смолой. На луговой стороне пылали громадные костры, вокруг которых сельская молодежь распевала хороводные песни, трывкали балалайки, переливались гармошки, и при праздничном костровом освещении все резвились, плясали, кружились. Под вечер, мы, большой компанией, на устланной коврами лодке, т.н. «дощанике», подъезжали к веселящейся крестьянской молодежи, которая приветствовала нас песнями, «величая» хозяев

и нового наследника. В ответ на их «величание», я, по заведенному обычаю, выставил вина. Крестинное празднование и общее веселье продолжалось без умолка до глубокой ночи.

Как далекий сон вспоминается мне все это теперь, хотя все это происходило в действительности!

58

Мне предстоит перейти к изложению воспоминаний, связанных с эпохой 19-тимесячной нашей Японской войны, вызвавшей в силу своих фатальных неудач опасное революционное движение (1905-1906 г.г.), в котором и мне, волею судеб, пришлось принимать тяжелое боевое участие, в качестве защитника государственного порядка. Но прежде чем начать говорить об этих сложных и тревожных временах, хотелось бы еще раз напоследок оглянуться и вспомнить некоторые картины из моей прошлой привольной головкинской жизни, когда она текла в нормальных условиях, и я мог почти круглый год проживать в своих родных местах.

Лишенный ныне своего родного угла, проживая на положении беженца где-то у синя моря в пресловутом Кот д'Азюр, попробую на время закрыть глаза и забыть пальмы, зреющие апельсины, цветущие мимозы и вечнозеленые оливки, и мысленно перенестись за многие тысячи верст, в дорогое для меня Головкино.

Проходила летняя страда со всеми ее срочными работами: паркой, жнитвом, молотьбой и озимым севом. С осенней зябкой тоже бывало закончено. Отбывал я в конце сентября свое Уездное Земское Собрание, проводил месяц на наборе и, вернувшись ко второй половине ноября к себе домой, мог, наконец отдаваться заслуженному отдыху!

Вставал я рано, и около 8 часов утра приходил в залу, где в конце стола для меня готов бывал утренний завтрак — кофе, молоко, масло, великолепный домашний хлеб, и одновременно подавалась мне Никифором любимая моя яичница.

В 9 часов утра, в валенках, рабочем меховом полушубке и мерлушковой шапке, я выходил на двор и отправлялся в круговой обход своего разнообразного и обширного хозяйства, первым долгом заходя на выездную и рысистую конюшню, оттуда на рабочий двор и дальше — на конский завод. Обходил все конюшни, мастерские, проходил по заселенному хуторскому порядку, где расположены были помещения моих служащих.

На круговую прогулку по хозяйству уходило у меня часа два, после чего я спешил пройти на свою мельницу, расположенную от дома приблизительно в одной версте. Там я пробовал помол, следил за уровнем воды и входил в добрососедские непринужденные беседы с приезжавшими с разных сторон помольщиками для т.н. «мирского помола».

Обедали мы в час дня. Повар Владимир готовил вкусно и разнообразно — рыбы, птицы и дичи всякой было изобилие, про молочные же продукты и говорить нечего.

Через час после обеда обычно подавалась моя любимая разгонно-охотничья пара соловых вяток с мохнатыми гривками и черными ремешками на спине. На козлах сидел Гаврила Миронов — красивый парень с закрученными усами и небольшими бачками, взятый мною в кучера из конюхов за его недюжинные способности и охотничью жилку.

Одевшись в свой охотничий полушубок, накинув на него сверху чапан и напялив на голову буяновский рыжий мерлушчатый «малахай», я залезал в свои охотничьи санки, обитые лошесем, прикрытые волчьей полостью, и спрашивал Гаврилу, куда

бы нам на оставшиеся недолгие послеобеденные часы проехаться для охотничьей забавы. «Проедем, барин, к Малиновому», — бывало, слышалось на это в ответ — «шибко там мышек хвостатая!» — «Ну, ладно, говорю я радостно: «в Малинов, так в Малинов — заедем только за Милкой!»... Любил я свой Малинов заповедник, и было за что!

Малинов лес находился за чертой лугового пространства, заливаемого внешней полкой водой. В нем было около 400 десятин. Летом места эти представляли собой, по охотничьему выражению, «крепь», где любил укрываться лесной зверь, и в непролазной глуши которой из года в год размножались и держались волчьи и лисьи выводки. В тех в тех же местах встречалось также немало лосей.

В зимнее время в лесных болотах, толстым слоем занесенных снегом, спасалось множество пушистых, с огненными глазами, беяков от преследовавших их хищных и хитрых четвероногих охотников.

Малинов лес, также, как и весеннее «Подстепное», о котором я упоминал ранее, был местом исстари блюденным, «заповедным» и должен отдать справедливость моим Малиновским соседям, что за 20 лет моего хозяйничанья было лишь несколько случаев захода баб за грибами и ягодами, но ни порубок, ни охот самовольных не случалось.

59

Приблизительно с 1900 г. в нашем Поволжье стали в большом количестве появляться лоси. Спуститься из северных лесов их заставила засуха и бескормица предшествовавших лет. К 1902 году собралось в наших, главным образом, «дальних» лугах

такое множество, что с одной дачи на другую передвигались целые семьи и стада. Они стали причинять чувствительный ущерб луговому и лесному хозяйству. Их излюбленным кормом был молодой тальник, т.н. «малакитник». Это был ценный материал для обручей для скрепа бочек. Лося, проходя целыми табунами и отщипывая самые мягкие кончики, его обесценивали. Главная площадь таловой малакитовой заросли приходилась на т.н. «Борковский угол», расположенный между озером Пневом и Волгой. Эти лесные гривы, состоявшие из почти сплошного вязового насаждения, представляли собою местами непроходимая дебри, где человеческой ноги не бывало. Они изобиловали лесными кочкастыми болотинами — любимыми водопоями лосиных стад.

Приходилось принимать против рогатых луговых гостей решительные меры. Я разрешил объездчикам стрелять по ним, и стал организовывать специальные ноябрьские облавы, пользуясь порошей.

Раз, в ноябре 1904 года, мой лесник Николай Макаров доложил мне, что он заметил массу свежих лосиных следов, направлявшихся от Пневского озера к Борковской гриве. Приняв это к сведению, я решил на следующий же день наладить облаву, приказав с раннего утра хорошенько обложить необходимые места и «беречь» зверя, но на охоту пока не трогаться. А на следующий день, около 11 часов утра, Николай Макаров появляется весь раскрасневшийся, взволнованный и, видимо, сильно спешивший. Его доклад произвел на нас воистину потрясающее впечатление. Оказалось, что за ночь выпал еще не большой снежок. По свежей пороше стали мои люди осматривать остров, и что же они видят! — Старый вчерашний лосиный след не имел из приволжской гривы никакого свежего выхода и,

вместе с тем, обкладчики наткнулись на новый след — огромной стаи волков, входивший в ту же самую гриву, куда вчера к вечеру вошли лоси, причем выходного из этой гривы ни волчьего, ни лосиного следа мои люди не нашли.

Очевидно, что в одном и том же лесном уголке сошлись лоси и подошедшие к ним не без задних мыслей серые хищники. Получалась совершенно необычная комбинация. Макаров умолял нас ни одной минуты не медлить, и полным ходом ехать на место, чтоб успеть вовремя перехватить заветную гриву. Верхачи-загонщики, согласно его доклада, уже стояли всюду на своих местах, в ожидании нас.

Через какой-нибудь час мы без шума заняли свои номера. Макаров поскакал стороной начинать гон... Вскоре послышался характерный треск ветвей, обычно производимый лосем, пробирающимся сквозь лесную чащу и своими огромными рогами расчищающим себе путь. По всей охотничьей цепи открылась частая пальба на номерах. Один за другим, стали из лесу появляться поочерёдно, то мохнатые великаны, то их серые, хищные, четвероногие преследователи. На бедного Павлика Наумова вышли одновременно огромный рогач и два волка. Не зная, в кого стрелять, он растерялся. Опомнился, когда на смену вышла из лесной гривы еще пара лосей.

В результате обоих загонов было взято нами шесть лосей и девять волков. Один молодой рогач прорвался в сторону и бросился на озеро Пнево, в середине которого провалился и долго плавал в полынье, из которой не мог выбраться. Получилось оригинальное зрелище — на белесоватом фоне снегом запорошенной озерной поверхности черной точкой резко выделялась лосиная голова. Несмотря на спускавшиеся сумерки, мне удалось моим кодаком запечатлеть эту необычайную картину. Лося

пришлось пристрелить и с помощью веревок не без труда вывло-
лочь из озера.

С 1905 года количество лосей в Головкинских местах стало заметно убывать. В конце концов, лохматые гости совсем с нашего горизонта исчезли... Зато малакитник стал заметно в займищных лугах процветать, вырастая без помехи за свои по-
ложенные восемь лет в длинный, ровный, глянцеви́тый и цен-
ный обруч.

60

Описывая период моей пятилетней оседлости в Головкине (1900 г. — 1905 г.), в частности, последнего моего Предводитель-
ского трехлетия, не могу не коснуться одного обстоятельства, игравшего значительную роль в моей деревенской жизни.

Если взять соотношение количества воды и суши, то Го-
ловкинское мое имение должно было по справедливости счи-
таться скорее водным, чем земельным, ибо в нормальное, или
«меженное», время водная поверхность превышала остальные
все уго́дья па суше чуть ли не в четыре с половиной раза, в веш-
нее же половодье оставалось всего лишь каких-либо 1000 деся-
тин с небольшим, против 30.000 сплошного Волжского разлива.

С первых же лет меня настойчиво соблазняла мысль при-
обрести небольшой плоскодонный пароходик, не только ради
любительского спорта, но и по соображениям серьезного прак-
тического свойства. Прежде всего, в летнее время необходим
был для меня периодический объезд лугов по главным водным
и судоходным артериям, которых в Головкинском имении было
немало. Прежде всего сама Волга со всеми своими рыбными
ловлями, принадлежавшая мне на протяжении 25 верст. Затем
ряд т.н. «Воложек», иначе говоря Волжских рукавов, — прежде

всего, длиннейшая «Княгинька», протяжением более 30-ти верст, с ее живописнейшими, то обрывисто лесными, то отлого-песчаными берегами, своего рода «головкинскими пляжами». Такими же ровными береговыми отмелями из чистого мелкого твёрдого песка изобиловали все Волжские острова, т.н. «середыши», которых было в моем владении три: «Большой», «Средний» и «Малый», отделявшиеся как от Волги, так и друг от друга водными протоками. Озорная головкинская молодежь, купаясь по упомянутым отлогим берегам, при виде шедшего по Волге парохода, обкатывала свои мокрые тела густым слоем песка и перед проезжавшими пассажирами устраивала дикий пляс и всяческие акробатические кувыркалегии.

Я присматривался к судам, которые могли бы подойти под мои требования. Переезжали мы однажды Волгу из Часовни в Симбирск на лодке. Подъезжая к Симбирскому берегу, среди разных стоявших у пристаней судов, мы заметили необычайно изящной формы, белый с богатой медной отделкой, пароходик. Я так и воззрился на него, приказав гребцам подъехать к нему вплотную. Из пароходного люка вылез в рабочем костюме блондин симпатичной наружности, оказавшийся хозяином пароходика — А.Ф.Смирновым. Выяснилось, что он вел «Сирену» в Самару, где хотел продать ее казенному ведомству. Ко всему, «Сирена» оказалась плоскодонной с двумя параллельными килевыми линиями и на удивление мелко сидевшей.

Я был очарован всем внешним видом пароходика, необычайной красотой его очертаний, а также его техническими особенностями и попросил «Смирнова ждать с отходом в Самару. Вторичный мой осмотр окончательно убедил меня, что «Сирену» надо приобрести. Сама ее машина представляла из себя нечто изумительное, в смысле совершенства устройства и удобства пользования. Цену Смирнов назначил 5.000 р. В тот же

день, не торгуясь, я с ним покончил, и «Сирена» поступила в мою собственность, вместе с переходом ко мне на службу ее машиниста — Ивана Алексеевича Иванова.

Вокруг Иванова, за десяток лет его службы у меня, образовалась целая школа механиков и монтеров.

61

Прежде чем перейти к пересказу своих воспоминаний, связанных со временем Русско-Японской войны, чреватой своими сложными последствиями, мне хотелось бы описать обстановку моей службы по должности Уездного Предводителя Дворянства.

Губернским Предводителем был Действительный статский Советник Александр Александрович Чемодуров, крупный землевладелец Бугурусланского уезда, потомок старинного дворянского рода, издавна почитаемого в нашем Заволжье. Александр Александрович при всех своих достоинствах — превосходного хозяина и семьянина безукоризненного поведения, вдумчивого и серьезного сословного представителя, несомненно с честью носившего высокое звание Губернского Предводителя, — имел, как и все мы, некоторые недостатки и слабости. Крайне впечатлительный и нервный, он не умел себя сдерживать на публичных собраниях, часто теряя необходимое для всякого председателя самообладание, и проявляя нередко явную нетерпимость ко всему тому, что противоречило его убеждениям.

Будучи стойким, убежденным монархистом, Чемодуров отличался упорной неподвижностью своих раз навсегда сложившихся взглядов. Избранный в 1906 году от Всероссийского

Дворянства членом Государственного Совета, Александр Александрович вступил в ряды правой группы, но и в ней он занял непримиримую крайнюю позицию неговорчивого консерватора.

Все наши Собрания — Общие Губернские и Собрания Предводителей и Депутатов, происходили в принадлежавшем Самарскому Дворянству доме, расположенном на Казанской улице, недалеко от часовни у берега Волги.

Выстроенное на полугоре, на береговом уклоне, покато к Волге, окрашенное в темно-коричневый цвет, здание Самарского Дворянского Собрания с Казанской улицы казалось небольшим двухэтажным домом; с береговой же противоположной стороны — оно имело вид большого трехэтажного корпуса, с обширным, обнесенным солидными колоннами, крытым балконом, с которого открывался превосходный вид на Волгу и Рождественские Жигули.

Из просторной передней дверь вела прямо в залу собрания, высокую в два света комнату с верхними хорами, на которых обычно во время Общих Собраний сидела публика.

Вся белая, с отполированными «под стюк» блестящими стенами и таковыми же колоннами под хорами, зала имела парадный и, вместе с тем, уютный вид: недаром П.А.Столыпин, посетивший вместе с Кривошеиным в 1910 г. наше собрание, поделился со мною, бывшим тогда Губернским Предводителем, своими впечатлениями, подчеркнув, что в нашем Дворянском Доме он чувствовал себя чрезвычайно «гемютлих» (его подлинное выражение).

По стенам красовались в массивных золоченых рамках художественно, во весь рост написанные, портреты: царствовавшего Императора Николая II, также Александра III и Александра

II, а затем, в овальных рамках, — малые поясные изображения Императрицы Екатерины Великой и других Августейших Особ, включая Государя Николая I,

В углу залы стояла, помещенная в красивом киоте икона с изображением всех святителей, имена которых носили в Бозе почивший Император Александр III и члены его семьи. Икона эта была сооружена Самарским дворянством в память чудесного избавления Августейшей Семьи 17 октября 1887 года у ст. Борки.

Впоследствии, в этой зале, при моем предводительстве, с 1905 г. по 1916 г., добавлен был целый ряд предметов исторической для Самарского дворянства ценности, — бюст Петра Великого на постаменте из полированного жигулевского камня, сооруженный нашим дворянством по случаю Полтавского юбилея; висящая на стене Золотая доска с выгравированным текстом Высокомиловитой Царской телеграммы, в ответ на верноподданническое приветствие одного из Экстренных Дворянских Собраний в 1906 году. Множество полученных Самарским Дворянством за мою долголетнюю предводительскую службу Царских телеграмм было помещено в особую витрину из белого клена с позолотой и государственным гербом наверху. На стене висел, специально пожалованный нашему Дворянству, большой, превосходный фотографический портрет Наследника с подлинной его собственноручной детской подписью.

62

За трехлетие 1902—1905 г. главными вопросами чисто-словного и местного характера, занимавшими внимание наших Предводительских Собраний, было устройство дворянского пансиона-приюта и упорядочение финансового положения в

связи с устройством кассы взаимопомощи. По этому поводу собирались два экстренных дворянских собрания.

В это же время вопрос оскудения дворянства заставлял о себе говорить не только в провинции, где денежное положение почти во всех дворянских обществах действительно было в крайне плачевном состоянии, но и в столице. В 1901—1903 г.г. среди некоторых сановных групп появились течения в пользу возможно срочного оказания ослабевающему «передовому» сословию «справедливого» финансового содействия. Возникли проекты сословных пансионатов-приютов с щедрой поддержкой со стороны Правительства, а также устройства касс взаимопомощи. Много было по этому поводу споров на наших собраниях, за депутатским столом, и немало пришлось мне вытерпеть горячих выпадов по моему адресу со стороны старшего коллеги — А.А.Чемодурова.

Моя точка зрения была такова, что идти Самарскому дворянству на правительственную подачку, ни на ту, ни на другую, не следовало. Я считал предлагавшиеся меры паллиативами, бессильными и, в некотором смысле даже вредными. Спасти дворян от оскудения они не смогут, а явятся лишь новым поводом для вящего раздражения и возбуждения остального русского люда против дворянства. Я полагал, что надо лечить этот основной дефект нашего сословия в самом его корне.

Дворянские средства образовывались путем сословного самообложения на цензовом имущественном начале. При учреждении Самарской губернии числилось до 2 миллионов десятин дворянских земель, а к 1902 г. их осталось лишь половина, и такое положение замечалось во всех прочих дворянских губерниях. Неблагополучно обстояло и с делом взыскания сословных сборов — во всех дворянских обществах накопилось огромное

количество недоимок. Вот на что, по моему разумению, надлежало нам обратить внимание прежде, чем принимать правительственные денежные подачки!

По всем этим вопросам мною был представлен Чемодурову ряд проектов в виде особых докладных записок, приводивших его в немалое смущение и казавшихся ему отголоском моего якобы «сословного либерализма»... Прежде всего, я предлагал пойти по пути расширения порядка приема в дворянскую среду посторонних иносословных местных лиц, владевших земельными имуществами и зарекомендовавших себя на общественной или иной службе в качестве людей достойных. Инициатива сего должна была быть возложена по закону на Собрание Предводителей и Депутатов, а утверждение, само собой, должно было следовать от Государя. Огромное большинство моих коллег по депутатскому столу всецело к этой мысли присоединилось, но упорный Чемодуров слышать об этом не хотел, находя подобную «ересь» — «покушением на прерогативу короны».

В отношении сборов недоимок я советовал также применить способ, который впоследствии я сам ввел в первое же мое трехлетие Губернского Предводительства, давший блестящий результат, но в то время и в этом отношении постигла меня неудача — опять-таки под давлением того же неподатливого на все новое Александра Александровича.

По поводу устройства дворянского пансиона-приюта в г. Самаре Чемодурову удалось повести за собой большинство нашего Собрания и возбудить перед Правительством соответствующее ходатайство от имени Самарского Дворянства, об ассигновании на это дело необходимых средств. Впоследствии, при вступлении моем в должность Губернского Предводителя, я все же настоял на своем и в заново отстроенном здании был

открыт не дворянский пансион, а всесословная гимназия с 36-ю дворянскими стипендиями.

Что же касается кассы взаимопомощи, то мое мнение, в конце концов, взяло верх, и от нее Самарское дворянство отказалось. Да и время настало такое, что не до сословных субсидий было в взбаламученном Петербурге. В конце января 1904 года вспыхнула Японская война, продолжавшаяся 19 месяцев; она приковала к себе общее внимание и потребовала немало государственных средств!

Я не стану вдаваться в подробности всего, что в свое время говорилось и писалось о причинах возникновения Русско-Японской войны, а также всех постигших русскую армию неудач. Оговорюсь лишь в общих чертах, что нельзя приписывать возникновение подобных крупных исторических событий влиянию каких-либо отдельных лиц, как это многие делали. Несомненно, что основные причины происшедшего столкновения лежали глубже произвола единичных руководителей судьбами обоих государств, базируясь на столкновении их интересов на Дальнем Востоке.

Необходимо лишь оговориться, что со стороны русских высших сфер несомненно было допущено, еще со времен Китайско-Японской войны 1894 года, немало роковых ошибок, способствовавших обострению взаимных отношений конкурировавших на Дальневосточных окраинах России и Японии и, в конце концов, заставивших их взяться за оружие, для разрешения некоторых спорных вопросов, которые, при желании, возможно было бы урядочить мирным путем.

Вспоминая прошлое и разбираясь в ходе исторических событий, сопровождавших чередовавшиеся царствования, невольно ловишь себя на мысли, что в верхах центрального управления такой огромной страны, каковой являлась Российская

Империя, не усматривалось определенной, заранее обдуманной преемственной политики ни по внутренним, ни тем более, по внешним ее делам.

В бытность мою министром пришлось мне по этому поводу откровенно высказаться Государю Николаю Александровичу. Речь зашла относительно размера государственного долга, возросшего в то время (1916 г.) до солидной цифры в 35 миллиардов золотых рублей. Его Величество выразил по поводу такой задолженности свои опасения и беспокойство, на что я позволил себе ему возразить, что при наличии неисчислимых природных богатств нашей Империи подобный долг являлся сравнительна ничтожной величиной, из-за которой не стоило волноваться, но при одном необходимом на мой взгляд условии — чтобы использование упомянутых богатств было поставлено на обдуманный и верный путь. Должен быть обстоятельно и всесторонне разработан план, который ляжет в основу предусмотренной на многие годы вперед государственной сметы, как в отношении внутренней, так и внешней государственной правительственной политики, преемственно проводимой в жизнь чередующимися царствованиями... Государь, видимо, одобрительно отнесся к моим словам, но вместе с тем, высказал немало удивившее меня тогда замечание: «Ну, да!... не только на мое управление, но и на Алешино!» (разумея своего сына Алексея). На это я ответил: «Хотелось бы, Ваше Величество, и на более отдаленный срок!»... Государь тогда промолвил: «Лишь бы на Алексею жизнь хватило!»

Японская война, как известно, началась 27 января 1904 года внезапным нападением японских миноносцев на нашу эскадру, в результате чего оказались тяжёлые повреждения двух наших броненосцев: «Цесаревича» и «Ретвизана», а также крейсера «Паллады». Ввиду своего островного положения, японцы

всю силу своего военного искусства обратили прежде всего на ослабление и возможно большее истребление русского флота. Отсюда следовала вся дальнейшая история войны, изобиловавшая непрерывным рядом морских боев, чрезвычайно незадачливо складывавшихся для русского оружия. Несмотря на выдающуюся доблесть, проявленную нашими моряками во все время кампании, как например — геройские подвиги крейсера «Варяга», миноносца «Стерегущий» и др., наш флот, по воле роковой судьбы, терпел одно несчастье за другим... 31 марта 1904 года неожиданно гибнет, наткнувшийся на мину, лучший броненосец «Петропавловск» с талантливым авторитетным командующим флотом адмиралом Макаровым. Через несколько месяцев погибает заменивший его адмирал Витгефт на «Цесаревиче». Одновременно, с августа 1904 года началась агония Порт-Артурской эскадры, закончившаеся сдачей 20 декабря того же года самой крепости и гибелью многочисленных наших морских боевых единиц. Наконец, пять месяцев спустя, в середине мая 1905 года, произошел финальный «Цусимский» разгром пресловутой «Рождественской» эскадры.

На суше обстояло дело не лучше. Количество войск при объявлении войны на Дальнем Востоке оказалось далеко недостаточным: приходилось посылать подкрепления по длиннейшему однокорейскому Сибирскому пути. Наша артиллерия в техническо-боевом отношении значительно уступала японской, а главное, — с самого начала войны в деле высшего командования допущено было двоевластие в лице Наместника адмирала Алексева и Главнокомандующего генерала Куропаткина; это губительно отзывалось на общем ходе военных операций. Только после ряда непоправимых ошибок, было установлено единое командование в лице умного, но слабого генерала Куропаткина, при котором следовал ряд неудачных для русского

оружия боев: под Ляояном, на р. Шахэ и, наконец, в феврале 1905 года, — под Мукденом. Куропаткин был заменен генералом Линевичем, и одновременно началось отступление к северу всей нашей истощенной и недовольной ходом войны армии. В таком состоянии, в условиях полного бездействия, ее продержали до самого Портсмутского мира, заключенного лишь 11/24 августа 1905 года. Немудрено, что там — на далекой Сибирской окраине — озлобленные бородачи-запасные составили авангард революционных армий конца 1905 и 1906 г.г. Мукден и Цусима положили предел народному терпению: стало проявляться всеобщее недовольство, начались беспорядки повсеместно слышались требования мира... Всплыло посредничество Президента С.А.Штатов Рузвельта, был послан в Америку Витте, и в Портсмуте был заключен всем известный мир — ни Россию, ни Японию не удовлетворивший...

Одновременно с перечисленными неудачами на Дальневосточном фронте, в самой России постепенно нарастали тревожные настроения, заметно повлиявшие на столичные верхи.

Еще до Японской войны не все обстояло благополучно в стране и, в частности, в самом Петербурге. Были убиты на политической почве один за другим министры: Сипягин и Плеве, которого в 1904 году заменил кн. Святополк-Мирский. Он при своем вступлении создал знаменитую «весну», высказав некоторым лицам и журнальным корреспондентам, что «Управление Россией должно зиждиться на доверии к обществу»...

При нем в ноябре 1904 года состоялся в Петербурге разрешенный им памятный «Съезд общественных деятелей», на который собрались со всех концов земской и городской России т.н. «передовые» либеральные элементы и некоторые профес-

сионалы-политиканы, ставшие впоследствии основоположниками и руководителями «кадетской» (конституционно-демократической партии (Набоков, князя Долгорукие, Гессен и др.).

На этом съезде обнаружились два течения: одно более умеренное т.н. Шиповского направления, считавшее свое-временным иметь в столице при Государственном Совете особое представительство в лице избранных депутатов от Губернских Земских Собраний; другое, более либеральное, настаивавшее на необходимости срочного введения в общий ход государственной жизни представительного образа правления, по образцу западно-европейского парламентаризма. На Совещании были выработаны, опубликованные потом во всеобщее сведение, 11 программных пунктов яркого политического содержания, послуживших несомненным толчком для издания Указа 14 декабря 1904 года, заключительная часть которого говорила в общих чертах о своевременности создания в России народного представительства.

Настроение в стране, под влиянием Дальневосточных событий, продолжало оставаться напряженным и нервным. В связи с этим, кн. Святополк-Мирский настоял на издании Указа, возлагавшего на Комитет Министров изыскание мер для водворения законности, расширения свободы слова, веротерпимости, местного самоуправления, упразднения излишних стеснений инородцев и иных исключительных законов, также на необходимость скорейшего завершения работ «Крестьянского Совещания». Все перечисленные благие намерения были вскоре всяческими запутанными и противоречивыми обсуждениями сведены к ничтожным результатам, и только острее расстраивали выжидательное, напряженное состояние общественных слоев страны.

С начала 1905 года в столице одно за другим произошли события, не на шутку встревожившие Петербургские верхи. 6 января во время Крещенского Богослужения был выпущен при сапюте боевой снаряд, к счастью врезавшийся лишь в угол Зимнего Дворца. Это объяснили случайностью... Через три дня — 9 января было пресловутое шествие к Царю во дворец рабочих, во главе с попом Гапоном, для предъявления разных верноподданныхических «петиций».

В результате раздались со стороны вызванных войск выстрелы и до 200 человек было ранено и убито.

Вскоре кн. Святополк-Мирский был смещен, и вместо него, министром был назначен благодушный и мягкотелый А.Г. Булыгин. Товарищем к нему попадает генерал Д.Ф.Трепов, фактически сделавшийся всесильным диктатором и Царским «действительным тайным» советником.

4 февраля того же 1905 года Великий Князь Сергей Александрович погибает от руки Каляева.

Не успели в столице разобраться с декабрьским Указом, как, под давлением всяческих событий на фронте и внутри страны, Государем издаются в один и тот же день, 17 февраля 1905 года, — два манифеста, друг с другом не только не связанные, но один другому противоречившие: один назывался «Манифест о нестроении и смутах». другой был Высочайший Указ Сенату «О праве петиций», предоставлявший всему населению право обращаться с петициями в Совет Министров. Надо иметь в виду, что в то время Совет Министров числился под председательством Государя и собирался не чаще, как раз в год. Этот Указ предreshал более или менее широкое участие выборных от населения в законодательстве.

В мае Цусимская катастрофа окончательно всколыхнула тревожно настроенные элементы всех слоев общества. В июне 1905 года Государь принял особую депутацию из земских и городских деятелей, во главе с московским князем Сергеем Николаевичем Трубецким. Вслед за ними, вскоре Его Величеством были приняты столичные Губернские Предводители Дворянства: С. Петербургский — гр. В.В.Гудович и Московский — кн. П.Н.Трубецкой. Все настаивали — кто в более решительной форме, другие мягче, на необходимости безотлагательного упорядочения общего хода государственного управления, путем установления народного представительства, в котором видели панацею для исправления допущенных ошибок и для водворения разумного государственного порядка в будущем. Царь всех милостиво принимал и выслушивал...

6-го августа памятного 1905 года, в результате четырехдневного Петергофского совещания, происходившего под председательством самого Государя Императора, появляется исторический манифест, одновременно с которым был обнародован закон об учреждении Государственной Думы, получившей наименование «Булыгинской», отличавшейся двумя главными особенностями: 1) Дума образовывалась как учреждение совещательное и 2) выборный закон основывался преимущественно на крестьянстве, как на преобладающем в численном отношении элементе населения и, по мнению составителей закона, наиболее надежном в монархическом и консервативном смысле сословии... Этим знаменательным государственным актом закончился цикл разнородных манифестов и указов, беспрерывно и неожиданно сыпавшихся за время Японской кампании из Петербурга на нашу оторванную и – волею судеб – бес-

помощную и бессильную в политическом отношении провинцию, вынужденную приспособляться ко всяким новшествам столичного творчества...

Оглядываясь на всю происходившую в описываемый период времени политическую смуту и Петербургскую скоропалительную законодательную стряпню, лишний раз убеждаешься, до чего бюрократические верхи того времени были далеки от нашего «чернозема» и чужды местной общественно-житойской правде...

Невольно приходит в голову такое соображение: вместо того, чтобы в свое время, задолго еще до всяких Цусим, пойти навстречу основному элементу нашей страны, крестьянству, путем разумной демократизации жизнеспособного и укоренившегося в народном быту и сознании нашего земства, расширить его привлечением в него лучших представителей народных трудовых масс и затем, без особой ломки государственного организма, расширить деятельность земства, как в самую глубь страны, так и в ее высь; иначе говоря — не насаждать волостное земство, а демократизировать существовавшие уездные и губернские земские учреждения и, как бы в виде купола для завершения народного здания, создать Государственное Обще-Имперское Земство. Вместо всего этого, августовские законодатели 1905 г. оставляют на местах без изменения земское положение 1890 года, предоставлявшее дворянскому сословию преимущественное положение в местной жизни за счет крестьянства, и в то же время решают спешно выстроить грандиозное, совершенно новое государственное сооружение, фасадом своим хотя и напоминавшее западно-европейский конституционный стиль, но без достаточно определенного внутреннего плана и из материала мало испытанного... Строители эти, увлекшись в угоду моменту новаторскими затеями и планами —

пренебрегли еще с шестидесятых годов выстроенным «земским» зданием, которое следовало лишь увеличить, улучшить и приспособить к новым условиям государственной жизни.

Всем известно, во что превратилась «Булыгинская» Дума. Недаром С.Ю.Витте пишет в своих «Воспоминаниях» (т. 1, стр. 438, издание «Слово», 1921 г.) – «Опубликование закона 6-го августа никого не успокоило, а всеми рассматривалось, как широчайшая дверь в спальню госпожи Конституции. Напротив того, с августа месяца революция начала все более и более лезть во все щели»...

63

Все, что происходило на японском фронте, равно как и все, что докатывалось до нас из далекого во всех смыслах Петербурга, не могло не отзываться так или иначе и на нашей провинциальной жизни.

Прежде всего, самый факт внезапного возникновения войны с Японией причинил всем нам немало тревоги и смущения, вызывая среди нас ряд трудно разрешимых вопросов о причине вспыхнувшей борьбы с отдаленным желтым врагом. Многим из нас начавшийся боевой пожар на дальневосточной окраине показался, с точки зрения государственных интересов, ничем не обоснованным и чреватый серьезными последствиями... Между тем приходилось брать на себя нелегкую задачу подбадривать население, всячески настраивая его на патриотический и воинственный лад. Нельзя было также скрывать от обывателя неудач, которые с самого начала военных действий преследовали русское оружие: пресса существовала; ежедневно всюду читались агентские телеграммы о ходе войны.

Настроение у всех становилось все более и более подавленным. Ко всему этому, с далекого Востока стали возвращаться раненые, размещаемые в устроенных Самарскими Краснокрестными организациями лазаретах. Их рассказы о том, что происходило на театре военных действий производили в большинстве случаев самое тягостное впечатление. По единодушному свидетельству раненых — значительное преимущество воинской техники было на стороне японцев, оказавшихся превосходящими бойцами и организаторами. Особенно процветала у них, со слов очевидцев, постановка артиллерийского дела и военного шпионажа.

Мобилизация в нашем Поволжье, в частности в моем уезде, в сильной степени затронула численный состав местного мужского населения, и мне самому пришлось лишиться многих служащих в Головкинском хозяйстве.

Вскоре после рождения сына Александра я получил из губернского города уведомление о вероятном приезде в Самару Государя, для смотра войскам перед отправкой их на фронт. События этого ожидали в первых числах июля.

Начальник губернии обратился ко мне с просьбой представить, только что законченный постройкой, наш Самарский дом для Царского приема, на что я с радостной готовностью согласился.

Воздвигнутое стараниями архитектора Щербачева здание вышло таким красивым и парадно поместительным, что дом наш можно было смело предложить Высокому Гостю.

Начались спешные совещания и приготовления. Решено было поднести Государю хлеб-соль на серебряном блюде, была избрана особая депутация из была избрана особая депутация из Губернского Предводителя Дворянства А.А.Чемодурова и двух

Уездных Предводителей – Самарского и Ставропольского. Никогда не забуду того чувства особой восторженности, которым преисполнено было мое юное сердце в ожидании исключительного в моей жизни события — возможности увидеть впервые своего Монарха.

В связи с прибытием Государя в Самару всплывает у меня ряд ярких воспоминаний. Вот мы стоим на первом месте, в ряду остальных deputаций. — Чемодуров, Пустошкин и я — в парадной предводительской форме.

Самарский вокзал был неузнаваем: разукрашенный флагами и гирляндами, он был переполнен всевозможным официальным людом и выстроенными в виде шпалер войсками. Всюду виднелись мундиры, во всем замечалась необычайная парадность и, вместе с тем, торжественная напряженность. Все переговаривались вполголоса; лишь иногда слышалась сдержанная, негромкая команда военного начальства... Наконец, дали знать, что Императорский поезд прошел последнюю станцию Липяги... Все замерли и подтянулись... Вот раздалась могучая команда: «Смирно! Слушай — на караул!» Полковая музыка заиграла «Боже Царя храни!» и из конца в конец прокатилось восторженное «ура!»... Царский поезд подошел. Словно по маговению волшебства все сразу смолкло. Настала полнейшая торжественная тишина. Государь вышел из своего вагона и стал принимать начальствующих лиц, после чего подошел к почетному караулу и внятно произнес: «Здорово, Борисовцы!» В ответ раздалось радостное: «Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!» Сопровождаемый многочисленной свитой Государь подошел к нашей депутации...

Впервые выпало на мою долю величайшее счастье близко видеть перед собой своего Царя, облик которого мне как хорошо был известен по бесчисленным Его портретным изображениям.

Одетый в полковничий мундир Преображенского полка, в барашковой форменной шапочке и с скромным Владимиром на груди, Государь имел бодрый и приветливый вид, обращался то к одному, то к другому из окружавших Его лиц — просто, без всякой официальной натянутости. Он часто подносил руку к усам и скидывал свои большие, ясные и обаятельные глаза на лица Ему докладывавших... От всего его чарующего и светлого облика веяло природной добротой и душевным величием.

Выслушав приветствие Губернского Предводителя, Его Величество в милостивых словах высказал свою благодарность самарскому дворянству за поднесенную ему хлеб-соль и стал протягивать руку сначала Губернскому Предводителю, а затем и нам — обоим его ассистентам. Подобного милостивого внимания со стороны Государя мы, Уездные Предводители, не ждали и о возможности его не были предупреждены. Пришлось поспешно снимать с влажной правой руки плотно приставшую к ней замшевую перчатку, но, к моему глубочайшему отчаянию, она, никаким моим усилиям не поддавалась... Государь ожидал передо мной с протянутой рукой. Со всех сторон слышались нервные возгласы: «скорей, скорей!»... Волнуясь все больше и больше, я со страхом ожидал катастрофы... Вместо этого, слышался со стороны Государя добродушный смех и Его ласковый голос: «Дайте же вашу руку так, как она есть!»... Несмело подняв на него глаза, я встретился с таким очаровательным и приветливым взглядом доброго нашего Государя, что, повинувшись разрешению, осмелился подать Его Величеству свою руку с полуснятой перчаткой, успев лишь пробормотать: «Простите, Государь!»...

В тот же день состоялся парад и смотр всем войсковым частям, собранным в Самару, которые подлежали отсылке на Дальний Восток... Это было грандиозное зрелище. На огромном

плацу, в виде широчайшего каре, по всем четырем его сторонам, были в несколько рядов, шпалерами, выстроены многочисленные войска. Государь, верхом на привезенной с собой любимой своей лошади — темно-караковой с белой лысиной на голове, в окружении многочисленной Свиты и сопровождавшего его В. Кн. Михаила Александровича, бывшего еще в то время Наследником, появился в середине каре, встреченный восторженным «ура» всей публики. Расставленные в разных местах полковые оркестры играли наш российский гимн. Его Величество объезжал воинские ряды при несмолкаемых овациях, раздававшихся попеременно с оркестрами.

Впечатление от всей этой величественной картины, от всего торжественного патриотического подъема, было исключительно сильное; из публики, попеременно с восторженными возгласами, раздавались громкие рыдания... Я сам еле мог с собой справляться: меня всего трясла нервная внутренняя дрожь. Государь особо напутствовал и благословлял иконой каждую воинскую часть.

В конце торжественного смотра произошел памятный эпизод, всех нас тогда взволновавший. Не успел Его Величество кончить объезд воинских рядов, как из строя вдруг выскочил бородатый солдатик и бегом направился прямо к Государю. Ему тотчас же преградил путь подскакавший вплоть к нему с обнаженной шашкой В.Кн. Михаил Александрович... Солдатик упал на колени и поднял руку с какой-то бумагой. Оказалось, что призванный на службу запасный, недовольный действиями своего Воинского Присутствия, надумал подать жалобу лично самому Государю... Его немедленно окружили и арестовали, но Его Величество повелел его простить.

Государь спешил с отъездом из Самары, и в нашем новом доме, к глубокому моему сожалению, не остановился. Губернатор Брянчанинов, сопровождавший Государя при объезде города, проезжая по Дворянской улице из собора, где было отслужено архиереем в присутствии Государя торжественное молебствие, все же успел указать Его Величеству на наш особняк, как на помещение, приготовленное для Его Августейшего приема.

64

Нараставшее недовольство, вызванное военными неудачами,хватило и наше Поволжье. Оппозиционные круги зашевелились и примкнули к общему движению 1904 года. На столичный ноябрьский съезд общественных деятелей отправились из нашей губернии Н.А.Шишков и В.А.Племянников. К ним также примкнул Дмитрий Дмитриевич Протопопов — землевладелец Николаевского уезда.

На Земских Собраниях Протопопов выступал с крайними демократическими проектами, а после удачной продажи большей части своего имения Крестьянскому Банку, даже с предложением полной национализации земель...

Упомянутые мною три лица участвовали в ноябрьском столичном Съезде, примыкая к крайней левой партии, требовавшей немедленного введения в России парламентаризма. Вернувшись в Самару, они стали устраивать перед открытием очередного январского Губернского Земского Собрания 1905 года совещания, члены которых повели среди местной общественности пропаганду идей и положений, поставленных в основание пресловутых 11 пунктов общего заключительного постановления столичного ноябрьского «Съезда общественных деятелей».

Проживая почти все время у себя в уезде, я не был в курсе политического возбуждения, которое возникло в нашем губернском центре с легкой, скорее, впрочем, «нелегкой» руки вернувшихся с ноябрьского съезда наших «самозванных» представителей, никем для сего не избранных, и тем более, ни на что не уполномоченных.

По приезде моем в начале января 1905 года в Самару, перед открытием очередной сессии Губернского Земского Собрания, я сразу же понял, что наши земские оппозиционные круги зря время не теряли. Ясно было, что у них выработан план действий для осуществления их намерения — заставить Губернское Собрание принять целиком все положения, выработанные столичным совещанием и провести постановление о необходимости неотлагательного введения в России парламентарного строя. Главари этого крайнего течения рассчитывали превратить предстоящее Губернское Земское Собрание в арену гласного протеста против существовавшего порядка вещей. Как потом оказалось, они привлекли не только сочувствовавших им земских служащих, т.н. «третьего элемента», но и оппозиционно настроенную частную публику.

Такой же лозунг был дан единомышленниками крайней левой земской партии и в других губерниях. В тот памятный январь земские собрания проходили повсюду в аналогичной обстановке резких антиправительственных выпадов, заявлений, требований, необычайной нервности и вмешательства в ход самих заседаний обнаглевшей публики.

Лишь в немногих губерниях земские собрания протекали сравнительно благополучно, но в большинстве случаев они, под давлением необузданных эксцессов «срывались», не доведенные до конца. Так случилось и с нашим январским собранием

1905 года — самое открытие которого не предвещало ничего хорошего.

Надо сказать, что в описываемое время председателем Губернской Управы состоял бывший Уездный Предводитель Дворянства, Андрей Андреевич Ушаков. Как работник, докладчик и посредник между земским миром и губернскими властями он был человеком подходящим, но в отношении к многочисленным своим служащим, и в особенности, к ближайшему своему сотруднику — секретарю Клафтону, он оказался чересчур податливым и слабым.

Не могу не остановиться несколько подробнее на характеристике А.К.Клафтона, заменившего собой Пругавина.

Клафтон имел опрятную, слегка даже франтоватую внешность, был со всеми предупредителен и вежлив, обладал незаурядными мыслительными способностями, превосходно составлял доклады, умел складно говорить, одним словом, являлся несомненно ценным секретарем, всесторонне знакомым со всей сложной служебной обстановкой.

Но земцы относились к нему с осторожностью. Несмотря на его служебные достоинства, чувствовалось в его отношении к нам что-то неискреннее, двуличное... Облик Клафтона во всей своей наготе выявился в дни октябрьских революционных событий 1905 года, в которых он фигурировал, как один из наиболее видных их участников.

Сразу сбросив с себя маску напускной вежливости и превратившись в явного, хулиганствующего «революционера», Клафтон в самый разгар уличных Самарских «демонстраций» встречает однажды меня и нагло бросает такую фразу: «Ну-с, г.г. помещики, пора и честь знать! Довольно, нахозяйничались! Пришла пора вам всем уходить прочь с дороги — идет новый

хозяин!» Я не сказал ему тогда ничего, но подумал про себя, что прав я был, не доверяя этому темному типу... Клафтон, игравший в Самарской жизни исключительную роль в революционную эпоху 1905 — 1906 годов, с наступлением т.н. «реакционного» периода, сумел ловко перекраситься из ярко-красного в невинно-белый цвет, и остался на службе консервативного Самарского земства.

Судьба этого хамелеона поучительна: в последнюю революцию 1917 года Клафтон удрал в Сибирь и пристроился, благодаря своим недюжинным дарованиям, к Колчаковскому Правительству. При падении последнего, он оказался одной из первых жертв большевистской расправы и был повешен...

Вернусь к январскому Собранию 1905 года. Даже при нормальных условиях спокойной, чисто-деловой земской жизни, А.А.Чемодуров на председательском месте нервничал, а в описываемое мною время он был особенно возбужден и неуравновешен. Этому не мало содействовал темных дел мастер — Клафтон, умевший хитро играть на слабых струнках своих окружающих.

Надо думать, что перед открытием собрания он, в интересах намеченного крайними элементами плана действий, счел нужным терроризировать обоих председателей: Чемодурова и Ушакова. Рассчитывая на их слабые нервы, Клафтон бил наверняка, заранее предвкушая благоприятный для политических своих единомышленников результат.

Он оказался прав: Чемодуров, предупрежденный им и Ушаковым о «готовящемся скандале» со стороны публики, решил принять энергичные меры и потребовал, чтобы заперли перед открытием Собрания дверь, ведущую на хоры и ключ от таковой передали бы ему. Требование это было исполнено.

Собрались гласные, приехал Начальник Губернии, вошедший в залу при полном отсутствии публики... Начал Его Превосходительство высказывать свои приветствия и надлежащие пожелания. Вдруг на хорах стали появляться один за другим разные лохматые типы с нарочитым шумом, громкими разговорами и пр. Чемодуров побледнел как полотно, нервно прервал Губернатора, что-то нашептывая ему на ухо и дрожащей рукой показывая увесистый железный ключ. Произошло замешательство.

От Губернатора Чемодуров кинулся к Ушакову, которому наговорил кучу неприятностей, и тоже стал совать ему под нос все тот же ключ. Этим наш председатель не ограничился и стал тотчас же неистово кричать: «Требую очистки хор!» — «Удалить публику!» Я взглянул на секретаря Управы: наш элегантный Клафтон со своими темными загадочными глазами, как ни в чем не бывало, спокойно восседал на своем обычном месте... Между тем, вне всякого сомнения, все это было делом его рук: — отдав ключ Чемодурову, Клафтон, через посредство своих сподручных, сам оставаясь в стороне, пустил на хоры «свою» публику. Результат для него получился блестящий, для нас же всех скандальный. Губернатор вытребовал сильный отряд полиции, которая очистила зал от бесчинствовавшей публики. Собрание было Губернатором открыто и заседания начались, как и предполагалось, но не в обычных условиях мирного обсуждения многочисленных дел земского хозяйства...

Прежде всего был поднят вопрос о необходимости, ввиду переживаемых исключительных в стране событий, составить верноподданническое обращение от Самарского Земства, в коем имелось в виду указать на желательность скорейшего проведения в жизнь всех благих мер, намеченных Высочайшим

Указом 14 декабря 1904 года, включая приглашение к участию в управлении страной народных представителей.

Возбуждение этого вопроса на Собрании исходило от группы гласных, заранее организованной по инициативе участников столичного ноябрьского съезда. Такие же верноподданнические обращения были одновременно предложены на очередных Земских Собраниях в прочих губерниях. А.А.Чемодуров был против такого верноподданнического обращения, или адреса, как его потом называли. Начались прения, давшие возможность многим крайним земцам-политиканам широко высказываться по вопросам высшей политики.

В зале нарастало нервное напряженное настроение... Чемодуров беспрестанно звонил и всех перебивал. Во время перерыва все партии сговорились на необходимости избрать особую комиссию, которой поручить подготовить проект адреса. Это постановление явилось в некотором роде историческим событием в жизни Самарского земства, оно послужило тем начальным моментом, после которого среди земских гласных организовались партийные группировки не на деловой хозяйственной почве, а по вопросам высшего политического порядка.

В редакционную комиссию было избрано 12 человек, в том числе и я. Членами ее оказались все участники ноябрьского совещания и некоторые гласные, считавшиеся людьми либерального направления. Списки, составленные заранее, были одобрены общим собранием, к немалому торжеству главарей крайнего течения. Это была их несомненная победа, оказавшаяся недолговечной!... Лично я попал в список по настоянию Н.А.Шишкова, знавшего мою давнюю идею о необходимости связи провинции с центром, но он не предполагал встретить во мне устойчивого противника введения парламентаризма в России.

Надо сказать, что в описываемое время я впервые остановился в своем самарском доме, где и сходились все мои ставропольцы-гласные: Н.А.Шишков, В.С.Тресвятский, П.М. и Н.М. Наумовы, К.Г.Марков и Г.К.Татаринов. В красиво отделанной в строго-готическом стиле уютной столовой, за длинным дубовым столом, мы устраивали наши первые совещания по поводу составления адреса. Сколько возникало у нас споров, горячих, искренних, для нас, мирных сельских хозяев, непривычных.

Я высказывался за желательность посылки Царю адреса, но составленного в строго лояльном духе, и категорически возражал против требования установления в России конституционного образа правления, с учреждением парламента, ответственного министерства и пр., иначе говоря против всего того, чего домогались Н.А.Шишков и Ко... Меня удовлетворяла перспектива, о которой я еще ранее мечтал — расширения земства, его демократизации и связь через его представителей с Государственным Советом.

В подобном смысле я составил проект всеподданнейшего адреса, где говорил о желательности привлечения к строительству Земли Русской местных общественных сил. На мою сторону встали все ставропольцы, за исключением Н.А.Шишкова, ярого конституционалиста, и его поклонника и последователя — Г.К.Татаринова. Раздосадованный Шишков ушел в будуар моей жены и там составил «первую российскую конституцию»!

Наступил памятный вечер решительного совещания упомянутой комиссии по поводу адреса. В председательском кабинете Губернской Земской Управы к 7 час. вечера собрались все двенадцать членов комиссии.

Было заслушано несколько проектов, между ними, Шишковский и мой. Прения приняли не только страстный, но временами ожесточенный характер. Было далеко за полночь, когда, в

конце концов, всеми, против меня одного, был принят, с некоторыми изменениями; текст, составленный Н.А.Шишковым. И вот началась после этого тяжелая для меня попытка выслушивания бесконечно-нудных и настойчивых уговоров встать на сторону моих противников. Главари, затеявшие весь этот адрес, не были уверены в благополучном исходе баллотировки своего проекта с требованиями установления парламентского строя. Они добивались наибольшего единодушия. Даже один идейно-упорный противник, да еще со своим особым проектом, — я становился им поперек дороги и был опасен на предстоящем собрании. Этот бедный «один» оказался объектом нескончаемых уговоров до 4-х часов утра и был доведен до состояния крайнего нервного изнеможения. Придя домой, не раздеваясь, я лег на диван в библиотеке и забылся тяжелым сном. За эту ночь показали у меня первые седые волосы...

Через несколько часов я должен был идти на Собрание — предстоял для меня большой день.

Утром явился ко мне добрый предвестник — Шишков, Тихон Андреевич, еще вчера, вместе с одиннадцатью другими, уговаривавший меня примкнуть к общему мнению, хотя ранее, на нашем ставропольском предварительном совещании, он был целиком на моей стороне... Теперь он вновь перешел в мой лагерь, воздав мне должное за мою стойкость. Меня это значительно подбодрило, и мы вместе с ним пошли на Собрание.

После прочтения проекта Редакционной комиссией, я попросил слова и заявил Собранию о своем коренном несогласии с предлагаемой редакцией проекта большинства, подробно изложил свои соображения и попросил позволения доложить мою редакцию адреса. Вновь начались бурные прения. Совершенно неожиданно для меня, большинство гласных стало высказываться за предложенный мною проект. В перерыве, мои коллеги

по Редакционной Комиссии сняли с баллотировки свой проект. Мое «единогласие» в Редакционной Комиссии, на Собрании привело к почти единогласному принятию моей редакции.

За этим провалом последовало еще, новое, поражение участников петербургского ноябрьского совещания.

Вслед за этим началась тактика «срывания» Собрания. Благодаря особым свойствам председателя Чемодурова, и при наглом содействии клафтоновских дружин, она достигла желаемого результата. После ряда бурных заседаний и шумных скандалов, в которых принимали участие сами земцы определенного лагеря, Чемодуров отказался продолжать заседания и объявил очередную сессию прерванной... Утомленные, изнервничавшиеся гласные быстро разъехались по домам — на радость Клафтону и его присным.

Осталась масса нерассмотренных докладов, смета не была закончена, отчет годовой не утвержден. Выборы Управы, обычно производившиеся в конце Собрания, отложены.

На А.А.Чемодурова все события последнего года, в частности, только что описанное мною Земское Собрание, сильно повлияли. Он решил окончательно отойти от предводительской службы, в силу резко изменившихся условий... «Наверху слабость, а внизу гадость!»... так отзывался почтенный мой «Губернский» о создавшемся положении вещей.

За месяц приблизительно до открытия Губернского Дворянского Собрания Чемодуров заявил мне, что единственным кандидатом на пост Губернского Предводителя являюсь я. Он настойчиво уговаривал меня согласиться на его предложение, основанное на единодушном желании большинства дворян.

На открытие июньского Губернского Дворянского Собрания прибыл вновь назначенный Губернатор д.с.с. Дмитрий Иванович Засядко, сменивший долголетнего нашего принципала А.С.Брянчанинова.

Назначение Самарским Губернатором Засядко было для всех нас неприятной, даже обидной для нашего местного самолюбия, неожиданностью. Мы быстро узнали карьеру этого господина: паж, дружба с «Котиком» Оболенским, офицерство в Лейб-Казачьем полку, «нежное» знакомство с кн. Мещерским. Когда нужно было найти человека, который согласился бы пойти в Председатели Тверской Губернской Управы по назначению, Мещерский и «выдвинул» своего кандидата Засядко, под условием за подобный подвиг его куда-либо потом назначить губернатором... Жребий пал на нашу бедную Самару!

У Засядко была розоватая физиономия с небольшой бородкой; карие, с огромными зрачками, глаза, резко оттененные мешкообразными исчерна-темными синяками, имели выражение, которое на простонародном языке называется «бесстыжими зенками». В лицо собеседнику он прямо не смотрел, его глаза бегали из стороны в сторону, избличая соответствующие душевные свойства их хозяина.

Приехал он с молодой, довольно миловидной женой, но с ней он мало вместе показывался. Как слышно было потом, она вскоре же бросила своего супруга. Засядко не был лишен некоторых способностей: быстро схватывал и мог недурно излагать свои мысли — недаром он в свое время секретарствовал у Мещёрского. Но он несомненно был дегенератом не только в своей личной жизни, но и в служебном быту. Он это блестяще доказал, начиная с памятных дней октябрьской революции 1905 года.

Благодаря явно ненормальной нервной системе, он оказался совершенно неспособен противодействовать терроризовавшей его обстановке. Его роковая роль в смутный период самарской революции конца 1905 года, когда он, безвольный, заstraщенный революционным террором, в губернаторской форме, исполнял приказания уличных забастовочных организаций, нарушая, «страха ради», данную им «Царскую» присягу.

Еще до октябрьской революции, этот господин позволял себе «хамски» обращаться с почтенными дворянами-землеладельцами, служившими в качестве земских начальников. До меня доходило возмущение моих друзей — ставропольцев, возвращавшихся из Самары под впечатлением приема их новым Губернатором. Могу судить и по себе, когда пришлось впервые «явиться» к новому Губернатору в качестве еще Уездного Предводителя.

Засядко поселился сразу же на губернаторской даче, где и прожил почти все свое губернаторство, продолжавшееся всего лишь с мая по декабрь 1905 года. Там же и я был принят им впервые. Кое-какие поверхностные вопросы, явно заданные лишь для проформы, постоянное трясение ног, бегающие из стороны в сторону глаза, торопливость, нервность, — все это производило на меня пренеприятное и тяжелое впечатление.

Вообще Засядко, несмотря на политическое воспитание, полученное им в обществе кн. Мещерского, в Самаре сразу же стал выявлять свои симпатии к городскому бессловесному окружению, подчеркнуто-холодно относясь к дворянскому элементу самарского «общества», которое он видимо избегал, отделяясь необходимыми визитами. Вокруг него образовался особый кружок лиц, решивших использовать подходящего для них Губернатора в своих целях. Каковы были эти цели, вскоре показали октябрьские дни с их знаменитыми «свободами»...

Кого только не было в этом кружке: и адвокаты, потом вставшие во главе разных революционных комитетов, и просто ловкие людишки, некоторые нотариусы более ходового свойства, еврей-техники вроде Зелихманова, Н.Д.Батюшков, который разыгрывал из себя передового либерала, отрицавшего Царя и дворянство, но по забывчивости, кстати и некстати, подчеркивавшего всем и каждому свое древнее родовитое происхождение. Завсегдатаем этого «интимного» губернаторского кружка незадолго до октябрьских событий оказался и Клафтон, игравший в последующее «боевое» революционное в Самаре время роль ближайшего советника и адъютанта г-на Засядки.

Полицмейстером в описываемое время в Самаре состоял некий Критский, бывший однокашник с Засядкой по Пажескому Корпусу, затем промотавшийся гвардейский офицер. Критский умел элегантно носить свой серебряный мундир, имел вид скорее светского гвардейского офицера, чем провинциального полицмейстера, был ловким и неглупым субъектом, быстро ориентировался во всех слоях Самарского многолюдного и разнородного общества.

С Засядкой он был на «ты», являлся верным и скрытнейшим его прислужником, «всячески» оберегая его, как и себя самого, от всех случайностей разразившихся в Самаре бурных событий... Все сношения с лицами из «губернаторского» кружка, а впоследствии с представителями разных революционных комитетов — проходили через ловкие руки и изворотливый язык бывшего гвардейца Критского...

Наше очередное Дворянское Собрание открыл 12 июня Губернатор Засядко, встреченный сухо и холодно. Собрание, как обычно, на второй день закончило очередные занятия по рассмотрению ряда докладов, сметы и отчётов, а на третий день с

утра приступлено было к самому важному моменту – к производству дворянских выборов – уездных и общегубернских. С утра 15 июня дворяне разбились на уездные группы, каждая по традиции имела свое место в здании Дворянства.

Ставропольцы, собравшись, как всегда, в зале под хорами, оказали мне высокую честь переизбрать меня вновь в свои Уездные Предводители, поднеся все свои белые шары, на блюде. После перерыва предстояло избрание Губернского Предводителя.

Всем стало известно категорическое решение Чемодурова не баллотироваться. Во время перерыва он подошел ко мне и напомнил мне наш с ним разговор по поводу моей кандидатуры. Я решил предварительно узнать мнение своих ставропольцев. Выяснилось, что на моей кандидатуре настаивали решительно во всех уездах. Выборы мои, по их мнению, были безусловно обеспечены. Ставропольцы уговорили и «благовословили» меня идти на губернскую баллотировку.

Должен сознаться, что я переживал нелегкие думы и жуткие мгновения. Но вот вновь раздался призывной звонок и открылось Собрание. Под большим, во весь рост, портретом Государя Николая II, за продолговатым, покрытым красным сукном с золотым бордюром столом, разместились в порядке старшинства представители всех семи уездов, во главе с Губернским Предводителем, особо сидевшим в качестве Председателя за начальным концом депутатского стола. Рядовые дворяне заняли свои обычные места в зале. Хоры заполнились публикой — больше родственниками участников Собрания... Бледный и

сильно взволнованный, Чемодуров встает и произносит свое прощальное предводительское слово, захватившее всех нас своей прямоотой и искренностью. Растроганные дворяне горячо настаивали на продолжении им своей полезной службы, но Чемодуров со слезами на глазах благодарил дворянство за доброе к нему отношение, но категорически отказался и предложил сделать перерыв, дабы наметить, как полагается по закону, двух кандидатов на должность Самарского Губернского Предводителя Дворянства. Не успел он закончить, как все Собрание поднялось и стало просить меня тут же, без перерыва, баллотироваться. Долго не мог я, от раздавшихся аплодисментов, сказать, что хотел и считал нужным. Я стоял и чувствовал, что еще немного и я не «выдержу», разнервничаюсь до слез...

Наконец, я поднял руку, про успокоиться... Собрание затихло. Я выразил свою благодарность за оказанное доверие, а затем высказал, совершенно искренно, сомнение в собственных своих силах для достойного отправления ответственных обязанностей предлагаемой мне высокой должности, да еще в столь трудное и сложное время. На это раздалась вновь единодушные просьбы всего собрания, причем слышались голоса: «Мы Вам поможем и всячески Вас поддержим»...

Взглянул я на своих ставропольцев; те махнули рукой, чтобы я уходил... Мысленно перекрестясь и еще раз низко поклонившись Собранию, я вышел, прошел в отдаленную пустую столовую. С сильно бьющимся сердцем опустил я на первый попавшийся стул в ожидании результата выборов... Прошло немало времени, пока перед баллотировочными ящиками прошли все уезды. Много я успел передумать. Несомненно, отрядно было сознавать мне, всего лишь 36-тилетнему молодому человеку, лестное к себе отношение целой губернии, но закра-

дывалось предчувствие надвигавшегося на меня чего-то огромного, жутко-ответственного, чреватого в будущем многими и сложными последствиями... Предчувствие меня не обмануло...

Но вот издали послышался гул аплодисментов, мало-помалу приближавшийся ко мне: один за другим стали входить в столовую оживленные, разгоряченные дворяне с радостными лицами и возгласами: «Вот он где устроился! Наконец нашли! Поздравляем! Браво!...» Вновь раздались шумные аплодисменты, начались рукопожатия, дружеские объятия... Торжественно вводят меня затем в залу: я оказался избранным губернией почти единогласно — значилось лишь два черных... Кандидатом был избран мой двоюродный брат Николай Михайлович Наумов. По закону, оба избранные лица представлялись на Высочайшее усмотрение, и Государь обычно утверждал Губернским Предводителем того, кто получил большинство голосов.

Этим закончилось Очередное наше Дворянское Собрание, и почти все дворяне по закрытии его оказали мне честь приехать ко мне в новый дом, где мой неизменный слуга Никифор ухитрился вовремя достать изрядный запас шампанского. Участники Собрания не застали меня врасплох. Я смог им отплатить тем же традиционным знаком внимания, каким они меня угостили в буфете Дворянского Собрания тотчас после моих выборов.

Дня через три я был Высочайше утвержден и тотчас же вступил в исправление своей новой должности Самарского Губернского Предводителя Дворянства, в каковой беспрерывно пребывал вплоть до назначения меня Государем, в ноябре 1915 года, Министром Земледелия.

Спустя несколько дней, 23 июня, я должен был принять председательствование в открывавшемся, после описанного мною ранее перерыва, Земском Губернском Собрании. Прежде,

чем говорить о нем — мне хочется вспомнить личный состав вновь избранных на только что закончившемся очередном Дворянском Собрании должностных сословных лиц — моих будущих сотрудников по депутатскому столу.

По Самарскому уезду были избраны: Председателем — гр. Александр Николаевич Толстой, бывший паж, затем конногвардеец, человек умный и сердечный. С годами наши взаимоотношения приняли характер тесной дружбы и мне было жаль с ним расставаться, когда пришлось его провожать в далекий Петербург, куда его Столыпин в 1910 году назначил вице-губернатором. Впоследствии гр. Александр Николаевич был переведен в Витебск губернатором, а затем мы с ним встретились в Новороссийске, в условиях нашего отчаянного беженства 1919 года. Толстой пришел ко мне тогда после ранения, в форме офицера добровольческой Деникинской армии. Наша встреча была и радостная и в то же время тяжело-грустная — всякий из нас признавал гибель Императорской России, которой мы с ним верой и правдой совместно служили... Встреча эта оказалась последней — вскоре я узнал о том, что гр. Александр Николаевич скончался в Таганроге от тифа.

Бугурусланским Предводителем был сын бывшего Самарского Губернского Предводителя, Михаил Дмитриевич Мордвинов. Он окончил курс в Императорском Александровском Лицее и первые свои молодые годы прожил в столице, причислившись, как большинство молодых людей его круга это делали, к одной из канцелярий высших государственных учреждений. Мордвинов женился на цыганке и, бросив столицу, переехал в глушь — в Самарскую губернию, где ему достались по наследству крупные имения, в общем до 14.000 десятин земли, но... несмотря на это, он был весь в долгу. Мордвинов был человеком

далеко не глупым, но оставался рабом своего «привилегированного» воспитания и установившейся привычки позировать с претензиями на маленького, но все же светского сановника. Он был создан жить в большом городе и вращаться в «свете», не стесняя себя ни в средствах, ни в образе жизни, а приходилось иметь дело больше с мужиками, проживать в деревенском захолустье, где он способен был валяться в постели до 2-х часов дня, зачитываясь всевозможной — больше французской литературой. Если кредиторы к нему понаведывались, то наш Михаил Дмитриевич запирался на целые сутки в своей спальне, да еще со спущенными занавесками...

При всем этом Мордвинов был обуреваем необычайным честолюбием и особым пристрастием ко всяким чинам, повышениям, орденам и пр. — в этом он знал великий толк и умел хорошо устраиваться, как-то «вне очереди» получая «действительного» и шейные украшения... Сколько было с его стороны намеков, напоминаний и, наконец, настаиваний, чтобы я ему скорее выхлопотал придворное звание. Сам я совершенно неожиданно для себя, через год после моего избрания, был пожалован в камергеры, а еще год спустя — назначен Егермейстером. Приблизительно в то же время удалось мне посодействовать получению гр. А.Н.Толстым — камер-юнкерства, а Мордвиновым камергерства... Небывалое получилось в летописях Самарского Дворянства и его Депутатского стола событие — среди его членов появилось трое в придворных мундирах... Надо было видеть нескрываемый восторг «Мишеля» Мордвинова, когда он появлялся затянутый в золотой мундир, да еще с повадкой завязанного придворного сановника.

Дальнейшая карьера незадачливого Мордвинова оказалась не из блестящих: выше «вица» он не сумел подняться, и на этом

второстепенном звании застигла его революция 1917 года, выбросившая его, как и миллионы других, за границу... Заканчивая о нем свои воспоминания я все же должен отдать ему справедливое — дело свое Предводительское, чисто служебное, Михаил Дмитриевич вел старательно, внимательно и начальнически строго.

Бугурусланским депутатом состоял крупный землевладелец Николай Николаевич Рычков, веселый собеседник и рассказчик. Дельный сельский хозяин, он не ограничивался запашками, а занимался и торгово-промышленными делами, специализировавшись на скупке, откормке и перепродаже мясного скота. В общественных делах он был слабее, но, будучи по натуре честолюбивым, не прочь был выставить свою кандидатуру, где это было ему доступно.

Совершенно противоположного характера был Бузулукский депутат Николай Вадимович Осоргин. С университетским образованием, обычно молчаливый, всегда сдержанный и серьезный, в высшей степени порядочный, с чертами природного благородства, Николай Вадимович оказался впоследствии ценным общественным деятелем.

Осталось мне сказать несколько слов еще про новоизбранного Новоузенского депутата — Николая Алексеевича Самойлова, землевладельца Самарского уезда. Это был среднего роста, худой, болезненного вида молодой человек, некрасивый, но умный, чрезвычайно сдержанный, я бы скорее сказал — скрытный. Основной его профессией была адвокатура, он считался хорошим цивилистом. Я должен откровенно сказать, что он никогда не вселял во мне особого доверия. Впоследствии я оказался прав: как ни скрывал он, но в конце концов был вынужден обнаружить свои близкие сношения с Клафтоном и его единомышленниками

Но надо оговориться, что в обстановке нашего сословного сотрудничества Николай Алексеевич вел себя всегда в высшей степени корректно.

65

Не успел я вступить в отправление своих новых обязанностей по должности Губернского Предводителя Дворянства, как пришлось тотчас же, 23 июня 1905 года, под своим председательством, открыть заседания Губернского Земского Собрания, явившегося продолжением прерванного в январе. Предугадывая, что предстоящее собрание готовится быть столь же бурным, если еще не хуже, я решил действовать иначе, чем мой предшественник, рассчитывая на свои силы и нервы, дававшие мне уверенность, что при самой бурной стихийной обстановке, я сохраню спокойствие и хладнокровие.

Началось с того, что перед приездом Губернатора для открытия собрания, ко мне подходит с многозначительным видом таинственного заговорщика Клафтон и предупреждает меня, что ему случайно стало известно о намерении устроить при открытии заседания грандиозную революционную демонстрацию с красными флагами... Я собираю Управу и, в присутствии Клафтона, сообщаю о только что доложенном мне секретарем. При этом я заявил, что я намерен на все предстоящие заседания публику допускать на хоры, но под условием соблюдения полной тишины и спокойствия. Наблюдение за этим, а также ограждение управского помещения, где протекают работы собрания, я предложил возложить на секретаря, и просил Управу дать на это ее согласие. Вся ответственность за все, клонящееся к нарушению нормального порядка занятий, должна была, таким образом, лечь целиком на Клафтон. Я добавил, что

ежели Управа со мной не согласится, я закрою двери не только для посторонней публики, но и для газетных сотрудников, и вызову для этого наряд полиции. Последнее для либеральствующего элемента Управы, и в особенности для самого Клафтона, было неприемлемо, так как предполагалось внести на Земское Собрание целый ряд докладов модного крикливого содержания, с расчетом должного воздействия на публику через газетные сообщения. Пришлось всем управским согласиться. Я спокойно встретил трепыхавшегося нервного Засядко в зале Собрания. Хоры были переполнены публикой, но я был уверен, что Клафтон не захочет себя уволить с теплого своего места.

Порядок занятий мною был намечен следующий: в первую голову – просмотр сметы и утверждение годового отчета. А уже затем будут заслушаны остальные доклады, часть которых затрагивала вопросы грандиозного социально экономического значения, как например «национализация земель» и др., ради которых собственно публика и сгрудилась на тесных хорах. Жара в это время стояла в Самаре исключительная; все гласные изнывали. Наверху на хорах было, само собой, еще более невыносимо. Тотчас же по принятии Собранием предложенного мною порядка занятий со стороны публики послышались возгласы протеста. Я круто обернулся в сторону Клафтона, но его на обычном месте не было. Очевидно, он поспешил принимать свои меры, оказавшиеся более действительными, чем председательские – ведь публика была ему сродни. Никаких демонстраций, ни помех наша работа на пути своем в дальнейшем не встречала, и все шло совершенно гладко.

Покончив с главным и существенным, произведя выборы Управы, я перешел к заслушанию докладов и решил в отношении крайних элементов из состава гласных держаться тактики

«непротивления злу» – давать этим господам утопистам догвариваться до конца. По практике моего предшественника, всегда нервно перебивавшего зарвавшихся в своих либеральствованиях гласных, я заметил, что сии последние казались публике и прессе чем-то вроде «жертвы председательского насилия и произвола». Такой оратор попадал в выигрышную позицию.

Последнее вечернее наше заседание происходило в жесточайшей духоте. На нем должен был выступать главный застрельщик крайней левой партии, талантливый оратор, Георгий Николаевич Костромитинов, по громкому и «страшному» вопросу «о национализации земли».

Землевладелец Бузулукского уезда, Костромитинов слыл за человека незаурядных способностей и острого ума, отличался болезненным самолюбием, способностью быстро на все обижаться и необычайной озлобленностью против всего существовавшего правительственного строя, которая проявлялась у него столь сильно и так его захватывала, что временами затемняла его природный здравый рассудок. Так, по крайней мере, случилось с ним при обсуждении возбужденного им вопроса о национализации земель. Говорил он обычно хорошо, без пафоса, спокойно и обстоятельно. В прошлом он являлся главной жертвой темперамента ненавидевшего его Чемодурова, который ему хода не давал, отчего страсти во время костромитиновских выступлений, да и во всем Собрании, накопились до невероятной степени. В этот раз я решил дать ему полную волю высказаться до конца, вследствие чего Костромитинов говорил долго и пространно о таких революционных перспективах коренного изменения существовавшего землепользования, которые сами по себе казались для участников Земского Собрания – крепких собственников – чудовищными и нелепыми. Не ожидавший,

видимо, такого долготерпения со стороны председателя, уставший Георгий Николаевич, наконец, замолкает, без какого-либо определенного заключения и реального предложения. А главное, без того эффекта, на который он и его единомышленники рассчитывали.

Перед началом описываемого мною вечернего заседания меня просит к телефону Губернатор; я беру трубку и слышу голос Засядко: «Надеюсь, Ваше Превосходительство, Вы не допустите некоторых докладов к обсуждению, во избежание возможных эксцессов со стороны публики и случайного принятия постановлений, идущих вразрез с существующим общественно-государственным строем»... Он назвал три-четыре доклада, в том числе о «национализации земли». На это я ему ответил кратко: «Прошу, Ваше Превосходительство, не беспокоиться – всю ответственность я беру на себя» и повесил трубку.

Не успел Костромитинов сесть, как один за другим стали просить у меня слова и задавать вопросы гласные, из разряда лиц хозяйственных и серьезно деловых. Я сидел и терпеливо ждал, предвкушая близкий конец этому «страшному» вопросу. Георгий Николаевич, припертый к стене, начал отделяваться путаными пояснениями. Как умный человек он понял, что надо из создавшегося глупо обидного для него положения с честью выйти, но было поздно. Его предложение сдать доклад в особую комиссию провалилось. Собрание потребовало неотлагательной баллотировки по существу. Подчиняясь воле Собрания, я поставил возбужденный Костромитиновым вопрос на голоса. За принятие доклада из всего Собрания встал лишь сам Георгий Николаевич, озлобленный и красный, Протопопов и Племянников... Час был поздний – все от духоты окончательно изнемогали... Я предложил заслушать доклады мелкой земской еди-

ницы и др. Собрание взмолилось и постановило все, как не относящееся до земской сметы, отложить до следующего Собрания.

Награжден я был дружными аплодисментами. Подобным же знаком внимания мои земляки баловали меня и в последующих моих выступлениях в качестве председателя. Свой первый экзамен я сдал благополучно, несмотря ни на что. Но наши крайние элементы, вроде Костромитинова и др., возненавидели меня куда яростнее, чем моего предшественника. Про Клафтона и говорить нечего.

66

По окончании Собрания я был приглашен ставропольцами на прощальные проводы, которые состоялись в помещении Ставропольского Уездного Съезда и носили удивительно теплый и задушевно дружеский характер.

Вспоминая чередовавшиеся в моей жизни события, я лишь мысленно могу себе восстанавливать образы людей, встретившихся на моем житейском пути. Все безжалостно изъято чудовищной стихией из долгими годами накопленной сокровищницы моего драгоценного семейного и служебного архива.

Среди разного фотографического материала, хранившегося в моей библиотеке, имелась, между прочим, целая серия ценнейших для нас с женой объемистых альбомов в великолепных шагреновых переплетах с надписями золотыми тисненными буквами: «А.К. и А.Н.Наумовым – в знак признательности на память от служащих». На каждом из четырех альбомов обозначалось наименование того имения, от которого эти служащие нам его подносили.

Наряду с ними, в особой, солидной, тоже объемистой, красно шагреновой папке, хранилось до 40 больших фотографий – снимков с фасада и внутренних помещений нашего самарского дома. Как описать всю ту красоту линий, всю гармоничность пропорций, которые выявил на деле с огромным художественным чутьем талантливый архитектор – милейший мой друг Александр Александрович Щербачев! Главный секрет красоты заключался в том, что, вопреки всяческим запугиваниям и отговариваниям, весь передний фасад дома был выложен из жигулевского камня, некоторые же части его, как например, колонны на парадном подъезде, высекались из цельных колоссальнейших глыб. Из того же самого камня, из которого сложен был весь фасад, я велел сделать большой, в рост человека, камин для своего кабинета, отшлифовав его так же, как обычно это делалось для выделки мрамора. Получилось нечто исключительно красивое и импозантное, напоминавшее ценнейший материал далекой Италии.

Дом наш обращал на себя всеобщее внимание, им, бывало, постоянно любовались пассажиры с проходивших мимо него пароходов, а городские извозчики неизменно подвозили заезжую публику к нему и показывали его, как свою городскую гордость, выпрашивая от своих седоков лишние чаевые.

Многое этот дом перенес со времен революционного 1917 года: немало переменял он разных хозяев и временных обитателей, включая разные «ревкомы» и т. п. Но никто, надо думать, еще не стер того изображения «Наумовского» герба, в виде счита с оленем и тремя стрелами, которое красуется вероятно и поныне на самой вышке фасада, в центре верхней каменной балюстрады, и которое сам первоначальный его хозяин собственно вручную высекал из жигулевского «мрамора» при постройке дома.

Купленное мною место равнялось 600 кв. саж. Большая часть отведена была под господский дом. На остальном участке, вдоль всей задней границы, было выстроено двухэтажное каменное здание, в котором размещены были разные службы; квартиры для заведывающего домом, кучера и др. Особое помещение для собственной электрической станции (городского электричества в то время еще не существовало), затем там же находились: образцово оборудованная прачечная с сушильной, каретник с шестью стойлами, коровник, сеновал, курятник и погреб с обширным ледником.

Между домом, который вдавался во двор в виде «глаголя» с боковым проездом на улицу, и упомянутым зданием для служб, имелся небольшой, но совершенно достаточный для хозяйственного обихода двор, отделенный красивой решеткой от небольшого садика с центральным фонтаном. В садике были разбиты клумбы с розами и другими цветами; посажены были кустарники и серебристые пихточки, а вдоль дворовой решетки, обвитой диким виноградом, посажены были высокие японские клены. Выход в этот палисадник был с обширной, открытой, каменной террасы, со ступеньками на садовую дорожку.

Главный дом состоял из двух этажей и третьего, подвального, в котором помещались людские кухня и столовая, и несколько комнат для разных служащих, винный подвал, особое отделение для центральной топки (водяного духового), склада дров, и наконец, вдоль всего уличного фасада, под домом была огромнейшая, сажень в 8 длиной и 4 шириной, подвальная зала – высокая, с толстыми колоннами под готическими сводами, светлая и оказавшаяся совершенно сухою. Было где хозяйке развернуться со всеми ее полученными в приданое бесчисленными сундуками и не малым благоприобретенным домашним скарбом!..

Передний фасад главного дома отстоял от улицы приблизительно на полторы, отделяясь от нее массивной, красивого рисунка, металлической решеткой, и лишь парадный подъезд, с его цельными колоннами, величественно выступал непосредственно на Дворянскую улицу.

Из первых дверей парадного подъезда сначала был вход в небольшие квадратные сени, устроенные в виде куполообразного фонаря с четырьмя одинаковыми по всем сторонам массивными дверьми, верхняя половина которых состояла из граненых стеклянных квадратов, вделанных в гонкий деревянный переплет, так что, когда вечером зажигался внутри этого небольшого помещения под куполом сильный электрический свет, то весь подъезд блистал, как искрящийся алмазами фонарь.

Расположенная прямо против входа дверь вела в обширный вестибюль, отделанный в том же стиле, как и весь домовый фасад. Вдоль его стен виднелись массивные дубовые вешалки, зеркала и пр. Направо, у двери, ведущей в мой кабинет, стояло чучело матерого волка с оскаленной пастью, а над ним, в простенке, висели удивительно красивые витые, тонкие, длинные рога горного азиатского козла редкой породы – подарок на новоселье моего шурина Григория Ушкова.

Из вестибюля шла мраморная лестница наверх, а внизу, с правой стороны, были две двери: одна, ближняя, вела ко мне в кабинет, а другая – в коридор. Двери, окна и паркет в парадных комнатах были сделаны из редкого по своим качествам казанского дуба, а сама работа была верхом столярного искусства.

Кабинет мой представлял собою обширную комнату с двумя большими окнами на улицу и огромным белым камином из жигулевского камня. Мебель для кабинета, смежной библиотечной комнаты, залы, двух гостиных, бильярдной, столовой и

нашей спальни была сделана по особым рисункам и заказу известной в то время московской фирмой Левисен и Ко.

Весь мой кабинет (портьеры, обои и обивка) был отделан в темно оливковых тонах, приятно гармонировавших с красным деревом, из которого была вся комнатная мебель. Около окон стоял письменный стол, за ним большой книжный шкаф; в простенке виднелась специальная «конторка» с целым рядом выдвигающихся отделений для документов и бумаг. Перед столом стояли мягкие кресла, а ближе к камину стояла изумительно удобная качалка или «дремашка», как я ее называл. В противоположном конце кабинета расположен был большой диван с высокой спинкой.

Около дивана размещена была целая серия мягких стульев и кожаных кресел. Это был особый уютный уголок. В том же углу кабинета лежал, мордой к входной двери, огромный черный медведь, на котором так любила наша маленькая детвора карабкаться и играть... По стенам были развешаны портреты и группы, а прямо перед письменным столом виднелась огромная рама из того же красного дерева, за стеклом которой мною размещались фотографические портреты с разными собственноручными надписями всех тех моих многочисленных друзей, коллег и сотрудников, которые встречались на пути моего нового служения по губернскому предводительству, а затем также в стенах Мариинского Дворца. С годами это представило собой редкую и дорогую для меня коллекцию..., ныне затоптанную большевицкой грязью!

Рядом с кабинетом расположена была т.н. библиотечная комната, вся устланная темно оливковым ковром и заставленная вдоль стен мягкими диванами с высокими спинками, на верху которых приделаны были разного размера шкафы и

полки. В углах и некоторых промежуточных местах диваны соединялись большими книжными шкафами, с дверками из гра-неного стекла. Стиль комнаты и всей обстановки, включая всю электрическую арматуру, был выдержан в скромном «модерн»... Деревянная отделка была вся дубовая, в темно зеленой с сероватыми прослойками краске. Мебельной обивкой служила редко красивая бархатная материя темно коричневого цвета с еле заметными узенькими золотыми продольными полосками.

Из библиотечной комнаты была дверь, соединявшая ее с небольшой смежной комнаткой в одно окно, называвшейся «оружейной», представлявшей собою своего рода охотничий музей. В нем хранилась целая коллекция ружей, много редкостных чучел, до черного волка включительно; по стенам виднелись лосиные головы с широкими рогами и висевшими на них кинжалами и охотничьими принадлежностями; стены были увешаны серией картин с охотничьими сюжетами. Но наибольший интерес в описываемой комнате представляла собой специальная «охотничья», изумительно искусно сделанная мебель, получившая на одной из выставок высшую награду и доставшаяся мне совершенно случайно; в этом отношении я могу смело применить поговорку: «на ловца и зверь бежит»... Вся эта мебель была сделана из оленьих рогов и кабаньих клыков.

Эти три комнаты – кабинет, библиотечная и оружейная – были специально «моим» углом, где в свое время перебивало много всякого делового и служилого люда; где сходились на совещания, в тяжелые моменты нашей общественно политической работы, мои единомышленники и испытанные друзья, и где решались злободневные вопросы... В том же моем маленьком царстве происходило и нечто другое» что не жило и ласкало мое любящее отцовское сердце, когда, бывало, жена приводила милую нашу детвору к «папочке» картинки смотреть, или

страшные его рассказы «небылицы» послушать, а то и просто на полу по коврам поиграть. Тепло, уютно жилось тогда в нашей семье, несмотря на весь внешний ужас революционных событий начального периода нашего самарского житья бытья.

Другая дверь из библиотечной комнаты вела в коридор, а рядом с ней была еще одна дверь, вделанная в стену, определенно указывавшая на специальное ее назначение: эта зеленая, необычного вида, металлическая дверь вела в особое небольшое нестораемое помещение, размером приблизительно в одну квадратную сажень, выложенное из толстых стен, куполообразно сходящихся кверху. В этом помещении стоял большой нестораемый шкаф, где хранились деньги, документы, всякие драгоценности и ящики с серебром. Секрет вскрытия всех дверей и замков в этом «святая святых» нашего дома, кроме меня, знал только А.Д.Мещеряков и позже еще П.П. Бажмин. Пол был выложен цементными плитками. В октябрьские дни 1905 г., под влиянием всяких революционных событий и распускаемых слухов, началась среди населения сильнейшая паника: длинные «хвосты» стояли перед дверями Государственного Банка в ожидании выдачи вынимаемых из сберегательных касс золотых денег. Бывший в то время управляющим Самарским отделением банка, почтенный Александр Константинович Ершов, умный, обстоятельный делец, чрезвычайно ко мне расположенный, сам не уверенный в исходе нараставших революционных событий, посоветовал мне ваять некоторую часть имевшихся у меня в банке денег, и собственноручно передал мне через Мещерякова, на всякий случай, тысяч тридцать золотом.

Вторая дверь из вестибюля вела в коридор, из которого, с левой стороны, можно было пройти в две комнаты – одну большую с двумя окнами, и рядом другую поменьше – та и другая выходили окнами на дворовый садик. Комнаты эти занимала

моя мать: в большой она жила сама, а в смежной, небольшой, обитала ее верная прислуга Ольга Никифоровна. За ними шла внутренняя винтовая металлическая лестница, которая вела в верхний этаж.

Далее по коридору вправо были расположены т.н. «запасные» комнаты, которые впоследствии были превращены в спальню и классную комнату для сына Александра. Рядом с ними, по направлению во двор, была контора с особым наружным ходом, вслед за которой шли комнаты для женской прислуги, лакея и семьи повара. В самом же конце коридора находилась обширная кухня со всеми необходимыми удобствами, на которые Щербачев, любивший сам сладко покушать, обратил особое внимание. Около кухни, имевшей наружную дверь во двор, шла третья домовая лестница – каменная, соединявшая все три этажа, считая подвальный.

Парадный вестибюль в глубине заканчивался мраморной широкой лестницей, упиравшейся в виде площадки в большое красивое окно в дубовом солидном переплете с видом на сад, двор и службы. С означенной площадки лестница раздваивалась и подымалась таким образом до бельэтажа, образуя верхнюю площадку, с которой вход был прямо в залу. Дальше была бильярдная, где все, начиная с обоев, арматуры и кончая самим бильярдом, было в стиле своеобразно красивого модерна в темно-бордовых тонах. По всей комнате, вдоль стен, стояли различных форм и назначения столики для карт и для шахматной игры с креслами. Лучше всего был сам бильярд, специально сделанный для нашего дома известным Фрейбергом, из темного орехового дерева с резьбой и очертаниями в соответствии со стилем остальной обстановки. Не мало сражений на нашем бильярде происходило в обстановке, исключительно благоприятной для утоления жажды.

Столовая была отделана в готическом стиле с лепным, художественно украшенным потолком и вышла удивительно красивой и, вместе с тем, чрезвычайно уютной. Устраивая ее, я не предполагал, что мне когда-либо придется быть Губернским Предводителем и принимать в ней много народа. В ней умещалось за столом до 24 персон, а во время званых вечеров приходилось расставлять для ужина дополнительные столы в соседних комнатах.

Хороша была наша столовая днем, но еще эффектнее она казалась при вечернем освещении, когда расставленный по всем полкам и шкафам хрусталь, фарфор и художественное серебро, попеременно с призовыми кубками, рельефно выделялись на темном фоне.

Рядом со столовой была буфетная с подъемным аппаратом, по которому подавались кушанья снизу из кухни.

По переднему фасаду дома расположен был ряд комнат: зала, с обеих сторон которой примыкали две гостиные – одна была сравнительно небольшой, с выходившей на обширную террасу стеклянной дверью вместо окна; другая – большая, высокая комната с двумя окнами на улицу и стеклянной дверью для выхода на примыкавший к ней крытый балкон.

Огромная зала была отделана в строгом стиле «Ампир»; общий тон был палевый с еле заметной позолотой. Все в ней было парадно и красиво. Стильная мебель, – характерные, с овальными сплошными спинками и ручками диваны, легкие банкетки, кресла и изящные стулья были из светлого клена с позолотой и обивкой из палевого оттенка шелковой материи с золотым узором строгого стильного рисунка. В углу стоял перед одним из диванов около окна большой круглый стол из розоватого мрамора, над которым висела картина Судковского, а у внут-

ренной стены находился рояль Блютнера, специально заказанный мною для нашей залы, из того же белого клена. Над ним висела картина Лагорио с Венецианским видом. Чрезвычайно красивыми казались сами стены, с гляцевитым, под розоватый мрамор, «стюкком» и стильными колоннами.

Малая, т.н. «угловая» гостиная была вся отделана в стиле Людовика XV.

Другая гостиная – большая, служившая вместе с тем моей жене будуаром, была выдержана в стиле Людовика XVI. Благодаря мастерству и природному таланту архитектора Щербачева, недаром бывшего одним из любимейших учеников академика Бенуа, будуар этот в общем имел чрезвычайно парадный, красивый и уютный вид. Он был отделан весь в розоватых тонах, – в особенности хороши были обои (из Парижа полученные), шелковистого вида с тонкими гирляндами небольших розочек. Много в этой гостиной будуаре в свое время перебивало на приемах у Губернской Предводительши разного рода гостей и добрых знакомых. Немало порезвилась в этой комнате и детвора – своя и чужая...

Из залы был выход на балкон. На бумаге решительно невозможно пересказать всю красоту этого балкона и описать тот исключительный по живописности вид, который раскрывался перед ним на огромную ширь Волги, с проходившими по ней бесчисленными пароходами, и на всю ее заречную Жигулевскую темно гористую даль. Приятно было, сидя на этом балконе, любоваться расположенным на противоположном Волжском берегу Рождественским имением, столь дорогим для нас с Анютой по воспоминаниям. Даже осязая руками, все эти балюстрады, колонны и стены, сложенные из камня Рождественских же Жигулей...

Много этот балкон за нашу самарскую жизнь перевидал всяческого народа, не мало слышал он всевозможных бесед. С балконом этим связаны у меня и другие воспоминания.

В смутные дни революционного октября 1905 года я играл со своей милой детворой наверх в зале, и вышел на балкон отдохнуть и освежиться. Не успел я встать у одной из боковых колонн, как послышались из соседнего Струковского сада один за другим три выстрела. Пули просвистели мимо меня. Я отошел, перекрестился, вернулся к своим ребятишкам и с особой радостью поднял с ними забавную возню. Могло бы быть хуже! Это могло кончиться трагически. Встает в памяти и водевиль в связи все с той же революционной эпохой 1905–1906 г. г. В поздний летний вечер 1906 года, после одного из заседаний, сидела наша предводительская кампания на том же балконе. Несмотря на царствовавший в то время в Самаре террор, жертвами которого только что пали наш губернатор Блок и жандармский полковник Бобров, мы – предводители, держали себя бодро. Тревожная обстановка лишь содействовала нашему большому сближению и служебной дружбе. Была чудная ночь. Засиделись мы на балконе, беседовали и угощались крюшоном, который делали сами, отпустив за поздним временем прислугу. Кто-то из нас выкинул с балкона на улицу плохой апельсин. Занималась утренняя заря. Пора было расходиться. И вдруг с нашего балкона увидали мы кучку городских, осторожно, не без опаски подкрадывавшихся к лежавшему на улице небольшому кругленькому предмету. Видимо их служебное внимание привлек наш гнилой апельсин. Надо впрочем оговориться, что в описываемое время на меня то и дело готовились покушения, о чем, само собой, знала местная полиция, чем и объясняется ее служебное рвение.

Как я ранее упоминал, из жениного будуара дверь вела в нашу спальню – большую высокую комнату, с обоями и порттьерами светлого цвета и мебелью из великолепного белого клена. В ней было три окна, из которых два выходили на дворцовый проезд, а третье на балкон, примыкавший к гостиной. Дальше по коридору были две детские комнаты, с их кроватками, веселыми занавесками и игрушками, а еще дальше – огромная, солнечная игральная или «классная» комната. Рядом с ней была комната воспитательницы всех наших деток, почтенной мадам Дюбюргэ. Я был еще юным мальчиком, когда встретил ее в семье Беляковых в Симбирске, где она была гувернанткой при моей кузине и сверстнице – Мане. Затем она жила долгое время у кн. Трубецких в Москве. В 1906 году мадам поступила к нам, и почти 14 лет прожила с нами, как самый близкий член семьи. Она питала самую искреннюю любовь к нашим деткам и, по мере их подрастания, по очереди занималась со всеми шестерыми.

В описываемое время мадам Дюбюргэ представляла собой высокую, сутулую, седую старуху с красивыми, правильными чертами энергичного лица.

Заботливая, добрая, но вместе с тем, строгая, она отлично справлялась со всеми своими воспитанниками. Летом приучала их любить природу и землю, своим примером показывая детям, как надо ходить за садом, и особенно за ее любимыми цветами. Ей и ее маленькому пансионку я предоставил в нашем Головкинском саду целый угол. За несколько лет он стал неузнаваем: появились великолепные клумбы цветов, зацвели редкие сорта роз, флоксов и пр. Всегда можно было видеть почтенную мадам, с головой, прикрытой огромной соломенной шляпой, в ее саду, усердно работающей над своими грядками и клумбами,

окружавшими ее любимую зеленую, обвитую ипомеей, беседочку, где она, в тени берез, акаций и вязов, занималась с детьми и читала им вслух.

Часть VI.

Вызов в Петербург. Съезд губернских предводителей дворянства. Переезд в Самару. Беспорядки в Самаре. Манифест 17 октября. Революционное движение в селах. Встреча с Гучковым. Прием у Дурново. Беседа с Витте. Аудиенция у Государя. Партия порядка. Н.Н.Львов.

67

Не успел я оглянуться и отдохнуть в родном моем имении, как получился от Министра Внутренних Дел А.Г.Булыгина вызов меня, как Губернского Предводителя, в Петербург для совместного с другими Губернскими Предводителями совещания по поводу предстоявших, согласно Высочайшего Указа 6 августа 1905 г., выборов народных представителей в Государственную Думу.

Одновременно прислано было мне приглашение от Петербургского Губернского Предводителя Дворянства прибыть в тех же числах августа месяца на съезд Губернских Предводителей Дворянства.

Уезжая в столицу 11 августа, я назначил на 26 того же месяца собрание предводителей и депутатов у себя в Самаре, из расчета, что за две недели я успею в Петербурге все сделать, главным образом, представиться Государю в качестве только что избранного и утвержденного им Губернского Предводителя.

В Петербурге я остановился, как всегда, в Европейской гостинице, расписался у Булыгина, оставил карточку у Петербургского Губернского Предводителя гр. В.В.Гудовича и поспешил заехать в Церемониальную часть Министерства Двора, прося занести меня в первый же список лиц, желавших представиться

Государю. Во главе упомянутой части Придворного ведомства стоял Камергер В.В.Евреинов, милый и обязательный, но поразивший меня своим «паникёрством»... Пришлось невольно задуматься – неужели в столице, да еще в относительной близости к трону, все такие слабонервные господа?!

На другой день я пошел в здание Петербургского Дворянского Собрания, с его импозантной парадной лестницей, чудной колоннадой в зале и целой вереницей окружавших ее парадных комнат, сплошь завешанных художественно исполненными портретами Августейших особ, сановников, принадлежащих к столичному дворянству и петербургских губернских предводителей.

В одной из смежных с главной залой комнат я застал собравшихся на съезд членов. Меня встретил элегантный штатский – Петербургский Губернский Предводитель Дворянства, граф Василий Васильевич Гудович. Ранее он служил в Конном полку, а ныне состоял в должности Шталмейстера Двора Его Величества. Человек податливый, он, в описываемое время, находился под сильным влиянием своего Орловского коллеги – небызвестного Михаила Александровича Стаховича, под обаянием которого обретался и другой столичный предводитель, глава московского дворянства – кн. Петр Николаевич Трубецкой, с которым тотчас же меня познакомил Гудович.

Это был огромного роста широкоплечий мужчина с грузным, несколько мешковатым туловищем и сравнительно небольшой головой, покрытой густыми, коротко остриженными, темными волосами. Слегка смугловатое лицо Трубецкого можно было бы назвать даже красивым, если бы не портил его заметно обрюзгший вид и какое-то неопределенное полусонное выражение маленьких, словно медвежьих глаз.

Князь Петр Николаевич был человеком безусловно неглупым, в домашних делах хозяйственным, в общественных – опытным руководителем не без некоторой хитрости и даже умно замаскированного интриганства. Но вместе с тем, он страдал необычайной мягкотелостью и слабоволием не без доли изрядной лени.

В Москве он славился широким хлебосольством; сам не прочь был сытно и вкусно покушать и от доброго вина не отказывался. Был чрезвычайно обходителен, умел вокруг себя объединять, быстро, по русскому благодушному обычаю, переходил на «ты»...

Трубецкой являлся фигурой заметной не только по своему внешнему виду и по занимаемому им положению, а также по свойственному ему уменью «обхаживать» в общественном смысле людей... Недаром при образовании политических группировок в реформированном после 1906 года Государственном Совете члены его, образовавшие группу «центра», избрали князя своим председателем, каковым он оставался вплоть до своей трагической кончины (1910 г.) от руки племянника Кристи.

Но в самой Москве была группа дворян, во главе с Богородским Уездным Предводителем Александром Дмитриевичем Самариным, настроенная против своего Губернского Предводителя за чрезмерно проявляемую с его стороны податливость крайним левым элементам и склонность к компромиссу в делах, требовавших, по мнению вышеупомянутой группы, более стойких решений...

Спустя года полтора после описываемого съезда, в период т.н. реакции конца 1906 года и последующих за ним лет, Самаринское направление настолько усилилось, что кн. Петр Николаевич вынужден был сойти со своего московского престола,

уступив его своему противнику под предлогом усиленных работ в Государственном Совете.

Таким образом, с 1907 года князя Трубецкого заменил в качестве вновь избранного Московского Губернского Предводителя Дворянства Александр Дмитриевич Самарин, один из представителей известной семьи Самариных, родной сын Дмитрия Федоровича и племянник Юрия Федоровича, имена которых в семидесятых годах пользовались большим уважением и популярностью, как славянофилов, публицистов и организаторов крестьянского благоустройства.

В предводителях Самарин оставался до назначения его в 1915 году Обер-Прокурором Св. Синода.

Почти одновременно со мною, Александр Дмитриевич был пожалован егермейстерством, а после Романовских торжеств был назначен членом Государственного Совета.

Самарин был человеком вдумчивым, идейным и последовательным в своих словах и поступках. Глубоко религиозный и консервативный в лучшем смысле этого слова, он отличался необычайной стойкостью своих продуманных и твердо усвоенных убеждений. В открытом исповедании их, несмотря ни на что, он видел цель и правду своей жизни и службы. Вот отчего так трудно ему было нести свой крест на высоком посту Обер-Прокурора Синода в тяжелые времена разных темных влияний на Царя. Из-за небезызвестного Варнавы, Самарину пришлось уйти со службы с сознанием страшного грядущего.

Жили мы с Самариным дружно, нередко совместно исполняя сословно общественные поручения и обычно выступая в тесном единении наших взглядов на злободневные вопросы. В начале Великой войны 1914 г. мы работали рядом в краснокрестной тыловой организации.

Приблизительно в том же 1907 году в Петербурге также произошла смена губернских предводителей, и на место гр. Гудовича был выбран светлейший князь Иван Николаевич Салтыков, флигель-адъютант, в высшей степени симпатичный, гостеприимный, столичный Предводитель, радушно встречавший нас, – провинциалов, в своем известном особняке на Дворцовой набережной.

Я уже отметил, что князь П.И.Трубецкой, так же как и гр. В.В.Гудович, находились под заметным влиянием их близкого друга и коллеги по Орловской губернии – Михаила Александровича Стаховича, с которым пришлось мне тут же на августовском съезде познакомиться.

Довольно высокого роста, плотный, Стахович имел то, что называется «львиную наружность»: большое, мужественного выражения лицо, с густой, волнистой, темно-русой шевелюрой и окладистой бородой. Вся повадка Стаховича носила характер подчеркнутой самоуверенности, а глаза его – изжелта серые, под густыми «сычиными» бровями, имели смешанное выражение – природного ума и самовлюбленной... наглости.

Михаил Александрович был человеком безусловно способным и по своему талантливым. Он обладал даром красноречия, а главное, пылким темпераментом, который действовал на аудиторию, пожалуй, даже сильнее, чем сущность его речей. Мне лично не нравились его выступления по самой манере его говорить каким-то слегка гнусавым и опять-таки чрезмерно самоуверенным тоном. На многих он производил восторженное впечатление, особенно на дамскую среду, носившую его на руках и, надо думать, создавшую ему в свое время репутацию «неотразимого» оратора.

Как общественный и государственный деятель, Стахович являлся скорее человеком чувства и публичной карьеры, чем

здорового рассудка. Личное честолюбие и ставка на популярность затмевали остальное. У Стаховича все сводилось к тому, чтобы о нем говорили, чтобы все окружающее служило фоном для его «я». Вот почему, если вокруг замечалось «правое» течение, он становился левым, и наоборот. Среди губернских предводителей Михаил Александрович проповедовал ярый либерализм. Выбранный в левую первую Государственную Думу, этот беспочвенный фантазер выступал с реакционными речами, за которые получал угрожающие письма.

Моя собственная жизнь, с молодого возраста, складывалась и протекала в условиях деловых забот и ответственной работы. У меня, относительно людей, которых я встречал на своем сложном житейском пути, мало-помалу устанавливалась своя расценка, подсказываемая чисто практическими соображениями: я делил людей на две категории – на одних, которым бы я доверил ведение моих хозяйственных дел, и на других, которым я управление ими не дал бы... Первых я встречал сравнительно редко. Вспоминаются мне по этому поводу дружеские разговоры в Государственном Совете с рядом сидевшими моими друзьями: Александром Дмитриевичем Самариным и Дмитрием Николаевичем Семигравовым (Бессарабской губ.). Оба они были людьми дельными и хозяйственными.

Сидели мы в самом заднем ряду залы заседаний и могли видеть перед собой всех членов Государственного Совета. Нередко задавались мы вопросом, кого бы из этих, важно заседавших в великолепной зале Мариинского Дворца на своих мягких креслах, государственных мужей могли бы мы порекомендовать друг другу в управляющие нашими хозяйственными делами? Должен сознаться, что таковых людей из всех присутствовавших мы находили очень мало. Умных, говорливых, образованных и просто симпатичных было сколько угодно, но для

ответственного практического дела достойных людей выбрать было бы нелегко. Меж тем, для основательного и плодотворного государственного управления, я считал и продолжаю считать пригодными лишь тех лиц, которые оказывались способными вести практически разумно собственные хозяйственные дела.

С этой точки зрения нашей расценки, мы на Стаховича смотрели отрицательно.

68

Вернусь к дальнейшему своему повествованию о Съезде Губернских Предводителей Дворянства в августе 1905 г.

За большим овальным столом разместились съехавшиеся участники съезда и, выбранный председателем гр. В.В.Гудович. Ознакомив собравшихся с событиями последнего времени и, в частности, с Высочайшим Указом 6-го августа, он предупредил нас, что заседания съезда будут строго конфиденциального характера. Все предводители приветствовали эту мысль. Тут же раздались голоса, предложившие приступить к скорейшей выработке инструкций для председательской деятельности губернских предводителей при предстоявших выборах на местах.

Подобный порядок занятий был предложен людьми дела и практики. Но не так, к сожалению, понимали свои обязанности некоторые из наших сочленов. М.А.Стахович тотчас же выступил со страстной речью, в которой он горячо стал нападать на правительственные распоряжения, в резких выражениях критиковал Указ 6-го августа, требовал более совершенных форм народного представительства, призывал всех присутствовавших единодушно присоединиться к его голосу и, в конце концов, предложил обратиться к Царю с ходатайством о даровании

населению широких свобод, разумея под ними свободу совести, собраний, печати и пр.

Лично на меня все, в высшей степени темпераментное, выступление Стаховича произвело отрицательное впечатление, являясь чем-то расплывчатым, митинговым и неуместным. Подобные выкрики могли бы, может быть, повлиять на рядовую публику, возбуждая ее страсти и наталкивая на публичные эксцессы; но в данной обстановке, среди почтенных, облеченных доверием дворянских обществ, людей, призванных Государем в самом ближайшем будущем руководить на местах впервые проводимыми в стране выборами народных представителей, – подобное «митинговое» выступление казалось мне каким-то нелепым несоответствием, как с местом, так и с сущностью самого дела.

Стахович говорил в непререкаемом тоне и со свойственной ему самоуверенностью; он был избалован обычным отношением к нему аудитории и надеялся собрать большинство. Я был в нерешительности – просить мне слова или нет; во мне накопало желание «осадить» вредного для наших занятий болтуна, но я впервые принимал участие в столичном всероссийском съезде, состоявшем из старейшин дворянства. Хотелось сначала присмотреться и самому прислушаться к людям. Я с нетерпением ожидал чьей-либо отповеди по адресу орловского красnobая. Но никто не выступал, и Гудович, переглянувшись с Трубецким, был, очевидно, готов отступить от порядка обсуждения, предложенного им самим, и перейти к рассмотрению всех тех стаховичевских общих фраз, под влиянием которых находились некоторые из присутствовавших лиц. Я не мог больше сдерживаться и попросил слова. Не без волнения я заговорил, доказывая собравшимся всю неуместность и несостоятельность

предложения Стаховича, принятие которых повлекло бы за собой превращение нашего делового съезда в своего рода учредительное собрание с неопределенной, расплывчатой, конституционной программой. Обратившись к Стаховичу, я сказал, что о свободах говорить тогда только можно, когда одновременно будут для них установлены законом определенные границы, в противном же случае все эти объявленные им свободы, силою вещей, превратятся в сплошную анархию. Раздались со всех сторон сочувствующие мне голоса. В том же духе стали высказываться и другие предводители: Владимир Александрович Драшусов (Рязанский), Сергей Евгеньевич Бразоль (Полтавский), кн. Василий Дмитриевич Голицын (Черниговский) и др.

Стахович надменно дымил сигарой, отделивался короткими репликами, все время что-то нашептывая то Гудовичу, то грузному Трубецкому. Наконец, он встал и, подойдя ко мне, вызывающим тоном меня спросил: «Неужели Вы тот самый Наумов, который у себя в Самаре считался либеральным земцем, и о котором мне неоднократно говорил Ваш земляк, Николай Александрович Шишков?» Я счел за лучшее на эту наглую выходку никак не реагировать, но сознаюсь – мне это было нелегко, хотелось с этим господином иначе поступить.

Возмездие воспоследовало в ином виде – все высокопарные призывы Стаховича полностью провалились: огромным большинством было постановлено перейти к чисто деловой работе.

По окончании заседания, многие из присутствовавших проводили меня до моей Европейской гостиницы, зашли ко мне в номер и выразили мне чувство признательности за мое разумное и «трезвое», как они тогда выразились, выступление.

На другой день, просматривая газеты, я вдруг наталкиваясь на большую статью в Перцовской газете «Слово», специально посвященную нашему вчерашнему заседанию. Стахович в этой статье выставлялся в ореоле своего спасительного либерализма и государственной прозорливости, мы же все (моя фамилия была проставлена в первую голову) изображались заядлыми мракобесами, тормозившими обновление и оздоровление страны.

Я решил захватить с собой на съезд упомянутую газету, и при начале заседания обратился к председателю с запросом, каким образом, после его же предупреждения о конфиденциальности работ съезда, могла попасть в печать статья, с изложением существа происходивших прений и состоявшихся наших постановлений. Опять-таки, со стороны всех присутствовавших я встретил моему заявлению единодушную горячую поддержку. Смущенный Гудович заверил участников собрания, что секретарь Съезда Ю.Н.Милютин никаких информации в газетные редакции не давал. Тогда все обратили свои взоры на преспокойно дымившего сигарой Стаховича, но, конечно, от него, действительного виновника этого возмутительного акта, признания ожидать было нельзя. «Свои свободы» этот глашатай либерализма, очевидно, понимал «по-своему».

В последующих наших занятиях чисто делового характера Стаховичу участвовать было уже скучно и он большие на наших заседаниях не появлялся.

Вскоре мы получили от Министра Внутренних Дел Булыгина приглашение «пожаловать» к нему «на чашку чая» у него на даче. Мы были радушно приняты большим, грузным, с приятным барским лицом хозяином, просидев с ним часа два за непринужденной беседой. Мы передали ему выработанную нами на съезде схему предстоящих нам работ по руководству

выборами в Думу. Булыгин, с присущим ему ленивым добродушием, с нашей программой согласился. Милейший и симпатичный Александр Григорьевич, благодаря своей мягкотелости и всему своему облику, мало походил на министра – то был скорее добрый, благодушный барин-аристократ, которому подходило бы жить не на министерской даче, а у себя в просторной помещичьей усадьбе.

Глядя на рыхлого, благодушного Александра Григорьевича, как-то в голову не приходило ждать от него проявления решительной власти. Булыгин скорее лишь только числился Министром, носителем же действительной власти фактически являлся его Товарищ Министра Внутренних Дел, одновременно занимавший должность Петербургского Градоначальника, Свиты Его Величества генерал-майор Дмитрий Федорович Трепов.

Показательным подтверждением взаимоотношений Министра и его Товарища может служить следующий эпизод.

Как я ранее упоминал, тотчас по приезде моем в Петербург, я записался в список лиц, заявивших о своем желании предстать Государю. Как раз в это время Его Величество отбыл на своей яхте в финляндские шхеры, и список, в который я был занесен, вернулся в церемониальную часть с собственноручной отметкой Государя: «Приму тотчас по возвращении».

Прошла неделя, начиналась другая. Все наши предводительские заседания закончились, «чашка чая» у Министра тоже была выпита. Не раз я понаведывался у Евреинова, как обстоит дело с моим представлением; получался один и тот же ответ, что Государь еще не возвращался. Я начинал беспокоиться, ввиду тех исключительных заданий, которые возлагались на губернских предводителей, как на руководителей предстоящих

думских выборов. Помимо этого я, во что бы то ни стало, должен был спешно вернуться к себе в Самару, ввиду ранее назначенных мною на конец августа ряда собраний и совещаний, казавшихся дел серьезного местного значения.

Евреинов, видя мое беспокойство и не имея под руками сведений о том, когда возможно было ожидать возвращения Его Величества, посоветовал мне обратиться к Министру Внутренних Дел. При свидании с Булыгиным, я просил его, ввиду полной неопределенности времени возвращения Государя, устроить отсрочку моего представления Его Величеству до другого раза, а сейчас отпустить меня в Самару к моим срочным местным делам. Скруглив свои добрые, большие, карие глаза – очевидно, для пущей внушительности, мягкотелый, но милый Александр Григорьевич категорически отказался мне помочь. В силу состоявшейся Высочайшей резолюции, помеченной на моем списке, я должен во что бы то ни стало ожидать возвращения Государя. Мой самовольный отъезд будет сочтен для меня, как Губернского Предводителя Дворянства, да еще впервые представляющегося, неслыханным поступком, и он, Булыгин, предвидит за таковой всяческие серьезные для меня последствия.

Пришлось волей-неволей подчиниться, а из Самары одна за другой приходили телеграммы. Видимо, там стали голову терять. Я решил вновь отправиться к Булыгину; показываю ему кипу полученных мною депеш, еще раз объясняю, что при таких условиях я не смогу осуществить предвыборные мероприятия, которые намечены были на предводительском Съезде. Закончил я следующими словами: «ранее была одна – нормальная обстановка придворного этикета, ныне же, в силу известных и Вам, Министрам, и Государю, исключительных обстоятельств, переживаемых страной, обстановка эта представляется иной,

тоже исключительной, с чем и следовало бы считаться. Поэтому я позволяю себе еще раз просить Ваше Высокопревосходительство оказать мне содействие, в смысле заступничества перед лицом нашего Государя, и отпустить меня немедленно в Самару. Добрый Булыгин вновь закружил глаза, глубоко вздохнул и задушевым голосом промолвил: «Ну, знаете, единственно, что могу Вам в этом случае посоветовать! Поезжайте к градоначальнику Трепову, изложите ему все. Если он согласится доложить Его Величеству относительно Вас, можете спокойно ехать восвояси!» Я тотчас же поехал на Мойку, где проживал всесильный в то время Петербургский Градоначальник. К счастью, я застал его дома, и скоро был принят. Войдя в кабинет, я увидел перед собою высокого, бравого и статного средних лет генерала в свитском мундире. Его карие, прямо смотревшие, искренние глаза и весь его облик выдавали недюжинную энергию и волевой характер.

Трепов принял меня, стоя у окна. Пока я излагал ему о себе и создавшемся для меня затруднительном положении, он пристально всматривался в мое лицо. Закончил я свое обращение просьбой взять на себя труд доложить Его Величеству, что я ему только что передал, и что вынуждало меня спешно ехать к себе в Самару. «Я убежден, – добавил я, смотря также прямо в глаза понравившемуся мне Трепову, – что Государь, узнав правду, меня помилует!» Генерал молодецкато одернулся, улыбнулся и, протянув руку, сказал: «Поезжайте с Богом и будьте покойны! Все будет сделано!» При этих словах мне захотелось крепко обнять этого бравого человека за высказанное им твердое обещание меня выручить.

Через два дня я был у себя в Самаре, в окружении своих дорогих местных друзей сотрудников, и все мы рьяно принялись за ответственную и спешную работу.

Но прежде чем о ней говорить, мне хотелось бы добрым словом помянуть то теплое отношение, которое проявлено было ко мне со стороны многих, впервые со мной познакомившихся на съезде, моих новых коллег – губернских предводителей, с которыми пришлось за время совместного нашего пребывания в Петербурге, не только близко, но и дружески сойтись.

69

Назначенное мною на конец августа собрание предводителей и депутатов, я использовал, главным образом, для обсуждения двух основных вопросов: о наилучших способах ознакомления населения с предстоящими выборами в «Государственную Думу 6 августа», и о судьбе доставшегося мне наследия от А.А.Чемодурова, в виде выстроенного обширного дворянского пансиона-приюта, против которого я всемерно восставал в бытность мою еще уездным предводителем, и относительно которого я представил на усмотрение собрания специальный свой доклад о необходимости превратить предполагаемый дворянский пансион во всеобщую гражданскую гимназию, с определенным количеством (36) стипендий для детей неимущих местных дворян. К моей великой радости, доклад этот был единогласно принят, и я решил срочно подготовить все необходимое для внесения одобренного уездными предводителями депутатами доклада на ближайшее экстренное дворянское собрание.

По первому вопросу был намечен целый ряд желательных мер, возложенных на всех уездных предводителей дворянства, для возможно полного объединения землевладельческого клас-

са перед выборами в Государственную Думу, и для ознакомления остального населения, в целях избрания наилучших крестьянских представителей.

Покончив с этими срочными делами, я поспешил в Головкино, с которым пришлось в половине сентября всем нам временно, на зиму, расстаться. Моя мать, боясь шумного общества, решила ехать не с нами, в Самару, а в Казань, к вдове моего брата Димитрия – Ольге Наумовой. Я не стал ее отговаривать и настаивать на нашей совместной жизни в Самаре, сам не зная, во что эта жизнь выльется. Потом я лишь Господа Бога благодарил за то, что нервной моей старушки не было с нами в революционной и терроризированной Самаре. После лета 1907 года, в более спокойное время, мама нас не покидала, участвуя в общей нашей благополучной семейной жизни.

С конца сентября вся наша семья поселилась в Самаре, в новом нашем доме.

Как этот первый переезд, так и все последующие, всегда совершались на пароходе, ходившем между Головкиным и Самарой.

Семья наша с годами все разрасталась; впоследствии стала ездить с нами и мама со всем своим окружением, так что, бывало, я снимал на Дружбинских пароходах весь первый класс и часть кают второго, куда размещал многочисленный штат нашей прислуги. Само собой, для этого путешествия заготавлился заранее огромный запас всяческой провизии, и совершенно по-домашнему мы располагались в уютных пароходных помещениях. Это была чудная неустойчивая прогулка, среди живописнейшей природы родной нашей красавицы Волги. Хлопот с этими переездами бывало немало, зато отдых на пароходной палубе был сладок.

Итак, во второй половине сентября 1905 года, Самарский дом, наконец, дождался своего назначения и раскрыл свои гостеприимные двери для приема семьи, состоявшей в то время из жены и четырех деток – малюток: Марии – шести лет, Анны – пяти, Ольги – трех и крошки Александра – одного года, при котором состояла няней Екатерина Зайцева со своей племянницей – белокурой Женей.

Остальная прислуга была почти все та же: верный мой камердинер Никифор; преданная чета Огневых – повар Владимир с женой Анной Гавриловной – портнихой и их маленьким сыном, шалуном Аркашей; затем рябая, с громовым голосом, прачка Марья Тихоновна, две Дуняши – одна для нашего с женой услужения, другая для буфета, и швейцар Николай Киселев.

Красивый, белокурый, статный Николай, одетый в нарядный русский костюм – поддевку и высокие лакированные сапоги – нес безукоризненно свою швейцарскую нелегкую службу, ограждая в смутные революционные 1905 1906 годы мою жизнь, а в последующие года – мой покой и здоровье. Он знал, кого принять, и кому отказать.

Городские кучера у меня менялись, но не могу не вспомнить моего первого – известного на всю Самару – Кузьму, носившего страшную кличку «Соловья Разбойника», очевидно полученную им в силу огромного роста и дородства. В конце октября 1905 года начались в Самаре т.н. профессиональные забастовки, организованные комитетами, члены которых ходили из дома в дом, разнося агитационную литературу, развращая пропагандой прислугу, восстанавливая ее против нанимателей и пр. Представители кучерской организации пришли к нам на двор, заставив нашего Кузьму идти на «заседание рабочего трибунала». Не забуду, как эта бородатая черно-красная громада

пришла ко мне в кабинет за советом. «Пришли, барин, – пробасил недовольным голосом Кузьма, – негодяи – меня «снимать». Требуют, чтобы я шел в ихний трибунал... Как прикажете? Могу их всех в миг прогнать!» Я посоветовал ему идти, чтобы не дразнить эту публику. Привели Кузьму на заседание, оказавшееся заправским митингом из «профессионалов» кучеров и всякой уличной рвани. Какой-то мохнатый тип, конечно, понятия о том, как держать вожжи, не имевший, председательствовал. Каждого «снятого» выволакивали на стоявший по середине помост и опрашивали, какие условия его службы, как относится к нему хозяин, сколько получает, какую получает еду и пр. Забрался на этот помост и наши колосс Кузьма. Стали его засыпать расспросами... И вот, к злобному разочарованию всех собравшихся, революционный трибунал услышал из громогласной глотки Наумовского служащего настоящую, отборную, кучерскую ругань, но только не по адресу своего хозяина, как все того ожидали, а по их собственному. Наш «Соловей-Разбойник» заявил, что харчей таких, как он получает у своего «барина», никто из них не едал и во век не отведаст»... Бросившихся на него со всех сторон с кулаками «товарищей» он легко под себя подмял и затем гордо покинул «профессиональное заседание».

Пришлось ему потом за свое «вызывающее» поведение подпадать под уличный «бойкот», выражавшийся, между прочим, в том, что при проезде нас забрасывали камнями, но мой Кузьма относился к подобным выходкам явно презрительно.

Конец сентября и начало октября прошли у меня в устройстве и приспособлении под жилье нашего нового дома, который, видимо, и всем моим семейным и самарским знакомым чрезвычайно понравился.

Моя жена ближе всего сошлась с семьей Шишковых. Мои семейные стали мало-помалу знакомиться с самарским обществом, в частности с семьей Вице-Губернатора Владимира Григорьевича Кондоиди. Это был благороднейший человек, добрейшей души, глубоко религиозный и стойкий в своих консервативных убеждениях. Он получил прекрасное образование, много читал, хорошо владел пером и мог быть интересным собеседником. Будучи человеком долга, Кондоиди весь отдавался своей службе, проявив себя серьезным и полезным работником. Когда на самарском небосклоне появился, вместо Брянчанинова, г. Засядко, для губернаторских обязанностей человек совершенно неподготовленный, то первое время Кондоиди, со всей присущей ему добросовестностью, «натаскивал» протезе князя Мещерского, усердно знакомя его со сложными и ответственными функциями новой должности.

70

Вскоре после нашего переезда в Самару, наступили тревожные и мрачные времена, возникшего с октября того же 1905 года, революционного лихолетья.

Началось это с памятного для меня вечера 13-го октября. У меня сидел в гостях Губернатор Засядко, с которым мы сначала мирно беседовали, а затем стали сражаться на бильярде. Было около десяти с половиной часов вечера, когда вдруг появляется полицмейстер Критский, с бледным, встревоженным лицом, и просит Губернатора сойти вниз, в мой кабинет, для принятия экстренного его доклада. Оказывается, пока мы, ничего не подозревая, играли на бильярде, на Дворянской улице произошла уличная демонстрация с участием рабочего люда, для разгона которой был вызван усиленный наряд полиции, вступивший с

демонстрантами в бой. В результате возникшей перестрелки один из рабочих – некий Кораблев – был убит и тут же подобран его товарищами. Уличная свалка кончилась, но общее настроение в городе создалось тревожное.

Засядко тотчас же с полицмейстером куда-то уехал. Это был последний раз, что он был в нашем доме.

Убийство Кораблева послужило началом самарских беспорядков, как бы сигналом для появления целого ряда революционных организаций, забастовочных, профессиональных, рабочих, воинских, во главе с т.н. «комитетом общественной безопасности». Очевидно, все это было заранее подготовлено, ждали лишь первого удобного случая, чтобы появиться на волевой свет.

На другой же день после ночной демонстрации стали появляться в городе какие-то подозрительные банды, с наглыми руководителями во главе, которые обходили частные дома, опрашивая прислугу. Через некоторое время банды эти стали с утра собираться около загородного т.н. «Молоканского сада». С пением революционных песен, целыми полчищами, беспрепятственно проходили они по главным улицам. Благодаря полнейшему бездействию растерявшейся полиции, они стали забираться в присутственные места и, под аккомпанемент неистовых улюлюканий, аплодисментов и хулиганских выкриков «снимали» служащих силком заставляя их бросать работу и выходить к ним на улицу. Дело дошло до того, что разъяренная уличная толпа подобным образом поступила даже со всем составом – высшим и низшим – служащих Окружного Суда. Господь оградил от такого бесчинства и позора вверенное мне присутственное место – канцелярию Дворянского Депутатского Соборания. Мною были заблаговременно приняты все возможные

меры для охраны драгоценнейших наших документов и родословных книг самарского дворянства. Я спрятал их во моей домово́й несгораемой кладовой.

Одновременно, в Самаре начались вспышки забастовки. Жизнь в городе изо дня в день заметно теряла свой нормальный уклад. Недобрые слухи доходили и о ненадежном настроении квартировавшей в Самаре запасной артиллерийской бригады, недавно вернувшейся с Дальнего Востока. Помимо нее в городе стояла еще сотня надежных Оренбургских казаков под командой доблестного подполковника Кременцова, но казаки вынуждены были пока бездействовать в силу общей растерянности губернского начальства.

Засядко засел на своей даче, расположенной наискосок от нашего дома и со всех сторон забаррикадированной всевозможной стражей, разговаривая со всеми лишь по телефону. Между тем улица продолжала все наглеть... Убитому рабочему Кораблеву устроены были торжественные гражданские похороны. Тысячная толпа запрудила всю Дворянскую улицу, неся открытый гроб, обернутый в красный кумач.

Впереди, во всю ширину улицы, болталась на шестах широкая алая лента, на которой значилась надпись: «Долой самодержавие! Долой кровавого Николая!» Процессия, под аккомпанемент революционных напевов и выкриков, демонстративно шествовала мимо Губернского Правления, у одного из окон которого занимался в своем кабинете Вице-Губернатор Кондоиди. Услыхав уличный шум, Владимир Григорьевич взглянул на кораблевские похороны, прочел надписи и, как передавали очевидцы, впал в обморочное состояние – нервы не выдержали... Вообще, бедный Кондоиди, убежденный монархист и, вместе с тем, человек нервный и впечатлительный, тяжелее других переживал описываемый мною период, полный возмутительных

выходок против всего, что он, как и многие, привык с детства свято чтить и исповедовать – против Веры, Царя и Отечества...

Помимо этого, упоминаемое время было исключительно тяжким для всех нас еще и потому, что в силу нашей оторванности от далекого столичного центра, мы на местах, как верно-подданные своего Государя, должны были превращаться в слепых исполнителей многочисленных указов и манифестов, для всех нас совершенно неожиданных, подчас крайне неопределенных, но коренным образом менявших наш привычный государственный уклад.

Согласно Указу 6-го августа 1905 года, губернские предводители взяли на себя инициативу принять меры для успешного хода предстоящих выборов, и содействовать широкому ознакомлению крестьянских масс с сущностью вышеупомянутого Указа, а также и объединению землевладельческих групп и приглашению всех заинтересованных слоев населения к наилучшему использованию предоставленных ему избирательных прав, согласно выраженной в означенном Указе Высочайшей воле. В таком смысле мною было заготовлено обращение к Самарскому населению; утром, 17-го октября 1905 г., я принес его к Губернатору Засядко для утверждения его редакции, имея в виду после сего отпечатать его и разослать по губернии. Засядко принял меня у себя в кабинете, видимо чем-то необычайно взволнованный, с бледным лицом, весь трепыхающийся. Я в нескольких словах ознакомил его с моей просьбой и через стол передал ему заготовленный мною проект обращения. Молча, нервной рукой вручает он мне в обмен какую-то бумагу.. Развертываю и... читаю телеграмму, содержащую текст манифеста 17-го октября 1905 года. Впечатление получилось действительно ошеломляющее... Мне ничего не оставалось делать, как возвратить губернаторскую бумагу по принадлежности, а свою

взять обратно, – мое обращение стало очевидным анахронизмом... «Булыгинская» Дума канула в вечность.

С высоты Престола провозглашалось коренное изменение основ самодержавного строя, но опять-таки в столь неопределенной редакции, что сразу же с появлением упомянутого манифеста, во всей стране, среди самых разнообразных слоев населения возник ожесточенный спор: одни были уверены, что самодержавие Царя осталось в полной своей неприкосновенности, другие считали, что власть Государя отныне должна быть признана ограниченной новыми основными законами. Лично про себя должен сознаться, что первое впечатление по прочтении текста манифеста получилось у меня определенно одно: самодержавие кончилось и объявлена конституция. Такое же мнение высказал и Засядко. Расставаясь, я сказал ему: «Ну, Ваше Превосходительство, пожелаем друг другу благополучной жизни при новом конституционном режиме... Одно меня беспокоит: не слишком ли далеко скакнул наш Питер в сторону?! Как бы удержаться?!»... Засядко криво усмехнулся, и, схватив себя за голову обеими руками, трагически прошептал: «Что-то будет?!»

На меня объявление Манифеста произвело сильнейшее, далеко не утешительное впечатление. Прежде всего, несомненно выявилось поражение правительства – его бессилие, и торжество улицы. Вся эта скоропалительная столичная конституционная кухня на заграничный лад была мне не по душе и меня немало страшила. Вместо преобразования на демократических началах родного, полезного во всех смыслах земства и естественного развития его до широко государственного масштаба и значения, Манифест повторял уличные выкрики о раз-

ных свободах и, санкционируя их, обещал стране дать что то совершенно для нее новое, неиспытанное и ничем не связанное с прежним государственно бытовым укладом страны.

В основе своей, несмотря на изданный манифест 17-го октября и воспоследовавший за ним избирательный закон, я продолжал оставаться тем, чем был ранее и чем по сие время состою – убежденным сторонником широкого земского представительства. Оно намечалось мною в таком виде: Волостное Земское Собрание из волостных гласных и избранная им Волостная Земская Управа. Далее шло Уездное земство, т.е., Собрание, Управа. Затем – Губернское Земство, и наконец, в центре и наверху страны – Государственное Земское Собрание, избиравшее Государственную Земскую Управу с Председателем – Государственным Старшиной и членами.

Вышеупомянутые Земские Собрания, начиная с волостного и кончая Государственным, должны подразделяться на обыкновенные, или очередные, и экстренные. Компетенция первых должна была заключаться, главным образом, в рассмотрении годовых отчетов и смет, причем все собрания должны были носить сессионный характер. Сроки созыва очередных собраний мною предполагались следующие:

Волостные Собрания должны были созываться в половине сентября на один – два дня, Уездные – в конце октября – на три – шесть дней, Губернские – в декабре на 2-3 недели; Государственное – на январь, февраль и март месяцы.

Благодаря установлению сессионности Государственного Собрания, возможно было бы приобщить к управлению страной лучшие русские силы, не нарушая их уклада – ни семейного, ни хозяйственного...

Привел я свои былые мечтания потому, что еще раз хотел подчеркнуть свое коренное несочувствие всем тем иностранным шпаргалкам, которые положены были чиновным Петербургом в основу первого российского народного представительства. Нам, местным людям, приходилось испивать те лекарства, которые нам преподносил далекий чуждый Питер и которые подчас болезненно трудно переваривались народным организмом... Манифест 17-го октября, никого в конце концов не удовлетворил и лишь усугубил смуту 1905 года. Народное представительство нужно было нашей России, но «свое», бытовое – именно земское.

В моей личной жизни этот знаменательный день издания октябрьского манифеста сыграл решающую роль... Из прежнего, как меня ранее считали, «либерального» земского деятеля, я превратился в человека, всемерно старавшегося противостоять начавшемуся политическому сползанию в неизвестность, дальнейшим уступкам революционному времени и безудержной уличной вакханалии, чуть не повлекшей за собой полный паралич государственной жизни страны. Короче говоря – после 17 октября, из либерала я, силою вещей, превратился в консерватора, а по мнению бесчинствовавшей «улицы» – даже в злейшего реакционера.

Вместе с тем, с того же памятного дня, сами обстоятельства заставили меня срочно образовать из всех местных крепких и государственно устойчивых сил особую политическую партию и встать во главе в качестве ее руководителя.

Случилось это следующим образом. 17 октября надо было, согласно постановлению Самарского дворянства, отслужить обычный молебен в здании своего Собрания в память чудесного избавления Государя Императора Александра III-го и всей

Его Августейшей семьи от грозившей им опасности при железнодорожном крушении у ст. Борки. В Самаре было тревожно. Власть бездействовала, улица нагнела, всюду происходили грабежи, убийства, «снятия» служащих, слухи самые фантастические, в городе царствовал террор, слышалась повсеместная стрельба. Меня обстреляли в моем же доме на балконе.

Большинство городских жителей было в панике. Больше всего напуган был Начальник Губернии. Его, как и всех дворян, проживавших в Самаре, я письменно пригласил присутствовать на молебне в Дворянском Собрании... Потом подтвердил приглашение по телефону. Начал с Засядко. Спрашиваю, не забыл ли он мое приглашение? Получаю ответ, что ему невозможно приехать – завален работой. Я тогда ему ставлю на вид, что выезд в Собрание потребует от него не более часа времени, и что его появление именно в переживаемую смуту не только желательно, но и необходимо. Привожу целый ряд доводов к тому. Засядко колеблется; в то время с ним еще возможно было говорить и мне на него влиять. Неделью спустя, он очутился всецело во власти образовавшегося в Самаре революционного «Комитета общественной безопасности». Я ему намекнул, что вряд ли на «верхах» одобряют подобное отношение Начальника Губернии к приглашению дворянского общества. Ответ последовал нервный и односложный: «Постараюсь, Ваше Превосходительство!» Спрошенный далее по телефону Вице-Губернатор Кондоиди уведомил, что он не преминет приехать. Надо отдать справедливость почтенному Владимиру Григорьевичу: во все время самарских неурядиц, он держал себя всегда стойко, мужественно и с полным достоинством. С другими дворянами я переговаривал, убеждая их, именно в переживаемое опасное время, быть бесстрашными носителями своих шпаг и мундиров. За самарского

Уездного Предводителя – графа А.Н. Толстого я не боялся и был уверен, что он будет.

В конце концов, молебен сошел благополучно, при сравнительно большом количестве собравшихся дворян. Присутствовали также и Засядко с Кондоиди, причем первый не молился, а все время оглядывался.

После отъезда начальствующих лиц, я обратился к дворянам с кратким, но прочувствованным словом, в котором призывал их не поддаваться паническим настроениям, познакомил их с текстом только что изданного Манифеста и предложил им чаще собираться в нашем Дворянском Собрании, с целью обсуждения создавшегося положения вещей и ради нашего объединения. «Такое объединение», – сказал я, – укрепит наши силы и придаст нам всем подъем, столь необходимый для предстоящей жизни и деятельности – ведь на людях и смерть красна!» Этим я закончил свое обращение к дворянам, встретившее с их стороны единодушное сочувствие. Решено было собраться на другой же день, т.е. 18-го октября.

Весть о сказанных мною в Собрании словах быстро распространилась среди городских жителей, и на следующий день в зале Дворянского Собрания, наряду с проживавшими в Самаре дворянами, появилась многочисленная депутация от инословных граждан – землевладельцев, домовладельцев, торговцев и т. п. с просьбой приобщить и их к нашему объединению. Переговоривши предварительно со своими дворянами, я от имени всех нас, с радостью протянул им руку, пригласив их к участию в наших собраниях. Ближайшим результатом этого объединения получилось образование под крышей Самарского Дворянского Дома особой партии – т.н. «Партии Порядка на началах Манифеста 17-го октября».

Но прежде чем останавливаться подробнее на описании состава, программы и самой деятельности этой новообразовавшейся партии, я постараюсь вспомнить чередовавшиеся в Самаре события, происходившие после 18-го октября, придерживаясь, по возможности, хронологического их порядка.

Наступили один за другим дни соборного торжественного служения: 19-го октября – по случаю объявления манифеста 17-го октября; 20-го – годовщина кончины Императора Александра III, и 21-го – восшествие на престол Государя Николая II-го. Надо сознаться, что посещать все эти службы и появляться в мундирном облачении в соборе, совершенно пустовавшем, вследствие разраставшегося в Самаре сильнеешего террора, было в достаточной степени неприятно.

Я, как и некоторые другие видные губернские чины, получал в то время почти ежедневно подметные письма с предупреждением о готовящихся на меня покушениях. Со временем я стал привыкать к этим анонимным угрозам, но в описываемые дни я не был еще в этом отношении достаточно тренирован...

В связи с соборными службами вспоминается мне один эпизод, сильно встревоживший мою жену. Уехал я в собор, а в это время приходит в наш дом к детям учительница музыки. Очевидно не отдавая себе отчета, кому говорит, и не зная, может быть, о моем присутствии на молебствии, она имела неосторожность сообщить жене, что по дошедшим до нее слухам в соборе только что была брошена бомба, причинившая немало жертв... К счастью, вскоре я вернулся домой жив и невредим...

За церковными службами нам с почтенным В.Г.Кондоиди много пришлось передумать и переживать. 19-го числа, на объявлении в соборе манифеста 17-го октября, приходилось считаться с его текстом и приучать себя к мысли об ограничении самодержавной царской власти. В день 20-го октября – при

молитвах за упокой души Императора Александра III, вспоминался мощный облик Императора – истого, уверенного в себе Самодержца, а на другой день, 21-го октября – мы должны были возносить свои молитвы по поводу восшествия на Престол того Государя, который только что коренным образом изменил основу самодержавного строя страны... Происходила невероятно мучительная, тяжелая ломка – если можно так выразиться – всего нашего «присяжного» нутра, т.е. всего того, на верность чему мы все. присягали при вступлении нашем на царскую службу...

Меж тем революционные события в Самаре разворачивались все шире и сильнее. Забастовки разрастались под руководством особого комитета, где усиленно действовал один из самарских присяжных поверенных – достаточно бездарный, но наглый и крикливый Глядко.

Город раскололся на два враждебных лагеря – сторонники одного продолжали неистовствовать в духе ложно понятых «манифестных свобод», сея вокруг себя хулиганщину и анархию; другие, в противовес первым, ходили с царским портретом и пели «Боже Царя храни», беспощадно избивая своих противников и выкрикивая: «Да здравствует Самодержавие!», Центром последнего движения служил т.н. «Троицкий» базар. Полицейская власть бездействовала и куда-то бесследно исчезла.

Одновременно, якобы для восстановления городского порядка, появляется и изо дня в день усиливается быстро сорганизовавшийся Самарский Губернский Комитет «Общественной безопасности», в состав которого вошли такие лица, как А.К. Клафтон, игравший в нем главенствующую роль; нотариус М.С.Афанасьев; ряд местных присяжных поверенных; кое какие господа из газетных редакций крайне левого направления

(вроде «Волжского Слова»); вновь прибывшие откуда то революционные гастролеры; представители других, выросших как грибы, революционных организаций и наконец, кое-кто из паникерствующих городских «буржуев», пожелавших своим вступлением в означенный комитет перестраховаться от возможных революционных эксцессов и неожиданностей... Из таких лиц вспоминается мне бывший в описываемую эпоху председателем Биржевого Комитета Александр Григорьевич Курлин, молодой человек с большими средствами, податливый и болезненно нервный. К комитету пристроился и Н.Д. Батюшков.

Заседания комитета сводились к определенной программе, а именно – к захвату в полном объеме власти, в согласовании с подобной же деятельностью однородных комитетов в других губернских центрах России. Само собой разумеется, что самарский комитет общественной безопасности ничего не предпринимал для подавления происходивших в городе безобразий по «съемке» и закрытию присутственных мест.

На площади перед Окружным Судом, откуда «сняли» всех служащих, образовался многочисленный митинг с возмущительными выкриками по адресу Царя и правительства. Один субъект залез на бронзовый, во весь рост, памятник Императора Александра II, сел верхом на царские плечи и бил своими нечестивыми лапами по государеву лицу...

Что же делает в это время губернатор? Он, очевидно, из подлого чувства самосохранения, начинает подпадать под влияние нагло действовавшего клафтоновского комитета. Он высылает на площадь отряд оренбургских казаков, но, очевидно, лишь для видимости, ибо дает определенный приказ – никаких насилий не чинить и не стрелять... И вот, на глазах высланных и выстроившихся, честных по своей присяжной службе казаков,

наглец продолжал издеваться над священным для русских людей обликом Царя Освободителя; безнаказанно раздавалась площадная ругань, оскорблявшая то, что являлось святыней для верноподданного русского человека.

Командовавший казачьим отрядом подполковник П.И. Крененцов, честный службист, человек долга и присяги, не выдержал, увел своих казаков обратно в казармы и приехал ко мне сам не свой. «Не могу дольше терпеть!» – с отчаянием жаловался мне Кременцов, да и мои казаки, вернувшись в казармы, побросали на пол свои винтовки, «заявив, что незачем давать в руки оружие, если нельзя защищать Царя и Отечество... и они правы». Каково было мне и им всем терпеть, стоя на площади и видя происходившее перед нами безобразие! Нет! довольно нам слушаться этого предателя Засядко! Я честный казак, и, – клянусь Вам – без всяких Засядок – впредь буду сам со своими казаками расправляться со всей этой уличной сволочью... А Вы, Ваше Превосходительство, надеюсь, меня поддержите и не оставите!» Весь облик Кременцова, одетого в казачью, синюю с серебром, форму, дышал недюжинной энергией и беззаветным мужеством. Он это потом блестяще доказал.

По мере того, как неистовства улицы усиливались, и нормальная жизнь в городе все больше нарушалась, почти все присутственные правительственные места перестали функционировать. Оставалась нетронутой только одна моя канцелярия... Вечером 19-го того же «смутного» октября произошло памятное заседание на даче у губернатора, который, наконец, надумался устроить совещание начальников всех губернских ведомственных отдельных частей, чтобы обсудить злободневный вопрос, как оградить присутственные места от насильственного закрытия их уличными бандами, и какие принять меры к скорейшему восстановлению нормальной деятельности.

Собралось человек пятнадцать в небольшой приемной комнате губернаторского летнего помещения, окруженного со всех сторон вооруженной стражей, с Критским во главе. Бледный, с темными зловещими синяками под воспаленными, бегающими глазами, Засядко в этот раз проявил прямо-таки болезненную нервность. Пригласив всех приступить к обсуждению предложенных им вопросов, он уселся в кресло, приставленное спинкой к единственному окну, выходившему на театральную площадь и прикрытому глухими ставнями.

Я сразу увидел, что Засядко ничего определенного предложить не собирается. Остальные же тоже отмалчивались. Тогда я выступил со своим предложением немедленно принять решительные меры против уличных скопищ, там, откуда они появляются, а именно около «Молоканского» сада. Там революционные банды сговариваются, оттуда беспрепятственно расходятся по всему городу.

Не успел я свое заявление окончить, как сидевший около губернатора, председатель Биржевого Комитета, истерично завопил: «Ага! Наумов таки договорился до своего – он крови народной хочет!»

На это я спокойно, но внушительно заметил: «Довольно! здесь не комитет «вашей» безопасности, и не уместно мне слушать ваши митинговые выкрики». Обращаясь затем к губернатору, я заявил: «А вас, ваше превосходительство, прошу, как председателя, оградить наше заседание от подобных истеричных воплей. Я скажу лишь одно: лучше вовремя пролить каплю крови, чем допустить со временем целые потоки ее. Предупреждаю вас всех, господа, что если мы не станем путем применения огнестрельного оружия защищать себя и вверенные нам учреждения от засилья революционных бесчинствующих элементов, то, поверьте, они сами начнут в нас стрелять»...

Не успел я окончить, как за спиной губернатора раздалось на площади один за другим, два резких выстрела, Засядко ша-рахнулся со своего стула и опрометью бросился внутрь дома, Критский выбежал на улицу, остальные все тоже повскакали со своих мест и моментально куда-то скрылись. В миг никого в приемной не осталось, за исключением нас троих – Кондоиди, Кременцова и меня. Переглянувшись друг с другом и осмотревшись вокруг себя, мы улыбнулись и все трое прошли через улицу ко мне.

Оказалось, что проезжавшие на извозчике мимо губернаторской дачи пьяные мастеровые, заметив многочисленную вокруг нее стражу, решили, ради потехи, «покуражиться». Их выстрелы совпали с моими предупреждениями и заставили спрятаться все губернское начальство, с принципалом во главе.

А Кременцов, покачивая седоватой головой, приговаривал: «Ну, и публика! Ну, и начальство! Ну, и губернатор!» Через день после этого я узнал о возмутительном случае с почтенным В.Г.Кондоиди, которому под влиянием всех пережитых им событий, дум и душевных страданий, пришло в голову набросать, исключительно для себя и своих ближайших друзей, своего рода «исповедь», в связи с появлением конституционного октябрьского манифеста, нарушившего все, что он так свято чтит и чему присягал. Этой откровенной исповедью он хотел поделиться со своими интимными единомышленниками, и не стесняясь называл все своими именами. В ней можно было найти упрек правительству, не сумевшему сохранить в целости российское самодержавие; там же указывалось и на зловердное влияние еврейских элементов и т.д.

Кондоиди имел неосторожность поручить отпечатать свое произведение губернской типографии, предварительно ознако-

мив с его содержанием губернатора. Засядко, прочтя, столь сочувственно отнесся ко всему изложенному, что обнял автора, похвалил и даже облобызал его... как потом оказалось, «иудиным» поцелуем.

И вот, в Царский день, 21 октября, во время вечернего театрального представления, из губернаторской ложи, в отсутствии ее хозяина, кем-то стали выбрасываться целые кипы отпечатанных листов, за подписью «Вл. Кондоиди», с содержанием всей его откровенной и интимной исповеди. На другое утро такие же листки были разбросаны по всему Троицкому базару.

В то же утро полицмейстер Критский явился со срочным докладом к Засядке, и предъявил ему экземпляры вышеупомянутых листов. Одновременно с ним, к тому же Засядке явилась депутация от комитета общественной безопасности, в лице Клафтона, Афанасьева и Глядкова, с жалобой на действия «черносотенного агитатора – Кондоиди», с требованием немедленного удаления его с должности самарского вице губернатора. Упомянутая делегация предложила Засядке срочно телеграфировать гр. Витте, грозя в противном случае самим приступить через того же Витте к ликвидации «вредной для общественной безопасности деятельности г. Кондоиди».

В то же утро, несколько позднее, ко мне по телефону обращается, видимо сильно взволнованный, Кондоиди, с убедительной просьбой приехать к нему для переговоров. Засядко тоже телефонирует мне о всем случившемся. Я посоветовал ему немедленно вызвать к себе Кондоиди для объяснений, высказав уверенность, что все случившееся является ничем иным как преступной и возмутительной провокацией. К сожалению, Засядко меня не послушал и, не переговорив с Кондоиди, испол-

нил настойчивое требование комитета общественной безопасности: он телеграфировал в Петербург Витте, изобразив поведение самарского вице-губернатора в заведомо извращенном виде.

71

Приблизительно в тех же двадцатых числах октября революционное движение перебросилось из города в деревню, то там, то сям стали образовываться «сельские республики», вроде Старо-Буяновской, Красноярской и др., с президентами – самыми отчаянными деревенскими бунтарями, во главе. Одновременно вспыхнули аграрные беспорядки, сопровождавшиеся поджогами и безжалостным уничтожением помещичьих усадеб, хуторов и всего инвентаря, включая всякую живность. Были случаи, когда у всех жеребых маток на конских заводах распарывали брюха, а у молодняка перерезали горла...

В нашей губернии подобное возмутительное варварство началось в Бугурусланском уезде, с обширной экономии генерала Х.Х.Роопа. Оттуда эта разрушительная революционная лавина, не встречая на своем пути никаких препятствий, разлилась широкой полосой, приблизительно в 200 верст, к северо-западу губернии, захватив часть Самарского, Ставропольского, Бузулукского и Бугульминского уездов, причем было сожжено дотла, разгромлено множество культурнейших и ценнейших хозяйств.

В нашем Ставропольском уезде подверглись тому же бедствию все экономии гр. Орлова-Давыдова и старинная господская усадьба гр. Орлова-Давыдова. Громилы не пощадили даже память умершей добрейшей старушки Е.А.Сосновской, в свое время сделавшей много добра всей деревенской округе. Над ее

могильной плитой в церковной ограде, озверелые от пьянства участники разгрома устроили возмутительную оргию.

Также пострадали и другие помещики.

Разразившиеся повсеместно по Среднему Поволжью аграрные беспорядки, сопровождавшиеся пожарищами или «иллюминациями», как сказал один из модных в то время ученых публицистов, член Государственной Думы, Герценштейн, организовывались и протекали почти повсюду в одном и том же порядке. Откуда-то появлялись никому неизвестные гастролеры-агитаторы, большею частью молодежь, руководимая чьей то опытной рукой. Не мало среди них бывало студентов. Являлись все они не без денег, и выбирали в губернии для своей деятельности места, где население было больше подготовлено к восприятию их агитаторских призывов.

Надо сознаться, что работа этих господ была рассчитана умно. В нашей губернии они очень удачно выбрали экономию Роопа. Ее молодой хозяин – столичный смазливый хлыщ – все делал, чтоб довести местное крестьянство до состояния полной и открытой ненависти к своему «барину». Стоило появиться двум агитаторам, как все село встало на ноги и пошло «пускать красного петуха» в господскую усадьбу.

После начального разгрома обычно снаряжался целый походный обоз, набиралось своего рода добровольческое войско, куда входил наиболее праздный и худший элемент деревни. Под водительством особо избранных «атаманов», в число которых попадали, чаще всего, заезжие гастролеры-агитаторы, импровизированное полчище передвигалось дальше по пути намеченных к уничтожению барских хозяйств и усадеб.

Одновременно, или даже заблаговременно, по всей губернии появлялись царские манифесты, отлично отпечатанные, с

гербовыми орлами и прочими императорскими атрибутами. Эти подложные манифесты широко распространялись среди малограмотного и темного крестьянского населения, которое слышало, что в манифесте 17-го октября говорилось о каких-то «свободах».

В своих записках я уже отмечал, что основным несчастьем нашего социально государственного уклада являлась разъединенность между столичным центром и нашей глухой провинцией. Между ними не было живого, здорового, взаимного общения. Петербург, издавая за 1904 1905 г. г. ряд указов и манифестов исключительной важности, не позаботился установить такую организацию на местах, которая в срочном порядке и разумно разъясняла бы истинный смысл царских распоряжений, включая и манифест 17-го октября. Оставленную без внимания пустоту поторопились заполнить проворные и сметливые подпольные революционные организации. Как только пошел среди населения слух о каком-то царском «вольном» манифесте, не успели еще батюшки раскататься и объявить его с амвона церковного, а по крестьянским рукам уже ходили золотом отпечатанные подметные листки, также под наименованием царских манифестов. Сущность же их была такова: Царь обращается к верному и надежному крестьянскому сословию, призывает его на помощь и приказывает избавить страну от помещичьего рабства и гнета. Для сего Государь Император предоставляет крестьянству полную «свободу» забирать все «господское» добро и искоренять вредное дворянско-помещичье сословие.

В некоторых манифестах царь налагал на крестьян обязанность – в течение трех суток забирать или уничтожать все помещичье добро. Подобные манифесты способствовали только распространению аграрных беспорядков и губительной дея-

тельности бродячих грабительских банд. На своем разбойничьем пути они в нашей губернии препятствий не встречали: полиция уездная против подобных пугачевских шаек была бесстрашна. Что же касается воинской защиты, то Засядко, как губернатор, поступал самым возмутительным, даже преступным образом. Он отказывался наотрез высылать на места войска для водворения порядка и прекращения грабежей. Имевшиеся в его распоряжении воинские части он, под давлением все того же «Комитета общественной безопасности», уступил в распоряжение соседних губернаторов. Так, значительные воинские силы перешли от нас к Начальнику Саратовской губернии – энергичному П.А.Столыпину.

Дело охраны нашей губернии обстояло невероятно плохо, – даже преступно... С нервно больным Засядко невозможно было говорить. Как только кто-либо из предводителей, земских начальников или из землевладельцев начнет просить его выслать для ограждения уезда от разбойничьих шаек хотя бы небольшой отряд вооруженных людей, этот горе губернатор затыкал себе уши, дрыгал ногами и бормотал отказ, закрываясь от просителей газетой «Matin», обычно сопутствовавшей ему во всех случаях его службы... Бедная наша помещичья губерния продолжала гибнуть и гореть, пока, наконец, не пришла подмога от чужого – Казанского губернатора (Рейнбот), предоставившего одному нашему крупному землевладельцу, К.Г.Маркову, небольшой вооруженный отряд для защиты его богатейшего имения, расположенного в самом центре Ставропольского уезда. При усмирении не обошлось без нескольких жертв. Зато вся банда, как местные зачинщики, так и приезжие гастролеры, были сразу выданы властям крестьянами.

На севере губернии, в Бугульминском уезде, были они остановлены, исключительно благодаря энергии и решительности одного из местных помещиков, Быкова, крупного лесовладельца, постоянно проживавшего в своем имении, удалого охотника и смелого по натуре человека. Когда грабительские банды со всеми повозками, походными снаряжениями и разным воровским добром, расположились огромным станом недалеко от границы Быковского поместья, хозяин последнего, не имея надежды на какую-либо, тем более правительственную, помощь, решил действовать самостоятельно, отлично сознавая, что в противном случае его ожидает участь других разоренных его соседей. Несколько смельчаков, из преданных его служащих, ночью подкрались к вражьему стану, ловко из него извлекли двух упившихся негодяев и повесили их на опушке Быковского леса на самом видном месте, как раз недалеко от грабительских банд. Около каждого повешенного виднелась большими буквами исписанная бумага, в которой значилось, что, если воровской стан вовремя не уберется, то со всеми остальными будет поступлено так же.

Быковская мера спасла не только его, но и остальную уцелевшую часть уезда, в том числе и нашу «Софьевку», от ожидавшегося безжалостного разгрома.

К тому времени, благодаря нашему Самарскому объединению и образовавшейся партии порядка, стали наниматься землевладельцами за их счет стражники, в большинстве случаев набиравшиеся из Оренбургских казаков. Почти повсеместно была организована самозащита. Тем не менее, общее положение в губернии продолжало оставаться крайне тревожным и для обывателей небезопасным.

Земские начальники из местных землевладельцев, не находя поддержки в губернском начальстве, должны были один

за другим, из опасения всяких случайностей, покидать не только службу, но и насиженные свои родовые гнезда. До сих пор вспоминаются мне тяжелые сцены, когда ко мне приходили разоренные дотла дворяне-помещики, вынужденные со всеми своими семейными спасаться от безнаказанно и беспрепятственно разбойничавших мужиков.

Меня мучило мое бессилие... К Засядке я перестал обращаться: было бесполезно и противно, так как около него бесменно дежурил кто-либо из членов «Комитета общественной безопасности», большей частью, сам Клафтон, с злорадством относившийся к помещичьим погромам с «иллюминациями». Было ясно, что влияя на губернатора, фактически городом и губернией стал управлять революционный комитет. На его сторону передалась запасная артиллерийская бригада, численностью до 8.000 нижних чинов. К ним присоединился офицерский состав из 36 человек. Казармы превратились в сплошные митингующие собрания. Офицеры, лишённые денщиков и других своих привилегий, превратились в терроризованных исполнителей солдатского озлобленного большинства. Дисциплина исчезла, учения не производились, все было поглощено ненавистью против начальства, «господ», «дворян» «помещиков» и пр. Желанными гостями стали революционные агитаторы. Подчинялись они только «Комитету общественной безопасности».

Создалась невероятно тяжелая для нас всех обстановка. Зарождалось серьезное опасение за дальнейшее будущее. На наших начальных собраниях объединения порядка, имевших место в стенах Дворянского Собрания, мы пришли к убеждению, что одной только помощи, которую мы оказывали уездным и городским собственникам, нанимая для них вооруженную стражу – недостаточно для борьбы с воцарившейся анар-

хией. Происходившие вокруг нас события привели нас к неминому заключению, что основой создавшегося катастрофического положения вещей в губернии является отсутствие в Самаре сильной, твердой правительственной власти, которая могла бы затушить революционное пламя, беспрепятственно раздуваемое противоправительственными самозванными комитетами.

Наше объединение привлекало многих серьезных деловых лиц из всех слоев населения, собрания проходили всегда с большим подъемом. На них начал впервые выступать М.Д.Челышев, впоследствии Самарский депутат и городской голова, небезызвестный на всю Россию «апостол трезвости». Он носил русский костюм, говорил громко, горячо и складно, был человек темпераментный и энергичный. На наших собраниях он требовал немедленной замены Самарского губернского начальства настоящими твердыми людьми, обладавшими гражданской стойкостью и достаточной решительностью.

По предложению Челышева и целого ряда других лиц, партия порядка обратилась ко мне с просьбой взять на себя труд скорейшего оздоровления создавшегося в губернии ужасного положения и принять те меры, которые я сочту наиболее целесообразными. Подполковник Кременцов со своими казаками также настаивал на необходимости убрать Засядко, прикрывавшего собой самарские революционные организации, видимо готовившиеся к решительному наступлению.

При виде всего, вокруг нас в городе и губернии творившегося, я сам сознавал, что настало время быстро реагировать на все происходившее, включая зловедную деятельность губернатора... Но для этого надо было ехать в Петербург. На пути к осуществлению этой поездки, передо мной вставало два пре-

пятствия: прежде всего разраставшиеся железнодорожные забастовки, расстроившие сообщение по Самаро-Рязанской магистрали; а затем и другое, чисто личное, обстоятельство. Меня охватывало чувство страха при мысли о необходимости покинуть свою семью в столь исключительно тревожное время.

Как раз в эти дни разраставшегося уличного террора, брат моей жены, Михаил Ушков, проживавший со своей семьей против Самары в своем Рождественском имении, решил в самом начале ноября спастись от революционных событий. Он настаивал, чтобы и я забрал всех своих и возможно скорее покинул «страшную» Самару. Само собой я ответил за себя лично категорическим отказом, указав, что именно в такое тревожное время я не имею права бросить на радость своим врагам службу и начатое дело объединения людей порядка. Что же касается жены с детками, то я предоставил самой Анюте решить этот вопрос. Как ни уговаривал брат сестру, она осталась верна своему решению – неразлучно быть около меня, что бы ни случилось.

Надо сознаться, что перед тем, как решиться ехать в Петербург, во мне происходила довольно мучительная борьба между велением служебного долга и чувством мужа и отца. Победило первое. В этом отношении мне помог мой старый и верный ангел хранитель, добрый наставник и советчик И.П. Кошкин. Видя мои колебания, он долго со слезами на глазах умолял меня тотчас же ехать в столицу, явиться прямо к Государю и все ему откровенно высказать. Помню заключительные слова старика: «Государь, выслушав Вас, узнает всю правду и сделает, что нужно»...

В конце концов у меня сложилось бесповоротное решение ехать в Петербург, раскрыть Царю всю правду о том ужасе, который происходил на местах, и подсказать затем, кому нужно,

меры восстановления в стране нормального порядка, а в частности, в отношении нашего Самарского края, потребовать смены негодного, запуганного губернатора.

72

В первой половине ноября, на мое счастье, наступило некоторое улучшение в железнодорожном сообщении и, помолвившись совместно, с Анютой у чудотворной иконы Смоленской Божьей Матери, я благословил семью и отбыл в грязном и заплеванном вагоне в далекий Петербург.

Невозможно описать всей той ужасной обстановки, которая меня окружала во время моего путешествия до Рязани, особенно на сызранском перегоне. Все находилось во власти каких-то озверелых людей, возвращавшихся с Дальнего Востока в грязных шинелях и рваных «манчжурках» (высоких солдатских шапках). Все места, включая и первый класс, были ими вплотную набиты. Станции, начиная с Сызрани и до самой Рязани, носили следы новых временных хозяев железнодорожного пути и сообщения.

Везде была страшная вонь и невылазная грязь, повсюду лишь слышалась площадная ругань и пьяные выкрики... Впоследствии, приблизительно месяца полтора спустя, состоялась специальная командировка небезызвестного генерала барона Меллера-Закомельского, для приведения в порядок этой главной железнодорожной артерии Москва–Рязань–Сызрань–Самара и дальше на Сибирь. Результат принятых им решительных мер сказался быстро. Весь путь, со всем его подвижным составом, станциями и пр., стал неузнаваем. К январю 1906 года все было чисто прибрано и приняло нормальный вид.

В Москве я на день задержался и успел повидать интересных для меня в смысле политической ориентации и осведомленности лиц, каковыми я считал в то время Александра Ивановича Гучкова и Николая Алексеевича Хомякова. В доходивших до нас столичных газетах оба эти имени часто попадались нам на глаза, и у меня составилось о них понятие, как о людях умеренно консервативных, собиравшихся организовать партию на началах Манифеста 17-го октября и, вместе с тем, достаточно стойких, чтобы выдержать натиск крайних левых организаций.

Гучкова я нашел в одном из московских банков, в его директорском кабинете. Не понравились мне его большие, скрытые за пенснэ, карие глаза, несомненно умные, но с каким то неопределенно загадочным выражением. При разговоре Александр Иванович часто отводил глаза в сторону, и редко смотрел прямо. Встретил он меня приветливо, обо многом расспрашивал и поделился своими планами образовать партию 17-го октября, основать в противовес левой печати правую умеренную газету и пр. В общем, я вынес о нем тогда впечатление, как о человеке дела и энергии.

Не таким показался мне милейший и симпатичный Николай Алексеевич Хомяков, спокойно и лениво проживавший у себя в старинном небольшом особнячке на Собачьей площадке. Говорил он медленно, немного шепелявя. В его облике, в его поведении и разговоре, чувствовалась не то усталость, не то барская лень. Гучков говорил решительно и определенно, а Николай Алексеевич ко всему прибавлял сослагательную частицу «бы», выражаясь приблизительно так: «Хорошо бы объединиться... надо бы газету свою завести»... и т.д. Он был в ужасе от того, что творилось на «Руси-матушке». Узнав цель моей поездки, он отечески благодушно проводил меня напутственными пожеланиями: «Ну, дорогой, поезжайте с Богом! Да хранит Вас Господь!»

Добрался, наконец, я до Петербурга и до своей Европейской гостиницы. 12-го ноября являюсь на прием к Министру Внутренних Дел Петру Николаевичу Дурново, занимавшему в то время помещение на Мойке. В продолговатой комнате, увешанной портретами бывших министров, его предшественников, скопилось множество всяческого народа. Через некоторое время растворилась дверь, и вышел небольшого роста штатский господин пожилых лет. Из-под густых мохнатых бровей смотрели пронизательные, умные, прикрытые пенснэ глаза. Общее выражение лица было скорее мало к себе располагавшим. Это был сам Министр Внутренних Дел Дурново. Быстро обходил он собравшихся в его приемной лиц. С одними он кончал тут же, с присущей ему манерой резко и обрывисто и спрашивать, и высказывать свои резолюции. Других же он приказывал своему секретарю отмечать для отдельного их приема у себя в кабинете. К этой категории Петр Николаевич и меня сопричислил.

Не прошло и получаса, как в приемной осталось не более двадцати человек, которых начали поочередно впускать в обширный министерский кабинет, заставленный по стенам шкапами и с огромным письменным столом.

Войдя в этот кабинет, я вспомнил свой недавний разговор около окна с Дмитрием Федоровичем Треповым, который уже стал дворцовым комендантом.

Дурново любезно пригласил меня сесть и попросил ознакомить его с тем, что происходило в нашем далеком Самарском Поволжье, оговорившись, что он этим очень интересуется. При взгляде на него, я сразу заметил резкую перемену, происшедшую с ним после того, как он очутился у себя в кабинете. Передо мной сидел не тот сухой, резкий сановный бюрократ, который только что торопливо пропустил мимо себя в своей приемной целую шеренгу разных депутаций и просителей, а человек с

приветливо умным выражением усталого лица, приготовившийся терпеливо и внимательно выслушать издалека приехавшего провинциального общественного деятеля. Петр Николаевич предупредил меня, чтоб я не торопился, а все обстоятельно ему изложил. Своим обращением у себя в кабинете Дурново сразу же сгладил во мне первое неприятное впечатление. Не спеша, сознавая всю важность нашего разговора, я стал последовательно излагать ему все, согласно обдуманному мною заданию.

Нарисовав ему картину самарского террора, охарактеризовав личность Губернатора Засядко, его преступное бездействие, зависимость от революционных организаций, возмутительное его отношение к Кондоиди, я, от имени губернского землевладельческого и городского собственнического класса, объединившегося в Самарскую партию порядка, просил Дурново принять решительные меры к немедленному увольнению Засядко и к справедливой реабилитации Кондоиди. Петр Николаевич обещал сделать то и другое. В отношении последнего оговорился, что назначение Кондоиди на соответствующую должность он сможет сделать лишь несколько позднее, по соображениям тактического свойства. С особым вниманием отнесся он к моему указанию на необходимость принятия со стороны Петербурга определенных мер для заполнения пропасти между столичным центром, издававшим ряд манифестов исключительной важности и далекой провинцией, часто не понимавшей истинного смысла и значения возвещаемых с высоты Престола реформ. Я подчеркнул, что революционные подпольные силы пользуются этим и заполняют деревню антиправительственной литературой и словесной пропагандой, подготавливая аграрные беспорядки. Дурново, видимо, был моими словами сильно

встревожен. Надо думать, что он обо всем этом впервые слышал, – очевидно, Засядко был верен себе и ничего не доносил.

На вопрос министра, каково мое мнение по поводу установления связи Петербурга с деревней, я сказал, что хорошо было бы немедленно организовать на местах комитеты для охраны порядка, а также для ознакомления населения с реформами, особенно с сущностью Манифеста 17-го октября. Комитеты – уездные и волостные – могли бы быть образованы из местных общественных деятелей: предводителей, земских гласных и волостных представителей. Но прежде всего требовалось восстановить на местах, в частности у нас в Самаре, твердую и стойкую власть.

Дурново моим докладом очень заинтересовался. Он предупредил, что сообщит обо мне Председателю Совета Министров графу С.Ю.Витте, и просил, если он меня вызовет, повторить ему все свои соображения и предположения. Когда Петр Николаевич узнал от меня, что я должен представляться Государю, то он весь как то просиял, взялся сам исхлопотать для меня скорейший Высочайший прием и настойчиво меня просил доложить Его Величеству все то, что он только что выслушал от меня. «Вы этим окажете общему делу величайшую услугу... Там наверху мало что знают»...

Вскоре я получил приглашение от Витте быть у него в 12½ часов дня 18-го ноября.

В назначенный срок я явился к всемогущему в то время российскому властителю, занимавшему отведенный ему в Зимнем Дворце обширный апартамент. Войдя со стороны Дворцовой набережной в подъезд, я на лифте поднялся во второй этаж, где был встречен молодым чиновником. Манеры его отличались необычайной вкрадчивостью и чисто кошачьей изворот-

ливостью. Чиновником этим оказался прославившийся впоследствии при Штюмере Манусевич-Мануйлов. Он меня любезно усадил и просил немного подождать, объяснив, что у графа в кабинете находится депутация тульских общественных деятелей.

В описываемое время из всех концов Российской Империи стекались в столицу разного рода люди и депутации – одни ища объяснения сложного политического положения вещей, создавшегося благодаря манифесту 17-го октября, превратившего страну в сплошной лагерь неистовых споров и догадок, – другие бросились к бюрократическим верхам с кипой всяческих проектов, надеясь найти свое счастье и карьере в водовороте обещанных конституционных реформ. Стекались в Петербург и вышибленные из колеи российские обыватели, вроде меня, которые решили со столичной колокольни крикнуть на всю матушку Россию зычным голосом: «Караул, грабят! Спасите! Дайте настоящую сильную и твердую власть, объясните стомиллионному крестьянству, что Царь на самом деле хочет сделать на благо народа и страны!»

Не мало времени я высидел в приемной, пока тот же чиновник не подошел ко мне, и, приняв вежливо почтительную позу, не сообщил мне вкрадчиво: «Граф просит Вас пожаловать 20-го ноября, если его сиятельство не будет экстренно вызван в Царское». Меня это сильно раздосадовало, и в довольно резкой форме я заявил Мануйлову, что я не просил Витте меня принять, а он сам меня вызвал к себе и заставил даром прождать. Вторично попасть в подобное положение я, как Губернский Предводитель, желания не имею, о чем и прошу довести до сведения графа. Мануйлов развел ручками и, склонив голову, просил меня успокоиться, обещав все устроить и и оградить меня от повторения такой случайности.

Из Дворца я поторопился прямо проехать на званый завтрак к Брянчаниновым, не успев даже переодеться и скинуть свой предводительский мундир. Они на меня накнулись с упреками за мою непростительную неосторожность и бестактность, о которой – спаси Бог – через Мануйлова, гр. Витте узнает! Это показывало, каким влиянием пользовался в описываемое время Портсмутский замиритель и создатель октябрьского манифеста.

Я решил, что если я для Витте представляю некоторый интерес, то он вызовет меня еще раз, что и случилось. На другой же день я получил повторное приглашение явиться к Витте в 3 часа дня 20-го ноября. На этот раз обстановка моего приема оказалась совершенно иной: по отношению ко мне была проявлена полная предупредительность, и в условленный час, без всякой задержки, я был впущен в длинный и мрачный кабинет российского диктатора.

В глубине комнаты на сумеречном фоне большого, единственного, незавешенного окна, еле вырисовывался силуэт российского диктатора.

Кабинет, куда я вошел тонул в сероватом мраке, и лишь благодаря тусклому просвету окна, выходившего на Дворцовую набережную, я мог ориентироваться и подойти неслышно по толстому мягкому ковру к примеченной мною около стола человеческой фигуре, которая при моем приближении вяло, неохотно приподнялась и протянула длинную, слегка трясущуюся руку. Очевидно, передо мной был сам прославленный граф Витте.

Пригласив меня жестом сесть на кожаное кресло, стоявшее за углом его обширного стола, заваленного кипами бумаг и папок, Витте сначала выжидательно молчал, на что я отвечал тем

же. Затем он как-то нервно передернулся и надменно повелительным голосом мне бросил: «Что вам нужно?» Помню, как мне вдруг захотелось броситься опрометью вон из этого мрачного кабинета, отойти скорее от отталкивающей фигуры российского временщика и его бездушных, неприветливых слов! Но я поборол свое чувство и заставил себя сдержанно ответить: «Разрешите, с моей стороны, вас, граф, спросить: что вам от меня нужно? Я в свой приезд в Петербург не имел в виду вас беспокоить...» Тогда Витте, продолжая опираться головой на свою трясущуюся руку, все тем же холодно-надменным голосом произнес: «Мне Петр Николаевич Дурново передал, что у вас имеется какой-то проект?» На что я заметил, что никаких особых проектов у меня нет, а если ему, Верховному Министру, интересно знать, что творится у нас в далекой провинции, то я сочту своим долгом пересказать ему все то, о чем я докладывал Министру Внутренних Дел.

Тогда Витте дал мне понять, что он готов меня слушать... Я обрисовал в кратких чертах все происходившее в нашем Самарском Поволжье, деятельность революционных организаций, и указал на срочную необходимость, для борьбы с ними, создать из общественных местных сил комитеты порядка. До той поры как бы совершенно безучастно слушавший меня Витте откинулся на спинку кресла, замахал своими длинными костлявыми руками, и резко прервал меня врезавшимися в мою память словами: «Ну, знаете! довольно мне ваших общественных сил! У меня на местах имеются свои верные агенты – исправники, становые и прочие чины полиции... Поверьте, их совершенно достаточно, чтобы провести в жизнь все мои указы и распоряжения!»...

Его наглость и самоуверенность до того меня возмутили, что я, забыв всяческие виттевские высоты и брянчаниновские

предупреждения, резко ответил: «При таких взглядах, само собой, мое предложение не может иметь места. Позволю себе, однако, высказать вашему сиятельству мои соображения: в России существует граф Витте, но его сила действительна лишь тогда, когда он будет опираться на общественные элементы и их доверие»... С этими словами я встал и повернулся к выходу...

Витте меня остановил, любезно предложил мне вновь сесть и попросил меня представить ему письменно мой проект образования общественных комитетов. Я пытался уклониться, сославшись, что могу лишь повторить то, что мною было доложено Дурново и его сиятельству... На это Витте заметил, что он и этим немногим удовлетворился. Тогда я ему сказал: «Ваше сиятельство ежедневно получаете со всех концов России такую массу проектов и докладных записок, что лучше избавить себя и меня от этой литературы»... «Нет, убедительно прошу вас, набросайте мне и, если возможно, – к завтрашнему дню»...

Таков был окончательный ответ Витте на мои настойчивые просьбы освободить меня от какого-либо писательства. Пришлось согласиться, и я уже собрался встать и прекратить затянувшуюся аудиенцию, но Витте снова меня задержал с удвоенной любезностью.

Разговор возобновил сам Витте по поводу инцидента, случившегося с В.Г.Кондоиди. Оказывается, ему все подробности доносил не только Засядко, но и на «черносотенного» вице-губернатора жаловался ряд всяких, якобы общественных организаций. Само собой, все доходило до него в извращенном виде. Я был рад восстановить самарские события в действительном их и всестороннем освещении. Как потом говорил П.Н.Дурново, означенный мой доклад сослужил немалую службу, освободив Самару от негодного Губернатора и восстановив доброе имя

Кондоиди, получившего потом видное назначение в члены Совета Министра Внутренних Дел.

Прием мой у Витте затянулся; в кабинете совершенно стемнело, и хозяин, наконец, зажег у себя на столе высокую лампу под зеленым абажуром, сразу осветившую весь его облик. Я был поражен необыкновенно усталым, вернее сказать, измученным видом его осунувшегося лица и утомленным выражением тусклых глаз...

У меня явилось непреодолимое желание узнать лично от самого Витте его авторитетное мнение по поводу основной спорной сути сочиненного им Манифеста 17 октября.

Разрешите, ваше сиятельство, несмело обратился я к нему, – задать вам перед моим уходом вопрос, волнующий всех нас, российских обывателей... Не откажите выяснить, осталось ли после обнародования Манифеста 17 октября в полной своей неприкосновенности Царское Самодержавие?

На это Витте, не задумавшись, твердым голосом ответил: – «Безусловно – нет!»

Не раз вспоминались мне эти с убеждением высказанные краткие слова, когда впоследствии приходилось прочитывать произведения того же гр. Витте, хотя бы о земстве, где он с той же твердостью и уверенностью отстаивал незыблемость Российского самодержавия...

Откланявшись, сопровождаемый хозяином, я пошел по длинному кабинету к выходу. Перед самой дверью он меня задержал, повернул кнопку, осветил всю комнату и завел речь о том, что он сейчас чрезвычайно занят комплектованием подходящими людьми губернаторских мест, и что такие люди, как я, были бы крайне для него желательны. Я поблагодарил за лест-

ное обо мне мнение, но категорически уклонился от предложенной мне чести, ставя свое губернское предводительство выше всяких остальных должностей. При этих словах Витте нервно передернуло, – он был недоволен моим отказом. Открыв передо мной дверь, он бросил мне вслед: – «Итак, до завтра!»...

Общее впечатление от приема получилось у меня довольно тяжелое и далеко не утешительное. Сама личность Витте и его обхождение мне глубоко не понравились. Общепризнанный ум Премьер-Министра показался мне не то тусклым, не то чем-то подавленным; во всяком случае, ни здоровой заинтересованности, ни творческой живости я в нем не усмотрел. Его мыслительные способности, как мне показалось, носили печать заметного переутомления и затемнялись чрезмерной самоуверенностью. По-видимому, он не был в достаточной степени уравновешенным человеком, и казался способным, под влиянием тех или других ощущений, быстро менять свои мнения и оценки. Он не мог проявлять в полной мере того рассудительного такта и необходимой выдержки, которые должны быть присущи большому государственному деятелю.

Но наиболее горький осадок оставил во мне заключительный намек Витте, его желание завербовать меня в губернаторы. Мне показалось, что это – попытка подкупить видной губернской должностью смелого провинциального общественного деятеля, да еще одетого в ненавистный ему дворянский предводительский мундир. Пишу определенно – «ненавистный», на основании тех откровенных мыслей в «Воспоминаниях гр. С.Ю.Витте», где он не иначе, как с явной ненавистью отзывается обо всем, что, так или иначе, касалось помещичье дворянского сословия и быта.

О своем губернаторстве я вскоре услышал от управлявшего в то время Министерством Путей Сообщения ближайшего сотрудника графа Витте – Немешаева. Мне пришлось быть у него по поручению самарцев и ходатайствовать о скорейшей разгрузке самарского железнодорожного узла. Министр вдруг меня спросил, можно ли меня приветствовать с назначением губернатором. Получив отрицательный ответ, Немешаев высказал свое удивление и сожаление, добавив, что о моем назначении он слышал от самого Витте... Очевидно, последний не терял надежды заполучить меня в «свои агенты».

Что касается моей записки, то ее я набросал вечером того же дня, когда состоялся мой прием у графа Сергея Юльевича. Писал я ее в своем номере в присутствии князя П.Н.Трубецкого, который всецело одобрил мысль и редакцию всего мною изложенного. Согласно уговору, записка эта была передана мною графу Витте на другой же день.

В те же приблизительно числа я заехал к Министру Юстиции Михаилу Григорьевичу Акимову. Вид у Акимова был нездоровый и неприветливый, говорил он обрывисто и резко. Все его слова и замечания носили характер до крайности пессимистичный. Но он выказывал твердое намерение принимать самые решительные меры для борьбы с революционными эксцессами.

Я указал на несоответствие между податливостью и слабостью одного видного самарского судейского деятеля с занимаемой им должностью. Мои слова встретили в Министре живой отклик. Выслушав ряд данных, коими я обосновал свое заявление, Акимов, сделав у себя на столе отметку, своим глухим голосом сказал: «Таких господ я более 24 часов не держу. Благодарю вас».

Получив повестку о приеме меня Государем 23-го ноября, я решил на другой же день после моего представления ехать обратно к себе в Самару, где общее положение изо дня в день ухудшалось, и мое присутствие там было необходимо, ради служебного дела и оставленной на произвол судьбы семьи.

Имевшееся в моем распоряжении время я использовал в целях ознакомления своего с разными начавшими образовываться на столичном рынке политическими течениями и объединениями. Наиболее интересными мне показались совещания, подготовлявшие Партию 17-го октября или т.н. «Октябристов».. Я присутствовал при нескончаемых спорах о понятии «конституционализм», о возможности подвести под тот или другой его вид российский октябрьский манифест с его туманной, но многообещавшей редакцией; подымался вопрос о необходимости создать противореволюционную печать. Вопрос этот был не только важным, но основным в борьбе с разнузданностью ложной истолкованной «свободой печати», которая изо дня в день развращала улицу, деревню и всю страну... Но для ее осуществления нужны были крупные средства, а их не было.

Надо было в описываемое время видеть и слышать на Невском проспекте, что продавалось уличными книгоношами, какие возгласы при этом раздавались на каждом уличном перекрестке. За несколько дней пребывания в царской столице я набрал огромную коллекцию всего того безобразного государственно развратного, что «свободно» предлагалось публике, гулявшей по главным уличным артериям. Тут были уличные газеты с циничным содержанием, с памфлетами на государственных деятелей. Рядом встречались красочные юмористические журнальчики с отвратными карикатурами на главных действовавших лиц той эпохи, включая самого Государя; особенно ча-

сто попадались возмутительные изображения – Витте, Д.Ф.Трепова, Победоносцева, да и многих других. Из столицы вакханалия печатной «свободы» перенеслась и в нашу благонравную дотол провинцию.

Но одновременно со всей этой уличной «похабщиной» – (другого для подобной печати не подыщешь) – стали появляться на столичном рынке серьезные, но не менее, если не более опасные периодические издания крайнего революционного направления. Именно эти издания вызывали у здоровых элементов – приверженцев охраны государственного порядка – потребность объединиться и создать свой печатный орган, в противовес разлагающей и развращающей прессе.

Тогда у меня зародилась мысль – тотчас по возвращении моем в Самару, заняться тем же вопросом и добиться благополучного его разрешения при содействии нашего объединения.

Мне приходилось также сталкиваться с учредителями т.н. Торгово-Промышленного партийного объединения и с их главою – Григорием Александровичем Крестовниковым, впоследствии избранным в члены Государственного Совета. Это был умный, чуткий и образованный человек, очень приятный и интересный собеседник. Как чисто политическая организация, это объединение просуществовало недолго, растворившись среди других более окрепших и приспособившихся к новому строю...

Наступил, наконец, вечерний канун 23-го ноября – дня, назначенного для моего выезда в Царское Село и представления Государю Императору. Я испытывал необычайно приподнятое настроение: мне предстояло на следующее утро величайшее событие и счастье – видеть своего Царя, говорить с Ним, иметь возможность высказать Ему все, что на душе накопело за пережитое смутное время, что я в уме наметил для восстановления государственного спокойствия и порядка.

Много за бессонную ночь я передумал и перечувствовал. В голове моей сложилась вся схема предстоявшего моего доклада Государю. Я решил, во что бы то ни стало, сказать Царю горькую правду обо всем, происходившем на местах, исповедоваться Ему в моих заветных думах. Я знал, что в Самаре я намечен в первую голову среди лиц, приговоренных революционным трибуналом к «ликвидации». У меня была потребность использовать полностью предстоящий царский прием, может быть единственный и последний в моей жизни.

В десять с половиной часов утра я выехал с Царскосельского вокзала. Несмотря на бессонную ночь, я был в бодром, особо приподнятом настроении, которое меня не покидало до конца моего пребывания во дворце. Весь придворный этикет, величественный вид царской резиденции, парадность встречи – все это еще усиливало охвативший меня нервный подъем.

Появился скороход в необычайном головном уборе. Меня провели через анфиладу боковых комнат, с массой света и блестящими мозаичными паркетными полами. Помнится, в одной из них была устроена домашняя горка для катания с нее царских детей...

Наконец, я очутился в салоне Императрицы Александры Феодоровны, где мне надо было ожидать своей очереди для представления сначала ее Величеству. Салон этот представлял собою обширную квадратную комнату, уставленную дорогой золоченой мебелью эпохи Людовика XVI, с мягким сплошным ковром и массой картин по стенам. На самом видном месте, недалеко от входа во внутренние покои Императрицы Александры Феодоровны, висел большой, удивительно исполненный гобелен, изображающий королеву Марию-Антуанетту с ее семейством. Смотря на это художественное произведение, я себя поймал на грустном сопоставлении и тяжелых предчувствиях...

Вообще все мои первые впечатления этого памятного для меня дня как бы раздваивались: с одной стороны, я несомненно ощущал особо торжественный и радостный душевный подъем, с другой, – где то, в затаенном углу моего внутреннего «я», закрадывался щемящий страх за будущее России...

В том же салоне ожидало представления Императрице, помимо меня, еще двое лиц: высокий, тощий, сутулый, с голой физиономией восточного евнуха, член Государственного Совета Иван Яковлевич Голубев, впоследствии бессменный товарищ председателя преобразованного Государственного Совета, и – бравый, с молодцеватыми пушистыми подусниками, генерал Косич, бывший в описываемое время командующим войсками Казанского военного округа. В ожидании приема, между нами завязался разговор и незаметно перешел на взаимные сообщения о современных событиях. На мою долю выпало сообщить моим собеседникам о том, что творилось в Самарском крае. Увлечшись, я стал высказывать свои убеждения в срочной необходимости твердого, сверху объединенного руководства расшатанной местной жизнью. К нам подошел обер-церемониймейстер, престарелый, элегантный, с серебристо белой бородкой, барон Корф, который, скинув с глаза монокль, обратился ко мне со словами: «хорошо, если бы вы все это передали Их Величествам!»...

Начался прием у Государыни. Очередь была за мною... Подходит ко мне барон. Я спрашиваю его «Можно ли русскому предводителю на приеме у русской Царицы говорить по-русски?» На это Корф, улыбнувшись, ответил утвердительно, подчеркнув, что Государыня любит русскую речь. Для меня это было большим облегчением – я мог свободнее объясняться.

Оставшись один, я ходил неслышными шагами по мягком ковру, стараясь побороть охватившее меня волнение. Но вот из

ниши коридора показывается лоснящийся чернокожий великан, ярко разодетый, и жестом приглашает меня идти за ним.

Пройдя шагов десять по коридору, в котором повстречались по пути два – три арапчонка в красных фесках, я подошел к двери, около которой стоял придворный камердинер, и был тотчас же пропущен в покои Императрицы.

Это была обширная комната, заставленная мягкой мебелью и тепличными растениями. Около центральной группы пальм, невдалеке от небольшого письменного стола, стояла высокая, статная Императрица Александра Феодоровна. Я приблизился и приложился к протянутой мне руке. Лицо Государыни со строго правильными чертами было чрезвычайно красиво; лишь плотно сжатый изгиб тонкого рта и грустное выражение ее умных глаз несколько не соответствовали общей привлекательности ее царственного облика. Показался мне также как бы неестественным ее слегка пунцовый румянец, но спустя некоторое время я убедился в резкой переменчивости ее лица, окраска которого зависела от настроения и нервного состояния Государыни. Временами цвет ее лица становился нормальным, а иногда из ярко розоватого переходил в матово бледный. Менялось и выражение ее глаз – то замкнуто задумчивых, то искренне приветливых и внимательных...

Первые минуты я стоял перед Императрицей сильно взволнованный, еле помня себя, и несколько мгновений не мог говорить. Преодолев в конце концов свое смущение, я выразил Государыне от лица Самарского Дворянства всепреданнейшие чувства и, побуждаемый сознанием важности момента, а также советами барона Корфа, я начал знакомить ее Величество с провинциальной разрухой и с некоторыми моими соображениями по принятию необходимых мер для борьбы с воцарившейся анархией.

Императрица слушала меня с неослабным вниманием. Когда я замолчал, она протянула мне руку и внятно по-русски, с легким акцентом, мне сказала: «Я этого еще не слыхала. Здесь мне так никто не говорил. Скажите все Государю. Благодарю вас»...

Мне пора было уходить, но во мне заговорило непреодолимое желание видеть Наследника и опасение, что, может быть, другого случая не будет. Я возвращался в Самару, в обстановку стихийного террора, полного для меня возможных роковых случайностей... Эти соображения мгновенно промелькнули в моей голове, и я решился обратиться к ласково взиравшей на меня Государыне с просьбой мне, далеко проживавшему от столицы Предводителю, доставить счастье увидеть Наследника Цесаревича... Императрица при этих словах вся преобразилась, просветлела и радостно улыбнулась. Кивнув в знак своего согласия головой, она быстро подошла к своему письменному столу и позвонила. Дверь распахнулась и в комнату быстро вошли человека три прислуги, в том числе и сопровождавший меня громадный арап. Надо думать, что звонок их встревожил – у всех был растерянный вид, но Государыня быстро их успокоила, приказав властным голосом, по-немецки, принести ей «маленького» (den Kleinen). После этого наступило довольно длительное ожидание, и ее Величество стала расспрашивать меня про мою семью... Дверь снова раскрылась и к моей немалой досаде Государыне доложили, что Наследник изволит почивать. Александра Феодоровна тогда обратилась ко мне со следующими словами: «Очень жаль. В следующий раз придите, и я вам его покажу. Еще раз благодарю».

При переходе из половины Государыни в апартаменты Его Величества, в коридоре ко мне подошел барон Корф и расспро-

сил про подробности состоявшегося представления, результатом которого он, видимо, остался очень доволен. Главным же образом, рад был старик тому, что я успел Императрице рассказать про действительное положение вещей в провинции и про необходимость проявления сильной власти. В конце он задал мне вопрос: «А как Государыня говорит по-русски?» – «Очень хорошо» – ответил я. На это Корф радостно заметил: «Я ей об этом передам. ее Величество останется довольна!»...

Через несколько минут я очутился в угловой комнате, где я должен был ожидать приема меня Государем. В ней я застал еще двух одновременно со мною представлявшихся Его Величеству лиц: Крупенского (брата Бессарабского Губернского Предводителя), по случаю назначения его Норвежским посланником, и Малаева – Херсонского Губернатора. Впоследствии мне много раз приходилось бывать в этой угловой приёмной на пути в Государев кабинет.

До сих пор запомнились развешанные по стенам картины и ценные подношения, разложенные на палисандровых столах. Сама комната имела продолговатую форму с боковой дверью у дальнего окна, около которого дежурил камердинер Его Величества (обычно Чемодуров).

Спустя немного времени, в приемную вошел дежурный флигель-адъютант – высокий, плотный, с симпатичной, приветливой наружностью, Дрентельн, который нас предупредил, что Его Величество спешит, и поэтому прием нам всем троим сделает общий, без вызова особо каждого из нас в свой кабинет. Вскоре дальняя дверь раскрылась и из нее вышел сам Государь в полковничьей форме Преображенского полка.

Мы, трое представлявшихся стояли в ряд, один за другим. Сначала Его Величество говорил с Крупенским, затем с Малаев-

вым и, наконец, отпустив их обоих, подошел ко мне. В приемной остались лишь Государь, со стоявшим позади него Дрентельном, и я.

Видя перед собой обаятельный царственный облик, ощущая всем своим существом его близость, я думал о моем основном долге, о главной причине приезда моего в столицу и чувствовал необычайный подъем, бодрость и решимость довести свое намерение до конца – правдиво высказать своему Государю все, что по моему убеждению ему нужно было знать и ко благу родины – творить.

Я представился Государю, как новоизбранный Губернский Предводитель, а затем поспешил принести Его Величеству мои верноподданнические извинения за то, что в прошлый, августовский свой приезд в Петербург я вынужден был по исключительным срочным своим служебным делам вернуться в Самару, не дождавшись возвращения Государя из шхер. Его Величество внимательно выслушал меня, все время вскидывая на меня свои добрые, чарующие глаза и сказал: «Надеюсь, что причины вашего августовского отъезда и несостоявшегося представления были серьезны», после чего спокойно приветливым тоном меня спросил: «Ну, что у вас там на Волге – в Самаре поделывается?» Я, сразу понял, скорее почувствовал, что Государь ни о чем настоящем, действительном и страшном для целости всего государственного порядка не осведомлен. Невольно с моего языка сорвался ответ, видимо смутивший моих слушателей: «Не знаю, Ваше Величество – промолвил я – живо ли мое семейство и цело ли мое родовое имущество»... «Как так? Что вы говорите?» слышался мне в ответ тревожный голос Государя. Я окончательно убедился в полном его неведении обо всем происходящем в России. Побуждаемый советом самой Императрицы, я решился приступить к осуществлению главной моей задачи и

нарисовал в сильных и правдивых красках мрачную картину начинавшейся в Поволжских губерниях анархии, своеволия черни и всех ужасов происходивших там аграрных беспорядков. Слушая меня, Государь заметно волновался. Стоявший сзади него Дрентельн делал мне энергические знаки прекратить мое невеселое повествование, но Государев адъютант меня не мог остановить. Я обратился к Царю со следующими словами: «Все-подданнейше прошу простить меня, Ваше Величество, что мой тревожный доклад Вас расстроил. Но я приехал за тысячу верст с определенной целью довести до сведения своего Государя страшную правду о болезни, которая требует немедленного, самого решительного и быстрого врачевания. Не знаю, увижу ли я Вас еще раз, Государь, так как не могу заранее сказать, что меня ждет по возвращении в Самару»... «Да, конечно», с тревогой в голосе прервал меня Государь, лицо которого выражало сильное беспокойство. – «Я очень вам благодарен за ваш откровенный доклад... Но, скажите!... Что же теперь надо делать?!» Немало смутил меня этот вопрос, услышанный мною из уст Российского самодержца, с очевидностью показавший мне все его верховное неосведомленное одиночество и фактическую беспомощность... Видимо мало было охотников говорить Царю правду, временами очень неприятную... с удвоенной энергией и подъемом стал излагать Государю то, что давно сложилось в моих мыслях, как радикальный способ успокоения страны. «Родные братья, – говорил я Государю – дружно и миролюбиво жившие до Манифеста 17-го октября, ныне превратились в непримиримых врагов, неистово спорящих между собой по злободневному вопросу – осталось ли на Святой Руси исконное, Царское Самодержавие?»

Не преминул я упомянуть и о желательности, в целях разъяснения на местах истинного смысла государственных актов, а

также и для борьбы с революционными явными и подпольными организациями немедленно организовать особые общественные комитеты. Государь мою мысль одобрил и спросил, говорил ли я по этому поводу с Витте. Услыхав, что последний об этом мною осведомлен, Его Величество повелел Дрентельну поместить у себя относительно устройства упомянутых комитетов.

Видя внимание к моим словам Государя, я решил идти до конца и перешел к изложению самой существенной и основной части моего всеподданнейшего доклада – о необходимости для оздоровления всей страны восстановления сильной и твердой власти. Она должна исходить из сохранившегося в сознании большинства населения сознания величия поныне чтимых и обожаемых русским народом Царских Особ... «Встаньте, Государь, – сказал я – со своей Царицей перед русским народом в ореоле Вашего священного величия. Покажитесь на всю Русь во всей силе Вашего могущества во главе послушного Вам Правительства. Тогда наши шпаги скрестятся вокруг Вашего Престола и народ пойдет за нами. Если же Вы не проявите свою власть, народ не будет считаться с Вашей благостью и милостью, выражаемыми ныне в манифестах... Все это будет сочтено, как проявление Вашей слабости. Ведь и теперь, на нашем далеком Поволжье мало говорят о Вас, а слышно больше о Витте, да о «царе Архипе», подписывающем свои «золотые грамоты»...

Я рассказал, что происходит у нас и в соседней Пензенской губернии, как подложные манифесты возбуждают население к грабежу помещичьего добра... Закончил я свое обращение к Царю следующим повторным призывом: «Встаньте, Государь, во весь мощный рост Российского Владычного Царя! Одно из двух: или Вы, Ваше Величество, во главе Вашего Правительства, или Хрусталеv со своим Союзом Союзов!.. Компромисса быть не может! Лишь сильная, твердая власть и определенная политика

спасет Вас и Россию от врага беспощадного... Да простит меня Господь за мои последние Вам слова: помните, Государь! Если Вы сами тотчас же твердой ногой не встанете на этот путь, – наши общие с Вами враги начнут с нас и... кончат Вами!»...

Поклонившись, я поспешил к выходу – мне стало нехорошо... Очевидно, бессонная ночь и пережитые волнения дня сказались, но Государь быстро меня остановил, взяв меня крепко за руку... Не помню точно, что Государь мне на прощанье говорил и в каких выражениях меня благодарил, задержав мою руку в своей. Вышел я от Царя сильно усталый, но счастливый сознанием исполненного долга.

В дворцовой передней меня перехватывает полковник Мин, только что надевший на свои погоны царские вензеля – тот самый Мин, который в последующем декабре отличился при усмирении Московского бунта и был убит впоследствии террористами. Это был еще совсем молодой полковник Лейб Гвардии Семеновского полка, впервые исполнявший во Дворце обязанности флигель адъютанта. Он спросил меня, представлялся ли я проживавшему в то время в том же Царскосельском Дворце Великому Князю Михаилу Александровичу. Услыхав мой отрицательный ответ и посмотрев на часы, Мин любезно предложил мне свои услуги проводить меня в апартаменты Его Высочества и обо мне доложить. «Это будет моим первым служебным шагом в новой должности», добавил он при этом.

Несмотря на усталость, я охотно согласился, и мы быстро прошли вправо от передней. Вскоре я очутился в большой комнате, уставленной мягкой, но не салонной мебелью, а скорее кабинетной: по стенам виднелись развешанные картины и гравюры с сюжетами спортивного характера. Над широкими коврами диванами кое где торчали олени и лосиные рога. Мин мне сказал, что Великий Князь сейчас выйдет. Пожав друг другу

руки, мы с ним расстались, чтобы больше никогда не встречаться. Он произвел на меня самое чарующее впечатление всей своей бодрой, здоровой, во истину гвардейской, внешностью, и, видимо, неисчерпаемым запасом энергии, жизнерадостности и решительности... Мужество же свое он блестяще доказал на Московских декабрьских баррикадах...

Высокий, худой, с болезненным лицом, все обаяние которого заключалось в громадных материнских глазах, Великий Князь Михаил Александрович, так же, как и венценосный брат его, в том же беспечно приветливом тоне задал мне те же вопросы: «Ну, что у вас там в Самарской губернии поделявается?» Я счел своим долгом и его ознакомить с действительным положением вещей в нашем Поволжье, предоставленном безудержным насилиям, грабежам и террору. Великого Князя особенно поразило варварство крестьян, уничтожавших на своем огромном пути конные заводы.

Его Высочество был глубоко взволнован и ошеломлен, все меня переспрашивая и задавая разные дополнительные вопросы. Пришлось и ему доложить, какие меры я считал необходимыми для борьбы с анархией.

Два раза приходили вызывать Великого Князя к Высочайшему завтраку, но он продолжал с неослабным вниманием меня слушать. Наконец, Михаил Александрович протянул руку, поблагодарил и сказал: «Ничего не знал о столь угрожающем положении в провинции!.. Да!.. Надо сейчас же взяться за ум и за дело!...» С этими словами он меня отпустил.

Вернувшись к себе в Европейскую гостиницу, я чувствовал себя столь утомленным, что лег тотчас же на диван и забылся... Часа через полтора раздался стук в дверь и ко мне входит сосед по коридору, князь П.Н.Трубецкой, обнимает меня и поздравляет с огромным впечатлением, произведенным мною – «на

всех в Царском». Оказывается, – князь Трубецкой был в тот же день на приеме после Высочайшего завтрака. Государь несколько раз упоминал мое имя, с похвалой обо мне отозвался и расспрашивал Трубецкого про меня, мою семью и пр. «К сожалению, я мало что мог сказать про вас... тем более про вашу семью... Но, видимо, Царь вами очарован. Он отзывался о вас, как о человеке, на которого можно всецело положиться. Все это я счел приятным долгом вам передать и искренно поздравить вас»...

Успех мой в Царском сделался немедленно достоянием многих столичных великосветских и политических кружков. На другой день я получил несколько писем от ряда видных в то время монархических деятелей. В одном из них дворянин Николай Алексеевич Павлов приглашал меня стать во главе земледельческого объединения.

За несколько дней до моего отъезда из Петербурга заходит ко мне в номер высокий, стройный, с красивой белокурой головой и большими выхоленными усами, элегантно одетый господин и знакомится, назвав себя князем Владимиром Михайловичем Волконским, Шацким уездным предводителем дворянства Тамбовской губернии. Приехал по делам аграрных беспорядков, начавшихся и у них в губернии, к Министру Внутренних Дел и в разговоре с ним узнает о «Наумовских» комитетах, как тогда называл их Дурново.

Князь Владимир Михайлович решил меня лично найти и обо всем переговорить. Живой, энергичный, прямой, он с первого же знакомства пришелся мне по душе, благодаря своей искренности и деловой заинтересованности. Впоследствии наши отношения крепили, перейдя в дружбу.

Идею образования комитетов Владимир Михайлович горячо приветствовал. Он, вместе с тем, коснулся разраставшегося в дворянских кругах недовольства деятельностью объединения Губернских Предводителей. По мнению недовольных дворян, съезды предводителей созывались слишком редко, а события в стране развивались с исключительной быстротой, одно другого для всего государственного уклада важнее. Помимо этого, считали нежелательным влияние, которым пользовался на съезде триумвират, состоявший из двух столичных предводителей и третьего – Орловского...

Мы с Волконским решили немедленно положить начало всероссийскому Дворянскому объединению. Мы наметили предварительно собрать съезд не только губернских предводителей, но и всех уездных, специально избранных депутатов. По этому поводу в течение целого ряда дней мы вели переговоры с князем П.Н.Трубецким. Он то соглашался, то, под влиянием Стаховича и графа Гудовича, несочувствовавших этой мысли, уклонялся от сотрудничества с нами, а без участия кого-либо из столичных предводителей съезд был неосуществим.

И вот вспоминается мне, как в день моего отъезда из столицы, князь Трубецкой, к немалому нашему торжеству, решил пойти нам навстречу. Мы с Волконским от него не отходили ни на шаг, чуть ли не водили его рукой, заставили подписывать обращение к губернским предводителям с призывом устройства в январе 1906 года в Москве общепредводительского съезда. Дело было сделано и письма разошлись во все концы дворянской России.

Вечером, за несколько часов до моего отъезда, является министерский курьер и вручает мне записку от П.Н.Дурново, в которой он просит меня немедленно приехать к нему по важному и срочному делу. Я поспешил по телефону переговорить с

Министром, объяснив, что через два часа должен сесть в вагон и ехать в Самару. Несмотря на это, Дурново настоял, чтоб я хотя бы на четверть часа к нему тотчас же заехал.

Распростившись со своими обеденными сотрапезниками, я поспешил наскоро уложиться, по-дорожному одеться и отправился на Мойку. П.Н.Дурново встретил меня необычайно приветливо и с первых же слов стал поздравлять с «исключительным» моим успехом в Царском... «Государь, видимо, находится под впечатлением вашего доклада, – сказал мне Петр Николаевич, – и он поручил мне передать вам его Августейшее желание видеть вас ближе не только к делу государственного управления, но и к собственной Его Особе, ради возможности слышать и впредь непосредственно от вас дельные и правдивые советы... Во всяком случае, – продолжал Дурново, – лично я вам признателен за то, что Государю благоугодно было вчера вечером меня вызвать и, надо думать, под влиянием ваших же слов, приказать действовать самым решительным образом в духе твердой, сильной власти для подавления беспорядков... Отпуская меня, Его Величество произнес знаменательные слова: «Или Я и мое Правительство, или мы должны уступить место Союзу Союзов с Хрустальевым во главе»... «Помоги вам Господь успокоить страну и наладить порядок, – сказал я в ответ. – Прошу доложить Государю мою верноподданическую горячую благодарность за отзыв обо мне и оказанное высокое доверие. Но не откажите вместе с тем довести до сведения Его Императорского Величества, что люди одинаково нужны, как здесь, в центре, так и у нас в провинции. Что касается меня лично, то я считаю себя истым провинциалом. Провинцию я знаю близко и меня там понимают, а потому почтительно прошу ваше высокопревосходительство походатайствовать за меня перед Государем, чтобы,

ради пользы дела, меня оставили в моей родной Самарской губернии для продолжения начатого мною там объединения всех крепких, преданных Царю и отечеству местных сил»... П.Н.Дурново покачал своей седой головой и, усмехнувшись, промолвил: «Попробую доложить Государю ваши слова... ну, а за последствия не ручаюсь»...

После этого Министр многозначительно передал мне служебный пакет на имя Самарского Губернатора, со словами: «Ну, вот вам... Вручите сие г-ну Засядко»... Предчувствуя, что дело идет об его увольнении, я хотел уклониться от личной передачи такого документа. Дурново на это, пожав плечами, сказал: «Ну, как хотите! Имейте только в виду, что теперь пока еще во всей своей силе продолжается почтово телеграфная забастовка, стало быть, пакет мой неизвестно когда до места своего назначения дойдет... Ваше дело!.. Терпите и дальше такого губернатора»... Тогда я сделал отчаянный жест и забрал увольнение ненавистного мне Засядко с собой.

Через полчаса я сидел в грязном вагоне первого класса среди вплотную набившейся смешанной публики, часть которой оказалась по праву революционного времени перешедшей из других классов, или вовсе безбилетной. Вся дорога до Самары была сплошным кошмаром, о котором не стану лучше и вспоминать!..

Разбитый и усталый я добрался наконец, до родной семьи и своего домашнего уюта.

Утешительного в Самаре нашел я мало. Общий развал сказывался еще яснее... На другой день после приезда, воспользовавшись повесткой для участия в заседании Губернского Присутствия, я отправился на него с целью встретиться там с губернатором и вручить ему министерский пакет, с которым я всю

долгую и мучительную дорогу не расставался, бережно храня его при себе.

Нашел я Д.Засядко сильно осунувшимся и в нервном отношении совершенно больным. По окончании заседания, я про-сил его уделить мне несколько минут внимания и отвел его в другую комнату, где мы очутились наедине. Не садясь, я вручил ему казенный пакет, объяснив, что пакет этот просил меня ему передать лично сам Министр, ввиду невозможности переслать его по почте. Нервным движением Засядко тут же при мне вскрыл содержимое, быстро скользнул по нему своими воспаленными, прыгавшими глазами, побледнел, затрясся и глухо в сторону пробормотал: «Извольте с такими господами служить!» ... отвернулся от меня и быстрыми шагами вышел в дверь. Как я потом узнал, – в привезенной ему бумаге дано было Засядке за подписью Дурново распоряжение Министра Внутренних Дел сдать губернию в двухмесячный срок заместителю.

Известие об его увольнении вызвало в самарском городском и губернском обществе резкий раскол: одни крестились, благословляя судьбу. К ним надо причислить все наше землевладельческое и торгово-промышленное объединение под флагом партии порядка, а также весь дворянский и крепкий земский элемент, не говоря уже о Кременцовском казачестве...

Другие же, с «Комитетом Общественной Безопасности» во главе и всеми присосавшимися к нему скрытно революционными организациями, вкупе с передавшейся на их сторону разнузданной артиллерийской военщиной и всей хулиганствующей улицей, – эти элементы, само собой, по случаю увольнения Засядко рвали и метали, выливая, главным образом на мою бедную голову через посредство своей «свободной» прессы, ушаты накопившейся «революционной желчи».

Вся эта клика очень демонстративно вела себя в последние недели пребывания Засядко в Самаре. Они устроили ряд чествований, закончившихся прощальным обедом, на котором отставленного губернатора окружали главари разных самарских подпольных революционных организаций. Бывший губернатор выслушивал с приятной улыбкой возмутительные речи, в которых восхвалялись «иллюминации» помещичьих усадеб, высказывалась ему от г.г. Зелихманов, Клафтонов и Ко. благодарность за его «беспристрастное» управление губернией, свободное от защит привилегированных капиталистических классов и т. п.

После вручения Засядке пакета об его отставке, я с ним больше не видался и, как с губернатором, не считался. Я был вынужден временно сам фактически забрать всю власть в свои руки. Засядко окончательно тоже отошел и от дела, и от общества, предавшись целиком в руки г.г. Клафтонов и разных комитетов, впрочем быстро попрятавшихся во второй половине декабря 1905 года, после разгрома Московского восстания и удамой усмирительной деятельности Кременцова в Самаре.

К этому периоду надо отнести неожиданное происшествие, случившееся со мною в моем же собственном доме. Както раз, я часов около шести вечера прилег перед обедом в библиотеке на диван и стал просматривать газеты. Сбоку, на столе, под зеленым абажуром стояла лампа. Незаметно я задремал, и причудилось мне во сне какая-то нелепая комбинация с мало симпатичной для меня физиономией Засядки. Под впечатлением кошмарного видения я открываю глаза и вижу перед собой в кресле в самом деле самого... Засядко. Предполагая, что это продолжение моего кошмарного забытья, я все же не удержался и вопросительно промолвил: «Засядко?» И вдруг раздался ответ, ясный, отчетливо прозвучавший в моих ушах: «Да, это я!»

Тогда я вскочил с невольно вырвавшимся у меня восклицанием: «Как вы сюда попали? Что вам от меня нужно?» Оказывается, швейцар Николай, уложив своего хозяина на часок отдохнуть, сам ненадолго отлучился. Раздался звонок, дверь была отворена одной из горничных, не знавшей Губернатора в лицо. Она его пропустила в мои комнаты. Засядко прошел в библиотеку и там присел около меня. Явился ко мне сей господин, ни больше ни меньше, как с «искренним» желанием со мною «по-хорошему» проститься и перед отъездом заверить меня в своей невинности и непричастности ко всем тем деяниям, которые ему мною и моими единомышленниками приписывались. Вид был у Засядки при этом противно жалкий... Я молча указал ему на дверь...

Поздней весной 1906 года вхожу я в кабинет к Петру Аркадьевичу Столыпину, назначенному тогда Министром Внутренних Дел и слышу его голос: «Не ругайте меня, Александр Николаевич! Я тут не при чем! Ваш друг Засядко вновь назначен губернатором в одной из польских губернии – в Радом! Это дело рук «Котика» Оболенского, насевшего на Варшавского Генерал-Губернатора Скалона, от которого по существующему законоположению, целиком зависело подобное назначение, помимо меня, как Министра Внутренних Дел». Мне пришлось вместе с Петром Аркадьевичем только руками развести. Столыпин, бывший в 1905 году Саратовским Губернатором, не хуже меня, был осведомлен о «качествах» г. Засядки.

Прошло много лет. Наступил 1915 год. Время успело предать почти полному забвению всю остроту пережитого в 1905-1906 г.г. революционного лихолетья. Началась небывалая по своим размерам Европейская война. В качестве Министра Земледелия я тоже вовлечен был в огромную работу по продовольственному снабжению боевых фронтов и тыла. Все мы жили под

гнетом жуткой ответственности. Как-то раз, мой коллега – Министр Путей Сообщения, А.Ф.Трепов зовет меня к себе на обед. Чудная казенная квартира. Милое общество. Тонкий изысканный стол. После обеда А.Ф. предложил пойти рядом в бильярдную сыграть партию в пирамидку и обменяться друг с другом служебными разговорами. Во время игры, вдруг появляется мужская фигура и стала тихо, нерешительно приближаться ко мне. Я ахнул – передо мной стоял с протянутой мне рукой сам Засядко. Из уважения к хозяину, я поздоровался с ним; Трепов нас спрашивает – знакомы ли мы? – "Еще бы, даже очень" – поторопился я ему ответить... Одновременно слышу вкрадчивый голос Засядки: «Дорогой Александр Николаевич, забудемте все!... Я так рад вас снова увидеть и приветствовать с высоким вашим назначением»... Я его прервал, сказав: «Кто старое помянет, тому глаз вон»...

Потом я узнал, что Засядко, по неизвестным мне причинам всегда, вплоть до эмиграции, пользовался особым благоволением Трепова. На Рейхенгальском политическом съезде 1921 года, по протекции того же Трепова, Засядко был избран председателем одной из комиссий, задание которой заключалось в разработке способов восстановления монархического строя в России! Засядко – предатель Царя и монархии в 1905 году – приглашался в 1921 г. восстанавливать Императорский Трон и Державу! И после этого люди удивлялись, что я отказывался вступать в их монархическое объединение!

Те, кто в Самаре сочувственно чествовали уволенного Засядко и оплакивали его уход, метали громы и молнии по адресу своих врагов, направляя все силы овладевшей ими ненависти, главным образом, против меня, как руководителя объединения правового порядка.

Надо отдать им справедливость, – они приняли все меры, чтобы сделать мое пребывание в родном городе невыносимым. Всячески разжигалось ожесточение против моей личности не только в уличных массах, но даже среди учащихся. В местной прессе крайнего направления вроде «Самарского Вестника» или отвратительного сатирического журнальчика, именовавшегося «Горчишником», шла травля. Не проходило дня, чтобы я не получал писем о готовившихся на меня покушениях. Всякое появление мое на улицах сопровождалось рядом демонстративных выходов со стороны бесчинствовавших банд.

Разнузданность и развращенность молодежи, в том числе и школьной, доходили в то время до невероятных пределов. Классы были заброшены, все толпилось на улицах, площадях, слушая возмутительные выкрики полуграмотных и полупьяных ораторов, призывавших к «свободной» новой жизни.

Помимо наглого, нескрываемого разврата, похожего на полное человеческое одичание, среди городского населения чувствовалось невероятное взаимное озлобление, переходившее иногда в кровавые побоища. Всюду раздавались, особенно в вечернее и ночное время, ружейные выстрелы, все жили на чеку, под гнетом сплошного уличного террора. Аграрные беспорядки продолжались. Получались отчаянные письма с требованием прислать войска для защиты. В моем кабинете появлялись разоренные помещичьи семьи, происходили раздирающие сцены.

До меня стали доходить определенные слухи о готовившемся со стороны «Комитета общественной безопасности», с будущим президентом Самарской республики Клафтоном во главе, военном захвате города, при содействии передавшейся на его сторону запасной артиллерийской бригады со всеми ее

пушками и снаряжением. Данные эти мне заблаговременно. сообщил подполковник Кременцов вскоре по возвращении моем из Петербурга. Он получил их от некоторых офицеров артиллеристов, оставшихся верными долгу и присяге. Упомянутое выступление должно было произойти одновременно с подобными же военно-революционными вспышками в других городах России, главным образом в Москве. В Самаре переворот намечался на 6-е декабря, и план его заключался в разгроме в первую голову Дворянской улицы, начиная с «наумовского» дома.

Из верных источников имел я также сведения о чрезвычайно подозрительном поведении служащего персонала нашей Губернской Земской Управы, в стенах которой происходили по вечерам собрания лиц, ничего общего с земством не имевших, устраивались при закрытых дверях секретные совещания, куда состав Управы не допускался. Фактически в Губернской Управе всем руководил Клафтон, сумевший подчинить себе заstraщенного им председателя. Досадно бывало смотреть в те памятные дни на Ушакова, подписывавшего все ассигновки, которые ему подсовывали лица, официально числившиеся управскими служащими, а неофициально – состоявшие в то смутное время главарями и сотрудниками подпольной революционной организации. Потом выяснилось, что немало земских денег таким путем было передано на подготовку самарского бунта и организацию революционного красного креста.

К началу декабря положение в Самаре было настолько серьезное и грозное, что, во избежание надвигавшейся катастрофы, надо было действовать решительно. Ранее правительственная власть бездействовала, теперь власть эта совершенно отсутствовала – в Самаре не оказалось ни Губернатора, ни его «вица». Засядко, если и действовал, то только по указке противоправительственных организаций с г.г. Клафтонами во главе.

Восьмитысячная запасная артиллерийская бригада, почти со всем своим офицерским составом, перешла, как ранее мною было отмечено, на сторону Комитета общественной безопасности. Оставались верными Царю и Правительству лишь один батальон пехоты с полковником Барановым во главе, да ещё подполковник Кременцов со своей сотней Оренбургских казаков. На него террор действовал обратно: чем больше его пугали, тем смелее он становился. На стене его квартиры и казарм вывешено было подписанное всеми старшими казачьими чинами предупреждение, что в случае убийства их начальника будут поголовно, уничтожены все главари самарских революционных комитетов.

Кременцов, совместно с храбрым полковником Барановым, по возвращении моем в Самару, обратились ко мне с настойчивой просьбой, в связи с готовившимся военно-революционным захватом города, принять их – Кременцова и Баранова – под свою защиту, в случае возможных осложнений и нареканий на них со стороны их высшего начальства, если я одобрю их план действий.

Прежде всего, Кременцов хотел оградить город от артиллерийского огня, затем обезоружить воинственно настроенную революционную молодежь, штаб-квартира которой была в Пушкинском Народном Доме. Не скрою: поставлен был я тогда в нелегкое положение, но в голове моей пронесся ряд последовательных соображений: на Самару надвигались события исключительно важные и опасные. Помощи ниоткуда ожидать не приходилось. Верные, стойкие люди обращались ко мне за поддержкой, направлять их было некуда, властей не было, время шло... Надо было решать...

– Я к вашим услугам, – сказал я Кременцову – действуйте и да поможет вам Господь! Будьте покойны – защиту перед Царем и вашим начальством я беру на себя! Пожав друг другу крепко руки, мы расстались...

На следующий же день вечером Кременцов с сияющей физиономией заезжает «с докладом», как он сам выразился, – «к своему начальнику». Оказывается, в этот день ранним утром он со своей сотней удалых молодцов проник в артиллерийские казармы. Оставив казаков во дворе в строевом боевом порядке с винтовками наготове, Кременцов один вошел внутрь обширного казарменного помещения, где он нашел, как и следовало ожидать, страшный беспорядок, грязь и валявшихся на своих нарах полуодетых взъерошенных солдат, превратившихся за месяц своей «свободной» жизни из дисциплинированных нижних чинов в митинговавших распущенных «товарищей»...

Несмотря на его полковничью форму, при его появлении все оставались лежать, сидеть, грызть семечки... «Встать!» – гаркнул мощный начальнический голос Кременцова. Раздались свистки, хохот, ругань... «Встать! – еще раз крикнул на всю казарму рассвирепевший казачий подполковник и, показывая нагайкой в окно, продолжал: «Если вы (при этом он их «крепко» выругал) не исполните тотчас мою команду – взгляните в окна – там стоит моя сотня, они вас заставят вспомнить настоящую службу». Среди казарменных обитателей начался переполох... Кременцов, вынув револьвер, встал у выходной двери искомандовал своей сотне: «Готовься», а артиллеристам тем же мощным голосом крикнул: «Встать! Смирно!» Затем: «Стройся!» Мгновенно приведя их в полное повиновение, он вывел значительный отряд уже послушных ему артиллеристов на двор, тут же окружил их своей сотней верхачей и заставил сбить замки у всех имевшихся в распоряжении запасной бригады орудий... Пушки

были обезврежены и для города опасность от них миновала – об этом Кременцов и зашел мне доложить.

Пушкинский народный дом, выстроенный на средства городского комитета народной трезвости, представлял собою обширное здание, расположенное в центре города на бойком месте, по соседству с Троицким базаром. Оно предназначалось для разумных народных развлечений и отвлечения от пьяного соблазна. В этом доме имелся поместительный зал со сценой, где давались представления, читались полезные научные лекции и пр. За время Японской кампании в означенном помещении обосновался т.н. «Народный Университет» с лекторами определенного, крайне оппозиционного направления. В описываемый мною смутный период Пушкинский Дом сделался средоточием всех революционных элементов. Они там ежедневно по вечерам собирались и спланивались вокруг своих лидеров, большей частью, еврейской национальности.

Кременцову стало известно, что в этом революционном гнезде устроен склад оружия для раздачи в нужный момент захвата города. Вследствие этого он в ночь со 2-го на 3-е декабря внезапно произвел памятную для самарцев «осаду» Пушкинского дома. Ее впоследствии какой-то местный художник даже запечатлел на полотне, красовавшемся потом на стене городского музея.

Все с той же своей доблестной сотней и батальоном храбрых пехотинцев под командой Баранова, Кременцов вечером 2-го декабря внезапно появился под освещенными окнами Народного Дома, кишмя кишевшего всяким революционным людом, быстро окружил его своими казаками и солдатами и потребовал немедленной сдачи ему всего хранившегося в здании оружия. Переполох начался невероятный, стали раскрываться фор-

точки, выбиваться оконные рамы, и из всех отверстий открылась пальба... к счастью, никто из осаждавших не пострадал. Кременцов, главная мишень для стрелявших, только посмеивался над градом пуль, свистевших вокруг него, и говорил полковнику Баранову: «Хороши стрелки, нечего сказать! а еще претендуют стать хозяевами России!» В конце концов ему надоело ждать тем более что мороз крепчал. Стояла лунная ночь. Надумал тогда казачий командир следующую «военно-осадную хитрость – согреть своих молодцов, окружавших дом, и одновременно поугарить заседавшую там «революционную сволочь» (его выражение)... Дан был приказ развести вокруг «осажденной крепости» костры. Спустя немного загорелась оригинальная иллюминация – весь Пушкинский дом очутился в огненном кольце... Из выбитых окон слышались крики, стоны, вопли... Не на шутку испугалась «революционная боевая дружина» дальнейших Кременцовских распоряжений...

В это время с верховыми своими охранниками подъезжает к месту осады, ни более, ни менее, как сам г-н Клафтон. Начальнически подходит к Кременцову и приказывает немедленно убрать войска, при этом передает подполковнику визитную карточку... губернатора Засядко. Кременцов ее разрывает и презрительно бросает Клафтону: «Пусть ка этот ваш самый Засядко сам сам ко мне сюда заявится!» Повернувшись к своим казакам он тут же крикнул: «Готовьте, молодцы, керосин!»... Пальба вскоре прекратилась и из нескольких окон высунулись палки с подвязанными белыми платками. Пушкинский Дом сдался». Начался пропуск осажденных через строй казаков, которым был дан приказ производить строжайший обыск всех выходивших, включая и женщин. В результате было отобрано и позже

найдено еще внутри помещения значительное количество огнестрельного и холодного оружия, которым наполнили два больших фургона.

Описанное событие произвело сильнейшее впечатление на всю самарскую публику, почувствовавшую сразу, что не все еще потеряно, что в городе существует твердая правительственная сила, не поддавшаяся революционному террору. Общее настроение сразу переменялось. В революционных комитетах и кружках, очутившихся без пушек и без Народного Дома, возникла паника и зародилось разочарование. В здоровой части населения, которая боялась нос на улицу высунуть, проснулась бодрость и некоторая уверенность в завтрашнем дне.

Кременцов сделался героем дня. Он дал первый толчок – за ним осмелели и другие. В городе установился относительный порядок, поддерживаемый казачьими разъездами. Пальба и хулиганство прекратились... Можно было вновь спокойно ходить по улицам!.. Чувствовался поворот к общему оздоровлению.

В это же время стала усиливаться деятельность образованного нами 18-го октября 1905 г. объединения, – «Партии Порядка» на началах манифеста 17 октября.

Наше объединение возникло из инстинктивного стремления общими усилиями вступить в борьбу с начавшейся анархией и, ввиду бездействия власти, организовать самозащиту и восстановить нормальный порядок. Этому и были посвящены наши собрания, происходившие под моим председательством в помещении Дворянского Собрания. На них сходились множество стойкого люда из местного всесословного землевладельческого, промышленного, торгового и служебно-чиновного мира.

Все, что я довел до сведения высших сфер в Петербурге, было предварительно доложено мною и обсуждено на означенных наших собраниях и единодушно одобрено. Объявленная нами борьба с бездействием власти, ради восстановления порядка, получила реальное осуществление в виде увольнения Засядко и решительных действий Кременцова. На собранные деньги наша партия посильно снабжала наиболее угрожаемые помещичьи экономии вооруженной охраной. В Самарской губернии землевладение в огромном своем количестве находилось в руках лиц, не состоявших в рядах нашего дворянства. В большинстве случаев это были бывшие казацкие семьи или разбогатевшие крестьяне, как например Михаил Дмитриевич Челышев, всегда с особой гордостью подчеркивавший свою принадлежность к крестьянскому сословию... Эти землевладельцы, наравне с помещиками-дворянами, находились под угрозой поджогов и разбойничьих погромов. Между ними и нами – дворянами — произошло естественное и тесное сословное сближение.

Деятельность Партии Порядка стала быстро распространяться за пределы города вглубь губернии. Нами получался ряд всевозможных запросов, касавшихся не только организации охраны, но и сущности предполагаемой политической программы нашего объединения. Мы сознавали своевременность такого чисто политического самоопределения. Для всех этих работ необходимо было создание особого исполнительно руководящего органа. Незадолго до моего отъезда в столицу, на одном из собраний, он был избран, под наименованием «Совета партии». В состав его вошли: я, в качестве председателя, и затем члены: граф А.Н.Толстой – уездный Предводитель, С.О.Лавров – бывший председатель Самарской Губернской Земской Управы и Управляющий Государственными Имуществами, князь

П.Д.Урусов – Управляющий отделением Государственного и Крестьянского Поземельного Банка, А.К.Ершов – Управляющий Самарским отделением Государственного Банка, Т.А.Шишков – Непременный член Губернского присутствия, Б.Н.Муханов – Непременный член Воинского Губернского присутствия, С.Н.Постников – Самарский городской голова, Н.А.Самойлов – присяжный поверенный, С.А.Богушевский – Непременный член Крестьянского Поземельного Банка, Д.С.Коссович – профессор Московского сельскохозяйственного института, Л.С.Ажанов – землевладелец, В.М.Сурошников и И.Г.Курлин – зятя богатейшего человека в губернии Шихобалова и другие.

Со временем, в Совет был кооптирован ряд уездных представителей, так как с момента моего возвращения в Самару, у нас завязались тесные сношения с уездами, где стали образовываться наши филиалы.

Нашим объединением заинтересовались в центре две партии, только что там народившиеся: Союз 17-го октября и Торгово-промышленная. На одном из собраний нашей партии порядка было решено держаться самостоятельно, не вступая в состав других.

Перед моим отъездом в Петербург политическая программа нашего объединения была мною лишь намечена. К моему удивлению и досаде, в мое отсутствие программа была не только выработана и отпечатана, но кое-куда даже разослана. Под ней значились фамилии всех членов Совета и моя, как председателя. Пришлось принять срочные меры к ее пересмотру и некоторым поправкам. Переработанная таким образом программа нашего объединения в общем ближе всего подходила к Союзу 17-го октября.

Деятельность Партии Порядка быстро и сильно развивалась. Собрания привлекали такое множество народа, что зала

нашего Дворянского Собрания, рассчитанная не более, как на 150 человек, не могла вместить всех желавших присутствовать. Надо было в городе подыскать соответствующее помещение, но это оказалось не легко. Город в конце ноября и начале декабря находился под гнетом такого застрашивания со стороны революционных элементов, что никто из хозяев гостиниц, клубов и других собраний не решался пускать к себе людей, принадлежавших к такой организации, с пресловутым Наумовым во главе. Улица, властвовавшая в то время над самарцами, и крайняя левая пресса провозгласили нас «черносотенной» организацией, подлежащей поголовному уничтожению. Наконец, одна почтенная особа, да еще не русская, а лишь обруселая немка, здоровенная толстуха Альма Карловна, проявила по тому времени недюжинное гражданское мужество и предоставила мне в своей «Корниловской» гостинице (одной из лучших в Самаре) обширную залу для устройства в ней собрания, которое состоялось в памятный для меня день – 6-го декабря 1905 года.

Время стояло исключительно тревожное. Если сама Самара, после сбития Кременцовым орудийных замков и взятия им Пушкинского Дома, стала до известной степени успокаиваться, то нельзя было этого сказать про наши всеобщее настроения и опасения за судьбу самого центра России – Москвы, где, по доходившим до нас слухам, революционное восстание приняло грандиозный размер и ожесточенный характер. С утра 6-го декабря по городу ходили самые мрачные толки даже о падении Первопрестольной, попавшей в руки революционеров. Всеми стала овладевать зловещая паника...

Перед самым входом в Корниловскую гостиницу, где уже было огромное стечение публики, я вдруг получаю пакет через рассыльного от начальника почтово-телеграфной конторы. Вскрываю его на ходу и глазам своим не верю: читаю только что

протелеграфированное в Самару агентское сообщение о решительном подавлении московских беспорядков. Я быстро вбежал по лестнице в битком набитую залу, и первым долгом поделился с собравшимися радостной вестью о разгроме Московского восстания... Грянуло восторженное «ура», и все запели «Боже Царя храни». Настроение сразу же создалось бодрое, приподнятое. Ко всему этому, выступил с удивительно сказанной, сильной, патриотической речью известный всей Самаре проповедник, почтенный протоиерей Ястребов. Подъем получился небывалый, имевший для меня и всей Партии Порядка неожиданный результат.

Еще до поездки в Петербург я решил организовать во что бы то ни стало в Самаре газетное предприятие, но нужны были средства. Меньше, чем с 25.000 руб. и начинать такое дело было невозможно. Об этом моем намерении и о приблизительной смете знали многие наши партийные участники и все члены Совета.

Когда, после закрытия собрания, все стали расходиться в возбужденном и радостном настроении, ко мне подходит группа лиц, приглашающих меня пройти с ними в отдельную комнату. Там они вручают мне только что собранные ими 30.000 рублей для основания периодического печатного органа Партии Порядка. Можно себе представить тот неописуемый восторг, который меня охватил при получении столь щедрого дара, дававшего мне широкую возможность создать собственную газету для борьбы с печатным революционным злом.

Итак, 6-е декабря 1905 года стало днем основания «Голоса Самары», который вышел 1-го января 1906 г. и стал органом Партии Порядка. Почти десять лет, без всякой правительственной денежной субсидии, просуществовала наша газета, отстаивая целостность и достоинство государственных основ и принципов,

возвещенных Манифестом 17-го октября. По времени своего появления, как первого трезвого провинциального периодического издания в смуту 1905-1906 г. и по полной своей независимости, «Голос Самары» надо признать единственным в своем роде газетным органом среди провинциальной прессы.

Весь декабрь 1905 г. был посвящен нашим Советом подготовке к выходу в свет предположенной газеты. Мы выделили немногочисленную группу, всецело отдавшуюся газетной издательской и редакционной работе. В состав ее вошли: Т.А. Шишков, Б.Н.Муханов, С.А.Богушевский и А.А.Шешлов, а впоследствии В.Н.Львов. Все люди занятые, но они нашли время для идейного дела, имеющего большое общественное значение.

С.А.Богушевский только что приехал из Петербурга, где долгое время состоял секретарем у К.Ф.Головина. Своим внешним обликом он был типичный польский шляхтич, но по существу был ярким русским националистом, убежденным монархистом и стойким консерватором. Он горячо отстаивал возвещенный с высоты престола правовой порядок. Он был несомненно одаренной натурой, обладая выдающимися литературными и музыкальными способностями.

Сергей Александрович оказался незаменимым сотрудником «Голоса Самары». Он ежедневно снабжал газету бойкими передовицами, статьями и фельетонами. В последние годы он стал и редактором издателем «Голоса».

В общем газета, несмотря на всяческий бойкот слева, из года в год крепла и завоевала себе обширный круг подписчиков и читателей. Начав с 3.000, тираж «Голоса Самары» поднялся до 15.000 экземпляров. Объявления давали довольно солидный доход. В среднем, годовой расход газеты выражался в сумме от 35–40 тысяч рублей, доплачивать приходилось не более 10-

15.000 руб. Перерасход охотно покрывался теми же лицами, которые проявили свое щедрое участие при самом основании газеты.

В Петербурге мне неоднократно предлагали финансировать наше издание. С необычайной настойчивостью, и я бы сказал, цинизмом, действовали в начале 1906 года перед выборами в первую Государственную Думу двое товарищей Министра Внутренних Дел – Сергей Ефимович Крыжановский и Владимир Иосифович Гурко, о которых, вероятно, мне еще придется упомянуть в последующих моих воспоминаниях. Здесь же считаю уместным оговориться, что, вероятно, я продолжал бы издание «Голоса Самары» и дольше десяти лет, если бы в последний год его выхода не произошло одного обстоятельства, которое заставило меня, а за мной и других, отойти от хорошо налаженного газетного дела. Связано это было с личностью Владимира Николаевича Львова, появившегося на самарском небосклоне в самый разгар смутного времени конца 1905 и начала 1906 года.

Несомненно одаренный, а в некотором смысле даже талантливый, Львов, вместе с тем, проявлял временами в личной жизни, а как впоследствии оказалось, и в общественно государственной своей деятельности, ряд странностей, заставлявших предполагать в нем некоторую даже дегенеративность. Несмотря на это, его исключительная способность быстро схватывать мысль, его умение в красивой и бойкой форме ее изложить, его дар темпераментного красноречия – все это заставило меня привлечь Львова в ближайшие сотрудники по партийной деятельности, а затем и по ведению газетного дела. Его яркие, талантливые публичные выступления в собраниях имели несомненный успех и приносили делу объединения насущную пользу. Также хороши были его передовицы, полные подъема, интереса и искреннего чувства.

Владимир Николаевич сначала казался мне очень устойчивым в своих консервативно-монархических и православно-канонических убеждениях. Я считал его даже излишне крайним и фанатичным их исповедником. В то время он преклонялся перед идеалом византизма, который он хотел видеть и в Российской государственности и церковной структуре. Для него Царь был лицом, принявшим свою власть от Бога через посредство таинства миропомазания. Поэтому самодержавие должно было оставаться неприкосновенным, также как и возглавление Государем Российской Православной Церкви. Владимир Николаевич был довольно сведущ по части истории русского православия. В свое время он настолько увлекался религиозными вопросами, что проходил курс наук в Московской Духовной Академии и мечтал даже о монашестве. Как партийный газетный сотрудник, он талантливо и широко освещал вопросы церковно-религиозного содержания.

Будучи переизбран в четвертую Государственную Думу, Львов стал заметно меняться, чем доставлял нам, его прежним друзьям, немало разочарования. В конце концов, он совершенно перекинулся в лагерь лиц, оказавшихся, по моему глубокому убеждению, главными виновниками крушения Царского Престола. Я говорю об образовании в законодательных палатах т.н. «прогрессивного блока», в который Владимир Николаевич, с присущей ему горячностью вступил. Затем, в порядке безудержного сдвига своих политических принципов, он дошел до невероятных выходов во время своего сотрудничества, в качестве Обер-Прокурора св. Синода, в печальной памяти Временном Правительстве. Прежний крайний государственный и церковник «византийского стиля» – Львов, при первом своем появлении в зале Синода, не нашел ничего лучшего, как собственноручно, на глазах всего высшего духовного синклита, выбросить

из присутственного места царское кресло со словами: «Я враг цезарепапизма».

С первых же лет нашего с ним знакомства Владимир Николаевич казался мне человеком болезненно неуравновешенным, но все же в своих верованиях и убеждениях достаточно стойким, в силу чего мною всегда и поддерживалась его кандидатура, вплоть до переизбрания его в 4-ю Думу. Но незадолго до войны 1914 года, мне пришлось разочароваться в нем. Он оказался определенно нервнобольным человеком. Временами совершенно отсутствовали сдерживающие центры в его мышлении, чувствованиях и действиях. Под влиянием ряда условий его деятельности, как видного члена Государственной Думы, его новой столичной житейской обстановки, со всеми ее соблазнами и неразборчивыми знакомствами, Владимир Николаевич отходил от своего прежнего русла и поддавался встречавшимся на его пути искушениям.

В смысле неустойчивости его личной жизни и поведения, я мог бы привести ряд примеров, чисто анекдотического содержания, начав хотя бы с того, что накануне того как он собирался принять монашество, Владимир Николаевич пошел с Марией Алексеевной Толстой под венец. Но в первые годы нашего сотрудничества в общественных делах он был последовательным и твердым исповедником своих принципов, пока с ним не случился нижеследующий казус. После своих перевыборов в 4-ую Государственную Думу, Львов, очевидно, уже не довольствовался своей депутатской популярностью. Ему захотелось во что бы то ни стало добиться царского к себе внимания. У него зародились настойчивые мечты о придворном мундире...

Незадолго до Романовских торжеств, Владимир Николаевич в одной из своих дружеских со мною бесед высказал намерение поднести Государю свою фамильную икону, для чего он

предполагал испросить Высочайшего для себя приема. Я заметил, что Его Величество подношений от отдельных лиц недоблюбливал и советовал отказаться от этой мысли. Львов как будто согласился со мною, но, очевидно, им владела засевшая в его голове навязчивая мысль – добиться, под предлогом подношения упомянутой иконы Высочайшего приема. Более у нас с ним разговора по этому поводу не возникало. И вдруг я узнаю, что Владимир Николаевич внезапно уехал в Крым с единственной целью добиться осуществления своего намерения.

Государь в то время проживал в Ливадийском Дворце и избегал приемов, нарушавших его отдых. Львову пришлось преодолеть немалые хлопоты, чтобы испросить себе Высочайшую аудиенцию. В конце концов, она состоялась, но в обстановке, показавшейся болезненно самолюбивому Владимиру Николаевичу в высшей степени обидной.

Государь принял его, как и всех, стоя, выслушал пламенно произнесенную Львовым приветственную речь, с описанием фамильной иконы, принял ее, милостиво поблагодарил, протянул ему на прощание руку, и этим и закончился Высочайший прием, о котором Львов так страстно мечтал и от которого столь многого для себя ожидал. В действительности же, особого Царского внимания к себе Владимир Николаевич не снискал и... придворного звания не получил.

Глубоко разочарованный Владимир Николаевич сразу же обнаружил всю неустойчивость своей натуры и из пламенного монархиста и поклонника Государя, он превратился в открытого его ненавистника.

Докатившись на своем новом пути до Обер-Прокурора в Синоде Временного Правительства, Владимир Николаевич дошел до полного ренегатства. Его милая жена, моя кузина, рыхлая и добродушная Мария Алексеевна, жаловалась мне, что ее

«Володя» совсем стал неузнаваем и странен в своих поступках. Как только он заделался Обер-Прокурором, так, по ее словам, первое, что он сделал – это снял со стены и куда-то запрятал мой портрет с надписью, упоминавшей наше с ним сотрудничество.

Встречаясь в медовые месяцы своего министерского положения со мною на Петроградских улицах, преважно сидя в бывшем царском автомобиле, Львов демонстративно от меня отворачивался... И вдруг, в бытность нашу с семьей в Москве, в июле того же 1917 года, заходит к нам Мария Алексеевна Львова и спрашивает, приму ли я «ее Володю», который очень хочет со мною свидеться. Я задумался, но старое взяло верх, и я решил его принять.

Вечером того же дня к нам на Новинский бульвар пожаловал сам Обер-Прокурор, только что возглавлявший совершенное всем синодским синклитом и многотысячным народом папломничество в Троице Сергиевскую лавру.

Не стану подробно описывать нашей встречи; не скрою лишь, что я принял своего бывшего верного сотрудника холодно. На этот раз он показался мне определенно душевнобольным человеком. Это сознание вызывало во мне не только жалость к нему, но и чувство страха за руководимое им ведомство. Сидя у меня, Владимир Николаевич ругательски ругал своих коллег по Временному Правительству, обрисовывая каждого отдельно и всех вкупе в ужасающих красках.

Особенно доставалось Керенскому, что, впрочем, не мешало тому же Львову затеять с этим фатальным для российских судеб революционным фанфароном посредническое дело, ныне сделавшееся достоянием истории и оказавшее столь роковое влияние на честного Корнилова и его намерение спасти родину от революционной разрухи.

Вернусь к описанию обстоятельства, связанного с личностью того же Львова, послужившего причиной тому, что я и мои сотрудники отошли от издания «Голоса Самары». Шел второй год Великой Европейской войны. Наша газета продолжала нести свою посильную службу. В Самаре происходил сбор одежды и белья для войсковых частей, отправленных на фронт из нашего города. Газета всячески содействовала его успеху.

Приезжает из Петрограда В.Н.Львов и заявляет, что его тетка графиня Мордвинова пожертвовала для нашей газеты 25.000 рублей и отдала эти деньги в его, Львова, полное распоряжение. Он предложил приобрести на них усовершенствованные печатные машины, вместо прежних устаревшего типа, и высказал еще ряд предположений по улучшению общей постановки газетного издания.

Поверив Львову, я обрадовался щедрому дару. При участии специалистов приступлено было к обсуждению предложенных Львовым мероприятий. В результате, на упомянутые деньги был сделан ряд новых приобретений.

Прошло некоторое время и в Петрограде совершенно случайно я заговорил с одним из Самарских депутатов о полученных нами от графини Мордвиновой деньгах для «Голоса Самары». И вдруг, к немалому своему удивлению и еще большему негодованию, узнаю, что 25.000 рублей были получены Львовым не от его тетки, графини Мордвиновой, а были им испрошены для нашей газеты из правительственных сумм.

Моему возмущению не было границ. Деньги были почти полностью израсходованы. Не имея возможности вернуть их, и не желая предавать гласности этот чудовищный обман, я потерял всякую охоту принимать участие в скомпрометированной правительственной подачкой газете. Совместно со своими ближайшими сотрудниками, я заявил о нашем выходе из состава

пайщиков и руководителей «Голоса Самары», предложив все газетное дело взять в свои руки самому Львову. Он отказался, и газета, существовавшая с 1906 по 1915 год, была ликвидирована.

А как радовались мы все, когда, ранним утром первого января 1906 года, на улицах появились мальчишки с новой, большого формата, газетой, под заглавием «Голос Самары», которая в тот же день была разослана по всей губернии в сотнях экземпляров на каждый уезд. Торжеству нашему не было пределов, несмотря даже на то, что самарские улицы, в особенности главная «Дворянская», к вечеру были завалены кусками разорванной нашей газеты – в этом проявлен был знак внимания к нашему новому печатному изданию со стороны враждебного нам лагеря.

Несмотря ни на что, дело не стало и пошло развиваться.

Часть VII.

Общепредводительский съезд в Москве. Выборы в Государственную Думу. Весна и лето в имении. Второй съезд Всероссийского объединения дворян в Петербурге. Пожалование придворного звания. Праздник в Аркашоне. Новый 1907 год. Поездка по Европе. Возвращение в Россию. Роcпуск Государственной Думы. Поездка в Петербург ко дню рождения Наследника. Переезд семьи в Самару. Предвыборная деятельность. Третья Государственная Дума. Пожалование егермейстерского звания и представление Государю. Переизбрание предводителем и участие в работе Землеустроительной комиссии.

73

В начале января 1906 года князем П.Н.Трубецким в Москве был созван Общепредводительский Съезд с приглашением Губернских и Уездных Предводителей. От Самарского дворянства намечены были, помимо меня, как Губернского Предводителя, еще Уездные Предводители: гр. А.Н.Толстой, А.М.Наумов, М.Д.Мордвинов и А.Н.Шелашников.

Приезд наш в Москву совпал со временем, последовавшим после только что пережитых Первопрестольной столицей бурных событий декабрьского революционного бунта, умело подавленного энергичной рукой адмирала Дубасова. В городе продолжало оставаться в полной своей силе осадное положение, которое и мы все на себе испытывали. Приходилось забираться рано вечером к себе домой в гостиницу, в силу объявленного запрета показываться на улицах после 9 час. вечера. Оставались мы в гостинице «Дрезден».

Съезд происходил в одной из боковых зал Московского Дворянского Собрания. Он оказался во всех отношениях чрезвычайно удачным и, несмотря на смутное безвременье, привлек со всех концов дворянской России до 120 участников. Собранным было важно и интересно друг с другом свидеться, чтобы обсудить ряд серьезнейших вопросов, возникших в связи с Манифестом 17-го октября, с намечавшейся дальнейшей земельной политикой правительства Витте, и связан с вопросом о борьбе с общей разрухой и происходившими почти повсеместно аграрными беспорядками.

На съезде дворяне со всех губерний Европейской России перезнакомились и сблизилась, может быть, впервые за все время существования предводительского института. Все, о чем говорили и думали на местах, теперь обобщалось, объединяя в один дружный и мощный хор голоса людей земли, явившихся по своему положению ответственными руководителями местной уездной жизни, близко знавших ее запросы, нужды и настроения.

Само собой, не ради своих сословных интересов съехались Предводители на пепелище только что потушенного московского революционного пожарища, а исключительно во имя общегосударственной пользы, подобно тому, как вся их местная работа в далеких углах провинции всегда направлялась ко благу всего русского народа.

В таком же духе и предлагались к обсуждению и разрешались вопросы на Московском январском съезде. Был выработан взгляд на взаимоотношения между Царской Властью и будущими выборными законодательными палатами.

По мнению съезда, революционная разруха, ослабляющая государственный организм, является таким исключительным

обстоятельством, которое требует проявления сверху до низу объединенной, сильной и твердой власти.

Обсуждалась также ходившая по рукам докладная записка Министра Н.Н.Кутлера, поданная им в Совет Министров, в которой рекомендовались дополнительные нарезки к крестьянским наделам за счет помещичьих земель, подлежащих принудительному отобранию за определенное вознаграждение. На съезде к записке отнеслись отрицательно, исходя из принципа неприкосновенности собственности.

Было высказано пожелание съезда приступить к скорейшей организации Всероссийского объединения дворянских обществ в лице особо избранных уполномоченных на дворянских собраниях. Некоторые положения вошли в докладную верно-подданическую записку, которую было поручено представить на Высочайшее благоусмотрение Московскому Губернскому Предводителю князю Петру Николаевичу Трубецкому, состоявшему за все время Съезда его председателем.

Занятия наши происходили с раннего утра и до вечера. Я участвовал в целом ряде комиссий, редактировал некоторые резолюции, выступал на общих собраниях. Впервые пришлось мне высказываться в присутствии представителей всех местностей России по вопросам высшей политики... Успех моих выступлений подтверждался самими собраниями и тем, что мне говорили самарцы. Они же мне сообщили, что в предводительской среде в то время много говорилось о Высочайшем приеме 23 ноября 1905 года, и об особом ко мне благоволении Государя, которое Его Величество многим из представлявшихся после меня Предводителям высказывал.

При закрытии работ на Съезде возникла мысль высказать благодарность адмиралу Дубасову, за энергичное усмирение

московского восстания. Как один из членов депутации я, совместно с другими предводителями, был принят Дубасовым в Генерал Губернаторском доме и выступал с благодарственной речью, в которой я, между прочим, сказал следующее: «Вам, адмирал, Государь вверил замиравшее сердце России – Москву... В Ваших мужественных руках оно снова забилося, а за ним стал оживать и весь Российский организм... Приносим Вам за то нашу горячую благодарность»... Дубасов был, видимо, тронут нашим вниманием.

По окончании Съезда я отправился в Петербург, главным образом, с целью повидать Великого Князя Николая Николаевича, как Председателя Комитета Государственной Обороны.

Положение в Самарской губернии продолжало оставаться чрезвычайно ненадежным, ввиду отсутствия достаточного количества войск и охранной стражи. Самарское общество, под которым я разумел заинтересованных в охране своего имущества, просило меня доложить в столице кому следует о необходимости скорейшего усиления местного гарнизона и уездной стражи. Я решил проехать в Петербург и добиться доклада лицу, от которого зависел весь успех самарского ходатайства, войти.

В описываемое время Великий Князь Николай Николаевич занимал принадлежавший ему особняк на Михайловской площади, недалеко от Европейской гостиницы. Дежурный адъютант, кн. Павел Борисович Щербатов, быстро доложил обо мне Великому Князю. Не прошло и четверти часа, как он меня провел до кабинета и просил меня

Растворив дверь, я увидел перед собою большую комнату, богато отделанную темным деревом в готическом стиле. В самом конце ее, у окна, помещался большой письменный стол, за которым, лицом ко мне, сидел Великий Князь, углубленный в

чтение кипы лежавших перед ним бумаг. Я сделал по направлению к столу несколько шагов, и вынужден был невольно остановиться... Передо мною вдруг очутилась не собака, а огромное чудовище, злобными глазами на меня уставившееся. То был любимец Великого Князя, колоссальных размеров густопсовый красавец борзой, тип настоящего волкодава, необычайной силы и злобности... Показывая на борзого рукой, я громко спросил Великого Князя: «Ваше Императорское Высочество! Как прикажете поступить?» Николай Николаевич поднял голову, улыбнулся и приветливо сказал: «Не бойтесь! Идите!» и резко крикнул собаке: «Тиран! место!» Борзой быстро послушался и куда-то за хозяйской фигурой спрятался. Великий Князь меня посадил в конце стола и предложил приступить к докладу.

Обрисовав революционную разруху в нашем Самарском Поволжье, изложив подробно все события, происходившие с октября 1905 г. по январь 1906 г. в самой Самаре, я не мог умолчать о преступных действиях, допущенных артиллерийской запасной бригадой. Я считал также своим долгом отметить героическое и мужественное поведение верного царской присяге подполковника Кременцова.

Великий Князь слушал меня с неослабным вниманием, зорко в меня всматриваясь. Докладывая ему, я не мог не любоваться его молодецкой выправкой и выражением его энергичного мужественного лица. Редко задавая мне дополнительные вопросы, Его Высочество дал мне время и возможность, не спеша, все обстоятельно ему изложить, вплоть до заключительных ходатайств об усилении Самарского войскового гарнизона и комплекта уездной стражи.

Дослушав меня до конца, Великий Князь спросил, имеется ли у меня по поводу всего сказанного докладная записка. Полу-

чив утвердительный ответ, он попросил ему ее оставить. Я положил мой портфель на стол и стал оттуда доставать нужную бумагу, но опять вынужден был остановиться... Откуда ни возьмись, около меня вновь очутился борзой, ростом выше стола, его громадная, сухая, мускулистая морда легла на мой портфель, рядом с моими руками. Далеко не приветливо уставились на меня злые, кровью налитые глаза густопсового зверя... Это произошло в одно мгновение, и также быстро просвистал над борзым хлыст его хозяина. Опять раздался окрик: «Место!».. Записка была вручена. Великий Князь поднялся во весь свой огромный рост, посмотрел на меня сверху вниз и любезно мне на прощанье сказал: «Благодарю за все выслушанное. Постараюсь сделать возможное».

Результаты моего доклада Великому Князю оказались весьма существенными. Бунтовавшая артиллерийская бригада была раскассирована. Офицерский состав был предан суду. В Самару были присланы свежие войска и многочисленная стража, распределенная по уездам. Кременцов за отличие произведен в полковники и переведен в лейб-казацкий полк. Ему были сделаны в Самаре торжественные проводы. От землевладельцев и городских собственников, признательных за его энергичную деятельность по охране их имуществ, ему поднесена при особом адресе серебряная группа, изображавшая разлуку верхового казака со своей хозяйкой. Но, привыкший к простой деловой жизни, Кременцов не долго смог вынести столичную полковую гвардейскую обстановку, со всеми ее необычными для него условностями и праздными интригами. Вскоре ему, по его же просьбе, в виде служебного повышения, дали в его родных Оренбургских степях казачий полк, но не судьба была ему им долго командовать... На летних маневрах 1907 года Кременцов внезапно скончался от разрыва сердца.

В Петербурге я пробыл не более недели, причем неоднократно имел случай видаться с некоторыми нашими дворянами, крупнейшими землевладельцами, постоянно проживавшими в столице и приходившими ко мне, как к своему Губернскому Предводителю.

Особенно часто заходил ко мне симпатичный князь Платон Сергеевич Оболенский Нелединский-Мелецкий и заезжал за мной граф А.А.Орлов-Давыдов. Его интересовал вопрос о вознаграждении со стороны правительства за понесенные ими от аграрных беспорядков убытки. Этих лиц я ознакомил с нашим Самарским объединением, к которому они примкнули и внесли некоторые денежные суммы на газету и на наем охраны. Вопрос о вознаграждении я пообещал поставить на обсуждение ближайшего своего партийного и Дворянского Собраний.

Заехал я к П.Н.Дурново, который мне сообщил, что В.Г. Кондоиди назначен Членом Совета Министра Внутренних Дел, чем он меня немало порадовал. Дурново напомнил наш разговор, имевший место 24 ноября прошлого 1905 года, но по поводу Государева желания о перемене моей службы, и передал мне, что он постарался Царю изложить в точности мой ответ, который был принят благосклонно. Его Величество повелел Дурново внести меня в первый очередной список лиц к награждению придворным званием.

В бытность мою в Петербурге, я был осведомлен о роли, которую сыграли три неразлучных друга – гр. Гудович, кн. Трубецкой и Стахович – в деле преобразования Государственного Совета и количества в нем дворянских представителей. Благодаря органической ненависти Витте к дворянству, дружбе с ним Стаховича, податливости и мягкотелости остальных двух – дворян-

ское сословие получило в составе Верхней Законодательной Палаты представительство не от каждого губернского общества, а всего лишь 18 мест.

На обратном пути я задержался ненадолго в Москве, где в начале февраля, в Славянском Базаре, впервые собрался Всероссийский съезд партии 17-го октября, т.н. «октябристов». Приглашались на него не только лица, вступившие в эту партию, но и все ей сочувствовавшие. Состоя руководителем своей Самарской партии, во многих отношениях подходившей по своей программе к октябристскому объединению, я заинтересовался Московским Съездом и решил посетить его, чтобы побывать на впервые появившемся в нашей стране публичном политическом собрании.

Съезд происходил в известной всем москвичам зале Славянского Базара, красиво отделанной в русском стиле. Немного опоздав к началу, я вошел в уже заполненное людьми помещение. У стены, на особом возвышении, восседал президиум Съезда. Председательствовал Александр Иванович Гучков. Шла длительная процедура переклички тех, кто уже зарегистрировался в бюро съезда. Я явился на собрание по личному приглашению Гучкова, ввиду чего Самарская губерния при проверке полномочий была опущена.

По окончании регистрации Гучков сообщил, что в зале находится представитель Самарского объединения, близкого по своей программе к союзу 17-го октября, и обратился к присутствующим с призывом приветствовать меня, как одного из первых организаторов здорового политического объединения и основателя первого за переживаемое лихолетие трезвого печатного органа «Голос Самары».

Я был смущен неожиданно оказанным мне вниманием, поблагодарил и заявил, что выслушанное мною приветствие относится ко всем моим сотрудникам самарцам, проявившим политическую устойчивость и сознание долга перед родиной. Я упомянул, что образовавшаяся в Самаре Партия Порядка остается совершенно самостоятельной, несмотря на сходность наших политических программ.

Съезд продолжался несколько дней, в течение которых была просмотрена, пункт за пунктом, намеченная программа партии и обсуждена партийная тактика. Персональный состав этого Съезда и общий ход его работ произвели на меня самое благоприятное впечатление.

75

Возвращался я в Самару по железнодорожному пути, приведенному почти в нормальный вид, благодаря энергичным мерам, принятым по всей восточной Сибирской магистрали (Москва – Иркутск) специальным экспедиционным карательным отрядом во главе с генералом бароном Меллер-Закомельским. Приятно было снова путешествовать в чистых вагонах, заходить на опрятные станции и чувствовать себя среди покоя и порядка...

В Самаре, вместо Засядко, появился временно исполнявший обязанности Начальника Губернии Вице-Губернатор Николай Николаевич Михайлов, казанец по происхождению. Он оказался полной бездарностью, да еще вдобавок трусом. Нерешительность его доводила меня до полного отчаяния. П.Н. Дурново с января 1906 года снабдил губернаторов почти неограниченной репрессивной властью. Они получили право по личному

своему усмотрению высылать за пределы губернии в административном порядке, без суда, сажать в тюрьму, предавать военно-полевому суду и пр. Редкий вечер проходил, чтобы Михайлов не заезжал ко мне, расстроенный и нервный, советоваться относительно представленных ему списков лиц, заподозренных в контрреволюционной революционной деятельности. Каждый раз я просил меня оставить в покое, ссылаясь на то, что рассмотрение подобных списков составляет прерогативу губернатора. Несмотря на это, жалкий, терроризированный революционерами, Михайлов, продолжал меня донимать своими расспросами. Но вскоре назначили в Самару Губернатором Ивана Львовича Блока. Человек строгого порядка и энергичный он внес давно желанное твердое направление в губернскую жизнь. К глубокому сожалению, этот образцовый администратор недолго правил Самарской губернией. Летом того же 1906 года он пал жертвой террористического акта. Несмотря на крайне неблагоприятную политическую обстановку, на усиленное противодействие крайне оппозиционной прессы и на угрозы подпольного террора, наше объединение непрерывно росло. Совет Партии Порядка решил использовать знаменательный в истории развития русской государственности день – 19 февраля – для созыва публичного партийного собрания, открытого для всех желающих. Руководители нашего объединения поставили себе задачей вызвать публичное состязание враждующих партий. Они рассчитывали одержать победу и тем самым усилить свой престиж не только в самом городе Самаре, но и во всей губернии. В Самаре в описываемое время образовалось две политических партии: «Партия Порядка» и конституционно демократическая, или «кадетская».

19-го февраля в поместительном зале Коммерческого Собрания собралось множество народа. Я распорядился все помещение декорировать национальными флажками и выставить два портрета: Царя Освободителя Александра II и Государя Николая II. По этому поводу мне высказывали всевозможные опасливые предупреждения. За время осенней смуты 1905 года портреты Августейших Особ уцелели лишь в Дворянском Собрании. В остальных же присутственных местах они были обезображены или вовсе уничтожены. Но я упорно настаивал, что необходимо всенародно и твердо выразить, показать и исповедовать наше политическое credo. Его основой я считал объединение Царя с народом. Я встал на свое председательское место и с чувством особого подъема обратился к собравшейся тысячеголовой массе с моим вступительным словом. Я указал на значение монархического начала в исторической жизни Русского Государства. Указывая на оба Царских портрета, я напомнил огромное значение Манифеста 19 февраля 1861 г., и деятельность самого Царя-Освободителя, провел параллель с Манифестом 17-го октября 1905 года, который обновил и укрепил весь государственный организм, и выяснил всю важность реформы, дарованной ныне царствующим Государем. Александр II освободил народ, а Николай II призвал его себе на помощь для управления страной. Я указал, что со стороны Монарха все возможное для нас было сделано, и мы должны Его от всего нашего русского верноподданного сердца поблагодарить и употребить все усилия, чтобы оправдать выраженное нам с высоты Престола доверие. Закончил я призывом встать и провозгласить: «Да здравствует Государь Император!» Вся зала, как один, поднялась – раздалось неумолчное, одушевленное «ура», а за ним полились мощные звуки гимна «Боже Царя храни». После мно-

гих месяцев революционной разрухи и террора впервые раздались они в Самаре. После многократного общего пения гимна тот же импровизированный хор исполнил «Коль Славен». Вновь раздалось мощное и длительное «ура!» Я видел, как многие из участвовавших плакали от захватившего их патриотического чувства, которое они долгое время должны были в себе таить. Здоровая потребность национальной русской души нашла наконец себе выход и простор... Моя цель была достигнута... Счастливый, при единодушных аплодисментах, я сел и представил слово следующим докладчикам.

Очень хорошо, с необычайным подъемом говорил В.Н. Львов о значении народного представительства в связи с культом царизма. За ним выступил Т.А.Шишков, обстоятельно, спокойно и объективно изложивший, чем программа нашей партии отличается от кадетской. С.А.Богушевский произнес горячую речь о необходимости в данный момент широкого объединения здоровых сил страны. Наконец П.В.Кругликов подробно разъяснил собравшимся технику предстоявших выборов.

По окончании докладов я предложил желающим задавать вопросы. Из задних рядов послышался голос, запросивший меня, как наша партия смотрит на допустимость смертной казни. Я ответил, что тот, кто подымет меч на ближнего своего, под коим надо разуместь и родину свою, тот должен от меча и погибнуть. Встречено было мое краткое разъяснение общим одобрением присутствовавших. Лишь в тех же задних рядах раздалась свистки и негодующие выкрики. Впоследствии мой ответ послужил темой длительной травли меня в крайней левой прессе. В «Горчишнике», на видном месте жирным шрифтом печаталось объявление: «Продаются оптом и в розницу орудия для смертной казни, просят обращаться к Наумову, Дворянская улица, собственный дом»...

После моего заключительного слова Собрание 19-го февраля закончилось пением родного гимна. Общее настроение было радостно приподнятое. Участвующие с бодрыми и оживленными лицами подходили меня благодарить и пожелать нам дальнейших успехов...

Но на том же собрании произошло обстоятельство, имевшее для меня совершенно неожиданные и пренеприятные последствия. Среди лиц, пожелавших по окончании заседания выразить мне свои приветствия, оказался один из сотрудников «Волжского Слова», Самарской газеты левого направления. Он попросил меня, в интересах более точного составления отчета о собрании предоставить в его временное распоряжение лежавший передо мною конспектный набросок моей вступительной речи. Это были отдельные листочки, второпях мною заполненные главными положениями, о которых я имел в виду на собрании доложить. Запись была сокращенная и неразборчивая. Отдавая сотруднику мои листки, я предупредил его, что вряд ли он в них разберется и просил, во избежание недоразумений, прежде чем отдавать в печать, прислать мне составленный им отчет для просмотра, на что я получил от него любезный ответ и обещание исполнить мою просьбу. После этого сотрудник «Волжского Слова», забрав листки, живо скрылся...

За свою доверчивость я был жестоко наказан: никаких корректур сделать мне не пришлось, конспект мой бесследно навсегда исчез. До самых выборов в Государственную Думу, почти полтора месяца, в «Волжском Слове» изо дня в день трепали мое имя самым неистовым образом, восстанавливая против меня, а в моем лице против Партии Порядка, уличную толпу, губернское население и местную городскую думу, где гласным

состоял и редактор упомянутой газеты, присяжный поверенный Ветров, неразборчивый на средства, находившийся на содержании подпольных организаций.

На собрании 19-го февраля в моей вступительной речи я сообщил в кратких словах о высказанной мной благодарности адмиралу Дуба сову за подавление московских беспорядков. В конспекте моем было отмечено: «Дубасову благодарность от Самары». Сотрудник «Волжского Слова», приводя подробно мою речь, приписал мне, будто бы я благодарил адмирала Дубасова «от всего города Самары» и ссылаясь на имевшийся у него текст мною ему переданного конспекта.

С этого и началась газетная вакханалия. Не проходило дня, чтобы по моему адресу не появлялось громовой статьи с требованием «народного» надо мною суда. Городская Дума неоднократно собиралась для обсуждения этого «злбодневного» вопроса... Все сводилось к тому, что я публично себя выставил сторонником «дубасовщины» и что посмел высказать этому тирану адмиралу от «имени города Самары» благодарность за «пролитую им невинную кровь»! Какие у меня были на то полномочия? и т.д. Вся эта шумиха затеяна была враждебным лагерем ради предвыборной агитации и по соображениям чисто тактического свойства.

Вспоминаю этот период времени не без тяжести, но и не без искренней признательности по отношению к моим друзьям и сотрудникам, у которых я находил удивительно душевную и твердую поддержку. Мои политические друзья и единомышленники выступали в «Голосе Самары» в ряде боевых статей. От имени Совета Партии Порядка мне был поднесен трогательно составленный адрес, который придал мне бодрости и сил для дальнейшего служения интересам правового порядка.

Разумеется, что с окончанием предвыборной кампании вся раздутая и представленная в лживом свете история с благодарностью Дубасову затихла... Прошло несколько лет, и та же Самарская Городская Дума стала восхвалять мои заслуги и выносила единогласные резолюции о награждении меня званием почетного гражданина г. Самары, о помещении моего портрета в городском музее и т.д. Воистину, – «Tempora mutantur et nos mutamur in illis!»

76

В двадцатых числах того же февраля я решил проехать к себе в Головкинское имение. Оттуда приходили тревожные сведения о настроениях среди крестьян. Они требовали себе прирезок из принадлежавшего мне пахотного участка, а также всевозможных льгот в пользовании моими лесными и луговыми угодьями. Железнодорожное сообщение было еще плохо налажено. Пришлось ехать на лошадях 200 верст. В общем дорога туда и обратно прошла благополучно, несмотря на то, что взбаламученная уездная жизнь далеко еще не успокоилась. Повсюду попадались признаки пронесшегося революционного урагана... Особенно неприятно было встречаться с местными обывателями нашего многопомещичьего угла, между Озерками и Головкино. Вместо прежнего внимания, приветливых поклонов и сворачивания с дороги, теперь на их лицах явно проглядывало озлобление, а в обращении подчеркнутая грубость по отношению к встречному «барину».

В Головкине я застал крайне подавленное настроение среди соседей помещиков, а крестьянский люд, особенно молодежь, были в очень возбужденном состоянии.

Радостно встретились мы с почтенным моим «ангелом-хранителем», – И.П.Кошкиным. Я поведал ему до мельчайших подробностей о моем ноябрьском свидании с Царем и обо всех столичных и местных событиях. Старик слушал и одобрительно кивал головой.

В Головкине два обстоятельства требовали моего личного решительного вмешательства. Прежде всего надо было покончить с разыгравшимися аппетитами Головкинских крестьян, пожелавших отнять от меня любимый мой участок, а затем получить право даровой рубки, косьбы, охоты и рыбных ловель, а также выгон на моих ближних лугах.

За время моего отсутствия революционно аграрный нажим оказал свое воздействие даже на таких твердых и крепких помещиков, каковыми были мои ближайшие соседи – двоюродные братья Павел и Николай Михайловичи Наумовы. Они согласились продать крестьянам часть своих угодий, чрез посредство Крестьянского Банка. Я решил этого не делать. Мое имение во многом отличалось от угодий других Наумовых. Отчуждение нарушило бы общий комплекс и характер моего хозяйства. Какие-либо уступки при создавшейся бунтарской обстановке ни к чему толковому привести не могли. Настроение наших крестьян было лихорадочно возбужденным. Они были совершенно сбиты с толку бродячими агитаторами... Основой их претензий было не их малоземелье или материальное неблагополучие – ни на то, ни на другое Головкинские жители жаловаться не могли. Главным образом это было стихийное понимание вещей, привитое общинному крестьянству всем их историческим прошлым и подсказанное умелой противоклассовой пропагандой – толкованье земли, как объекта, подлежащего общему пользованию... «Земля, что воздух или вода – должна всем одинаково

принадлежать». Вот, что я лично слышал от Головкинских крестьян в описанный мной приезд. К этому прибавлялось, что все наше помещичье земельное, лесное, луговое и прочее богатство досталось нам даром еще со времен «баловавшей господ» Царицы Екатерины Второй.. Поэтому, а также согласно объявленных по Манифесту 17-го октября самим Государем Николаем II «свобод», пришло, наконец, по мнению крестьян, время «расквитаться» крестьянскому люду со своими помещиками, разобрать их землю «по справедливости» и получить свободу пользования лесом, травой, охотой, рыбными ловлями и выпасом на помещичьих угодьях.

Всех этих бредней я наслушался на другой же день моего приезда в Головкино, когда с раннего утра набрался полон двор мужиков, баб и даже малых ребят. Сошел я к ним вплотную, вошел в самую гущу собравшихся и стал всматриваться в лица с детства знакомых мне крестьян. Сердце сжалось: вместо прежнего добродушного и приветливого выражения, глаза их горели неприязнью, даже озлоблением.

Выслушав речи выступавших в качестве «орателей» нескольких молодых людей, впервые мною виденных, я спокойно заявил, что разговаривать с такой массой народа мне трудно. Пусть выберут десяток головкинских крестьян, которых я просил потом зайти в мою контору.

Через некоторое время человек около двадцати вошло в мой конторский кабинет, и к большому своему удовлетворению я увидел среди них добрую половину своих яицких соседей – хороших и разумных хозяев. Ближайшей моей целью было доказать и уяснить крестьянам, что дарового имущества, как об этом «болтали», в моем распоряжении никакого не было. Я им поставил на вид, что передача Головкинского имения от отца в

мою собственность состоялась не без значительных с моей стороны затрат. Я им дал также понять, что если лес «на моих угодьях рос сам собой», то так же, как и вся луговая трава; если рыба помимо моих забот водилась в Волжской и озерной воде, – то за все это ежегодно мною, как и моими предками, платилось не малое количество разных денежных сословных и земских сборов, а также и государственного поземельного налога. Я показал им документы – окладные листы, квитанции и пр., хранившиеся в моей конторе.

Вместе с ними я делал подсчеты, во что обошлась мне и моему отцу каждая десятина земли, лугов, лесов, а также право на рыбные ловли. Крестьяне внимательно прислушивались к моим словам и приглядывались к предъявленным доказательствам конторской отчетности. В конце концов стали раздаваться замечания вроде: «Да»... «действительно»... «не больно даром»... «вишь, зря болтали»..

Я сказал собравшимся у меня в кабинете почтенным мужикам, с которыми я рос и работал вместе: «Вы знаете, старики, что свое имение я получил от отца. Он всю свою жизнь хлопотал около своего любимого хозяйства. И мне завещал хранить его в полной неприкосновенности. Для меня воля отца священна. Предупреждаю, что ни пяди своей земли я никому не уступлю – покончите сначала со мною, положите меня рядом с отцом и тогда забирайте мое родное имущество!»... Послышались голоса: «Мы силой не желам!»... «На што так говорить!»... «До греха не допустим!»

Пока мы в конторе занимались разными справками и выкладками, стоявшая во дворе на холоду толпа стала расходиться. К концу наших разговоров с уполномоченными осталась ожидать сравнительно небольшая группа крестьян. Сказав бывшим со мною в конторе лицам на прощанье: «Не обезсудьте,

старики, за мое откровенное слово», я отправился к себе домой, выжидая дальнейших событий, но к моему великому удовлетворению более никто ко мне не обращался. Мое определенное решение стало известно всему селу и дальнейшие попытки воздействовать на меня отпали сами собой.

На почве общего революционного возбуждения возникло еще другое дело. Оно касалось моих Головкинских служащих. Мне пришлось принять быстрые и решительные меры. Не успел я приехать в Головкино, как в тот же вечер ко мне в контору вваливается весь многочисленный штат моих служащих, и подается мне «петиция» с целым рядом «требований»: об увеличении всем жалованья на 25%, о сокращении часов работы, улучшении жилищных помещений и пр. Подобная демонстрация была сюрпризом не только для меня, но и для почтенного Кошкина и Божмина.

Стал я приглядываться к лицам явившегося персонала, из которого добрая половина перешла ко мне еще от отца и служила нам верой и правдой не один десяток лет. Заметил я между ними даже таких, как бывшего садовника, престарелого Павла Степановича, состоявшего на службе еще со времен крепостного права и доживавшего в качестве пенсионера свой долгий век в нашей усадьбе. Скользнул я еще раз глазами по этим знакомым, столь преданным мне ранее лицам, и заметил на большинстве из них явные признаки смущения. Очевидно, что и до Головкинской среды докатился революционный вал всесильного террора, державшего в цепких руках меньшинства заstraщенное большинство.

Положив петицию на стол, я заявил, что никаких требований я не исполню и никакого вмешательства в дело управления моим хозяйством я не допущу. Затем я предупредил всех при-

мкнувших к поданной мне петиции, что даю им сутки на размышление. «Завтра вечером, – добавил я – в этот же час, я приду в контору и, если не последует со стороны моих служащих полного раскаяния, завтра же все до одного, подписавшие петицию, будут мною уволены без различия положения и годов службы. Господь не без милости! Справлюсь и без вас!» С этими словами я вышел из конторы.

На следующий день я производил обычный обход своего хозяйства, встречался со служащими, заметил их подчеркнутую приветливость, но ни с кем о пресловутой «петиции» не заговаривал, предоставив им самим расхлебывать заваренную кашу.

Вечером в назначенный час я появился в своем конторском кабинете и был встречен теми же моими служащими, но с иным настроением и заявлением... Все до одного стали горячо и искренно просить у меня прощения – многие со слезами на глазах... Тут же – конторе – ими были выданы мне зачинщики: полевой объездчик Василий Половинкин, из Головкинских крестьян, и помощник конторщика, юный Михаил Резчиков, умный и дельный работник, взятый мною из Архангельской мастерской семьи. Сконфуженные, оба сознались, что до моего приезда попали под влияние приехавших из Симбирска агитаторов. Они им поручили составить и подать петицию. Простив всех остальных, я объявил обоих зачинщиков уволенными. Перед самым моим отъездом из Головкина, я принял во внимание их раскаяние и обещание впредь слушаться лишь своего хозяина, и принял их вновь на службу.

Поездка моя в Головкино оказалась чрезвычайно полезной. Все более или менее успокоилось и было вновь направлено

по деловому руслу. С этим сознанием я вернулся в Самару, где в нашей партии и в газетной редакции шла кипучая работа по объединению, которое должно было обеспечить победу нашим избранныкам в Государственную Думу.

Помимо этого, на начало марта мною созывалось экстренное Дворянское Собрание. Предстояло выбрать уполномоченных на Всероссийский Съезд Объединенного Дворянства и обсудить новый порядок операций Крестьянского Банка по закупкам имений не за наличный денежный расчет, а путем выдачи продавцам особых 6% именных государственных обязательств. Это било по карманам нуждавшихся землевладельцев. Они теряли изрядную сумму при пониженной расценке Банком их имений, а сверх этого, терпели еще убытки при реализации выдаваемых им, вместо денег, процентных обязательств, теряя при этом до 15% их номинальной стоимости.

Дворянское Собрание избрало уполномоченных на Съезд общедворянского объединения и поручило мне ходатайствовать пред надлежащими столичными властями об изменении порядка, хотя бы в смысле принятия при реализации процентных обязательств в полной их номинальной стоимости.

С половины февраля описываемого года появился в Самаре новый Губернатор Иван Львович Блок, переведенный из Гродненской губернии, где он использовал в полной мере циркуляр Министерства Внутренних Дел об образовании на местах общественных комитетов охраны и порядка. Об этом Иван Львович мне сообщил при первом же нашем знакомстве, отметив оказанную этими организациями исключительную для Гродненского населения пользу. Считаю уместным здесь оговориться, что в самой Самаре с «моими» комитетами обстояло слабо. Место комитетов силою вещей занял наш губернский совет Партии Порядка со своими уездными филиалами.

Блок был выдающимся, серьезным работником и превосходным Губернатором, соблюдавшим во всем законность и порядок. Требовательный к самому себе, он был неумолим по отношению к своим подчиненным. Получив запущенное наследство, он быстро и решительно принялся за дело его упорядочения и оздоровления. В Самарской административной жизни, с появлением Блока, произошел крутой поворот в сторону законности и порядка, что многим пришлось не по вкусу.

После дворянского экстренного собрания я должен был спешно выехать в Петербург для участия на первом Всероссийском Съезде Объединенного Дворянства, который состоялся в первых числах марта в помещении бывшего Министерства Земледелия.

В описываемое время пост Главноуправляющего (или Министра Земледелия) кратковременно занимал член Государственного Совета Александр Семенович Стишинский, умный, даровитый сановник крайнего консервативного направления. Он согласился предоставить для съезда в своем министерстве приемную залу. Благодаря его любезности съезд мог начать и провести до конца свою работу в спокойной обстановке, исключавшей возможность каких-либо посягательств на ход занятий со стороны враждебно настроенных против дворянства политических и террористических организаций.

Занятия съезда шли под председательством единогласно избранного бывшего Петербургского Губернского Предводителя, гофмейстера графа Алексея Александровича Бобринского, человека умного, выдержанного, обходительного, умевшего сглаживать возникавшие трения и недоразумения.

Надо сказать, что первый день прошел неожиданно в досадной обстановке. Вместо желанного объединения съехав-

шихся со всех концов России дворян, создалось настроение совершенно иного порядка с признаками взаимной нетерпимости и явного раздора. Виновником этого оказался прославившийся впоследствии в качестве народного трибуна и политического агитатора крайне правого направления, курский дворянин, Николай Евгеньевич Марков, более известный под думским наименованием «Маркова 2-го». Высокого роста, он обладал незаурядной внешностью, голову нес высоко и горделиво, в разговорах был резок и заносчив. В карих глазах его виднелась не столько решимость и энергия, сколь упрямая непримиримость. Надо все ж отдать ему справедливость, по-своему, «Марков 2-ой» являлся человеком неглупым и незаурядным. Он несомненно обладал даром красноречия и отличался большим самообладанием, не покидавшим его в самой враждебной обстановке.

Почти сразу после открытия заседания Марков попросил у Председателя слова. Граф Бобринский не знал, о чем Курский уполномоченный собирается сказать.

Марков выступил с резкой критикой деятельности Губернских Предводителей Дворянства и в грубых выражениях обличал их в «предательстве по отношению к Царю, родине и родному дворянству». Затем с присущим ему пафосом и запальчивостью, курский оратор стал восхвалять идею общедворянской организации, которая даст, по его мнению, возможность «честно действовать помимо скомпрометировавших себя и свое сословие Губернских Предводителей». Все это было сказано внезапно, скоро, коротко, а главное для всех неожиданно. Граф Бобринский спохватился лишь тогда, когда успели уже прозвучать тяжкие оскорбления по адресу предводительского института.

В первый момент после дикой Марковской выходки в зале наступила мертвая тишина... Все оцепенели... Я не выдержал и в сильных выражениях заявил свой протест против подобных выступлений, вносящих губительную для общедворянского объединения струю раздора. В резких словах высказал я свое возмущение поведением Курского уполномоченного, явившегося на съезд, как своего рода революционер, возбуждающий собрание против узаконенного и традицией установленного авторитета – института предводителей. Я заявил, что ухожу со съезда и не вернусь, пока Марков не возьмет обратно своих слов и не извинится публично перед всеми нами, Предводителями. Я демонстративно покинул залу заседания. Вслед за мною вышли все Губернские Предводители. Мы написали коллективный протест, и подали его графу Бобринскому, который, после моего заявления и ухода всех Губернских Предводителей, объявил перерыв занятий.

По возобновлении заседания был заслушан текст нашего протеста, Марков поспешил извиниться, но, оправдываясь, он вновь допустил бестактность, сославшись на то, что он не хотел затрагивать всех Губернских Предводителей, а имел в виду лишь отметить несоответствующую деятельность князя П.Н.Трубецкого и его присных... При этих словах, успевший освоиться со своим председательским положением, граф А.А. Бобринский указал Маркову на недопустимость подобных личных выходок. Пришлось Курскому оратору опять взять свои слова обратно и опять извиниться.

После этого занятия съезда прошли в спокойно деловом порядке. Даже сам Марков вынужден был приспособить свое запальчивое нутро к общей благовоспитанности и дисциплинированности.

Была выработана инструкция для Всероссийского Объединенного Дворянства, как постоянно действующего в стране общественного учреждения. Был выбран исполнительный орган – Совет Объединенного Дворянства. В состав его входили все Губернские Предводители и, кроме того, – члены, особо выбранные на съезде. Одним из них оказался мой предшественник – А.А.Чемодуров.

Обсуждалось общее политическое положение страны в связи с Манифестом 17-го октября и роль дворянства по отношению к короне и народному представительству. Заслушаны были пожелания, касавшиеся служебно-общественной и хозяйственно-экономической деятельности дворянского сословия на местах. Само собой разумеется, что главный интерес приковывал к себе вопрос о сохранении дворянского землевладения, против которого, с несомненной очевидностью, направлена была деятельность правительства Витте.

Пользуясь пребыванием своим в столице, я успел представиться Государю. Он, видимо, заинтересовался моими сообщениями с мест. Я доложил о явно несправедливой для землевладельцев новой закупочной политике Крестьянского Поземельного Банка. Государь, этот раз принявший меня в своем кабинете, с явным сочувствием отнесся к моему докладу и высказал пожелание, чтобы я тотчас же по возвращении в Петербург (представлялся я в Царском), получил свидание с Министром Финансов Иваном Павловичем Шиповым и изложил ему все мои доводы и соображения... «Скажите ему, – добавил Государь, подавая мне на прощание руку, – что я всецело разделяю Ваше мнение»...

В тот же день я был принят Шиповым в его министерском кабинете. Я ему изложил то, что считал нужным по поводу за-

купочных операций Крестьянского Банка. Иван Павлович слушал меня, глядя куда-то в сторону. Он производил впечатление человека, слушавшего лишь по нужде.

Когда я кончил, он развел маленькими пухлыми ручками в сторону и, склонив на бок свою румяную головку, пробормотал: «Ничего я сделать не могу»... Вот и все, что я от него выслушал... Передавать же Шипову Государевы милостивые слова о сочувствии моему предложению у меня отпала всякая охота: передо мною сидел не самостоятельный руководитель финансовой политики страны, а слепой исполнитель велений всемогущего в то время Витте, задавшегося целью подорвать целостность крупного землевладельческого, в особенности, дворянского класса.

Я воочию убедился в правоте поговорки – «жалует царь, да не милует псарь»!...

В тот же мой приезд в столицу пришлось мне по некоторым делам видаться с двумя товарищами Министра Внутренних Дел – С.Е.Крыжановским и В.И.Гурко. С первым я имел в виду обсудить некоторые вопросы по выборному производству. Дело в том, что Губернские Предводители, согласно новым правилам, продолжали оставаться председателями губернских избирательных собраний. У меня возник целый ряд вопросов, связанных с исполнением предстоявшей мне ответственной деятельности.

Сергей Ефимович Крыжановский был видным, средних лет, энергичным мужчиной, установившим за собой в высших бюрократических сферах прочную репутацию исключительного по своим способностям работника. Он умел быстро схватывать и талантливо излагать на бумаге порученные ему свыше задания. Им одинаково скоропалительно были набросаны – сначала «Булыгинская», а за ней и «Виттевская» конституции.

Видимо, подобная работа вполне соответствовала его природной беспринципности, перебросившей его из ярых революционеров в молодости на самые верхи чиновной службы самодержавному Государю. Разговор у Крыжановского был нервный, краткий и сухо-деловой. Получив от него необходимые разъяснения и указания по части выборного производства, я собирался уже от него уходить, но был на некоторое время им задержан памятным для меня разговором.

Сергей Ефимович поинтересовался узнать, какие меры приняты были у нас в губернии для проведения в выборщики желательного элемента. Я сообщил ему все, что нами было предпринято и, как на главное средство, указал на издававшуюся нами газету «Голос Самары». Тогда Крыжановский предложил мне принять некоторую сумму имевшихся в распоряжении Министра Внутренних Дел денег – тысяч 25 и больше – для поддержания нашей прессы, а также на «непредвиденные расходы при производстве выборов». Я наотрез от этого отказался. Сергей Ефимович покачал головой и самым циничным образом посоветовал мне следовать установившимся в заграничном конституционном быту обычаям – путем подкупа достигать желательных выборных результатов. На это я ему ответил: «Неприлично, да и не следовало бы нам, русским людям, брать пример с гнилого Запада»...

У другого Товарища Министра Внутренних Дел, В.И.Гурко, я был по делам нашего земства в связи с продовольственными операциями. Говорил Гурко хорошо и быстро, слегка в нос и с заметным горловым оттенком.

Сын фельдмаршала, героя Турецкой кампании, Владимир Иосифович был человеком даровитым и умным, быстро прошедшим иерархическую лестницу, вплоть до назначения в

сравнительно молодые еще годы, Товарищем Министра Внутренних Дел. На этом посту его постигла вскоре после моего с ним знакомства памятная «Лидвалевская» история, превратившаяся, в силу особо возбужденного состояния умов того времени, а также шума, поднятого левой прессой, в грандиозный скандал. Столыпину, волей-неволей, пришлось пожертвовать своим сотрудником и отдать его под суд...

Казалось бы, что после этого для Гурко должна была бы раз навсегда закрыться дальнейшая служебно-политическая карьера, но, настойчивый и энергичный, он не сдался и стал вновь завоевывать себе доброе и видное имя по другому пути служебного стажа. Сначала он появлялся от Тверских сословных и земских собраний на съездах Объединенного Дворянства, потом от своего же Тверского земства он попал в члены Государственного Совета. Пылкий, увлекающийся и несомненно сведущий по вопросам, связанным с земско-городским хозяйством, крестьянским укладом и земельным в стране положением, Гурко был находчивым оратором; про него можно было сказать, что он «за словом в карман не полезет». Гурко отличался при своих выступлениях редким самообладанием, граничившим даже со своего рода мужеством. Он это показал в своих боевых речах в первой Думе по поводу аграрного законодательства.

В разговоре со мною, при первом нашем с ним знакомстве Владимир Иосифович проявил явный интерес к тому, что происходило у нас на местах, в смысле подготовки к выборам в Государственную Думу. Выслушав с огромным вниманием мой доклад о принятых нами мерах и общих настроениях, Гурко, нервно перебирая пальцами по столу, отрывисто сказал: «Возьмите у нас побольше денег – без них при этих выборах, пожалуй, не обойтись... Умоляем вас – дайте в Думу хороших людей!»

Вот что мне, как будущему председателю самарского избирательного собрания, пришлось услышать из уст обоих наиболее видных руководителей Министерства Внутренних Дел по поводу техники предстоявших думских выборов.

Помню, как тяжело переживалось мною циничное отношение столичных верхов при разговорах по поводу появления на Божий свет давно желанного всей либеральной западнофильствовавшей Россией ее «конституционного» детища.

Во время мартовского Всероссийского Общедворянского Съезда, отношения между Губернскими Предводителями еще более окрепли, превратились в настоящее дружеское объединение. Сплотила нас и возмутительная выходка Маркова.

В условиях петербургской жизни, теряясь в шумной столичной толпе, или находясь в уютной обстановке дружеских бесед с моими милыми коллегами, я душой отдыхал от тяжелого самарского гнета, от непрестанной газетной и уличной травли и неослабного подпольного террора. Тем не менее, местное дело, которому я целиком себя отдал, неудержимо влекло меня вновь в мою родную Самару, куда спешил вернуться с окрепшими нервами и кучей столичных впечатлений и интересных для моих провинциальных друзей новостей.

Впереди предстоял ряд собраний не только местного, но и общегосударственного значения. Подходили выборы в Государственную Думу. В то же время я должен был созвать два экстренных собрания: дворянское – для избрания двух лиц на Всероссийский Съезд для выборов от дворянской курии 18 членов Государственного Совета. Другое собрание – земское, для выбора одного члена в Государственный Совет. Все это предстояло мне, как председателю, пронести в течение марта месяца.

78

В уездах начались повсеместно предусмотренные особыми правилами предвыборные собрания, на состав и деятельность которых было обращено нашим партийным советом особое внимание. В «Голосе Самары» помещались соответствовавшие моменту воззвания к населению – с призывом идти всем на выборы под флагом Партии Порядка, на началах Манифеста 17-го октября. Рассылались из нашего губернского центра руководящие инструкции в уездные партийные отделы. Одним словом, в пределах возможного и допустимого с точки зрения нашей совести, было сделано все.

В результате наших усилий мы достигли партийного объединения почти всего землевладельческого класса в губернии. Загадкой для нас оставался состав крестьянских выборщиков. Слухи доходили разные: из одних мест нам сообщали сведения утешительные, из других, напротив – предупреждали о самом отчаянном составе выборщиков, с преобладанием лиц, «геройски» отличившихся в последних погромах помещичьих усадеб.

79

Наступил наконец лихорадочно ожидавшийся момент, когда все 181 выборщика явились в губернский город за два дня до открытия мною губернского избирательного собрания. К тому времени я, по соображениям чисто технического свойства, официально сложил с себя обязанности председателя Партии Порядка и его совета, считая сохранение этих обязанностей несовместимым с предстоявшей мне на губернском избирательном собрании ролью ее ответственного руководителя. Впоследствии, при выборном производстве в остальные три Думы, я считал долгом снимать свою кандидатуру даже в выборщики,

чтоб занимать опять-таки совершенно независимую позицию председателя упомянутого избирательного собрания.

Съезжавшихся со всех уездных концов губернии крестьянских выборщиков не столько встречали, сколько попросту перехватывали ловкие агенты враждовавшей с нами «кадетской» партии, у которой в этом отношении организация оказалась более налаженной и действовала, как говорится, без всякого «зазрения совести», в духе отмеченных мною выше «министерских» советов.

Благодаря заботливости упомянутой партии, для приезжих крестьян выборщиков были заранее взяты постоянные дворы, где им был обеспечен надлежащий комфорт и некоторый запас освежительных напитков. Там же шла раздача напечатанных в редакции «Волжского Слова» назидательных предвыборных листовок, всецело направленных против воззваний и программы Партии Порядка – по кадетской терминологии именовавшейся «партией дворян и купцов». Вся левая местная печать была направлена к тому, чтобы разжечь классовую вражду и восстановить «крестьянскую трудовую массу» против помещичьего засилья». Со стороны той же «кадетской» партии были пущены в ход все средства, чтобы забрать в свои руки крестьянских выборщиков. Ее лидеры отлично понимали, что, если произойдет серьезный раскол в крестьянской группе, численность которой достигала 101 человека, то победа перейдет к нашей партии, успевшей образовать сплоченный землевладельческий блок в 75 выборщиков.

С нашей стороны, для заманивания крестьянских представителей, никаких мер не предпринималось. Были только разосланы наши воззвания и номера «Голоса Самары», и то в ограниченном количестве, так как адреса большинства съезжавшихся крестьян нам были неизвестны; на путь же ловли,

кормежки, спаивания и подкупа мы не считали возможным становиться.

За день до открытия губернского избирательного собрания мы решили назначить предусмотренное законом общее предвыборное собрание всех съехавшихся выборщиков, о чем было оповещено во всех газетах и в особых уличных объявлениях. Инициативу этого созыва взял я на себя, как ставропольский выборщик, пригласив всех остальных пожаловать в здание Дворянского Собрания.

Пришлось мне, между прочим, всесторонне обсудить вопрос о месте для означенного собрания. В конце концов я остановился на Дворянском Доме, как на наиболее безопасном месте.

Я продолжал получать множество угрожающих предостережений террористического содержания. Силою вещей, с ними приходилось считаться. Устраивая предвыборное собрание у себя в Дворянском Доме, я мог принять меры предупредительного характера, за другие же городские помещения ручаться было невозможно.

В назначенный час и день зала Дворянского Собрания сплошь заполнилась всевозможными людьми, добрая половина которых имела (да простит меня великий создатель Октябрьской конституции!) не столько мужицкий, сколько определенно разбойничий вид. Противно было видеть, как между ними шныряли и явно перед ними заискивали записные «народные либералы» – из разряда разорившихся или во время успевших через Крестьянский Банк распродать свои земли. Эти типы всем собравшимся в зале земельным общинникам, давно и исторически отравленным мечтой о желанном «черном переделе», беззастенчиво и нагло расточали сладкоречивые обещания – поднять, если они попадут в Государственную Думу, – вопрос о

справедливой разверстке помещичьих, казенных и удельных земель среди крестьянского населения. Наиболее заметен был в этой роли дворянин, землевладелец Д.Д. Протопопов.

Собравшиеся, тесно разместившись в нашем небольшом зале, удостоили меня избранием в председатели. Это могло быть сочтено за благоприятный признак. Открыв заседание, я выступил с приветственной речью, указал на важность предстоявших выборов и призывал всех к деловому дружному объединению. Слова мои вызвали общее одобрение. Настроение стало создаваться мирное, если можно так выразиться – благоразумное, что совершенно не входило в расчет кадетских лидеров.

После меня выступил с обстоятельной, спокойно сказанной речью Т.А.Шишков, выяснивший собравшимся основы предлагаемого Партией Порядка объединения. Его ясное изложение немало импонировало крестьянам, которые внимательно прислушивались, и стали все смелее выкрикивать: «Правильно!»

Кадеты не на шутку заволновались, стали между собой перешептываться и начали произносить речи. Первым заговорил матерый земец, всюду и всегда злобно протестующий, В.А. Племянников. За ним выступил Протопопов, позволивший себе, очевидно в чисто провокационных целях, ряд лживых выкриков по адресу Партии Порядка. Он с апломбом заявил, что их конституционно демократическая партия является единственной, которая открыто и честно готова в Государственной Думе отстаивать интересы крестьянского населения, «обездоленного помещичьим засильем». Все это было высказано в приподнятом, вызывающем тоне. Протопопов стал делать резкие выпады против правительства, «проливающего невинную кровь составших за свободу граждан, объявляющего целые округа на во-

енном положении, для того, чтобы без суда расстреливать мирное население»... Тут я его остановил, указав на неуместность извращения фактов и выставления в односторонне претенциозном виде того самого правительства, которое ныне все делает для привлечения к законодательной работе народных представителей.

Начали выступать ораторы обеих партий. Речи стали принимать острый и страстный политический характер. Особенно запечатлелось в моей памяти выступление одного выборщика от Николаевского уезда г. Родзевича, служившего в Удельном Ведомстве, с которым на этом собрании я впервые познакомился. Родзевич был несомненно «Божьей милостью» одаренный оратор, с прекрасной дикцией, удивительно ясно и логично умевший излагать свои мысли. Он говорил без пафоса, просто, красиво, но каждое слово как бы вколачивал в головы зачарованных им слушателей.

Выступая на нашем предвыборном собрании, он сразу объявил, что является убежденным сторонником Партии Порядка и противником конституционно демократов, в особенности, после только что выслушанного им «самовосхваления» одного из их лидеров г. Протопопова, речь которого Родзевич раскритиковал со всей силой своего выдающегося ораторского таланта. То был немилосердный по логичности разбор протопоповских митинговых выкриков, от которых живого места не осталось.

Впечатление получилось в зале огромное. Кадеты вновь заволновались... Надо было им действовать более решительно, иначе крестьянство уйдет из их рук. Нежданно-негаданно тот же Родзевич им помог; он встал на защиту поносимого Протопоповым правительства. Родзевич заявил, что, по его мнению, власть обязана оберегать мирное население от преступных и

вредных элементов, вроде «убийцы Машки Спиридоновой» и ей подобных.

При этих словах поднялась такая буря, стали раздаваться такие неистовые вопли со стороны кадетских сторонников, что мой председательский звонок оказался бессилён. Сигнал был дан, чтобы сорвать неблагоприятно складывавшееся для них собрание. Кадетские лидеры вскакивали со своих мест, кричали на всю залу «Нам здесь не место! Позорно слушать подобные речи! Крестьяне, идите за нами – вашими действительными защитниками»... и пр. В зале начался такой беспорядок, что я вынужден был закрыть заседание, объявив продолжение его на следующий день, в канун открытия Губернского Избирательного Собрания.

Карта наша оказалась бита... Не мытьем, так катаньем кадеты добились своего, скомкав удачно начатое нами предвыборное объединение.

За последние сутки кадетская агентура приняла самые беззастенчивые меры, чтобы отвлечь крестьянство от объявленного мною продолжения предвыборного собрания.

Накануне выборов кто-то из кадетских лидеров устроил предвыборное собрание в одном из второразрядных трактирных заведений, куда – кого калачом, а кого и силком – кадетские «молодцы» заманивали растерянных мужичков выборщиков. Были, невдалеке от Дома Дворянства, расставлены специальные люди, распространявшие слух, что я запретил пускать в него в этот день крестьянских представителей, которым предлагали идти на кадетское собрание в упомянутый трактир, где все было заготовлено для «приличного» угощения.

Одним словом, за эти сутки кадеты по-своему сумели так обработать крестьянскую сотню выборщиков, что в день выборов все они, за исключением небольшой группы, отдали свои шары за кадетский список, и наш землевладельческий блок, численностью в 75 человек, несмотря на присоединение к нему десятка еще других лиц, оказался в меньшинстве. В среднем, кадетско-крестьянский список прошел против нашего большинства лишь 10 шаров. В него вошли три интеллигента и десять человек, принадлежавших к крестьянскому сословию. В число первых попали Протопопов и доктор Крылов, оба впоследствии участвовавшие в подписании выборгского воззвания.

Разумеется, победители торжествовали и во все колокола звонили по поводу поражения нашей партии. В ответ была помещена в «Голосе Самары» превосходная статья, под заголовком «Победителей не судят» – на которую не смогла реагировать даже кадетско-подпольное «Волжское Слово»...

79

23-го марта, после бессонной ночи, проведенной мною у постели моей жены, к утру разрешившейся дочкой Пашенькой, мне пришлось председательствовать на экстренном земском собрании, созванном для избрания члена Государственного Совета. Гласные раскололись на два численно равных лагеря: – половина стояла за «кадета» Николая Александровича Шишкова, другая часть – тоже за Шишкова, но Тихона Андреевича – члена нашей партии. В результате, первый прошел всего лишь одним голосом, по поводу которого Тихон Андреевич в тот же день покаялся мне в своем неуместном благородстве: этот один шар, решивший участь выборов, был им положен направо своему противнику.

Тотчас же вслед за земским, пришлось провести экстренное дворянское собрание, на котором в выборщики на столичный избирательный съезд попали двое наиболее уважаемых наших дворян: бывший Губернский Предводитель Дворянства А.А.Чемодуров и бывший уездный Бугурусланский Предводитель Дворянства А.Н.Карамзин.

В начале собрания дворяне высказали единодушное желание послать меня на Петербургский съезд, хотя я еще не достиг требуемого по закону возраста – 40 лет. Собрание срочной телеграммой попросило у Министра Внутренних Дел разрешения допустить избрание меня в выборщики. Из Петербурга, разумеется, последовал отказ, после чего и были выбраны оба вышепоименованные лица. Конечно, я был глубоко тронут оказанным мне вниманием.

Я решил отправиться с выборщиками в Петербург, чтобы провести Чемодурова в состав тех восемнадцати, которые подлежали избранию от всероссийского съезда дворянских выборщиков в члены Государственного Совета. Помимо этого, у меня зародилось желание в спешном порядке поделиться моими впечатлениями о только что проведенных выборах с новым Министром Внутренних Дел П.А.Столыпиным, к которому я питал заочные симпатии, благодаря доходившим до меня слухам о его губернаторской деятельности в Саратове. Небезынтересно мне было также повидать Ивана Логгиновича Горемыкина, только что сменившего гр. С.Ю.Витте на посту Председателя Совета Министров.

Собрание, состоявшее из сотни выборщиков – дворянских представителей со всей России, происходило в парадной рамке столичного Дворянского Собрания. Это была картина импозантная. Пользуясь дружескими отношениями с князем П.Н.Трубецким, продолжавшим играть видную роль в дворянской

среде, я настойчиво советовал внести в список 18-ти кандидатов в Государственный Совет А.А.Чемодурова, мотивируя тем, что от дворянства восточных приволжских губерний другого в списке никого не значилось. В результате выборы прошли для Чемодурова благоприятно, и наше самарское самолюбие было полностью удовлетворено.

В том же корпусе Зимнего Дворца, где обитал раньше Витте, принял меня старик почтенного вида, с характерными седыми бакенами, Иван Логгинович Горемыкин, весь как бы сотканный из медлительных дум и движений. Он не любил говорить, но слушал со вниманием, не спуская с меня больших светло голубых, ясных глаз. Что бы ни говорили мне про него, особенно впоследствии, но я к Горемыкину относился с глубоким уважением еще с первых шагов своей поместной службы, благодаря составленному им классическому руководству по крестьянскому законоположению. Горемыкин являлся носителем определенной твердой государственной идеи; это был настоящий муж совета, умудренный долгим опытом и знанием государственной жизни и управления. С ним можно было не соглашаться, но не уважать его было грешно.

Мы коснулись общей характеристики положения вещей в нашей провинции и состоявшихся выборов... В конце концов речь свелась к тому же простому секрету управления – необходимости твердой, сильной власти снизу доверху... Прощаясь со мной и проводив меня до двери, старик, в то время еще бодрый, несмотря на его заметную сутулость, сказал, обводя рукой свой кабинет: «Плохо будет, если Вы услышите, что меня отсюда выживают!»...

Новый Министр Внутренних Дел, П.А.Столыпин, жил на казенной даче на островах. Петр Аркадьевич сразу же произвел на меня самое обаятельное впечатление. Вся его внешность

была незаурядная: видный рост, приветливое обхождение, открытое лицо, карие, дышавшие правдой и энергией глаза, – все это вместе взятое, выдавало искренность и благородство его натуры.

Встретил меня Столыпин не только приветливо, но тепло и дружески, наговорив мне немало лестного про мою деятельность в Самаре, о которой он слышал в бытность саратовским губернатором. Мы заговорили о выборах, о нашей партийной деятельности, о невозможности проводить желательных кандидатов при существовавшем выборном производстве. Основной его дефект – излишняя централизация всей губернской выборной схемы. Сотни выборщиков съезжались из своих отдаленных углов в губернский центр. Совершенно не зная друг друга, они в какие-нибудь дня два должны избрать из своей среды достойных депутатов. Само собой разумеется, что крестьянские выборщики шли за теми, кто умел беззастенчиво подыгрывать под их шкурные вождения...

Я воспользовался случаем, чтобы развернуть перед умным и симпатичным Министром мой идеал земского народного представительства. Вскоре, однако, мы оба признали, что об этом теперь нечего и говорить. Приходилось лишь думать, как лучше справиться с полученным от Витте наследием.

Вышел я от Петра Аркадьевича очарованный не только его обаятельной личностью, но вдумчивым вниманием высшего администратора к нашим местным нуждам. Между прочим, Столыпин предложил значительно усилить в нашей губернии отряды стражников.

В бытность мою в Петербурге я узнал, что назначение Петра Аркадьевича Министром состоялось по инициативе и настоянию Ивана Логгиновича Горемыкина.

Наступила весна. 27-го апреля 1906 года произошло торжественное открытие Государственной Думы, а за ней преобразованного Государственного Совета. Я провел всю весну и лето безвыездно у себя на Волге, большею частью в Головкинском имении.

Хотя настроение сельского населения еще не совсем успокоилось, тем не менее, в Головкине мы могли жить без особой опаски. Само собой разумеется, мною были приняты все меры для усиления охраны. Вся служившая у меня на конюшнях многочисленная молодежь была снабжена винтовками. Они хранились под ведением преданного мне кучера Гаврилы, который руководил учебными занятиями с конюхами по стрельбе и окарауливанию. Благодаря этим мерам, у меня был собственный охранный отряд из десяти человек, поочередно непрерывно дежуривших в нашей усадьбе.

Помимо этого, губернская администрация распорядилась, через посредство ставропольского исправника, держать вблизи моей усадьбы усиленный отряд стражников, набиравшихся из лучших запасных кавалерийских частей. Распоряжение это последовало после того, как ранним летом 1906 года в Самаре был убит террористами Губернатор И.Л.Блок. Я был у себя в Головкине и в один и тот же день я получил телеграфное сообщение об убийстве Начальника Губернии и другую депешу, без подписи, в которой значилось: «завтракали у Губернатора, пообедаем у вас». Я стал собираться в Самару на похороны Блока, но на другой же день появились у меня: сначала наш исправник, милейший Агатицкий, а за ним – мой самарский доверенный, преданнейший А.Д.Мещеряков, с письмом от секретаря дво-

рянства В.А.Сергина. Все они в один голос умоляли меня отложить мое намерение ехать в Самару, которая за последнее время превратилась в гнездо революционеров террористов. Этому содействовала близость расположенного на противоположном симбирском берегу, села Рождественна, где в то время была штаб-квартира преступных организаций.

Исправник предъявил мне жандармские данные, из которых явствовало, что совместно с покушением на Блока, готовилось и покушение на меня. Полученная мною телеграмма о «завтраке у Губернатора и обеде у меня», очевидно, исходила из той же организации. Что же касается Мещерякова и Сергина, то оба они действовали лишь на основании тех упорных слухов о готовившемся на меня покушении, которые циркулировали по городу. Пришлось подчиниться голосу благоразумия, и собою зря не рисковать. Поездку на похороны Блока я отменил.

Благодаря всем этим событиям, я оказался в собственном своем имении буквально со всех сторон окруженным бесчисленным количеством стражников. Куда ни сунешься – по хозяйству, в лес, в поле или луга, на охоте – всюду, бывало, наткнешься на молодцеватого, в форму одетого верхача стражника. Внезапно выскочит из своей кустарниковой засады и, с рукой у козырька, меня приветствует: «Здравия желаю, Ваше Превосходительство!» Приходилось с этим мириться, но приятного было мало: привычного деревенского покоя я в то время лишился... Лишь одна моя яхточка «Сирена» по-прежнему меня выручала и доставляла истинное наслаждение и идеальный отдых. Катаемся, бывало, на быстроходном нашем пароходике с семейными или с добрыми друзьями по волжскому простору, где ни бомбиста, ни стражника не встретишь, и на время вновь свободно вздохнешь и восстановишь свои издерганные нервы.

Величайшим духовным и физическим благом оказалась для меня поездка летом того же 1906 года в Саров, куда я надумал отправиться по двум причинам. Прежде всего мы с женой, перед появлением нашего первенца сына Александра, усердно молились преподобному о. Серафиму Саровскому о ниспослании нам этой благодати. Наше горячее желание исполнилось, и естественно зародилась у нас мысль совершить паломничество в Саровскую обитель и отслужить там благодарственный молебен у места вечного упокоения преподобного старца. Помимо этого, ранней весной в Самаре, как раз в великопостный период обычного моего говения, предвыборная политическая борьба приняла столь ожесточенный характер, разбушевавшийся партийный водоворот так разыгрался, что в него втянуты были не только светские люди, но почти все самарское духовенство, включая даже древних протоиерейных соборных старцев, из которых один, с виду елейный, о. Лаврский, оказался завзятым «идейным кадетом».

Откровенно говоря, у меня, в то время видного партийного руководителя, сердце не лежало идти к кому-либо из них на исповедь. Самарского духовенства я еще не успел близко узнать и опасался возможных по тому времени случайностей при исполнении таинства покаяния, которые могли бы нарушить благоговейно религиозное настроение верующего человека. Позже возникло у меня непреодолимое желание попасть именно в тихую Саровскую обитель, где – мне казалось – я мог найти наилучшую обстановку для желанного отдыха и духовного перед Господом Богом самоочищения...

Летом того же 1906 года, в одну из многочисленных поездок между Головкиным и Самарой, куда мне все же приходилось наезжать, я плыл вверх по Волге. Перед высадкой на симбирской пристани, надумал я продолжить, не сходя с парохода,

свое путешествие до Нижнего, оттуда дальше, до тихого Сарова. Жену я из Симбирска уведомил телеграммой.

На превосходном «Самолетском» пароходе, со всем его уютом и комфортом, я наслаждался почти двухсуточным путешествием вдоль живописнейших берегов красавицы Волги, с обычными – где краткими, где более продолжительными остановками.

После Казани пароход останавливался лишь у правого, нагорного, берега, сначала около живописно расположенного на склоне засаженной садами горы Свияжска, основанного при устье реки; именем ее назван и сам город; затем приставали мы к г. Васильсурску, славившемуся своими янтарными сурскими стерлядями. Дальше подходил наш пароход к г. Козьмодемьянску, с его знаменитыми ореховыми палками дубинками, обычно закупавшимися без всякой нужды проезжавшими пароходными туристами, и, наконец, проплывя мимо красиво расположенного на луговой стороне старинного Макарьевского монастыря, мы причалили, среди бесчисленного количества баржей, буксиров и легких пароходов, к конечной своей пристани у Нижнего Новгорода.

Ранее мне никогда не приходилось осматривать Нижний, – все спешил. В этот же раз в моем распоряжении было несколько свободных часов, и я их использовал на осмотр интересного во многих отношениях города.

В общем, Нижний Новгород произвел на меня чрезвычайно сильное впечатление своей исключительной красотой, своей стариной, полуразрушенными кремлевскими стенами, с их сторожевыми башнями и памятником. Все напоминало русское прошлое, государственное строительство, тот подъем и всесословное объединение, от которого пошло знаменитое нижегородское ополчение, спасшее страну от лихолетья XVII века.

Все это особенно ясно мною тогда сознавалось и чутко переживалось, в связи с происходившими на Святой Руси сложными политическими событиями, очевидцем и участником которых мне самому довелось быть в описываемое время.

Из Нижнего до г. Арзамаса я проехал по железной дороге, проложенной в большей своей части вдоль реки Оки и живописнейшей, довольно плотно заселенной, плодородной ее долины, на которой посевы чередовались с превосходными лугами и раздольными пастбищами. Дорога для меня прошла незаметно, так как я, не отрываясь, жадно всматривался в новые коренные русские места, со всем их сельским привольем, природной красотой и историческими воспоминаниями.

Пришлось в Арзамасе заночевать, чтобы на другое утро выехать по направлению к Сарову. Нашлась приличная гостиница Колесова, где подали сытный, превосходный ужин, состоявший из сочной яичницы и молодых тетеревов, зажаренных в сметане.

Со мною согласился путешествовать встретившийся на пароходе двоюродный брат моей жены – Иван Петрович Ушков. Ранним утром, в рессорной колыхающей четвериком, выехали мы из Арзамаса и направились по невероятно колеистой и тряской дороге в длинный путь, сначала на Дивеево, и дальше – в Саратовскую пустынь.

Переехав с шумом и треском по городскому бревенчатому мосту, мы спустились в ровную ложину, представлявшую из себя сплошное колыхавшееся море спеющей ржи, с каждым мгновением все ярче освещаемое огненно-золотистыми лучами восходившего солнца. Было чудное, ясное утро. Предстоял жаркий день. Привычные лошади бодро встряхивались, стараясь не попадать на ходу в глубочайшие колеи. Спутник мой сразу же задремал; я же, ненасытный и жадный до новых мест,

почти всю дорогу глаз не смыкал и ко всему присматривался с огромным интересом.

Проехав 5 -6 верст, я случайно заметил боковую тень, падавшую от нашего экипажа, и к своему удивлению вдруг увидел, что какой-то субъект проворно копошился на задке тарантаса, где был привязан наш багаж. Крикнув ямщику остановиться, я быстро и как раз вовремя выскочил: пропусти я еще несколько минут, нам, вероятно, пришлось бы расстаться навсегда с нашими вещами. Дорожному бандиту не удалось закончить свое предприятие: он только что успел обрезать багажные веревки, как ему пришлось быстро юркнуть в гущу придорожной высокой ржи. По словам ямщика, подобные случаи нередко бывали в этих местах. Воришке легко было юркнуть в ржаное поле, расстилавшееся на добрый десяток верст.

Мы проехали около шести сел и деревень. Судя по крытым крепким тесом избам, с узорчатыми «полотенчиками», сходявшимися на верхнем коньке переднего их фасада, по изобилию видневшихся на гумнах хлебных запасов, это были хозяйственно зажиточные селения.

Наконец, среди обширных полей, на фоне вдалеке видневшегося леса, показался Дивеев монастырь, с белокаменным величественным собором и огромной колокольней. Он был окружен высокой белой оградой. Вблизи высилась высокая ветряная мельница.

Все в Дивееве носило печать удивительной чистоты, начиная с гостиницы, где мы остановились, и кончая самыми отдаленными уголками монастырского обиталища. О внутреннем благолепии всех церквей и самого собора и говорить нечего – все блестело и сияло, благодаря неусыпным заботам многочисленных монашек, славившихся своим благочестием и трудолюбием.

Исключительный интерес представляла собою художественная иконописная мастерская. Я восторгался их работой. Расположенный приблизительно в десяти верстах от Сарова, Дивеевский монастырь благоговейно хранил память преподобного Серафима. Домик, в котором святой отец спасался много лет в глуши Саровского леса; камень, на котором он 1000 дней и ночей молился; его одежда, вериги, шапочка и, наконец, сама чудотворная икона «Умиления Божьей Матери», которую преподобный всю жизнь имел пред собой, – все это свято хранилось в Дивееве, служа предметом поклонения многочисленных паломников. Чтилась в обители и «тропочка» – узенькая дорожка вдоль канавки, по которой монахини должны были по уставу, в память преподобного Серафима, ежедневно медленно проходить, читая Богородичные молитвы.

Обойдя все упомянутые святыни, и пробыв на вечерней и утренней церковной службе, поразившей нас своим чинным и тихим благолепием, мы отправились далее в Саров, пересекая часто попадавшиеся овраги с перелесками, проезжая мимо бывших барских усадеб, частью запущенных и забытых, частью превращенных в школы или земские больницы.

За полчаса до въезда нашего в Саровский дремучий бор, пространством чуть ли не в 25.000 десятин, мы переехали нижегородскую границу и очутились в пределах Темниковского уезда Тамбовской губернии. Верст около пяти ехали под высокими соснами, вдыхая их живительный аромат. Дорога была плохая, наш допотопный, т.н. рессорный, экипаж неистово скрипел и дребезжал, немилосердно нас подбрасывая по прогосшим через дорогу корневищам. Мы нетерпеливо досаждали нашему ямщику расспросами «Скоро ли наконец Саров?» – и получали один и тот же меланхолический ответ: – «Вот до прогалины доедем, тогда и монастырь окажет»... Вот выехали мы

на давно жданную прогалину, где перекрещивались две лесные дороги. Ямщик вытянул руку с надетым на нее кнутом и брякнул: «Вон Саров от!»

При этих словах мы оба живо приподнялись и в один голос ахнули... Сквозь узкий, высокий, темно зеленый коридор увидели мы незабываемую чудесную картину. В дремучем лесу, в грандиозной лесной раме, перед нашими глазами вырисовалась волшебная панорама целой группы златоглавых церквей и колоколен... Не успели мы вдоволь налюбоваться этим сказочным – на подобие Китеж града – видением, как ямщик наш лениво стеганул своих притомившихся лошадей. Снова все задержнулось сплошной хвойной завесой...

Спустя еще немного, мы выехали из темного леса на светлый простор веселой долины речки Саровки, на возвышенном берегу которой высился во всей своей красе, во всем своем величии, широко раскинувшийся, многолюдный и многохозийственный, старинный монастырь.

У главных его входных ворот, имевших вид широкой колокольни с башенными часами наверху, расположен был ряд многоэтажных гостиниц. К одной из них нас подвезли, и мы были встречены гостиничным чернобородым, услужливым монахом и молодым служкой. Нам был отведен большой, низкий номер, под сводами, с расписным потолком и голубыми, звездочками выкрашенными стенами. Вскоре на столе появился кипящий самовар и монастырская еда. Нас предупредили, что ежели она нам не по вкусу, то в Сарове имеется для приезжающих особый ресторан с разнообразным меню. Само собой, мы предпочли простой монастырский стол, состоявший из отличных щей, разных похлебок, каш, жареного картофеля, белых грибов и пр., что же касается ржаного хлеба, то я нигде такого вкусного не едал.

Пройдя главные ворота, мы очутились в самом центре монастырской обители, застроенной по окраинам непрерывным рядом монашеских келий, а в середине – целой группой церквей. Собор возвышался в глубине дворового пространства и представлял собою старинное, красивое, величественное здание, в стиле итальянского ренессанса, с богатым внутренним убранством и превосходным, тонкой резьбы, вызолоченным иконостасом. В правой половине собора, в серебряном гробу, под массивным из того же металла сделанным навесом, поддерживавшимся четырьмя витыми, колонками, покоились мощи преподобного Серафима, всего лишь год тому назад открытые в присутствии Государя и других Августейших Особ. Над священным прахом Саровского чудотворца день и ночь теплились сотни лампад. Впоследствии мы присоединили и нашу семейную лампаду, работы Оловянишникова. Слева от собора стояла, среди других построек, небольшая церковка в честь св. Зосимы и Савватия, явившихся преподобному Серафиму во время его диаконского служения, известная своим деревянным резным иконостасом, художественно исполненным самим Саровским Святителем.

Во дворе и в соборе мы встретили массу богомольцев – мужчин, женщин, детей, здоровых и больных, горожан и деревенских. Нам хотелось прежде всего приложиться к основной святыне Саровской обители – к мощам преподобного Серафима и около них помолиться за себя и за всех своих семейных. Пришлось еще многое претерпеть, прежде чем удалось этого достигнуть. В то же время мы оказались очевидцами следующей сцены: одновременно с нами приехал из Петербурга небезызвестный редактор издатель «Колокола» В.М.Скворцов, состоявший чиновником особых поручений при Св. Синоде. Он был торжественно принят монастырской администрацией в особых,

т.н. «губернаторских», апартаментах (в которых в последующие годы и меня заставляли останавливаться). Окруженный кольцом полицейских, Скворцов вошел в собор, и тут, на наших глазах, началось то безобразие, которое меня до глубины души возмутило. Двое полицейских своими здоровенными ручищами, не без содействия шашек, стали расчищать «Его Превосходительству» путь среди лиц, благоговейно стоявших и молившихся перед мощами преподобного старца. Под соборными сводами, вблизи столь чтимой народной святыни, раздалась солдатская ругань и стоны побитых. Зато цель д.с.с. Скворцова была достигнута – его быстро довели до раки, где он торжественно приложился, окруженный безотлучно сопровождавшими его полицейскими стражниками, которые предварительно за шиворот оттаскивали от столичного генерала паломников, издалека пришедших к святому месту. Эта недостойная сцена меня в сильной степени возмутила. Не мало усилий пришлось мне над собою употребить, чтобы не дать проявиться вспыхнувшему во мне озлоблению против синодского чиновника, допустившего столь грубое неуважение к благоговейному настроению собравшегося у чтимой святыни верующего люда.

В Сарове было болеелюдно, шумно, житейски сложнее, чем в тихом, скромном Дивееве. Недаром говорилось, что тело Святителя покоится в Сарове, но душа его незримо пребывает в Дивееве.

В первый мой приезд, как и во все следующие мои ежегодные посещения Саровской обители, я прошел пешком вдоль речки Саровки по лесной дорожке, сначала до «ближней», а затем и до «дальней» пустыньки, где в полном одиночестве годами проживал преподобный Серафим, где он, среди дремучего бора, спасался в непрестанном молитвенном общении с Всевышним...

Около первой пустыньки бил источник, которым пользовался в свое время святой старец, и который считался целебным. Паломники искали в нем врачевания от разных своих болезней. Мне передавали о многих случаях чудесных исцелений. За последнее время около источника были выстроены обширные здания со специальными душами. Бросалась в глаза неуместная вывеска на их фасаде: «дворянские бани».

Церковные службы в Сарове были длительные. Совершались они по строгой уставности монастырского чина.

Обойдя за день лесные пустыньки и искупавшись в целебном источнике, я шел ко всенощной, заканчивавшейся около 8 часов вечера, ложился, а к двум часам утра вновь приходил в темный, лишь местами освещенный восковыми свечами и лампадками, собор. Во время ночной службы народу бывало немного. Вдоль стен недвижимо стояли мрачные, черные фигуры монахов, с четками в руках и с прикрытыми клобуками головами. На этих ночных службах, продолжавшихся до рассвета, я из года в год отдавался сосредоточенному молитвенному настроению, которое помогало моей совести подводить итог всему, что я делал за истекший год и способствовало моему духовному очищению и обновлению. Тотчас после ночной заутрени начиналась ранняя обедня, во время которой я исповедовался, обычно у о. иеромонаха Руфима, и затем приобщался Св. Таин. В 9 часов утра я возвращался домой и принимался за сборы в обратную дорогу в Самару, тем же путем – на Арзамас и Нижний.

С 1906 года и до войны 1914 года я каждое лето посещал Дивеево и Саров, употребляя на всю поездку не свыше десяти дней, являвшихся для меня настоящим отдыхом, необходимым для подкрепления моих жизненных сил.

Вернувшись в середине лета 1906 года из Сарова, я застал в Самаре общественные круги и всю губернскую администрацию в крайне тревожном настроении. Первая Дума Высочайшим Указом 8 июля была распущена. На другой день состоялся в Выборге пресловутый съезд всех оппозиционных думских элементов, и было выпущено известное воззвание к населению Российской Империи, призывавшее не платить налогов и не давать в армию рекрутов. Горемыкин был смещен. Невольно вспомнились мне по этому поводу его опасливые предостережения. Заменял его П.А.Столыпин. Носились всюду недобрые слухи.

В самой Самаре чувствовалась среди всех обывателей крайняя тревога. После убийства Блока губернией временно управлял Вице-Губернатор Иван Францевич Кошко, бывший неперменным членом Новгородского Губернского Присутствия. Он оказался человеком податливым, бездарным и ко всему этому, еще взбалмошным.

Налаженный Блоком порядок и беспощадный по отношению к его нарушителям режим стал быстро разваливаться. Меры борьбы с усиливавшимися террористическими организациями Кошко принимал слишком слабые и осторожные, несмотря на имевшиеся в его распоряжении очевидные данные, на основании которых следовало бы самым решительным образом пресечь зловредную работу тайных политических группировок, гнездившихся, главным образом, в селе Рождественне. Недаром управляющий именем М.К.Ушкова, П.С. Степанов, сам принадлежавший к крайней левой самарской либеральной партии и поддерживавший средствами своего хозяина газету «Волжское Слово», обивал губернаторские пороги, настойчиво прося защиты и охраны от возможных террористических эксцессов со стороны рождественских «товарищей». По выраже-

нию самого нехраброго г. Кошко, Самара находилась «на вулкане». Многие степенные самарцы стали разъезжаться, большей частью направляясь в Оренбург. Мои друзья и единомышленники горячо советовали мне семью мою на предстоящую зиму в Самару не перевозить.

Подошел август и, 12-го числа этого месяца, разнеслась страшная весть о произведенном покушении на жизнь Столыпина, жившего в то время на своей летней министерской даче на Аптекарском острове. Чудом спасся сам Петр Аркадьевич, но пострадали его семейные. Среди посетителей и служащих было много жертв, в том числе и мой близкий друг А.А.Воронин. Событие это побудило меня отправить семью временно, до возможного общего политического успокоения, за границу. По совету знакомых, мы решили устроиться на зиму в Аркашоне. Мама, проживавшая все лето с нами в Головкине, надумала на зиму вновь переехать в Казань, к Ольге Наумовой.

К этому же времени надо отнести и другое мое решение – продать, через посредство Крестьянского Банка, Бугульминское имение «Софьевку». Решение это подсказывалось создавшимся положением вещей, в связи с аграрными беспорядками, общим настроением деревенских масс, неустойчивостью всей государственной политики, дальностью самого имения и действительной нуждой в земле всех окрестных крестьян, сидевших на дарственном или т.н. «нищенском» наделе.

В половине сентября того же 1906 года я повез за границу всю свою семью, состоявшую в то время из жены, четырех дочерей и сына.

Добравшись до Аркашона, я нашел отличную поместительную дачу, пробыл недели две и вынужден был покинуть семью и вернуться обратно в Россию к своим ответственным делам. До сих пор вспоминается мне необычайная тяжесть нашей разлуки

с Анютой, которая всем своим помыслом и сердцем ясно сознавала ожидавшую меня в Самаре тяжелую и несомненно опасную обстановку.

Этой стороны моей службы мы с женой в наших разговорах никогда не касались, несмотря на то, что Анюта, в свою очередь, получала от тех же террористических организаций письма самого возмутительного содержания.

Анюта удивительно стойко и мужественно переживала тревожные годы направленных против меня террористических угроз. Прощаясь, мы не знали, увидимся ли снова. Я спешил обратно в Самару, чтоб не подавать повода моим явным и тайным политическим врагам торжествовать свою победу над якобы скрывшимся, под влиянием террора, главным противником.

Проезжая в вагоне из Самары до Аркашона и обратно, пересекая таким образом всю Европу с крайнего востока до конечного западного ее пункта, я всматривался в земледельческие картины мелькавших мимо моих окон стран: Франции, Бельгии, Германии и своей родной России.

Впечатление вынес я тогда от всего виденного, должен сознаться, для моего национального самолюбия мало утешительное. Слишком ярко и резко бросалась в глаза разница между культурной, благоустроенной и сытой земледельческой Европой и нашей, хотя и святой, но неряшливой и сравнительно нищей, общинной Русью, с ее неизменным «авось да небось», мужицкой косностью и климатическими невзгодами...

В Петербурге я пробыл лишь от поезда до поезда, переменив вагон «Норд экспресса» на удобное комфортабельное купе в превосходном спальном вагоне сибирского поезда, приходившего на вторые сутки в Самару. Весь путь с одного края Европы до другого я проделывал в четверо суток.

В Петербурге я успел кое кого повидать и учесть настроение, сводившееся главным образом, к усилиям правительства подготовить в стране почву для возможно благоприятных выборов во Вторую Государственную Думу. Особой разборчивости в средствах для этого придерживаться в виду не имелось... Очевидно, взгляды Крыжановских одерживали верх.

В Самаре я застал нового губернатора – камергера Владимира Васильевича Якунина, только что к нам назначенного из Херсонской губернии. Наконец, нашелся человек, обитавший обычно в шумной и веселой Одессе, который, прожив и проиграв все свое и женино состояние, очутился лицом к лицу перед роковой жизненной дилеммой: «быть или не быть!» По совету своих друзей он разрешил этот вопрос путем принятия губернаторской должности в одной из опаснейших губерний того времени – Самарской.

Владимир Васильевич имел довольно представительную внешность, особенно когда он облакался в придворную или губернаторскую форму, но в деловом отношении он был правителем совершенно несведущим, всецело пользовавшимся при исполнении своих обязанностей советами и подсказками своих ближайших сотрудников. Полицмейстер Критский, с первых же дней, сумел войти в особое доверие к новому начальнику. Он дал Якунину понять, что, показываясь вместе с ним, Критским, он избегнет всяких случайностей террористического характера. В начале самарской службы, Якунина можно было видеть на улице или на официальных публичных собраниях лишь в сопровождении хитрого и ловкого полицмейстера, сумевшего стяжать популярность не только в Клифтоновских кружках, но и глубже – в среде самих активных террористов.

Во всяком случае, не ему и не губернатору Якунину Самара обязана была своим политическим оздоровлением и разгромом

рождественского террористического центра, а исключительно энергии и неустрашимой деятельности самарской жандармерии. Во главе ее стоял доблестный полковник Бобров. Он сильно не ладил с губернатором из-за его бестактной болтливости и определенно ненавидел полицмейстера, подозревая его во всем том, о чем было мною выше о нем упомянуто.

Бобров был назначен Столыпиным, и, благодаря своим отлично подобранным сотрудникам, в короткий срок сумел разобратся в революционном самарском подполье. Результат сказался быстро. За год он уничтожил все террористические организации. Так что Якунин мог не без гордости доносить в своих всеподданнейших докладах о своей блестящей губернаторской деятельности, искоренившей революционную смуту и террор.

А на долю действительного защитника Самары судьба выпала иная. В конце 1907 года, на Дворянской улице, в Боброва был сделан из-за угла выстрел. Доблестный жандармский полковник был убит на месте. Но с его смертью энергично начатая им работа по очищению Самарского края от преступного революционного элемента не прекратилась. Бобров оставил после себя хорошо организованных и умело подобранных сотрудников, которые и продолжали в «Бобровском» духе свою энергичную деятельность. Они дали возможность лояльным элементам снова вернуться к обычным делам и спокойно жить в родных местах.

Вернусь к характеристике Якунина, с которым мне пришлось более двух лет иметь непосредственные служебные отношения. Может быть Владимир Васильевич и обладал когда-то некоторой благовоспитанностью, но за последнее время своей разгульной жизни он ее, несомненно, утерять. Попав ненароком в губернаторы, он старался казаться начальником джентльменом. Это ему плохо удавалось: то, пригласив к себе на обед, сам

от него уедет на охоту, то при официальном приеме почтенных общественных деятелей, начнет с ними чрезмерно балагурить, или «по-извозничьи» на них кричать, то в приятной компании, за бутылкой доброго вина, он из самарского Губернатора превратится в бурного и в некоторых смыслах, страстного одессита. Владимир Васильевич вообще отличался крайней несдержанностью. По натуре своей он был игрок. Это проглядывало в нем во всем его обиходе, даже служебном. Этим я объяснял себе и его личное ко мне отношение. Якунин никак не мог примириться с моей популярностью в общественных кругах г. Самары и губернии, и втайне старался «бить мою карту».

Но неудачно, что его немало раздражало. Внешне он был со мною всегда любезен, даже претендовал на некоторую дружескую интимность, особенно, когда его акции, как губернатора, в Петербурге стояли довольно низко. Но я, с самого же начала нашей совместной службы, относился к нему с большой осторожностью и не без предубеждения. В его ближайшем окружении было много лиц, относительно которых у меня не без основания составилось определенно отрицательное мнение. Они, каждый по-своему, использовали слабые стороны губернатора в своих собственных интересах и во вред общему делу.

Якунин был женат на богатой одесситке, милой и просто-душной Варваре Федоровне, которую он, как и самого себя, своими азартными играми в Монте-Карло и в одесских клубах, разорил, но превратил ее совершенно неожиданно в губернаторшу. Взаимоотношения супругов Якуниных были невероятные, но нам всем пришлось к ним привыкать, даже к их неприкрытому между собою переругиванию в присутствии приглашенных ими гостей. В конце концов милейшая Варвара Федоровна не выдержала и из Самары сбежала к себе на юг, в

Одессу, а распущенность Якунина, к концу второго года его саратовского губернаторства, стала принимать такие формы, что, не без моего некоторого содействия, состоялся перевод его от нас в Екатеринославскую губернию, где он продолжал вести себя самым невероятным образом.

82

По возвращении моем из заграницы я застал наше газетное дело в полном расцвете, благодаря приглашению в качестве редактора «Голоса Самары» опытного журналиста и публициста г. Янчевецкого. Впереди, в связи с новой предвыборной кампанией, предстояла усиленная редакционная работа, оказавшаяся непосильной для лиц, занятых службой в других губернских учреждениях. Шишков, Муханов и Богушевский продолжали оставаться членами редакционного бюро, но лишь в качестве сотрудников Янчевецкого, явившегося главным руководителем газеты и ответственным ее работником.

Помимо массы всяких заседаний и разборки текущих дел, мне пришлось в описываемый период целыми неделями просиживать в качестве «сословного представителя» на разбирательствах саратовской Судебной Палаты бесчисленного количества политических дел, возникших за последние смутные 1905-1906 года. В большинстве случаев виновные привлекались по статье Уголовного Уложения, говорившей о принадлежности к противоправительственным политическим обществам и организациям. Но попадалось также много дел, связанных с преступлениями террористического характера.

Вспоминается мне одно необычное совпадение. Слушалось Саратовской Судебной Палатой крупное террористическое

дело. На скамье подсудимых появились озлобленные, лохматые, звероподобные физиономии революционеров. На столе перед нами разложены были вещественные доказательства – несколько взрывчатых бомб... При осмотре их, на одной из них я прочел выгравированную надпись: «Наумову».

Надо сказать, что в октябре и ноябре 1906 года террористические организации были еще в полной силе. Бобров до них только начал добираться. Заседания Судебной Палаты с участием сословных представителей (губернского предводителя, городского головы и волостного старшины) носили тревожный характер. Редкое утро мы не получали подметных писем устрашающего содержания, которые на многих участников заседаний несомненно действовали угнетающе.

Первоначальный состав выездной сессии Саратовской Судебной Палаты находился под влиянием террористического застраивания. Меня возмущало подобное состояние моих судебных коллег, я настаивал на очевидной виновности привлеченных политических преступников, а малодушествовавшие чины Палаты в большинстве случаев стояли за оправдательные приговоры.

В начале 1907 года Саратовская Палата была в личном своем составе коренным образом обновлена. Председателем ее был назначен Николай Алексеевич Чебышев, человек твердый и безбоязненный, с которым было приятно сотрудничать. При нем идея законности и справедливого возмездия совершенно вытеснила чувство страха перед террором...

Участию моему в заседаниях Судебной Палаты я придавал очень серьезное значение. Это отнимало у меня немало времени, но я только в исключительных случаях обращался к кому-либо из своих предводителей с просьбой меня замещать. С 1905-1908 г.г., приходилось участвовать почти сплошь в делах

чисто политической окраски. Также немало встречалось судебных разбирательств по преступлениям служебно-должностного характера. Присутствие в совещательной комнате при обсуждении итогов судебного следствия, наряду с чинами судебного ведомства, представителей местной сословной и городской общности вносило несомненно живую струю.

При всем моем уважении к членам Саратовской Судебной Палаты, к их высокому положению, долголетнему опыту и почтенному возрасту – я не мог не замечать их казенного отношения к делу...

В высшей степени живым, отзывчивым и энергичным судебным чином, выгодно отличавшимся в этом отношении от остальных своих коллег, являлся Н.А.Чебышев, относившийся к каждому делу с неослабным интересом, но были и такие члены Палаты, которые проявляли во время заседаний склонность не только к легкой дреме, но и к глубокому сонному забытию, нередко сопровождавшемуся сочным храпом к немалому отчаянию председательствовавшего Чебышева.

В этих судебных разбирательствах я лично редка себя замещал кем-либо из своих коллег предводителей, также почти бессменно участвовал один и тот же представитель от местного городского самоуправления. Что же касается волостных старшин, то состав их постоянно менялся, и за много лет моего предводительства мне пришлось перезнакомиться на сессиях Судебной Палаты почти со всеми волостными представителями Самарского уезда. Об их участии в наших совместных работах я должен отозваться с самой положительной стороны. Старшины, за редкими исключениями, относились к своим судебным обязанностям вдумчиво, держали себя степенно, с полным достоинством и совершенно независимо.

Мне приходилось делить мое время между местной работой и участием на всевозможных столичных съездах и собраниях. Время было исключительно нервное, общество испытывало крайне напряженное состояние, ввиду наступившей в стране совершенно новой для нее политической обстановки. На местах и в центре нарастало непреодолимое стремление к взаимному общению и поддержке.

Происходившие ранее в Петербурге землевладельческие съезды, реагировавшие на аграрные беспорядки конца 1905 года и земельную правительственную политику начала 1906 года, прекратили свое самостоятельное существование со времени образовавшегося в марте того же 1906 года Всероссийского Дворянского объединения. Последнее по существу своему было тоже землевладельческим, и оно всемерно отстаивало свое собственническое и культурное *raison d'être* от натиска проповедников аграрного анархизма.

В конце зимы 1906 года был созван второй съезд Всероссийского Объединенного Дворянства, под заседания которого Председатель Совета граф А.А.Бобринский любезно предложил свой старинный особняк на Галерной, являвшийся интереснейшим памятником прошлых веков и представлявший собою редкостный и ценнейший музей.

На этом съезде мне пришлось выступать неоднократно по злободневным политическим вопросам.

Анализируя производство выборов в Думу, я познакомил слушателей с условиями прошедшей в Самаре избирательной кампании в первую Государственную Думу и указал на ряд существенных дефектов, главным образом, невозможность при

наличии данного законоположения достигать при выборах сознательности.

На том же съезде я горячо протестовал против земельной политики правительства, которое, при издании ноябрьского Манифеста 1905 года, одним взмахом пера уничтожило труды, вложенные, главным образом, Удельным Ведомством в дело интенсификации аграрной культуры.

Съезд отнесся к моим выступлениям внимательно и не скупился выражать мне знаки одобрения. Это было время моих публичных успехов, в результате чего я бывал завален приглашениями к разным видным лицам из сановного и высшего аристократического столичного мира.

В тот же приезд мой в Петербург я посетил человека из совершенно иного мира и своеобразной профессии, вызванной к жизни переживаемой революционной эпохой.

Я говорю о бывшем военном инженере Авенире Авенировиче Чемерзине, изобретателе непроницаемых нательных панцирей. Слух об его изобретении быстро распространился среди всех заинтересованных лиц. Посыпались со всех сторон заказы и Чемерзин заготавливал телоспасительные костюмы всем, начиная с рядового жандарма и кончая самим Столыпиным. Молва об этих панцирях докатилась в свое время и до Самары. Перед отъездом нашим за границу, жена взяла с меня слово, что я обзаведусь таким панцирем.

А.А.Чемерзин принял меня в небольшом кабинете, уставленном всевозможными экзотическими украшениями. Завязался у нас необычный разговор; Чемерзин стал меня расспрашивать, какого свойства смертоносного покушения я для себя ожидаю? От этого зависит выбор того или другого панциря. Он предложил мне пройти в соседнюю комнату и разложил передо

мною целую коллекцию изготовленных им тканей и панцирей. Пристально глядя на меня темными глазами, показавшимися мне фатальными, он спросил: «Чего же Вы, Ваше Превосходительство, для себя ожидаете? Револьверного выстрела или разрывной бомбы?»

Сначала я был в полной нерешительности, что ответить, потом заявил, что можно ждать всяческих сюрпризов... Тогда Чемерзин объяснил, что против разрывных бомб у него имелась специальная непроницаемая обмундировка. Она защищает все члены, даже голову, т.к. в шляпу кладется особая подкладка.

При этом он раскрыл шкаф и показал на висевшую там арматуру в человеческий рост. «Вот, полюбуйте. Это только что исполненный мною заказ для П. А. Столыпина... Стоимость его 15.000 рублей».

Чемерзин развернул целую градацию своих панцирей, начиная с самых дешевых, грубых и тяжелых лат в 1000 рублей, непроницаемых лишь для револьверных нуль слабого калибра, и кончая арматурой в 20.000 рублей. Я соображал: ...«пожалеешь лишнюю тысячу и жив не останешься!» А рядом в выжидательной позе стоял в образе Чемерзина своего рода Мефистофель-искуситель. Наконец, жребий был брошен. Мой выбор пал на грудной и спинной панцирь и на небольшую пластинку, вкладывавшуюся в ручной портфель. В особой комнате я испытал непроницаемость выбранных мною предметов, стреляя в них из нагана на расстоянии десяти шагов. Каждый раз пуля отскакивала, оставляя лишь на ткани небольшое вдавленное углубление. Я уплатил за все 5.000 рублей. Панциря я никогда не надевал, а пластинку долго вкладывал в свой портфель, с которым никогда вплоть до 1908 года, т.е. до года полного политического успокоения, не расставался. При приеме просителей я обычно держал свой защитный портфель под левой рукой, против

сердца, с расчетом – в случае нужды успею спрятать за ним свою голову, а правой рукой обезоружить террориста. Само собой, я отлично сознавал, что Чемерзинское изобретение не гарантирует полной безопасности жизни. Убийство фон дер Лауница явилось показательным тому подтверждением. Генерал носил под формой Чемерзинскую амуницию, даже непроницаемую подкладку на фуражке. Но убийца, может быть осведомленный об этом, сходя с парадной лестницы сзади Лауница, приставил дуло своего револьвера к единственно беззащитному месту у головного мозжечка и спустил курок... Генерал был убит на месте... Но все же, приобретая Чемерзинские прикрытия, я поступал согласно правилу – «береженого и Бог бережет».

84

6-го декабря 1906 года состоялось пожалование меня придворным званием. Но еще за несколько дней до означенного числа я совершенно случайно узнал об этом радостном для меня событии. Как то, в начале декабря, мы с М.Д.Мордвиновым решили пойти вечером в Панаевский театр, где ставилась «Веселая Вдова». Наши места оказались рядом с генералом А.А.Мосоловым, управлявшим канцелярией Министра Двора. Увидев меня, он любезно поздоровался и, продолжая трясти мою руку, приветливо многозначительно стал меня с чем-то поздравлять. Увидав мое недоумение, Мосолов мне на ухо шепнул: «Шестого будете камергером!»... Радости моей не было пределов... С тех пор «Веселая Вдова» стала для меня вдвойне излюбленной опереттой.

Вступая на должность Губернского Предводителя, я был далек от каких-либо честолюбивых помыслов, а тем более мечтаний о придворных званиях. Все это пришло само собой, не по

моим проискам, а по личному желанию самого Государя, о чем мне Дурново и говорил.

В связи с этим исключительно радостным для меня событием, в моей памяти встает одна мелочь, о которой хочется сказать, как о курьезном совпадении. 5-го декабря вечером я спешил к себе в Европейскую гостиницу, и нещадно понукал извозчика... Перед самым поворотом с Невского к гостинице, немного не доезжая до городской думы, мой извозчик вдруг останавливается... Окончательно выведенный из терпения, я принялся во всю бранить ленивого возницу. Извозчик преспокойно ко мне оборачивается и говорит: «Что же, барин?! От своего счастья желашь отказываться?!» Я его спросил: «В чем дело?» Он показал кнутовищем на мостовую. На снегу, освещенном электричеством, я увидел большую конскую подкову... Рассмеявшись, я быстро ее подобрал. Через несколько минут, у Европейской, мой благожелательный возница получил от меня целковый на чай. Я притащил с собой в номер свое объемистое «счастье», положил его на стол, а рядом лежал пакет. Вскрываю его и читаю официальный указ о состоявшемся Высочайшем пожаловании меня в звание камергера Двора Его Императорского Величества... Из подковы я сделал рамку с соответствующими выгравированными надписями, вставил в нее мой портрет в камергерском малом мундире и преподнес жене.

85

Из Петербурга я выехал на праздники прямо к своим в Аркашон. Застал я всех в отличном виде, бодрыми и веселыми. Встреча была радостной, и я с милыми моими детишками сам, как маленький, бегал и резвился, бывая с ними то на лесных

прогулках, то катаясь на лодке или маленьких моторных суденышках, выплывая иногда в хорошую погоду даже на далекий океанский простор. Любили мы бродить во время отлива по пляжу и собирать на нем раковины необычайного разнообразия.

К глубокому моему огорчению, более двух недель я не мог оставаться со своей семьей. Надо было спешить обратно в Россию. В январе предстоял ряд губернских собраний, близился срок Думских выборов. Пришлось перед самым Новым Годом со своими расставаться... Впереди ожидала меня все та же полная неизвестность. Время продолжало оставаться тревожным и неопределенным. Помню, как в последний вечер перед разлукой, я забрался в уютную детскую комнатку и сел в уголок, любясь милыми нашими птенчиками. Внутри меня происходила сложная душевная и мучительная работа – борьба между чувством мужа и отца, с одной стороны, и сознанием взятого на себя ответственного долга – с другой... Но разлука была неизбежна.

На другой день я выехал обратно. Новый 1907-й год я встретил уже в России, в полном одиночестве в своем купе. Разложив перед собою кожаный складной дорожный альбом со вложенными в нем фотографиями моих семейных, я мысленно приветствовал их с наступающим Новым Годом и, как умел, помолился Всевышнему.

Общее настроение в Самаре было очень напряженным. И в городе и в губернии все помыслы были заняты предстоящими выборами во вторую Государственную Думу, открытие которой намечалось на начало марта. В уездных центрах происходили избирательные собрания. Местная пресса всех направлений реагировала на выборы, заполняя газетные столбцы громовыми статьями и широковещательными призывами к населению...

Верное себе «Волжское Слово» вновь принялось обливать помоями «господский помещичий» класс, натравливая против него «трудящиеся» элементы. Наш «Голос Самары» тоже работал полным ходом под умелым руководством Янчевицкого, который в противовес «Слову» вел полемику в рамках профессионального приличия. Общих собраний Партия Порядка со времени первых Думских выборов более не устраивала. Мы достигли сплочения землевладельческих представителей губернии. Для нас важно было эту групповую и партийную солидарность поддержать и сохранить для следующих выборов, на что и было обращено главное наше внимание.

В тайниках губернаторской канцелярии тоже происходило заметное оживление под влиянием получавшихся из Петербурга всевозможных наставлений и циркулярных распоряжений, касавшихся выборного производства. В столичных верхах употребляли все усилия обезвредить существовавшее Положение о выборах. С этой целью Столыпин решил усилить авторитет Сената и, опираясь на его соответственные разъяснения, удалять из состава уездных выборщиков нежелательные элементы. Процедура была установлена следующая: в каком-либо уезде в число выборщиков попадает субъект с сомнительным политическим прошлым. Губернатор об этом лице срочно сообщает Министру Внутренних Дел. Столыпин, в свою очередь, препровождал в экстренном порядке полученные от губернатора сведения в распоряжение Сената, при соответствующем своем мнении. Сенат, «приняв все данные в соображение», немедленно «разъяснял» предложенные на его рассмотрение права данного лица. Обычно, по каждому подобному случаю издавался особый указ, согласно которому произведенные выборы данного лица считались недействительными, и его, как

незаконно избранного, из списка выборщиков исключали. Подобным «разъяснениями» Петербург рассчитывал подобрать более или менее желательный состав выборщиков. Сыпались эти «разъяснения» по всему лицу Великой Руси в превеликом множестве, роняя достоинство Сената и, накануне самых выборов, восстанавливая общественное мнение против власти.

Февральское Губернское Избирательное Собрание прошло у нас в условиях исключительно сложных и тревожных.

В день его открытия, я пригласил выборщиков к 11 часам дня в Собор на молебствие. Служба затянулась; пришлось еще выслушивать пространную напутственную речь преосвященного Константина. И вдруг, среди всеобщей тишины я услышал сзади себя торопливо приближавшиеся ко мне шаги и звяканье шпор. Меня почему-то обуяло недоброе предчувствие. Обернувшись, я увидел вытянувшегося передо мною в почтительной позе полицмейстера Критского. Он шепотом доложил, что послан срочно ко мне Губернатором для передачи экстренно важного пакета, касающегося выборов. Он вручил мне бумагу, оказавшуюся срочной телеграммой на имя Начальника Губернии за подписью Обер Прокурора Правительствующего Сената. В ней «разъяснялось» избрание двух выборщиков от Самарского уезда: Кундурушкина и Макарова. В депеше сообщалось об исключении обоих из списка выборщиков.

Обежав глазами всех присутствовавших в Соборе, я сам собой ни того, ни другого среди них не нашел по вполне понятной причине: народник писатель, земский сельский учитель Самарского уезда, Кундурушкин, и служащий в статистико-оценочном отделении Губернского Земства Макаров были представителями крайних левых и, конечно, чуждались религиозных обрядов.

В моей голове быстро и ясно встала сложность чреватого возможными последствиями задания – удалить из помещения Избирательного Собрания лиц, разъясненных Сенатом за полчаса до открытия выборов. По всем вероятностям они уже успели проникнуть в залу Дворянского Дома.

Я, согласно закона, должен был открыть собрание в 12 часов. Было без десяти минут двенадцать часов, когда я вошел в переднюю Собрания, где стояли секретари, проверявшие выборщиков. Я первым делом спросил – пропущены ли в залу Собрания Кундурушкин и Макаров? Оказалось, что оба, по предъявлении ими надлежащих документов, преспокойно прошли в залу. С пресловутой Сенатской телеграммой в руке я вошел в присутственную залу, нашел обоих «разъясненных» выборщиков, и предъявил им полученный мною документ. Я просил их удалиться согласно требованию Выборного Положения. Кундурушкин и Макаров категорически отказались подчиниться. Сразу же вокруг нас создавалась напряженная атмосфера и стали раздаваться шумные возгласы протеста...

Посмотрев на часы и увидав, что стрелка близится к 12 часам, я вынужден был, не входя в дальнейшие пререкания, занять председательское место и объявить заседание Губернского Избирательного Собрания открытым.

Прочтя собравшимся выборщикам, как того требовал закон, надлежащие статьи выборного производства, я приступил к проверке лиц, явившихся на Собрание, начав со старшего Самарского уезда, в списке которого как раз значились Кундурушкин и Макаров. Доведя до сведения Собрания содержание только что полученной мною телеграммы за подписью Обер-Прокурора Правительствующего Сената, я заявил, что ввиду состоявшегося Сенатского разъяснения я вынужден Кундуруш-

кина и Макарова вычеркнуть из выборщиков и считать их, согласно букве закона, людьми «посторонними», присутствие которых на Избирательном Собрании безусловно недопустимо и может служить основанием для отмены всего выборного производства.

После моих слов в зале поднялся невероятный шум и стали раздаваться выкрики протеста. С трудом удалось на время успокоить разбушевавшееся Собрание, но не убедить лиц, настаивавших на том, что телеграмму нельзя признать за имевший законную силу Сенатский Указ.

Положение мое, как председателя, осложнялось еще тем обстоятельством, что нигде в наскоро сфабрикованном в Петербургских канцеляриях Выборном Положении никаких указаний не имелось о правах и обязанностях председателя Избирательного Собрания. Меж тем, при создавшейся обстановке, я почувствовал, что без применения председательских репрессий для восстановления порядка, я не смогу довести собрание до конца.

Чтобы дать себе возможность обдумать это осложнение и успокоить разволновавшихся выборщиков, я объявил перерыв, попросив всех оставаться в зале, двери которой, согласно закона, на все время избирательного процесса должны быть закрытыми. Я подошел к «разъясненным» выборщикам, и в спокойной и приветливой форме я принялся с ними вместе обсуждать создавшееся положение вещей. Я убеждал их учесть два основных обстоятельства: как председатель, я должен исполнить Сенатский Указ. Оставить исключенных из списков, следовательно, «посторонних» лиц в зале Избирательного Собрания сделало бы выборы недействительными.

Вокруг нас столпились выборщики. Они внимательно прислушивались к нашим переговорам, начинавшим принимать

спокойный и мирный характер. Уже слышались одобрителные по моему адресу замечания. Был момент, когда мне казалось, что Кундурушкин с Макаровым готовы были сдаться на мои доводы и уговоры... Но вдруг в зале снова возник шум, раздались негодующие возгласы. Сначала я не понял в чем дело, но взглянув в окна, я уразумел причину общего возмущения. Вокруг Дворянского Дома гарцевали Кубанские казаки в своих красных бешметах, с пиками и шашками. Весь Дворянский Дом оказался ими оцепленным. Ярости «левых» участников Собрания не было пределов, «правые» же усталились на меня с недоумением. Никому в голову не могло придти, что подобная казачья демонстрация произошла помимо моего желания и распоряжения. А это именно так и было...

Я сразу догадался, что это была наглая выдумка Якунина.

Несколько мгновений стоял я безмолвно среди неистовствовавших выборщиков, до глубины души возмущенный провокационными действиями Губернатора. Стараясь казаться спокойным, я решил действовать... Выход из создавшегося положения представлялся для меня единственный. Я поднял руку и просил дать мне возможность высказаться. Стало тихо и я обратился к выборщикам со следующими словами: «Господа! Появление казаков явилось одинаковой неожиданностью для вас и для меня. Кто меня хорошо знает, тот мне в этом на слово поверит, а остальных я прошу со мною вместе подойти к телефону и присутствовать при моих переговорах с Начальником Губернии, по единоличному распоряжению которого – надо думать – очутились вокруг нас казачьи отряды»....

В зале наступила тишина. Сопровождаемый толпой выборщиков, я прошел в свой кабинет, взял телефонную трубку и просил соединить меня с Губернатором. Вскоре послышался его

хрипловатый голос. Разговор был краткий. Воспроизвожу его дословно.

– «С Вами говорит Председатель Губернского Избирательного Собрания, Губернский Предводитель Дворянства. Прошу объяснить, по чьему распоряжению помещение, где только что открыто было мною Избирательное Собрание, оказалось оцепленным казачьими отрядами?» Ответ последовал: «Это я приказал... А что?!»... Тогда я в присутствии всех окружавших меня выборщиков заявил Якунину следующее: «В интересах ограждения порядка занятий председательствуемого мною Губернского Избирательного Собрания – я требую от Вашего Превосходительства немедленной отмены данного Вами распоряжения и отозвания всех казачьих отрядов, окружающих здание Дворянского Дома. Предупреждаю, что, если мое требование Вами не будет в точности исполнено, я вынужден буду срочно телеграфировать Министру Внутренних Дел о Ваших действиях, по всем признакам носящих провокационный характер».

Раздалось какое-то мычание, но я трубку повесил. Вскоре красные кубанцы с нашего горизонта исчезли, но все же Якунин успел достигнуть своего...

По возобновлении заседания, я снова обратился к Кундурушкину и Макарову с требованием покинуть присутственное место, повторив ранее высказанные мною мотивы. Но все наши, как бы налаживавшиеся в начале перерыва переговоры были забыты, а успокоенная было толпа, при виде красной казачьей формы, с новой силой ожесточилась... Возникли вновь страстные прения и опять со всех сторон стали раздаваться неистовые крики. Во время перерыва я уже наметил себе определенный план действий, в соответствии с правами председателя, предусмотренными Земским Положением. Я решил твердо их придерживаться, но в душе ругал столичное законодательное

безголовье, упустившее из вида при выработке правил выборного производства нормировать права и обязанности председателей избирательных собраний. Мои друзья досаждали мне своими советами, но я предпочел твердо держаться Земского Положения, которое держал перед собой. Выход из создавшегося трудного положения казался мне единственным – закрыть избирательное собрание и на следующий день возобновить его, приняв все меры для недопущения в присутственное помещение обоих исключенных выборщиков. На этот путь я силою обстоятельств вынужден был встать.

После тщетных моих настояний, замечаний и звонков я, ссылаясь на статью председательских прав земского Положения, предупредил собравшихся, что, ввиду упорного нежелания Кундурушкина и Макарова подчиниться моим законным требованиям, я буду вынужден обратиться за содействием полицейских чинов.

При этих словах на собрании поднялся еще больший шум. Сборной мужицкой толпой дирижировали, главным образом, кадетские лидеры. Они объединились не только с крестьянами, но и с представителями социал демократической и даже социал-революционной партий. Я попросил находящегося около меня гр. А.Н.Толстого вызвать наряд полиции, дежуривший около нашего помещения.

Трудно описать, что произошло в зале Собрания и как были встречены вызванные мною полицейские чины, во главе с Критским, видимо, крайне заинтригованным всем происшедшим. В зале стоял гул голосов и грохот стульев о паркетный пол...

Показав рукой на Кундурушкина и Макарова, я именем закона приказал вывести их из зала Собрания. Распоряжение это оказалось неисполнимо, так как на защиту этих лиц выступил

отряд выборщиков с засученными рукавами и здоровенными кулаками, готовых оказать нешуточное сопротивление полицейским...

Тогда я, согласно статьи Земского Положения, объявил Собрание закрытым, в силу чего уже не было необходимости в применении насильственных мер для удаления разъяренных Сенатом «лиц». Не покидая своего председательского места, я предупредил озадаченных закрытием Собрания выборщиков, что обо всем происшедшем мною будет тотчас же послана срочная телеграмма на имя Министра Внутренних Дел, с просьбой прислать мне немедленные указания на то, допустимо ли возобновление Избирательного Собрания на следующий день. В случае положительного разрешения, я обещал поместить надлежащее объявление в утренних выпусках издававшихся в Самаре газет и вывесить его при входе в Дворянское Собрание.

В необычной обстановке пришлось мне в моем предводительском кабинете составлять Столыпину многословную депешу, исключительно ответственного содержания. Около меня неотступно находился многочисленный кружок выборщиков, среди которых, наряду с преданными друзьями, обретались и мои злые недруги. Те и другие недоумевали, что же будет дальше. Несмотря на вопросы и советы, мне все же удалось сказать в телеграмме Столыпину все, что я считал для хода дела нужным и важным.

Интереснее всего, что в том же кабинете, за отдельным столом собралась многочисленная группа моих недоброжелателей во главе с двумя Новоузенцами: Пустовойтовым и Павлом Никитичем Поповым. Первый мнил себя социал демократом, а второй примыкал к крайним левым кадетам. Оба состояли в губернских гласных, отличаясь большой горячностью и склонностью к многоречивым спорам. Дома у себя, в Новоузенском

уезде, среди своих обширных степных хозяйств, тот и другой были премилыми радушными людьми, крепкими собственниками и лояльными гражданами. Такими я знавал их в былое время, когда по земской моей службе приходилось наезжать в их родной край. В данной же обстановке преддумской выборной горячки они казались вышибленными из своей обычной деловой колеи и были совершенно неузнаваемы.

Возглавляемая высоким, здоровенным, громогласным Пустовойтовым и толстеньким, шумливым Поповым, расположившаяся вблизи меня группа левых выборщиков тоже занялась коллективным писанием. Они составляли жалобу в будущую Государственную Думу на действия председателя Избирательного Собрания. Они так громко выражали свое негодование против меня, сопровождали свое писательство такими нелестными по моему адресу эпитетами, ясно долетавшими до моих ушей, что мешали мне составлять телеграмму. В конце концов телеграмма Столыпину была послана...

Вернувшись часов в шесть вечера к себе домой, я почувствовал всю тяжесть и утомительность проведенного дня. Со мною неразлучно оставались мои ближайшие друзья – Т.А. Шишков и Б.Н. Муханов. Мы с нетерпением ожидали ответа Столыпина. Он пришел в два часа пополудни в виде зашифрованной телеграммы. Шифра никто из нас не знал. Пришлось его по городу разыскивать. В конце концов нашли шифр у Правителя губернаторской канцелярии Благовествова, которого я немедленно к себе вызвал, а также и Непременного Члена Губернского по Земским и Городским делам присутствия П.В. Кругликова, в руках которого сосредоточены были дела по выборам в Государственную Думу. Они тотчас же охотно отозвались на мою просьбу приехать ко мне, несмотря на необычный ночной час.

От Кругликова я узнал еще одну подробность, всех нас возмущившую. Оказалось, что сенатская депеша «разъяснявшая» Кундурушкина и Макарова, была Кругликовым получена в день открытия Избирательного Собрания сравнительно рано, – в 9 часов утра. Он, показав ее губернатору, хотел немедленно передать мне, чтобы я успел не допустить исключенных из списка выборщиков в залу Собрания. Губернатор потребовал, чтобы депеша осталась у него, обещая ее вовремя мне доставить. В результате, сенатское распоряжение было вручено мне за полчаса до открытия Собрания, да еще во время церковной службы в Соре.

Когда телеграмма Столыпина еще расшифровывалась, часов около четырех утра, неожиданно появляется в моем кабинете полицмейстер Критский.

«Не готовится ли со стороны моих «доброжелателей» еще новая какая-нибудь провокационная каверза?» – подумал я. Извинившись, Критский отвел меня в соседнюю библиотеку и сообщил, что получил из «достоверных» источников сведения о готовившемся на меня покушении, если я не уступлю требованиям части выборщиков допустить Кундурушкина с Макаровым к участию на Избирательном Собрании. Он «счел своим долгом» предупредить меня об ожидавшей меня неминуемой опасности.

Слушал я его молча, с чувством внутреннего возмущения. Когда он кончил свой доклад, я спросил: «Это все?» Сметливый Критский, по выражению моей более чем неприветливой физиономии, счел за лучшее скорее от меня испариться.

П.А.Столыпин всецело одобрил мои действия, разрешил продолжить прерванные выборы. Читаю дальше и глазам своим не верю, – в том крайнем случае, если я окажусь не в состоянии

отстранить исключенных выборщиков от участия в Избирательном Собрании, Министр дает мне разрешение приступить к производству выборов, не стесняясь их присутствием в зале заседания... Невероятно, но это так!

То было первое мое скорбное разочарование в Столыпине, доселе казавшимся мне образцом твердости и неуклонности в осуществлении законности и порядка!

Взяв слово с присутствовавших, что они умолчат о заключительной части Столыпинской депеши, я отправил своих друзей Шишкова и Муханова в газетные редакции с просьбой поместить обещанные объявления об Избирательном Собрании.

С раннего утра принял я решительные меры для недопущения Кодурушкина с Макаровым в Дом Дворянства, на парадных дверях которого с 8 часов утра появилось объявление об открытии в 12 часов дня Собрания. Пешком благополучно дошел я до Дворянского Дома, расположенного в противоположном конце города, и с 10 часов утра стал лично следить за приходящими в мою канцелярию лицами, вытребовав через Губернатора усиленный наряд наружной полиции.

Предупрежденный полицмейстером, я мог ожидать чуть ли не неминуемой своей гибели... в действительности же произошло следующее: около 11 часов дня появляется довольно многочисленная компания выборщиков, с Пустовойтовым во главе, и просит, чтобы я их принял. Вошли в кабинет эти лица, приветливо поклонились и Пустовойтов торжественно заявляет, что по внезапной болезни ни Кундурушкин, ни Макаров на сегодняшнее Избирательное Собрание придти «никак» не могут... Вот чем кончилось ночное предупреждение г. Критского!...

Собрание было мною открыто ровно в 12 часов. Прошло оно быстро и в смысле лишь самого процесса выборного производства – благополучно, но далеко неблагоприятно в отношении полученных результатов.

Как на пример того, какие люди попали в состав избранных во вторую Думу депутатов, могу указать хотя бы на крестьянина Бугурусланского уезда – кузнеца Абрамова, который был известен А.Н.Карамзину, как отъявленный пропойца и «непутевый» человек... На другой день после выборов я должен был всех только что избранных членов Государственной Думы подробно опрашивать, согласно особой инструкции, по целому ряду вопросов: о месте постоянного их жительства, о возрасте, профессии и т. п. Имелась также графа о принадлежности депутата к той или другой политической партии.

Сижу я у себя дома в предводительском кабинете и принимаю по очереди «народных представителей», в том числе Абрамова, здоровенного, лохматого, неграмотного мужика, с распухшей от пьянства и драки злобной физиономией. Вошел сей тип, исподлбья глядя осовелыми глазами, в кабинет и не знал – стоять ли ему или развалиться на кожаном кресле? Сидевший сзади меня на диване Карамзин, при виде Абрамова, не выдержал и невольно пробурчал: «И этакая скотина – туда же лезет в Государственную Думу!» Я сделал знак почтенному Александру Николаевичу, чтобы он себя сдерживал, и стал предлагать стоявшему передо мною необычайному «депутату» требуемые вопросы. Ответы получались невнятные, больше слышалось какое-то мычание, и лишь услышав заданный мною вопрос: к какой политической партии он принадлежит? косматая фигура Абрамова сразу ожила. Послышался немедленный и внятный ответ: «Бомбист!» и тут же вслед, из уст все того же возмущен-

ного Карамзина, раздалась по адресу «народного депутата» основательная и понятная для деревенского русского обитателя брань... В этот раз я Александра Николаевича не останавливал – в душе я был с ним согласен: «бомбист» другого отношения к себе не заслуживал...

Тяжко было это все видеть и переживать. Закрадывались смутные предчувствия о неминуемых гибельных последствиях для бедной нашей родины от подобных ее будущих хозяев и руководителей. В довершение моих невеселых впечатлений от состава избранных депутатов, я вынужден был также опрашивать только что избранного члена Государственной Думы, моего старого знакомого, бывшего инспектора народных училищ В.Г.Архангельского.

Этот господин не без самодовольной гордости, не глядя мне прямо в глаза, заявил о своей принадлежности к социал-революционной партии. Невольно при этом вставала несообразность положения. С одной стороны, – приходилось мне участвовать в особом присутствии Судебных Палат и приговаривать к лишению прав и ссылке в Сибирь за принадлежность к противоправительственным политическим партиям, а с другой, по долгу, я был вынужден с господами типа Архангельского разговаривать не как с преступным элементом, а как с людьми «высшего порядка», лично неприкосновенными, приглашаемыми по новой конституции к отправлению высших государственных обязанностей – к управлению всей Российской Империей. Временами меня подобные мысли преследовали, как кошмар...

Попав в первый раз в здание Таврического Дворца, я случайно забрел в один из бесконечных его коридоров и, как вкопанный, остановился перед дверью, над которой красовалась большая вывеска с надписью: «Социал-демократическая партия»...

Взяло меня тогда тяжкое раздумье: к чему, спрашивается, происходят в Самаре все эти бесконечные утомительные судебные разбирательства политических дел, в большинстве случаев все по поводу тех же социал-демократов и их партии, легально признанных в стенах столичного дворца, где вершатся судьбы отечества?!

В ту же компанию свежеизбранных депутатов попали оба мои жалобщика – Пустовойтов и Пав. Попов. С их стороны я удостоился совершенно неожиданного внимания. Вечером, после выборов, в самарском Коммерческом собрании, избранные депутаты, совместно с их избирателями, устроили настоящий «пир горой». В то же время мои друзья уговорили меня провести вечер с ними. В отдельном кабинете гостиницы «Россия» человек тридцать наших единомышленников скромно ужинали и мирно беседовали, делясь выборными впечатлениями.

Было довольно поздно, когда вошел к нам хозяин гостиницы и попросил меня выйти в коридор, где ожидала меня какая-то депутация. К моему удивлению это были Пустовойтов и Попов, делегированные от праздновавшей свою победу компании с поручением выразить мне от лица их всех чувства глубокого уважения и преклонения перед моей стойкостью, а также высказать сожаление, что я не принадлежу к их партийному блоку... Делегаты, изливающие свои общественные ко мне симпатии, обретались в заметно приподнятом настроении, создавшемся под влиянием не одних только политических страстей и победоносных переживаний... А ведь известно – русский человек в подобном положении готов и с заклятыми своими врагами целоваться... Во всяком случае, я их поблагодарил, но от объятий уклонился.

По окончании повсеместных по России думских выборов, давших в общем своем итоге неблагоприятный результат, Губернские Предводители Дворянства, руководившие Избирательными Собраниями, решили собраться в Москве на Съезд, с целью обменяться впечатлениями, вынесенными от всего выборного производства.

Оказалось, что почти аналогичный с Самарой случай произошел в Курске, где гр. Доррер очутился лицом к лицу с необходимостью изъять из присутственного помещения проникших в него «разъясненных», перед самым моментом открытия Собрания, выборщиков.

Единодушно было поддержано мое настойчивое заявление о необходимости возбудить перед Правительством, от имени Председателей Губернских Избирательных Собраний коллективное ходатайство, чтобы их права и обязанности были точнее определены законом.

Съезд поручил А.Д.Самарину, только что избранному Московским Губернским Предводителем, и мне войти в непосредственные переговоры с П.А.Столыпиным по поводу этого ходатайства.

В Петербурге мы с Самариным сумели убедить Столыпина в необходимости издания дополнительного законоположения, о котором говорено было на Предводительском Съезде. При выборах в третью и четвертую Думу, Председатели Избирательных Собраний уже могли твердо базироваться на ясной инструкции.

Столыпин интересовался ходом Самарских выборов. Он заставил меня ему пересказать все до мельчайших подробностей и поделиться моими соображениями по поводу общего положения дел на местах, в связи с действовавшей избирательной

системой. По своей губернии я ему доказал, что при наличии тесно сплоченного землевладельческого блока в 75 человек и значительного перевеса крестьянских выборщиков в 101 человек, результат выборов всегда будет находиться в руках крестьянских выборщиков. Но они, съезжаясь на 2-3 дня из своих отдаленных углов в губернский центр и друг друга совершенно не зная, быстро подпадают под влияние ловких, ничем не стеснявшихся агитаторов, готовых своими двухдневными обещаниями вскружить головы, всецело занятые единственными помыслами и вожделениями – о земельных нарезках... Указывал я также Столыпину на всю абсурдность ставки законодателя на некультурное «мужичье» большинство в деле конструирования народного представительства, призываемого Царем себе на помощь по управлению огромной и сложной страной. Между тем это большинство не всегда способно толково разбираться даже в своих малых волостных делах.

Я откровенно поведал Столыпину тяжелые впечатления, вынесенные мною от состава избирательных собраний, крестьянский элемент которых, на мой взгляд, отнюдь не мог быть назван достойным и верным представительством почтенного, хозяйственно делового сельского населения, а скорее являл собой случайный подбор деревенских обывателей, по той или другой причине вышибленных из колеи нормального земледельческого труда.

Высказав сомнение в работоспособности только что избранной Думы, я не скрыл своих опасений по поводу предстоявшей совместной с ней деятельности Царского Правительства, предвидя неизбежные серьезные осложнения, выход из которых мне представлялся единственный: прежде всего подтвердить незыблемую Царскую волю о сохранении народного пред-

ставительства, но одновременно – принять срочные меры к коренному изменению созданных графом Витте форм такового, заменив их иными, более соответствующими духу и всему историческому государственному укладу России.

Увлечшись своей излюбленной темой, я нарисовал Петру Аркадьевичу схему того, на мой взгляд желанного, народного представительства, которое должно было бы явиться в результате широко реформированного земства и организации волостного всесословного земства. Мы смогли бы привлечь к государственной творческой работе лучшие земские народные силы, достигнув в выборном производстве главного – сознательности.

Выслушав меня, Столыпин с печалью в голосе промолвил: «Все это, может быть, верно, но в жизнь провести теперь невозможно!»...

Получив от Петра Аркадьевича разрешение на отпуск, я с радостью бросился в вагон и покатил вновь через всю Европу к своим, в Аркашон, даже не дождавшись открытия второй Государственной Думы, состоявшегося 6-го марта. Из газет я потом узнал, что 18-го того же месяца состоялась известная декларация Столыпиным правительственной программы, сразу выдвинувшая его в первые ряды смелых и стойких государственных деятелей и ораторов «Божьей милостию».

Счастье нашего семейного свидания было беспредельно. Застал я всех в отличном виде: очевидно Аркашонский воздух и климат оказали на них самое благотворное влияние. Привез я им благою весть, обрадовав всех, что к маю можно будет нам вернуться к себе на Волгу, где все стало заметно успокаиваться.

Сам же я решил, вместо того, чтобы сидеть в Аркашоне, воспользоваться случаем и хотя бы наскоро объехать некоторые

заграничные страны и места, о которых я давно мечтал и до которых добраться было в прошлой моей деловой обстановке совершенно невозможно. Теперь я имел до отъезда нашего в Россию почти два месяца в своем распоряжении. Это и навело меня на мысль, вместе с Анютой, оставив детей под присмотром милейшей мадам Дюбюрге, отправиться в давно желанное путешествие, главным образом в Италию.

Быстро мелькнули Бордо, Марсель, Ницца, где мы решили пробыть несколько дней, чтобы повидаться с К.К.Ушковым.

Катаясь по Ривьере, не раз проезжали мы мимо нашей «медовой» резиденции – гостиницы «Ривьера Палас; мы вспоминали наше прошлое, столь памятное для нас, молодоженное пребывание на Кот д'Азюр и перебирали пестрый калейдоскоп пронесшихся с тех пор событий. Много пришлось за это время пережить тяжелого, но немало Господь посылал нам и утешительного...

Из Ривьеры мы тронулись в давно манившую нас Италию. Побывали в древней Генуе, провели две недели в Риме видели Неаполь и Помпею, остановились во Флоренции. Последним этапом объезда Италии была сказочная Венеция. Побывали мы в Швейцарии, разъезжали три дня по этой живописнейшей стране. Пожили в Лозанне, переехали в Женеву. Но здесь, в конечном пункте нашего путешествия, счастье нам изменило во всех отношениях: погода превратилась в хмурую и дождливую, так что не только не удалось полюбоваться белоснежной вершиной Монблана, но охоты не было нас из отеля высовывать. Вдобавок в Женеве нас ожидала тревожная весть из Аркашона от мадам Дюбюрге. Внезапно серьезно заболела наша старшая дочь Мария. Мы поспешили выехать из Женевы прямо домой к своим в Аркашон, через Лион и Бордо.

Дома мы застали больную Манечку на пути полного выздоровления. Срок моего отпуска кончался и, распростившись с гостеприимным Аркашоном, мы тронулись обратно в родную нашу Россию, по которой все, от мала до велика, успели стосковаться, включительно до самой мадам Дюбюрге, открыто неблагосклонно отзывавшейся о своей «республиканской» родине.

В Париже мы посещали вдвоем с Анютой городские достопримечательности и музеи.

Особенно яркое впечатление на меня тогда произвел осмотр музея «Карнавалэ», где была собрана обстановка, отражавшая историческую эпоху «Великой» французской революции 1789 года. При посещении его всплывали в памяти не успевшие еще остыть впечатления российского революционного лихолетия 1905–1906 г.г. Сердце сжималось при виде ужасов народного стихийного злобства и непостоянства. Судьба России мерещилась мне в недобром, мрачном свете! Выходя из старинного каменного портала музея, я обратился к жене со словами: «Спаси, Господи, и помилуй нашу родину от ужаса всего, нами виденного!»...

Несказанно рады были все мои русскому храму на рю Дарю и православному богослужению, по которому все они стосковались за время пребывания в Аркашоне. Стояла великолепная погода. Весенний сезон был в разгаре. Ежедневно подавалось нам открытое поместительное ландо, и мы со всеми нашими, по-парижски разодетыми, милыми, розовенькими детками совершали прогулки по Буа де Булонь и ближайшим его окрестностям.

Наступил день нашего отъезда из приветливого и нарядного Парижа. Не без радости разместились мы с семьей и при-

службой в удобные спальные вагоны Норд Экспресса и, быстро-стремительно прорезав восток Франции, клочок Бельгии и всю северную полосу Германской Империи, на вторые сутки очутились к общему нашему восторгу в пределах родной земли.

87

Несмотря на кратковременность нашей остановки в северной столице, которую необходимо было сделать ради детей, заматававшихся на быстроходном и длинном железнодорожном пути, – я успел убедиться, что в общественных и служебных сферах Петербурга царит тревога в силу изо дня на день усиливавшегося разлада между Правительством и Государственной Думой. Все законопроекты, проведенные Столыпиным в промежуток между первой и второй Думой в порядке 87 ст. Основных Законов, народными представителями отвергались. Правительственные выступления вызывали ожесточенную критику оппозиционно настроенных депутатов. Все ощущали ненормальность создавшегося положения вещей, невозможность творческой государственной планомерной работы и необходимость, так или иначе, прекратить столь вредное для общего политического настроения страны взаимное трение между Правительством Царя и созданным по Его велению народным представительством.

Пришлось мне услышать и о готовившемся, к счастью предупрежденном, покушении на Государя и Его Августейшую семью, на Великого Князя Николая Николаевича и Столыпина.

В общем, покинул я столицу с тяжелым сердцем и невеселыми думами. Я решил, тотчас же по возвращении в Самару, собрать всех своих предводителей и депутатов для совместного обсуждения того, что слышал и видел в Петербурге.

Семью свою я водворил в Головкине, где их со слезами радости встретила моя старушка мать, сам же я поспешил в Самару к застоявшимся без меня сословно-общественным делам и заботам, – тем более, что не успел я приехать к себе в имение, как получил от Управляющего Самарским отделением Дворянского и Крестьянского Банков, князя П.Д. Урусова, срочный вызов в Самару по делу, связанному с ликвидационной деятельностью Крестьянского Поземельного Банка.

Возвращение мое из заграницы совпало с приездом в Самару особой комиссии, сформированной центральным ведомством упомянутого Банка, которой поручено было приступить к усиленной скупке в Самарской губернии помещичьих земель и перепродажи их, на льготных условиях, крестьянскому населению. Во главе комиссии стоял Степан Степанович Хрипунов, оказавшийся человеком рассудительным и в общественном смысле сговорчивым.

Живой, отзывчивый и успевший «осамариться» Урусов, принимая по своему служебному положению самое близкое участие в деятельности Хрипуновской комиссии, с болью в сердце усмотрел в общем ликвидационном списке помещичьих имений родовую Аксаковскую вотчину при с. Знаменском, в Бугурусланском уезде, прославленную ее бывшим владельцем – Сергеем Тимофеевичем Аксаковым в его классической «Семейной Хронике». Вотчина эта, со всей ее, столь художественно описанной им усадьбой, водяной мельницей, прудом и рыбными садками, перешла впоследствии в собственность к родному брату знаменитого писателя, Аркадию Тимофеевичу, приходя мало-помалу в полное запустение. В таком виде она и была предложена потомками Аксакова Хрипуновской комиссии для продажи ее общему ликвидационному фонду. Князь Урусов решил оказать Самарскому дворянству услугу и просил Хрипунова

обождать с ликвидацией «Знаменского» до моего возвращения из заграницы.

Благодаря инициативе Петра Дмитриевича и любезности Степана Степановича мне удалось вовремя изъять Аксаковскую вотчину из общей ликвидационной спешки. Пришлось в спешном порядке обсудить на собрании Предводителей и Депутатов вопрос о возбуждении перед надлежащими инстанциями ходатайства по поводу передачи из общего ликвидационного фонда в собственность Самарского дворянства части Аксаковской вотчины, заключавшей в себе усадьбу с прилегавшими к ней прудом, водяной мельницей, многодесятинным парком и другими угодьями – всего около 100 десятин. Цель этого приобретения сводилась к сохранению и возможному восстановлению «Знаменской» усадьбы в том виде, как она изображена в «Семейной Хронике». Имелось также в виду основать в означенной усадьбе ремесленно-техническое училище, имени С.Т.Аксакова, для обучения в нем детей местного крестьянского населения. Представители нашего дворянства поручили мне выхлопотать те платежные льготы, которые по банковским правилам предоставлялись при подобных сделках крестьянскому сословию.

Я вынужден был созвать экстренное Губернское Дворянское Собрание для окончательного решения вопроса о приобретении Аксаковской усадьбы. Одновременно, на том же собрании, я предложил на его утверждение доклад об ознаменовании избавления Августейшей семьи от грозившей ей опасности. Я предлагал соорудить икону складень и поднести ее Царской Семье в день рождения Наследника Цесаревича (30-го июля).

Получив единодушное одобрение со стороны дворянского общества по обоим моим докладам, я вновь поехал в Петербург.

Сопровождал меня в этот раз М.Д.Мордвинов. Он оказывал мне немалые услуги в моих хлопотах, благодаря своим столичным знакомствам, светской общительности и необыкновенному рвению к делу сохранения в руках дворянства Аксаковской усадьбы. По его инициативе появился в «Новом Времени» ряд бойких статей, приветствовавших постановление Самарского дворянства об ограждении родовой вотчины творца «Семейной Хроники» от общего ликвидационного распыления.

Министр Финансов, Владимир Николаевич Коковцев, к которому нам пришлось обратиться за содействием, встретил нас внешне приветливо, но по существу нашего ходатайства не только холодно, но определенно отрицательно. Небольшого роста, аккуратно скроенный, Владимир Николаевич имел облик деловитого, сильно занятого сановника. Выражение его узкого продолговатого лица, обрамленного русой с легкой проседью бородкой, было далеко не приветливым. Его круглые сероватые глаза, расположенные под высоким красивым лбом, ясно говорили, что лучше было бы, если бы мы его, большого государственного дельца, не беспокоили по «пустякам»... Волнуясь, то краснея, то бледнея, Коковцев нам категорически заявил, что, «при существовании законодательных палат», он, как Министр, не находит возможным удовлетворить ходатайство Самарского дворянства относительно льгот по покупке Аксаковской усадьбы. Против самого приобретения он, само собой, никаких препятствий не видит.

Тогда пришла нам с Мордвиновым мысль – связать устройство в Аксаковской усадебной земле ремесленной школы с просветительной деятельностью сравнительно недавно возникшего общества – «Попечительства о трудовой помощи», принятого Государыней Императрицей Александрой Феодоровной под свое Августейшее покровительство. Но по наведенным

справкам, к немалому нашему огорчению, оказалось, что Попечительство оказывает помощь только крестьянскому населению. Евреинов, заведывающий делами общества, предупредил нас, что на совместную работу с дворянством, хотя бы направленную к интересам местного населения, нам рассчитывать невозможно.

«Разве только, – улыбнувшись, добавил он, – если сама Августейшая Покровительница соизволила бы дать на то свое согласие»...

Слова эти крепко запали мне на ум. В тот же день я направился к графу Гендрикову, состоявшему при особе ее Величества, поведал ему все свои мечты и планы и попросил дать мне возможность обо всем лично доложить Императрице.

Элегантный, чрезвычайно приветливый, с красивым, тонким лицом истого аристократа, граф Гендриков удивительно участливо отнесся к моей просьбе и обещал в срочном порядке устроить мне аудиенцию у Государыни. И действительно – через два дня я был принят ее Величеством и милостиво выслушан. Я доложил, что Самарское дворянство испрашивает у Трудовой Помощи содействия не для себя, а для того же крестьянского населения, и что наше сословное общество предлагает свои услуги Попечительству лишь в виде делового своего сотрудничества. Государыня очень приветливо, на русском языке, с легким, чуть заметным акцентом, мне ответила: «Передайте Самарскому дворянству, что я буду рада работать вместе с ним в деле оказания трудовой помощи местному населению».

Горячо поблагодарив Императрицу за оказанную нашему сословному обществу милость, я, прежде всего, поделился своей радостью с Мордвиновым, а затем поспешил найти Евреинова, чтобы передать ему о результате моего доклада Государыне. Немало изумившись подобному неожиданному обороту

дела, Владимир Дмитриевич, вместе с тем, любезно пообещал в будущем всяческое содействие нашим планам.

Исполнил я и поручение, касавшееся сооружения иконы складня, которую нам предстояло поднести царской семье 30-го июля. Неоценимую услугу оказал мне живой и приветливый доверенный известной по изготовлению церковной утвари фирмы «Братьев Оловянишниковых» – Николай Константинович Окунев. На него мне указал знаток старинной художественной иконописи, комендант Царскосельского Дворца, князь Михаил Сергеевич Путятин.

В то время у Оловянишниковых работал молодой художник Вашков – высокий, статный, «русский» красавец, с копной чудных каштановых кудрей на голове и удивительно приветливыми, темно карими, умными глазами. Ученик гениального Виктора Михайловича Васнецова, Вашков в свои произведения вкладывал столько и природного, и унаследованного от своего великого учителя, вкуса и знания, что оловянишниковские изделия завоевали исключительное к себе внимание знатоков церковной старины и художественной иконописи.

Нам с Мордвиновым Вашков представил ряд эскизов рамки для складня, и мы выбрали один, наиболее, по нашему мнению, подходивший к простым и строгим очертаниям древнего «истого» православия. Что же касается самых икон, то Окунев просил нас не беспокоиться, обещав найти, если не в Петербурге, то в Москве, у хорошо известных ему антикваров и коллекционеров, старинного письма, изображение трех святителей: св. Николая, св. Царицы Александры и св. Алексия.

Благодаря Вашкову, мы с Мордвиновым имели случай познакомиться с самим Васнецовым и побывать в его небольшом, но оригинально выстроенном и в «Васнецовском» стиле отделанном уютном особнячке.

Не успели мы вдоволь налюбоваться на эскизы и картины своеобразной кисти гениального художника, в особенности, на огромную картину, изображавшую русского богатыря, въехавшего на своем могучем коне на холм и смотревшего с него вдаль из-под прикрывшей лоб ладони, как перед нами появился сам знаменитый хозяин, с приветливой улыбкой на немолодом, подвижнического типа, лице. Скромный и тихий Виктор Михайлович сразу ожил, как только речь зашла о близком его творчеству деле. Рассматривая эскизы складня и говоря об иконах, Васнецов имел строгий, сосредоточенный вид. К своему бывшему ученику, Вашкову, он обращался на «ты», но под личиной требовательного учителя чувствовалось отеческое расположение.

88

Во время пребывания в Петербурге я не мог не заметить крайне тревожного настроения в правящих и общественных сферах. Отношения между правительством и Государственной Думой дошли до последней степени взаимной нетерпимости. В столичном воздухе нависли сгустившиеся грозовые тучи. Из уст в уста передавались слухи о раскрытии заговора пятидесяти пяти членов Государственной Думы социал-демократической партии, имевшего целью ниспровергнуть государственный строй, и о готовившихся, в связи с этим, со стороны правительства решительных мерах.

Не успел я вернуться в Самару, как, 3-го июня, страна была оповещена Высочайшим Манифестом и Указом о роспуске Государственной Думы и о созыве последующей Думы на 1-е ноября 1907 года по новому выборному закону. Тогда же опубликовано было положение о выборах в третью Думу, составленное

все тем же присяжным творцом всяческих конституционных новелл, С.Е.Крыжановским, и все в тех же условиях лихорадочной неосмотрительной спешки.

Весть об этих Высочайших распоряжениях исключительной важности была принята в Самаре, как и везде, спокойно. Как раз в день их обнародования у меня происходило собрание предводителей и депутатов, отнесшихся к этому государственно политическому событию с должным сознанием всего того огромного значения, которое оно должно было иметь для последующих выборов в новую Думу.

В тот же день я уезжал в свое Головкинское имение. На пароходе я был смущен бестактностью провожавшего меня, в числе других моих дворян сослуживцев, Вл.Н.Львова. В обширной паровой рубке, в присутствии многочисленной посторонней публики, он вдруг потребовал бутылку шампанского, и с бокалом в руке, радостно, восторженно начал во всеуслышание восхвалять указы «Самодержца» о роспуске «негодной» Думы и об избирательной реформе... Не только мне, но и всем присутствовавшим показалась крайне неуместной подобная выходка несдержанного Львова.

В июле я, вместе с дворянской депутацией, вновь должен был отправляться в Петербург для поднесения 30-го июля царской семье складня.

Приехали мы шестеро в Петербург за несколько дней до 30-го июля. Заказанный складень по своему художественному исполнению и вставленным старинным, замечательного письма, иконам, действительно представлял исключительную, чисто музейную ценность. Это был подарок, достойный быть поднесенным православному русскому Царю.

Получив из Церемониальной части Министерства Двора уведомление о приеме нашей депутации Их Величествами в одиннадцать с половиной часов дня в Петергофском Дворце, мы были одновременно извещены секретарем Столыпина о приглашении им всех нас к нему в Елагинский Дворец, на утро 29-го июля.

Всемогущий в то время Петр Аркадьевич встретил нас добрым словом и чарующей улыбкой. Он провел нас через свой кабинет в соседнюю просторную гостиную, с видом на огромный парк с его вековыми «Петровскими» дубами. Рассадив нас вокруг себя, Столыпин приветствовал доброе пожелание самарского дворянства поднести в переживаемые тяжелые времена глубоко верующей Августейшей Семье икону складень. Затем он перешел на то положение, которое создалось в нашей губернии, в связи с изменениями избирательного закона, а также расспрашивал про ход землеустроительных работ на местах. Держал он себя чрезвычайно просто и вел с нами оживленную беседу, видимо, пользуясь редким случаем переговорить со свежими, только что приехавшими из волжской провинции, местными людьми.

Отпуская нас, Петр Аркадьевич благодарил за посещение и за все то интересное, что ему пришлось от нас узнать. Тепло простившись с нами, он подвел нас к террасе и, указывая рукой на огромные кудрявые дубы, окружавшие дворец, сказал: «Эти могучие деревья посажены рукой Великого Петра, находившего на все время! Вот с кого мы должны брать пример!»

Очарованные его приемом, самарцы, довольные и удовлетворенные, вышли из белокаменного Елагина Дворца, в сопровождении Товарища Министра, милейшего и добрейшего Александра Ивановича Лыкошина, считавшегося одним из самых приближенных лиц к Премьер Министру.

Лыкошин коротал свой век в провинции, служил одно время земским начальником, и вдруг, по капризу затейницы судьбы и желанию Столыпина, – попал к нему в «товарищи». Встречаясь с ним впоследствии довольно часто по делам службы и на разных заседаниях, где ему приходилось заменять иногда Министра в качестве председателя, я никак не мог понять, почему милейший Александр Иванович мог получить столь ответственное назначение. Единственное объяснение я находил в том, что для Столыпина Лыкошин был необходим, как прирожденный оптимист, видевший и расценивавший все в розовом свете. Очевидно, блаженнодушный Александр Иванович служил для Петра Аркадьевича некоторого рода бромистым успокоительным средством в минуты его служебных затруднений или гнетущих ответственных дум... Другого объяснения для его высоко бюрократического положения я найти никак не мог... Сужу я это отчасти по следующему случаю:

После одного из бурных заседаний Совета по делам местного хозяйства, на котором особенно остро обсуждался вопрос об уездной реформе и об изменении института уездных руководителей, мне пришлось сидеть на обеде, дававшемся участниками упомянутого Совета в честь П.А.Столыпина, причем мое место оказалось между премьером и Лыкошиным. Мне было не весело. Я устал, а главное, находился под тяжелым впечатлением доклада Министерства Внутренних Дел по поводу намеченных уездных реформ, против которого горячо выступал в этот день на заседании под председательством Лыкошина. Последний, заметив мое «необеденное» настроение, стал мне надоедать расспросами. Я не выдержал и откровенно сознался, что радоваться не приходится, когда стоишь лицом к лицу с такими необдуманными реформами, как только что заслушанные доклады о реорганизации всего уездного административного

уклада, включая и предводительский институт... Лыкошин тогда налил мне и себе вина, чокнулся, и добродушно посмеиваясь, шепнул мне на ухо:

– «Выпьемте-ка, дорогой Александр Николаевич, за российскую «Улиту»! Нечего Вам себя раньше времени беспокоить! Когда-то еще эта улита до нас доедет?!»

Александр Иванович оказался прав – улита со своей уездной реформой так до нас и не доползла, а потом все на святой Руси перевернулось вверх дном.

В последний раз я с Лыкошиным встретился в Петрограде в 1917 году, после февральской революции, на Морской, когда уличная толпа разгулиwała с красными бантами на груди, сдирая с вывесок бывших поставщиков Августейших особ гербы и императорские короны. Александр Иванович был в старенькой енотовой шубе, и весь ушел в поднятый меховой воротник. Стояла еще мартовская стужа. Перекинувшись несколькими фразами по поводу свалившегося на головы российских обывателей лихолетья, мы пожали друг другу на прощанье руки. Александр Иванович голосом добренькой нянюшки бросил мне совет: «По нынешним временам надо хорошенько притулиться... да! именно незаметно притулиться!» И с этими словами Лыкошин поддержал свою шубенку и ушел всей своей седой шершавой головенкой в енотовый поднятый воротник...

Вернусь к прерванному рассказу. Вышли мы все от Столыпина с Лыкошиным, жившим недалеко от Елагинского дворца и пригласившим нас к себе выпить по стакану чаю. Бедному Александру Ивановичу не пришлось осуществить это благое намерение. Приведя нас к себе, он забежал по своей дачке и все звал какую-то «тетю Катю», у которой хранились все ключи; ее не оказалось. Наш товарищ министра, с растерянным видом и растопыренными руками, стал извиняться, что ничем не может

нас угостить, так как «тетя Катя» исчезла, а с ней и все ключи. Мы поспешили поблагодарить за любезное приглашение и, откланявшись, отправились по домам. Нередко потом вспоминали мы неудавшееся чаепитие у милейшего Лыкошина, которого с тех пор между собой не иначе стали называть, как «тетей Катей».

89

Утром, 30-го июля, наша депутация в придворных экипажах была торжественно перевезена с вокзала до Петергофского дворца. Все мы еле сдерживали охватившее нас, и с каждым мгновением усиливавшееся волнение. Вся окружавшая нас обстановка – красота Петергофского парка, вид дворца и внутренняя его придворная парадность – все заполняло наши сердца чувством особого восхищения. По счастливой случайности нам, самарцам, удалось во внутренних апартаментах видеть необычайную сцену. В одной из боковых парадных комнат только что завершился торжественный прием казачьей части, удостоившейся Высочайшей милости: Наследник Цесаревич был назначен ее шефом. По этому случаю особая казачья депутация поднесла своему малолетнему Шефу полное обмундирование. Приостановившись на несколько мгновений около открытых дверей, мы оказались счастливыми очевидцами редкого зрелища – молодцеватого вида, рослый казачий атаман, осторожно, стоя на коленях, старался нацепить на крохотную фигурку своего очаровательного трехлетнего Августейшего Шефа миниатюрного размера «боевую казацкую шашку».

Приглашенные дежурным флигель адъютантом в обширную комнату, смежную с кабинетом Государя, мы были предупреждены, что Их Величества через несколько минут изволят к

нашей депутации выйти. Вставши в ряд, мы разместились в таком порядке: я, как Губернский Предводитель, в середине, с раскрытым складнем в руках. В качестве ближайших моих ассистентов около меня встали Уездные Предводители двух старших уездов – Самарского и Ставропольского, остальные – рядом с ними.

Вскоре двери кабинета раскрылись, и к нам медленно стали подходить Государь и Государыня Александра Феодоровна с Наследником на руках. Когда Августейшие Особы остановились в нескольких шагах перед нашей депутацией, я, от лица самарского дворянства, поверг к стопам Их Величеств чувства верноподданнической преданности и поздравил с высокопраздничным днем рождения Наследника Цесаревича, носящего имя великого святителя Алексея, особо почитаемого самарским населением. В кратком слове я доложил Августейшей Семье историю возникновения у нашего дворянства мысли о поднесении иконы складня и закончил обращением к Венценосным Родителям Августейшего новорожденного с просьбой милостиво принять от самарского дворянства складень и разрешить нам благословить им Наследника Российского Императорского престола.

После моих слов, Их Величества подошли ко мне и, благоговейно перекрестясь, приложились ко всем трем иконам складня. Государыня спустила на пол Цесаревича и промолвила: «Благословите!» Встав на колени, я троекратно крестообразно провел складнем над кудрявой темной головкой Наследника, дал ему приложиться, и затем складень Государь принял на свои руки. Его Величеству благоугодно было высказать горячую и искреннюю благодарность самарскому дворянству, оказавшему в переживаемое тяжелое время своей Царской Семье необходимую молитвенную поддержку. Закончил Государь свое

обращение к нам следующими словами: «Передайте самарскому дворянству, что отныне сей священный для нас складень всегда и везде будет сопутствовать нашему сыну». После этих слов, Его Величество передал складень Государыне и подошел вновь к нам, каждому подавая руку на прощанье и со всеми милостиво беседуя. Описанное торжество прошло при исключительной обстановке взаимной искренности и задушевности; у некоторых из нас на глазах не раз появлялись слезы счастья и умиления.

Настала пора нам уходить. Мы столпились в прихожей, ожидая посадки в придворные экипажи, как вдруг меня вызывают обратно во дворец, в апартаменты Государыни.

Оказывается, ее Величество вспомнила мой доклад по поводу Аксаковской вотчины и пожелала лично меня расспросить о ходе заинтересовавшего ее дела.

Доложив Императрице о печальном результате моего ходатайства перед Министром Финансов в прошлый мой приезд в столицу, я сказал, что ввиду его отказа удовлетворить нашу просьбу о льготе при покупке Аксаковской усадьбы, самарскому дворянству непосильно подобное приобретение. Вероятнее всего, что, к глубокому нашему сожалению, не придется нам сохранить родовую усадьбу С. Т. Аксакова и устроить в ней для местного крестьянства ремесленное обучение.

При этих словах Государыня вся вспыхнула и энергичным голосом сказала: «Это так нельзя оставить! Поезжайте немедленно к Александру Сергеевичу Танееву! Все будет сделано. – Не беспокойтесь!» При этих словах она подошла к телефону, и вскоре послышался ее твердым голосом высказанный Танееву приказ: «Сейчас у Вас будет Наумов – Самарский Губернский Предводитель Дворянства. Сделайте все, как он вам передаст!»

После этого она с приветливой улыбкой протянула мне на прощанье руку, и прием мой окончился.

Покинув своих земляков, я тотчас же поспешил заехать к жившему невдалеке, в том же Петергофе, обер гофмейстеру А. С. Танееву, занявшему близкий к Их Величествам пост Главного управляющего собственной Его Величества Канцелярией, и одновременно состоявшему особо доверенным лицом по всем делам, касавшимся ведомств, находившихся под Августейшим покровительством Государыни Императрицы Александры Феодоровны – в том числе и по Трудовой Помощи.

Танеев слыл за умного, но хитрого и малообщительного царедворца, знатока и страстного любителя серьезной музыки. Встретил он меня более чем холодно, с первых же слов упрекнув меня, что я позволил себе беспокоить ее Величество, с ним не переговорив.

Дав раскрасневшемуся от жары и волнения сановнику слегка отойти, я постарался кратко изложить существо дела, отнеся, что личного в нем нет ничего, и что все сводится к спасению усадьбы автора «Семейной Хроники», и что для подобной исключительной цели, казалось бы, Крестьянскому Банку следовало пойти навстречу самарскому дворянству.

Танеев, видимо, заинтересовался нашим делом и из нетерпимого превратился в любезного, обещав все возможное сделать в интересах «благих и просветительных» заданий самарского дворянства.

Подношение складня и то, что Государыня милостиво вспомнила о майском моем ей докладе – имело совершенно неожиданный для меня и радостный для всего нашего дворянства результат. Министерство Финансов предоставило самар-

скому дворянству возможность приобрести стодесятинный усадебный участок бывшей Аксаковской вотчины на тех же льготных условиях.

Самарское дворянство сделалось собственником родовой старинной усадьбы, принадлежавшей Сергею Тимофеевичу Аксакову. Я немедленно предпринял шаги для возвращения в Аксаковскую усадьбу мебели, картин, книг и пр., которые за время моих хлопот местные крестьяне успели тем или другим способом получить из рук банковских прикащиков. Разыскали мы у псаломщика большой акварельный портрет Сергея Тимофеевича в старинной раме карельской березы, представлявший собою исключительную историческую ценность.

Первым уполномоченным от дворянства по управлению упомянутой вотчиной явился М. Д. Мордвинов, энергично принявшийся за исполнение возложенных на него обязанностей. Он нашел дельного прикащика с незаурядной практической смекалкой. Благодаря умелому хозяйственному распорядку, управление Аксаковской вотчиной велось экономно и даже прибыльно, благодаря мельнице.

Год спустя после покупки, вся усадьба, со всеми прилегавшими к ней угодьями, совершенно преобразилась. Обширный дом вновь имел жилой превосходный вид. Окружавший его парк был вычищен; прудки восстановлены; водяная мельница заработала полным ходом. Огороды и незначительные хлебные посевы были образцовые. Невдалеке от самой усадьбы, фасадом на церковную площадь, красовалось новое большое одноэтажное, но широко раскинутое, здание, под зеленой железной крышей, с целым рядом отдельных служб и построек. На фронтоне главного фасада значилось: «Учебно-ремесленная мастерская Попечительства о Трудовой Помощи имени С.Т.Аксакова». В этом прекрасно оборудованном здании было все нужное для

теоретического и практического обучения крестьянской молодежи ремеслам – главным образом, столярно кузнечно слесарному. В Аксаковскую ремесленную школу стекалась масса ребят. По окончании курса, они нарасхват приглашались в качестве машинистов, монтеров и пр.

Года два спустя после открытия мастерской изделия учеников были выставлены мною в Петербурге на Всероссийской кустарной выставке. Чистота и художественность этих работ привлекали общее внимание. Я не забуду, с каким интересом Императрица Александра Феодоровна остановилась около нашей скромной витринки и как была довольна принять от своего детища – Аксаковской ремесленной мастерской – подарок от учеников Наследнику: крошечный, великолепно сделанный стальной плужок, со всеми мельчайшими его принадлежностями.

Открытие восстановленной усадьбы «Аксаковской Самарского дворянства вотчины» собрало в Аксаковскую вотчину почти все губернское дворянство. Началось оно с церковной благолепной службы, с участием самарского епископа, в присутствии губернатора и многих высших губернских начальствующих лиц. На торжество сошлось со всей округи и местное население. В старинной сельской церкви не хватило для всех места. Вся обширная площадь была заполнена разряженным по-праздничному сельским людом. Здание ремесленной школы было разукрашено флагами и зелеными гирляндами. По окончании Царского молебна с многолетием, духовой оркестр пожарной команды заиграл гимн «Боже Царя храни». После него многотысячная толпа долго кричала ура.

Я, стоя на крыльце школы, обратился к присутствовавшим с краткой речью. Я рассказал возникновение Аксаковской вот-

чины и закончил свое обращение к высоким гостям, к дворянству и крестьянству так: «Пусть на этом историческом месте, где проживал великий бытописатель Земли Русской – Сергей Тимофеевич Аксаков, – сольются сердцем и умом коренные сословия нашей родины – дворянство и крестьянство, спаянные общей Христовой верой, преданностью Царю и любовью к родной матери земле!»

До конца торжества всеобщее одушевление и искренняя восторженность не покидали присутствовавших. На память об описанном мною дне был составлен превосходный альбом для поднесения Августейшей Попечительнице.

30-го июля самарские дворяне ежегодно съезжались под кров «Аксаковского» дома для взаимных встреч и деловых бесед.

Самарское дворянство было вправе гордиться своим детищем, тем, что ему удалось исполнить культурную задачу и в то же время принести практическую пользу краю и крестьянскому населению. Большевицкая стихия, вероятно, не пощадила Аксаковский культурный уголок и все смела в общую «коммунистическую» загаженную кучу... Прощай навек все прошлое творческое, светозарное... свободное!

90

К осени 1907 года мы всей семьей переехали в Самару, и на этот раз с нами была и моя мать, прожившая предшествовавшие две зимы в Казани, у вдовы Ольги Наумовой.

С тех пор, вплоть до 1916 года, семья наша с мая до сентября проживала в Головкине, а остальное время года в Самаре. С осени 1916 мы все переехали в Петербург, кроме моей одрях-

левшей и ослабевшей от болезни незабвенной мамы. Она осталась в Головкине. Я пробыл около нее до конца ее дней – до 11 января 1917 года.

Успокоенная и очищенная от террористических организаций, Самара встретила всю мою семью тепло и радушно. Кошмарная обстановка зимы 1905 -1906 года отошла в область преданий. Жизнь установилась привольная, широкая и красиво благоустроенная. Начались приемы и выезды; наладилось воспитание подраставших деток, попеременно с доставлением им здоровых развлечений и удовольствий. Почтенная мадам Дюбюрге оставалась незаменимой наставницей и блюстительницей детского царства, предоставляя возможность моей жене мало-помалу, по занимаемому ею положению губернской предводительши, входить в местные общественно просветительные и благотворительные организации. Отношение к нам самарского общества не оставляло желать лучшего.

С переездом в город, я весь отдался подготовке выборов в третью Государственную Думу, конечно, не забывая о текущих сословных делах. На очереди стояло два вопроса, требовавших срочного разрешения – открытие здания дворянского пансиона и приведение в порядок финансового положения самарского дворянства.

Неоднократно бывая в столице, я успел все подготовить в Министерстве Народного Просвещения, чтобы вместо узко сословного и дорого стоящего дворянству пансиона приюта, открыть в губернском центре общесословную гимназию. В ней, на средства, уже предоставленные мне из Министерства Внутренних Дел, учреждались 60 стипендий для неимущих дворян. Министерство установило штаты и необходимые сметы.

Здание было передано мною городу, и с 1908 года вторая гимназия, впоследствии, в дни Романовского юбилея 1913-го

года, переименованная в Романовскую, была торжественно открыта, и стала отлично функционировать, при большом наплыве учеников и под руководством умело выбранного учительского персонала, с директором Розовым во главе. До конца существования Российской Империи я состоял почетным попечителем этого среднеучебного заведения, содействовал оборудованию библиотеки и учебно показательных кабинетов.

Что касается до улучшения финансового положения самарского дворянства, то я обратил внимание на невероятно возросшую еще до меня недоимочную задолженность дворян сословной кассе. К своему удивлению, я заметил, что главная масса недоимок числилась не за мелкопоместными бедными дворянами, а за многоземельными экономиями, принадлежавшими известным по своему богатству и положению лицам, обычно проживавшим вне пределов Самарской губернии – в столице или за границей. Вспоминаются мне гр. Орловы-Давыдовы, кн. Оболенские-Неледицкие-Мелецкие, Рооп, кн. Голицыны и др., никогда почти в свои обширные имения не заглядывавшие и передавшие все хозяйские полномочия своим управляющим, которые, пользуясь безграничным доверием «патронов» и их столичными связями, определенно игнорировали какие-либо обязательства в отношении местных общественных учреждений. Окладные листы по дворянскому имущественному обложению составлялись этими господами без всякого внимания. Проверая книги, я находил задолженность по некоторым экономиям, доходившую до 25.000 рублей. Напоминания дворянской канцелярии не достигали своей цели. Принудительные меры взыскания почему-то никогда не применялись.

Не лучше обстояло и с теми многоземельными дворянами, которые хотя и проживали в своей губернии, но по тем или другим причинам, больше по природной российской «халатности», также не расплачивались аккуратно со своей сословной кассой.

Финансовое положение было настолько печальное, что временами не хватало на оплату служащим. Я решил, прежде чем говорить о повышении имущественного сословного налога, приступить к радикальным мерам взыскания недоимок и по-нуждения сословных плательщиков к исправному внесению денежных повинностей.

Осенью того же 1907 года, я предложил экстренному дворянскому собранию нижеследующий план упорядочения недоимочного вопроса: возложить на собрание предводителей и депутатов обязанность детального просмотра недоимочных списков, с обозначением против каждого недоимщика его платежеспособности. После этого, каждый дворянин Самарской губернии, признанный платежеспособным, извещался особым письмом о причитавшейся с него недоимке, и приглашался внести ее к указанному в письме сроку. В случае неуплаты, эта сумма будет взыскана с него принудительным порядком.

Дворянское собрание единодушно согласилось с моим докладом. Я приступил к его осуществлению на практике. Списки были тщательно просмотрены, произведены соответствующие отметки; письма, за моей подписью, разосланы по губернии. Дворянам, которые обычно проживали за пределами губернии, выслали дубликаты по месту их жительства. Эффект получился полный. В короткий срок недоимка была погашена на две трети. Принудительный же порядок взыскания пришлось применить лишь в богатейшем имении Роопа, где управляющий счел мое послание за ничего не значившую «бумажку». Но когда явилась полиция, стали описывать имущество и накладывать печати,

вся сумма – 25 тысяч рублей – была тотчас же внесена полностью.

Ко всему этому, мною было заведено правило, что каждый дворянин, вступавший в состав собрания г.г. предводителей и депутатов, тотчас же по своем избрании, погашал до копейки свои недоимки.

Положение нашей дворянской кассы сразу же стало не только благополучным, но и определенно блестящим, о чем слух распространился далеко за пределы Самарской губернии.

91

Видоизмененное указом 3 июня Положение о выборах несомненно имело в Самарской губернии решающее влияние. Вместо прежнего общего числа выборщиков в 181 человек, по новому расписанию полагалось на нашу губернию всего лишь 131; сокращение на 50 человек произведено было за счет крестьянской курии. В силу этого, землевладельческое ядро, которое по-прежнему являлось цельной, согласованной и компактной группой, перед выборами в 3-ю Думу состояло из тех же 76 человек – партийных единомышленников. При новом положении вещей и при общем количестве выборщиков в 131 человек, эти 75 человек, конечно, доминировали. Исход выборов самарских депутатов целиком зависел от означенного ядра, печатным органом которого оставался все тот же наш «Голос Самары».

Благодаря всему этому, предвыборная наша деятельность очень облегчалась, и газета имела лишь целью поддерживать прежнее наше партийное объединение.

Сам я, как и ранее, отказался идти в выборщики, а значит и от кандидатуры в Государственную Думу. Это придавало мне,

как председателю Губернского Избирательного Собрания, еще большую независимость.

Выборы прошли спокойно и быстро, благодаря ранее составленному списку и сплоченности нашей бывлой партии порядка, уже начинавшей именоваться «октябристской».

Лучше всех прошел в члены Государственной Думы бывший председатель Самарской Губернской Земской Управы – Сергей Осипович Лавров. К сожалению, переехав в Петербург, он захворал и вскоре скончался.

Вместе с ним был избран Владимир Николаевич Львов.

Одновременно с ними был избран инспектор Народных Училищ по Самарскому уезду Иван Семенович Ключев. Он приобрел себе в законодательной палате довольно популярное имя своими выступлениями по вопросам народного образования.

Самой красочной и видной фигурой из самарцев, избранных в 3-ю Государственную Думу, оказался Михаил Дмитриевич Челышев. Сын самарского маляра, Михаил Дмитриевич продолжил дело своего отца и значительно его расширил, превратился в состоятельного домовладельца и коммерсанта, но называл себя крестьянином и званием этим очень гордился. Огромного роста, широкоплечий, прекрасно сложенный, с красивой, чисто русской внешностью, Челышев носил длиннополую, хорошо сшитую поддевку и высокие сапоги, и невольно обращал на себя всеобщее внимание своим мощным молодцеватым обликом и громким обрывистым говором.

Сильный физически, Михаил Дмитриевич обладал недюжинной энергией и большим честолюбием. Говорил он быстро, порывисто, громко, с большим всегда подъемом и временами – красиво. Коньком всех его публичных выступлений являлась беспощадная борьба с народным пьянством.

В пару к Чельшеву по росту и дородству был другой самарский избранник – бугульминский крупный землевладелец, врач – Николай Васильевич Жданов, тоже ходивший неизменно в русском костюме и претендовавший на облик национального демократического героя.

В Таврическом Дворце Николай Васильевич тонул в депутатской массе, оставался незаметным, изредка и безцветно выступая с думской трибуны и работая в некоторых незначительных комиссиях.

Дельными членами Государственной Думы оказались новоузенский врач, симпатичный и толковый Александр Иванович Новиков, а также бузулучанин – хмурый, но сердечный и дельный Александр Иванович Ковзан, бывший одно время уездным предводителем дворянства. Остальные избранники Самарской губернии – Степан Герасимович Киселев, Алексей Никитич Попов, Николай Иванович Роттермель – ничем себя не проявили, но были все людьми достойными всяческого уважения.

Проводив наших избранников в столицу, ко дню открытия Третьей Государственной Думы (1-го ноября 1907 г.), я в течение зимнего сезона 1907-1908 г.г. был приобщен к участию в интереснейших работах, по обсуждению целого ряда государственных реформ исключительной важности.

Дело в том, что П.А.Столыпин, задавшись целью внести эти реформы в 3-ю Государственную Думу, имел в виду предварительно их всесторонне обсудить в более спокойной и вместе с тем, авторитетной, коллегиальной обстановке, для чего он создал особое т.н. «преддумье», официально именовавшееся «Советом по делам местного хозяйства», состоявшим при Министерстве Внутренних Дел.

Сначала этот Совет состоял исключительно из назначенных самим Министром лиц. Впоследствии в его состав вошли лица, избранные Губернскими земскими собраниями, но кроме того пополнялся он и по назначению самого Министра. Мое участие в Совете состоялось по вызову меня Столыпиным, а впоследствии я был избираем Губернским земским собранием.

Со смертью Столыпина, деятельность этого Совета совершенно заглохла. При нем же она протекала чрезвычайно живо и интересно, наряду даже с законодательными палатами, привлекая к себе всеобщее внимание.

Столыпин председательствовал в исключительных случаях. Обычно его заменяли Крыжановский или Лыкошин. Делами Совета заведывал милейший Михаил Владимирович Иславин, впоследствии занявший пост Новгородского Губернатора.

Надо отдать справедливость Столыпину, что мысль его об учреждении «преддумья» была разумной и несомненно полезной для ведомственных составителей законопроектов. Заготовлявшийся в министерских канцеляриях материал обсуждался всесторонне и вдумчиво на многолюдных собраниях Совета по делам местного хозяйства, куда приглашался цвет провинции служилой и выборной. Наряду с Губернаторами, в заседаниях участвовали Губернские Предводители Дворянства, Председатели Земских Управ, особо избранные представители Земских Собраний, непреременные члены Губернских Присутствий, Городские Головы и т. п. Помимо них на советских заседаниях постоянно присутствовали представители ведомств, авторы и докладчики проектов, вроде небезызвестного Гурлянда, Литвинова, Анциферова и других.

Открытие каждой сессии, обычно продолжавшейся 2-3 недели, обставлялось довольно торжественно. Столыпин сам произносил обстоятельную программную речь. Затем занятия шли

в порядке комиссионных заседаний вперемежку с общими Собораниями; происходившими обычно под умелым руководством смышленного Крыжановского и реже под невероятно слабым председательством великого путаника блаженнодушного Лыкошина.

В первую же сессию на обсуждение Совета был представлен чрезвычайно обильный матерьял; он затрагивал весь местный административный уклад. С лихорадочной поспешностью в Совет вносились многочисленные законопроекты один другого значительнее и серьезнее. Сначала предложена была нашему рассмотрению реформа волостного и поселкового управления в связи с наболевшим вопросом о мелкой земской единице. Не успели мы в нем хорошенько разобраться, как на обсуждение Совета поступили обширные ведомственные докладные записки по переустройству губернского и уездного административного положения, затрагивавшего такие капитальные вопросы, как коренное изменение предводительского института. Вслед за этим также поспешно на рассмотрение Совета поступили обширные законопроекты по реформе всего земского и городского положения.

Лично на меня вся эта спешка и необычайное обилие намеченных Столыпинским правительством коренных реформ производили впечатление чего-то хаотического, ненормального. Бросалось в глаза отсутствие обдуманного, систематизированного плана реформирования старого порядка. Например, предлагалось сначала самостоятельно решить задачу реорганизации волости, а года через два нам предлагают вновь пересмотреть волостной вопрос в связи уже с общей реформой Земского Положения. Для меня вся эта куча законопроектов с модными лозунгами и наименованиями представлялась в таком виде: за время революционного лихолетья 1905-1907 г.г. страна наша

серьезно и опасно заболела. Ради спасения государственного организма консилиум врачей придумывал ряд целительных снадобий. Приняв из рук Дурново простое кровеочистительное средство, Россия ожила и стала поправляться. Все, что во время ее острой хвори было ей прописано, при Столыпине стали ей, бедной, совать насильно в рот, когда надо было особенно бережно и осторожно относиться к выздоравливавшему организму.

Была допущена еще одна серьезная ошибка при сочинительстве всех этих широких и бессистемных заданий. В основу законопроектов клали предположение, что, благодаря начатым землеустроительным работам, появилась крепкая, мелкая, крестьянская собственность. Это было сплошное недомыслие, основанное на ведомственных столичных догадках, а не на действительности. Я неоднократно высказывал самому Столыпину, что ни в коем случае нельзя считать всех этих мелких, новоиспеченных на бумаге, индивидуалистов за сознательных хозяев собственников. Их много значилось по официальной статистике, но качественно огромное большинство их продолжало пребывать в состоянии закоренелых общинников.

Показательным примером служили мои новые соседи, – мелкие хуторяне, расселившиеся на отведенной в их собственность бывшей казенной земле, граничившей с моим «Подступным полем». Неоднократно, проезжая верхом по своим посевам, я видел, как на них паслись коровы новых хуторян. На мои упреки и просьбы не пускать скот на мои угодья, эти новоиспеченные собственники отвечали характерными словами: «Не замай, Александр Николаевич! Пусть скотина наша по твоим озимям попасется! Много ли тебе от сего убудет! Слава Те, Господи, – добра у тебя всякого много, да и полей не мало!»

При этих условиях говорить о «спелых» мелких собственниках было рано. Между тем, сфабрикованные в министерских канцеляриях проекты серьезнейших реформ, в особенности по реорганизации волостного и поселкового управления, исходили из предположения, что наша «Матушка Россия» за какие-нибудь два года успела преобразиться из общинной в страну сознательных собственников с кадром «крепких» и «сильных» хозяев, на которых столь охотно стремился опереться Столыпин.

Проекты отличались еще существенным недостатком: в них недоставало той необходимой гибкости, которая требовалась для огромной и сложной Империи. Для такой страны следовало бы вырабатывать определенную общую схему реформы, но с возможностью изменений в зависимости от применения в той или другой местности разнохарактерного государства. В этом отношении законодательная работа шестидесятых годов прошлого столетия по урегулированию правового строя, освобожденного от крепостной зависимости крестьянского сословия, выгодно отличалась от спешного Столыпинского творчества.

В самом начале нам было предложено высказаться по существу вопросов, внесенных на наше рассмотрение, в первую голову о реформе волостного и поселкового управления. Мнения членов Совета резко разделились на два лагеря: одни горячо приветствовали предложенные реформы; другие же высказывались за большую осторожность, приводя соображения, сходные с моими. К числу первых принадлежали Губернаторы и прочие ведомственные чины, к противоположной группе – представители земской и сословной общественности. Само собой, я не делаю резкого различия между теми и другими. Среди губернаторов, как и среди общественных деятелей, были лица, свободно примыкавшие по своим убеждениям к той или иной

группе. Такие Губернаторы, как Саратовский – гр. Сергей Сергеевич Татищев, Тверской – Н.Г. фон Бюнтинг или Московский – Владимир Федорович Джунковский – держали себя совершенно независимо и позволяли себе высказываться часто вразрез с правительственными предложениями.

Сам Столыпин чрезвычайно ревниво относился к своим предположениям и докладам, принимая каждое принципиальное возражение как бы за личную себе обиду. Не забуду его слов, сказанных мне на Общем Собрании, после выраженного мною пожелания о необходимости, прежде чем детально рассматривать реформу волостного и поселкового управления, наметить схему всех имевшихся у Правительства в виду реформ по реорганизации местного административного уклада. Моему предположению общего характера о важности установления планомерности предстоявших занятий, Столыпин придал совершенно иное значение, усмотрев в нем как бы нежелание принять его волостную реформу... «Вы хотите, в новом, столь важном деле, сразу же рогатки ставить!...» – сказал он. Но я оказался прав, – тогда, когда приступили к обсуждению других реформ, в частности, земской, пришлось работу по волостному и поселковому управлению вновь всю пересматривать.

Нетерпимость Столыпина к инакомыслящим с особенной силой проявилась в последующие сессии 1908-1909 г.г. при рассмотрении губернской, главным же образом – уездной административной реорганизации, затрагивавшей основу и сущность Предводительского института.

Темпераментный и властный, Петр Аркадьевич, ранее сам служивший в Гродне предводителем по назначению, соблазнился законодательной схемой, предложенной ему ловким и умным Гурляндом и клонившейся к установлению в имперском

административном строе полнейшей централизации и неограниченной над всеми ведомственными подчиненными единоличной власти Министра.

В угоду этой идее в означенном законопроекте умалялся губернаторский престиж, главным же образом в корне менялся характер службы Уездных Предводителей Дворянства, отправлявших председательские обязанности в целом ряде уездных учреждений. Делали они это не ради материальной заинтересованности (их служба казной не оплачивалась), а из сознания долга перед родиной и ответственности перед законом. Самостоятельные в обстановке местной провинциальной своей службы, Предводители отвечали за свою деятельность только перед Правительствующим Сенатом.

Узаконенная еще Великой Екатериной относительная независимость Предводительского института, представляла собою в общем административном строе государства как бы общественный прослой. Институт предводителей до известной степени гарантировал уездное население от возможных самоуправных эксцессов со стороны губернского начальства. Само собой разумеется, что он для последнего являлся как бы «бельмом на глазу». Неоднократно в чиновном Петербурге подымался вопрос об искоренении подобного административно-бытового «пережитка».

В таком духе была составлена докладная записка Гурляндом, очевидно, мало заинтересованным в сохранении для России ее здорового прошлого. В доказательство необходимости насаждения в уездах настоящих чиновных начальников, которые всецело зависели бы от Губернаторов, в означенной записке приводился подсчет количества дней, когда Предводители манкировали своими служебными обязанностями. На вопрос одного из членов Совета – откуда явилась у докладчика

(Гурлянда) подобная статистика, Гурлянд, не смущаясь, сослался на донесения с мест исправников.

Заключительное предложение министерского проекта сводилось к тому, чтобы должность Уездных Предводителей сохранить, но присоединить к их сословной службе еще обязанности Начальников Уездов, установить им соответствующее казенное жалованье, подчинить их всецело Губернатору, а, в конечном итоге, – единоличной власти Министра Внутренних Дел.

По поводу заслушанного доклада возникли длительные и страстные прения. Вся наша предводительская корпорация, в состав которой входили такие лица, как А.Д.Самарин, кн. Н.Б.Щербатов, кн. П.П.Голицын, кн. И.А.Куракин, С.Е.Бразоль и др., горячо протестовала против намерения Столыпина «купить» институт предводителей, и тем самым превратить его в послушный бюрократический механизм. Все мы указывали на исторические заслуги предводительского персонала перед родиной, которой они служили «не за страх, а за совесть»... Мы доказывали, что население, в случае нужды, обращалось к нам с доверием.

В прениях по уездной реформе вся губернаторская группа, за исключением графа Татищева и Джунковского, горячо поддерживала правительственный законопроект. К нашей предводительской позиции, или скорее оппозиции, примкнуло большинство представителей общественности.

Пришлось и мне встать на защиту любимого мною института предводителей, в жизненность и полезность которого я твердо верил. Я так волновался, что выступления мои вылились в сплошной ожесточенный протест против покушения Столыпина на целостность этой исторической и важной дворянской организации. Почти дословно вспоминаются мне мои горячие слова: «Вы, Петр Аркадьевич, бросили вызов Предводителям.

Мы поднимаем брошенную Вами перчатку и просим выступить на честный бой с открытым забралом! Мы требуем произвести оценку нашей предводительской деятельности не по секретным доносам исправников, избличающих предводительский абсентеизм, а путем установления сенаторской ревизии». В пространной речи я обрисовал желательную постановку подобной ревизии, которая явилась бы на местах лучшей гарантией для успешной работы губернской администрации и предводительского персонала.

Я указал, что одним из основных условий правильности функционирования административного аппарата является установление над ним контроля, который мог бы гарантировать осуществление правового порядка, и справедливую оценку отправления служебным персоналом своих обязанностей.

Контроль следовало бы возложить на особый «Инспекторский» отдел Правительствующего Сената, восстановив, таким образом, до известной степени, бывшее значение Петровского детища.

Вместо того, чтобы быть событиями чрезвычайными, ревизии превратились бы в постоянный орган правительственного управления.

Предложенный мною проект нашел горячую поддержку среди моих коллег по сословной и общественно земской работе. Впоследствии он мною был детально разработан и доложен Государю в бытность мою министром. Его Величество горячо одобрил мои предположения по реорганизации государственного контроля, но о проведении в жизнь подобной меры можно было думать лишь по окончании войны...

После длительных дебатов, затянувшихся на добрую неделю, наступил, наконец, решительный день баллотировки

правительственного законопроекта об уездной реффме. Среди высших ведомственных чинов происходило волнение. У них не было уверенности в успехе. По распоряжению Столыпина были приняты чрезвычайные меры, немало нас, Предводителей, возмущившие: по телефону вызывались департаментские чины для участия в предстоявшем голосовании... Но, несмотря на все это, законопроект, исходивший из Столыпинского ведомства, на баллотировке провалился. Предводители уцелели!

Не забуду проявленную тогда Председателем крайнюю несдержанность. Раздосадованный и гневный, Петр Аркадьевич поспешил покинуть залу заседаний, ни с кем не простившись и сделав угрожающий жест по нашему адресу....

Итак, после многодневных прений и волнующих переживаний, удалось, несмотря на все усилия наших врагов, отстоять жизненность и достоинство предводительского института. Довольные одержанной победой, мы, губернские предводители, решили в тот же вечер вместе пообедать и обсудить дальнейшую позицию и линию поведения в связи с проявленным парламентарным упорством самого Столыпина. Его авторское самлюбие, видимо, было очень задето.

За обедом мы решили продолжать начатое дело отстаивания предводительского института и наметили А.Д.Самарина и меня в качестве своих уполномоченных. Нам поручено было еще раз лично обратиться к министру с убедительной просьбой отказаться от поддержки законопроекта об уездной реформе в Гурляндовской редакции. Мы с Самариным относились к возлагаемой на нас миссии довольно скептически, учитывая нрав и окружение Столыпина, о чем и предупреждали своих коллег. Но последние настаивали на необходимости принятия всех доступных нашему сословию мер для своевременного и настойчивого дальнейшего воздействия на главу правительства.

Наши предчувствия оправдались: Столыпин принял Самарина и меня более чем холодно. Не дав нам даже закончить, он, сильно ударив своей здоровой рукой по столу, вне себя от охватившего его гнева, возбужденным голосом выкрикнул: «Все ваши доводы для меня неубедительны, и вся удачно сложившаяся для вас баллотировка для меня необязательна! Я сделаю так, как мне это нужно... Больше вам скажу: или я и моя реформа, или я все брошу, и оставайтесь вы все с вашими мнениями!...» Мы оба замолчали...

Обидно и досадно было видеть большого государственного деятеля, охваченного мелочным самолюбием, безудержно поддавшегося минутной горячности, и высказывавшего по сравнительно незначительному поводу необдуманные угрозы, даже вплоть до отставки. Видя его волнение, мы решили откланяться и уйти.

Я должен оговориться, что подобный случай резкого расхождения в мнениях был за все время существования столыпинского «преддумья» единственный. В общем, работа в Совете по делам местного хозяйства протекала в обстановке сравнительно мирного сотрудничества и взаимной приветливости. Даже традиционно враждебные группы, – с одной стороны губернаторы, с другой губернские предводители, – и те в стенах «преддумья» были в наилучших отношениях.

Столыпин для съезжавшихся членов Совета по делам местного хозяйства устраивал оживленные рауты и обеды, на что мы отвечали тем же.

С печально роковым уходом незабвенного Петра Аркадьевича в вечный мир, все потуги его преемников продолжать начатое им дело ни к чему не привели. Мало-помалу, деятельность Совета стала ослабевать и скоро совершенно замерла.

Заступивший место Министра Внутренних Дел, Николай Алексеевич Маклаков, все дело нашего «преддумского» объединения свел на нет, чему не мало способствовало то, что милейший Иславин был смещен и заменен неким Скаржинским. Маклаков извлек его из недр черниговской губернской бюрократии. Скаржинский был полнейшей противоположностью приветливому и благовоспитанному Михаилу Владимировичу.

Новый управляющий делами Совета встретил нас пренебрежительно, свысока, еле подавая нам костлявую холодную руку. Этот, проявленный черниговским выскочкой, провинциальный снобизм произвел на нас столь отталкивающее впечатление, что все мы, губернские предводители, да и многие остальные наши сочлены, решили с Маклаковским ставленником оборвать всякие отношения. Но вскоре нам уже не к чему стало встречаться с этим неприятным типом, так как Совет отошел в область предания.

Прошло с тех пор немало времени. Разразилась революция, все вверх дном поставившая. Разбушевавшаяся стихия кого смела, кого по сторонам разметала, а кого вынесла со своего мутного дна на самую поверхность. Среди последних очутился и Скаржинский, ныне состоящий одним из главных деятелей т.н. Высшего Монархического Совета.

92

К концу 1907 года, когда стала функционировать третья Государственная Дума, мне, благодаря непрерывному участию моему в разных совещаниях и съездах, приходилось часто наезжать в столицу. Я всегда бывал рад приходу ко мне в Европейскую гостиницу моих земляков – самарских депутатов.

Впоследствии, особенно после избрания меня в Государственный Совет, установился у самарцев даже обычай периодически собираться у меня в номере для обсуждения вопросов, касавшихся нашего Самарского края и требовавших разрешения в законодательном порядке. Подобные собрания именовались у нас «земляческими» и происходили под моим председательством за время существования третьей Думы.

После одного из заседаний Общедворянского Съезда, еще в декабре 1907 года, мы возвращались по домам вместе с шурином Петра Аркадьевича, членом Государственного Совета по выборам, Алексеем Борисовичем Нейдгардтом. Это был человек неглупый, обстоятельный и рассудительный. Столыпин считался с его мнением, а временами целиком находился под его влиянием. В Государственном Совете Нейдгардт занял самостоятельную и, благодаря близости к всемогущему тогда премьеру, видную позицию, образовав свою партию «правого центра», которую многие называли просто «Нейдгардтской», а некоторые, более смелые на язык, – «партией шурина».

Подъезжая к Европейской гостинице, Алексей Борисович своим ровным, несколько меланхоличным голосом мне вдруг сообщает, что он на днях случайно, на столе у Столыпина, видел мою фамилию в числе лиц, награждаемых к Новому Году придворным чином... «Поздравляю Вас со скорым гофмейстерством... Вы рады?» Для меня подобная весть явилась совершенной неожиданностью. Я всего лишь год носил свой камергерский мундир, и думать о дальнейшем повышении мне в голову не приходило. Разговорившись на эту тему, я, пользуясь нашими дружескими отношениями, высказал Нейдгардту сожаление, что Петр Аркадьевич меня не представляет в егермейстеры. Это звание больше подходило бы ко мне, как страстному

охотнику, чем гофмейстерство. Нейдгардт, улыбнувшись, промолвил: «Почем, знать, – на свете все бывает: возможно, что и егермейстерские шпоры от вас не уйдут!»

Случайный этот разговор я припомнил, когда, накануне Нового 1908 года, я получил в Самаре официальное поздравительное сообщение от Петра Аркадьевича Столыпина об особой Высочайшей милости – пожаловании меня в должность Егермейстера Двора Его Императорского Величества. Само собой, подобное высокое награждение меня глубоко порадовало, но и смутило. За истекший год я неоднократно хлопотал о пожаловании придворными наградами моих ближайших сослуживцев – графа А.Н.Толстого и М.Д.Мордвинова. Мои ходатайства оставались еще безрезультатны, а сам я неожиданно получил внеочередное придворное повышение. Мне стало легче, когда оба эти лица, в том же 1908 году, 6-го декабря, получили граф Толстой камер-юнкерство, а Мордвинов, к его великой радости, давно желанный камергерский ключ.

Я не случайно сказал Нейдгардту, что желал бы, вместо гофмейстерства, иметь егермейстерский чин. Он соответствовал традициям служилого наумовского рода, представители которого в большинстве случаев значились по документам «сокольничими». Недаром наумовский герб носил охотничьи эмблемы: оленя и три стрелы. Что же касается меня самого, то Цареве пожалование меня в егермейстеры соответственно освящало и как бы узаконило мою врожденную страсть к вольной природе и лихой охоте...

Помню свое первое представление Государю в новой элегантной егермейстерской форме. Выслушав с приветливой улыбкой мою горячую благодарность за высокую милость, Его Величество, отойдя от меня шага на два назад, осмотрел меня с

ног до головы и промолвил: «Красивая форма! Я рад, что Вы ее надели!»...

Трудно себе представить, какое горделивое счастье доставило мне право именоваться вторым чином Двора и носить действительно нарядное полувоенного образца егермейстерское одеяние с лосинами, ботфортами, шпорами и пр. Ведь мне было всего лишь 39 лет!

93

Чем ближе время подходило к лету 1908 года, тем усиленнее приходилось мне подготавливаться к июньскому очередному дворянскому Губернскому Собранию. Мною был составлен обширный доклад, обнимавший собою деятельность сословных учреждений за истекшее трехлетие моего предводительства с 1905 г. по 1908 г., в течение которого удалось провести в жизнь немало различных мероприятий, касавшихся «польз и нужд» не только одного дворянского сословия, но и всего местного населения.

Дворянское Собрание прошло единодушно, и моя работа получила всеобщее одобрение. Переизбрание меня Губернским Предводителем на новое трехлетие доставило мне глубокое нравственное удовлетворение. «Черных» шаров было всего только два. После выборов дворяне поднесли мне адрес и поставили отпечатать за общественный счет мой отчетный доклад. Мне был устроен обед, носивший задушевный характер и объединивший наших дворян в одну сплоченную дружную семью. Их доверие и сочувствие создавало для меня обстановку исключительно благоприятную для продолжения дальнейшей моей выборной работы.

Сдав благополучно свой предводительский экзамен, остальную часть лета и начало осени я целиком посвятил головкинскому хозяйству, где, несмотря на мои частые и длительные вынужденные отлучки, все шло полным нормальным ходом, благодаря моим сотрудникам Кошкину и Божмину.

Мои поездки в Петербург продолжались. В одну из таких поездок я имел случай беседовать по поводу самарских землеустроительных работ с Главноуправляющим Земледелия и Землеустройства, Александром Васильевичем Кривошеиным. Он горячо интересовался всем ходом подведомственных ему дел в Империи. Не без горделивого торжества «Самарца» я сообщил ему, что у нас в области землеустройства открыта своего рода «Америка» В Самарской губернии удачно разрешили т.н. внутринадельную земельную разверстку в селении, где ранее существовало общинное землепользование.

Я очень интересовался землеустроительным делом, и у себя в Самаре старался не пропускать ни одного заседания Губернской Землеустроительной Комиссии, деятельность которой представляла собою на мой взгляд исключительно серьезное значение не только для крестьянского хозяйства, но и для политического настроения всего сельского населения.

Губернские Комиссии являлись высшими кассационными инстанциями по обжалованию постановлений Уездных Землеустроительных Коллегий. Для деревни, для крестьянского обихода то или другое устройство земли являлось самым насущным делом. Чем обстоятельнее и справедливее протекали занятия в землеустроительных комиссиях, тем вернее обеспечивался мир и деловой порядок в деревне. Землеустроительная работа, производившееся в означенных комиссиях, была основным регулятором настроения деревенских масс.

Подбор неперменных членов Уездных и Губернской Землеустроительных Комиссий по Самарской губернии являлся безусловно удачным. Губернским членом состоял П.Ф.Дурасов, землевладелец Бугурусланского уезда, человек редкой работоспособности и исключительного знания крестьянского земельного уклада.

На одном из заседаний Землеустроительной Губернской Комиссии Дурасовым было доложено дело необычайно меня заинтересовавшее. Впервые пришлось встретить на практике удачное разрешение вопроса, до сих пор представлявшего для землеустроителей непреодолимые затруднения. Найден был способ произвести внутреннюю разверстку общинной земли, причем так искусно, что население приняло ее с чувством единодушного удовлетворения.

Разверстка эта была совершена в многолюдном селении «Питерка» Новоузенского уезда в следующем порядке: вся общинная надельная земля была сельским сходом расценена и распределена по качеству на пять категорий или «разрядов». На том же сходе выбрали комиссию из пяти членов питерского сельского общества, которой было поручено, при содействии землемера, разбить надельную землю на «столбы», с нарезкой в каждом из них особых земельных участков, пространственно различных, в зависимости от качества почвы. Была составлена подробная карта нарезок. Населению Питерки было предложено вынимать жребий, согласно которому он получал тот или другой земельный участок в личную собственность. Величина этого участка зависела от качества почвы. Если по жребию выпадал участок плохой земли, расцененной по последнему, пятому разряду, то он включал в себя количество земли в пять раз большее, чем участок первой категории, с наилучшими почвенными качествами.

Землеустройство на землях казенных, удельных и помещичьих проходило в условиях сравнительно легких, землемерам, как и чертежникам, предоставлялся простор для разверстки свободных земельных массивов под обособленные собственнические участки.

Совершенно иное являла собою работа по перераспределению крестьянской общинной земли, в духе «Столыпинской» реформы. До удачного «Питерского» разрешения, наша землеустроительная практика никак не могла с подобной работой справиться. Доклад о землеустроительной разверстке в с. Питерке произвел на меня столь сильное впечатление, что, при свидании с Кривошеиным, я не мог не поделиться с ним отрадным «Питерским» результатом.

Александр Васильевич Кривошеин в молодости начал со скромного заработка домашнего репетитора в московском доме Морозовской семьи, а потом быстро прошел служебный стаж, вплоть до министерского поста. Александр Васильевич являл собою тип энергичного, настойчивого и умно сметливого дельца. Он был в действительности «кузнецом» своего житейски-служебного счастья. Он обладал способностью быстро разбираться в окружавшей его обстановке, извлекать из нее все наиболее для себя полезное и подбирать себе талантливых, дельных сотрудников. Последнее качество является одним из основных условий успеха для всякого ответственного государственного деятеля.

Кривошеин с неослабным интересом выслушал мое сообщение о питерской внутринадельной разверстке, назвал ее «открытием Америки» и, прощаясь со мною, просил меня столь же обстоятельно доложить об этом Государю. «Его Величеству, – добавил он, – все это необходимо знать. Считаю, что вы лучше

меня ознакомите Его со всеми подробностями исключительного по интересу и значению дела». Кривошеин взялся сам устроить мне Высочайший прием, и дня через два я удостоился счастья быть принятым Государем в его царскосельском кабинете.

Его Величеству благоугодно было с большим вниманием выслушать мой доклад. По Его желанию я на блокноте Его письменного стола графически изобразил всю схему произведенной общинной разверстки.

Вскоре после этого, в особом руководстве, выпущенном Ведомством Земледелия и Землеустройства, было помещено, в виде образца внутринадельных землеустроительных работ, подробное описание всего дела Питерской разверстки, с приложением ее плана.

Часть VIII

1909 год. Избрание меня Самарским Земством в члены Государственного Совета. Вступление в правую группу. Партийное подразделение членов Государственного Совета. Экономическая группа. Порядок занятий Государственного Совета. Роль комиссии. Мои доклады о зернохранилищах кредитных товариществах. Комиссии: земельная и судебная. Мариинский дворец. Зала заседаний. Мои соседи. Президиум. Общие собрания. Характеристика некоторых членов Государственного Совета. Перемена в отношениях ко мне Столыпина. Чествование 30 апреля 1909 года самарским дворянством памяти Сергея Тимофеевича Аксакова. Кончина брата Николая. Бердянск. Западное земство. Провал законопроекта. Поведение Столыпина. Его «кондиции». Поездка в Крым. Покупка «Гурзувитты». Настроения законодательных сфер. Всероссийский национальный клуб. Князь Александр Дмитриевич Оболенский. Императорское музыкальное общество. Принцесса Елена Георгиевна Саксен-Альтенбургская. Приезд Столыпина и Кривошеина в Самару для осмотра землеустроительных работ. Вице-губернатор С.П.Белецкий. Губернатор В.Н.Протасьев. Вице-губернатор фон Витте. 1911 год. Очередное дворянское собрание. Мои перевыборы. В.М.Шошин. Новые уездные предводители. Раут дворянства в честь воинских чинов самарского гарнизона. Генерал Гернгросс. Очередное земское собрание. Рождение сына Николая. Доброе отношение самарского общества. Благотворительность. Л.С.Аржанов. Милостивый прием у Государя. Выздоровевший Наследник. Самарские ходатайства. Взаимоотношения Столыпина и Коковцова. Постройка Головкинской

мельницы. Болезнь Пашеньки. 1912 год. Новый состав губернской земской управы. Мое переизбрание в члены Государственного Совета. Правый центр. Барон В.В.Меллер-Закомельский. Взаимоотношения между двумя законодательными палатами. Тревожные настроения столичных кругов. Беседа с М.Г.Акимовым. Поездка членов Государственного Совета в Кронштадт. Я.А.Ушаков. Завершение мельничной постройки. Обсуждение дворянскими организациями способов юбилейных чествований. Открытие в Москве памятника Александру III. Раут в Дворянском институте. Бородинский юбилей. Банкет в московском Английском клубе. Поднесение государю дворянского стяга. Выборы в Четвертую Государственную Думу. Пагубная политика Харузина и Саблера. Раскол среди самарцев. Неблагоприятный процесс выборов. Смешанный блок. Освящение и открытие Головкинской мельницы. 1913 год. Празднование Трехсотлетия Дома Романовых. Петербургские торжества. Московские юбилейные дни. Расцвет моих хозяйственных дел. Успех мукомольного производства. Думы о предводительстве. Кн. А.А.Щербатов. 1914 год. Земский юбилей. Петербургские торжества. Очередное дворянское собрание. Мои перевыборы. Намерение переселиться в Петербург. Дом фон Дервиз. Гадалка. Лечение в Виши. Покупка дома. А.П.Струков. Наши расхождения во взглядах на сословные дела. Сараевское убийство. Поспешный возврат в Петербург. Проведение в Государственном Совете законопроекта об открытии в Самаре политехникума.

Начавшийся 1909 год оказался исключительным в моей жизни. В январскую сессию Самарское Губернское Земское Собрание почтило меня единодушным избранием в члены Государственного Совета, вместо отказавшегося А.Н.Карамзина.

Передо мной открывалось широкое поле деятельности. Попадая по выборам в Государственный Совет, я осуществлял заветную свою мечту – установления живой связи центра с провинцией. Но я идеализировал структуру такого объединения правящих верхов с нуждами деревни. В моем воображении она больше соответствовала историческому строю нашего государства. Бурное лихолетье 1905 года оказалось сильнее моих «мечтаний», из-за которых до революции 1905 года меня причисляли к лагерю «свободомыслящих». После Виттевского «конституционного» акта 17-го октября, я превратился в убежденного консерватора. Но мой консерватизм не надо понимать в смысле реакционного восстановления самодержавно-бюрократического режима, – я считал, что ради установленного Октябрьским Манифестом конституционного порядка, надо действовать осторожно, без дальнейших неосмотрительных попыток его расширения. Приходилось пока довольствоваться тем, в значительной степени неопределенным и для российского бытового уклада необычным, что дал нам поспешно созданный акт 17-го октября.

Необходимо было предоставить государственному организму некоторое время, чтобы он смог безболезненно переработать произведенную над ним операцию, и принять все меры к соединению здоровых элементов прошлого с сутью и формой новых конституционных основ.

Все эти соображения были высказаны мною Земскому Собранию, которое единодушно одобрило их, дав мне полную свободу действий в области предстоявшей мне законодательной деятельности и политического самоопределения. Те же мотивы легли в основу моего поведения в Государственном Совете. Руководствуясь ими, я решил примкнуть к консервативной «правой группе», невзирая ни на какие упреки и ожесточенные нападки со стороны некоторых моих бывших политических единомышленников, как например – Н.А.Хомякова, по своему благодущию успешного после 1905 года сильно «сдвинуться влево», и в особенности П.А.Столыпина. Он признался, что никак не ожидал, что я вступлю в группу, возглавленную «опороченным всем его прошлым» П.Н.Дурново, и что он, Столыпин, был твердо уверен, что в стенах Мариинского Дворца я буду сотрудничать с его шурином, А.Б.Нейдгардтом. Все мои принципиальные соображения встречали в Петербурге в большинстве случаев лишь снисходительную улыбку. В столице, захваченной законодательной горячкой, все группировалось скорее на учете личностей, а не на идейных основах, не успевших еще в достаточной степени выкристаллизироваться.

В то время, как в нижней законодательной палате возник целый ряд политических фракций, в Государственном Совете организовались всего лишь три основные группы: правая, центр и левая, т.н. «академическая».

После реформы 1906 года, общее количество лиц, носивших звание членов Государственного Совета, равнялось приблизительно 250-260. Из них к присутствованию в высшем законодательном учреждении полагалось до 200 членов, подразделявшихся – на сто лиц по Высочайшему назначению, и остальные сто – по Выборам от разных общественных и сословных группировок.

За то время, что мне пришлось участвовать в Государственном Совете, с 1909 по 1916 год, – 200 членов распределилось по партийным группам приблизительно так: на «правую» группу приходилось около 80 человек, на «академическую» – 15, «независимых» – около 5-ти. Остальные 100 включались в «центр». К нему примыкал «правый центр», сохранявший полную самостоятельность. Группу эту основал и возглавлял Алексей Борисович Нейдгардт. Объединенные им лица обычно так и именовались «Нейдгардтцами». Несмотря на свою относительную малочисленность, они играли немаловажную роль в судьбе целого ряда постановлений Государственного Совета, нередко являясь при баллотировочном производстве решающим фактором, в зависимости от того, с какой из двух основных групп эти «Нейдгардтцы» голосовали. Это придавало им вес в законодательной жизни Государственного Совета, особенно, когда Столыпин был у власти. Это была своего рода законодательная его «опричнина», предназначенная поддерживать все вносимые им проекты. Это было одной из причин, удерживавших меня вступать в состав «Нейдгардтцев», несмотря на мои личные симпатии ко многим из них, включая самого Алексея Борисовича. Среди них были в то время близкие мои друзья и коллеги.

Центр, в чистом своем виде, без Нейдгардтцев, возглавлялся князем Петром Николаевичем Трубецким и включал в себя членов Государственного Совета, выбранных от Царства Польского. Среди них был талантливый оратор Игнатий Альбертович Шебеко; острый, умный старик Корвин-Круковский; родовитый и изысканно любезный гр. Вельепольский; скромный Скимунт; угрюмый Лопацинский и черненький, небольшой Мештрович.

Центр объединял в себе и всю группу «Прибалтийцев», перешедших в 1910 году от Нейдгардта к Трубецкому, после образования в Петербурге «Национального» Клуба. Представители их были не особенно словоохотливы, но все же в нужных случаях они выступали с разумными и всегда лояльными речами – барон Деллинсгаузен, барон Пиллар фон Пильхау, граф Рейтерн, барон Нолькен, граф Пален и фон Экеспаррэ.

В центр входила почти вся торгово-промышленная группа с горным инженером Николаем Степановичем Авдаковым во главе. В ней участвовали известные москвичи – Григорий Александрович Крестовников, Н.Ф. фон Дитмар, Ф.В.Стахеев, Ф.А.Иванов и др.

Числились в центре человек десять, избранных от земств. Остальные члены центральной группы принадлежали к категории Высочайше назначенных членов, занимавших ранее ответственные посты высших сановников, как например, Алексей Сергеевич Ермолов, В.И.Тимирязев, братья князя Александр и Алексей Дмитриевичи Оболенские, П.М. фон Кауфман-Туркестанский и др. К Центру принадлежал также в качестве назначенного короной известный профессор Н.С. Таганцев.

В «Академическую» группу входили члены Государственного Совета, выбранные от профессуры: умный и красноречивый М.М.Ковалевский; Д.Д.Гримм; часто и неудачно выступавший И.Х.Озеров; живой Васильев; Багалеи и несколько других.

Особняком стояли такие лица, как граф С.Ю.Витте, А.Ф. Кони и некоторые другие, значившиеся по списку в числе «независимых».

Академическая группа состояла, главным образом, из профессоров и отличалась «академичностью», а не общегосударственной практичностью. Это была оппозиция ко всему, что

шло от правительства, включая и порядок, установившийся после манифеста 17 октября. Они мечтали о большем, имея в своем составе приверженцев левого крыла «кадетской» и даже некоторых лиц, примыкавших к социал демократической партии.

Восьмидесятиголовый «центр», возглавленный князем Трубецким, если взять его без правого подотдела – «Нейдгардтцев», представлял собою чрезвычайно разнохарактерный состав. Это были лица, не объединенные общим национальным «русским» настроением, а скорее собрание разнородных «российских» национальностей, несомненно в глубине своей стремившихся к сепаратизму, несмотря на внешние выражения лояльности. Всех их – поляков и прибалтийцев – умел вести по приблизительно одному руслу большой тактик в деле объединения и председательствования, мягкий, уступчивый и довольно беспринципный князь П.Н.Трубецкой. Он норовил законодательную работу своей группы вести в соответствии с господствовавшими в Таврическом Дворце настроениями. Общее политическое направление, преобладавшее в означенной группе, можно назвать «октябристским».

Благодаря совершенной новизне законодательных учреждений, лица, вступавшие в их состав, не могли с достаточной ясностью и должным сознанием отнестись к своей законодательной работе. Первоначальные группировки скорее создавались в зависимости от господствовавших в данный момент общественных настроений или от персональных качеств того или другого лица, объединявшего вокруг себя членов палаты.

Я решил сохранить некоторую долю своей аполитичной самостоятельности и ни в какие группы целиком не вступать. Но я с самого начала «примкнул» к правому объединению, как определенно консервативному.

Я исходил из следующих соображений: то, что было дано стране по манифесту 17 октября, я считал, несмотря на весь мой дооктябрьский либерализм, не только достаточным для российского народного представительства, но, по сравнению с моими прежними «мечтаниями», даже в некоторых отношениях чрезмерным.

Все мои стремления в области законодательных улучшений сводились к сознанию необходимости принять соответствующие новшества в исторически преемственной связи со всем ценным и здоровым, что имелось в прошлом экономически-социальном укладе нашей страны.

Мое участие в работе Совета по делам местного хозяйства показало мне, с какой неосмотрительностью заготавливались правительственные законопроекты, затрагивавшие самую основу поместного уклада и вместе с тем, нарушавшие связь с ценными, жизнеспособными элементами дореформенного государственного бытия.

Само собой разумеется, не реакции я искал, а «здорового» консерватизма и всестороннего государственного прогресса. Перед вступлением моим в правую группу, многие включая Столыпина, запугивали меня ее реакционностью, главным образом указывая на Петра Николаевича Дурново, ее председателя. Я же оценивал этого человека совершенно иначе, по тем личным впечатлениям, которые я вынес в памятный период пронесшегося над страной революционного урагана 1905-1906 г.г. и которые убедили меня не в реакционности Дурново, а в его практической разумности, государственной прозорливости и опытности.

Я ничего не знал о прошлом Петра Николаевича, о его якобы одиозном поведении, как директора департамента поли-

ции в царствование Императора Александра III. Об этом я услышал лишь впоследствии от лиц, ссылавшихся на его поведение, в объяснение своего к нему отрицательного отношения. Тот же П.А.Столыпин не стеснялся при мне отзываться о своем предшественнике по Министерству Внутренних Дел в крайне неблагосклонных выражениях, совершенно упуская из виду тот несомненный факт, что не будь до него государственно сообразительного и решительного Дурново, не было бы и его самого. Но я в своей оценке лидера многочисленной правой группы членов Государственного Совета придерживался исключительно моих личных впечатлений и считал их для себя совершенно определенными. В лице Петра Николаевича, выдающегося государственного практика, я имел известный авторитет, во всяком случае более ощутительный и в государственном смысле интересный, чем представлял собой компромиссный и неопределенный кн. П.Н.Трубецкой.

Слишком живы еще были у меня воспоминания о Дурново, как об единственном, определенно решительном человеке, своими энергичными действиями спасшем гибельное положение вещей в России в конце 1905 года. «Я человек действия, – слышали мы в то время его разумные, полные государственного смысла и значения слова, – говорю прямо и стою за крайнюю строгость, ибо считаю, что в настоящее время это единственный путь. Только строгостью можно теперь достигнуть успокоения, а затем в отношении армии нужны серьезные меры.»

В бытность мою членом Государственного Совета пришлось не раз сталкиваться с Петром Николаевичем и подолгу с ним беседовать по поводу общего положения государства, текущих законодательных работ, групповых соотношений и на отвлеченные политические темы.

Вспоминаю одну откровенно им высказанную мысль, характеризующую его политическую идеологию. «Меня – говорил Петр Николаевич – все считают за заядлого монархиста, реакционного защитника самодержавия, неисправимого «мракобеса»... и не предполагают, что я, может быть, по своим взглядам являюсь самым убежденным республиканцем, ибо я, на самом деле, считаю наиболее идеальным для всякого народа такое положение вещей, когда население может иметь во главе управления им же самим избранного достойнейшего гражданина президентом. Для некоторых стран подобный идеал, по тем или другим счастливым условиям, становится доступен. Этого ни в коем случае нельзя сказать про нашу обширнейшую и разнохарактерную Российскую Империю, где по чисто практическим соображениям техника управления и цельность требует наличия исторически сложившегося царского стяга. Не станет его – распадется Россия. Таков неминуемый закон природы Российской государственности»...

Всем известна поданная тем же Дурново Государю Николаю II в феврале 1914 года записка, в которой он, со свойственной ему прозорливостью, предсказал, как разыграется война России с Германией, если таковая возникнет. «В случае неуспеха – писал он – начнется социальная революция, – черный передел и общий раздел всех ценностей и имуществ. Побежденная армия, лишившаяся надежного кадрового состава, окажется слишком деморализованною, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишенные авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентские партии будут не в силах сдерживать народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается предвидению»...

Как руководитель правой группы Государственного Совета, Петр Николаевич чрезвычайно терпимо относился ко всем высказывавшимся под его председательством мнениям. Помню, как я убеждал его поддержать в Государственном Совете наш проект учреждения в Самаре Политехнического Института, который встречал большие возражения и услышал его краткий ответ: «Верю в Вашу веру! Да будет так!»... И Самарский Политехникум увидел свет.

Несмотря на всякие «закулисные» пересуды об его прошлом, Петр Николаевич пользовался среди огромного большинства своих сочленов по Государственному Совету безусловным уважением и с его мнением все считались. Когда же в 1910 году, в связи с историей Западного Земства, Дурново пал жертвой мстительности Столыпина, и вместе с В.Ф.Треповым, подвергся насильственному «отпуску», то на вокзальные проводы его за границу съехался чуть ли не весь состав Государственного Совета с М.М.Ковалевским и другими «академистами» включительно.

В правой группе приблизительно половина членов были по Высочайшему назначению, остальные были выборные, в числе которых почти все представители от духовенства: грузный, горячий и громогласный архиепископ Варшавский Николай; умный, сдержанный и симпатичный архиепископ Новгородский Арсений, смиренный епископ Вологодский Никон и энергичный протоиерей Буткевич. В означенной группе также состояло большинство избранников от дворянства (А.П.Струков, А.А.Нарышкин, В.И.Карпов, князь В.М.Урусов, В.П.Мещеринов, А.И. Мосолов, князь А.Н.Лобанов-Ростовский, князь А.М.Эрнстов и др.) и немало земских представителей – от Тамбовского земства – В.М.Андреевский, Псковского – С.И.Зубчанинов, Курского – М.Я.Говоруха-Отрок, Бессарабского – Д.Н.Семиградов,

Симбирского – В.Н.Поливанов, Рязанского – В.А.Дращусов, Саратовского – граф Д.А.Олсуфьев и др. Последний меня особенно горячо приветствовал, как своего сочлена по группе, всецело сочувствуя всем моим идеологическим взглядам и также отстаивая необходимость образования определенной, консервативной, но не реакционной партии.

Среди членов правой группы по назначению было значительное число высших военных и морских чинов: Н.Н.Сухотин, Ф.Ф.Палицын, Редигер, Селиванов, Пантелеев, Чихачев, Бирилев, Воеводский и другие, а также ряд лиц, занимавших ранее ответственные гражданские должности, как – А.С.Стишинский, Н.А.Зверев, П.П.Кобылинский, Н.Н.Шрейбер, И.А.Зиновьев, князь Голицын Муравлин и др., а также и те, кто в своей общественной деятельности имел за собой заслуги (С.С.Бехтеев, граф С.Д.Шереметьев, Н.А.Хвостов, С.Н.Гербель и др.).

Политическое настроение этих назначенных членов во многих отношениях не совпадало с теми принципами и побуждениями, с которыми я вступал в состав членов Государственного Совета, и руководствуясь которыми, я решил примкнуть к правой их группе.

В ее составе было немало сановников, членов и дореформенного Государственного Совета. Для них новая обстановка их деятельности была столь необычной, что трудно было им привыкать и приспосабливаться к новому порядку их службы и положения. Несомненно, что некоторые из них смотрели на народное представительство и, в частности, на низшую законодательную палату, как на неизбежное зло, явившееся в результате проявленной в 1905 году слабости правительства.

Некоторые не могли мириться с самим ходом работ в Государственной Думе с точки зрения допущения ряда погрешностей редакционного свойства в законодательном материале,

который передавался затем на рассмотрение Государственного Совета. К таким лицам принадлежал выдающийся стилист устного и письменного родного слова Александр Семенович Стишинский, прошедший основательную школу «Государственной Канцелярии», по праву славившейся образцовой постановкой редакционного изложения всех составлявшихся в ее недрах законопроектов. Стишинский являлся в Государственном Совете одним из лучших ораторов, ясно, точно и обстоятельно излагавших свои соображения и выводы по целому ряду государственных вопросов или по порученным ему докладам от комиссий.

Другие члены Государственного Совета из той же группы, как например, точный и строгий законник Петр Петрович Кобылинский, тоже не удовлетворялись получавшимся из Государственной Думы материалом, находили его недостаточно обоснованным и обработанным. В настроении всех этих лиц чувствовалось некоторое недоверие к новому учреждению, выражавшееся в чрезвычайно осмотрительном обращении с передававшимися на их рассмотрение Думскими законопроектами. В этом отношении, между прочим, ясно сказывалось расхождение означенной группы с «центром», проявлявшим большую уступчивость и компромиссность, ради достижения возможной согласованности в работах обеих палат.

Эти настроения правых членов Государственного Совета по назначению внешне, в какой-либо ясно выраженной «реакционной форме», не выражались, чему немало способствовал председательствовавший на всех групповых заседаниях Дурново, который вносил сдерживающий и умеренный тон, допуская лишь деловую критику предлагавшихся к обсуждению законопроектов.

Для подобной критики представлялось немало поводов, ввиду появления на законодательном рынке Столыпинских многочисленных реформ.

Я был далек от сановного мира, составлявшего добрую половину правой группы, но по некоторым законопроектам, подчас неосмотрительно реформировавшим местный провинциальный уклад, я вынужден бывал высказываться так же, как мне приходилось ранее, на заседаниях «преддумья», и невольно оказывался солидарным со своими сочленами в правой группе по назначению.

В общем, с первого же полугодия моего участия в работах Государственного Совета, я чувствовал себя роднее и ближе со своими «выборными» коллегами, и в особенности – с земскими избранниками.

Одно время я усиленно пропагандировал идею образования особой земской группы, но мысль эта оказалась неосуществимой, и вместо нее, образовалась чисто деловая, беспартийная группировка членов Государственного Совета, т.н. «экономическая», которая сразу же завоевала себе симпатии. Первоначально она функционировала под председательством одного из ее инициаторов Сергея Сергеевича Бехтеева, известного земского деятеля, экономиста, создателя Елецкого элеватора и автора ряда учено-беллетристических трудов.

Под его председательством экономическая группа, в начале состоявшая из правых, разрабатывала вопросы, имевшие существенное значение для экономического уклада страны. По некоторым из них удавалось достигнуть реальных результатов, как например, по вопросам финансирования со стороны правительства мелких кредитных учреждений, расширения сети зернохранилищ, упорядочения функционирования товарных складов и др.

Означенная группа стала привлекать внимание и других членов Государственного Совета, не только «правых», но и принадлежавших к «центру», лидер которого князь П.Н.Трубецкой, высказал пожелание принять участие в наших работах. Мы согласились на подобное, желательное во всех отношениях, сотрудничество. Когда Бехтеев отказался, экономическая группа избрала своим председателем князя Трубецкого, но последний не сумел ее удержать на высоте чисто деловой организации, допустив в нашем объединении проявления несколько партийного характера.

Мало-помалу, экономическая группа распалась, и члены ее рассылились по тем же трем основным группам – «правых», «центр» и «академистов».

Основная работа в Совете сосредотачивалась в ряде особых комиссий, избиравшихся на общих собраниях и предварительно обсуждавших законопроекты, заслуживавшие особого внимания Совета и требовавшие по своей сложности подготовительной разработки. Годовой государственный бюджет проходил через особую финансовую комиссию, где весь сметный материал распределялся между ее членами, являвшимися впоследствии на общих собраниях докладчиками – каждый по своему отделу. Разумеется, финансовая комиссия, избиравшаяся на весь операционный год, имела первенствующее значение в деятельности Государственного Совета, являясь регулятором всей жизни государства.

На годовой срок избирались также комиссии законодательных предположений, личного состава и внутреннего распорядка. Помимо этих «постоянных», избирались также и комиссии временного характера, для рассмотрения какого-либо отдельного законодательного акта.

Процедура выборов во все эти комиссии распадалась на две стадии: сначала избирались кандидаты из четырех партийных групп. Имена кандидатов вписывались на небольшие печатные карточки, окрашенные в особые для каждой группы цвета. Карточки эти рассылались всем членам Государственного Совета. Затем члены Государственного Совета, на общих заседаниях, клали упомянутые карточки в баллотировочные ящики, после чего происходил их подсчет.

От каждой партийной группы попадало в комиссию число членов, пропорциональное ее количественному составу. Вне принадлежности к той или другой партийной группировке, попасть в комиссию было делом немыслимым, меж тем работа этих комиссий обычно предопределяла судьбу решений Государственного Совета. Конечно, изредка, беспартийные общеизвестные имена, как например А.Ф.Кони, проводились в комиссии теми или другими группами, но подобные случаи представляли собой исключения.

Благодаря моему участию в «правой» группе, в первое мое трехлетие (1909-1912 г.г.) меня почти непрерывно избирали в ряд комиссий, занятия в которых представляли для меня огромный интерес, но вместе с тем, отнимали массу времени и создавали трудное для меня положение, ввиду совмещения мною обязанностей члена Государственного Совета с должностью Губернского Предводителя. Кроме этого, в 1909-1911 г.г., я продолжал числиться членом Совета по Делах Местного Хозяйства, где работа шла своим чередом.

При моих неоднократных пере выборах в Предводители и в члены Государственного Совета, я указывал дворянству и земству на трудность подобного совместительства. Я просил меня освободить от одной из должностей, но все мои доводы ни к

чему не приводили. С таким ненормальным положением пришлось мне мириться вплоть до назначения меня в 1915 году Министром.

Мое первое, очень робкое выступление в Государственном Совете произошло в немногочисленной по своему составу комиссии «по товарным окладам». Ее председатель – умный и уравновешенный член Государственного Совета по назначению – барон Э.Ф.Гэйнинген фон Гюне был приветливым руководителем наших занятий, далеким от излишней формалистики. Благодаря ему, рамки переданного на наше рассмотрение законопроекта раздвинулись и затронули общие интересы всего сельскохозяйственного производства в стране.

Когда выяснилось, что в понятие товарных складов входят также и зернохранилища (элеваторы), я вытребовал из Бугурусланского уездного земства все данные по постановке и деятельности существовавших в уезде зернохранилищ, которые рекомендовали себя с наилучшей стороны.

В этом отношении Бугурусланское земство, благодаря энергии и деловитости одного из своих председателей – Н.Д.Брандта, проявило исключительную инициативу, покрыв уезд в наиболее людных его пунктах и около железнодорожных станций сетью небольших элеваторов американского типа. В них производилась очистка и осушка зерна, и выдавались warrants. На основании бугурусланского опыта, я составил подробный доклад и внес его в нашу комиссию, очень им заинтересовавшуюся. Вопрос об элеваторах дал толчок к образованию «экономической» группы.

Впоследствии в то же «экономическое» объединение мною были представлены соображения о необходимости развития сельских кредитных товариществ. Основанием этого моего до-

клада послужил обширный материал, любезно предоставленный мне управляющим Самарским отделением Государственного Банка А.К.Ершовым.

Настаивая на желательности устройства в земледельческих районах России правильно организованной сети зернохранилищ и настойчивой необходимости широкого развития доступных всей толще сельского населения кредитных товариществ, я стоял за срочное осуществление этих мероприятий по нижеследующим соображениям: разумно раскинутая по всей земледельческой стране сеть мелких зернохранилищ дала бы широкую возможность производителям хлеба сохранить урожай в наилучших условиях, гарантирующих его от возможной порчи и убыли, и реализовать его нормально, минуя недобросовестных посредников и выжидая выгодное настроение рынка.

Помимо этого правильная сеть элеваторов и отбор зерна при ежегодном хлебном экспорте в среднем около миллиарда пудов, должна была благоприятно отразиться на общей цифре русского торгового международного баланса и на хлебных сделках, производившихся на мировых хлебных биржах Лондона, Кенигсберга и др. Таким образом поднялась бы и кредитоспособность государства.

Мое конкретное предложение по данному вопросу сводилось к тому, чтобы понудить правительство установить наиболее подходящий тип мелких и крупных зернохранилищ и приступить, в возможно близком будущем, к осуществлению этой важной для хлебного хозяйства России меры, при содействии всех наличных в стране земств.

Предложение мое встретило горячую поддержку не только со стороны комиссии и «экономического» объединения, но и многих членов Государственного Совета. Заговорила о нем и

пресса. В самом Министерстве Финансов стало проявляться не-которое «движение воды». Но не в меру осторожный рутинер В.Н.Коковцов, добросовестный хранитель денежной казны, все свел к постройке в 3 – 4 крупных губернских центрах (между прочим – в г. Самаре) огромных, дорого стоивших элеваторов. Эти грандиозные здания, украшенные государственными гербами, никакой пользы для отдаленного от города крестьянского люда не приносили. Этим все и ограничилось...

Что касается развития в деревне кредитных операций, то мое близкое знакомство с их деятельностью в Самарской губернии убедило меня в приносимой ими большой пользе местному населению.

Это избавляло крестьян от гнета местных ростовщиков «кулаков». Я употребляю это слово в прежнем его понятии, когда «кулак» действительно выжимал своим беспощадным кулаком все соки из деревенской бедноты.

И устав кредитных товариществ, и финансирование их были тоже поставлены рационально, без оттенка благотворительности свыше, рассчитывая лишь на собственное умение правильно вести дело. В нашей губернии кредитные товарищества из года в год все глубже пускали прочные корни, приучая крестьян к индивидуальной ответственности, порядку и общественной дисциплине.

Убежденным сторонником необходимости всяческого содействия со стороны правительства распространению по лицу всей деревенской России кредитных товариществ являлся также управляющий Самарским отделением Государственного Банка, умный и чуткий ко всякой здоровой общественности А.К.Ершов. Немало он в свое время возмущался тем отрицательным отношением, которое проявлял Петербург к делу фи-

нансирования и размножения упомянутых кредитных учреждений, причем основной причиной подобного отношения служила не оценка по существу деятельности этих учреждений, а предвзятый недоверчивый взгляд столичных бюрократических верхов на наемный персонал, потребный для ведения в деревнях всей счетоводственной части в кредитных товариществах. Высказывались опасения, что в состав подобных служащих смогут проникнуть нежелательные в политическом отношении элементы, губительным образом влияющие на деревенские настроения. На это приходилось лишь опасливым верхам советовать одно – организовать надлежащим образом особую правительственную, со стороны Государственного Банка, инспекцию, которая одновременно с общим контролем над деятельностью финансируемых им кредитных учреждений принимала бы соответствующие меры к недопущению в их состав вредных для государственного покоя элементов.

Еще в самом начале нашего «экономического» объединения в Государственном Совете удалось достигнуть некоторого реального результата в деле более широкого финансирования кредитных товариществ. Особо делегированная по этому поводу от имени экономической группы депутация в лице С.С.Бехтеева, В.И.Карпова и меня, как докладчика, была любезно принята Управляющим Государственным Банком Сергеем Ивановичем Тимашевым, человеком умным и прогрессивно настроенным. Он охотно пошел навстречу этой необходимой государственной мере. Благодаря ему, был отпущен на кредитные товарищества дополнительный кредит – 8 миллионов рублей.

Со временем Министерство Финансов переменило свой осторожно опасливый взгляд на более широкий и разумно-государственный; в результате, число кредитных товариществ из

года в год стало увеличиваться с неимоверной быстротой, распространяясь даже на самые отдаленные деревни. Это, совместно с мелиоративной деятельностью земств, очень способствовало улучшению крестьянского хозяйства.

Занятия в некоторых комиссиях, в которых приходилось мне участвовать, временами носили столь напряженный характер, что прерывать их, хотя бы на краткое время, не представлялось возможности. Особенно памятны для меня занятия в двух комиссиях – «земельной» и «судебной». Та и другая по своему многочисленному составу превосходили все комиссии, когда-либо существовавшие в Государственном Совете. В первую было избрано до 60 человек, а на ее первоначальные заседания, когда обсуждались общие принципиальные положения законопроекта, слушать приходил чуть ли не весь Государственный Совет. Председателем комиссии был избран князь П.Н.Трубецкой, руководивший ходом занятий мягко, но расплывчато.

Сначала комиссия приступила к прениям по общему вопросу предложенной Столыпиным реформы крестьянского землепользования. Чтобы дать понятие, как затянулись эти общие прения, укажу, что по записи пожелавших высказаться членов комиссии, среди которых я значился по порядку двадцатым, очередь говорить дошла до меня лишь через полтора месяца, несмотря на то, что заседания комиссии происходили не менее двух раз в неделю.

Бывший Министр Земледелия, Алексей Сергеевич Ермолов, один занял своей бесконечной речью почти полных два заседания. Этот широко образованный, чрезвычайно добрый человек напоминал скорее профессора каких-либо агрикультурных наук, чем государственного деятеля практика. Его выступления отличались излишней отвлеченностью и крайне длительным изложением.

Со стороны правых одним из первых говорил, с трудом подыскивая и произнося слова, почтенный, душевно милый, но нудный в своих выступлениях Александр Алексеевич Нарышкин, с большими, карими, приветливыми глазами и выдающимся толстым носом, как бы созданным Творцом, чтобы воспринимать частые «понюшки» нюхательного табаку из старинной золотой табакерки, которую Александр Алексеевич все время вертел в своих сухих старческих пальцах. Нарышкин отличался редким хладнокровием и невозмутимостью. Однажды, на одном из совещаний обще дворянского съезда горячий В.И.Гурко стал неистово нападать на Александра Алексеевича. Не встречая с его стороны возражений, он себя все сильнее взвинчивал и дошел в своем словоизвержении до последней степени кипения. Потом замолк, вопросительно уставившись своими воспаленными глазами и всей своей взъерошенной фигурой на совершенно безучастно сидевшего против него за столом Нарышкина, который время от времени втягивал в свой объемистый нос ароматный табачок. Произошла пауза. Все ждали от медлительного Нарышкина колкой отповеди, на что остроумный старик бывал иногда горазд. Вместо этого, поигрывая своей любимой табакеркой, с застывшим спокойным лицом, Нарышкин, еле цедя сквозь зубы, проговорил в назидательном токе: «Милый мой Владимир Иосифович! А я ведь Вас помню еще в таком возрасте, когда Вы под столом моим бегали!»... Гурко вскочил и убежал, а Нарышкин, покачав головой, промолвил ему вслед: «Горячий юноша!...

С большим подъемом выступал присяжный оратор «правых» А.С.Стишинский. Пространно и отвлеченно, в форме подлинных лекций, излагали свои мысли профессора: грузный Ковалевский, мрачный Мануйлов и нервный Озеров. Как всегда интересно говорил Анатолий Федорович Кони, с которым мне

на заседаниях земельной комиссии пришлось ближе познакомиться. Приветливый и общительный, Анатолий Федорович поражал удивительной чуткостью и одухотворенностью. Въ его немощном теле с исключительной силой проявлялся бодрый и светлый дух.

Центральной фигурой, окруженный почетом и уважением, являлся в земельной комиссии участник работ по освобождению крестьян в 60-х годах, маститый, согбенный старец с пышной серебристой шевелюрой и седыми баками, обрамлявшими бритое умное лицо – Петр Петрович Семенов-Тянь-Шаньский. Он открыл общие прения заявлением, сказанным им с удивительным для его преклонных лет подъемом и ясной дикцией. На бледном выразительном лице светились небольшие карие, по юному сверкающие глаза.

Петр Петрович чрезвычайно красочно обрисовал всю историю образования крестьянского землепользования, как участник законодательного творчества эпохи Александра II. Приветствуя Столыпинскую реформу, он назвал ее венцом заложенного почти полвека тому назад великого исторического здания. Подняв свои старческие трясущиеся руки, дрогнувшим голосом, со слезами на глазах, маститый ветеран великой освободительной реформы закончил свою речь трогательными словами: «Дожив до счастливого момента, когда на Руси крестьянское землепользование вводится, наконец, в должное и предуказанное ему еще в прошлых комитетских наших работах русло, я могу лишь сказать: Ныне отпускаеши раба твоего с миром!»... Восьмидесятилетний старик опустил в свое кресло. В зале воцарилась сначала почтительная тишина, затем со всех сторон раздались шумные и горячие приветствия.

Споры в земельной комиссии происходили не по существу Столыпинской реформы, которую все признавали необходимой, как последовательное завершение крестьянской освободительной реформы, но лишь о способах ее проведения. Столыпин предлагал изменить крестьянское землепользование, раскрепостив наделных собственников от общинной кабалы, превратив их в хозяев собственников, и сделать это путем решительных принудительных мер. Он встретил широкое сочувствие общества, прессы и большинства Государственной Думы. Все сознавали тогда своевременность подобной аграрной политики правительства, и в Столыпинском тоне приказа усматривали верный залог успеха для быстрого поворота всего крестьянского сельскохозяйственного уклада на путь цветущего благополучия.

А на способ проведения на практике упомянутой аграрной реформы многие из более осторожных аграрных политиков смотрели иначе. Они сознавали ее своевременность и необходимость, но полагали, что всякая крутая, да еще принудительная ломка крестьянского хозяйства и быта, – представляется с точки зрения общего экономического порядка и государственной пользы – безусловно нежелательной. Противники «Столыпинского» способа действий предлагали провести сложное по своей обстановке и огромное по своим последствиям дело раскрепощения общинного землепользования – не «наказом», а «показом», иначе говоря не путем принудительных приказов, а предоставлением разумных льготных и поощрительных мер содействовать постепенному переходу крестьян общинников к личному землепользованию.

К группе «постепеновцев», решительно восстававших против Столыпинской «принудительности», принадлежал и я по

ряду соображений, основанных на всем моем прошлом служебно-жизненном опыте.

Столыпин, с присущим ему темпераментом, горячо отстаивал занятую им позицию, совершенно неправильно приписывая своим оппонентам несочувствие самой сущности задуманной им реформы. Наш совет – действовать не «наказом», а «показом», Петр Аркадьевич принимал за полнейший с нашей стороны отказ поддержать по существу внесенный им законопроект.

Затянувшиеся по общему вопросу прения не обошлись без довольно-таки смехотворного курьеза. Одним из предпоследних ораторов записался член Государственного Совета по выборам от пензенского земства, Владимир Александрович Бутлеров. Владелец обширных поместий и лесов, славившийся своим образцовым хозяйством и унаследовавший от своего отца, ученого химика, страсть к пчеловодству, Владимир Александрович отличался невозмутимостью, молчаливостью и философски спокойным отношением к окружающему его миру. В земельной комиссии уже не менее двух месяцев продолжалось словоговорение о том, как проводить в стране земельную реформу. Все устали. Мягкотелый и нерешительный князь Трубецкой все тянул эти заседания. Оставалось еще человек пять – шесть желавших говорить. Настроение становилось довольно кислое, у многих нервное. Стала проявляться раздражительность. И вот, при подобной обстановке, Трубецкой открывает чуть ли не двадцатое по счету заседание и устало объявляет: «слово принадлежит Владимиру Александровичу Бутлерову». Последний сидел рядом со мною. После обращения к нему председателя, он продолжал невозмутимо сидеть и, уставившись куда-то в пространство своими невинно голубыми глазами, молчал. Трубец-

кой снова повторил свое к нему обращение. Владимир Александрович сидит все в той же застывшей позе, что то, видимо, обдумывает... Послышались громкие голоса: «Владимир Александрович! Вам говорить!» Бутлеров, как бы очнувшись от кратковременного летаргического сна, обычным своим невозмутимым голосом заявляет:

– Да что, господа, мне говорить?! Все сказано и пересказано. Сiju я и думаю: собрались господа в столице и занимаются бесконечными словопрениями, а мужички продолжают нести на своих плечах все то же тяжкое общинное бремя, которое давно бы следовало с них снять!... По моему мнению – настало время прекратить наши бесцельные споры и скорее приступить к настоящему делу... Наши занятия напоминают мне средневековые бесконечные ученые диспуты по поводу того, – тут Бутлеров сделал паузу и, обведя своими детскими глазами присутствовавших, отчетливо досказал, – был ли у Адама пуп или нет?

С этими словами Владимир Александрович замолк. В комиссии наступила мертвая тишина. У сидевших членов был вид такой – как будто все они чем-то поперхнулись... Прошло мгновение, и зал огласился всеобщим неудержимым хохотом. Все, без всякого председательского объявления о перерыве, повскакали со своих мест, друг с другом сходились, как школьники хлопали друг друга по плечу и хохотали до слез, до упада... Бутлеров же продолжал сидеть неподвижно, потом обернулся ко мне и промолвил:

– Над чем смеются?! ведь над самими собой!.. А мне так плакать впору! Удивительна психология людей!

После происшедшего инцидента, настроение комиссии сразу изменилось. Начать с того, что по возобновлении занятий после «Бутлеровского перерыва» все оставшиеся ораторы от

слова отказались, и присутствовавшие потребовали от Трубецкого перехода к баллотировочной завершительной стадии затянувшихся занятий! «Довольно! Договорились до Адама!»

В конце концов, Столыпинская редакция была до некоторой степени смягчена и принята на общем собрании.

Не могу также не вспомнить ход работ в другой, тоже многочисленной, комиссии, т.н. «судебной», принявшей к своему рассмотрению законопроект, переданный из Государственной Думы. Докладчиком по нему в комиссии выступал Министр Юстиции Иван Григорьевич Щегловитов.

Будучи несомненно умным, знающим юристом и талантливым оратором, Щегловитов выказал впоследствии партийную нетерпимость и личную пристрастность, неблагоприятно отозвавшиеся на его популярности.

Внесенный и доложенный им законопроект затрагивал вопрос о Волостном Суде, который реформой Столыпинского правительства совершенно исключался из намеченной схемы единого и однообразного судебного государственного аппарата. Государственная Дума с этим согласилась.

По этому поводу в нашей судебной комиссии возникли ожесточенные принципиальные прения, в которых пришлось и мне принять участие наряду с моими единомышленниками, отстаивавшими жизненную необходимость сохранения близкого и понятного для крестьян суда, требовавшего не отмены, а лишь его дальнейшего упорядочения. В комиссии указывали, что пора, наконец, руководящему государственному центру прекратить расшатывающую политику прежних лет, когда в деревне производилась беспрестанная ломка ее хозяйственно-правового уклада, в зависимости от тех или других временных

господствовавших настроений правящих верхов. Так, после мировых посредников был установлен мировой институт и крестьянские административные присутствия, оказавшиеся в некоторых отношениях неудовлетворительными. Вместо их упорядочения, все уничтожается и заменяется Земскими Начальниками, причем вводится в расширенном виде волостная судебная инстанция, которая имела все данные для проявления своей полезной деятельности и жизнеспособности. Но наступило опять-таки новое веяние и в результате – вместо усовершенствования в соответствии с теми или другими его положительными и отрицательными качествами, институт волостного суда полностью уничтожается. Само собой, мы все – сторонники его сохранения, отнюдь не отстаивали волостного суда во всей его неприкосновенности и признавали необходимость существенных его изменений, подсказанных самой жизнью и судебной практикой.

На заседаниях судебной комиссии все время присутствовали Щегловитов, как докладчик и Столыпин, как глава правительства. Всем участникам комиссионных занятий казалось довольно странным поведение Премьера, ни разу не выступившего по принципиальному вопросу о сохранении Волостного Суда и предоставлявшего всю тяжесть защиты правительственного законопроекта одному Министру Юстиции. Вскоре, впрочем, выяснилась причина Столыпинского молчания. Настал момент, когда Петру Аркадьевичу, ввиду непосредственно к нему лично обращенного запроса некоторых участников комиссии, необходимо было гласно высказаться по поводу возникшего спорного вопроса.

Ко всеобщему изумлению, и явному неудовольствию докладчика, Столыпин высказался, как идейный сторонник сохранения института Волостного Суда. В комиссии произошло немалое замешательство, а мы не скрывали нашего торжества.

Возвращаясь после этого памятного заседания вместе с А.Б.Нейдгардтом, я от него узнал причину неожиданного для всех противоправительственного выступления Столыпина. Оказалось, что Петр Аркадьевич, еще на заседаниях Совета Министров, все время высказывался за желательность сохранения Волостного Суда, но остался в меньшинстве. Вот почему в комиссии он молчал, как премьер, а когда его спросили о его личных взглядах, он повторил то, что говорил на заседании Совета Министров.

Комиссия, а за ней и общее собрание Государственного Совета высказались за сохранение Волостного Суда. Между обеими законодательными палатами произошло коренное расхождение, в силу чего законопроект залежался в разных согласительных и иных предварительных инстанциях, пока, в конце концов, государственная жизнь страны не была вовлечена в общий безудержный революционный водоворот 1917 года.

95

Общие заседания Государственного Совета обычно собирались два раза в неделю в особо пристроенном к Мариинскому Дворцу обширном помещении, специально приспособленном и богато оборудованном для занятий высшей законодательной палаты. Пристройка эта представляла собою грандиозную, под белый мрамор отделанную залу, с куполообразным стеклянным потолком, единственным источником дневного освещения. Для ораторов была высокая трибуна. За ней возвышалось место

для президиума, где сидели: председатель, справа от него – его товарищ, а слева – Государственный Секретарь со своим штатом. Под трибуной, в особой нише, работали дежурные чины и стенографистки, прикомандированные к государственной канцелярии.

Справа от президиума была поместительная правительственная ложа, с креслами для министров и их товарищей.

С обоих боков мест президиума имелись двери, ведущие во внутренние превосходно обставленные апартаменты, предназначенные для занятий председателей, министров и государственного секретаря. Над всем председательским местом, в особой нише, виднелся, художественно высеченный из белого мрамора, бюст Государя Императора Николая II. Выше, у края потолочного купола, на самом видном месте белой отполированной стены, красовалась знаменитая картина Репина, изображавшая заседание дореформенного Государственного Совета.

В верхней части залы были устроены с трех сторон особые хоры – для представителей прессы, для служебных чинов и для публики. Внизу, под боковыми хорами, помещались отделанные в вид театральных лож, с драпировками и мягкими сидениями, особые ниши, предназначенные на случай посещения заседаний Государственного Совета Августейшими Особами или иными лицами, заслуживавшими исключительного к ним внимания и почета. За все время моего пребывания в Государственном Совете, в этих ложах я лишь раз видел Великого Князя Николая Михайловича. Довольно часто из-за их тяжелых бордовых портьер выглядывала старческая, красивая, с большой серебряной бородой, физиономия «назначенного», но не «присутствовавшего» члена Государственного Совета, Обер-Гофмейстера Высочайшего Двора князя Репнина, бывшего Киевского Губернского Предводителя Дворянства.

В партере, где сидели члены Государственного Совета, были устроены длинные дугообразно расположенные столы, рассеченные проходами, радиусами сходящиеся к трибуне. Вдоль столов расставлено было до двухсот солидных, обитых бордовым бархатом палисандровых кресел – столь мягких, глубоких и комфортабельных, что во время нудных, ни уму, ни сердцу не говоривших выступлений некоторых «горе-ораторов», эти удобные сидалища помогали не только лицам преклонного возраста, но и нашему брату – «сорокалетней молодежи», предаваться безмятежной сладкой дреме.

Благодаря мягкому ковру и общему сдержанному порядку, традиционно унаследованному от бывшего высокосановного учреждения, в огромной зале царствовала всегда удивительная тишина, соответствовавшая всей парадной величавости обстановки.

В этом отношении, на общих собраниях обеих законодательных палат замечалась огромная разница. Недаром среди «хоровой» публики, падкой на всякие сенсации и бурные сцены, раздавались голоса, что в то время, как в Таврическом дворце чувствовалось кипение «страстей», явно шла лихорадочная работа мысли, ощущалась «сама жизнь», в Мариинском царила «скука и мертвящий покой»... На наших обыденных заседаниях публики всегда бывало мало, только в исключительных случаях, когда ожидался редкий для Государственного Совета «боевой» день, или готовилось интересное правительственное выступление, – хоры заполнялись «степенной» публикой, и появлялась учтивая, сухая фигура завязанного царедворца, пристава Государственного Совета, Церемониймейстера Высочайшего Двора, милейшего Константина Николаевича Гирса, сына известного Министра Иностранных Дел прошлого царствования.

За все время моего пребывания в Государственном Совете я не помню случая, чтобы порядок был чем-нибудь нарушен. Если собрание не одобряло то или другое ораторское выступление, в зале продолжала царить все та же степенная тишина. Несочувствие слушателей выражалось лишь уходом их по неслышному ковру в соседние «кулуары». Все заканчивалось безмолвной забаллотировкой. Когда ораторы производили на аудиторию положительное впечатление, «благопристойная» обстановка «Высокого Собрания» опять-таки ничем не нарушалась, лишь изредка раздавался в стенах величавой залы одобрителный гул голосов, сдержанно бормотавших: «браво, браво»... конечно, без всяких аплодисментов.

Отдельных замечаний «с мест», тем более выкриков на подобие «думских», не бывало. Один лишь мой сосед – Курский земский избранник, Михаил Яковлевич Говоруха-Отрок был неисправим, нередко вслух своим гортанным говором выражал по поводу того или другого выступавшего оратора односложные замечания, не лишённые хохлацкого остроумия. Это происходило как бы про себя, все же отдельные звуки, исходившие из громких уст Говорухи, сидевшего со мною на самых отдаленных от президиума креслах т.н. «Камчатки», очевидно доходили до чутких ушей председательствовавшего Акимова и вызывали с его стороны неодобрительно нахмуренные взоры, направленные на наши головы. Сидевший же перед Говорухой член Государственного Совета по назначению, бывший Товарищ Обер-Прокурора Святейшего Синода, Алексей Петрович Рогович, весь сотканый из «светских приличий» и сознания своей сановитой важности, чрезвычайно болезненно реагировал на подобные выходки, с озлобленным видом на него оборачиваясь и нервно весь подергиваясь от его «неблагопристойностей».

Председателем Общих Собраний Государственного Совета состоял в описываемое мною время Михаил Григорьевич Акимов, бывший Министр Юстиции, приходившийся родным братом Алексею Григорьевичу, служившему одно время в Самарской губернии Николаевским уездным Предводителем Дворянства.

Низенького роста, сильно сутулый, с лысой, неправильной формы, головой и невзрачным желчным лицом, Михаил Григорьевич имел болезненный и угрюмый вид, страдал печенью и бессонницей, смотрел исподлобья, обращался со всеми не только неприветливо, но даже в грубовато-недовольном тоне. При всем том, он был редко порядочным, правдивым, несомненно умным и, несмотря на всю свою кажущуюся внешность, добрым и сердечным человеком.

Заседания Михаил Григорьевич вел строго, с неукоснительным соблюдением Наказа, прениями руководил властно, но беспристрастно, формулировал предлагавшиеся им на баллотировку заключения ясно и понятно. Многоглаголивые ораторы, которые любили с трибуны попусту распространяться в ущерб времени и делу, бывали недовольны взыскательным руководителем, не стеснявшемся останавливать их, направляя по нужному руслу возникавшие прения. Но ход занятий, благодаря подобному председательствованию, выигрывал. Этого нельзя было сказать про его преемника, мягкого, уступчивого Анатолия Николаевича Куломзина, который резюмировал расплывчато и неопределенно.

За все время существования преобразованного Государственного Совета Товарищем его Председателя бессменно состоял Иван Яковлевич Голубев, обладавший изумительной

осведомленностью в области всего законодательного делопроизводства в Государственном Совете.

Голос Ивана Яковлевича был низко гортанный, довольно тусклый, но дикция превосходная. Говорил он обстоятельно и деловито, точно формулировал председательское резюме и неоднократно выручал своевременными подсказками своего старшего коллегу по профессии – Анатолия Николаевича Куломзина. Знаток своего дела, умный, уравновешенный и находчивый, Голубев являлся незаменимой и коренной силою президиума и пользовался уважением всех членов Палаты.

Делопроизводство Государственного Совета велось Государственной Канцелярией, во главе которой стоял Государственный Секретарь, всегда присутствовавший на общих заседаниях рядом с председателем и следивший за всем ходом происходивших занятий.

При моем вступлении в Государственный Совет, эту ответственную должность занимал Александр Александрович Макаров. Его вызвал из провинции П.А.Столыпин, который его близко узнал и оценил в бытность свою губернатором в Саратове, где Макаров нес обязанности прокурора Судебной Палаты.

Происходя из почтенной купеческой семьи, Макаров отличался исключительной работоспособностью и педантичной точностью. Благодаря своему врожденному благородству и высокой порядочности в служебной и частной жизни, он быстро завоевал всеобщие симпатии.

Начав столичную службу при Столыпине в качестве Товарища Министра Внутренних Дел, Александр Александрович затем получил пост Государственного Секретаря. После же киевского злодеяния 5-го сентября 1911 года, когда премьерство пе-

решло к В.Н.Коковцову, Макаров был поставлен во главе Министерства Внутренних Дел. Как министр, Александр Александрович неоднократно выступал в Государственной Думе, где однажды произнес крылатые слова, подхваченные российскими обывателями каждым по-своему: «Так было, так будет!»...

Но с уходом Макарова из Государственной Канцелярии его заменил на должности Государственного Секретаря бывший товарищ Министра Внутренних Дел, острый и редкий по своим способностям делец С.Е.Крыжановский, остававшийся на этом посту до революции.

97

Главная работа Государственного Совета происходила в его комиссиях, откуда в подготовленном и разработанном виде, материал поступал на рассмотрение общих его собраний, на которых выступали избранные комиссиями докладчики. Затем открывались общие прения. Если законопроект был заурядный, то заслушав докладчика и заключения комиссий, собрания этим ограничивались, обычно с ними соглашаясь. По некоторым же вопросам особой государственной важности, или когда в самих комиссиях, как например, в земельной и судебной, мнения резко расходились, прения Государственного Совета принимали более оживленный характер, вызывая разносторонние обсуждения и выступления ораторов, принадлежавших к разным группам.

Среди «правых» – общепризнанным искусником по части произнесения речей считался не без основания А.С.Стишинский, говоривший всегда вдумчиво, обстоятельно, логично и местами с заметным подъемом, за что заслужил от злоязычного моего соседа Говорухи наименование «эротического» оратора...

Сам Петр Николаевич Дурново выступал редко и лишь в крайних случаях. Говорил он тихо, размеренно кратко, взвешивая каждое слово. Государственный Совет слушал его всегда с особым вниманием. Также лишь в необходимых случаях деловито высказывались профессор Герье – милый, приветливый старик, и некоторые из моих добрых знакомых – выборных коллег: бывший Екатеринославский Губернский Предводитель Дворянства. Гофмейстер Высочайшего Двора Ананий Петрович Струков, тульский дворянин Алексей Иванович Мосолов, упоминавшиеся мною ранее Виктор Иванович Карпов и А.А.Нарышкин.

Ананий Петрович Струков по изысканно элегантной внешности, по всей выдержке и корректности в обращении, представлял собою настоящего «барина» – поместного аристократа в наилучшем смысле этого слова, со всем присущим подобному лицу благородным образом мыслей и ореолом высокой порядочности. Недаром он, после ухода гр. А.А.Бобринского был избран Председателем Всероссийского Дворянского Объединения. Выступал Ананий Петрович в Общих Собраниях редко, но всегда искренно и дельно. Тоже можно сказать и про его земляка, В.И.Карпова, работавшего в финансовой комиссии и являвшегося по многим вопросам докладчиком, ясно, громко и обстоятельно излагавшим сущность дела.

Еще реже, но столь же деловито и местами горячо, высказывался с трибуны высокий, красивый, моложавый Алексей Иванович Мосолов, известный Тульский общественный деятель, служивший ранее в Конной Гвардии. Редко, но серьезно и внушительно выступали медлительный А.А.Нарышкин и темпераментный князь А.А.Ширинский-Шихматов, обладавший даром слова, но пропитанный особой нетерпимостью ко всем инакомыслившим.

Насколько редки бывали выступления вышеперечисленных лиц, настолько часто ораторствовали с кафедры Государственного Совета члены правой группы – С.С.Бехтеев, П.П.Кобылинский, Д.И.Пихно, Н.А.Зверев, В.К.Саблер или Н.Н.Шрейбер. Из них лучше всего излагали свои мысли худенький и умный Пихно, редактор издатель «Киевлянина» и мой бывлой профессор Московского Университета – Николай Андреевич Зверев. Тучного Саблера я не любил за слащавость его речей.

Но кого никто не переносил в зале заседаний, начиная с председателя Акимова и кончая нами, рядовыми членами, так это князя Д.П.Голицына-Муравлина, князя А.Н.Лобанова-Ростовского и, в особенности, к немалому раздражению Акимова, залезавшего на кафедру – Я.Н.Офросимова.

Большой, упитанный и представительный князь Дмитрий Петрович Голицын Муравлин, известный беллетрист-романист и заведывавший до своего назначения в Государственный Совет учреждениями Императрицы Марии, несомненно обладал даром слова, но через чур злоупотреблял витиевато составленными и к делу не относившимися цветистыми фразами, разными мудреными метафорами, с явной претензией бить на эффект, сам прислушивался к своему красноречию и им видимо наслаждался. А члены Государственного Совета, один за другим, спешили в кулуары, убегая от патетических, но малосодержательных речей сиятельного романиста.

Князь Алексей Николаевич Лобанов Ростовский, выбранный от дворянства, имел огромное состояние и немало добрых личных качеств. Но он любил донимать собрание своими излишними рассуждениями салонного жанра, и имел вид человека, решившегося с высоты трибуны любезно «занимать» г.г. членов Государственного Совета, как своих добрых друзей или званых гостей.

Но превыше всех досаждал своим «зудом» говорить чуть ли не по каждому вопросу Витебский представитель, до необычайности скучно нудный, Яков Никандрович Офросимов. Каждый раз, что он просил слова, это вызывало у Акимова глухое рычание. При появлении витебского «горе оратора» на кафедре, зала собрания быстро пустела.

В среде «Нейдгардтцев» выдающихся ораторов не было, но все выступавшие из их группировки, начиная с их обстоятельного лидера, обычно пользовались вниманием собрания. Любил я прислушиваться к искреннему и горячему слову графа Федора Алексеевича Уварова.

Чаще всего от «правого центра» на трибуне появлялись – Владимир Федорович Дейтрих, бывший помощник Финляндского Генерал-Губернатора, и Александр Петрович Никольский, занимавший ранее пост Главноуправляющего Земледелия и Землеустройства.

Председатель группы «центра», князь Петр Николаевич Трубецкой, редко подымался на кафедру. Говорить хорошо он не умел и обычно ограничивался необходимыми замечаниями и предложениями. Лучшим оратором руководимой им группы являлся умный, превосходно владевший даром слова, элегантный по внешности и крайне выдержанный в обхождении, польский представитель Игнатий Альбертович Шебеко.

Деловито, но несколько сухо, говорил бывший Министр Юстиции, Сергей Сергеевич Манухин, заменивший впоследствии князя Трубецкого в качестве председателя «центра».

С необычайным азартом и торопливостью выступал профессор Николай Степанович Таганцев. Солидно и величаво высказывался с высоты государственной трибуны сановитый Петр

Михайлович Кауфман-Туркестанский. Умно, но бездушно цедил сквозь зубы высокий, сухой по виду и по свойству всей своей расчетливой натуры, Василий Иванович Тимирязев – бывший Министр Торговли.

Не без интереса прислушивались к простоватым по форме изложения, но содержательным выступлениям Председателя Московского Биржевого Комитета, симпатичного и умного Григория Александровича Крестовникова. Важно выступал председатель торгово-промышленной группы инженер Николай Степанович Авдаков.

Вспоминаю высокую, слегка согбенную, но заметную фигуру Витте. Он одиноко расхаживал по кулуарам, с видом опального сановника, который при всяком удобном случае напоминал всем о славном своем былом и беспощадно критиковал все настоящее. Случалось, что и он, как бы нехотя, подымался на трибуну, и при общем внимании, своим глухим голосом давал едкие советы одиозному для него Столыпинскому правительству. В общем, его выступления производили скорее жалкое впечатление. Былой руководитель всей государственной жизни Империи, творец Портсмутского мира и российской конституции, казался уставшим, выдохшимся, «бывшим» человеком, выдающиеся способности которого были всецело поглощены недовольством и злобой против всего окружающего. Все невольно сторонились от его неприветливой и «фатальной», как многие говорили, костлявой фигуры.

С неослабным вниманием всегда выслушивали выступления острого и интересного А.Ф.Кони, проповедника высшего гуманизма и строгой законности.

Витте и Кони принадлежали к «беспартийным», также как популярный в дореформенную эпоху своими красноречивыми

выкриками о «свободах» бывший Орловский Губернский Предводитель Дворянства – Михаил Александрович Стахович – в описываемое время занявший позицию умолкшего певца... Лишь изредка раздавался его слегка гнусавый голос, слабо отзывавшийся в умах, тем более – сердцах уравновешенных слушателей Мариинского Дворца.

Осталось мне еще сказать несколько слов об ораторских силах левой «академической» группы. В первую голову, конечно, вспоминаются громогласные и многоречивые выступления несомненно талантливого Максима Максимовича Ковалевского, чрезвычайно увлекавшегося в своем красноречии. Бывали нередко случаи, когда сидевший над ораторствовавшим Максимом Максимовичем председатель, хмурый Акимов, не выдерживал и прерывал разглагольствовавшего во всю силу своих объемистых легких профессора.

В общем, в речах «академистов» Государственный Совет практического для дела государственного управления мало что находил, несмотря на частые с их стороны попытки увлечь собрание своими красноречивыми выступлениями.

Лично я выступал только в комиссиях и лишь однажды, «задетый за живое», я попросил слова, причем, вопреки запрету председателя, я успел высказаться с места, за что подвергся ворчливому замечанию раздражительного Акимова.

Случилось так, что граф Д.А.Олсуфьев в одной из своих речей по поводу землеустроительных работ, сослался на данные, сообщенные ему мною, назвав и мою фамилию. Присутствовавший при этом П.А.Столыпин выступил с обширными объяснениями и возражениями. Коснувшись Олсуфьевской речи, он горячо протестовал против, высказанных им выводов, не заслуживавших, по его мнению, серьезного со стороны «Высокого Собрания» внимания, «хотя бы на том основании, что таковые

являлись в итоге цифровых данных, исходявших из совершенна частного, неофициального источника»...

Между тем, сообщенный мною графу Олсуфьеву цифровой материал я взял именно из официального правительственного учреждения, – из Самарской Губернской Землеустроительной Комиссии. После слов Столыпина по поводу сомнительности сообщенных мною Олсуфьеву цифровых сведений, последний вскочил и, оглянувшись на меня, сидевшего по своему обыкновению сзади всех, стал делать недоумевающие жесты, показывая рукой на Столыпина. Многие из членов Государственного Совета тоже стали оборачиваться в мою сторону. Я всем своим нутром почувствовал, что молчать далее нельзя, и что я обязан немедленно, во всеуслышание, выступить с опровержением Столыпинского, касавшегося меня, заявления. Я встал и выразил желание «высказать несколько слов по личному вопросу»...

Председатель мне это разрешил. Я собирался говорить с места, но не успел раскрыть рта, как Акимов потребовал, чтобы я взошел на кафедру. Идти через огромную залу, торжественно подниматься на высокую трибуну ради десятка слов, мне казалось столь неуместным, что я стал просить председателя предоставить мне возможность кратко высказаться с места. Он был неумолим... Тогда я, возвысив голос и стоя за своим креслом, успел во всеуслышание заявить, что, вопреки предположениям Министра, все цифровые данные, сообщенные мною графу Олсуфьеву, взяты целиком из подведомственного ему же, Столыпину, Губернского Самарского учреждения, и могут быть мною предъявлены собранию по первому требованию. Сказано это было кратко и громко. Мои слова все в зале явственно услышали, несмотря на вторивший мне ворчливый голос не на шутку рассердившегося председателя. Но более всего раздражен был про-

тив меня сам виновник моего немногоречивого протеста – Столыпин. Он резко изменился в лице и вскоре быстро покинул заседание.

Надо сказать, что насколько ранее – до моих выступлений в Совете по Делах Местного Хозяйства с откровенной критикой волостной и, в особенности, уездной реформы и до моего вступления в правую группу Государственного Совета, Петр Аркадьевич относился ко мне тепло и внимательно, настолько потом он заметно не только охладел ко мне, но стал выказывать явную недоброжелательность.

Осталась у меня в памяти одна необычная беседа с М.Г.Акимовым. Он как-то раз откровенно разговорился со мною и, к немалому моему изумлению, сообщил следующий факт: в одном из своих думских выступлений Столыпин вскользь сослался на то, что «на своем пути преобразования сельской России он немало встречает препятствий со стороны некоторых членов Верхней Палаты». Заинтересованный этим намеком, Акимов, при ближайшей встрече с премьером, просил откровенно указать, кого разумел он под этими «некоторыми» членами Государственного Совета. Столыпин тогда назвал в первую голову мою фамилию, причем позволил себе сказать, будто Наумов, «пользуясь благоволением к нему Государя, своей отрицательной критикой вносимых им, Столыпиным, законопроектов по реорганизации местного управления оказывает на высшие сферы чрезвычайно неблагоприятное влияние»...

С тяжелым сердцем выслушал я этот рассказ Михаила Григорьевича, усмотрев в нем лишь все более и более развивавшиеся у Столыпина за последний период его властвования острые признаки болезненно взвинченного самолюбия. Моя совесть оставалась совершенно спокойной. Я никогда и в помыслах не

имел восстанавливать Государя против необходимости улучшения помещного и административно правового и хозяйственного уклада, а иногда высказывал Его Величеству, в сдержанной форме, свои взгляды, которые мною открыто исповедовались на заседаниях «преддумья».

Личности Столыпина я никогда в разговорах с Государем не касался. Мы с Акимовым при дальнейшей нашей откровенной беседе искали объяснение обидному для меня поведению Столыпина, к которому лично я, несмотря ни на что, был всегда искренно расположен, или в том, что Его Величество не в соответствующем смысле понял мои замечания по поводу осуществления местных реформ, или в том особом приподнято нервном состоянии крайней пристрастности и нетерпимости, которое председатель Совета Министров за последнее время обнаруживал при встречах на его «властном» пути критике. Особенно резко это настроение проявилось в марте 1910 года, при обсуждении в Государственном Совете законопроекта о введении «Западного земства». Но прежде чем об этом говорить, я не могу не отметить в своих записях одного памятного события, происшедшего в жизни Самарского дворянства в 1909 году и связанного с пятидесятилетием кончины Сергея Тимофеевича Аксакова.

98

Знаменитый автор «Семейной Хроники» являлся в свое время владельцем земельных имуществ, которые позже отошли из Уфимской в новообразованную в середине прошлого столетия Самарскую губернию. Все прямое потомство Сергея Тимофеевича было внесено в родословные книги Самарского дво-

рянства. Его сын, Григорий Сергеевич, был одно время Самарским Губернским Предводителем Дворянства, а родные внуки – Сергей и Ольга, дети Григория Сергеевича, продолжали и в описываемые мною годы благополучно проживать в своих Бугурусланских и Бузулукских родовых имениях.

Григория Сергеевича Аксакова я не застал в живых и помню лишь его портрет, висевший среди портретов его коллег, в кабинете Самарского Губернского Предводителя Дворянства. Память Григорий Сергеевич по себе оставил самую добрую. Приветливый, доступный и участливый, он отличался ровным со всеми обращением и спокойной рассудительностью. Ум и деловитость перешли от него к дочери – Ольге Григорьевне, а спокойствие и ровность к сыну – Сергею.

Ольга Григорьевна была не замужем. Она отличалась необычайной живостью, неиссякаемой энергией и вела жизнь завязанного сельского хозяина и предприимчивого дельца. Проживая обычно у себя в имении около станции Самаро-Златоустовской железной дороги «Аксаково», где заведовала своим большим кумысолечебным заведением, Ольга Григорьевна довольно часто показывалась в Самаре и бывала занята с утра до вечера нескончаемыми хлопотами по «делам», видимо, требовавшим самых добрых отношений с местными банковскими правилами.

Иного склада и нрава был ее брат Сергей. Во всей его безжизненной фигуре и странном притупленном выражении его неподвижного лица чувствовалось что-то болезненное. Бедный Сергей Григорьевич, действительно, с раннего детства страдал припадками падучей болезни. Сергей Григорьевич обычно проживал в своем имении, редко посещал губернский город, но аккуратно участвовал на дворянских собраниях. Он был человек не только не глупый, но до известной степени даже одаренный,

недурно владевший пером и не мало читавший, но все это у бедного Сергея Григорьевича скрывалось под спудом его нервно подавленной психики.

Возникшую у меня мысль чем-либо отметить в губернии и среди дворянства пятидесятилетие со дня кончины Сергея Тимофеевича Аксакова, как нашего содворянина, поддерживали все мои коллеги по депутатскому столу. Программа предполагаемого культурно-сословного торжества была одобрена экстренным Дворянским Собранием и осуществлена 30 апреля 1909 года – в день кончины великого русского бытописателя.

Чествование его памяти происходило в здании Самарского Дворянства, куда в означенный день съехалось из дальних уездов и прибыло из самого города Самары множество дворян со своими семейными и особо приглашенной публикой, с Губернатором во главе. В присутствии всех этих лиц и представителей Аксаковской семьи, в зале, убранной тропическими растениями и цветочными гирляндами, у подножья большого портрета Сергея Тимофеевича, произнесен был ряд речей и докладов, посвященных писателю и его значению для русской культуры. Я доложил о том, что было предпринято Самарским Дворянством для сохранения родовой Аксаковской вотчины и для устройства при ней образцовой ремесленной народной школы имени писателя. Я довел до сведения собрания последнее, приуроченное к пятидесятилетию, постановление нашего дворянства об основании «Аксаковского Музея», где предполагалось собирать все то, что так или иначе, связано было с именем Сергея Тимофеевича. Это сообщение вызвало шумное одобрение.

Под музей дворянство решило отвести комнату в верхнем этаже Собрания. Благодаря щедрому дару внуков писателя, сразу было заложено ценное основание музею. Ольга Григорь-

евна Аксакова передала в собственность музея богатую коллекцию собственноручных писем ее знаменитого деда, хранившихся у нее после смерти ее отца. Первоначально их было 318, и затем дополнительно было от нее же получено еще около ста подлинников.

Сергей Григорьевич пожертвовал несколько предметов очень ценных: диван, принадлежавший Сергею Тимофеевичу, на котором обычно отдыхал наезжавший гостить к нему Н.В. Гоголь, старинной работы деревянную шкатулку со всевозможными внутренними ящичками и секретными отделениями, служившую любимой игрушкой «Багрова внука» в дни Уфимского его пребывания и, наконец, принадлежности для уженья, каким-то чудом сохранившиеся со времен старика – деда Аксакова. Стены музея были украшены его старинными масляными и акварельными портретами, а также и портретами некоторых его семейных, тоже полученными мною из рук Ольги и Сергея Аксаковых. Они присутствовали на чествовании памяти их славного деда, и я от имени всего дворянства горячо поблагодарил их за ценные пожертвования.

Торжество завершилось концертным отделением, где была исполнена талантливо сочиненная Я.Я.Карклиным специально для описываемого дня музыкальная хоровая ода «Слава Аксакову».

С началом Великой Европейской войны 1914 года, в помещении «Аксаковского Музея» был мною открыт новый отдел для собирания всего, что касалось Самарских дворян, которые сражались в рядах нашей армии. В этот отдел направлялись письма с фронта, разные походные вещи, принадлежности боевых снаряжений, захваченные с поля битв. Ввиду значительного накопления рукописей и предметов этого военного отдела, я имел намерение впоследствии отвести, рядом с Аксаковским

музеем, особое помещение, но обстоятельства оторвали меня от предводительского служения, а затем революционное лихолетье не только не дало возможности продолжить начатое, но уничтожило все с трудом накопленное.

99

10-го февраля 1910 года, в бытность мою в Петербурге, я получил скорбную весть о внезапной кончине в г. Бердянске брата моего Николая. Пришлось бросить все занятия и спешить через всю Россию, с севера на юг, чтобы успеть отдать последний долг близкому человеку и посильно утешить его осиротевшую семью.

Несколько лет прошло с тех пор, как брат Николай вернулся в Россию из Иркутска, облюбовал для своего проживания чистенький, уютный городок Бердянск на Азовском побережье, купил там небольшой домик особняк с садиком, и поселился там со своей супругой Катей и двумя черненькими, как жучки, малышами сыновьями Сережей и Колей.

Подорванное всем прошлым здоровье брата лечению плохо поддавалось. Из года в год припадки грудной жабы учащались. В конце концов, 10-го февраля 1910 года, жизнь бедного Николая навсегда оборвалась. Я застал его в гробу. Похоронили его на загородном бердянском кладбище, расположенном на прибрежной горе, с которой открывался превосходный вид на город, утопавший в зелени, и на далекий морской простор.

Благодаря содействию близкого друга покойного брата, симпатичного г. Фуки, местного коммерсанта средней руки, мне удалось быстро привести в порядок дела брата, установить опеку и посильно успокоить осиротевших семейных. Впослед-

ствии Фуки фактически нес все опекунские обязанности и следил за воспитанием и обучением обоих мальчиков в местной гимназии.

Прошли тихие времена, настали грозные, революционные. Мать умерла. Племянники мои, Сергей и Николай, превратились в взрослых юношей. Междоусобная, «бело-красная», братоубийственная война вовлекла их в свой ужасный водоворот. Старший – Сергей оказался в белой Добровольческой армии и прошел с ней весь ее крестный путь, вплоть до Галлиполи и Бизерты. Впоследствии мне удалось ему помочь и водворить его в Загребе, где он принялся усердно за службу в российском консульстве и приобрел доверие у начальства и клиентов. Другой мой племянник – Николай, остался в Совдепии и, по слухам, служил в рядах Красной армии. О нем ни Сергей, ни я ничего не знаем.

100

В марте месяце того же 1910 года, по возвращении моем из Бердянска, в жизни законодательных палат произошло из ряда вон выходящее событие. В неземских северо- и юго-западных окраинных губерниях, по существовавшему временному законоположению, представители в Государственный Совет избирались не от земских собраний, а от особых съездов землевладельцев. При первых выборах, в их состав, за единичными исключениями, попали лица не русской национальности, а польского происхождения, образовавшие в группе «центра» т.н. «Польское коло».

По этому поводу среди местных русских землевладельческих кругов, обойденных этими выборами, зародилось серьезное недовольство, которое вылилось в представленном Д.И.

Пихно Государственному Совету законопроекте, видоизменявшем избирательный порядок в смысле, благоприятном для русских землевладельцев западных губерний.

При обсуждении этого вопроса в Общем Собрании, Столыпин высказался против принятия проекта Пихно, сославшись на то, что существующий порядок выборов в западных губерниях носит лишь временный характер, и что, с введением в них Земского Положения, избрание членов Государственного Совета будет производиться в нормальных условиях на земских собраниях. Столыпин добавил, что законопроект о введении Земского Положения в северо- и юго-западных губерниях будет им внесен в ближайшем будущем.

Государственный Совет предложение Пихно отклонил. Вскоре правительство действительно внесло в Государственную Думу обширный законопроект о введении особого Земского Положения для упомянутых окраинных губерний. Он был составлен в высшей степени тенденциозно, с явной предвзятой мыслью отстранить польское и крестьянское население, предоставив преимущественные избирательные права исключительно лишь крупным русским землевладельцам.

Одним словом, в этом не столько искусно, сколько грубо искусственно сфабрикованном в Министерстве Внутренних Дел законопроекте, бесцеремонно и бестактно выявились похвальные по существу, но не ладные по способу их осуществления, основные идеологические принципы, которые сверх всякой меры «захлестывали» Столыпинский ум и нрав в последний период его управления: т.е. служение русскому «национальному» делу и т.н. «ставка на сильных».

«Нейдгардтцы», само собой, предприняли все для благополучного прохождения законопроекта в Государственном Со-

вете. В Нижней Палате он был одобрен незначительным большинством голосов, но в Государственном Совете, даже в группе «центра», обычно склонной согласовать свои решения с Думой, не нашлось достаточно лиц для поддержки его на общем собрании. Их удержали общие соображения, касавшиеся самого существа предложенного Правительством выборного порядка, который мог вызвать, острую национальную вражду между русскими и поляками

Что касается «правой» группы, то большинство ее членов тоже баллотировало против «Столыпинского» западного земства, частью по тем же соображениям, частью же по мотивам высшей государственной политики, считая введение земских учреждений в окраинных западных губерниях, ввиду их исключительного положения, нерациональным.

В общем итоге, при голосовании в Верхней Палате означенного законопроекта, получился полный провал, и Столыпин тотчас же подал Государю Императору прошение об отставке, причем оговорил, что он может остаться на своем посту, если встретит со стороны Его Величества поддержку, в смысле немедленного проведения в жизнь западного земства в том виде, как он его спроектировал, невзирая на отрицательное голосование в Государственном Совете.

Первое время Государь отнесся к заявлению своего Премьера как бы безразлично и уговаривать Столыпина оставаться в его должности не стал. Еще в предшествовавшем 1909 году, после того, как Его Величеством не было утверждено голосование обеих законодательных палат, которые, вопреки прямого смысла основных законов, рассматривали штаты Морского Генерального Штаба, Столыпин был поставлен в крайне неловкое перед Короной, положение и вынужден просить у Государя отставки. Но тогда Его Величество его удержал, и тем выявил свое

прощение Петру Аркадьевичу за допущенную служебную ошибку принципиального значения. В данном же случае, Столыпинский жест протеста против голосования Верхней Палаты не вызвал со стороны Государя того же сочувствия. Если б не энергичное вмешательство Великих Князей Николая и Александра Михайловичей, а, в конце концов, и самой вдовствующей Императрицы Марии Федоровны, настаивавших перед Государем на необходимости во что бы то ни стало оставить Столыпина на занимаемом им посту, отставка последнего была бы принята. Возможно, что это отозвалось бы положительно на дальнейшей карьере и деятельности Петра Аркадьевича, который смог бы во всем объеме сохранить свой авторитет и ореол для последующей своей государственной деятельности.

Но события, к сожалению, приняли совершенно иной оборот. Под натиском упорных советов вышеупомянутых Августейших лиц, связывавших с личностью Столыпина целостность государственного порядка и политическое оздоровление страны, Государь изменил свое первоначальное отношение к прошению Премьера об отставке, и настойчиво просил Петра Аркадьевича оставаться на своем посту.

Досадно вспоминать, до чего эгоистически бестактно и в государственном отношении неразумно Столыпин, не сумевший справиться с охватившими его мстительными личными чувствами, отнесся к милостивому настроению уступчивого Государя.

Поведению Премьера немало содействовал его ближайший советник – Алексей Борисович Нейдгардт, от которого в дни «торга» Столыпина с Государем я слышал обо всех подробностях переговоров в Царском и о настроениях близкой ему Столыпинской среды.

Видя создавшуюся в высших сферах благоприятную для него обстановку, Петр Аркадьевич ее использовал, чтобы поставить Государю ряд условий, при наличии которых он соглашался оставаться на посту Председателя Совета Министров. Первым условием был немедленный роспуск обеих законодательных палат сроком на три дня, чтобы в этот промежуток времени, в порядке 87 ст. Основных Законов, ввести в действие свой проект Западного Земства. Следующим условием Столыпина явилось то, что он предъявил Его Величеству свое требование о немедленном увольнении в отпуск до 1 января 1911 года двух членов Государственного Совета – Петра Николаевича Дурново и Владимира Федоровича Трепова, которых он подозревал в наибольших против себя интригах, в частности, против внесенного им земского законопроекта.

Переговоры Царя с Премьером, или «кризис власти», как тогда говорили, тянулись довольно долго – почти целую неделю. В конце концов, Государь уступил, и оба упомянутые условия, ультимативно предъявленные Столыпиным, были исполнены, ошелобив своей необычностью и явной бесцеремонностью решительно всех – «от мала до велика»... Для самого же Петра Аркадьевича произведенный им «надлом» над Царской волей и убеждениями большинства членов Верхней Палаты оказался той «Пирровой победой», после которой начался закат его славы, служебного успеха, благоволения к нему высших сфер и уважения рядовых государственных политических деятелей.

Правда, Столыпин остался у власти, но какою ценой?! Выторгованные у Государя «кондиции» носили, по мнению большинства здравомыслящих людей, характер несомненного злоупотребления Высочайше дарованной конституционностью, как применения исключительного положения по 87 ст. Основ-

ных Законов к насильственному проведению в жизнь законопроекта далеко не первостепенной и не исключительной важности. Вместе с тем, те же условия, предъявленные Столыпиным, укрывшимся за спиной Государя, явились в его руках грубым издевательством над лицами, носившими высокое звание членов Законодательной Палаты, когда их по Государеву указу выпроводили из стен Мариинского Дворца в непрошенный отпуск.

В результате создалось совершенно неожиданное и очевидно для самого создателя всех этих пертурбаций никак непредвиденное общественное настроение. Столыпин, подвергший двух своих главных недругов, двух членов Государственного Совета, Высочайшему остракизму, достиг того, что провожать одного из них – наиболее ему ненавистного – Петра Николаевича Дурново на заграничный вокзал съехался чуть ли не весь Государственный Совет и масса думских депутатов от всех политических групп, за исключением, конечно, «Нейдгардтцев».

Покидавшему столицу и вместе с ней Верхнюю Палату, «опальному» лидеру правых устроены были внушительные сочувственные проводы. Ему поднесли иконы, были произнесены напутственные речи, раздавшиеся даже из уст «академистов».

Несмотря на двадцать лет, истекших после описываемого события, с поразительной ясностью встает в моей памяти момент, когда Самарские депутаты, в день роспуска Палат, сошлись у меня в номере Европейской гостиницы на «экстренное» земляческое собрание, для обмена мнениями и впечатлениями по поводу свершившегося столь неожиданно для всех «Столыпинского самосуда».

Входили в этот раз мои земляки ко мне не с обычным жизнерадостным видом и бодрыми приветствиями, но с угрюмым

обликом людей, чем то пришибленных и сконфуженных. Молча пришли Самарцы и безмолвно расселись за круглый стол, за которым во время наших земляческих бесед мы обычно усиленно занимались чаепитием.

Разговор не вязался. Всем было не по себе. Раздавались отрывочные незначащие фразы. Никто, видимо, не хотел затронуть свеженанесенной всем нам, участникам законодательных работ, глубокой и обидной для нашего личного и государственного самолюбия раны. Все точно старались умалчивать о прискорбном поведении лица, к которому наше землячество до тех пор питало чувства глубочайшего уважения. Внутри нас, как потом оказалось, одновременно зародилось жуткое чувство стыда за все происшедшее, за того же Столыпина, который пошел на столь позорный для него шаг, и наконец, за нас самих, превращенных им в каких-то жалких провинившихся школьников, на три дня выгнанных из училища.

В качестве обычного председателя наших земляческих собраний, я собирался затронуть злободневный вопрос, но ни я сам, ни мои земляки не были в состоянии хладнокровно говорить о «Столыпинских» действиях. Слишком мы все были охвачены чувством полной растерянности перед столь бесцеремонным экспериментом над новым конституционным строем. Все находились под гнетом возмущения и разочарования в личности ответственного руководителя правительственной политикой. Один из присутствовавших чуть не со слезами на глазах воскликнул: «когда подумаешь, что из-за какого-то ничтожного законопроекта прихлопнули только что зародившиеся на Руси государственные законодательные учреждения, как последних мальчишек повыгнали из них почтенных государственных му-

жей?! стыдно за бывшего Столыпина за наше опороченное звание... за Россию! Хочется от всего этого позорного кошмара куда-то скрыться».

Понуро и молча, Самарцы быстро, один за другим, разошлись с нашей необычной «экстренной» беседы...

Я, как говорится, – «места себе не находил». Ощущал, где бы ни появлялся, какую-то несвойственную мне неловкость.

Оставаться в Петербурге было тошно, ехать в Самару того хуже. Я решил отвести душу поездкой на Крымское побережье, где я лет десять не был. Через двое суток я очутился в залитом благодатным солнцем Севастополе, где, благодаря любезному содействию адмирала Бострема, я провел несколько интереснейших дней, осматривая новые крепостные сооружения, подробно знакомясь с судами черноморского флота, и впервые имея возможность близко видеть только что зарождавшееся у нас военно-авиационное дело.

Из Севастополя, по дороге в Ялту, я заехал в памятный для меня во многих отношениях Форос, потом, не торопясь, объехал за две недели все мои излюбленные места вдоль шоссе пути на Ялту, где я остановился на несколько дней, наметив из нее прямо направиться в обратный путь на Севастополь-Петербург.

Не успел я занять отведенный мне в гостинице «Россия» номер, как, вместе с багажом, появился передо мной плотный, с типичной мясистой физиономией и карими большими, смышленными глазами татарин, оказавшийся по профессии комиссионером. Пришел этот «Асан» не только развлекать меня разными городскими новостями и сплетнями: он имел также в виду заинтересовать меня своими предложениями покупки «знаменитых» дач по «небывало дешевой» цене. Делать было

мне нечего, и я охотно согласился на совместные с ним поездки по разным направлениям Ялтинских живописных окрестностей.

Между прочим, было мною также осмотрено чудное прибрежное имение «Селям» с пляжем, набережной, превосходным домом, подвалом и большим пространством под великолепно содержащимися виноградниками, принадлежавшее графу С.В.Орлову-Давыдову и продававшееся в то время сравнительно за бесценок. Вообще цены тогда стояли низкие, и лишь в последующие годы начался их бешеный подъем, благодаря усилившемуся наплыву приезжавших из России лиц, желавших приобретать участки на Крымском побережье. К этому же времени относятся частые наезды из северной резиденции в благодатную Ливадию Государя со всей Его Августейшей Семьей, что также привлекало столичных жителей, спешивших поселиться вокруг Ялтинского района.

Объезжая на автомобиле с словоохотливым Асаном живописное побережье, под предлогом осмотра рекомендуемых им дач, мы однажды заехали в Гурзуф, который мне и ранее всегда очень нравился и около которого по ту сторону т.н. «Генуэзской скалы» татарин обещал показать мне что то «особенное»...

Он привез меня на продававшуюся дачу под названием «Гурзувитта». Расположенная у подножья Генуэзской скалы, бывшей крепости, примыкавшая широким собственным пляжем непосредственно к морю, она меня так очаровала, что я долго не мог сойти с балкона поместительного двухэтажного дома, и не сводил восхищенного взора с открывшейся перед моими глазами изумительной панорамы.

Подошел сосед «Гурзувитты», Дмитрий Иванович Первущин, который близко принимал к сердцу вопрос об ее продаже,

будучи заинтересован иметь у себя под боком подходящего для него «доброго» соседа.

В Ялту я вернулся под сильным впечатлением «Гурзувитты». Цена, запрошенная с меня за нее, показалась мне столь баснословно низкой, что на следующее же утро я передал Асану свое решение эту дачу приобрести. Хозяйка «Гурзувитты» – курская помещица княгиня Кавкасидзе – с продажей торопилась. Да и у меня время было на исходе. Я послал ей срочную телеграмму о моем решении. Цена была объявлена 45.000 рублей за все – за дом, службы, землю (около полуторы десятины) с большим пляжем, виноградниками и прочими насаждениями. Главное же удобство для меня состояло в том, что, купив «Гурзувитту», я для себя не создавал никаких новых хлопот. Дом был исправен, весь обставлен хорошей мебелью, все жизненные удобства были тоже налицо, благодаря близости Гурзуфского курорта (церковь, почта, телеграф, врачебная помощь, базар, извозчики и пр.). Я дал приказ нашему московскому доверенному произвести с владелицей расчет и совершить нотариальную сделку на имя моей жены. Я надумал сделать ей к Пасхе приятный сюрприз, преподнести ей, вместо красного яичка, крымскую дачу «Гурзувитту».

Нежданно, негаданно – в результате Столыпинского «разгона» г.г. российских законодателей, – я приобрел в Крыму небольшое, но исключительное по своей красоте и ценное по своему местоположению имение, вблизи двух южнобережных известных курортов – Гурзуфа и Сууксу, осуществив тем самым заветную и давнюю нашу с Анютой мечту.

Став хозяином «Гурзувитты», я обработал свой участок и имел в виду в дальнейшем приступить к перестройке дачи. Европейская война этому помешала, и «Гурзувитта» осталась та-

кой, как я ее застал в 1910 году. Она оказалась для всей многочисленной нашей семьи, в тяжкое революционное лихолетье 1917-1920 г.г., незаменимым кровом. Она дала нам домашний уют и хлеб насущный, в виде обильных плодовых и огородных урожаев, которые нас питали во времена полного нашего материального оскудения.

«Гурзувитта» оказалась тем последним небольшим, но драгоценным кусочком родной русской земли, за который мы цепко держались, пока девятый вал безудержной революционной стихии не смыл всех нас, выкинув сначала в Стамбул, а затем перекинув наши беженские тела на юг далекой Франции..

101

По возвращении своем в Петербург, я застал занятия в обеих законодательных палатах как бы нормально наладившимися. Но это была одна видимость. Во всех сферах государственно общественной жизни столицы, даже среди правительственных кругов, ощущался надлом, реакция после всеми пережитого острого нервного подъема.

Настроение у большинства моих коллег и думских депутатов наблюдалось подавленное, вялое и малодеятельное. Во взаимоотношениях Государственного Совета, Думы и правительства чувствовалась некоторая натянутость. Сам виновник трехдневного разгона законодательных палат тоже утерял свою былую позицию бесспорного морального авторитета... Западное земство было введено, Дурново с Треповым удалены, палаты вновь собраны..., но прежнего Столыпина в России не стало. Сознание это сделалось общим. Им проникся, видимо, и сам Государь, заметно изменившийся в своем отношении к Премьеру после вынужденного согласия на пресловутые «кондиции».

Ставка на «национальность», в том виде, как она была проявлена Столыпиным, когда он насильно провел в жизнь законопроект о Западном земстве, на мой взгляд, имела со-вершенно обратное действие и не способствовала поддержанию национальной мощи Российской Империи.

Вместо того, чтобы взять в свои властные руки инициативу всемерного содействия в деле ознакомления разноплеменного населения страны с положительными свойствами и историческими заслугами русского народа, который сумел создать вокруг себя обширное российское государство; вместо того, чтобы употребить все усилия для сближения всех народов Империи с господствующим русским народом, путем насаждения между ними взаимного уважения и постепенного создания народности общероссийской, Столыпин действовал насильственно, грубо, прямолинейно, как проводил в жизнь свою земельную политику – «приказом», а не «показом». Он задался мыслью – «национализировать» страну, «навязывая» все «русское», как в области переустройства общинного землепользования «приказывал» всем сразу превращаться в индивидуалистов собственников, упуская из виду народное мудрое изречение, что «насильно мил не будешь».

Большинство Государственной Думы третьего созыва принимало Столыпинские воззрения и мероприятия. Параллельно с «Нейдгардтской» группой Государственного Совета, в Думе образовалась «Национальная» партия, привлекавшая к себе часть депутатов, ранее входивших в состав «правой» думской группы, а также некоторое количество перешедших «октябристов».

Главным основателем и вдохновителем этой новопоявившейся партии, официальным председателем которой числился депутат Балашев, был член Государственной Думы от Бессараб-

ской губернии – Павел Николаевич Крупенский. Павел Николаевич отличался необычайной живостью, энергией и изобретательностью. Он первый разузнавал свежие новости и сплетни. В случае парламентских осложнений он был посредником при всяческих согласительных комбинациях и переговорах. Павел Николаевич считался «Думским церемониймейстером» и во время баллотировочных процедур незаменимым счетчиком шаров, не имевшим себе равных по ловкости и быстроте костлявых проворных рук.

Образовавшаяся в 1909 году «Национальная» думская группа, куда перешел от, «октябристов» один из наших Самарских депутатов – В.Н.Львов, являлась основной опорой правительственной политики времен Столыпинского премьерства, а их лидер – Крупенский служил лицом, через посредство которого Столыпин получал подробную информацию обо всем, что думалось, говорилось и творилось в стенах Таврического Дворца. Роль означенной партии, так же, как и «Нейдгардтцев» в Верхней Палате, особенно ярко обозначилась в связи с провалом в Государственном Совете законопроекта о Западном Земстве.

К этому же времени надо отнести увядание одного общественного учреждения, возникшего в самом начале 1910 года на почве проявлявшегося в обществе подъема того «национального духа», который, к сожалению, понимался тогда каждым по-своему. В этом и крылась основная причина недолговечности упомянутого учреждения, носившего название «Всероссийского Национального Клуба», – он просуществовал не более года.

В числе учредителей и старшин этого клуба был член Государственного Совета князь Борис Александрович Васильчиков, князь Павел Павлович Голицын, член Государственного Совета

и Новгородский Губернский Предводитель Дворянства, Алексей Борисович Нейдгардт, Павел Николаевич Крупенский и другие – всего двенадцать человек, среди которых значилось и мое имя.

Председателем Совета Старшин состоял князь Васильчиков, а заместителем его был князь П.П.Голицын. Клуб занимал великолепное помещение на Литейном проспекте, в богатом особняке, принадлежавшем Шталмейстеру Павлу Владимировичу Родзянко, родному брату Председателя Государственной Думы. В основу деятельности возникшего учреждения было положено стремление объединить всех лиц, сочувствовавших делу укрепления и развития национального самосознания в населении России. В первую голову, было принято решение всемерно содействовать широкому распространению всех сведений об истории образования и роста российской государственности.

Я внес в Совете Старшин предложение об организации при содействии клуба и местной сословной земской общественности «Национальных Университетов», в противовес «Народным Университетам». Они стали неудержимо размножаться по всей Империи и в большинстве случаев являлись очагами антигосударственной пропаганды. Я считал делом пер-востепенной государственной важности приступить к широкому ознакомлению народных масс с отечествоведением, с главными историческими этапами образования российской государственности и с доблестными страницами жизни русского народа, имевшего право гордиться своими славными подвигами и героическими заслугами.

Необходимо было возможно скорее вырвать темный и неосведомленный о своей родине народ из рук лиц, которые ради своих узких партийных политических целей, представляли ему

и его самого и его официальных руководителей в ложном свете, стущая краски, подтасовывая факты, развращая народную душу и заглушая национальное самосознание. Из всего прошлого русской истории эти революционные воспитатели и профессора выбирали, тенденциозно компилировали и подносили для поучения слушателей «Народных Университетов» все то отрицательное, что может быть и происходило, но при беспристрастной оценке исторического прошлого русского государства – исключительной и преобладающей роли играть ни в коем случае не могло. Темные стороны чередовались с событиями, которыми вправе была бы гордиться наша родина, да и любая западноевропейская страна. В целях восстановления в народе здорового национального чувства и подъема, я предложил организацию, под именем «Национальных Университетов», общедоступных просветительных рассадников.

Подобное ознакомление послужило бы действительно и прочным средством к насаждению среди самих русских сознания их национального величия, а для инородческих племен оно могло бы вызвать уважение к основному государственному русскому ядру, которое в конце концов должно было перейти в общероссийское или общеимперское национальное сознание. Это и было бы тем «показом», а не насильственным «наказом» – «любить Россию», которое отличало нас от «националистов» модного покроя, размножившихся, как грибы, в последние годы Столыпинского премьерства.

Моя идея встретила среди Старшин Клуба общее сочувствие. Мною предполагалось дело это поставить на широкую и прочную ногу. Я имел в виду привлечь многочисленный кадр выдающихся лекторов, при содействии которых намечалась выработка систематического плана отечествоведения в самом разностороннем его понимании и освещении.

Предполагалось также для большей завлекательности и наглядности использовать театральные учреждения, главным образом, обширные сцены народных театров, и поставить серию пьес исторического содержания.

В тех же целях, я предложил использовать новейшее могучее средство образовательного и морального воздействия на людские массы – величайшее парижское изобретение бр. Люмьер – синематограф. Я поднял также вопрос о монополизации синематографа для его использования в целях отечественного и народного воспитания.

К немалому сожалению, всем этим предположениям... не суждено было осуществиться из-за разномыслия в понимании «национализации России», которое с особой силой обострилось после перипетий, связанных с историей Столыпинского Западного Земства.

Ко всему этому присоединился факт принятия, далеко не единогласного, в состав старшин Национального Клуба известного Нововременского талантливый публициста М.О.Меньшикова. Он тотчас же разразился обширной цинично-боевой газетной статьей, в духе крайней непримиримости ко всему инородческому, с призывом к «насильственной» в спешном порядке «национализации» Империи.

Эффект этой статьи получился самый неожиданный для националистов Столыпинского толка и, конечно, крайне печальный по своим последствиям. На другой же день после Меньшиковского «национального приказного выкрика», в том же «Новом Времени», появилось письмо за подписью всех членов Государственного Совета из прибалтийских немцев (бар. Деллинсгаузена, гр. Рейтерна и др.), высказывавших свое возмущение по поводу вызывающего содержания статьи Меньшикова и заявивших о своем выходе из партии «правого центра»

Государственного Совета, возглавляемой Алексеем Борисовичем Нейдгардтом. Они пояснили, что не могут оставаться участниками в той политической группировке, где председателем является лицо, входящее в состав Совета Старшин того Всероссийского Национального Клуба, где числится и Меньшиков.

Само собой, «зоологический» национализм рьяного Нововременского публициста пришелся также не по вкусу многим из учредителей Клуба. Бестактное, и в государственно-российском отношении неразумное, выступление Меньшикова послужило как бы провокационным средством для выявления взглядов клубных старшин на дело развития национального народного самосознания и общеимперского объединения страны. Обнаружился непримиримый раскол. Руководители Совета – князя Васильчиков и Голицын придерживались компромиссных течений. Из старшин наиболее идейные люди стали один за другим выходить. Не прошло и года, как большое, живое и разумно государственное начинание совершенно расплылось и заглохло навсегда. Меж тем в начальный – если можно так выразиться – «до Меньшиковский» период расцвета жизни клуба, великолепный особняк на Литейном проспекте привлекал к себе множество столичного люда, принадлежавшего большей частью к законодательным и правящим сферам, сходявшегося в обширном, богато отделанном помещении для дружеских беседований, а иногда и для того, чтобы послушать хорошую музыку.

102

Бывая в Петербурге я пользовался широким гостеприимством члена Государственного Совета князя Александра Дмитриевича Оболенского, и не раз проводил в его доме интересные

вечера, обычно заполненные музыкальными номерами с чрезвычайно разнообразной программой, вплоть до выступления сохранившихся еще на нашем далеком севере гусяров.

Князь А.Д.Оболенский был товарищем председателя Императорского Музыкального Общества, председательницей которого состояла ее Высочество принцесса Елена Георгиевна Саксен-Альтенбургская. Волею судеб и мне впоследствии пришлось принимать участие в заседаниях управления Общества, которые обычно происходили в Каменноостровском Дворце ее Высочества, богато обставленном мебелью и бронзой в стиле «Ампир» исключительной красоты и музейной ценности. Одноэтажный и широко раскинутый среди роскошных цветников и обширного сада, дворец этот был резиденцией Императора Александра Первого во время Наполеоновского нашествия и местом его пребывания в последние дни перед отъездом из столицы на юг, в Таганрог.

Высокая, статная, с красивыми тонкими чертами выразительного породистого лица, принцесса Елена Георгиевна отличалась приветливостью, простотой и скромностью в обращении со всеми ее окружавшими. Чуткая и одаренная, она с редким тактом и искренним воодушевлением объединяла вокруг себя выдающиеся музыкальные силы столицы. Происходившие под ее высоким председательством заседания Императорского Музыкального Общества отличались большим подъемом и деловитостью.

Помимо Оболенского ближайшими сотрудниками принцессы являлись другой член Государственного Совета Василий Иванович Тимирязев и братья Сомовы, видные музыкальные меценаты, создавшие у себя в г. Воронеже музыкальную школу, превращенную впоследствии в консерваторию.

В Самаре тоже в период 1907-1910 г.г. были основаны сначала музыкальные классы, которыми руководил талантливый артист Яков Яковлевич Карклин, обладавший превосходным тенором и солидным музыкальным образованием. Со временем, эти классы превратились в многолюдную школу, директором которой он продолжал состоять. Одновременно в Самаре было открыто отделение Императорского Музыкального Общества, председателем которого избрали меня, в силу чего я мог присутствовать на правах члена на заседаниях столичного Главного Управления. Как в Воронеже, так и в некоторых других местах России, включая Самару, предположено было музыкальные школы постепенно преобразовывать в консерватории, но война 1914 года помешала этому осуществиться.

В 1910 году правительство особенно усердно подгоняло землеустроительные работы. Это была главнейшая ставка самого Столыпина и мерило заслуг всего провинциального ведомственного люда, создававшего на успешности этих мер служебную себе карьеру.

В том же году состоялся торжественный выезд П.А.Столыпиным, совместно с А.В.Кривошеиным, наиболее выдвинувшихся по количеству работ землеустроительных районов.

В первой половине сентября оба Министра посетили также наше Среднее Поволжье, заехали сначала в Симбирск, а затем, между десятым и четырнадцатым сентября, высадились в Самаре, где встречены были многочисленными местными депутациями, включая представителей нашего дворянства и земства.

Во все время своего краткого пребывания в Самаре Столыпин с Кривошеиным имели своей резиденцией путевый пароход, на котором они приплыли с верховьев Волги. В его же просторной рубке состоялся прием всех самарских должностных лиц и депутатов.

Среди целого ряда докладов, Столыпину была представлена записка от Самарского Дворянского Депутатского Собрания по поводу деятельности Крестьянского Банка, Управляющий которого С.С.Хрипунов тут же присутствовал. Самарские землевладельцы считали необходимым обратить внимание высшего начальства на крайне небрежное отношение агентов банка к оценке земли в предлагавшихся имениях. Приведенный в записке ряд цифровых данных с достаточной наглядностью указывал на явное несоответствие этих оценок с действительной стоимостью земли.

Я возбудил, в присутствии столь редких для нашей отдаленной провинции высокосановных гостей, вопрос о сооружении в Самаре Политехнического Института, и к своему удивлению узнал, что в столичных сферах начатое мною дело затормозилось, вследствие присланной в Петербург, через Губернатора Якунина, докладной записки Городского Головы Челышева. Он настаивал на открытии в г. Самаре не Политехникума, а Коммерческого Института. К записке Городского Головы было приложено заключение губернатора, подчеркивавшего неблагоприятное положение финансов в Самарском земстве и в городе, в силу чего Губернатор поддерживал предложение Челышева.

Будучи близко знаком с состоянием местных земских финансов, я, не стесняясь присутствием в рубке Якунина с Челышевым, не мог не высказать Столыпину своего глубочайшего возмущения по поводу поданной ему вышеупомянутой записки и, в особенности, по поводу заключения Губернатора, совершенно не соответствовавшего действительному положению вещей.

Для меня представлялось ясным, что вся эта подпольная деятельность Городского Головы и губернского начальства

направлена была к тому чтобы помешать осуществлению большого просветительного и практически полезного начинания, возникшего по моей инициативе и единодушно поддержанного земствами, не только Самарским, но и всего Приволжского и Приуральского края.

Столыпин, объезжая в сопровождении Кривошеина город, заехал, между прочим, ко мне и любовался нашим домом. Около него, незадолго до приезда Министров, была закончена постройка обширного каменного здания для отделений Крестьянского и Дворянского Банков. Я сильно досадовал на это непредвиденное и уродливое соседство, совсем не гармонировавшее с красивым очертанием нашего особняка. Недаром Столыпин, отойдя с Кривошеиным и Хрипуновым на противоположную сторону улицы, и показывая на эти два смежные здания дал им такое сравнение: «Чистокровная арабская лошадь и вьючный верблюд».

Министры оказали честь и нашему Дворянскому Собранию, посетили его, подробно все осматривали, интересовались выставленными в витрине Высочайшими телеграммами. Особое внимание их привлекло содержание той, где Государь отмечал значение начатого в стране землеустройства. Ко всему, что они увидали в Дворянском Доме, они отнеслись с чрезвычайным любопытством.

Министры зашли в Аксаковский музей, где расписались в книге почетных посетителей. Перед тем как покинуть здание Дворянства, Столыпин и Кривошеин высказали мне свое искреннее удовлетворение от всего ими виденного, заявив, что посещение ими нашего Дворянского Дома оставило у них самое лучшее впечатление. Столыпин добавил: «Самарский Дворянский Дом имеет характер совершенно домашнего уюта... в нем

чувствуешь себя «so gemuetlich»!... Прощаясь со мной, Петр Аркадьевич промолвил памятные для меня слова: «Искренне сожалею, что не имею чести состоять Самарским дворянином»...

Город Самара Министров мало интересовал. Все свое время они использовали на объезды окрестных селений, с целью видеть на местах результаты землеустроительных работ. Не только в Самарской губернии, но и в соседних с ней местностях обоим Министрам показывались благодетельные результаты новоизданного землеустроительного закона на встречающиеся на пути хутора и поселки. Они представляли из себя образцовые хозяйства, видимо превосходно оборудованные, полные «изобилия плодов земных» и всяческого экономического благополучия.

Мне рассказывали, как в Симбирской губернии Столыпину, проезжавшему однажды по степной, песчаной местности, пришлось вдруг натолкнуться на ряд нововыстроенных хуторов, около которых на привязи держался многоголовый разнообразный скот, наглядно говоривший о хозяйских достатках новоселов, и, при виде этой картины, несообразной с голой, скудной окружавшей природой, Петр Аркадьевич не выдержал и задал сопровождавшему его Симбирскому Губернатору вопрос, сделавшийся потом достоянием местных служилых кругов: «Не по Потемкинскому ли способу создались все эти новенькие хутора?» Подобная мысль могла зародиться у Столыпина не без основания, так как во многих местах, при демонстрации заезжим Министрам хуторских заселений, бутафория играла немалую роль.

Не обошлось без этого также и в Самарском уезде. Закончив свой объезд, Столыпин поделился со мною своими восторженными впечатлениями, но просил меня откровенно высказать свое мнение по поводу усмотренного им хозяйственного

благополучия виденных им хуторов – являлось ли оно действительно таковым, или лишь кажущимся и специально для министерского приезда подстроеным? В нелегкое положение меня тогда поставил Петр Аркадьевич, – с одной стороны, до меня доходили слухи о готовившейся инсценировке «хуторских достижений», а с другой, – я не мог «подводить» своего ближайшего сословного сослуживца – Самарского Уездного Предводителя... В своем ответе Столыпину я сослался на свою полную неосведомленность в этом деле.

Результатом объезда Самарских хуторов явилось назначение Самарского Уездного Предводителя, графа А.Н.Толстого, сопровождавшего Министров в качестве Председателя Самарской Уездной Землеустроительной Комиссии, – Санкт-Петербургским Вице-Губернатором...

Вспоминая прошлое – ловлю себя на былых своих мыслях, сводившихся к тому, что подобные торжественные наезды Министров ни по краткости времени, ни по характеру и способу осмотра землеустроительных работ, серьезной пользы по существу приносить не могли ни делу, ни его исполнителям, ни самим Министрам.

103

В 1910 году на фоне самарской жизни появилось новое служебное лицо, получившее спустя несколько лет всероссийскую известность. Однажды Губернатор Якунин мне телефонирует, что вместо получившего повышение Кошко, на должность Самарского вице-губернатора – «присылают мне – хрипло и недовольно прозвучал в телефонную трубку Якунинский голос, – какого-то Белецкого... Как слышно – это юркий тип из лавочки князя Мещерского»... Вскоре является ко мне с официальным

визитом мужчина в форменном, застегнутом на все пуговицы, вице-губернаторском сюртуке, с Владимирским крестиком в петличке.

Быстро, на цыпочках, подойдя ко мне, с слегка наклоненной на бок головой и деланной «масляной» улыбкой во всю ширь толстой простоватой физиономии, – господин этот, гнусаво шепелявя, пробормотал: «Честь имею представиться вашему превосходительству – вновь назначенный Самарский вице-губернатор, Степан Петрович Белецкий»... После чего, приподняв локоть, с особым – ему, вероятно, казавшимся светским, изяществом, он принял мою руку, но не пожал ее, как обычно полагается в этих случаях, а лишь почтительно всунул в мою ладонь свои толстые потные пальцы, украшенные многочисленными перстеньками довольно базарного вида... Впечатление получилось у меня пренеприятное, и вообще к новому «вицу» зародилось у меня тогда определенное недоверие.

Дальнейшая манера, с которой Белецкий держал себя, усугубила мое первое впечатление... Обилие комплиментов по моему адресу, подобострастный тон, заискивающая улыбочка, отталкивающее выражение хитро прищуренных, бегающих глаз – все заставляло держать себя с Белецким осторожно.

На службе Степан Петрович проявил себя недюжинным работником, способным быстро ориентироваться в самых сложных вопросах. Должностное усердие его не знало границ – он готов был ночами просиживать за срочными делами...

С самого же начала своего вице-губернаторства Белецкий выказал особые таланты и исключительное дарование в области полицейского сыска. Осведомленность его про мельчайшие детали житейской обстановки лиц, принадлежавших к видным слоям губернского и городского Самарского общества, была воистину изумительная. При этом, для достижения своих личных

целей или служебных выгод Степан Петрович ни перед чем не останавливался и был готов сделать все, чтобы угодить нужным ему лицам, для которых в его лексиконе слова «нет» не существовало.

Уроженец юга, Степан Петрович прошел нелегкий путь, постепенно поднимаясь по чиновничьей иерархической лестнице, пока, наконец, не добрался до вице-губернаторства, чему, как было слышно, способствовал не столько Столыпин, сколь пресловутый кн. Мещерский, почему-то принявший живое участие в судьбе Белецкого. Влияние этого сиятельного «действительного тайного» советника проявлено было не только при назначении Степана Петровича в Самару, но оно же сказалось вскоре и в последующей его карьере, придав последней совершенно необычный и неожиданный характер.

Надо сказать, что, по заведенному порядку, Начальники губерний предоставляли своим вице-губернаторам в их полное распоряжение и руководство Губернские Правления, сосредотачивавшие в себе заведывание всей полицейской частью в губернии. Таким же образом было поступлено и с Белецким.

Вскоре Якунин уехал в отпуск, и временно все управление губернией перешло к Вице-Губернатору.

Месяца через полтора возвращается в Самару В.В.Якунин, и на другой же день заезжает ко мне в полной ярости. По его словам, замещавший его Белецкий натворил ему кучу неприятностей по управлению губернией, главным образом, в Губернском Правлении, где израсходовал все кредиты по содержанию полицейских штатов. «Это не Вице-Губернатор, а чорт его знает что, – кипел красный, как рак, Якунин, – я ему задам! (При этом сыпались херсонские отборные ругательства, мало чем отличавшиеся от поволжских). Столыпину я уже послал донесение, от которого Белецкому не поздоровится! Такому господину нет

места в наших рядах. Я от него отобрал заведывание Губернским Правлением!»

В тот же день заезжает ко мне Белецкий и битый час рассказывает мне, как он хорошо распоряжался в отсутствие Якунина, и какой черной неблагодарностью последний за все это ему отплатил. Закончил Степан Петрович тем, что, предвидя, в силу происшедших у него с Якуниным недоразумений, возможность оставления им государственной службы, он обращается ко мне, как человеку, имеющему многочисленные знакомства и связи в крупных московских промышленно-коммерческих сферах, – за советом и помощью на случай, если ему придется искать место на частной службе. Я Белецкому ответил успокоительно, высказав надежду, что ему удастся с Якуниным все уладить «по-хорошему» и мысль об оставлении государственной службы откинуть в сторону. Так и случилось. Все завершилось между губернатором и его «вицом» не только «по-хорошему», но прямо-таки невероятно чудесно, а для всех нас, и в особенности для Якунина, совершенно неожиданно.

Ровно через три месяца после описанной размолвки, тот же самый Якунин, доносивший столичному начальству о непригодности Белецкого для несения служебных обязанностей, особенно по заведыванию губернской полицией, вынужден был торжественно провожать на самарском вокзале того же Белецкого, получившего вдруг назначение на пост вице-директора Департамента Полиции.

Лицо, признанное Губернатором неспособным, даже вредным, для заведывания полицейской частью в губернии, было призвано столичной властью к высшему руководству той же полицией, но уже целой Российской Империи. Слово князя Мещерского оказалось решающим, что не помешало Белецкому позже, в угоду «Столыпинским сферам» и ради дальнейших

своих служебных успехов, отвернуться от прежнего своего сиятельного покровителя. Тот, конечно, не остался у Белецкого в долгу и целый год беспощадно поносил его в своем «Гражданине».

Но Белецкому подобная травля со стороны Мещерского в то время (1911 г.) была выгодна, и вскоре он сумел занять видный и ответственный пост Директора Департамента Полиции, и на нем развернул свои исключительные способности по части сыска, а также по собиранию подробнейших сведений о всех событиях государственной и столичной жизни, включая даже интимную дворцовую обстановку.

Здесь столкнулся Белецкий с фатальной личностью Григория Распутина и, по свойству своей беспринципной натуры, оказался удобным прислужником этого грязного проходимца. Отсюда началась новая эра дальнейшей головокружительной карьеры бывшего мелкого провинциального чиновника. Посыпались награды и новые назначения. Белецкий становится Товарищем Министра Внутренних Дел, более влиятельным, чем сам Министр Алексей Николаевич Хвостов.

Одно время, в 1915 году, в некоторых столичных кругах говорили даже о возможности назначения его Министром... Но судьба положила этому предел, и звезда Белецкого померкла. Скандальный разрыв с Хвостовым навлек косвенную опалу на самого Степана Петровича. Он уже должен был получить генерал-губернаторство в Иркутске, но, вместо этого, был назначен состоять при Великой Княгине Марии Павловне для исполнения разных поручений. Конец Белецкого был трагичен: в 1918 году он был зверски замучен и расстрелян большевиками.

В том же году, вскоре после проводов Белецкого в Петербург, Якунин тоже покинул нашу губернию, будучи переведен в Екатеринбург. Владимир Васильевич всегда тяготел к своему

родному югу, и в этом отношении особенно настойчиво действовала его супруга – симпатичная, но чересчур прямодушная Варвара Федоровна, которая, не дождавшись желанного перевода, одна переехала в свою родную Одессу, откуда бомбардировала своего супруга письмами, требуя, чтобы он более энергично хлопотал в Петербурге.

По этому поводу произошло одно обстоятельство, характеризующее не только Белецкого, в то время занимавшего уже пост Директора Департамента Полиции, но до известной степени всю ту обстановку, в которой протекала деятельность Министерства Внутренних Дел.

Незадолго до перевода своего из Самары в Екатеринослав, Якунин приехал в Петербург и зашел ко мне в Европейскую гостиницу, видимо чем-то сильно расстроенный. Оказывается, он только что был на приеме у Министра Внутренних Дел, Столыпина, который, после ряда деловых вопросов, отпуская его от себя, указал ему, чтобы он посоветовал своей супруге быть более деликатной в оценке лиц, занимающих ответственные высшие служебные должности. При этом Столыпин показал Якунину письмо его жены, писанное из Одессы в Самару. Оно лежало на письменном столе, очевидно, заранее кем-то Столыпину доставленное для его начальнического вразумления. В этом письме милейшая Варвара Федоровна, далекая от мысли, что чьи-либо чужие глаза, тем более Столыпинские, прочтут писанные ею к мужу строки – настаивала на срочной необходимости ему ехать в столицу и добиваться перевода на юг. В этом злосчастном письме Варвары Федоровны было такое место: «Убеди ты, наконец, этого упрямого осла – Столыпина, что это тебе во всех отношениях необходимо!»...

Нелегко было мне все это выслушать. Я не так жалел Якунина, как скорбел за того «большого» Столыпина, позволившего

себе совершить такой несоответствующий его чистому нутру и достоинству, ни с чем несообразный поступок. Якунин был убежден, что письмо его жены лопало к Столыпину при посредстве неприязненно к нему настроенного Белецкого, который успел организовать в своем департаменте «черный кабинет», для самой широкой и бесцеремонной перлюстрации всей имперской корреспонденции.

Вскоре после Якунинского посещения я случайно встречаюсь с Белецким. Пользуясь нашим давним знакомством по Самаре, стал я, как бы из любопытства, его расспрашивать про порядки руководимого им департамента и, между прочим, спросил, практикуется ли в его ведомстве перлюстрация корреспонденции и в каком размере? Белецкий, не переставая умильно улыбаться во всю свою мясистую непрезентабельную физиономию, стал мне на ухо нашептывать «дружеские» признания, что перлюстрация в действительности существует, и что без нее полицейское ведомство не может обходиться по соображениям государственной безопасности, но дело это поставлено им крайне осмотрительно и ведется строго конфиденциально...

Разговор наш должен был почему-то прерваться, и я потропился с Степаном Петровичем проститься. Не успел я отойти от него, как вскоре ощутил у своего локтя чью-то руку. Оборачиваюсь и вижу около себя противную улыбку Белецкого. Он то-ропливо шептал мне на ухо:

– По поводу нашего разговора, беру на себя смелость предупредить вас, дорогой Александр Николаевич, чтобы вы в своей переписке с вашей супругой, глубокоуважаемой Анной Константиновной, были насколько возможно осторожны! Береженого Бог бережет!.. Хи!..хи!..

Не без чувства гадливости скинул я со своего локтя прицепившуюся руку Директора полиции. Не успел я опомниться, как

Белецкого и след простыл... Что я думал и чувствовал – предоставляю угадать самому читателю.

В Самаре Якунина на губернаторском посту заменил Николай Васильевич Протасьев, переведенный с той же должности из Олонецкой губернии. С личностью и службой почтенного и умного Николая Васильевича, прожившего в Самаре с 1910 по 1915 год, связаны у меня наилучшие воспоминания. Весь его внешний благообразный облик соответствовал его моральным качествам. За десять лет моего Губернского Предводительства (1905-1915 г. г.) впервые я видел около себя на ответственном и передовом губернском посту достойнейшее служебное лицо, с которым приятно было иметь дело, благодаря его природной порядочности, благовоспитанности и уравновешенности.

Усердный службист, превосходно знакомый с сущностью и техникой управления. Николай Васильевич всегда относился к исполнению своих сложных и разнообразных обязанностей с одинаковым вниманием и неослабным интересом. Как председатель на многочисленных губернских заседаниях, проявлял большую выдержку, всестороннюю осведомленность и приветливую ровность. Говорил Протасьев связно, толково, звучно и красиво. Единственно, что ставилось ему некоторыми его недоброжелателями (у кого их нет?!) как бы в некоторую вину – это то, что Николай Васильевич, будучи по свойству своего характера человеком добродушным и жизнерадостным, в обществе нередко проявлял излишнюю веселость, не стесняясь от всей души заливаться громким хохотом. Мне же, как и большинству самарского общества, непосредственность нового губернатора казалось вполне естественной.

Вместо Белецкого в Самару был прислан новый Вице-Губернатор – симпатичный, благовоспитанный, но в административных делах абсолютно ничего не смысливший, прибалтийский немец – Рудольф Эвальдович фон Витте.

В общем, благодаря разумному содействию приветливого Протасьева и установившимся добрым отношениям с представителями местного земства, города и дворянства добрейший и безобиднейший фон Витте мало-помалу втянулся в отправление своих служебных обязанностей и нес их старательно и аккуратно.

1911 год начался с открытия очередного Губернского Дворянского Собрания, впервые в жизни Самарского дворянства созванного не летом, а зимой.

Основным предметом обсуждения был мой доклад об исполнении постановлений очередного и ряда экстренных собраний за истекшее трехлетие, и о том, что было предпринято мною, как Губернским Предводителем. Дополнительно мною было представлено на благоусмотрение Собрания несколько других докладов, включая сообщение о деятельности объединенной всероссийской дворянской организации.

Мною был также представлен Собранию отчет о финансовом положении Самарского Губернского дворянского общества, который указывал на чрезвычайно благоприятное состояние сословной кассы. Недоимки были почти полностью собраны, и денежная наличность позволила мне предложить Собранию приступить к некоторому ремонту городского дворянского здания, с целью его расширения.

Дело в том, что с образованием в верхнем его этаже «Аксаковского» музея, помещение, предназначавшееся под квартиру Губернского Предводителя, являлось далеко недостаточным.

Было необходимо надстроить верхний этаж, чтобы предоставить семейному Предводителю ряд удобных жилых комнат. Я действовал не для себя, так как жил в своем доме, а исключительно для своих преемников, которым пришлось бы пользоваться квартирой в Доме Дворянства. Спустя год надстройка была закончена, и впоследствии, при моем еще предводительстве, во время Великой Европейской войны 1914 года, была использована нашим дворянством для устройства в ней обширного лазарета.

Очередное дворянское собрание 1911 года прошло спокойно, дружно и деловито. Все доклады мои были утверждены, и мой отчет удостоился, по примеру прошлого раза, особого внимания со стороны дворян, постановивших, за счет общества, его отпечатать и разослать участникам Собрания.

Наступил день выборов – сначала прошли уездные, а за ними настал момент избрания Губернского Предводителя. Надо сказать, что еще задолго до Собрания сложилось у меня решение отойти от предводительства и сосредоточиться на широкой, полной захватывающего интереса, работе в Верхней Законодательной Палате. Совмещение должности Губернского Предводителя и члена Государственного Совета было более чем затруднительным. Одна должность приковывала к провинциальной работе, другая – требовала полной сосредоточенности на работе в государственном масштабе. Меня влекла к себе последняя, тем более, что в губернии все было налажено достаточно твердо. Единственно, что меня беспокоило – это отсутствие человека, которому бы я смог с легким сердцем передать свое наследие... Обстоятельство это – надо думать – учитывалось и самим Собранием. Несмотря на мое указание на несовместимость предводительской службы с деятельностью члена

Государственного Совета, дворяне все же настояли на моем переизбрании, причем в этот раз мне был положен только один «черный» шар...

В результате выборов в личном составе сословных уездных должностных лиц произошли значительные перемены. Так, в Самарском уезде, вместо перешедшего на коронную службу в качестве Петербургского Вице-Губернатора графа Александра Николаевича Толстого, Уездным Предводителем Дворянства был избран его брат граф Мстислав Николаевич.

Самарский уезд, в виду малочисленности прибывших на очередное Дворянское Собрание 1911 года дворян, оказался для выборов его Предводителя «несамостоятельным», в силу чего мне предстояло этот уезд присоединить к Ставропольскому, но среди дворян последнего по поводу кандидатуры графа Мстислава Толстого возникли серьезные сомнения, основанные на слухах об его легкомысленном поведении. Только настойчивые уговоры его брата, Александра Толстого, заставили меня помочь ему пройти в Предводители.

Мне это удалось. Граф М.Н.Толстой был выбран Самарским Уездным Предводителем, но на другой же день мне пришлось раскаиваться в оказанной ему мною поддержке.

Вечером после избрания Предводителей состоялся в Доме Дворянства многолюдный раут, устроенный в честь всего офицерского состава вновь прибывших в Самару воинских частей. Под утро, когда с этого раута гости и хозяева стали разъезжаться по домам, Толстой, подобрав себе удалую молодежь, включая некоторых Александрийских гусар, отправился заканчивать пиршество в гостинице и там же из-за чего-то сцепился с лихим корнетом князем Аваловым. Тотчас же между ними произошла дуэль. В результате князь Авалов лишился мизинца, а у графа Толстого была отсечена часть уха.

В конце январского очередного Губернского Дворянского Собрания 1911 года, в Доме нашего дворянства состоялся парадный многолюдный раут, устроенный мною в честь офицерского состава прибывшим к нам войсковых частей, ранее стоявших в Варшавском округе. В Самару переведено было несколько пехотных полков. Одним из них командовал полковник Лавр Георгиевич Корнилов, прославившийся во время Европейской войны своей выдающейся храбростью и ставший затем во главе противобольшевистского белого добровольческого движения. Вместе с многочисленной пехотой, в Самару пришли пешие и конные артиллерийские части. Появился также у нас блестящий кавалерийский полк – «бессмертные» Александрийские гусары, имевшие своим Августейшим шефом Императрицу Александру Феодоровну.

Самара заполнилась многочисленным офицерством всяких чинов и наименований, встреченных городом и всем губернским обществом с чрезвычайным радушием и гостеприимством.

В связи с приходом значительного количества войск, на долю городского самоуправления выпало немало хлопот по оборудованию казарменных помещений под постой чуть ли не 16.000 нижних воинских чинов. В спешном порядке были выстроены каменные казармы на окраине города, невдалеке от «Молоканского» сада.

Офицерство разместилось по частным квартирам и быстро перезнакомилось с самарскими семьями.

Старшим чином среди новоприбывшего офицерства состоял командир корпуса, заслуженный боевой генерал Александр Алексеевич Гернгросс, – герой Японской войны, сразу же завоевавший среди самарцев всеобщие симпатии, благодаря

своей светской общительности, веселому нраву, простоте в общении и радушной приветливости. Высокого роста, стройный, с приятным лицом – Гернгросс всегда имел бодрый и жизнерадостный вид. Он был одинаково интересным собеседником и в светских гостиных, и в компании веселых сотрапезников. Любо-дорого, бывало, смотреть на этого лихого боевого генерала, когда он появлялся во главе своих штабных и строевых офицерских чинов. Его молодецкая грудь была увешана боевыми орденами; каких только не было у него знаков отличия, включая белого Георгия и золотого Георгиевского оружия. Держал он себя молодецкато и говорил отрывисто, слегка сиповатым голосом.

Гернгросс был человек прямой, высказывался открыто, ненавидел ложь и интригу. В этом отношении он являлся ярким противником генерала Сандецкого, занимавшего в то время должность Командующего Казанским Военным Округом, которым он управлял, руководствуясь секретными донесениями своих секретных агентов. Гернгросс это знал, и за это Сандецкого всеми силами души ненавидел.

Летом 1912 года, в день освящения лагерных помещений, расположенных невдалеке от Самары, в просторной палатке был сервирован ряд столов. После торжественного молебствия за ними разместилось многочисленное офицерство и некоторые приглашенные. К этому дню из Казани подъехал и генерал Сандецкий. Его посадили рядом с архиереем Константином. Слева от Сандецкого – меня; я был в летней егермейстерской форме. Рядом со мной сидел генерал Гернгросс, который всячески сторонился Командующего Округом.

Торжественный тост за здоровье Государя Императора был провозглашен Сандецким. Раздалось дружное офицерское

«ура». Военный оркестр исполнил гимн. Потом все вновь уселись и стали ожидать дальнейших тостов – в первую голову, за присутствовавшего старшего чина – Командующего Округом. Время шло, никто ничего не возглашал... Водворилось неловкое выжидательное молчание.

Сидя между Сандецким и Гернгроссом, которому полагалось провозгласить всеми ожидаемый тост, я видел, что взоры всего офицерства были направлены в сторону моего соседа слева. Он продолжал угрюмо молчать и усиленно вливать в себя стоявшие перед ним напитки. Я напомнил Гернгроссу о необходимости немедленно провозгласить тост за Сандецкого, на что генерал недовольным голосом мне буркнул: «Да, да! надо!»... и с этими словами он быстро встал во весь свой высокий рост, выпрямился, нервно мотнул головой, поднял бокал и резким голосом выкрикнул: «Г.г. офицеры!... Рыба с головы пахнет!... За здоровье Командующего Округом генерала Сандецкого!» Быстро сел и демонстративно отставил в сторону свой нетронутый полный бокал...

Можно себе представить, что после подобного тоста среди присутствовавших произошло! Бледный как полотно, Сандецкий покинул лагерное торжество. Владыка, никого не успев благословить, поспешил от «людской суеты» поскорее скрыться в свою архипастырскую обитель. Мы, «особо приглашенные», сочли за лучшее тоже поторопиться отойти в сторону. Такой инцидент требовал специального корпоративного обсуждения и разрешения...

В результате, генерал Гернгросс вынужден был покинуть Самару. При объявлении войны 1914 года он вновь стал во главе боевого корпуса. Что же касается Сандецкого, то он недолго удержался на посту Командующего Казанским Округом, и был назначен членом Военного Совета.

Вернусь к описанию дворянского раута. Итак, вечером, после закрытия Очередного Губернского Дворянского Собрания, мною был приглашен от лица нашего сословного общества весь офицерский состав прибывших в Самару воинских частей.

В ярко освещенную залу Дворянского Собрания, где в ожидании званных гостей, уже собрались Самарские дворяне с Предводителями во главе, стали входить приглашенные, – сначала Губернатор Протасьев, за ним генералитет: Корпусный командир Гернгросс, начальник штаба Трегубов, начальник Кавалерийской дивизии Новиков и др.

Поздоровавшись с хозяевами Собрания, они встали у портрета царствовавшего Императора и образовали с подошедшими к ним предводителями особую группу, к которой, под бравурные звуки военно-оркестровой музыки, стали попарно подходить, со своими командирами во главе, разодетые в парадные мундиры – молодцеватые Александрийские гусары, за ними – конные и пешие артиллеристы, и после них – офицеры пехотных полков. Всех их мне, как Губернскому Предводителю, поочередно представлял генерал Гернгросс.

Вскоре наша сравнительно небольшая зала оказалась переполненной блестящим офицерством. Явилось более 300 человек, так что и смежные с залой гостиные были заняты.

Было разнесено шампанское. Я провозгласил тост за драгоценное здоровье Государя Императора, встреченный долго несмолкавшим «ура». Раздалось общее воодушевленное пение народного гимна под аккомпанемент военного оркестра. Восторженно был принят мой последующий тост за здоровье Государыни Императрицы Александры Феодоровны, – Августей-

шего Шефа Александрийского полка. Затем я горячо приветствовал все офицерство, на что генерал Гернгросс в душевных словах выразил от лица всех войсковых частей Самарского гарнизона искреннюю благодарность Самарскому дворянству за оказанное теплое гостеприимство.

Присутствующие, в едином порыве беспредельной любви к Царю и Родине, решили послать через мое посредство телеграмму Государю Императору с выражением верноподданных чувств. На следующий же день последовал телеграфный милостивый Высочайший ответ, который мною в особой рамке был затем поднесен Самарскому Гарнизонному Собранию.

Раут прошел парадно, дружно и с большим подъемом. Происходило своего рода «братание» местного общества с новоприбывшими представителями славной Императорской Российской Армии, которые почувствовали себя на далекой стороне в уютной и приветливо радушной обстановке. Подобному настроению немало способствовали наши дворяне, принимавшие с чисто русским помещичьим хлебосольством дорогих гостей. Прислуга еле поспевала разносить всевозможные прохладительные напитки.

Мне хочется упомянуть в связи с описанием военно-дворянского раута об одном курьезе. Надо сказать, что в Самаре подобные многолюдные – в несколько сотен человек – собрания случались редко, и доставать для такого количества людей посуду представлялось делом довольно затруднительным... Но буфетчик Куликов все умел устраивать быстро и безукоризненно. Перед заздравным царским тостом шампанское было разнесено Куликовской армией вовремя и проворно. Здравница в честь Государя была мною произнесена и все 400 человек подняли свои бокалы, присоединив свои голоса к восторженному «ура». Но

тут произошло нечто ни мною, ни моим талантливым Куликовым совершенно непредвиденное. Милейший Николай Васильевич Протасьев, будучи, как Губернатор, у всех на виду, выпив до дна из бокала, взял да и звякнул его потом о пол. Пример Губернатора оказался заразителен: начался беспощадный бой бокалов... Появилась круглая и смертельно побледневшая физиономия маленького толстенького Куликова. Он дрожащим шепотом мне на ухо торопливо доложил: «Бокалов больше достать сейчас никак нельзя... Как прикажете поступить? – «Замените стаканами» – был мой, тоже шепотом данный, ответ.

Догадливость и расторопность Куликова одержали верх над случившейся бедой: быстро зальный паркет был очищен от груды осколков и в руках участников раута оказалась снова цельная посуда, правда, иного формата и объема, что, впрочем – не помешало дальнейшему приятному времяпрепровождению.

В самый разгар общего веселья и начавшегося «братания» гостей с хозяевами, генерал Гернгросс в одной из комнат лицом к лицу сталкивается с Председателем Бугульминской Земской Управы – милейшим и толстейшим Петром Петровичем Дмитриевым, представлявшим из себя десятипудовую человеческую глыбу... Чудовищная толщина не мешала этому благодушнейшему человеку быть у себя добрым хозяином и вести свои и общественные дела тихо и хозяйственно. Не прочь бывал он и повеселиться в среде своих добрых знакомых, что выражалось у него в склонности к русским мотивам, главным образом плясовым, и хоть редко, но бывали случаи, когда расходившийся Петр Петрович, под звуки «Камаринского», проявлял даже намерение присесть, что обычно сопровождалось некоторым нарушением его костюма...

Встретив Петра Петровича, успевшего за несколько часов в достаточной степени «разомлеть», Гернгросс растопырил свои длинные руки и воскликнул: «Вот так мужчина! Вот это так настоящая черноземная русская сила!.. Дай тебя обнять, мать-сыра родная земля!» И с этими словами генерал распахнул видневшуюся из-под незастегнутого дворянского мундира рубашку и припал к объемистой груди Бугульминского колосса. Расчувствовавшийся Петр Петрович, в свою очередь, крепко прижал к своим телесам стройного Гернгросса, вспыхавшего к нему острой страстью российского патриота...

Утром после раута, Гернгросс должен был появиться по служебному делу в парадной форме, при всех своих орденах... Денщик его сбился с ног в поисках одной недостававшей звезды с мечами. В тот же час Бугульминский Председатель, проснувшись, почувствовал, что его что-то колет... Запустив под рубашку свою увесистую лапу, он, к своему изумлению, вытащил блестящий, но колючий предмет, оказавшийся Гернгроссовской звездой.

В то же утро другой Бузулукский дворянин, чрезмерно преутомившийся от отправления своих хозяйских обязанностей во время раута, – был найден мирно заснувшим... в Аксаковском музее на «Гоголевском» диване...

Словом, раут сошел удачно – весело и дружно. Сразу же после него между офицерством и местным обществом установились наилучшие отношения, продолжавшиеся до тех пор, пока объявленная в июле 1914 года война не заставила все войсковые части срочно покинуть нашу Самару... как оказалось, навсегда!

Январский раут для меня был сопряжен с немалыми хлопотами и повлек за собой некоторые испытания.

Офицеры пожелали отплатить нашему дворянству за гостеприимство. В качестве старшего сословного представителя, я бывал вынужден принимать ряд приглашений. Особенно памятен мне банкет, устроенный в мою честь офицерством Александрийского гусарского полка... Во время завтрака была принесена объемистая чаша, изображавшая собою человеческий череп и вмещавшая изрядное количество шампанского, как мне потом говорили, до двух бутылок.

Старший офицер принял эту чашу и торжественно, в сопровождении всех остальных участников завтрака, поднес ее мне... Растерявшись при виде целого колодца шипевшей влаги, я сделал несколько глотков, любезно раскланялся и собирался почти полную мертвую голову вернуть командиру полка. Он ее от меня не принял, а стал нараспев настойчиво повторять: «Пей до дна, пей до дна!» Слова эти подхватили все офицеры. Я пытался передать тяжелую чашу то одному, то другому из тесным кольцом окружавших меня офицеров... Но все мои старания оставались тщетны! Я хотел поставить чашу на пол, но г.г. офицеры продолжали твердить все то же «Пей до дна, пей до дна!».. Конца этому не предвиделось: был момент, когда я не на шутку пришел в состояние некоторого некрытого озлобления против подобного насилия. Но обстановка не менялась! Гусары беспощадно повторяли свое: «Пей до дна, пей до дна!»... Не видя конца подобной своеобразной «Демьяновой ухе» я, понадеявшись на свои силы, решил рискнуть и исполнить гусарскую «традицию»... Мысленно благословись, я осушил «Петровский» кубок до дна – при общем ликовании гусар. Не успел я это проделать, как хлебосольные хозяева меня подхватили, и некоторое время я проколыхался в воздухе, подбрасываемый мускулистыми офицерскими руками. Одним словом – не мало претерпел я на этом памятном банкете во имя моего дворянского

представительства, но все же до конца поддержал честь и достоинство нашего сословия.

Оценив мою стойкость, гусары отметили мою «молодцеватость», единодушно провозгласив меня «почетным» своим «корнетом»...

Но должен признаться, что высокий почетный титул мне дался нелегко. Пусть лихие Александрейцы на меня не претендуют, если я им теперь сознаюсь, что после всего вышеописанного я до смерти боялся приглашений на их «почетные» завтраки!..

105

Вслед за дворянским, открылось очередное Губернское Земское Собрание, продолжавшееся обычно две недели и прошедшее в условиях чисто делового рассмотрения местных общественных польз и нужд. Политикой больше не занимались. Страсти прошлых лет, казалось, основательно улеглись...

Собрание это мне осталось памятным отчасти потому, что накануне его закрытия в моей семейной жизни произошло одно немаловажное событие. Ранним утром 31 января 1911 года появилось у нас в семье крошечное новорожденное существо, вскоре нареченное Николаем, в честь его деда и моего отца. Истрадавшаяся Анюта ослабевшим голосом спросила: – Кто? – Ответ последовал: – Сын... – Лицо ее просветлело, и она с счастливой улыбкой успокоилась. С крестинами поспешили, справив их 2-го февраля, ввиду того что двоюродный мой брат Николай Михайлович Наумов, охотно согласившийся быть восприемником новорожденного, торопился после Земского Собрания к себе в Головкино. Крестной пожелала быть моя мать, проживавшая в то время в Самаре вместе с нами.

Как и всех наших деток, Анята сама выкормила своего младшего и... последнего ребенка. Его сначала нянчила наша нянька Екатерина, потом он поступил в распоряжение бонны – англичанки мисс Блант. Мисс Блант оставалась при своем «Кола» во все время войны и начавшейся революции 1917 года, когда пришлось со всей нашей семьей переехать летом на жительство в Крым.

В Крыму пришлось с ней расстаться за невозможностью ее содержать после конфискации в 1918 году большевиками всех наших денежных средств.

У бедного нашего Николая позднее детство, начиная с 1918 года, прошло в условиях сначала тяжелого революционного окружения, эвакуационных мытарств по Новороссийскому и Стамбулам, и завершилось беженским существованием на южном побережье Франции. Пришлось ему пройти через целый калейдоскоп разноязычных школ: ходил он одно время в Константинополе во французскую школу Доминиканцев (1920-1921 г.г.); затем недели две посещал в Афинах такого же типа училище (1921 г.); после обучался в Ницце в школе «Массена» (1922-1924 г.г.). С 1924 г. мы его поместили в английский колледж Мистера Дэйвиса в Истбурне, где Коля окончил курс наук, получив за спортивные победы целую коллекцию призов в виде всевозможных кубков. В 1928 г. он поступил в Королевскую Земледельческую школу в Сейренсестер. Но в 1929 году, в силу постигшей нас финансовой катастрофы (по вине нашего Лондонского доверенного Ампенкова), пришлось Николая взять из английского училища и перевести в Ниццу. Сейчас он живет с нами, и работает у архитектора Леблана, подготавливаясь к интересовавшей его профессии... «Человек предполагает, а Бог располагает!» Накануне разразившейся в 1917 году революции, я все сделал, чтобы обеспечить наших детей: каждой из дочерей

был обложен капитал в 350.000 рублей, а оба сына должны были в будущем получить по чудному имению. И вот, вместо всего этого, – старший сын в Бразилии служит в кофейной конторе, а Николай готовится в архитекторы!...

106

Перевыборы в Губернские Предводители изменили мой план переехать с семьей в Петербург.

Решение наше не покидать Самару встречено было всем губернским и городским обществом с нескрываемой радостью, да и нам самим тяжело было бы расставаться с насиженным местом, с обширным кругом наших друзей и добрых знакомых, которые выказывали нам чувства живейшей симпатии, и по-сильно, а иногда очень энергично, сотрудничали с нами в Нашей с женой общественной деятельности.

В Самаре была крайняя необходимость устроить детскую больницу. Жена, как председательница Ольгинской Общины, выразила согласие взяться за это дело, и обратилась с воззванием придти на помощь средствами для осуществления этого большого общественного начинания. Наступила Пасха, и в числе других праздничных визитеров приходит к нам известный самарский старожил, богач и благотворитель – Лаврентий Семенович Аржанов. Посидев у жены в гостиной, он перед уходом вручает ей пакет и говорит: «Вот Вам, Анна Константиновна, вместо красного яичка!... Если не хватит – скажите! Всегда к Вашим услугам!» С этими словами Лаврентий Семенович откланялся и вышел. Жена вынимает из оставленного Аржановым пакета записку и при ней банковский чек. На записке значилось: «Прошу принять на постройку детской больницы при-

лагаемую при сем сумму». На чеке стояла цифра – 500.000 рублей! Года через два, рядом с помещением Ольгинской Общины, была открыта в великолепно оборудованном обширном здании превосходная детская больница, давшая докторскому персоналу возможность применять к лечению детских болезней последние усовершенствования врачебной техники.

В этой больнице нам впоследствии пришлось поместить сына Александра, заболевшего скарлатиной – страшной болезнью, особо беспощадной в нашем близком семейном кругу: от нее погиб младший брат жены – Александр; на всю жизнь была изуродована бедная наша дочь Пашенька, и эта же роковая болезнь отняла от нас незабвенную нашу старшую дочь Марию в период ее молодых цветущих лет!... Благодаря безупречному уходу и внимательному врачебному присмотру наш мальчик Саша был спасен и счастливо избег всех обычных послескарлатинных последствий.

Не могу не отметить, что обещания почтенного Лаврентия Семеновича не остались пустым звуком; Аржанов для завершения оборудования детской больницы добавил впоследствии еще столько же, что в общем итоге составило миллион рублей, переданных жене, как Председательнице Краснокрестной «Ольгинской» Общины.

Разумеется, что такие исключительные по своей щедрости пожертвования были единичными случаями, но Самарские жители к организациям просветительно благотворительного характера, в которых участвовала моя жена, относились всегда с особым сочувствием и щедрой материальной отзывчивостью. Благотворительные базары, «чашки чая», танцевальные вечера, концерты и спектакли – все это в зимние сезоны после самарского успокоения проходило обычно при содействии Анны Константиновны, которой помогали и дамы и мужчины.

Особой энергией отличалась в этом отношении бодрая телом и духом Варвара Вадимовна Осоргина – незаменимый член всяческих общественных дамских организаций, и в особенности – Ольгинской Общины Красного Креста. Не могу не упомянуть добрым словом выдающихся самарских дам патронесс: губернаторшу Анну Васильевну Протасьеву, деловитую Надежду Васильевну Батюшкову и всех, кто охотно и любовно содействовал жене в ее благотворительной деятельности. Возраставшая из года в год популярность Анюты в Самарском обществе имела непосредственным своим результатом те значительные денежные или вещевые сборы, которые обычно получались в итоге устраиваемых ею благотворительных зрелищ или раутов.

107

Спустя некоторое время после Дворянского и Земского Собраний, я вынужден был вернуться в Петербург для участия в занятиях Государственного Совета.

Как вновь переизбранному Губернскому Предводителю, мне полагалось представиться Государю. В этот раз Его Величество оказал мне, очевидно, в силу переизбрания меня на третье трехлетие, особо милостивое внимание, удостоив меня подробными расспросами по поводу моей частной семейной жизни. Узнав, что у меня имеется сын Александр, являвшийся по годам сверстником Наследника Цесаревича, Государь поинтересовался нашими родительскими видами по поводу его будущего воспитания. В то время нашему Саше не было еще и 7 лет; при нем состояли почтенная мадам Дюбюргэ и молодой англичанин – мистер Мартин. Что же касается его будущего, то я откровенно сознался Его Величеству, что мы пока об этом не думали и еще ничего определенного не имели в виду... В ответ на это Государь

некоторое время помолчал, как бы что-то про себя обдумывая, затем, вскинув на меня свои большие приветливые глаза, промолвил: «Хотите, я Вашего сына зачислю в Пажеский Корпус?» Меня подобное неожиданное обращение Его Величества застигло совершенно врасплох, и я сразу ничего даже не смог ответить... Государь между тем добавил: «Ваш сын Александр будет моим кандидатом!» – Спohватившись, я поспешил поблагодарить за оказанную мне и моему сыну милость и честь...

Отпуская меня, Его Величество произнес памятные слова, которые я немедленно переслал в письме жене в Самару с тем, чтобы она их нашему сыну прочла и передала на вечное хранение. Его Величеству благоугодно было мне сказать следующее: «Передайте вашему сыну, зачисляемому ныне в списки воспитанников Пажеского Корпуса, чтобы он так же достойно служил своему Царю и Отечеству, как его отец!» С этими словами Его Величество протянул мне руку...

Почти до слез растроганный, я собирался покинуть Государев кабинет, как вдруг вспомнил обещание, данное мною в приемной комнате моим друзьям предводителям – полтавскому – князю Н.Б.Щербатову и курскому – князю Л.И. Дондукову-Изъединову – испросить разрешения у Его Величества представиться Наследнику Цесаревичу. В то время вся страна была взволнована тревожными слухами об остром заболевании Его Императорского Высочества Алексея Николаевича, хотя по последним сведениям он уже был на положении выздоровевшего.

Но в нас троих зародилось непреодолимое желание увидеть Его Высочество собственными своими глазами, узнать правду. По старшинству службы и чина полагалось мне первому идти на прием к Государю, поэтому на меня возложили миссию – исходатайствовать у Его Величества разрешение предста-

виться Цесаревичу. Государь охотно согласился и поручил своему дежурному адъютанту всех нас, троих Предводителей, проводить к Его Императорскому Высочеству.

Пройдя длиннейший дворцовый коридор, мы были впущены в одну из боковых комнат, куда вскоре вслед за нами, в сопровождении того же флигель-адъютанта, не вошел, а скорее ворвался с ног до головы запорошенный снегом, раскрасневшийся, темноокий, очаровательный мальчик – счастье и надежда монархической России... Одетый в черный, отороченный серой мерлушкой полушубочек, в валенках и в светлой барашковой шапочке на темнокудрой головке, Наследник появился перед нами весь запыхавшийся, только что оторванный от своих любимых занятий в парке, где он со своим дядькой, матросом Деревенько, ежедневно расчищал детской лопаткой дорожки от снега. На вид здоровенький, бодрый и нервно подвижной, Его Высочество произвел на нас самое радостное, чарующее впечатление... От сердца нашего отлегло то чувство щемящего страха за будущее, которое мало-помалу невольно закрадывалось у всех русских людей из-за настойчивых слухов про роковую болезнь – гемофилию – Наследника Императорского Российского Престола.

Видимо не с особой охотой попавший по вызову своего отца с вольного воздуха в душную комнату, и увидав перед собой трех больших, незнакомых, в мундиры разодетых людей, маленький Алексей Николаевич прислонился к стенке и стал нас исподлбья, не особенно приветливо, разглядывать, как бы спрашивая, что нам от него нужно?!... А нам только одного и хотелось – иметь счастье, хоть на одно мгновение, увидеть перед собой царственного отрока и воочию убедиться в его выздоровлении... Поочередно представившись, мы поблагодарили Наследника за оказанную нам милость и пожелали ему доброго

здоровья. Все это Его Высочество терпеливо выслушал. Когда же мы кончили, он быстро повернулся к стоявшему около него флигель-адъютанту и заявил, что хочет вернуться обратно в парк, причем нам бросил: «Хотите посмотреть, как я снег чищу?» С этими словами Наследник стремглав выскочил из комнаты в коридор, куда и мы поспешили выйти, но Его Высочество уже успел скрыться.

Довольные всем виденным, мы отправились по домам, счастливые сознанием, что можем сообщить всем и каждому добрые вести о состоянии здоровья Наследника Российского Престола.

Спустя некоторое время, мы, трое Предводителей, были осчастливлены совершенно для нас неожиданной милостью со стороны Государя, приславшего каждому из нас превосходно исполненный фотографический, большого формата, поясной портрет Его Императорского Высочества Алексея Николаевича в форме Императорских стрелков. На каждом Наследник собственноручно, твердым ясным почерком начертал: «Алексей». Не знаю, как поступили мои коллеги, я же счел своим долгом портрет этот, в соответствующей рамке, передать в распоряжение Самарского Дворянства, и повесить его в зале нашего собрания.

108

В первой половине 1911 года мне удалось, в бытность мою в столице, провести ряд самарских ходатайств, возбужденных местными общественными органами, главным образом касавшихся городского благоустройства. Я содействовал скорейшему проведению в Самаре канализационных работ, инициатором которых являлся умный и энергичный владелец Жигулевского

пивоваренного завода фон Вакано, представивший городу превосходно разработанный специалистами план, и необходимые чертежи, для осуществления сети городской канализации. Это полезное начинание тормозил городской голова Чельшев, действовавший под влиянием личной неприязни к Вакано. Вот почему горожане обратились ко мне, прося моего содействия оздоровлению родного города.

Затем, мне удалось тогда же добиться от Главного Управления Государственных Имуществ уступки Городскому Самарскому Управлению участка казенной земли, примыкавшей к городской черте. Самара разрасталась с исключительной быстротой. Получение пустопорожного обширного земельного участка явилось для города делом немаловажным.

Одновременно, я продолжал хлопотать об устройстве в Самаре Политехнического Института, но и тут мешал Чельшев, которому, очевидно, как человеку властному и крайне честолюбивому, казалось досадным, что инициатива основания в Самаре высшего учебного заведения исходила не от него. Волею-неволей пришлось мне сделать некоторые усилия, чтобы отстранить его. Благодаря боевым статьям «Голоса Самары» и поддержке большинства городского общества, это мне вскоре удалось. На место Чельшева, был избран Самарским городским головой П.Е.Пермяков – искренний сторонник как проведения городской канализации, так и устройства в Самаре Политехникума.

С Пермяковым мы быстро нашли общий язык, и в том же 1911 году был образован под моим председательством особый комитет по устройству в Самаре Политехникума с двумя отделениями – коммерческим и сельскохозяйственным. В комитет вошли представители города и земства.

По просьбе города и земства, я принял также на себя хлопоты перед Министром Финансов о скорейшем преобразовании Самарского отделения Государственного Банка в контору. Дело это говорило само за себя. Самара росла и ширилась. ее крупные торговые обороты вызывали усиленную деятельность местного отделения Государственного Банка, далеко превышавшую законом предусмотренные для него пределы.

Для богатого и обширного Самарского района ощущалась настойчивая необходимость в расширении кредитных операций Государственного Банка и установлении коллегиального органа управления и таковой же ответственности вместо единоличной. По букве закона этого можно было достичь лишь при условии превращения отделения Государственного Банка в т.н. его «контору», которых в Европейской России того времени насчитывалось всего лишь шесть. На подобное преобразование требовалось согласие Министра Финансов, и сопряжено это было с особыми сметными, ассигнованиями.

Получив от управляющего Самарским отделением Государственного Банка А.К.Ершова подробнейшие цифровые данные и соображения, я, на основании их, составил докладную записку, с которой познакомил, прежде всего, П.А.Столыпина, как Председателя Совета Министров. Между нами произошел разговор, характерный для тех крайне натянутых личных отношений, которые создались между Столыпиным и Министром Финансов, В.Н.Коковцовым.

– С тем, что я прочел в вашей докладной записке, я совершенно согласен, – сказал мне тогда П.А.Столыпин. – Само собой разумеется, вам предстоит с нею ознакомить Министра Финансов.... Но предупреждаю вас: ни слова не говорите Коковцову о том, что эта записка была мною просмотрена, а тем более –

одобрена. Если вы об этом обмолвитесь – погубите все ваше дело!..

О таком отношении Коковцова к Столыпину в то время много говорилось в законодательных сферах и в столичном обществе.

Само собой, Столыпинское предупреждение я принял во внимание, когда пришлось быть у Министра Финансов в его служебном кабинете и излагать ему сущность самарского ходатайства. Коковцов, часто проводя рукой по своему слегка покрасневшемуся лицу, и глядя на меня мало приветливыми глазами, молча выслушал меня и затем, вместо обсуждения дела по существу, задал вдруг вопрос, показавшийся мне во всех отношениях неуместным, и для Министра – достаточно бестактным – Скажите, Александр Николаевич! Вы, вероятно, с Управляющим Самарским отделением Государственного Банка Ершовым находитесь в самых добрых отношениях? – Вы правы, – ответил я, – с глубокоуважаемым А.К.Ершовым я, как и все самарцы, нахожусь в наилучших отношениях! Но; мне кажется, что для того или другого решения Вашим Высокопревосходительством возбужденного нами ходатайства имеют первостепенное значение не наши с Ершовым отношения, а те цифровые данные, которые сами за себя говорят.

Я привел справку, удостоверявшую, что Харьковская контора по своим оборотам стояла ниже Самарского отделения.

Коковцов мне ничего определенного не сказал, а спустя некоторое время мы, к немалому нашему удивлению и даже возмущению, узнали, что Ершову, пробывшему на службе в Самаре более 15 лет и зарекомендовавшему себя с наилучшей стороны, предложено было покинуть Самарское отделение и перевестись в другое.

Пришлось мне поднять на ноги все, что могло так или иначе воздействовать на Коковцова, очевидно посматрившего на самарское ходатайство, как на меру, служившую исключительно для личных выгод почтенного Ершова. Все самарские депутаты сплотились на защиту Александра Константиновича, в кулуарах Таврического Дворца по поводу действий Министра Финансов поднялся шум. Действовал и я среди своих коллег. В конце концов, удалось-таки и Ершова отстоять, и добиться того, что Самарское отделение было преобразовано в контору Государственного Банка, главным директором которой был утвержден все тот же дельный Александр Константинович.

Весной 1911 года Самарская Городская Дума единогласным своим постановлением удостоила меня высокой чести – меня избрали почетным гражданином города Самары, а портрет мой постановили повесить в городском музее.

Тюю же весною мы с женой успели недели на две съездить в нашу крымскую очаровательную Гурзувитту, где на горноморском просторе мы оба с наслаждением отдохнули, свободные от обычно окружавшей нас житейско-деловой суеты...

Летом 1911 года мне приходилось, как и прежде, бывать довольно часто по своим служебным делам в губернском городе, но большею частью я оставался в Головкине, где у меня были начаты давно задуманные работы по постройке большой вальцовой мельницы промышленного типа.

В первую голову возникал вопрос о выборе надлежащего места для постройки новой многоэтажной мельницы, отвечающей современным требованиям производства и рынка. Вставал вопрос – из какого материала строить новое обширное здание, чтобы соблюсти наибольшую хозяйственную выгоду и прочность. Советы слышались со всех сторон разные. Счастливым

случай натолкнул меня в 1910 году на одну, в техническом отношении совершенно новую и мною еще никогда невиданную, самарскую постройку, сыгравшую для меня роль окончательного и решающего советчика. Я обратил внимание на пристанский амбар для склада всяческого груза, принадлежавший пароходной транспортной компании «Н.В.Мешков и Ко». Их амбар был выстроен одной петербургской фирмой по новейшей системе – соединения железобетона с т.н. пустотелыми кирпичами. Легкость, простота и прочность этого сооружения невольно бросались в глаза.

Я вступил в деловую переписку с Петербургской фирмой, лично переговорил с ее главным представителем. К зиме 1910-1911 года, я окончательно вопрос этот решил, заказав соответствующие чертежи, и сдал все работы рекомендованному мне той же фирмой подрядчику Кузнецову.

Весной 1911 года началась горячая работа по заготовке всего необходимого для летних строительных работ. Прибыли из Петербурга мастера, свозился на пристань нужный материал; приступлено было к производству пустотелых кирпичей. С уходом внешней «долой» воды, выбрано было место под мельничное здание и приступлено было на нем к выемке земли под фундамент.

Предпринятое мною железобетонное строительство протекало для меня нелегко. Новизна строительной техники вызывала во мне сомнения и тревогу за успех предпринятого дела. Надо было иметь немало устойчивой уверенности, чтобы идти против общего течения, создавшегося вокруг меня не только в понятиях местного крестьянства, но и среди моих родных и соседей. Все настойчиво уговаривали меня не затрачивать значительный капитал на «безумное», как все говорили, новшество...

Окрестные мужички сходились «глазеть» на невиданные работы и «промеж себя балакали», «жалая» барина, до той поры казавшегося им как бы разумным, а ныне «вроде как бы с ума спятившего», «бросавшего в песок да в воду» видимо лишние свои денежки!..

Особенно много пришлось моему самолюбию переносить прямых и заглазных, часто насмешливых, выпадов против моего начинания в первый строительный сезон, приходившийся именно на лето 1911 года. Земляные работы по приготовлению обширной площади под основание мельничного корпуса уходили на изрядную глубину (свыше 24 четвертей – 14 фут.). На месте выемки оказались сильнейшие родники, беспощадно мешавшие работе, в особенности бетонированию днища и боков мельничного фундамента. Все это опытные мастера преодолели, но, повторяю, с этого трудного начала и до благополучного конца предпринятая работа стоила мне немало тревог и испытаний.

Прошло два года, и те же люди, в особенности многочисленные соседи мужички, ставшие верными клиентами нововыстроенной мельницы, на много верст красовавшейся днем и ночью, благодаря своему яркому электрическому освещению, держали между собою про меня иную речь, частенько выпрашивая у меня, откуда я такой «умственной» постройке научился?!

Тем же летом 1911 года пронеслась над Головкиным небывалая буря, надломившая, к величайшему нашему огорчению верхушку садовой великанши – многовековой красавицы пихты... Это было как бы предупреждением, что на нашу семью надвигается большое испытание. На следующий день младшая наша дочь Пашенька заболела скарлатиной в невероятно тяжелой и затяжной форме, приковавшей бедную девочку почти на

2½ месяца к постельке и не пощадившей ни одного ее органа – скарлатинозный яд постепенно затрагивал у нее уши, горло, легкие, сердце, почки и, наконец, бросился на мозг... Два раза приносили для нее гроб, искусно сколоченный из головкин-ского дуба давнишним нашим служащим плотником Игнатием. Бедная наша Пашенька казалась всем, даже доктору и нашему духовнику, уже отошедшей в иной мир.

В последний раз, когда батюшка о. Александр читал над ней, уже совсем похолодевшей, отходную молитву, Пашенька, к его изумлению, вдруг медленно подняла скелетообразную прозрачную ручку, довела ее до образа св. Пантелеймона, висевшего сбоку у ее постельки, и глубоко вздохнула. С этого момента жизнь стала постепенно к ней возвращаться. Чудом уцелевшая, но в конец истрадавшаяся девочка поправилась, но жестокая болезнь на всю ее последующую жизнь оставила тяжкие следы. Организм бедной Пашеньки, ранее бывший в полном смысле цветущим, оказался в корень подорванным. Пришлось приставить к ней сестру милосердия, показывать ее известным специалистам за границей и в Москве.

Разразившаяся в 1917 г. революция нас с Пашенькой, оставшейся в силу необходимости в Москве, разъединила до 1924 года, когда при энергичном содействии доброй Магдалины Ивановны Турицыной удалось Пашеньку вывезти из Советской России. Пашенькино лечение пришлось приспособить к домашней обстановке нашего Ниццкого беженского пребывания. Чувствует она себя значительно здоровее.

109

Вернувшись в Петербург к началу осенней сессии занятий Государственного Совета, я застал в личном составе правящих

верхов значительную перемену, явившуюся в результате убийства 5 сентября 1911 года П.А.Столыпина. Председателем Совета Министров был назначен В.Н.Коковцов, а Министром Внутренних Дел – А.А.Макаров.

В столичных руководящих кругах обдумывали ряд юбилейных чествований. В 1912 году было столетие Бородинской битвы; в 1813 году – Романовские торжества, и в 1914 году – пятидесятилетие открытия земских учреждений. В предвидении всех этих празднеств учреждались повсеместно, главным образом, в столичных центрах, организационные подготовительные комитеты.

В Самаре вопрос о чествовании земского юбилея был внесен на очередное Губернское Земское Собрание 1912 года. Постановили образовать под моим председательством «юбилейный» комитет, одним из заданий которого было устройство в 1915 году в Самаре юбилейной земской выставки. Самарская Городская Дума отвела для нее превосходное место на живописном волжском берегу. За два года усиленной работы комитета подготовили разнообразнейший выставочный материал. Разразившаяся война смела все наши расчеты и работы.

На том же очередном Губернском Земском Собрании 1912 года произошло мое избрание в члены Государственного Совета. Оно состоялось после моего доклада в пленарном частном совещании губернских гласных о моей деятельности в стенах Мариинского Дворца за истекшее трехлетие. Я обрисовал своим землякам подробную картину политической жизни страны за упомянутый период времени, дал характеристику партийным группировкам членов законодательных палат, и обрисовал занятую мною независимую, чисто земско-деловую позицию. В конце доклада я указал, что трудно разбивать свое время между местной общественной работой и столичной.

Несмотря на это, самарцы все же заставили меня вновь войти в состав законодателей Верхней Палаты.

Вернувшись с возобновленными полномочиями под крышу величественного Мариинского Дворца, я предпочел заявить себя внепартийным, не примкнув ни к одной из политических группировок, и лишь года два спустя вступив в т.н. «правый центр». Подобное внепартийное состояние являлось серьезным препятствием для избрания меня в разные подготовительные комиссии. Но опыт истекшего трехлетия мне показал затруднения, которые приходилось испытывать в комиссионных работах, благодаря совмещению с должностью Губернского Предводителя. Я счел себя вынужденным отстраниться от сотрудничества в комиссионных занятиях, требовавших сосредоточенного и непрерывного к себе внимания. К тому же, с уходом П.Н.Дурново, характер правой группы, в которой я числился, значительно изменился к худшему. Вместо Петра Николаевича, вносившего в настроение руководимой им группы сдерживающее начало и умевшего находить по многим законодательным вопросам общий язык с инакомыслящими коллегами, – председателем «правых» выбран был Петр Петрович Кобылинский – человек неглупый, но узкий, сухой и крайне нетерпимый. С уходом Дурново стало заметно ощущаться отсутствие согласованности во взглядах и выступлениях членов правой группы, которая ранее влияла на общий ход занятий Верхней Палаты.

Ослабление авторитетности правой группы стало особенно заметным с 1912 года, что не могло не отразиться самым выгодным образом на усилении «центра» и его правого крыла, т.н. «Нейдгардтцев». Властное и яркое управление и законодательное творчество Столыпина трагически оборвалось. Правый центр, по-прежнему возглавляемый Нейдгардтом, не мог уже

больше называться «партией шурина» и не являлся группой, имеющей целью во что бы то ни стало поддерживать законопроекты, исходившие от Правительства.

С другой стороны, правый центр, деятельность которого базировалась на твердом исповедовании консервативных начал и разумной согласованности их с современными требованиями государственной жизни, являлся серьезным регулятором в общем ходе законодательных работ, выказав впоследствии достаточную стойкость в противоборстве образовавшегося с 1915 года т.н. «Прогрессивному блоку». Надо отдать должное мученически погибшему при большевистском погроме Нейдгардту, который после кончины Столыпина, продолжал руководить «правым центром» с большим тактом и достоинством.

В описываемое время «центр» Верхней Палаты стал возглавляться членом Государственного Совета, избранным петербургским земством, бароном Владимиром Владимировичем Меллер-Закомельским. Бывший конногвардеец, Владимир Владимирович, выйдя из полка, весь отдался земской работе, и благодаря своему природному уму быстро завоевал симпатии своих земцев, избравших его несколько трехлетий подряд председателем Губернской Земской Управы. Я познакомился с Меллером на первых заседаниях Совета по Делах Местного Хозяйства, где он сразу занял видное положение, как незаурядный оратор и председатель одной из серьезнейших комиссий.

Направления Владимир Владимирович был «передового», смело поддерживал реформы, хотя они не всегда отвечали действительной потребности и не хранили связи с ценным и здоровым прошлым. Насколько я мог заметить, он отличался крайней нетерпимостью к бывшему самодержавному строю и к его

пережиткам. Это побудило его вступить в группу членов Законодательных Палат, образовавших предреволюционный прогрессивный блок. В качестве председателя центра, Владимир Владимирович пользовался значительным авторитетом, и сама деятельность этого влиятельного центра при нем отличалась особой энергией.

Взаимоотношения между обеими законодательными палатами в описываемое мною время оставляли многого желать. Редкий законопроект проходил гладко, не возбуждая трений. Деятельность Государственной Думы, полномочия которой кончались в 1912 году, усиленно рекламировалась столичной «передовой» прессой. Думе ставился в заслугу рост экономического благополучия страны. Та же пресса неустанно подчеркивала якобы ненормальные взаимоотношения обеих законодательных палат. Российскому обывателю настойчиво прививалась мысль, что Государственный Совет принимает все меры, чтобы препятствовать продуктивности думской работы.

Между тем, не мало законопроектов, поступавших из Государственной Думы, требовало серьезных исправлений. Встречавшиеся в некоторых думских постановлениях крайности, нередко подсказанные теми или другими соображениями чисто идеологического характера, в интересах государства, сглаживались в Верхней Палате, где в большей своей части сидели люди значительного государственного опыта, руководствовавшиеся в своих решениях скорее велением рассудка, чем подсказом одного чувства.

Вспоминается мне один мимолетный, но характерный разговор между мною и А.И.Гучковым, случившийся в самый разгар междупалатных споров по поводу одного земского законопроекта.

– «Александр Иванович! – обращаюсь я к лидеру октябристов: – почему вы проектируете ввести столь многочисленное представительство от одной только крестьянской курии?

– Было бы о чем торговаться с вами! – ответил, посмеиваясь, Гучков, – Государственный Совет набавит, тогда и мы сбавим – иначе с вами не сладишь!» И вот эту то своего рода «торговлю» предвыборная пресса ставила в вину Верховной Палате, обзывая ее тормозом думской работы, упуская из виду те преднамеренные «торговые» запросы, о которых столь цинично поведал мне популярнейший депутат третьей Думы.

В том же 1912 году, под конец существования третьей Думы, произошли заметные перегруппировки в политических партиях. После убийства Столыпина, «националисты» несомненно утратили былое свое влияние на общий ход думских работ, и, одновременно, стала усиливаться новообразовавшаяся группа т.н. «прогрессистов».

Несмотря на видимое полное умиротворение политических страстей, кипевших в эпоху революции 1905-1907 г.г., и на как будто нормально наладившуюся в России жизнь; несмотря на некоторую даже предпраздничную приподнятость настроения среди правительственных сфер и части, населения, в связи с предстоящими юбилейными торжествами, среди лиц, близко стоявших к трону и к верхам государственного управления, сказывалась подавленность и тревога. Болезнь Наследника, нервность Императрицы, бесхарактерность Государя, появление Распутина, бессистемность общей политики – все это заставляло честных и серьезных, государственных людей не без волнения задумываться о положении вещей и не без опаски смотреть на неопределенное будущее...

Настроения эти, главным образом, нарастали среди лиц, консервативного направления, не видевших предела неопределенности политики, вызываемой болезненной неустойчивостью характера Государя.

Установленный с высоты престола 17-го октября 1905 года представительный образ правления, по мере восстановления в стране внешнего порядка, сделался объектом жестокой критики, исходившей из двух противоположных политических лагерей – от крайних правых, вообще враждебно настроенных против какого-либо народоправства и считавших его несовместимым с царским самодержавием, и левых группировок, отрицательно относившихся к Государственной Думе после Столыпинского июньского *coup d'Etat*.

Борьбу против означенных течений приходилось вести членам законодательных палат, принадлежавшим к «умеренным» партиям. В этом отношении Дума третьего созыва оказалась безусловно на должной высоте. В ней выдвинулось работоспособное большинство, из деятелей умеренного направления, безусловно лояльных к короне. В целях упрочения нового порядка государственного управления, чрезвычайно важно было бы, чтобы с высоты престола к деятельности «законопослушной», как ее тогда называли, третьей Думы было проявлено, в той или другой форме, определенно выраженное доверие. Подобное отношение со стороны короны к юному народному представительству упрочило бы доверие последнего к Царю. Его беспрерывно подрывали всевозможные слухи, которыми жили столичные политические салоны того времени. Царь жил не одиноко, но он держался вдали от думских деятелей той консервативно-умеренной категории, о которых я говорю. Вокруг престола толпились люди, которые вносили в дворцовую атмо-

сферу дух нездоровой критики в отношении далекой от придворной жизни Государственной Думы. Среди них было не мало приверженцев крайне правых. Они настойчиво напоминали слабовольному Государю, даровавшему стране народное представительство, что он должен ревниво оберегать свои незыблемые самодержавные права и не выпускать вожжей из своих рук... Со всеми этими лицами, как и со всеми, Его Величество держал себя ласково и мягко. В результате, подобные советчики, в разговорах с друзьями и знакомыми, неосторожно и бестактно приписывали Государю собственные мнения и намерения. Это порождало бесконечные вредные толки, доходившие до стен Таврического и Мариинского Дворцов.

В сознании столичного общества и законодательных сфер создавалось несуразное представление, что Царь, сам вызвавший к жизни народное представительство, относится к нему не только без искреннего доверия, но с явной осторожностью и скрытым недоброжелательством... В столичных верхах и в более широких кругах, нарастали нездоровые противоречивые настроения. Популярность Государя падала, люди умеренные даже в депутатской среде переходили в лагерь оппозиции. Все это не могло не отразиться на ходе выборов в четвертую Думу. В общем получалась безотрадная картина чего-то туманного, недоговоренного и неопределенного. Огромная российская машина был пущена в ход, но рельс впереди было не видно.

– Мы находимся в тупике, – как-то сказал мне вернувшийся из своей заграничной ссылки П.Н.Дурново, – боюсь, что из него мы все, с Царем вместе, не сумеем выбраться!..

В таких же мрачных красках охарактеризовал мне создавшееся в стране положение вещей, зашедший однажды ко мне в Европейскую гостиницу, Председатель Государственного Совета М.Г.Акимов. Для меня это был редкий и интересный гость.

После безжалостного революционного урагана и эвакуационных мытарств, из всего что у меня накапливалось в мирное время в виде записей до 1915 года, каким-то чудом уцелел и сейчас лежит перед моими глазами серенький листок почтовой бумаги. С левой его стороны изображен миниатюрный силуэт памятника Петру Первому, под ним отпечатано: «Grand Hotel d'Europe». Беседуя с М.Г.Акимовым, я на этом листике карандашом вкратце набрасывал наш разговор.

Просматривая теперь эту запись, помеченную 10-м Июня 1912 года, я постараюсь воспроизвести то, что пришлось мне услышать от почтенного Михаила Григорьевича.

Он начал с того, что откровенно жаловался на невыразимо тяжелые испытания, павшее на его голову не только в силу общего нерадостного политического настроения, но и вследствие его чисто личных тревог. Он страдал в то время упорной, изнурительной бессонницей и в то же время мучился тревогой за судьбу тяжко больной дочери.

Согбенный, с изможденным лицом, на котором лихорадочным огнем горели карие небольшие глаза, Михаил Григорьевич обратился с убедительной просьбой ко мне, как Самарскому Губернскому Предводителю Дворянства, предпринять на местах все возможное, чтобы на предстоявших в 1912 году выборах провести в четвертую Государственную Думу действительно достойных, способных и твердых людей. При этом Акимов пояснил: – дайте нам депутатов консервативно настроенных, но умеренных... От крайних правых никому – ни нам, ни самому Царю – житья нет!...

Перейдя затем к оценке деятельности законодательных палат, Акимов с особым ожесточением отзывался о лицах и группировках, которые решали вопросы не по существу дела, а

исключительно во имя торжества своих идей или партийных программ.

– Подобный образ действий господ законодателей нашей с вами Верхней Палаты – проворчал недовольным голосом Михаил Григорьевич – превращает временами само учреждение в некоторого рода «трущобу» (подлинное его выражение), из которой иногда всеми силами души хочется выбраться...

Между прочим, также не как государственного практика, а как идейного деятеля, выставлял Акимов члена Государственного Совета Манухина (бывший Министр Юстиции), которому было Высочайше поручено обследовать дело о беспорядках на Ленских приисках. Руководимый лишь соображениями человеческой гуманности, а не государственной необходимости, он по мнению Акимова, представил все дело в неправильном освещении.

В общем, Михаил Григорьевич откровенно мне признался, что, будучи сторонником идеи народного представительства, он, вместе с тем, считает, как самую форму, в которую Витте облек российскую конституцию, так и способ выборов в законодательные палаты далеко не соответствовавшими социально-бытовым условиям и потребностям Российской Империи. На этом вопросе мы с ним идейно сошлись, и Акимов всецело присоединился к моему мнению о целесообразности введения в России принципа сессионно-законодательных работ и принятия в основу российского народного представительства прототипа земских учреждений.

Разговор наш коснулся затем наболевшего у всех нас вопроса – общего неустойчивого положения страны, которое обустлавлялось прежде всего личностью Государя Николая Александровича...

– Государь наш – это олицетворение полнейшей неопределенности. Совершенно не знаешь и не угадаешь, что будет завтра! – вот те подлинные слова Михаила Григорьевича, которые я тогда же занес себе на память. Но этим мой собеседник не ограничился.

Будучи довольно часто вызываем Его Величеством, и сам нередко пользуясь своим высоким званием статс-секретаря, Акимов мог ближе других распознавать характер своего Государя. Он говорил, что при всей видимой податливости и мягкости, Его Величество временами обнаруживал неожиданную самостоятельность, в иных случаях производящую впечатление упрямства. Когда Михаилу Григорьевичу, как Председателю, приходилось перед Новым Годом представлять на Высочайшее утверждение список членов Государственного Совета по назначению, намеченных к «присутствованию», нередко Государь не соглашался с представляемыми списками, настаивая на внесении в него его кандидатов, вопреки откровенного мнения о них высокосоветного докладчика...

Вообще Акимов смотрел на личность Государя и на все его ближайшее окружение чрезвычайно пессимистично. С ужасом он говорил о вновь усиливавшемся влиянии князя Мещерского и с отвращением отзывался о Распутине. По его словам – среди столичных государственных деятелей не раз возникал вопрос о том, как обезопасить трон от случайных закулисных влияний и образовать вокруг него особый Верховный Совет (на подобие японского), или учредить при особе Государя Николая II должность личного секретаря. Но все это оставалось в области одних лишь предположений, отчасти потому, что затронутый вопрос встречал ряд чрезвычайных затруднений для своего разрешения – отчасти и потому, что из уст самого самодержца трудно

было услышать по этому поводу какой-либо определенный взгляд и ответ.

– Переживаем мы – закончил хмурый Акимов свою затянувшуюся со мной беседу – тяжелое переходное время! Один Бог знает, к чему это Россию приведет?!.. Мое дело старое – мой конец не за горами, а вот вам, молодым людям, предстоит, вероятно, еще многое увидеть!.. Дай Бог, чтобы все обошлось благополучно!

Слова эти оказались пророческими: Михаил Григорьевич Акимов вскоре от нас отошел в вечность, а мы, бывшие «молодые люди», сделавшись ныне «беженскими старцами», на самом деле дождались такого, чего нашим старикам и во сне не снилось.

110

Записанная мною беседа с Михаилом Григорьевичем Акимовым происходила незадолго до закрытия сессии Государственного Совета перед нашим летним т.н. «вакатом». К тому же времени надо отнести интереснейшую поездку членов Верхней Палаты в Кронштадт и его окрестности. Поездка эта состоялась по приглашению Морского и Военного Министров чтобы предоставить членам Государственного Совета возможность произвести осмотр Балтийского флота и всей системы только что законченных крепостных заграждений.

В один из солнечных июньских дней около сотни собравшихся моих коллег, во главе с президиумом, в лице Акимова, Голубева и Крыжановского, расположились на палубе поместительной нарядной яхты и с наслаждением поплыли по невиданному мною до сих пор сначала Невскому, а затем – полуреч-

ному, полуморскому руслу... Проходя сквозь строй всевозможных судов и строительных доков, встречая на пути множество дымивших пароходов разного типа и национальностей, каждый из нас, наверное, подумал про себя о Великом Петре и его знаменитом окне в Европу...

Выбравшись на простор морского залива, на отдаленном фоне которого ясно обозначался Кронштадт с доминирующим над ним туманным силуэтом огромного собора, почтенные законодатели, обвеваемые теплым, влажным бризом, не без удовольствия чувствовали себя на свободе, вне обычных стен своего Мариинского Дворца и, разбившись на кучки весело беседующих между собою людей, имели в общем вид скорее беззаботных и жизнерадостных экскурсантов, чем отягощенных государственными заботами членов законодательной палаты.

В Кронштадте члены Государственного Совета были радушно встречены всем морским и крепостным начальством, во главе с небольшим невзрачным адмиралом Вирен и видным красавцем – генералом Артамоновым.

Прежде всего, мы направились в Собор св. Николая – сравнительно недавно сооруженный в центре главной и обширной городской площади. Художественная внутренняя отделка храма выдержана в древнеправославном Васнецовско-Нестеровском стиле. Но меня и моих спутников поразило несоответствие лика Спасителя, изображенного на купольной надъиконостасной стене с остальной обстановкой храма. Очертания этой стеной иконы казались чудовищно велики. Колоссальных размеров черно смуглое лицо Христа, с огромными мрачными и враждебными глазами, давило на входивших в храм.

Осмотр флота и крепостных укреплений занял у нас почти целый день. Впечатление вынесли мы от всего нами виденного самое отрадное. Чувствовалась творческая свежая инициатива,

энергичная исполнительность, бросалась в глаза дисциплина и образцовый порядок. Между прочим, мне впервые пришлось стоять вблизи 12-ти дюймового крепостного орудия во время стрельбы. После осмотра Кронштадта и ближайших защитных ограждений, нам предложили проехаться на дальние крепостные позиции, расположенные с обеих сторон залива. Их оборудование было только что закончено. При осмотре укреплений, сооруженных на финляндском берегу (т.н. форт «Ино»), где только что были установлены на особых бетонных площадках громадные 12-ти дюймовые орудия, было решено, по соглашению крепостного начальства с высокосановными посетителями, выпустить из новых орудий два снаряда. Кое-кого из нас успели об этом предупредить, некоторые же узнали лишь тогда, когда от неожиданного выстрела и от страшного сотрясения воздуха попадали на землю...

Закончилась наша поучительная Кронштадская поездка скромным банкетом, в нашу честь устроенным в морском собрании, на что недели две спустя мы ответили тем же в Европейской гостинице, где, по поручению моих коллег, мне пришлось организовать все необходимое для вечернего приема Кронштадтских властей. В нарядном ресторанном зале был устроен ужин, на котором участвовало свыше 100 человек, после чего беседа членов Верхней Палаты с приглашенными почетными гостями затянулась далеко за полночь, отличаясь искренней задушевностью.

111

По закрытии в конце июня 1912 г. сессии Государственного Совета, я поспешил к себе в Самарскую губернию, где, кроме общественных сословных дел, меня ожидала большая работа. Надо было достроить мельницу.

После того, как удалось справиться с постройкой фундамента для мельничного корпуса, верхние его этажи стали быстро воздвигаться один за другим, так что к осени 1912 года весь многоэтажный каркас здания с крышей, в виде тонкого, тоже железобетонного, перекрытия, стоял готовым.

Пятиэтажное здание получилось на редкость красивое, легкое и стройное. Старая мельница была мною снесена после того, как все работы по постройке новой были закончены. Нелегко было мне разламывать бревенчатые венцы заслуженной нашей с отцом бывлой кормилицы.

112

В конце 1911-го года и в начале 1912-го Губернские Предводители Дворянства неоднократно собирались обычно в великолепных апартаментах столичного Предводителя, гостеприимного светлейшего князя И.Н.Салтыкова, для обсуждения вопроса об участии Дворянства в предстоящих в 1912 и 1913 годах юбилейных торжествах.

По временам среди нас возникали страстные прения. Дело в том, что было две параллельных сословно дворянских организации: периодические съезды Губернских Предводителей и возникшее в 1906 году Всероссийское Общедворянское Объединение, с постоянным его органом – Советом, в котором, кроме избранных членов *ex officio* участвовали Губернские Предводи-

тели дворянских обществ, примкнувших к упомянутому объединению. На столичные съезды, происходившие в 1912 году по поводу юбилейных торжеств, Петербургский Предводитель приглашал всех Губернских Предводителей, как выборных, так и служивших по назначению (в западно-окраинных губерниях), включая старших сословных представителей Прибалтийских и Кавказских губерний. Само собой разумеется, что в деле общероссийского чествования Бородинского юбилея, а тем более трехсотлетия царствования Дома Романовых, дворянство не могло остаться в стороне. Возник целый ряд всевозможных проектов относительно формы нашего участия в предстоявших юбилейных торжествах. Со стороны Совета Объединенного Дворянства были предприняты некоторые шаги, чтобы инициативу общедворянского участия в Романовском юбилее взять в свои руки. Но это не встречало среди российского дворянства общего сочувствия, в силу того, что хотя к объединенной сословной организации и примкнуло подавляющее большинство дворянских обществ русских губерний, новее же оставалось около десятка дворянских собраний, которые от подобного присоединения воздержались.

Исходя из того повелительного соображения, что на упомянутых торжествах всероссийское дворянство должно выступить с единым лицом, члены всех предводительских съездов, происходивших в 1912 году, пришли в конце концов к единодушному решению – принять на себя все подготовительные организационные работы по участию в юбилеях 1912 и 1913 годов. Совету Объединенного Дворянства пришлось подчиниться единоголосному постановлению всех российских Губернских Предводителей.

Среди разнообразных мнений о том, в какой форме должно выразиться наше участие, наибольший интерес и внимание к себе возбудили два проекта – Самаринский и мой. Первый предлагал поднести Их Величествам драгоценный ларец с вложенной в нем особой грамотой в виде свитка древнего письма. Я предлагал соорудить художественный стяг в виде старинного знамени «прапора», как эмблемы сословного объединения вокруг Верховного Царственного Вождя. После длительных, часто страстных обсуждений, пришли к примирительному решению – принять оба предложения с тем, чтобы поднесение стяга приурочить к чествованию Бородинского юбилея 1912 года, а ларца – к майским Романовским торжествам 1913 года.

Выполнение заказов было возложено на Самарина и меня.

Я рекомендовал фирму «Братьев Оловянишниковых», где те же люди – Башков и Окунев – при содействии талантливого В.М.Васнецова, охотно взялись за исполнение исключительно интересного для них общедворянского заказа.

Летом 1912 года мне, как Губернскому Предводителю, пришлось участвовать в Москве в двух торжествах.

Сначала состоялось открытие памятника императору Александру III, сооруженного на берегу Москвы реки на одном из углов огромной площади, на которой высился знаменитый Храм Христа Спасителя. Открытие означенного памятника происходило в присутствии Августейших Царствовавших Особ и при огромном стечении служилых людей всех рангов и наименований, начиная с приближенных к трону сановников и кончая волостными и сельскими должностными лицами.

Весь церемониал прошел благополучно и закончился парадом войск, проходивших вдоль речного берега, мимо царского места, у подножия памятника. Сам памятник возбудил немалые

толки, далеко не в пользу его творца. В тяжеловесной фигуре Государя Александра III, рассевшейся на троне, с короной на голове и царскими регалиями в обеих руках, была неестественность, натянутость и грубая аляповатость. Многим не нравилось также место, выбранное под памятник – сравнительно глухой закоулок, причем, ради того, чтобы обратить Императора лицом к московскому Кремлю, всю царскую фигуру повернули спиной к величественному Храму Спасителя.

Пользуясь присутствием в Москве Царствующих Особ, Московское дворянство устроило в Их честь, в обширном здании Дворянского Института для девиц, имени Александра III, раут, оставивший на всех приглашенных, в частности, и на меня, незабываемое впечатление. Институт расположен был вблизи «Красных Ворот». Это был четырехугольный солидный корпус, когда-то служивший дворцом Императрицы Анны Иоанновны. Внутри был большой палисадник, обрамленный со всех четырех сторон крытыми галереями с изящными легкими колонками.

После блестящего концертного отделения, где исполнительницами были институтки, приглашенные перешли в палисадник, превращенный в благоухающий цветник, поражавший изобилием и изумительным подбором великолепных растений. Галереи были разукрашены легкими цветочными гирляндами. Все место, столь удачно отведенное Московским Дворянством под прием Высочайших Особ, представляло из себя цветочное плато, богатейшее по количеству и подбору растений.

Особенно красиво было отделано Царское место, тоже окруженное гирляндами, но из одних редчайших по форме и окраске орхидей. Августейшим Особам был сервирован «русский чай» с серебряным самоваром. К этому столу по очереди подводились все приглашенные. Самарин их представлял Их

Императорским Величества. По ту и другую сторону Царского стола, в некотором отдалении от него, были расставлены для гостей столы, ломившиеся под тяжестью прохладительных напитков и необычайного разнообразия всевозможных вкусных съедобных приманок, на изобретение которых столь гораздо была в свое время наша матушка Москва.

На этом многолюдном и радушном приеме, для которого мобилизовано было все дворянское московское общество – не только мужской, но и женский его элемент – цвет людской красоты и благовоспитанности переплетался с богатством садовой природы; волны аромата цветов перемешивались с легкими струйками пряного запаха тончайших духов. Внимание и хлебосольство родовитых хозяев счастливо соединялось с обаятельным обхождением Венценосных Гостей. Недаром у участников этого исключительного по своей парадности и красоте праздника осталось воспоминание о нем, как о некоем «парадизе». Уместность подобного наименования оправдывалась еще и тем, что среди угощавших хозяев мелькали, во всех отношениях очаровательные, институтки; они с милой улыбкой подводили зачарованного гостя к воистину «райским» угощениям.

Если к этому добавить, что все двухчасовое пребывание на рауте протекало под аккомпанемент лучших оркестров и отборнейших московских хоров, – то всякому понятно станет, почему в «неземной» обстановке этого «парадиза» я с превеликой неохотой разговаривал на серьезные «земные» темы, удовлетворяя любопытство присутствовавшего на рауте Министра Внутренних Дел А.А.Макарова по поводу предстоявших выборов в четвертую Государственную Думу.

Определенного я ничего не мог ему сообщить, в силу перемены в общественных настроениях. Об одном я умолял Макарова: никого из правительственных агитаторов к нам в Самару не присылать, во избежание лишних осложнений в нашей предвыборной работе. Я высказал Министру эту просьбу в самой настойчивой и категорической форме, после того, как я от него услышал, что Товарищ Министра Харузин собирался командировать для агитационных целей некоторых лиц, имевших в этой области известный опыт. Для Самары, по словам Макарова, намечался пресловутый «черносотенец» Пеликан. Очевидно, мое заявление Министру не осталось без следа – благодарение Богу, эта южная птица к нам в Самарский край перед выборами не прилетала...

113

Другое торжество, привлечшее в Москву со всех концов России массу воинского и гражданского служилого люда, связано было со столетним юбилеем Бородинского сражения и приурочено было ко дню знаменитой битвы, к 26-му августа.

Съехавшиеся в Белокаменную накануне означенного дня Губернские Предводители были приглашены старшинами Английского Клуба на парадный вечерний банкет в старинном красном особняке на Тверской, с его типичным фасадом Александровских времен и спокойно дремлющими львами на воротах.

Несмотря на множество приглашенных лиц и многочисленных хозяев, мы свободно размещались в просторных покоях громадного помещения. Большинство участников этого памятного банкета предпочитало провести вечер в превосходном клубном саду, среди вековых тенистых аллей попеременно с

нарядными благоухавшими цветочными клумбами. Огромный с колоннами балкон, так же как и самый сад, был эффектно освещен целой паутиной электрических гирлянд. Все имело уютный и таинственно привлекательный вид.

Само собой, я предпочел со своими друзьями устроиться за одним из симпатичных столиков под липами, где мы и обедали в чарующей обстановке чудного августовского вечера, с наслаждением лакомясь изумительным кулинарным мастерством прославленной на всю Москву клубной кухни.

Благодаря исключительной приветливости и радушию, с которыми приглашенные были встречены хозяевами клуба, их чисто московскому широкому хлебосольству и уменью принять, мы чувствовали себя в совершенно домашней уютной помещицкой обстановке доброго старого времени. Прислуга в парадных кафтанах предлагала обедавшим неисчерпаемый запас редчайших яств и вин знаменитых марок, не говоря уже о шампанском, разливавшемся рекой по просторной клубной усадьбе.

В течение всего вечера играли лучшие московские оркестры, а на центральном балконе был раскинут цыганский табор, где были собраны лучшие певцы и певицы Яра, Стрельны и Всесвятского.

Во время обеда, сервированного частью внутри клубного помещения, вдруг наступила всеобщая тишина. С балкона раздался звучный призыв поднять бокалы за драгоценное здоровье Государя Императора. Со всех концов раздалось неумолчное «ура» и послышались мощные звуки народного гимна, исполненного всеми наличными силами приглашенных оркестров и хоров...

Неохотно покидали мы Английский Клуб, но надо было спешить по домам, чтобы к 6½ час. утра быть готовыми для отъезда с Александровского вокзала на Бородинские торжества.

Прибытие из северной столицы в Бородино Их Императорских Величеств со всей Августейшей семьей и многочисленной свитой состоялось 25 августа – накануне знаменательного все-народного торжества, которое началось рано утром Божественной Литургией в Спасо-Бородинском монастыре.

От монастыря к Бородинскому памятнику проследовал крестный ход. Возглавлял его Московский митрополит, окруженный сонмом духовенства в блестящих парчовых облачениях. Лес хоругвей горел на солнце. Хоругвеносцы, в своих парадных с золотыми кистями и бахромой кафтанах, несли чудотворную икону Смоленской Божьей Матери, которая была водружена в Царской походной палатке церкви. В крестном ходу шли Августейшие Особы и огромные толпы народа.

Просторное поле, окружавшее высившийся на холме Бородинский памятник, было сплошь заполнено войсками, выстроенными четырехугольником, в центре которого, у подножья обелиска, виднелся Государь Император с Августейшим Семейством и придворными.

После торжественного молебствия, Его Величество, на коне, в сопровождении членов семьи, следовавших сзади Государя в поместительной открытой коляске, запряженной а la Daumont, объезжал войска. Довольно долго длившийся объезд производил сильное впечатление величиим общего зрелища и внушительностью военной мощи.

Стоя рядом с Министром Иностранных Дел С.Д.Сазоновым, и переживая в то время, вместе со всем русским обществом, славянские волнения из-за разгоревшейся на Балканах

Болгаро-Сербской войны, я спросил своего соседа: «Какое Ваше мнение относительно вмешательства России в Балканские события?... Посмотрите на эти войска! Разве это не мощь?!» На это Сазонов, склонившись ко мне, сказал на ухо: Это только, увы, одна лишь видимость. На днях меня определенно предупредили, что мы еще не готовы!» Досадно было мне это слышать – особенно при виде блестящего Бородинского парада, но... пришлось Сазонову поверить!

При посещении 25-го августа Бородинского Инвалидного Дома, Их Величествам были представлены, шесть столетних ветеранов, среди которых оказалась одна старушка – чуть ли не 128 лет, – лично будто бы видевшая Наполеона и хорошо его запомнившая. Всех их Государь удостоил милостивыми расспросами и своим особым вниманием.

27-го августа Их Величества выехали из Бородина в Москву, где состоялся в чрезвычайно торжественной обстановке проезд Царского кортежа с Александровского вокзала, через весь разукрашенный цветочными гирляндами и национальными лентами город, в Кремль. Гармоничный колокольный звон извещал миллионное население древней русской столицы об выпавшем на ее долю исключительно радостном событии – встрече с Венценосным Божьим Помазанником.

В тот же день состоялся Высочайший выход в Успенский Собор. Он вызвал, до сих пор памятный мне, энтузиазм народных масс, который проявился, когда царская чета показалась на Красном Крыльце Кремлевского Дворца.

Вечером состоялся блестящий прием Высочайших Особ московским дворянством. Здание Дворянского Собрания было роскошно декорировано, а внутренние апартаменты буквально утопали в цветах и тропических растениях. При звуках народного гимна Августейшие Гости были встречены московским

дворянством в лице всего предводительского и депутатского персонала, после чего Его Величество обходил собравшихся дворян и милостиво беседовал с группой губернских предводителей, явившихся на раут по любезному приглашению того же московского дворянства. Их Величества заняли приготовленное для них место на эстраде, где им был сервирован чай. Тотчас же в зале раздались в соединенном исполнении оркестра и хора мощные звуки известной увертюры Чайковского «1812-й год», гениально сочетавшей в себе разнохарактерные музыкальные темы двух народных гимнов – французской «Марсельезы» и русского «Боже Царя храни».

По выслушанию увертюры открылось шествие губернских Предводителей Дворянства; они попарно следовали за своими столичными коллегами, которые торжественно несли сооруженный всероссийским дворянством драгоценный древнерусский стяг. Подойдя к эстраде, к краю которой вышел им на встречу Государь, Предводители образовали у ног своего Верховного Вождя внушительный по численности и парадности полукруг, в центре которого стояли Санкт-Петербургский Предводитель светлейший князь И.Н.Салтыков и рядом с ним Московский – А.Д.Самарин. Последний произнес горячую прочувствованную речь, от имени всего дворянства Империи просил Его Величество принять священный стяг, как эмблему единения Царя с его передовым служилым сословием. Всем нам, стоявшим близко от эстрады, хорошо было видно, как, после слов Самарина, лицо Государя выразило не только радость, но отразило глубокое внутреннее волнение; это было заметно по тому, что его глаза стали влажными. Прияв в свои Царственные руки хужожественно исполненное в древнерусском стиле знамя «прапор», Его Величество удостоил собравшихся вокруг него пред-

водителей удивительно трогательными по содержанию и задушевными по тону милостивыми словами, покрытыми единымдушным, долго несмолкавшим «ура» и многократным исполнением народного гимна.

Описанный мною церемониал поднесения Царю дворянством стяга прошел с огромным подъемом и необычайно торжественно. На всех участников дворянского раута, в частности на нас самих, на предводителей, он произвел незабываемое впечатление.

Не скрою, – мне лично отрадно было тогда выслушать из уст нашего старейшины, Пензенского Предводителя Д.К.Гевлича, слова признательности за поданную мною мысль о сооружении дворянского стяга. После поднесения он хранился некоторое время в собственном Государевом кабинете, а затем был водружен в Федоровском Царскосельском Соборе, рядом с местом, отведенным для Их Величеств.

В последующие дни, 28-го и 29-го августа, Их Величества посещали чествования, которые им устраивали разные городские учреждения и учебные заведения, и присутствовали на параде войск, происходившем на Ходынском поле. 30-го того же месяца они отбыли в Петербург.

114

В 1912 м году происходили выборы в четвертую и последнюю Государственную Думу. На их результатах самым отрицательным образом отразились два основных неблагоприятных фактора.

В столичных руководящих сферах было решено пойти по пути самого бесцеремонного воздействия на ход предстоявшей

избирательной кампании. По соглашению Министра Внутренних дел Макарова и, главным образом его Товарища – Харузина, с Ober-Прокурором Св. Синода Саблером, на места в провинцию стали рассылаться Губернаторам и Архидьяконам кипы всевозможных инструкций, сочиненных в тиши столичных канцелярий людьми, далеко стоявшими от житейской действительности и от подлинных общественных настроений того времени.

Наш губернатор Протасьев, будучи со мною в наилучших отношениях, по получении петербургских руководящих новелл, спешил со мной советоваться, благодаря чему я в предвыборное время находился в курсе всей этой зловредной столичной политики, ставившей не столько губернатора, сколько всех нас, ответственных руководителей предстоявшего выборного производства, в исключительно тяжелое положение.

В Самарской губернии, как, вероятно, помнят читатели, еще с осени 1905 года, сплотился сильный землевладельческий и собственнический блок, который, без всякого правительственного подсказа, тем более, помощи, в 1907 году при выборах в третью Думу, послал в нее безусловно благонадежных и достойных представителей. Общественная самодеятельность, проявленная самарским обществом имевшая своим выразителем серьезный печатный орган – «Голос Самары», за пять лет существования третьей Думы оставалась все той же, и в период предвыборной кампании 1912 года не нуждалась ни в каких закулисных директивах, тем более – «Харузинских», лишенных знания местных выборов условий. Они причиняли нашей право умеренной партии лишь огромный моральный ущерб. Все, что пачками пересылалось из Петербурга в Самару для поддержки и усиления «правительственных» кандидатов, для местного общества не оставалось секретом и только давало пищу

всяческим слухам и пересудам, и служило ценным материалом для боевых статей в левой прессе. Для нее это был козырь для дискредитирования правых самарских группировок.

Вмешательство Петербурга в общий ход предвыборной кампании доходило временами до невероятной бесцеремонности. Однажды Протасьев показал мне распоряжение того же Товарища Министра Харузина, по которому возлагалось на губернатора образование среди самарских обывателей особой предвыборной группировки. Именуясь «беспартийной», она должна была задаться целью избрать в Думу лиц, на которых «царское правительство могло бы всецело положиться»... Помню, как Протасьев по этому поводу нервничал, сознавая всю фактическую неосуществимость подобных министерских распоряжений. Но как должностное лицо, он вынужден был приступить к образованию в Самаре порученной ему «правительственной беспартийной» группы; конечно, все попытки его в этом отношении ни к чему не привели и лишь осложнили предвыборные настроения самарских политических «кругов».

Харузинские распоряжения, также как и Саблеровские инструкции архиереям – поощрять прохождение духовенства в число выборщиков, а затем и в депутаты, в сильнейшей степени мешали нашей деятельности в деле объединения вокруг прежнего нашего лозунга – борьбы с врагами государственного порядка. Сама власть сверху вносила известную беспорядочность в область нашего политического самоопределения и общественно-государственной самодеятельности. В силу всего этого, оппозиционность к правящим верхам усиливалась даже среди тех, кто при выборах в третью Думу принадлежал к сплоченному право-умеренному блоку Партии Порядка.

Еще и другой фактор оказал существенное влияние на ход выборов в четвертую Думу. В третьей Думе самарские депутаты,

избранные в 1907 году по списку Партии Порядка, к концу своих полномочий стали проявлять некоторые между собой разногласия, и к концу пятого года своей депутатской жизни разошлись по разным думским группировкам. Большинство оставалось в составе октябристов, но некоторые вступили в ряды националистов или прогрессистов.

Это не могло не отразиться на ходе выборов в Думу четвертого созыва. Тот преобладавший над общим числом выборщиков (131) умеренно-правый блок в 75 человек, который сыграл решающую роль при выборах в третью Думу, в 1912 году дал заметную трещину. Приходилось настойчиво думать о спайке. Такие, например, лица, как А.И.Новиков и В.Н.Львов, прошедшие в 1907 году в депутаты в полном с нами политическом согласии по нашему списку, в 1912 году уже чинили нам всяческие препятствия. Вокруг каждого из них образовывались обособленные группы, выставлявшие сепаратные условия для составления избирательных списков.

Итак, с одной стороны, – столичное бестактное и грубо неразумное вмешательство в местную предвыборную жизнь, а с другой – раскол среди представителей бывшего партийного блока – вот два главных отрицательных фактора, чрезвычайно осложнивших избирательную кампанию 1912 года. Приходилось делать большие усилия, путем непрерывных частных и общих совещаний и через посредство ряда газетных статей в «Голосе Самары», чтобы вновь сплачивать наш расколовшийся первоначальный избирательный блок.

Учитывая всю запутанность и трудность предвыборного настроения, я решил широко поставить вопрос о составлении списка кандидатов. Я разбил всех политически мыслящих людей на две основные группы: те, кто при данной конституции

готов идти в законодательную палату для государственной положительно творческой работы, и те, кто шли в депутаты, чтобы взрывать существующий представительный строй, и через учредительное собрание создать новый образ правления, им одним угодный. К первым я причислял умеренно правые группировки, включая «националистов», «октябристов», «прогрессистов» и даже правое крыло кадетской партии. Ко вторым – все то, что было левее перечисленных групп. Подобное подразделение давало мне возможность говорить общим языком с Львовым, с Новиковым, со всеми, кто одинаково с ними мыслили. В том же духе мы вели серьезно вдумчивую газетную агитацию в «Голосе Самары» и таким образом предотвратили распад нашего объединения вокруг партии порядка и не дали восторжествовать на выборах лево кадетской партии со всеми ее присными...

Ко времени прибытия в губернский город со всех концов обширного Самарского края избранных выборщиков, губернатор Протасьев получил срочные распоряжения все того же неугомонного «выборного вредителя» – Товарища Министра Харузина и показал их мне. Согласно этому приказу, Губернатор должен был озаботиться наймом комнат в гостиницах для размещения в них выборщиков и установления за ними особой слежки, дабы предотвратить зловерное влияние антиправительственных политических партий.

Само собой, я был до крайности возмущен всей этой «Харузовщиной», в которой я, не без основания видел сугубое препятствие для достижения намеченной цели уменьшить оппозиционные настроения. С моими доводами и уговорами Протасьев, по существу, вполне соглашался, но вместе с тем откровенно сознавался, что какие-нибудь меры в преподанном ему сверху духе он, по обязанностям службы, должен предпринять.

В результате вот что получилось. Большинство выборщиков по приезде в Самару, заезжали ко мне и расписывались в книге, или оставляли свои карточки. Отдавая им всем визиты, я заехал в «Сарептские» номера, которые, как я потом узнал, были сняты по приказу Петербурга под постой выборщиков. Войдя в переднюю, натыкаюсь на довольно прилично одетого господина. Не видя никого из прислуги и не имея возможности знать всех выборщиков в лицо, я обратился к нему с вопросом, не состоит ли он в числе выборщиков и как его фамилия? На это господин этот, смущенно улыбнувшись и предварительно вокруг себя оглянувшись, мне тихим голосом сообщает, что он служит в охранке и командирован начальством для «слежки» за выборщиками... Вернувшись опрометью домой, я соединился по телефону с Протасевым и уже не убеждал его, а потребовал немедленного устранения таких «шпигов», пока не поздно, и пока подобное неслыханное безобразие не получило публичной огласки.

Один из ставропольских выборщиков, сосед мой по Головкину, Старомайнский мукомол и торговец, Васильев, остановившийся сначала в Сарептских номерах, почему-то решил на другой день переехать в другую гостиницу. Он потребовал счет. Каково же было его удивление, когда хозяин номеров с умильной, но многозначительной улыбкой, ему заявил, что все его постояльцы выборщики впущены им в его номера даром... «Как так?!» с недоумением спросил почтенный Васильев, на что несдержанный на язык, словоохотливый хозяин объяснил, что Правительство само решило заплатить за выборщиков. Пришедший в немалое смущение Васильев бросился ко мне. «При этих условиях вряд ли возможно доброго исхода ожидать от наших выборов!» – не без горечи признался мне разволновавшийся Васильев.

Он был прав, но переубеждать Протасьева было уже поздно. Вот при какой неблагоприятной обстановке пришлось мне открывать губернское избирательное собрание для производства выборов в четвертую Думу.

Выборы протекали в тяжелых условиях несогласованности выборщиков в отношении составления единого определенного списка кандидатов. Лишь один, выставленный мною кандидат от землевладельческой курии – Алексей Михайлович Наумов – прошел абсолютным большинством. Все остальные были избраны относительным количеством шаров. Выборы затянулись на двое суток. Наш прежний блок, насчитывавший при выборах в третью Думу 75 человек, не сохранился. Оппозиционно кадетские группы тоже не имели абсолютного большинства. На вторые сутки выборщики, не видя другого исхода из создавшегося тупика, решили сойтись на составлении смешанного списка, куда, наряду с умеренно правым элементом, были введены кандидаты, принадлежавшие к умеренно левым группировкам (или к правым кадетам). Для выработки означенного списка пришлось объявить довольно длительный перерыв, во время которого большинство выборщиков собралось в одну из комнат в верхнем этаже Дворянского Дома. Там состоялось у них совещание под председательством Дмитрия Яковлевича Слободчикова. Установив единый список, выборщики стали выходить из конспиративной комнаты, предварительно произнеся во всеуслышание клятву, что будут вписывать кандидатов и класть им «направо», согласно состоявшемуся сговору.

Только благодаря этому смешанному совещанию удалось в конце концов выбрать от Самарской губернии положенное число членов Государственной Думы (13). Перемена, по сравнению с предшествовавшим составом депутатов, произошла значительная. Из бывших членов третьей Думы переизбранными

оказались лишь В.Н.Львов, И.С.Клюжев и А.И.Новиков. Знаменитый «апостол трезвости» Челышев был забаллотирован. В число депутатов попало двое тихих и немудрых священников и двое правых кадет (Гладыш и Позняков). Некоторые прошли совершенно случайно до сговора; таким «фуксовиком» можно считать Н.Н.Рычкова. В общем же, все избранники отвечали намеченной мною характеристике, – они готовы были при существующем строе народного представительства искренне и честно работать...

До сих пор тяжело вспоминаются эти два утомительнейших дня, проведенные мною, как председателем Губернского Избирательного Собрания, за непрерывными баллотировками, подсчетами, переговорами, бесконечными совещаниями и примирительными увещеваниями.. На фоне нудной и напряженной картины вспоминаются и забавные подробности. Иван Семенович Клюжев, любивший озадачивать своих собеседников витиеватостью своих выражений, на вопрос одного из wyborщиков, будет ли он класть шар за избрание А.Н.Попова, не внесенного в установленный на совещании список, торжественно ответил:

– Как это можно?! Ведь решено было Попова в список не вносить! Разве я могу против данной мною клятвы поступить?! Знайте! Меня еще бабушка с дисциплиной родила! Да с! Имейте это в виду!...

115

1912 год увенчался в моей хозяйственной жизни радостным событием: к концу декабря все работы по оборудованию моей новой огромной вальцовой мельницы были полностью закончены. Головкинская администрация ожидала хозяина,

чтобы освятить ее и приступить к началу давно желанного раз-мола. Встретив праздник Рождества Христова в Самаре среди своих, я отправился в Головкино, где накануне Нового 1913 года произошло торжественное освящение мельницы.

События этого, как оказалось, с немалым нетерпением ожидали не только одни Головкинские, но и все окрестные крестьяне. К этому дню, вокруг красиво возвышавшегося среди снежных равнин стройного мельничного здания, собралась масса деревенского люда. По окончании молебствия, они с необычайным любопытством обходили внутреннее помещение выстроенного на их глазах «чудного», по их мнению, железобетонного корпуса.

По окончании церковного служения, я встал на центральной площадке, на которой были установлены все четыре вальца и обе пары жерновов, и по телефону дал приказ в машинное отделение пустить в ход машину. Раздался мелодичный трехтонный свисток, оповестивший на всю далекую округу о начале жизни моего детища. Запыхтел паровик, забурлила шлюзовая вода, завертелся могучий трансмиссионный металлический вал. Зашевелилось все сложное и разнообразное, чем должна была жить светлая и нарядная красавица мельница.

Стоя среди ровно загудевших вальцов, я не верил своему счастью, мысленно переносясь к памяти моего незабвенного родителя, столь тоже любившего мукомольное дело. Передо мною на бетонной стене виднелась только что водруженная металлическая доска, с выгравированной на ней краткой историей мельничной постройки, а над ней висел превосходно исполненный Дивеевскими монашенками образ, изображающий преподобного Серафима Саровского, размалывающего муку ручным жерновом.

Работа сразу пошла с исключительным успехом. Крестьяне мне, шутя, говорили, что «бабье» их, проведая про Головкинскую «вальцовку», проходу им не давали, требуя скорейшего привоза им «белой» муки. Благодаря доброкачественности работы, количество крестьянского помола все росло, и это приносило мне немалый доход.

Начало мельничной работы сопровождалось святочными увеселениями. Их устраивали служащие и деревенская молодежь. Редкий вечер не заявлялась в переднюю Головкинского дома веселая ряженная молодежь с гармонистами и балалаечниками. Главным вдохновителем и организатором всех этих рождественских домодельных маскарадов являлся мой кучер Гаврила Миронов, специалист по части устройства разнообразных представлений с «жестокими» куплетами и лихим пением. Особенным оживлением отличался вечер, устроенный под самый Новый год. Веселая ватага, наряженная, главным образом, в вывороченные наизнанку тулупы, не только заполонила всю нашу прихожую, но попросила позволения пройти в залу, где под аккомпанемент своего импровизированного оркестра, с необычайным подъемом исполняла разнохарактерные танцы, вперемежку с разудалым хоровым пением и забавным театральным «интермеццо»...

При виде этого захватывающего деревенского веселья, явного общего довольства и самых искренних доверчиво-задушевных отношений между служащим и сельским человеком с их «барином» – мыслимо ли было предполагать, что через какие-нибудь пять лет все это коренным образом изменится, что хозяин Головкинского дома не только не сможет принимать у себя деревенских ряженных гостей, но и сам будет лишен возможности жить в своей родной вековой усадьбе!..

Наиболее ярким и памятным событием в 1913 году, несомненно, явилось всенародное празднование по всей империи трехсотлетия царствования Дома Романовых.

К этому юбилейному торжеству за год вперед шла повсеместная усиленная подготовка, сосредоточенная, главным образом, в обеих столицах. Чествование 21 февраля – дня избрания на царство Михаила Федоровича Романова, решено было отпраздновать в Петербурге, а майские дни, соответствовавшие времени въезда молодого Царя Михаила в 1613 году в Москву, – должны были быть проведены в Москве.

Вспоминая Романовские юбилейные дни, прошедшие всюду с огромным подъемом, я не буду задаваться целью подробно описывать все то, что пришлось мне видеть в далеком прошлом, в качестве участника происходивших в Петербурге и Москве торжественных придворных церемониалов, обедов, балов и пр. Ограничусь лишь теми общими впечатлениями, которые остались в моей памяти от такого важного события в жизни Российского государства – трехсотлетия династии Дома Романовых.

Прежде всего отмечу необычайную красочность и богатство всей обстановки юбилейных торжеств, и то, что все многотысячное представительство Российских служилых людей и общественных деятелей, собравшееся со всех концов Империи для участия в Романовском праздновании, отличалось безукоризненной лояльностью и проявляло по отношению к Венценосному Представителю царствовавшей династии чувства беззаветной верноподданности. Заверения в этом раздавались, как из уст председателей законодательных палат и высших прави-

тельстванных мест, так равно и представителей всех государственных сословий, включая крестьянство. В этом тогда чувствовалась главная сила и основное значение происходивших торжеств.

Вспоминается мне по этому поводу рассказ одного из участников юбилейных празднеств, происходивших в Высочайшем присутствии в Костроме, накануне прибытия Их Величеств в Москву. Когда, после торжественного молебствия, Государь с Государыней и Августейшим семейством вышли к народу, и столпившаяся у подножия возвышенного царского павильона многотысячная масса городского и сельского люда благоговейно, при виде своего Помазанника Божьего, как один человек опустилась на колени и запела «Боже Царя храни», – один из иностранных атташе, находившийся в свите Государя, громко воскликнул: – Какая сила! Какое единство народного чувства! Все наши конституции ничто в сравнении с тем, что мы видим!

Костромское чествование, в связи с Ярославским и Нижегородским, видимо, отразилось самым благоприятным образом на Царствовавших Особах. Может быть этому надо приписать заметную разницу в выражении лица Государя и в его обхождении на февральском юбилейном приеме в Петербурге, а затем в Москве на майских торжествах, после костромской поездки. В феврале Его Величество имел озабоченно усталый вид, а в мае от него веяло довольством и жизнерадостностью.

В Петербурге официальное юбилейное празднование происходило с 21-го по 24-е февраля. Оно открылось торжественным богослужением в Казанском Соборе в присутствии Государя, обеих Императриц и всех представителей Дома Романовых.

Днем того же 21-го февраля состоялся в одной из зал Зимнего Дворца прием поздравлений Августейшими Особами от

высших чинов Империи, – Сената, Государственного Совета и Государственной Думы. Председатель последней, Камергер Родзянко, тот самый Родзянко, который четыре года спустя с таким преступным легкомыслием сломал о свою мясистую коленку Государев стяг – в горячей и, казалось, искренней тогда речи, уверял Царя в «беззаветной» своей и общедумской преданности и верности.

22-го февраля происходило поздравление Высочайших Особ съехавшимися в столицу провинциальными депутациями. Они погруппно проходили из Николаевского дворцового зала в т.н. «концертный», где находился Государь в окружении обеих Императриц и всего своего Августейшего Семейства. Около Государыни Александры Федоровны, на руках у громадного чернобородого красавца конвойца, сидел страдавший болезнью ног Наследник Цесаревич, вызывавший чувство жалости и тревоги. Рядом с их Величествами находились все Великие Князья и Великие Княгини, некоторые Министры и лица ближайшей Государевой Свиты. Сам Государь, будучи заслонен некоторыми лицами своего многочисленного окружения, стоял несколько в отдалении от проходивших мимо него депутатий, лишь издали знакомясь с ними по докладу стоявшего рядом Министра Маклакова.

Это «прохождение» съехавшихся на юбилей со всех концов Империи депутатов оставило на многих из них неблагоприятное впечатление. На самом деле – если вся официально придворная, традициями установленная, часть должна была носить характер строго выдержанного, если не холодного, церемониала, то было ошибкой вставлять последующую часть – общение Царя с представителями его народа – в те же рамки сухого бездушного обряда. Между тем, чиновные формалисты, со своим

излишним церемониалом, именно на этот путь натолкнули Романовых в этот исключительный для них день.

Заняв место среди депутации от Самарского дворянства и возглавляя ее, как Губернский Предводитель, я стал, вместе с двумя своими сочленами А.А.Чемодуровым и А.Н.Карамзиным, медленно двигаться вперед, в общем шествии длиннейшей цепи дворянских депутатий от всех губерний. Вслед за дворянством, шло в том же алфавитном порядке представительство земств, городских учреждений, биржевых комитетов и др.

Вся эта внушительная вереница сословно-народных избранников, из которых огромное большинство, может быть, единственный раз в своей жизни имели счастье видеть своего Царя, должна была, согласно церемониалу, «проследовать» мимо того места, где столпилось ближайшее придворное окружение. Из-за них многие из депутатов даже не успевали хорошенько рассмотреть Царствовавшего Представителя Романовского Дома. Так, по крайней мере, случилось с одним из членов нашей дворянской депутации – почтенным А.А.Чемодуровым. После того как мы по порядку уже отошли от царского местонахождения, он меня вдруг спрашивает: – Скажите, Александр Николаевич, когда мы проходили и отвешивали поклоны, сам-то (т.е. Государь) тут был или нет?

Многие находились в состоянии такого же недоумения и ощущали то же чувство досадной неудовлетворенности. Приехать за тысячу верст с тем, чтобы продефилировать в качестве каких-то статистов, без возможности обменяться хоть словом с обожаемым Монархом и служа лишь для вящей показной импозантности выработанного чинами придворного ведомства церемониала. Зато все его участники получили там же во дворце раздававшиеся юбилейные, довольно красивые, нагрудные значки с Романовским гербом.

Ярко встают в моей памяти вечерние часы того же дня, 22-го февраля, проведенные мною в феерично торжественной обстановке Мариинского Императорского театра, где, в присутствии Высочайших Особ, шла опера «Жизнь за Царя». Залитый светом зал, заполненный сверху до низу блестящей, парадно разодетой публикой, представлял собою невиданную мною до тех пор картину нарядности и богатства. Роскошные туалеты декольтированных дам; их сверкавшие всеми цветами радуги драгоценные украшения своеобразной гирляндой окаймляли ярусы лож. Золотом расшитые придворные кафтаны; красочные гвардейские мундиры; необычайная приподнятость настроения, придававшая молодым лицам еще большую свежесть и привлекательность, а старым оживление, которое возвращало их к невозвратному прошлому – все это создавало в громадном голубовато-золоченом зале Императорского театра гармоничную, исключительно торжественную парадность.

Сдержанный говор внезапно смолк. Раздался народный гимн. Все встали, повернувшись лицом к царской ложе, где появились Их Величества.

После гимна и восторженного «ура» полились классические звуки бессмертной увертюры Глинки. Занавес взвился. На сцене показались знакомые лица, слышались знакомые русской душе чарующие мелодии.

Я сидел в партере, в сравнительно близком расстоянии от Императорской ложи, и в тех местах Глинковской оперы, где с особой яркостью выявлялась самоотверженная любовь русского человека к «Богом данному» ему Царю и которые на представлениях «Жизни за Царя» даже в обычных условиях овладевали умом и волей русского патриота, я, вместе с другими, переживал исключительные, почти до слез доходившие, моменты душевного подъема.

Закончился спектакль появлением на сцене всех артистов и многочисленного хора. Они, под аккомпанемент мощного оперного оркестра, много раз исполнили народный гимн, прерываемый единодушным «ура». До сих пор в моем воображении рисуются царственные облики Их Императорских Величеств, когда они, перед отбытием, стояли у золоченого барьера ложи и милостиво отвечали поклонами на восторженные приветствия своих верноподданных.

На следующий день, 23-го февраля, утром, Их Величества принимали представителей сельского и инородческого населения Российской Империи. Вечером, в Высочайшем присутствии, в роскошно убранных цветами залах Санкт-Петербургского дворянства, состоялся блестящий бал, собравший весь многотысячный цвет столичного общества. Их Величества встречены были Петербургским Губернским Предводителем Дворянства, светлейшим князем И.Н.Салтыковым, поднесшим Государю хлеб соль и приветствовавшим царственных особ превосходно сказанной речью.

Бал открылся «польским» из оперы «Жизнь за Царя». В первой паре шел Его Величество с супругой Петербургского Уездного Предводителя В.А.Сомовой, за ними следовали Вдовствующая Императрица Мария Феодоровна с светлейшим князем Салтыковым, и наконец, в третьей паре шествовала Государыня Александра Феодоровна с Уездным Предводителем С.М.Сомовым. Потом танцевали вальс, мазурку, кадрили, и бал завершился многофигурным котильоном. Тут же, на балу, Его Величество, перед своим отбытием, наградил св. князя Салтыкова, как Губернского Предводителя Петербургского Дворянства, чином генерала, зачислив его в свою Свиту.

Вспоминается мне также та парадность, вернее, то великолепие, которым обставлен был грандиозный юбилейный обед,

состоявшийся вечером 24-го февраля в залах Зимнего Дворца (Георгиевском, Гербовом, Александровском и др.).

Высочайший выход, проследовавший через все эти обширные апартаменты до того места, где сервирован был царский стол, отличался особой торжественностью. Дворцовая, поражавшая своим величием, обстановка; яркая нарядность многочисленных приглашенных, русские платья придворных дам, то что гостей принимали Хозяева Земли Русской – все это вместе взятое, создавало у всех приглашенных к царскому столу воистину праздничное настроение. Не говоря уже об изобилии и кулинарной изысканности обеленных блюд.

Этим закончился цикл Петербургских Романовских торжеств.

Переходя к описанию майских юбилейных дней, проведенных мною в Москве, я прежде всего вспоминаю сильнейшее впечатление, которое произвело на меня появление Их Величеств 24-го мая у Спасских Ворот и дальнейший проезд царской семьи до Кремлевского Дворца.

Высочайший въезд в Святая Святых Российского государства происходил в исключительной обстановке. Не Петров столичный град, со всеми его сравнительно недавно выстроенными грандиозными соборами и дворцами, а Москва, с ее Кремлем и исконными святынями, служила фоном для въезда Российского Императора – Николая Александровича Романова со всей его Августейшей Семьей, триста лет спустя после вступления в то же Московское святилище юного Михаила Феодоровича, чье воцарение положило конец великой смуте.

Этот исторический московский фон Высочайшего въезда; места, освященные веками; златоглавые кремлевские церкви, около которых остановился царский кортеж; этот гармоничный

гул московских колоколов и торжественная встреча Венценосных Романовых у врат Успенского собора Митрополитом в окружении блиставшего парчой духовенства – все придавало особое значение виденному мною торжеству и усугубляло силу общего впечатления.

Наша дворянская депутация, состоявшая из меня и еще двух Уездных Предводителей – графа М.Н.Толстого и С.А.Сосновского, была помещена церемониальными распорядителями в ряде других сословных и иных представителей, расположенных вдоль окраины площади, между дворцом и Спасскими воротами. Стоя спиной к Москве реке, мы могли любоваться всем происходившим. Перед нашими глазами, во всем своем величии и самобытной красоте вставал угловой массив Кремлевских святынь, во главе с возвышавшейся над Москвой колокольной Ивана Великого.

Вечером, в день прибытия Их Величеств, пришлось быть очевидцем необычайно эффектного зрелища – грандиозной иллюминации всей Белокаменной и, в особенности, Кремля. Во все дни пребывания Августейших Особ в Москве стояла превосходная погода.

На следующий день, т.е. 25-го мая, в Кремле состоялся торжественный Высочайший выход в Успенский Собор, сопровождавшийся «красным» звоном всех «сорока сороков» московских церквей.

При начале шествия, в дворцовой Георгиевской зале, Его Величеству благоугодно было принять от находившейся там дворянской депутации, включавшей в себе всех Губернских Предводителей, подношение – верноподданническую от Всероссийского дворянства «харатейную» грамоту, в художественном ларце, который так же, как и грамота, был воспроизведен в

строгом стиле XVII века. Грамота была написана на тонком пергаменте. Это был отделанный золотом и аквамаринами свиток, с привешенными к нижней его части печатями 50 дворянских губерний. Из них две, столичные, были из золота, а остальные из драгоценных уральских камней. Ларец был из литого серебра, изумительно тонко и художественно отделанный эмалью и уральскими «самоцветами»; по бокам виднелись изображения Царя Михаила Феодоровича и его родителей, а на верху, над крышкой ларца, красовался Романовский герб в виде крылатого грифа с мечом и щитом в лапах.

Уже во время празднования Бородинского юбилея появление Высочайших Особ восторженно встречалось стоявшим на Кремлевской площади народом. Но при выходе 25-го мая 1913 года Их Величеств в сопровождении Августейших детей из Большого Дворца на Красное Крыльцо, я был очевидцем незабываемой картины еще большего патриотического воодушевления, захватившего заполнявшую Кремль и всю Красную площадь народную массу. Сотни тысяч голосов неумолчно повторяли русское «ура», чередовавшееся с пением гимна, оркестровой музыкой и непрерывным колокольным перезвоном. Такое всенародное восторженное выражение любовных верноподданнических чувств к своему Монарху вызывало на лица Государя и Государыни радостное, довольное выражение, которое соответствовало общему праздничному настроению.

Последующие дни прошли у Их Величеств в объездах и осмотрах всего того, что, так или иначе, имело связь с юбилейным чествованием Романовского Дома. Беспрерывно представлялись всевозможные депутации. В залах Большого Кремлевского Дворца был устроен в Высочайшем присутствии юбилейный парадный обед. Накануне отбытия из Первопрестольной, Их Величества присутствовали на блестящем вечернем рауте,

данном в честь Высочайших гостей московским дворянством, причем А.Д.Самарин был пожалован Государем званием Члена Государственного Совета и награжден орденом св. Анны 1-й степени.

На следующий день после дворянского раута, все мы, Губернские Предводители, совместно с представителями московского дворянства, были осчастливлены особым вниманием Государя, пригласившего нас к себе на завтрак, сервированный в одной из зал Кремлевского дворца, выходявшей на открытый огромный балкон террасу, с поразительным видом на Замоскворечье.

Нельзя забыть того неотразимого обаяния, которое исходило от нашего удивительно приветливого Державного Хозяина. Простота, ласка и внимание, с одной стороны, трогательная задушевность, с другой – вот что видели и ощущали мы в тот счастливый час, который провели в обществе нашего Государя... Но время безжалостно шло. Его Величество, видимо, спешил. Государь пригласил нас на балкон, чтоб полюбоваться на прощанье исключительным по красоте видом... У меня зародилось непреодолимое желание навсегда запечатлеть время, проведенное с Царем на кремлевской, ярко освещенной майским солнцем, террасе... Трудно было ожидать, что когда-нибудь повторится подобный счастливый выпавший на нашу долю час. Я поделился своей мечтой с Самариним, облеченным уже в Анненскую ленту, но он от этой мысли отмахнулся, как от несбыточной... В это время Государь проходил около, меня и, приостановившись, поднял на меня свои чарующие глаза...

Я не выдержал и, поддавшись захватившему меня желанию запечатлеть наше столь счастливое общение с Царем, откровенно обратился к Его Величеству с просьбой разрешить снять

общую фотографическую группу на этом балконе. К несказанной моей и всеобщей радости, Государь изволил охотно согласиться, только попросил поспешить, ввиду предстоявшего ему отбытия в Петербург... Быстро появился придворный фотограф. Раскинут был на балконе огромный ковер, Государь занял центральное место, а мы – одни сели вокруг своего Державного хозяина, другие встали сзади и с боков, а некоторые устроились у ног Его Величества.

Судьбе было угодно, чтобы эта группа – единственная из всей моей бывшей многочисленной коллекции служебных снимков – оказалась теперь при мне, красуясь на видном месте моего беженского обиталища. Я переснял ее с фотографии, хранившейся у П.А.Демидова, бывшего Волынского Губернского Предводителя, давнего обитателя Ниццы и собственника дачи, где много его вещей уцелело от революционного погрома последних лет.

Ежедневно, глядя на эту памятную группу, участники коей, начиная с Царя мученика, почти все отошли в иной мир, я мысленно переношусь в отдаленные времена счастливой нашей российской жизни, с ее здоровой творческой общественной работой и приятной службой, которая временами давала возможность переживать такие незабываемые моменты, как те, которые я только что занес в свои воспоминания.

117

В моей частной жизни 1913-й год явился временем наибольшего расцвета моих хозяйственных начинаний. Дела торгово-промышленных предприятий, в которых состояла пайщицей моя жена (главным образом, Товарищества «Преемник

А.Губкина – А.Кузнецов и Ко»), тоже находились в блестящем положении. Приходилось нам тогда лишь Бога благодарить за все удачи, которые выпадали на нашу долю.

Особенно радовала меня работа новой Головкинской вальцовой мельницы, которая сразу же за первое полугодие 1913 года дала ощутительные результаты, полное удовлетворение моему деловому самолюбию. Она оправдала мои материальные затраты и немалые личные хлопоты.

Убедившись, что мукомольный механизм налажен, я принялся осуществлять давно задуманное мною торгово-промышленное дело.

Проживая подолгу в Петербурге, я свел знакомство с главными деятелями Калашниковской хлебной биржи, среди которых особое внимание обратил я на пользовавшихся всеобщим уважением специалистов по мучной торговле – братьев Мельниковых.

Я наметил себе целью весь мучной продукт, заготавливавшийся за зиму на Головкинской мельнице, по вешней воде сплавлять со своей пристани по Мариинской системе прямо в Петербург. В лице Мельниковых я встретил дельных и энергичных помощников. Получив от меня мучные пробы моего Головкинского производства, и отметив на бирже их доброкачественность, они сразу же дали мне солидный заказ с доставкой к концу мая 1913 года. Они взяли на себя все хлопоты по водному транспортированию закупленной партии с моей Головкинской до самой Калашниковской пристани, расположенной на берегу Невы, невдалеке от Александро-Невской Лавры.

Заклучив с ними контракт в начале 1913 года, я поспешил закупить у своих соседей несколько партий ржи, которые и пустил, в дополнение к своей, полным ходом на размол. К весне у

меня образовалось нужное количество муки, которая вверх по Волге, а затем по Мариинскому каналу была доставлена до самой Калашниковской пристани.

Не без некоторой гордости расхаживал я по палубе разгрузившейся у набережной Невы поместительной баржи и смотрел, как из ее трюма вытаскивали, заполненные Головкинской мукой мешки с клеймом, изображавшим мои инициалы в виде оригинальной монограммы.

Вся партия в 75.000 пудов была продана за наличный расчет, давший мне солидную чистую выручку. На Калашниковской бирже все хвалили мою муку и просили доставлять возможно большее количество подобного продукта. «Ваше клеймо – заявляли мне биржевые авторитеты – себя зарекомендовало с наилучшей стороны. Сколько ни пришлете товара с этим клеймом, сбыт ему всегда гарантирован... Держитесь только одинакового качества!...»

Первый успех меня окрылил, и осенью 1913 года я скупил крупные партии ржи у окрестных помещиков. Для качества вальцового размола огромное значение играет сорт зерна, в данном случае – ржи. В этом отношении наша Головкинская округа, благодаря своей илисто-черноземной почве, всегда отличалась исключительной доброкачественностью ржаного зерна, и я, не стесняясь в цене, закупал у своих соседей то, что было мне нужно.

При партиях в 25 – 50 и более тысяч пудов лишняя копейка за пуд зерна имеет для продавца и покупателя значение, но я свободнее других мог ее «наддавать», благодаря большой экономии в доставке моего товара.

В то время, как мои конкуренты должны были нести ряд накладных «пристанских» расходов, или оплачивать провоз

муки по железнодорожному пути, у меня все это сводилось к использованию природных преимуществ. В результате, получалась огромная разница: мне стоил от Головкина до Петербурга провоз пуда муки, вместе со страховкой и причалом у Калашниковской пристани – 17 копеек, а бр. Марковым, направлявшим свой товар из посада Мелекесса в тот же Петербург по железной дороге, транспорт пуда муки обходился в 35 коп.! Ясное дело, что им конкурировать со мной в этом отношении было трудно.

За зиму 1913-1914 г.г. мною было заготовлено на Головкинской мельнице около 250.000 пудов продажной муки, да почти такое же количество было размолото крестьянской «мирщины», с которой набрано было т.н. «лопаточного» сбора в мою пользу свыше 25.000 пуд. зерна. После объявления войны мельница стала работать на интендантство, доброкачественно и регулярно исполняя получавшиеся заказы.

Закончу я свои воспоминания о моей новой мельнице коротенькой справкой. За 2½ года своей работы (1913-1915 г.г.) мельница эта полностью себя окупала, давая ежегодно в среднем до 50.000 рублей чистого дохода. Рабочий сезон 1915-1916 г.г. закончился почти той же доходной цифрой, а с конца 1917 года мое родное хозяйственное детище, а с ним и все остальное мое Головкинское имущество, как известно, пошли на удовлетворение хищных инстинктов, по выражению печальной памяти Керенского, – взбунтовавшихся рабов...

118

Чем ближе подходил к концу описываемый мною 1913 год, тем все больше и чаще я стал задумываться по поводу своей предводительской службы. В январе 1914 года истекало третье

трехлетие моей выборной должности, прошедшей вначале в исключительно тяжелой обстановке революционного лихолетия, потребовавшего с моей стороны не мало сил для борьбы с деятельностью антигосударственных элементов.

Затем времена переменились. Наступило успокоение бушевавших людских страстей. Провинциальная жизнь потекла по обычному своему руслу, не требуя ни особого напряжения воли, ни особых затрат ума и энергии, тем более – каких-либо гражданских подвигов. Сословные дела в губернии за последний период моей службы тоже были налажены успешно и не вызвали необходимости частых экстренных собраний. Финансы были упорядочены, дворянские учреждения – гимназия, женский пансион и Аксаковская вотчина – функционировали отлично. Одним словом, к 1913 году местная моя деятельность, как Губернского Предводителя, стала мало-помалу укладываться в рамки спокойно размеренной работы, потерявшей для меня часть интереса, который я переживал в период острой политической борьбы и творческого упорядочения сословных дел.

После выборов в четвертую Думу и завершив свое представительство на Романовских торжествах, я стал заметно для самого себя тяготиться сравнительно мелочной обстановкой предводительской службы. Меня неудержимо тянуло к более ответственному и широкому делу, иначе говоря, – к возможности целиком сосредоточиться на работе по другой выборной моей должности как Члена Государственного Совета.

Мысль оставить предводительство и ликвидировать самарское мое пребывание приходила мне в голову и ранее. Теперь же она овладевала мною все чаще и настойчивее, тем более, что дети подрастали и для нас, родителей, вставал очередной вопрос об их дальнейшем обучении. Особенно заботил нас старший мальчик. Сам Государь как бы подсказал ему будущую

военную карьеру, и маленький Сашурка уже преважно носил на своей голове пажескую фуражку с красным околышем и офицерской кокардой. Но для того, чтобы поместить его в Пажеский корпус, надо было и нам самим переехать в северную столицу.

Однако, я не мог устраивать свою жизнь только по своему хотению; слишком крепко был я связан узами теснейшей дружбы со своими дворянами и земцами.

Когда я заговаривал о своем уходе из предводителей, я всегда слышал один и тот же вопрос: «Кто же будет вашим преемником?» Смушал этот вопрос не одних моих друзей, но и меня самого.

Были среди Самарского дворянства люди несомненно достойные занимать эту должность, которым я с легким сердцем передал бы свои полномочия; но все они, по тем или другим соображениям, от этого уклонялись. А тот кандидат, который явно обнаруживал страстное стремление попасть на «предводительный» престол, не встречал среди самарцев сочувствия. Таким лицом был Самарский Уездный Предводитель граф Мстислав Николаевич Толстой – человек неглупый и с общественной жилкой, но чрезвычайно несдержанный, обуреваемый страстями, что не соответствовало занимаемой им должности. При всей моей симпатии к нему, как к частному человеку, я не мог допустить, чтобы «Стива» Толстой стал представителем дворян всей нашей губернии.

Как ни как, а за мое долголетнее пребывание Губернским Предводителем, мне удалось на многочисленных всероссийских сословных собраниях и съездах не только хранить достоинство нашего дворянского общества, но и установить его престиж среди прочих дворянств России. Ясное дело, что передавать в первые попавшиеся руки, тем более – не твердые, все, за много лет заработанное наследие, мне не хотелось...

Судьба в конце концов как бы сжалась надо мною, и незадолго до очередного январского Губернского Дворянского Собрания 1914 года на самарском горизонте впервые появился молодой, статный и красивый князь Александр Александрович Щербатов, крупный местный землевладелец, сын известного московского старожила и председателя Сельскохозяйственного Общества князя Александра Григорьевича, передавшего сыну цензовые полномочия и доверенность по управлению обширным своим имением, расположенным на грани Самарского и Николаевского уездов.

Молодой Щербатов, по своему происхождению, по редко изящной и породистой внешности и исключительным душевным качествам, был, в полном смысле этого слова, природный аристократ. При первой же нашей с ним встрече, я его от души полюбил и был несказанно обрадован, услышав про его решение «сесть на землю» и заняться общественными делами.

Простота и искренность, с которыми молодой князь излагал свои мысли, его горячая заинтересованность местным земским и сословным делом, усугубляли то прекрасное впечатление, которое производил на меня весь его благородный облик. Я сразу подумал: – «Вот идеальный для меня преемник!..» Но он только что появился среди самарцев и, несмотря на общие симпатии, которые он быстро успел завоевать среди местных общественных деятелей, выставлять его кандидатуру на губернский пост представлялось преждевременным. Предварительно я решил на предстоявшем собрании провести его в Николаевские Уездные Предводители с тем, чтобы на последующее трехлетие иметь его своим Губернским Предводителем. Подобная перспектива меня успокаивала. Я решил даже пожертвовать собою еще на одно трехлетие и вновь баллотироваться в январе 1914 года в Предводители, с тем, чтобы потом, в 1917 году, из рук в

руки передать свои губернские полномочия достойнейшему своему заместителю.

Начало 1914-го года совпало с участием моим в качестве председателя особо избранной земской депутации от Самарского земства в юбилейных торжествах, происходивших в Петербурге с 7-11 января по поводу пятидесятилетия существования Земских Учреждений.

Начались земские торжества с церковных богослужений. Сначала была отслужена панихида в Петропавловском Соборе по Царе Александре II, как основателе Российского Земства, с возложением на его мраморную надгробную плиту серебряного венка в виде пальмовой ветви от всех Земств Империи. Затем отслужили молебствие в Казанском Соборе.

8-го января 1914-го года в залах Зимнего Дворца состоялся Высочайший прием представителей юбилейной земской депутации, поднесшей Их Величествам, от лица всех земств России, хлеб соль на роскошном серебряном блюде, а Наследнику Цесаревичу – особый подарок, художественно исполненный кустарями московского земства, миниатюрный деревянный хуторок.

Начиная с 8-го января и до 11-го января, происходил непрерывный ряд торжественных собраний и официальных раутов – то в сравнительно скромных помещениях Земских Управ, то в приемных апартаментах здания Министерства Внутренних Дел, то в великолепно убранных парадных залах Петербургского Дворянского Собрания, где Его Величество вновь удостоил своим милостивым вниманием земских людей, съехавшихся со всех концов обширной страны.

На всех этих юбилейных празднествах среди многочисленных земских представителей ощущалась необыкновенная при-

поднятость настроения, безусловно лишённого какой-либо политической окраски, тем более оппозиционности... Все искренне и горячо выражали Державному Хозяину чувства верно-подданической Ему преданности и любви, на что каждый раз из уст Государя слышался высокомиловитый ответ, с изъяснением благодарности и надежды на энергичное сотрудничество земских людей в общем строительстве государственного благополучия России.

Чествование пятидесятилетия Земских Учреждений закончило цикл юбилейных торжеств 1912 1914 годов. Мысленно обнимая их общую картину и сопоставляя их с последующим ходом российской государственной жизни, приходишь невольно к неутешительному выводу об изменчивости людских настроений и непостоянстве народных симпатий...

Вся та монархическая «беззаветная преданность», проявление которой Царь с Царицей видели и слышали вокруг себя в обстановке юбилейных торжеств, которое еще сильнее и шире повторилось при объявлении и начальном периоде Великой войны 1914-го года, все это в 1917 году не только резко, но роковым образом превратилось в совершенно противоположное настроение. Тысячи раз упоминавшиеся в обращениях к Их Величествам слова «беззаветная преданность» заменились беззаветным... предательством. Говорю «предательством» потому, что исходило оно не от групп, и ранее враждебных престолу царскому, а от того верноподданически законопослушного элемента, который по своему положению и данной присяге должен был бы служить наиболее надежной опорой Российского Императорского Трона.

В февральские дни вспыхнувшего в 1917 году в Петрограде военного бунта, Председатель Государственной Думы, под влиянием политиканствовавших столичных сфер, очевидно, забыл

про сказанные им своему Императору от лица всей Государственной Думы в дни Романовских празднеств слова, в которых он торжественно признавал тождество интересов Царя и русского народа... Заставляя Государя Николая Александровича отречься от Престола, Родзянко, может быть, и сам того не ведая, принес в жертву интересы стомиллионного русского народа и десятиллионной Императорской армии в угоду сравнительно небольшой кучке политиканов, которые из-за деревьев не видали могучей громады леса.

Вслед за Родзянко и его политическим окружением, началось чисто стихийное отступничество от Царя всего, что ранее считалось наиболее верноподданным и близким к «священной особе Государя» элементом... Начиная с членов Императорского Дома, большинства свитских и придворных, и кончая находившимися в столице запасными гвардейскими частями, – все спешили отречься от верности и «беззаветной преданности»...

За последнее время царствования Императора Николая Александровича, несомненно, было немало причин и поводов для недовольства тех или других слоев населения. Все же то, что произошло так стремительно в отношении к Царю его наиболее видных и близких сотрудников, а за ними и остальной массы «верноподданных» – остается для меня и по сие время загадочно необъяснимым. Явление это приходится отнести к области массового психоза, который в истории человечества нередко служил причиной фатального непостоянства народных масс.

Все же я считаю, что главные виновники, создавшие атмосферу стихийной ненависти к личности Царя, несут тяжкую историческую ответственность перед былой русской государственностью и всем русским народом. Невзирая на исключи-

тельно сложное время, в котором, в начале 1917-го года, находилась Россия, готовившаяся произвести последнее решающее усилие для доведения затянувшейся безпримерно тяжелой войны до победного конца, вдохновители переворота, с Родзянко во главе, слепо, с общегосударственной точки зрения преступно легкомысленно, поддались царившей в столице общей нервности, подогреваемой личной враждебностью Александра Гучкова к Государю, безответственным фразерством Милюкова и думскими выкриками истеричного Пуришкевича. Народная и боевая фронтовая масса от всего этого нараставшего губительного политического экстаза, в огромном своем большинстве, вначале стояла в стороне...

Недавние юбилейные заверения, что в минуту государственной опасности думцы, как и все русские люди, всем жертвуют для блага Царя и Родины, еще в начале 1916-го года, при посещении Государем Таврического Дворца, повторял и Родзянко, а в самый критический момент жизни государства все это привело к неожиданному для русской армии и народа концу. Из рук доверчивого Царя узкие, бездарные политики, якобы во имя блага русского народа, исторгли Императорский стяг, под сенью которого народ и войско спланивались с их Венценосным Верховным Вождем.

Царя в России не стало. Его вскоре заменил социал-революционный фанфарон Керенский, с красным флажком, вместо царского знамени, и общипанным орленком, вместо Государственного Всероссийского герба. Обезглавленной страной завладела сатанинская рать большевистских заправил. А мы, лишенные родины и кровного добра, вкупе с палачами российского царизма, испытываем все прелести беженского существования. Проживая с 1918 по 1920 год в Крыму, нередко слышал я из уст деревенских обывателей знаменательные слова:

– Не народ, – говорили они, – уничтожил Царя, а господа, – с чем приходилось невольно соглашаться.

119

Отбыв земские юбилейные торжества, я вынужден был спешно вернуться в Самару к открытию Дворянского Губернского очередного собрания, на котором я был по-прежнему дружно переизбран Губернским Предводителем на новое, четвертое по счету, трехлетие, оказавшееся для меня не только последним, но и, до истечения его срока, прерванным. В ноябре 1915 года последовал Высочайший указ о назначении меня Министром Земледелия, и мне пришлось сложить мои предводительские полномочия.

На дворянском собрании был единогласно избран в Николаевском уезде князь А.А.Щербатов, который с необыкновенной горячностью весь отдался работе предводителя.

В своей расценке Щербатова я не ошибся: князь оказался во всех отношениях идеальным Уездным Предводителем. Он умел одинаково просто и деловито говорить со всеми слоями населения руководимого им уезда, вникал во все детали общественно-хозяйственной жизни, и вскоре приобрел в своем уезде всеобщую симпатию.

На этом январском очередном собрании, на котором, между прочим, мне впервые пришлось появиться среди своих дворян при звезде и Станиславской ленте, было постановлено, в честь трехсотлетия царствования дома Романовых, наименовать Самарский дворянский женский пансион приют и основанную нашим дворянством вторую Самарскую мужскую гимназию – «Романовскими».

Тотчас же вслед за дворянским было проведено мною Губернское Земское Собрание, на котором надо было окончательно установить порядок празднования в Самаре земского юбилея, пришедшегося на нашу губернию в следующем 1915 году, на который было отнесено и открытие юбилейной земской выставки.

Оба упомянутые собрания отняли у меня около месяца времени. Шел уже февраль. Открывалась в г. Симбирске «сборная» ярмарка. Необходимо было спешить в Головкино, где хозяйственные, главным образом мельничные, обороты принимали широкие размеры и требовали моего личного присутствия. Поэтому, по окончании Самарских общественных дел, я поспешил в Симбирск, где, благодаря ярмарочному времени, я нашел в сборе всех нужных мне лиц.

Наладив и обновив административно хозяйственный аппарат, я должен был из Головкина спешить в Петербург для участия в занятиях Государственного Совета.

Отсутствуя, временами подолгу, из столицы, я естественно терял необходимую связь с деятельностью, происходившей в стенах Мариинского Дворца и требовавшей постоянного участия не только на общих собраниях Государственного Совета, но и в его комиссиях. В результате такого ненормального положения вещей, я стал замечать за собою не столько охлаждение к законодательной деятельности, а скорее сознание вынужденной отчужденности от моих коллег, имевших возможность непрерывно заниматься ответственным делом широкого государственного значения. Редко появляясь между ними, и участвуя лишь в общих баллотировках, я чувствовал себя как бы в стороне от общей деловой жизни верхней палаты, и это сознание начинало меня серьезно угнетать...

Появление на самарском горизонте князя А.А.Щербатова, развязывало мне, наконец, руки и давало возможность рассчитывать в ближайшем будущем на более благоприятные условия для участия моего в работах Государственного Совета.

В связи с этим возникал довольно сложный вопрос о переезде в Петербург моей семьи. Я лично жил в столице в покойной и беззаботной обстановке гостиничного комфорта, но я счел своевременным ознакомиться с условиями петербургской семейно-домашней жизни, разузнать о найме квартир и не торопясь присматриваться к домам, главным образом – к особнякам.

Расторопный комиссионер, маленький, черненький А.Н.Агранов устроил мне осмотр дома на Английской набережной около Николаевского моста. Это был двухэтажный, с мезонином, особняк, принадлежавший супруге С.П. фон Дервиз. Раньше он сдавался в наем бельгийской миссии, а затем Великому Князю Петру Николаевичу.

Обойдя все удивительно симпатичные по размерам и с большим вкусом отделанные комнаты, я сразу же заинтересовался. Дом, по своей внутренней распланировке, представлял для моей многочисленной семьи и меня самого большие удобства.

Особенно меня прельстил вид с балкона на Неву и на простиравшуюся по обе ее стороны чарующую даль... При взгляде на полноводную реку, глазам представлялся с одной стороны ряд стройных зданий, растянувшихся вдоль величественной набережной. Виднелся Зимний Дворец, Петропавловский шпиль, оригинальные контуры Василеостровских общественно-государственных строений. С другой стороны балкона раскрывалась родная для моего волжского сердца картина причален-

ных вдоль широкой красавицы Невы всевозможных судов и пароходов, вокруг которых сновали моторные катера. Почти рядом с Дервизовским домом, выделялась своими фигурными очертаниями нарядная Царская пристань. Как раз в момент моего выхода на балкон около нее стояла блестящая на солнышке Императорская яхта.

Тогда же я познакомился с хозяйкой особняка – симпатичной Любовью Александровной фон Дервиз и ее почтенной матерью – небольшой, еще бодрой и видимо хозяйственно смышленной старушкой. Я попросил у хозяек разрешение на повторные посещения их особняка для более детального с ним ознакомления, а главное, чтобы осмотреть его с женой, приезда которой из Самары я ожидал со дня на день.

Чем чаще я бывал в этом доме, носившем на себе отпечаток строгого аристократического вкуса, тем сильнее я им очаровывался, и тем крепче я осваивался с мыслью в нем окончательно обосноваться. Мне все в нем нравилось, начиная с художественной отделки из ореха и мореного дуба некоторых его комнат, элегантно убранной в стиле Людовика 15-го гостиной, с вделанными в ее стенах большими панно кисти Айвазовского, и кончая близостью Невы и всей ее судоходной жизни. Последнее обстоятельство, кажется, превалировало над всеми остальными привлекательными сторонами Дервизовского особняка: ведь с самого детства я обожал водную стихию и всегда искал ее близости.

Было начало мая, когда приехала в Петербург жена, и я первым делом поспешил показать ей Дервизовский особняк. Стояла чудная погода. Редко показывавшееся на обычно туманно-облачном небе северной столицы солнышко заливало в

тот день ярким светом могучую Неву, придавая особую красочную парадность вытянувшимся в многоверстные линии ее стройным, нарядным и разноименным «набережным»...

Для завершения обхода Дервизовского особняка, я провел Анюту из гостиной на балкон и показал на развернувшийся перед ней чудесный по шири и красоте своей вид.

Мы тогда же решили приобрести столь понравившийся нам обоим Дервизовский особняк. Агранову было поручено приступить к переговорам с владельцами, а своего земляка – самарского депутата А.И.Ковзана, хозяйственность которого была мне хорошо известна, я просил взять на себя труд, совместно с архитектором, обстоятельно осмотреть все продаваемое имущество и о результате подобного обследования сообщить мне по возможности незамедлительно.

Сам я вынужден был покинуть столицу и спешно выехать для лечения в Виши, куда меня настойчивым образом высылал мой врач Щуровский. Но перед этим со мной произошло курьезное происшествие. Я проходил по Гороховой улице и на одной из домовых дверей я случайно глазами наткнулся на небольшую металлическую дощечку с надписью: «Гадалка Хиромантка». Совершенно неожиданно для самого себя, в первый и единственный раз в моей жизни, я очутился в приемной профессионалки гадалки, куда меня проводила отворившая «парадную» дверь средних лет скромного вида прислужница. Когда я очутился один в этой необычной для меня обстановке – я вдруг почувствовал такой стыд за свое мальчишески легкомысленное поведение, что вскочил и опрометью бросился к выходной двери. Но перед ней, откуда ни возьмись очутилась немолодая женщина с удивительно симпатичной приветливой физиономией, сохранившей следы былой незаурядной красоты.

Улыбнувшись мне, гадалка провела меня в небольшую комнатку, посадила меня около себя, против оконного света, сначала пристально всматривалась в мое лицо и затем взяла мои обе руки ладонями кверху, а через некоторое время твердым и уверенным голосом промолвила: «Ваша жизнь была полна немалых волнений. Берегите себя. Советую самым срочным образом обратить внимание на свое здоровье. Вам следует начать серьезное лечение – боюсь за состояние вашего сердца и печени. Впереди вам предстоят немалые испытания и огромные труды, но имя ваше будет известно по всей стране. Избегайте лести и всяческих соблазнов. Остерегайтесь советов и в особенности одного. Свою подпись давайте с большой осмотрительностью. Да хранит вас Господь!»... Вот все, что я от хиромантки выслушал и к ее пророчествам и советам отнесся определенно скептически...

Но впоследствии ее слова воскресали в моей памяти. Они совпадали со многим, что мне на моем жизненном пути пришлось испытать.

Весь трехнедельный курс лечения в многолюдном и превосходно оборудованном курорте прошел для меня быстро и незаметно, благодаря строго размеренной врачебным режимом жизни, проходившей между утренними гимнастическими сеансами, славившимися в Виши массажами «sous l'eau» и многократным в течение дня питьем воды из всемирно известных источников: «Hopital», «Grande Grille» и «Chomel».

В общем, пребывание наше в Виши оставило по себе наилучшее воспоминание. Действительно, курорт этот можно было назвать во всех отношениях образцово благоустроенным.

Проживали мы в «Карлтоне» – одной из лучших гостиниц, в которой остановилась также семья Струковых, состоявшая из отца, Анания Петровича, – члена Государственного Совета, его

супруги – Ольги Александровны и младшей их дочери Александры, или «Дины», как звали ее родители.

Часто видаясь с Ананием Петровичем и беседуя с ним на разные темы, я, за сравнительно краткий период нашего совместного с ним пребывания на курорте, вынужден был во многом изменить свой взгляд на него, ранее казавшегося мне холодным и излишне сдержанным человеком. Под замкнутой, и даже слегка как бы надменной, внешностью, у Струкова оказалось доброе отзывчивое сердце, преисполненное самым благожелательным отношением к тем, кого он ближе знал.

Узнав, что мы остановились выбором на Дервизовском особняке, хорошо ему известном, Струков горячо приветствовал наше решение, считая это имущество во всех отношениях ценным и подходящим для нашей столичной жизни.

Из Петербурга я получил от Ковзана и архитектора наилучшие отзывы о состоянии продаваемого имущества, и это, в связи с тем, что я слышал от Струкова, побудило меня телеграфировать нашему доверенному, чтобы он скорее оформил запродажную и внес продавщице задаток. Спешное мое распоряжение Ананий Петрович одобрил, так как считал запродажную цену, 425.000 руб., низкой. По его мнению возможно было опасаться перекупки этого имущества другими лицами за более высокую плату.

Таким образом, пребывание наше в Виши ознаменовалось крупным для нас событием – приобретением известного многим петербуржцам чудного Дервизовского особняка со всей почти его обстановкой и поместительным подвалом, заполненным редким ассортиментом превосходных вин.

Телеграфное извещение Семенова о совершении запродажной сделки застало нас еще в Виши. Устроили мы по этому

поводу совместно со Струковыми скромный семейный фестиваль, на котором Ананий Петрович мне, к немалому моему удивлению, предсказал мою министерскую будущность. Я об этом вспомнил, лишь когда стал именоваться министром...

Пишу – «к немалому моему удивлению» потому, что до нашего со Струковым более близкого взаимного ознакомления в условиях курортного общения, я предполагал, что у него скорее отрицательное мнение обо мне, в силу прошлых с ним расхождений во взглядах по некоторым вопросам сословного характера

Особенно остро сказалось наше разномыслие и проявилось его ко мне недружелюбное отношение, когда мною была подана в Совет Объединенного Дворянства, в то время собиравшийся уже под председательством Струкова, докладная записка, в которой я предлагал возбудить вопрос о некотором изменении порядка возбуждения ходатайств о Высочайшем пожаловании звания потомственного дворянства. Я настаивал на предоставлении инициативы также Собранию г.г. Предводителей и Депутатов. Близко зная местных общественных деятелей, они могли бы лиц не дворянского происхождения в воздаяние особых заслуг предлагать в качестве своих кандидатов на Высочайшее усмотрение, ходатайствуя перед Его Величеством о пожаловании им дворянского достоинства.

Мне не раз приходила в голову эта мысль после благополучного исхода революционного лихолетья 1905-1906 г.г., когда на фоне Самарской взбаламученной жизни многие местные землевладельцы не дворяне вели себя так доблестно, проявили столько самоотверженного патриотизма и гражданского мужества, что всем нам, местным дворянам, работавшим бок о бок с упомянутыми иносословными лицами, хотелось включить их в свою корпоративную семью. Вопрос этот нередко поднимался

за нашим депутатским столом, но как это ни странно – Екатеринбургский закон давал Собранию Предводителей и Депутатов все права на возбуждение вопроса об исключении дворянина из данного дворянского общества, но не допускал возможности ходатайствовать перед Верховной Властью о пожаловании дворянским званием того или другого из местных землевладельцев хотя бы единогласно признанного всеми предводителями и депутатами, достойным подобного Высочайшего награждения. Меж тем, на мой взгляд и по мнению моих сотрудников, нужны были радикальные меры для поддержания и укрепления сословия. Начать с того, что те два миллиона десятин земли, которые являлись основой сословного обложения при образовании Самарской губернии, к 1905 году убавились на половину, а после революционных лет 1905-1906, со всеми их аграрными ужасами, последующей деятельности Крестьянского Банка и вообще всей антидворянской финансово земельной политикой Витте – в распоряжении самарского сословного общества оставалось не более полумиллиона десятин. Я, как и все мои сотрудники, заинтересован был не только приливом свежих энергичных личных сил в нашу дворянскую среду, но и включением земельных угодий новопожалованных Высочайшей властью дворян в общий состав означенного фонда, являвшегося основным источником сословных сборов. Если бы на верху были приняты во внимание выдающиеся заслуги многих из тех самарцев не дворян, о которых я в своих записках упоминал, если бы Верховной Властью им было пожаловано дворянское звание, – наше самарское сословное общество приобрело бы в свою среду не только дельных сочленов, но и значительную площадь их земельного имущества, столь необходимую для поддержания деятельности местных дворянских учреждений.

Надо сказать, что среди общероссийского сословного представительства я встретил широкое сочувствие, и к моей подписи присоединилось немало авторитетных дворянских имен. Но в то же время против меня горячо ополчились инакомыслившие дворяне, среди которых главными моими противниками оказались: мой же самарец и предшественник по предводительству А.А.Чемодуров и сам Председатель Совета А.П.Струков, бросивший мне однажды такую фразу:

– Вы вашим проектом хотите взорвать не только священный для нас государственный консерватизм, но затрагиваете даже сущность прерогатив Верховной Власти, которой по основным законам принадлежит исключительное право единолично решать вопрос о возведении в дворянское достоинство...

Когда же я ему и его единомышленникам принимался доказывать, что я отнюдь не имел в виду чем-либо умалять полноту власти короны, а намеревался лишь придти на помощь самому Государю в деле распознавания лиц, действительно заслуживающих быть награжденными по Его Высочайшему соизволению дворянским достоинством, – Струков от меня сердито отворачивался и жаловался на меня Чемодурову: – Как вы допускаете выборы такого либерального Предводителя?! – На что почтенный мой предшественник, нервно скидывая пенсне со своей широкой переносицы, вздыхал и приговаривал: – Всею виной его молодость! Ох, эта молодость!

Помимо этого, тот же Ананий Петрович» будучи взыскательным и, пожалуй, до известной степени нетерпимым политическим деятелем, видимо, плохо переваривал мой отход от его правой группы к правому центру.

Все это вместе взятое создавало во мне уверенность, что Струков, по своим политическим взглядам, вряд ли мог отно-

ситься к моей общественно государственной деятельности благожелательно. И вдруг, в Виши, после частых наших откровенных собеседований, я услышал от сдержанного Анания Петровича слова, которые привели меня в некоторое смущение и удивление... Сущность этих слов сводилась к тому, что, по убеждению Струкова, в будущем меня ожидает видная государственная деятельность...

120

Мне оставалось проделать в Виши последний массаж и допить положенное количество лечебной воды, после чего мы собирались провести еще неделю в Остендэ, как вдруг в газетах появилось сенсационное сообщение об убийстве 15-го июня в Сараеве Наследника Австрийской короны, Эрцгерцога Франца Фердинанда.

Весть эта, как громом всех поразила, а нас, русских, заставила сильно призадуматься. Слово «война» еще не было произнесено, но думы о ней, несомненно, у большинства курортной публики возникали.

Лично же у меня зародилось тогда настолько определенное предчувствие, что я еле кончил курс лечения, твердо решив срочно вернуться к себе на родину и там ожидать дальнейших событий.

Я оказался прав, а многие русские, смотревшие более оптимистично на последствия сараевского убийства, за это поплатились, испытав тяжесть плена или ряд неприятных осложнений, включая круговое обратное путешествие домой, в Россию, через северные страны.

20-го июня мы с женой с облегченным сердцем перевалили германо-российскую границу, на которой бросались в глаза общая нервность и необычные строгости при осмотре багажа. Стоявшая в то время знойная удушливая погода и окутывавшая наш поезд едкая мгла от горевших почти по всему пути торфяных болот соответствовали нашему угнетенному настроению, растущему сознанию неизбежности тяжких осложнений.

Но в груди каждого из нас еще теплилась надежда на возможность мирного разрешения прискорбного сараевского инцидента. Утром, 21-го июня, мы добрались, наконец, до северной столицы и нашей Европейской гостиницы, где у меня имелся постоянный номер.

Первым долгом, я принялся разбирать накопившуюся почту. Мне бросилась в глаза повестка, извещавшая о созыве на 21-ое июня, как раз на день нашего приезда, Общего Собрания Государственного Совета. Одним из вопросов, стоявших на повестке, был доклад Финансовой Комиссии по поводу открытия в Самаре Политехнического Института.

Прочтя это, я, как ужаленный, вскочил, смыл и стряхнул с себя дорожную пыль и бросился опростетью в Мариинский Дворец.

Не успел я подняться по парадной лестнице, как навстречу мне попался Филипп Антонович Иванов – выборный член Верхней Палаты от групп уральских горнопромышленников. Он, одновременно со мною, возбудил ходатайство об открытии высшего учебного заведения в его родном Екатеринбурге. Судьба этого ходатайства была теснейшим образом связана с рассмотрением дела об основании в Самаре Политехникума. Иванов искренне обрадовался моему возвращению. Часа через два

должны были слушаться в Общем Собрании заключения Финансовой Комиссии по интересовавшим нас вопросам, составленные, по его словам, в отрицательном смысле.

Ф.А.Иванов был незаурядный член Государственного Совета. В ранней молодости – простой горнорабочий на уральских приисках, выдвинувшийся потом в разряд приказчиков, затем – доверенных, Иванов использовал щедрость своего патрона, и на его счет отправился в Германию, а затем в Англию, где окончил курс в высшем учебном заведении по горно-инженерной специальности. Вернувшись обратно к себе на Урал, Иванов занял место главного директора-распорядителя, а потом стал крупным участником ряда горнопромышленных предприятий.

От Иванова я узнал, что главным виновником провала наших ходатайств являлся мой бывший профессор Н.А.Зверев, с которым заодно действовали бывший Министр Народного Просвещения А.Н.Шварц и вся, входившая в состав Финансовой Комиссии, группа правых. Мотив их противодействия заключался в боязни новых рассадников революционной молодежи.

По словам Иванова, передававшего мне все эти подробности, странную роль играл при обсуждении наших ходатайств и бывший Министр Торговли В.И.Тимирязев, все время поддакивавший выступлениям г.г. Зверевых и Ко. Это оказало решающее влияние на баллотировку.

– Если бы Тимирязев стал за нас – добавил с горечью в голосе Иванов, – дело было бы выиграно!... Раз вы здесь, прибегнем общими усилиями к последнему спасительному для нас средству: уговорим членов Финансовой Комиссии, главным же образом – ее Председателя, почтенного фон Экеспарре, и В.А.Тимирязева – отложить обсуждение наших ходатайств до следующего заседания.

Я бросился искать среди своих коллег нужных мне лиц, и столкнулся с П.Н.Дурново, с которым мне удалось обстоятельно переговорить. Видимо, я, в конце концов, сумел убедить его в необходимости для нашего хлебного Поволжья иметь сведущих специалистов по агрономии и коммерции, и в целесообразности децентрализации высших учебных заведений в провинциальные города, ради ограждения молодежи от всяческих столичных, в том числе и революционных соблазнов. Заручившись согласием столь авторитетного члена группы правых, каким являлся Дурново, я стал смело говорить с Тимирязевым и Экспарре.

Услышав, что Дурново склонен меня поддержать, Председатель Финансовой Комиссии обещал мне свое содействие. Он решил переговорить с докладчиком Шварцем и председательствовавшим на Общем Собрании Государственного Совета И.Я.Голубевым.

За всеми этими деловыми беседами прошло немало времени, и, усевшись, в конце концов, на свое кресло, я стал с тревожным нетерпением ожидать исхода моих горячих и настойчивых уговоров. Наконец, на кафедру поднимается Шварц и обращается к собранию с просьбой отложить вопрос об открытии в Самаре Политехнического Института до ближайшего заседания. Члены собрания на это согласились.

Вне себя от радости, я поспешил горячо поблагодарить отзывчивого Экспарре, который меня просил в тот же день прийти на заседание Финансовой Комиссии, для участия в обсуждении вопроса, связанного с открытием в Самаре Политехнического Института. Вечером я, в качестве «особо приглашенного Председателем сведущего лица», сидел среди членов Финансовой Комиссии в одной из боковых зал Мариинского Дворца.

После докладчика, объяснившего, что обсуждение самарского ходатайства было отложено, чтобы выслушать от представителя Самарского Земства все относившееся к этому делу, первым попросил слово бывший мой профессор Зверев, ранее, в стенах университета, проповедовавший торжество свободы человеческого духа, ныне же явившийся идейным и упорным его гасителем. В горячих выражениях Николай Андреевич убеждал держаться ранее состоявшегося постановления Финансовой Комиссии, и высказывал соображения, уже известные по прежним его выступлениям.

После него, с разрешения Председателя, я приступил к обстоятельному докладу Комиссии об устройстве Политехникума в Самаре, как центре обширной области юго-восточного Поволжья. Дав подробную историческую справку о возникновении этого ходатайства, я ознакомил Комиссию с прохождением этого дела через все общественные учреждения (земские, городские, биржевые комитеты и др.), не только одной Самарской, но и многих смежных с ней губерний. Я указал на то, что организованный в Самаре комитет все необходимое для начала работ подготовил – средства собраны, место городом отведено, строительный материал пожертвован, и нужно только постановление Государственного Совета. Я упомянул и о значении децентрализации высшего образования для ограждения молодежи от вредных политических влияний.

После меня стал говорить В.И.Тимирязев. К немалому изумлению своих коллег, он выступил на защиту открытия в Самаре Политехникума. Со всех сторон слышались голоса: «Да ведь вы были против!».. Особенно горячился Зверев, громко протестовавший против выступления своего сочлена, коренным образом изменившего свое отношение к дебатлируемому

вопросу... Мне хорошо запомнились слова, сказанные Тимирязевым:

– На то я и человек, чтобы уметь прислушиваться и отзывчиво относиться к делу. Среди нас сегодня сидит член Государственного Совета Наумов – единственный представитель Самарского Поволжья... Ранее его с нами не было.

Александр Николаевич дал нам ряд новых существенных и интересных данных, в корне изменивших мой прежний взгляд на обсуждаемый вопрос. Выслушав его, я обращаюсь теперь с настойчивой просьбой к уважаемым моим сочленам в самом срочном порядке принять предложенный на наше рассмотрение законопроект.

В результате – Финансовая Комиссия внушительным большинством голосов высказалась за удовлетворение ходатайства об открытии в Самаре Политехнического Института.

Благодаря любезному содействию Председателя Комиссии и Товарища Председателя Государственного Совета Голубева, обсуждение законопроекта о Самарском Политехникуме было внесено на повестку Общего Собрания на 24-е того же июня. Докладчик Шварц взойшел на кафедру и сообщил заключение по нему Финансовой Комиссии.

– Угодно согласиться? – спросил Голубев: – Возражений нет? – Собрание ответило молчанием... – Принято! – бесстрастным своим голосом провозгласил Иван Яковлевич...

Это одно «принято» – вызвало во мне такую бурю восторга, что я не вытерпел и поспешил в телеграфное отделение Дворца и отправил радостную весть своим самарским землякам. Произошло большое для нашего родного Поволжья событие – наконец-то Самара дождалась высшего учебного заведения того типа, который наиболее ей был нужен. Агрономия и коммерция

– это родные сестры, находящиеся в условиях Самарского хлебобородного района в самом тесном и непосредственном между собою общении. Научиться в количественном и качественном отношении наилучшим образом производить зерновой продукт, уметь его превращать в наиболее ценный и ходкий товар (муку, спирт, крахмал и т. п.) – это одна часть задания высшего учебного института. Другая – естественно дополняла первую и состояла в изучении наиболее разумных и выгодных способов использования добытых хлебных продуктов, как на местном, так и на мировом рынке. Лишь правильно поставленная коммерция может вознаграждать агрономические усилия и затраты.

Увы! – этому большому и благому делу, отвечавшему горячему желанию населения наиболее богатой хлебной области Волжского бассейна не удалось осуществиться. Через месяц спустя вспыхнула Великая Европейская война, целиком захватившая все людские помыслы и средства... Самарскому Политехникуму так и не суждено было появиться на Божий свет – его место, как слышно, занял какой то коммунистический «Вуз»...

Тотчас же по возвращении моем из заграницы, я успел окончательно оформить покупку на имя моей жены дома Л.А. фон Дервиз и полностью выплатил ей все 425.000 рублей, для чего я распорядился реализовать принадлежавшую жене государственную 4% ренту на 300.000 рублей, по цене 94 за 100 номинальных. Прошло несколько недель, и та же самая рента при начале военных действий котиновалась на бирже 74 и ниже...

После завершения сделки, продавщица Любовь Александровна Дервиз просила предоставить возможность ей и всем ее семейным остаться в прежнем их особняке еще на один год за определенную плату, на что мы охотно согласились.

Приходилось торопиться к себе в Головкино, где мы более двух месяцев отсутствовали, и где без нас сиротствовали семья и хозяйство.

Часть IX. 1914-1915

Манифест 20-го июля (ст. ст.) 1914 года о войне с Германией. Отношение населения. Краснокрестная деятельность. Князь Г.Е.Львов. Лазаретный быт и настроения. Присылка в Самару больных пленных турок. 1915 год. Приезд в Самару принца А.Г.Ольденбургского. Самарский объединенный комитет. Открытие 17 января сессий Государственного Совета и Государственной Думы. Встречи. Беседа с С.Д.Сазоновым. Раут у Ив. Лог. Горемыкина. Правительственное совещание по хлебным заготовкам. Экономическая группа членов Государственного Совета. Прием у принца А.Г.Ольденбургского. Главное управление Красного Креста. Гр. А.Д. и М.Ф.Шереметевы. Доклады о народной музыке и сберегательных кассах. Министр финансов П.Л.Барк. Министр внутренних дел Н.А.Маклаков. Польский вопрос. Столичные сплетни. Тифозная эпидемия в Самаре. Юбилейное земское собрание. Отец и сын Щербатовы - их последняя встреча. Ряд смертей. Семья Поливановых и их имения. Знакомство Николая Поливанова с нашей дочерью Марией и их помолвка. Заболевание сына Александра. Опека над детьми брата Николая. Организация в Самаре резервов военных санитаров и обозов. Благодарность вдовствующей императрицы. Проводы губернатора Протасьева. Вице-губернатор князь С.В.Горчаков и новый министр князь Н.Б.Щербатов. Враждебность ко всему немецкому. Открытие 19 июля сессий законодательных палат. А.Н.Куломзин. Угнетенные настроения. Панические слухи. Критика графа В.Н.Коковцова. Доклады министров: А.А.Поливанова и С.Д.Сазонова. Мнения генералов Палицына и Джунковского, Варун-Секрета и др. Письмо

А.П.Струкова. Князь Н.П.Урусов о Галицийском фронте. Нарастание всеобщего недовольства. Образование Верховной следственной комиссии и вслед за ней Особых совещаний. Смена Верховного командования. Письмо с протестом министров. Заседание 16 сентября Совета министров под председательством Государя. Увольнение князя Н.Б.Щербатова и А.Д.Самарина. Высочайшее назначение меня 1-го августа в состав Верховной следственной комиссии. Ее деятельность. Председатель - генерал Петров. Члены: И.Я.Голубев, генерал Пантелеев, сенатор Посников, граф В.А.Бобринский и С.Т.Варун-Секрет. Дело бывшего военного министра Сухомлинова. Блок «общественников». Распределение и порядок следственных работ. Переизбрание меня 20 сентября Самарским земством в члены Государственного Совета. Обследование мною деятельности артиллерийских заводов. Царицынский завод. История его возникновения. Сенсационные разоблачения генерала А.А.Маниковского. Морской министр И.К.Григорович. Роль председателя генерала Петрова. Конечная судьба начатого мною следствия. Общие выводы.

121

Вся наша с женой поездка из Петербурга до родного Головкинского гнезда проходила в той же безотрадной обстановке мглы и сплошной гари, которая сопровождала нас и при путешествии от Германской границы до Невской столицы. Тусклое закопченное солнце, невероятно удушливая жара от продолжительно стоявшей засухи, действовали на нас самым угнетающим образом. Даже, спускаясь из Нижнего по Волге, мы не ощу-

щали обычной свежести и чистоты воздуха, горели уже не торфяные болота, а необозримые, окружавшие Волжский бассейн, лесные пространства... Казалось, что вся Россия горит... Сердце сжималось все сильнее от предчувствия чего-то неизбежного, рокового, по мере разраставшихся политических осложнений на Балканах – особенно после вызывающей по своему грубо ультимативному содержанию Австрийской ноты, предъявленной 10-го июля Сербскому Правительству.

Тревожные слухи вскоре уступили место указам о мобилизациях – сначала частичной, а 18-го июля – всеобщей. Война становилась уже не призраком, а страшной действительностью, воспринятой, впрочем, всеми русскими людьми с чувством несомненного удовлетворения. Слишком велик был позор, который причинен был нашим братьям славянам оскорбительными для чести Сербской Державы австрийскими требованиями.

18-го числа того же июля на сцену выступила Германия, действовавшая по указке неуравновешенного и самонадеянного Вильгельма. Его ультимативное предложение Русскому Правительству приостановить военные меры и отменить указ об общей мобилизации в указанный им срок до 12 ч. дня 19-го июля – Государь не принял. Тогда Германия объявила России войну.

20-го июля был опубликован Высочайший манифест, вызвавший среди всех слоев населения необъятной Российской Империи огромный патриотический подъем.

Повсеместно – не только в губернских, но и в уездных городах, также и во многих селах, происходили грандиозные народные манифестации и торжественные уличные шествия с национальными флагами и портретами Государя. В самой же столице собравшаяся перед Зимним Дворцом многотысячная

толпа, при появлении Их Величеств на балконе, как один человек пала на колени, оглашая воздух воодушевленными кликами «ура» и пением «Боже Царя храни»...

Вслед за этим издан был указ о назначении Великого Князя Николая Николаевича главнокомандующим всей боевой Императорской Армии.

Мобилизация прошла с исключительным и, как оказалось, совершенно неожиданным для наших врагов успехом. Затронув все слои российского населения, она в наших местах отразилась, главным образом, на контингенте сельскохозяйственных рабочих в разгаре полевой уборки – т.н. «страдной поры». Не мало оказалось призванных среди гласных и дворянства. Даже 53-летний двоюродный мой брат П.М.Наумов вынужден был облечься в форму военного врача. Общий патриотический подъем, охвативший страну, вызвал ряд добровольческих поступлений, в большинстве случаев среди интеллигенции.

Трогательностью и торжественностью отличались проводы Самарского гарнизона.

Ряд экстренных Губернских Собраний и заседаний открывшихся 26-го июля сессий обеих законодательных палат, тоже прошли в условиях исключительного патриотического воодушевления, с выражением горячих верноподданических чувств и заверений в готовности жертвовать для защиты отечества достоянием и жизнью...

Одновременно с началом открытия военных действий, правительству пришлось спешно озаботиться организацией врачебной помощи как на театре боевых операций, так и в тылу, где под флагом Красного Креста раскинута была по всей России широкая сеть лазаретов для больных и раненых воинов.

Руководство всей тыловой деятельностью Красного Креста было поручено Александру Дмитриевичу Самарину. Встретившись со мною на открытии экстренной июльской сессии Государственного Совета, он обратился ко мне с просьбой помочь ему в возложенном на него ответственном деле. Я согласился, и Самарин передоверил мне общее заведывание Краснокрестными организациями во всей восточной области Европейской России.

С самого начала деятельность моя в качестве Главноуполномоченного огромного тылового района протекала в условиях, чрезвычайно неблагоприятных. Полномочия, которые были мне предоставлены по наспех выработанным инструкциям, не заключали в себе точных указаний относительно взаимоотношений моих с высшими административными чинами губерний, находившихся в моем ведении, а также с местными общественными, земскими и городскими учреждениями. Даже самые границы упомянутой восточной области Европейской России, где должна была протекать моя деятельность, не были определенно установлены, и чуть ли не каждый месяц подвергались изменениям.

Фактически дело удавалось наладить лишь благодаря добрым отношениям, установившимся у меня с лицами и учреждениями, при любезном содействии которых надо было осуществлять возложенные на меня краснокрестные задания.

Надо отдать справедливость, как земства, так и города, отнеслись к делу с исключительной отзывчивостью и энергией. В какие-нибудь три-четыре месяца в одной Самаре земством были выстроены и превосходно оборудованы десять деревянных лазаретных помещений, в дополнение к больницам – земским, городским и частным, ранее существовавшим в городе.

Надо иметь в виду, что Самара являлась центральным узловым пунктом, на котором временами происходило значительное скопление привезенного со всех фронтов искалеченного войной несчастного люда. Часть раненых привозили в Самару по Волге, часть присылали по Сызранскому железнодорожному пути. В Самаре производилась пересадка больных и раненых воинов с судов в вагоны для дальнейшей отправки их по Златоустовскому или Оренбургскому направлению, и обратно. Из вагонов их высаживали и помещали на суда, для отправки в другие места по Волге и для размещения в лазаретах, устроенных приволжскими земствами, городами и селениями.

С 1914-1915 г.г. времени ушло немало. Я теперь не могу привести точных цифр. Но деятельность местных общественных учреждений и некоторых частных лиц была полна самоотвержения.

В моем кабинете висела большая карта Восточного Приволжья, со всем Камским бассейном, на которой я отмечал краснокрестными флажками пункты, извещавшие меня об открытии у них лазаретных помещений. Задолго до конца навигационного периода, иначе говоря – еще в сентябре 1914 года, карта эта, в особенности по речным и железнодорожным разветвлениям, была сплошь испещрена такими значками...

Война оказалась беспримечной, как в отношении количества бойцов, так и в смысле жестокости способов ее ведения. Лазареты стали быстро заполняться. Работа закипела во всю. Заведывание чрезмерно обширной областью оказалось для меня невыполнимым. Еле хватало сил и времени справляться с одним Самарским Приволжским округом, с которым тесно были связаны губернии Уфимская и Оренбургская. В этих рамках мое руководство и наблюдение, как Краснокрестного Главноупол-

номоченного еще могло быть осуществлено. Я попросил Самарина ограничить мой район тремя губерниями: Самарской, Уфимской и Оренбургской. Он на это согласился.

Осенью 1914 года, в Москве возникли две общественные организации – Всероссийский Общеземский и Городской Союзы. Они сразу же заняли в стране видное положение, благодаря предоставлению им Правительством значительных денежных ассигновок. Деятельность этих организаций, сконцентрировавших вокруг себя земскую и городскую «интеллигенцию» либерально-оппозиционного уклона, и возглавленных небезызвестными общественными деятелями того же толка – кн. Г.Е.Львовым и М.В.Челноковым, – была направлена на удовлетворение тех же нужд, которые были предметом забот краснокрестных организаций. Союзы возбудили ходатайство о получении ими права действовать под тем же флагом Красного Креста, на что правительство ответило согласием.

В результате, как на фронте, так и в тылу, Земский и Городской Союзы стали работать параллельно с основными учреждениями Красного Креста, а местные земства и города, ранее действовавшие под руководством краснокрестных уполномоченных, стали мало-помалу отходить от первоначальной своей связи с Главным Управлением Красного Креста и примыкать к возникшим объединениям – общеземскому и общегородскому.

Подобное положение вещей не могло способствовать успеху общего дела и не облегчало моей работы, как ответственного руководителя всей краснокрестной деятельностью заведываемого мною района. По целому ряду срочных вопросов, связанных с функционированием земских и городских лазаретов, приходилось обращаться за справками и указаниями то к Главноуполномоченному Самарину, то к председателям Земского или Городского Союзов.

Не могу не вспомнить одного случая, в достаточной степени характеризующего ныне историческую личность князя Георгия Евгеньевича Львова, как управителя в описываемое время только общеземской организации, а спустя два года, уже всей бывшей Российской Империи.

В один из поездок через Москву, зимой 1914-1915 г.г., мне понадобилось, ради выяснения целого ряда серьезнейших вопросов по земской лазаретной деятельности, лично повидать кн. Львова.

Обширное помещение было битком набито. Среди общей сутолоки и шумного гула голосов, вперемежку с трескотней пишущих машин, меня провели в председательский кабинет, в который вскоре же за мной не вошел, а скорее вбежал, сам князь Георгий Евгеньевич Львов, имевший вид в конец замотанного человека.

Предупредительно извинившись, что за массой дел он не располагает достаточным досугом, князь попросил меня изложить все то, что представлялось необходимым для совместного нашего с ним обсуждения и разрешения. К сожалению, мне этого не удалось сделать, так как ежеминутно к нам врывались какие-то взъерошенные типы с разными бумажками и запросами... Бумажки эти Львов, не глядя, подписывал, а на устные вопросы лишь всплескивал руками и бросал своим истомленным голосом: – Делайте, что хотите!.. Ведь даны же вам общие указания!.. – В довершение всего, в нашу комнату ввалилась многолюдная «делегация», которая в самой бесцеремонной форме потребовала, чтобы несчастный Львов, совместно с ними, отправился куда-то по срочному для них делу.

Еще раз передо мной извинившись, князь, беспомощно разведя руками, мне заявил: – Вы видите, как меня треплют!

Дорогой Александр Николаевич! Я весь к вашим услугам, и распоряжайтесь от моего имени как только вам для дела представляется нужным... Если вам необходимо, чтоб я немедленно преподал для вашего района те или другие инструктивные указания, не откажите сделать это сейчас же сами... Садитесь за мой стол... Напишите, что нужно, а телеграмму отправит мой курьер. Меня же простите – я вынужден вас покинуть... От души желаю вам всяческого успеха!... – С этими словами князь, пожав мне наскоро руку, устремился к выходу. Я остановил его и поспешно спросил: – Кто же подпишет составленную мною для Самары телеграмму? – Возьмите, да и поставьте сами под мою подпись! – послышался быстрый ответ: – Повторяю, я заранее согласен на все, что вами в телеграмме будет изложено!.. – Через секунду кабинет опустел.

Оставившись в одиночестве, я не скоро пришел в себя от его слов и вообще от всего поведения человека, стоявшего во главе огромной всероссийской организации...

Вероятно, не мне первому и не мне последнему Львов давал право подписывать его фамилию под официально-деловыми бумагами, содержание коих ему не было известно. Подобное невероятно легкомысленное отношение князя к значению и достоинству своей председательской подписи, в связи со всем тем, что происходило на моих глазах в его кабинете, – сразу же заставило меня подумать об этом почему-то стяжавшим себе немалую популярность общественном деятеле, как о человеке определенно неспособном нести обязанности ответственного управителя.

Тогда же у меня создалось убеждение, что за спиной подобного председателя самозвано народившегося Общеземского Союза, во всех делах, намерениях и отчетности должен царствовать сильнейший произвол, партийное засилье и безграничный

денежный хаос. Впоследствии мои предвидения, к глубокому сожалению, полностью оправдались.

Не добившись при личном моем свидании с Львовым никакого толка, и само собой отказавшись от мысли воспользоваться его советом, я решил впредь действовать совершенно самостоятельно, держась лишь общей линии с А.Д.Самариным, с которым у меня в нашей совместной работе по Красному Кресту установился полнейший контакт.

Поделившись с ним своими впечатлениями о князе Львове, я услышал от Александра Дмитриевича подтверждение моей оценки этого деятеля, волею судеб, года через два после описанного мною с ним свидания, сыгравшего в истории Российской государственной жизни роковую губительную роль.

Быстро разраставшийся круг военных операций; образование четырех боевых фронтов; беспрерывно увеличивавшийся контингент раненых и больных воинов; параллельная деятельность разнообразных краснокрестных учреждений, требовавших большой между собою согласованности – все это вызывало повелительную необходимость в образовании сильной и авторитетной объединяющей власти, для общего руководства всем военно-санитарным делом, как на фронте, так и на всем огромном пространстве Империи.

Власть эта по Высочайшему повелению была вскоре создана и вверена в руки опытного и решительного борца с народными эпидемическими бедствиями. Одно имя принца Александра Петровича Ольденбургского заставило сразу «подтянуться» всех деятелей, ему подведомственных.

Всем известно было основное свойство горячего и прямолинейного принца – никого и ничего не щадить на пути дости-

жения успеха в принятом на себя государственном деле. Его Высочеству были даны диктаторские полномочия, а на местах непосредственными его агентами являлись начальники губерний, с которыми мне, как краснокрестному уполномоченному, приходилось ближе всего считаться, как с инстанцией, располагавшей наибольшей властью и наиболее официально авторитетной.

С этого момента настал период постоянного и не всегда для дела полезного вмешательства высшей губернской администрации в жизнь и распорядки краснокрестных учреждений. Губернатором в Самаре был в то время Н.В.Протасьев, о котором я ранее отозвался, как о человеке приятном, покладистом и благожелательном. Вице-Губернатором, после фон Витте, был назначен к нам князь Сергей Васильевич Горчаков, бывший моряк, чуть не погибший в Цусимском бою, и служивший затем в Курской губернии Уездным Предводителем.

Князь Сергей Васильевич был слабо подготовлен для несения возложенных на него Министром Маклаковым вице-губернаторских обязанностей, но обладал зато иными привлекательными качествами, отчасти личными, частью унаследованными им от былой офицерской, да еще морской, службы, благодаря которым он быстро снискал к себе общие симпатии самарского общества, в особенности, среди местного дворянства. Лично я князя, несмотря на некоторые его слабости и недостатки (а у кого их нет?!), сердечно полюбил и посильно старался содействовать его служебной жизни.

В лице Протасьева и князя Горчакова я имел безусловно доброжелательных сотрудников, чего, к сожалению, нельзя было сказать про Лялина, ими же уполномоченного для наблюдения за деятельностью врачебно-санитарных учреждений в

губернии. Он оказался пренепрятым и заносчивым чиновником, способным обо всем доносить начальству в превратном и пристрастном виде. В жизни наших краснокрестных учреждений, дотоле спокойно деловой, настала прискорбная пора всевозможных осложнений чисто личного характера. В конце концов, пришлось обратиться с просьбой к Протасьеву о замене Лялина более подходящим лицом. У общеземской организации был тоже свой особый местный уполномоченный – наш самарский дворянин Н.А.Самойлов. Это был работник чрезвычайно толковый и энергичный, с которым у меня установились наилучшие деловые связи, а Лялин позволял себе распускать о нем всевозможные инсинуации.

Дело, которому мы все целиком себя отдавали, являлось само по себе настолько серьезным и идейно возвышенным, что беспрестанные мелочные личные придирки чиновных ничтожеств, подобных Лялину, в сильнейшей степени раздражали самоотверженных краснокрестных работников и создавали нервное настроение, далеко не в пользу местной администрации. С этим нельзя было не считаться. По мере того, как война затягивалась и выяснялись явные недостатки в ее ведении, заметно возрастало общее недовольство. Оно зарождалось, с одной стороны, на почве всенародной нервной подавленной неудовлетворенности, вызванными боевыми неудачами, а с другой – под влиянием зловердных слухов, стремившихся использовать тяжкое для России время в целях дискредитирования власти и всего государственного порядка.

В этом отношении лазаретная жизнь представляла для агитаторской деятельности исключительно благоприятную обстановку. После кровопролитнейших боев, сопровождавшихся массовыми газовыми отравлениями, поезда еле успевали раз-

возить по тыловым линиям тысячи искалеченных жертв. Все подготовленные лазаретные помещения очень быстро были до последней койки заполнены ранеными и больными воинами. Вся первоначально оборудованная их сеть, также как и сформированные в начале войны кадры врачебного персонала, оказались далеко недостаточными для удовлетворения потребностей страшной действительности. Приходилось в самом срочном порядке увеличивать количество мест приемки для беспрерывно присылаемых со всех четырех фронтов мучеников воинского долга, и в то же время, так же наспех, пополнять и контингент врачей, фельдшеров и сестер милосердия. В медицинском составе также с начала войны происходила убыль и на самом театре военных действий, а главным образом, в результате всевозможных эпидемических заболеваний и общего переутомления.

Пополнение это приходилось производить почти без всякого разбора и брать всех, кого мало-мальски можно было использовать для удовлетворения острой нужды во врачебносанитарном персонале. При этих условиях в лазаретную среду стали незаметно проникать элементы, которые пользовались лазаретными палатами, как своего рода аудиториями, заполненными людьми, не только физически потерпевшими от ужасов войны, но которых в большинстве случаев эти ужасы ожесточили. Они с жадностью впитывали осторожные по форме, вкрадчивые, но ядовитые проповеди о вреде царизма, о классовом неравенстве, о помещичьем насилии и пр. В дополнение к словесным поучениям, в палатах тайно раздавались нелегальные брошюры, которые, украдкой от начальства, читали вслух больным их грамотные товарищи.

Я близко познакомился с лазаретным бытом, не столько как руководитель всей деятельностью краснокрестных учреждений в обширном Приволжском районе, сколько благодаря непосредственному заведыванию устроенным мною в доме дворянства нашим лазаретом. Он содержался на частные средства графа Голенищева-Кутузова, мои и некоторых лиц, а также на средства самарского дворянства. Незадолго до войны я сделал пристройку к верхнему этажу дворянского дома. Я разместил в нем до двадцати коек для выздоравливавших после операции воинов, которые поступали ко мне из самарских хирургических лечебниц. Для них было отведено три смежных комнаты, а через коридор была обширная столовая, ванная и комната сестры милосердия. Пища готовилась в общей кухне, расположенной в нижнем этаже здания и обслуживавшей, наряду с лазаретом, дворянский женский интернат.

Ближайшей моей сотрудницей по заведыванию дворянским лазаретом была почтенная Софья Федоровна Дурасова, состоявшая во все время моего предводительства начальницей интерната.

Софья Федоровна принадлежала к славному Бугурусланскому роду Дурасовых, приходясь родною сестрой Петру Федоровичу Дурасову – выдающемуся самарскому деятелю по землеустройству.

Деловитая, ровная и, вместе с тем, энергично настойчивая, Софья Федоровна была идеальной и мудрой наставницей вверенной ее попечению дворянской женской молодежи. Столь же добросовестно она отнеслась и к новым своим обязанностям по хозяйственному заведыванию дворянским лазаретом. Совместно с приглашенной мною сестрой милосердия Илларионо-

вой, откомандированной в мое распоряжение Ольгинской общиной, Софья Федоровна вела порученное ей дело безукоризненно и пользовалась со стороны больных большим уважением.

Ежедневно бывая в своем лазарете и интересуясь всем происходившим в его стенах, я не мог не видеть, как охотно, даже жадно, следили мои больные, грамотные и неграмотные, за всем, что касалось хода военных действий, политики, государственной жизни и, в частности, устройства деревни и общекрестьянского земельного благополучия.

Для больных и их развлечения заведены были шахматы, собрана была библиотека, предлагались газеты. В столовой стоял граммофон; но все это их сравнительно мало интересовало. Их тянуло к живым беседам на широкие темы, среди которых видное место занимал вопрос о причинах возникновения настоящей войны и об явных недочетах нашего военного снабжения, которых от них скрыть было нельзя. Почти ежедневно, иногда подолгу, приходилось засиживаться с моими лазаретными друзьями, усиленно удовлетворяя их любознательность. Делал я это очень охотно, благодаря их явной доверчивости ко мне и моим словам, которая выражалась на окружающих меня простых и приветливых лицах.

В то же время в моей голове иногда зарождалась жуткая мысль, о роли, которую лазареты могут сыграть в жизни и психике миллионов людей, как своего рода народные аудитории. Это страшное, что мне в то время мерещилось, впоследствии сбылось. Не сразу, не в начальный период войны, когда все находились еще под воздействием неостывшего патриотического подъема, а приблизительно год спустя, когда эти чувства сменились иными настроениями.

С конца 1915 года – вот когда стала заметно изменяться общая картина лазаретной жизни, как в отношении состава медицинского персонала, так и в смысле настроений раненых и больных воинов. Среди первых, в особенности в учреждениях, содержащихся за счет Всероссийских Общеземского и Городского Союзов, приютилось немало агитаторов, что же касается больных, переполнявших лазареты, то вместо прежнего приветливого радушия и открытого доверчивого отношения, в них стали проявляться признаки явной разочарованности и затаенного озлобления. Это было результатом двух основных факторов: военных неудач, главным образом летнего отступления наших войск из Галиции и Польши, и – тлетворной лазаретной пропаганды, борьба с которой представлялась делом почти недостижимым в силу исключительно благоприятных для нее условий.

122

Несмотря на усиленный приток осенью 1914 года в Самару раненых, в то время все же еще удавалось их благополучно размещать по имевшимся в моем распоряжении больницам и лазаретам, в крайнем случае – переправлять их в дальние пункты по железнодорожным разветвлениям на Уфу и Оренбург. Но накануне 1915 года Самару совершенно неожиданно постигло тяжкое бедствие, серьезно повлиявшее на установившийся ход работы местных Краснокрестных учреждений.

Начавшаяся 20-го октября 1914 года война с Турцией, сосредоточившись в районе Кавказской пограничной полосы, постепенно стала принимать серьезные размеры, расширяя зону своих действий и сопровождаясь одно время блестящими успехами русского оружия с массовыми захватами в плен турецких

частей. Среди пленных вспыхнули жестокие эпидемии сыпного тифа и холеры. Несмотря на это, по распоряжению властей преступлено было к спешной эвакуации накопившегося в Закавказье огромного контингента пленных турок. По чьему-то великому и преступному недомыслию, было решено рассылать по главным российским железнодорожным артериям, разнося таким образом по всей стране эпидемическую заразу.

Подобная участь постигла и несчастную нашу Самару, как центральную узловую станцию большого железнодорожного пути. На рождественские праздники и под самый новый 1915 й год в Самару стали подходить один поезд за другим, с вагонами, переполненными пленными турками, почти поголовно больными тифом или холерой. При разгрузке же их на станции случалось, что рядом с несчастными людьми, полуживыми от холода, голода и болезней, лежали трупы их закоченевших земляков.

Нельзя забыть того ужасающего впечатления, которое мы с губернатором Протасьевым однажды испытали, присутствуя при разгрузке вагонов, подошедших к Самарскому вокзалу, с турками, взятыми в плен после Сарыкамышских боев.

Отперев у первого вагона засовы и раздвинув дверь, мы отшатнулись в сторону, так как из раскрытого вагона вывалилось на нас несколько трупов со сведенными конечностями и страшным выражением открытых омертвевших глаз. Их чуть живые спутники по вагону мало чем от них отличались. Большинство лежало без сознания в тифозном бреде, мучилось в холерных корчах, или сгорало от гангрены. Их чудом уцелевшие земляки, в самом жалком виде, ютились по углам. Некоторые вагоны представляли собой сплошные мертвецкие. Тому, что я сейчас пишу, многие могут не поверить, но все это так в действительности и было. Присылка подобных «мертвых» поездов, как мы

их печально прозвали, застала нас, «Самарцев», положительно врасплох. На станции временами скапливалась такая масса привезенных «вагонных мертвецов», что губернская администрация не успевала их предавать земле, и ей приходилось нанимать на городской окраине особые дворы, где турецкие трупы складывались в огромные, страшные штабели. Их обливали керосином и затем сжигали на месте. Останки зарывали в земляные глубокие ямы на особом кладбище.

Что же касается больных турок, доставленных к нам еще живыми, то с ними было немало тяжелых хлопот, в силу того, что самарские лазареты уже ранее были переполнены людьми, пострадавшими на западных фронтах. Для присланных с Кавказа заразных турок, ради изоляции, приходилось подыскивать частные особняки, где-либо в стороне от городского центра. Появление этих больных повлекло за собой, как неизбежное следствие беспощадной эпидемической заразы, значительные потери среди врачебного и ухаживающего персонала.

В связи с этими тяжкими для Самары событиями, вспоминается мне мимолетный приезд, или скорее – заезд, в наш город, в начале января 1915 года самого принца Александра Петровича Ольденбургского, которого мне тогда впервые пришлось видеть, и наблюдать незаурядные манеры Верховного Санитарного Начальника.

Только накануне получил губернатор телеграфное извещение о прибытии к нам, в 10 час. вечера, 10-го января 1915 года Его Императорского Высочества, возвращавшегося с Кавказа и имевшего целью объехать все наиболее важные пункты, обслуживавшие врачебно-санитарную помощь разосланным из Закавказья пленным туркам. Извещение это вызвало среди самар-

цев немалую суматоху и подействовало на местный начальствующий персонал настолько панически, что люди стали в некотором роде неузнаваемы...

И Губернатор и другие губернские чины, ведомства которых, казалось бы, никакого отношения к принцу не имели, впали в подавленное настроение, ожидая чего-то рокового, стихийного...

Все спешно, лихорадочно приводилось в порядок; в течение чуть ли не всей ночи и остававшегося дня, усердно изготавливался представителями разноеведомственных санитарно-лечебных учреждений общий рапорт Его Высочеству.

Настал час указанного в депеше прибытия специального поезда Верховного Начальника Санитарной части. Был январский морозный день. Стояла отвратительная погода. Метель неистово бушевала, все заносило снегом на своем пути. В вечерней мгле мелькнули два еле приметных огня. Шипя и пыхтя, сплошь облепленный ледяными сосульками, паровоз медленно прополз мимо нас, в последний раз глубоко вздохнул и остановился.

Поезд был небольшой. Из дверки переднего вагона вышло несколько человек, в их числе был бывший Петербургский Губернский Предводитель, граф В.В.Гудович, состоявший в распоряжении принца. Мы обрадовались друг другу и поспешили пройти в приемную вокзальную комнату, чтоб наскоро переговорить о предстоявшем приеме у Его Высочества. По словам Гудовича, принц приехал специально для того, чтобы устроить на Самарском пункте все необходимое для осмотра пересылаемых из Закавказья огромных партий пленных турок, которых придется разместить по больницам.

– Его это дело очень нервирует, – спешил пояснить Гудович. – Не дай Бог, если принц от вас, а в особенности от губернатора, получит уклончивый ответ. Плохо вам придется... Советую идти самым решительным образом ему навстречу – тогда обойдется.

С этими словами граф торопливо направился к вагону Его Высочества.

Дверь вагона, наконец, растворилась, и молодежавый стройный господин, одетый в смешанную краснокрестно-придворную форму, оказавшийся графом Сюзор, пригласил всех нас в вагон. Первым поднялся сильно волновавшийся Протасьев; за ним, в егермейстерском зимнем пальто, с краснокрестной повязкой на руке, вошел я. За нами потянулся ряд высших губернских чинов и общественных деятелей, имевших непосредственную связь с врачебно-санитарной организацией. В общем, в небольшой вагонный салон вошло человек восемь и двое или трое из свиты Его Высочества.

В дальнем углу этого салона стоял, прислонившись к стенке, скрестив на груди руки, довольно высокого роста, крупного телосложения человек, одетый в генерал-адъютантскую, цвета хаки, однобортную тужурку, с георгиевским крестом в петличке. Все мы тотчас же догадались, что стоим перед самим принцем. При виде нас, он отрывисто бросил – «Здравствуйте... Прошу сесть», и при этом показал на стоявшую вдоль вагонных стен скудную мебель.

Быстро опустившись на свое кресло, Его Высочество обратился к стоявшему впереди всех Протасьеву, не успевшему даже, как полагалось, отрапортовать Августейшей Особе, и, показывая на рядом с ним стоявший стул, еще резче пробурчал: – Да садитесь же – говорят вам!..

Я подтолкнул растерявшегося Николая Васильевича на указанный стул и сам уселся около него.

Лицо принца, довольно ярко освещенное небольшой электрической потолочной люстрой, находилось от меня так близко, что я его мог отлично рассмотреть. Несмотря на несколько грубоватые очертания, оно производило скорее располагающее к себе впечатление. В общем, Его Высочество, несмотря на свои преклонные лета, выглядел бравым генералом, видимо бодро переносившим свою хлопотливую и беспокойную службу.

– Я заехал в Самару, – тотчас же обратился принц к нам, – с тем, чтобы предупредить вас, как Начальника Губернии, – Его Высочество зорко уставился на близко к нему сидевшего Протасьева, который под этим диктаторским взором всем своим большим туловищем качнулся в мою сторону, – вас и весь здешний врачебно-санитарный персонал, что из Закавказья началась эвакуация значительных отрядов пленных турок – численностью до 40.000 человек, среди которых стала свирепствовать эпидемия тифа и холеры. Главнейшее направление этой отправки намечено по Сызрано-Самаро-Златоустовской магистрали. По пути будет организована фильтрация перевозимых пленных, чтобы отделить больных и разместить их в военных госпиталях, расположенных вдоль железнодорожных линий. Пятую по счету фильтрацию мы с профессором Чистяковым (при этом он указал на профессора) наметили устроить в Самаре. Мне необходимо здесь в срочном порядке организовать помещение для дневной обсервации пересылаемых турецких партий... Имеется у вас такое помещение? – резко обратился принц Ольденбургский с этим вопросом к губернатору...

– Разрешите, Ваше Императорское Высочество, – несмелым голосом промолвил Протасьев, – доложить об общем положении всего врачебно-санитарного дела во вверенной мне губернии и представить на Ваше Августейшее благовоззрение составленный по сему особый рапорт...

С этими словами Николай Васильевич собирался трясущимися руками раскрыть свой портфель, но его благим намерениям не суждено было осуществиться. Со стороны принца раздался нервный окрик: – Никаких рапортов мне ваших не нужно, а прошу ответить на мой вопрос – есть у вас то помещение, о котором я спрашиваю?

Наступило мертвое молчание, словно зловещее затишье перед страшной грозой... Доносилось лишь неистовое завывание метели. Мне показалось, что вагон затрясся. На самом деле это было нервное трепетание навалившегося на меня всем своим корпусом несчастного Губернатора. Он очутился в самом отчаянном положении, ибо помещения, которого от него требовал принц, в его распоряжении не имелось, а ответить грозному Верховному Санитарному Начальнику словом «нет» Протасьев не решался...

Должен сознаться, что я, вместе с ним, переживал жуткие минуты – тем более, что лицо принца заметно побагровело, и его налившиеся кровью глаза не предвещали ничего доброго... Вдруг у меня блеснула счастливая мысль. Это было нашим чудесным спасением. Пока мы ждали поезда принца, Начальник Самаро-Златоустовской железной дороги повел нас с губернатором посмотреть только что выстроенный рядом с вокзалом превосходный и огромный товарный пакгауз, предназначенный для склада и хранения привозимых из Туркестанских краев фруктов.

Побуждаемый единственным желанием выйти из положения, оказавшегося не лучше «губернаторского», вернее, для всех скверного, я решился, на вторично заданный грозным принцем вопрос, дать за губернатора короткий ответ: – Помещение есть, Ваше Высочество! – при этих словах, вздрогнувший и быстро обернувшийся в мою сторону, Губернатор окончательно меня придавил... Послышался внушительный голос принца: – Кто говорит? – Еле выглядывая из-за Губернатора, я назвал себя и, неожиданно для всех, тут же указал Его Высочеству на нововыстроенный вокзальный пакгауз, как на здание, по своему местонахождению и по размерам, подходящее для наблюдационного пункта.

Особенно был озадачен моим заявлением Начальник дороги, которому я, под прикрытием внушительной губернаторской персоны, делал руками и глазами жесты, чтобы он сидел смирно. Его Высочество быстро встал, отрывисто бросив в мою сторону: – Вот это дело!.. Сейчас же покажите мне это помещение.

Он ушел в свое купе и тотчас же вернулся, одетый в военного покроя полушубок, и стал всех торопить идти с ним на осмотр.

В те несколько минут, что принц отсутствовал, вокруг меня произошло нечто невообразимое. В одно ухо я слышал упреки Начальника дороги; в другое – сыпались похвалы и благодарности моих коллег, которых я спас от грозившей опасности. Гудович, подойдя ко мне, дружески сказал: – Молодец!, а то худо было бы!..

Стремительный осмотр пакгауза, при свете электрических фонарей, дал самый благоприятный результат. Принц, посоветовавшись со своими сотрудниками, нашел предложенное помещение вполне подходящим, и тут же предложил Губернатору

приступить к его оборудованию, причем дал совет пустые стены забрать двумя рядами толстого картона. Повеселевший принц сделался неузнаваем – со всеми стал любезно и приветливо беседовать, пересыпая свой отрывистый разговор всевозможными шутками. Он даже успел с нами поделиться некоторыми своими фронтовыми впечатлениями, с торжеством сообщив, что «две недели как немецкие гранаты не рвутся, и меди в Германии не хватает»...

В то же время мне удалось о многом порасспросить графа Гудовича. От него я узнал опечалившие меня сведения про положение на Кавказском театре военных действий, где русские молодецкие войска совершали необычайно удалые подвиги, но в сфере высшего командования отсутствовало, по его мнению, твердое руководство, и – по его выражению – «ощущалась сплошная билиберда»... Прощаясь, я умолял Гудовича всячески воздействовать на принца, чтобы заставить его уразуметь всю чудовищность распоряжения о рассылке по всей матушке-Руси больных турок, повсеместно заражавших тыловые области.

Позже Его Высочество, видимо, сам осознал допущенную им ошибку. Он был способен отменять свои собственные распоряжения также стремительно, как и их отдавать. Во всяком случае, этот страшный турецкий приток человеческих страданий и людской заразы со временем прекратился, и Самара могла свободнее вздохнуть.

Не убоявшийся погоды, которая заметно стала стихать, как бы в унисон с переменой общего настроения, принц Ольденбургский, обладавший недюжинной энергией, успел осмотреть только что устроенный нашим земством одиннадцатый т.н. сортировочный лазарет, от которого пришел в восторг. В общем, его заезд в Самару, продолжавшийся не более двух с половиной часов, произвел как на принца, так и на нас, самарцев,

самое благоприятное впечатление. Один лишь Начальник Самаро-Златоустовской дороги не мог мне простить неожиданный для него «подвох»... Поезд Его Высочества отбыл из Самары в Пензу.

После отъезда принца, началась горячая работа по приспособлению спасительного пакгауза под наблюдательный пункт. Приступлено было и к подыскиванию помещений под заразные больницы. Со всем этим надо было спешить, так как в Самару приходило до четырех поездов в день, набитых несчастными пленными.

123

С поздней осени 1914 года к нам с фронта стали поступать невеселые письма солдатиков – уроженцев Самарской губернии, а также принадлежавших к тем войсковым частям, которые до войны стояли в городе Самаре. Судя по их сообщениям, с каждым днем, по мере приближения сурового зимнего времени, положение их на позициях становилось все тяжелее и вызвало с их стороны ряд жалоб на недостаток теплой одежды, обуви, белья и пр.

Доходивший до нас голос наших кровных защитников, претерпевавших тягости «окопного» существования в осеннее ненастье, позже и в зимнюю стужу, – не мог остаться без живого и горячего отклика. В конце 1914 года в Самаре организован многочисленный «Объединенный Комитет» из представителей решительно всех правительственных и общественных учреждений, всяческих частных организаций и местных кружков. В него входили лица, принадлежавшие ко всем слоям и профессиям городского населения. Комитет этот, избравший меня своим Председателем, поставил себе целью организовать на самых

широких началах не только в городе, но и по всей губернии, сбор всего, что могло бы пригодиться нашим воинам. Надо отдать справедливость самарскому обществу, оно проявило в то время редкое единодушие и исключительную отзывчивость. Самарцы все это исполняли с необычайным подъемом.

Не могу при этом не отметить здесь заслуг многих сотрудников «Объединенного Комитета», прежде всего таких лиц, как доктор И.А.Аристов и председатель биржевого комитета В.Н.Башкиров.

Городской врач Аристов был чрезвычайно популярным самарским старожилом и незаурядным организатором. Благодаря его исключительной энергии и превосходному знанию города, начавшийся в Самаре с осени сбор одежды, теплой обуви, шерстяного белья, некоторых питательных продуктов и денег, сразу же принял организованный характер и, при горячем сочувствии горожан, проходил с исключительным успехом. Бывали дни, когда сборы по всему городу производил сам Аристов с многочисленными своими сотрудниками. Население о них оповещалось заранее. В газетах печатались воззвания. По улицам расклеивали огромные афиши с наглядным изображением положения солдат в окопах и призывом жертвовать все, что может его смягчить. Плакаты того же содержания прикреплялись к фургонам, в которых Аристов со своими помощниками устраивали торжественные процессии по всему городу, останавливаясь на людных площадях или уличных перекрестках и горячо призывая население откликнуться, кто чем может, на помощь героям – защитникам отечества. Бывали случаи, что из магазинов выносили целые кипы всяческого носильного платья, белья, обуви, разных продуктов и т. п. Особенно успешны бывали подобные уличные процессии, устраиваемые комитетом перед большими праздниками (Рождества Христова или Пасхи).

Владимир Николаевич Башкиров появился в Самаре сравнительно недавно и быстро с ней сроднился. Энергичный, общительный, с недюжинной смекалкой, Владимир Николаевич с первого же нашего с ним знакомства мне очень понравился. Не без некоторого моего содействия он, несмотря на свою молодость и недавнее появление в Самаре, был избран, незадолго до войны, Председателем Биржевого Комитета. На этой должности он сразу же проявил себя в качестве выдающегося дельца. Со временем он доказал свои недюжинные способности на ответственной должности Самарского районного уполномоченного по заготовке для военного ведомства хлебных продуктов. В бытность мою Министром я дал ему еще более широкие права в той же продовольственной области. При Временном Правительстве Башкиров состоял недолгое время Товарищем Министра – сначала при Шингареве и затем при Пошехонове, заведывая все той же продовольственной частью.

В октябре 1917 года, Владимир Николаевич, через Сибирь и Японию, перебрался в Америку, где, не зная языка, сумел в Нью-Йорке быстро ориентироваться и открыть хлебную контору: «Нью-Йорк – Самара Корпорейшен».

Благодаря Башкирову, Объединенный Комитет получил для склада пожертвованных вещей превосходное обширное помещение Самарской Биржи, куда свозились целые горы вещей. Все это там же сортировалось многочисленными добровольцами.

Наряду с вещевым сбором, приходилось обращаться к населению с призывом о денежных пожертвованиях, которые шли главным образом на приобретение тех предметов, в которых на фронтах была острая нужда, и которые почему-либо не поступали к нам на склады, и на подарки к праздникам. Деньги нужны были и на покрытие неизбежных расходов по Комитету.

Параллельно с деятельностью Комитета, в Самаре образовался многочисленный дамский кружок, задавшийся целью из пожертвованного материала шить солдатское белье и одежду. Работа эта, привлекавшая массу сотрудниц из всех слоев общества, производилась в двух местах: часть кружка, под руководством губернаторши – энергичной Анны Васильевны Протасьевой, собиралась на губернаторской квартире; остальные объединялись вокруг моей жены Анны Константиновны, и собирались в доме Дворянства, где им была предоставлена обширная зала с удобными столами для кройки.

Заготовленные дамским кружком бельевые и прочие вещи передавались в распоряжение Объединенного Комитета, где их тщательно упаковывали. Уполномоченные Комитетом лица сопровождали посылаемый в армию груз и довозили его до частей, которым он предназначался. Это давало жертвователям уверенность, что вещи будут доставлены по назначению. Периодические отчеты о вещевых и денежных поступлениях помещались во всех самарских газетах, забывших на время войны свои былые политические распри.

Благодаря установившейся живой связи нашей отдаленной тыловой Самары с фронтом у меня скопилась обширная солдатская корреспонденция исключительного исторического интереса. В этих письмах из армии, наряду с благодарностью за посылки, попадалось не мало описаний, касавшихся боевого быта их авторов. Вся эта литература мною бережно хранилась с тем, чтобы впоследствии ее, наряду с отчетностью о деятельности Объединенного Комитета, поместить в музей Великой Европейской войны, который я имел в виду основать при Дворянском Доме.

Помимо деятельности, направленной на оказание материальной помощи самарским воинам, Объединенный Комитет

имел также значение, как показатель того единодушия и общего патриотического подъема, которыми в первый год великой войны были охвачены все русские люди без различия служебного положения, сословной своей принадлежности, занятий и даже политического направления.

124

1915-му году суждено было в моей жизни занять исключительное место: с конца мая этого года я стал получать ряд назначений одно другого для меня неожиданнее и значительнее...

Началось с поручения, возложенного на меня Главным Управлением Российского Общества Красного Креста, приступить к организации в Самаре резервов военных санитаров и военно-санитарных обозов; 1-го августа состоялось Высочайшее назначение меня в состав Верховной Следственной Комиссии, а 10-го ноября того же памятного для меня года я был вынужден, по настойчивой воле Государя, принять пост Министра Земледелия и одновременно должность Председателя Особого Проводовольственного Совещания.

Все эти назначения сопряжены были с крайне срочными и частью чрезвычайно сложными заданиями, всецело связанными с исключительными условиями военного времени.

До принятия мною двух последних назначений, я мог еще сравнительно свободно располагать своим временем, распределяя его между столичными служебными делами, местными самарскими и своими хозяйственными в Головкине и Симбирске.

Самое распределение моего времени обычно носило характер лихорадочной спешки, и нередко производилось по телеграфным, подчас совершенно неожиданным распоряжениям...

Часто наезжая в Москву и Петербург, я имел обыкновение, прежде, чем приниматься за какие-либо дела, заезжать в Москве к Иверской часовне и затем к чудотворной иконе Божьей Матери «Нечаянной Радости»; в Петербурге – я заходил сначала в соседнюю с Европейской гостиницей часовенку на Невском, а потом направлялся в Александро-Невскую Лавру, где около серебряной гробницы св. Александра Невского любил обдумывать предстоящую мне деятельность. Нередко посещал я и домик Петра Великого на Петербургской стороне, в котором помещалась величайшая Петербургская святыня – икона Нерукотворенного Спаса с надписью наверху: «Сердце царево в руцех Божиих».

Приехав 16-го января в Петроград, мы с женой на другой же день утром побывали в Александро-Невской Лавре, где нам хотелось посетить многочисленные свежие могилы убитых на полях брани офицеров.

Обходя многочисленные ряды жертв воинского долга, мы набрали и на надгробный памятник знакомой нам четы Богдановичей – престарелого генерала Евгения Васильевича и его супруги – Александры Викторовны.

Я знал старика – Евгения Васильевича, обычно одетого в генеральскую форму Императорских Стрелков, еще зрячим. Впоследствии он потерял зрение, но это не мешало ему по-прежнему вести интересные – полные юмора и остроумия беседы, захватывавшие как его воспоминания, так и самые современные и злободневные темы. Несмотря на свои восемьдесят лет, Богданович бодро переносил бесконечные у него приемы.

Худой, весь серебристо-белый, с типичной внешностью бывшего военного времен Императора Александра Второго, имя которого он благоговейно чтил, благодаря своим многочисленным друзьям и сохранившейся незаурядной памяти, был всегда в курсе всех столичных дел и новостей, до интимно придворных включительно.. Незадолго до своей смерти он написал Его Величеству откровенное письмо, в котором предостерегал его против губительного влияния Распутина и умолял Государя раз навсегда удалить его из столицы. Ответа на это письмо старик не получил. В настоящее время большевиками изданы оставшиеся после Александры Викторовны ее записи, представляющие собой немалый исторический интерес.

17-го января 1915 года состоялось открытие сессии Государственного Совета, сопровождавшееся патриотическими речами двух почтенных старцев: председательствовавшего И.Я.Голубева и Председателя Совета Министров И.Л.Горемыкина. Вслед за этим раздалось весьма скромное «ура» и затем приступлено было к деловым занятиям.

После сравнительно долгого перерыва я рад был повстречаться со своими коллегами, со многими из которых за последние годы пришлось близко сойтись и подружиться. При окончании моих полномочий первого выборного трехлетия, когда я было решил в состав членов Государственного Совета вновь не баллотироваться, я получил от многих из них на память фотографические карточки с трогательными, дружескими надписями. Десятка три этих, дорогих для меня, изображений красовались в особой раме на видном месте моего самарского кабинета.

Встретившись теперь, мы спешили поговорить о том, что каждого из нас интересовало. Алексей Борисович Нейдгардт

звал в свою группу; А.П.Струков расспрашивал про новокупленный дом Девиза; А.Д.Самарин вел речь о делах Красного Креста и не скупился на лестные отзывы о самарских наших распорядах; Председатель Главного Управления Красного Креста интересовался общим положением на местах подведомственных ему учреждений; А.С.Стишинский жаловался на «засилие польского вопроса», называя переживаемый страной политический период не иначе, как «польской болезнью».

От Сергея Дмитриевича Сазонова я выслушал обстоятельную сводку общего положения дел на фронте и в тылу. Война, по его мнению, должна была затянуться по крайней мере еще на целый год. Сергей Дмитриевич очень жаловался на недостаток воинского снабжения, но, вместе с тем, отмечал, что настроение в армии и населении, в общем, удивительно бодрое и стойкое. Боялся он за Англию... «Без нее – пояснил Сазонов – невысказано было бы нам воевать. В этом отношении нам очень помогла грубая и глупая немецкая дипломатия, толкнувшая Англию в наш союз... Италия и Румыния – государства изменчивые, но, по всем вероятностям, в конце концов, тоже вступят в наше тройственное согласие. Греция примкнет к нему, если ей дадут часть Малой Азии. Что же касается Болгарии, то народ к нам очень расположен, зато правящие и интеллигентные верхи, в особенности – сам Царь, отвратительны!»...

Переходя к характеристике Петроградского общества, Сазонов отметил устойчивое настроение своих коллег и правящих верхов. Исключениями, по его мнению, являлся державший свои капиталы в Германии Витте и некоторые из личных его знакомых, – вроде князя Алексея Дмитриевича Оболенского, графа Д.А.Олсуфьева и некоторых других. «Большой это грех с их стороны» – такими словами закончил Сазонов нашу беседу.

Насколько тихо и бледно прошло открытие сессии Верхней Палаты, настолько восторженно и воодушевленно начались 27-го того же января занятия Государственной Думы в присутствии всего Совета Министров и массы собравшейся на хорах публики. Председатель Думы, М.В.Родзянко, сказал превосходную, полную бодрого патриотизма, вступительную речь с призывом думцам и всему населению встать на защиту отечества.

Вызванный этой речью общий подъем проявился с еще большей силой после выступления Министра Иностранных Дел С.Д.Сазонова, говорившего на близкую русским сердцам тему о необходимости осуществить заветную мечту – освободить братьев славян от рабского угнетения и получить в наши руки ключи от Босфора. На долю оратора выпала редкая по своей внушительности орация, как со стороны депутатов, так и от всей присутствовавшей публики.

Выступавший за ним Милюков и некоторые другие депутаты горячо приветствовали слова Сазонова. Резким диссонансом прозвучал лишь истеричный выкрик Керенского, вызвавший единодушные, громкие и возмущенные протесты...

Работа законодательных палат главным образом была сосредоточена на прохождении государственных смет и рассмотрении экстренных расходов, сопряженных с потребностями военного времени.

Сессия Государственного Совета закончилась 30 января. В тот же день, вечером, члены обеих законодательных палат получили приглашение на раут, устроенный Председателем Совета Министров Ив.Л.Горемыкиным в его новом казенном особняке на Моховой.

Раут отличался многолюдством и большим оживлением. На нем мне впервые пришлось столкнуться с Григорием Вячеславовичем Глинкой – моим впоследствии ближайшим помощником по руководству продовольственным снабжением Империи, а в то время заведывающим Переселенческим Управлением, и приглашенным А.В.Кривошеиным в качестве сотрудника по хлебным заготовкам.

Глинка сразу показался мне заносчивым и упрямым чиновником, много о себе думавшим, но мало еще смыслившим в хлебных операциях. Мы заспорили о системе хлебных заготовок, переубедить его мне не удалось. Наш спор был перенесен за общий стол Особого Совещания, открывшегося вскоре после прекращения занятий Государственного Совета.

Заседания этого специального совещания начались 3-го февраля и собрали со всех концов России массу земских деятелей, в числе которых участвовал и я, по уполномочию своего земского собрания. Заседания проходили то под путанным председательством неустойчивого Глинки, то под руководством самого Кривошеина, проявлявшего в своих отношениях к участникам совещания много личного пристрастия, а в резюмировании заключительных постановлений немало уклончивости и расплывчатости.

Основным вопросом, возбуждавшим наиболее оживленные прения являлся правительственный проект об установлении права реквизиции хлебных запасов и определения самих реквизиционных цен. Возбуждались также вопросы об упорядочении хлебных перегрузок в Нижнем Новгороде и Самаре, о прекращении вывоза хлебных продуктов через Финляндию в Швецию и др. По последнему вопросу Кривошеин пояснил, что шведская граница необходима для провоза через нее в Россию предметов воинского снабжения исключительной важности, в

силу правила – «do ut des» – приходится шведскую границу оставить открытою для вывоза через нее русского хлеба.

Совершенно неожиданно для меня на этих заседаниях мне пришлось, устроить одно немаловажное дело, касавшееся уже моих личных хозяйственных интересов. Я встретился на совещаниях с Н.Ф.Беляковым, уполномоченным по закупке для военного ведомства хлебов в Симбирском районе, в состав которого входила северная часть нашего Ставропольского уезда, следовательно и Головкинское мое имение. Он предложил мне продать Военному Ведомству с моей мельницы значительную партию ржаной муки по цене – 1 р. 25 коп. за пуд. Я предложение принял.

Наше совещание, с участием представителей земской России, вызвано было продовольственными требованиями многолюдных военных фронтов, сосредоточивших на своих оперативных линиях более десятка миллионов бойцов, а также сознанием правивших верхов, что начатую, беспримерно жестокую, войну придется вести долго.

Вопрос продовольствия армии и некоторых тыловых местностей уже с января 1915 года привлек к себе внимание не только различных ведомств, но и более широких общественных и законодательных кругов, где правильную постановку снабжения ставили в прямую связь с общим положением сельского хозяйства в Империи. Вот почему, одновременно с образованием чисто технического совещания под председательством А.В.Кривошеина, в Государственном Совете образовалась многочисленная группа лиц, поставивших себе целью выяснение вопросов экономического и сельскохозяйственного значения. Группа эта, одним из учредителей которой состоял и я, собралась впервые 23-го января, выбрав своим председателем Алек-

сея Сергеевича Ермолова. Заседания ее представляли несомненно значительный интерес. На них обсуждались животрепещущие вопросы, в связи с грозными событиями, нарушившими нормальную хозяйственную жизнь государства. На заседаниях этих был решен ряд вопросов чрезвычайно существенных. Однако Голубев, председательствовавший тогда на общих собраниях Государственного Совета, уклонился от внесения пожеланий экономической группы на рассмотрение Верхней Палаты, и предупредил, что на обсуждение в общих заседаниях он будет вносить лишь предложения, исходящие от Финансовой Комиссии. В силу этого, приходилось работу экономической группы передавать предварительно на заключение этой комиссии, обычно очень занятой. С закрытием же сессии Государственного Совета деятельность экономической группы окончательно замерла.

Впоследствии, с осени того же 1915 года, обстоятельства заставили более серьезно заняться вопросом продовольственного снабжения не только одной армии, но отчасти и тыловой России и в спешном порядке образовать специальное учреждение – Особое Продовольственное Совещание, – с которым мне, в качестве его Председателя, суждено было близко ознакомиться.

Ко мне в Петроград, как только я туда приехал, стали поступать из Самары телеграммы самого отчаянного содержания о положении военно-санитарного дела, в связи с переполнением Самарского железнодорожного узла поездами, привозившими с турецкого фронта огромное количество заразных больных. Ко всему этому, в той же Самаре возникли досадные трения между сестрами милосердия, принадлежавшими к местной

«ольгинской» общине и откомандированными из Петроградской «Георгиевской» общины – трения, принявшие в мое отсутствие серьезный и для дела недопустимый характер.

Я счел своим долгом лично повидать принца Ольденбургского и ходатайствовать перед ним о прекращении присылки с Кавказа поездов в Самару, не имевшую более никакой возможности размещать заразно больных турок.

Его Высочество принял меня у себя во дворце, утром, 27-го января. Встретившие меня граф Гудович и граф Сюзор предупредили, что принц не в духе и чего-либо благоприятного для меня ожидать было трудно. Вскоре меня ввели в квадратную, сравнительно небольшую, комнату в нижнем этаже. В одном ее углу ожидал меня принц Александр Георгиевич. Лицо его ничего доброго не предвещало. В другом углу стояла огромная клетка с невероятно крикливым белым какаду; в третьем – лежал его любимый пудель, а из четвертого вошли мы с Гудовичем. В комнате – по всей видимости – проходной, не было никакой мебели, кроме стола и деревянного диванчика, какие обычно ставятся в передних. Принц подошел, поздоровался за руку и, бросив: «Что вам нужно?» – стал ходить из одного угла в другой, что-то про себя ворчливо бормоча, и одновременно бросая мне отрывочная фразы, содержание которых было трудно уловить, главным образом, из-за неистового крика его пернатого друга.

Принц, занятый собственными мыслями, вероятно, лишь наполовину слышал то, что я ему говорил. После четверти часа подобного разговора я решил освободить чем-то расстроенного принца и прекратить дальнейшую непроизводительную трату времени...

Я замолк и затем несколько раз повторил мелькавшему передо мной Августейшему хозяину слова прощального приветствия. Наконец Его Высочество остановился вплотную против меня и произнес своим обрывистым резким голосом: «Поезжайте на место и разберитесь!... Я приму свои меры!»... С этими словами он вышел из комнаты, сопровождаемый криками попугая и лаем пуделя...

И в самом деле, Его Высочеством меры были приняты и притом самые для нас отрадная: эвакуация турецких больных в Самару прекратилась... Предсказания Гудовича не сбылись.

Этим мои «хождения» по самарским военно-санитарным делам не ограничились. Всюду, где только мог, я выступал не только с настойчивыми просьбами, но прямо-таки с требованиями придти на помощь Самаре в смысле обеспечения города достаточным количеством военных госпиталей и оборудовании специальной больницы для заразных больных. Эти заявления я делал на заседаниях Главного Управления Красного Креста, на которых, кроме Председателя А.А.Ильина, человека в высшей степени отзывчивого и мягкого, но находившегося всецело в руках своего секретаря – умного и деловитого Чаманского, присутствовали обычно такие медицинские светила, как профессор Сиротинин, профессор фон Анреп, а также Л.Н.Малиновский, Зиновьев и др. По тому же поводу неоднократно говорил я и с Военным Министром. Приходилось быть невольно очевидцем междуведомственной неразберихи по военно-санитарным вопросам между Главным Управлением Красного Креста и Военным Министерством.

Наконец, не иначе как с Божьей помощью, удалось мне добиться правительственной ассигновки в 170.000 руб. на оборудо-

дование в Самаре военного госпиталя, чем до известной степени благополучно разрешался один из наболевших вопросов в нашем Приволжском крае.

Благодаря содействию Н.Н.Анцыферова – Начальника Главного Управления по делам местного хозяйства, устроил я также для Самарского земства, на льготных условиях, правительственный заем для того же лазаретного дела.

Что же касается столкновения между сестрами Ольгинской и Георгиевской общин, то я не ограничился сношениями с одним Главным Управлением Красного Креста, а обратился непосредственно к самой Председательнице Георгиевской общины – графине Марье Федоровне Шереметевой, супруге известного музыкального мецената и деятеля, графа Александра Дмитриевича, обитавшего в своем чудном особняке на Французской набережной.

Чрезвычайно любезные и радушные, граф и графиня Шереметевы оставили во мне наилучшие воспоминания. Я всегда восхищался музейной обстановкой их богатейшего дома и проводил преинтересные часы, беседуя с графом Александром Дмитриевичем на излюбленные его темы о постановке музыкального образования и об упорядочении православного церковного пения. Его мечтой было добиться введения в наших храмах органа, в дополнение к хоровому пению.

Благодаря энергичному вмешательству графини, мне удалось быстро достичь полного умиротворения возникших в Самаре между сестрами недоразумений.

Знакомство мое с графом А.Д.Шереметевым и собеседования наши с ним по музыкальным вопросам побудили меня, в то же январское пребывание мое в столице, принять участие на од-

ном из заседаний дирекции Императорского Музыкального Общества, происходившем в зале Консерватории, под председательством ее Высочества принцессы Елены Георгиевны Саксен-Альтенбургской.

Я задался целью убедить дирекцию принять в свое ведение и под свое высшее руководство дело изучения, развития и насаждения в стране народной музыки. На заседании присутствовали В.И.Тимирязев, Глазунов, Ипполитов Иванов, братья Сомовы и др. Я указал на необходимость заполнять зимний деревенский досуг, который обычно употреблялся сельской молодежью на развлечения грубо чувственного порядка, сопровождавшиеся обильным употреблением спиртных напитков. После объявления войны 1914 года, винные лавки, по Высочайшему указу, были закрыты. Наступил благоприятный момент использовать мудрое Царское распоряжение с тем, чтобы народные духовные потребности направить по пути более возвышенного, облагораживающего порядка. В этом отношении, музыка должна была, по моему разумению, занять первенствующее положение. Собираение и распространение народных мелодий – в противовес пошлым частушкам; содействие образованию хоров и сельских оркестров; привлечение к этому делу местных общественных организаций и отдельных лиц – все это могло бы взять на себя Императорское Музыкальное Общество. Предложение мое было встречено сочувственно, и мне было поручено составить записку, которую я вскоре передал нашей Августейшей Председательнице.

Хочу сказать несколько слов и о другом моем докладе, имевшем связь с прекращением продажи водки, благодаря которому у деревенского люда стали накапливаться значительные денежные сбережения. Правительству, нуждавшемуся в огромных оборотных средствах, следовало это использовать и в то же

время придти на выручку самому сельскому люду, не знавшему где хранить свои сбережения. В обширной Самарской губернии города с казначействами и сберегательными кассами находились в таком отдалении от большинства селений, что крестьянам в голову не приходило держать свои сбережения.

Сама собой вставала мысль о необходимости указать деревенским жителям, для помещения денежных излишков, какие-либо учреждения, заслуживавшие их полного доверия. Этой цели могли бы служить волостные правления и кредитные товарищества, при которых правительство могло открыть по всей стране сеть мелких сберегательных касс.

В Петрограде я возбуждал этот вопрос там, где только представлялась мне возможность и находил всеобщее сочувствие, завершившееся тем, что Министр Финансов Петр Львович Барк в день моего отъезда из столицы, 11-го февраля, принял от меня специально для него составленную по этому поводу записку и обещал воспользоваться ею для всестороннего выяснения моего предложения.

С Петром Львовичем, в конце того же 1915 года, мне пришлось сотрудничать в Совете Министров. В том, как он принимал посетителей в своем министерском кабинете, в его мягкой готовности выслушать, сказывалось не чиновное прошлое, а долголетняя школа частной банковской службы, приучавшей людей к приветливому обращению со своей клиентурой.

В конце приема у нас зашел разговор относительно финансовой конференции держав тройственного согласия, которая заседала в Париже и в которой, наряду с Министрами Финансов: Франции Рибо и Англии Ллойд-Джорджем, участвовал и Петр Львович Барк, лишь недавно вернувшийся из-за границы. О

своих общих впечатлениях, вынесенных им от этого Парижского совещания, Петр Львович выразился в следующих выражениях: – Конференция наша прошла лучше, чем я ожидал...

Приходилось мне по своим делам беседовать и с другими Министрами, между прочим, с Министром Внутренних Дел Николаем Алексеевичем Маклаковым – вертлявым, говорливым субъектом. Сообщил он мне в первую голову, что в Самаре следует ожидать приезда Государя (чего на самом деле не было), а затем, что выборов в Государственную Думу пятого созыва не будет до окончания войны.

Коснувшись вопроса об использовании военнопленных, как сельскохозяйственных рабочих, Маклаков пояснил, что этим делом занята специально образованная комиссия, под председательством А.В.Кривошеина. Упомянув это имя, мой собеседник не мог воздержаться, чтобы не наговорить целый ворох недоброжелательных о нем отзывов, ставя Кривошеину в вину, главным образом, его «заигрывание» с общественными элементами. Тут Маклаков разразился самой ожесточенной критикой по адресу общеземских и городских организаций...

Излишняя говорливость Министра отвлекла нас от обсуждения тех существенных вопросов, ради которых я пошел к нему на прием. Совершенно в таком же положении очутился наш Губернатор Н.В.Протасьев, приехавший из Самары специально для разрешения ряда серьезнейших служебных дел. Явившись к Министру Внутренних Дел, Протасьев вынужден был выслушивать более получаса непрерывную болтовню Николая Алексеевича, распространявшегося на излюбленные свои темы – о вреде общественных организаций, о непозволительном «заигрывании» все того же Кривошеина с общественными деятелями и т.п. В результате, бедный Протасьев так и не успел ничего толком доложить своему Министру.

С именем Н.А.Маклакова связано было всем тогда известное принципиальное расхождение Министров по поводу польского вопроса. Сочиненное С.Д.Сазоновым, всецело одобренное Вел. Кн. Николаем Николаевичем, воззвание было спешно отпечатано и в массовом количестве распространено. В собравшемся после этого заседании Совета Министров раздался горячий протест со стороны Н.А.Маклакова, И.Г.Щегловитова и В.К.Саблера. Среди министров обнаружился резкий раскол. Протестанты, возглавляемые Н.А.Маклаковым, начали, в противовес возванию Великого Князя Николая Николаевича, сочинять свои обращения и решения относительно участи Польши. Они собирались у члена Государственного Совета Б.В.Штюрмера, в доме которого с особым успехом культивировались всевозможные сплетни, включая слух о зарождавшейся будто бы у Государя ревности к популярности Великого Князя Николая Николаевича.

Вообще, несмотря на исключительное военное напряжение, героически переносимое десятком миллионов людей на фронтах, в петроградских клубах и салонах занимались плетением всяческих закулисных, в большинстве случаев, вздорных слухов. Сплетни эти никого решительно не щадили, начиная с военного командования и придворных кругов, и кончая Августейшим Семейством. Все служило предметом легкомысленных или пристрастных толков, необоснованных догадок и просто пикантных салонных выдумок, забавлявших великосветские сферы, но в то же время постепенно отравлявших мозг и душу народа.

А те, кто побывали на фронте, рассказывали, что несмотря на вопиющий недостаток воинского снаряжения, там люди бес-

страшно и стойко творили великое и святое дело с полным самоотвержением и твердым сознанием исполняли свой долг перед родиной.

125

Закончив свои дела в столице и получив из Сената, 7-го февраля, давножданную мною «жалованную Государем Императором грамоту» на внесение Наумовского рода в шестую часть родословных книг Самарского дворянства, я поспешил выехать 11-го февраля к себе в Головкино с тем, чтобы, наладив там все необходимое для усиления мельничного производства, успеть прибыть в Самару к открытию 28-го февраля Губернского Земского Собрания...

По приезде в город, мне пришлось сразу же окунуться в лихорадочную работу – главным образом, по краснокрестным делам. «Семьи своей не вижу» – так значитса моя запись в дневнике. В Самаре я застал чрезвычайно подавленное настроение, вызванное безудержно развивавшейся в городе тифозной эпидемией. Турецкая зараза сделала свое дело: медицинский и лазаретный персонал я нашел наполовину больным сыпным тифом, многих из бывших моих сотрудников я уже не застал в живых.

На собранном у Губернатора специальном совещании о мерах борьбы с распространявшейся эпидемией, я заметил полную растерянность, переутомление и известную долю паники, охватившей самарцев.

Вот при каких условиях пришлось мне открывать юбилейное наше Земское Собрание, задуманное года два тому назад, когда никому в голову не могло придти, в какой необычно тяж-

кой, даже мрачной обстановке придется нам встречать знаменательный день пятидесятилетнего существования Самарских Земских Учреждений.

Несмотря на все, Губернская Земская Управа сделала все возможное, чтобы придать юбилейному нашему собранию характер некоторой парадности и торжественности. При его открытии, были, после благолепного церковного служения, произнесены приветственные речи. Я, в моем вступительном слове, охарактеризовал пятидесятилетнюю деятельность родного Самарского земства, подвел внушительные итоги, которыми Самарское земство, бесспорно, в праве было гордиться. Вечером этого же юбилейного дня, Губернская Управа устроила в новом просторном помещении на Саратовской улице многолюдный раут, с приглашением всех участников Земского Собрания и их сотрудников, в лице земских служащих по найму. Раут этот прошел чрезвычайно оживленно. Раздавались искренне звучавшие речи на земско-общественные темы, произнесен был ряд горячих приветствий по адресу наиболее популярных и авторитетных земцев. Этот вечер дал возможность многим из нас, хотя бы на короткий срок, отойти от повседневной неприглядной обстановки самарской действительности.

После первого дня, всецело посвященного юбилейному чествованию, Губернское Собрание, продолжавшееся до 7-го марта, было занято рассмотрением вопросов, служивших обычным предметом обсуждения на ежегодных очередных сессиях.

Впервые участвовавший на собрании, в качестве Николаевского Уездного Предводителя Дворянства, князь А.А.Щербатов, в своих выступлениях проявил незаурядную темпераментность и придал возникшим одно время на собрании прениям немалую долю страстности. Председатель Губернской Управы К.Н.Иньков, обычно спокойный и уравновешенный, даже завел

вдруг со мною речь о своем выходе со службы. Все это произошло из-за отрицательного отношения князя Щербатова к предложению Самарской Губернской Земской Управы о присоединении Самарского земства к общеземской организации, возглавляемой князем Г.Е.Львовым. В конце концов удалось обе стороны примирить, выработав приемлемую для большинства гласных редакцию об установлении не полной, а лишь некоторой условной связи нашего земства с Львовской организацией.

Мне пришлось опять экстренно выехать в столицу на общедворянский съезд. Поездка эта мне памятна потому, что, проведя в вагоне полторы суток в сообществе живого и милого Щербатова, на московской станции я познакомился с его отцом – известным московским магнатом, председателем Московского сельскохозяйственного Общества, князем Александром Григорьевичем Щербатовым, приехавшим на Николаевский вокзал повидать своего сына.

Во время войны князь, совместно со своей супругой, соорудил на свои средства специальный врачебно-санитарный поезд и был целиком поглощен краснокрестной деятельностью по оказанию помощи больным и раненым воинам. – Я состою у жены министром финансов и интендантом, – с довольной улыбкой пояснил мне князь. Он быстро пересказал целый калейдоскоп своих ярких впечатлений о том, что ему пришлось переживать во время своих беспрестанных поездок в самую глубь боевых фронтов.

Интересовался и подробно расспрашивал меня маститый князь отец про деятельность своего сына в нашей губернии, все время не сводя своих добрых карих глаз с лица молодого Щербатова.

Трогательно было видеть их вместе, таких больших, могучих, красивых, видимо безгранично друг друга любивших и получивших, наконец, возможность встретиться, благодаря счастливому одновременному прибытию в Москву поездов: краснокрестного Щербатовского и нашего самарского...

Но пути Божии неисповедимы! Встреча отца со своим сыном 9-го марта оказалась в их жизни последней...

В Петрограде молодой князь со мной почти ежедневно виделся, но через неделю, в день моего отъезда обратно в Самару, сидя у меня в Европейской гостинице, показался мне определенно больным. Он жаловался на сильнейшую головную боль, у него начинался жар... В Самаре, 5-го апреля, я получаю телеграмму с роковой вестью – о кончине милого моего Николаевского Предводителя князя А.А.Щербатова. Он, по-видимому, выехал со мной в Петербург уже больной брюшным тифом.

Тяжко было мне переносить неожиданную утрату человека редких душевных свойств, которого я успел искренне полюбить и готовил себе в преемники по губернскому предводительству. В моей записной книжке, в день этой скорбной вести, отмечено: «Смерть князя А.А.Щербатова для меня равносильна потере родного и единственного сына, которому должно было бы перейти все накопленное мною наследство».

Через двадцать дней я узнал о кончине его отца – князя Александра Григорьевича Щербатова!.. На протяжении менее чем одного месяца от нас отошли в иной лучший мир отец и сын Щербатовы, являвшиеся по всему своему высокому душевному складу «лучшими из равных», теми подлинными аристократами, память о которых должна бережно храниться.

Той же весной 1915 года, отошли в мир иной и другие лица, с которыми у меня связаны были наилучшие воспоминания, не

только по совместной нашей службе, но и по близким дружеским, частью родственным отношениям.

Еще в сравнительно молодых годах, неожиданно для всех его знавших, 30-го марта скончался граф Сергей Сергеевич Татищев, служивший одно время Саратовским Губернатором и затем занимавший пост Начальника Главного Управления по делам печати.

18-го апреля скончался мой предшественник – бывший Самарский Губернский Предводитель Дворянства А.А.Чемодуров, а приблизительно через неделю после его смерти, до меня дошла скорбная весть о кончине в Петрограде от аппендицита Симбирского Губернского Предводителя Дворянства – Владимира Николаевича Поливанова, женатого на моей троюродной сестре Марии Николаевне Языковой. Владимир Николаевич был крупным землевладельцем Симбирской губернии. Обстоятельный и серьезный хозяин, он обычно проживал в своем излюбленном имении «Акшут» Корсунского уезда Симбирской губернии. Вокруг своей усадьбы он развел на 500 десятин хвойного леса, за что неоднократно удостоивался получать высшие премии. Любитель ботаники, ценитель всякого рода художественных произведений, и основательный знаток археологии, Владимир Николаевич превратил свою Акшутскую усадьбу в редкое по красоте место. В одном из живописнейших уголков тенистого парка, раскинувшегося на 33 десятинах, среди вековых деревьев, на краю чудесной изумрудной лужайки, виднелся в древнегреческом стиле выстроенный павильон, служивший местом хранения всевозможных музейных редкостей, находимых Поливановым при раскопках окрестных древних курганов и заброшенных приволжских селений.

Акшутское имение впервые мне пришлось увидеть и им восхищаться 24-го июня 1915 года, когда, по приглашению осиротевшей семьи Поливановых, я приехал в Акшут, чтобы совместно с нею, почтить, в день его рождения, память усопшего хозяина.

Я был поражен и очарован всем, что видел, и бесконечно тронут приветливостью со стороны радушных хозяев. Когда, согласно существовавшему в Акшутской усадьбе обычаю, предложили написать несколько слов на память в хозяйский альбом, я начертал такие строки: «Акшут – редкое поместье, где можно встретить все то лучшее, что дают природа и люди, как сами по себе, так и в их гармоничном взаимодействии... Спасибо за приют, красоту и ласку»...

Набрасывая эти слова, я был далек от мысли, что в том же Акшуте мне придется, почти год спустя, прожить несколько дней в качестве тестя молодого хозяина, старшего сына Владимира Николаевича – Николая.

Случилось это следующим образом. У родителей Поливановых было трое детей – два сына и дочь Людмила. Старший, Николай, воспитывался в Императорском Училище Правоведения. По окончании курса, он был причислен к Государственной Канцелярии, а после смерти отца стал заниматься всеми наследственными делами. Красивый, стройный, Николай Поливанов превосходно владел пером, проявляя несомненные музыкальные способности; вообще обладал Языковской одаренностью. В конце мая 1915 года он совершенно неожиданно появился в Головкине, куда мы успели всей семьей переехать из Самары. Он пробыл в моей семье дня два, один ушел на осмотр его имения «Грязнухи», расположенного от нас в 12 верстах. Остальное время он с моими семейными катался, гулял, играл в теннис. Вечером молодежь образовывала свою доморощенную

капеллу, дирижером ее состоял наш гость. Он наигрывал на ро-
яле и распевал, совместно с тремя нашими дочками, русские
песни.

Старшей, Марии, было в то время 16 лет. Стройная, хоро-
шенькая, с большой русою косой и очаровательным румяным
лицом доброй русской девушки, Маничка, видимо, сразу же
пришлась по душе тоже обаятельному молодому соседу. С этого
начался хороший, чистый и радостный роман молодых людей,
встречи которых проходили в простой, но жизнерадостной и
здоровой обстановке деревенского помещичьего житья-бытья.

Несмотря на события военного времени, в Головкине
нашим деткам жилось сравнительно весело и беззаботно. Гос-
тили родные, наезжали соседи, а рядом с нами жили тоже мно-
голюдные семьи двоюродных братьев Наумовых. Часто собира-
лось оживленное общество, к услугам которого в Головкине
было не мало всевозможных развлечений: прогулки, пикники,
катанья на яхте «Сирена» по широкому волжскому простору;
давались концерты, любительские спектакли. Обычно, зрелища
эти устраивались в саду, в излюбленном месте, где сходились
две тенистые аллеи из старых акаций, представлявших собою
ряд глухих туннелей.

Николай Поливанов, с первого же своего посещения, был
очарован нашим головкинским привольем и семейным бытом.
В начале июля он прибыл в Головкино, вместе со своей матерью.
В этот раз визит его имел серьезные последствия...

После двух дней их пребывания, заполненных деревен-
скими развлечениями и визитами по соседям, 4-го июля,
М.Н.Поливанова изъявила желание со мною с глазу на глаз пе-
реговорить. Мы прошли с ней в кабинет. Моя кузина сразу же
заговорила о своем сыне и нашей Манюше. По ее словам, ее Ни-

колай от всей души полюбил нашу старшую дочь и заявил матери о своем намерении сделать ей предложение. В результате нашей интимной родительской беседы, оба мы перекрестились и решили благословить наших детей на будущую их брачную жизнь.

Вечером Коля с Маней вышли в сад. За ними вслед пошли мы втроем: жена, Маня Поливанова и я. Стояла дивная июльская лунная ночь. Пройдя липовую аллею, мы вышли на простор обширной теннисной площадки, залитой ярким светом полной луны. Остановившись около разросшегося на краю площадки большого сиреневого куста, посаженного моей матерью в год нашей свадьбы, мы увидали приближавшихся к нам молодых людей. Подойдя к нам, они опустились на колени и просили их благословить. Исполнив их просьбу, мы все друг с другом обнялись. Милый наш взрослый ребенок, наивная и взволнованная шестнадцатилетняя Маничка, приникнув ко мне, тихо прошептала: – Как же папочка?! Ведь ты не хотел меня раньше двадцати лет замуж отдавать?! – На это я смог ей лишь также таинственно шепнуть: – Такой жених нашелся, что пришлось раньше согласиться!..

Радостные и веселые вернулись мы все из сада в дом и прошли прямо на половину бабушки – моей матери, которой поспешили поведать о совершившемся великом семейном событии.

На другой день состоялось официальное объявление о помолвке. Торжественно был отслужен молебен, после чего о. Александр благословил нареченных старинной нашей семейной иконой. Это было настоящее всеобщее торжество. Старых и юных, хозяев и гостей, господ и служащих – всех охватило радостно возбужденное настроение при виде молодого счастья,

сиявшего на милых родных лицах обаятельных обрученных Николая и Марии.

После парадного обеда с аршинными стерлядями и традиционным шампанским, все тронулись в путь – сначала на разукрашенных ленточками нарядных тройках до Княгиньки, а с «плота» и до Симбирска на дивной нашей яхточке «Сирене», тоже разрядившейся в цветочные гирлянды и флажки. По пути мы остановились около волжского нагорного берега в том его месте, где виднелся Соловецкий монастырь, расположенный в живописнейшей лесистой местности. Помолившись, мы тронулись в дальнейшее плавание, завершившееся приездом на Симбирскую пристань и пересадкой с «Сирены» на большой волжский пароход «Боярыня», на котором мы на следующее утро прибыли с нареченной нашей молодой парочкой в Самару.

Через год в Головкине состоялась их свадьба, с которой связаны у всех нас, чудом уцелевших от последующих революционных погромов, лишь самые светлые и дорогие воспоминания.

Упомяну еще об одном случившемся той же весной 1915 года событии, но уже далеко не радостного свойства, заставившем нас с женой перенести много тревоги. 29-го марта заболел наш старший сын Александр страшной, роковой для нашей семьи, болезнью – скарлатиной, которая раньше изуродовала нашу бедную Пашеньку. Пришлось Александра поспешно отделить от остальных детей. Мы его поместили в нововыстроенную детскую больницу, но вскоре же после его отправки заболел младший, Николай, а затем и дочь Ольга. К великому нашему счастью, болезнь их оказалась обычной простудой, а Александр стал постепенно выздоравливать, без каких-либо скарлатинозных осложнений, и быстро окреп.

Наряду с заботами о своей многочисленной семье, в первую половину описываемого 1915 года, пришлось мне хлопотать по устройству дел детей моего покойного брата Николая, которые, после кончины 1-го декабря 1914 года их матери, остались круглыми сиротами.

Мне пришлось взять опеку на себя, но фактически они были на попечении сердечного и заботливого воспитателя Фуки. Мальчики – Сергей и Николай в материальном отношении были мною достаточно обеспечены, так что они могли безбедно существовать и проходить учебный курс в Бердянском реальном училище. Я собирался из Бердянска их перевести поближе к себе и поместить в Симбирский кадетский корпус. Но неожиданные мои назначения в конце лета 1915 года, на исключительно ответственные должности, вынудили почти на целый год – с августа 15-го года по конец июля 16-го года – отойти от личных и семейных дел.

Затем наступила тяжелая полоса моей жизни, когда пришлось неотступно присутствовать при тяжелой болезни моей бедной матери, скончавшейся 11-го января 1917 года. Февральская революция смешала все наши деловые и сметные предположения, а большевистский переворот их все начисто смел... Одно время след обоих мальчиков был совершенно потерян; но раз, в Крыму, неожиданно явился ко мне привлекательного вида худенький молодой брюнет в форме, Деникинского добровольца, с солдатским Георгием на груди. Оказалось, что это мой старший племянник Сергей.

Несмотря на массу всяческих дел, сосредоточенных главным образом в Самаре, раннею весной я все же смог уделить достаточно времени, чтобы присутствовать в Головкине при приемке уполномоченными от Симбирского земства заготовленной на моей мельнице для военного ведомства муки. Не без горделивого чувства любовался я на спешную погрузку моего мучного товара на две огромные баржи, и с радостным сознанием достигнутого мною успеха в мельничном деле, смотрел я со своего любимого головкинского балкона, как мощный буксир отводил до верху нагруженные баржи по речному «Уренскому» руслу на широкий простор волжского разлива.

К сожалению, пребывание в родном моем имении где, наряду с хозяйственными заботами, я всегда находил время наслаждаться всеми охотничьими чарами головкинского приюта, часто прерывалось внезапным вызовом меня иногда в столицу, а чаще в Самару, по делам сословного характера, но преимущественно в связи с деятельностью Краснокрестных организаций Объединенного Комитета.

В наших дворянских делах в то время приходилось, главное, заниматься устройством сословной кассы взаимопомощи и разрешением т.н. «предводительского вопроса», значительно осложнившегося после безвременной кончины князя А.А.Щербатова.

Что же касается деятельности Объединенного Комитета, то с наступлением весеннего тепла острота «окопной» солдатской нужды в теплой одежде отпала, собирали больше на табак и белье.

Лазаретная жизнь стала тоже входить в некоторую норму, благодаря прекращению Кавказской эвакуации. Оставалась

насушная нужда в локализации тифозных заболеваний в губернии, но это дело, в силу распоряжений принца Ольденбургского, было сосредоточено в руках губернаторов.

К лету 1915 года я уже предвкушал для себя некоторую свободу и намеревался ею воспользоваться, чтобы, отчасти ради своих хозяйственных дел, а больше – для собственного отдыха, засесть на продолжительное время в своем Головкине. Вдруг, 31-го мая, получаю из Петрограда телеграмму, за подписью Председателя Главного Управления Российского Общества Красного Креста гофмейстера Ильина, извещавшего, что, с соизволения Государыни Императрицы, Марии Феодоровны, на меня возлагается формирование в Самаре военных санитаров и военно-санитарных обозов для всех боевых фронтов.

Пришлось бросить всякую мысль хотя бы о временном отдыхе и срочно выехать в Самару, куда вскоре из Петрограда прибыл специально командированный ко мне Начальник мобилизационного отдела Главного Управления Красного Креста Александр Александрович Леман. От него я узнал, что в Главном Управлении Красного Креста возник вопрос о необходимости перенести образование санитарных резервов из столицы в более удобный пункт. Остановились на Самаре, как на большом узлом железнодорожном и водном центре, где было изобилие продовольственных и фуражных продуктов, а также материала, нужного для оборудования обозного транспорта.

На том же заседании, по предложению председателя А.А.Ильина, было единогласно постановлено уполномочить для этого дела меня. Соответственный доклад был представлен Председательнице Российского Общества Красного Креста Государыне Императрице Марии Феодоровне. Ее Величество соизволила его утвердить и в результате мною была получена вышеупомянутая телеграмма.

Приходилось приниматься за совершенно новое и немалое дело, требовавшее не только знания местных условий, но и, главным образом, быстрой распорядительности.

На мой естественный вопрос, имелись ли в распоряжении Лемана какие-либо инструкции, которыми я мог бы руководствоваться, оказалось, что Главное Управление в этом отношении решительно ничего не сделало. Все было предоставлено на наше с Леманом усмотрение. Мы с ним тотчас же принялись за составление плана работы. За два дня пребывания Александра Александровича в Самаре не мало труда пришлось положить на изготовление основных правил формирования, обучения и содержания военно-медицинских резервов, а также на подыскание достойных и расторопных помощников. Надо было также точно определить взаимоотношения мои и моих гражданских сотрудников со всеми военными властями, от которых зависел отпуск в мое распоряжение воинских чинов для заполнения резервов. Это зависело, главным образом, от воинских начальников, которым и были разосланы особые циркуляры, от имени Главного Управления Красного Креста.

Я поспешил подобрать себе штат необходимых сотрудников. Мне посчастливилось, с согласия Протасьева, получить в свое распоряжение непременно члена Губернского по Воинским делам Присутствия Ивана Александровича Сереброва – человека исключительной работоспособности, энергии и хозяйственной смекалки. Благодаря ему и указанным им помощникам, мне удалось быстро и хорошо наладить дело с наймом и устройством в городе помещений для людей и лошадей, и получать из Бузулукского уезда все необходимое для оборудования обозов, как то: конскую упряжь, повозки, носилки и пр. Входя с Серебровым во все хозяйственные мелочи, я мог быть спокоен

за то, что мною потом отправлялось для нужд Военного Ведомства.

Приемкой и обучением людей заведывал приглашенный мною молодой и энергичный врач Иванов, а по лошадиной части у меня состоял на службе давний мой знакомый ветеринар, честный и преданный мне работник, Николай Владимирович Стржлковский, занимавший должность помощника Заведывающего Ветеринарным Отделом в Самарской Губернской Земской Управе. На должность Начальника формируемого мною военно-санитарного резерва поступил ко мне боевой офицер, вынужденный из-за ранения временно покинуть фронт, – полковник горной артиллерии Георгий Михайлович Фишер, оказавшийся разумным командиром и незаменимым руководителем в деле обучения призванного в резервы воинского состава.

Теоретические занятия будущих военных санитаров велись у них в казарме, а практические происходили невдалеке от города, на берегу Волги, где санитаров учили, как подбирать раненых на поле битвы, перевязывать их, укладывать на носилки, переносить на руках и т. п. Там же были выстроены конюшни на 500 лошадей, их тоже дрессировали для предстоявшей им боевой службы. В общем, обучаемых было от 600 до 1000 человек. Проживали они в заарендованных мною у города и частных лиц помещениях, приспособленных к казарменному обиходу.

Все местные учреждения, власти и вообще самарцы, понимая трудность возложенных на меня заданий и сознавая серьезность их боевого значения, все, по мере сил, содействовали моей новой, исключительной важности, работе. Благодаря этому, дело сразу же пошло настолько успешно, что 8-го июля, в день празднования Казанской Божьей Матери, – мне удалось устроить торжественные маневры первых сформированных и обученных на Самарском пункте военно-санитарных отрядов.

Стояла превосходная погода. Собралась вокруг площади многотысячная толпа городских обывателей, а в центре ее, окруженное выстроенными в каре военными санитарями, одетыми в новенькую форму, с краснокрестной повязкой на рукаве, находилось резервное начальство и приглашенные местные высшие военные и гражданские чины. После торжественного молебствия перед пожертвованной мною иконой Казанской Божьей Матери, раздалась команда, и вся наличная масса воинских чинов резерва приготовилась к маневрам, разделившись на «раненых» и «санитаров». В одно мгновение все обширное пространство площади покрылось якобы жертвами сражения. По данному сигналу, со всех сторон появились санитары с носилками; застучали повозки, запряженные крепкими самарскими и оренбургскими степняками. Все пришло в движение, и присутствовавшие могли наглядно убедиться в полной готовности самарского резерва к отправке его на действительные поля битв. После окончания маневров, когда молодцеватые военные санитары, по трубному сигналу, вновь выстроились в центральный четырехугольник, зрители, сплошной стеной окружавшие площадь, не выдержали и стали выражать свой шумный восторг.

Став в ряды отправляемых на фронт санитаров, я обратился к ним с напутственным словом и благословил их чествуемой 8-го июля иконой. Раздалось воодушевленное «ура», оркестр заиграл народный гимн, поддержанный многотысячными голосами собравшихся на торжество самарцев. На другой день наш резерв отправился в далекий путь на боевое крещение.

Впоследствии я имел счастье лично выслушать слова благодарности от Государыни Императрицы Марии Феодоровны за организованное мною в Самаре дело. Как выражение своей

признательности, Вдовствующая Императрица наградила меня знаком отличия Красного Креста первой степени.

Начиная с 8-го июля 1915 года, через Самарский резервный пункт стал проходить непрерывный ряд теоретически и практически обученных военно-санитарных отрядов и полностью оборудованных обозов. Были случаи, когда ко мне обращались для формирования подобных отрядов некоторые частные жертвователи, – так, например, мне пришлось направить на фронт военно-санитарный транспорт имени артистки Долиной, оборудованный целиком на ее счет.

Был момент, когда Председатель Главного Управления Красного Креста А.А.Ильин возымел намерение коренным образом нарушить весь строй моей жизни и убеждал принять должность Главноуполномоченного Красного Креста на Северо-Западном фронте, но я категорически отказался, не имея возможности оборвать всю свою многостороннюю деятельность, требовавшую постоянного моего руководства, и хотя протекавшую в глубоком тылу, но тесно соприкасающуюся с нуждами военного времени.

127

В самую горячую пору моих организационных работ по формированию военно-санитарных отрядов, пришлось нам расстаться с почтенным и симпатичным Губернатором Н.В.Протасьевым, переведенным, помимо его желания, Министром Маклаковым, на ту же должность в Харьковскую губернию, где Николаю Васильевичу вскоре суждено было погибнуть от тифа. В Самаре Протасьев всю зиму 1914-1915 г.г. чуть ли не ежедневно подвергался риску заразиться заносимой с Кавказа

тифозной эпидемией, от которой вокруг него гибло не мало самарцев. Он уцелел, чтобы через год, в Харькове, где никакой эпидемии не существовало, оказаться жертвой именно этой жестокой болезни.

Безвременно скончавшийся Протасьев оставил среди всех лиц, близко его знавших, наилучшую по себе память. Таких сердечных и отзывчивых людей приходится редко встречать. Когда он, 20-го июля, покинул Самару, местное общество, и, в частности, наше дворянство, устроило ему скромные, но искренне душевные проводы.

В Самаре временно, в качестве исполнявшего обязанности Начальника Губернии, заменил Протасьева князь Сергей Васильевич Горчаков. Ему сразу пришлось столкнуться с оппозиционно настроенными элементами местного общества. Среди них отличался своей непримиримостью и резкостью Управляющий отделением Азовско-Донского Банка, князь Кугушев (брат Уфимского Губернского Предводителя Дворянства).

В Петрограде произошла тогда смена некоторых министров, и в их составе появилось двое моих добрых друзей и бывших коллег: на пост Обер-Прокурора св. Синода был назначен Московский Губернский Предводитель Дворянства А.Д.Самарин, а Министра Внутренних Дел Маклакова заменил бывший Полтавский Предводитель, князь Николай Борисович Щербатов.

В столкновении князя Горчакова с князем Кугушевым, князь Николай Борисович имел неосторожность проявить досадную опрометчивость, из-за которой произошли некоторые неприятные служебные осложнения. Кугушев, оставшись недоволен некоторыми распоряжениями князя Горчакова, послал Министру Внутренних Дел телеграмму, в которой изложил жалобу на якобы незаконные действия Губернатора, представив

все дело в совершенно неправильном свете. Министр, не снесясь предварительно с Губернатором и не потребовав от него объяснения, прислал ему по телеграфу строгий выговор, потребовав отмены сделанных им распоряжений, которые на совершенно законном основании были применены князем Горчаковым к князю Кугушеву, устраивавшему у себя в Самаре недозволенные в то время публичные собрания нелегализированных политических партий.

Возмущенный подобным образом действий своего непосредственного начальника, стойкий и по натуре благородный князь Горчаков, несмотря на крайне стесненные материальные обстоятельства, решил подать в отставку. Предварительно пожелал переговорить со мною. Я в это время был в Петрограде.

Узнав от него все подробности дела, я поспешил повидать Щербатова и ознакомить его с действительным положением вещей. Горячий, но отходчивый князь Николай Борисович был смущен и признался в допущенной им ошибке, сославшись на невероятную сутолоку его новой служебной обстановки. Узнав, что князь Горчаков сейчас находится в столице, Щербатов просил его немедленно к нему приехать. В тот же день князь Сергей Васильевич был принят Министром и чрезвычайно им обласкан. Все распоряжения его, как исполняющего обязанности Самарского Губернатора, были восстановлены, а жалоба Кугушева оставлена без последствий. Горчаков больше об отставке не говорил и вернулся успокоенный в Самару, где уже ходили упорные слухи о назначении к нам Губернатором барона Гревеница.

Надо сказать, что с самого начала войны с Германией, среди всех слоев приволжского населения – все «немецкое» вызвало не только враждебные чувства, но и действия. На всех общественных собраниях раздавались голоса о необходимости

беспощадной борьбы с «немецким засильем», которым по общему предположению были отмечены местности, заселенные немецкими колонистами. Более пылкие люди, в роде Бузулукского Председателя Земской Управы Евграфа Андреевича Жданова, даже предлагали такие решительные меры, как скупить все «немецкие» земли и выслать колонистов за пределы государства. Некоторые дворяне, как например Баумгартен, отказывались от своих немецких фамилий и просили разрешения присвоить себе иную «чисто русскую». Таковы были настроения среди самарского общества, когда до него докатился слух о назначении барона Гревеница в Самару Губернатором.

Приехав из столицы, я был завален поступавшими ко мне со всех сторон ходатайствами всяческих совещаний, собраний и съездов, требовавших от меня принятия самых срочных и энергичных мер к недопущению в Самарскую губернию Начальника, носящего немецкую фамилию. Единодушие и настойчивость, проявленные, в этом деле со стороны всего самарского населения, казались столь внушительными, что мне волей-неволей пришлось написать откровенное письмо Министру князю Щербатову, в котором я дружески просил его принять во внимание самарские настроения. В ответ я получил от него по телеграфу лаконическую фразу: «Не беспокойтесь», которая сделалась тотчас же общим достоянием и внесла значительное успокоение. А в Самару Начальником губернии был назначен бездарный и безличный, но с чисто русской фамилией, С.Д.Евреинов, вскоре же замененный умным и дельным протеже А.Д.Самарина – Станкевичем.

К 19-му июля – дню годовщины Великой Европейской войны, мне пришлось поехать в Петроград для участия в заседаниях открывавшейся сессии Государственного Совета.

В тот же день, утром, начались также занятия в Государственной Думе, в присутствии многочисленной публики и всего наличного состава Совета Министров, среди которых, к немалому удовольствию, я увидел своих добрых друзей – князя Николая Борисовича Щербатова и Александра Дмитриевича Самарина. Последний во время своей службы на посту Обер-Прокурора св. Синода, продолжавшейся всего 2 месяца и 20 дней, проживал в Европейской гостинице, где я постоянно останавливался. Мы с ним чуть ли не ежедневно встречались, и я был в курсе его нелегкой служебной жизни, осложненной вмешательством закулисной Распутинской клики в дела Церкви.

Заседание Верхней Палаты было открыто вечером упомянутого дня, под председательством Статс-секретаря Анатолия Николаевича Куломзина, заменившего собой скончавшегося М.Г.Акимова.

Он пользовался репутацией умного человека, усидчивого работника и знатока Азиатской России. По своему характеру и политическим убеждениям, Куломзин значительно отличался от своего предшественника, проявлял в обхождении с людьми большую сдержанность и мягкость, а в исповедывании своих монархических принципов – явную тенденцию к упрочению в стране конституционализма. Но, к сожалению, в качестве Председателя Государственного Совета А.Н.Куломзин оставлял желать много лучшего, допуская при ведении заседаний некоторую беспорядочность, не следя строго за сущностью происхо-

дивших прений, принимавших поэтому нередко крайне расплывчатый характер, и не умея с достаточной ясностью формулировать свои заключительные резюме и предложения. В этом отношении приходилось невольно вспоминать былую технику председательствования М.Г.Акимова, может быть, более резкую и строгую, но для сути дела – несомненно более ясную и производительную.

Открытие сессии обеих законодательных Палат совпало с чрезвычайно угнетенным настроением их членов, находившихся под свежим впечатлением громадных военных потерь, общей растерянности и слабости наверху. Страх за будущее мелькал у всех в голове и высказывался при разговорах. По городу упорно распространялись панические слухи о падении через два-три месяца Петрограда и готовившемся дворцовом перевороте. Говорили о замене царствовавшего Государя Николая Александровича Великим Князем Николаем Николаевичем, называли его племянника Романа Петровича его преемником. Занятия Государственного Совета проходили вяло. Интерес к текущей деловой работе был заслонен иными помыслами, сводившимися к одному основному всеобщему побуждению – так или иначе предотвратить надвигавшуюся катастрофу поражения Российского могущества.

Среди самих членов Государственного Совета замечалась повышенная нервность, дававшая о себе знать даже в делах внутреннего распорядка. Правую группу Верхней Палаты стал возглавлять «обаятельный» по обращению, но в серьезных деловых кругах мало авторитетный – граф Алексей Александрович Бобринский, вскоре перешедший к Штюрмеру, как его товарищ по Министерству Внутренних Дел. В самой правой группе чувствовался заметный разлад, побуждавший некото-

рых из ее членов думать об образовании новой самостоятельной консервативной группы. Что же касается меня, то в 1915 году я окончательно примкнул к группе «правого центра», продолжавшего работать под председательством того же спокойно делового Алексея Борисовича Нейдгардта, во время войны ставшего во главе «Татьянинского» военно-благотворительного Комитета (имени Великой Княжны Татьяны Николаевны).

Одним из главных предметов обсуждения законодательных Палат в описываемое время служил правительственный законопроект о введении подоходного налога. Вопрос этот, отличавшийся необычайной сложностью, проходил ряд предварительных комиссионных инстанций, и самый проект подвергался беспрестанным видоизменениям.

Надо сказать, что к этому времени и в области финансово-экономической жизни нашего государства стали проявляться чрезвычайно тревожные признаки. 3-го августа, на заседании Финансовой Комиссии, я был свидетелем беспощадной критики со стороны графа В.Н.Коковцова не только заслушанных нами объяснений Министра Финансов П.Л.Барка. В конце концов, эта критика свелась к ошеломившему всех нас выводу. – Россия, – сказал разгоряченный и раскрасневшийся Коковцов, – находится накануне экономического краха!..

Комиссия в своих окончательных постановлениях оказалась вынужденной наметить ряд экстренных мер, как то: 1) реализации внутренних займов, 2) заключения внешних, 3) выпуска кредиток и пр.

На другой день, 4-го августа, в стенах Мариинского Дворца состоялось закрытое заседание Государственного Совета, на котором были заслушаны объяснения Военного Министра А.А.Полливанова и Министра Иностранных дел С.Д.Сазонова. Тот и

другой своими докладами произвели на слушателей самое безотрадное и удручающее впечатление. В особенности тяжелую картину состояния фронтов обрисовал Военный Министр, отметивший полное отсутствие в нашей армии винтовок, снарядов и даже обученных солдат, в то время, как у немцев во всем этом, по его словам, был избыток. – Людей у нас имеется даже излишек, но обучать их нечем, – весь подергиваясь, закончил свои объяснения Поливанов: – Воинского снабжения возможно ожидать не ранее поздней осени, а пока, войну приходится вести путем разумных отступлений и оборонительных действий... Нас, впрочем, может еще спасти осенняя грязь да зимний снег!..

Сазонов знакомил членов Государственного Совета с положением дел на Балканах, где, по его словам, никакого согласия между Сербией и Болгарией, так же, как и с Грецией, ожидать нельзя.

Всюду, и с кем бы ни случалось говорить, слышалось одно и то же: нарекания на непорядки в Ставке и на фронтах, недовольство слабостью и даже полным бездействием Верховного Управления.

Военный Министр Поливанов, на мой совет обратить внимание на отсутствие надлежащего надзора за деятельностью Самарских военных заводов, где несомненно преобладал немецкий элемент среди служащих, и за состоянием таких важных транспортных пунктов, каковым являлся Сызранский Волжский мост, – откровенно заявил, что для упорядочения надзора требуется немалое количество лиц энергичных и преданных... меж тем в Военном Ведомстве – живых таких чинов у нас нет – промолвил с горечью в голосе Министр – мертвых же, сколько угодно! Вот почему на местах сидят все больше «шляпы».

Известный знаток военного дела генерал Федор Федорович Палицын, состоявший до 1908 года Начальником Генерального Штаба, всегда самым отрицательным образом отзывался о предшественнике Поливанова – В.А.Сухомлинове, считая его легкомысленным человеком. Тот же Палицын давал чрезвычайно пессимистическую характеристику всему высшему окружению Государя. По этому поводу он говорил: – Слишком много среди нас равнодушия, которого не должно быть в государственных людях...

Другой генерал, бывший Московский Губернатор, Владимир Федорович Джунковский, состоявший в то время Товарищем Министра Внутренних Дел князя Щербатова, 30-го июля, в разговоре со мною выразился так: – Мы катимся по наклонной плоскости! Наступило время сплошных уступок... Нет твердой власти! В Государственной Думе все признаки зарождающегося народовластия. Когда и кто ее распустит – никто не знает!

В том же духе, в разных выражениях, слышалось от всех, с кем приходилось сталкиваться в столице.

Тогда же состоялось заседание Совета Объединенного Дворянства под председательством А.П.Струкова, специально посвященное обсуждению всех обстоятельств, порождавших политическое неблагополучие страны. Один из его участников, А.И.Мосолов, возбудил вопрос о необходимости выразить со стороны дворянства протест против установившегося в государстве безвластия и распущенности.

Некоторыми членами Собрания было предложено уполномочить А.П.Струкова составить официальное письмо на имя Председателя Совета Министров, в котором должен быть выражен энергичный протест против нетерпимого образа действий правительства и вместе с тем указаны меры к достижению в государстве политического покоя и твердого порядка.

Предложение это, однако, не встретило общего сочувствия. Голоса разделились. К числу лиц, не советовавших вставать на путь официального сношения с Советом Министров принадлежали В.И.Карпов и я. Тем не менее, после означенного заседания, А.П.Струков, не имея полномочий ни от Совета, ни тем более от Съезда Объединенного Дворянства, письмо в упомянутом выше смысле Председателю Совета Министров все-таки послал. Какими-то судьбами содержание его стало известно редакции «Биржевых Ведомостей» и было оглашено в вечернем издании. Весь Петроград заговорил о недопустимом вторжении дворянского сословия в область высшего управления. Дело приняло чрезвычайно неприятный оборот, не столько для самого автора этого письма (его на последующем Съезде Всероссийского Дворянства забаллотировали в Председатели Совета), сколько для всей сословной объединенной организации, неповинно скомпрометированной в глазах серьезных кругов столичного населения.

Наряду с недовольством внутренней политикой, среди членов Законодательных Палат раздавались выражения ожесточенного возмущения по поводу происходивших вопиющих беспорядков в Ставке Главнокомандующего и в штабах командующих фронтами. Об этом с достаточной убедительностью говорят изданные тогдашним помощником управляющего делами Совета Министров Аркадием Николаевичем Яхонтовым, записанные им журнальные протоколы заседаний Совета Министров, происходивших в августе 1915 года, на которых обсуждалось беспорядочное и неумелое ведение дел в Ставке Великого Князя Николая Николаевича Начальником его Штаба генералом Янушкевичем, которое грозило неминуемой катастрофой для общего хода военных действий.

Что же касается фронтовых штабов, то по поводу одного из них у меня сохранились записи, занесенные в мой дневник со слов моего коллеги по предводительству и Государственному Совету, князя Николая Петровича Урусова, работавшего в Краснокрестных организациях на юго-западном фронте. Он сообщил мне ужасающие сведения о положении вещей в оставленных нами Галиции, Польше и Волыни. По его словам, в штабе командующего юго-западным фронтом генерала Н.И.Иванова, в гор. Бердичеве все впали в непреодолимую панику и царила страшная растерянность; в результате вредного для дела многоначалия, давались несогласованные распоряжения.

– Войско разгромлено – остались одни прапорщики... Лучше было бы сразу Варшаву сдать и этим сохранить надежный состав армии, – с горечью говорил князь Урусов.

Как следствие поражений, среди воинских чинов стал замечаться общий упадок боевой бодрости, появились признаки явного отчаяния, и, наряду с этим зарождалась моральная распушенность, сказывавшаяся, между прочим, в отношениях к флиртующим сестрам милосердия.

– Галичане, – продолжал князь Николай Петрович, – стали теперь нашими врагами. Перед уходом из Галиции русские войска ее выжгли, затоптали, разграбили, народ с собой угнали, избивали даже их войтов... Галичане озлоблены до крайности. В России они содержатся в невозможных условиях. Многие из них положительно брошены на произвол судьбы...

В таком же духе передавал мне свои впечатления о покинутой русскими войсками Курляндской губернии граф Рейтерн и многие другие из моих коллег и друзей, оказавшихся очевидцами тяжелых сцен поспешной эвакуации западных и пограничных областей России, после падения Варшавы, Ковно, Бреста и Гродно.

Наиболее пессимистическую оценку переживаемого страшной момента я слышал от члена Государственного Совета генерала Петрова, назначенного в конце июля Председателем Верховной Следственной Комиссии. – Мы живем на вулкане... – вот что нередко вырывалось из уст далеко не экспансивного, в высшей степени сдержанного, седобородого старика.

Так же мрачно смотрел на российскую действительность мой сожитель по гостинице А.Д.Самарин. Однажды, в августе месяце, он пришел ко мне в номер, молча уселся в кресло, посмотрел на меня полузакрытыми скорбными глазами, и глухим, мрачным голосом промолвил:

– Плохо!.. Безнадежно!.. Кругом страшные интриги и полная разруха... Остается только молиться, чтобы Господь спас Россию!..

Тогда же пришлось мне услышать от одного из видных и популярных депутатов – Сергея Тимофеевича Варун-Секрет, избранного старшим товарищем председателя Государственной Думы, высказанные им многозначительные слова, являвшиеся выражением не его только единоличного мнения, а отголоском настроения значительной части Думы:

Ковно не подействовало – Горемыкин остался. Падет Двинск – будет премьером А.И.Гучков... Настало теперь время говорить с правительством иначе. Таким типам отживающей России, каким является Горемыкин, больше не должно быть места!.. Революция близится – надо создать власть.. Дума не разойдется!..

Приблизительно в то же время, очевидно, в целях, на которые намекал Варун-Секрет, стали собираться частные совещания, состоявшие из членов обеих законодательных Палат и положившие основание образованию группы объединившихся

между собой членов Государственной Думы и Государственного Совета, под наименованием «прогрессивного блока».

Параллельно с ростом среди законодательных и общественных столичных кругов недовольства всем, что происходило на фронте и в верхах тылового управления, – в самих войсковых частях и в рабочих массах все сильнее и ярче начали проявляться грозные признаки ожесточенного гнева на «начальство» за неумелые распоряжения, причинявшие огромные потери в людях и в территории. До нас стали доходить недобрые слухи об усиленном распространении в солдатской среде социально-аграрной пропаганды, способствовавшей еще большему ослаблению войскового духа. Что же касается до настроений столичных заводских рабочих то по этому поводу состоявший в то время петроградским Вице-Губернатором, бывший Самарский Уездный Предводитель Дворянства, граф А.Н.Толстой, передавал мне факты тоже малоутешительные. Среди рабочего люда стало явственно проявляться настроение ярко оппозиционное. При выборах представителей от рабочего класса в военно-промышленный комитет, открыто раздавались общие возгласы: «Долой войну! Долой самодержавие!»

Единственный человек, которого я встретил в описываемое время, как бы равнодушно спокойно относившийся ко всем невзгодам государственной жизни, был престарелый Иван Логгинович Горемыкин, продолжавший сохранять благодушный облик и любивший, в ответ на мрачные суждения, повторять все те же успокоительные слова: – Все это пустяки!..

Подобное отношение являлось несомненным исключением на общем фоне скорби, гнетущего страха и острого недовольства, грозившего перейти в открытый всенародный гнев. Страшные поражения русского бывшего доблестного оружия тре-

бовали возмездия. Вопиющий недостаток воинского снаряжения; беспорядочность транспорта, в связи с продовольственными затруднениями; утратившее свой авторитет штабное управление Верховного Главнокомандующего; недобрые слухи о бывшем Военном Министре Сухомлинове, замешанном в громком шпионажном деле полковника Мясоедова, и вообще вся, создавшаяся к августу месяцу тревожная обстановка властно указывала на необходимость срочно найти выход из катастрофического положения и принять самые энергичные меры к успокоению народного недовольства и к упорядочению общего хода дел, в особенности сопряженных с обстоятельствами военно-боевого времени.

В половине июля 1915 года, на одном из заседаний Государственной Думы, а затем и Государственного Совета, Военный Министр Поливанов выступил с сенсационным заявлением о том, что, с соизволения Государя Императора, образуется Особая Верховная Следственная Комиссия, в целях выяснения причин несвоевременного и недостаточного воинского снаряжения действующих армий. Заявление это вызвало единодушную поддержку обеих Законодательных Палат и произвело на их членов, так же, как и на всю страну, глубокое и самое благотворное впечатление.. Был найден и своевременно открыт клапан для выхода накопившего народного гнева. Высочайший указ об образовании означенной Комиссии явился актом высокой государственной мудрости, сыгравшим значительную роль в деле умиротворения общественных настроений и прекращения распространявшихся тревожных слухов.

Недели три спустя, во второй половине августа, опубликовано было Высочайше утвержденное положение об образовании т.н. «Особых Совещаний»: 1) по обороне, 2) по продоволь-

ствию, 3) по транспорту и 4) по топливу. Если учреждение Верховной Следственной Комиссии имело целью выяснить действительных виновников прошлых недочетов в деле воинского снаряжения, то в основу образования всех вышепоименованных Особых Совещаний было положено намерение упорядочить на будущее время многосложные дела первостепенной важности, от которых в огромной степени зависел успех русского оружия.

Как в Следственную Комиссию, так и в Особые Совещания, ради их авторитетности и большей осведомленности, наряду с участием в них служилого чиновного элемента, были введены представители той или иной российской общественности.

Приблизительно в то же время, а именно 2-го августа, произошло чрезвычайно важное событие в области Главного Командования всей действующей многомиллионной русской армии. Его Императорское Величество Государь Николай Александрович решил Верховное Командование взять непосредственно в свои руки, а Великого Князя Николая Николаевича назначить Главнокомандующим Кавказским фронтом. Одновременно, с должности Начальника Верховного штаба был смещен генерал Янушкевич, уже давно вызывавший всеобщее неодобрение. Вместо него, был назначен умный и знаток своего дела генерал Михаил Васильевич Алексеев.

Решение Государя было подсказано его единоличным желанием быть фактически главой своей армии. Его Величество сознавал неотложную необходимость смены и коренного обновления всего штабного персонала в Ставке, о недостатках которого сами Министры ему беспрестанно докладывали в самых мрачных красках.

Я далек от мысли, что Государь, взяв на себя обязанности Великого Князя Николая Николаевича, руководствовался соображениями личного характера, как о том под сурдинку говорилось в некоторых кружках столичного общества. Я убежден, что Его Величество имел в виду исключительно восстановление порядка в командовании и успехи российского оружия. Благодаря способностям и усилиям генерала Алексеева, Государь вскоре достиг того и другого. Единство, согласованность и планомерность Верховного Командования были восстановлены. Все подтянулось, и общий порядок штабной деятельности наладился. В результате этих достижений, русская армия смогла вновь проявлять свои доблестные качества, заставив говорить о себе с прежней похвалой...

Но вступление Его Величества в обязанности Верховного Главнокомандующего произошло при обстоятельствах, вызвавших у обычно сдержанного и деликатного Государя резкое недовольство, отзывавшееся впоследствии на личном составе Совета Министров.

Дело в том, что на почти ежедневных заседаниях Министров, происходивших до 2-го августа, и отмеченных в записях А.Н.Яхонтова, происходила жестокая критика порядков и распоряжений имевших место в Верховном Штабе Великого Князя Николая Николаевича. Когда же Государь пожелал положить этому предел, сменить негодный личный состав Верховного Командования, назначить, к общему удовлетворению, Начальником Штаба генерала Алексеева и заменить Великого Князя своей Царственной Особой, то те же Министры стали в оппозицию к Его Величеству и подали свой протест, убеждая оставить Его Высочество Николая Николаевича, очевидно, со всем его окружением, на прежней его ответственной должности.

Государь не внял советам своих министров и свое намерение осуществил. Некоторые подробности этого момента я имею в своем распоряжении. Со слов А.Д.Самарина, состоявшего в числе протестантов, они занесены в мою записную книжку.

В конце августа министрами, за исключением И.Л.Горемыкина, А.А.Поливанова, И.К.Григоровича и А.А. Хвостова, был послан Его Величеству доклад, в котором лица, его подписавшие, высказались за нежелательность удаления Великого Князя Николая Николаевича и за сохранение, в его лице единства власти. Получив это послание, Его Величество распорядился вызывать всех г.г. Министров к нему в Верховную Ставку.

16-го сентября 1915 года состоялось экстренное заседание Совета Министров, под председательством самого Государя, который имел несвойственный ему беспокойный вид и все время нервно подергивался. Войдя в залу заседания, Его Величество обошел комнату, сам закрыл двери, холодно со всеми поздоровался, сел на свое председательское место и пригласил всех последовать его примеру. Положив перед собой исписанную небольшую бумажку, Государь стал в повышенном тоне выражать по поводу полученного им от министров письменного протеста откровенное и сильное неудовольствие. Свое обращение к Совету Его Величество закончил следующими словами:

– Ко мне со всех концов Руси поступают самые горячие приветствия истинных моих верноподданных... Полезно было бы вам, господа министры, побыть некоторое время здесь на фронте и освежить ваши мозги! Надеюсь – впредь вы будете следовать беспрекословно моим распоряжениям, а также указаниям Ивана Логгиновича Горемыкина, которого я имею в виду надолго оставить во главе Совета!

После этих слов Государя, Горемыкин промолвил:

– С благоговением выслушали мы слова Его Величества! Может быть, теперь г.г. министры, подписавшие письмо, сами выскажут свои резоны...

Государь в знак согласия кивнул головой, и один за другим стали излагать свои мнения – сначала А.В.Кривошеин, за ним князь Н.Б.Щербатов, А.Д.Самарин и С.Д.Сазонов. Прослушав их, Его Величество встал и, объявив заседание закрытым, удалился в свои апартаменты.

24-го сентября был уволен князь Н.Б.Щербатов, имевший, помимо истории с письмом, еще ряд неприятных столкновений с Горемыкиным по поводу недопущения в Ставку представителей происходившего в Москве Съезда общественных деятелей.

В тот же день – 24-го сентября, произошла отставка А.Д.Самарина, который на другое утро пришел ко мне в номер с возгласом: – Поздравьте меня со свободой!, – причем он поведал мне подробности своего увольнения. Днем 24-го сентября состоялся очередной его доклад Государю, который был с ним чрезвычайно любезен, расспрашивал про его семейных, про службу в Красном Кресте, про Дворянское Московское Собрание, внимательно выслушал обстоятельное изложение Самариным возбужденного им дела против Распутинского протекже – Варнавы, и затем милостиво его отпустил.

Вечером того же дня шло заседание Совета Министров, во время которого приносят пакет на имя Председателя. Прочтя вложенную в него бумагу, Горемыкин объявил перерыв и удалился в соседнюю комнату, позвав с собою Самарина, которому сообщил содержание только что полученного им от Государя письма. В нем, между прочим, значилась следующая фраза: «Не успел сказать Самарину – дружески передайте ему об увольнении от должности Обер-Прокурора св. Синода»... Сообщая мне все эти подробности, Александр Дмитриевич добавил: «Во всей

этой истории с нашим протестом Горемыкин выказал себя хитрым и лживым царедворцем... Про того, кто после меня займет вакантное место Обер-Прокурора, можно будет сказать: это защитник Варнавы и Распутина!»...

Заместивший Самарина А.Н.Волжин, вскоре после своего назначения, встретясь со мною, поведал мне о своем положении в таких выражениях: «Трудно быть Обер-Прокурором после Самарина, который действовал чересчур прямолинейно – *est modus in rebus!*»... Все ж надо сказать правду про преемника Александра Дмитриевича – распутинцем он не был...

Князя Щербатова заменил член Государственной Думы, бывший Вологодский и Нижегородский Губернатор – Алексей Николаевич Хвостов, сын моего доброго знакомого и коллеги – члена Государственного Совета Николая Алексеевича Хвостова. Деятельности нового Министра Внутренних Дел придется мне неоднократно касаться в последующей части моих записей.

Результат министерского «протеста» этим не ограничился: произошли дальнейшие смены ведомственных глав, это коснулось Главного Управления Земледелия и Землеустройства, переименованного в октябре 1915 года в Министерство Земледелия, и затем Военного Управления. Военный Министр А.А.Полливанов был впоследствии замещен генералом Шуваевым. Но еще до этого, в ноябре 1915 года, уступая настойчивому желанию Государя, пост Министра Земледелия, принадлежавший А.В.Кривошеину, пришлось принять автору этих строк.

Прежде чем перейти к описанию этой исключительной эпохи моей жизни и работы, я должен вернуться несколько назад и отметить небезынтересный период моей деятельности, связанный с участием моим в занятиях Верховной Следственной Комиссии.

Шел конец июля и я намеревался на некоторое время съездить в Самару, где ожидали меня служебные срочные дела, и хотя бы на несколько дней побывать у себя в Головкине для осмотра своего хозяйства. Получив от любезного А.Н.Куломзина разрешение, я спешно приступил к дорожным сборам, стремясь, по возможности скорее, оставить мрачный и смрадный по настроениям Петроград. Все мое нутро рвалось в благодатную обстановку головкинского приволья и родного хозяйственного дела.

Наступило 29-ое июля – канун моего отъезда. Рано утром в моем номере раздался телефонный звонок. Взяв трубку, я услышал голос князя Н.Б.Щербатова, желавшего со мною переговорить по экстренному и важному делу, для чего просил меня немедленно к нему приехать. Через полчаса я сидел уже у Щербатова в его летнем министерском кабинете и видимо очень удивил моего старого приятеля своей бодростью и жизнерадостностью. Эти качества редко встречались у ставшего хмурым и раздражительным столичного обывателя. «В чем дело?! – невольно спросил меня князь Николай Борисович – завидно на вас смотреть! Какая причина вашего радостного настроения?» – «Получил отпуск! покидаю Ваш унылый Петроград и еду восвояси на косьбу и жниво!» – ответил я, продолжая весело улыбаться... И вдруг услышал от моего собеседника наставительные слова: «Человек предполагает, а Бог располагает!» При этом милый князь подсел ближе ко мне и, протягивая мне руку, несколько торжественно, но искренне и горячо стал поздравлять меня с Высочайшим назначением на «исключительно ответственный пост» члена только что образованной Верховной Следственной Комиссии.

Он поспешил меня вкратце познакомить с сущностью и целью этого нового важного учреждения и с условиями моего назначения.

Слушая все это, я переживал немало тяжелых дум и сложных душевных испытаний... Неожданное мое назначение в такое важное по своим заданиям и значению учреждение, меня совершенно выбило из колеи. Из веселого и бодрого я превратился в человека надломленного, и как бы оцепенел на мгновение под тяжестью внезапного резкого удара... «Что с вами?! Вы страшно побледнели! Вам нездоровится?» – участливо и не без тревоги в голосе спросил меня князь. В ответ я мог только выговорить: «Все пройдет – дайте только мне опомниться!... А главное – помогите мне найти выход из создавшегося положения! Я не могу взяться за подобную работу – она выше моих сил и понимания! Я безусловно считаю себя вынужденным от участия в Верховной Следственной Комиссии уклониться – передайте это Государю!»... Тогда Щербатов стал горячо меня убеждать в полнейшей невозможности отказаться и привел ряд веских доводов.

Не стану их перечислять, но в результате наших долгих переговоров я понял, что при создавшейся обстановке отказываться от работы в Верховной Комиссии я не вправе... Расставаясь с Щербатовым, я все же не мог не упрекнуть его и его коллег за то, что, не снесясь предварительно со мною и не заручившись моим согласием, они представили на Высочайшее благоусмотрение мою кандидатуру... Итак, все мои планы и расчеты на отпуск канули в Лету!

Далеко не в том радужно бодром настроении, в котором я входил в Щербатовский кабинет, покинул я его и возвратился в свой номер Европейской гостиницы, где застал ожидавшего меня среди разложенных по комнате чемоданов Александра

Дмитриевича Самарина. «Ну с, дорогой Александр Николаевич! – встретил он меня с несколько лукавой усмешкой – раскладывайте-ка снова все ваши дорожные вещи по местам! Довольно вам кататься по Волге-матушке широкой! Посидите-ка и вы теперь с нами грешными в немилом Петрограде!» С этими словами Самарин меня крепко обнял и поздравил с назначением. От него я узнал некоторые подробности о моей кандидатуре. Он мне сообщил, что при обсуждении Советом Министров семи-членного состава Верховной Комиссии было решено, наряду с четырьмя лицами, состоявшими на государственной службе, пригласить троих представителей общественности, из которых двое должны были принадлежать к среде Думских депутатов, а третий должен быть членом Государственного Совета.

По поводу последней кандидатуры было сделано два предложения: часть Министров – Харитонов, Кривошеин, князь Щербатов и Самарин выдвинули мое имя, а другие называли Тамбовского земского избранника – Владимира Михайловича Андреевского. В конце концов Министры, с Горемыкиным во главе, единогласно остановились на моей кандидатуре, и в тот же день состоялся по этому поводу всеподданнейший доклад.

По словам Самарина, Государь, прочтя в представленном Министрами списке мою фамилию, выказал заметную радость, промолвив: «Я Наумова давно знаю, его ценю и привык ему верить». Передав эти слова, Самарин еще раз меня горячо приветствовал и, так же, как Щербатов, самым категорическим образом заявил, что я не имею права отказываться от работы в Комиссии, которая в то время имела для всей страны крайне существенное значение, и деловое и моральное.

– И хотя – закончил Самарин свое обращение ко мне – Горемыкин на нашем заседании, обсуждавшем образование Верховной следственной Комиссии выразился в том смысле, что

«Комиссия создается для декорации, а Государь останется для истины», – мы, Министры, думаем иначе. По нашему разумению, только благодаря этой комиссии Его Величество и может узнать подлинную «истину» о всех вопиющих непорядках, от которых страдает наша армия. Вот почему, намечая кандидата, мы искали человека, который мог бы реальным образом оказать намеченному, огромному по своим последствиям, государственному делу серьезное содействие. Подсказывая ваше имя, с полным удовлетворением принятое Его Величеством, Совет Министров рассчитывает объединить вокруг него также доверие Российской общественности»...

На другой день Военный Министр, приветствуя мое назначение, подтвердил мнения его коллег, что уклоняться от этого важного дела мне ни в коем случае нельзя. Когда я откровенно ему поведал свои сомнения и тревоги, сказал, что в деле воинского снабжения я являюсь совершеннейшим профаном, Поливанов сравнил мое будущее участие в занятиях Верховной Следственной Комиссии с положением присяжных заседателей на судебных заседаниях.

– За вами, Александр Николаевич, – сказал он, – независимость и общественность. Техническое обследование должно вестись специалистами. Предложенный ими на ваше рассмотрение материал явится предметом вашего суждения и окончательной расценки вашего здравого рассудка и совести.

Первого августа получено было от Председателя Совета Министров официальное извещение о моем назначении. В тот же день я не имел ни минуты покоя: все время было отнято у меня телефонными переговорами или личными посещениями. Со всех сторон слышались приветствия, пожелания и всевозможные расспросы по поводу будущей деятельности Комиссии

и моего в ней участия. Особенно допекал меня целый рой газетных сотрудников. От них приходилось мне отмалчиваться. Несмотря на это, вышедшие номера газет были переполнены всяческими сенсационными сведениями, якобы полученными от меня, но в которых я был совершенно неповинен. Откуда-то на газетных столбцах появились мои биографии, даже – портреты. Все это до крайности меня нервировало и утомляло. Жизнь моя сбилась с намеченного пути... Пришлось забросить все свои дела, связанные с многосторонней работой в Самаре и, конечно, – с Головкинским родным хозяйством.

130

Учреждение, в котором мне предстояло принимать участие и которое приковывало острое внимание всей страны, мечтавшей отплатить за обидные для отечественного самолюбия поражения, – именовалось «Верховная Следственная Комиссия для всестороннего расследования обстоятельств, послуживших причиной несвоевременного и недостаточного пополнения запасов военного снаряжения».

Состав Комиссии включал в себе следующих лиц: Председатель – инженер генерал, член Государственного Совета Петров, члены – Товарищ Председателя Государственного Совета Голубев; генерал-адъютант член Государственного Совета Пантелеев; сенатор Посников; товарищ председателя Государственной Думы Варун-Секрет; член Государственной Думы граф Владимир Алексеевич Бобринский и я, как выборный член Государственного Совета.

Коллегия, не считая Председателя, состояла из трех членов, принадлежавших к чиновному классу и троих, представ-

лявших собою общественный элемент.. Генерал-адъютант Пантелеев являлся заместителем главы военного ведомства, а сенатор Посников участвовал в Комиссии в качестве представителя Министра Юстиции.

Все делопроизводство Комиссии было сосредоточено в особо образованной при ней многолюдной канцелярии, во главе которой стоял Статс-Секретарь Государственного Совета Николай Федорович Дерюжинский, имевший своим ближайшим помощником чиновника Государственной Канцелярии Кизилбаша.

Помимо этого, в зависимости от хода следственного производства, в распоряжении каждого из членов Верховной Комиссии имелись особо прикомандированные секретари и специалисты, знакомые с разнородными отраслями воинского снабжения. Все, что было в этой области наиболее работоспособного, толкового и энергичного, правительство предоставило к услугам Верховной Комиссии. Весь штат военно-следственного персонала и прокурорского надзора, тоже являлся ближайшим сотрудником упомянутого учреждения.

Заседания Верховной Комиссии происходили в одной из боковых зал Мариинского Дворца. В распоряжение каждого из ее членов для производства дознаний и допросов отводились в том же здании отдельные помещения. Записи словесных показаний велись особо прикомандированными для этого стенографистками, служившими в Государственной Канцелярии.

Председатель Комиссии, генерал Н.П.Петров, будучи весьма преклонных лет, имел репутацию знающего инженера и рассудительного военного сановника. Он держал себя чрезвычайно замкнуто и, состоя в «центре» Государственного Совета, принимал участие лишь в комиссионных работах. В мою бытность в Государственном Совете, он на общих заседаниях не выступал.

Занятиями Верховной Следственной Комиссии Петров руководил более чем сдержанно и осторожно, не проявляя ни творческого интереса к порученному ему делу, ни той председательской инициативы, которая всякой коллегиальной работе придает необходимый подъем и полезную плановость.

Заявления по животрепещущему и злободневному вопросу того или другого члена Комиссии встречали обычно у председательствовавшего Петрова или полное равнодушие, или явное намерение как-либо обойти остроту его разрешения. Вспоминается меткая характеристика личности нашего председателя, которую однажды в разговоре со мною дал почтенный и остроумный Анатолий Федорович Кони: «Генерал Петров принадлежит к тем «теплым» людям, о которых сказано в Апокалипсисе»... И действительно, в нашей общей работе, за каждым шагом которой зорко следила вся Россия, генерал Петров был ни «холоден», ни «горяч»; он был именно «теплым» руководителем занятий Верховной Комиссии и вносил в них струю того вредного для всякого государственного дела «равнодушия», о котором мне говорил генерал О.О.Палицын, как об основной причине непорядков и неудач высшего российского управления.

Необходимо, впрочем, оговориться, что подобная «теплота» у Петрова проявлялась лишь в отношении к самой сущности того исключительно ответственного и многостороннего дела, которое входило в компетенцию Верховной Следственной Комиссии, а не в ведении им наших заседаний, которые он проводил в чрезвычайно резкой и нетерпимой форме в тех случаях, когда, по его мнению, прения принимали нежелательный характер... Он сообразовался не с сущностью заданий Комиссии, а скорее с известными одному Петрову или его закулискому, неведомому для нас, вдохновителю, особыми целями... На заявле-

ние нескольких членов комиссии о желательности предварительно наметить общий план и составить наказ, точнее определяющий права и обязанности как самого учреждения, так и его исполнителей, – генерал Петров упорно от подобного предложения уклонялся. Сначала откладывал, спустя два месяца заявил, что установление наказа, в виду того, что многие следственные дела уже закончились, – не представляется необходимым. Вся многосложная и исключительная по своей ответственности работа носила характер крайне сбивчивый, расплывчатый, до известной степени произвольный, чему, главным образом способствовал сам председатель, действовавший во всем «безнаказно» и поэтому – совершенно безнаказанно. Особенной хаотичностью отличались первые заседания нашей комиссии, на которых каждый из нас приглашался высказываться по вопросу общих заданий предстоявших работ. Генерал Петров всячески запутывал наши прения и обсуждения, проявляя явную тенденцию по возможности сокращать масштаб следственных дознаний и направлять последние в сторону компромиссно снисходительных заключений.

Опрашивая множество воинских чинов и знакомясь с обстановкой боевой фронтовой жизни, я натолкнулся на «обстоятельство», являвшееся одной из основных причин «несвоевременного» и «неполного» воинского снаряжения наших действующих армий и заключавшееся в вопиющих не порядках в нашем транспортном деле. Я счел своим долгом довести об этом до сведения Верховной Комиссии, большинство членов которой пришло к убеждению о необходимости возбудить специальное следственное производство по этому поводу. Но генерал Петров наотрез отказался согласиться с подобным мнением, почему-то сочтя, что транспортные не порядки не входят в нашу компе-

тенцию. В таком же духе делал он мне неоднократные предостережения по поводу обследования мною деятельности Царыцынского завода, рекомендуя вести следственное производство в отношении изготовления на упомянутом заводе пушек и снарядов лишь для полевой артиллерии, и запрещая затрагивать снаряжение Морского Водомства. Все эти замечания, оговорки, предупреждения и прочие проявления председательской своей власти Петров обычно выражал в несдержанной, а подчас, довольно резкой форме, к которой трудно было привыкнуть и на которую невольно приходилось реагировать в столь же неприимимом тоне.

С первых же заседаний мы – трое «общественников» (Варун-Секрет, граф Бобринский и я) образовали тесно сплоченное ядро. Петрову нелегко было с нами ладить, и во многих случаях ему приходилось уступать. Особенно после того, как на нашу сторону удалось привлечь сенатора Посникова. В общем ходе работ Петров вынужден был считаться с мнением большинства членов Комиссии – тем более, что за результатом наших занятий общество следило с неослабным вниманием и особым интересом.

Ближайшим сотрудником генерала Петрова по ведению коммиссионных заседаний являлся товарищ председателя Государственного Совета Ив.Як.Голубев. Сдержанный, но обстоятельный и рассудительный, Иван Яковлевич служил своего рода регулятором общей нашей работы, принимавшей иногда, не без вины председателя, беспорядочный характер. Но Голубев заметно остерегался высказывать свои заключения в определенно категорической форме, в большинстве случаев предпочитая обходить острые вопросы, связанные с обвинениями персонального характера и склоняясь обычно на путь компромиссных решений.

Представитель Военного Ведомства Генерал-Адъютант А.И.Пантелеев держал себя на наших совместных занятиях исключительно замкнуто и обособленно, заметно сторонясь «общественников» и скептически относясь ко всем данным, которые компрометировали Военное Ведомство. Когда же нашему блоку, благодаря присоединению к нам сенатора Посникова, удалось выдвинуть на очередь вопрос о неотложной необходимости возбудить следственное дознание по поводу действий бывшего Военного Министра В.А.Сухомлинова, генерал Пантелеев, горячо ратовавший против этого, демонстративно прекратил свои посещения заседаний Верховной Следственной Комиссии.

Что касается сенатора Посникова, то это был заслуженный судебный чин весьма преклонных лет, тихий, скромный, глубоко порядочный человек, имевший гражданское мужество, под влиянием убедительных уговоров «общественников», круто изменить свое первоначальное отношение к Сухомлиновскому делу. Благодаря его переходу в наш лагерь и при его же ближайшем содействии, было немедленно приступлено к производству обстоятельного расследования деятельности Сухомлинова, как бывшего Военного Министра, в связи с имевшимися данными о развитии при нем шпионской организации.

Инициатором, возбудившим этот вопрос, был член Государственной Думы граф Владимир Алексеевич Бобринский – человек искренний и честный, но чрезвычайно пылкий и не всегда уравновешенный.

Выступив на одном из начальных наших заседаний с горячей и резкой речью, наведшей панику на степенных наших сочленов из высшего чиновного мира, граф Владимир Алексеевич настаивал на том, что Верховная Следственная Комиссия должна откликнуться на наболевший злободневный вопрос,

глубочайшим образом волновавший все слои русского общества и касавшийся действий бывшего Военного Министра Сухомлинова. По циркулировавшим настойчивым слухам он был замешан в содействии шпионским организациям, которые были одной из причин роковых поражений русских армий на Галицийском и Польском фронтах.

Граф Бобринский не был «теплым», он отличался беззаветной «горячностью», которая не позволяла ему относиться к работе с размеренным «равнодушием», а заставляла его отдаваться ей со всем пылом его отзывчивой и искренней души...

С самого начала войны он вступил в ряды гусар добровольцем, воочию увидел и испытал лично на себе все вопиющие недостатки боевых распоряжков и недочеты воинского снаряжения. Он оставил фронт и появился в стенах Таврического Дворца, где со свойственной ему горячностью начал всех и вся призывать на помощь родной армии.

Разразившаяся скандальная «Мясоедовская» шпионская история, заставившая широкие общественные и законодательные круги заговорить о подозрительном поведении бывшего Военного Министра Сухомлинова, подлила масла в огонь и усилила народное недовольство. Граф В.А.Бобринский был совершенно прав, настаивая перед Верховной Следственной Комиссией на скорейшем раскрытии закулисной деятельности шпионских организаций, по слухам, близко стоявших к семейному очагу Сухомлинова.

Председатель Комиссии Петров хотел было уклониться от возбуждения этого вопроса, но встретил столь горячую отповедь со стороны графа Бобринского, поддержанного Варун Секретом и мною, что пришлось, волей-неволей, поставить Сухомлиновское дело на очередь ближайшего рассмотрения и обсуждения.

Вспоминается мне, как граф Владимир Алексеевич, после высказанного генералом Петровым сомнения в возможности для Комиссии рассматривать Сухомлиновское дело, вспылал, вскочил, бросил на стол неизменную свою спутницу – насквозь прокопченную трубку и, закинув кверху свою коротко остриженную густоволосую голову, на все зало заседания громовым голосом прокричал: «Довольно с нас этих замалчиваний!... Дольше терпеть мы отказываемся! Русские люди требуют правды! Многомиллионная молва называет Сухомлинова предателем и главным виновником всех наших боевых неудач... Игнорировать это преступно! Мы обязаны в первую голову заняться этим делом, выяснив его во всем его объеме и во всей его беспощадной правде. На нас с надеждой смотрит вся страна! Преисполненное гневом общество ожидает, что наша работа приведет к раскрытию преступных деяний и к должному наказанию виновных... Если мы тотчас же не приступим к разоблачению всей Мясоедовщины и Сухомлиновщины, – я немедленно выхожу из состава Верховной Следственной Комиссии и всенародно оповещу о причине моего ухода!»...

Графа Бобринского горячо поддержал Варун-Секрет, принадлежавший к умеренно правой фракции «Октябристов» и рекомендовавший себя в деловых общественных и законодательных сферах в качестве серьезного, вдумчивого и толкового политического работника. В противоположность графу В.Бобринскому, он вел себя обычно сдержанно и выступал в спокойно рассудительном тоне. Его мнения и доводы отличались строгой обдуманностью и веской доказательностью. Так же, как Бобринский, Варун-Секрет стоял за немедленное принятие к рассмотрению всего того материала, который мог бы выяснить, насколько основательны распространившиеся по все стране тревожные слухи о преступной деятельности Сухомлинова.

Уклончивое поведение Председателя, явное желание генерала Пантелеева во что бы то ни стало не допускать расследования действий бывшего Военного Министра, сдержанность Голубева и первоначальная нерешительность сенатора Посникова – все это заставляло нас троих, стоявших за возбуждение Сухомлиновского дела, действовать заодно, ради чего, наряду с коммиссионными заседаниями, у нас происходили свои особые частные совещания, имевшие место в моем обширном, совершенно изолированном номере Европейской гостиницы.

На этих предварительных совещаниях по делу Сухомлинова Мясоедова мы изготовили для Верховной Комиссии, как мы называли – «тяжелые артиллерийские снаряды». Сначала мы выступали словесно, а затем мы перешли на иной способ изготовления «снарядов» и стали подавать генералу Петрову от нас троих письменные «особые мнения». Они оказывали заметное воздействие на ход общих заседаний и повлияли на судьбу возбужденного нами вопроса.

Для печати генерал Петров давал столь краткие и неопределенные сведения о ходе работ, что широкая публика ничего из подобных газетных сообщений понять не могла. Тем не менее, близкое к участникам Верховной Комиссии окружение, в лице членов обеих законодательных палат, а за ними и остальное столичное общество, силою вещей, было более или менее в курсе наших заседаний. Вопрос о расследовании деятельности Сухомлинова тотчас же стал достоянием Петроградских широких кругов и был встречен с чувством живейшей радости и удовлетворения.

Следственное производство о деятельности бывшего Военного Министра Сухомлинова Верховной Комиссией было возложено на двух лиц – на сенатора Посникова и графа Бобринского. Никаких ограничительных рамок для их работы указано не

было, и они действовали сообразуясь с материалом, который встречался во время следствия.

Занятия, как самой Верховной Комиссии, так и отдельных ее членов, велись двумя способами: во-первых путем ознакомления с письменными и документальными данными, которые доставляли нам разные учреждения и лица, во вторых через опросы, производимые всей Комиссией или отдельными ее членами. Иногда приходилось осматривать ревизуемые учреждения, их помещения или сейфы. В общем – полномочия у Верховной Комиссии были чрезвычайно широкие.

Первые шаги при ознакомлении Верховной Комиссии с данными, касавшимися деятельности В.А.Сухомлинова, как Военного Министра, произвели на нас чрезвычайно неблагоприятное впечатление, и сразу приковали к себе напряженное внимание общественных кругов во всей стране. Недаром Верховная Комиссия среди публики нередко именовалась – «Сухомлиновской»...

При ближайшем рассмотрении имевшегося в нашем распоряжении материала, пришлось прежде всего убедиться в том, что составленный к 1-му января 1915 года генералом Сухомлиновым всеподданнейший доклад явным образом не соответствовал действительному и всем известному положению вещей.

Обследованное затем нами столь нашумевшее «Мясоедовское» дело в достаточной степени компрометировало того же Сухомлинова, допускавшего в свой дом и в общество своей супруги Екатерины Викторовны, – лиц в роде Альтшуллера, Манусова и других, которые, по свидетельству прокурора Жижина и судебного следователя по особ важным делам Матвеева, несомненно принимали участие в интернациональной шпионской организации. Граф Бобринский представил Комиссии составленную им, согласно документальным данным, карту Европы,

на которой нанесена была вся сложная паутина шпионской международной деятельности, распространявшей свои нити и на Петроград.

Видная и статная супруга Сухомлинова, урожденная Гашкевич, по первому мужу – Бутович, пользуясь слабоволием и рабской к себе преданностью своего мужа, имела обыкновение окружать себя всякими подозрительными лицами и позволяла себе в их сообществе подслушивать происходившие в кабинете ее мужа конфиденциальные ведомственные разговоры.

Я присутствовал в числе некоторых других членов Верховной Следственной Комиссии при осмотре апартаментов, занимаемых Военным Министром. Нам пришлось детально ознакомиться с обстановкой и устройством рабочего его кабинета. В нем, помимо двух дверей обычного формата, была еще третья, небольшая и еле заметная. Она была проделана в стене, недалеко от письменного стола, и в бытность Сухомлинова Министром всегда заставлялась высокими ширмами. Эта дверь вела непосредственно в смежную с кабинетом небольшую комнату, служившую для его супруги интимным будуаром. Согласно показаниям некоторых свидетелей, случалось, что во время приема Сухомлиновым лиц, являвшихся к нему с особо важными и секретными делами, дверка за ширмами раскрывалась. Тогда находившиеся в будуаре госпожа Сухомлинова и приближенные к ней лица, вроде Альтшуллеров, могли свободно слушать беседы и сведения, которые должны были носить характер строжайшей государственной тайны.

Принимая все эти обстоятельства в соображение, большинство членов нашей комиссии не могло не усмотреть в поведении Сухомлинова наличия с его стороны «преступного бездействия», в смысле непринятия им должных мер к ограждению неприкосновенности вверяемых ему, как Военному Министру,

ведомственных тайн исключительного государственного значения. В этом отношении В.А.Сухомлинов представлялся нашей Комиссии лицом, которое, может быть и невольно, но несомненно содействовало успехам губительного для русского оружия шпионажа. Пишу «невольно», т.к. до сих пор продолжаю оставаться при убеждении, что Сухомлинов был далек от сознательного предательства своей родины. На мой взгляд, он действовал скорее по природному своему легкомыслию и под воздействием для него неотразимых чар властной, хитрой и настойчивой жены, заставлявшей мужа вращаться в компрометировавшей его среде и добывать «всяческими» способами средства для ее, более чем широкого, образа жизни.

Верховной Комиссии пришлось также, путем допроса ряда сведущих лиц, осветить самую деятельность бывшего Военного Министра. Данные получились для него далеко не благоприятные. Они указывали на рутинное ведение дела и на проявленную с его стороны в области боевой подготовки крайнюю непредусмотрительность, граничившую с «преступным бездействием». Вообще – чем более у Комиссии накапливалось по поводу деятельности бывшего главы Военного ведомства материала, тем яснее подтверждалась уместность и необходимость возбуждения следственного производства о действиях Военного Министра В.А.Сухомлинова, оказавшихся одной из причин «несвоевременного и недостаточного пополнения запасов военного снаряжения».

Занятый своим непосредственным сложным и ответственным делом, возложенным на меня Верховной Комиссией, а затем – с ноября 1915 года – целиком захваченный громадой новых обязанностей по должности Министра не столько Земледелия, сколько Продовольствия, я не мог быть в курсе всех деталей

следственного производства о Сухомлинове, о котором докладывалось на общих заседаниях Комиссии постольку, поскольку наш председатель, генерал Петров, считал это необходимым и своевременным. Но общее впечатление о нем, когда я был членом Верховной Комиссии, т.е. до ноября 1915 года, у меня сложилось следующее: несомненно, что в своем военном ведомстве В.А.Сухомлинов оказался человеком мало энергичным, компромиссным, склонным смотреть на многое сквозь «розовые очки», стараясь в своих докладах Государю представлять не действительное положение вещей, а лишь то, что могло носить характер успокоительный и утешительный. Что же касается до его отношений к лицам, подозреваемым в шпионской деятельности и окружавшим его волевою супругу, то на мой взгляд, Сухомлинов безусловно виноват, что допускал подобных господ в свою казенную квартиру и находился с ними в тесном общении. Прямых улик в соучастии Сухомлинова в преступной шпионской организации при мне не обнаруживалось, но по мнению моему, так же, как и большинства членов Верховной Комиссии, он, занимая пост Военного Министра, да еще во время войны, обязан был строжайшим образом ограждать себя от всего, что могло компрометировать его, как хранителя государственных тайн решающего стратегического значения. Сухомлинов, с присущим ему легкомыслием, забывал о своей присяге, о воинском долге и о занимаемой им высокой должности, которая возлагала на него исключительную ответственность перед родиной. В этом, по моему крайнему разумению, и заключалась его основная вина.

По выходе моем из состава Верховной Комиссии, следственное производство о действиях Сухомлинова продолжало находиться в руках тех же лиц: графа В.А.Бобринского и Посни-

кова. На основании их заключительного доклада, Верховная Комиссия представила в Государственный Совет свое постановление о необходимости возбудить против В.А.Сухомлинова уголовное преследование, по обвинению его в противозаконном бездействии, превышении власти, служебных подлогах, лихоимстве и государственной измене.

10-го марта 1916 года последовало определение Первого Департамента Государственного Совета о назначении предварительного следствия, которое было возложено на сенатора Кузьмина. 29-го апреля того же года, Сухомлинов был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, но в октябре был освобожден и переведен под домашний арест.

После февральской революции 1917 года он был вновь арестован, и в апреле того же года был предан суду по обвинению в бездействии и превышении власти, в государственной измене и служебных подлогах. Дело о нем слушалось в заседании Правительствующего Сената, с участием присяжных заседателей, и Сухомлинов был признан виновным и приговорен к лишению всех прав состояния и к пожизненной каторге.

Привлеченная тоже в качестве обвиняемой его супруга, Екатерина Викторовна, судилась одновременно со своим мужем, но вердиктом присяжных заседателей была оправдана! Каким образом этой особе, являвшейся главной виновницей поведения ее супруга, удалось выйти сухой из окружавшей ее темной воды, и какими судьбами посчастливилось Сухомлинову избежать сурового наказания, уцелеть от большевиков и мирно прожить до 1920 года в Зарубежье – до сих пор остается для меня неразрешимой загадкой!

Из имевшегося в распоряжении Комиссии документального материала, а также из показаний многочисленных лиц, близко осведомленных о действительном положении воинского снабжения армий, Верховная Комиссия, в первых же своих заседаниях, пришла к заключению, что необходимо в самом срочном порядке приступить к всестороннему расследованию всего хода как русского нашего военно-заводского производства, так и исполнения огромных заграничных заказов по пополнению воинского снаряжения действующих армий. Особенно остро стоял вопрос относительно винтовок. Недостаток их ощущался не только в тыловых запасных гарнизонах, где, при обучении призванных под ружье солдат, им, за неимением винтовок, выдавали деревянные палки, но и в войсковых частях, который принимали непосредственное участие в боевых действиях, не хватало винтовок.

Комиссия также вскоре удостоверилась в огромной, угрожающей нехватке ружейных патронов и артиллерийских снарядов. Один из наиболее компетентных в артиллерийском деле генерал Кузьмин-Караваев, вызванный 11-го августа 1915 года в Верховную Комиссию для допроса, произвел своими показаниями на всех присутствовавших самое удручающее впечатление. Характеризуя плохую осведомленность высшего командования о происходившем на боевых фронтах, и отмечая гибельную для дела несогласованность общих распоряжений, Кузьмин-Караваев довел до сведения Комиссии, что по имевшимся донесениям с фронтов, у русской артиллерии в данный момент имелось не более двух снарядов на каждую пушку!..

В Комиссии скопился огромный материал. Надо было спешить с его разбором. Отдел по выяснению успешности зарубежных заказов (в Америке, Англии, Франции, Японии и Швеции) взял на себя наш сочлен С.Т.Варун-Секрет, одновременно занявшийся обследованием деятельности Тульского оружейного завода. Вопрос о винтовочном снаряжении принял к своему рассмотрению генерал Пантелеев, но вскоре передал его своему сочлену И.Я.Голубеву.

На мою долю выпала важная работа по обследованию деятельности всех артиллерийских заводов – двух Самарских, Путиловского, Обуховского, Пермских и Царицынского. Я сам был в этом виноват. На первых заседаниях я выступил с разоблачениями, касавшимися отрицательных сторон производства на Самарских заводах: трубочном и Сергиевском. Сведения эти получены были мною на месте, из источников, казавшихся мне достоверными. Я счел необходимым обратить на эти заводы внимание Верховной Следственной Комиссии. Заслушав мой доклад, мои коллеги придали ему серьезное значение, и тут же постановили передать деятельность Самарских заводов на мое обследование. Впоследствии к ним были присоединены и остальные заводы.

Перед нашей коллегией и передо мною лично, при производстве моих обособленных следственных дознаний, проходил многочисленный ряд людей, принадлежавших к разнообразным слоям и профессиям общественной и служилой среды. Начиная с показаний простых рабочих и кончая опросом Великих Князей, все шло на общее дело освещения причин несвоевременного и недостаточного воинского снаряжения русской армии.

Среди общей массы следственного материала, наиболее интересными и вескими были показания генералов: Михельсона, Маниковского, Смысловского и Дроздова.

Бывший военный агент в Берлине, генерал А.А.Михельсон своим обстоятельным и обдуманном докладом произвел на Верховную Комиссию сильнейшее впечатление. Он показал непростительную небрежность, проявленную Сухомлиновым в деле подготовки воинского снаряжения армии. С цифрами в руках и ссылаясь на предъявленные им Комиссии «Сборники вооруженных сил Германии и Австрии», а также на свои своевременные донесения из Берлина в Петербург, еще задолго до войны 1914 года, генерал Михельсон самым наглядным образом доказал, насколько деятельность Сухомлинова не соответствовала всему тому, что надлежало делать для боевой подготовки российской армии, и что он обязан был доводить до сведения Государя в своих всеподданейших отчетах и докладах.

Огромное впечатление на Комиссию производили также неоднократные показания Начальника Главного Артиллерийского Управления – умного и энергичного генерала А.А.Маниковского. Он сообщил немало интересного о положении дел с нашими иностранными заказами и о постановке воинского снаряжения в Германии.

Намеченная до войны 1914 года Военным Ведомством, совместно с законодательными палатами, т.н. «Большая Программа Военного Министерства», предусматривавшая реорганизацию армии и обеспечение ее всем необходимым, могла быть проведена полностью лишь к 1917 году. Вспыхнувшая в июле 1914 года война застала военное ведомство во многих отношениях неподготовленным. В армии не было ни тяжелой артиллерии, ни достаточного количества броневых автомобилей, ни авиации, ни тем более – предметов технического снабжения

– биноклей, телефонных, телеграфных принадлежностей и пр. Не хватало ни снарядов, ни патронов.

С первых же месяцев начавшейся войны, правительству, наряду с принятием мер по усилению отечественного производства, пришлось прибегнуть к заграничным заказам. При этом, у высшего военного управления, для осуществления срочных мероприятий, не было никакого плана. Не сумело оно использовать и общий энтузиазм, проявившийся в начале войны, и выпустило из своих рук дело исключительной важности.

В результате, вместо планомерного единства действий в области как военного снабжения, заготовлявшегося на отечественных заводах, так и заказанного за границей, наверху царило многоначалие, коренным образом тормозившее дело воинского снабжения. Наряду с Военным Ведомством, действовали совершенно самостоятельно Всероссийский Земский и Городской Союзы, Военно-Промышленный Комитет, Красный Крест и другие организации, проявлявшие неуместное соревнование и вносившие немалую путаницу в дело воинского снабжения.

Усиление деятельности существовавших отечественных заводов, при устройстве и оборудовании которых не была предусмотрена возможность срочного расширения их производительности, требовало времени. Что же касается частной нашей промышленности, то она вовсе не была приспособлена для обслуживания военно-технических нужд. В этом отношении Германия, по данным, предоставленным Верховной Комиссии генералом Маниковским, являлась несомненно передовой и образцовой страной, где вся частная промышленность, в случае объявления войны, была уже превосходно подготовлена к мобилизации и могла немедленно приступить к работе на нужды воинского снаряжения. В Германии, еще в мирное время, каждый, даже самый ничтожный, завод был у правительства на

учете. Для открытия его требовалось не только разрешение гражданских властей, но и согласие Военного Ведомства. Хозяева нового предприятия давали подписку, в случае объявления войны, приступить к заранее предуказанному им военно-техническому производству. Германская мобилизационная программа предусматривала, в случае объявления войны, превращение в больницы и лазареты помещений, принадлежащих разным учреждениям и частным лицам. Такая мобилизация не только армии, но и всей страны, имела огромное значение и давала Германии большие преимущества перед Россией. У нас вопрос о необходимости подобной планировки поднимался Мобилизационным Отделом Генерального Штаба, но каждый раз отклонялся по соображениям «социально экономического характера». По мнению Совета Министров, переход заводских предприятий на новое производство мог неблагоприятно отразиться на развитии частной российской промышленности в мирное время (?!)...

Что касается заграничных заказов, то осуществление их отличалось также крайней хаотичностью. Заказы производились не только правительством, но наряду с ним, параллельно и самостоятельно, действовали многочисленные организации, о которых упоминалось мною ранее. Дело велось частью непосредственно с официальными представителями иностранных держав, а также и через представителей частных фирм, комиссионеров и ловких спекулянтов, заполнявших в те времена петроградские гостиницы, клубы, салоны и приемные влиятельных столичных сановников. При общей спешке, в заказах не было ни планомерности, ни единства действий. Случалось, что один и тот же предмет воинского снаряжения получался разными заказчиками по несхожей цене и разного качества.

До 1915 года, наши союзники Франция и Англия уклонялись от принятия наших заказов, ссылаясь на собственные свои недочеты по снабжению армии.

В тот же период войны Япония предъявила совершенно неприемлемые для России цены на заказы. Так, одно время она соглашалась отпустить 700.000 винтовок, но хотела получить за это весь Сахалин. Только позже удалось русскому правительству приобрести от Японии на более или менее сходных условиях 400.000 ружей старого образца.

Что касается Америки, то и там дело с заказами сложилось для России крайне неблагоприятно. Оказалось, что тотчас же после открытия военных действий все необходимое для воинского снаряжения было скуплено в Соединенных Штатах немецкими организациями, которые своими сетями опутали решительно все американские рынки. Лишь «удачные кражи», как выразился генерал Маниковский случайно давали России некоторое количество винтовок. Под этими «кражами» он разумел комбинации, когда немцами закупленные партии, на пути следования в Европу, попадали; в русские порты.

Впоследствии, после образования Особого Совещания по Обороне, как отечественное производство, так и заграничные заказы удалось более или менее наладить. К концу 1916 года всю материальную часть армии удалось в достаточной степени обеспечить. Но в описываемое мною время, август сентябрь 1915 г., все, что сообщали знатоки военно-технического дела, производило на членов Комиссии самое безотрадное впечатление, усугубляемое доходившими до нас печальными известиями о колоссальных потерях боевых запасов, в результате сдачи Ковно, Бреста и Гродно.

Наряду с допросом лиц, вносивших своими обстоятельными показаниями существенный вклад в общий следственный

материал, подлежавший обсуждению Верховной Комиссии, приходилось выслушивать немало суждений, для сути дела никакой пользы не приносящих и лишь осложнявших следственное производство.

Вспоминаю громовые выступления перед Комиссией важного по осанке и грузного по объему Председателя Государственной Думы, Михаила Владимировича Родзянко, когда он, стуча кулаком по столу, своим зычным голосом требовал «всех и вся» предать суду. Родзянко, в результате своего появления и поведения перед нашим трибуналом, достигал лишь одного – почтенные седовласые наши сочлены из высшего чиновного мира, после грозных выкриков председателя Государственной Думы, впадали в превеликую панику, от которой они не скоро отходили.

Сплошь и рядом появлялись перед нами лица, которые давали показания о хорошо им известных обстоятельствах так сдержанно и туманно, что было невозможно вывести из их слов точные умозаключения. К категории подобных лиц приходится причислить Великого Князя Сергея Михайловича, бывшего Военного Министра Редигера, небезызвестного деятеля в банковско-промышленных кругах А.И.Путилова, Директора Департамента Полиции Белецкого и некоторых других.

Перехожу к воспоминаниям, связанным с исполнением возложенного на меня Верховной Комиссией поручения по обследованию деятельности двух Самарских заводов – трубочного и Сергиевского (порохового). Я должен сознаться, что приступил я к нему далеко не с легким сердцем и не без опаски, ввиду моего полного незнания с технической артиллерийской частью, а также в силу необычной обстановки предстоявшей мне работы.

В мое распоряжение был откомандирован военный[в оригинале отсутствуют страницы 324 и 325]

.....одно краткое, почти без всякой мотивировки изложенное, журнальное постановление Совета Министров, из коего было видно, что, по предложению Морского Министра, решено было, на особо выработанных условиях, сдать все дело постройки и оборудования Царицынского завода английской фирме Виккерс и Ко. Допрошенный мною по поводу составления означенного журнала, Управляющий делами Совета Министров Иван Николаевич Ладыженский не пролил никакого света на мотивы сдачи завода фирме Виккерса, которые по моим предположениям должны были обсуждаться министрами. На мои вопросы он давал уклончивые ответы. О том, что конкурентом Крезю являлся Викерс и что правительство получало предложения и от других фирм, игнорирование которых казалось мне совершенно непонятным и требовавшим выяснения, я узнал лишь от лиц, которых допрашивал. Их показания в некоторых случаях носили исключительно сенсационный характер. Между прочим, мне стало известно, что в то время как Крезю, для поддержки своих домогательств получить царицынский заказ, избрал великокняжеские апартаменты Августейшей семьи Великого Князя Владимира Александровича, в частности салон Е.В. Марии Павловны, фирма Виккерса поспешила заручиться симпатиями стоявшего во главе Артиллерийского Ведомства Великого Князя Сергея Михайловича, не без участия в этом лиц его интимного окружения.

Великий Князь Сергей Михайлович был у себя во дворце, на Миллионной, опрошен Верховной Комиссией по всем обстоятельствам, связанным с подначальным ему Артиллерийским Ведомством. Опрос продолжался более трех часов. Ответы Его

Высочества были крайне неопределенны и расплывчаты. Когда я коснулся постановки пушечного производства на Царицынском заводе, в связи с вызывавшей общие нарекания деятельностью фирмы Виккерс, Великий Князь, с тревожным недоумением на бледном лице, поспешно спросил:

– А вы почему это знаете?

После этого он замолк, и каких-либо дальнейших пояснений по царицынскому делу я от него не получил. Позже, встречая меня в Ставке, Его Высочество несколько раз пытался узнать от меня результаты моего обследования царицынского дела. Должен сказать, что наши с ним встречи и собеседования производили не меня впечатление далеко не в его пользу. Косвенным образом они как бы подтверждали то, что мне приходилось слышать в бытность мою членом Верховной Комиссии из уст некоторых опрошенных мною лиц, по поводу неблагоприятной заинтересованности в деле сдачи Царицынского завода фирме Виккерс интимных советников Его Высочества.

Когда мне пришлось, по поручению Верховной Комиссии, заняться обследованием деятельности Царицынского завода, то я узнал от генерала Маниковского, что Военным Ведомством была уже послана в Царицын особая комиссия, во главе с генералом Дроздовым, для выяснения на месте всех недочетов по исполнению артиллерийских заказов. При этом Маниковский присовокупил:

– Пусть Дроздовская комиссия обстоятельно все обследует и нам доложит, после чего мы увидим, следует ли нам с вами самим ехать в Царицын...

Разговор этот происходил 26-го сентября, а 12-го октября я был уведомлен о возвращении Дроздовской комиссии в Петроград.

По поводу добытых ею результатов генерал Маниковский сообщил такие потрясающие данные, что если бы они исходили не от Начальника Главного Артиллерийского Управления, я бы им не придавал значения – настолько они казались неправдоподобными. Генерал указал, что работа Дроздовской комиссии не могла дать существенных и разоблачающих истинное положение вещей результатов, так как протекала в крайне ненормальных условиях, будучи все время направляема и руководима директивами, исходившими от высших инстанций Морского Ведомства. Когда же я задал Маниковскому вопрос, чем же можно объяснить подобное поведение Ведомства, которое, казалось бы, особенно чутко и строго должно было относиться к недобросовестному исполнению Царицынским заводом принятых на себя заказов по морскому артиллерийскому снаряжению – я услышал из уст почтенного генерала, известного своей честностью и прямою, неожиданное сообщение, показавшееся мне столь невероятным, что я был до глубины души потрясен и смог лишь воскликнуть: «Быть этого не может!»

Но дальнейшее обследование заставило меня считаться с тем, что говорил генерал Маниковский и о чем я, с нелегким сердцем, считаю себя обязанным рассказать в своих записках. Обстоятельства, о которых я сейчас скажу, имели, по мнению многих государственных деятелей, прямую связь с назначением меня на министерский пост, что вынудило меня выйти из состава Верховной Следственной Комиссии.

Разоблачения генерала Маниковского коснулись личности Морского Министра адмирала Ивана Константиновича Григоровича, пользовавшегося в то время не только особым благоволением Государя Императора, но и всеобщей популярностью среди членов законодательных палат, высших ведомственных сфер и русского общества. Можно поэтому понять, почему

услышанные мною о нем чудовищные сведения, не могли уместиться в моей голове, привыкшей с уважением относиться к личности Морского Министра. Сообщенные мне ген. Маниковским данные сводились в главных своих чертах к следующему: на борьбу фирм Крезо и Виккерс адмирал Григорович по своему положению мог иметь большое влияние. Он оказал явное предпочтение английской фирме, которая, по постановлению Совета Министров, и получила в свои руки все Царицынское дело, а за оказанную ей услугу якобы щедрым образом вознаградила И.К.Григоровича. Он получил объемистую пачку акций Виккерса. После этого Виккерс приступил к возведению в Царицыне пушечного завода, рассчитанного главным образом на изготовление морского артиллерийского снаряжения. В своей деятельности означенная фирма с самого начала стала уклоняться от исполнения принятых на себя перед русским правительством обязательств в срочности работ, в оборудовании завода и в исполнении заказов. Но все эти недочеты и неисправность Царицынской заводской администрации, несмотря на явную их недобросовестность, не вызывали со стороны заинтересованных Ведомств никаких репрессий и оставались безнаказанными, вызывая лишь бесконечную переписку между начальственными инстанциями Царицына и Петрограда...

Приступив к выяснению положения на Царицынском заводе, я был вынужден заняться как сухопутной, так и морской артиллерией... Между тем, – на все запросы, обращенные мною к Морскому Министру, я или вовсе не получал ответов, или же до моей канцелярии доходили сведения в крайне неудовлетворительном виде.

Сам же адмирал Григорович, встретившись со мною однажды (13-го октября) в колонной зале Мариинского Дворца, в заметно раздраженном тоне задал мне вдруг вопрос: «Что вы

меня допекаете своими запросами? При чем тут мое Ведомство?!». Но после такого неприветливого ко мне обращения, адмирал в дальнейшей нашей с ним беседе сам в кратких чертах обрисовал деятельность Царицынского завода. Его сообщение показалось мне далеко не соответствовавшим всему тому, что мне стало известно из хорошо осведомленных источников. Тогда же я занес по этому поводу в свою записную книжку: «Неужели все в таком же превратном виде Государю докладывается?!»

Разговор с адмиралом Григоровичем произвел на меня крайне неблагоприятное впечатление, но и подзадорил меня. Я бесповоротно решил отправиться в Царицын лично осмотреть пушечный завод. Генерал А.А.Маниковский, не менее меня заинтересованный в правдивом освещении Царицынской «панамы», горячо поддержал мое намерение, высказав пожелание ехать вместе со мною. Дату нашего отъезда мы наметили на 25-ое октября.

От того же генерала я узнали еще одно обстоятельство, являвшееся как бы дополнением получавшихся мною сенсационных сведений об адмирале Григоровиче. По словам Маниковского, после образования Верховной Следственной Комиссии, адмирал будто бы все имевшиеся Виккерсовские акции поспешил изъять из банковских хранилищ и отправить их в Америку через содействие небезызвестного правительственного маклера по заключению иностранных заказов, Гинцбурга.

Сообщение это совпадало с конфиденциальными показаниями только что назначенного Товарищем Министра Внутренних дел С.П.Белецкого. В октябре он заехал однажды ко мне в Мариинский Дворец и с обычным своим заискивающим видом, пожелал сообщить мне, как члену Верховной Комиссии,

ведущему обследованию Царицынского дела «нечто исключительно важное» при этом он оговорился, что может это сделать лишь оставшись со мною наедине. Удалив из кабинета своих секретарей и стенографисток, я пригласил его приступить к изложению его секретных данных. Тогда Белецкий сообщил мне факт, который для выяснения деятельности Царицынского завода мог сыграть исключительно важную роль.

Услыхал я от этого дошлого господина следующее: в связи с правительственными расследованиями ведомственных злоупотреблений, еще до образования Верховной Следственной Комиссии, Белецкий, стоявший в то время во главе Департамента Полиции, по чьему-то распоряжению осматривал банковские сейфы. По его словам, в одном из них, принадлежавшем адмиралу Григоровичу, было найдено значительное количество акций фирмы Виккерс и Ко... Придавая подобному заявлению официального лица, занимавшего ответственную должность по политическому сыску, особо серьезное значение, я, вместе с Тем, счел необходимым предупредить Белецкого, что основывать свое следственное производство на анонимных и секретно получаемых данных я не нахожу возможным, и просил повторить свои показания в присутствии моего секретариата и с занесением его слов в особый протокол.

Каково же было мое удивление и возмущение, когда-товарищ Министра Белецкий по поводу только что выслушанных от него определенных сведений о том, что содержалось в банковском сейфе Григоровича, стал мне об этом факте говорить, как о дошедшем до него слухе, вдобавок не проверенном. Он ссылался на то, что не сам производил осмотр сейфов, а поручил это чиновнику, фамилию которого забыл. Вообще по делу Царицынского завода он ничего определенного сообщить не может.

В таком виде моими стенографистками были запротоколированы повторные показания Белецкого, который по окончании своего уже официального передопроса, как ни в чем не бывало, с обычной подобострастной своей улыбочкой, откланялся и поспешил скрыться.

Вспоминая период моих следственных работ по Царицынскому делу, не могу не отметить одного факта, повлиявшего на меня самым угнетающим образом. На протяжении не более чем месячного срока моего Царицынского обследования (23 сентября – 25 октября) мне пришлось два раза выслушать от Председателя Верховной Комиссии предупреждение, что, ведя следствие по делу Царицынского завода, я должен касаться лишь производства артиллерийского сухопутного снаряжения, отнюдь не затрагивая заказов Морского Ведомства. При этом генерал Петров всякий раз оговаривался, что предупреждение это он делает согласно указанию самого Государя, и вынужден был этому верить, так как до меня доходили настойчивые слухи относительно того, что адмирал Григорович неоднократно позволял себе жаловаться Его Величеству на мои действия, затрагивавшие якобы честь и достоинство вверенного ему Ведомства (?!).

Все эти предупреждения меня не только нервировали, но и в достаточной степени озлобляли. Мои ответы на них генералу Петрову обычно сводились к одному и тому же: «Передайте Его Величеству, – говорил я – что я действую сообразно ведениям своей совести и во имя выяснения той правды, от которой зависит многое в жизни Российского Государства. Скажите также Государю, что на этом пути меня никто и ничто не остановит. Если же моя работа расценивается отрицательно, то прошу меня уволить»...

Но увольнения моего из состава Комиссии не последовало, и я продолжал работать, нисколько не меняя ни объема, ни направления моего следственного производства. Само дело я старался вести возможно объективно, беспристрастно и согласно задуманному мною плану. Те или другие личности, вроде окружения Великого Князя Сергея Михайловича или того же Григоровича, заставлявшие на пути моего Царицынского обследования обращать на себя мое внимание, ничуть не отвлекали меня от преследования намеченных мною для деятельности Верховной Комиссии следственных заданий. Поскольку действия тех или других лиц – в данном случае, Морского Министра – могли приносить явный вред делу воинского снабжения, я считал необходимым производить специальные дознания, что я имел в виду предпринять относительно адмирала Григоровича.

Надо сказать, что после обследования Самарских заводов я вынужден был не только заменить состоявшего при мне полковника Орестова другим, более подходящим, работником, но и просить Комиссию откомандировать в мое распоряжение еще нескольких лиц. Просьба моя была уважена, и вскоре я мог располагать сведущими и способными людьми и давать им поручения в зависимости от хода следственного производства.

Занявшись после Самарских заводов Царицынским делом, я подобрал себе особый штат сотрудников, возглавив его дельным и работоспособным генералом Дроздовым. Что же касается до специального обследования непонятной снисходительности Морского Ведомства и его главы к неисправной деятельности Царицынского завода, то это дело было мною возложено на военного следователя Орлова, который охотно согласился помочь мне в этом ответственном и деликатном дознании.

Наладив все свои дела, мы с генералом Маниковским тронулись 25-го октября в Царицын, но я до места не доехал и, в силу назначения меня Министром, моя следственная деятельность сразу оборвалась.

Не могу не вспомнить по этому поводу характерный разговор, происшедший у меня с Председателем Верховной Комиссии генералом Петровым накануне моего отъезда в Царицын. В то время уже ходили настойчивые слухи о моем назначении на Министерский пост, вместо ушедшего Кривошеина.

24-го октября, после общего заседания Верховной Комиссии, на котором было одобрено мое решение отправиться в Царицын, генерал Петров отзывает меня в сторону, и у нас с ним происходит следующий диалог:

– Согласно данному мне Высочайшему поручению, считаю долгом перед вашим отъездом в Царицын еще раз настойчиво вам посоветовать прекратить ваши следственные дознания по поводу морских артиллерийских заказов»... –

– На это я опять отвечу, – сказал я, – что считаю совершенно немыслимым при расследовании деятельности Царицынского завода выделить из общей массы морские заказы... Совет ваш я исполнить отказываюсь и предпочитаю выйти из состава Верховной Комиссии – так и передайте Его Величеству»...

– А вы слышали о предстоящем вашем назначении вместо Кривошеина?

– Да, – ответил я, – слышал, но этому не верю...

– Напрасно, – с злой усмешечкой заметил мне на это Петров, – я убежден, что подобное высокое назначение вас не минует... Со своей же стороны, я вам по этому поводу могу лишь одно сказать – скатертью дорога!

При этих словах я вздрогнул и уставился на моего седобородого собеседника с его хитрыми, прищуренными, небольшими глазками. Тогда же промелькнула в моей голове мысль, нашедшая потом себе подтверждение у многих из моих близких друзей и коллег... «Меня из Комиссии выставляют»

Последнее предупреждение оказалось пророческим: Морское Ведомство оставлено было в покое, а все начатое мною Царицынское следствие, где были собраны огромные документальные и опросные материалы, после моего выбытия из состава Верховной Комиссии, было сначала передано графу В.А.Бобринскому, а месяц спустя совершенно изъято из делопроизводства, и неизвестно куда на веки сгинуло.

Заканчивая свои воспоминания по поводу Царицынской моей эпопеи, я считаю своим долгом занести в эти мои записи некоторые соображения и выводы, являющиеся своего рода итогом накопленных за время моих следственных работ впечатлений.

Прежде всего, несмотря на казавшуюся предоставленную мне по положению члена Верховной Комиссии широту полномочий и самостоятельность действий, – работа моя протекала в чрезвычайно неблагоприятных условиях, зависевших от произвола отдельных влиятельных лиц и создававших величайшую помеху именно для осуществления того основного задания, ради которого была образована Комиссия. Работа моя оборвалась. Я не имел возможности проверить слухи, порочащие Григоровича.

С именем адмирала, поскольку оно фигурировало в Царицынском следственном производстве, – у меня связано немало тяжелых воспоминаний. Слишком это имя высоко расценивалось русским обществом, к составу которого я и себя причислял, – чтоб без твердо проверенных оснований произнести над ним

суровый приговор. Все, что я услышал порочащего личность Григоровича, я держал в своем делопроизводстве в величайшей тайне. Игнорировать эти данные я не имел права и всеми силами стремился обставить обследование так, чтобы лишь при получении одних бесспорных доказательств возможно было публично высказать окончательное суждение о Морском Министре. Таковы были мои директивы генералу Дроздову и следователю Орлову. Судьба следственного производства читателю этих записок известна: так и осталось невыясненным, по чьему хотению и велению было прервано Царицынское расследование, включая и вопрос об адмирале Григоровиче.

Прошло с тех пор немало времени. Много всякой и чистой и мутной воды утекло в общем водовороте событий после 1917 года... Революционная стихия на своем беспощадном пути смыла все прежнее – доброе и злое... Не стало России... Отошел недавно в Ментоне в иной, как говорят, лучший мир и бывший Министр Григорович. Судьбе было угодно, чтобы я, как единственный из его бывших коллег, проживавший на французской Ривьере, присутствовал на похоронах и проводил его прах на Ментонское кладбище.

На погребальной службе, в небольшой, благолепно отделанной церковке, стоя рядом с покрытым Андреевским флагом дубовым гробом, где лежали останки адмирала, я, молясь за его упокой, невольно переносился мыслями в прошлое, и в моей голове пронесся весь цикл воспоминаний о покойном Иване Константиновиче, включая столь волновавший меня в былое время неразгаданный вопрос – был ли на самом деле Григорович лично причастен к той Царицынской «заинтересованности»? Под влиянием этих дум, стоя у праха покойного адмирала и видя перед собой церковный алтарь, за которым незримо присутствует высший нелицеприятный и всемилостивый Судия, я

задался мыслью сам себе ответить, имею ли я основание продолжать носить в своем уме и сердце ту долю подозрения к Ивану Константиновичу, которую невольно на меня навели мои следственные работы по Царицынскому заводу?...

Один за другим вставали факты, превратившиеся в непрерывную последовательную цепь соображений... С одной стороны, вспомнились уверенно звучавшие и столь поразившие меня, уличающие показания такого авторитетного чина, каким являлся Начальник Главного Артиллерийского Управления генерал Маниковский; с другой – странная снисходительность Морского Ведомства и его главы к деятельности Царицынского завода и к обнаружившимся там дефектам; затем, чрезвычайно загадочное для меня отношение самого Григоровича ко мне лично – сначала, резко недружелюбное, а после назначения меня Министром ставшее очень любезным; и наконец, – неожиданная судьба всего начатого мною Царицынского следствия, которое, после моего выхода из Верховной Комиссии, было предано полному забвению. С другой стороны – отказ Белецкого от первоначально данных мне показаний – единственных, которые могли бы служить некоторым подтверждением «заинтересованности» Григоровича в сдаче Царицынского завода фирме Виккерс. Все это не давало возможности его осуждения за то, что ему было приписано в показаниях генерала Маниковского. Не случайно при допросе меня 4-го апреля 1917 года в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства я счел долгом уклониться от «категорического» указания на адмирала Григоровича, как на лицо, особенным образом «заинтересованное» в судьбах Царицынского завода.

Приходили в голову также нижеследующие соображения: первое время после вспыхнувшей революции и октябрьского

большевистского переворота 1917 года И.К.Григорович – оставался в Петрограде, и лишь лет за пять до своей кончины, последовавшей 5-го марта 1930 года, ему удалось выбраться из Совдепии и обосноваться на юге Франции, где он тихо проживал в более чем скромной комнатке в Ментоне, в условиях близко граничивших с нищетой. Последнее обстоятельство, на мой взгляд, являлось наиболее реальным опровержением слухов о прикосновенности почтенного адмирала к материальным выгодам, якобы предоставленным ему в свое время фирмой Виккерс и Ко... Фабула о переводе Гинцбургом в Америку значительного количества Виккерсовских акций, якобы принадлежавших Григоровичу, также сама собой отпадала, при виде обнищавшего бывшего Морского Министра, ютившегося в бедной обстановке и зарабатывавшего на свое пропитание продажей акварельных рисунков собственного изделия...

В конечном итоге всех моих дум и воспоминаний, связанных с личностью усопшего Григоровича и явившихся как бы подведением прежних моих с ним служебно-житейских счетов, в душе моей зародилось непреодолимое желание при прощании с его прахом откинуть в сторону все былые недобрые о нем мысли и восстановить в своем уме и сердце то представление об его высоких личных и служебных достоинствах, которое существовало относительно последнего Морского Министра Императорской России среди всех слоев населения, начиная с Царя и кончая рядовым матросом.

Думается, что душевный порыв, натолкнувший меня, при отдаении последнего долга усопшему адмиралу, на примирительное к нему отношение, был мне подсказан свыше.

На днях я услышал от бывшего помощника Управляющего делами Совета Министров, Аркадия Николаевича Яхонтова, не-

которые интересные данные, подтверждающие мои бывшие сомнения в личной виновности Григоровича, и справедливость моих надгробных о нем дум.

Вскоре после появления на Ривьере вырвавшегося из Совдепии адмирала, у Яхонтова был с ним разговор, который в прошлом объясняет многое. Сильно состарившийся и одержимый серьезным недугом Григорович обрадовался встрече с человеком, которого в дореволюционное время близко знал, и стал вспоминать бывшие страницы своей службы, а также той тяжелой жизни, которую ему пришлось испытать после большевистского переворота 1917 года. «Но самое горькое и невыносимое для меня – чуть не со слезами на глазах поведал Григорович Яхонтову – было то, что, проживая в Петрограде на положении простого смертного, я узнал про себя, как бывшего Морского Министра, невероятные вещи – меня называли и вором и мошенником, даже предателем!... Только тогда я понял, кем я был в свое время, находясь на ответственном министерском посту, окружен и кому я доверял! Лишь тогда у меня на все открылись глаза и сознание это было для меня убийственным!»...

134

7 ноября 1915 года я в последний раз принимал участие в заседании Верховной Следственной Комиссии, Председатель которой генерал Петров, объявив о моем назначении Министром Земледелия, приветствовал меня с актом Высочайшего доверия, к чему присоединились все мои коллеги и весь наличный состав канцелярии.

Участвовать в работах Верховной Следственной Комиссии пришлось мне не более трех месяцев (с августа по ноябрь). Вместо меня был назначен член Государственного Совета от Тамбовского земства – Владимир Михайлович Андреевский.

Оглядываясь на прошлое, задаешься вопросом – какой же результат получился в конечном итоге следственных работ Верховной Комиссии, и смогла ли она оправдать возложенные на нее Царем и обществом надежды? – Ранее я указал некоторые ее дефекты – бессистемность, отсутствие наказа, предопределяющего как самый ход работ, так и взаимоотношения членов коллегии между собой и к служебному штату.

В силу этого во всей разносторонней деятельности Комиссии слишком много зависело от личных качеств и способов действия ее Председателя. Ему полагалось периодически представлять Государю доклады о ходе работ Комиссии с приложением особых записок, по наиболее существенным ее постановлениям. Подобные записки не всегда докладывались предварительно г.г. членам Комиссии. Бывали случаи, когда по поводу редакции и сущности некоторых из них раздавались со стороны членов, даже таких сдержанных, как И. Я. Голубев, протестующие голоса. Но это мало смущало невозмутимого по виду Петрова. Меж тем практический смысл следственных работ Верховной Комиссии, главным образом, состоял в принятии тех или других мер по упорядочению воинского снаряжения, которые зависели не от обследований, а должны были явиться результатом всеподданнейших докладов. Были, однако, и. случаи, когда заинтересованное ведомство пользовалось данными следствия и принимало соответственные меры к улучшению снабжения. Таким образом было поступлено с упорядочением деятельности Самарских заводов после моего о них доклада.

С 1916 года деятельность Верховной Следственной Комиссии заметно стала ослабевать и, в конце концов, совершенно заглохла. ее место заняла мощная организация – Особое Совещание по Обороне, специально ведавшее делом воинского снабжения и действовавшее столь успешно, что за один 1916 год оно смогло преодолеть все былые недочеты и заготовить должное боевое снаряжение для всей многомиллионной Императорской Армии.

Заканчивая цикл своих воспоминаний, связанных с деятельностью Верховной Следственной Комиссии, я должен отметить ту несомненно зачительную роль, которую сыграло названное учреждение в деле временного успокоения общественных тревожных настроений, грозивших в июле – августе 1915 г. перейти в опасное для государственного спокойствия состояние всенародного озлобления и гнева. В этом отношении Верховная Следственная Комиссия оказала государству огромную услугу, предоставив власти возможность» в более или менее благоприятно спокойной обстановке, собраться с силами и достигнуть добрых результатов по боевой подготовке русской армии.

135

Согласно моему стовору с генералом А.А.Маниковским, мы должны были выехать из Петрограда в Царицын 25-го октября.

Перед моим отъездом на вокзал, у меня в номере Европейской гостиницы состоялся обед с самарцами – гр. А.Н. Толстым, Б.Н.Карамзиным и С.Д.Самариным. Двое последних были от самарского дворянства выборщиками и только что принимали участие в Всероссийском съезде, собранном для избрания членов Государственного Совета от дворянства. Накануне дня мо-

его отъезда выборы закончились, и пришедшие ко мне проститься земляки-самарцы передавали свои далеко не радостные впечатления, которые они в течение ряда дней наблюдали на съезде.

Под влиянием общей нервности и всевозможных слухов, сословные выборщики отошли от прежних обычаев, отличавшихся общей согласованностью и взаимной уступчивостью. С первого же дня съезда обнаружился резкий раскол. Образовались две непримиримые группы, с явным преобладанием лево-оппозиционного течения. Борьба шла между обеими сторонами упорная и продолжительная. В конце концов, в Верхнюю законодательную палату избраны были лица, выставленные левой группой (Менделеев, Скадовский и др.).

Во всяком случае, дворянские выборы в Государственный Совет, по всей своей обстановке и результатам, явились показателем общего тревожного настроения, которое переживала страна в описываемую эпоху.

Выехав 25-го октября из Петрограда, я имел в виду заехать на некоторое время к своим в Самару, побыть в родном кругу и провести вместе с моей старушкой матерью день ее именин – 28-е октября. К заезду в Самару принуждали меня также и неотложные предводительские дела.

Остановившись от поезда до поезда 26-го октября в Москве, я, как обычно, просмотрел с доверенным А.А.Семеновым свои конторские дела и повидался с А.Д. Самариным, с которым откровенно поговорил насчет слухов о назначении меня Министром, вместо Кривошеина. Самарин горячо одобрил мое бесповоротное решение от этой высокой, но по многим соображениям тяжелой чести уклониться.

В Самару я приехал в ночь с 27-го на 28-е октября, во втором часу утра. С радостным чувством попал я, наконец, в родную обстановку нашего чудного и уютного дома. Несмотря на поздний час, меня встретила обрадованная нашим свиданием жена и милая моя старушка мать.

Войдя к себе в кабинет, я принялся пересказывать жене кое-какие столичные новости. Передо мною, на письменном столе, лежала папка, куда обычно секретарь дворянства клал бумаги срочной важности. Прежде всего бросилась мне в глаза лежавшая сверху нераспечатанная телеграмма. Продолжая беседовать, я ее раскрыл. Надо думать, что читая ее я сильно изменился в лице, так как жена с тревогой в голосе меня спросила: – Что случилось?!

Содержание депеши оказалось следующее: «Покорнейше прошу Ваше Превосходительство возможно незамедлительно пожаловать Петроград. Статс-Секретарь Горемыкин». Для меня стало очевидным, что подобный срочный вызов находится в прямой связи с настойчивыми слухами о моем назначении Министром.

Передав телеграмму жене, я долгое время сидел молча, охваченный вихрем овладевших мной дум и чувств... Усевшись затем вместе с верной моей спутницей, Анютой, на любимом угловом диване, я рассказал ей столичные слухи о моем назначении Министром, и о тех невеселых перспективах, которые меня ожидали в будущем. Закончил я нашу ночную беседу заверением, что со своей стороны я предприму все возможное, чтобы избежать готовящейся мне страшной участи.

Горемыкинская телеграмма круто изменила намеченный мною порядок жизни и действий. О Царицыне нечего было и думать, так же, как и о желанном, хотя бы кратком отдыхе в Самаре.

Проведя 28-е октября в кругу своей семьи, где в этот день праздновались две именинницы – моя мать и дочь Пашенька, я вынужден был задержаться в Самаре еще на одни сутки, в силу целого ряда неотложных служебно-общественных дел.

Днем 29-го октября состоялось в доме Дворянского Собрания скромное торжество освящения иконы, сооруженной самарским дворянством в честь 300 летнего юбилея царствования Дома Романовых, после чего собравшиеся дворяне устроили частное совещание, на котором обсуждался ряд вопросов, связанных с деятельностью местных общественных организаций, работавших на нужды военного времени. По этому поводу раздавались сетования на то, что усилия Самарского военно-промышленного комитета не могли давать желательных результатов из-за крайне неудовлетворительного состояния путей сообщения, причинявшего постоянные задержки в доставке нужного материала, а также вследствие неосвобождения от воинского призыва необходимого для работ технического персонала.

На том же совещании некоторыми дворянами был возбужден вопрос, нервировавший в то время всех более или менее мысливших людей. Зашла речь о роли гр. Распутина в близких к царской семье сферах, о его вмешательстве в государственное управление, о слухах по поводу отстранения Государя и замене его Императрицей Александрой Феодоровной в качестве регентши и т.п. Надо сказать, что главным виновником, будоражившим самарское общество, являлся неудовлетворенный царским вниманием, болезненно неуравновешенный, В.Н.Львов, всякий раз по приезде своем в Самару привозивший запас чудовищных слухов. Пользуясь положением старшего сословного избранника, я считал своим долгом посильно успокаивать возбу-

дораженные умы своих дворян, убеждая их с особой осмотрительностью относиться к распространяемым по стране ложным слухам. Я брал на себя смелость с уверенностью опровергать распускаемую клевету про Августейшую семью, т.к. был "убежден в примерной чистоте их семейного уклада. Также не верил я ни в пораженческие настроения, приписываемые Государыне Александре Феодоровне, ни тем более в ее, якобы, вероломные намерения предать Россию во вражды руки.

Влияние Распутина на психику Императрицы несомненно существовало. С этим фактом волей-неволей приходилось, с тяжелым чувством, считаться и бороться. Но бороться надлежало, конечно, не путем открытого всенародного дискредитирования династического и монархического стяга, ослабляя его огромное объединяющее значение для целостности и мощи Империи, ее тыла и всего боевого фронта. В целях этой борьбы, всему русскому обществу, и прежде всего – высшим петроградским чиновным кругам надлежало единодушно разоблачить сибирского проходимца в глазах мистически настроенной царицы. Меж тем, вместо подобной борьбы, не мало лиц, принадлежавших к столичному высшему обществу, под влиянием своекорыстных и честолюбивых побуждений, не только не чуждались Распутина, но своим поведением упрочивали его положение. Распутин, в некоторой части столичного общества, встречал не протест, а угодничество, что служило к вящему его возвеличению в глазах Государыни, которая была признательна «сибирскому старцу» за врачевание ее любимого сына. Положение Распутина создавало недоверие царицы, а беспринципный оппортунизм светского общества. Вместо того, чтобы открыто и смело всячески бойкотировать Распутина, общество, а за ним и вся страна, принялись грязью забрасывать безупречно чистую царскую семью,

чернить и ломать национально боевую скрепу всей Российской Империи. Результаты налицо!

30-го октября я выехал из Самары обратно в Петроград, напутствуемый своими многочисленными сословными и общественными сотрудниками и друзьями, с которыми пришлось в силу необходимости поделиться своими опасениями по случаю экстренного вызова меня в столицу, и от которых я выслушал единодушный совет пойти навстречу царскому выбору и желанию.

Утром, 1-го ноября, я был уже у себя в номере Европейской гостиницы, где меня ожидал чиновник, передавший мне приглашение И.Л.Горемыкина быть у него в 2½ ч. дня. Утро у меня прошло в непрерывных переговорах, личных и по телефону, с целым рядом друзей, знакомых и многочисленными газетными сотрудниками. Было ясно, что вопрос о моем назначении на министерский пост сделался известен петроградскому обществу.

Повидался я с моим двоюродным братом, членом Государственной Думы А.М.Наумовым, сообщившим мне, что слух о моем назначении встречен в Таврическом Дворце весьма благосклонно. Виделся я затем с Алексеем Борисовичем Нейдгардтом, председателем той группы членов Государственного Совета, к которой я себя причислял. По обыкновению спокойный, взвешивавший каждое свое слово, Алексей Борисович убеждал меня принять предлагаемый пост по ряду соображений, из которых самым существенным, по его мнению, было то, что я являлся практиком сельским хозяином и опытным земцем. Заканчивая свою беседу со мной, он сказал: – Такие люди теперь для России нужны. Судя по всему, как бы вы ни отговаривались, вряд ли вам удастся вывернуться!...

Как раз обратное выслушал я от А.Д.Самарина, который горячо настаивал, чтобы я отказался от должности Министра.

В условленный час я вошел в кабинет к И.Л.Горемыкину, который встретил меня и провел всю нашу довольно длительную беседу чрезвычайно любезно и, я бы сказал, даже задушевно. После февральской революции, А.Н.Хвостов, давая показания в Чрезвычайной Следственной Комиссии, совсем иначе обрисовал этот разговор.

Сообщив об уходе А.В.Кривошеина, Горемыкин обратился ко мне со следующими словами:

– Перед отъездом на фронт Его Величеству благоугодно было поручить мне передать вам его Высочайшую волю, чтобы вы приняли на себя освободившийся пост Министра Земледелия. При этом я обязан довести до вашего сведения, что кандидатура ваша исходит непосредственно от самого Государя Императора, слова коего привожу вам подлинные: «Я Наумова хорошо знаю, и хочу видеть его своим Министром».

Выслушав не без волнения сообщение Председателя Совета Министров, я обратился к нему с просьбой прежде всего довести до сведения Его Величества мою верноподданническую благодарность за оказанную честь и доверие. Вместе с тем, я горячо просил Горемыкина быть ходатаем за меня пред лицом Государя, в смысле освобождения меня от принятия предлагаемой должности. Основным мотивом моего решения я выставил свою неподготовленность для принятия обязанностей Министра Земледелия, поставленного во главе продовольственного снабжения фронта и многих тыловых областей Империи. Я настойчиво доказывал Горемыкину всю нежелательность назначения лица, совершенно незнакомого с постановкой сложного и ответственного дела, исключительной государственной важности. Было бы рациональнее поручить его лицу, преемственно связанному с деятельностью уходящего Кривошеина. Всякий новый человек, не стоявший раньше близко к

имперской продовольственной организации неизбежно потратит немалое время для ознакомления с ней, что может неблагоприятно отозваться прежде всего на общем ходе снабжения армии. Помимо этого, я выразил Горемыкину желание свое довести до конца возложенное на меня Государем дело, тоже исключительно серьезного государственного значения, – работу Верховной Следственной Комиссии.

Мое обращение к престарелому Ивану Логгиновичу носило характер искренней просьбы. Он отнесся ко мне тепло и задушевно. То, что пришлось мне позже прочесть, как сказано выше, в показаниях бывшего Министра Внутренних Дел А.Н. Хвостова, а также то, что, со слов Хвостова, писала Государю Императрица Александра Феодоровна по поводу моего отказа от назначения – не соответствует действительности.

В своем письме от 3-го ноября 1915 года за № 1483 Государя пишет следующее:

«По-видимому старик (т.е. Горемыкин) предложил не в любезной форме министерский пост Наумову, так что тот нашел себя вынужденным отклонить предложение»...

Хвостов же в своих показаниях говорит так: «Я спросил Наумова, было ли ему какое нибудь предложение. Он говорит: «Избави меня Бог от всего этого: позвал меня Горемыкин, сел ко мне почти спиной, и так предложил. Раз мне было в такой форме предложено, этого довольно. Он сказал, что Государь поручил это передать, но от себя – никаких слов приглашения. Тогда я, конечно, отказался». Я почувствовал из этих слов, что это отказ неискренний, что форма предложения Горемыкина его не удовлетворила, хотя он и говорил: «Хорошо, что так вышло, я не принял бы эту должность». Когда я приехал в Ставку и бывший Император подал мне это письмо с отказом Наумова, я ему сказал, что по моим сведениям Горемыкин к нему сел спиной»...

Повторяю и утверждаю, что почтенный Иван Логгинович не только не повернул мне спину, но отнесся к моему нелегкому положению чрезвычайно отзывчиво и явно душевно!

Вслушав мои все доводы, Председатель Совета Министров заявил, что в данное время он лишен возможности лично видеть Государя, находившегося на одном из западных фронтов. Он просил меня написать Его Величеству письмо, в котором он рекомендовал изложить то, что мною ему было только что сказано. Со своей стороны, старик обещал тоже написать Государю, прося удовлетворить мое ходатайство не давать мне министерского поста.

Беседа наша с Иваном Логгиновичем на этом не ограничилась. Задержав меня еще на некоторое время и угощая меня чаем, он перешел на разные животрепещущие темы, связанные с ходом военным действий и политическим положением страны. Коснувшись личности Государя, он подчеркнул, что в сношениях с Его Величеством надлежало бы, по его мнению, всегда считаться с женственностью его характера.

Вызванный на откровенный разговор, я не мог не поделиться с почтенным хозяином некоторыми своими соображениями по поводу государственного управления, в основу которого я клал сильную, согласованную в своем единстве, власть. Параллельно с этим, в стране, сверху до низу, должен быть установлен планомерный всесторонний контроль, в лице реформированного Сената. Коснулся я также роли земства, как желательной основы всего представительного строя государства... «Напишите-ка все это Государю!», – промолвил мне своим тихим, но внушительным голосом Горемыкин.

Вернувшись к себе домой, я застал в своем номере А.Наумова и, кроме того, с нетерпением ожидавших меня В.Н. Львова

и гр. В.А.Бобринского которые, с присущей им обоим горячностью, накинулись на меня с уговорами – во что бы то ни стало отказаться от предложенного мне портфеля, считая назначение на пост Министра в условиях переживаемого времени делом непопулярным, и советуя мне «сохранить себя для будущего.»

От исступленных выкриков темпераментных моих посетителей – Бобринского и Львова – в номере стоял невероятный шум, что, признаюсь, немало мешало мне составлять письмо на имя Государя, которое должно было быть строго обдуманно и обстоятельно изложено. Письмо это я обещал Горемыкину лично привезти часа через два, чтобы его ему прочесть и с особым курьером отослать в Ставку, к Государю. Пришлось, несмотря на помехи, спешить. В конце концов, письмо было написано, и даже единодушно одобрено всеми свидетелями моего творчества.

В своем письменном обращении к Царю, я всеподданнейше просил освободить меня от принятия министерского поста, мотивируя свое ходатайство соображениями, высказанными Горемыкину. Я прибавил, что вся прежняя моя служба и общественная деятельность проходили в условиях независимости и самостоятельности, которые зиждились на доверии ко мне моих местных избирателей. Я прошу Государя оставить меня в привычной для меня обстановке работы, где я смогу принести больше пользы, чем в совершенно чуждой для меня среде высшей столичной бюрократии.

В условленный час, я вновь посетил Горемыкина, который, прочтя мое письмо, его одобрил, присовокупив от себя: «Думаю, что Государь насиловать вас не будет!»

Вечером того же дня я был у А.В.Кривошеина, который, как он меня заверял, «жаждал» меня видеть... Встретив меня с подчеркнутой любезностью, Александр Васильевич стал горячо

упрекать меня за мой отказ, назвав при этом меня «единственно достойным» заместителем по его ведомству... (как мне потом стало известно – тот же Александр Васильевич проводил себе в преемники Г.В.Глинка). Расставаясь со мной, Кривошеин бросил мне памятную фразу: «ce qui est remis n'est pas perdu!»...

С этого дня началось для меня выжидательно «кошмарное» (так определил я его в моем дневнике) время. Нескончаемые расспросы, вызовы, визиты, переговоры, непрерывные телефонные звонки... Толчая людей, слов и переживаний...

2-го ноября, словно золотыми обручами стянутый в камергерском мундире, заезжает ко мне от Великой Княгини Марии Павловны Министр Внутренних Дел, с пухлой, но плутовской физиономией, жирный Алексей Николаевич Хвостов, просидевший у меня не менее двух часов и успевший наговорить мне кучу всяческих придворных сплетен, своих личных соображений и по моему адресу незаслуженных комплиментов.

Еле помещаясь в кресле, жестикулируя коротенькими ручками вокруг своего объемистого живота, Хвостов говорил красно, убаюкивая своего собеседника задушевной вкрадчивостью своего тона и голоса. Прежде чем приступить к пересказу, хотя бы краткому, разговора моего с Министром Внутренних Дел, я должен здесь отметить, что содержание нашей беседы, очевидно, легло в основание той части показаний А.Н.Хвостова Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 г., которую я уже приводил выше, и которая абсолютно не соответствовала истине.

Хвостов начал с того, что стал высказывать сожаление по поводу моего отказа, и принялся настойчиво меня просить взять его обратно. Про Горемыкина и его поведение по отношению ко мне ни слова не было сказано. Надо сознаться, что особой охоты откровенничать с сидевшим передо мною типом,

симпатий к которому я никогда не ощущал, у меня не было. Ограничился я лишь указанием на мое бесповоротное решение не принимать министерского поста. При этом я невзначай обронил, фразу, заставившую всю жирную, зажатую в тесный раззолоченный мундир, фигуру моего собеседника заерзать. «Слишком я дорожу, – сорвалось у меня с языка, – своей независимостью и репутацией, чтобы менять все это на министерское звание, назначения на которое за последние времена вызывают в обществе немало порочающих слухов»... Засопев и торопясь, Хвостов стал меня уверять, что мое назначение исходит непосредственно от Государя; что мое имя стоит вне всяких слухов и подозрений, и что, напротив, – мой отказ «дает дорогу подлинному Распутинцу – Глинке», товарищу Министра Земледелия, о кандидатуре которого настойчиво, но неудачно, хлопотал Кривошеин. Что же касается Распутина, то он, Хвостов, пошел в Министры, задавшись специальной целью скорейшим образом этого лихого старца извести. Пока им – Хвостовым поручено кому следует «Гришку» всемерно «спаивать», а месяца через два этот «фатальный» человек будет «ликвидирован». В своих циничных признаниях Хвостов не постеснялся обрисовать воображаемую им обстановку намеченного плана: Распутин, приглашенный им в железнодорожный вагон для совместного путешествия, как бы нечаянно, на ходу, сваливается с площадки вагона и... попадает под колеса...

Смотрел я на раскрывавшего передо мной свои тайные замыслы Министра Российской Империи, слушал его циничную брехню и приходил в ужас от той страшной действительности, которая окружает трон и правит государством!

Перескакивая затем с одного вопроса на другой, обнаруживая при этом удивительную осведомленность обо всех даже

мельчайших, подробностях столичной жизни, Хвостов закончил свой затянувшийся визит бахвальным заверением, что он, как Министр Внутренних Дел, никаких революционных эксцессов не боится, ибо, по его мнению, ни английское, ни французское посольства этого в России не допустят!

От посещения Хвостова у меня осталось впечатление самое тяжелое. В моем дневнике помечено: «пройдоха». Держался я с ним впоследствии настороже, с опаской ему доверяя и ограждаясь от его ведомственного вмешательства самым решительным образом.

136

В ожидании царского приговора по моему ходатайству я оказался лицом, привлечшим всеобщее внимание. Оно проявлялось по-разному: одни меня за посланный Царю отказ одобряли, другие упрекали, но были и такие добрые люди, которые меня попросту жалели.

Вспоминается мне откровенный разговор с Председателем Государственной Думы, М.В.Родзянко, который высказал мне сожаление по поводу моего отказа. Он указал на необычайно тяжелое положение, создавшееся в стране вследствие отсутствия порядка в снабжении... «Вам ни в коем случае не следовало, отказываться, – закончил Родзянко своим низко басовым голосом, – время подошло для всех нас жертвенное – надо спасать Россию!»...

В том же духе приходилось мне слышать речи и от других лиц, принадлежавших к различным столичным кругам. Многих тревожил не один только вопрос упорядочения снабжения, но и общее политическое положение в стране. Указывалось на распущенность тыла и на усиливавшееся революционно аграрное

настроение среди солдатства. Видимо назревала срочная необходимость принять предупредительные меры.

Не могу не отметить здесь одной моей встречи в стенах Мариинского Дворца с человеком, видимо страстно мечтавшим попасть на высший пост. Через год он достиг своего желания и, в качестве Министра, сыграл в последний период царствования Государя Николая II роль роковую и историческую. Я говорю о симбирском депутате Александре Дмитриевиче Протопопове, который при встрече со мной, стал меня слащавым голосом, пересыпая речь французскими словечками, упрекать за посланный Царю отказ. С неподдельной искренностью он восклицал: «Разве возможно отказываться идти в Министры?!... Подумайте, дорогой Александр Николаевич, – в Министры?!»

Приходилось выслушивать речи, одобрявшие мой образ действия. Член Государственного Совета В.И.Карпов и генерал Маниковский мне прямо говорили, что назначение меня в Министры непосредственно связано с желанием исключить меня из состава Верховной Следственной Комиссии. Эта версия одно время упорно циркулировала среди столичной прессы, мне это лично передавал сотрудник «Русского Слова».

Первой ласточкой, принесшей мне весть о царском решении, явился А.В.Кривошеин, заехавший ко мне днем 6-го ноября. Он сердечно меня обнял и сообщил о состоявшемся Высочайшем назначении моем на пост Министра, вопреки моему отказу. Об этом он только что по телефону узнал от А.Н. Куломзина и поспешил меня поздравить. Просидев у меня довольно продолжительное время, Кривошеин успел дать более или менее подробную характеристику всем своим бывшим ведомственным подчиненным – моим будущим сотрудникам. При этом, расставаясь со мной, он настойчиво советовал Глинку оставить в качестве заведывающего продовольствием.

Но другой день, 7-го ноября, к 2 м часам дня, меня вызвал к себе Председатель Совета Министров Горемыкин, встретивший меня следующими словами: «Должен сообщить для вас пренеприятную весть – ваш отказ не принят. Государь назначил вас Управляющим Министерством Земледелия. Вот резолюция Его Величества»... И с этими словами Иван Логгинович передал мне пакет, в котором я нашел два письма, адресованные на имя Государя – одно написанное мною, а другое – Горемыкиным. На левом краю последнего я увидал и прочел собственноручно начертанную резолюцию Государя. В ней говорилось, что изложенные в моем письме основания отказа являются, по мнению Его Величества, подтверждением моих достоинств и моей честности. В силу этого соображения, Государь еще более убежден в правильности своего выбора. Затем с красной строчки было Его Величеством начертано: «Назначаю А.Н.Наумова Управляющим Министерством Земледелия». Мне ясно вспоминается, как в первый момент по прочтении Государевой резолюции меня охватило чувство жуткого отчаяния и, вместе с тем, досадного недоумения. Сам собой напрашивался вопрос: как можно назначать в Министры человека против его желания?! Немалое время я молчаливо обдумывал создавшееся положение. Внутри меня боролись два чувства – общечеловеческий протест против насилия над свободной волей человека, и сознание долга и обязанностей верноподданного монархиста. Последнее взяло верх и я сказал: «Вынужден подчиниться воле своего Государя», на что Горемыкин в свою очередь глухо добавил: «Что же делать! – Будем теперь вместе работать»...

Итак, то страшное, что до сих пор мне мерещилось точно чудовищный кошмар, стало беспощадной действительностью. Стихийная волна захлестнула меня, подхватила на свой бушующий гребень и понесла в неизвестность. Немало сил пришлось

употребить, чтобы удержаться на ней и спасти не столько себя самого, сколько переданное мне в управление плохо оснащенное судно, до верху перегруженное «вневедомственным» грузом. Ведь от Кривошеина ко мне переходило не только Министерство Земледелия, но и колоссальное задание продовольственного снабжения.

Указ о моем назначении был получен лишь 13-го ноября, после чего я официально вступил в должность и принял в свое заведывание Министерство. Между объявленной мне Горемыкиным Царской резолюцией и получением Высочайшего указа, темп моей жизни принял совершенно лихорадочный оборот. С утра до ночи приходилось принимать массу людей, спешно знакомиться с Министерством, а главное с продовольственным делом и приспособляться к непривычным условиям моего нового служебного положения.

Я распростился со своими сотрудниками по Следственной Комиссии.

Председатель Комиссии, генерал Петров, неожиданно сказал на прощанье теплое напутственное слово. Он высказал, между прочим, ту мысль, что русскому национальному делу и могуществу великий вред приносит не немецкое засилие, как о том принято теперь кричать, а «собственная наша русская лень и равнодушие»...

Мало толка усматривал Петров и в образовании «прогрессивного блока», по поводу которого на том же «прощальном» заседании С.Т.Варун-Секрет мне, между прочим, сказал, что; по его мнению, программа, положенная в основание этого объединения, составлена так туманно и широко, что неизбежно вызовет резкий раскол. В программу блока требование ответственного министерства еще не вошло, но, прибавил он, – за будущее

ручаться нельзя и по окончании войны это требование всплывет во всей своей силе...

До получения мною Высочайшего Указа заходили ко мне старшие чины Министерства Земледелия с целью ознакомления с предстоявшими мне отраслями управления. Посетил меня также А.В.Кривошеин, со своим ближайшим сотрудником Григорием Вячеславовичем Глинкой. Они пробеседовали со мною целый вечер о продовольствии.

С образованием осенью 1915 года «Особых Совещаний», Министру Земледелия, по положению Председателя Особого Продовольственного Совещания, естественно пришлось принять на себя все руководство и ответственность по продовольствию действующих армий, а также и некоторых областей Империи. Размеры этого снабжения изо дня на день ширились и заведывание им осложнялось. Меж тем само «Особое Продовольственное Совещание», по многочисленности и разнохарактерности состава, было учреждением мало приспособленным для срочной выработки быстрых и решительных мер для удовлетворения неотложных продовольственных нужд. Означенное «Особое Совещание» представляло собою скорее подобие небольшого парламента со всеми присущими ему особенностями и недостатками...

Наряду с подобным многоголовым и громоздким учреждением, ощущалась необходимость образовать особый деловой аппарат, который мог бы разрабатывать и создавать планы и способы действий, представлять их на обсуждение и утверждение Особого Совещания, и проводил бы их затем в жизнь. Силою вещей подобным аппаратом явилось само Министерство Земледелия.

Кривошеину пришлось откомандировать значительное количество своих чиновников в образованные при Министерстве

Земледелия специальные отделы, обслуживавшие разнообразные продовольственные потребности.

Главным помощником Кривошеина, руководившим продовольственной организацией, являлся Григорий Вячеславович Глинка. На равных с ним правах был другой член Совета Министров – Ленин. Он заведывал самостоятельно некоторыми отраслями продовольствия – мясом, сеном, маслами и др., а Глинка занимался зерновыми, мучными продуктами и сахаром. Он пользовался у Кривошеина некоторым старшинством, и в нужных случаях замещал его на заседаниях Особого Продовольственного Совещания.

Надо отметить, что продовольственная организация еще ни в общем, ни тем более в деталях, не была достаточно налажена. Из разговора с Кривошеиным и Глинкой я вынес впечатление, что все их действия носили случайный характер, что у них не было определено, разработанного плана на будущее. В их суждениях и разъяснениях сказывались крайняя нервность и сбивчивость.

Сославшись на то, что в деле продовольствия армии ближайшей задачей представляется необходимость установления «конвенционного соглашения» распорядителей тылового транспорта с начальниками железнодорожного движения в военных районах, Кривошеин стал затем путанно меня знакомить с общими заданиями и деятельностью подведомственных ему продовольственных организаций, все время обращаясь за справками к Глинке, который, со своей стороны, произвел на меня тогда самое безотрадное впечатление.

Опершись локтями в колени и неприветливо глядя на меня исподлобья, Глинка с видимой неохотой исполнял просьбу своего бывшего принцепала и давал мне по самым животрепещущим вопросам туманные и неутешительные объяснения. Я в

конце концов, не выдержал и высказал свое опасение за дальнейший ход возложенного на Министра Земледелия продовольственного задания.

Тогда из уст Глинки, моего будущего ближайшего сотрудника, я наслышался таких неожиданных малоутешительных и панических предсказаний, что не без явного недоумения я воззрился на Кривошеина, как бы мысленно его спрашивая: «Что это? – Правда, или же способ запугивания?» Чуткий Александр Васильевич понял неуместность подобного выступления своего сотрудника, которого он мне так рекомендовал. Он поспешил на выручку своего протеже и стал меня уверять, что ничего страшного впереди он не предвидит, и что все дело сводится собственно к тому, чтоб, «вместо всяких измышлений, найти лишь дельного Министра Путей Сообщения» (!)... Что же касается борьбы с дороговизной, то по мнению Кривошеина, самым существенным в этом вопросе являлось не то, по какой цене добывать продукты, а лишь бы в них не ощущалось недостатка.

Мои продовольственные осведомители оставили удручающее впечатление от общего положения дела. Пришлось употребить некоторые усилия, чтобы сохранить должную долю самообладания и уверенность, что можно преодолеть неимоверные трудности, которые я предвидел в предстоящей работе.

Совершенно иное впечатление вынес я от посещения меня другим Товарищем Министра Земледелия – Александром Александровичем Риттихом, который руководил землеустройством и имел в своем распоряжении департаменты земледелия, государственных имуществ, лесной и др.

Александр Александрович Риттих держал себя сдержанно и производил на собеседника своим мягким говором крайне приятное впечатление. Примерный, аккуратный и умный ра-

ботник, Риттих отличался редкой усидчивостью и необыкновенной исполнительностью. Все его труды и доклады носили печать всестороннего изучения и являлись образцом точности и ясности.

Характер у Риттиха был ровный, мягкий и даже несколько «женственный». Долго оставаясь холостым и отдавшись целиком государственной службе, Александр Александрович, благодаря своим выдающимся способностям и достоинствам, стал быстро подниматься по бюрократической лестнице, достигнув в сравнительно молодые еще годы высокой должности, видного положения, щедрых наград и даже гофмейстерства.

Риттих, как кокетливая женщина, любит, чтоб его не забывали и поощряли; – поведал о нем Кривошеин, сдавая мне свою должность, – если вам удастся выхлопотать ему сенаторство, чего я не успел сделать, вы, доставите Риттиху большое удовольствие, и он не останется у вас в долгу.

Воспользовавшись вскоре наступившим скромным министерским торжеством десятилетнего юбилея землеустроительных работ, тесно связанных с именем Риттиха, я у Государа исходатайствовал ему сенаторство. Но считаю уместным оговориться, что Александр Александрович, в своем сотрудничестве со мною, проявлял одинаковое деловое усердие как до, так и после получения им желанного сенаторства.

За все время моей совместной с ним службы, Риттих работал, как лучший часовой механизм. На верность, честность его и преданность делу можно было всецело рассчитывать. Я не ошибусь, если его назову не только идеальным службистом, но и сановным джентльменом в полном смысле слова.

Г.В.Глинка, несмотря на свои недюжинные способности и несомненную работоспособность, казался полнейшим антиподом внешне и внутренне выдержанному Риттиху. Насколько последний являлся незаменимым сотрудником по своей уравновешенности и обдуманной определенности своих действий и советов, настолько Глинка вносил в нашу работу струю неуверенности, постоянных сомнений, колебаний и нервности. После Риттиховских докладов, я чувствовал себя всегда удовлетворенным и спокойным, Глинка же в нескольких заключительных словах, полных сомнений в собственных же своих только что доложенных выводах, все сводил на нет. Риттих являлся для меня своего рода успокоительным бромом, а Глинка был своего рода испытанием. Риттих отличался всегда и во всех случаях корректной сдержанностью и деликатностью, Глинка и в этом отношении являл собой полную противоположность, оставаясь рабом свойственных ему резко сменяющихся настроений и крайней нервной возбудимости. Не даром хорошо знавший его А.В.Кривошеин однажды, разоткровенничавшись, мне заметил: – Не распускайте Глинку! Не давайте ходу его нахальству!

Через день после моего назначения провел со мной вечер А.А.Риттих. Его приветливое благожелательное отношение ко мне, его ясное и содержательное изложение всего того, что должно было знать Министру Земледелия, возбудило во мне живой интерес к предстоящей мне работе.. В довершение всего, я услышал от него лестное и крайне отрадное для меня заверение, что моя кандидатура в Министры Земледелия была принята чинами ведомства с чувством полного удовлетворения.

10-го ноября, совершенно неожиданно для себя, я вдруг получаю от Ивана Логгиновича Горемыкина приглашение в Мариинский Дворец на заседание Совета Министров, на котором

я, за неполучением еще официального указа о моем назначении, мог участвовать лишь на правах «сведущего лица по особому приглашению Председателя Совета Министров».

О личном министерском составе я скажу еще в дальнейшем своем повествовании, здесь же ограничусь лишь общими своими впечатлениями. Принят я был всеми Министрами очень благосклонно, в особенности душевно приветствовал меня гр. П.Н.Игнатьев. Усевшись несколько в стороне, я стал приглядываться и прислушиваться к ходу занятий...

Первое впечатление от будущей моей коллегии вынес я малоутешительное. Дело в том, что на происходившем при мне заседании Министр Внутренних Дел, занимавший за присутственным столом своим объемистым туловищем центральное место против председателя, неожиданно для всех, в особенности для Министра Путей Сообщения А.Ф.Трепова, заявил, что, с соизволения Государя Императора, он имеет в виду предпринять ревизию всего транспортного дела на юге России. Согласно его, Хвостова, представлению, Его Величеству благоугодно было назначить ревизором сенатора Дмитрия Борисовича Нейдгардта. Заявление Хвостова вызвало среди участников заседания неописуемый кавардак. Один только И.Л.Горемыкин оставался, по своему обыкновению наружно спокойным. Что же касается Трепова, то тот, видимо забыв, где и среди кого находится, красный, как рак, с взъерошенной шевелюрой, стал отпускать такие эпитеты и слова по адресу громко сопевшего Хвостова, что я одно время не на шутку подумал – не лучше ли мне, пока что, по добру по здорову убраться из этого «высокого» учреждения... Все же спокойный Горемыкин сумел скоро утишить бурю. Единодушно был высказан протест Хвостову и пожелание приостановить приведение в исполнение намеченной

им ревизии, впредь до выяснения ее необходимости на личном по этому поводу докладе Государю Министра Путей Сообщения.

Придя домой, я долгое время не мог придти в себя от только что разыгравшейся перед моими глазами сцены в Совете Министров. Для моего будущего участия в нем она предвещала мало утешительного. Произвол отдельных Министров, общая несогласованность, злоупотребление волей и именем Государя, явный раскол среди самой коллегии, отсутствие сильного объединяющего лица – все это оставило тяжелый осадок у меня на душе. «Машина не слаженная» – так отмечено в дневнике мое первое впечатление о Совете Министров.

Помимо всяких личных переживаний, вызванных коренной ломкой моей жизни и предстоявшей мне огромной ответственностью, в эти дни приходилось мне претерпевать невероятную надоедливость газетных сотрудников. С присущей им профессиональной настойчивостью, они с утра до вечера досаждали мне своими расспросами и «интервью», причем, несмотря на мое усердное корректирование их измышлений, все же немало появлялось в газетах на мой счет кривотолков и просто лжи.

Чтоб иметь хотя бы некоторое понятие, в какой сгущенной атмосфере всяческих слухов и нервной подавленности обретаюсь в то время столичное высшее общество, я приведу несколько характерных бесед, имевших место незадолго до получения мною Высочайшего Указа, и занесенных в мою записную книжку 1915 года.

Бывший мой коллега по Предводительству и состоявший в 1915 году короткое время Министром Внутренних Дел, князь Николай Борисович Щербатов, завтракая у меня 10-го ноября стал рассказывать сначала о прошлой своей службе, а затем перешел на характеристику лиц, пользовавшихся в то время

наибольшим влиянием в высших сферах, и закончил описанием интимной жизни Августейшей семья в Царском Селе и огромного влияния там «Гришки».

Пользуясь нашими добрыми отношениями, я неоднократно пытался его прерывать, высказывая ему сомнения по поводу его «достоверных сведений». Он горячился и на них настаивал. Завершил князь Николай Борисович свои, безжалостно бичевавшие мои нервы, рассказы конфиденциальным сообщением, что в Царском, несомненно, нарастает опасность дворцового переворота и что Государь с недоверием и опаской стал относиться даже к собственному своему конвою... «Страшное впечатление» – значится в моем дневнике 10-го ноября, в день нашей с Щербатовым беседы.

12-го ноября меня навесил бывший товарищ председателя Государственной Думы, состоявший в описываемое время Товарищем Министра Внутренних Дел, князь Владимир Михайлович Волконский. С ним у меня с давних пор установились самые близкие и дружеские отношения. Он приветствовал мое назначение Министром. Зашел он, чтобы сговориться о дальнейшей совместной работе и способах оздоровления создавшегося ненормального положения. Коснувшись личности чрезмерно мягкого и податливого Государя, Волконский, будучи по своим связям и положению в курсе всего происходившего в сферах, близко стоявших к Царской семье, высказал свое убеждение, что наиболее вредным лицом в царском окружении является дворцовый комендант генерал Воейков. Человек неглупый, но наглый, он пользовался своим огромным влиянием на Государя исключительно для собственной выгоды. Впоследствии я сам мог убедиться, что он справедливо оценил дворцового коменданта. По мнению Волконского, следовало бы принять

меры, чтобы отстранить от Его Величества этого беспринципного оппортуниста. Связь Царской семьи с сибирским старцем поддерживалась не без его помощи.

Затронули мы с кн. Владимиром Михайловичем близкую и дорогую для нас тему об отношении Государя к законодательным Палатам, в частности, – к Государственной Думе. Мы оба были убеждены в необходимости возможно большего сближения Царя с народными избранниками и установления между ними взаимного ознакомления и доверия. По отзыву Волконского этому всячески препятствовал все тот же ревниво оберегавший «своего» Царя от посторонних влияний генерал Воейков.

Мы протянули друг другу руки и решили действовать вместе в желательном для нас обоих направлении. Перейдя затем к характеристике ведомства, одним из высших чинов которого он сам состоял, Владимир Михайлович дал мне понять, как ему трудно сотрудничать с таким начальником, как Хвостов, которого не иначе именовал, как типичнейшим «Хлестаковым».

Приблизительно в те же дни виделся я с бывшим Министром Внутренних Дел Александром Григорьевичем Булыгиным, который всегда казался таким благодушным, мирным, уравновешенным... Но и от него я выслушал немало горьких сведений, усугублявших мое и без того подавленное настроение. Почтенный сановник очень был опечален тем, что между двумя Императрицами – Вдовствующей и Александрой Феодоровной – установились крайне натянутые отношения. За последнее время Мария Феодоровна стала подчеркивать свою отчужденность и явное невнимание к Императрице Александре Феодоровне, которая, со своей стороны, все больше вмешивалась в дела государственного управления. Со скорбью в голосе Булыгин делился со мной невеселыми думами о роли Распутина

в окружении Царицы и о том, как его влияние замечается даже в области Верховного Управления.

Далекий от жизни высших правивших кругов, я был совершенно чужд какого-либо общения с влиятельными политическими салонами, тем более – с окружениями Распутиных, Андрониковых, Мещерских и им подобных, – столичную жизнь знал лишь с чисто деловой ее стороны, участвуя в занятиях Государственного Совета, а в последнее время в работе Верховной Комиссии...

Но в период моей министерской деятельности, я волей-неволей очутился лицом к лицу со служебной обстановкой, тесно соприкасавшейся с теми высокими сферами, о которых в то время распускались по всей стране столь злостные слухи.

13-го ноября был получен, наконец, Высочайший Указ о назначении меня Управляющим Министерством Земледелия (Министром я был утвержден 1 января 1916 г.) с оставлением меня Членом Государственного Совета по выборам от земства (небывалая комбинация) и с освобождением меня от должности Самарского Губернского Предводителя Дворянства. С нелегким сердцем пришлось расставаться с моим предводительством, с которым за несколько трехлетий я успел сродниться и которое я горячо любил, отдавая ему много сил и умения!

Утром, в день получения Указа, меня посетил Управляющий канцелярией Министра Земледелия камергер Иван Иванович Тхоржевский. Он произвел на меня самое благоприятное впечатление своей поразительной осведомленностью в делах Министерства, толковостью, умением излагать свои мысли, чуткостью и, наконец, самой манерой держать себя, указывавшей на большую выдержку и природную благовоспитанность. Превосходно владевший пером, одаренный вдобавок поэтиче-

ским талантом, Тхоржевский, как я вскоре узнал, оказывал моему предшественнику незаменимые услуги по подготовке его публичных выступлений и составлению деловых записок. Иван Иванович был, вероятно, прав, когда, покидая свою службу в министерстве, он при прощальном нашем с ним разговоре, 17-го июня 1916 года, подчеркнул заслуги, оказанные им Кривошеину. Нет сомнения, что он во многом содействовал и популярности Александра Васильевича, и доброму реноме его ведомства.

Вспоминая совместную с Тхоржевским службу, продолжавшуюся почти все время моего управления Министерством, я не могу не отозваться о нем с наилучшей стороны, и высказать мою признательность Ивану Ивановичу за ту значительную помощь, которую я от него имел за все время моей министерской деятельности.

Получив Высочайший Указ о своем назначении, я в тот же день, 13 ноября, вступил в отправление моих обязанностей. Вместе с Тхоржевским, я направился для приемки дел в Министерство Земледелия, расположенное в наиболее видной и красивой части столицы – на просторной Мариинской площади, в центре которой высился изумительный по своим изящным очертаниям памятник Императору Николаю Первому. С одной стороны площадь примыкала к грандиозному зданию Мариинского Дворца. Напротив дворца, в сравнительном отдалении, возвышался Исаакиевский собор, а с двух остальных боков площади были расположены, один против другого, два обширных трехэтажных корпуса в стиле итальянского ренессанса. Оба эти здания были заняты Министерством Земледелия. В одном из них, налево от Мариинского Дворца, помещались апартаменты, предназначавшиеся Министру. Часть их составляла казенную квартиру с обширной приемной залой и огромным служебным

кабинетом, носившем наименование «зеленого», или «Ермоловского», по имени бывшего Министра Ермолова. Его кабинет был отделан в зеленых тонах и обставлен огромными, до потолка, библиотечными шкафами.

Раньше Управляющие Ведомством Земледелия пользовались этой квартирой, но предшественник мой, А.В.Кривошеин, вступив в должность, остался в своей частной квартире, а в министерском здании занимал лишь служебный кабинет и приемную залу, предоставив остальные комнаты под разные ведомственные отделы. Так же поступил и я, продолжая жить в своем обычном номере Европейской гостиницы.

Встречали и провожали посетителей Министерства Земледелия два швейцара, – почтенные, друг на друга похожие, белобородые старички, удивительно приветливые и симпатичные. У дверей министерского кабинета поочередно дежурили два курьера, находившиеся в личном распоряжении главы ведомства. Они перешли ко мне по наследству от Кривошеина. Один из них был Брыкин, бравый, высокий, усатый, украшенный бесчисленными медалями, докладывавший скоропалительно, но неразборчиво, а другой – сутуловатый, с бледным, худощавым, безусым лицом – Антон, более сметливый, но вкрадчивый. Эти же курьеры временами дежурили и в моем помещении в Европейской гостинице. Во время служебных поездок я предпочитал брать с собой более для меня симпатичного и проворного Брыкина.

В кабинете мне был представлен Тхоржевским состоявший в должности личного секретаря Министра Станислав Антонович Загорский – молодой еще, приветливый человек. Выдержанный, сметливый и дисциплинированный Станислав Антонович, с первых же шагов зарекомендовал себя с наилучшей

стороны, и я с ним не расставался до конца своей министерской деятельности.

Попав впервые в качестве Министра в «Ермоловский» кабинет, я не без волнения уселся за «служебный», письменный стол, обязанный своим появлением все тому же А. С. Ермолову и представлявший собою целое сооружение с невероятной по размерам зеленой суконной покрывкой и бесчисленным количеством всевозможных внутренних ящиков и полок.

За этим столом, в описываемый мною день 13-го ноября, состоялся первый доклад Товарища Министра А.А.Риттиха, который ознакомил меня с порядком использования конфискованных на западных окраинах немецких земель. Мне предстояло по этому поводу высказаться в Совете Министров в тот же день. Благодаря толковому и обстоятельному разъяснению Риттиха, я мог быстро схватить сущность предстоявшего мне доклада. В 3 часа дня в одной из боковых зал Мариинского Дворца, где ранее мне приходилось сидеть на собраниях правой группы членов Государственного Совета, я впервые принял участие в заседании Совета Министров в качестве равноправного его сочлена. И сразу же пришлось выступить с обширным заключением по немаловажному вопросу об использовании конфискованных немецких земель.

Вопрос этот возбудил в Совете Министров острая прения. В конце концов получилось два противоположные предложения. Одни стояли за то, чтобы конфискованные земли предоставить в распоряжение Поземельного Крестьянского Банка. Это мнение отстаивал Министр Финансов Барк, нашедший себе поддержку в большинстве своих коллег, включая Горемыкина. Против подобного взгляда мне пришлось горячо возражать по чисто практическим соображениям. Дело в том, что порядок

продажи земель Поземельным Крестьянским Банком мог причинить ряд трудностей. Конфискованные немецкие владения были расположены вдоль западных фронтовых районов, и заключали в себе значительное количество удобной пахотной и луговой земли. Ее можно было сразу использовать для засева хлебными и луговыми злаками. Снятый с этих земель урожай мог быть доставлен непосредственно на фронт. Это было очень важно, ввиду крайне неудовлетворительного состояния транспорта. Следовательно, было выгодно скорее передать земли землепашцам.

Между тем, при нормальном порядке Крестьянского Банка, с его публикациями, торгами, обжалованиями – передача земель от Банка в руки новых собственников по нашим с Риттихом подсчетам, могла бы состояться только через 11 месяцев. Вот почему было необходимо образовать специальное учреждение для спешной передачи конфискованных земель в нужные руки, в целях немедленной их эксплуатации.

Все эти соображения мне предварительно доложил А.А. Риттих. Я с ним всецело согласился и счел долгом на заседании Совета Министров выступить горячо в их защиту. Ко мне присоединились: Министр Иностранных Дел С.Д.Сазонов, Министр Путей Сообщения А.Ф.Трепов, Министр Народного Просвещения гр. П.Н.Игнатьев и Морской Министр Григорович. В журнал заседания занесено было не только постановление большинства членов Совета, но по нашему предложению также и мнение меньшинства. Согласно установленного порядка, мнение меньшинства могло быть представлено на благоусмотрение Его Величества, причем доклад об этом Государю был возложен моими единомышленниками на меня.

Дело это является для меня особо памятным в силу неожиданного его разрешения, воочию убедившего меня в крайнем

непостоянстве взглядов и решений Государя. 20-го ноября я лично доложил Его Величеству все обстоятельства и соображения, касающиеся порядка использования конфискованных немецких земель. Государю благоугодно было мне высказать не только полное согласие с мнением меньшинства, но Его Величество горячо поблагодарил меня за доклад и предложение, идущее навстречу срочным продовольственным нуждам армии. Бывшие после меня на докладе у Государя Министры Барк и гр. Игнатьев передавали мне потом, что Государь вполне определенно встал на сторону меньшинства, даже поручил Министру Финансов немедленно приступить к разработке наменного меньшинством плана.

Каково же было мое удивление, когда недели две спустя, на одном из заседаний Совета Министров, я услышал из уст Управляющего Делами Совета И.Н.Ладыженского, докладывавшего перечень утвержденных Его Величеством журналов Совета, что по вопросу о порядке использования конфискованных немецких земель Государю угодно было утвердить мнение... большинства! Как мне потом передавали, в этом направлении воздействовал на Государя, главным образом, Горемыкин. Случай этот болезненно отзывался тогда на всей моей верноподданнической психике. Явное проявление неустойчивости взглядов и решений Государя, с которым я столкнулся на первых же шагах моей министерской деятельности, не могло не отразиться на всем последующем моем к нему отношении. Будучи сердечно расположен к личности моего Государя, я вместе с тем невольно бывал вынужден с чувством некоторого недоверия относиться к его словам и обещаниям, остерегаясь всецело на них полагаться, и в ответственной министерской работе рассчитывая лишь на собственные свои силы.

Коллегами моими по Совету Министров в ноябре 1915 года были следующие лица: Председателем Совета Министров был И.Л.Горемыкин. Военным Министром – генерал А.А.Поливанов, Морским – адмирал И.К.Григорович, Министром Внутренних Дел – Алексей Николаевич Хвостов, Иностранных Дел – С.Д.Сазонов, Финансов – П.Л.Барк, Юстиции – Александр Алексеевич Хвостов, Путей Сообщения – А.Ф.Трепов, Народного Просвещения – граф П.Н.Игнатьев, Торговли и Промышленности – князь В.Н.Шаховской, Обер-Прокурором Святейшего Синода состоял А.Н.Волжин и Государственным Контролером был П.А.Харитонов. Пост Министра Императорского Двора и Уделов занимал Генерал-Адъютант граф В.Б. Фредерикс, лично на заседаниях никогда не присутствовавший и в нужных случаях присылавший участвовать на них своих заместителей.

Горемыкин в роли Председателя Совета Министров казался мне всегда лицом, относившимся к исполнению своих обязанностей, хотя и безусловно корректно, но без необходимого воодушевления и подъема. Причиной тому были, с одной стороны, преклонные годы Горемыкина, затратившего много сил и энергии на долголетнее служение родине; с другой – новая «конституционная» обстановка, в которой пришлось работать за последние годы своей деятельности семидесятилетнему Ивану Логгиновичу. Представитель высшей бюрократии былого самодержавного строя, он более чем недоверчиво относился к новым законодателям, к народным представителям, заседавшим в Таврическом Дворце.

Горемыкин был скуп на слова. В Совете Министров, Иван Логгинович производил не меня впечатление человека, который готов внимательно слушать прения, но вместе с тем думает

про себя свою собственную думушку. Думушкой этой он делился лишь с одним своим Государем, настраивая Его Величество следовать его, Горемыкина, взглядам и советам. Так случилось множество раз за время моего участия в занятиях Совета Министров.

Вступил я в отправление министерских обязанностей в период, когда законодательные учреждения не функционировали и работали одни лишь постоянные комиссии (бюджетная, финансовая и др.). Продовольственное дело с особой остротой привлекало внимание русского общества, в особенности членов законодательных палат.

О деловой работе Особого Продовольственного Совещания была осведомлена лишь небольшая группа членов Государственного Совета и Думы. Пресса освещала ход продовольственной кампании недостаточно полно, временами распускала не всегда проверенные, но зато сенсационные слухи, заставляя публику еще более нервно относиться к самой существенной и ответственной по тому времени области правительственной деятельности.

Вскоре по вступлении моем на пост Министра, я пришел к убеждению, что чем скорее будут созданы законодательные палаты, тем лучше. Во мне заговорила усвоенная за много лет общественной деятельности привычка работать совместно с земскими и сословными собраниями.

Не раз приходила мне в голову аналогия с тем временем, когда приходилось мне делать доклады земским и дворянским собраниям.

На мой взгляд открытие законодательных палат отвечало бы общему желанию их членов. Они настойчиво высказывались

за необходимость скорейшего возобновления деятельности палат, для совместного с правительством обсуждения наиболее жгучих государственных вопросов. На первом месте, конечно, стояли задачи государственной обороны и связанного с ней снабжения армии и страны, которое всецело зависело от состояния имперского транспорта и запаса топлива.

Установленный «конституционный» порядок требовал безотлагательного созыва Государственного Совета и Государственной Думы, для рассмотрения и утверждения бюджета. А седовласый, неизменно спокойный, но как бы согбенный под тяжестью своей ответственности Горемыкин, несмотря на нервное, выжидательное настроение законодательных Палат и всего столичного общества, не взирая на вызывающие статьи серьезной прессы, продолжал безмолвствовать. На вопросы некоторых Министров, из числа которых я, пожалуй, являлся наиболее нетерпеливым, будут ли созваны Государственный Совет и Дума и когда – Председатель Совета Министров невозмутимо отвечал: – Все зависит от воли Его Величества... Но мне определенно говорили, что убежденный «антидумец» Горемыкин эту волю направлял по пути, если не полного отказа от созыва Палат, то, во всяком случае, возможно дольше его отсрочки.

В январе 1916 года события и настроения приняли такой оборот, что долее нельзя было терпеть «кунктаторство» Горемыкина. Необходимо было, с высоты престола, решительно и определенно сказать, считает ли Государь для блага родины нужным созвать законодательные Палаты, или Его Величество признает это несвоевременным... Необходимо было то или иное решение объявить стране во всеуслышание. Наряду с лицами, бывшими против созыва Государственной Думы, было в окружении Государя не мало людей, горячо настаивавших на созыве. Последняя группа одержала верх. В конце января 1916

года, Горемыкин был заменен Штюмером, которому свыше было вменено в обязанность приступить к немедленному со-званию и открытию деятельности законодательных Палат.

138

Я должен отметить, что роль Председателя Совета Министров была не из легких, в силу самой его структуры. Дело в том, что Министры назначались самим Государем и выбирались им из служилой чиновной и общественной среды, благодаря личному знакомству или по рекомендации лиц, пользовавшихся особым доверием Его Величества. Председатель Совета при назначениях Министров почти никакой роли не играл. Сплошь и рядом случалось, что министры назначались даже вопреки представлениям и желаниям премьера. Лишь такие сильные лица, как Витте и Столыпин, проводили в состав своего кабинета некоторых министров по своему усмотрению. В результате получалось, несомненно, ненормальное положение для жизни и деятельности высшего административного учреждения в Империи, коллегиальность которого принимала нередко несоответствовавшие этому понятию форму и направление.

Я не берусь судить об обстановке в Совете Министров при Витте или Столыпине. Это были люди волевые, настойчиво проводившие свою политику. То, что мне пришлось видеть и испытывать в нашей министерской коллегии при таких председателях, как потерявший вкус к энергичной работе Горемыкин и после него бездарный, пошлый распутинский угодник Штюмер, – представляло собой далеко не отрадную картину. Заседавшие за общим присутственным столом, расположенным в величественной боковой зале Мариинского Дворца, члены кабинета представляли собою группу лиц, лишь механически соединенных друг с другом, в силу занимаемых ими министерских постов. Среди них не было общности взглядов; их не связывало

единство заранее выработанной программы действий и, наконец, их не объединяло авторитетное руководство сильного духом и творческим государственным умом председателя, а ход коллегиального управления во многих случаях зависел от воздействия на Государя того или другого отдельного министра.

Кроме того, многое творилось помимо министерской коллегии. Такие главы ведомств, как Поливанов, Григорович или Сазонов, действовали, почти исключительно считаясь лишь с директивами, исходившими от Государя Императора. Некоторые же их коллеги, вроде Алексея Николаевича Хвостова, по свойству своего бесцеремонного характера, действовали также «самодержавно», сплошь и рядом игнорируя существование Совета Министров и злоупотребляя именем Его Величества.

Вся эта неналаженность учреждения, в котором мне пришлось принимать участие с ноября 1915 по июль 1916 года, и ненормальность которого особенно сказалась при премьерстве печальной памяти Штюмерера, была мною, между прочим, совершенно откровенно обрисована и доложена самому Государю в Могилевской Ставке.

В первый раз это произошло 15-го июня 1916 года, когда Его Величество, позвав меня после завтрака к себе в кабинет, предложил ознакомиться с только что поданной ему генералом Алексеевым запиской об установлении единой военной диктатуры над фронтом и тылом. Вторично я доложил об этом 28-го того же июня, когда я взял на себя смелость, подавая прошение об увольнении меня с министерского поста, высказать Его Величеству ряд советов, как упорядочить высшее государственное управление. В обоих случаях я проводил ту мысль, что, в интересах дела, Государю следовало бы поручать составление кабинета одному лицу, именно Председателю Совета Министров, который, со своей стороны, представлял бы на утверждение Его

Величества список лиц, намеченных им на министерские посты. Этим, по моему мнению, достигалось бы больше единомыслия между членами Совета, и для Государя это было бы облегчением. Ему оставалось бы только найти лицо, достойное ответственного поста Председателя Совета Министров. Положение последнего должно было бы несколько осложниться, но зато он мог успешнее руководить вверенной ему коллегией.

139

Остановлюсь несколько на характеристике тех г.г. Министров, которых я застал при вступлении моем в их среду.

Военный Министр, член Государственного Совета А.А. Поливанов, несмотря на свой шестидесятилетний возраст, проявлял кипучую энергию и живую заинтересованность в подведомственном ему деле. Окончивший две военные академии и прошедший серьезный служебный стаж в качестве Начальника Главного Штаба и помощника Военного Министра, Алексей Андреевич отличался не только профессиональной, но и всесторонней образованностью, обладая при этом выдающейся работоспособностью. Человек острого природного ума, Поливанов быстро завоевал горячие симпатии высших служилых кругов столицы и среди членов обеих законодательных палат. Его появления на думской трибуне отмечались шумным успехом. Его доклады в комиссиях Таврического Дворца выслушивались с неослабным вниманием. За несколько лет сотрудничества с народными представителями Алексей Андреевич близко сошелся с некоторыми из наиболее деятельных членов Государственной Думы, участвовавших в специальных комиссиях по государственной обороне.

Там же установилась у генерала Поливанова тесная деловая дружба с Александром Ивановичем Гучковым, состоявшим продолжительное время главным руководителем думских работ по рассмотрению военных вопросов. Дружба эта привела к двум результатам: с одной стороны, она отняла от генерала Поливанова симпатий Государя, лично не расположенного к Гучкову, с другой, впоследствии вовлекла Алексея Андреевича в совместную революционную работу с Гучковым, оказавшимся Военным Министром Временного Правительства 1917 года. Работа эта завершилась полнейшей дезорганизацией военной дисциплины и катастрофическим разложением всей, еще недавно славной, Императорской армии.

Вспоминаю, как, в начале марта 1917 года, Алексей Андреевич, в стенах Мариинского Дворца, на мой вопрос – правда ли, что он согласился, совместно с Гучковым, принять участие в переработке на революционных началах воинского устава, генерал Поливанов, судорожно передернувшись, скороговоркой ответил: – Что ж поделаешь?! Надо действовать в духе времени!.

Слова эти мне впоследствии припомнились, когда я, очутившись с миллионом мне подобных, в зарубежном бегстве, услышал, что бывший мой коллега по Совету Министров, генерал Поливанов, после большевистского переворота, пошел на службу к Ленину, и при заключении мирного договора между большевиками и поляками, был экспертом по военным вопросам со стороны советского правительства.

Вскоре после этого, Алексей Андреевич скончался. Рассказывают, что перед смертью он завещал положить себя в гроб в генеральском мундире, со всеми пожалованными ему Государем отличиями.

В результате сильной контузии, лицо Алексея Андреевича было свернуто несколько на бок, его часто всего передергивало,

но в деловых выступлениях и частных беседах его умение заинтересовывать слушателей содержательностью мыслей и их изложением заставляло забывать эти физические недостатки.

У него нередко происходили трения с высшими сферами, которые завершились в 1916 году его отставкой. После этого, Поливанов был настроен чрезвычайно оппозиционно к личности Государя, что, надо думать, и натолкнуло его на еще большую близость с Гучковым. Оправдывать деятельность Поливана при Временном Правительстве, а тем более – при большевистском, я, конечно, отказываюсь. На посту Морского Министра я застал генерал адъютанта, члена Государственного Совета, адмирала Ивана Константиновича Григоровича, о котором я подробно говорил в предшествующей части моих воспоминаний.

Высокого роста, представительный, с красивым, умным и энергичным лицом, обрамленным седоватой бородкой, Иван Константинович имел за собой серьезный боевой стаж с Порт-Артурской осадой включительно. Он превосходно знал морское дело и пользовался широкой популярностью и всеобщими симпатиями. В противоположность Поливанову, к Григоровичу в Царском относились неизменно не только благожелательно, но и с явной любовью. С 1912 года и до дня февральского революционного переворота 1917 года, Григорович непрерывно стоял во главе вверенного ему ведомства, оказавшись, таким образом, последним Морским Министром Империи.

После наших «Царицынских» перипетий, судьба снова свела нас с Иваном Константиновичем, усадив вместе за общий присутственный министерский стол. С момента выхода моего из Верховной Следственной Комиссии и назначения меня министром, Григорович относился ко мне подчеркнуто любезно,

чего нельзя было сказать про его отношения к некоторым другим моим коллегам, хотя бы к А.Ф.Трепову или князю В.Н.Шаховскому, с которыми на служебно-деловой почве у нервного и вспыльчивого адмирала нередко происходили жестокие схватки....

В ноябре 1915 года Министром Иностранных Дел был Сазонов.

Это был дипломат строго выдержанный, былой Европейской школы. Воспитанник привилегированного учебного заведения – Императорского Александровского лицея, прошедший всю последующую свою жизнь и службу сначала в Петербурге, в Министерстве Иностранных Дел, а затем в зарубежных посольствах, Сазонов, силою вещей, лишен был возможности узнать подлинную жизнь своей обширной родины. Тем не менее, он крепко и искренно любил Россию.

Для внешнего представительства, для русского престижа и сношений с иностранными державами такого ограниченного отечествоведения для Министра Иностранных Дел, может быть, было и достаточно; но Сазонов, привлеченный на этот ответственный и видный пост своим свояком Столыпиным, первое время, вероятно, пользовался его авторитетными советами. В итоге долголетнего пребывания в нашем Лондонском посольстве, Сазонов превратился в убежденного англофила. Это не осталось без следа на его последующей дипломатической деятельности, особенно в бытность его Министром.

В памятные июльские дни 1914 года, на долю Сергея Дмитриевича выпала исключительно ответственная роль невольного и фатального арбитра между двумя суверенами – взбалмошным и задорным Германским Императором И мягким, мирным, обычно колеблющимся нашим Царем.

В конце концов, страшная война разразилась. Последствия ее оказались неисчислимы. О ней написаны целые тома исследований и мемуаров. Сергей Дмитриевич Сазонов успел, к счастью, незадолго до безвременной своей кончины, закончить свой нелегкий и всеми ожидавшийся труд.

Германия до сих пор упорно отрицает, что она начала кровавую бойню 1914-1918 г.г. Сазонов, в своих записках, считает Германию зачинщицей войны. Но и по его адресу стала раздаваться резкая критика, и притом не только из немецкого лагеря... Пройдут года, улягутся страсти, изгладятся последствия великих военных потрясений. Быть может, когда-нибудь и обнаружится настоящая правда. А пока надо сказать, что Сергей Дмитриевич, будучи искренним патриотом и честным человеком, действовал в пределах возможного так, как ему подсказывала его верноподданническая совесть.

Доверчивое отношение к нему высших дипломатических представителей союзных держав, т.н. «Антанты», ныне всем хорошо известно, и об этом распространяться мне нечего, отмечу лишь, что и в отечественной среде, особенно в думских кругах, Сергей Дмитриевич завоевал себе прочные симпатии, горячо проявлявшиеся при его появлении на трибуне Таврического Дворца.

Сазонов, как делали это и другие Министры Иностранных Дел, руководил иностранной политикой, придерживаясь, главным образом, непосредственных указаний самого Государя. Но бывало, что в его портфеле накапливалось немало дел, по существу подлежавших коллегиальному обсуждению Совета Министров. Здесь Сергей Дмитриевич, как, впрочем, и многие из его коллег, своим поведением подтверждал мое мнение о «неналаженности» Совета Министров. Бывали случаи, когда Сазонов, не

сносясь с другими заинтересованными ведомствами, стоваривался единолично с представителями иностранных держав, и Совет Министров узнавал лишь постфактум о действиях Министра Иностранных Дел. Переговоры о доставке шведской стали для Румынии, о снабжении той же страны автомобильными принадлежностями, главным образом, шинами и лошадьми, скупаемыми по вздутым ценам на российских ярмарках – все это велось Министерством Иностранных Дел, помимо и без ведома других Министерств.

В сношениях же со мною, как Председателем Особого Продовольственного Совещания, Сазонов допустил следующий памятный для меня промах, в котором, впрочем, он впоследствии искренне раскаивался. В первой половине апреля 1916 года, незадолго до открытия Волжской навигации, я был у Государя с докладом, по окончании которого Его Величество задал мне вдруг ошеломивший меня вопрос:

– Почему вами до сих лор не доставлены обещанные партии пшеницы в Англию и Францию? Бывший только что перед вами с докладом Министр Иностранных Дел, – продолжал Государь, – довел до моего сведения, что ввиду неисполнения русским правительством этих заказов, послы французский и английский обращались к нему, Сазонову, с запросом и ожидают скорейшего ответа...

– Ваше Величество, – ответил я не без смущения, – должен сознаться, что об этих заказах я слышу впервые. Мне лично Министр Сазонов никогда о каких-либо иностранных продовольственных заказах не говорил... Разрешите справиться и немедленно Вам после этого доложить.

Вернувшись к себе в Министерство, я в срочном порядке стал наводить справки, но в результате оказалось, что ни о каких заказах для Франции и Англии в подведомственных мне

учреждениях вопроса не поднималось. Я снесся лично с Сазоновым и был немало изумлен и изрядно раздосадован, узнав от него, что еще в январе 1916 года к нему обратились Бьюкенен и Палеолог с просьбой уступить им партию русской пшеницы. В министерском кабинете Сазонова они втроем между собой условились, что в Англию будет доставлено 15 миллионов пудов пшеницы, а во Францию – 25 миллионов.

Надо полагать, что этот хозяйственный сговор трех дипломатов так и почил в стенах министерского здания, что у Певческого моста...

– Отчего же вы, Сергей Дмитриевич, мне тотчас об этом не сообщили? – воскликнул я – ведь вы должны же были знать, что распределение продовольственных запасов Империи лежит на моей ответственности!..

Бедный Сазонов видимо был очень сконфужен и, сознав допущенную им и его ведомством оплошность, обратился ко мне с горячей просьбой скорейшим образом выручить его из создавшегося перед союзными державами неприятного положения. Конечно, я пошел ему навстречу, но полностью удовлетворить ходатайства союзников все ж было невозможно, так как все хлебные и зерновые запасы были строго и точно распределены для отечественного потребления.

В конце концов, пришлось для этой цели использовать весенний волжский транспорт, направленный по Мариинской системе в Петроград и Финляндию, и от него урвать партию пшеницы в 15 миллионов пудов. Я распорядился переслать ее водным же путем в Архангельский порт для дальнейшего следования в Англию и Францию. Вся эта партия, по соглашению с союзниками, была уступлена Франции. Так, более или менее благополучно завершился возникший между мной и Сазоновым печальной памяти инцидент, в свое время причинивший нам

обоим немало неприятностей, но нисколько не повлиявший на наши добрые отношения, которые поддерживались, главным образом, общностью наших взглядов на те или другие государственные вопросы, обсуждаемые в Совете Министров.

Такие случаи я считаю прежде всего следствием общей «неналаженности» Совета Министров. У его сочленов не было сознания необходимости согласованно действовать в интересах общего государственного блага.

Беда была в том, что большинство Министров имело только чисто бюрократический стаж. Мало кто из них проходил через службу на местах, в рядах сословных, земских или городских должностных лиц. Меж тем – общественная работа, помимо того, что она давала возможность знакомиться с подлинной Россией, обычно закладывала прочные и глубокие корни навыка к деловой солидарности.

Разразившаяся революция 1917 года Сергея Дмитриевича, как и многих нас, оторвала от родных насиженных мест и от обычных занятий. Последние годы своей жизни Сергей Дмитриевич прожил в Ницце, где скоропостижно скончался 11/25 декабря 1927 года. Похоронен он на Ниццком русском кладбище «Кокад», недалеко от могилки незабвенной нашей дочери Марии. Его вдова, Анна Борисовна, передала мне его фотографию с надписью: «Покойный мой муж, после посещения виллы «Волга», писал мне из Ниццы: Побольше бы таких людей, как Александр Николаевич Наумов – не погибла бы наша родина. А. С. Февраль 1928 г. Версаль».

Спасибо покойному Сергею Дмитриевичу за добрые слова, и да пребудет среди всех нас о нем светлая память на вечные времена.

Во главе Министерства Внутренних Дел стоял камергер Высочайшего Двора Алексей Николаевич Хвостов. После ряда скандальных разоблачений, в чем особенно усердствовал его же ближайший помощник Белецкий, Хвостову пришлось передать бразды правления его «достойному» заместителю г-ну Штюмеру.

Несмотря на свои чрезмерно объемистые телеса, уподоблявшие их носителя надутому баллону, Хвостов отличался необычайной подвижностью, хлопотливостью и своеобразной энергией, побуждавшей его всюду – даже туда, куда вовсе не следовало, совать свой остренький носик, еле видный на его жирной, краснощекой, бритой физиономии.

Хвостов от природы не был обижен умом, иначе не мог бы он в молодые годы выдвинуться, стать губернатором, затем попасть в состав депутатов Государственной Думы и занять там видное положение лидера фракции правых. Но ум Хвостова не был творческим и спокойным руководителем мыслительных способностей, а проявлялся в изворотливости, неразборчиво направленной на удовлетворение честолюбивых его стремлений. Хвостов был самый бесцеремонный и беспокойный член Совета Министров. Он причинял в нашей коллегии не мало совершенно неожиданных осложнений и бурных сцен. Хвостов то, вдруг, на заседаниях сообщал о своем решении приступить к обревизованию транспорта, то хотел прибрать к рукам все дело продовольственного снабжения Империи. Все свои порывы забираться в область посторонних ему ведомств он обычно обосновывал яко бы «соизволениями Его Величества». Конечно, несмотря на всю хлесткость его поведения и на беспрестанные ссылки на авторитет Царя, Хвостову не удавалось сбить с позиции затронутые его непрошенным вмешательством ведомства, – ни Трепов, с его транспортом, ни я, с моим продовольствием,

такого произвольного вторжения Министра Внутренних Дел в наши дела не допускали, но разговоров и шума вокруг всего этого было немало.

Надо вообще сказать, что, ради достижения своих целей, Хвостов ни перед чем не останавливался. Ему ничего не стоило наговаривать Государю своим вкрадчивым торопливым говорком кучу всяческих советов и собственных измышлений, и в то же время спускаться на дно столицы, шепотком интимно беседовать и сговариваться с темными проходимцами, способными на авантюры самого компрометирующего свойства. На этом пути Хвостов, несмотря на всю свою природную изворотливость, в конце концов, на смерть расшибся. История с Ржевским и иеромонахом Илиодором положила предел беззастенчивой, деятельности этого Министра. Мученический конец жизни Алексея Николаевича многое искупил в его прошлом: после февральского переворота он был посажен в крепость, а сменившая Временное Правительство большевистская власть его расстреляла.

Совершенно иным по внешности, так же, как и по внутренним свойствам, являлся родной дядя Алексея Николаевича Хвостова – сенатор Александр Алексеевич Хвостов, занимавший в мое время пост Министра Юстиции. Среднего роста, худощавый, со смуглым приятным лицом, на котором особенно выделялись большие, красивые, карие, прямо и честно смотревшие глаза, Александр Алексеевич был кристально чистым и благороднейшим человеком и пользовался всеобщей любовью и уважением. Скромный и спокойно рассудительный, хотя и мало разговорчивый, Александр Алексеевич являлся достойнейшим хранителем правосудия и безупречным заместителем «цар-

ского ока». Его всегда до крайности тяготило все то, что говорилось про министерскую деятельность его племянника, о которой и сам он отзывался неодобительно.

По натуре прямой и честный, Хвостов, как Министр Юстиции, мучился, когда распутинские круги подняли всех, чтобы во что бы то ни стало освободить из-под тюремного ареста бывшего Военного Министра В.А.Сухомлинова. Хвостов всеми силами боролся против этих влияний, но в конце концов, не выдержал и ушел – сначала переменил свое ведомство на Министерство Внутренних Дел, а затем, через короткий промежуток времени, в сентябре 1916 года, окончательно ушел со службы. Незадолго до моего увольнения, Александр Алексеевич, еще будучи Министром Юстиции, сообщил мне с огорчением, что Сухомлинову тюремное заключение, вероятно, скоро будет заменено домашним арестом.

– Думаю я это потому, – добавил Хвостов, – что, по сведениям полиции, у распутного старца стала по ночам появляться супруга Сухомлинова...

Пророчество его оправдалось, но уже после его ухода из судебного ведомства.

Александр Алексеевич страстно любил родину, свою Орловскую губернию, свой Елецкий уезд. Видимо, эта любовь одержала верх даже тогда, когда большевистская лавина стала затоплять и его родные места. Несмотря ни на что, Хвостов остался у себя дома, никуда не бежал и отдался на произвол судьбы. По доходившим до меня слухам, каким-то чудом большевики его не тронули, оставили в живых. Надолго ли?!

Во главе Финансового Ведомства был Петр Львович Барк, вскоре назначенный членом Государственного Совета и оставшийся на министерском посту до февральского переворота 1917 года.

Он еще раньше прошел основательную практическую школу в частных банковских, фондово-биржевых и железнодорожных учреждениях и был всесторонне подготовлен для заведывания финансово денежным хозяйством Российской Империи. На его долю в период 1914-1917 г.г. выпала тяжкая задача находить источники для покрытия неисчислимых и неудержимо разраставшихся колоссальных расходов, связанных с обороной и нуждами военного времени. На одном из заседаний Совета Министров, когда Военно-Морское ведомство предъявило к Министерству Финансов еще новое требование необычно крупной даже и для того времени суммы, сидевший рядом со мною Барк, при всей своей сдержанности, не мог скрыть охватившего его волнения. Он стал горячо доказывать всю непосильную для государственного фиска тяжесть подобного требования. Но представители государственной обороны были неумолимы, и Барку пришлось, в конце концов, подчиниться. Повернувшись ко мне, раскрасневшийся от тревожных переживаний Петр Львович своим несколько гортанным голосом бросил мне памятную фразу: – Ну, как при таких обстоятельствах не сказать – *apres nous le deluge*?

«Deluge» этот действительно, хлынул и затопил Россию, смыв с ее поверхности многое, в том числе и нас всех. Немало «бывших» людей в этом стихийном мутном потоке погибло, некоторые лица, правда, весьма немногие, сумели всплыть, выбраться на берег, хотя и на чужой, сумели быстро оправиться, окрепнуть и почти целиком восстановить свое прежнее личное благополучие. К этой категории «счастливых» беженцев надо

причислить и бывшего Министра Барка. Благодаря установившимся в былое время финансово-банковским связям, личным способностям и практическому складу своего житейски мудрого ума, он сумел так поставить себя в Лондонских высших деловых сферах, что в несколько лет стал главным директором распорядителем в одном из крупнейших банков на «Ломбард Стрит», получал солидное содержание и имел честь быть принятым английским королем, который дал ему титул.

В памяти всплывают две наиболее характерные встречи мои с Барком, происшедшие после революционных событий 1917 года, – первая произошла во второй половине 1918 года в Крыму, в Ялте, когда мы с ним дружески беседовали за завтраком в гостинице «Россия».

Несмотря на все ужасы пережитого, Петр Львович казался по-прежнему ровно спокойным человеком, не терявшим, видимо, надежды на лучшее будущее и на собственные свои силы. Меж тем, положение его было тогда не из легких – Барк лишился всего и сильно бедствовал.

Когда зашла у нас речь, какого к завтраку спросить вина, Петр Львович, приветливо улыбнувшись, промолвил;

– Для меня никакого! Бывший министр финансов должен сознаться, что у него нет лишних денег даже на бутылку вина!

Вскоре Крым пришлось всем нам покинуть. Проживая позже со своей семьей в Ницце, я вынужден был по делам ежегодно наезжать в мае месяце в Лондон, и почти каждый раз виделся там с Барком. Опишу последнюю нашу с ним встречу в 1928 году, ровно через десять лет после ялтинского завтрака. Дежурный курьер доложил обо мне. После некоторого ожидания в банковской роскошной приемной, я был впущен в боль-

шой светлый кабинет, великолепно отделанный в строго английском стиле красным деревом и уставленный массивной кожаной мебелью. Все кругом было чисто, тихо, богато и величественно. Из-за солидного письменного стола поднялся ко мне навстречу элегантно, как только в Лондоне это умеют, одетый, по-прежнему свежий, розовый, слегка поседевший, по-прежнему приветливый Петр Львович, который тепло меня обнял, усадил рядом с собой в удобное кресло и стал делиться своими лондонскими впечатлениями, ясно говорившими об исключительном успехе на службе и в жизни. Передо мной сидел человек, сумевший восстановить почти полностью условия своей былой профессиональной деятельности, материальную обеспеченность и видное положение в обществе.

На посту Министра Путей Сообщения я застал члена Государственного Совета, сенатора егермейстера Высочайшего Двора Александра Федоровича Трепова, впоследствии, с половины ноября по конец декабря 1916 года, состоявшего Председателем Совета Министров.

Трепов был одним из наиболее темпераментных и говорливых членов Совета Министров. Он всегда принимал самое горячее участие в обсуждении многочисленных дел, поступавших от различных ведомств. Александр Федорович имел обыкновение высказываться обстоятельно, в непререкаемо авторитетном тоне.

Трепов, несомненно, был человеком умным, но ум его зачастую принимал, если можно так выразиться, беспокойное направление, под воздействием тех или других побуждений, как меня уверяли и как мне самому потом казалось, больше личного, характера. С самого начала моего с ним знакомства и делового сотрудничества я убедился в резком непостоянстве

взглядов Трепова – свойстве совершенно недопустимом при ведении какого бы то ни было общего дела, тем более государственного.

Вспоминается мне поездка моя с Треповым в начале января 1916 года в Царскую Ставку в Могилев. На обратном пути в Петроград, после ряда заседаний и совещаний с представителями фронтов по поводу упорядочения транспортного и продовольственного дела, мы с Треповым до позднего часа обсуждали и, в конце концов, наметили определенный общий план действий, который каждый из нас должен был без замедления проводить в жизнь.

Каково же было мое удивление, когда на следующее утро, за несколько часов до столицы, мой секретарь, которому я стал диктовать мои распоряжения, в полном соответствии с накануне выработанным с Треповым планом, мне, вдруг, сообщает, что он только что виделся с состоявшим при Министре Путей Сообщения чиновником, получившим от своего начальника совершенно иные директивы. Я поспешил к Трепову, который ехал в соседнем вагоне, и к немалому моему изумлению услышал от Александра Федоровича, что он «за ночь передумал» и решил действовать вопреки нашему сговору.

Вспоминая исключительно трудное мое положения руководителя всем продовольственным делом в Империи, находившимся в тесной зависимости от общего состояния транспорта и заранее вырабатываемых маршрутных расписаний поездов, я должен признаться, что избегал непостоянного Трепова и старался непосредственно сноситься с его ближайшим помощником. Выдающийся знаток железнодорожного дела, товарищ министра Эдуард Брониславович Кригер-Войновский был человек точный, исполнительный, на него можно было всецело поло-

житься. Именно благодаря ему, моя продовольственная организация, несмотря на все затруднения, функционировала более или менее нормально.

Все же надо отдать справедливость Трепову. Благодаря своему волевому характеру, способности быстро ориентироваться и удачному подбору своих ближайших помощников, он, при содействии их, вел свое нелегкое дело с настойчивостью и энергией, добиваясь сравнительно благоприятных результатов. Существовавшее при нем расстройство транспорта нельзя было целиком относить на счет дефектов его управления Министерством Путей Сообщения. Расстройство это являлось одним из последствий войны, принявшей непредвиденно гигантские размеры.

Александр Федорович не любил сдаваться перед наплывом трудных обстоятельств, продолжая вести свое дело. Вместе с тем, он проявлял недюжинные способности дальновидного политика по части привлечения на свою сторону симпатий нужных для его популярности и устойчивости его служебного положения людей. В этом отношении, внесенный им в Государственную Думу смелый и грандиозный законопроект об осуществлении т.н. большой железнодорожной программы сослужил Трепову немалую службу. Своими, хотя и отдаленными, но заманчивыми, перспективами, он заставил г.г. депутатов на время забыть о пресловутом наличном транспортном расстройстве.

Эту большую программу, как и многое в своем ведомстве, Трепов начал проводить не с предварительного коллегиального обсуждения в Совете Министров, а путем единоличного доклада Государю, соизволившему план его одобрить. После этого Министр Путей Сообщения довел свой многообещающий для

отечественного, благоденствия проект до сведения Совета Министров и тогда же поспешил внести на рассмотрение думских комиссий. Реклама получилась безусловно внушительная!

Помню, как вся эта несвоевременная в военное время и чудовищная по своим размерам и денежным затратам, затея Министра Путей Сообщения, совершенно неожиданно свалилась на головы его коллег, в частности, Министра Земледелия, мнение которого при определении направления намеченных путей запрошено не было. Узнав про треповский проект, я счел своим долгом тотчас же приступить к выработке желательного для нашего ведомства плана новых железнодорожных путей, для обслуживания плодородных районов Российской Империи. Спешно составленный проект Министерства Земледелия был немедленно мною доложен Государю и Совету Министров, а также внесен в думские комиссии для согласования его с проектом Министерства Путей Сообщения.

Умел Александр Федорович по-своему угождать и Государю. Позднею весной 1916 года, завтракая за царским столом в Могилеве, я не без удовольствия положил себе на тарелку кусок разварной *a la russe* великолепной аршинной стерляди и принялся ее с наслаждением вкушать, мысленно переносясь в мои приволжские палестины... Но вот я стал замечать неоднократно останавливавшиеся на мне взгляды сидевшего против меня Августейшего хозяина, который, дав мне докончить лакомое блюдо, своим деликатным и приветливым голосом меня спросил: – Понравилась вам рыба? После моего утвердительного ответа Государь добавил: – Это ведь ваша родная – волжская!...

Подошедший ко мне по окончании завтрака генерал. Воейков шепнул мне на ухо: – Берите пример с Трепова – приехал с Волги и привез Царю в презент диковинных стерлядей!..

Отношения Александра Федоровича к своим коллегам нельзя было назвать ровными и устойчивыми; они скорее отличались порывистостью и непостоянством. Ко мне лично Трепов сначала относился необыкновенно дружески, позволяя себе высказывать в моем присутствии самые интимные свои мысли и предположения.

Не забуду, как в описанную мною выше нашу совместную поездку в Могилев, в первый же вечер, пришел Трепов ко мне в вагон пить чай и, пользуясь тем, что мы одни, разоткровенничался во всю. Высказав по моему адресу свою превеликую симпатию, он стал настойчиво призывать меня содействовать его плану обновления Совета Министров, доказывая необходимость в первую голову срочно удалить из его состава С.Д. Сазонова. На это я заметил ему: – Очевидно, вы, Александр Федорович, хотите быть на положении премьера и задались целью формировать угодный вам кабинет. Если это так, умоляю вас, одновременно с Сазоновым, вычеркните и меня с занимаемой мною должности, за что я от глубины души буду вам признателен!.. При этих словах Трепов, весь вспыхнув, нервно мне ответил: – В премьеры я не собираюсь, а хочу лишь улучшить состав своих сочленов по Совету Министров, оставив в нем таких людей, как вы или как Александр Алексеевич Хвостов!

Надо думать, что тогда я своим намеком на премьерство затронул больное место Трепова, человека крайне честолюбивого и, в конце концов, достигшего своей цели.

Должен сознаться, что, хотя относился ко мне Александр Федорович подчеркнуто любезно, нередко приглашал меня к себе на обеды и вызывал на откровенность, я как-то инстинктивно держал себя с ним несколько на стороже, стараясь избегать интимных с ним беседований. Чем больше приходилось

мне с ним сталкиваться и работать, тем яснее я замечал неискренность в его поведении. Особенно ясно проявил он это в памятный для меня день, 21-го июня 1916 года, день бесповоротного решения моего выйти в отставку. Вспомнились мне тогда неоднократные предупреждения А.В.Кривошеина относительно Трепова, которого он не называл иначе, как «богом интриги», и советовал мне его всемерно опасаться.

Февральская революция 1917 года застала на посту Министра Путей Сообщения Э.Б.Кригер-Войновского, заместившего собою А.Ф.Трепова. Со слов очевидца А.Н.Яхонтова, занимавшего в то время должность управляющего канцелярией Министра Путей Сообщения, после насильственной замены царского правительства революционным «Временным» Правительством, Трепов, в сопровождении своего брата Владимира Федоровича и А.В.Кривошеина, явился в бывшее свое министерство с намерением предложить свои услуги вновь образовавшейся «народной» власти. Но поставленный Временным Правительством во главе ведомства Путей Сообщения депутат Бубликов бывшему царскому министру в этом отказал.

Свергнувший Временное Правительство большевизм вынудил Александра Федоровича Трепова уехать за границу и поселиться в Париже, где он сумел устроить свою жизнь относительно благополучно. Он занял видное политическое положение в беженской колонии, как глава монархического объединения и организовал довольно крупное акционерное предприятие по железобетонному строительству.

10-го ноября (н. с.) 1928 года Александр Федорович заехал по делам в Ниццу, где скоропостижно скончался на скамейке железнодорожного вокзала. Погребен он на русском Ниццком кладбище в нескольких шагах от того, чье имя он произносил с

нескрываемой неприязнью и кого он ревностно мечтал исключить из состава министров. Кончилась жизнь этих двух царских министров, Трепова и Сазонова, и на месте вечного упокоения они оказались рядом.

Министром Народного Просвещения состоял шталмейстер Двора Его Величества граф Павел Николаевич Игнатьев. Он завоевал себе в широких кругах общества большую популярность, как деятель либерально-гуманного направления.

Доступный с низшими, приветливый с равными, граф Игнатьев вел себя на заседаниях Совета Министров сдержанно, уклоняясь от острых споров и резких выступлений. Это не значило, что граф Павел Николаевич относился поверхностно и хладнокровно к политическим событиям. В частном быту и вне официальных заседаний, он был иным и видимо питал ко мне добрые, доверчивые чувства. Не раз, перед заседаниями Совета Министров, он заезжал ко мне, или в самом здании Мариинского Дворца отводил меня в сторону, чтобы поделиться со мною своим горячим возмущением по поводу казавшегося ему неприемлемым того или другого проекта, внесенного на рассмотрение Совета Министров. Но стоило начаться заседанию, как тот же Игнатьев, по свойству своего мягкого характера, занимал позицию не только сдержанного, но нередко совершенно молчаливого члена коллегии, и мнение его выяснялось лишь при окончательной баллотировке.

Впрочем, на одном из заседаний, когда Министру Народного Просвещения было отказано в прибавке жалованья учителям, обиженный Игнатьев изменил своей обычной выдержке и спокойствию и проявил ту горячность, которую я у него нередко наблюдал в частных наших разговорах. Считаю нужным отметить, что в период нашей совместной с ним службы, нас с Игнатьевым связывало одинаковое отношение ко многим вопросам

государственного порядка (например – к вопросу о созыве законодательных палат) и к лицам, нас окружавшим, хотя бы к премьеру Штюрмеру. Разница между нами была, может быть, та, что я, вероятно, казался менее сдержанным, чем мой глубокоуважаемый коллега – Министр Народного Просвещения. Он, в конце концов, последовал моему примеру, и за два месяца до февральских событий 1917 года вышел в отставку, заняв место А.А.Ильина, пост председателя Главного Управления Российского Общества Красного Креста.

Очутившись после революции в Англии, Игнатьев одно время занимался на ферме сельским хозяйством, а затем переехал в Париж, где он и по сие время благополучно проживает, взяв вновь в свои руки руководство делами уцелевшей старой организации Российского Красного Креста..

Во главе ведомства Торговли и Промышленности состоял гофмейстер Высочайшего Двора, князь Всеволод Николаевич Шаховской. В противовес графу Игнатьеву, этот Министр, ни в служебных, ни тем более в законодательных кругах, не сумел себе снискать прочных симпатий и репутации серьезного делового человека.

Князь Шаховской держал себя нервно и суетливо. На заседаниях Совета Министров любил по всем вопросам, высказываться своим торопливым, слегка шепелявым говорком. Его суждения и предположения редко принимались его коллегами во внимание. Особенно не переваривал его адмирал Григорович, не стеснявшийся делать ему довольно бесцеремонные замечания. На общих собраниях законодательных палат князь Шаховской выступал лишь в случаях крайней необходимости, и к нему там относились достаточно недружелюбно..

Назначение на такую серьезную и ответственную должность, как Министр Российской торговли, да еще и промышленности, такого легковесного человека, как князь Шаховской, всегда представлялось мне загадкой. Говорили, что в этом назначении сыграл решающую роль Великий Князь Александр Михайлович, а Шаховской продолжал держаться на своем посту благодаря умению угождать тем, от кого зависело его положение.

Немало испортил крови этот Министр не только мне, но и другим своим коллегам во время деловых заседаний «Совета пяти Министров», который образовался в целях более удобного общения лиц, стоявших во главе «Особых Совещаний». В обстановке этой срочной и серьезной работы князь Шаховской, вместо вдумчивого, строго делового разрешения трудных вопросов, сплошь и рядом позволял себе отделяться шуточками и остротами, которые потом не без возмущения повторялись в столичном обществе.

Когда на одном из этих заседаний пришлось обратиться с просьбой к Министру Торговли и Промышленности, как Председателю Особого Совещания по топливу, чтобы он в самом срочном порядке распорядился подать уголь из Донецкого бассейна в смежный южный район для поддержания сахаро-рафинадного производства, Шаховской отнесся к этому ходатайству отрицательно. Он привел ряд причин, по нашим сведениям совершенно неосновательных и недостоверных, о чем мы ему тотчас же и заявили. Тогда Шаховской объявил, что, по его понятиям, сахар рафинад для данного времени является предметом ненужной роскоши, и что для нужд армии можно обойтись одним лишь сахарным песком. На это присутствовавшие на заседании его сочлены не без основания заметили, что русский солдат привык пить чай в прикуску, и что желательно не лишать

армию необходимого продукта. Тогда Министр Торговли, повернув свою глупо улыбающуюся физиономию к возражавшим ему коллегам, не нашел ничего более остроумного, как в подтверждение своего капризного отказа дать следующий мудрый государственный совет, вскоре обошедший столичные не только салоны, но и переулки: «Пусть вместо сахарных кусков, солдатики подвяжут к потолку мешки из марли с насыпанным в них сахарным песком и, вместо прикуски, пусть по очереди посасывают их с «чайком»... Вообще, воспоминания мои, связанные с именем Шаховского, как Председателя Особого Совещания по топливу, характеризуют его, как крайне нераспорядительного сотрудника. Нередко он ставил мою продовольственную организацию в очень тяжелое положение. Было время, в первой половине 1916 года, когда, несмотря на обилие зернового продукта в юго-западном районе России, все расположенные там мельницы испытывали топливный кризис и были вынуждены употреблять, вместо угля, солому, или стоять. Между тем, при правильном руководстве, можно было снабжать означенный район углем, в изобилии имевшимся в Донецком бассейне, откуда доставка могла безостановочно производиться.

Обер-Прокурором Святейшего Синода состоял гофмейстер Высочайшего Двора Александр Николаевич Волжин.

Он вел свое ведомство, стоявшее особняком, спокойно и рассудительно, не принимая особо деятельного участия в решении общегосударственных вопросов.

Я всегда ставил в особую заслугу почтенному Александру Николаевичу занятую им непримиримую позицию по отношению к Петроградскому Митрополиту Питириму, находившемуся, как известно, в самых близких сношениях с Распутиным. Надо сказать, что Питирим был мне лично хорошо знаком. В

бытность мою Губернским Предводителем Дворянства он завывал некоторое время Самарской епархией.

Питирим церковную службу совершал с заметным пафосом, мало вяжущимся с монашеским смирением. Он склонен был в сношениях с людьми проявлять неподобающий его сану темперамент.

С первых шагов появления его в Самаре, Питирим оказывал мне и дворянству усиленное внимание. Он благословил вверенное моему попечению сословие богато украшенной иконой, которую просил водрузить в нашем Дворянском Доме. Во время его дальнейшего пребывания в Самаре, пришлось его ближе узнать и глубочайшим образом в нем разочароваться.

Разговорились мы однажды с Питиримом по поводу личности и деятельности епископа Уфимского, Андрея, приходившегося мне двоюродным братом и открыто в то время выступавшего в печати и в своих громовых проповедях против распутиновщины.

Не зная о моем близком родстве с епископом Андреем, Питирим стал о нем отзываться с явной неприязнью, приписывая ему желание шуметь против Распутина, чтобы создать себе популярность и на этом обосновать свою дальнейшую карьеру. При этом самарский архиерей нравоучительно добавил, что, по его мнению, никому из них, епископов, не след идти против Синодских указов, каковы бы они ни были.

Все эти рассуждения меня резко оттолкнули от Питирима, который вскоре после этого проявил себя во всей силе своего мерзкого угодничества перед тобольским «старцем». Это стало известно совершенно случайно.

Спустя некоторое время после неудавшегося покушения Гусевой на Григория Распутина, приезжает ко мне губернатор

Протасьев и сообщает, что начальник самарской почтово-телеграфной конторы привез ему копию телеграммы, посланной Пителимом в Тобольск на имя грязного старца. В ней самарский архиерей выразил свою искреннюю радость по случаю избавления его, Распутина, от грозившей ему опасности и молил Господа сохранить его драгоценное здоровье на многие лета. О содержании этой возмутительной телеграммы я счел долгом довести до сведения своих сословных сослуживцев, и мы все единодушно решили порвать после этого всякие сношения с распутинским молитвенником и вернуть ему полученную от него икону.

Вскоре Пителим был назначен экзархом Грузии, а затем – Петроградским Митрополитом. Наш дворянский уговор по отношению к нему я свято продолжал соблюдать: попав на службу в столицу и присутствуя на официальных соборных служениях, я никогда ни под благословение, ни для целования креста к Пителиму не подходил, чем, как мне говорили, доводил Митрополита до состояния бешеной злости. Определенное отрицательное отношение к распутинским угодникам со стороны Волжина мне было тем более по душе, и я Александра Николаевича за это глубоко уважал.

Вскоре после назначения премьером Штюрмера, состоявшего в самых интимных отношениях с Пителимом и Распутиным, я однажды услышал горячий разговор нового председателя Совета Министров с Александром Николаевичем Волжиным, который при виде меня воскликнул:

– «Да вот спросите Александра Николаевича Наумова, что такое представляет из себя Пителим! Он его хорошо знает!»... На обращенный ко мне вопрос Штюрмера, я поспешил ответить следующее: «Всякий час, что Православную Церковь возглавляет нечистый Пителим, – приносит ущерб ее достоинству и

вред ее пастве». Разумеется, для Штюмера моя характеристика была безразличной и недоказательной. Его интересовала не церковная, а иная деятельность Питирима, выгодная для Штюмера, как премьера.

Волжин, вскоре после моего ухода из Министров, тоже покинул службу, будучи назначен членом Государственного Совета. После революционного разгрома судьба нас с ним свела в далеком зарубежье, на южном берегу Франции, в Ницце. Там мы с Александром Николаевичем сначала часто и дружески виделись, а затем та же капризная судьба захотела нас разъединить на почве церковного раскола. Я остался верен возглавлению Западно-Европейских церквей Митрополитом Евлогием, как иерархом, преемственно получившим свою власть от Патриарха Тихона, а бывший Обер-Прокурор Святейшего Синода почему-то предпочел пойти вслед Митрополита Антония, совершенно произвольно, или скорее – революционно, истолковавшего отмененные Патриархом Тихоном постановления Карловацкого Собора 1921 года.

Осталось мне сказать еще про последнего сочлена Совета Министров – наиболее давнего, старшего по службе и чинам, числившегося заместителем председателя Совета. Это был статс-секретарь Его Величества, член Государственного Совета и сенатор – Петр Алексеевич Харитонов, занимавший пост Государственного Контролера.

Петр Алексеевич был одним из наиболее выдающихся государственных деятелей по своим способностям, рассудительности, опытности и огромной деловой подготовке. Обладая даром точно, логично и обстоятельно излагать свои мысли как на словах, так, в особенности, на бумаге, ровный, спокойный и вдумчивый – Харитонов являлся незаменимым сотрудником в разносторонних работах Совета Министров, находя всегда

удачный и толковый совет и исход для благополучного разрешения самого запутанного и сложного вопроса. Недаром почтенного Петра Алексеевича именовали «акушером» за ту помощь, которую он оказывал в трудных случаях появления на Божий свет того или другого постановления г.г. Министров. В 1916 г. его заменил член Государственного Совета Н.Н.Покровский, о котором речь будет ниже. Вскоре после этого, в том же 1916 году, Петр Алексеевич Харитонов скончался.

140

13-го ноября 1915 года – в день получения Высочайшего Указа о назначении меня Министром, я сразу приступил к ознакомлению с ближайшими моими сотрудниками по ведомству.

В состав вверенного мне Министерства в обычное время входили департаменты: государственных земельных имуществ, земледелия, лесной, переселенческое управление и отделы: земельных улучшений, рыбный, сельской экономии и сельскохозяйственной статистики, огнестойкого строительства, кустарный, художественно-музейный, Ученый Комитет, Совет Министра и канцелярия.

Каждое из названных учреждений подразделялось, в свою очередь, на ряд более мелких подразделов, имевших свое специальное назначение и наименование.

Помимо всех перечисленных отраслей, в компетенцию Министерства Земледелия, со времени образования в августе 1915 года Особого Совещания по Продовольствию, – вошла огромная, чтобы не сказать безграничная, область продовольствия армии, а отчасти и тыла.. Вместо сконструирования особого Министерства Снабжения, как в экстренном порядке орга-

низовали у себя все воюющие Европейские государства, – в России были образованы Особые Совещания – по обороне, продовольствию, транспорту и топливу, во главе которых стояли Министры: – Военный, Земледелия, Путей Сообщения, Торговли и Промышленности. В результате получилось раздробление многосложного дела снабжения армии, требовавшего по своему существу и заданию полного единства организации и действий. В то же время Министры, возглавившие «Особые Совещания», оказались вынуждены употреблять свой служебный персонал для новых задач, в ущерб интересам собственных ведомств.

Министр Земледелия, он же Председатель Особого Совещания по продовольствию, для этой последней задачи не имел в своем распоряжении никаких специальных ассигновок и особо откомандированных ему лиц. Силою вещей он вынужден был для этой цели использовать значительный штат состоявших под его началом чиновников, отрывая их от прямых ведомственных обязанностей. О необходимости образовать особое Министерство Снабжения в России начали среди членов обеих законодательных палат раздаваться громкие голоса лишь в конце моей министерской работы, когда все воочию убедились в исключительной трудности и ненормальности создавшегося для меня положения.

Директором Департамента Государственных Земельных Имуществ был давний ведомственный работник – Петр Павлович Зубовский, отличавшийся необыкновенной работоспособностью, точной исполнительностью и всесторонней осведомленностью. Он был знатоком и главным руководителем всей землеустроительной деятельности в Империи, будучи в этом отношении незаменимым помощником своего непосредственного начальника – товарища министра А.А.Риттиха.

Департамент Государственных Имуществ подразделялся на ряд подотделов, возглавлявшихся особыми вице-директорами (Сафонов, Забелло и др.), которые, благодаря примерному трудолюбию, ровности характера и, вместе с тем, справедливой требовательности их ближайшего начальника Зубовского, вели свое дело дружно и образцово.

Я любил выслушивать доклады почтенного Петра Павловича – все у него было заранее обстоятельно взвешено и обдумано. Говорил он тихим голосом, всегда спокойно, немногоречиво, но складно и вразумительно. Зубовский целиком был человеком служебного долга и дела. Он всегда напоминал мне моего незабвенного головкинского сотрудника, тоже человека долга и дела, Илью Петровича Кошкина. Таких достойных работников на людском торжище не много можно было встретить.

Не таков был Директор Департамента Земледелия – Дмитрий Яковлевич Слободчиков. При всей своей работоспособности, Дмитрий Яковлевич оставался в столичной обстановке все тем же неутомимым искателем карьерных благ, каким он был и ранее, в период его самарской провинциальной службы. Как тогда, так и теперь, Слободчиков, очевидно, вследствие своего беспокойно пронырливого характера, не пользовался среди своих сослуживцев ни симпатиями, ни достаточным авторитетом.

Во главе Лесного Департамента стоял сравнительно еще молодой, полный сил, могучий, широкоплечий Николай Владимирович Грудистов, с первых же своих докладов завоевавший мои глубочайшие симпатии. Со временем я провел его в товарищи министра и имел в виду оставить его на место Глинки.

Знаток своей лесной специальности, Грудистов обладал широкой инициативой и отличался выдающейся работоспособ-

ностью и исполнительностью. Искренно преданный делу, Николай Владимирович был мощным подсобным устоем, на который можно было всецело положиться. Департамент свой Грудистов вел образцово – у него во всем царствовал порядок, во всех делах чувствовалась твердая рука. Лесную отрасль он любил безгранично. В этом отношении мы с ним близко сходились, дружно и горячо обсуждая различные мероприятия, касавшиеся наших излюбленных лесов.

Грудистов весь просиял, когда я согласился поехать с ним осмотреть Лесной Институт и его питомник. Поездка наша состоялась в солнечный весенний день (8-го мая 1916 года) и произвела на меня самое благоприятное впечатление. Удивительное радушие, с которым нас встретили не только профессорский персонал, но и студенческая молодежь, превосходное здание, интереснейший музей, богатейшие лесные питомники – все это было отрадно видеть и воочию убедиться в огромном значении, которое имела высшая государственная школа для подготовки лесных специалистов. Перед отъездом из Института, я провел некоторое время со студентами, с которыми у меня завязались самые оживленные, лишенные всякой официальной натянутости, разговоры. К немалому моему удивлению, при расставании, я от них услышал выражение горячей благодарности за посещение мною их Института, в стенах которого, по их словам, мой предшественник ни разу не бывал.

В Москве мне однажды тоже удалось, несмотря на обычное «некогда», навестить грудистовское хозяйство – могучий, седой, сосновый заповедник в «Погоно-Лосиной» казенной даче, где имелась превосходно поставленная и оборудованная лесная школа.

В общем, Николай Владимирович мог по праву гордиться очевидными результатами своей деятельности. Когда ему пришлось в срочном порядке заняться заготовкой лесных материалов для нужд военного времени, то и тут он проявил инициативу, установил премировку для оплаты работ, исполненных в известные сроки, и достиг блестящих результатов.

Риттих и Грудистов, связанные личной дружбой, являлись для меня основными, искренне преданными помощниками. Их доброе ко мне отношение и дельные, честные советы поддерживали меня во всех перипетиях моей министерской деятельности.

Волею судеб, уже в условиях послереволюционного беженского моего «существования», – я считаю, что до революции 1917 года была у меня «жизнь», а после началось одно лишь «существование» – я неожиданно встретил моих бывших «товарищей» и друзей А.А.Риттиха и Н.В.Грудистова в 1922 году в Лондоне. Они служили в банке бр. Рябушинских и казались удовлетворенными своим относительным благополучием. К несчастью, оно продолжалось недолго. Рябушинские разорились, банковское их дело было ликвидировано, и оба они очутились в тяжелом положении. Бедный Риттих в 1930 году скончался от рака, а Грудистов, не находя применения своим знаниям и энергии, более чем скромно живет в туманном и чуждом ему Лондоне. Жутко становится на душе, когда подумаешь, сколько безжалостная революционная стихия уничтожила и отбросила полезных и творческих государственных сил, в былые годы создавших столько ценностей, а ныне прозябающих на чужбине...

Во главе Переселенческого Управления, находившегося в ведении Товарища Министра Г.В.Глинки, я застал Геннадия Федоровича Чиркина, сообразительного, хорошо осведомленного

работника, серьезно интересовавшегося порученным ему делом.

Надо отдать должное Глинке, он положил много трудов на разумное разрешение и постановку переселенческого вопроса, имевшего, как известно, для Российской Империи огромное государственное значение. За свое долголетнее заведывание Переселенческим Управлением, Глинка успел достичь положительных результатов и подготовить целую школу специалистов по названной отрасли государственного управления. Чиркин был одним из наиболее способных его учеников, заслужившим не без основания особое доверие своего учителя.

Я всегда особенно охотно принимал в своем кабинете Чиркина, умевшего своими обстоятельными и живыми докладами в сильнейшей степени заинтересовать слушателя. Благодаря его ясному и планомерному изложению, я успел быстро ознакомиться с общим положением переселенческого вопроса и общегосударственной переселенческой политики, которая вызывала с моей стороны полное сочувствие и одобрение.

После большевистского переворота 1917 года, новые хозяева оставили Чиркина на прежнем месте. Он продолжал заведывать столь близко знакомым ему Переселенческим Управлением.

Невольно в голову приходят следующие соображения: если таких выдающихся по уму и деловитости «Чиркиных» в разных ведомствах осталось не мало в распоряжении совдепской власти, то техника управления у большевиков могла бы не худо наладиться. «Чиркины» это те невидимые колесики часового механизма, скрытые за циферблатом, которые приводят в движение часовые стрелки. Так, думается мне, обстоит дело и в России – циферблат ныне иной, а за ним работают все те же «Чиркины». Не отсюда ли произошла та, для многих до сих пор

непонятная, устойчивость государственного механизма огромной империи, которую удалось сохранить безграмотным в государственном отношении кремлевским заправилам. Они унаследовали не только «Ленинские заветы», но и ценнейший внутренний механизм прежнего российского государственного управления?

Во главе Отдела Земельных Улучшений Министерства Земледелия находился многолетний ведомственный работник, князь Владислав Иванович Масальский. В его заведывании находилась хозяйственная отрасль огромного масштаба и значения. За последние годы, она, с легкой руки Кривошеина, обращала на себя внимание законодательных палат. Широкие ведомственные задания, направленные на приведение Средне Азиатских обширных степей, путем их орошения, в земли, пригодные для сельскохозяйственных культур, встречали в Таврическом и Мариинском дворцах самое благожелательное отношение. Благодаря этому бюджет Отдела Земельных Улучшений из года в год разрастался и деятельность его вызывала всеобщий интерес.

Такое же щедрое отношение законодательных палат вызывало и развитие мелиоративного кредита, при содействии которого упомянутый отдел Министерства Земледелия, в области земельных улучшений, мог способствовать проявлению частной инициативы. При этом, денежный вопрос или, скорее, материальная заинтересованность тех или других контрагентов Ведомства Земледелия, играли не малую роль. На этой почве глубоко порядочному и безусловно честному князю Масальскому приходилось иногда испытывать служебные осложнения довольно неприятного свойства.

Вспоминается мне один из первых его докладов. Обстоятельно его изложив, князь Владислав Иванович попросил меня

дат ему указание, как поступить с залежавшимся в его делопроизводстве ходатайством небезызвестного в закулисных столичных кругах князя Андроникова об уступке ему на концессионных началах значительной площади государственной земли в пределах Хивинской области, на которой производилось орошение, для разведения хлопковой культуры. Имя князя Андроникова, которого я лично не знал и никогда не видал, но о котором до меня доходили недобрые вести, заставило меня невольно насторожиться, и я попросил князя Масальского все дело об андрониковской концессии мне представить для всестороннего ознакомления. Просмотрев его, я убедился, что без необходимых дополнительных справок и заключений Туркестанских властей дело это решать нельзя. Я дал приказ затребовать все нужные сведения с мест. В то же время для меня стало ясно, что по поводу андрониковских концессионных аппетитов происходит в самих ведомственных сферах – между князем Масальским и Г.В.Глинкой – довольно острое расхождение во взглядах. Концессии князю Андроникову получить так и не удалось, причем Глинка пробовал неоднократно мне внушать, что Андроников имеет влияние на Масальского, в чем убедить меня он так и не смог.

Разрешение мелиоративных кредитов сплошь и рядом ставило Заведывающего Отделом Земельных Улучшений в затруднительное положение. Претендентов оказывалось великое множество. Разбираться в справедливости их домогательств представлялось делом во многих случаях нелегким, а иногда и деликатным.

Например, появляется в моем служебном кабинете В.А. Маклаков, один из наиболее видных думских депутатов, член оппозиционно настроенной кадетской партии, талантливый человек и выдающийся оратор, в послереволюционное время

назначенный Временным Правительством на пост Парижского посла.

Сославшись на то, что, по распоряжению А.В.Кривошеина, он пользовался мелиоративным кредитом для оборудования в подмосковном имении железобетонной мельничной плотины, он просил снова оказать ему кредит в 10.000 рублей для завершения начатого им показательно мелиоративного дела... Будучи сам сельским хозяином и мельничным строителем, я стал более обстоятельно расспрашивать пришедшего ко мне думца, стараясь выяснить, насколько предпринятый им ремонт мельничной плотины можно подвести под понятие мелиоративных работ. К глубокому моему сожалению, несмотря на все красноречие моего собеседника, я в необходимости отпуска ему министерской ссуды сильно усомнился. Это повергло кадетского депутата в раздражение, причем у него сорвалось такое замечание:

– Ваш предшественник выдавал мне просимые суммы – почему же вы этого сделать не хотите?!

Я ответил, что Ведомством Земледелия будет предпринято обследование на месте, и если окажется возможным признать производимые мельничные работы за мелиоративные, то кредит будет немедленно открыт в размере, соответствующем действительной надобности.

– Надеюсь, – обратился я к своему влиятельному просителю, – подобная постановка вопроса вас, как члена Государственной Думы, вполне удовлетворяет?!

При этих словах, Маклаков, принадлежавший к партии, зорко и строго наблюдавшей за закономерностью действий правительства, – заметно недовольный результатом своего хо-

датайства, еле со мной простившись, быстрыми шагами удалился из кабинета, громко хлопнув дверью. Хуже всего, что, после обследования на месте, пришлось ему в кредите отказать.

Умный, осторожный и, вместе с тем, до болезненности самлюбивый князь Масальский, при помощи своих достойных помощников – инженера Максимова и Флексера, вел свое дело превосходно. Один из его подотделов обслуживал ответственное дело, непосредственно связанное с обороной. Под его началом формировались гидротехнические отряды, направлявшиеся на фронты. Им давали стратегические задания осушать или затоплять те или другие местности. Лица, входившие в названные отряды, числились на действительной военной службе. Благодаря этому, многие, во избежание отбывания воинской повинности на боевых позициях, предпочитали записываться в гидротехнические организации Министерства Земледелия. Желających оказалось изрядное количество. Приходилось многим отказывать.

На этой почве у князя Масальского возникало немало хлопот и неприятностей. Он получал массу писем и всяческих рекомендаций с просьбами зачислить то или другое лицо в списки гидротехников. Некоторые видные персоны обращались с подобными ходатайствами непосредственно даже ко мне, но я их направлял к Масальскому. Получал я подобные обращения и от Петроградского Митрополита Питирима. Его письма я самолично и немедленно уничтожал. С таким же ходатайством появился однажды в моей министерской приемной сам Распутин.

Работы гидротехнических организаций мне пришлось осмотреть в районе западного фронта, в окрестностях Могилева. О деятельности этих отрядов до меня доходили самые благоприятные отзывы.

В своей деятельности князь Владислав Иванович проявлял не только ум и энергию, но и немало живейшего к ней интереса. По его настоянию я подробно осмотрел подведомственный ему превосходно обставленный музей, наглядно и детально знакомивший посетителя со всей сущностью торфяного дела и его производства. В музее были отличные карты, образцы почв и все технические изобретения и машинные приспособления для выработки торфа. Подобная постановка ведомственного учреждения произвела на меня самое отрадное впечатление.

Во главе рыбного отдела стоял В.К.Бражников. Это был человек, всесторонне изучивший свою специальность и превосходно осведомленный о положении всего огромного рыбного хозяйства в Империи. Благодаря ему, я детально ознакомился с целым рядом научных трудов по состоянию рыбного дела в нашем многоводном отечестве, которое по ценности добычи рыбы занимает, после С.А.С. Штатов и Великобритании, третье место на мировом рынке.

С искренним увлечением любящего свое дело специалиста, Бражников всегда пользовался удобным случаем, чтобы в живой и интересной форме разъяснить мне сущность экспонатов, выставленных в помещении его рыбного отдела и добытых в результате русских научных экспедиций. Из них наиболее примечательными были – Астраханская и Каспийская. Этим общительный Бражников не ограничивался. Он водил меня в музей Академии Наук, где продолжал давать мне интереснейшие пояснения по поводу экспонатов других экспедиций. Из них мне запомнились две, в научном отношении наиболее полно обставленные, «Баргузинская» и «Саянская», имевшая между прочим, целью изучить меры по охранению соболяго промысла.

Не могу не упомянуть здесь про одну исключительную по своему значению услугу, которая была, в бытность мою Министром, оказана отечественному рыбному хозяйству тем же Бражниковым, своевременно подсказавшим мне меры в ограждение рыбоводного бассейна Тихого Океана от хищнических поползновений на него со стороны наших желтолицых соседей – юрких японцев.

В начале 1916 года Глинка под ведением которого был рыбный отдел, доложил мне, что, по поводу предстоявшей сдачи с торгов на Дальнем Востоке рыбных ловель, намечается между дипломатическими представителями жадной Японии и уступчивой России предварительное соглашение, идущее вразрез с принятой по этому вопросу хозяйственно экономической политикой Министерства Земледелия.

Мне не удалось что-нибудь точно узнать по этому поводу в Министерстве Иностранных Дел. По совету Бражникова, 6-го февраля 1916 года, я решился принять экстренные и, пожалуй, не совсем обычные, меры для предотвращения возможного вмешательства посторонних ведомств в нормальный порядок, установленный практикой Министерства Земледелия, которое охраняло интересы российских предпринимателей в их отношениях с японскими рыбопромышленниками. Для японцев, как участников на предстоящих рыбных дальневосточных торгах, в Бражниковском отделе были выработаны особые цены. Ввиду необходимости срочной их доставки и ради соблюдения служебной тайны, они были вложены в «секретный» министерский пакет и экстренно посланы, за мой личный счет, с особо откомандированным мною курьером на Дальний Восток, для непосредственного вручения их там старшему представителю нашего ведомства.

Обошлась мне эта посылка свыше 1000 рублей, но зато цели своей мы с Бражниковым достигли, интересы наших соотечественников от беззастенчивых аппетитов желтолицых соседей мы, наперекор мягкотелой уступчивости наших дипломатических представителей, оградили.

Отделом сельской экономии и сельскохозяйственной статистики заведывал Владимир Степанович Кошко. В Министерстве Земледелия он был своего рода юрисконсульт по всем вопросам экономического порядка, требовавшим всестороннего обсуждения и разрешения их в междудементственных совещаниях.

При первом знакомстве он мне показался далеким от жизни кабинетным работником, блуждающим в академических измышлениях, но я вскоре был вынужден изменить мое мнение. Умный и дельный, Кошко блестяще выполнил поручение огромного практического значения, возложенное мною на него ранней весной 1916 года. Это окончательно убедило меня, что он – выдающийся работник не только в области теоретического мышления, но и в деле хозяйственно-практического порядка...

В целях эксплуатации конфискованных немецких и австрийских земельных владений, расположенных вдоль нашего западного и юго-западного фронтов, и ради скорейшей и ближайшей доставки для нужд армии продовольственных и фуражных продуктов, мною с ранней весны намечена была спешная разработка и обсеменение этих пустовавших плодородных земель. Дело это требовало исключительной энергии, знания и распорядительности со стороны лица, которому оно вверялось. Кошко прекрасно справился с порученной ему нелегкой задачей, и проявил выдающиеся административные дарования.

С ним у меня связаны также и иные воспоминания, относящиеся к наиболее тяжкому периоду моего послереволюционного существования – ко времени нашей первой Крымской эвакуации, в конце марта 1919 года, когда с семьей, после шестисуточного лежания на грязном днище кормового пароходного трюма, был выброшен на Новороссийской пристани без копейки денег и какого либо пристанища. Не знаю, дойду ли я в своих воспоминаниях до описания этих невыносимо тяжелых дней наших беженских мытарств, но я считаю необходимым упомянуть об одном обстоятельстве, в полной степени характеризующем доброту и благородство души бывшего моего сослуживца Кошко.

Измученный физически и морально, вылезши из вонючего пароходного трюма, побрел я в утро Вербного Воскресенья (1919 г.) по набережной Новороссийского порта в город, имея в виду на последние оставшиеся гроши купить свечу и поставить ее к образу в Соборе. Все мои помыслы тогда были направлены единственно на Божье милосердие. И Небесный Хозяин нашей человеческой судьбы на самом деле эту желанную и спасительную помощь мне ниспослал!

Случилось со мною не иначе как чудо. Отойдя сотню шагов от парохода, я вдруг услышал около себя голос, назвавший мое имя и отчество. Я поднял, голову и обернулся. К немалому моему изумлению я увидел знакомый облик бывшего моего сотрудника Кошко.

От неожиданности и радости мы в первый момент не знали, что друг другу сказать, но мой измученный и обтрепанный вид заставил Кошко первого заговорить и высказать соболезнующее предположение о выпавшей на мою долю очевидно тяжелой жизни. Из невеселых рассказов он вскоре узнал всю горькую обо мне и моих несчастных семейных правду.

– Позвольте, дорогой Александр Николаевич, – обратился тогда ко мне душевным голосом Кошко, – в память всего доброго, которое я от вас всегда видел в прошлой нашей совместной работе, предложить вам теперь с моей стороны некоторую помощь. Я состою на службе у Рябушинских в качестве одного из руководителей Ростовского отделения принадлежащего им Черноморского Банка. Сегодня же вам будет открыт кредит в здешнем Новороссийском их отделении в той сумме, которая может вас удовлетворить. Не откажите выразить мне готовность оказывать вам посильную помощь!..

Мне оставалось лишь со слезами благодарности крепко обнять достойнейшего человека за оказанную мне и моей семье своевременную поддержку.

Случай этот крепко запечатлелся не только в нашей с женой памяти, но и в памяти моих детей. В тот же день они от меня узнали все подробности. И если я сейчас еще раз им об этом напоминаю, то делаю это для того, чтоб закончить характеристику не только умного и образованного, но и благороднейшего, христиански настроенного Владимира Степановича Кошко.

В Министерстве Земледелия был еще один, сравнительно небольшой отдел сельского и огнестойкого строительства, находившийся в заведывании двух деятельных и способных чиновников, – Шилкина и Афанасенко.

Во время Европейской войны 1914 года отдел этот получил значительные и широкие задания – составить подробные планировки и строительные сметы для населенных мест, находившихся в районах боевых действий и подвергшихся полному или частичному разрушению. Работа в этом направлении велась чрезвычайно интенсивно и представляла собой, в некотором отношении, даже художественный интерес, так как названный

отдел периодически выпускал небольшие книжечки, превосходно изданные отчеты исполненных работ с приложением отпечатанных в красках иллюстрированных образцов проектируемых разного типа построек, городских улиц и общих планов.

Этими изданиями Министерства всегда очень живо интересовался маленький Наследник Цесаревич, когда я их иногда брал с собой и представлял на просмотр во время всеподданнейших докладов Государю Императору.

Кустарный отдел, так же как и художественно-музейный, находились в руках членов Совета Министерства – Андрея Михайловича Тернэ и Адриана Викторовича Прахова.

Надо сказать, что Совет Министра Земледелия существовал только по имени. В бытность мою Министром, да и ранее, Совет роли никакой не играл и самая должность члена Совета являлась почетным званием, дававшим некоторые служебные привилегии и возможность, без всякого делового обременения, получить генеральский чин.

Таких членов Совета я застал несметное количество, так же, как и лиц, числившихся на министерской службе в качестве чиновников особых поручений.

Встречались, впрочем, среди них и исключения, хотя бы в лице упомянутых мною выше таких кленов Совета, как Кошко, Тернэ, Прахов и некоторых других.

Кустарным отделом заведывал А.М.Тернэ. Кустарное дело в России представляло из себя чрезвычайно широкую и интересную отрасль народного труда, сравнительно еще мало обследованную. Но при моем предшественнике она стала объектом особого его внимания и поощрения. Кривошеин сумел привлечь к кустарям и сердца российских законодателей, которые

щедро шли навстречу его сметным предположениям на развитие и укрепление кустарного производства.

Благодаря этому, при Кривошеине стали насаждаться кустарные школы, устраивались грандиозные кустарные выставки, экспонаты которых нарасхват раскупались и вывозились за границу. Наконец, от моего предшественника досталось мне в наследие начатое им дело по организации особого кустарного общества в виде Всероссийского Главного Кустарного Комитета. Кривошеин заранее испросил согласия Государыни Александры Феодоровны на принятие упомянутого Комитета под ее Августейшее покровительство в качестве его Председательницы. ее Величество охотно выразила на это свое согласие и поручила Кривошеину представить ей все соображения, касавшиеся устава. Кривошеин на помощь себе взял члена Совета Андрея Михайловича Тернэ, с которым и приступил к разработке вопроса. Но Кривошеин не успел довести начатых работ до конца, и это довольно сложное дело перешло ко мне, вместе с его главным исполнителем, Тернэ.

Последний был добросовестный, широко образованный работник и весьма симпатичный человек. Вскоре же после вступления моего в должность, он мне доложил о желании Императрицы Александры Федоровны получить на ее утверждение уставы проектируемых кустарных организаций. Желание Государыни было нами тотчас же удовлетворено. Уставы были лично мною представлены на благоволение ее Величества, у которой по кустарным вопросам советчицей была Варвара Петровна Шнейдер, заведовавшая школой народного искусства.

Однажды мы с Тернэ посетили выставку работ этой школы, куда принимались русские девушки из простонародья. Их обучали в течение трех лет не только всевозможным отраслям кустарного художественного мастерства, но и пению народных

песен. Впечатление я вынес от всего виденного на выставке самое отрадное. На всех экспонатах лежала печать могучей силы русского таланта, которую школа сумела использовать и выявить во всей красе художественного народного гения.

Кустарный отдел вверенного мне Министерства требовал немало расходов. Приходилось заниматься им вплотную и спешно, благодаря острому интересу, проявляемому к нему Государыней, пожелавшей скорейшим образом завершить организацию Кустарного Комитета. Но с течением времени, в виду присущей ее Величеству неврастеничности и находившего на нее упадочного настроения, ее интерес к кустарному начал заметно ослабевать, доходя подчас до полного индифферентизма.

В такие болезненные полосы Императрица вообще избегала посторонних людей. Даже сам А.С.Танеев, наиболее приближенный к Государыне сановник, в эти периоды не находил возможным своими докладами нарушать покой ее Величества. Подобное положение вещей неминуемо должно было отразиться и на общем ходе наших работ, задержав на довольно длительное время окончательное оформление кустарных организаций.

О докладах по этим делам Императрице я еще упомяну в одной из последующих частей моих воспоминаний. Пока скажу несколько слов о другом также деятельном члене Совета Министра Земледелия – о почтенном семидесятилетнем Адриане Викторовиче Прахове.

Человек чрезвычайно образованный, специализировавшийся на изучении археологии и музейно-художественных ценностей, он служил нам живой справочной энциклопедией и

был очень полезен в деле устройства музеев, в области издательств и в некоторых других случаях, когда требовался совет или руководство чисто художественного порядка.

Последним трудом Прахова для Министерства, своего рода памятником его долголетней службы, было устройство, под его непосредственным руководством и по его собственным рисункам, домашней церкви в здании Министерства. Церковь была в строго византийском стиле. Особенно искусно и богато был изукрашен небольшой иконостас, весь покрытый мелко кружевным узором.

Лично мне с Праховым почти не пришлось иметь дела: вскоре после вступления моего в должность, он сильно захворал, доктора его отправили на Крымское побережье, где я его, в апреле 1916 года, навестил и поздравил старика с Высочайше пожалованной ему лентой Белого Орла. Через месяц его не стало.

141

Остановлюсь теперь на характеристике начальствующих лиц, поставленных во главе того вневедомственного учреждения, которое возникло в связи с образованием «Особого Сопровождающего по продовольствию».

А.В.Кривошеин разделил продовольственное дело между двумя отделами, и во главе каждого поставил отдельного самостоятельного ответственного руководителя. Я вскоре увидел, что мой предшественник сделал организационную ошибку и попытался ее исправить и установить в деле продовольствия больше централизации и согласованности.

Приобретение и распределение зерновых и мучных продуктов, а также сахара, находилось в распоряжении Г.В. Глинки.

Снабжение мясом, рыбой, овощами, жирами, маслами и фуражом было вверено члену Совета Сергею Николаевичу Ленину.

Личные свойства этих двух лиц вносили в совместную нашу деятельность немало осложнений.

Начать с того, что Глинка и Ленин друг друга не переваривали, избегали встреч, а тем более разговоров. Между тем оба они служили одному общему делу, которое должно было выполняться в строго согласованном порядке и по общему, заранее разработанному плану. Взаимная неприязнь моих помощников доводила их иногда до такого невменяемого состояния, что каждый из них не стеснялся при мне высказывать злорадство в случаях допущения его недругом каких-либо служебных ошибок. Подобное положение вещей чрезвычайно тягостно отзывалось на мне, на моей психике и на сложном, грандиозном деле продовольствия, которое почти целиком падало на мою голову. Я должен был среди хаоса не только разноречивых, но подчас и вовсе противоречивых советов моих ближайших, враждовавших между собою, помощников, самостоятельно обдумать для них примирительную линию.

О Глинке я уже писал, скажу несколько слов о С.Н.Ленине. Это был человек неприветливый. Улыбки, тем более, радостной, я на его лице никогда не видал. Голос у Ленина был глухой и грубый. Говорил он то как бы нехотя, то с большим пафосом. Выражения употреблял чрезвычайно резкие, производившие в собрании, особенно думском, довольно внушительное впечатление. Ленин был преисполнен необычайной самоуверенности, чем резко отличался от вечно сомневавшегося в самом себе Глинки. Самоуверенность эта не всегда приносила пользу его сотрудникам и делу, так как была основана не на фактах, а на пылком воображении и самомнении. Даже когда Ленин, по мо-

ему распоряжению, был отстранен от продовольственной должности, он, с обычным своим апломбом заявил, что среди моих подчиненных он являлся единственным верным и преданным мне человеком, который не боялся мне говорить правду.

Своими докладами Ленин нередко ставил меня, как главное ответственное лицо по продовольствию, в исключительно тяжелые условия. Прогремевшая по всей стране история с мясным кризисом окончательно убедила меня в злобредности ленинских самоуверенных и недостоверных докладов. Это положило предел моему долготерпению.

Я назначил на его место обстоятельного, скромного земского работника Николая Александровича Мельникова, долго состоявшего Председателем Казанской Губернской Земской Управы. Я воспользовался этим назначением, чтобы изменить и взаимоотношения главных служащих в продовольственном Управлении. То, чем заведывал Ленин, было передано Мельникову, которого я подчинил Глинке, как товарищу Министра, благодаря чему получилось единство управления и ответственности. Получалась согласованность и возможность некоторой планомерности в общей их работе.

Не могу не коснуться деятельности двух главных помощников Г.В.Глинки, взятых им из излюбленного Переселенческого Управления.

Всеми зерновыми и мучными продуктами заведывал Николай Александрович Гаврилов, а сахарным снабжением ведал Кирилл Иосифович Зайцев. Лучший выбор трудно было сделать.

Гаврилов был выдающимся по своим способностям и трудолюбию работником. У него была светлая математическая голова. Сложное дело снабжения он не только изучил, но и продумал определенный план разраставшейся продовольственной

кампании. Благодаря Николаю Александровичу, я мог с самого начала моей министерской деятельности быстро освоиться с моими продовольственными обязанностями.. Я мог твердо полагаться на Гаврилова на его планомерную устойчивость спокойную ровность в работе острую практическую смекалку, а главное на его преданность и честное ко мне отношение.

Вообще роль и значение Гаврилова в ходе продовольственных работ я ставлю исключительно высоко. Скажу больше: если мне с честью удалось до конца моей службы исполнять возложенные на меня обязанности по продовольствию, то этим я во многом обязан Гаврилову, денно и нощно без устали мне помогавшему.

До конца моих дней я буду почитать добром неоцененную помощь, которая была мне оказана даровитым Николаем Александровичем, в период, наиболее для меня трудной государственной деятельности...

Превосходным работником был и другой помощник Глинки – Кирилл Иосифович Зайцев, заведывавший сахарным снабжением. Он выделялся из остальной массы продовольственных сотрудников недюжинными способностями, быстрой сообразительностью, умением излагать в письменной и устной форме свои деловые соображения и заключения. Все эти качества и в послереволюционное время выдвинули его в первые ряды беженских зарубежных интеллектуальных сил. С Зайцевым мы нередко встречались в Франции, где он играет более или менее заметную роль в качестве профессора в некоторых заграничных высших учебных заведениях и редактора серьезной и интересной газеты «Россия и Славянство» (Издательство П. В. Струве).

Были также помощники и у С.Н.Ленина, в качестве заведующих особыми подотделами его обширного, управления. Фуржанным делом распоряжался Касьянов, мясом и прочими продуктами ведал Коваленко. Это тоже были добросовестные работники.

Осталось мне сказать еще несколько слов относительно канцелярии Министра Земледелия, которая в общем ходе всей ведомственной жизни была как бы ее основным мыслительным и действенным центром, куда стекалась корреспонденция, откуда распоряжения главы ведомства расходились по всем разнообразным отраслям подчиненного ему Министерства. В канцелярии сосредоточены были сношения Министра Со. всем вневедомственным миром, начиная с Государя Императора и кончая частными лицами.

Значительная роль выпадала на долю лиц, стоявших во главе этого учреждения. В этом отношении мне, полному новичку в бюрократической области, посчастливилось, что на должности Управляющего Канцелярией оказался симпатичный и даровитый Иван Иванович Тхоржевский. Благодаря ему, мне удалось сравнительно быстро освоиться с моим новым положением. При ближайшем содействии умного и чуткого Ивана Ивановича я, до некоторой степени, «научился быть Министром».

142

Условия работы моей министерской службы, в силу присоединения к ней обязанностей по продовольствию, были не только исключительно тяжелыми, но и безусловно не нормальными. Дело не в том, что за работой в общем приходилось просиживать почти 18 часов в сутки, а иногда и всю ночь проводить в состоянии крайнего мозгового напряжения. Ненормальность

моего министерского служебного бремени заключалась прежде всего в «жуткой», как я выразился в своей думской речи 18-го февраля 1916 г., ответственности перед страной.

Размеры продовольственного задания были так велики, рост и острота продовольственных потребностей так неудержимо увеличивались в районах военных действий, требуя столь срочных мер и распоряжений, что область эта целиком захватывала все мое внимание и время. Меж тем, очередные дела Министерства Земледелия тоже должны были идти и безотлагательно разрешаться. Выслушивались многочисленные доклады, происходили бесконечные приемы отдельных лиц и многочисленных deputаций от земств, от разных союзов, сельскохозяйственных организаций, кустарей, овцеводов и всевозможных объединений, включая казацьи Кубанские станицы, которые поднесли мне приговор своего войскового круга об избрании меня «почетным стариком».

Совместительство министерских обязанностей с должностью Председателя Особого Продовольственного Совещания значительно все осложняло. На приемы являлись со всех концов России люди, шкурно заинтересованные в деле продовольственных и фуражных поставок. Устраивали патетические сцены чувствительные помещицы, требующие освобождения от реквизиции их «родных коровушек». Даже сам Владимир Николаевич Коковцов, в то время уже граф, побывал у Министра Земледелия и хлопотал об избавлении небольшого стада в его Новгородском имении от реквизиционной регистрации.

Установление «твердых» цен тоже вызвало появление в моих служебных апартаментах просителей всех званий и рангов, донимавших меня своекорыстными просьбами о предоставлении каждому из них тех или других льготных расчетных привилегий, вопреки установленным Особым Совещанием

твердым ценам. В этом отношении особенно усердствовали г.г. сахарозаводчики, являвшиеся ко мне и по одиночке и целыми депутациями.

Должен не без горького чувства отметить, что просители, заполнявшие мою приемную, производили на меня в большинстве случаев тягостное впечатление. На фронте армия проявляла подлинный героизм, а среди тыловых обывателей, по крайней мере тех, которые досаждали мне своими «шкурными» просьбами, настроение было далеко не жертвенное и несовместимое с действенным патриотизмом. Досадно и больно бывало мне выслушивать эти жалкие ламентации, и стыдно становилось за подобных просителей. Видимо, миновали времена Мининых!

В речи, произнесенной мною в Государственной Думе 18-го февраля 1916 года и касавшейся продовольственного положения, я указал, что, наряду с разраставшимися размерами закупочных операций, подъем патриотизма начала войны стал постепенно падать.

Появились, – сказал я, – патриоты в кавычках, пользующиеся растущей потребностью в правительственной заготовке продовольственных продуктов для армии, чтобы на них безудержно набавлять цены... Наряду с беспримерными подвигами нашей доблестной армии, к глубокому сожалению, у нас начинает кое где проявляться серая, кислая, заплесневелая обывательщина. На почве переживаемого сейчас исключительного времени разыгрываются всяческие аппетиты...

Борясь с ними, я и установил предельные твердые цены.

Приемы производились обычно в утренние часы, частью в моем служебном кабинете, иногда в общей зале. На приемы эти

сходилось временами столько народа, что приходилось на каждого, хотя бы приезжего из дальней провинции, уделять не более нескольких минут, что само собой должно было взаимно нервировать, как являвшегося к Министру, так и сего последнего...

Нередко случалось, что за недостатком времени, даже не удавалось с каждым переговорить, и прием их откладывался до следующего раза. Для лиц, имевших срочную служебную необходимость, назначались дополнительные приемы. Исключительной привилегией пользовались члены законодательных палат, имевшие доступ к Министру во всякое время.

Очередные ведомственные доклады директоров департаментов или начальников отделов ежедневно занимали не менее 4-5 часов. Много времени приходилось также уделять участию во всевозможных заседаниях и совещаниях.

Особенно тяжелое положение создавалось для Министра Земледелия в смысле распределения времени, когда открывались сессии Законодательных Палат. Приходилось буквально разрываться на части между заседаниями Совета Министров, Особого Продовольственного Совещания, всевозможных комиссий, функционировавших при законодательных палатах и, наконец, общими собраниями Государственной Думы и Совета. Не оставалось времени не только для отдыха, но и для обдумывания своей работы.

Возьму к примеру краткую запись в моем дневнике от 24-го марта 1916 г.: в 1 ч. дня должно было быть мое выступление по ряду продовольственных разъяснений в Государственном Совете. В 2 часа дня в Государственной Думе ила смета Министерства Земледелия, и в те же часы требовалось мое присутствие на продовольственном совещании, экстренно собранном

ввиду заявления только что приехавшего из действующей армии генерал-интенданта Егорьева, о полнейшем отсутствии мясных продуктов на Западном фронте. На это последнее совещание я послал своего Товарища Министра Глинку, а сам, закончив утренний прием докладов и разных лиц, отправился сначала в Государственный Совет, затем в Таврический Дворец. Вернувшись из Государственной Думы к семи часам вечера, я должен был спешить на экстренное заседание Совета Министров, обсуждавшее вопрос, близко касавшийся моей компетенции – о поставке Франции 15 миллионов пудов зерна...

И таких дней в моей министерской службе встречалось немало! В своем дневнике я нередко называл эту службу – «каторгой духа и мозга»...

При этом, занимаемое мною положение обязывало меня к некоторому представительству и соблюдению придворно-светских правил. Необходимо было представляться старшим членам Императорского Дома, делать визиты лицам, занимавшим высшие посты в Империи, ответные визиты многочисленным лицам, которые заезжали ко мне по случаю моего назначения на министерский пост.

В этом отношении меня очень выручал мой секретарь Загорский, который садился в мой автомобиль и разъезжал по Петрограду, оставляя где нужно мои визитные карточки. Но во многих случаях я вынужден бывал сам тратить долгие часы на исполнение визитных повинностей.

143

Попутно скажу несколько слов о впечатлениях, вынесенных мною от посещения некоторых членов Императорского

Дома. Относительно же личных докладов Их Величествам Государю Николаю Александровичу и Государыне Александре Феодоровне я упомяну особо.

13-го ноября 1915 года был получен Высочайший Указ о моем назначении, а 25-го того же месяца я счел своим долгом представиться Вдовствующей Императрице Марии Феодоровне в ее обычной столичной резиденции – Аничковом Дворце

Встреченный престарелым князем Шервашидзе, я вскоре же был впущен в кабинет ее Величества, удостоившей меня чрезвычайно милостивым приемом. Будучи, очевидно, в курсе моего неудавшегося отказа от занятия министерской должности, она, с чарующей улыбкой, высказала по этому поводу свое искреннее сожаление, добавив: «Я так вас понимаю!..»

Упомянув с благодарностью о моей краснокрестной деятельности по подготовке в Самаре военно-санитарных отрядов, Государыня перешла на злободневные темы об ужасах происходившей войны и страшном, небывалом количестве человеческих жертв и страданий. Ее разговор сводился, главным образом, к выражению соболезнования участи раненых и рассказам об их лазаретной жизни. Ее сравнительно еще молоджавое лицо, озаренное чудными глазами, выражало искреннюю и глубокую скорбь при упоминании о невыносимых страданиях раненых.

Прервав внезапно свою речь, ее Величество придвинулась ко мне и, пристально уставившись на меня полными внутренней тревоги глазами, волнующимся голосом спросила:

– Скажите правду – какие настроения сейчас среди народных масс? Вы бываете в провинции и можете все это знать!...

В то время еще ничего угрожающего для целостности государственного порядка не предвиделось, и я был совершенно искрен-

нен, когда сообщил Императрице лишь сравнительно утешительные сведения. Ее Величество, видимо, несколько успокоилась и, отпуская меня из своего кабинета, промолвила запечатлевшиеся в моей памяти, как бы пророческие слова:

– Хорошо, если все это так, но все же я страшно боюсь революции!

Оказалось, что чуткая сердцем Государыня Мария Феодоровна предугадала грозное грядущее... Последние ее слова я вспомнил с особой остротой, когда, года полтора спустя пришлось мне очутиться в том же кабинете где я был принят ее Величеством, но уже в совершенно иной обстановке. В нем сидел мой самарский земляк В.Н.Башкиров, состоявший после революционного февральского переворота 1917 года на должности Товарища Министра в особо созданном Временным Правительством Продовольственным Ведомстве, под которое новыми властями отведено было все здание Аничкова Дворца. Предчувствия Вдовствующей Императрицы сбылись!

Представлялся я вскоре затем проживавшей в своем великолепном дворце на Французской набережной Великой Княгине Марии Павловне – вдове Великого Князя Владимира Александровича. Сановитая, видимо, не мало пожившая, но сохранившая на своем полном, уже поблекшем, лице черты былой породистой красоты, Великая Княгиня почему-то сосредоточила весь свой разговор со мной на обсуждении продовольственных вопросов, закончившийся совершенно неожиданно для меня тем, что ее Высочество обратилась ко мне с просьбой также продовольственного свойства. Дело в том, что на фронтах действовали обширные военно-лазаретные организации имени Великой Княгини Марии Павловны, для которых ее Высочество и имела в виду получить от представлявшегося ей вновь назна-

ченного Министра Земледелия, бывшего в то же время Министром продовольственного снабжения, некоторые существенные для ее лазаретного обихода съедобно-питательные блага.

В самой почтительной форме пришлось мне от исполнения просьбы Августейшей хозяйки уклониться, по целому ряду приведенных ей веских соображений. Это, видимо, вызвало со стороны Великой Княгини некоторое недовольство. С течением времени оно, однако, заменилось особо милостивым ко мне вниманием, проявленным ее Императорским Высочеством при следующих обстоятельствах. 6-го марта 1916 года Великой Княгиней был устроен великосветский благотворительный вечер, на который я, как Министр, был также приглашен. Неотложные дела заставили меня остаться дома, в моем обычном номере Европейской гостиницы. Я был очень занят, но по телефону меня неоднократно, по распоряжению Августейшей устроительницы, убеждали приехать на вечер. Я отказывался, так как не мог оставить своих срочных занятий.

Вдруг, к моему изумлению, в моем номере появляется, состоявший при особе Великой Княгини Марии Павловны, сенатор Дмитрий Борисович Нейдгардт. Извинившись за причиняемое беспокойство, он заявил, что командирован ее Высочеством специально с целью уговорить меня, хотя бы на самый краткий срок, «показаться» на ее вечере...

– К этому обязан вам добавить лишь одно, – разведя руками и несколько сконфуженно улыбаясь, заявил Нейдгардт, – Великая Княгиня приказала мне без вас не возвращаться!

Пришлось бросить все, надеть фрак и нацепить звезду.

То было начало моего «насильственного» посещения великокняжеского благотворительного вечера, а финал его оказался таков: я был милостиво встречен и приглашен ее Высочеством

к ее чайному столу, куда она проследовала под руку со мной, несмотря на присутствие целого сонма высокопоставленных и сановных звезд первой величины. Для моей скромной фигуры создалось самое непредвиденное положение. Подойдя к столу, Великая Княгиня заняла свое хозяйское место. Сзади нас шел Председатель Совета Министров Штюмер, по праву своего высокого ранга намеревавшийся усестись рядом с ней, но ее Высочество его остановила рукой, указав мне на соседнее с ней место, а с другой стороны посадила графа Владимира Николаевича Коковцова, который, при виде происшедшей на его глазах сцены, нагнувшись за спиной Августейшей хозяйки, бросил мне такое замечание: – Вот что значит быть модным министром! – Этим он, очевидно, хотел намекнуть на раздававшиеся в столичном обществе и прессе добрые обо мне отзывы, вызванные моим выступлением в Государственной Думе 16-го февраля 1916 года.

Следствием той же временной популярности, или «модности», как выразился Коковцов, явились также те лестные для меня приветствия, которые пришлось мне выслушать по поводу успеха моего думского выступления от некоторых Великих Князей – главным образом от грузного, умного и образованного Николая Михайловича и его брата Георгия, только что вернувшегося из своей поездки в Японию и очарованного государственным механизмом этой страны, в особенности, существованием около монарха регулирующего его действия учреждения – «генро». Проехав весь Дальний Восток, Великий Князь Георгий Михайлович вынес впечатление о крайней напряженности работы местных общественных и продовольственных деятелей. Они нередко высказывали Его Высочеству свое недовольство по поводу вредной медлительности столичных властей.

Пришлось мне посетить и третьего их брата Великого Князя Сергея Михайловича, с которым разговор все время велся вокруг прошлых моих работ в Верховной Следственной Комиссии. Его Высочество поблагодарил меня за энергичную охрану Кавказского заповедника и охоты в нем, и высказал свои горестные впечатления по поводу возникшего нового, неприятного, т.н. «братолюбовского» дела, которое компрометировало, до известной степени, Великих Князей Бориса Владимировича и, главным образом, Михаила Александровича.

Когда я представлялся Великому Князю Михаилу Александровичу, Его Императорское Высочество показался мне по внешнему облику болезненным, видимо, он находился в состоянии крайней удрученности – все его мысли и слова сводились к высказанному им страху за будущее России.

Из семьи «Владимировичей» я застал лишь одного Великого Князя Кирилла с его супругой Викторией Феодоровной. Принят я был ими сухо-официально. Разговор шел на смешанном русско-французском наречии. Великий Князь задавал мне вопросы на русском языке, а Великая Княгиня говорила по-французски. Из их Августейших уст раздавались общие фразы о войне, русской мощи, петроградской неуверенности и английских аппетитах. Впечатление вынес я о них, как о людях холодно-поверхностных, далеко стоявших от пульса правительственной жизни.

Сплошь и рядом я получал вызовы, всегда самые экстренные, да еще «по Высочайшему повелению», к милому моему сердцу, но взбалмошному старику Принцу А.П.Ольденбургскому, который меня заставлял часами его выслушивать о консервных заготовках, о значении для человеческого здоровья лимонного сока, о выработке иода, о разведении кроликов и кур,

о способах уничтожения вшей. А иногда сумбурный, но искренне увлекающийся, старик начинал читать целые лекции о засухе и подборе растений, ее выдерживающих... В последнее время я, вместо себя, посылал к нему С.Н.Ленина, с которым Принц сразу же поладил, видимо, сойдясь с ним на общей почве самого рьяного фантазерства.

Несмотря на всю крайнюю напряженность моей министерской деятельности, я не мог избегать официальных церемоний, званых обедов и приемов, которые происходили у премьера Горемыкина, потом Штюмерера, то у Министров: Сазонова, Барка и, чаще всего, у Трепова. Наиболее тонкие в гастрономическом отношении и парадно изысканные, в смысле сервировки и обстановки, обеды бывали у нашего Министра Иностранных Дел, Сазонова.

Из всех этих официальных трапез наиболее живо вспоминается мне обед, устроенный 13-го мая 1916 года Председателями Совета Министров Штюмерером. Для всех его участников осталось совершенно непонятным, по поводу чего и с какой целью он был дан.

Самый факт созыва многочисленных гостей и гастрономическое обилие всяческих дорогих яств и питей показались приглашенным тогда лицам высшим проявлением бестактности, в силу полнейшего несоответствия устроенного Штюмерером лукулловского пиршества с настроениями военного времени и, тем более, с положением продовольственного столичного рынка, о котором в то время высказывалось немало основательных опасений. Мне, как Министру Продовольствия, пришлось в тот же вечер, после сытного премьерского банкета, давать его участникам некоторые пояснения по поводу продовольственных затруднений.

Не могу не рассказать еще некоторых подробностей этого памятного для меня штюрмеровского угощения. В роскошном, еще Сипягиным отделанном, казенном помещении на Фонтанке, в поместительной круглой зале с художественно выложенным мозаично паркетным полом, среди куш разбросанных вдоль стен тропических растений, в центре был расположен грандиозных размеров, тоже круглый обеденный стол, богато сервированный и в буквальном смысле этого слова, ломившийся под тяжестью расставленного на нем «до неприличия» изобильного количества всяческих самых изысканных закусок. Одной зернистой икры виднелись целые горы, черневшие в сверкающих граненым хрусталем объемистых вазах. Между ними лежали во всей своей янтарной красоте цельные рыбины лучших российских балыков, вперемежку с красневшими в виде ярких пятен на белоснежной скатерти громадными заморскими лангустами и омарами. Не только я один, но и все, пришедшие к премьеру на званый обед, были до невероятия ошеломлены, при виде заготовленного для них несвоевременного пиршества...

Усевшись же на свои места и очутившись вплотную ко всей наставленной перед нами гастрономической роскоши, гости, как мне многие из них потом откровенно признавались, испытывали чувство неловкости, даже некоторого рода стыда... Надо сказать, что к Штюрмеру были приглашены не иностранцы, которым, может быть, и полагалось временами «пускать пыль в глаза», а люди все свои – русские, Министры, или члены Государственной Думы и Государственного Совета. Они изо дня в день живо обсуждали вопросы, связанные с делом снабжения армии и тыла, сплошь и рядом высказываясь за всеобщую бережливость в жизни, за экономию в расходовании продовольственных запасов... И вот, вдруг – перед их глазами, в квартире

главнейшего руководителя политики Империи, происходит что-то совершенно несуразное, находящееся в полном противоречии со всем тоном русской деловой жизни. У званых Штюрмером гостей создалось далеко не то впечатление, на которое этот бывший церемониальных дел мастер, видимо, рассчитывал...

Меня посадили между Председателем Государственного Совета А.Н.Куломзиним и одним из лидеров правой фракции Государственной Думы, острым, нервным, страшно подвижным и скороговорящим Владимиром Митрофановичем Пуришкевичем. Не успел он усесться около меня, как уже замотал своей голой головой, нервно заморгал небольшими воспаленными глазками и довольно громко, крикливым голосом, воскликнул, показывая костлявою рукой на высившиеся перед ним груды всякой закусочной снеди: – Что это?! Реклама русского продовольственного благополучия?! Зачем же тогда копыа ломать из страха грядущего голода!...

А когда, одновременно с пышной кулебякой и янтарной ухой, торжественно, по придворному, разодетая прислуга стала разносить и разливать шампанское, обычно спокойный и уравновешенный Куломзин не выдержал и на ухо мне промолвил:

– Должен вам сознаться, что все это пиршество мне поперек горла встает – не ко времени оно и не по карману... Не могу понять, для чего вся эта шумиха?!

Завершилась эта гастрономическая «шумиха», по крайней мере, для меня, совершенно неожиданным образом. По окончании обеда, за которым никаких тостов не было произнесено, все его участники были приглашены спуститься в обширный, расположенный в нижнем этаже, кабинет, где было предложено кофе. Разместившись отдельными группами, с чашками в ру-

ках, Штюмеровские гости принялись между собой мирно беседовать. Я вынужден был спешить домой, где меня ожидали все те же срочные продовольственные дела. Не успел я подойти проститься к хозяину, переходившему от одной группы к другой, как он вдруг во всеуслышание заявляет:

Господа! воспользуемся случаем, что среди нас находится Министр Земледелия и спросим его, как ныне обстоит все продовольственное дело в стране, в частности, – в нашей северной столице. Вопрос злободневный, всех нас глубоко волнующий!.. Дорогой Александр Николаевич, не откажите удовлетворить наше любопытство!

Услышав подобный неуместный, как мне показалось, хозяйский призыв, походивший скорее на своего рода вызов, я был им сильно возмущен. Во-первых, потому, что о продовольственном положении всем присутствовавшим было и без того достаточно хорошо известно, благодаря моим же неоднократным выступлениям и разъяснениям. Во-вторых, мне положительно претило говорить о серьезных продовольственных затруднениях, в обстановке, где гости собрались сладко и мирно кейфовать после сверх обильного угощения.

– Что, не ожидали? – густым баском спросил, видимо, тоже озадаченный финалом Штюмеровского пиршества Председатель Государственной Думы Михаил Владимирович Родзянко.

В моей голове вдруг мелькнула мысль: не имел ли в виду всячески подкапывавшийся под меня тупой, но лукавый Штюмер своим внезапным запросом поймать меня врасплох и поставить нежелательного ему Министра в явно затруднительное положение перед избранным обществом? Под влиянием моего вообще недружелюбного чувства к личности хозяина, с языка моего сорвался озорной ответ, который многих из присутствовавших потешил,

– После вашего лукулловского угощения, – сказал я стоявшему передо мной, как истукан, Штюрмеру, – странным представляется мне ваше любопытство относительно продовольственного положения нашей столицы. Все то, что мы сейчас видели на вашем обеденном столе – не есть ли лучшее доказательство полного благополучия нашей родины?!..

Среди присутствовавших произошло некоторое замешательство. Послышался смех. Раздались возгласы одобрения, и, в конце концов, большинство находившихся в кабинете стало выражать мне явное сочувствие.

Был момент, когда я решил этим лишь ограничиться и отправиться домой. Сам Штюрмер, после моей реплики, видимо, растерялся, почему-то надел на свою мясистую рыжую физиономию роговые очки и стал вокруг себя растерянно оглаживаться, как бы ища помощи.

В этот момент подходит вдруг к нему Коковцов и, сказав ему что-то на ухо, к немалому моему изумлению, заявляет, что он вполне присоединяется к мысли хозяина и был бы, со своей стороны, признателен, если бы я осветил некоторые продовольственные вопросы. При этом граф Владимир Николаевич, расположившись против меня на мягком кресле и не дав мне что-либо ему ответить, принялся по своему обыкновению странно и долго разглагольствовать на тему продовольственного снабжения.

Слушая его длиннейшие умствования, в некотором роде, даже нравоучения, я понял, что придется перейти на серьезно деловой тон, тем более, что Коковцов, умышленно или невзначай, но затронул мое деловое самолюбие, упрекнув меня, что я, ответственный руководитель организации продовольствия во

всей Империи, игнорирую те огромные зерновые запасы, которые лежат без употребления в обширных сибирских и среднеазиатских районах...

Тут я не выдержал и резко остановил Коковцова немало смутившим его замечанием:

– Кто же в этом виноват, как не вы сами, граф! Если бы вы, в свое время, решительно поддержали финансирование хотя бы того железнодорожного пути, который проектировался для присоединения к общей российской сети обширной и плодотворной Акмолинской области, ваш упрек продовольственному ведомству не имел бы ныне места, и те 300 миллионов пудов пшеницы, которые в данное время гниют в упомянутой области, сделались бы достоянием потребителей Европейской России...

Граф Владимир Николаевич густо покраснел, посмотрел на часы и вскоре удалился, надолго сохранив против меня «зуб».

А мне пришлось продолжать мои продовольственные разъяснения в ответ на ряд вопросов, которые мне задавались со всех сторон, с нелегкой руки Коковцова, после его ухода. Затянувшуюся нашу беседу я закончил при общем одобрении многочисленными слушателями моих основных выводов. Они сводились к необходимости упорядочить весь имперский транспорт и установить в стране сильную объединяющую власть... Расставаясь со своей случайно образовавшейся аудиторией, я посоветовал всем русским людям друг другу посылать и «духа не угашать».

Хочу теперь также описать банкет, запечатлевшийся в моей памяти, не столько в силу многолюдства и торжественности его обстановки, а скорее, благодаря одному привходящему обстоятельству, которое довольно характерно выявило некоторые своеобразные стороны франко-русских симпатий...

3-го мая 1916 года, по случаю пребывания в Петрограде французского премьера Вивиани и Министра Снабжения Альбера Тома, Совет Министров и члены обеих законодательных палат организовали у Контана торжественный банкет. Его устроители имели в виду не только чествовать приезжих представителей правительства дружественной державы, но и отметить исполнившееся 25-тилетие существования франко-русского союза.

В обширной, ослепительно залитой светом и красивой декорированной растениями зале, за параллельно расставленными обеденными столами, разместились многочисленные участники банкета, с французскими гостями, посаженными на центральном месте. Угощение, начиная с всевозможных закусок и кончая изысканным и обильным меню, отличалось обычным русским хлебосольством и непревзойденной гастрономической утонченностью известного Контана. Наконец, появилось шампанское. Поились речи – приветственные и ответные. Приятно и небезынтересно было послушать признанного у себя на родине за мастера слова – симпатичного по виду Вивиани, но особенным блеском красноречия отличился член Государственной Думы Василий Алексеевич Маклаков, вызвавший во всех нас необыкновенно приподнятое настроение, закрепившееся поразительным по красоте и силе неожиданным выступле-

нием знаменитого Шаляпина. Гениальный певец стал на эстраду, и под аккомпанемент рояля с необычайным воодушевлением исполнил французский национальный гимн – звучную Марсельезу, которую ему, по шумному и единодушному требованию зачарованных его пением слушателей пришлось не раз повторить.

Под впечатлением талантливых речей и увлекательного Шаляпинского пения всех присутствовавших охватил восторженный подъем, завершившийся самым искренним и пылким дружественным братаньем русских хозяев с французскими гостями.

В разгар такого настроения, я вдруг почувствовал прикосновение чьей-то сильной руки. Ко мне подошел и видимо хотел меня обнять сиявший и раскрасневшийся под влиянием общих патриотических восторгов – Вивиани.

– Как все это хорошо! Какая сила чувств у русского народа! – промолвил французский премьер.

Взяв затем меня под руку, он пошел со мной к выходу. Банкет кончился, и гости уже стали покидать залу. Вивиани вдруг приостановился и все с тою же широко сияющей улыбкой задал мне неожиданный вопрос, заставивший меня сразу забыть все чары, навеянные банкетом:

– Ну, а как же ваше превосходительство, насчет пшеничных цен? – спросил меня французский гость – Неужели так и не уступите пять копеек с пуда? Прошу вас, пойдите нам навстречу и согласитесь в конце концов на нашу просьбу!..

Я никак не ожидал такого заключения нашего франко-русского братанья. Впечатление оно на меня произвело самое убийственное. Я ответил французскому премьеру, что вести при данной обстановке серьезно деловые разговоры представляется

для меня крайне затруднительным. Во всяком случае, менять мною установленные цены на пшеницу я ни в коем случае не намерен.

– Я не хлебный торгош и спекулянт, – как русский Министр, я уступаю Франции значительную партию зерна, в котором мы сами остро сейчас нуждаемся. Русское правительство вам назначило справедливую цену по себестоимости. Никакой прибыли оно от вас не получает и торговаться не намерено.

При этих словах рука Вивиани меня покинула, приветливость заменилась холодком. Мы расстались и больше никогда не встречались.

Вот чем для меня разрешилась накаленная талантливými выступлениями русских красноречивых ораторов и гениальных артистов атмосфера франко-русского любвеобильного братания.

Хочу несколько пояснить происхождение приведенного выше диалога нашего с Вивиани – диалога, столь резко нарушившего банкетную восторженность. Я уже говорил о продовольственных заказах, которые были произведены в январе 1916 года английским и французским послами через посредство С.Д.Сазонова и о которых я только позже узнал непосредственно от Государя Императора. Как известно читателю этих мемуаров, я смог удовлетворить просьбу Франции и Англии только лишь в размере 15 миллионов пудов пшеницы. Эта партия была мною перевезена весной с волжского судоходного бассейна в архангельский порт, для отправки ее далее во Францию. Цена этой пшеницы (франко Архангельск) по себестоимости получилась в 2 р. 35 коп., являясь не только справедливо обоснованной, но в условиях того времени – более чем умеренной. Меж тем, приехавшие в мае 1916 года в Петроград Вивиани и

А.Тома, вместо благодарности за отпуск им зерна, из-за транспортных затруднений с натяжкой добываемого в самой России, принялись первым долгом торговаться, настойчиво прося сбавить «пятачок» с пуда. Сначала они действовали, через Г.В.Глинку, а затем обращались лично ко мне, но неизменно получали отказ. Неоднократно приходилось им давать понять, что Продовольственное Ведомство не может произвольно повышать или сбавлять цены. Все таки представитель французского правительства попытался, под шумок дружественных тостов, уговорить русского министра «скинуть пятак»...

Ставка Вивиани была проиграна. Но должен оговориться, что подобный оборот дела произошел лишь в тот описанный момент. Затем французские гости уехали домой, пшеничная 15-тимиллионная партия отплыла по назначению... Вскоре и я перестал быть Министром.

Разразилась дикая революция. Немало нашего брата – «бывших людей» – очутилось в эмиграции. И вот, в 1921 году, случайно встретившись в Париже с Глинкой, бывшим своим помощником по продовольствию, я увидел в его петличке скромную розетку Почетного Легиона высокой степени. Это был знак признательности французского правительства за допущенную после моего ухода из министров «пятачковую» уступку!

145

Этим я закончу беглый очерк всего того, что так или иначе могло быть подведено под понятие «условий» моей министерской службы, которые я в самом начале предшествующего отдела моего повествования назвал не только тяжелыми, но и до некоторой степени «ненормальными», и которые, конечно, отражались на моей личной и семейной жизни.

По вступлении моем в должность Министра, я ни своему частному делу, ни семье, ни себе самому более не принадлежал... Все – и время, и помыслы были поглощены служебными обязанностями, моя же собственная жизнь была силою вещей отброшена на задний план.

Просматривая свои повседневные записи за время моей министерской службы, я со всей остротой вспоминаю тот тяжкий путь, который пришлось мне проделать, лишившись своего родного угла, семьи, хозяйства и природного приволья... Безысходная тоска по всему этому – близкому и привычному – вот то, что красной нитью проходит в этих заметках в период министерской страды. Недаром на страничке моего дневника, помеченной 28 м июня 1916 года, большими буквами вписаны и подчеркнуты знаменательные слова: «Отныне не министр – слава Господу»...

146

В апреле 1916 года, иначе говоря, на шестом месяце моей министерской деятельности, я предпринял, с соизволения Его Величества две поездки – сначала в Самару, а затем на юг, в Та-врическую губернию.

Стремясь на Пасху свидеться со всеми своими семейными, включая мою старушку мать, я выехал, 4-го апреля 1916 года, совместно с женой и дочерью Марией, из Петрограда в Самару. Мы остановились на день в Москве, где мне необходимо было переговорить с некоторыми моими продовольственными агентами. В их число входили в провинции все годные для отправления продовольственных обязанностей. Губернаторы, градоначальники, местные представители Министерства Земледелия и других ведомств, председатели Земских Управ и частные

люди всевозможных профессий – все они привлекались тогда на общую героическую работу по заготовке, хранению и распределению продовольственных запасов для нужд армии и тыла.

В Москве меня встретили мои многочисленные сотрудники, среди которых находились: градоначальник генерал Шебеко, с его помощником Барковым, инспектор по сельскому хозяйству М.С.Карпов, председатель Московской Губернской Земской Управы А.Е.Грузинов и глава Московско-Казанской железной дороги Н.К. фон Мекк, оказавший мне в то время огромные услуги.

Для прокормления нашей действующей армии, растянувшейся по всей западной границе Европейской России, требовалось колоссальное количество мясного продукта. Довольствоваться одним свежее-убойным мясом, доставлявшимся из ближайших районов Европейской России, было нельзя. Необходимо было использовать и сибирский скот. При вступлении моем на министерский пост, не было никаких приспособлений для предохранения от порчи мясных туш, доставлявшихся из дальних зауральских мест на фронтовые распределительные пункты – ни холодильных складов, ни вагонов не было заготовлено.

С первых же шагов моего ознакомления с постановкой государственного продовольственного снабжения, я увидел, что в отношении мясного питания без широкой организации холодильного дела обойтись невыносимо. При моем предшественнике Кривошеине речь о холодильниках заходила неоднократно, но дело дальше обсуждений в комиссиях не пошло. Сибирский мясной ценнейший продукт при перевозке продолжал гнить, а стране грозил мясной кризис.

Вот в это именно время пришел мне на помощь Николай Карлович фон Мекк. Он сразу же предоставил в мое распоряжение превосходно оборудованные железнодорожные холодильники при Московской станции и на некоторых других узловых центрах Московско-Казанской железной дороги. В несколько месяцев Николай Карлович соорудил для Продовольственного Ведомства более двадцати холодильников в наиболее важных пунктах железнодорожных магистралей, соединявших сибирские районы с центральными и фронтовыми местностями Европейской России.

Николай Карлович был типичным дельцом «американской» складки – решительным и расчетливым. Ранее я его встречал в Москве, в семье моего тестя, с которым Мекк очень дружил. В бытность мою Министром, я вспомнил о нем, как о надежном практике. Срочно вызвав его в Петроград, объяснил всю остроту создавшегося положения и попросил его своим опытом и энергией оказать России и армии серьезную услугу. Николай Карлович меня выслушал, сказал – «дайте подумать» – и уехал к себе в Москву, откуда дня через два я получил лаконическую телеграмму: «Согласен».

Выбор мой оказался правильным: благодаря этому выдающемуся дельцу, мясное продовольственное дело, поскольку оно связано было с перевозкой, быстро было коренным образом упорядочено. Одновременно железнодорожные мастерские стали выпускать значительное количество холодильных вагонов. Некоторые узлы дали до двадцати вагонов.

Приехав 5-го апреля в Москву, я тотчас же устроил в отведенном мне вокзальном апартаменте продовольственное совещание с встретившими меня сотрудниками. Потом мы с Мекком поехали осматривать уступленный им Ведомству Продовольствия железнодорожный холодильник, попутно посетив и

принадлежавший нескольким компаньонам-англичанам холодильник «Унион».

Холодильник этот служил местом склада мясных туш, но только склада, а не хранения. Результаты использования услуг «Униона» оказывались столь печальными, что об этом учреждении москвичи не иначе отзывались, как о «скотском кладбище». И я из осмотра вынес самое отрицательное впечатление. Зато Мекковское холодильное хозяйство поразило меня своим благоустройством, чистотой, дисциплиной и образцовым порядком.

Но стоявший около поезд с неразгруженным сибирским замороженным мясом меня смутил. Мекк, давая свои пояснения целиком винил Командующего Московским Военным Округом генерала Мрозовского, упорно отказывавшегося разрешить нижним воинским чинам разгрузку мясных поездов. Я решил тогда же лично заехать к Командующему Округом, с целью срочно устранить возникшие недоразумения, приносившее значительный ущерб всему ходу мясного снабжения.

Генерал Мрозовский принял меня сухо-официально.

На мой вопрос, почему он не дает в распоряжение московских продовольственных властей нижних чинов для выгрузки из поездов в холодильники мясных туш, он недовольным тоном мне заметил, что, по его мнению, нижние воинские чины призваны на службу лишь для отправления прямых своих обязанностей, и ни в коем случае не должны исполнять посторонних работ, воинским уставом не предусмотренных. На это я возразил, что поступавший в московский холодильник мясной запас предназначался, прежде всего для продовольствия войск ему же вверенного округа. Поэтому, за отсутствием вольнонаемных ра-

бочих, моя местная агентура вправе была обратиться за помощью именно к нему, как высшему представителю военного командования.

– Надеюсь, – закончил я свое обращение к генералу – на благоразумие вашего высокопревосходительства и безотлагательное мне содействие.

Мрозовский, вместо ответа, что-то про себя промышчал, видимо оставаясь при прежнем своем решении. Тогда я встал и объявил генералу, что в качестве председателя Особого Продовольственного Сопровождающего и в силу присущих этой должности полномочий, я не только обращаюсь к нему с просьбой, но предъявляю к нему требование о немедленном назначении нарядов нижних воинских чинов в распоряжение московских продовольственных властей, для исполнения срочных работ по разгрузке мясных поездов. Посмотрев на часы, я предупредил Мрозовского, что, если через три часа после нашего с ним свидания мое требование останется неисполненным, о его действиях будет мною доведено до сведения Государя. Перед отъездом из Москвы, вечером того же дня, я, к немалому своему удовлетворению, узнал, что Мрозовский, в конце концов, сдался и нижние чины приступили к разгрузке мясных поездов. С тех пор холодильники стали работать полным ходом, давая возможность сохранять ценный питательный продукт и правильно его распределять.

Не могу не отметить, что сотрудничество мое с Мекком было встречено некоторой частью русской прессы, со скворцовским черносотенным «Колоколом» во главе, чрезвычайно враждебно. Меня в громовых статьях обличали в сношениях с немцами, в лице «фон Мекков». Одновременно, я получал доносы, имевшие целью всячески дискредитировать в моих глазах

Николая Карловича. Ко всему этому присоединилось недовольство действиями Мекка со стороны представителей Железнодорожного Ведомства и даже моих собственных сотрудников.

Выдающаяся кипучая энергия, с которой Николай Карлович доводил до конца начатые им дела, и несколько резкая властность в распоряжениях – вот что вызывало неприязнь среди лиц, которые, не состоя у него на службе, были обязаны подчиняться ему, как моему доверенному агенту.

Несмотря ни на что, я крепко держался сотрудничества с Мекком, который оказал существенную помощь в деле упорядочения мясного продовольствия. Не раз приходилось мне брать его под свою защиту против всех голословных обвинений, сводившихся к тому, что позже, на большевистском жаргоне, стало называться «вредительством»... По странной иронии судьбы, бедный Мекк, заподозренный в подобном вредительстве большевиками, был ими безжалостно расстрелян.

Из Москвы в Самару, куда я ехал с женой и дочерью Марией, нас взялся сопровождать сам хозяин Московско-Рязанской железнодорожной линии, Н.К. фон Мекк, с которым мы дорогой вели деловые продовольственные разговоры. Он предложил нашей семнадцатилетней дочке проехать вместе с ним один перегон на паровозе. Само собой, наша жизнерадостная Манечка приняла это необычное приглашение с восторгом, и от Коломны до Рязани, поддерживаемая Мекком, пронеслась она на качающемся паровозе, со скоростью 90 верст в час.

6-го апреля я очутился в своем родном самарском доме, среди всех моих семейных. Шла Страстная неделя. Я рассчитывал эти великие и святые дни провести среди близкой родни, в молитвенной тиши и возможно полном душевном отдыхе. Но надеждам моим не суждено было осуществиться. С первого же

дня появления моего в Самаре, со всех сторон нашего Поволжья, стали досаждать мне многочисленные представители администрации и общественности, предъявляя ряд вопросов, главным образом, относительно мясных заготовок.

Накануне моего выезда из Петрограда состоялись постановления Особого Продовольственного Совещания, близко затронувшие интересы как потребителей, так и поставщиков мяса. Установленный Особым Совещанием ряд запретительных мер вызывал на практике немало недоразумений, требовавших срочных разъяснений и решений. Всем этим и суждено было мне заняться, почти одному, без привычных моих помощников, оставшихся в столице. Должен, впрочем, оговориться, что самарский Губернатор Станкевич и местный представитель Министерства Земледелия князь Владимир Иванович Сумбатов оказывали мне серьезные услуги и существенную помощь. Даже первый день Пасхи – и тот начался не в праздничной обстановке, так как надо было принять приехавших из Пензы земцев, во главе с их председателем Губернской Управы, князем Кугушевым, и все утро пробеседовать с ними относительно установления порядка закупки скота.

Почти ежедневные заседания, приемы, посещения должностных лиц и просто визиты отвлекали меня от родной домашней среды.

Погода стояла в Самаре превосходная – весна была исключительно теплая и ранняя. 12-го апреля на Волге уже появились первые пароходы. Не хотелось уходить с любимого балкона, с которого открывался чарующий вид на родную даль, на Жигули, на могучий волжский простор.

В четверг на Пасхальной неделе пришлось мне с великой грустью расстаться с моим домашним уютом, с дорогой дряхлеющей матерью и милыми детками.

В поезде я глаз не сводил с мелькавших перед вагонными окнами весенних полей и освободившихся из-под снежного покрова озимых всходов, превосходное состояние которых от Волги и до самой Москвы, радовало мое, уже не столько хозяйственное, сколько если можно так выразиться «министерско-продовольственное» сердце.

В Петрограде я пробыл всего трое суток, из которых один день у меня ушел на доклад Государю в Царском.

С разрешения Его Величества, 19-го апреля я выехал на юг России, задавшись целью лично ознакомиться с положением посевно-продовольственного дела, и помимо этого, с соизволения обеих Императриц, произвести осмотр двух военных госпиталей, сооруженных по инициативе Их Величеств на Крымском побережье.

К моей поездке на юг было также приурочено освящение «Мисхорской Санатории имени Статс-Секретаря Кривошеина», выстроенной и оборудованной на средства, собранные Главным Комитетом помощи призванным на войну чинам Министерства Земледелия и их семьям.

Со мной собралась проехать в благодатный Крым жена, успевшая кончить в Москве все необходимые переговоры по устройству нашей бедной больной Пашеньки в санаторию. На вокзале сошлись нас проводить старшие чины моего Министерства. Один из них, Директор Департамента Государственных Земельных Имуществ, П.Н.Зубовский, был мною приглашен для совместной нашей поездки, как лицо, оказавшее в качестве председателя Главного Комитета, выдающиеся услуги по сбору средств на сооружение Мисхорской санатории.

Умный и скромный Петр Павлович оказался редко приятным спутником и полезным собеседником. По мере нашего

продвижения с севера на юг, через обширную и разнохарактерную страну, он давал мне ряд ценных и интересных справок по вопросам, касавшимся вверенного мне Министерства. Помимо этого, Зубовский, как опытный службист, облегчал мою поездку, умело подготавливая справочный материал для деловых аудиенций с ведомственными и продовольственными чинами в тех крупных провинциальных центрах, где нашему поезду предстояло останавливаться. Эти временные секретарские обязанности Петр Павлович нес изумительно пунктуально и толково.

За все время нашего путешествия нам с Зубовским не много приходилось отдыхать. Мы то готовились к приему должностных лиц, то подводили итоги деловых с ними свиданий и сделанных нами распоряжений.

Начиная с Москвы и кончая Симферополем, с промежуточными крупными станциями – Тулой, Орлом, Курском и Харьковом, – в моем салон-вагоне перебивало множество всяческого служилого люда. Некоторых приходилось благодарить и одобрять, других учить и понукать, а кому и просто делать изрядный нагоняй. К последним надо причислить Харьковского Губернатора князя Николая Леонидовича Оболенского, который, несмотря на все свое вкрадчивое красноречие, оказался далеко нераспорядительным продовольственным сотрудником. Это ему не помешало, через четыре месяца после нашего с ним свидания, попасть в особый фавор к Штюмеру, который поставил его во главе придуманного им учреждения, носившего громкое название Комитета по борьбе с дороговизной. Оно оказалось, в силу Существования Особого Продовольственного Совещания, мертворожденным.

Мои железнодорожные разъезды из Петрограда в Самарское Поволжье, а затем на юг, через все наиболее хлебородные

губернии – дали мне возможность собственными глазами убедиться в полном благополучии как озимых всходов, так и начатого ярового сева.

Для меня было высшим наслаждением и лучшим отдыхом – в свободные от дел промежутки – усаживаться у открытой настежь двери моего прицепленного к поезду служебного вагона, любоваться видом необозримых равнин и вдыхать полной грудью родной аромат свежей пашни и молодой весенней зелени.

Утром, 22-го апреля, в Симферополе, наш салон вагон заполнился массой желавших представиться симферопольцев, во главе с Таврическим Губернатором Княжевичем. Моей жене был поднесен огромный букет великолепных роз.

В то же утро, на Симферопольском вокзале состоялось мое свидание с А.В.Кривошеиным. Он работал на фронте в качестве Главноуполномоченного Красного Креста и приехал в Крым специально для присутствия на торжестве открытия Мисхорской Санатории его имени. Одетый в походную смешанную придворно-краснокрестную форму Александр Васильевич имел довольно унылый и утомленный вид. Попав в среду своих прежних долголетних сотрудников, Кривошеин, видимо, переживал всю тяжесть оторванности от своей былой кипучей и интересной деятельности.

В день нашего приезда в Симферополь мы с Кривошеиным были приглашены местными ведомственными чинами на завтрак в помещении Салгирской помологической станции и школы Министерства Земледелия. Оба Министра – бывший и настоящий – были посажены рядом за декорированный цветами стол и, разумеется, явились центром внимания многочисленных участников Салгирского скромного торжества. Губернатор Княжевич, начальник местного Управления Земледелия

Н.Н.Ярцев и некоторые другие лица произнесли по нашему адресу горячие приветственные речи. Много было сказано о выдающейся, плодотворной деятельности прежнего главы Ведомства Земледелия, но не мало лестного пришлось выслушать и мне.

После объезда и осмотра Симферопольских ведомственных учреждений и интереснейшего местного земского музея, мы тронулись в тот же день, 22-го апреля, на автомобилях в дальнейший путь, вдоль удивительного Крымского побережья. В 8 часов вечера мы подъехали к подъезду Министерской дачи, расположенной в Императорском Никитском Саду, где нас ожидала торжественная встреча.

Участвовал в этой встрече и ближайший мой сотрудник Иван Иванович Тхоржевский, отдыхавший в Министерской даче.

Как дети, радовались мы с женой приезду нашему в благодатный Крым, в царство яркого солнца, горных красот и бодрящего морского воздуха. Нас невольно потянуло в нашу скромную, но чудесную Гурзувитту, но надо было считаться с моим официальным положением и обязанностями.

Пришлось обосноваться на Министерской даче, устраивать в ней приемы deputаций и отдельных лиц, приглашать почетных гостей, местных или приехавших на торжество открытия Мисхорской Санатории. Из последних вспоминаются мне болезненный и застенчивый Принц Петр Александрович Ольденбургский, симпатичная чета князей Юсуповых гр. Сумароковых-Эльстон и удивительно милая и симпатичная, украшенная тремя георгиевскими медалями, графиня Е.В. Шувалова.

Все эти лица, так же, как и масса других прибрежных крымских обитателей, приняли участие в торжестве освящения и открытия грандиозной, только что выстроенной из чудесного Инкерманского камня, Мисхорской Санатории.

Торжество это, состоявшееся 23-го апреля – в день тезоименитства Государыни Императрицы Александры Федоровны, и носило весьма оживленный характер. Настроение у многочисленных гостей создалось приподнятое, праздничное. Даже А.В.Кривошеин, по праву являвшийся центром всеобщего внимания, на время оживился и стал, как обычно, любезным собеседником. Вечером того же дня, у меня, на Министерской даче, дан был обед, на котором присутствовали А.В.Кривошеин, супруги Юсуповы, графиня Шувалова, Губернатор Княжевич и все чины Ведомства Земледелия.

Министерская резиденция, в которой мы пробыли с вечера 22-го по утро 28-го апреля, расположена в самой красивой и тщательно обработанной местности крымского побережья, в Императорском Никитском Саду, основанном еще в 1812 году.

Среди пышных цветников и роскошной южной растительности, на обширной ровной площади, в некотором отдалении от морского берега, высилось красивое, каменное, двухэтажное здание, украшенное стройными колоннами и балконами.

Нам с женой отведены были особые апартаменты в нижнем этаже, выходившие на юг и на море.

В первое утро, которое я встретил в Никитском Саду, при восходе солнца, до моего слуха стали доноситься мелодичные песни моих любимых черных дроздов, с их переливчатыми звонкими посвистами. Было 6 часов утра. Я распахнул широкое окно, и сразу же был охвачен живительной струей удивитель-

ного крымского прибрежного воздуха, насыщенного смолистым запахом весенней свежей хвои, ароматом бесчисленных цветущих растений и иодистым дуновением недалекого моря... Меня неотразимо потянуло на вольный простор. Наскоро одевшись, я вышел через террасу прямо в Никитский парк. Все кругом цвело и благоухало... Акации, каштаны, «кровавые» иудины деревья и фруктовые насаждения, розы, глицинии, бесчисленные растения – все это переливалось разнообразными яркими оттенками. Обстановка была воистину волшебная.

Никитский Сад по красоте местоположения, огромным размерам и редчайшим насаждениям, является одним из лучших в Европе. Название свое он получил от наименования примыкавшего к его границе татарского, селения: «Никита», расположенного к востоку от Ялты и Массандры. Сад раскинулся на 120 десятинах по склонам гор, обращенных на юг, к морю. В него входят магарачские виноградники и всевозможные питомники. В нем культивировались полезные и декоративные растения южно-европейской России. Никитский Сад, с Магарачским виноделием и Училищем Садоводства, находился издавна в ведении Министерства Земледелия и являлся всегда предметом особых его забот.

Само собой, я постарался ознакомиться с постановкой многочисленных отраслей его хозяйства. Я мог уделять на это лишь утренние часы, от 6 до 7 часов. В особенности заинтересовала меня широко развившаяся за последнее время культура лекарственных растений. Мне были показаны превосходно укоренившиеся оливковые питомники, насаждения пробковых дубов и опыты разведения фисташковых деревьев, путем прививок к терпентиновым ветвям.

Успел я осмотреть интереснейшие лаборатории и музеи, зашел однажды и в Магарачский подвал, славившийся выпуском знаменитого «Черного Муската» и хранивший в своих подземельях ценнейшую коллекцию удивительных по вкусу и аромату мускатов давних годов.

Встретился я в этом подвале с моим учителем по виноделию, – С.Ф.Охрименко. Встреча наша носила не сухо-официальный характер. Дружеская беседа под сводами подвала затянулась, благодаря дегустации чудного муската.

Дни пребывания моего в Крыму были заранее точно распределены и ушли главным образом на ряд интереснейших поездок на автомобилях по окрестностям. Все ж, один вечер и последующее утро нам удалось с женой побыть в нашем уютном гнездышке – милой и живописной Гурзевитте. Встретил нас там все тот же проворный Иван со своей женой хохлушкой, предоставивший нам и моим гостям (Тхоржевскому и Ярцеву) возможность приятно и беззаботно использовать наше краткое пребывание.

Неохотно расстались мы с нашим небольшим, но очаровательным Гурзуфским именищем. Далеки мы тогда были с Анютой от мысли, что через год с небольшим нам придется вернуться в ту же Гурзувитту в условиях всероссийской революционной смуты!

Благодаря великолепной погоде все наши поездки, имевшие для меня серьезное служебное значение, носили, вместе с тем, характер приятных и чудных прогулок, доставлявших мне огромное удовольствие и возможность отдохнуть от суеты и тяжести столичной работы.

Сильные машины, находившиеся в распоряжении местных министерских чинов, быстро мчали нас по крутым горным дорогам. Мы могли в течение сравнительно короткого времени осматривать массу интересного и поучительного в области предпринятых Ведомством технических работ большого хозяйственного значения.

Так, за каких-нибудь два дня удалось посетить верхние плоскогорья хребта Яйлы, у подножия грозной вершины Ай-Петри, где производились опыты по исследованию выпасов, засаживались лесные питомники и приступлено было к каптажированию горных водных истоков.

Осмотрели мы тогда же великолепно оборудованную метеорологическую станцию на торе Шишко, с которой раскрывался на все морское побережье изумительный по своей грандиозности вид, и успели заехать в горную здравницу Министерства Земледелия «Хизляр», расположенную среди великолепного хвойного леса.

За эти же дни мы, следуя по горно-лесному пуги исключительной красоты, среди хаоса скалистых нагромождений и дикой чащи девственных хвойно-лиственных древесных насаждений, объехали обширные земли Ялтинского казенного лесничества.

Служебные экскурсии чередовались с заездами в Ялту, где приходилось принимать всевозможные депутации. Необходимо было также исполнить поручения Императриц и осмотреть сооруженные с Их соизволения превосходные и обширные госпитали санатории.

25-го апреля состоялась дальняя моя поездка в имение «Кучук-Узень», за Алуштой, принадлежавшее Таврическому Губернатору Николаю Антониновичу Княжевичу. Встретясь там с

Кривошеиным, мы, вместе с ним и Княжевичем, отправились по отчаянной скалистой и пустынной дороге в отдаленнейшую местность, именуемую «Туак», где предполагалось устроить здравницу. Встретила нас там масса местного люда, проявившего по отношению к представителям царского правительства необычайный энтузиазм. Все это ныне вспоминается как отдаленный маловероятный сон!

Настало 28-е апреля – день, намеченный для нашего отъезда из гостеприимного Никитского Сада.

Мы отбыли на автомобилях по Ялтинскому шоссе, в направлении к Алупке и дальше на Байдары. Замелькали знакомые виды и места. Подъехав к Форосской церкви, мы с Анютой зашли в нее, истово помолились и долго затем не могли отвести глаз от простиравшейся под «Красной Скалой» грандиозной перспективы, столь близкой нашему сердцу.

В Байдарах состоялась закладка мною лесного питомника, и затем мы были все приглашены к управляющему «Мордвиновских» владений. Наскоро отдохнув и досыта перекусив вкусными чебуреками, сочными шашлыками, нежными форелями и прочими крымскими яствами, вплоть до свежей земляники, мы тронулись в дальний путь через Севастополь на Бахчисарай, где нас встретил Губернатор Княжевич, с которым мы осмотрели древний ханский дворец с его воспетым Пушкиным «фонтаном слез».

Дальнейшая наша поездка оказалась исключительно интересной. В двух верстах от Бахчисарая расположена на вершине скалы крепость XI века, служившая убежищем хозарских ханов и носившая наименование Чуфут-Кале. В настоящее время, как сама крепость, так и весь городок, заброшены. Это – печальные груды развалин. Жившие здесь ранее караимы почти все переселились в долину Бахчисарая. В Чуфут-Кале остался только

свято охраняемый ими их «молитвенный дворец», где принимали Августейших Лиц и особо почетных гостей...

Вот к этому то зданию мы были подвезены и торжественно встречены многочисленной депутацией караимов, во главе с их «гахамом», которым в то время состоял почтенный, светски образованный и видный чернобородый Шапшал. Тотчас по приезде, мы с женой и все сопровождавшие меня лица, были приглашены гахамом в их храм, где было совершено краткое моление и состоялся обмен взаимных приветствий. После, нас повели осматривать вымерший город, произведший на нас самое удручающее впечатление.

Зато последующий завтрак, предложенный нам в обширной приемной зале молитвенного дворца, пестро, но красиво декорированной в восточном вкусе, отвлек нас от грустных настроений, навеянных печальным видом разрушенных и заброшенных жилищ.

Нас всех усадили за широчайший стол, заставленный таким изобилием всевозможных караимских блюд и, главным образом, сладостей, которого я никогда и нигде более в своей жизни не встречал, так же, как никогда не приходилось мне вкушать таких редких яств, как каймак с вареньем из лилий, и таких необычайно вкусных сластей, как удивительно нежно приготовленных пирожков с медом и орехами и всяких сортов сочных фруктовых пастил... Хлебосольные хозяева зорко следили, чтобы их дорогие гости непременно попробовали всего, что красовалось на их, заставленном угощением, трапезном столе.

Любезное внимание, искреннее радушие и приветливое гостеприимство милых и симпатичных караимов, в особенности – их умного и интересного во всех отношениях гахама – Шапшала, мы очень оценили, пока под окнами молитвенного дворца, где нас принимали, на улице не собралась изрядная

толпа своего рода музыкантов, образовавших оркестр из духовых инструментов, барабанов и бубнов. Все они безумолчно исполняли, каждый по собственному наитию, импровизированные номера, которые сливались в один сплошной, коробивший все человеческое нутро разнозвучный рев, стон и грохот. Представители современного музыкального творчества могли бы ему позавидовать. Мы были несказанно рады, когда, наконец, нам удалось избавиться от этого оркестрового кошмара и отправиться осматривать чрезвычайно интересную, расстилавшуюся внизу под Чуфут-Кале, т.н. Иосафатову долину.

Это было древнее место вечного упокоения караимов, расположенное в обширной ложбине, среди отвесных скал. С одной стороны был высеченный в горе пещерный город, а с другой, тоже в скале, старинный, посещаемый многочисленными богомольцами, Успенский монастырь.

Уже вечерело, когда мы очутились под низкими сводами пещерного храма. Осматривая монашеские кельи, я случайно отделился от своих спутников и вышел на высеченный в скале балконный выступ. Передо мною расстилалась безлюдная, покрытая вечерними тенями, Иосафатова долина, немая свидетельница былых тысячелетий. Из-за скалы стала медленно показываться матово бледная луна. Кругом стояла полнейшая тишина. Вдруг откуда-то из горных расщелин несколько раз раздался сычиный резкий крик. Стало жутко, захотелось поскорее уйти из мрачного пещерного обиталища. Но не успел я уйти с балкона, как долину огласил мелодичный звук одинокого монастырского колокола. Он эхом отозвался среди отвесных скал и умиротворяюще подействовал на мое настроение. Это внезапно прозвучавшее среди мертвой тишины Иосафатовой долины че-

редование зловещего стога хищной ночной птицы и церковного благовеста наводило на мысль о вечном соревновании в мире между тьмой и светом, между добром и злом.

Поздно ночью добрались мы до Симферополя и опять устроились в своем вагоне. Простившись с многочисленными провожавшими нас лицами, горячо поблагодарив всех симферопольцев, с милым их Губернатором во главе, за их гостеприимство и доброе отношение, мы с женой отправились обратно в Петроград. Надо было еще остановиться на сутки на станции Ново-Алексеевке, чтобы осмотреть организуемый Министерством Земледелия культурный землеустроительный центр.

В Ново Алексеевке я нашел иную обстановку, там велись другие речи, касавшиеся дел хозяйственных, продовольственных. Я начал с осмотра станционных продовольственных амбаров. Сердце радовалось при виде кипучей деятельности вокруг них. Как раз происходила ссыпка подвозимого к ним огромного количества ячменя и пшеницы превосходного качества. Тут же невдалеке шла приемка земством скота для армии, и я не мало восхищался породами, поставлявшимися некоторыми сельскохозяйственными экономиями, в особенности – г.г. Фальц-Фейнов, великолепными, откормленными, белыми, длиннорогими животными, весившими в среднем по 36 пудов каждый.

Предпринятый мною в тот же день объезд Ново Алексеевских окрестностей, где сосредоточились землеустроительные работы, имел для меня захватывающий интерес. Несмотря на дождливую погоду, на автомобильных шинах с цепями, мы с П.П.Зубатовским и местными ведомственными чинами успели проделать многоверстный путь по проселочным дорогам, знакомясь с разнородными земельными разверстками, наделами и хуторскими заселениями на внутринадельных, казенных и банковских участках.

Центром всех этих образцовых землеустроительных работ служило многолюдное селение Павловское, где местное население устроило нам не только торжественный, но и восторженный прием.

Мы остановились невдалеке от церкви. Наш автомобиль был тотчас же окружен огромной толпой людей всех возрастов и обоего пола. Сотни детских ручонков стали забрасывать нас пучками свеженарванных полевых цветов. Лица обступивших нас павловцев выражали приветливость, по-видимому искреннюю. Они радовались нашему приезду, безмолжно оглашая воздух восторженными «ура». У паперти встретил нас священник и волостной старшина, дельно и складно сказавший мне приветственное слово. Затем все вошли в церковь. Был, отслужен молебен с провозглашением многолетия Государю Императору и всему Царствующему Дому. Само собой, пришлось и мне произнести ответную речь. Я напомнил присутствующим о посещении их селения два года тому назад Государем Императором, и обещал довести до сведения Его Величества отрадные впечатления, полученные мною от осмотра их землеустроительных достижений и образцовых хуторских хозяйств. Вновь раздалось единодушное «ура», под возгласы которого мы уселись в автомобили и отправились дальше, любуясь чудным видом полей и радуясь буйному росту озимой пшеницы.

По возвращении в Ново Алексеевку, я осмотрел питомник и присутствовал при закладке здания для нашего ведомства. Потом был многолюдный обед, устроенный в мою честь местными чинами Министерства Земледелия и общественными деятелями, на котором пришлось выслушать не мало для меня лестного, может быть, и не заслуженного, но приятного и придавшего мне бодрости для моей нелегкой и ответственной деятельности.

2-го мая я вернулся в Петроград, где меня ожидала вся та сложная обстановка и работа, от которой я во время моих разъездов до некоторой степени успел отойти и отдохнуть.

147

Возвращаясь к обзору моей министерской деятельности, я хочу весь уцелевший в моих кратких записях и немолодой памяти материал распределить соответственно порядку разрешения дел, подлежавших моей компетенции, как Министра Земледелия.

На первом месте стоит обширная область вопросов, которые разрешались единоличной властью Министра.

Затем идет ряд ведомственных дел, требовавших внесения их на рассмотрение Совета Министров.

С образованием Особого Совещания по продовольствию, Министр Земледелия, который состоял его председателем, был в области продовольственных своих распоряжений органически связан с деятельностью упомянутого учреждения.

Затем, вся ведомственная жизнь, поскольку она зависела от денежных бюджетных ассигнований, регулировалась законодательными палатами. Они утверждали все министерские сметные предположения и имели право наблюдения за их исполнением путем предъявления соответственных запросов.

Наконец, по целому ряду ведомственных дел Министр обязан был представлять всеподданнейшие доклады, а также доводить до сведения Государя о всем ходе деятельности своего министерства.

Дела, разрешавшиеся моей единоличной властью, я, обычно, рассматривал совместно с начальниками тех департаментов

и отделов, ведения которых они касались. Со всех концов обширной Империи ежедневно поступала в Министерство огромная почта, распределявшаяся по разным отделениям, но адресованная непосредственно на имя Министра – представлялась ему на просмотр управляющим канцелярией ранее других докладов.

Как получение дел, подлежавших моему единоличному рассмотрению и разрешению, так и исполнение моих по ним распоряжений проходило через канцелярию Министра. Благодаря превосходному личному составу ее работников, это было образцово поставленное, безукоризненно функционировавшее учреждение.

Для рассмотрения дел в Совете Министров существовал следующий порядок: по каждому вопросу, касавшемуся компетенции Ведомства Земледелия и подлежавшему коллегиальному обсуждению Совета Министров, канцелярия Министра собирала обстоятельные справки, которые представлялись главе Ведомства, как материал, на основании которого он мог на заседании Совета знакомить своих коллег с сущностью дела, отстаивать свою точку зрения. Само собой разумеется, что по более сложным вопросам Министру приходилось предварительно совещаться со своими сотрудниками, а не удовлетворяться письменными справками.

Очередные заседания Совета Министров происходили в здании Мариинского Дворца, обычно два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Начинались они в два часа дня и продолжались до 6-7 часов вечера. В обширном зале, украшенном огромными хрустальными люстрами и великолепным малахитовым камином, стоял покрытый красным сукном присутственный стол, за который усаживались во время заседаний члены

Совета Министров. Спинай к камину сидел председатель Совета, по бокам его сидели Министры: Военный и Морской. Против него помещался управляющий делами Совета Министров Иван Николаевич Ладыженский, а позади, в некотором отдалении, за отдельным столиком, помещался его помощник – Аркадий Николаевич Яхонтов. Помимо упомянутых двух старших лиц, ведавших делами Совета Министров, также присутствовали несколько подначальных им канцелярских чинов.

Ладыженский был человек неглупый, но типичный питерский карьерист. Он умел кому нужно угождать, а кому и показать свой чиновный снобизм. Лично мне Ладыженский был мало симпатичен, и взаимоотношения у нас с ним установились сухо официальные...

Иное должен я сказать про его помощника – Яхонтова, и по внешним и по внутренним своим качествам выгодно отличавшегося от своего старшего сослуживца. Послереволюционное наше с Аркадием Николаевичем совместное проживание в Ницце позволило мне его ближе узнать и еще более оценить, как человека не только умного и деловитого, но и высокоидейного, посвятившего себя в зарубежье общественно-просветительному делу большого национально-государственного значения. О деятельности Яхонтова, как руководителя русского лицея в Ницце, я имею в виду сказать должное слово в дальнейших своих воспоминаниях, когда дойду до описания нашего беженского существования в пределах приютившей меня и мою семью гостеприимной Франции.

В период участия моего на «очередных» заседаниях Совета Министров, во времена премьерства Ивана Логгиновича Горемыкина, т.е. до 20-го января 1916 года, наиболее тревожным вопросом было снабжение армии и тыла.

Время переживалось тогда исключительно сложное и трудное. Государству приходилось напрягать все силы для борьбы с врагом. Положение воинских заказов, продовольствие, транспорт, топливо, рабочий вопрос, упорядочение железнодорожной службы, – все эти дела горячо обсуждались на очередных заседаниях Совета Министров, и временами возбуждали довольно острые прения, иногда доводя участников до состояния крайнего возбуждения. Так, я уже отмечал проявленное на одном из подобных заседаний возмущение Министра Путей Сообщения Трепова, по поводу вмешательства Министра Внутренних Дел А.Н.Хвостова в область его железнодорожных расписаний...

Так же решительно я отстранил намерение того же А.Н. Хвостова повлиять на общий ход моей продовольственной политики. 17-го декабря мне было доложено, что Министр Внутренних Дел написал председателю Совета Министров письмо, в котором он, критикуя принятые мною продовольственные меры, предлагал свой собственный план снабжения, вносивший недопустимую двойственность в дело высшего продовольственного управления. Вместе с тем, я получил сведения, что тем же Министром Внутренних Дел циркулярно внушалось подведомственным ему чинам, состоявшим на местах и моими агентами по продовольствию, что эти последние функции они должны исполнять постольку, поскольку их продовольственные обязанности не встречают запрета со стороны его, Хвостова. Тогда же до меня, из вполне достоверного источника, дошли сведения, что беспокойный Алексей Николаевич, желавший всюду играть первенствующую роль, стал во время своих нередких докладов настраивать Государя против намечавшейся в Министерстве Земледелия продовольственной кампании. Все

это усугубляло мое, и без того крайне нелегкое, положение ответственного руководителя дела имперского продовольствия. Я решил самым срочным образом и в корне пресечь вредное не столько для меня, сколько для дела, поведение моего коллеги. На одном из ближайших очередных заседаний Совета Министров, я внес запрос по всему вышеприведенному и просил Алексея Николаевича Хвостова дать свои разъяснения. Причем, со своей стороны, я счел долгом заявить, что в таком государственно важном и ответственном деле, как продовольствие фронтов и тыла, всякие посторонние вмешательства, тем более, двойственность управления, на мой взгляд, совершенно недопустима.

Поэтому, – добавил я, – если Алексею Николаевичу угодно самому принимать активное участие в руководстве продовольствием и проводить в жизнь свой собственный план продовольственной кампании, во многих отношениях отличающийся от того, который намечается Министров Земледелия, то пусть он – Хвостов и возьмет все дело в свои руки и встанет во главе Особого Продовольственного Совещания...

Я повторил, что ради успеха продовольственной кампании необходимо соблюсти в этой области полнейшее единство управления и ответственности,

– Одно из двух – закончил, я свое обращение к сидевшим вокруг меня коллегам: – или Хвостов или я!

После этих моих слов, А.Н.Хвостов поспешил заявить, что он не имел в виду нарушать существовавшую продовольственную организацию, тем более – «перехватывать продовольственную власть» в свои руки. Совет Министров единодушно одобрил мои взгляды, и этим вся хвостовская продовольственная бра-

вада благополучно завершилась, раз навсегда освободив дальнейшую мою деятельность от назойливого вмешательства «беспокойного» Министра Внутренних Дел.

Вспоминаются мне и другие «очередные» заседания Совета, возбуждавшие немало острых прений, как например, по вопросу о разгрузке населения Петрограда. Эта мера была предложена мною из-за крайней затруднительности продвигать к северу необходимые продовольственные запасы. Она сводилась к желательности эвакуации из Петрограда до 420.000 воинских чинов, 150.000 беженцев и 50.000 раненых.

Совет Министров принципиально пошел мне навстречу, но, к глубокому сожалению, к реальному осуществлению моего плана приступлено не было.

Не говоря уже о продовольственных затруднениях, самое наличие огромного числа войсковых частей, сконцентрированных в столичном городе, в условиях казарменного безделья, представляло собой готовый материал для разрушительных идей, которые легли в основание февральских революционных дней 1917 года. Если бы своевременно была осуществлена разгрузка столицы, а в петроградских казармах не было бы полумиллиона призванных из запаса воинских чинов, возможно, что февраль, как и все последующие месяцы памятного года, прошли бы спокойно, и не было бы уличных эксцессов, которые первоначально носили характер уличного бунта!

Немало горячих разговоров происходило на заседании Совета Министров 1-го декабря 1915 года, вокруг вопроса, возбужденного А.Ф.Треповым – о необходимости срочного ассигнования 62 миллионов рублей на прибавку жалованья железнодорожным служащим. На выдачу пришлось, в конце концов, согласиться, ввиду категорического заявления Министра Путей

Сообщения об угрожающем для всего транспортного дела положении, в случае отклонения его ходатайства.

Вспоминается мне также та страстность прений, которая проявлена была со стороны некоторых Министров на очередном заседании Совета, 15-го января 1916 года, на котором обсуждался ряд вопросов, касавшихся общего хода заграничных воинских заказов. Выяснилось, между прочим, что между Россией и Японией возникли трения из-за нашей неаккуратности в платежах за заказы. Со другой стороны, Англия опаздывала в исполнении наших заказов и оказалась, по отношению к нашему государству, неладной союзницей. Это послужило предметом острых препирательств между Барком, нападавшим на Великобританское правительство, и Сазоновым, его отстаивавшим.

На том же заседании Совета Министров был также поднят другой вопрос чрезвычайной важности для сельскохозяйственной жизни страны, – о восполнении убыли рабочей силы, необходимой для производства продовольственных продуктов. Я предложил две меры: 1) допущение в Европейскую Россию «желтого» труда (китайских рабочих) и 2) предоставление для сельскохозяйственной уборки воинских частей.

По поводу последнего предложения произошел следующий памятный для меня инцидент, оставивший по себе крайне неблагоприятное впечатление, в смысле допущения на заседании высшего государственного учреждения бестактного отношения к особе Государя Императора. Заседавший вместе с нами в качестве заместителя Военного Министра, умный и видный по занимаемому им высокому положению, генерал Лукомский принципиально высказался против моего предложения об использовании для сельскохозяйственных работ расположенных

в тылу и свободных от занятий воинских частей. Когда же я довел до сведения Совета, что об этой мере пополнения рабочей силы мною доложено было Государю, и со стороны Его Величества я встретил этому полное сочувствие, представитель Военного Ведомства, слегка ухмыльнувшись, заметил:

– То, что вы говорите, существа дела нисколько не меняет... Мало ли что Государь находит достойным одобрения! Всем вам ведь известна неустойчивость его взглядов. Если сегодня Его Величество так отозвался, это не значит, что завтра он не изменит своего решения!..

Пораженный подобным ответом, я взглянул на престарелого Горемыкина, но тот, к концу заседания сильно утомившийся, видимо, пропустил мимо своих ушей более чем неуместную реплику представителя военного ведомства. Все остальные Министры так же неодобрительно, как и я, отнеслись к словам генерала. В результате обе предложенные меры были единодушно приняты.

Наряду с очередными, бывали также и экстренные заседания Совета Министров, собиравшиеся в обычном помещении Мариинского Дворца, или в казенной квартире Горемыкина на Моховой. Так, 19-го декабря 1915 года, Иван Логгинович собрал экстренно, у себя на дому, Министров, чтобы обсудить полученное им от Государя письмо, в котором, между прочим, значилось: «Познакомившись из повременной печати о неблагоприятии в некоторых местах по продовольствию и топливу, поручаю срочно рассмотреть этот вопрос в Совете Министров»...

Это Высочайшее обращение к Председателю Совета Министров состоялось вскоре после получения Горемыкиным письма Министра Внутренних Дел по поводу продовольственных мер, о котором мною упомянуто было выше, и которое послужило основанием моего открытого протеста против вмешательства

А.Н.Хвостова в область моего управления. У моих коллег создалось впечатление, что письмо Его Величества Горемыкину было инспирировано тем же беспокойным Министром Внутренних Дел. Совет Министров, само собой, принял к сведению Высочайшее поручение, но был бессилён что-либо предпринять по существу разрешения продовольственного вопроса.

Я постарался использовать экстренное заседание Совета Министров и провести в жизнь одну необходимую меру, которая, на мой взгляд, могла значительно облегчить и упорядочить продовольственное снабжение армии и тыла. Исходя из того соображения, что продовольственный вопрос находится в тесной зависимости от потребностей воинских частей и тылового гражданского населения, а также от железнодорожного транспорта и топлива, я предложил организовать для обсуждения всех мероприятий, связанных со снабжением, особый совет из Министров, непосредственно в этом деле заинтересованных, а именно: 1) Военного, 2) Внутренних Дел, 3) Путей Сообщения, 4) Торговли и Промышленности и 5) Земледелия. Эти пять лиц могли легче и более деловито сговориться между собой, вместо того, чтобы рассуждать на сравнительно редко происходивших общих заседаниях Совета Министров в полном его составе. Подобное объединение глав ведомств, одновременно состоявших председателями «Особых Совещаний», должно было оказать существенную пользу в смысле установления большей согласованности и планомерности в снабжении. Предложение мое было принято. С 19-го декабря 1915 года, наряду с обычными заседаниями Совета Министров, стали, по мере надобности, происходить «совещания пяти министров», собиравшиеся сначала под председательством А.Ф.Трепова, а затем Б.В.Штюр-

мера, при котором, по настоянию думских старейшин, с Родзянко во главе, эти пятичленные совещания, приносившие делу явную пользу, были прекращены.

В деятельности «Совета пяти министров» ревнители думских прерогатив стали усматривать опасную для авторитетности законодательных учреждений организацию, «клонящуюся к диктатуре»(!) На эту тему из уст краснобаев Таврического Дворца полились громовые хлесткие речи. Родзянко, по свойству своего «глубокого ума», стал вторить им басом, а пошлый оппортунист, беспринципный и лживый лицедей, Штюмер, счел за благо угодить, в душе ненавистной ему, Государственной Думе. В результате, строго деловая и чрезвычайно полезная для всего хода снабжения организация, не носившая в себе никаких признаков «диктатуры», обречена была на закрытие.

Вскоре после описанного мною заседания, 26-го декабря 1915 года, И.Л.Горемыкин экстренно созвал Министров для обсуждения составленной Министром Финансов П.Л.Барком обширной записки, вызванной исключительно тяжелым положением России, втянутой в грандиозную Европейскую войну. Барк пытался разрешить вопросы большой государственной важности, непосредственно связанные с упорядочением финансового положения, от которого зависела дальнейшая судьба не только боевых действий, но и всей государственной жизни нашей родины. Задолженность России к тому времени равнялась 28 миллиардам золотых рублей. В бюджете предвиделись миллиардные дефициты... Министр Финансов в своей обстоятельной записке, вызвавшей со стороны всех Министров необычайно острый интерес, совершенно правильно указывал, что для ограждения Российского государства от обременительных последствий такой высокой задолженности, необходимо выработать и

установить не один только финансовый план, но и общеэкономический, чтобы выявить к жизни неисчислимые естественные богатства страны. Я поддержал докладчика и, со своей стороны, предложил для использования наших природных богатств, наряду с правительственными начинаниями, привлечь к сотрудничеству частных лиц и предоставить большую свободу предприимчивости и помещения капиталов.

Помимо «очередных» и «экстренных» заседаний Совета Министров, в двух случаях Горемыкиным были созваны особо конфиденциальные совещания, из которых одно имело место 11-го января 1916 года, а другое состоялось 16-го того же, месяца. На них присутствовали только Министры, без участия даже кого-либо из управления делами Совета.

На первом «тайном» заседании товарищ Военного Министра генерал А.С.Лукомский доложил «дело Братолюбова», в свое время сильно на шумевшее в столичных высших и законодательных кругах.

В кипучей и нервно суетливой атмосфере всевозможных воинских заказов, военно-технических опытов и изобретений, вызванных войной, в петроградском деловом мире появлялось, наряду с серьезными дельцами, немало проходимцев, умевших в общей суматохе военного времени удовлетворять свои аппетиты авантюристов. К таким типам принадлежал некий Братолюб, знакомивший всех, начиная с простых смертных и кончая Августейшими Особами, со своим изобретением – «горючей жидкостью». И я с группой членов Государственного Совета посетил однажды «лабораторию» этого чудодея, который оказался высоким господином, очень приветливым, даже обворожительным в обращении. Он обосновался со своей конторой и агентурой невдалеке от Народного Дома. Под железной крышей помещительного сарая производил он свои сенсационные опыты:

разливая по земле самовоспламеняющуюся жидкость, Братолюбов не скупился на широковещательные пояснения рекламного свойства, уверяя, что изобретенная им жидкость во время военных действий способна своим огнем остановить наступление противника.

Надо помнить, что настроение в то время в правящих и военных кругах было крайне напряженное и тревожное. С фронтов доходили вести мало утешительные. Раздавались резкие жалобы на недостаток боевого снабжения. То, что во вражеской армии применялись небывалые технически боевые способы борьбы, вроде удушливых газов, усиливало общую растерянность. На верхах хватались за все, что, так или иначе, могло служить противодействием беспощадной разрушительной тактике неприятеля. На этой почве братолюбовская «горячая» затея и возымела быстрый успех, который дал ловкому изобретателю возможность попользоваться немалыми суммами. Но более благоразумная и осторожная часть военного начальства, произведя ряд серьезных опытов, отнеслась к братолюбовскому начинанию совершенно отрицательно, и сочла нужным в срочном порядке его ликвидировать... «Тайное» заседание Совета Министров 11-го января было собрано Горемыкиным именно в целях этой поспешной ликвидации. Проводить ее приходилось в условиях не совсем обычных. В «братолюбовской истории» были замешаны некоторые члены Императорской фамилии, главным образом Великий Князь Михаил Александрович.

Изобретатель «горючей жидкости», неуверенный в ее успехе у серьезных знатоков военной техники, стал умело рекламировать свою находку в кругу лиц мало компетентных, но за то имевших доступ к Августейшим Особам. Братолюбов задался целью провести в жизнь свою затею не обычным путем,

через специально созданные авторитетные учреждения, ведавшие делом воинского снабжения, а при содействии отдельных лиц, имеющих привилегированное положение и влияние в Царском. Великий Князь Михаил Александрович, доверчивый по своей натуре, так увлекся братолюбовским изобретением и его рекламными заманчивыми перспективами, что, пользуясь близостью своей к державному Брату, он, с согласия Государя, за сравнительно короткое время переслал больше 20 своих рескриптов разным лицам и учреждениям. В каждом из них упоминалось: «по воле Его Императорского Величества». В них заключались распоряжения приступить к немедленному изготовлению братолюбовской жидкости и отпустить для этого производства 150 миллионов рублей. При этом, все по тем же великокняжеским рескриптам и все так же, – с соизволения Государя, – Братолюбову, в целях содействия наискорейшему исполнению сделанных ему грандиозных заказов, предоставлялись исключительные привилегии, вплоть до права реквизиции по его усмотрению частных владений в пределах столицы.

Обстоятельный доклад деловитого генерала А.С.Лукомского произвел на всех нас самое удручающее впечатление и вызвал длительное обсуждение, как найти наилучший способ для спокойного и, вместе с тем, быстрого прекращения братолюбовской шумихи, со всеми ее великокняжескими рескриптами. Министры оказались вынуждены не только упоминаемую в них Высочайшую волю не исполнять, но употребить все усилия, чтобы предотвратить ее осуществление. В этом отношении предложения Военного Министра носили определенный и решительный характер. Он заявил, что необходимо откровенно доложить Государю о действительном положении вещей и просить его аннулировать все изданные по братолюбовскому делу Высочайшие распоряжения. Совет Министров одобрил этот

единственный путь ликвидации всех братолюбивских происков. Военный Министр, А.А.Поливанов, от имени всего Совета Министров, явился с докладом к Государю, который благоراضно пошел навстречу нашему единодушному решению.

В том же «тайном» заседании Совета Министров 11-го января Горемыкиным был поднят вопрос который занял своим обсуждением еще одно такое же конфиденциальное заседание, имевшее место 16-го января.

Председатель Совета Министров внес на наше рассмотрение доклад, касавшийся срока длительности созыва Государственной Думы. Горемыкин в нем высказался за необходимость устройства предварительного совещания по этому поводу из представителей Правительства и обеих законодательных палат. Он доложил также проект обращения Государя на случай открытия сессии Государственной Думы. Доклад этот вызвал чрезвычайно пространные и горячие прения, показавшие мне – новичку среди высших представителей власти – недоверчиво-неприязненное отношение, которое некоторые из моих коллег питали к законодателям Таврического Дворца.

Особенно резко отзывался против оговоров с думцами Барк. Он предлагал обойтись без всяких предварительных совещаний с представителями законодательных палат, а просто издать Правительственный Указ о созыве Государственной Думы с неременным упоминанием продолжительности сессий. Я заявил протест, поддержанный С.Д.Сазоновым. Я указывал на необходимость созыва Государственной Думы без упоминания какого-либо срока, и на желательность обсудить вопрос о длительности сессии в особом совещании, как предлагал Горемыкин, т.е. с представителями правительства и обеих законодательных палат. На это Барк и некоторые другие Министры в

пренебрежительно неприязненным тоном заметили, что в прошлом все подобные меры разных сговоров с думцами были правительством не один раз испытаны, но никогда ни к чему положительному не приводили.

Должен сознаться, что впечатление от наших прений я вынес тогда самое тяжелое, и будущее мое сотрудничество в подобной обстановке рисовалось мне в достаточно мрачных красках...

Возбужденный Горемыкиным вопрос, обсуждавшийся в двух «тайных» заседаниях, в конце концов большинством голосов был решен в том смысле, чтобы Государственную Думу собрать сроком на один месяц, с 5-го февраля по 5-е марта. Надо сказать, что на обоих этих заседаниях у большинства моих коллег помимо некоторой неприязни к Думе, проглядывало, как мне казалось, еще и другое настроение. Я не иначе могу определить его, как состоянием невольной боязни думской критики правительственной деятельности. Это впечатление возникало у меня каждый раз, когда-то один, то другой из членов Совета Министров высказывался за необходимость ограничить работу Думы возможно кратким сроком. Раздавались даже голоса за созыв Думы всего лишь на десять дней. В то же время слышались пожелания, чтобы в Указе об открытии сессии было предложено Государственной Думе заняться одной лишь бюджетной работой.

Возражая на это предложение, я заметил, что критика правительственной деятельности, главным образом, может возникнуть именно при рассмотрении бюджетных предположений, причем привел в пример Земские собрания, где деятельность Управ служила предметом беспощадной критики, обычно при прохождении сметных докладов. Что же касается ограниче-

ния до минимума времени думских занятий, как меры, могущей оградить правительственную деятельность от думских нападков, я заметил, что при желании «можно и в три часа наговорить того, чего и в три года не расхлебашь»...

В конце своего обращения к членам Совета, я не постеснялся поднять общий вопрос о доверии правительства к законодательным палатам.

– Если вы искренне, – сказал я, – доверяете им, вам ни срок, ни предмет занятий не должны казаться опасными... Если же вы боитесь, – тогда не созывайте Думы совсем.

Спокойно выслушивавший все происходившие в обоих «тайных» заседаниях прения, престарелый наш Председатель внес свой первоначальный доклад и более ни в какие рассуждения по затронутым им вопросам не вступал, предоставив членам Совета самим столкноваться по делу о созыве, столь мало привлекавшей его симпатию, Государственной Думы. Лишь однажды, когда Алексей Николаевич Хвостов, со свойственной ему циничной развязностью, стал рассказывать, что митрополит Питирим предпринимает все меры воздействия на Царя и Царицу, чтобы законодательные палаты не были созваны, Иван Логгинович, с присущим ему спокойствием на это заметил:

– Питирим – Питиримом, а мы будем действовать своим чередом...

Но действовать почтенному старику суждено было недолго. 18-го января, во время вечернего заседания Совета пяти Министров, разнесся слух, что Горемыкин получает графство и покидает свой пост... «Очередная титулованная выставка», как выразился тогда про это один из моих коллег, очевидно намекая про бывшие пожалования графством Витте и Коковцова. На следующий день слух был лишь частично подтвержден: Иван

Логгинович с занимаемой им должности был уволен, но в графское достоинство возведен не был. В этот день, на очередном заседании Совета Министров, по окончании всех дел, Горемыкин, имевший более чем когда-либо утомленный вид, обратился ко всем присутствовавшим Министрам с кратким, но почувствованным прощальным словом, выразив надежду на сохранение и впредь установившихся у нас с ним добрых отношений. При этом он довел до наше то сведения, что указ о созыве Государственной Думы Его Величеством не подписан, и вопрос этот будет еще раз обсуждаться с новым председателем Совета Министров. А.Ф.Трепов, от имени всех присутствовавших, высказал Ивану Логгиновичу теплое прощальное слово. Горемыкин, перед своим уходом, довольно продолжительное время дружески беседовал с С.Д.Сазоновым, который мне потом сообщил, что, по полученным им сведениям, гр. Коковцов ведет против него – Сазонова, самую ожесточенную кампанию.

Мне было жаль расставаться с почтенным стариком, всегда относившимся ко мне приветливо и ровно.

После того, как Иван Логгинович покинул заседание, мы, оставшиеся Министры, за исключением А.Н.Хвостова, долгое время еще не расходились, обсуждая столь внезапную отставку нашего Председателя. И вдруг, откуда-то из присутственных недр Мариинского Дворца, до нас докатился невероятный слух о назначении на место Горемыкина, члена Государственного Совета Бориса Владимировича Штюмерера. Мы были так ошеломлены подобной, показавшейся нам совершенно несуразной новостью, что отмахнулись от нее, как от какого-то страшного кошмара, и разошлись по домам, будучи уверены в полнейшей вздорности распущенного досужими озорниками «дикого» слуха.

Но на следующий день, 20-го января 1916 года, у всех в руках был Высочайший Указ об увольнении Горемыкина и о назначении на пост Председателя Совета Министров Штюмера.

Ужас и отчаяние завладели всем моим существом – ужас за царский престол и отчаяние за предстоящее мне сотрудничество с лицом, которому я при встречах неохотно подавал руку.

Должен сознаться, что при этом назначении у меня впервые возник настоящий жуткий страх за целостность российского престола и за спокойствие страны. Выбор Государя явился вызовом не только антиправительственно настроенному, но и всему русскому обществу, благоразумно и лояльно относившемуся к правящим верхам. Оправдания подобному поступку Государя найти было нельзя. Распутинское воздействие проявилось во всей своей наглости и наготе. Всем было известно преклонение перед «тобольским старцем» вновь назначенного на пост руководителя правительственного учреждения Штюмера. Фатальный для судеб России «Григорий Ефимович» распоряжался им, как своим верным и исполнительным агентом.

Штюмеровское назначение тяжело легло на императорскую корону и бросило тень на всю многолюдную служилую семью российской государственной иерархии. Моим первым побуждением было – немедленно же отказаться от министерской должности, не входить в служебное соприкосновение с человеком, которого я глубоко презирал. Я заявил об этом Государю, но Его Величество меня отпустить не пожелал, поставив на вид, что «во время войны из окопов не уходят».

Своими мыслями и настроениями поделился я с некоторыми близкими мне друзьями. Все они, в один голос, предостерегли меня от подобного поступка. По их общему мнению, он был бы сочтен в широких кругах русского общества за резкую

демонстрацию не в отношении ничтожного Штюмера, а против личности самого Государя. Они говорили, что, в условиях военного времени, такая демонстрация, исходящая из консервативных кругов, могла бы усилить и без того крайне возбужденное общественное настроение. Мне было указано на необходимость, несмотря ни на что, продолжать начатую мною работу по продовольствию армии и тыла. От правильной ее постановки зависел успех русского оружия и спокойствие страны.

В конце концов, я вынужден был изменить первоначальное свое решение и, стиснув зубы, остаться в коллегии, возглавленной ныне лицом, имя которого уже несколько времени вызывало неприязнь. Достаточно сказать, что, сравнительно незадолго до описываемого времени, когда предполагалось дать Москве городского голову по назначению, кандидатура Б.В.Штюмера на эту должность встретила горячий протест со стороны бывшего тогда премьером В.Н.Коковцова, который привел целый ряд веских соображений против него. Тогда Штюмер до занятия должности московского головы Его Величеством допущен не был. Прошло меньше двух лет, и тот же Штюмер, признанный недостойным встать во главе городского управления, был призван взять в свои негодные руки высшую власть в Империи.

Высокого роста, прямой и неповоротливый, как столб, Штюмер держал себя чрезвычайно важно, сановито, но при разговорах речь вел торопливо и часто в заискивающем тоне. По всему, что приходилось мне о Штюмере слышать и знать, его личные качества далеко не соответствовали его величаво импозантной внешности. Не отличался он ни шириной взглядов, ни прямоотой действий, ни моральной устойчивостью. Вся его карьера прошла под знаком сплошного угодничества перед

сильными мира сего. В этом отношении Штюмер умел проявлять немало сообразительности и такта. Он знал, где надо позавтракать или пообедать, а где и вечер провести, чтобы обо всем для него полезном поразузнать и о себе словечко во время замолвить. Будучи сам тверским земцем, он в 1892 году согласился стать в своей Тверской губернии председателем Земской Управы по назначению. За это он получил в Новгороде губернаторство. Он был завсегдатаем богдановичевских завтраков, на которых устраивалась судьба многих карьеристов, но где, вместе с тем, имя Распутина произносилось с нескрываемой ненавистью, но не брезговал посещать окружение грязного тобольского старца, в котором он почуял верную опору для желанного осуществления своих честолюбивых замыслов. И Штюмер не ошибся. Его многолетний, давно натасканный нюх по части протекции ему и в этот раз не изменил. Питирим, Вырубовы и прочие распутинские «радетели» сослужили ему немалую службу. Состарившийся, выдохшийся, потерявший в своем общении с омерзительными подонками «Гришкиной» компании всякое представление о чести и совести, Штюмер все же, в конце концов, заделался калифом на час, ошеломив всех и вся своим вступлением на пост премьера, да еще в такой героический и ответственный для главного руководителя государственным управлением период. Дальше мне придется подробнее описать неприглядную сторону личных свойств и служебной деятельности нового Председателя Совета Министров. Пока не могу не привести здесь краткий, но меткий отзыв о нем одного из его ближайших сотрудников – князя Владимира Михайловича Волконского, состоявшего одно время Товарищем Министра Внутренних Дел.

«Штюмер, – по словам князя, – начинал свой рабочий день с 6 часов утра и старательно весь день всех выслушивал, но

к вечеру из него все испарялось – его свободно можно сравнить с особого рода губкой, которую с раннего утра и до вечера намачивали, а тогда, когда приходилось ее выжимать, ни одной капли из нее было не выжать».

Возможно, что когда-то Штюмер обладал и нормальной памятью, и достаточной смекалкой, но то, что он из себя представлял в бытность его премьером, давало полное право его называть субъектом, определенно выжившим, из ума. Лично мне, например, приходилось первое время чуть ли не ежедневно знакомить его с продовольственным положением страны и Петрограда, вдавливая в его объемистую голову одни и те же цифры, которые тут же из его памяти улетучивались.

В качестве Председателя Совета Министров Штюмер производил впечатление напыщенного манекена, не способного ни на что реагировать, ни тем более проявлять живое творческое руководство в порученном ему ответственном деле. Большой по виду и маленький по своей мелочной душонке, прямой по внешней выдержке и весь искривленный в тайниках своей покладистой совести, Штюмер нес свои обязанности, сообразуясь не с серьезными государственными запросами и нуждами, а считаясь, прежде всего, с настроениями и подсказками безответственных закулисных сил.

В частном быту я с Штюмером был мало знаком и редко с ним виделся. Потом мне говорили, что он издавна затаил против меня неприязненное чувство после инцидента, случившегося с одним из его сыновей в бытность последнего в Самаре. Ко мне, как к Губернскому Предводителю Дворянства, появляется однажды небольшого роста, невзрачной наружности рыженький человечек, заявляет, что он сын Бориса Владимировича Штюмера и обращается ко мне, как другу своего отца (?!), с

просьбой – выручить его из крайне тяжелого положения и ссудить несколькими тысячами рублей для уплаты карточного долга. Само собой, с моей стороны последовал отказ. Тогда Штюмер сын вынул револьвер и заявил, что если я ему немедленно не выдам просимой суммы, он тут же у меня в кабинете застрелится. Я позвонил, вызвал дежурившего у меня курьера и приказал ему предупредить всех в доме, что сейчас раздастся выстрел. После этого я заявил сидевшему против меня рыженькому господину:

– Теперь действуйте – стреляйтесь!..

Как и следовало ожидать, Штюмер-сын угрозы своей не исполнил, а, впад в истерику, был при помощи того же курьера изъят из пределов моего дома. Этого, как говорили, мне Штюмер-отец простить никогда не мог.

Итак, 20-го января 1916 года, почтенный и глубоко порядочный, всеми уважаемый Иван Логгинович Горемыкин, просвещенный сановник, создавший себе прочное и всеми уважаемое имя в доконституционные времена, был заменен Штюмером, которого я, при всем желании, добром помянуть не в силах, и с которым мне суждено было заканчивать мою тяжкую министерскую службу.

Для обрисовки личности нового премьера очень характерны события, которыми сопровождалось самое вступление его в отправление высоких служебных обязанностей. Начать с того, что в первый же прием в Царском Штюмер, надо думать, под давлением той же «закулисной» клики, доложил Государю о желательности удаления из состава министерской коллегии двух лиц, так как ему известна их излишняя симпатия к общественным элементам и их неустойчивое исповедывание настоящего консерватизма. Лицами этими оказались: Министр

Народного Просвещения – граф П.Н.Игнатьев и Министр Земледелия – Наумов. Государь, выслушав Штюмерера, с неудовольствием ему заметил.

– Прошу в область моих распоряжений не вмешиваться.

Все вышеизложенное мне стало вскоре известно со слов графа Игнатьева. Он, в свою очередь, об этом узнал от одного из наиболее приближенных лиц к Государю, если не ошибаюсь, от флигель-адъютанта Нарышкина, которому Его Величество, после того, как Штюмерер от него ушел, лично пересказал подробности этого приема. В результате, в тот самый день, когда Государю было доложено о желательности увольнения с министерских постов графа Игнатьева и Наумова, Штюмерер поспешил заместить свою неудачную попытку и неожиданно-негаданно явился к нам обоим, в наши служебные кабинеты, с визитом. Держал он себя с нами с подчеркнутой любезностью. Мне только что назначенный Председатель Совета Министров наговорил кучу всяческих комплиментов, высказав особое ко мне благоволение за мою принадлежность к земско-общественной среде. По его словам, эта среда ему «хорошо знакома», «близка его сердцу» и, «играет громадную роль в жизни не только местной, но и всего Российского Государства»...

Пробыл у меня новый премьер часа полтора, успел также коснуться вопроса о созыве Государственной Думы и внимательно выслушал мое мнение о желательности доверчивого отношения к Думе со стороны правительственных кругов. Расставаясь со мною, Штюмерер высказал свое полное сочувствие моим словам и согласился с выраженным мной пожеланием созвать Государственную Думу после предварительного сговора правительства с представителями обеих законодательных палат и без указания на длительность сессии.

В общем, вновь назначенный Председатель Совета Министров явно употреблял все усилия, чтобы произвести на меня самое приятное впечатление...

Но с его визитом фатально, а может быть и иначе как то, совпало одно незаурядное происшествие, о котором считаю небезинтересным более подробно здесь рассказать. Только что Штюмер из здания моего Министерства ушел, как ко мне в кабинет с несколько взволнованным видом приходит секретарь Загорский, с докладом о том, что только что по телефону просил меня принять его в 5 часов дня «Григорий Ефимович»..

– Какой такой Григорий Ефимович?! – озадаченно спросил я секретаря, на что последовал сначала ответ:

– Новых...

И только уже после этого Загорский с заметным смущением решился произнести настоящую фамилию этого Григория Ефимовича. Меня передернуло.

– Передайте Распутину, – сказал я в несколько повышенном тоне своему секретарю, – что я его не приму, и прошу вас, Станислав Антонович, более мне никогда о нем не докладывать!..

Надо иметь в виду, что до посещения меня Штюмером Распутин никогда и ничем мне себя не заявлял. Я в жизни своей с ним не говорил, и даже его не видел. И вот странное совпадение – появляется премьер Штюмер, и за ним, словно всюду следующая по его пятам тень, возымел намерение проникнуть в мое ведомственное святилище закулисный его вдохновитель.

Слух о моем отказе принять Распутина вскоре сделался достоянием всех чинов моего ведомства, а к концу дня и некоторой части столичного общества. Ко мне, один за другим, стали

появляться мои старшие служащие, с выражением полного сочувствия отданному мною распоряжению. Но среди них раздавались также голоса, высказывавшие опасения за мою дальнейшую судьбу. Из некоторых их намеков я вывел заключение, что даже независимые сановники не прочь бывали временами снисходить к просьбам «тобольского старца», очевидно, придерживаясь житейского правила «не дразнить гусей», не восставлять против себя ни самого Распутина, ни слепо веривших в него обитателей Царскосельского Дворца. Меня предостерегали не только мои сотрудники, но и другие доброжелатели, принадлежавшие к разным слоям столичного общества. Всем я отвечал одно:

– Распутина не приму и чем скорее освобожусь от службы, тем лучше.

Но должен все же отметить, что в этот день впервые я с болью в сердце осознал то огромное влияние, которым пользовался в столичных сферах негодный «старец Григорий», добивавшийся ныне и до моего покоя... «Бедная Россия» – кратко отмечено в моем дневнике.

Наступил следующий день – 22-е января. С 12 час. дня начался у меня обычный прием лиц и депутатов. Народу подошло много. По заранее одобренному мною списку, секретарь стал по очереди пропускать в мой служебный кабинет лиц, имевших до меня дело. Представлялся мне один из начальников Прибалтийских губерний, когда вдруг, без всякого моего вызова, робко и с крайне сконфуженным видом, входит в кабинет Загорский. Извинившись перед Губернатором, я быстро подошел к Станиславу Антоновичу и в невольной резкой форме спросил:

– Что это значит?! Как вы могли войти в кабинет во время приема без моего вызова? Что случилось?

Взволнованным и чуть внятным голосом секретарь пробормотал:

– В приемную пришел Григорий Ефимович и требует, чтобы ваше высокопревосходительство его приняли тотчас.

Посмотрел я на бедного Загорского, и мне стало его жаль. Я подумал: до чего распутинское имя всесильно! Даже такой корректный и безукоризненно исполнительный служака, как милейший Станислав Антонович, и тот не устоял против желания «тобольского старца», забыл распоряжение своего прямого начальника.

– Пойдите и передайте Распутину, – сказал я, – что раз он пришел, пусть сидит, но в кабинет к себе я его не пущу!

Многолюдный прием затянулся. Пришло время отправляться на заседание Совета Министров. Выйдя в приемную, я в ней застал еще человек 10-12, которых я решил наскоро обойти и опросить. Обведя глазами ожидавших в приемной лиц, которые при моем появлении все вежливо привстали, я сразу заметил единственную, оставшуюся сидеть, одетую в длиннополую поддевку, мужскую бородатую фигуру, всеми своими приметами походившую на известный по иллюстрированным изображениям облик знаменитого «тобольского старца». Действительно, это был Распутин, которого я, в первый и единственный раз в своей жизни, имел случай видеть и достаточно хорошо рассмотреть. Обходил я просителей в сопровождении своего секретаря, который отбирал подаваемые мне заявления и отмечал у себя мои распоряжения. При моем приближении к Распутину, последний все же встал и пристально уставился на меня своими воспаленными, слегка растарашенными и, надо сказать правду, отвратительными глазами, обычно именуемыми среди простонародья «бесстыжими зенками». Передо мной стоял

среднего роста, пожилой, простецкого, мужицкого вида человек, с жидкими, темно-русыми, подстриженными в скобку волосами, напоминавший сидельцев кабацких заведений былых времен, до монополии. Его истасканная физиономия, обрамленная темной, висевшей мочалой, бородой, имела совершенно отталкивающее выражение. Особенно омерзительны были выглядывавшие из темных впадин глаза, которыми Распутин в упор смотрел на меня, то расширяя, то суживая свои нечистые «зенки». Мне вспомнились рассказы про будто бы присущую ему необыкновенную силу внушения. Я решил испытать эти чары на себе и, подойдя вплоть к Распутину, с вызовом принял глазами направленный на меня не просто пристальный, но напряженный его взгляд. Но ничего, кроме отвращения, я в себе не ощутил.

– Что нужно? – спросил я его.

Трясущимися руками Распутин достал из-за пазухи своей поддевки лоскуток бумаги, который я поручил своему секретарю взять и прочесть. На бумажке была изложена просьба зачислить какого-то студента в гидротехническую организацию Министерства Земледелия. Приказав заявление это передать на рассмотрение Мосальского, я вновь обратился к Распутину с вопросом, имеется ли у него еще какая-либо просьба? Ответ получился отрицательный. Тогда я показал ему рукой на выходную дверь и, уже не имея сил больше себя сдерживать, крикнул:

– Идите вон!

Весь съежившись и метнув на меня в последний раз полный злобы взгляд, Распутин быстрыми шагами скрылся из залы на площадку лестницы, где его поджидала нервно ходившая взад и вперед какая-то дама под вуалью, принадлежавшая, как потом мне говорили, к одной из самых старинных титулованных фамилий России. Я задержался еще на некоторое время в

приемной зале, а затем поспешил в Мариинский Дворец на заседание Совета Министров.

Позже, со слов очевидцев, я узнал, что Распутин, спустившись со своей спутницей в швейцарскую и накинув на себя соболью шубу, перед уходом поднял кверху свой кулак и с неистовой злобой потряс им в воздухе. Затем он и дама поспешно уехали в превосходный автомобиль и быстро скрылись из виду.

Стало мне также известно, что первым долгом после посещения моей приемной, тобольский старец направился в Царское, с жалобой на Министра Земледелия. Слух этот меня не только не омрачил, но в сильной степени обрадовал... «Я в воссторе» – записано по этому поводу у меня в дневнике 23-го января 1916 года, – как будто после удачной охоты!»

Не могу не отметить здесь той для меня совершенно неожиданной обстановки, которая создалась вокруг меня и моего имени, после только что описанного распутинского появления у меня. Отказ принять и впустить к себе в кабинет вредного и мерзкого «старца» казался мне делом вполне естественным, даже обязательным. Я был немало озадачен, когда, во все последующие после распутинского инцидента дни, ко мне являлись не только отдельные лица, но целые депутации от общественных организаций, даже и от некоторых думских партийных группировок. Все они приветствовали меня по поводу открыто выказанного мною определенного отрицательного отношения к заслуживающей всеобщего презрения личности «тобольского старца». Я получал в том же духе составленные груды письменных приветствий. С утра до вечера раздавались нескончаемые телефонные восхваления, как будто я совершил героический подвиг, проявил необычайное гражданское мужество. Даже почтенный мой коллега, Министр Юстиции – чистый и честный А.А.Хвостов мне сказал:

– Я слышал, что вы Распутина не впустили к себе в кабинет. Я тоже его ненавижу, но тем не менее должен был в этом отношении пойти на уступку.

Остались у меня также в памяти по телефону сказанные мне на другой день после появления у меня Распутина слова всероссийского полицейского сыщика и всезнайки – Товарища Министра Белецкого:

– Жаловался и во Дворце и нам всем старец на неприветливый ваш прием, а в конце мне добавил: «все-таки видно, что Наумов барин».

Так или иначе, но с тех пор, после неприветливого моего приема «старец Григорий» более никогда и ничем моего покоя не нарушал, если, конечно, не считать, что с того момента в его окружении началась, как до меня доходили слухи, постепенная подготовка высоких сфер к мысли о желательности заменить Министра Наумова иным, более подходящим лицом. Подобные слухи я искренне приветствовал, и, вместе с тем, откровенно говоря, о них скоро забывал, т. к. с головой ушел в дело продовольствия страны и фронта.

148

Во время премьерства Штюмерера заседания Совета Министров по-прежнему подразделялись на очередные, обычно происходившие по вторникам и пятницам, и экстренные, носившие характер особо конфиденциальных совещаний.

В пятницу 22-го января 1916 года, как раз в день появления в моем Министерстве Распутина, я участвовал на заседании Совета Министров, на котором впервые председательствовал Штюмерер. Должен сознаться, что результатом этого заседания я остался в полной мере удовлетворенным. Обсуждался вопрос

о созыве законодательных палат. Решено было доложить Его Императорскому Величеству о желательности издания по этому поводу указа без обозначения в нем какого-либо определенного срока. О длительности предстоявших сессий иметь особое совещание из представителей правительства и законодательных учреждений. «Моя победа!»... И на самом деле – на протяжении каких-нибудь 10 дней одни и те же люди оказались способны заговорить на совсем другом языке!

Очевидно, настойчивое воздействие на Царя некоторых лиц, внушавших Его Величеству о государственной необходимости созыва законодательных палат, в особенности Государственной Думы, при условии открытого к ним доверия, – оказало решающее влияние не только на судьбу самого факта созыва, но и дальнейшего пребывания на посту премьера лица, определенно подобному акту не сочувствовавшего. Когда Горемыкин ушел в отставку, редактированный при нем проект указа о созыве Государственной Думы сроком на один месяц, Государем подписан не был. Покидая свой пост Иван Логгинович нас предупредил, что вопрос о созыве законодательных палат, согласно желанию Государя, должен быть вновь пересмотрен при его заместителе. Этот пересмотр состоялся на заседании Совета Министров 22-го января. Новый премьер, внося на наше обсуждение вопрос о созыве Государственной Думы, со своей стороны, определенно высказался в том самом направлении, которое мы с Сазоновым отстаивали на первом «тайном» заседании 11-го января. Тогда мы встретили горячий протест со стороны большинства наших коллег. Теперь же со стороны последних слышались иные песни. Предложение Штюмерера встретило, конечно, полнейшее сочувствие представителей бывшего мень-

шинства, т.е. меня и Сазонова, и было скреплено покорным согласием остальных Министров, включая горячо протестовавшего ранее против подобного созыва П.Л.Барка.

Итак, в вопросе, имевшем в общем ходе государственной жизни, несомненно серьезное значение, замена Горемыкина Штюмером явилась как бы благоприятным фактором для его разумного разрешения. Однако, по моему убеждению, в этом деле взгляды нового премьера никакой роли не играли. Штюмер был человек прежде всего беспринципный, перед «высокими» сферами рабски угодливый. Он надевал на себя личину то непримиримого, то компромиссного консерватора, в зависимости от требования обстановки и соображений личной пользы... Не таков был почтенный Иван Логгинович Горемыкин, – серьезный государственный сановник, с огромным административным стажем, успевший выработать и усвоить определенные взгляды и принципы. Он жил ими и потому проводил их в своей служебной деятельности. Вопрос иной, – насколько эти взгляды соответствовали данной эпохе государственной жизни и возможно ли было их с этой точки зрения поддерживать, но Горемыкин, призывавшийся Государем в ближайшие сотрудники, говорил с ним нелицеприятно, говорил «своим» языком, отражавшим его собственные, сложившиеся за многолетнее служение Царю и родине, понятия о пользе и о нуждах российского, государства. Убежденный противник виттевских законодательных учреждений, он себя так и вел, стараясь при этом всеми своими силами ограждать престиж и полноту царской власти. Вопрос о том или другом способе созыва Государственной Думы был всецело связан с деликатной стороной взаимоотношений между ней и царской властью. В силу важнейших государственных соображений, именно в описываемый момент, необходимо было с высоты Престола открыто

выявить искренне доверчивое отношение Короны к деятельности Государственной Думы. На этот путь Горемыкин, верный своим убеждениям, встать не мог. Тогда Государю его фатальное «закулисное» окружение подсказало имя Штюмерера, хотя и принадлежавшего к крайне правому партийному крылу Государственного Совета, но готового пойти на все, лишь бы достичь высшей степени его карьеры. Штюмерер был, может быть, сильнее Горемыкина предубежден против всяких общественных вмешательств в область чиновничьих распоряжений и в глубине своей мелочной и темной душонки относился еще более враждебно к существованию нижней палаты со всеми ее злободневными запросами, но он, в угоду создавшегося тогда царского настроения и ради достижения высокого влиятельного поста, все же взялся быть глашатаем необходимости созыва Государственной Думы и с высоты Престола открытого к ней выражения доверия.

Так или иначе, но начало Штюмереровского премьерства казалось, с моей точки зрения, удачным, до некоторой степени даже примирило меня с новым назначением. Но, увы, – подобное настроение продолжалось у меня недолго. Следующее после 22-го января очередное заседание Совета Министров, имевшее место 26-го января, сразу же со всей остротой всколыхнуло во мне все прежнее к Штюмереру неприязненно гадливое отношение. И не без основания.

Заседание это было продолжительное, затянулось до 7 часов вечера. Стоявшие на повестке вопросы были, наконец, все исчерпаны. Я собирался уходить, когда вдруг Штюмерер, переговорив о чем-то с Алексеем Николаевичем Хвостовым, заявляет, что он имел в виду предложить г.г. Министрам подписать составленный им проект журнала по одному экстренному делу, не предусмотренному дневной повесткой. Ограничившись этими

словами, председатель Совета Министров передает какой-то лист сидевшему рядом с ним Военному Министру А.А.Поливанову, который просмотрев содержание бумаги, был, видимо, немало смущен и, весь судорожно подергиваясь, стал что то горячо объяснять Штюмеру. Последний, не теряя своего олимпийского величия, призвал к себе на помощь А.Н.Хвостова, который, обежав вокруг стола, всем своим баллонообразным туловищем приник к худощавой фигуре Поливанова и начал что то на ухо ему быстро и многозначительно доказывать. С превеликой нерешительностью и весь волнуясь, Военный Министр в конце концов взял перо и поставил на полученном от Штюмера листе свою подпись.

В ожидании своей очереди, я вновь присел на свое место и спрашивал соседей, в чем дело и что это за журнал? Но никто из них ответа мне дать не мог – для всех заявление Штюмера оказалось полнейшей неожиданностью. Меж тем лист продолжал переходить от одного Министра к другому, постепенно заполняясь их подписями, пока, наконец, дошел до моих рук.

Содержание проекта сверхпрограммного журнала было чрезвычайно кратко и сводилось к ассигнованию в безотчетное распоряжение Председателя Совета Министров пяти миллионов рублей.

Первым моим побуждением после прочтения этой бумаги, успевшей собрать более половины министерских подписей, было – бросить все и уйти подальше от создавшейся вокруг меня обстановки, от вызывающе пренебрежительного отношения нового премьера к возглавляемому им коллегиальному учреждению, членов которого, Министров, он превращал в бессловесных пешек. Я положил журнал обратно на стол, не поставив своей подписи, и решил покинуть заседание. Но меня са-

мым решительным образом остановили мои коллеги, убеждавшие меня не ставить их моим демонстративным уходом в еще более тяжелые условия.

Тогда я обратился к Председателю Совета Министров с вопросом, из каких сумм он испрашивает себе ассигновку и на какие цели? Вместо ответа, Штюмер подозвал к себе А.Н. Хвостова и стал с ним довольно продолжительное время перешептываться, после чего из уст нашего председателя послышался чрезвычайно туманный ответ, который окончательно подтвердил зародившееся у меня соображение в полнейшей незаконности подобного акта. Им разрешалась передача в руки Председателя Совета Министров крупной суммы не из т.н. «десятимиллионного фонда», находившегося в безотчетном распоряжении Верховной власти, а из общегосударственных средств, расходование которых требовало прежде всего санкции со стороны законодательных учреждений и, сверх этого, подлежало установленному порядку отчетности перед Государственным Контролем. Заготовленный Штюмером, при несомненном содействии А.Н.Хвостова, журнал явно нарушал то и другое требование закона...

На мой вопрос, на какой предмет испрашивается пятимиллионное ассигнование, получился довольно своеобразный ответ: «Подпишите немедленно предложенный вам журнал, а пояснения даны будут потом».

Я указал на незаконность составления данного журнала и на невозможность его утверждения без упоминания в нем, на какой предмет пойдут ассигнуемые денежные суммы, и счел своим долгом отказаться от скрепления его моей подписью.

Снова посоветовавшись с Хвостовым, Штюмер торжественно во всеуслышание заявил, что ассигнование ему в безотчетное распоряжение 5 миллионов рублей воспоследовало по

Высочайшему повелению, что проект этого журнала был в свое время Его Императорскому Величеству доложен, и Государю благоугодно было повелеть всем Министрам его подписать. Эти, сказанные в повышенном тоне слова, являвшиеся своего рода провокационным вызовом по отношению к лицам, ведомо лояльно исполнявшим свои верноподданные обязанности, меня в сильной степени возмутили. После минутного размышления я заявил Штюмеру:

– Если вы так ставите вопрос, я, как верноподданный своего Государя, подчиняюсь Высочайшему повелению и журнал, вами предложенный, подпишу, но оставляю за собой право доложить Его Величеству, при каких необычных условиях я эту подпись вынужден был вам дать...

Подписав, я быстро встал и ушел к себе в Министерство, находясь под гнетущим впечатлением поступка, впервые за всю мою служебную деятельность содеянного, вопреки моим понятиям о долге, чести, совести и..., вместе с тем, – по Высочайшему повелению!

Придя к себе в кабинет и оставшись на некоторое время один, я ощутил такой стыд, такую досаду за выраженное мною, в конце концов, согласие дать подпись и тем самым принять участие в явно незаконном деле, – что немедленно же решил действовать самым решительным образом, чтобы не допустить Штюмера до получения вождеденных пяти миллионов государственных денег. Моим единомышленником и энергичным сотрудником в этом отношении оказался только что назначенный на пост Государственного Контролера член Государственного Совета Николай Николаевич Покровский, заменивший собою П.А.Харитонову и впервые принявший участие в заседании Совета Министров именно в тот самый день, когда произошла описанная мною сцена с подписями Штюмеровского журнала.

Николай Николаевич пришел в мой министерский кабинет, уселся молча в кресло, уперся длинными локтями в свои колени и, опустив свою бритую голову, стал из стороны в сторону ею безмолвно укоризненно поматывать.

– Ну, и компания! – наконец глухим голосом промолвил новый Государственный Контролер, – угрозило же меня прийти сегодня на это невероятное заседание! Вот уж именно – первый блин да комом!

Обменявшись друг с другом своими невеселыми впечатлениями, мы с Покровским условились самым энергичным образом действовать против вызывающего поведения Штюмерера, который, с первых же шагов своего премьерства, позволил себе нарушить основные устои деятельности высших государственных учреждений и затронуть достоинство служебного положения Министров. Мы решили протестовать непосредственно перед лицом самого Государя – каждый по своему: Покровский – по должности Государственного Контролера, заинтересованного в соблюдении установленного законом порядка по наблюдению за отчетностью в расходовании государственных сумм, а я – в качестве рядового Министра, требующего на правах члена Совета Министров, восстановления нормального порядка ведения дел в высшем имперском коллегиальном учреждении и должного со стороны его председателя уважения к Министрам..

Совместные наши с Покровским шаги не остались безлюдны. Через три дня, на первом же очередном заседании Совета Министров (29-го января), Штюмерер довел до нашего сведения, что состоялось Высочайшее повеление о подчинении ассигнуемых в распоряжение председателя Совета Министров пяти миллионов рублей общему порядку государственного контроля. Спустя еще несколько дней, нам стало известно, что

Штюмер отказался от получения этих злополучных миллионов.

1-го февраля, обедая у Давыдовых с графом В.Н.Коковцовым, я с ним разговорился об успевшей достаточно на шуметь по всей столице истории с «штюмеровской ассигновкой». От него я узнал о некоторых подробностях, разъяснивших мне скрытые цели, ради которых премьер добивался этой ассигновки. Оказалось, что в этом предприятии главным действующим лицом, претендовавшим на получение огромной суммы и побуждавшим Штюмера к составлению упомянутого выше журнала и насильственному его утверждению министерскими подписями, был никто иной, как Министр Внутренних Дел А.Н. Хвостов. Он в то время имел на нового премьера решающее влияние и хотел, при его содействии, получить в свое безотчетное распоряжение огромную сумму, якобы для начала предвыборной агитации...

Дело в том, что в 1917 году полномочия депутатов четвертой Государственной Думы кончались, и, несмотря на затянувшиеся военные действия, в высших административных сферах не оставляли мысли о необходимости приступить к подготовительным работам для выборов в пятую Государственную Думу. Делом этим особенно интересовался «беспокойный» А.Н.Хвостов, задавшийся целью получить в свои руки солидную сумму денег, пользуясь которой он хотел широко раскинуть сеть право правительственной предвыборной агитации, и даже приобрести у А.С.Суворина очень распространенный газетный орган – «Новое Время». По словам графа Коковцова, со всей этой грандиозной затеей Министр Внутренних Дел носился еще при И.Л.Горемыкине, но последний ей ходу не давал. С появлением же у власти Штюмера, Хвостов восторжествовал, и, вместе с

послушным ему тогда премьером успел быстро обойти мягкого Царя.

Все же пятимиллионное предприятие «сорвалось»! Да и отношения двух компаньонов – Штюмерера и Хвостова вскоре круто изменились. В чем-то они в своем интимном закулисном кругу не ладили. Не прошло и месяца, как Хвостов пал. Его заменил на посту Министра Внутренних Дел сам премьер. Уже никто не мог ему мешать идти рука об руку с его благодетелем и вдохновителем, Григорием Распутиным. Даже начальника «черного» хвостовского кабинета, товарища министра внутренних дел Белецкого, и того сослали в далекий Иркутск на пост генерал-губернатора.

Вскоре после увольнения Хвостова, для всех совершенно неожиданно, Военного Министра А.А.Поливанова заменили полевым интендантом генералом Дмитрием Савельевичем Шуваевым. Утром, 14-го марта 1916 года, я приехал в Могилевскую Ставку для всеподданнейшего доклада и был приглашен генералом Алексеевым в офицерское собрание к завтраку, за которым мы принялись беседовать на общие злободневные темы – об использовании для сельскохозяйственных нужд рабочих команд, об упорядочении и объединении фронтово-тыловых распоряжений по продовольственному снабжению, об условиях применения реквизиций и т. п. Вдруг появляется в дверях знакомая нам небольшая, плотная, одетая в походную генеральскую форму, фигура главного полевого интенданта Шуваева. При виде нас, он быстрыми шагами подошел к нашему месту, уселся по соседству и, нагнувшись к нам, тихим взволнованным голосом сообщил ошеломившую обоих нас весть – о только что состоявшемся назначении его, Шуваева, Военным Министром, вместо Поливанова. Мы были так озадачены этой неожиданной новостью, что забыли даже выразить приветствие почтенному

старику, с оказанным ему царским доверием и целиком отдались обсуждению судьбы, постигшей А.А.Поливанова, причин его увольнения и того, как может отразиться подобное распоряжение Государя на настроении правящих кругов и, в частности, – высших военных властей...

Правда, нерасположение Царя к Поливанову было фактом общеизвестным, но все также знали, что Государь все же ценил исключительные профессиональные знания, выдающуюся работоспособность и, наконец, несомненную популярность военного министра. И вдруг, в разгаре военных действий, когда со стороны главы Военного Министерства требовались особая опытность и осведомленность, вместо умного, сведущего руководителя военным ведомством, к которому законодательные палаты относились с явным доверием, назначается генерал, стоявший в стороне от высшего военного административного механизма, и в силу свой прежней службы совершенно неавторитетный в широких военных кругах. Все знали почтенного Дмитрия Савельевича Шуваева, как сведущего, опытного интенданта и безусловно честного человека, но никому в голову не могло придти считать его кандидатом на занятие министерской должности – слишком он казался умом и словом простоват...

Шуваев, с виду похожий на пожилого мужика, свое интендантское дело вел, не мудрствуя лукаво, но честно и чисто. За время своего пребывания во главе этого ведомства, он успел его поставить вне обычных подозрений в взяточничестве и лихоимстве. С Шуваевым, до его назначения на пост Министра, приходилось мне совместно работать по продовольственному снабжению. Он мне всегда казался человеком бесхитростным, простым, хотя недалеким, но благожелательным и хозяйственным. На заседаниях Особого Продовольственного Совещания

он говорил отрывисто, нескладно, подчас и мало понятно, все время оговариваясь, что он привык мыслить и действовать «по-солдатски» и неоднократно заставляя председателя переспрашивать, в чем же сущность его предложений. В этом отношении, как впрочем и во многом другом, Шуваев значительно разнился от лица, которое, по воле Монарха, он призван был заменить.

Нечего и говорить, что назначение Шуваева произвело на всех самое удручающее впечатление, тем более, что при увольнении бывшему Военному Министру не было даже объявлено с высоты престола обычной в этих случаях благодарности за его службу. Это не помешало Поливанову получать со всех сторон выражения горячего сочувствия в постигшей его царской опале, а заехавший к нему японский посол позволил себе публично высказать от имени Японии сожаление по поводу его ухода с министерского поста.

Вскоре после своего увольнения, Поливанов заехал ко мне и откровенно поделился своими невеселыми думами и глубоким своим огорчением по поводу обидных для него условий его отставки. Он поведал тогда некоторые свои догадки по поводу причин столь явно отрицательного к нему отношения Государя. По его мнению, в этом деле на царскую волю имела свое воздействие вся распутинская клика, в связи с докладом Поливанова по братолюбивской истории, в которой, как я уже писал, не малую роль играли Великие Князья Михаил Александрович и Борис Владимирович.

Итак – с начала премьерства Штюмерера до конца моей службы в Совете Министров произошли три перемены: на посту Государственного Контролера Харитонов заменил Покровский; после увольнения Алексея Николаевича Хвостова – обязанности Министра Внутренних Дел принял на себя Штюмерер и

наконец, вместо А.А.Поливанова, на должности Военного Министра очутился Шуваев.

149

Я уже указывал на основной недостаток работ Совета Министров, вытекавший, главным образом, из отсутствия во главе названного коллегиального учреждения лица, которое бы могло с достаточной авторитетностью объединять его участников и вносить в их совместные занятия живую струю творческого делового подъема и руководства.

Иван Логгинович Горемыкин не проявлял в достаточной степени этих качеств в силу своего возраста, переутомления и, как я выразился ранее, «потери вкуса» к работе, которая после виттевских подсказок была направлена по пути, не соответствовавшему его доконституционным убеждениям. Но все же это был человек с заслуженным и чистым именем прежнего большого государственного работника. Поэтому, какие бы дефекты почтенный Иван Логгинович ни проявлял, как председатель, – все ж чувство уважения к его личности у меня всегда оставалось.

Иное ощущение приходилось испытывать, когда Штюрман возглавил Совет Министров. Помимо ранее установившейся за ним бесславной репутации, он не преминул вскоре выказать на новом посту все убожество своих мыслительных и душевных свойств, хотя и старался внешне импонировать окружающим своей застывшей напыщенностью. В этом, надо думать, сказывался некоторый отблеск его прежней службы по придворно-церемониальному ведомству.

Упоенный величием своего высокого положения, сей церемониальных дел мастер десять дней спустя после своего назначения вдруг по телефону меня предупреждает, что он «имеет в виду» заехать ко мне в Министерство, и просит представить ему весь наличный состав моих служащих... «Зачем вам это?!» – невольно вырвалось у меня с языка. «Мне необходимо – послушался ответ – как председателю Совета Министров, ознакомиться со служащим персоналом всех Министерств».

Пришлось уступить этой необычной фантазии, и к условленному часу вызвать в залу Министерства всех старших чинов моего ведомства. И вот явился к нам с необыкновенно торжественным видом премьер. Он преважно обошел всех собравшихся, свысока, снисходительно пожал каждому руку, затем встал в середину залы, вынул из бокового вицмундирного кармана бумажку, насадил на свою безжизненную физиономию толстые роговые очки и в начальническом тоне, но невнятно, прочитал не то приветствие, не то своего рода наставление, после чего, пробормотав по моему адресу слово не то одобрения, не то ободрения, еле нагнувшись, сделал что-то вроде общего поклона, и проследовал обратно к выходу.

Ту же комедию Штюрмер проделал и в других Министерствах. Впечатление от этих премьерских церемоний у всех у нас получилось не только смехотворное, но и достаточно удручающее. Мы сознавали, что своим поведением Штюрмер, перед лицом многочисленных чиновников, способен был в значительной степени дискредитировать достоинство не столько своей собственной персоны, сколь той высокой должности, которую он занимал по выбору и воле Государя Императора.

Публичные выступления Штюрмера в качестве председателя Совета Министров производили самое отрицательное впечатление. Из уст этого «футлярного» субъекта исходило обычно

что-то весьма невнятное и безжизненное. Присутствуя при подобных выступлениях в законодательных учреждениях, невольно приходилось чувствовать безусловное умаление правительственного престижа.

Особенно резко выявилась вся бездарность и непригодность Штюмера, как публичного выразителя высшей правительственной политики, когда ему пришлось выступить от имени Совета Министров при открытии занятий Государственной Думы и Государственного Совета, имевшем место 9-го февраля 1916 года.

Событие это происходило при необычайной обстановке и носило характер особого торжества, так как в этот день Государь Император, вняв голосу многих лиц, искренне и горячо того желавших, утром, перед открытием Государственной Думы, лично появился в стенах Таврического Дворца, сопровождаемый всеми своими Министрами. Его Величество, окруженный со всех сторон многочисленными депутатами, вместе с ними молился во время торжественного молебна. Момент этот навсегда запечатлелся в моей памяти, так как он отвечал моему горячему тогда желанию добиться возможного сближения Царя с думскими работниками.

Надо сказать, что встреча Государя с народными представителями, которых возглавлял председатель Государственной Думы, отличалась чрезвычайным патриотическим подъемом и подлинной задушевностью.

Родзянко сказал с необычайным воодушевлением превосходную приветственную речь, преисполненную любви и преданности Царю, даровавшему стране народное представительство, и заключающую призыв к единению всех сил вокруг Императорского Престола для защиты родины в дни тяжких боевых испытаний.

Я стоял близко от Государя и видел, как Он еле сдерживал охватившее его волнение. После приветственного слова председателя Государственной Думы, в переполненной огромной зале наступило напряженное ожидание – все взоры были направлены на Монарха.

Бледный, с утомленным лицом, Государь несколько мгновений стоял с опущенной головой, как бы в замешательстве, затем быстро поднял свой взор на стоявшего перед ним Родзянко, заглянул на дно своей фуражки, где лежал исписанный листок бумаги, и мерным и ясным голосом произнес краткое слово благодарности за оказанный ему прием и надежду на помощь ему и родине со стороны народных избранников. Раздалось «ура» и при звуках народного гимна Государь покинул Таврический Дворец.

Совет Министров в полном составе остался в Государственной Думе и присутствовал при открытии заседания. На высокой, украшенной государственным гербом, трибуне первым появился председатель Совета Министров. В зале воцарилась тишина. Штюрмер приступил к чтению правительственной декларации. С первых же слов с разных сторон депутатских мест слышались замечания: «громче!». Это делу не помогло. Чтение премьеры продолжало оставаться все тем же монотонным, невнятным бормотаньем. Это немало нервировало депутатов, желавших вслушаться в содержание декларации. Закончил свое выступление председатель Совета Министров при общем молчании и заметной неудовлетворенности всех участников заседания, которое началось так торжественно.

После темпераментных и патриотических речей Министров: Поливанова, Григоровича и Сазонова – настроение в зале резко изменилось. Их всех Дума встречала и провожала аплодисментами, в которых принимали участие также сидевшие в

ложах дипломатические представители дружественных государств.

Завершилось заседание пространной и претенциозной речью депутата Шидловского, выступившего с декларацией от имени «прогрессивного блока». Выступление это, как мне тогда говорили, находилось в тесной связи с посещением Государем Таврического Дворца и теми словами, которые были сказаны Его Величеством в ответ на приветственное обращение Родзянки.

Считаю уместным здесь вкратце коснуться того объединения членов законодательных палат, которому присвоено было наименование «Прогрессивного блока» и которое стало образовываться с первой половины августа 1915 года.

Европейская война, принимавшая все более и более угрожающие размеры, не могла, конечно, не отразиться на общем настроении населения и, в частности, его избранников, входивших в состав законодательных палат. Военные неудачи первой половины 1915 года, обусловленные частью слабой распорядительностью высшего военного командования, главным же образом – недостатком воинского снабжения; понесенные страной за истекший год огромные жертвы людьми и материальными ресурсами; грозная неуверенность в будущем, и отсутствие в центре живой, авторитетной и объединяющей правительственной власти – все это вместе взятое, побудило сменить личный состав верховного военного командования, организовать особые учреждения по упорядочению всех видов снабжения армии, и допустить к совместной с правительством работе по обслуживанию военных нужд целый ряд общественных организаций. Была образована Верховная Следственная Комиссия для выяснения дефектов в области воинского снабжения, явивша-

еся своего рода предохранительным клапаном для накипевшего народного недовольства. К тому же времени надо отнести и зародившуюся сначала среди депутатов Государственной Думы и поддержанную затем многими членами Государственного Совета мысль о необходимости возможно большего между ними объединения, которое, минуя всяческие партийные распри и различия, должно стремиться к общей цели, к спасению родины в дни тяжких ее испытаний.

Еще 11-го августа 1915 года граф Дмитрий Адамович Олсуфьев звал меня на первое частное организационное совещание членов обеих законодательных палат. На следующий день меня приглашал на их объединенное собрание М.В.Родзянко. Но я исполнял в то время ответственные обязанности члена Верховной Следственной Комиссии, и кроме того был до чрезвычайности занят срочными делами. Поэтому я уклонился и не ходил на эти совещания, которые вскоре привели к образованию из членов обеих палат !многочисленной группы, наивывавшей себя «Прогрессивным блоком».

Ощущавшееся в стране общее недовольство, вместе с широкоувещательными и расплывчато сформулированными лозунгами вновь народившегося объединения, его заманчивые патриотические задания, сделали то, что в «прогрессивный блок» стали вступать лица, в своих политических убеждениях имевшие друг с другом мало общего. Представители крайних – правых и левых думских партий не вошли в состав означенного блока; все же остальные, начиная с умеренных «трудовиков» и левых «кадет», кончая правыми «октябристами» и даже «националистами» – смешались в общую массу людей, задавшихся целью создать объединение, способное спасти родину. В Государственном Совете председатель группы «центра», барон В.В.Меллер-Закомельский, тоже увлекся этой идеей. Вместе со

многими своими единомышленниками, в том числе и графом Д.А.Олсуфьевым, – он явился рьяным проповедником необходимости образования также и в стенах Мариинского Дворца верхнего подотдела спасительного думского блока. К нему охотно примкнула вся «академическая» группа Государственного Совета и лишь лица, принадлежавшие к «правой» группировке и весь «правый центр», возглавляемый А.Б.Нейгардтом, остались в стороне от этого прогрессивного объединения. Вспоминается замечание одного из правых остроловов по поводу его образования. «Ужасно звучит наименование этого модного блока; боюсь, как бы оно не привело нашу бедную родину к общему прогрессивному параличу!»

Я уже говорил, что один из видных участников образования прогрессивного блока – Товарищ Председателя Государственной Думы, «октябрист» – Сергей Тимофеевич Варун-Секрет, указывал на чрезмерную широту и крайнюю неопределенность редакции программы блока, как на возможную причину недолговечности объединения. Еще 8-го ноября 1915 года он убежденным тоном заметил, что при ближайшем рассмотрении подобной многообещающей программы, участники блока, силою вещей, будут вынуждены разойтись в своих взглядах и действиях.

Спустя некоторое время, предсказание это сбылось: 8-го марта 1916 г. тот же Варун-Секрет мне сообщил о расколе в думском прогрессивном блоке. Внесенный в Государственную Думу, по инициативе Милюкова, запрос об евреях, видимо, положил конец долготерпению октябристов.

Мы увидали, – откровенно поведал мне Сергей Тимофеевич, – что идем на поводу у кадет. Решаем от них отколоться, и будем настаивать на окончании бюджетного рассмотрения к 1-

му апреля с тем, чтобы скорейшим образом прервать занятия Думы...

Очевидно, государственно более честная и благоразумная часть думцев не на шутку стала опасаться действий некоторых своих коллег, искавших не столько общего оздоровления родины, сколько прежде всего всенародного дискредитирования правительственного престижа, в целях конечного крушения существующей власти и государственного строя.

Широко оповестив о своих патриотических задачах, используя благоприятно сложившуюся для их агитаторской деятельности обстановку, слабость верховного управления и неизбежность ошибок, – инициаторы прогрессивного блока, они же и лидеры оппозиционных думских партий, сумели взять «на поводок» слишком податливых представителей лояльно к правительству относившихся думцев. Тем самым блок превратился во внушительную силу, с которой не только приходилось считаться в стенах законодательных учреждений, но к которой стала прислушиваться и вся страна. Благодаря этому, роль прогрессивного блока, несмотря даже на образовавшиеся в нем за последние месяцы существования Государственной Думы трещины, в политической истории России в конечный период жизни Империи несомненно была не только значительной, но безусловно решающей.

Я позволяю себе так думать не без некоторого основания. На первых же своих организационных заседаниях, объединившись под лозунгом необходимости упорядочить власть, участники прогрессивного блока вскоре перешли к вопросу о своевременности установления в российском государственном строе т.н. «ответственного» министерства и перехода к парламентскому образу правления. Осенью 1915 года этот вопрос многих занимал и немало волновал, но в конце концов встретил

многочисленную оппозицию среди самих членов прогрессивного блока.

Приведу по этому поводу занесенное в мою книжку мнение такого авторитетного государствоведа, каким являлся член Государственного Совета Анатолий Федорович Кони, с полным убеждением заявившего мне о безусловной неприменимости для российского государственного быта того времени института «ответственного министерства».

Не встретив достаточного единодушия в этом направлении, участники прогрессивного блока, одним из руководителей которого был кадетский лидер – Милюков, заменили наименование ответственного министерства термином – «министерство общественного доверия». В таком смысле они стали звонить во все колокола, устным словом и в печати взывая к верхам и низам о необходимости обновить министерский состав людьми, облеченными «общественным доверием»... С этого началось. Более серьезные и крупные намерения его главарей, до конца существования Государственной Думы оставались в сфере конфиденциальных переговоров. Решаюсь об этом писать на основании моих личных впечатлений, вынесенных мною при памятном разговоре с некоторыми думскими представителями, игравшими значительную роль в жизни прогрессивного блока. Вскоре после моего думского выступления 18-го февраля 1916 года, завершившегося шумными овациями со стороны народных представителей и вызвавшего в столичной прессе хвалебные по моему адресу отзывы, где меня именовали «министром общественного доверия», со мной пожелали свидеться и конфиденциально переговорить несколько человек, принадлежавших к заправилам прогрессивного блока. В числе их находился мой земляк – самарский депутат, националист

Владимир Николаевич Львов. Встреча состоялась в моем номере Европейской гостиницы и велась и на ту тему, чтобы я согласился вступить в прогрессивный блок. При этом мне было дано понять, что я принадлежу к разряду тех лиц, которые думским большинством намечены для занятия министерских должностей в будущем кабинете «общественного доверия». Помимо этого, в их словах, касавшихся общего положения вещей в стране, я несколько раз уловил недоговоренные намеки на предположенное ими грядущее обновление верховного правительственного аппарата.

Прежде чем дать им тот или другой ответ, я решил уточнить наш разговор и поставил им вопрос ребром, что означали их подготовительные действия по подбору кабинета «общественного доверия», и как надо было понимать их намерение обновить верховную власть?... «Скажите правду! – не без волнения обратился я к ним, – имеет ли в виду прогрессивный блок учинить государственный переворот?»... Ответ получился в том смысле, что они и их единомышленники действительно задались целью свергнуть с престола «совершенно неспособного» для управления страной Николая II, и само собой отстранить вместе с ним Александру Федоровну со всем ее Распутинским окружением».

Надо сказать, что в переговоры со мною вступили лица, ранее принадлежавшие к лагерю стойких и убежденных монархистов. Поэтому я и спросил их, рассчитывают ли они, после учиненного ими дворцового переворота, сохранить для России монархический образ правления.. «Конечно, да!» – послышался твердый их ответ. Тогда я задал им дальнейший вопрос: кого же они наметили возвести на царский престол, вместо свергнутого Николая II? – «Ну, знаете! – к немалому своему удивлению услышал я из уст заговорщиков, – это вопрос будущего! Главное

же, что предстоит нам сделать в первую очередь – это очистить страну от безволия и распутиновщины!... А там видно будет»...

Помню, с какой горячностью я стал доказывать им всю безрассудность их образа мыслей и намерений уничтожить Верховный Государственный Стяг, имевший для страны огромное значение в смысле объединения обширной Российской Империи и всей многомиллионной боевой армии...

– Можно было бы вас понять, – с волнением обратился я к ним, – если бы вы, исторгнув этот стяг из одних рук, незамедлительно передали бы его в другие – лучшие, по вашему мнению, руки... Но, если у вас эти последние еще не подысканы и определенно не намечены – вы не имеете права посягать на целостность и неприкосновенность лица, занимающего священный Российский Императорский Престол, да еще в столь тяжкий, переживаемый ныне нашей родиной, момент!..

В конечном итоге, я идти с ними по одному пути наотрез отказался и, несмотря на перспективы попасть в участники «кабинета общественного доверия», самым категорическим образом отказался вступить в прогрессивный блок.

Как известно по ныне опубликованным документам и данным – основные руководители этого блока, не без ближайшего участия А.И.Гучкова, шли твердым путем к намеченной цели, и в конце концов достигли своего!.. То, чего я так боялся и о чем я заговорщиков из «прогрессивного блока» предупреждал, фатально случилось – с престола царского Николай II был свергнут, и заместитель ему найден не был. На верху огромной Империи и действующей армии образовалась пустота. Ее заполнила революционная стихия, низвергшая в пропасть величие, честь, достоинство и красу нашей родины, приведшая к позор-

ному Брестскому миру и большевистскому воцарению, разметавшая в конце концов всех нас – как участников, так и противников «прогрессивного блока», по всем углам земного шара...

Вернусь к думскому заседанию 9-го февраля 1916 года. Слух о намерении Государя лично прибыть на открытие сессии Государственной Думы быстро разнесся по Таврическому Дворцу, сделался предметом самого живого обсуждения среди всех депутатских партий. Со стороны огромного большинства членов Думы известие было встречено с чувством самого искреннего удовлетворения, и лишь крайние левые отнеслись к нему с присущей им нетерпимостью, постановив, в момент нахождения Царя в помещении Думы, демонстративно отсутствовать.

Что же касается многочисленных сторонников прогрессивного блока, то среди них замечалось особое оживление и приподнятое настроение, явившиеся в результате почему-то возникшей у многих из них надежды, что Государственная Дума услышит из царственных уст давно желанную благую весть о даровании стране кабинета «общественного доверия»... Вот почему с таким радостным воодушевлением был встречен Государь огромным большинством думских депутатов. И вот почему составленный в тиши Царскосельского Дворца краткий и сдержанный ответ Его Величества на горячее приветствие председателя Думы произвел на присутствовавших такое расхолаживающее впечатление.

Немедленно после проводов Государя, собралась руководящая головка прогрессивного блока, решившая выпустить на трибуну Государственной Думы своего представителя, с оглашением, в противовес правительственной, «своей» декларации,

которая и заслушана была, как ранее было упомянуто, после горячо встреченных всей думской залой патриотических заявлений Министров – Поливанова, Григоровича и Сазонова.

После них резким диссонансом прозвучала затяжная речь одного из лидеров прогрессивного блока, октябриста Шидловского, сразу понизившего общую восторженную приподнятость думского заседания и неблагоприятно подействовавшая на настроение присутствовавших среди публики представителей дружественных иностранных держав...

Лично на меня выступление Шидловского произвело чрезвычайно тяжелое впечатление не потому, что в нем слышалась критика правительственной деятельности, а потому, что декларация прогрессивного блока почти вся целиком сводилась лишь к признанию полной несостоятельности правительственного аппарата и указанию на необходимость его замены другой властью, по понятию докладчика, более соответствовавшей переживаемому страной моменту.

В результате, давно желанное событие – открытие Государственной Думы, которое в самом начале было осчастливлено исключительным актом внимания со стороны Монарха, лично на него явившегося, и которое, благодаря вдохновенным речам трех популярных министров, проходило в обстановке всеобщего патриотического воодушевления, было совершенно неожиданно омрачено несвоевременным, на мой взгляд, выступлением прогрессивного блока, более иных, заведомо противоправительственных крайних партий, подрывавшим в период тяжкого боевого лихолетья не только *pro domo sua*, но и на всем международном политическом рынке престиж и могущество Российской Державы.

С открытием занятий законодательных палат, в силу круто изменившегося темпа всей деловой государственной жизни страны, был также до известной степени нарушен и обычный порядок созыва очередных заседаний Совета Министров, собиравшихся не в определенные дни, а по мере возможности и накопления дел. В этот период экстренные заседания участились, так как нередко было необходимо срочно рассмотреть вопросы исключительной государственной важности, как, например, законопроект о введении подоходного налога, горячим сторонником которого являлся Государственный Контролер Н.Н.Покровский. Предложение Министра Путей Сообщения Трепова о принятии составленной им т.н. большой железнодорожной строительной программы. Вопрос об образовании особого земельного фонда для наделения демобилизованных нижних чинов – участников войны 1914 года. Проект Министерства Внутренних Дел о волостном земстве, а также целая серия дел, возникавших в связи с ходом военных событий.

Во времена штюрмеровского премьерства, наряду с экстренными заседаниями, стали нередко созываться еще особые совещания министров для заслушивания специальных докладов представителей Министерства Внутренних Дел, которые завели Департаментом Полиции. Сначала это делал товарищ министра Белецкий, а затем его заместитель Степанов. Они обстоятельно и документально знакомили членов Совета Министров с политическим настроением разных слоев населения, начиная с рабочих и крестьянских масс, представителей интеллигенции и общественности, включая думских депутатов.

С нелегким сердцем приходилось выслушивать донесения докладчиков о появлении в стране грозных симптомов того, что

в государственном организме не все благополучно. То там, то сям вспыхивали среди населения беспорядки. Несколько рабочих районов было охвачено забастовочным движением, принявшим особо серьезный характер на Путиловском заводе. В распоряжение Департамента Полиции поступали сведения о быстром росте среди некоторых общественно столичных, даже думских, кругов резко оппозиционных течений, в иных случаях уже выливавшихся в определенные планы решительного государственного переворота.

Незадолго до ухода моего в отставку, Штюмер, помимо упомянутых заседаний, надумал собирать у себя на казенной квартире особые «тайные» совещания министров, для выработки способов не только «обезврежения» но и значительного сокращения, если не полной ликвидации, деятельности образовавшихся в начале войны 1914 года военно-общественных организаций – Всероссийского Союза Земств и Городов, а также и Военно-Промышленного Комитета.

Характеристику происходивших во времена штюрмеровского премьерства заседаний Совета Министров можно свести к одному основному положению: дело велось под его руководством не столько безлично, сколько бессистемно и беспринципно. Безличным поведение самого Штюмера нельзя было назвать по одному тому, что он, будучи совершенно неспособен единолично нести ответственные обязанности председателя Совета Министров, в своей служебной деятельности нуждался постоянно в подсказке тех или других лиц, которых он выбирал себе в советчики, по соображениям не высшей политики или общегосударственной пользы, а исключительно – личной шкурной выгоды. Так, одно время Штюмер целиком находился под влиянием Алексея Николаевича Хвостова; затем им руководил Белецкий, за ним – член Совета Министра Внутренних

Дел, некий Гурлянд, а за последний период нашей совместной с ним службы заметное на него воздействие оказывал стремившийся его заменить А.Ф.Трепов. Но само собой, главным закусочным вдохновителем оставался все тот же тобольский «старец» Распутин. Как мне передавали, он ни одного дня не оставлял премьера в покое, инспирируя его то по телефону, то просто вызывая его к себе на дом...

В качестве председателя Совета Министров, Штюмер вел лишь свою личную политику, проявляя интерес к рассматриваемым вопросам, поскольку то или другое их решение могло прийти по вкусу лицам, которые могли так или иначе повлиять на устойчивость его положения, как премьера.

Те дефекты ведения дел в Совете Министров, о которых мною говорилось в одной из предыдущих частей моих воспоминаний – при Штюмере стали выясняться еще острее. Вопросы даже наиболее в государственном отношении значительные проходили в обстановке полного безразличия со стороны председательствующего к существу дела, при полном отсутствии авторитетного объединяющего руководства, явной бессистемности и случайности самых решений.

Особенно смущало, а со временем и прямо возмущало меня, как Министра Земледелия, отношение не одного только Штюмера, но и многих моих коллег к вопросам, касавшимся основной области Российского государственного существования – сельского хозяйства, от состояния которого зависело все материальное благополучие страны. Сплошь и рядом, на заседаниях Совета Министров приходилось сталкиваться или с безразличным отношением большинства моих сочленов к интересам земледелия, или даже с явным непониманием его значения для всего государственного уклада нашей родины.

Начать с того, что при выработке правительственной декларации, происходившей накануне открытия занятий законодательных палат, я вынужден был заявить свой горячий протест против заслушанного ее проекта, в котором ни одного слова не было упомянуто относительно хода и значения деятельности Министерства Земледелия, занятого в то время и ответственным делом продовольствия армии и тыла и поддержанием сельского хозяйства на сколько нибудь удовлетворительном уровне. Между тем, в проекте декларации, кстати сказать, редактированным И.Н.Лодыженским, целый отдел был посвящен широковещательным заявлениям правительства о его намерениях приступить к выработке энергичных мер для экономического возрождения страны. Как будто его можно было достичь без поддержки и поощрения сельскохозяйственной промышленности!

То же самое повторилось и на другом экстренном заседании Совета Министров, 20-го марта 1916 года, по поводу составления и редактирования правительственной программы, которая должна была быть доложена на предстоявшей Парижской конференции. И в ней опущено было указание на первенствующее значение в России сельского хозяйства. По этому поводу я с откровенным укором обратился к своим коллегам и, в частности, к нашему председателю. Пришлось немало усилий употребить, чтобы изменить в Совете Министров подобное безразличное отношение к основному источнику российского хозяйственного благополучия.

Дело дошло до того, что по окончании заседания, я задержал Штюрмера и заявил ему о своем намерении уйти из министров, если со стороны его и возглавляемой им коллегии не последует коренной перемены во взглядах на сельское хозяй-

ство в России и не будет проявлено к нему больше благожелательности. Встречено мое заявление было горячим заверением премьера, что редакция правительственной докладной записки для Парижской конференции, в части, касающейся сельского хозяйства, безусловно будет переделана в том духе и смысле, как я настаивал на заседании Совета Министров, и что в будущем я могу всегда твердо рассчитывать на его, Штюмерера, поддержку.

Правительственная записка была затем действительно средактирована в точном соответствии с теми данными и заключениями, которые были предварительно выработаны мною, совместно с членом Совета Министра Земледелия В.С. Кошко. Что же касается обещания Штюмерера оказывать мне и впредь твердую поддержку в отстаивании интересов родного сельского хозяйства, то в этом я был вскоре полностью разочарован. Во мне поднялся новый прилив возмущения против тех моих коллег, которые не отдавали себе отчета в значении сельскохозяйственного производства для устойчивости всего российского государственного бытия.

Укажу хотя бы на судьбу одного вопроса, благоприятное разрешение которого в свое время вызвало с моей стороны немало забот и усилий, и даже волнений... Вскоре по вступлении моем на должность Министра, я, при энергичном содействии товарища министра А.А.Риттиха, задался целью мобилизовать возможно большее количество рабочей силы для нужд сельского хозяйства, за время войны потерявшего огромное количество рук. Ради пополнения этой убыли, нами, начиная с января 1916 года, приняты были все возможные меры для привлечения в распоряжение Министерства Земледелия значительного контингента военнопленных. Усилия наши, несмотря на

ряд препятствий, главным образом, со стороны Военного Ведомства, в конце концов, все же увенчались некоторым успехом. К весне 1916 года, обещавшего быть урожайным, в нашем распоряжении имелось свыше 350.000 человек военнопленных, намеченных для распределения по хлебородным районам Европейской России

Надо сказать, что спрос на военнопленных был в то время огромный. Со всех краев землевладельческой России получались самые настойчивые просьбы снабдить их хозяйства рабочими руками. Законодательные палаты горячо вторили этим голосам. Лишь среди носителей высшей правительственной власти эта острая нужда, требовавшая самого срочного и возможно полного своего удовлетворения, не встречала должного понимания и отклика.

Случилось так, что 25-го марта – как раз накануне весеннего сева, собравшиеся на заседание министры, пользуясь, очевидно, моим отсутствием (в тот день я должен был присутствовать в Государственной Думе, рассматривавшей смету моего Ведомства), уважили ходатайство Министра Торговли кн. Шаховского, потребовавшего для работ в Донецко-угольном районе значительное количество военнопленных, и решили передать в его распоряжение 50.000 человек из контингента предназначенного для сельскохозяйственных работ. Об этом постановлении мне тотчас же по телефону дали знать в Таврический Дворец. Немало этим возмущенный я вызвал к себе Риттиха и поручил ему немедленно передать от моего имени председателю Совета Министров официальную бумагу, написанную мною в резкой форме, и с категорическим отказом подчиниться постановлению Совета Министров об уступке Министерством Земледелия Министерству Торговли и Промышленности 50.000 военнопленных. Угроза князя Шаховского жаловаться на Наумова

Государю не подействовала. Его Величество определенно встал на мою сторону.

Приведу еще несколько случаев бессистемного или, скорее, государственно легкомысленного отношения Совета Министров к некоторым вопросам, имевшим для страны несомненно первостепенное значение.

Прежде всего, вспоминается мне то тяжелое впечатление, которое я вынес из заседания нашей коллегии, завершившегося постановлением большинства об уничтожении т.н. «Совета пяти Министров». Вместо него было решено по всем делам военного характера собираться раз в неделю на специально созываемые для сего пленарные заседания, с участием всех министров. Это произошло в угоду думским вздорным слухам и в корне необоснованным выкрикам о якобы нарождающейся министерской пятичленной диктатуре (?!). Штюрмер, очевидно, пожелал подладиться под тон думских настроений. Большинство министров пошло за ним, и так прекратилось существование во всех отношениях практически полезной организации, абсолютно ничего общего с политикой не имевшей. Должен еще отметить, что постановление это состоялось 24-го мая 1916 года, следовательно, более чем за месяц до моего ухода со службы. За все это время специальных заседаний Совета, с участием министров, по делам воинского снабжения ни разу не созывали.

Так же неосмотрительно и скоропалительно принято было Советом Министров грандиозное по своим размерам и далеко не обработанное по существу предложение Министра Путей Сообщения А.Ф.Трепова о внесении в законодательные палаты его проекта большой железнодорожностроительной программы. В своем месте я имел случай говорить об этом проекте, как несогласованном с общими потребностями страны и требовавшим в

тяжелый период военного лихолетья колоссальных денежных затрат (по 600 миллионов зол. рублей в год, всего за пять лет – 3 миллиарда золотых рублей).

К сожалению, при обсуждении треповского предложения, мой протестующий голос, настаивавший на необходимости предварительной основательной его разработки, прозвучал одиноко. Председатель, по обыкновению, представлял из себя подобие окаменевшей фигуры буддийского божка, и весь ход обсуждения фактически велся самим творцом этой фантастической затеи, в резко нетерпимом тоне, дававшем понять присутствующим министрам о неуместности их замечаний, ввиду состоявшегося полного одобрения проекта со стороны самого Государя. Тем дело и кончилось, и Трепов восторжествовал, и один лишь я остался при особом мнении, которое и было мною приложено к журналу.

Одновременно, я не замедлил сделать распоряжение в подведомственном мне Министерстве о разработке и составлении схемы тех железнодорожных магистралей, которые представлялись для Российской Империи жизненно необходимыми, в целях наиболее полной эксплуатации ее природных богатств.

Благодаря энергичному содействию товарища министра Грудистова, в сравнительно короткий срок был изготовлен специальный, тоже пятилетний, план железнодорожного строительства, желательного для удовлетворения тех интересов, защита которых входила в компетенцию Министерства Земледелия. План этот был мною доложен Его Величеству, им одобрен и препровожден затем по принадлежности, в виде дополнительного регулятора к проекту Трепова.

Все это происходило в первой половине июня 1916 года. В конце того же месяца занятия Государственной Думы были пре-

кращены, и сам я тогда же ушел со службы. В последующий, конечный, период Российской Империи всем было не до треповского трехмиллиардного строительства, и весь его головокружительный проект теперь можно рассматривать, как один из исторических эпизодов, характеризующих не всегда правильный образ действий бывшего Совета Министров.

Вспоминается мне еще один случай совершенно непредвиденного решения, вынесенного все тем же высшим в государстве учреждением. 3-го июня 1916 года собрались на заседание, чтобы обсудить поднятый мною еще во времена горемыкинского премьерства вопрос о разгрузке Петрограда. Предложение это было тогда единодушно поддержано как председателем совета, так и всеми его членами. Однако, осуществление принятого нами постановления, к сожалению, было задержано, в силу целого ряда соображений Военного Ведомства.

Прошло немало времени. Продовольствие перегруженного столичного центра, расположенного в значительном отдалении от производительных районов Империи, становилось все труднее. Совет Министров, по моему настоянию, имел в виду вновь, и в более решительной форме, поднять тот же вопрос. Все данные были в моем Министерстве тщательно разработаны, с указанием тех мер, благодаря которым подобная операция должна была пройти совершенно безболезненно и без нарушения интересов Военного Ведомства. Не успели члены Совета приступить к обсуждению моего доклада, как Военный Министр Шуваев выступает с неожиданным заявлением о том, что по вопросу о разгрузке Петрограда состоялась Высочайшая резолюция «Этим делом не заниматься»... Среди министров произошло замешательство. Посыпались со всех сторон вопросы: – как, да что, да почему,!.. Шуваев – человек простой и на слова в достаточной

степени скупой, – отвечал односложно, твердя все время одно и то же:

–Царь того не хочет!

Высказав по этому поводу мое искреннее недоумение, так как мне самому неоднократно приходилось на эту животрепещущую тему с Его Величеством беседовать, и Государь всегда охотно шел навстречу нашему, еще при Горемыкине состоявшемуся постановлению, – я, в конце концов обратился к Штюмеру с просьбой – от лица Совета Министров, войти с всеподданнейшим по этому поводу докладом и усердно просить Его Величество удовлетворить наше прежнее ходатайство. На это Шуваев вновь своим скрипуче резким голосом, в повышенном тоне, почти прокричал:

– Вы не имеете права так поступать, раз определенно выражена воля Государя Императора – не касаться этот вопроса!

Пришлась тогда и мне в том же тоне указать почтенному, но недалекому старику на то, что долг всякого верноподданного министра повелевает говорить своему Монарху правду и во всех тех случаях, когда государству грозит та или другая опасность.

– Положение с продовольствием Петрограда – заявил я – столь осложнено, что далее с его разгрузкой медлить не придется, и необходимо в этой области стать на путь самых срочных и решительных мер. Вот почему я повторяю и горячо прошу председателя внять моему голосу и исполнить перед Государем наш общий долг...

Увы! Штюмер, начиненный криком Шуваева, остался глух к моим словам. Большинство членов Совета отнеслось также более чем хладнокровно ко всем моим доводам. Вопрос был снят с очереди и вновь повис в воздухе. Почти восемь месяцев спустя

перегруженный Петроград сделался центром продовольственных беспорядков и очагом взбунтовавшейся полумиллионной армии запасных солдат.

Почем знать? – Если бы в свое время военными властями были приняты те меры по разгрузке северной столицы, которые я дважды настойчиво рекомендовал Совету Министров, – нашу родину, может быть, миновали бы те грозные события, которые разлились в бушующее революционное море, захлестнувшее в своем мутном водовороте былую российскую государственность.

151

Перехожу к обрисовке тех особых тайных совещаний министров, которые Штюмер начал, с начальных чисел июня 1916 года, устраивать у себя на казенной квартире, на Фонтанке, и которые, по его словам, предназначались для обсуждения ряда вопросов, связанных с деятельностью Земского и Городского Союза, а также и Военно-Промышленного Комитета.

Первое подобное совещание, имевшее место 4-го июня, неожиданно для меня, началось с подробнейшего доклада товарища Министра Внутренних Дел Степанова о разраставшихся революционных течениях среди рабочих масс на заводах, обслуживавших воинское снабжение. Все, мною тогда услышанное, произвело на меня чрезвычайно тяжелое впечатление, тем более, что из дальнейших рассуждений участников совещания стала выясняться тенденция некоторых из них связать развитие революционных настроений среди рабочего люда с антиправи-

тельской пропагандой, исходившей, по слухам, от персонала Военно-Промышленных Комитетов и Земско-Городского Союза.

На следующих подобных же заседаниях, между министрами речь шла исключительно о деятельности названных общественных организаций, и пространно обсуждалось, какие взаимоотношения следует центральному правительству с ними установить. Дело в том, что вообще к описываемому мною времени взаимоотношения эти чрезвычайно осложнились и носили крайне неопределенный, напряженный и, во всяком случае, неискренний характер. Первой причиной, на мой взгляд, являлось следующее обстоятельство: условия ведения войны 1914 года поставили правительство в необходимость сотрудничать с патриотически в то время настроенными общественными силами, которые вскоре образовали Всероссийский Земский и Городской Союз и Военно-Промышленный Комитет.

Все эти военно-общественные учреждения имели свои центральные управления и целый ряд местных подразделов. Первые две организации сосредоточили свою деятельность, под флагом Красного Креста, на обслуживании больных и раненых воинов, а Военно-Промышленный Комитет взял себе заданием оказывать содействие изготовлению воинского снабжения, в котором был большой недостаток.

Всем этим организациям, с момента их появления, правительство беспрепятственно, по первом их требованию, выдавало крупные денежные ассигновки. По мере развития военных действий, правительственные субсидии сами собой принимали все большие размеры, исчисляясь к лету 1916 года в многомиллионных суммах. Правительство, вынужденное в период войны принять с несомненной признательностью сотрудничество об-

щественных сил и выдавать их организациям на защиту отечества и заботу о раненых крупные денежные средства, вместе с тем, допустило с самого же начала непростительную ошибку, не установив за расходованием этих сумм строгого, точного и разумного контроля.

Подобную оплошность можно объяснить не только веянием переживавшегося момента и настроениями начала войны 1914 года, но и некоторым излишним преклонением перед т.н. «общественностью» и чрезмерно щепетильно деликатным отношением к ее представителям. Сужу потому, что с первых же шагов моей министерской службы, я сам встретился с подобными взглядами моего ближайшего помощника по продовольствию, очевидно, усвоенными им от своего бывшего начальника А.В.Кривошеина. На мой вопрос, как поставлено дело отчетности местных продовольственных агентов, вербовавшихся моим предшественником в большинстве случаев из общественной среды, – я получил, в виде некоторого рода даже назидания, немало удививший меня ответ, что А.В.Кривошеин, приглашая к сотрудничеству общественных деятелей, никогда подобным вопросом не задавался, всецело доверяя их добросовестности. На это последовало мое разъяснение, что во всех благоустроенных сословных, земских, городских и даже частных общественных организациях ревизия и отчетность являлись всегда основой всей их служебно-хозяйственной деятельности. Я тогда же предложил подобный же порядок безотлагательно ввести для многочисленных местных агентов Центрального Управления Продовольственного Ведомства. Приходится думать, что взглядов Кривошеина держалось в его время и правительство относительно отчетности правительственных сумм, расходующихся в громадном масштабе Всероссийским Земским и Городским Со-

юзами, а также Военно-Промышленным Комитетом. Вследствие этой недопустимой нетребовательности, в конце концов, как в правительственных сферах, так и в частях русского общества стали зарождаться слухи, часто не в пользу названных общественных учреждений. Возникли подозрения, что правительственные средства ими определенно расходуются на дело революционной пропаганды, тем более, что личный персонал, набиравшийся Союзами в краснокрестные отряды и лазареты, подавал к этому немало поводов.

Ввиду с самого начала неправильно допущенной постановки контроля и правительственного надзора за деятельностью означенных организаций, проверить достоверность всех доходивших до властей сведений представлялось делом почти недостижимым. Между тем, недобрые слухи росли и ширились. Штюрмер, очевидно подстегнутый чьим-то влиятельным подказом, прибегнул к созыву «тайных министерских, совещаний», которые, вместо разумного упорядочения дела, занялись, с легкой руки их руководителя, голословным расследованием политической стороны деятельности Союзов и, главным образом, Военно-Промышленного Комитета. Старались уловить связь между ним и возникновением среди заводских рабочих революционных эксцессов. Одним из убежденнейших партизан подобного образа действий являлся А.Ф.Трепов. Он требовал не столько установления строгого надзора за деятельностью названных организаций, сколько значительного сокращения денежных выдач.

На защиту деятельности общественных организаций на первом же совещании встал Военный Министр Шуваев. В своей своеобразной отрывистой речи он отметил несомненную пользу, которую они приносят армии и горячо отстаивал необходимость сохранения их организации во всем их объеме. В том же

смысле, при поддержке Сазонова, говорил и я. Я предостерегал Совет Министров не вступать на путь резкой ломки огромной работы военно-общественных организаций, налаженной в пользу армии, и советовал лишь установить за их деятельностью и за расходом ими правительственных ассигновок планомерный и строгий контроль.

К сожалению, наши голоса были заглушены иными настроениями и побуждениями участников этих совещаний, главным образом, самого Штюмера. Он вел с представителями Союза и Комитета двойную игру: лично с ними он был учтив и вежлив, а за их спиной вел иную линию, направленную, при содействии нужных ему «тайных» министерских совещаний, к постепенной ликвидации военно-общественных организаций.

Подневольное свое сотрудничество с нашим премьером я вскоре себе достаточно уяснил и решил, после третьего «тайного» совещания, к нему на эти сборища больше не ходить. Надо принять во внимание, что за два года войны Земский и Городской Союзы, также, как и Военно-Промышленный Комитет, успели проявить незаурядную творческую энергию и оказать неисчислимы услуги, как в области помощи раненым, так и по военному снабжению армии. В глазах русского общества эти организации стали чрезвычайно популярными. Правительству, в описываемый мною период времени, следовало бы относиться к ним с разумной осторожностью, и в совместной с ними работе, также, как и в области всех деловых сношений, действовать прямо и открыто.

Если, по тем или другим причинам, Правительство усмотрело в деятельности названных учреждений некоторый, вредный для общегосударственных интересов, уклон – оно должно было вступить в непосредственные переговоры с обществен-

ными представителями и совместно обсудить замеченные дефекты. Между тем, вместо такого, достойного сильной власти, образа действий, Штюрмеровское Правительство стало втихомолку созывать тайные совещания и стараться на них сговариваться, не как наилучшим образом упорядочить совместную с общественными организациями работу, столь необходимую для защиты родины, а как удобнее деятельность этих подсобных учреждения «обезвредить» и «ущемить» с тем, чтобы со временем их и вовсе ликвидировать.

Подобная, несовместимая с достоинством себя уважающей сильной, высшей государственной власти, подпольная работа само собой вскоре сделалась достоянием широких столичных кругов. «Тайность» этих совещаний была очень условной, но – «нет ничего тайного, что не стало бы явным».... И на самом деле, как тщательно ни задерживал перед этими заседаниями сам Штюрмер тяжелые дверные и оконные портьеры (тайные совещания эти происходили в помещении нижнего этажа, окнами выходившего на Фонтанку) – одно присутствие среди Министров на всех этих заседаниях тощей, еврейского облика, фигуры никому неизвестного, молоденького брюнетика с тонким птичьим клювом вместо носа, заставляло невольно сомневаться в строгой изолированности наших «тайных» сговоров.

Тип этот оказался одним из новеньких сменных фаворитов премьера, состоявшим у него на ролях личного секретаря и носившим чрезвычайно подходившую к нему фамилию – «Фогель».

Как бы то ни было, но слухи о секретных совещаниях и о том, что на них говорилось, стали широко циркулировать в столичном обществе, частично, в виде ясных намеков, попадая

даже в прессу и, конечно, усугубляя и без того крайне ненормальные, напряженные отношения власти и руководителей общественных организаций.

Для пояснения моего изложения хочу коснуться моих личных отношений с общественными организациями. Будучи сам давним земским деятелем и отдавая должное огромной для государства полезной работе названных общественных учреждений, в бытность мою Министром – не столько Земледелия, сколько продовольственного снабжения, – я мог испытывать к ним лишь искренне доверчивое отношение, и с самого начала моей службы всегда выражал представителям этих организаций полную готовность идти с ними рука об руку в совместной, связанной с войной, работе.

В таком духе вел я неоднократно разговоры с князем Г. Е. Львовым и с М.В.Челноковым. Я не стеснялся им откровенно заявлять, что, если они искренним образом готовы сотрудничать со мной, как Министром, без всякой затаенной мысли, что они хотят перехватить из наших рук власть, – всегда буду рад с ними совместно работать на общее благо нашей родины и за всякое содействие буду им горячо благодарен. Раз на такое заявление я получил ответ, ставший для меня более понятным только под конец моей министерской службы... «В вашей искренности, Александр Николаевич, – заметили они мне – мы не сомневаемся, но искренно ли это со стороны правительства, в составе которого вы состоите?!» Вопрос этот, в свое время меня немало смутивший, вспомнился мне впоследствии, когда мне пришлось принимать участие в пресловутых «тайных» совещаниях на Фонтанке и присутствовать при том, как члены правительства сговаривались о выработке способов «обезврежения» и конечной ликвидации военно-общественных организаций – этих,

по выражению одного из министров, «страшных для существования отечества гидр».

Для меня создавалось не только тяжелое, но и невыносимое положение, из которого мне необходимо было так или иначе выйти. Говоря с общественными представителями на одном языке и одновременно участвуя по своему положению на Штюмеровских «тайных» заседаниях, цель и сущность которых стали всему обществу хорошо известны, – я невольно на некоторое время попал в нелепое и несвойственное моим взглядам положение, будучи вынужденным играть как бы двойственную роль.

С этим несносным состоянием я решил тогда же, в двадцатых числах июня 1916 года, раз навсегда покончить, и заявил Штюмеру о своем отказе посещать его тайные, всю душу мою возмущавшие, совещания. Чтобы широко оповестить общественное мнение о моих действительных взглядах на значение и желательность совместной с правительством государственной работы военно-общественных организаций, – я решил 24-го июня принять газетных сотрудников и дать им по волнующему меня вопросу обстоятельное деловое интервью. На следующий день оно появилось в наиболее значительных Петроградских газетах («Речь», «Новое Время», «Биржевые Ведомости» и пр.) и произвело в высших сферах не малую сенсацию. К этому мне еще придется вернуться, а пока коснусь того ненормального положения, в котором высшие представители власти находились по отношению к печатному слову, когда им приходилось помещать в прессе официальные сообщения.

По распоряжению Штюмера на правительственных верхах было образовано особое бюро, через которое должен был проходить весь получаемый из всех правительственных мест материал, подлежащий опубликованию в повременной печати.

Заведывание этим бюро было возложено на всесильного в то время Штюмеровского временщика, члена Совета Министра Внутренних Дел, Гурлянда – человека талантливого и ловкого, умевшего устраивать себе и сохранять прочное положение при самых разнообразных условиях. Достаточно сказать, что влияние Гурлянда одинаково ощущалось как ранее при Столыпине, так затем и при Штюмере.

Оказавшись во главе упомянутого бюро, Гурлянд явился тем центральным лицом, через руки которого должна была проходить вся корреспонденция министров, предназначавшаяся к направлению в газетные редакции для опубликования. Такая централизация представляла существенные неудобства, лишая Министерства свободы своевременного печатного оповещения и защиты и внося в эту область элемент личных пристрастий, присущих всякому человеку и, в особенности, свойственных Гурлянду. На этой почве немало бывало у меня с ним трений, доходивших до резких с моей стороны по его адресу выпадов и вызывавших крупные на эту тему разговоры с самим Штюмером.

Надо иметь в виду, что еще со времен наших встреч и совместных занятий на заседаниях Совета по делам местного хозяйства, Гурлянд особых симпатий ко мне питать не имел оснований. Это отразилось на его отношениях к требованиям моим, как Министра, помещать те или другие ведомственные заметки в периодической печати.

Бывали случаи, что опровержения мои, как председателя Особого Продовольственного Совещания, по своему содержанию исключительно важные и срочные, Гурлянд подолгу задерживал. Они появлялись в печати уже тогда, когда помещение их теряло почти всякое значение.

Так, между прочим, поступил Гурлянд с моими требованиями срочно опубликовать мое ведомственное опровержение сведений относительно порчи в холодильниках мяса и по поводу внесения якобы мною в Совет Министров предложения об ассигновании одиннадцати миллионов рублей на образование Государственного Земельного Фонда. Не могу попутно не отметить, хотя бы вкратце, на последнем обстоятельстве.

Среди прочих дел, доставшихся мне в наследство от Кривошеина, находился, в совершенно сыром виде набросанный, проект об образовании особого земельного фонда, который, по окончании Европейской войны, должен был быть распределен, в виде Монаршего вознаграждения, между демобилизованными нижними чинами. По поручению Совета Министров и с соизволения Государя, проект этот был передан мне на разработку, к чему я и приступил, пригласив в качестве сотрудника А.А.Риттиха.

Вопрос, обнимавший как самое образование земельного фонда, так и предусмотренную заранее царскую милость в виде земельного вознаграждения миллионов участников Великой войны, являлся чрезвычайно сложным по трудности как в отношении создания фонда, так и будущего его проведения в жизнь. Работа наша с Риттихом происходила по возможности конфиденциально, во избежание преждевременных кривотолков и чрезмерных надежд всего фронтового люда на грядущее его земельное благополучие. Так, никто, кроме ныне покойного А.А.Риттиха, не знал об одной из мер, которую я проектировал осуществить в целях образования земельного фонда. Горе было бы мне, если бы в то время эти думы сделались достоянием моих собратьев – крупных землевладельцев! Имел же я в виду, помимо пустопорожних удобных земель казенных, удельных

путем мелиорации в годное состояние, присоединить к государственному демобилизационному фонду принадлежащие частным лицам земли, которые самими владельцами хозяйственным образом не обрабатывались, а сдавались в арендное пользование. За эти земли владельцы должны были получить вознаграждение в виде твердых государственных бумаг, размеры процентов с которых равнялись бы сумме ранее получавшейся ими арендной платы.

Повторяю, всеми этими соображениями мы с Риттихом делились пока исключительно лишь между собой. И вдруг, в день Благовещения, 25-го марта 1916 года, в «Новом Времени» появляется сенсационное сообщение о том, что Министр Земледелия вносит в Совет Министров предложение об ассигновании одиннадцати миллионов рублей (!?) на образование Государственного Земельного Фонда, причем было добавлено, что подобный путь получения означенной суммы, в обход законодательных учреждений, Министр избрал во избежание понижения его ведомственной сметы. Можете себе представить наше с Риттихом возмущение подобным очередным газетным враньем, в котором все, от начала до конца, являлось сплошным вымыслом, кроме, конечно, упоминания о каком-то образующемся земельном фонде.

В целях пресечения возможных кривотолков вокруг этого вопроса, мне необходимо было в срочном порядке поместить в прессе соответствующее опровержение. Оно и было в тот же день отправлено в монопольное бюро г-на Гурлянда. Прошли дни – и нигде ничего. Лишь после резкого воздействия на самого премьера появилось в одной из газет запоздалое мое сообщение.

Вот почему, в интересах восстановления истины и реабилитации своего имени в глазах русского общества, я решил оповестить о своем действительном отношении к общественным организациям, путем непосредственной беседы с серьезными газетными сотрудниками, минуя всяческие гурляндовские преграды. Правда, в то время я считал себя до известной степени свободным от официальных обязательств, да еще связанных с именем Штюмерера и его присных. Я уходил в отставку.

Заканчивая обзор деятельности Совета Министров в период штюрмеровского премьерства, я должен отметить, что отношения многих членов названного учреждения к законодательным палатам, главным образом, к Государственной Думе, продолжало оставаться несколько неприязненными, неискренними и, вместе с тем, до известной степени опасливыми, какими они были и во времена Горемыкина. На этой почве у меня, 21-го июня 1916 года, произошло с Штюмерером, Треповым и князем Шаховским резкое столкновение, побудившее меня принять окончательное решение покинуть министерскую должность. Но об этом немаловажном для меня и всей моей дальнейшей жизни событии, так же, как о последнем моем участии в заседании Совета Министров, имевшем место 28-го июня 1916 года, в Могилеве, в Царской Ставке, под личным председательством Государя Императора, я имею в виду написать особо в одной из последующих частей моих воспоминаний.

Часть X (1915-1916 год)

Обзор моей деятельности, как председателя Особого продовольственного совещания. Служебно-деловые взаимоотношения с Государственным Советом и Государственной Думой. Выступление в таврическом дворце 18-го февраля 1916 года. Заседания думских комиссий. Выступление в мариинском дворце 21-го марта 1916 года. Высочайший прием 20-го ноября 1916 года. Императрица Александра Феодоровна. Всеподданнейшие доклады в Царском Селе. Присутствие на них наследника. Посещение Киева. Сахарозаводчики. Юго-Западный фронт. Бердичевское совещание. Генерал Н.И.Иванов. Всеподданнейшие доклады в Верховной ставке. Могилев. Обстановка, быт царской резиденции. Окружение государя. Генерал М.В.Алексеев. Министр двора граф Фредерикс. Великий князь Сергей Михайлович. Генерал Воейков. Епископ Константин. Наследник цесаревич в Могилеве. П.М.Кауфман-Туркестанский. День Государя. Аудиенция 15-го июня 1916 года. Докладная записка генерала Алексева. Главнейшие темы моих Всеподданнейших докладов. отношение к ним Государя. Доклады у Императрицы Александры Феодоровны. Мой уход из министров. Запрос членов верхней палаты. Срыв предположенного моего выступления в Государственном Совете 21 июня 1916 года. Поведение Штюмерера и А.Ф.Трепова. «Суточное» обдумывание. Бесповоротное решение. Съезд министров 28-го июня в Могилеве. Наглая лож Штюмерера. Отношение к моему уходу чинов верховной ставки. Совещание под председательством Его Величества. Последняя аудиенция у Государя. Обратный отъезд

в столицу. Переживания. Подпольная деятельность Штюмера. Трогательное отношение ведомственных и продовольственных сотрудников. Проводы. Пресса. Отъезд в Головкино.

152

Переходя к обзору моей деятельности в качестве председателя Особого Продовольственного Совещания, я вынужден прежде всего оговориться, что такая вневедомственная функция Министра Земледелия, вызванная военными действиями 1914-1915 г.г., захватывала также безграничное поле срочной работы и связана была с такой исключительной перед страной и боевой армией ответственностью, что, силою вещей, приходилось отдавать ей все мое время и силы, само собой не без ушерба для моих прямых обязанностей.

Сознание подобного осложнения предстоявшей мне министерской деятельности послужило, между прочим, одной из основных причин, побудивших меня заявить Государю о моем отказе принять предложенную мне должность. В письме от 1-го ноября 1915 года я Его Величеству это откровенно высказал. Когда же, в конце концов, я вынужден был уступить настойчивому желанию Государя и принять в свое заведывание Министерство Земледелия, то я увидал, что та ужасающая обстановка, которую я встретил в унаследованных от Кривошеина продовольственных делах, превысила все мои опасливые предположения. Только не оставлявшее меня все время моей службы сознание, что моя напряженная работа идет на пользу армии и на защиту родины, до конца моих министерских дней поддерживало во мне необходимую энергию и выносливость.

До 1914 года дело продовольственного снабжения в России находилось в ведении двух Министерств: Внутренних Дел и Военного. Колебавшаяся политика петербургских руководящих сфер в отношении постановки и регулировки продовольственного дела в Империи проявлялась в чередовавшейся передаче заведывания продовольствием то местным общественным самоуправлением (земствам, городам), то правительственным учреждениям и агентам (губернским присутствиям, уездным съездам, неперменным членам, земским начальникам и др.). В недородные годы к продовольственному делу привлекалась вся местная агентура Министерства Внутренних Дел, как выборная, так и чиновничья. Казалось бы, что за долгие годы своего существования Продовольственное Управление Министерства Внутренних Дел могло приобрести и выработать соответствующую технику.

Продовольственным снабжением воинских частей ведало Интендантское Управление Военного Министерства, которое к 1914 году постепенно координировало свою деятельность по закупкам и заготовкам с работой, местных общественных организаций (земств, городов, биржевых комитетов и пр.), благодаря чему некоторые недочеты прошлого исчезли. Ведомства Внутренних Дел и Военное действовали в области продовольственного снабжения без заранее выработанного плана согласования деятельности.

Первый же год войны (1914-1915 г.г.) указал на недостаточность и неустроенность снабжения, прежде всего армии, а затем и населения.

В июле и августе 1915 года был в экстренном порядкеработан и утвержден правительством и законодательными палатами ряд исключительных мер для снабжения армии и страны. Общественные силы России были привлечены к работе

по ее обороне и снабжению. Были созданы 17-го августа 1915 года Особые Сопешания по обороне, транспорту, топливу и продовольствию, с широкими компетенциями и правами. Председателем последнего состоял Министр Земледелия.

Таким образом, фактически продовольствие очутилось в руках Министерства Земледелия, которое никогда этим не занималось и не имело технического аппарата.

Я не буду вдаваться в разъяснения того, как это случилось. Считаю лишь долгом отметить, что в ноябре 1915 г., когда мне пришлось подчиниться воле Государя и принять от А.В.Кривошеина Министерство Земледелия, я очутился перед полным хаосом решений, мнений и предположений. Министерство, как продовольственный административный центр, должно было быть наготове во всякое время дня и ночи удовлетворять запросам и требованиям, разрешать сложные вопросы. Это придавало нежелательную нервность ежедневной текущей работе центрального аппарата.

Состав Особого Сопешания по продовольствию, которое призвано было играть роль руководящего центра всей продовольственной политики фронта и тыла, был разнообразный и многолюдный.

Члены Государственного Совета и Государственной Думы, представители Всероссийских Земского и Городского Союзов; делегаты земств и городов, военно-промышленных и биржевых комитетов, всевозможных профессиональных союзов (мукомолов, сахарозаводчиков и др.); губернаторы, председатели Управ; чины Министерства Земледелия, в качестве уполномоченных на местах; ведомственные представители разных центральных управлений и пр. и пр. Все они почти ежедневно заседали до поздних часов, обсуждали, спорили, голосовали, проте-

ствовали. Некоторые вопросы (например, о твердых ценах) вызвали бесконечно долгие страстные прения. Такая сложная обстановка мало способствовала спешной выработке общего плана продовольственного снабжения, без наличия которого нельзя было действовать ни в центре, ни на местах.

На этот основной дефект – отсутствие плана снабжения было прежде всего обращено внимание законодательных палат, по открытии сессии в феврале 1916 года. В Государственную Думу внесен был по этому поводу запрос. Депутаты, его подписавшие, выступали с упреками по адресу правительства, говоря, что оно не имело «за все время войны 1914 1915 г.г. ни определенного плана, ни определенной системы, ни определенных заданий»...

По поводу означенного запроса, Министр Земледелия, в тот же день, дал объяснения и сообщил, что Особое Продовольственное Совещание утвердило план закупки и распределения продовольствия.

Я должен указать на отрицательные условия, с которыми пришлось встретиться в области вверенной мне продовольственной деятельности и которые отрицательно влияли на осуществление намеченного плана снабжения.

Начать с того, что никаких цифровых данных по учету существовавших в стране запасов продуктов, даже первой необходимости, не было. Не имелось ни в центре, ни на местах никаких статистических данных для подсчета производства и потребления хлеба, мяса и прочих продуктов. Разные Министерства давали противоречивые справки. По принятии мною должности Министра, т.е. с ноября месяца 1915 года, пришлось приступить к учету торговых запасов и в срочном порядке произвести в стране общую сельскохозяйственную перепись. Лишь благодаря этому удалось установить более или менее планомерное

отношение между производительными и потребительными районами, а также установить некоторую согласованность между требованиями фронта и потребностями тыла.

Сначала имелось в виду удовлетворение нужд только армии. Это была более или менее определенная, до известной степени поддающаяся учету, величина, но с течением времени продовольственный наряд на продукты первой необходимости стал распространяться и на гражданское население, что, конечно, очень расширило деятельность продовольственных учреждений.

Это вызвало значительное расширение закупочной операции, что, в свою очередь, повело за собой и спекуляцию и повышение цен на продукты первой необходимости. Пришлось прибегать к исключительным мерам, чтобы оградить многомиллионную армию в разгар боевых действий от капризов рынка.

Одною из подобных, наиболее решительных и успешных, мер было установление Особым Продовольственным Совещанием «твердых предельных цен» на продукты первой необходимости. Это не устраняло частного товарообмена, но давало возможность в нужный момент закупать достаточное количество продуктов.

Наряду с этой мерой борьбы с спекуляцией и дороговизной, нельзя не упомянуть и о другом, более существенном и планомерном, мероприятии, о заготовке запасов для населения. Это опять делалось без заранее обдуманного плана.

Между тем, эти вопросы в свое время должны были бы привлечь внимание правительства. Если взять некоторые цифры довоенного времени, мы увидим, что годовой сбор главнейших хлебов в России – рожь, пшеница, ячмень, кукуруза, овес – в

среднем за 1910-1913 г.г., доходил до четырех с половиной миллиардов пудов. С 1914 года и, в особенности, с 1915 года, началось сокращение, вызванное обстоятельствами военного времени, уменьшением рабочих рук, скота, посевной площади и пр. Но одновременно, в те же года, стал сокращаться вывоз хлеба за границу. В среднем, главнейших хлебов вывозилось ежегодно за границу до 680.000.000 пудов, т.е., около 15% общего сбора. Почти весь этот вывоз со времени войны оставался в стране. В 1914 году мы вывезли 348.000.000 пудов. В 1915 году из 4.000.000.000 пудов сбора вывезено было лишь 31.000.000 пудов, следовательно, свыше 3.900.000.000 пудов оставалось в стране. Между тем, годовое потребление разных хлебов в армии и населении составляло около 3.000.000.000 пудов, по норме в 21,3 пуд. на душу, считая в том числе и семена. Таким путем, в 1915-1916 г.г. до 900.000.000 пуд. избытка главнейших хлебов могли идти на удовлетворение потребностей населения. Хозяйственные силы России в предвоенный период времени были огромны. При умелом их использовании, их хватило бы и на длительную войну. Но для этого надлежало правительству своевременно разработать план заготовок, учета, хранения и распределения наших хлебных запасов. Вместо этого, Министерству Земледелия пришлось в разгар войны делать случайные, поспешные закупки, в размерах, не соответствующих ни объему самих потребностей, ни размерам имевшихся запасов.

За первые месяцы моей министерской деятельности удалось заготовить только около 30.000.000 пудов, переданных городам и земствам – в первую очередь, для столиц, затем для прочих нуждающихся местностей. Продовольственных ссуд этим же учреждением выдано было 18.500.000 рублей.

Вопросом чрезвычайной важности являлось также мясное питание армии и населения, тесно связанное с положением отечественного скотоводства.

Если наши хлебные запасы были обильны и при правильной постановке даже неистощимы, то в обратном положении было в России скотоводство, ибо и в нормальное время наша страна была, по сравнению с другими государствами, бедна домашним скотом.

На всю необъятную территорию Империи в 1913 году было всего 52.400.000 голов рогатого скота. Ежегодно естественный прирост давал около 9.000.000 голов. Это приблизительно было годовое потребление населения. С началом войны питание армий потребовало усиленного притока мяса, и в населении потребление мяса увеличилось, главным образом, благодаря прекращению пьянства.

За год армия потребила до 5.000.000 голов, что вместе с потреблением мирного населения составляет внушительную цифру в 14.000.000 голов. Эвакуация ряда Западных губерний была сопряжена с потерей для хозяйства страны не менее чем 4.000.000 голов, частью оставленных в занятом неприятелем районе, частью павших. В общем, за год было израсходовано более 18.000.000 голов, т.е. сверх нормального прироста было взято из стад более 9.000.000 голов. Остававшиеся 43.000.000, считая и Сибирь, должны были дать предположительно до 7.000.000 голов нормального прироста. Между тем, армия и население предъявляло спрос на 14.000.000 голов. Приходилось опять уменьшать капитал основного стада на 7.000.000 голов, или, как это и было сделано, сокращать размеры мясного питания в первую очередь тыла, а затем и фронта.

При этих условиях было необходимо иметь целесообразный план заготовок, хранения и распределения мясных запасов. К глубокому сожалению, вступив в Министерство, я встретил деловую растерянность, благие предначертания, успокоительные надежды и полное отсутствие заранее обдуманного практического плана. Скот пропадал в пути и на стоянках. Заготовленное мясо портилось. Холодильников не было, учета скота никакого!

Вопрос о холодильниках – основная мера для сохранения мясных заготовок – месяцами безрезультатно обсуждался. Лишь прервав все эти переговоры и обратившись непосредственно за содействием к энергичному и компетентному Н.К. фон Мекку, я смог в короткий срок оборудовать свыше 20 холодильников, устроенных на узловых станциях и пристанях, где можно было производить скупку и заготовку мясных запасов.

Благодаря срочному оборудованию холодильников, Министерству Земледелия удалось к весне 1916 года в значительной степени упорядочить хранение мясных запасов. К этому времени Ведомство смогло более точно учесть, путем проделанной им сельскохозяйственной переписи и подсчета земств, общее количество мясного запаса, установив более правильное взаимоотношение между районами потребления и производства, упорядочив организацию закупок и распределения.

Для продовольственного снабжения армии и населения фактором исключительной важности является единство действий.

Какие бы планы ни создавались, их основная сила заключается всегда в их внутренней согласованности и целокупности, при наличии единства действий их исполнителей.

При разрозненности действий и усилий отпадает и та полнота ответственности, которая является неременным условием всякой здоровой постановки дела.

С первых же шагов моей продовольственной деятельности, я встретил ту разрозненность действий учреждений и лиц, которая в корень подрывала текущую работу и ослабляла энергию для предстоящей. Для достижения необходимого единства пришлось приступить к соответствующим мерам:

Согласовать деятельность гражданского продовольственного аппарата с распоряжениями Военного Ведомства. Всякое промедление в упорядочении их взаимоотношений грозило делу продовольствия как армии, так и населения. Я вступил в должность Министра Земледелия 10-го ноября 1915 г., а 23-го того же ноября, согласно моему докладу, состоялось Высочайшее Повеление, обращенное к начальникам продовольствия фронтов, согласно которому они в закупке и распределении продуктов обязаны были действовать в полной согласованности с моими распоряжениями. Затем получено от Штаба Верховного Главнокомандующего согласие на привлечение к поставкам скота на армию земств тех губерний, которые входили в район театра войны. Все эти переписки и распоряжения помогали делу лишь относительно. Необходимо было активное и авторитетное личное посредничество, которое до известной степени я налаживал в моих поездках на фронт и непосредственных переговорах с высшими военными чинами на фронте.

Потребность в подобном посредничестве признавалась и в Ставке. 15-го июня 1916 года Начальник Штаба генерал М.В. Алексеев подал Государю записку о необходимости более полной согласованности действий тыловых и фронтовых организаций в деле продовольствия армии и населения и возглавления

его особым лицом с диктаторскими полномочиями. Этот проект не встретил сочувствия в ближайшем окружении Государя, который не имел решимости провести его единолично. На заседании Совета Министров, 28-го июня 1916 года, под председательством Государя, он только высказал пожелание, чтобы все руководящие центральные ведомства и лица, в связи с условиями переживаемого страной исключительного момента, напрягли все свои силы на благо Родины и объединились ради выполнения общего патриотического подвига.

В деятельности гражданских учреждений, ведавших продовольствием, я также застал растерянность и разобщенность. Продовольствие находилось в непосредственной связи и зависимости от транспорта и топлива. Необходимо было установить согласованность между образованными 17-го августа 1915 года Особыми Совещаниями по продовольствию, по перевозкам и по топливу. В них принимали участие Министры: Военный, Путей Сообщения, Торговли и Промышленности, Земледелия и Внутренних Дел. Образование 19-го декабря 1915 года этого «Малого Совета пяти Министров» дало возможность приходить быстро и согласованно к безотлагательным решениям. Судьба «Совета пяти Министров» известна. Он был почему-то признан некоторыми группами законодательных палат нарушающим их компетенцию и «основные» права. Поднят был вокруг этого вопроса немалый шум. Непримируемую позицию против «Малого Совета» занял Родзянко, председатель Государственной Думы. Бывший в то время премьером Штюрмер пошел ему навстречу и прекратил совещания пяти министров.

Касаясь «единства действий», не могу не вспомнить того положения вещей, которое создалось при формировании в августе 1915 года нового продовольственного аппарата. Ведом-

ству Земледелия понадобились огромные кадры уполномоченных по продовольствию на местах. Губернаторы, непременные члены всяческих присутствий различных ведомств, представители земств, городов, биржевых комитетов и пр. и пр. – все были спешно привлечены к делу заведывания продовольствием на местах. Много потребовалось времени и сил, чтобы весь этот разнохарактерный состав привлечь к общему образу мыслей и действий. Бывали случаи, когда высшие губернские чины других ведомств предостерегали своих непосредственных подчиненных, что они могут исполнять продовольственные поручения лишь постольку, поскольку это соответствует взглядам и велениям их прямого начальства.

Но, в конце концов, удавалось придти к положительным результатам в смысле координации действий поместной агентуры в интересах важнейшего общего дела.

Исключительное, часто решающее значение в общем ходе закупок и доставок продовольствия имел транспорт. Затруднения в перевозке создавали недостаток продовольствия в одной местности, в то время, как другие страдали от низких цен и невозможности сбыта продуктов.

Наиболее разительный пример подобного ненормального распределения запасов представляла собою отрезанная от железнодорожной сети Акмолинская область, где в одном Кокчетавском уезде имелись стомиллионные запасы пшеницы, которыми можно было бы обеспечить года на два чуть ли не всю Европейскую Россию. Однако, пшеницу невозможно было сбыть даже по 40 коп. за пуд. Между тем, если бы до войны была проведена Южная Сибирская магистраль, соединяющая Орск и Семипалатинск, то богатые азиатские области с их богатейшими запасами явились бы источником снабжения всем необходимым.

Я отметил главные недостатки и препятствия, которые встретились мне на пути моей продовольственной деятельности с ноября 1915 г. по июль 1916 г., но я не могу обойти молчанием и положительные явления в деле продовольствования армии и населения. Я говорю об исключительной работе, в центре и на местах, наших агентов по продовольствию, о чем я имел возможность заявить во всеуслышание с трибуны Государственной Думы в моей речи, сказанной в ответ на вопросы по поводу снабжения (18-го февраля 1916 г.). Как тогда, так и теперь, я не могу не отозваться об этих тружениках иначе, как о людях, полных сознания всей важности возложенного на них дела и огромной своей ответственности перед Россией. Только благодаря их беззаветной и самоотверженной работе и общему патриотическому подъему, который ощущался и проявлялся в стране в первые годы Великой Европейской войны, возможно было совершить колоссальную работу снабжения.

На основании всего изложенного, суммирую главнейшее недостатки в постановке продовольственного снабжения армии и населения:

1) Отсутствие к моменту объявления войны 1914 года специального Имперского Ведомства, компетенция которого обнимала бы всю многогранную и сложно хозяйственную область продовольственного снабжения, как в мирное время, так и на случай возникновения войны.

2) Вместо объединения, исправлений и приспособлений к условиям военного времени ранее существовавших отдельных продовольственных организаций, в разгар военных действий была создана новая продовольственная организация, и к ней привлечены учреждения и лица, не имевшие в этом деле ни навыка, ни знаний.

3) Отсутствие плана продовольственного снабжения, как в отношении самого объема заданий, так и в смысле техники его исполнения. Трудность его разработки и составления, ввиду исключительно неблагоприятных для этого условий.

4) Отсутствие учета запасов продовольственных продуктов первой необходимости. Ненормальные условия хранения таких – отсутствие зернохранилищ, холодильников, консервных заготовок.

5) Отсутствие единства действий во взаимоотношениях а) – фронтов и тыла, б) – между самими центральными ведомствами, в связи с органической зависимостью продовольствия от транзита и топлива, в) – Центра с поместной продовольственной агентурой.

6) Неудовлетворительная постановка контроля и отчетности,

7) Транспортные затруднения.

Перечисляя в общих чертах отрицательные стороны продовольственного снабжения к началу войны 1914 года, я вполне присоединяюсь к мнению тех разумно настроенных и любящих свою родину лиц, которые считают необходимым учесть тяжелые уроки военного периода, в надежде, что это может оказаться полезным для конструкции будущего аппарата снабжения. Ввиду этого, я и высказываю соображения, как, согласно моему пониманию, должно было быть налажено снабжение во время войны.

Начать с того, что налажено оно должно быть не во время войны, а заблаговременно, как всесторонне обдуманый общегосударственный план, как заранее заготавливается специалистами план военной мобилизации. Последний приводится в исполнение в случаях открытия военных действий. Такому же

неукоснительному осуществлению подлежит и продовольственный план.

Вся последующая исполнительная деятельность по применению его в жизни должна быть сосредоточена в специально для сего созданном едином центральном ведомстве, располагающем широкой организацией на местах, опытным персоналом и необходимыми средствами.

Подходящим для заведывания продовольственным делом, в широком смысле этого слова, учреждением и в мирное, и в военное время я бы считал Министерство Земледелия, с особым отделом и наименованием всего ведомства Министерство Земледелия и Продовольствия.

Я исхожу из следующих соображений: земледелие, до 1914 года, давало нам свыше $\frac{2}{3}$ нашего народного богатства, – не менее девяти миллиардов зол. рублей, при общей годовой производительности Империи в пятнадцать миллиардов зол. рублей. Земледелие составляло основу общего благополучия и народного богатства. Этим подсказывается и первенствующая роль в государственной жизни аппарата управления земледелием. В руках этого единого ведомства должно быть наблюдение за производством продуктов и содействие сельскому хозяйству, но и учет запасов, должное хранение таковых и, наконец, в нужных случаях – приобретение и распределение их. Все эти отрасли единого хозяйственного заведывания должны функционировать при непременном наличии планомерного контроля и ясной отчетности.

Итак, Министерство Земледелия и Продовольствия должно явиться, по нашему разумению, тем единым и единственным ведомством, которому надлежит ведать всем делом продовольствия, в самом широком его понимании. Деятельность названного ведомства должна протекать в условиях определенной

программы, согласно заранее всесторонне разработанному и соответствующим образом утвержденному плану действий, рассчитанному на мирное время, а также и плану специально мобилизационного характера на случай возникновения военных действий.

Покинул я свою министерскую службу в июле 1916 года. Одновременно с этим, само собой, пришлось отойти и от руководства Продовольственным Ведомством. О подробностях моего ухода из министров я имею в виду поделиться воспоминаниями в последующей части моих записок. Здесь же не могу не указать на то, что к моменту оставления мною должности, все боевые фронты, так же, как и тыловые наиболее нуждавшиеся в продовольственном снабжении районы были обеспечены продуктами первой необходимости на полных три месяца, о чем, 28-го июня 1916 года, в день, когда я подал в отставку в Могилевской ставке, в присутствии самого Государя, публично заявили представители военного командования – генералы Алексеев, Ронжин и др., и при этом выразили свою признательность. Надо сказать, по тогдашнему времени, обеспечить продовольствие фронта на три месяца было делом далеко не малым. В этом отношении мой преемник оказался в значительно лучших условиях, чем я. Принимая должность министра, я не только не имел в своем распоряжении трехмесячного продовольственного обеспечения армии и тыла, но с первых же часов своей деятельности я вынужден был в самом спешном порядке предпринимать продовольственные меры на ближайшие три дня, чтобы удовлетворить потребность армии.

Целиком отдавшись в период с ноября 1915 по июль 1916 года трудной и ответственной работе, до известной степени осилив всю громаду продовольственных трудностей и наметив

основные пути дальнейшего снабжения, я отошел от этого великого патриотического дела, с трудом, с сожалением, я оказался вынужден оборвать свою продовольственную деятельность, вследствие сложившихся у меня служебных отношений с теми сочленами по Совету Министров, от содействия которых во многом зависел успех моей работы. Пришлось уйти не от дела, а от людей...

153

С установлением в государственной жизни Российской Империи двух законодательных палат, деятельность каждого министерства стала предметом ближайшего рассмотрения названных учреждений в смысле учета итогов и утверждения сметных предположений.

Принятие мною должности Министра Земледелия совпало с периодом, когда законодательные палаты не заседали, и среди министров велась речь об их созыве. 9-го февраля 1916 года состоялось одновременное открытие как Государственной Думы, так и Государственного Совета, и с той поры вся моя ведомственно продовольственная деятельность, почти до самого конца моей министерской службы, проходила при совместных наших занятиях с обеими законодательными палатами, роспуск которых (в конце июня 1916 года) предшествовал лишь на несколько дней принятию Государем моей отставки (28-го того же июня).

Среди членов Государственного Совета были группы, мне близко и хорошо знакомы, в силу долголетнего моего пребывания в их составе, в качестве избранника Самарского Губернского Земства. Как Министру Земледелия, мне впервые довелось встретиться с моими прежними коллегами, 30-го ноября 1915 года, на заседании Финансовой Комиссии, рассматривав-

шей смету моего ведомства. Теплое приветствие, с которым обратились ко мне перед началом наших совместных работ участники означенного заседания, и то благожелательное отношение, которое с их стороны было проявлено при обсуждении министерской сметы, произвели на меня глубоко отрадное и бодрящее впечатление. Члены верхней палаты авансом выразили мне столь нужные и ценные для меня в начале новой деятельности доверие и поддержку.

В иных условиях пришлось мне вступить на путь моего делового общения с членами другой законодательной палаты, деятельность которой протекала в стенах Таврического Дворца. Надо принять во внимание, что до вступления моего в состав правительства, я лично знал многих членов Государственной Думы, принадлежавших, главным образом, к категории земских и сословно дворянских общественных деятелей, с которыми в былое время приходилось не раз сталкиваться на всевозможных съездах. Помимо этого, неоднократно, до назначения меня Министром, посещая думские заседания, я успел свести довольно многочисленные знакомства с депутатами различных партийных группировок. Но я отдавал себе отчет в том, что для большинства депутатов мое имя, как вновь назначенного Министра, да еще после популярного среди думцев Кривошеина, являлось не только мало за себя говорившим, но по вполне понятным причинам, вызывавшим скорее скептически осторожное к себе отношение. Правда, худых слухов имя мое в кулуарах Государственной Думы не порождало. Этим я в значительной степени обязан своим друзьям самарцам, которые всегда распространяли среди своих думских сочленов самые добрые обо мне отзывы. Все же, в Думе, по отношению ко мне чувствовалось настроение выжидательное. Я это ясно сознавал и с

нетерпением готовился предстать на судьище того учреждения, без содействия которого считал невозможным успешно проводить в жизнь возложенное на меня продовольственное задание.

В жизни человеческой, как бы ни складывалась она в общем благополучно и даже счастливо, неизбежно встречаются незадачи, одни более ощутительные, другие менее прискорбные. Одной из подобных житейских невзгод, показавшейся мне острой и досадной, явилось одно обстоятельство, случившееся как раз накануне моего первого выступления в качестве Министра Земледелия перед членами Государственной Думы.

На вторник, 8-го декабря 1915 года, было назначено заседание думской бюджетной комиссии, где должны были рассматриваться два отдела сметы Министерства Земледелия: по Переселенческому Управлению и по Департаменту Земледелия. Хотя Министру и предоставлялось право, вместо себя, командировать в комиссию одного из высших представителей его ведомства, но я безповоротно решил лично явиться на упомянутое заседание, чтобы установить с членами Думы первое деловое знакомство. Об этом моем намерении в Таврическом Дворце уже знали. Но случилось так, что с воскресенья, 6-го декабря, я слег в постель в сильнейшей инфлуэнции. Утром, 8-го декабря, я уже собирался предупредить кого следует, что не могу прибыть в комиссию, как вдруг в утреннем выпуске «Биржевых Ведомостей», в отделе хроники, читаю несколько строк и глазам своим не верю.

На видном месте значилось: «В понедельник, 7-го декабря, Министр Земледелия А. Н. Наумов выезжал с всеподданейшим докладом в Царское Село».

В другое время такая, довольно обычная в газетной практике, неточность могла пройти незамечённой, но в данный момент для меня лично положение создалось чрезвычайно сложное, досадное, даже острое. Я решил выйти из него немедленно, хотя и довольно рискованно.

В голове моей пронеслась мысль: что могут подумать члены Государственной Думы о новом Министре Земледелия, который накануне выезжал в Царское, а явиться затем в Государственную Думу не пожелал? Я считал, что всякая самая правдивая версия о моей болезни могла вызвать среди думских кругов досужие кривотолки, обидные для моего самолюбия. Для газетных опровержений времени не было. Оставалось одно – забыть докторские запреты, вылезть из постели, одеться и, несмотря на жар и охрипшее горло, ехать в Таврический Дворец. Это я и решил сделать.

В Государственной Думе меня, очевидно, ждали. К предупреждениям ранее меня приехавшего на заседание А. А. Риттиха о серьезности моего заболевания собравшиеся члены бюджетной комиссии отнеслись явно недоверчиво и указывали ему на газетную заметку о моем вчерашнем посещении Царя...

Появление мое было ими встречено с нескрываемым удовлетворением. На заседание бюджетной комиссии подошло множество думцев, даже из среды тех, которые в числе членов комиссии не состояли, и которые пришли из чувства одного лишь любопытства – посмотреть и послушать нового Министра. Но слушать последнего почти не пришлось, так как, при первых же попытках говорить, глава Ведомства оказался совершенно без голоса, и вообще весь его внешний облик должен был всех убедить в достоверности слов Риттиха о том, что я не шутя болен. Все же удалось со сметой Переселенческого Управления благополучно покончить, после чего сами думцы посоветовали

мне, ввиду моего явно болезненного состояния, вернуться домой. Председатель комиссии, от лица всех присутствовавших, высказал мне признательность за мой приезд в Государственную Думу. Таким образом, правда не без изрядного риска, но дело свое я исполнил. В общем, все сошло благополучно – ухудшения в состоянии моего здоровья не последовало, а отношения ко мне думских деятелей с тех пор установились в достаточной степени благожелательны. Это не помешало многочисленной группе депутатов, принадлежавших к различным политическим партиям, начиная с социал демократов и кончая правыми октябристами, предъявить 9-го февраля, при открытии сессии Государственной Думы, не столько ко мне единолично, сколько в моем лице всему правительству, запрос по поводу состояния сельского хозяйства, в связи с сокращением посевов и положением продовольственного вопроса.

Надо сказать, что предъявление упомянутого запроса в первые же дни начавшихся в Государственной Думе занятий я искренне приветствовал. Запрос этот давал мне возможность в собрании членов Государственной Думы или «государственных гласных», как я их мысленно называл, обстоятельно и откровенно высказаться по поводу той ответственной деятельности, которой я в течение трех месяцев целиком себя отдавал, и успешность которой я ставил в зависимость от содействия мне всех наличных общественно государственных сил страны.

Открытие Государственной Думы состоялось 9-го февраля, и уже на следующий день в стенах многолюдной залы Таврического Дворца стали раздаваться горячие и нервные голоса только что собравшихся со всех концов Империи думских депутатов, подчеркивавшие серьезность положения сельского хозяйства, в связи с нуждами военного времени. Вместе с тем, они обращали внимание правительства на необходимость срочных

мер для поддержания экономической мощи страны, как залога боевой сопротивляемости армии.

С особенной силой и страстностью об этом говорилось 18-го февраля, в день, когда в общем собрании Государственной Думы заслушаны были заявления, внесенные в порядке ст. 40 Учреждения Государственной Думы: 1) «За подписью 31 члена Государственной Думы об обращении к Министрам Земледелия и Внутренних Дел за разъяснениями по поводу принятия мер против сокращения посевов» и 2) «За подписью 32 членов Государственной Думы об обращении к председателю Совета Министров и Министру Земледелия за разъяснениями по вопросу об обеспечении населения продуктами питания».

Заседание 18-го февраля происходило под председательством С. Т. Варун Секрета.¹ В зале Таврического Дворца собрался в этот день не только наличный комплект думских депутатов, но и многочисленная публика, заполнявшая хоры. По обоим запросам Совет Министров поручил мне дать разъяснения, о чем я был уведомлен всего лишь за сутки до думского заседания. Пришлось в спешном порядке мобилизовать моих сотрудников для подготовки нужных справок, и самому наметить схему моего выступления. Его основное задание высказано в нескольких словах, занесенных в мой дневник 16-го февраля 1916 года. «...Вечером работал над сущностью и характером моего выступления – надо и правду сказать и, вместе с тем, так, чтобы немцы поняли нашу силу»...

Утром, 18-го февраля, не без внутреннего волнения, занял я место в министерской ложе думской залы, в ожидании одного из серьезнейших моментов моей жизни – первого публичного выступления перед российской законодательной палатой, иначе говоря – перед всем русским народом, по вопросам исключительного государственного значения, от правильного

разрешения которых в немалой степени зависела самая судьба нашего отечества.

Полученное мною от А. В. Кривошеина продовольственное наследие, как известно, представляло собой мало обработанный материал, ставивший огромные задания. За три месяца моей министерской работы, в этой области обозначился ряд достижений, которые я хотел как можно скорее довести до сведения русского общества в лице членов законодательных палат. С другой стороны, депутаты, целых полгода не будучи у дел и собравшись, наконец, в Таврическом Дворце, с естественным интересом и нескрываемым нетерпением пожелали приступить к выяснению положения сельского хозяйства, которое являлось основой государственного благополучия России, Отсюда происходила та нервная напряженность, которая при открытии ощущалась не только мною, как представителем правительства, но одновременно проявлялась и у думских депутатов, и на хорах в публике. Недаром председательствовавший Варун Секрет, отложив ряд других дел, значившихся на повестке дня, предложил в первую голову приступить к обсуждению предъявленных запросов о положении отечественного сельского хозяйства и продовольствия.

Всходившие на кафедру один за другим члены Государственной Думы – «трудовик» Дзюбинский «октябристы» гр. Капнист 1 й, Неклюдов и др. – в своих обстоятельных и темпераментных речах не преминули указать на ряд дефектов, допущенных раньше правительством в области сельскохозяйственной и продовольственной деятельности. Они запрашивали правительство, какие меры оно предполагает принять во избежание в дальнейшем нарушения правильного хода всего экономического положения страны, а в особенности, сельского хозяйства.

Само собой разумеется, что я был чрезвычайно заинтересован в этих прениях и с напряженным вниманием прислушивался к словам думцев. Должен сознаться, что высказанные ими упреки и сомнения я почти целиком разделял, находил их отвечающими действительности и в переживаемый момент безусловно уместными. Члены Государственной Думы жаждали скорее узнать подлинную правду о положении земледелия, этой основной базы хозяйственного благополучия страны, а представитель правительства, с своей стороны, стремился поделиться с народными избранниками теми данными, которые были им собраны в результате его трехмесячной напряженной работы.

– Общество слишком мало ознакомлено – сказал в своей речи гр. Капнист 1 й, – с тем, что сделало и что предполагает сделать правительство для того, чтобы в этом году не было тех же препятствий, которые сельскому хозяйству пришлось встретить в прошлом».2

Все, что я тогда выслушал от депутатов, в общем соответствовало моим впечатлениям, которые я вынес о положении продовольственного и сельскохозяйственного дела в стране, при первоначальном моем ознакомлении с полученным от Кривошеина наследием. Как мне было мысленно не согласиться с заявлением депутата Дзюбинского:

– Правительственные власти не имеют ни определенного плана, ни определенной системы, ни определенных заданий. Все меры, принимаемые ими, принимаются совершенно разрозненно, по тем или другим ведомствам, не имея определенной цели и определенного плана. Кроме того, правительственные чины, принимая те или другие меры, не всегда обосновываются на местных общественных организациях, иногда совершенно их игнорируют...

И дальше: – обратите внимание, например, на гибель многомиллионного количества скота, реквизированного на западной границе. Ведь этот скот, которой мог бы служить основой во многих местах для дальнейшего благополучия, он почти весь погиб и растрочен.

При последних словах мне невольно припомнился первый день моей службы, когда я, в гуще штабных депеш, полученных мною с фронта, читал о гибели на юго западном фронте полтора миллионов голов беженского скота!..

Ряд членов Государственной Думы затронули в своих речах другой вопрос, также, с самого начала моей продовольственной деятельности, причинявший мне не мало осложнений и требовавший принятия ряда срочных мер для его разрешения... Так, депутат Харьковской губернии Неклюдов заявил:

– Гр. Капнист в своей речи указал на то, что в области продовольствия населения были некоторые недочеты, объясняющиеся отчасти, а может быть, даже в значительной мере, двоевластием: с одной стороны, военные власти работали, с другой стороны, Министерство Земледелия, и согласованности между действиями этих властей не наблюдалось. Со своей стороны, должен и я отметить, что двоевластие, отсутствие единой власти, обнаружилось не только на фронте и в центральном правительстве, но и в самом центре: так, в то время, когда мы наблюдаем планомерную работу Министерства Земледелия, мы видим некоторый натиск в области продовольствия со стороны Министерства Внутренних Дел...

И дальше: – совершенно аналогичным является провозглашение Министерством Внутренних Дел лозунга борьбы с дороговизной. В то время, когда в Министерстве Земледелия идет планомерная работа, обсуждается вопрос обеспечения населения продовольственными продуктами во всем его целом, в это

время другое ведомство выхватывает один уголок этого крупного государственного вопроса и *urbi et orbi* оповещает о необходимости борьбы с дороговизной всеми зависящими средствами...

Все это «Хвостовское» вмешательство в свое время было мною в достаточной мере болезненно лично пережито и, как я уже упоминал, с большими усилиями устранено.

Горячо приветствовал я мысленно и на мой взгляд верные слова, исходившие из уст того же Неклюдова:

– Мы не только должны в настоящее время бичевать те органы центрального управления, которые не способствуют продовольствию, а, наоборот, мешают продовольствию населения. Мы должны сказать несколько слов и по своему собственному адресу, по адресу самого населения. Господа, мне часто приходится приезжать в Петроград по делам, и я всегда уезжаю из него с большой радостью – настолько здесь противно, настолько противны люди в Петрограде, в больших городах: никто ничего не делает, все сплетничают, все недовольны и все требуют, чтобы их хорошо питали, чтобы был полный комфорт, но сами палец о палец не ударят. Проведите некоторую параллель. Там на фронте вы видите бодрых людей, они испытывают страшную тяготу, но они все бодры, их настроение ярко патриотично. А кто больше всех брюзжит и кто требует, чтоб его хорошо кормили? Посмотрите, как набились столицы людьми, – никогда столько людей не было – сколько празднующейся толпы ходит по Невскому, сколько развелось здесь театров поганых, и все кишмя кишит. Господа, мы должны воевать все сейчас. Преступление со стороны народа, который не оказывает поддержки своим войскам и скопляется в крупных центрах, в которые ничего не ввезешь, и требует, чтобы его кормили...

С величайшим сочувствием отнесся я к предложению гр. Капниста обратиться от имени Государственной Думы ко всему сельскому населению России с твердым призывом, что надо, чтобы засеяны были наши нивы, надо, чтобы продукты были предоставлены государству, чтоб государство и впредь могло снабжать обильно нашу армию идущую к победе...

Радостным откликом отозвались в моем сердце глубоко патриотические слова того же гр. Капниста, находившиеся в полном соответствии с моими собственными заданиями по поводу характера предстоявшего мне выступления.

– Пусть же знает Германия – воскликнул он – уменьшающая ежедневно свои рационы, что наша страна, несмотря на все внутренние непорядки во время войны, закаляется, как сталь, богатеет, живет трезвой, спокойной и достойной жизнью в, самых народных глубинах...

Надо сказать, что за те сутки, когда я готовился к выступлению в Государственной Думе, пришлось мне передумать и пережить немало тревожных мыслей и острых ощущений. Благодаря исключительному подъему многочисленных сотрудников, мне удалось за сравнительно недолгое Время многое упорядочить и наладить, но все же общее положение как сельского хозяйства, так и продовольственного снабжения, далеко еще не было благоустроено и требовало со стороны правительства принятия дальнейших срочных мер для его улучшения. Обо всем этом мне, как представителю правительства, надо было сказать с думской трибуны громко и откровенно, сознаваясь в прошлых ошибках, указывая на меры их исправления, намечая план на будущее. Обдумывая схему и сущность своего выступления, я решил выйти на суд страны, в лице ее народных избранников, с открытым забралом, взяв тяжесть прошлых недочетов на себя и

сохранив в полной неприкосновенности престиж моего предшественника. В то же время я хотел построить мою речь, которая и по общим условиям и по содержанию должна была носить характер некоторого рода правительственной декларации, так, чтобы враждовавшие с нами страны отнюдь не могли бы усмотреть каких бы то ни было признаков умаления экономической и боевой мощи России.

Под влиянием всех этих соображений, сознавая вместе с тем исключительную ответственность предстоявшего мне выступления, предвидя также неизбежность ожидавшей меня думской критики, которая мне, в моем воображении, представлялась беспощадной, я провел канун памятного мне 18-го февраля в крайне нервном состоянии, и в таком же настроении продолжал обретаться, когда занял свое место в министерской ложе. Но, по мере того, как я прислушивался к речам выступавших ораторов, столь отвечавших моим личным помыслам и взглядам, настроение мое прояснялось, начала нарастать уверенность в том, что с сидевшими передо мною членами Государственной Думы я могу найти нужный, общий язык, который в прошлом меня никогда не покидал в моей совместной с общественными деятелями работе.

Взойдя на думскую трибуну, я искренно приветствовал членов Государственной Думы по поводу того, что вопрос о поддержании отечественного земледелия, как основы могущества России, они поставили своей первой очередной задачей...

– Вступая в ряды министров, – сказал я, – я прежде всего, исповедывал одно, – что то или другое состояние тыла должно отражаться соответствующим образом на настроении нашей доблестной армии. (Голоса: –»Правильно!«). Я считаю, господа, что связь тыла и армии в настоящее время такова, что, надо ска-

зять – в настоящее время происходит борьба не армий, а народов. (Голоса: «верно!»). Господа, малейшее нарушение этой органической связи несомненно отзывается на успехах нашего доблестного оружия, и придти на помощь делу упорядочения этой связи – наша святая обязанность.

Здесь многими лицами говорилось об этом, – со многим из того, что было сказано по отношению учета общего настроения, я должен согласиться. Так вот, если мы примем во внимание, господа, что Ведомству Земледелия поручено дело продовольствия армии, которое потом разрослось в продовольствие тыла и населения; если вы учтете, что Ведомство Земледелия должно обеспечить действительно добычу продуктов, не только в данный момент, но и на будущее, то перед вами предстанет картина огромной, я скажу – жуткой ответственности Ведомства Земледелия.

Вступление свое я закончил следующими словами:

– Я, изстари, с университетской скамьи – общественный земский деятель, и не могу себе представить правительства одиноким. Я никогда ответственности не боялся, но всегда искал искреннего делового сотрудничества. Помогите, господа, мне вашей критикой, но критикой содействующей, а не обособленной. (Милюков – Вы одиноки в правительстве!...) ...

В дальнейшей своей пространной речи, изобиловавшей многочисленными документальными и цифровыми справками, я усиленно старался дать исчерпывающие объяснения по всем вопросам, затронутым в Думском ко мне обращении. Данные, приведенные в моем выступлении, я почти полностью упомянул в той части моих записок, где я касался постановки в Империи всего дела продовольственного снабжения и моей деятельности, как председателя Особого Продовольственного Совещания.

Здесь я ограничусь лишь упоминанием одной подробности, связанной с моим первым публичным выступлением в Таврическом Дворце, воспоминание о котором и поныне является для меня одним из наиболее светлых и радостных в моей жизни моментов.

Речь моя продолжалась около двух часов, и по мере того, как я излагал свои данные, доводы и заключения, я чувствовал, что невидимая связь между мною и думской аудиторией становилась все крепче и теснее. Слова мои нередко прерывались одобрительными и сочувственными возгласами, в конце моей речи превратившимися в сплошную по моему адресу овацию. Позволю себе здесь точно привести, согласно имеющейся у меня под руками думской стенограммы от 18-го февраля 1916 года, заключительную часть моей речи

– Возвращаясь, господа, к мерам, принимаемым для обезпечения производства продуктов, я свидетельствую, что я обычно всемерно прибегаю к содействию местных общественных организаций, в частности, близкой сердцу и пониманию моему, – земской среде. В этом отношении я могу привести только те слова из моего циркуляра, где я говорил, что «считаю долгом обратиться к земствам с усерднейшей просьбой внести в столь важное для сельской России дело свою энергию, свой деловой опыт, будучи убежден, что в сложной области местных сельскохозяйственных нужд земства ближе всего осведомлены и потому найдут наиболее жизненные способы к успешному использованию того состава рабочей силы, который привлечен для посильного удовлетворения этих нужд». Я считаю, что общность работы Министерства Земледелия с местными общественными организациями есть фундамент, на котором можно осуществить огромнейшую задачу, возложенную на ведомство. Вне этого общения я не мыслю совершенно работать. Я должен

засвидетельствовать здесь, в Государственной Думе, что те сотрудники, которых я получил из министерства А. В. Кривошеина, работают с полным сознанием всей важности их дела и исторической ответственности перед страной. Работа их беззаветна. Работу всех лиц на местах я называю не иначе, как самоотверженной работой. Но если зся эта могучая сила, все эти, так сказать, деловые пружины, которые облегли всю Россию, если они сольются с местными общественными силами, то я думаю что в этом единении мы, господа, безусловно победим того врага, который имеет главную, основную ставку на нашей разобщенности и на нашей дезорганизации. (Бурные рукоплескания слева и в центре). Потому, господа, ваше обращение к населению, хотя бы в том виде, как здесь я о нем слышал, я глубоко приветствую. Если бы можно было восстановить то сознание, которое проявилось в первые месяцы войны! Я вырос, господа, с крестьянами, и, вероятно, там и останусь со временем, но я не узнавал многих, настолько они сознательно относятся к моменту, переживаемому страной (рукоплескания и голоса: «Правильно!»), настолько это война среди них популярна. Если, господа, в настоящее время война приняла затяжную форму, то я боюсь, что этот подъем начинает кое где остывать. Ведь это кое где замечается. Господа! помогите оживить эту страшную мощь нашей страны. Помогите в этом отношении, путем единства действий восстановить нашу старую пословицу: «мир – велик человек»! (Бурные и продолжительные рукоплескания в центре, слева и справа).

После моей речи был объявлен перерыв, в самом начале которого ко мне в т. наз. «министерский павильон» Таврического Дворца пришли лидеры многочисленных думских партий (за исключением крайних правых и крайних левых), среди ко-

торы вспоминается мне Н. Н. Львов, А. И. Шингарев, И. Н. Ефремов и др., с выражением горячих приветствий и поздравлений по поводу моего выступления. Они пригласили меня вместе с ними позавтракать и, когда я появился в Думской столовой, заполненной сидевшими за столами депутатами, последние все встали и вновь принялись мне единодушно аплодировать.

Присутствовавший во все время моего выступления и последующей овации товарищ министра А. А. Риттих, крепко пожав мне руку, промолвил:

– Такого восторженного приема я не запомню... и Столыпина так не принимали!...

Должен сознаться, что подобное счастье выпало на мою долю совершенно для меня неожиданно. По правде сказать, подготавливаясь к своему выступлению, я ждал обратного! Приятно мне было также и то, что весь мой триумф прошел на глазах присутствовавшей на хорах жены моей Анны.

В два часа дня того же 18-го февраля, я должен был поспешить в Государственный Совет, где предполагалось поименное голосование законопроекта чрезвычайной важности – о подоходном налоге, и где многие из моих друзей и сочленов тоже горячо меня приветствовали с успехом и «удачным», как они выразились, «крещением». Министр Финансов П. Л. Барк, единственный из моих коллег, присутствовавший вместе со мной на утреннем думском заседании 18-го февраля, после моего выступления заметил:

– Ну, и ловко же вы сумели перебросить мост в Таврический Дворец!..

Слова эти меня в то время немало покоробили, так как, говоря с думской трибуны, я ни о каких «мостах» заранее не зага-

дывал, а лишь искренно желал делового, тесного сотрудничества с народными представителями. Должен сознаться, что я был несказанно счастлив и до глубины души удовлетворен, когда почувствовал, что слушатели мои поняли меня так, как я этого хотел. Если этот «мост», о котором мне Барк намекал, оказался на самом деле перекинутым между мною и Думой, то это послужило лишь общему отечественному благу.

После февральского моего выступления, у меня с депутатской средой установилась прочная связь, основанная на взаимном доверии. Благодаря этому, несмотря на случавшиеся впоследствии в области продовольственного снабжения осложнения, я, до конца моих министерских полномочий, встречал со стороны думских деловых кругов самое благожелательное отношение к себе и к руководимому мною ведомству.

Благодаря депутатским отзывам, а, главное – газетным восхвалениям, моя речь создала мне тогда значительную популярность. Недаром гр. В. Н. Коковцов называл меня «модным Министром», а С. Д. Сазонов, устроив у себя на следующий день, после моего думского выступления, парадный завтрак, за столом, во всеуслышание, стал восхвалять мою, как он выразился – «выдающуюся» речь и поднял бокал за то, чтобы в скорейшем времени увидеть меня Российским премьером.

В тот же день, 19-го февраля, на заседании Совета Министров, я был встречен всеобщими приветствиями. Один лишь Штюрмер не принял в этом участия, продолжал оставаться напыщенно безсловесным истуканом. После моего думского успеха, его нерасположение ко мне усилилось. Ежедневно мой секретарь Загорский приносил мне по утрам целые кипы не только русских, но и заграничных газетных вырезок, чesавшихся моей Думской речи. Особенно ценным и лестным для

меня отзывом показалась мне статья, написанная обо мне бывшим Министром Земледелия А. С. Ермоловым и помещенная в номере «Биржевых Ведомостей» от 21-го февраля 1916 года. Впоследствии Загорский все эти многочисленные вырезки сброшюровал в особый объемистый том – третий по счету. Два других он составил из газетных заметок и статей, посвященных мне по поводу сначала назначения моего в министры, а потом ухода со службы. Вся эта для меня исторически интересная литература сделалась, как и все остальное бывшее, достоянием революционной стихии, вероятно, ее не пощадившей.

Выступление мое в общем собрании Государственной Думы, 18-го февраля 1916 года, осталось единственным. В остальное время пребывания моего Министром, мне приходилось участвовать лишь в думских комиссионных работах, главным образом – на заседаниях так называемой соединенной Военно продовольственной и сельскохозяйственной комиссии. Это давало мне возможность держать членов законодательной палаты в курсе всех моих продовольственных распоряжений и постановлений руководимого мною Особого Совещания. Довольно часто созываемые заседания комиссий отличались многолюдством и проходили в обстановке общего интереса и серьезного отношения к делу. Иногда, впрочем, приходилось выслушивать и иные речи, произносившиеся не столько ради содействия моей сложной и ответственной работе, сколько во имя узкопартийных директив оппозиционно к правительству настроенных думских политических группировок.

Вспоминается мне следующий эпизод: на одном из заседаний «соединенной комиссии», на которой обсуждался ряд принятых мною мер, саратовский депутат Масленников, в то время принадлежавший к левому крылу «кадетской» партии, а

ныне состоящий в числе крайних правых «беженских» монархистов, – долго и горячо старался доказать абсурдность как ему казалось, правительственной продовольственной политики. Свои выводы он самым безцеремонным образом основывал на совершенно голословных данных. Речь эта, произнесенная с немалым пафосом, в силу бездоказательности и явной подтасовки фактов, успеха не имела. С моей стороны она вызвала немногословную, но резкою отповедь.

По окончании заседания, вдруг подходит ко мне сей самый Масленников и, дождавшись момента, когда он смог остаться со мною наедине, в заискивающем тоне говорить мне следующее:

– Ваше высокопревосходительство, дорогой Александр Николаевич! Признаюсь, что речь свою я произнес по долгу принадлежности к оппозиционной партии... Ради Бога, не претендуйте на меня за нее... Имейте в виду, что я прежде всего являюсь вашим искренним поклонником и доброжелателем!

Повернуть ему спину и скорее отойти – вот все, что оставалось мне сделать в ответ на признание моего своеобразного «доброжелателя»...

Но бывать в Думских комиссиях я считал для себя необходимым, ради сохранения живой деловой связи с депутатами, которые стремились быть в курсе продовольственного и хозяйственного положения в стране, и видимо не довольствовались сравнительно немногочисленным своим представительством в Особом Совещении. Надо думать, что благодаря подобным совместным нашим занятиям в упомянутых комиссиях, Государственная Дума сочла возможным ограничиться одним тем заседанием общего собрания 18-го февраля 1916 года, которое посвящено было заслушанию предъявленных мне запросов по продовольствию. Палата, видимо, вполне удовлетворилась моими разъяснениями. В комиссиях, со стороны большинства

думских депутатов, я видел лишь самое благожелательное к себе отношение. В Государственной Думе благоприятно проходили и ею утверждались все дела моего Ведомства, включая и годовую смету Министерства Земледелия, быстро рассмотренную и одобренную на двух последовавших одно за другим заседаниях – 23-го и 24-го марта 1916 года.

1 См. в «Приложении». Стенографический отчет заседания Государственной Думы 18-го февраля 1916 года.

2 Все помещенные мною здесь слова депутатов, так же, как и приводимые мною ниже выдержки из моей речи, взяты мною из стенографического отчета заседания Государственной Думы 18-го февраля 1916 года.

154

Переходя к воспоминаниям о моих служебных деловых отношениях с Верхней Палатой, должен прежде всего отметить, что, хотя члены Государственного Совета, по сравнению с законодателями Таврического Дворца, обычно отличались в своих мнениях и выступлениях большей сдержанностью и уравновешенностью, но в описываемое тревожное время заметно и среди них проявлялась повышенная нервность, отражавшаяся на общем характере занятий и самом их поведении. Недаром думские оппозиционные течения, приведшие в 1915 году к образованию Прогрессивного блока, нашли живой отклик и среди некоторой части законодателей Мариинского. Дворца, поддавшихся влиянию упадочных настроений столичного общества и не мало способствовавших своими, в государственном смысле необдуманными, действиями еще большему разваду правившего, центра.

Я не буду говорить о моих выступлениях, как Министра Земледелия, и о прохождении в Государственном Совете сметных предположений моего Министерства. В этом отношении для меня, как Министра, все обстояло более чем благополучно, и эта область моей деятельности не вызывала никаких осложнений. В иных условиях приходилось мне иметь дело с Верхней Палатой по вопросам, касавшимся моей деятельности, как председателя Особого Продовольственного Совещания.

Сначала Государственный Совет не принял столь близко к сердцу все эти жизненные, продовольственные и хозяйственные вопросы, как то сделала Государственная Дума. Мне казалось, что верхняя палата довольствуется сообщениями об общем ходе продовольственной работы, которые она могла получать от членов Государственного Совета, участвовавших в заседаниях Особого Совещания. Но видимо думский пример оказался заразителен. В первой половине марта месяца 1916 года, среди группы членов Государственного Совета, возникло намерение затребовать от Министра Земледелия разъяснений по тем же вопросам, по которым он недавно уже высказался в Государственной Думе.

Должен сознаться, что, получив этот запрос за подписью 52 членов верхней палаты, я мысленно немало на этих лиц попенял за, как мне показалось, безцельность их выступления. Больше того, что я сказал с Думской трибуны, сообщить членам Государственного Совета в то время я не имел возможности. Значительное большинство моих коллег по верхней палате в этом отношении были одного мнения со мною, в чем они мне откровенно признались 21-го марта 1916 года, в день, намеченный для моего выступления.

В этот день состоялся мой дебют в общем собрании Государственного Совета, заседание которого, по соображениям

высшей политики и военно стратегического порядка, председателем было объявлено закрытым. Главными застрельщиками обращенного ко мне запроса являлись: кн. Н. В. Щербатов, незадолго до того избранный в председатели Всероссийской Сельскохозяйственной Палаты и спешивший, видимо, так или иначе проявить свою новую роль радетеля интересов отечественного сельского хозяйства; Владимир Иосифович Гурко, человек, по складу своего характера вообще беспокойный, да при этом немало тосковавший об утраченной им власти и положении; Уфимский земский избранник гр. А. П. Толстой, выступавший по совершенно аналогичным побуждениям, как и Саратовский думский депутат Масленников; проф. Иван Христофорович Озеров, всегда готовый, при всяком удобном и неудобном случае, преподавать аудитории свои излюбленные академические советы по части упорядочения финансово экономического положения страны, и еще некоторые другие.

Как сам запрос, изложенный тенденциозно, так и речи, не носили характера серьезной деловой заинтересованности, а скорее били на показной эффект, больше отличаясь пустым фразерством и вместе с тем явной неосведомленностью о действительном положении вещей.

В особенности возмутил меня Гурко, бросивший на всю залу заседания такую фразу:

– Все как будто работают, что то делают!., а воз и ныне там!.. Нет! видно подгнило все в нашем государстве!..

И подобные хлесткие фразы говорили люди, толком не интересовавшиеся всей той огромной работой, которой были заняты не только лучшие столичные ведомственные силы, но и многочисленные, разбросанные по всей стране, лучшие представители местной власти и общественности.

За пять месяцев моего управления Министерством Земледелия и продовольственным снабжением, я никого из выступавших ораторов в будничной рабочей обстановке подведомственных мне отделов не встречал, как ни с кем из них на злободневные темы по сельскому хозяйству и продовольствию не имел случая когда либо серьезно и обстоятельно беседовать. Видимо, в обычное время это их мало интересовало. В состав членов Особого Продовольственного Совещания эти лица также не входили.

Усталый, сидел я на своем министерском месте, слушал эти цветистыя, громкия фразы, являвшиеся вызовом и кровной обидой для многочисленных самоотверженных работников продовольствия, моих сотрудников. Невольно я спрашивал себя: к чему вся эта крикливая шумиха? Какую цель преследуют голословные вопли людей, не потрудившихся даже более обстоятельно ознакомиться с тем, о чем они с таким вызывающим апломбом позволяли себе говорить?! Вывод складывался у меня как бы сам собой далеко не в пользу выступавших со своими хлесткими речами инициаторов предъявленного мне запроса.

С нелегким сердцем и не остывшим возмущением, в особенности против Гурко, поднялся я на кафедру и приступил к своей «правительственной» отповеди. В начальной части своего выступления я, в силу необходимости, вынужден был держаться лишь строго деловых рамок изложения, изобиловавшего целым рядом всевозможных цифровых выкладок и ведомственных справок. Но, мало по малу, переходя к общим соображениям и выводам, я стал отвечать на то, что говорили затронувшие мое ведомственное самолюбие ораторы. Дойдя до оценки выступления В. И. Гурко, я почувствовал, что больше сдерживать себя не могу, и со всей силой накипевшего во мне гнева обру-

шился на того, кто посмел во всеуслышание произнести относительно государственного вопроса наглую ложь, будто «воз» продовольственной работы «и ныне там». Слова эти я подверг беспощадной критике, я опроверг их рядом неоспоримых фактических данных, я бросил жестокий укор как самому Гурко, так и его единомышленникам, которые, вместо активного сотрудничества с патриотами, которые самоотверженно трудятся над государственным делом огромного значения, занимаются голословной критикой. Это не только не содействует общей работе, но подрывает энергию и силы ее участников.

– Если бы вы, – закончил я свою речь, обратившись непосредственно к сидевшему внизу в одном из первых рядов Гурко, – хотя бы раз сами зашли в продовольственный отдел Министерства и пожелали узнать действительное положение вещей, вероятно вы убедились бы, что этот колоссальный государственный «воз» ныне не стоит, а, правда – медленно, но верно движется в нужном направлении! Настало время, когда я призываю всех себе на помощь, и было бы достойно каждого русского гражданина посильно помочь везти со всеми нами этот необходимый для государственного благополучия «воз»! Но, конечно, это было бы куда тяжелее, чем здесь говорить красные слова!..

Речь моя вызвала в стенах Мариинского Дворца необычайное явление: со всех сторон раздались шумные одобрения и даже... долго не смолкавшие рукоплескания. Ко мне тотчас подошли многочисленные мои сочлены. Они протягивали мне руки и приветствовали с успехом моего выступления. А Гурко после заключительных моих слов, видимо не на шутку взбешенный, сорвался со своего места, что то начал по моему адресу

кричать и стремительно бросился ко мне, но был тотчас же оставлен плотной стеной обступивших меня членов Государственного Совета.

Этим завершилось мое единственное выступление в Общем Собрании Верхней Палаты. Вторично я должен был с кафедры Государственного Совета говорить спустя ровно три месяца – 21-го июня, но по независящим от меня обстоятельствам, выступление это не состоялось, послужив, между прочим, поводом ухода моего с министерского поста. Об этом я дальше расскажу подробнее. Здесь же считаю уместным отметить, что насколько необоснованным казался мне запрос, на который я вынужден был давать разъяснения в общем собрании Государственного Совета 21-го марта, настолько же намеченное на 21-е июня выступление перед членами верхней палаты представлялось мне желательным и необходимым. Не случайно с этим несостоявшимся моим выступлением оказалась в непосредственной связи дальнейшая участь моей министерской службы.

155

Моя прошлая министерская деятельность обязывала меня входить в непосредственные сношения с Государем Императором, иногда и с Государыней Александрой Феодоровной. Я хочу восстановить в своей памяти некоторые подробности Высочайшего приема, который последовал после указа о моем назначении министром, и на который я возлагал последнюю надежду освободиться от столь неожиданно выпавшей на мою долю высокой и почетной, но представлявшейся мне невыносимо тяжелой участи.

Я уже упоминал, что 1-го ноября 1915 года я заявила И. Л. Горемыкину о своем отказе принять министерский пост. Я стремился лично об этом доложить Государю, но Его Величество был на фронте. Пришлось, по совету того, же Горемыкина, послать о своем отказе Государю письмо, в ответ на которое последовала Высочайшая резолюция о моем назначении.

В половине ноября 1915 года, когда Государь возвратился в Царское, 20-го ноября, я получил возможность явиться к Его Величеству и снова высказать то, что в письменной форме успеха не имело. Стоял чудный, яркий зимний день. Проезжая с вокзала во дворец, я любовался снегом занесенным и солнцем залитым Царским Селом, с наслаждением вдыхал морозный прозрачно чистый воздух, так отличавшийся от испарений туманного, дымом закопченного Петрограда. Это придало мне бодрости.

Государя я давно не видал. Его Величество приветливо принял меня в своем светлом, знакомом мне, кабинете. Он имел заметно утомленный вид и показался мне на много лет постаревшим. Я поспешил выразить Государю мою верноподданническую признательность за оказанное мне милостивое доверие и высокую честь. В ответ на это Его Величество, лестно обо мне отзывавшись, поинтересовался узнать подробности моего вступления в должность и мои первые служебные впечатления.

Я ответил на предложенные мне вопросы и постарался использовать данную мне аудиенцию, чтобы изложить, почему меня надо освободить от министерских обязанностей. Горячо и с полной искренностью старался я убедить Государя в основательности моих доводов, сводившихся к несовместимости должности Министра Земледелия и председателя Особого Продовольственного Сопровождающего. Я повторил в еще более ясной и подробно мотивированной форме то, что было изложено 1-го

ноября, в представленном через Горемыкина всеподданнейшем моем письме. В дополнение я решился высказать Государю еще ряд соображений, и откровенно сказал, что министерские назначения последнего времени порождают столичные слухи, которые компрометируют доброе имя лиц, призываемых к власти. При этих словах, ранее спокойно слушавший меня, Государь как бы очнулся, нервно одернулся и, вскинув голову, резко мне заметил:

– Вас назначил... я!

Все же я не преминул напомнить Его Величеству что всей моей прошлой общественной и служебной деятельностью я не был подготовлен к занятию министерской должности, о которой я никогда не помышлял.

– В этом отношении, – продолжал я свои признания Государю, – вероятно, я резко отличаюсь от всех тех служилых лиц, которые заранее намечают себе высокую сановную карьеру, усиленно подготовляясь к ней и заблаговременно подбирая себе нужных помощников...

– Ну, по этой части – вновь прервал меня Государь – вам нечего беспокоиться! От вашего предшественника к вам переходит хорошо подобранная группа сотрудников.. А. В. Кривошеин был умелый антрепренер!..

Кроме этих двух замечаний, Государь все последующее время аудиенции слушал меня молча, часто пристально в Меня всматриваясь и, как мне казалось, сочувственно относясь ко всем моим соображениям, и во мне, по мере того, как я говорил, росла уверенность в конечном успехе моего ходатайства. Но, когда, исчерпав свои доводы, я замолчал, Государь, протягивая мне на прощанье руку промолвил:

– Я вас ценю и приветствую, как хозяина практика и живого человека...

Сделав затем небольшую паузу и привычным своим жестом нервно одернувшись, Его Величество решительным тоном добавил:

– Прошу вас бывать у меня с докладами, так же, как приходил ко мне Кривошеин, – по понедельникам. Желаю вам от души полного успеха и рассчитывайте на мою помощь...

Признаюсь откровенно, подобным оборотом дела я был немало озадачен, так как ожидал другого. После заключительных слов Государя мне осталось лишь откланяться и подчиниться воле моего Монарха. Не успел я дойти до выходной двери, как Его Величество бросил мне в догонку:

– Не забудьте мне в срочном порядке подать доклад об освобождении вас от участия в Верховной Следственной Комиссии.

Обласканный, но и разочарованный, покинул я Царско-сельский Дворец, чтобы сразу приняться за исполнение новых министерских обязанностей.

Через два дня, в понедельник, 23-го ноября, состоялся мой очередной доклад Государю. Невольно, со всей остротой и в мельчайших подробностях, припомнился мне первый мой прием у Его Величества, имевший место ровно десять лет тому назад и происходивший в наиболее острый период аграрно-революционного брожения 1965 года. Иная была тогда обстановка и иные были в то время речи.

Мой выезд в Царское Село с первым, в качестве Министра, всеподданнейшим докладом, отмечен в моей памяти одним обстоятельством, не лишенным своего рода фатальности. Войдя в

министерский вагон, я нашел другого, уже сидевшего там, министра – адмирала Григоровича. При виде меня, он сделал радостный жест и в самых искренних выражениях приветствовал мое появление с министерским портфелем в руках. «Какая ирония судьбы!» – записал я в моем дневнике. Действительно, вместо поездки в качестве члена Верховной Следственной Комиссии в Царицын, для немало смущавшей всех заинтересованных лиц ревизии деятельности пушечного завода; я попадаю в царскосельский вагон и как только что назначенный министр, еду к Царю с первым министерским докладом, в котором ходатайствую от освобождения меня от обязанностей члена Верховной Следственной Комиссии. Первый, кого я по дороге встречаю, был Морской Министр – глава именно того ведомства, отношение которого к созданию и деятельности Царицынского завода вызывало с моей стороны ряд серьезных недоумений.

В день моего первого министерского, доклада в Царском – на представленном мною всеподданнейшем ходатайстве об исключении меня из состава Верховной Следственной Комиссии Государь собственноручно начертил резолюцию: «Согласен». Таким образом я был освобожден от своих следственных полномочий и обязанностей. Через час после приема меня Государем, я очутился вновь вдвоем с адмиралом Григоровичем, с которым мы принялись мирно и интересно беседовать за завтраком, обычно предлагаемым приезжим из столицы министрам в одном из служебных апартаментов Царскосельского Дворца. Наши с Иваном Константиновичем совместные поездки и такие же оживленные завтраки повторялись во все последующие приемные наши царскосельские «понеделники».

Первый мой министерский доклад прошел в обстановке исключительно приветливого и задушевно теплого ко мне от-

ношения Его Величества. Неоднократно приходилось мне и ранее бывать в Царскосельском Государством кабинете, причем Августейший Хозяин принимал меня обычно стоя у ближайшего от входной двери огромного окна.

В этот же раз, когда я впервые появился в качестве Министра докладчика, я был Его Величеством приглашен присесть к обширному, глаголем расположенному, письменному его столу. Прежде чем приступить к своему докладу, я обратил внимание на впервые замеченный мною на груди Государя скромно белевший эмалевый крест Георгия Победоносца, недавно им надетый и, видимо, доставлявший Его Величеству чувство радостного удовлетворения. На мое приветствие с подобным высоким боевым отличием Государь Николай Александрович, закулив папироску, стал совершенно запросто, по домашнему, но с заметным оживлением делиться своими впечатлениями по поводу всего им виденного во время фронтовых поездок и при посещении боевых позиций. Его Величество неоднократно отмечал то удовольствие, которое ему доставляло всеобщее воодушевление и патриотический подъем в войске и населении. С необычайным жаром беседуя на эту тему, Государь как бы весь переродился, стал бодрым и жизнерадостным, заметно помолодел...

Не могло быть сомнения, что достоинство России и судьба ее защитницы, Императорской Армии, стояли для него выше всего!.. «Займемся же теперь нашим делом», наконец, прервал Его Величество сам себя и предложил мне приступить к докладу. Основной его частью была сводка унаследованного мною от Кривошеина продовольственного дела и перечисление намеченных мною в этой области мероприятий.

Продовольственные вопросы занимали во всех всеподданнейших моих докладах первенствующее место. Его Величество

ими всегда особенно интересовался и заставлял меня держать его в курсе всех работ и постановлений Особого Продовольственного Сопровождающего. Чисто ведомственные дела, обычно представляемые Министром на Монаршее благоволение, по вполне естественным причинам, должны были отходить на задний план, кроме тех мероприятий Министерства Земледелия, которые, будучи органически связаны опять таки с продовольственным снабжением армии и тыла, принимались в целях поддержания отечественного сельского хозяйства. Война, довольствие армии и спокойствие тыла – вот что тогда в первую голову являлось предметами всеобщих забот.

Излагать свои очередные дела старался я сжато и кратко, но все же доклад мой затянулся на довольно продолжительное время, в течение которого Его Величество, не прерывая, слушал меня с напряженным вниманием. В заключение он одобрил все мои плановые предначертания и обещал распорядиться об удовлетворении моего ходатайства по поводу принятия немедленных мер для установления в продовольственной области согласованности действий фронтовых властей с моими распоряжениями.

Закончив свой доклад, я тотчас же принялся складывать в портфель свои деловые бумаги, чтоб немедленно откланяться и покинуть кабинет, но Государь меня еще надолго задержал своими расспросами прямою семью. Узнав о предстоящей свадьбе моей старшей дочери, он пожелал узнать некоторые подробности о семействе Поливановых. Его Величество стал мне задавать еще целый ряд вопросов, касавшихся моего головкинского имения и ведения его хозяйства, одновременно расспрашивая про Самарскую губернию, со времени ее образования и о настроениях местного приволжского населения. По этому поводу припомнились слышанные мною в Головкине осенью 1915 года и

запечатлевшиеся в моей памяти по своей глубокой патристичности слова одного чердаклинского¹ мужичка, который на мое приветствие – «Как здравствуешь?» – бодрым голосом простецки мне ответил

«Ничего, Лександр Миколаевич, живем помаленьку! Вот, двое моих сыновей с немцами дерутся, а придет нужда – и сам на царскую службу пойду!» Этот диалог с чердаклинским мужичком я не преминул пересказать Государю, который, выслушав его, как бы весь просветлел и еле слышно промолвил: «Спасибо им»... Отпуская меня, Его Величество пригласил, буде по ходу дел потребуется, бывать с докладами в Могилевской Ставке и пожелал мне в дальнейшей работе полного успеха.

Не могу здесь не отметить, что первый мой министерский доклад произвел на меня неизгладимое впечатление. Он прошел в условиях удивительной простоты, искренней приветливости и теплой задушевности. Принятие мною министерского поста отозвалось в то время на всем моем самочувствии чрезвычайно угнетающим образом, но тот сердечный, ласковый прием и чарующая манера обращения со своими Министрами, которое я встретил со стороны моего Монарха, заставили меня забыть о трудностях моего нового положения и воодушевиться искренним желанием посылно придти на помощь Его Императорскому Величеству в его огромном деле государственного управления.

После некоторого перерыва, во время которого мы с адмиралом Григоровичем успели позавтракать, я был приглашен в том же Царскосельском Дворце на прием к Государыне Александре Феодоровне. Мне показалось, что с тех пор, как я ее не видал, она заметно осунулась и похудела. Представляясь ей в качестве вновь назначенного Министра, я удостоился от ее Ве-

личества выслушать несколько милостивых замечаний, отмечавших мою «деловую опытность» и «близкое знакомство с деревней».

Принимая меня, Императрица пригласила меня сесть к ее рабочему столу и сразу же перешла к обсуждению живо интересовавшего ее вопроса об организации Всероссийского Кустарного Комитета. В противоположность Государю, Императрица не ограничивалась задаванием одних вопросов. Она сама на довольно правильном русском языке старалась меня ввести в курс дела, которому она придавала серьезное государственное значение, и с которым она просила меня спешно и обстоятельно ознакомиться, представив ей мои соображения соответственно с ее резолюциями, ранее начертанными на докладах моего предшественника. В общем прием мой продолжался недолго. Отпуская меня, Государыня пожелала мне полного успеха в предстоящей деятельности.

Впечатление я вынес от этого приема самое отрадное. Императрица была приветлива и искренне благожелательна в особенности мне понравился ее живой, серьезный деловой интерес. Говорила она сжато, но умно и властно. Посторонних вещей она не касалась, о них не спрашивала, почти исключительно придерживаясь волновавшей ее темы об упорядочении и процветании русской кустарной промышленности.

Не могу не рассказать некоторые подробности о следующем моем всеподданнейшем докладе, имевшем место 23-го декабря 1915 года и ознаменовавшемся совершенно неожиданным для меня обстоятельством. Надо сказать, что в утренние часы «приемных» для меня «понедельников», совместных с Морским Министром, очередь докладов соблюдалась всегда одна и та же – сначала у Государя бывал Адмирал Григорович, а

за ним следовал мой доклад. Так было и в этот раз, но в упомянутый день, вместе с Морским Министром, были приняты Начальник Штаба адмирал Русин и генерал Вильчковский, только что вернувшиеся из заграничной командировки и вызванные в Царское для личных всеподданейших докладов.

До приема их Государем, я встретил их в министерском вагоне на пути в Царское Село и имел с ними чрезвычайно интересную беседу. Русин и Вильчковский успели поделиться со мной своими заграничными впечатлениями, сводившимися к следующим выводам. По их словам, общее настроение во Франции в то время было удивительно бодрым и повсюду наблюдалась поразительная дисциплина. Перейдя к оценке флотов, сначала английского, адмирал Русин отнесся к нему явно отрицательно, усматривая основной его недостаток в том, что все командование сосредоточено было в Лондоне.

Что же касается немецкого флота, то Русин отозвался о нем, как об организации относительно новой, еще не успевшей приобрести ни нужного навыка, ни должных традиций.

Необычайный интерес представляли из себя показанные Русиным с Вильчковским фотографические снимки, сделанные французскими авиаторами с немецких боевых позиций и затем искусно увеличенные. Ясность и детальность этих фотографий были изумительны. На них можно было даже рассмотреть проволочные заграждения и было рельефно обозначено расположение батарей, как действующих, так и обманных; около последних на означенных снимках не было видно проложенных тропинок, и не было заметно лучей, обычно исходивших из действующих батарей при обстреле.

Прием Государем адмирала Григоровича, совместно с Русиным и Вильчковским, оказался чрезвычайно продолжитель-

ным, затянувшимся более чем на полтора часа, так что мне пришлось войти в Государев кабинет лишь в 12 ч. и 30 м. дня. Доклад предстояло мне сделать длинный, так как, в силу моей затянувшейся болезни, я не смог быть в очередные приемные дни у Государя.

Только что я приступил к деловому докладу, как вдруг одна из дверей, соединявшая кабинет с внутренними апартаментами, тихо растворилась и в ней, к моему изумлению и радости, показался Наследник, одетый в солдатскую цвета хакки форму. Его Императорское Высочество я давно не видал и был приятно удивлен. Он значительно вырос, возмужал, нисколько не хромал, выглядел совершенно здоровым, удивительно красивым мальчиком. Правильные и привлекательные черты его несколько смуглого лица теперь резче обозначались и гармонировали с чарующим выражением больших, темно карих, умных, прекрасных его глаз.

Подойдя на цыпочках к отцу, Наследник ему на ухо сказал: «Там все тебя ждут к завтраку». Я встал и поклонился Его Высочеству, после чего Наследник подошел ко мне, протянул мне свою ручку и затем вернулся к отцу.

Государь предложил мне продолжить начатый доклад, я стал излагать его, а передо мной была незабываемая картина, – два дорогих для русского сердца существа, – Государь – отец с прислоненной к его щеке темно кудрой головкой его сына – Наследника. Всю последующую часть доклада я провел в особо приподнятом, радужном настроении. На меня смотрели не только обаятельные глаза Царя, но рядом с ними еще и другая пара подобных же, лишь с детским выражением, глаз милаго отрока – Цесаревича. Это счастье не один раз выпадало на мою долю. Надо было видеть, как радовался всегда сам Государь

приходу своего горячо любимого сына, который, припав к отцовской щеке своим очаровательным личиком, внимательно прислушивался к разговору Царя с его министром.

Помню, как однажды (18-го января 1916 г.) я докладывал Государю о деятельности отдела сельского строительства, на обязанности которого было популяризировать практические сведения о сельском строительстве в особых брошюрках. Они были превосходно изданы с чертежами, планчиками и картинками, отпечатанными в красках. Издание это Его Величеству чрезвычайно понравилось, и он как бы про себя заметил: «Их надо показать Алексею Николаевичу». Вскоре пришел Наследник и Государь поспешил передать ему эти книжки. Алексей Николаевич сейчас, же забрал их себе, разложил на диване и принялся их со вниманием рассматривать, нередко обращаясь ко мне за разъяснениями. Само собой, Его Высочество больше всего занимали раскрашенные картинки домиков и домашних животных. С той поры Наследник стал проявлять ко мне явное расположение. При дальнейших наших встречах в Могилевской Ставке нередко он удостаивал меня своим вниманием, расспрашивал про Волгу, про моих семейных, про нашу жизнь. Его особенно интересовало, что делает его сверстник, мой старший сын Александр. Не без явной зависти выслушивал милый Августейший собеседник мои рассказы о том, как наш сын научился недурно ездить верхом, грести на лодке, как удачно он в нашей купальне рыбачил... «Какой он счастливый!» – с грустью в голосе говорил Царственный отрок, – «а мне все это строго запрещают!» При этих словах сердце сжималось жалостью к бедному мальчику, и невольно западал в душу суеверный страх за его будущее!

1 Селение Чердаклы находится в 25 верстах от с. Головкина.

В бытность мою министром, я побывал у Государя не более двадцати раз, из которых в семнадцати случаях являлся к Его Величеству со своими служебными докладами. Государь большей частью меня принимал в Царскосельском Дворце, но пять раз я выезжал всеподданейше докладывать в Могилевскую Ставку.

Я не буду останавливаться на описании подробностей моих Царскосельских докладов, каждого в отдельности. Об общем их характере я скажу несколько ниже. Доклады обычно протекали в более или менее одинаковых условиях, – все те же понедельники и утренние часы, та же приемная, в которой приходилось нередко подолгу беседовать с лицами из ближайшего царского окружения; тот же Государев кабинет с его глаголеобразным письменным столом. Единственно, что иногда нарушало порядок Царскосельских докладов – это – всегда радостное, как для Государя, так и для его министра, – появление в отцовском кабинете Наследника Цесаревича.

Не так обстояло дело с Могилевскими докладами. Начать с того, что самая форма одежды для приезжавших в Ставку министров была иная, чем для обычных Царскосельских приемов. Вицмундирный фрак заменялся для Могилева походной формой, представлявшей собою для министров некоторое подобие одежды участников действующей армии. Военного покроя «френч» цвета «хакки», шашка, высокие сапоги со шпорами – все это придавало министрам в некотором смысле боевой вид. Только плечевые жгуты, вместо погон, да гражданская кокарда на форменной фуражке выдавали, что мы штатские тыловые чины. Могилевские доклады происходили всегда в разные, особо назначенные Государем дни и часы. Все приезжавшие в

Ставку министры обычно приглашались к Высочайшим трапезам, к завтраку или обеду, за которым приходилось встречаться с рядом новых лиц, не считая постоянных их участников свитских, или проживавших в Могилеве представителей военных миссий союзных держав. Помимо этого, лично для меня, как Министра Земледелия, состоявшего одновременно Председателем Особого Продовольственного Совещания, каждая поездка в Верховную Ставку, сопровождалась деловыми свиданиями с многочисленными гражданскими и военными властями, осмотром местных ведомственных учреждений, иногда даже заездами в штабные центры действующих фронтов.

Первую свою поездку в Могилев я предпринял в начале января 1916 года, не столько в силу накопившихся для всеподданнейшего доклада дел, сколько вследствие необходимости скорейшим образом разрешить на месте ряд сложнейших продовольственных вопросов, возникших частью в центре сахарного производства – Киеве, частью в районе юго западного фронта.

Считаю небезинтересным остановиться более подробно на описании моих докладов в Ставке. Тем более, что в некоторых случаях мои Могилевские аудиенции у Государя носили исключительный характер.

Выехав 3-го января в сопровождении С. Н. Ленина и Н. А. Гаврилова из Петрограда, я на другой день использовал свой проезд через Москву для свидания с съехавшимися со всех концов России представителями Губернских земств, которые были моими уполномоченными по продовольственным операциям. Этот съезд, созданный для обсуждения целого ряда основных вопросов, касавшихся приобретения и распределения продуктов питания первой необходимости, заседал в здании Московской Губернской Земской Управы, куда я в сопровождении ее Председателя А. Е. Грузинова, проехал прямо с вокзала. Под

моим председательством состоялось совещание по наиболее животрепещущим продовольственным вопросам. С многими из присутствовавших я был раньше знаком по прошлым всероссийским съездам. Говорить с ними мне было легко. Я сам принадлежал к этой родной мне земской среде. Закрывая наше совещание, я обратился к участникам Съезда с горячим призывом протянуть мне руку помощи для преодоления огромного государственного дела, требовавшего всеобщего энергичного сотрудничества. Мои слова нашли единодушный отклик среди участников съезда и они обещали оказать мне полное содействие для выполнения намеченных мною продовольственных заданий...

Вспоминая прошлое, могу засвидетельствовать, что эти земские деятели, большинство из которых состояло председателями Губернских Управ, крепко сдержали данное ими слово: – продовольственное их сотрудничество нельзя иначе назвать, как работой самоотверженной, преисполненной любовью к родине и сознанием важности принятой ими на себя ответственности.

Не могу не привести один факт, в достаточной степени характеризующий жертвенно идейное отношение земских людей того времени к общей нашей работе. В возмещение расходов, вызываемых исполнением продовольственных обязанностей, я предложил земским уполномоченным по продовольствию суточное вознаграждение в размере десяти рублей, на что от всех них получил решительный отказ.

Через год с небольшим картина резко изменилась. При Временном Правительстве в состав продовольственных уполномоченных влились иные силы, и в их настроении свершился крутой перелом. В конце марта 1917 года Товарищ Министра Продовольствия, мой земляк – самарец В. Н. Башкиров привел

мне в пример такую параллель: в бытность мою Министром, на работу продовольственных организаций в Самарском районе никаких правительственных денежных ассигновок не отпускалось. При Временном же Правительстве на один означенный район на оплату продовольственных учреждений предположено было выдавать до 11 миллионов рублей. В результате, накладные расходы по заготовке продовольственных продуктов за год со времени моего ухода из Министров выросли на 100 и более процентов.

Вечером, 4 янв., я выехал из Москвы через Орел и Курск, где принимал продовольственные доклады от Председателей Губернских Земских Управ: умного С. Н. Маслова и обстоятельного К. А. Раппа. На следующий день, к четырем часам дня, я прибыл в Киев, где был встречен многочисленной группой местных чинов, во главе с Киевским губернатором гр. А. Н. Игнатьевым и председателем Киевской Губернской Земской Управы М. А. Суковкиным. В парадных комнатах Киевского вокзала, где состоялся общий прием, находились губернаторы Таврический и Бессарабский, чины Министерства Земледелия, несколько депутатов и ряд уполномоченных по продовольствию Киевской, Волынской, Подольской и других смежных губерний. Города Киева мне не пришлось увидеть. Прямо с вокзала в закрытом автомобиле меня увезли на обед к местному Губернатору, после которого я должен был спешить на два заседания, сначала – областного съезда сахарозаводчиков, а затем – продовольственного совещания, закончившегося лишь к 11 ти часам вечера. В том же автомобиле меня доставили на вокзал, где я принял еще нескольких лиц, а в 12 часов ночи я выехал из Киева по направлению к г. Бердичеву, где находилось центральное Управление Штаба Юго Западного фронта.

На последних двух заседаниях в Киеве настроение было нервное и напряженное, вследствие, с одной стороны, чрезмерных своекорыстных требований сахарозаводчиков, а с другой, крайне натянутых отношений, создавшихся у продовольственных работников Киевского района с представителями главного командования Юго Западного фронта.

Первое, что пришлось выслушать от явившегося ко мне в вагон председателя Киевской Губернской Земской Управы Суковкина, был его отказ от обязанностей продовольственного уполномоченного. Он считал невозможным иметь дело с грубым и чрезмерно придиричивым Начальником Штаба Юго Западного фронта, ген. Мавриным. Его заявление отражало общее мнение и настроение всех местных моих сотрудников по закупке продовольственных продуктов. Пришлось немало усилий употребить, чтоб их умиротворить. Подействовало, главным образом, мое обещание упорядочить сложившиеся ненормальные отношения путем моих переговоров как с Главнокомандующим Юго Западной армией, генералом Н. И. Ивановым, так и с самим генералом Мавриным.

Что касается съезда сахарозаводчиков, то, откровенно говоря, он произвел на меня довольно расхолаживающее впечатление. Надо сказать, что на этот съезд собрались почти все наиболее известные и крупные сахарозаводчики: графы Бобринские, гр. Мусин Пушкин, Бродский, Харитоненко и др. Представляя мне участников съезда, М. А. Суковкин обратил мое внимание на скромно себя державшего молодого человека, с бритым и довольно выразительным лицом американского типа, из выдающихся деятелей последнего времени. Это был М. И. Терещенко, впоследствии вступивший в состав революционного Временного Правительства в качестве его первого Министра Финансов.

Стремясь в продовольственной политике установить плановое единство управления, я, естественно, имел в виду подобное же единство и в области снабжения армии и населения сахаром, регулируя из центра его заготовку, оплату и распределение. В этих целях решено было в Киеве, являвшемся средоточием всего российского сахарного производства, организовать особое учреждение, которое служило бы местным филиалом центрального общеимперского продовольственного органа по сахарному снабжению. Этот план Министерство Земледелия выработало в полном согласии с Особым Продовольственным Совещанием. Но он пришелся многим крупным влиятельным сахарозаводчикам далеко не по вкусу, так как ставил для их все разыгрывавшихся аппетитов твердые преграды. Вот почему на Киевском съезде г.г. сахарозаводчики стали сначала несмело, а затем и более рьяно выступать с критикой принятых мною мер, которые они объявляли стеснительными для производства и сбыта сахара, а также убыточными для его производителей. Один из участников съезда, крупный сахарозаводчик Бродский, позволил себе сделать намек на то, что все означенные мероприятия принимались исключительно лишь в целях предоставления правительству удобств по надзору за сахарным производством и его учету. В своей ответной речи я высказал по этому поводу резкий протест, сославшись на ряд данных, с достаточной убедительностью показывавших, что намеченные мною меры проводились в жизнь в интересах всего населения. В конце концов, съезд присоединился к нашему проекту общеимперской централизации всего дела сахарного снабжения и образования в Киеве особого в этих целях распорядительного бюро.

Вопросы, обсуждавшиеся на обоих киевских съездах, так живо затрагивали их участников, что часть их просили позволения выехать со мною из Киева с тем, чтоб в вагоне еще выяснить некоторые детали наших злободневных продовольственных дел. Наши вагонные собеседования затянулись до двух с половиной часов утра.

6-го января, в 10 утра, мы подъехали к Бердичеву. Надо сказать, что из самого Петрограда в моем поезде, но в отдельном своем служебном вагоне, ехал Министр Путей Сообщения А. Ф. Трепов, у которого по пути велись свои ведомственные разговоры с подначальными ему лицами. Ему по делам транспорта надо было повидать представителей Главного Командования Юго Западного фронта. На Бердичевском вокзале нас встретил генерал адъютант Н. И. Иванов, генерал Маврин, член Государственного Совета С. Н. Гербель, состоявший в то время моим Главноуполномоченным в юго западном районе, Волынский и Подольский губернаторы и ряд ведомственных чинов.

Первый, кто вошел ко мне в вагон – был Гербель, с которым меня связывала давняя и прочная дружба. Из его слов я понял, какая невероятно тяжелая обстановка создалась в отношениях представителей центрального Продовольственного Ведомства с штабным командованием, допускавшим в сношениях с нашей агентурой ничем неоправдываемую резкость, придиричливость и нервировавшую раздражительность. Особенной грубостью и деловой нетерпимостью отличался Начальник Штаба генерал Маврин.

Вскоре, вслед за Гербелем, вошли ко мне в вагон Главнокомандующий Юго Западной армией генерал адъютант Николай Иудович Иванов, в сопровождении генерала Маврина. Выше среднего роста, плотный, с широким, чисто русским лицом, обрамленным большой, темно русой, с сильной проседью, густой

бородой, Иванов, одетый в походную генеральскую форму, с двумя Георгиями на груди, оказался собеседником мало разговорчивым, явно чем то расстроенным. Он обо всем отзывался крайне пессимистически. Оба – Иванов и Маврин – были явно переутомлены, неохотно отвечая на мои вопросы о ходе боевых действий. Когда я спросил о возможности наступления нашей армии, Иванов мрачно промолчал, а генерал Маврин только рукой махнул.

В тот же день, 6-го января, в небольшой комнате Главнокомандующего состоялось многочленное совещание по вопросам, связанным с продовольствием и с железнодорожным транспортом. Участвовало на этом совещании несколько генералов с Н. И. Ивановым во главе, два Министра (Трепов и я), С. Н. Гербель, С. Н. Ленин, главный полевой интендант генерал Д. С. Шуваев и ряд офицеров военного штаба.

С первых же слов определилось коренное расхождение во взглядах на постановку продовольственно транспортного дела между представителями Главного Командования Юго Западного фронта и всеми нами, руководителями министерской работы в центре. Генерал Иванов, поддерживаемый резкими выступлениями генерала Маврина, с необычайным упорством отстаивал свою точку зрения, сводившуюся к необходимости в деле продовольственного снабжения признать за всей примыкавшей к Юго Западному фронту областью России полную районную автономию. Иначе говоря, генерал Иванов имел в виду совершенно отрезать от остальной России и других фронтов всю плодороднейшую юго западную окраину, с ее богатыми запасами и предстоящим урожаем. Все изобилие продуктов этой области он предлагал направлять на нужды его фронта.

Все наши доводы о явной несправедливости и нецелесообразности подобного требования оказались безуспешны. Ряд ясных цифровых выкладок, говоривших об избытке в указанной области продовольственных запасов, что в ней, сверх того, что нужно для питания юго западной армии есть излишки, которыми надо воспользоваться для продовольствования остальных фронтовых и тыловых местностей России, не переубедили генерала Иванова и его единомышленников.

Затянувшиеся прения, которые велись в крайне нервном и приподнятом тоне, заставили в конце концов меня самым категорическим образом заявить, что я, как ответственный руководитель всего общеимперского продовольственного снабжения, обязан заботиться не только об одном Юго Западном фронте, но обо всей действующей армии. Я ни в коем случае не могу согласиться с точкой зрения представителей Главного Командования Юго Западной армии и безповоротно остаюсь при убеждении, что необходимо сохранить общее руководство всем делом продовольственного снабжения за центральным ведомством, которому должно подчиняться и Главное Командование Юго Западного фронта. Имея в этом отношении поддержку Министра Путей сообщения Трепова, генерала Шуваева и Главноуполномоченного по продовольствию Гербея, я предупредил генерала Иванова, что своей политики менять я не намерен, о чем, а также о встреченном в Бердичеве на этот счет разномыслии – сочту долгом довести до сведения Штаба Верховного Главнокомандующего.

Мое заявление положило конец нашим спорам. Совещание было закрыто. Оно оставило среди нас тяжелое впечатление, но делу принесло несомненную и существенную пользу: Ставка подтвердила представителям Главного Командования Юго За-

падным фронтом необходимость согласовывать их продовольственную деятельность с распоряжениями, исходившими из столичного руководящего Центра. Благодаря этому, взаимоотношения Петроградского ведомства и всей его местной продовольственной агентуры с военными чинами Юго Западного фронта пришли в нормальный порядок.

Отъезд из Бердичева состоялся вечером того же 6-го января, а на другой день, в два с половиной часа пополудни, мы были в Могилеве. Я принял там Губернатора Пильца и чинов моего ведомства и поспешил, перед назначенным мне на 4 часа дня всеподданейшим докладом, повидать Начальника штаба Верховного Главнокомандующего, генерала Михаила Васильевича Алексеева, с которым мне необходимо было предварительно переговорить о целом ряде продовольственных дел.

С вокзала я поехал на автомобиле по длинной невзрачной улице, с серенькими домишками, до просторной площади, окруженной белыми каменными солидными зданиями. Слева возвышался многоглавый собор. Против него, на краю спуска к Днепру, стояли почти рядом два белых дома: первый – поменьше, а за ним – более видный и поместительный, одной стороной примыкавший к обширному саду.

В первом доме помещался штаб Верховного Главнокомандующего и его начальник генерал Алексеев. В большом доме, ранее служившем квартирой губернатора, проживал со своей свитой Государь. Около парадного крыльца стоял военный караул и дежурили конвойцы.

Генерал Алексеев принял меня в сравнительно небольшой, узкой комнате, почти целиком занятой большим длинным столом, на котором была разложена подробная карта всех фронтов и боевых позиций. Как потом я узнал, в этой комнате, еже-

дневно, по утрам, происходили занятия Верховного Главнокомандующего с его Начальником Штаба, который по карте объяснял Его Величеству весь ход происходивших боевых действий. Меня встретил среднего роста, худощавый, скромный на вид генерал, в походной форме, с Георгием на шее. Усадив меня около письменного стола, Михаил Васильевич принялся меня расспрашивать про общее положение продовольственного дела и предупредил, что от этой области зависит многое для успешного ведения войны. Я видел перед собой человека с некрасивым, но умным лицом. Из-за очков смотрели на меня серые пронизательные глаза. Алексеев выглядел усталым, но не нервным. Он спокойно и обстоятельно обсуждал возникавшие вопросы

Об общем положении военных действий Михаил Васильевич избегал говорить. Он произвел на меня впечатление человека вдумчивого, знающего и толкового. Первоначально приветливостью он не отличался, но впоследствии, когда у нас установился прочный деловой контакт, Михаил Васильевич стал относиться ко мне с явным радушием и искренней благожелательностью.

Окончив переговоры, я от генерала Алексеева прямо направился в соседний, бывший губернаторский, дом, называвшийся ныне «дворцом». Пройдя сквозь строй военного караула, разделся в небольшой нижней передней, поднялся по скромно убранной лестнице во второй этаж и вошел в залу, служившую приемной для лиц, ожидавших царской аудиенции

Это была сравнительно небольшая комната с белыми стенами, паркетным полом, несколькими выходившими на площадь окнами. Обставлена она была чрезвычайно прост. Десятка два стульев вдоль стен и рояль, слева от входа – вот и все, что в ней находилось. В зале имелись три двери: одна выходила на

парадную лестницу, другая соединялась со столовой, а третья вела в кабинет Государя.

Ждать пришлось мне недолго. Его Величество встретил меня с присущей ему ласковой приветливостью, усадил против себя за свой небольшой письменный стол и предложил приступить к докладу. Поблагодарив за полученные мною к Новому Году Высочайшия награды, я перешел к подробному изложению всего хода налаженного мною продовольственного снабжения и дальнейших мер, которые были намечены, согласно выработанному мною, совместно с Особым Совещанием, плану действий. В виде иллюстраций, мною были представлены на благовоззрение Государя составленные моими сотрудниками интересные картограммы, где было отчетливо указано имевшееся в стране количество всякого рода продовольственных запасов. Не преминул я также указать на ту пользу, которую приносит «Совет пяти министров», как столичный центр, объединяющий представителей всех ведомств, так или иначе обслуживавших продовольственное снабжение. На мой взгляд такое же объединение повсеместно в провинции явилось бы в высокой степени желательной мерой, к осуществлению которой я имел в виду немедленно приступить. Его Величество все мною доложенное полностью одобрил, поблагодарил меня за мою работу и обещал оказывать во всех моих начинаниях твердую поддержку и защиту от возможных, как Государь выразился, – «посторонних помех и вмешательств».

Покончив с продовольственными делами, я перешел к изложению своего ходатайства о разрешении использовать в случаях, когда представится тому возможность, свободные тыловые войсковые части для сельскохозяйственных работ в период их наибольшей рабочей спешки, хотя бы для уборки предстояв-

шего урожая. Его Величество дал мне на это свое принципиальное согласие, после чего стал мне задавать вопросы, интересуясь знать мое мнение относительно общего экономического положения нашего отечества, в связи с предстоявшей в Париже конференцией по финансово экономическим вопросам. Государь неоднократно высказывал опасение относительно возрасставшей задолженности России, доходившей в описываемое время до 330 миллиардов золотых рублей, включая займы на войну 1914 года. В этом отношении я счел возможным всемерно успокаивать Государя. Я утверждал, что подобная цифра задолженности, сама по себе, несомненно, значительная, не представляется страшной при неисчерпаемых природных богатствах России. Но при непременном условии однако, чтоб использование этих богатств в целях финансово экономического возрождения России шло по заранее разработанному и всесторонне обдуманному плану. Подобный имперский план должен быть намечен на много лет вперед, как для внутреннего государственного устройства, так и для установления внешней Российской политики. Тут Его Величество прервал меня замечанием, немало меня удивившим: «лишь бы на Алексею жизнь хватило»...

Перед уходом из кабинета, я вспомнил данное мною в Киеве обещание специально прибывшей ко мне с юга депутации, представить Государю от имени виноделов и виноградарей ходатайство о разрешении населению употреблять виноградные вина умеренной крепости. Мотивом подобного своего обращения к Его Величеству просители выставляли то обстоятельство, что после изданного при объявлении войны 1914 года Высочайшего указа о запрещении продажи спиртных напитков виноделие, а с ним вместе и виноградарство, были поставлены в усло-

вия, грозившая полной гибелью этой ценнейшей, с таким трудом насаждавшейся, культуры. В означенном ходатайстве был приведен ряд авторитетных медицинских справок, доказывавших несомненную пользу умеренного употребления виноградного вина. Доложив об этом ходатайстве, я считал долгом заявить Государю, что со своей стороны я всецело к нему присоединяюсь, в силу чего просил его удовлетворить. Его Величество выразил на это свое согласие, отметив, что запретительный указ имел в виду лишь употребление водки и других крепких напитков. Это разрешение вскоре последовало и было, конечно, восторженно встречено на юге России, где население было заинтересовано сохранением виноградной культуры.

Приглашенный на обед к Высочайшему столу, я поспешил использовать оставшееся мне до семи с половиной часов вечера время, чтобы посетить проживавшего в нижнем этаже резиденции Государя Министра Двора графа Владимира Борисовича Фредерикса и еще раз повидать генерала Алексеева.

Граф Владимир Борисович занимал, как и все свитские, чрезвычайно скромное помещение. Все в его комнате имело вид чего-то временного, неуютного, и сам Министр одет был в необычную для него походную, цвета хаки, генеральскую форму. Несмотря на свой почти восьмидесятилетний возраст, граф Фредерикс держался прямо, молодцевато нес свою красивую, с большими пушистыми усами, седую голову. Беседуя с ним, глядя в его голубые, ясные, приветливые глаза, я чувствовал около себя морально чистого, душевного человека, честного и преданного слугу своего Державного хозяина.

С первых же его приветственных слов и расспросов граф Владимир Борисович завоевал мою искреннюю симпатию, меня потянуло именно к нему, а не кому другому откровенно

высказаться по одному наболевшему вопросу, занимавшему в то время умы и сердца многих государственных деятелей.

Граф Фредерикс, искренне любивший своего монарха и принимавший близко к сердцу все невзгоды военного лихолетья, стал мне высказывать свои опасения по поводу начинавших возникать в тылу настроений, по его мнению чреватых возможностью грядущих, еще худших, осложнений. Почтенный старик закончил свои невеселые думы вопросом: «Что вы по этому поводу скажете?» Свой ответ я построил с тем расчетом, чтобы откровенно высказать человеку близкому к Государю мое убеждение в необходимости, прежде всего, в скорейшем времени созвать законодательные палаты, и принять все меры для установления наилучших отношений между Государем и народными представителями в лице Государственной Думы. Министр с большим вниманием прислушивался к моим словам и, пожимая мне на прощанье руку, промолвил: «Вы, пожалуй, правы... Хорошо, если бы вы сами обо всем этом доложили Государю»... В ближайший же январский мой доклад в Царском пожелание графа Фредерикса сбылось.

Наступил час обеда. В приемной зале, в ожидании выхода Государя, собралось человек двадцать, среди которых выделялся своим ростом Великий Князь Сергей Михайлович. Тут же находились лица из ближайшего Государева окружения с графом Фредериксом во главе, а также представители всех пяти союзных военных миссий – Франции, Англии, Италии, Бельгии и Сербии. Наконец А. Ф. Трепов, генерал Алексеев, помощник Военного Министра генерал Беляев и несколько генералов, прикомандированных к Ставке.

Простота и радушие – вот что бросалось в глаза каждому, кто попадал в число приглашенных в Могилеве к Высочайшим трапезам. Самый «дворец» представлял собой скромное здание

старинного помещичьего типа. Все в нем казалось уютным и похожим на обыденную домашнюю обстановку.

Царственный хозяин этого временного могилевского обиталища усугублял общее впечатление теплой приветливости, создавая вокруг себя настроение полной непринужденности и задушевности, которое передавалось приглашенным, как только они вступали, вслед за Государем, в обширную столовую, где в сторонке у стены, как и полагалось для старо помещичьего быта, виднелся небольшой столик с закусками и граненым графинчиком водки. Обычно Государь становился около столика сбоку и предлагал гостям и приступить к закуске.

Со мною, когда я впервые попал в Могилевскую обстановку царской трапезы, случился следующий казус. Подходя в общей группе к закусочному столу, я очутился далеко не в первых рядах и, с любопытством присматривался к новой и крайне интересной для меня обстановке. Разумеется, я следил с особым вниманием за всем, что говорил и как себя вел в домашнем быту Государь. Пока я стоял позади нескольких лиц в ожидании свободного доступа к закусочному столику, я заметил неоднократно останавливавшиеся на мне пристальные взгляды Его Величества. Я в то время, по своей неопытности, особого значения этому придавать не имел никакого основания, пока ко мне не подошел Министр Двора. Он тихо мне сказал: «Подходите же скорей к Государю Его Величество вас к себе вызывает!»... Оказывается, у Государя была особая манера отличать того или другого из своих гостей, выражавшаяся в том, что особым пристально приветливым взглядом он приглашал это лицо приблизиться к нему. Тогда Его Величество предлагал ему рюмку водки и сам с ним выпивал свою. Послушавшись графа Фредерикса, я выдвинулся вперед. Государь, подозревая меня ближе к себе спро-

сил, пью ли я водку, причем напиток этот он назвал «челышевской», сославшись, что так научил его П. А. Столыпин... «Ведь Челышев был Ваш Самарский?»... спросил, приветливо посмеиваясь, Государь. В том же веселом духе Его Величество продолжал некоторое время беседовать со мной, одновременно попросту, как подобает доброму хозяину, рекомендуя мне брать ту или другую стоявшую перед нами закуску.

После рюмки водки за закусочным столом, все рассаживались за общий большой стол, просто и скромно сервированный. В центре его, лицом к окнам, помещался Державный Хозяин – всегда ровный, со всеми приветливый, умевший всякому сказать ласковое слово.

Меня посадили почти против Государя между военными атташе: сухим, усадым англичанином и стройным, красивым итальянцем, оказавшимся чрезвычайно милым и разговорчивым собеседником. Одно его курьезное замечание я даже привел в своей думской речи 18-го февраля 1916 года. Я рассказал ему, какие колоссальные партии мясных, мучных и прочих продуктов приходилось ежедневно доставлять на нашу многомиллионную армию. Мой итальянец, всплеснув руками, воскликнул: «Да ведь надо быть своего рода Микелем Анджело, чтобы творить подобную работу!»...

Меню царских трапез отличалось крайней простотой – завтрак из двух блюд, обед из трех, включая сладкое. Еда состояла из чисто русских кушаний. Подавались часто щи, селянки, похлебки, уха, разные каши и пр. На ряду с винами, разливался удивительно вкусный белый сухарный квас, а генерал Воейков не расставался со своей «Кувака» (усиленно рекламируемая им самая обыкновенная вода из его имения...).

Государь за едой обычно выпивал одну большую рюмку излюбленной своей мадеры. После поданного кофе вынимал папиросу, вставлял ее в изогнутый небольшой янтарный мундштучек и предлагал всем курить.

В описываемый первый мой приезд в Ставку, опять таки по своей неопытности и незнанию установившегося этикета, я позволил себе поступок, заставивший некоторых свитских лиц, вроде Воейкова, отзываться потом обо мне, как о небывало «вольном» в своем поведении министре, а престарелаго графа Фредерикса обратиться ко мне с чрезвычайно деликатным, но все же предупреждением.

Дело в том, что я был очень озабочен обеспечением сельского хозяйства рабочей силой, о чем и упомянул в своем всеподданейшем докладе. В тот же день в Могилеве был с докладом у Государя замещавший Военного Министра генерал Беляев. Я был до чрезвычайности заинтересован тем, чтоб Государь ему сообщил о своем согласии на использование тыловых воинских частей для сельскохозяйственных работ. Беспокоило меня также, что, при распределении между ведомствами военнопленных рабочих генерал Беляев убедит Государя большую их часть передать в распоряжение военного ведомства, а не для сельских работ. По окончании обеда, все вышли из столовой в залу, и Государь, обходя всех находившихся в т.н. «серкле», остановился несколько дольше около генерала Беляева, который что то горячо Его Величеству докладывал. По доходившим до моего слуха отрывочным словам, мне казалось, что дело идет о рабочем вопросе. Далекий от мысли, что в таких случаях есть придворный этикет, я решился тотчас же после Беляева подойти к Его Величеству и ему напомнить о том огромном жизненном значении, которое имело правильное разрешение рабочего вопроса для сельского хозяйства. Я позволил себе еще раз

почтительно попросить Государя заступиться за Ведомство Земледелия при распределении рабочих рук.

– Простите, Ваше Величество, мою назойливость! – закончил я свое обращение к Государю.

Его Величество мне ласково заметил: – Не по личному же вы хлопочете делу, а для общего блага!

На что я ответил: – Я, Государь, никогда по личным делам Вас не беспокоил, и впредь о них от меня вы не услышите !

Его Величество приветливо улыбнулся и кивнул головой. Вскоре Государь, обойдя всех, сделал общий поклон и удалился к себе в кабинет.

Около парадной лестницы, ко мне подошел граф Фредерикс любезно, приветливо мне заметил:

– В случаях необходимости, предпочтительнее иметь У Его Величества разрешение на дополнительный доклад, чем обращаться к нему с деловыми вопросами во время его прощального обхода «Circle». Сам Государь – добавил граф – никогда вам об этом по своей деликатности не скажет, но я знаю, что он подобных обращений не долюбливает, о чем я решил вас дружески предупредить.

Этим несколько неожиданным, но, как потом оказалось, благоприятно повлиявшим на судьбу озабочивавшего меня рабочего вопроса, обстоятельством, завершился мой первый всеподданнейший доклад в Ставке. Посетив перед отъездом Могилевского епископа Константина, бывшего нашего Самарского архипастыря, в 12 часов ночи, с экстренным поездом, выехал я обратно в Петроград.

Вторичная моя поездка в Могилев, состоявшаяся 14-го марта 1916 года, совпала с периодом происходивших на западных фронтах крупных боевых операций. Среди обитателей

Ставки в то время чувствовалось напряженно нервное настроение, не столь заметное у всегда сдержанного Государя, сколько у генерала Алексеева, который, несмотря на приходившие с фронтов сравнительно благоприятные вести, имел чрезвычайно озабоченный вид и отличался сугубой неразговорчивостью.

В тот же мой приезд в Ставку произошло неожиданное для всех увольнение с поста Военного Министра Поливанова и замена его Шуваевым, о чем было мною в этих записях рассказано ранее.

14-го марта, приехав в Ставку, я в тот же день, в шесть часов вечера был у Государя с докладом, затянувшимся почти до самого обеда и прошедшим в условиях все того же ласково приветливого ко мне со стороны Его Величества отношения.

Приглашенный к Высочайшему обеду, я предварительно успел на некоторое время зайти к дворцовому коменданту генералу Владимиру Николаевичу Воейкову, позвавшему меня к себе переговорить о своих «хозяйственных» делах.

Нанимал он в том же нижнем этаже Могилевского «дворца», где помещался и Министр Двора, небольшой скромно, на походную ногу обставленный апартамент, состоявший из двух узеньких комнат, разделенных тонкой перегородкой. В одной из них помещался приемный кабинетик, а в другой стояла кровать и рядом с ней ванная.

Среднего роста, упитанный, с розовой бритой физиономией В. Н. Воейков имел цветущий вид не столько жизнерадостный, сколько самодовольный.

Я уже приводил его характеристику со слов князя Владимира Михайловича Волконского, который считал его самым

вредным лицом в окружении Государя. В таком же свете выстав-
лял мне его состоявший при Ставке протопресвитер Шавель-
ский, не раз намекавший на то, что на совести Воейкова лежал
великий грех попустительства в деле сближения царской семьи
с фатальным «старцем» Распутиным. Не столь прозрачно, в бо-
лее неопределенных выражениях, мне о том же говорил гр. Фре-
дерикс, на дочери которого был женат ген. Воейков.

Всякий раз, как я попадал в Ставку, само собой, я вынужден
бывал сталкиваться с дворцовым комендантом, На меня он про-
изводил впечатление человека, заинтересованного лишь
устройством собственных дел, или служебных, или касавшихся
его матерьяльного благополучия.

Пригласив меня к себе, Воейков принялся тотчас же гово-
рить о своей знаменитой воде «Куваке», в распространении ко-
торой он просил меня, как Министра Земледелия и Продоволь-
ствия, оказать ему возможное содействие. То же повторялось и
в последующие мои приезды в Могилев. Он брал меня обычно
под руку, высказывал мне всякие комплименты, а разговор сво-
дился к той или другой просьбе по «хозяйственной части»: то
ему нужно было семена добыть, то заводских производителей
достать, то выписать для его имения тракторы и т. п.. Это не ме-
шало Воейкову распускать про меня недобрые слухи и делать
все возможное, чтобы отвратить от меня расположение Госу-
даря.

Изучив до мельчайших подробностей натуру Государя, и
следя в интересах собственного своего служебного благополу-
чия за каждым его шагом, Воейков ревниво относился ко всем
новым симпатиям Его Величества, в частности, и ко мне. Сто-
ило Государю назначить меня Министром и тем самым прибли-
зить к себе, как Воейков принялся за свою обычную тактику,
рассчитанную на особенные свойства хорошо изученного им

характера Царя, – слабовольного и вместе с тем, болезненно самолюбиваго, чутко оберегавшего свою деловую самостоятельность...

Если Его Величеству, после моего доклада, бывало, заблагорассудится в кругу своих приближенных высказаться по поводу желательного разрешения того или другого государственного вопроса, тотчас же Воейков, в осторожной, но достигавшей своей цели, форме, намекал, что высказанное Его Величеством мнение, видимо, сложилось вследствие только что состоявшегося доклада нового Министра Наумова. Получалось желанное действие. Государь замолкал, но был невольно восстановлен против того, о ком говорили, как о лице, на него, повлиявшем.

Наверное знаю, что так было с моими советами Государю, направленными на сближение его с членами законодательных палат. Одно лишь энергичное в этом смысле воздействие на Его Величество, проявленное, как я слышал, в конце января 1916 года со стороны графа Фредерикса, принесло хоть временно желанный результат. Действуя так, Воейков руководился соображениями не государственного порядка, а исключительно эгоистического свойства, оберегая свое служебное положение и близость к Престолу.

Коснувшись характеристики личности дворцового коменданта, не могу не упомянуть и про то, что по поводу его последнего фатально губительного воздействия на Государя я слышал несколько лет тому назад от ныне покойного герцога Николая Николаевича Лейхтенбергского, состоявшего в роковые дни конца царствования Николая Александровича дежурным при особе Его Величества.

В числе некоторых других приближенных в то время лиц, герцог Лейхтенбергский горячо настаивал на том, чтобы немед-

ленно после получения из столицы сведений о начавшемся солдатском бунте – вытребовать с северо западного фронта доблестную стрелковую часть и направить ее в Петроград для усмирения мятежа. Государь склонялся к этому решению. Вдруг генерал Воейков стал высказывать Его Величеству свои сомнения по этому поводу, обронив такую фразу: «Если вы, Ваше Величество, снимете эту часть с фронта, да вдруг случится после этого прорыв вражеских войск, что скажет тогда история?! Не понесете ли вы, Государь, тогда за это тяжкую роковую ответственность?!» Этого было достаточно, чтоб Его Величество раздумал и отменил свое первоначальное решение... Через сутки схватились за генерала Иванова, но было уже поздно!..

Приехав в Ставку 14-го марта, я имел у Государя в тот же день доклад и пробыл в Могилеве еще весь последующий день, проведенный мною, если не считать пребывания моего во Дворце за Высочайшим завтраком, в занятиях с моими ведомственными чинами. Я остался не особенно доволен осмотром и ревизией Могилевского Управления Министерства Земледелия, находившегося в руках плохенького и устаревшего начальника – Чанцева.

Мое неожиданное появление в стенах подведомственного мне местного Управления произвело среди его чинов всеобщий переполох. Оказалось, что в этом Управлении не нашлось даже карт на некоторые недвижимыя государственные имущества местнато округа. Пришлось с его начальством серьезно говорить и вскоре заняться обновлением Управления.

Следующий мой приезд в Ставку состоялся 20-го мая – в дни успешных боевых действий нашей армии на Юго Западном фронте. Русские войска победоносно шли на Черновицы, забирая на своем доблестном пути десятки тысяч пленных. Общее настроение в Ставке, сравнительно с прежним, я нашел более

бодрым и уверенным, да и сам генерал Алексеев казался значительно спокойнее, проявляя не только большую общительность, но даже приветливость.

В шесть с половиной часов вечера я был с докладом у Государя, которого я после своей апрельской крымской поездки еще не имел случая видеть. Я счел своим долгом познакомить Его Величество с наиболее в государственном отношении интересными впечатлениями, которые я вынес из посещения мною юга России. Положение продовольственного снабжения; состояние посевов и общие виды, на урожай; результаты землеустроительной деятельности в южных земледельческих районах – обо всем этом я старался обстоятельно доложить Его Величеству. Государь неоднократно прерывал меня вопросами, касавшимися не деловой стороны моего служебного объезда, а скорее представлявшими для него интерес с точки зрения выяснения житейски бытовых мелочей. Например, когда я развертывал перед моим Августейшим слушателем общую картину землеустроительных работ и успешных их достижений, которую я наблюдал при объезде земледельческих районов при селениях Новоалексеевке и Павловском, Его Величество, года два тому назад лично посетивший те же самые места, стал меня подробнейшим образом расспрашивать, как меня там принимали, сколько встречало народа, служили ли молебны, звонили ли в колокола, какая была погода, были ли дети, цветы и пр., оставляя в стороне серьезно деловую часть моего доклада

Должен сознаться, что подобное отношение Государя к вопросам существенного государственного значения произвело на меня в то время самое расхолаживающее впечатление. Вообще, в мой приезд 20-го мая 1916 г. для меня с особой ясностью выявилась одна характерная черта Государя, которую я объясняю общим нервным переутомлением, явившимся в результате

всех невзгод, сопровождавших его царствование и тех необычайных осложнений, которые встретились на пути его управления с начала войны 1914 года. Подобно неврастенику, у которого спокойное состояние сохраняется лишь до тех пор, пока не касаются каких то наболевших мест, Государь, видимо переутомившийся под гнетом сложнейших государственных дум и непосильной ответственности, инстинктивно искал спокойствия, предпочитал во время докладов говорить и думать о более приятном и легком, чем выслушивать и обсуждать что либо злободневно деловое, трудно разрешимое, волнующее.

Случилось так, что в означенный мой приезд я считал себя вынужденным во всеподданейшем своем докладе затронуть один острый вопрос, касавшийся общей постановки продовольственного снабжения, требовавший срочного разрешения именно со стороны Верховного Правителя государства. После вступительной части моего доклада, я довел до сведения Государя о ненормальности тех условий, при которых я вынужден был вести дело продовольственного снабжения армии и тыла.

Хотя в Петрограде и был создан, в свое время, особый Совет из пяти министров для совместного обсуждения и принятия согласительных мер, касавшихся дела снабжения, тем не менее, остро чувствовалось отсутствие сильной, объединяющей все отрасли снабжения, власти, без которой, по моему мнению, невозможно было достичь настоящего упорядочения продовольственного дела. Не касаясь лиц, я фактически обрисовал положение и стал выяснять Государю вред, происходивший из-за отсутствия должной согласованности в действиях отдельных ведомств. Как один из примеров, я сослался на следующий факт исключительно вследствие полнейшей нераспорядительности надлежащих властей, несмотря на изобилие угольного запаса в Донецком бассейне, мельницы и сахара рафинадные заводы

южной России стояли из-за отсутствия топлива. Мои горячие настояния о предоставлении для них Донецкого топлива при содействии черноморского транспорта оставались без результата. Время шло, и на юге положение с продовольствием начало сильно ухудшаться. Такие затруднения, в силу все той же полнейшей зависимости продовольствия от транспорта и топлива, приходилось мне встречать и во многих других случаях. Обо всем этом я считал долгом доложить Государю.

С нелегким чувством докладывал я обо всем этом Царю. Для меня это был остро наболевший вопрос. А, главное, Государь моим сообщением был видимо встревожен и, как мне показалось, – даже недоволен... Раза два во время моего доклада Его Величество порывисто вставал, отходил к окну, усиленно курил и некоторое время там стоял, как бы желая уйти от неприятных вестей. Потом он вновь возвращался на свое место. Я все продолжал говорить. Государь ни разу не прервал меня и дослушал до конца. Тогда его обычно приветливый взгляд стал строгим. Он ударил кулаком по столу и в резком, повелительном тоне вдруг воскликнул:

– Да скажите всем этим министрам от моего имени, чтоб они действовали в полном согласии с вами!..

На это я не выдержал, и со своей стороны заявил:

– Ваше Величество! не мне это надо, говорить, а вам самим следует всех нас объединить!..

Государь замолк. Быстро охвативший его гнев отошел. Вскинув на меня свои по-прежнему спокойно приветливые глаза, он тихо промолвил:

– Ну, займемся дальше! Какие еще у вас дела остались?..

В дальнейшей части моего доклада на очереди стояли другие вопросы, тоже в достаточной степени злободневные и требовавшие верховной санкции: распределение военнопленных, число которых, благодаря успешным действиям Юго Западной армии с каждым днем увеличивалось, и использование для сельскохозяйственных работ свободных тыловых воинских частей.

При обсуждении и разрешении обоих этих вопросов, я продолжал встречать со стороны не только военного, но и других ведомств ряд досадных препятствий, пагубно отбывавшихся на заданиях Министерства Земледелия, которое стремилось своевременно помочь срочным сельскохозяйственным работам. Я решил вновь обратиться к Государю с горячим ходатайством взять на себя защиту нашего сельского хозяйства, которое служит опорой, придает силу сопротивлению российской армии. Государь слушал меня теперь спокойно, обещал исполнить мою просьбу, так же благосклонно отнесся к остальной части моего более чем полуторачасового доклада, после которого Его Величество проследовал вместе со мной прямо на обед в столовую.

Среди приглашенных к Высочайшему столу я встретил тогда председателя Государственного Совета Анатолия Николаевича Куломзина и бывшего Главнокомандующего Юго Западной армией генерал адъютанта Николая Иудовича Иванова, замененного генералом Брусиловым и прикомандированного в Ставке к Особе Его Величества.

Обед мне этот памятен тем, что сидевший около меня А. Н. Куломзин мне сообщил одно меня касавшееся обстоятельство, целиком занесенное в тот же вечер в мою записную книжку.

– Государь – сказал мне Куломзин – все уши мне прожужжал про вас, всячески всегда вас восхваляя, и все, бывало, хотел назначить вас в Государственный Совет, а я всегда был против

этого, опасаясь, какой, в случае вашего назначения, будет исход новых самарских выборов на ваше место. И вот, в конце концов, Государь успокоился, назначив вас Министром!..

В Ставке я пробыл и весь следующий день, 21-го мая. С раннего утра, в сопровождении начальника местных Гидротехнических организаций Кожевникова, объехал я дальние окрестности Могилева, где чинами Министерства Земледелия производились разного рода, связанные с фронтом, гидротехнические работы, бурение артезианских колодцев, окопка, осушка траншей и пр.

Погода стояла чудная. Майское яркое солнце согревало и вызывало к жизни все могучие соки отходившей от зимней стужи земли, светло изумрудным цветом окрашивая свежую зелень и щедро украшая окрестные леса ароматною маслянистой вешнею листвою...

Спустившись с городской площади, на которой красовался освещенный ранними лучами восходящего солнца многоглавый собор и белел скромный царский временный «дворец», я был очарован общим видом на блестящий, извилистый Днепр и простиравшееся за ним живописное лесисто луговое заречье. Переезжая по мосту через Днепр, Кожевников обратил мое внимание на открывшуюся с моста красочную панораму речного городского побережья. К нему примыкал покрытый хвойно лиственным парком склон холма, на верху которого ярко выделялось белое строение «дворца», с развевавшимся над ним царским штандартом. У берега, под самым парком, виднелась целая лодочная флотилия. Оказалось, что гребной спорт являлся одним из любимейших развлечений Государя.

Скоро мы, по живописным дорогам Заднепровья, подъехали к довольно обширной поляне, уставленной рядом артил-

лерийских орудий особого устройства, специально приспособленных для защиты Могилевской резиденции Государя, на случай налета неприятельских аэропланов. Наш осмотр гидротехнических работ произвел на меня самое благоприятное впечатление, и я от души поблагодарил за них моего симпатичного спутника.

По возвращении нашем в Могилев и до Высочайшего завтрака, на который я получил приглашение, у меня оставалось еще около часа времени, и я им воспользовался, чтобы навестить проживавшего за городом на своей архиерейской даче сердечно почитаемого мною епископа Константина. Происходя из купеческой почтенной семьи, бывший Самарский, ныне Могилевский, владыка был человек прекрасных душевных, качеств. Между нами еще с Самары установились теплые и сердечные отношения. В Самаре основной связью между нами служила тесная и многолетняя дружба между моей матерью и родительницей епископа Константина – милой и не по годам еще бодрой Августой Варсонофьевной.

Могилевская архиерейская дача представляла из себя изумительное место по красоте местоположения, а в особенности по богатству своей мощной растительности. Таких вековых шапкообразных лип, развесистых кедров и толстоствольных грандиозных туй я, кажется, нигде не встречал. С просторного балкона поместительной дачи открывался превосходный вид на Днепровскую даль, а вокруг здания находилась широкая лужайка для цветочных клумб.

Владыка Константин говорил приятным, мягким, слегка картавым голосом. У него были добрые, приветливые серо-голубоватые глаза. Вся повадка его была тихая, скромная и, вместе с тем, внушительная и представительная. Служил он превос-

ходно, проповеди говорил ясно и умно. Я рад был найти епископа Константина в Могилеве, где иной раз приходилось переживать довольно острые настроения, которыми мне было легко делиться с душевно любимым Архипастырем. Какая участь постигла его в безбожной Совдепии, мне неизвестно. Но могу себе представить, как скорбел чистый сердцем владыка Константин обо всем, что принесло нашей родине сатанинско мрачное лихолетье.

Зайдя перед Высочайшим завтраком к себе в вагон, я к удивлению своему застал в нем только что приехавшего в Ставку Штюмера, который стал расспрашивать меня про могилевские новости и про то, был ли у меня с Царем разговор о моем уходе из министров.

Дело в том, что накануне моего отъезда из столицы в Ставку, я, в силу целого ряда причин, имел серьезное намерение на докладе у Государя поднять вопрос об оставлении мною министерской службы. Премьер был об этом осведомлен. Вот почему этот господин, лелеявший мечту скорейшим образом освободить себя от моего присутствия в Совете Министров, живо интересовался результатом моего вчерашнего всеподданнейшего доклада. Узнав от меня, что я пока раздумал заявлять Государю о своем уходе, мой рыжий собеседник раскрыл рот в виде буквы «о», издал носом какой то неопределенный звук и затем, как и подобало лживому ханже, перекрестился, пробурчав:

– Ну и слава Богу, что не решились!..

Я стал при нем торопливо переодеваться, чтобы ехать во дворец на завтрак, на который, к моему немалому недоумению и его заметному огорчению, премьер приглашения не удостоился.

Впервые в этот день встретил я в Ставке отпущенного к отцу на побывку Наследника Цесаревича, который за завтраком был посажен между Государем и генералом Н. И. Ивановым, игравшим около царственного отрока роль «дядьки».

Бросилась мне прежде всего в глаза резкая перемена в поведении двенадцатилетнего Цесаревича в обстановке Могилевского домашнего быта, по сравнению с тем, как он вел себя в отцовском царскосельском кабинете. Из тихаго, спокойного, внимательно слушавшего министерские доклады мальчика, каким он мне представлялся при встречах наших в столичной царской резиденции, в Могилеве Наследник превращался в отчаянного озорника, который шалил даже за столом, под боком у своего добряка отца. Еще прежде чем мы уселись за завтрак, я своим глазам не поверил, увидав, как Наследник, наклонив вперед свою головку и разбежавшись по зале, со всего размаху налетел на добродушного толстяка, бельгийского военного агента и стал с хохотом похлопывать ладонями по мягким округлостям своей жертвы. Правда, мне говорили, что подобные проделки Алексей Николаевич позволял себе лишь в отношении этого симпатичного бельгийца, который с милой снисходительностью относился к озорству по детски привязавшегося к нему Наследника.

Сидел я за завтраком против Алексея Николаевича, рядом с его любимцем – бельгийским атташе, которого Его Высочество не оставлял в покое даже за столом, все время поддразнивая его, строя ему всевозможные гримасы. В конце концов, когда подали сладкое блюдо, он крикнул мне: «Не давайте ему!».. На что, разведя руками, я Наследнику шутя ответил: «Вынужден послушаться Вашего Высочества!» При этом я невольно перевел свой взгляд на Государя, который, вместо того, чтобы сдерживать своего расшалившегося сына, только улыбался счастливой

улыбкой и до конца завтрака предоставил ему полную свободу. Пользуясь этим, Алексей Николаевич не переставал проделывать ряд детски невинных, но как мне казалось, неподобающих в данной обстановке шалостей. Со стороны сидевшего вдали от своего воспитанника гувернера Жильяра они вызывали укоризненные взоры и жесты. А в то же время на лице генерала Воейкова, сидевшего почти рядом с гувернером, выражалось явное сочувствие Цесаревичу.

Одним из любимых его занятий во время завтрака являлось выскабливание ножиком государственного герба, изображенного на лежавших перед каждым прибором небольших картонных меню. Каждый раз, когда мне приходилось видеть Наследника в Могилеве за обеденным столом, Его Высочество всегда с удивительной настойчивостью занимался уничтожением государственной эмблемы. Это мелочь, но теперь и она вспоминается как что то роковое.

Наследник то переглядывался с сидевшими за столом лицами, то перешептывался с ген. Ивановым, который неоднократно что то назидательно шептал на ухо юному шалуну. Одних он дарил приветливой, чарующей улыбкой, а другим строил невероятные гримасы. Особенно щедро преподносил их бедному Жильяру, издали грозившему ему пальцем. Одним из обычных застольных развлечений Алексея Николаевича было также переливание в свой стакан напитков, разлитых для его соседей, иначе говоря, для Государя и генерала Иванова. Это проделывалось потихоньку, в то время, когда Государь и генерал Иванов отвлекались разговором. Учинив подобное опустошение соседних стаканов и рюмок, Алексей Николаевич на время притихал, лукаво на всех оглядывался, выжидал момента, когда отец или седобородый генерал возьмутся за свои

пустыя рюмки и можно будет расхохотаться. Желанный момент, наконец, наступал, и Цесаревич приходил в неистовый восторг. При этом его сосед справа продолжал все так же благодушно улыбаться, а сидевший слева Иванов принимался вновь что то нашептывать ему на ухо.

Мне Наследник гримас не строил, относился ко мне приветливо, а генерал Иванов, с которым мы после завтрака ближе познакомились, проделав вместе большую прогулку, меня не мало обрадовал, сообщив мне, что Наследник Цесаревич питает ко мне самую горячую симпатию.

Заканчивая свои воспоминания о Высочайшем завтраке 21-го мая 1916 года, я не могу не привести здесь того, что в тот же день занес в мою записную книжку:

«Встав по окончании завтрака из-за стола, Государь, прежде чем проследовать в залу для обхода «серкля», вдруг подходит прямо ко мне и говорит: «благодарю вас за самоотверженную работу... Все, что вы мне вчера докладывали, будет исполнено».

В тот же день я был приглашен к трем с половиной часам дня к великому князю Сергию Михайловичу, который в беседе со мной по поводу снабжения указывал на отсутствие необходимой централизации этого дела даже в сфере военно-фронтowego хозяйства. Его Высочество передал мне то отрицательное впечатление, которое произвела наша постановка воинского снабжения на приезжавшего в Россию французского министра Альбера Тома. По словам великого князя, – «он так и не добился толком, кто же, в конце концов, в России является подлинным руководителем военного снабжения армии. Генерал Маниковский отсылал его к генералу Беляеву, Беляев – к генералу Алексееву, а последний направлял французского министра к генералу Жилинскому, находившемуся в Париже(!)»...

В описываемое мною время, в Ставке постоянно находился, в качестве Главноуполномоченного Красного Креста, состоявший при Верховном Главнокомандующем член Государственного Совета обер гофмейстер Петр Михайлович Кауфман Туркестанский, с которым я был знаком еще с того времени, когда он был Министром Народного Просвещения, и затем, по совместному участию в работах Верхней Законодательной Палаты. Высокого роста, прямо державшийся, представительный старик, с импозантной внешностью истого патриарха, Петр Михайлович отличался удивительным спокойствием, огромной выдержкой и деловой уравновешенностью. Честный, умный и благородный, он вел себя скромно, но, будучи искренно, предан царю, вместе с тем являлся одним из тех, кто старался направлять Государеву волю в русло отечественной пользы и народной правды. После назначения меня Министром, Петр Михайлович явно стал проявлять ко мне особую симпатию, перешедшую затем в душевно дружеские отношения, длившиеся до дня его кончины в эмигрантском зарубежье.

21-го мая, в четыре с половиной часа дня, я сел в свой вагон, чтобы ехать обратно в столицу. По соседству со мной оказался в поезде также направлявшийся в Петроград и Кауфман. Он вскоре зашел ко мне, и, под мягкий гул вагонных колес, мы весь вечер, до поздней ночи, говорили обо всем, что волновало сердца всех мало мальски мысливших и любивших свою родину русских людей.

Перебирая всякия злободневные политические и общегосударственные темы, мы стали обсуждать один, особо нервировавший русское общество, факт, – возславления высшего в стране административного учреждения позорнейшей и бездарнейшей личностью Штюмерера. Всецело, сходясь со мной в рас-

ценке нашего «горе премьера», Кауфман подыскивал ему заместителя, стал долго, но безуспешно, перебирать всех видных государственных деятелей, которых он давно и близко лично знал. Его обезкураживало следующее соображение: по его понятию, подходящим для несения обязанностей председателя Совета Министров должен быть человек энергичный, полный сил и знаний, в достаточной степени властный и способный вокруг себя объединить людей, необходимых для достижения определенных государственных задач.

– Но подобное лицо... ну, скажем, хотя бы вы, – промолвил, вскинув на меня сквозь пенсне большие вдумчивые глаза, Кауфман – по моему твердому убеждению, никогда у власти оставаться долго не сможет, по той простой причине, что этому всегда будут служить непреодолимым препятствием личные свойства самого Государя, слабовольного по натуре, но одновременно ревниво относящегося ко всем, кто начинает приобретать явную популярность и авторитет.

От этих суждений Петр Михайлович перешел к более детальной обрисовке личности нашего Государя и к интересным для меня подробностям о том, как занимался Его Величество, и как он проводил свой день в Могилеве. По отзыву Кауфмана, Государь, в общем, занимался немного у генерала Алексеева в его штабном рабочем кабинете. Его Величество ежедневно, с 11 час. и до 12½ ч. дня, знакомился с ходом военных событий, после чего возвращался к себе во дворец и принимал доклады до завтрака, который подавался в 1½ ч. дня. В 2½ ч. дня обычно совершались при участии тех или других лиц свиты прогулки на автомобиле по окрестностям Могилева. Остановившись в какой-нибудь излюбленной, большей частью лесной, местности, Государь выходил из машины и немного гулял пешком. Иногда эти

прогулки заменялись катаньем на лодке. Обычно Его Величество садился на весла, а за руль брался адмирал Нилов. К 6½ час. вечера все возвращались во дворец. С этого часа и до обеда, подававшегося к 8 час. веч., у Государя происходил прием докладов. Вскоре после обеда, на четверть часа заходил к Царю в кабинет со своим специальным докладом Министр Двора гр. Фредерикс. Затем Государь играл в домино или беседовал с наиболее приближенными лицами, как Воейков, Нилов, Нарышкин, гр. Мордвинов. От 10 – 11 час. веч. подавался чай, после которого Его Величество у себя в кабинете просматривал нужные бумаги, а в 12 ч. веч. все расходились спать.

Осталось также у меня в памяти из нашего с Кауфманом длительного и интересного вагонного разговора одно обстоятельство, лично меня близко касавшееся и до некоторой степени ознакомившее меня с подробностями назначения моего на министерский пост.

По словам П. М. Кауфмана, осенью 1915 г., после отставки Министров А. Д. Самарина и кн. Н. Б. Щербатова, в ближайшем к Царю окружении создалась уверенность в необходимости срочно сгладить то неблагоприятное впечатление, которое произвело в широких дворянских и общественных кругах исключение из Министров двух видных общественных деятелей, бывших Губернских Предводителей Дворянства. Вот почему, при обсуждении кандидата, который должен был заменить ушедшего Кривошеина, Государю подсказали остановиться выбором на ком либо из той же дворянской и общественной среды, к которой принадлежали Самарин и кн. Щербатов. Когда Его Величеству был представлен список таких кандидатов, ему благоужно было остановить свой выбор на мне.

В четвертый раз пришлось попасть мне в Могилев 14-го июня 1916 г. и пробыть в нем весь последующий день.

Первый, кого я встретил по приезде на вокзал, был Министр Народного Просвещения гр. П. Н. Игнатьев. Он возвращался в столицу, но успел поделиться со мной некоторыми свежими могилевскими впечатлениями, включая яко бы непрочность подожения наших общих коллег – Трепова, Шуваева и даже самого Штюрмера. Впрочем к подобным сообщениям за восемь месяцев министерского пребывания было мне не привыкать стать, вследствие царившего на верхах непостоянства во взглядах и настроениях.

Днем 14-го числа я провел много времени у генерала Алексеева, с которым необходимо было договориться по целому ряду неотложных продовольственных дел. Из разговоров с ним выяснилось его определенное недовольство нерешительной деятельностью генерала Куропаткина, вызывающим поведением Министра Трепова и, в особенности, отношением к нему Штюрмера. Генерал Алексеев не скрывал своей сильнейшей к нему неприязни. Коснувшись победоносного наступления генерала Брусилова, Михаил Васильевич сказал, что это только начальная стадия ожидающих русскую армию огромных событий. Этим он ограничился, видимо не желая давать мне какие либо более подробные разъяснения военно стратегического характера.

Приглашенный к Высочайшему обеду, я застал его накрытым в саду на длинном столе, расставленном в громадной временно походной палатке, одна сторона которой, обращенная к парку, была оставлена открытой.

Его Величество неоднократно удостоивал меня милостивой беседой, а после обеда позвал меня в необычное время для

доклада к себе в кабинет. Я ушел из него по окончании совместных с Государем занятий только около 11 часов вечера.

Затянулся мой доклад в силу множества вопросов, накопившихся вследствие изо дня на день осложнявшегося продовольственного положения, моей основной министерской деятельности. В моем майском всеподданейшем докладе, я призывал Государя принять самые срочные меры для большей согласованности между Министрами в области снабжения. Но, несмотря на лично данное мне тогда Государем обещание означенную просьбу исполнить, не только не было в этом направлении что либо предпринято, но вскоре же (24-го мая) был даже уничтожен столь полезный малый «Совет пяти министров».

Между тем, общия нехватки в продовольствии продолжали неуклонно увеличиваться, дело снабжения разрасталось с угрожающей быстротой, принимая грандиозные общеимперские размеры, вынуждая продовольственное ведомство принимать строгия регулирующие меры и тем самым причиняя населению необычные житейские осложнения. На этой почве стало возникать в широких общественных кругах недовольство и даже опасение за близкое будущее. Со всем этим Правительству необходимо было считаться и сделать усилие, чтобы сообща преодолеть очередные тяжкия и ответственные задачи. Меж тем подобного согласования и общего подъема среди членов правительства того времени не было, все шло вразброд, а во главе стояло лицо бездарное, выдохшееся, помышлявшее лишь о своих личных интересах.

Попав снова в Ставку, я счел своим долгом без утайки обрисовать Государю полную картину общего положение продовольствия и с прежней, если не с большей, горячностью ходатайствовать перед Верховным вождем России о необходимости координировать действия министров.

В этот раз Государь выслушивал меня более терпеливо и наружно спокойно. Он только усиленно курил и нервным движением слегка вскидывал голову. Ничем не отозвавшись на мой горячий призыв, Его Величество совершенно неожиданно перевел разговор на тему о перспективах дальнейшего ведения войны и об устройении государственных дел после ее окончания. По этому поводу Государь пожелал знать мое мнение. Я вынужден был откровенно сознаться что ничего готового и конкретного я в данную минуту предложить Его Величеству не мог, но что считаю для правительства необходимым приступить к немедленной разработке широкого плана, который обнимал бы как период продолжения войны, так и весь последующий после ее прекращения период.

В дальнейшем Государь поинтересовался моим мнением по поводу настойчивых и разноречивых слухов, которые шли с Дальнего Востока, о вредном для русских интересов чрезмерном влиянии японцев, даже их явном будто бы засилии. На это я только посоветовал Государю вызвать Приамурского Генерал Губернатора Гондатти, который, будучи знатоком дальневосточных дел, лучшие мог бы всесторонне осветить затронутый Его Величеством вопрос.

На этом закончилась моя деловая аудиенция у Государя. Я встал, не получив ответа на наиболее существенный для меня вопрос о согласовании министерских действий, и пред уходом не мог удержаться, чтобы вновь не напомнить Его Величеству в самых кратких, но сильных выражениях о крайней затруднительности вести дальнейшую продовольственную кампанию, если не будут созданы для этого соответствующие условия, о которых я за последнее время неоднократно докладывал. Подойдя ко мне, Государь, вместо ответа, взволнованным голосом промолвил:

– Горячо и сердечно благодарю за вашу всю работу... Знаю, что вы служите только для родины и ради моей просьбы.

С этими словами Его Величество меня обнял и поцеловал... Случилось это столь неожиданно и так глубоко меня тронуло, что, не желая выдавать чуть ли не до слез охватившего меня волнения, я поспешно удалился из кабинета Государя и стремительно бросился в ожидавший меня автомобиль, чтобы скорее вернуться к себе в вагон и в одиночестве справиться с нахлынувшими чувствами.

На другой день, с раннего утра, в сопровождении своих ведомственных чинов, среди которых находился приехавший со мной из Петрограда И.И. Тхоржевский, я объехал на автомобиле дальние окрестности Могилева, расположенные во фронтовой зоне, где земля была изрыта глубокими окопами, защищенными проволочными заграждениями или грудями срубленного леса.

Закончив свой объезд осмотром вагонов холодильников, я поспешил вернуться в Могилев к Высочайшему завтраку, который был сервирован в той же поместительной садовой палатке. Стояла великолепная летняя погода, которая соответствовала общему оживлению сидевших за столом лиц и, в особенности, успевшего заметно загореть на Могилевском просторе черноглазого красавчика Наследника, продолжавшего проделывать за столом все свои обычные шалости.

Еще до того, как усесться за завтрак, Алексей Николаевич не преминул затеять своеобразную игру с обычным объектом своих мальчишеских выходов – бельгийским военным атташе, стоявшим около большого круглого бассейна. Юный шалун подкрадывался и бросал в воду большой резиновый мяч, с расчетом обдать брызгами своего толстого любимца, что ему не раз и удавалось.

Приход Государя положил предел дальнейшим поползновениям Наследника повторять подобные эксперименты. Его Высочество попрежнему был за завтраком водворен между отцом и генералом Ивановым.

Мне пришлось сидеть как раз против раскрасневшегося от беготни Алексея Николаевича, забросавшего меня оживленными разпросами про мою родную Волгу, про наше деревенское житье, и о том, как проводит дни его сверстник – наш сын Александр.. Сидевший рядом с ним Государь прислушивался к нашему разговору и часто любовно взглядывал на своего обожаемого сына.

По окончании завтрака, Его Величество подошел ко мне и просил меня зайти к нему в кабинет, предупредив, что он имеет намерение посоветоваться со мной по одному весьма серьезному делу, Сообщив об этом, Государь отошел к другим гостям. Я был очень смущен столь необычным ко мне обращением Государя. Подошедший ко мне о. Шавельский усилил мое волнение. Узнав об экстренном царском приглашении, он высказал предположение об ожидавшемся, по слухам в Ставке, высшем моем назначении... Не успел я при этих словах воскликнуть: «Спаси меня Господи и помилуй!» – как Государь внозь ко мне подошел и, взяв под руку, повел меня к себе.

По дороге, взглянув на продолжавшего резвиться сына, Его Величество приостановился и вдруг задал мне вопрос:

– Что вы скажете об Алексее Николаевиче? – Государь любил нередко так именовать своего Наследника.

Разумеется, ничего, кроме самых восторженных отзывов, я не мог сказать Его Величеству про мальчика, которого я горячо

любил. Но все же я взял на себя смелость не скрывать что мне думается, что Государь черезчур его балует и дает слишком много воли его шалостям. На это Его Величество мне изволил сказать;

– Я это сам сознаю... Но пусть Алексей здесь резвится и отдыхает, а то «там» слишком строго его держат!..

Очевидно, под словом «там» Государь разумел петергофскую резиденцию Императрицы Александры Феодоровны...

Войдя со мною вместе в свой кабинет, Его Величество достал из письменного стола отпечатанную на машинке, довольно объемистую, сброшюрованную тетрадь, оказавшуюся докладной запиской, составленной генералом Алексеевым и поданной им Государю утром того же 15-го июня. Передавая ее мне, Его Величество просил тут же у него в кабинете с ней познакомиться и высказать затем свое мнение. Государь предложил мне стоявшее около дивана кресло, а сам уселся за свой письменный стол и, закулив папиросу, принялся что то писать. В кабинете воцарилась тишина. Царь и его министр были заняты каждый своим делом. До сих пор я живо помню то ощущение особой близости к моему монарху, которое испытывал я тогда, сидя довольно долго в сравнительно небольшой комнате, в нескольких шагах от него. Два раза Государь вставал и подходил ко мне, справляясь о результате моего чтения. Я отвечал, что я еще не успел записку до конца прочесть. Его Величество вновь усаживал меня в кресло, а сам возвращался к своему столу.

Подробно и обстоятельно составленная докладная записка Алексеева, помеченная им 15 м июня 1916 года, касалась самого существенного и большого вопроса государственного управления военного времени, именно отсутствия в этом управлении сильной, объединяющей и твердой руководящей власти. Генерал Алексеев, в подтверждение этого, приводил ряд фактиче-

ских данных и цифровых справок, указывавших на значительные дефекты транспорта, не отвечавшего потребностям воинского снабжения и нуждам населения. Считаюсь с исключительными условиями переживаемого лихолетья, Начальник. Штаба предлагал учредить в Империи особую должность верховного министра с диктаторскими полномочиями, который сосредоточил бы в себе всю руководящую власть в Империи, целиком направив ее на дело государственной обороны.

Закончив просмотр записки и обдумывая свое заключение, я смотрел на сидевшего сбоку от меня, занятого своей работой, Государя и подумал: «Какая же роль при Алексеевском верховном министре выпадет на долю Российского Императора? Еще если бы Царь, создав эту новую должность, пожелал бы отойти от Верховного командования. Но этого, по всем вероятностям, ожидать от него нельзя. Тогда, как же возможно – сказал я мысленно себе – допустить, чтобы рядом с полновластным законным Императором оказался новый всеильный глава той же Империи, которому, по диктаторскому статуту, в иных случаях, должен был бы подчиняться сам Верховный Главнокомандующий Российской армией?!

Мои размышления прервал обернувшийся ко мне Государь. Увидав, что я закончил просмотр Алексеевской записки, он предложил мне занять против себя место за его письменным столом и обратился ко мне со следующими словами:

Записку генерала Алексева я сегодня утром прочитал. Она касается столь важного вопроса и предусматривает такую серьезную ломку существующего порядка управления, что я имею в виду затронутый в ней вопрос обсудить на особом совещании в Ставке, с участием всех г.г. министров. Но предварительно мне интересно об этом переговорить с некоторыми лицами, мнения

которых я ценю. Вам первому я предложил ознакомиться с этой запиской, и прошу вас откровенно дать мне свой отзыв.

В своем ответе Государю я прежде всего отметил, что генерал Алексеев совершенно правильно указывал на отсутствие в области верховного управления сильной, единой руководящей власти, о чем я сам неоднократно имел случай докладывать Его Величеству. Затем я счел долгом обратить внимание Государя также и на то, что самый способ устранения этого дефекта, рекомендуемый Алексеевым, мною (одобрен быть не может по нижеследующим соображениям: самый факт учреждения новой должности верховного министра с особыми полномочиями по государственной обороне, на мой взгляд, являлся несовместимым с отправлением Государем Императором обязанностей Верховного Главнокомандующего, который, по мысли генерала Алексеева, должен был бы во многих случаях подчиняться распоряжениям верховного диктатора по обороне. По моему мнению, – в целях установления объединяющей сильной власти, которая согласовывала бы весь механизм высшего государственного управления, не следовало бы прибегать к учреждению новой должности, которая явилась бы только лишней надстройкой над и без того громоздким зданием многоголовой иерархии. Но, если на то была бы твердая воля самого Государя – возможно, с верным успехом, достичь желанного результата путем упорядочения существующего административного аппарата. Продолжая оставаться на посту Верховного Главнокомандующего, Государь мог бы всю полноту власти сохранить в своих руках, имея своими ближайшими помощниками по управлению всей фронтовой областью – своего Начальника Штаба, а по заведыванию имперским тылом – председателя Со-

вета Министров. Все сводилось бы лишь к, соответствующей регламентации и подбору достойных для занятия означенных должностей лиц.

– Само собой разумеется, – добавил я, – предложение генерала Алексева было бы не только уместным, но и необходимым, если бы Вы, Ваше Величество, решились оставить ныне занимаемый Вами пост Верховного Главнокомандующего..!

При этих словах Государь весь выпрямился и сделал резкий отрицательный жест.

Помолчав некоторое время, как бы обдумывая все, мною изложенное, Его Величество, ничего не сказав по существу моего отзыва о записке, вдруг задал сильно, смутивший меня вопрос:

– А как бы вы думали – кого можно, было бы назначить на проектируемый генералом Алексеевым пост Верховного Министра?

– Ваше Величество, – ответил я, – подобная должность в моей голове, повторяю, совершенно не вяжется с Вашим пребыванием на посту Верховного Главнокомандующего. Разрешите на заданный Вами вопрос от ответа уклониться!..

Но Государь, видимо, настойчиво задался мыслью продолжать со мной разговор в том же направлении. В несколько, как мне показалось, насмешливом тоне он спросил:

– Ну, а все же, как вы полагаете – на пост такого верховного министра, может быть, следовало бы пригласить кого либо из видных общественных деятелей? Хотя бы, скажем, председателя Государственной Думы Родзянко?

– Я промолчал, считая такие вопросы, после моего предшествующего заявления общего характера, бесполезными. Тогда выражение лица Государь изменилось. Он снова, уже серьезно, задал мне вопрос:

– Если не из общественных деятелей, то, может быть, из выдающихся государственных сановников? Какого вы мнения, например, о Коковцове?

Тут я не выдержал и не без некоторой доли удивления переспросил: – Коковцова?! Разве Вы, Государь, не были в свое время осведомлены, какую, при всех своих талантах, далеко не объединяющую роль играл Владимир Николаевич в кабинете Столыпина?!..

Его Величество, кивнув в знак согласия головой, тихим голосом, как бы про себя, произнес: – Да! Коковцов слишком уж чиновник...

Видя, что Государь все еще продолжал настойчиво интересоваться занявшим его мысли разговором, я решился высказаться в том смысле, что, если уж задаваться намерением подыскивать на создаваемую генералом Алексеевым верховную должность подходящее лицо, то следовало бы его искать в среде, наиболее близкой к Царствующему Дому и особо почитаемой в народных массах. Тут Государь прервал меня быстрым вопросом:

– Вы хотите сказать – кого либо из Великих Князей? – и затем, не дожидаясь моего ответа, улыбнувшись, воскликнул:

Не назначить ли на эту должность принца Александра Петровича Ольденбургского? – Но тут же спохватившись, как бы про себя, промолвил:

– Хороший человек, но правильно его называют – «сумбур пашей»!

Тогда я снова напомнил Государю высказанную ранее свою точку зрения и добавил, что вместо подыскивания лица на проектируемую генералом Алексеевым должность, лучше было бы, если Его Величество решил бы твердо стать на предложенный мною путь, осуществив желательную для управления страной объединяющую сильную власть в самом себе при содействии двух помощников: по военной части – генерал Алексеев, по гражданской области – председатель Совета Министров. При этом я с полной откровенностью заявил Государю, что нынешний премьер достойным помощником быть ему не может. Под председательством Штюмера Совет Министров останется не-объединенным.

Не преминул, я попутно высказаться по поводу необходимости реформирования вообще всей структуры составления министерского кабинета. Я указал на желательность, чтоб приглашение лиц на министерские посты исходило от председателя Совета Министров, которого назначает Государь, и который список намеченных им кандидатов на министерские должности представлял бы Его Величеству на утверждение. Такой премьер, облеченный Императором всей полнотой власти, мог бы объединить гражданских чиновников в тылу и, вместе с тем, под руководством Императора, действовать в полном контакте с другим помощником Государя, ведавшим военными делами.

– Ну, хорошо! – внимательно выслушав меня, сказал Государь, – кого же вы могли бы рекомендовать мне в качестве такого Председателя Совета Министров, о котором вы говорите?... Вы сами были бы согласны занять этот постъ?» Подобного оборота наших переговоров я никак не ожидал и не без смущения, но твердым голосом заявил Его Величеству. «Советуя Вам, Государь, заменить неподходящего Председателя Совета Министров более достойным, я в мыслях не имел говорить

о себе. В ответ на Ваш вопрос, я считаю своим долгом Вашему Величеству доложить, что на этот пост по целому ряду причин и соображений я идти не могу»... «Тогда кого же?!» – с тревогой в голосе спросил Государь. «Дайте подумать, Ваше Величество!» – тихо ответил я и с этими словами, положив на стол записку Алексеева, я встал с намерением откланяться и покинуть кабинет, но Государь меня задержал, задав ряд вопросов, касавшихся общего положения в стране.

Я сказал, что народный патриотический подъем в отношении войны еще не совсем остыл. Однако, я счел нужным предупредить Государя о несомненном росте беспокойства, даже недовольства, которые замечались не только среди общественных кругов, но и в самой народной толще, в результате неустойчивого состояния внутренней политики и усиления безответственных «закулисных» влияний...

Тут Его Величество меня быстро прервал вопросом, что я намеревался делать в ближайшем будущем. Я поделился с Государем моей неуверенностью, ехать ли мне в двадцатых числах июня на Волынь для осмотра многомиллионного ведомственного хозяйства, заведенного мною на конфискованных немецких землях, или оставаться в столице, выжидая момента моего выступления в Государственном Совете с разъяснениями по предъявленному мне вопросам.

Узнав от Его Величества, что закрытие сессии Верхней Палаты предположено на 21 е или 22 е июня, я высказался за необходимость остаться в Петрограде, ввиду желательности перед закрытием сессии Государственного Совета выяснить то, что беспокоило членов высшего законодательного учреждения. Государь с этим вполне согласился, добавив на прощанье, что чем скорее я с Государственным Советом договорюсь, тем лучше...

– В этом деле – заметил он, – всякое промедление – смерти подобно!..

После этих слов Его Величество, приблизившись ко мне, взял мою руку и крепко ее пожал, поблагодарив за все, мною ему высказанное.

Вечером того же 15-го июня, на Могилевском вокзале, среди других провожавших лиц, я встретил о. Шавельского, который, подойдя ко мне, тихонько задал вопрос:

– Ну как? Чем кончилось? Можно вас поздравить?

– Если с тем, – ответил я, – о чем вы сегодня утром мне говорили – нет.

– Как жаль! – промолвил о. протоиерей, а все так надеялись!...

На другое утро я был в Петрограде.

Почти полмесяца спустя я вновь попал в Могилев, чтоб участвовать на экстренно созванном там совещании Министров, после которого я был принят Государем. В последний раз... На Высочайшей аудиенции 28-го июня 1916 года решена была моя служебная участь. В этот памятный для меня день я покинул Верховную Ставку, освобожденный от министерских обязанностей. Об этом моменте моей жизни я имею в виду сказать более или менее подробно в последующей части моих воспоминаний. Теперь же, обозревая все мои всеподданнейшие доклады за восемь месяцев министерской деятельности, я хотел бы отметить главнейшие темы, которых больше всего приходилось касаться при моих свиданиях с Государем.

Надо иметь в виду, что министерская моя работа протекала в наибольший разгар военных событий 1915 1916 гг., вот почему во всех своих всеподданейших докладах я прежде всего говорил о положении с продовольственным снабжением армии и

тыла, подробно знакомил Государя с деятельностью Особого Продовольственного Совещания.

Докладывал я Его Величеству о мерах, принимавшихся Министерством Земледелия для поддержания отечественного сельского хозяйства.

Приходилось мне касаться чисто земельных вопросов, землеустроительных работ, а также образования демобилизационного земельного фонда.

Само собой разумеется, в каждый доклад входили мелкие ведомственные дела, – разные пенсии, пособия, награды, служебные перемещения, назначения и т. п., которые надо было представить на утверждение или благоусмотрение Государя.

Помимо продовольственных и чисто ведомственных дел мне приходилось при докладах Его Величеству затрагивать вопросы общеполитические, имевшие государственное значение. Так, в 1916 году, я горячо настаивал пред Государем на скорейшем созыве Государственной Думы и доверчивом к ней отношении, и непрестанно говорил о необходимости сближения Царя с народными представителями.

Государь, искренне любивший свой народ, в силу условий своего воспитания и всего установленного царского быта, мало его знал и был далек от провинциальной служилой и общественной среды. Он видимо искал случая, чтобы ближе с этим отдаленным от него государственным элементом знакомиться, но, вследствие некоторых свойств его натуры, это желание носило характер несколько случайный, усугубляло лишь его природную нерешительность и порождало в нем мучительные колебания. Но я, за все время пребывания моего на посту министра, всегда являлся открытым сторонником идеи сближения

Государя с избранными в законодательные палаты представителями российского населения.

Приходилось об этом лично высказывать Его Величеству и советовать периодически собирать у себя во дворце наиболее видных и для дела полезных членов обеих законодательных палат, принадлежащих к различным политическим группировкам, причем я брал на себя смелость ссылаться на то соображение, что добрая половина думцев, и еще большая часть членов Государственного Совета имеют одинаковые со мной монархические взгляды и так же преданы Престолу.

– Всякое доверие, – говорил я Государю – вызывает взаимное доверие. Проявленный Вашим Величеством благой почин сблизиться с законодательно общественной средой вызвал бы большую сплоченность среди верного престолу ядра российских депутатов, а в остальных уменьшил бы оппозиционное настроение.

В том же духе я, при всяком удобном случае, старался настраивать многих лиц, принадлежавших к ближайшему царскому окружению. Приезжая в Могилев, я откровенно говорил с Министром Двора гр. В. Б. Фредериксом и с обер гофмаршалом гр. П. К. Бенкендорфом, более других чутко относившимся к политической жизни России и всецело соглашавшимся с моими взглядами и советами... Единственно, с кем я избегал говорить на эту тему, – это был генерал Воейков. Он не вызывал во мне доверия и, как мне всегда казалось, старался всячески оберегать «его» Государя от чьего либо влияния.

Наряду с вопросом сближения Царя с законодательной средой я в своих докладах постоянно напоминал Его Величеству о необходимости вести государственное управление согласно всесторонне обдуманному плану, намеченному на много лет

вперед. Таким образом установилась бы здоровая преемственность в правительственных заданиях и распоряжениях, природные богатства страны должным образом были бы использованы и устойчивость самого государства обеспечена.

Упомяну еще об одном злободневном вопросе, который давал о себе знать на каждом шагу моей ответственной продовольственной работы и которым я неоднократно, но, увы, безрезультатно досаждал Его Величеству. Это был вопрос о необходимости установления в стране сильной, твердой власти которая должна была объединить и согласовать действия высших руководителей отдельных центральных ведомств, для наиболее успешного преодоления труднейших задач государственного управления того времени. К последним, в первую голову, относилось общеимперское снабжение включая в него всю многогранную продовольственную область. По фатальному стечению обстоятельств, разрешение не раз возбуждавшегося мною упомянутого вопроса встречало непреодолимые препятствия, прежде всего, со стороны Верховного Главы государства, органически не обладавшего подобным даром объединения, и в то же время, по свойству своего характера не допускавшего других до этого.

Подводя итог всем своим всеподданнейшим докладам, хочется задать самому себе вопрос – какое же отношение к ним проявлял сам Государь? Должен отметить, что за редкими исключениями, о которых мною уже упоминалось и которые я приписывал нервности Государя, обычно он проявлял при докладах удивительную приветливость, полную благожелательность и необычайную деликатность. Простой и душевно отзывчивый в обхождении, внимательный не только к докладываемому делу, но и к личности самого докладчика, Государь обна-

руживал одну характерную черту, в обыденной житейской обстановке мало заметную, но невольно бросающуюся в глаза в условиях выполнения Российским Императором своих высоких и ответственных обязанностей. Обладая несомненным умом, острой памятью, не малой долей чуткости и любознательности, Николай Александрович все эти свои природные свойства направлял скорее на усвоение вещей, если можно так выразиться, мелочного порядка, а к государственным вопросам широкопринципиального значения относился поверхностно. Его мысли, вопросы, замечания, как я их вспоминаю, в большинстве случаев, отличались относительной узостью, недостаточной серьезностью их содержания. В наших разговорах на общеполитические темы, Государь не проявлял глубины и широты государственно мыслительного размаха, который так хотелось чувствовать в Верховном Правителе огромной Российской Империи. «Лишь бы на Алексееву жизнь хватило»... – так реагировал Его Величество на мой совет выработать для России план государственного строительства на многие десятки лет вперед. Обычно при докладах Государь не вступал ни в какие пререкания. Я не помню случая, когда с его стороны не последовало бы на мои представления согласия. Благодаря этому, обстановка, при которой протекали деловые аудиенции, для докладчика была исключительно благоприятной, способствуя его спокойствию и беспрепятственному изложению вопроса. Но эта обстановка имела и обратную свою сторону для деятельности докладывавшего министра, не всегда имевшего возможность твердо полагаться на данное благожелательным и мягким Царем обещание или выраженное им согласие. Легко поддающийся влиянию, Государь был способен их быстро и остро изменять или даже вовсе отменять.

В общем, приходится с несомненностью удостоверить, что чрезмерно мягкий Государь, обычно, проявлял отличительное свойство, своего характера, которое считалось общепризнанным его недостатком и было принято называть его слабованием. Но я считаю своим святым долгом отметить перед памятью ныне в вечность отошедшего Царя мученика, что в некоторых случаях он проявлял в своих поступках и убеждениях удивительную стойкость и настойчивость. Сошлюсь на личное мое впечатление. В результате моих горячих и убедительных просьб к Государю освободить меня от назначения в министры, Его Величество меня долго выслушивал, но оставался при своем. Мне пришлось подчиниться и приняться за работу. Это пример частного порядка. Но у всех у нас, у всего мыслящего мира, имеются неопровержимые доказательства исторической доблестной стойкости духа Российского Императора Николая II, до самой своей мученической кончины оставшегося, несмотря ни на что, верным своим союзникам...

Иное, чем Государь, впечатление производила при докладах Императрица Александра Феодоровна, у которой мне пришлось быть всего лишь дважды. В обоих случаях разговор велся исключительно относительно организационных работ по образованию Всероссийского Кустарного Общества и Комитета. Насколько Его Величество проявлял к своему министру докладчику снисходительно деликатное отношение, никогда почти не прерывая его изложения, и во всем с ним обычно соглашаясь, настолько Государыня, имея перед собой листок, исписанный заранее намеченными вопросами, производила докладчику своего рода строгий экзамен. Не довольствуясь ответами, она часто переспрашивала, заставляла уточнять докладываемые данные, нередко вступала в спор, доказывая правоту высказы-

ваемых ею взглядов и намерений. В общем ее Величество проявляла удивительную деловую заинтересованность, такую же настойчивость в достижении намеченных ею целей и несомненную властность.

Надо сказать, что после того, как я, 22-го января 1916 года, выгнал из своей министерской приемной тобольского проходимца Распутина, отношение Императрицы Александры Федоровны ко мне резко изменилось. Я в этом убедился при встречах с ее Величеством 3-го марта 1916 года на торжестве освящения церкви в школе народного искусства, и 9-го июня, на заседании Верховного Совета в малахитовом зале Зимнего Дворца. В том и другом случае, похудевшая, вся в себе замкнутая, Императрица, вместо прежней приветливости, выказала по отношению ко мне подчеркнутое невнимание и явное нерасположение.

На докладе 24-го июня встречен я был ее Величеством чрезвычайно сухо. Ко всему этому, у нас произошел при обсуждении вопроса о кустарных инструкторах настолько крупный спор, что Государыня в сильнейшей степени на меня рассердилась, оставшись, видимо, всем моим докладом крайне недовольна. Расхождение в наших взглядах произошло по следующему поводу: коснувшись общей постановки кустарного дела в России, Государыня заметила, что для надлежащего его упорядочения и развития необходимо организовать особый институт кустарей инструкторов, которых желательно было бы пригласить откуда либо из заграницы. Приветствуя мысль ее Величества о пользе инструктирования российского кустарного производства, я, вместе с тем, позволил себе высказать сомнение в том, что иностранные инструктора смогут дать толчок для развития и улучшения чисто русского народного производства, успевшего приобрести широкую и почетную известность не

только на отечественном, но и на мировом рынке. О крупных достижениях нашего кустарного дела можно было судить по художественным экспонатам Всероссийской кустарной выставки. Помимо этого, в распоряжении Министерства Земледелия имелись многочисленные альбомы фотографий целого ряда кустарных изделий, по которым также возможно было воочию убедиться в высоких достоинствах и известной законченности русского кустарного искусства. Руководясь этими соображениями, я просил Императрицу предоставить мне возможность организовать кадры инструкторов из среды наиболее талантливых отечественных кустарей. В подтверждение своего ходатайства, я указал и на то, что иностранные руководители могут внести в кустарное русское производство черты, чуждые русскому стилю и обезличить национальный характер этой отрасли нашей отечественной промышленности.

С явным нетерпением, волнуясь, слушала меня Императрица и властно прервала меня памятным мне замечанием:

– Для русских рабочих нужен образованный инструктор, которого можно найти лишь где либо за границей, хотя бы в Швейцарии. Россия – страна дикая и невежественная!

– Ваше Величество, – с невольной горячностью отозвался я на это, – если Вы настаиваете, лучше замените меня кем либо другим, так как на предлагаемый вами путь я ни в коем случае встать не могу.

Государыня, рассерженная, с красными пятнами на лице, порывисто встала и, не подавая мне руки, дала понять, что доклад мой окончен. После этого Императрицу Александру Федоровну я больше никогда не встречал.

Возвратившись 1-го июня из Ставки в Петроград, я тотчас же был уведомлен моим заместителем, Товарищем Министра

Риттихом, о том, что Совет Министров решил разъяснения на предъявленный членами Государственного Совета запрос правительству о положении продовольственного дела в связи с транспортными затруднениями возложить на меня и поставить на повестку Общего собрания того же 21-го июня.

Надо сказать, что еще недели за три до этого в стенах Мариинского Дворца стали раздаваться голоса о необходимости открыто обсудить на Общем Собрании Государственного Совета ряд продовольственных вопросов, вызывавших в то время не только в законодательных сферах, но и среди всего русского общества особо острый к себе интерес, в силу неудержимо разраставшихся продовольственных операций и осложнений в транспорте, а, следовательно, и в самом снабжении. Еще 2-го июня члены законодательных палат, участвовавшие в занятиях Особого Продовольственного Совещания, имели со мной длительный и серьезный разговор о необходимости скорейшего реформирования Министерства Земледелия, в смысле облегчения его работ по продовольственному снабжению. Одни стояли за полное отделение от него продовольственных функций и передачу их в особое Министерство. Другие высказывались за учреждение при Министерстве Земледелия специального штата служащих по продовольствию, возглавляемого добавочным третьим товарищем министра.

В Общем Собрании Государственного Совета от имени сельскохозяйственной группы выступил князь Николай Борисович Щербатов. Он указывал, что необходимо придти на помощь перегруженному Министерству Земледелия, деятельность которого, не без явного ущерба для интересов отечественного сельского хозяйства, почти целиком ныне направлена на обслуживание вневедомственного безгранично огромного дела продовольственного снабжения.

В переговорах с тем же Щербатовым, а также с некоторыми другими членами Государственного Совета (кн.А. Д. Голицыным, В. И. Карповым, С. С. Крым и др.), которые впоследствии подписали правительству запрос о положении продовольствия в связи с состоянием транспорта, выяснилось, что все их выступления были направлены к оказанию мне поддержки в непосильной для меня одной борьбе с моими коллегами в правительстве за интересы отечественного сельского хозяйства. Члены законодательных палат не могли не отдавать себе отчета в напряжении, которое приходилось мне, Министру Земледелия, переносить, вследствие полного безразличия почти всех министров к интересам сельскохозяйственного производства и промышленности.

Возможно, что, помимо вышесказанных соображений общего характера, положенных в основание запроса, предъявленного скорее мне, а не всему правительству, некоторые члены верховной палаты из числа крупных землевладельцев и сахарозаводчиков, имели затаенное намерение добиться смягчения, или даже полной отмены, тех принятых мною строго регулировавших мер, благодаря которым возможно было центральному продовольственному органу более или менее планомерно удовлетворять потребности многомиллионной боевой армии.

Откровенно говоря, сам я был далек от мысли встретиться с подобной оппозицией при выступлении моем на Общем Собрании Государственного Совета, намеченном на 21 е июня, а тем более предполагать, как мне некоторые намекали, что возбужденный тридцатью членами верхней палаты запрос был направлен лично против меня, с целью «свалить» меня с министерского поста. Лица, подписавшие этот запрос, являлись если не моими друзьями, то во всяком случае и не врагами. У меня

не было никаких решительно оснований не верить тому, что они мне говорили.

Что же касается самого факта представления правительству запроса, то я лично был этому искренне рад. Это давало мне случай подробно ознакомиться с ходом продовольственной кампании и с теми результатами, которых удалось достичь за восемь месяцев применения определенной продовольственной политики. Мое открытое выступление по всем этим вопросам состоялось всего лишь один раз – 18-го февраля 1916 года, в Государственной Думе. Мартовская моя речь по продовольствию произнесена была в закрытом заседании Государственного Совета. Вот почему я был живо заинтересован в возможности в открытом заседании законодательного учреждения осведомить все российское население о наших достижениях в продовольственной области и пресечь распространение вяческих кривотолков.

Узнав 15-го июня от Государя о предположенном перерыве занятий в верхней палате с 21-го или 22-го июня, я придавал особое значение своему выступлению именно перед самым роспуском Государственного Совета, с тем, чтобы с его членами, до их разъезда из столицы, договориться по основным продовольственным вопросам Недаром, в аудиенции 15-го июня, Государь, по поводу моего намерения выступить в Государственном Совете, отозвался, что необходимо этим последним моментом сессии верховной палаты воспользоваться, и что для меня всякое в этом отношении промедление – «смерти подобно»...

Немногих оставшихся у меня дней для подготовки мне было совершенно достаточно. К 21 му июня я чувствовал себя в полной мере готовым выступить в Общем Собрании Государственного Совета и встретить любую деловую критику, которой

я в своей деятельности никогда не боялся и всегда приветствовал в интересах работы в вверенном мне сложном и ответственном деле.

Некоторого рода предварительными репетициями для моего публичного выступления служили происходившие в промежутках между моим возвращением из Ставки в столицу заседания особой экономической комиссии, занятия которой шли под председательством гр. В. Н. Коковцова, где всесторонне освещались те же злободневные продовольственные вопросы.

Главные мои оппоненты – кн. Н. Б. Щербатов, кн. А. Д. Голицын, проф. И. Х. Озеров, поляк Мейштович и др. обрушивались на введенную мною систему «твердых цен». Приходилось в этой комиссии выступать часто и подолгу, и каждый раз все больше убеждаться в правильности и целесообразности принятого плана снабжения. Получалось впечатление, что, вероятно, и предстоявшее мне выступление на Общем Собрании Государственного Совета будет успешным.

Наконец, наступило 21 е число. Утром у себя я достаточно наволновался, но при входе в здание Мариинского Дворца взял себя в руки и успокоился. С тяжелым портфелем, начиненным всяческими ведомственными справками, поднялся я по парадной лестнице, и только что вступил в широкий вестибюль коридор, как ко мне подходит, очевидно, поджидавший меня, Министр князь Шаховской и, взяв меня под руку, своим слегка шепелявым говорком вопрошает:

– Вы собираетесь выступать?

– Да, князь, как же не выступать, раз дело касается самого жизненного вопроса страны?

В ответ на это, Шаховской мне заявляет, что председатель Совета Министров просит меня к нему зайти.

Посмотрев на часы, я заметил Шаховскому, что времени перед началом заседания Государственного Совета, на повестке которого первым значился предъявленный правительству запрос, оставалось не более четверти часа, и что поэтому я вынужден отказаться от беседы с премьером. Шаховской ответил, что переговоры эти имеют непосредственное отношение именно к предполагаемому моему выступлению в Государственном Совете, и что Штюмер, Трепов и он, Шаховской, убедительно просят прежде чем идти в залу заседаний, дать возможность предварительно со мной обсудить вопрос крайней важности. Я согласился.

Войдя в комнату, расположенную за залой заседания Совета Министров, я застал в ней сидевшего за большим круглым столом Штюмера и рядом с ним Министра А. Ф. Третьева. Холодно встреченный, я поспешил своих коллег предупредить, что в моем распоряжении имелось не более десяти минут, и затем обратился к премьеру с вопросом: – В чем дело?

– У вас сегодня какой то вопрос предстоит в Государственном Совете? – небрежно цедя сквозь зубы, спросил меня величаво восседавший на широком кресле «ампир» Штюмер.

– Не какой то вопрос, еле сдерживая свое возмущение, ответил я, – а очень серьезный и существенный вопрос о продовольствии, в том числе вопрос о твердых ценах, отстаивать который придется самым энергичным образом. Если это все, что вам угодно было знать, то я извиняюсь и ухожу – меня в зале ждут...

– Так что вы считаете, что вам необходимо сегодня выступить? – вновь в том же тоне бросил мне вопрос Штюмер.

– Да, выступление мое необходимо, не говоря уже о том, что оно было предметом обсуждения на Совете Министров, и вы же сами все меня на него уполномочили.

– А вот теперь некоторые министры находят, – несколько возвышая голос, заметил Штюмер, – что при сложившихся обстоятельствах, иначе говоря, накануне роспуска верхней палаты, всякое правительственное выступление в Общем Собрании может повлечь нежелательные последствия и нарушить наладившиеся между ними добрые взаимные отношения...

«Я с вами не могу согласиться, – в ответ заметил я, – так как не представляю себе возможности подобные отношения налаживать путем замалчивания»... «Однако же, – невозмутимо постарался мне объяснить мудрый премьер, – вы сами должны знать, в каких благоприятных условиях Правительству удалось распустить Думу, с которой у нас, в конце концов установились наилучшие отношения, напоминающие собой не иначе, как настоящую симфонию»... «Будучи не менее вас музыкантом, – перебил я его, – позволяю себе с вами не согласиться. Взаимоотношения Правительства с Думой, применяясь к вашей терминологии, я тоже не иначе могу назвать, как сплошной какофонией... Что же касается данного положения вещей и моего выступления в Государственном Совете по вопросу, поставленному сегодня на повестку дня, то заявляю вам и здесь стоящим г.г. министрам, что отказ Правительства от дачи разъяснений по нему может быть сочтен или за оскорбление, наносимое высшему законодательному учреждению, или за признание Правительством собственного своего безсилия. Ни на тот, ни на другой путь вставать я не намерен, тем более, что для вверенного мне продовольственного дела необходима установить твердый контакт между обеими законодательными палатами, и тот план

снабжения, который разрабатывался при содействии Государственной Думы, я желал бы сделать предметом широкого обсуждения в Государственном Совете и надеюсь со стороны последнего встретить одобрение моим действиям... Лишь при содействии общих усилий Правительства и обеих палат возможно добиться желанного успеха!»... «Я с вами, – заявил Штюмер, – совершенно несогласен и думаю, что А. Ф. Трепов и кн. Шаховской ко мне тоже присоединятся»... Удобно устроившийся в глубоком мягком кресле, Александр Феодорович, оказавшийся, как мне потом передавали, инициатором столь неожиданно построенного «срыва» моего выступления, спокойно наивным голосом промолвил:

– С вами я вполне согласен, Борис Владимирович, и думаю, что необходимо было бы сейчас выступить кому-либо, – вам (обращаясь к Штюмеру) – или вам, Александр Николаевич, с заявлением о том, что все разъяснения по предъявленному нам запросу мы дадим осенью...

– Да, да, вот то то и есть, – поспешно забормотал премьер, – тем более, что, может быть, у вас еще не все подготовлено.

– В смысле подготовки, – возразил я, – все, что возможно и нужно было, мною сделано.

– Но... уверены ли вы, – продолжал изводить меня своими мелочно придиричвыми вопросами премьер, – что, выступив сегодня в Государственном Собрании, вы заручитесь симпатиями большинства?

– Еле сдерживаясь от охватившего меня возмущения, я резко ответил:

– Уверенность в достаточной подготовке для сегодняшнего моего выступления и в правильности образа моих действий у меня имеется, но самоуверенным я не был никогда, почему на ваш вопрос я не отвечаю...

– Вот видите! – с несвойственной ему горячностью воскликнул весь как бы оживившийся Штюрмер: – Если у вас самого нет уверенности в успешном исходе вашего выступления, тогда можно ожидать при роспуске верхней палаты. что между ней и правительством может образоваться некоторого рода нежелательный осадок!...

Выслушивая подобные возмутительные замечания, я убеждался в невозможности продолжать нести свои обязанности, в окружении людей или убогих в государственном смысле, или попросту интриговавшими против меня. Я все же сделал последнее усилие, чтобы сдержаться, и еще раз попробовал изложить сидевшим со мной министрам крайнюю необходимость именно перед самым закрытием сессии Государственного Совета выступить с рядом разъяснений, ценных для общего продовольственного дела. Это имело значение и острый интерес не только для законодательных учреждений, но и для всей страны именно в данный переживаемый момент. К осени же 1916 г. это явилось бы уже анахронизмом, терявшим всякий смысл для удовлетворения текущих запросов дня.

– Вы не имеете права – не без горячности закончил я, – лишать меня возможности именно сегодня, перед роспуском Государственного Совета, договориться с его членами по поводу насущных нужд страны так, как я это сделал в Государственной Думе. Меня на это уполномочил Совет Министров, а вас всего трое, и вы чините мне препятствие... Немало времени ушло на пустые с вами разговоры – в зале меня давно ждут.

– Ну, тогда и выступайте одни, если вы так того хотите! Но не от имени всего правительства! – слышался в неприязненно ироническом тоне сказанный ответ Штюрмера, встретивший, видимо, сочувствие Трепова и Шаховского. Это положило предел и моему долготерпению и тому издевательству, которое чувствовалось в придирчивых замечаниях Штюрмера.

– Раз это так ставится, я, само собой, отказываюсь выступать! – вставая, заявил я. – Но отказываюсь также и от совместной с вами работы!..

– Что вы говорите, дорогой Александр Николаевич! – заволновался Штюрмер, многозначительно переглянувшись с невозмутимо сидевшим Треповым. – Разве можно по пустяшному поводу создавать серьезный конфликт?!

– Для меня это не пустяшный повод, а вопрос успешности всего дела и моего служебного самолюбия. Своих слов я не беру назад и прошу лишь довести до сведения Государя, что при создавшейся обстановке я слагаю с себя всякую ответственность за ведение вверенного мне огромного государственного дела. А раз это так, то я вынужден сложить с себя и обязанности Министра Земледелия. Примите, господин председатель Совета Министров, мой портфель. – С этими словами я бросил по лакированной поверхности разделявшего нас стола свой увесистый портфель с такой силой, что он в одно мгновение очутился перед величественно возседавшей фигурой Штюрмера... – И пусть Его Величество передаст его кому следует!..

В это время в комнату вошел Министр Юстиции А. А. Хвостов, к которому Штюрмер, Трепов и Шаховской тотчас же подошли и, сильно жестикулируя, стали что то горячо говорить. Я же, после моих заключительных слов, быстро отошел к окну и, прислонившись к стеклу, старался преодолеть захватившее меня сильнейшее чувство не только гнева, но и отвращения к

людям, проявившим всю ничтожность своего государственного понимания и всю силу своей мелочности.

Ранее в моей министерской службе я не мало претерпевал и от Штюмерера, и от Шаховского, но Трепов впервые проявил себя таким, каким мне его всегда изображал Кривошеин. Только теперь открылись у меня глаза на Александра Федоровича, как на человека скрытно, но умно действовавшего, сообразно своим личным эгоистическим честолюбивым целям. Мне потом говорили, что Трепов, добиваясь премьерства, был встревожен отношением ко мне Государя во время моего последнего приезда в Ставку, и решил принять меры к моему устранению. Приглядевшись за много месяцев нашей совместной службы к моему образу действий и характеру, Тренов наметил верный шахматный ход, преградив мне путь к моему выступлению 21-го июня в Государственном Совете. Начинив безпринципного Штюмерера и сам оставаясь как бы в стороне, Трепов добился своего: уязвленный в моем служебно деловом самолюбии, я был из ряда возможных его конкурентов.

Узнав про случившееся, Хвостов быстро подошел ко мне вместе с Штюмерером, и стал меня уговаривать успокоиться и взять свое решение обратно.

– Когда все от меня узнаете, – сказал я симпатичному Хвостову, – вероятно, вы тогда мой поступок хорошо поймете и оправдаете!

– Что же теперь делать?! – с какой то беспомощностью вопрошил всех присутствовавших премьер...

– Пойдите к Председателю Государственного Совета и попросите снять с повестки предъявленный правительству запрос, – сказал я ему.

Обрадовавшись удачному разрешению создавшегося положения, Штюмер с несвойственной ему живостью скрылся из комнаты и поспешил исполнить мой совет.

Долго еще упрасивал меня милейший Хвостов «сложить гнев на милость», и я даже пошел ему на некоторую уступку, пообещав отложить исполнение своего намерения еще на одне сутки. Сговорившись на этом, мы с ним вышли в общие кулуары Мариинского Дворца, где столпилась масса разбившихся на группы и горячо о чем то толковавших между собой членов Государственного Совета.

Когда, по просьбе Штюмера, председательствовавший на общем собрании И. Я. Голубев объявил о снятии с повестки дня обсуждения предъявленного правительству запроса о продовольствии и транспорте, в зале произошло необычное для верхней палаты волнение среди ее членов, завершившееся перерывом занятий.

При нашем с Хвостовым появлении в кулуарах, все направились ко мне, окружили меня тесным кольцом и забросали вопросами о причинах моего отказа появиться на общем собрании для дачи разъяснений. Пришлось передать моим коллегам, что произошло у меня с председателем Совета Министров. Мое столкновение со Штюмером вызвало негодующие возгласы по адресу последнего и, видимо, общее сочувствие к моему образу мыслей и действий.

Во время моего оживленного разговора с окружавшими меня членами Государственного Совета, появляется около меня, протолкавшись сквозь их тесный строй, Алексей Борисович Нейдгардт, с моим портфелем в руках. Передавая его мне, председатель правого центра к числу членов которого я в то время принадлежал, просил этот портфель взять обратно и еще раз хорошенько подумать, прежде чем его оставлять.

В кулуарах образовалось частное совещание членов Государственного Совета, которые решили потребовать от Голубева, чтоб он вновь поставил на повестку снятый им по заявлению премьера запрос. Пришлось Ивану Яковлевичу уступить, и на последовавшем заседании Государственного! Совета было постановлено запрос этот принять и сдать в особую комиссию на предварительное рассмотрение. На заседании этом на правительственных местах было пусто...

Я покинул здание дворца и, в сильнейшей степени удрученный всем случившимся, пришел в свой министерский кабинет, где долго не мог опомниться от возмутительного поведения, которое проявили по отношению ко мне участники памятного для меня Штюмеровского совещания...

Мои невеселые думы были прерваны приходом ко мне двух лиц – бывших Министров вверенного мне ведомства Земледелия А. С. Ермолова и кн. В. А. Васильчикова. Они посетили меня и от себя лично и по уполномочию членов Государственного Совета, сочувствовавших моему положению и образу действий. Тот и другой выразили надежду, что я, во имя блага Родины и в интересах вверенного мне дела, сочту возможным изменить свое решение и не покину занимаемый мною министерский пост...

Оставив себе суточный срок для обдумывания своей служебной участи, я постарался за это время возможно хладнокровнее взвесить в уме все обстоятельства, сопровождавшая мою сравнительно недолгую, но полную непосильного труда и моральных испытаний службу, а также те условия, которые создались вокруг меня при исполнении огромной работы по производству.

Стали вставать в памяти подробности моего насильственного назначения в Министры и вся последующая служебная деятельность, протекавшая в непривычной для меня обстановке и полной оторванности от прежних условий моей общественной работы. Премьерство старика Горемыкина, при котором так ясно обозначилось принципиальное мое расхождение с моими коллегами министрами во взглядах на законодательные палаты и сотрудничество с ними, замена почтенного сановника Горемыкина безпринципным распутинским угодником Штюрмером, тотчас же вынудившая меня заявить Государю об уходе моем из министров; невыносимый в деловом и моральном отношении период Штюрмеровского премьерства; тяжкая обстановка работы по продовольственному снабжению, всецело зависевшая от распорядительности и согласованности чинов разных ведомств; обидное пренебрежение Совета Министров к интересам отечественного сельского хозяйства, не раз заставлявшее меня предупреждать Штюрмера о невозможности при этих условиях вести вверенное мне дело, отсутствие на верху управления страной твердой, авторитетной и объединяющей власти, на которую, в случае нужды, можно было бы опереться. Все это промелькнуло тогда в моей голове и наталкивало на мысль подвести итог тем усилиям духа и воли, которые пришлось затратить на преодоление встречавшихся на моем служебном пути трений и затруднений.

В то же время, не без чувства некоторого удовлетворения, я отдавал себе отчет в том, что в деловой борьбе я выходил победителем, и в основном моем деле – продовольственном, достиг крупных результатов. Это сознание в значительной степени давало мне свободу в моих мыслях об оставлении министерского поста. При достигнутых результатах, когда все

фронты были на три месяца вперед обеспечены продовольствием, никто не дерзнул бы сказать, что я покидаю свой пост, не справившись с делом.

С другой стороны, достигнутый мною с такими усилиями результат причинял мне искреннюю печаль. Грустно было думать, что придется покинуть дело, тесно связанное с нашей действующей армией, дело, которому за восемь месяцев напряженной работы я отдал столько сил, и с которым я всем умом и всем сердцем сжился.

За те памятные двадцать четыре часа, которые я себе оставил для обдумывания вопроса об уходе из министров, я неоднократно себя ловил на чувстве глубокого сожаления, что придется выпустить из своих рук значительно налаженное мною важное государственное дело продовольственного снабжения армии и тыла. Но я сознавал, что если мне удавалось до сих пор преодолевать встречавшиеся чисто деловые затруднения, то это не значит, что я могу с таким же успехом бороться против начавшегося на меня натиска чисто личного характера. В общем ходе моей служебной работы, в особенности, в конечном ее периоде, именно это обстоятельство стало наиболее тяжело отзываться на моих нервах, на моей энергии и работоспособности.

Еще после февральского моего выступления в Государственной Думе, чуткий А. В. Кривошеин меня предупреждал о зародившейся вокруг меня «людской зависти» и добавил, что «сколько было у вас ранее друзей, столько же после вашего успеха окажется и злых недругов». Из числа последних, с момента появления его у власти и до самого конца моего министерского пребывания, был Штюмер. На первом же своем всеподданнейшем докладе он посоветовал Государю исключить меня из состава министров.

После того как я выгнал «тобольского старца» нерасположение ко мне премьера встретило сочувствие и поддержку в распутинских кругах. Это придало Штюмеру большую смелость в борьбе против меня, и тем еще сильнее осложняло мое и без того нелегкое положение. В последний же период нашей с ним совместной службы, премьер, видимо, заручился поддержкой стремившегося его заменить А.Ф.Трепова и некоторых других господ вроде князя Шаховского. Этот период оказался для меня наиболее тяжким и невыносимым. Неоднократно я заявлял Штюмеру о невозможности продолжать свою работу, прося об этом довести до сведения Государя, но премьер отказывался исполнить мою просьбу, ссылаясь на нежелание беспокоить Особу Его Величества в такие трудные времена. В разговорах со мною, Штюмер, мало по малу оставлял свою прежнюю манеру подлаживания ко мне, якобы сочувствуя моей былой земско общественной работе, и стал смелее открыто упрекать меня в принадлежности к этой среде, ставя мне в вину мою очевидную на его взгляд неподготовленность для дел высшего государственного порядка...

Надо сказать, что тому настроению, которому Кривошеин дал наименование «людской зависти», способствовали еще два фактора: пресса и столичные слухи.

Дело в том что многочисленные газетные статьи и заметки, помещавшиеся по поводу моей министерской работы, носили в общем характер чрезвычайно для меня благоприятный, а в некоторых случаях даже открыто хвалебный, ставя мое имя в ряды выдающихся, по их отзывам, министров, желательных для состава кабинета «общественного доверия». Подобные восхваления создавали мне в широких кругах русского общества популярность, в то же самое время, среди сравнительно немногочисленной, но влиятельной в «сферах» группы моих

недругов, значительно усиливая и обостряя мою непопулярность.

Последних особенно раздражали непрекращавшиеся столличные слухи обо мне, как о кандидате на «высшее назначение».

Возможно, что под воздействием этих слухов А. Ф. Трепов завел со мной 10-го июня задушевную беседу, намекая на то, что я, видимо, чрезмерно переутомлен и тягочусь продовольственной деятельностью, что будто бы я даже кому то откровенно высказывал свои сомнения по поводу успешности дальнейшего ведения дела, под конец невинным тоном, как бы невзначай, заявив, что все дело продовольственного снабжения намеревается взять себе сам Штюмер.

Выслушав все эти сказки, я преспокойно заметил Трепову, что пусть Штюмер и займется моим делом, так как все равно я имею в виду Государю заявить о своем уходе. Видимо не ожидавший подобного оборота нашего разговора, Трепов сначала несколько опешил, а затем принялся усиленно меня просить «не вмешивать его во всю эту историю», и стал уверять меня, что «мною там (в Ставке) довольны «... Как значится в моем дневнике, «я махнул рукой – настолько мне противна вся обстановка работы»...

На следующий день, 11-го июня, в 4 часа дня, в мой служебный кабинет вновь появляется тот же Трепов. Согласно моей записи, он принялся «уговаривать меня не отказываться от портфеля и на него не ссылаться в Ставке». Свое обращение ко мне он закончил просьбой: «Обещайте мне хотя бы на месяц не подымать этого разговора»... Далее значится: – «Я согласился»... Но, как известно, обещание свое я вынужден был нарушить 21-го июня в условиях, мною подробно описанных выше...

Надо думать, что обстоятельства, сопровождавшие мое посещение Ставки 14-15 июня и проявленное в эти дни ко мне особое внимание Государя не остались незамеченными зорко наблюдавшим за настроением в «верхах» Треповым, который считал тогда нужным несколько ускорить приведение своего плана в исполнение, остановившись на умно обставленном и метком шахматном ходе устранения моей «фигуры» с доски его карьеристической игры. Учиненный им в сообществе премьера Штюмерера и послушного ему Шаховского «срыв» моего выступления в Государственном Совете воочию убедил меня в невозможности долее терпеть изо дня на день усиливавшийся натиск со стороны моих ближайших коллег, очевидно, задавшихся определенной целью раз навсегда меня отстранить.

Теперь мне предстояло решить, возможна ли для меня дальнейшая борьба с подобными людьми, от которых в значительной степени зависел успех моей продовольственной деятельности, органически связанной с ходом транспорта и состоянием топлива, а также с общей согласованностью действий и распоряжков других министерств.

Отдавая должное добрым отношениям, которые у меня сложились с законодательными учреждениями, с представителями военно-общественных организаций, со всем земским людом и моим ведомственным персоналом, я все же ясно отдавал себе отчет, что для успешного продолжения моей деятельности я зависел от некоторых высших моих сослуживцев, которые были способны во всякий момент моей работы вкладывать «палки в колеса» и тормозить мои и многочисленных моих сотрудников усилия.

Невольно сам собой вставал вопрос – если б даже удалось мне «претерпеть» столь нагло учиненный надо мной «срыв» 21-

го июня и продолжать работу, какая могла быть для меня гарантия, что со стороны все той же, против меня настроенной, кучки министров, имевших большое влияние на общее дело имперского снабжения, не смогут повторяться и в дальнейшем подобные эксперименты над моим служебным самолюбием?! – Ответ получался у меня один: гарантии никакой нет, и защиты искать не у кого. Государь для этого слишком слаб и неустойчив. Премьер – мой враг, является олицетворением лжи. Что же касается законодательных, общественных и прочих сфер, то все они в этом отношении стояли слишком далеко от нас. Вывод складывался один: употреблять оставшиеся силы не столько на продолжение ответственной работы, сколько на борьбу с моими «вредителями», представлялось мне делом безцельным и невыносимым. Помимо этого я не допускал мысли о возможности испытывать повторение наглых выходов, вроде того, что я пережил 21-го июня, а возможность эта, при существовавших условиях, отнюдь не исключалась.

В результате всех этих размышлений, к утру 22-го июня я пришел к безповоротному решению – выйти в отставку.

Первым, с кем мне пришлось этим решением поделиться, оказался заехавший ко мне в то утро, всегда душевно ко мне относившийся, министр гр. П. Н. Игнатьев, всецело одоббивший мои мысли, действия и намерения.

Дружески с ним расставшись, я отправился с официальным визитом к председателю Совета Министров, которому тотчас же заявил о своем окончательном и всесторонне обдуманном решении покинуть службу, о чем и просил довести до сведения Государя Императора. Штюрмер стал повторять свои избитые фразы о том, что в тяжкия времена нельзя беспокоить Его Величество, бормотал успокоительные советы и пошлые компли-

менты и, в конце концов, упрекнул меня, что я способен слишком близко к сердцу принимать всякий пустяк. Тут я вновь не выдержал и, отбросив всякую официальность, наговорил в глаза этому горе премьеру всю о нем правду, которая за много времени накопилась в моем нутре, и закончил подтверждением своего ухода из состава министров. Покинул я кабинет председателя Совета Министров, не простившись с его хозяином и оставив последнего в положении некоего истукана, с разинутым ртом и растопыренными руками.

В этот же день состоялся по Высочайшему Указу роспуск Государственного Совета, и от имени Государя было объявлено, министрам о вызове их на 28-е июня в Верховную Ставку на экстренное совещание.

В промежуток времени, оставшийся до выезда моего в Могилев, произошли два наиболее значительных в моей служебной деятельности события: доклад 24-го июня Императрице Александре Феодоровне, и 25-го того же месяца появление в столичной прессе моего интервью по поводу отношения моего к деятельности военно-общественных организаций.

Мои откровенные, высказанные через печать, слова вызвали в обществе сенсацию. Многие мне выражали горячее сочувствие. Другие принимали еще более решительные и срочные меры, чтобы изъять меня из состава правительства.

27-го июня весь Совет Министров», почти в полном составе, за исключением его председателя и адмирала Григоровича, выехавших в Ставку за сутки раньше, занял специальный поезд, который должен был нас доставить в Могилев. Что предстояло обсуждать на совещании, никто из министров точно не знал, каждый высказывал лишь свои личные предположения. Впрочем, подобная неосведомленность членов высшего колле-

гиального органа управления была довольно обычным явлением в нашей министерской службе, лишний раз подтверждая отсутствие во главе Совета Министров полновластного и авторитетного лица, которое смотрело бы на отправление высоких обязанностей премьера не с точки зрения лишь формально бездушного их исполнения, а вкладывая в свою деятельность живую, творческую струю.

Дорогой мне хотелось оставаться одному с моими нелегкими и сложными думами, которые все сильнее меня одолевали, по мере приближения к цели нашего путешествия, где, как я предчувствовал, найдется разрешение моей дальнейшей служебной участи. Только к вечеру, в день нашего отъезда, пришлось выйти из моего вагонного отделения и, по приглашению Министра Трепова, принять участие в торжественном и великолепно обставленном в его дорожном салоне обеде, который он почему-то для нас устроил. Со мной лично хлебосол хозяин казался подчеркнuto любезным.

На следующий день, 28-го июня, в 10 час. утра, поезд наш прибыл, в Могилев, и мы, министры, сочли нужным тотчас же Зайти в стоявший невдалеке на запасном пути служебный вагон, в котором помещался председатель Совета Министров.

Усадив всех пришедших к нему в своем поместительном салоне, Штюмер, на ряд заданных ему вопросов о цели и сущности созываемого Государем совещания, отделялся лишь краткими ответами неопределенного содержания, тем самым ставя всех нас в обидно глупое положение. Точно и ясно узнали мы от нашего премьера лишь то, что экстренное совещание назначено на 28 е число, в 6 часов вечера, и что к этому часу все министры должны быть в сборе, в доме, служившем резиденцией Его Величеству.

Пред тем, как от премьера разойтись, я обратился, в присутствии некоторых из своих коллег, к Штюмеру с вопросом – доложил ли он Государю о моей отставке? На что получился немало удививший меня отрицательный ответ, все с той же огоркой, что «сейчас не время беспокоить Государя».

– Тогда придется мне самому об этом доложить, – заметил я, – ради чего не откажите исходатайствовать особую у Его Величества для меня аудиенцию...

Премьер пробормотал: «Как хотите!»: но при этом обещал «все возможное» для этого сделать...

Расставшись с Штюмером, я направился к своему вагону, где столкнулся с генералом Алексеевым, который меня искал. Он был, видимо, чем то расстроен и тотчас же задал мне вопрос, правда ли, что я из министров ухожу и почему я это делаю? Ответил Алексеев утвердительно и спросил, откуда мог генерал о моем решении услышать. И вот тогда я узнаю о возмутительном и невероятном обстоятельстве, завершившем в моих глазах характеристику лживой личности премьера. Он, по каким то своим соображениям, только что во всеуслышание сказал мне неправду по поводу моей просьбы об отставке. Оказывается, что, по словам генерала Алексева, вся Ставка была взволнована вечерним полуторачасовым докладом Штюмера Государю, имевшим место в предшествовавший нашему приезду день, 27 го июня.

Этот доклад, как мне передал Алексеев, сводился к тому, что Штюмер убеждал Его Величество в необходимости спешно, удалить с должности Министра Земледелия Наумова, который, по заверению премьера, стал действовать совершенно вразрез с политическими воззрениями всего остального Совета Министров, проявлял полную и вредную в государственном отноше-

нии независимость в суждениях и стремился играть роль providовольственного диктатора. Штюрмер этим, по словам Алексева, не удовольствовался и начал уверять Царя, что Наумов человек неуравновешенный, которому нужен не столько отдых, сколько серьезное лечение всей его явно расшатанной нервной системы... При этих словах я невольно про себя улыбнулся, вспоминая, чего от меня наслушался премьер при нашем последнем свидании 22-го июня, и в каком перепуганно жалком виде я его тогда оставил!..

Сообщив мне содержание Штюрмеровского доклада, сущность которого в тот же вечер 28 июня стала известна ближайшим к Государю лицам, Михаил Васильевич принялся меня усиленно уговаривать, не обращая внимания на личность премьера, оставить всякие помыслы об отставке и продолжать свою большую работу.

– Мыслимое ли дело вам теперь уходить! Горячо стал мне доказывать почтенный генерал. – Только что у нас с вами налажено, намечено и друг к другу мы привыкли!.. Разве теперь время все расстраивать?! Придет вместо вас новый человек, неизвестно, что будет, а время стоит тревожное.

Нелегко было мне выслушивать горячий призыв большого, сильного военного работника, который только, в тот момент не стал скрывать своего полного одобрения сотрудничеству со мной.

– Вот увижу, как и что придется мне с Царем говорить, – сказал я Михаилу Васильевичу, который продолжал меня убеждать изменить мое решение, расставаясь, крепко меня обнял и расцеловал.

Пользуясь свободным временем, я надумал навестить архиепископа Константина, с которым перед наступавшим решительным моментом захотелось мне всю свою наболевшую душу отвести... И действительно, чистый сердцем и любовно ко мне относившийся владыка, подробно выслушав все, что меня за последнее время так волновало, успокоил меня и благословил встать на путь принятого мною решения, оговорившись, чтобы против воли Государя не идти.

Ободренный его советом, я отправился в Могилевский, знакомый мне, «дворец», где встретился сначала с Великим Князем Сергием Михайловичем, а затем с гр. Фредериксом. Они подтвердили все то, что было мне ген. Алексеевым сообщено по поводу Штюмеровского обо мне доклада, выразили искреннее сожаление по поводу слухов о моем уходе и стали горячо советовать не покидать службу, вызывавшую, по их словам, в Ставке всеобщее одобрение.

Вторично встретившийся со мной ген. Алексеев, к тому, что он успел мне утром передать, добавил, что, судя по некоторым слухам, наряду со Штюмеровскими на меня наговорами, за последнее время, по выражению генерала, «из Царского шла усиленная артиллерийская подготовка», намекая на получавшиеся Государем обо мне письма Императрицы.¹

Мало-помалу министры и особо приглашенные на совещание лица стали собираться в зале Могилевского «дворца», где, вдоль окон, был расставлен длинный присутственный стол.

Незадолго до объявленного часа заседания, подходит ко мне Министр Двора и говорит: «Штюмер просил, чтобы я вам устроил аудиенцию, но Государь, видимо, к этому не расположен», заметив мне: «Штюмер ведь все сказал про Наумова... Что же еще ему нужно?».

Сообщение это произвело на меня крайне тягостное впечатление, но я решил не сдаваться и добиться того, чего так всем своим помыслом желал.

В это время из входной с лестницы двери показался напыщенный премьер. Разговаривая с Министром Сазоновым, он встал около окна, невдалеке от входа в Государев кабинет. Все находившиеся в зале говорили между собой вполголоса, с минуты на минуту ожидая Высочайшего выхода. При виде Штюрмера, который утром мне так нагло солгал, я сразу ощутил такой порыв возмущения, что, на миг забывши все вокруг себя, я быстро подошел к премьеру и в присутствии Сазонова сказал:

– Когда простой обыватель говорит неправду, его называют известным именем, но когда лицо, облеченное исключительными полномочиями, занимающее такой высокий пост, как Ваше Высокопревосходительство, говорит неправду, как его тогда приходится называть?!..

Весь побагровевший Штюрмер от меня быстро отпрянул, и в тот же момент Сазонов громко произнес: «Государь» – При этом слове я опомнился и увидал появившегося из своего кабинета Государя, который подошел сначала к премьеру, а затем, поочередно обойдя всех нас, занял за присутственным столом председательское место. С приходом Государя, моя вспышка улеглась, и я вновь стал хозяином своей воли и действий... Думать же о том, что произошло, не было ни времени ни места, да и не хотелось – слишком противен мне был человек, которому я нанес оскорбление, на мой взгляд, заслуженное им.

Ровно в 6 час. вечера Его Величество объявил экстренное совещание открытым. Помимо министров, в заседании участвовали начальники тех или других отделов высшего военно-фронтного управления, во главе с Начальником Штаба Верховного Главнокомандующего, ген. Алексеевым. Народу собралось

много, стол был небольшой, так что сидеть пришлось в необычайной тесноте, плечом к плечу с соседями, не имея возможности удобно расположить портфель и разбираться в его содержимом. Мое место приходилось несколько наискосок против сидевшего в центре стола Государя, около которого расположился Председатель Совета Министров, за все время заседания не проронивший ни одного слова.

Тотчас по открытии заседания, Его Величество взял в руки небольшой исписанный лист бумаги и стал читать свое обращение к присутствовавшим членам совещания, указав, прежде всего, на то, что России ныне приходится переживать исключительно тяжелые времена в силу затянувшейся войны и целого ряда осложнений, возникших в результате транспортных затруднений, недостатка в топливе и воинском снабжении (о продовольствии Государь не упоминал).

Далее, Его Величество обратил внимание Совещания на то, что в наступившие трудные времена все наличные силы государства должны проявить не только наибольшее напряжение, но и возможно полную согласованность своих действий, ради доведения начатой страшной борьбы до успешного конца...

«Меж тем, – прочел дальше Государь, – к глубокому моему сожалению подобной согласованности я не усматриваю в деятельности даже того высшего в государстве учреждения, именуемого Советом Министров, которое должно было бы служить образцом для других правительственных организаций, и в котором, за последнее время, вместо согласованного единства действий его членов, замечаются лишь крайне нежелательные между ними трения и разногласия. Подобное положение вещей я признаю для дела недопустимым, и прошу впредь его всячески избегать»...

При этих словах, сидевший близко от премьера и как раз против меня, гр. П. Н. Игнатьев, слегка откинувшись назад, стал делать мне выразительные знаки, намекавшие на то, что царский упрек о министерских разногласиях подсказан Штюрмером и направлен по моему адресу...

Затем Государь задал несколько вопросов, касавшихся постановки дела с транспортом, после чего перешел к обсуждению деятельности организаций, связанных с добычей и снабжением топлива. На рассмотрение всех этих вопросов ушло довольно продолжительное время, и лишь по окончании их выяснения, Его Величество поинтересовался узнать общее положение с продовольствием во фронтовых областях, на что лица, специально ведавшая этой частью, отозвались в крайне благоприятном для меня смысле. Ген. Ронжин, указав на меня, во всеуслышание заявил, что, благодаря исключительно энергичной деятельности центрального продовольственного ведомства, все боевые фронты ныне обеспечены продовольствием больше чем на три месяца вперед.

При этих словах Государь вскинул не меня глаза, но быстро их вновь отвел, предложив после некоторой паузы перейти к обсуждению вопроса, связанного с поданной 15-го июня докладной запиской генерала Алексеева об учреждении Верховного Министерства по обороне.

Вопрос этот прошел в том направлении, как я о нем докладывал Его Величеству 15-го июня. В этом отношении я нашел себе горячую поддержку в лице А.Ф.Трепова, который заявил, что – «у нас есть председатель Совета Министров – пускай он возьмет в свои руки все управление и пускай всех объединяет». Совещание с этим мнением согласилось и вынесло постановле-

ние в таком духе... Меха обновили, но негодное вино в них осталось то же. Должность премьера усилили, но Штюмер остался тем же.

По окончании заседания, я был сначала в некоторой нерешительности – подчиниться ли мне тому, что мне сказал Министр Двора, или же, вопреки этому, немало огорчившему меня заявлению, решиться самому обратиться к Государю с просьбой разрешить в последний раз к нему явиться с докладомъ

Дело в том, что, с одной стороны, все, что я узнал по приезде моем в Ставку, говорило за вероятность моего ухода из министров, но, вместе с тем, я всем сердцем стремился прежде, чем покинуть свой пост и министерскую работу, еще раз повидать своего Царя и лично ему высказать всю правду о своем решении. Я не мог допустить мысли, чтобы у Государя, всегда столь милостиво и искренне душевно ко мне относившегося, напоследок осталось обо мне впечатление, навязанное ему пристрастным и лживым Штюмером. Совесть моя, как относительно моей работы, так и перед Царем была чиста. Я продолжал, не глядя ни на что, Государя любить и всей душой порывался с ним по хорошему расстаться, откровенно, как на духу, поведать, что вынуждало меня покинуть министерский пост.

Побуждаемый подобными мыслями, я быстро приблизился к Его Величеству, разговаривавшему с Сазоновым и Хвостовым. Встав сзади них и посмотрев на Государя, я решил просить о предоставлении мне желанной аудиенции лишь в том случае, если Его Величество на меня попрежнему взглянет своим приветливо добрым взглядом. И этот счастливый для меня момент вскоре же наступил. Ответ получился добрый и милостивый. Прием Государь мне назначил в тот же вечер, в 9½ час., после обеда, на который все участники состоявшегося Совещания получили Высочайшее приглашение. Великая тяжесть

от сердца у меня отлегла – все обеденное и последующее до моего, приема время я чувствовал себя радостно и легко. В таком настроении я, в назначенный час, вошел в столь знакомый мне скромный кабинет Государя.

Посаженный на свое обычное за письменным столом место, я попросил у Его Величества разрешения изложить ему откровенно все, что я считал нужным для правдивого освещения происшедших за последнее время исключительных обстоятельств. Вкратце напомнив Его Величеству ход, пройденной мной продовольственной работы с ее планами и достижениями – работы, являвшейся основной осью моей министерской деятельности, я счел нужным еще раз обратить внимание Государя на главнейшие встречавшиеся в этой деятельности затруднения, которые происходили в силу органической ее зависимости от распоряжков в других министерствах. После этого, я перешел к описанию обстоятельств моего вынужденного отказа от выступления от имени правительства на Общем Собрании Государственного Совета 21-го июня.

Его Величество внимательно меня выслушал и, пристально на меня посмотрев, некоторое время сидел молча, как бы о чем то раздумывая, ни словом не обмолвившись по поводу происшедшего у меня конфликта с премьером...

– Как ваше здоровье? – вдруг вопрошает меня Государь. Невольно вспомнился мне рассказ генерала Алексеева о Штюмеровском докладе Царю, где, видимо, немало было говорено о расшатанности моих нервов. Я ответил Его Величеству, что здоровье мое зависело от общих условий моей крайне напряженной деятельности...

– Думается мне, – откровенно ответил я Царю, – что если б Ваше Императорское Величество сообразовали создавшуюся

вокруг меня и известную Вам ныне обстановку изменить в таком направлении, чтобы я мог более свободно и попрежнему продуктивно работать, я был бы в силах снова с той же энергией вести свое во многом уже налаженное дело. В противном случае, я окажусь не в состоянии с должной пользой продолжать свою деятельность, и тогда я почтительно просил бы меня от занимаемой должности освободить.

Государь довольно продолжительное время, видимо, что то про себя обдумывая, молчал и усиленно курил. Затем тихим, слегка волнующимся голосом промолвил:

– Трудно мне с вами расстаться, ввиду вашей выдающейся деятельности и моего к вам искреннего расположения, но я сам вижу, как тяжело вам при создавшихся условиях работать. Менять же эту обстановку я сейчас не могу... не имею в виду. Между тем, я привык к вашим советам и вашему сотрудничеству... Желал бы и впредь с вами вместе работать. – Сделав небольшую паузу, Государь в более решительном тоне мне заявляет: – От министерской должности я вас освобождаю и назначаю вас в Государственный Совет, где вы будете тоже полезны...

На это я заметил: – Ваше Величество! Да ведь я и теперь состою членом Государственного Совета по выборам! – А я – слышалось в ответ – хочу, чтобы вы там состояли по моему назначению!

Подобный оборот дела с моим уходом в отставку оказался для меня совершенно непредвиденным, причинившим мне впоследствии немало осложнений во взаимоотношениях с моими выборщиками, а также в области собственной моей идеологии и вынужденных решений, о чем, вероятно, придется сказать несколько ниже.

Объявив о моем назначении, Его Величество поднялся со своего места, обошел вокруг стола и подойдя ко мне со словами благодарности за всю мою прежнюю службу, меня вдруг обнял и поцеловал. Сильно взволнованный подобным трогательным отношением ко мне Государя и сознавая, что может быть, в последний раз я вижу своего Монарха, которому привык говорить правду и которого я, за время своей министерской службы, всегда стремился во имя общего государственного блага направлять на путь сближения с здоровой общественной средой, я решился еще раз перед окончательным своим уходом из министерств высказать Его Величеству искренний по тому же поводу совет, после чего глубоко поклонился ему и вышел из кабинета.

Проходя по зале по направлению к парадной лестнице, я услышал сзади себя чьи то шаги. Обернувшись, – к немалому своему изумлению, увидел шедшего ко мне Государя. Приостановившись у выходной двери, я встал лицом к подходившему Николаю Александровичу, который, вплоть приблизившись ко мне, взял обеими руками меня за плечи, приподнял свою голову и с заметно влажными от слез глазами меня вновь поцеловал. Я сам в этот, момент готов был расплакаться и, еле сдерживая подступавшие к горлу слезы, успел лишь промолвить:

«Благодарю вас, и как Государя... и как человека! С этими словами я быстро вышел и, сев в автомобиль, направился к вокзалу.

Это был последний раз, что я виделся и говорил с Государем Императором. Его царственный незабываемый облик до сей поры встает в моей памяти таким, каким он мне представился при прощальном последнем его появлении в Могилевской зале. Грусть на бледном усталом лице, слезы на ресницах прекрасных, но далеких от мира житейского глаз, что то неизъ-

яснимо светлое и, вместе с тем, фатально покорное во всей повадке и фигуре – вот то, что рисуется в моем воображении, когда вспоминаешь последнего Монарха России. Хотелось бы навсегда запечатлеть память о нем не в виде обыденного житейского портрета, а как иконный облик многострадального Царя Мученика.

Вернувшись после описанной аудиенции к себе в вагон, я застал там немало своих, ныне уже «бывших» коллег, которые не без нетерпения поджидали моего возвращения, интересуясь узнать о результате моих с царем переговоров. Весть о моем уходе произвела среди них волнение. Отношение к этому событию с их стороны проявлено было разное: одни одобряли и даже завидовали выпавшей на мою долю свободе, другие, напротив, упрекали меня за мой поступок. Были и такие, которые просто молчали, не высказываясь ни в ту, ни в другую сторону. Но то, что мною в этот вечер занесено в мой дневник, являлось для меня, очевидно, наиболее в этом отношении значительным: «Гр. Игнатъев сказал министрам: вы не понимаете, кого мы лишаемся в лице Александра Николаевича, – живой связи с Государственной Думой!» – Это я считал для себя наивысшей похвалой!..

В ту же нашу совместную поездку обратно в столицу, гр. Игнатъев, на предложение ехавшего с нами в одном поезде премьер-министра перенять от меня должность Министра Земледелия, заявил: – Отпустите меня совсем из вашего кабинета, но заменить А. Н. Наумова никогда не соглашусь!.

Только очутившись один в своем вагонном отделении, я осознал весь тот огромный житейский сдвиг, который совершился в краткий вечерний час моей могилевской аудиенции. Впереди меня ждала свобода от страшной сложности министерской работы, от никогда не покидавших меня мучительных дум

о жуткой перед страной ответственности. Этому всему наступал конец, впереди все было как будто бы просто и легко. Но это лишь так казалось. Внутри меня зарождались сложные думы, чувствования и предположения, сплетавшиеся вокруг одного ощущения. Теперь, когда осуществилось мое желание, и я больше не был министром, становилось до боли в сердце жаль расставаться с трудным, но большим патриотическим и ставшим близким мне делом продовольствия нашей доблестной армии и родного населения. Сколько было вложено в него моих усилий и забот!..

И снова вихрем в голове закружился ряд мыслей и вопросов, не дававших мне покоя всю ночь и все утро 29-го числа, пока ко мне, в мой вагон, не появился Штюмер, один вид которого меня сразу отрезвил и выбил из головы все мои сожаления. Вот когда почувствовал я все счастье полученной свободы, осознав, что отныне ни с ним, ни с кем другим из его невыносимого, для меня сообщества я ничем больше не связан! При одной этой мысли я был готов забыть обо всем другом...

Как оказалось, пожелал меня видеть премьер, чтобы поздравить с назначением в Государственный Совет.

Этот своеобразный господин со мной был мил и приветлив, как будто между нами ничего не произошло! Не мало времени отнял он у меня своими расспросами по продовольственному делу, стараясь получить подсобные сведения о личном персонале, обслуживавшем эту область и интересуясь сущностью намеченных мною мероприятий. Мне невольно в голову пришло, не собирается ли Штюмер на самом деле, как мне однажды об этом обмолвился Трепов, всю продовольственную область взять в свои дряхлые и негодные руки?!.. При этой мысли мне стало жутко, и я прекратил с премьером разговор на эту

тому. Вскоре мы прибыли в столицу и расстались, чтобы никогда с ним больше не встречаться.

Весть о моем уходе произвела своей неожиданностью на всех ведомственных моих сотрудников «ошеломляющее», как значится в моем дневнике, впечатление. Должен сознаться, не без грусти приходилось мне расставаться с людьми, с которыми у меня сложились наилучшие отношения, не только деловые, но личные.

В Петрограде меня ожидал невероятный сюрприз: Штюмер, соединявший в то время в своей персоне не только обязанности премьера, но и должность Министра Внутренних Дел, находясь 28-го июня в Могилеве, вместе со всеми нами, министрами, в Ставке, и ни единым словом со мной, как Председателем Особого Продовольственного Совещания, не обмолвившись, имел у Государя специальный доклад о предположенной им коренной реформе всего продовольственного снабжения и о передаче из Министерства Земледелия в Министерство Внутренних Дел всех операций по борьбе с дороговизной и всей остальной, неразрывно связанной с этим вопросом, продовольственной организации. Означенный доклад Штюмера был изготовлен в тайниках его канцелярий, в Совете Министров не обсуждался, и мы о нем узнали лишь после нашего возвращения в столицу, куда Штюмер уже вызвал Харьковского Губернатора кн. Н. Л. Оболенского, назначив его товарищем министра Внутренних Дел по борьбе с дороговизной. Этот кн. Н. Л. Оболенский принадлежал к тем немногим из моих продовольственных уполномоченных, действия которых оставляли многого желать. Ни я, ни мои ближайшие помощники не были осведомлены о подробностях Штюмеровской реформы продовольственного дела, вплоть до 1-го июля, когда вдруг была получена на это

число повестка, с вызовом меня на экстренное заседание Совета Министров для обсуждения вопроса об организации особого комитета по борьбе с дороговизной. Я, как получивший от Государя отпуск, да еще покидающий министерский пост, заявил по телефону Штюмеру о своем отказе прибыть на заседание, обещав, вместо себя послать на него Товарища Министра Глинку...

Я, конечно, был сильно позмущен всей этой подпольной и вредоносной деятельностью Штюмера, которая лишний раз убедила меня в своевременности моего ухода. Я понял и причину той живой заинтересованности к продовольственному делу, которую проявил премьер при обратной нашей поездке 29-го июня из Ставки в столицу.

Из всей предпринятой Штюмером затеи я ничего доброго для дела не ожидал, предвидя на почве подобного вторжения Министерства Внутренних Дел в налаженную продовольственную организацию только еще большия затруднения в работе Особого Продовольственного Совещания. Мои предположения оправдались, и все это рекламное Штюмеровское новшество, включая и Оболенского, потерпело полное фиаско...

Вернувшись из Ставки в Петроград, я поспешил, согласно разрешению Государя, сдать должность своему обычному заместителю А. А. Риттиху, так как собирался уехать, к себе на Волгу 1-го июля. Свадьба нашей дочери Марии была назначена в с. Головкине на шестое, о чем знал и сам Государь, разрешивший мне немедленно же взять отпуск, не ожидая назначения преемника на оставляемый мною пост.

Несмотря на высказанный при этом Его Величеству мой совет, как можно скорее назначить нового Министра, имея в виду спешность продовольственных работ, я был замещен гр. Бобринским только спустя почти целый месяц. Это дало повод

Штюрмеру распространять слух, что о месячной отсрочке замены меня другим лицом я сам ходатайствовал перед Его Величеством, в расчете получить за этот срок свое министерское жалование. Об этой сплетне потом рассказывали мне председатель Государственного Совета А. Н. Куломзин, кн. В. М. Волконский и многие другие, в том числе А. А. Риттих, который с моего согласия поместил в газетах заметку о том, что июльское свое жалование Министр Земледелия передал на нужды министерской церкви. Тот же милейший Александр Александрович, до глубины души возмущенный Штюрмеровскими обо мне сплетнями, советовал тогда оповестить газетные редакции также и о том, что, перед уходом из министров, я, 1-го июля, возвратил Государственному Казначейству те шесть тысяч рублей, которые министрам были выданы из 10 тимиллионного фонда, по случаю дороговизны жизни. Я попросил Риттиха этого не делать.

За два дня, что мне пришлось еще пробыть в столице, после возвращения моего из Ставки и до отъезда в Головкино, на положении «уходящего министра», мои сотрудники, министерские и продовольственные, проявили столько единодушия в выражении мне симпатии и сожаления об моем уходе, что я был тронут до глубины души, и до сих пор не могу вспомнить о них без чувства искренней им всем признательности.

Особенно запечатлелись в моей памяти те теллые проходы, которые, спустя почти месяц (2-го августа) после оставления мною должности, были мне устроены всеми моими бывшими сослуживцами по Министерству Земледелия и сотрудниками по управлению делами Особого Продовольственного Сочещения.

Тридцать пять чинов бывшего моего ведомства чествовали меня у Донона обедом, на котором было произнесено по моему

адресу столько доброго и хорошего, что этот момент является и поныне одним из самых счастливых воспоминаний моей жизни и лучшей наградой за время моей министерской службы. Особо прочувствованные речи сказаны были тремя товарищами министра, а также Кошко и Чиркиным. Называли меня, как отмечено в моем дневнике, – и «богатырем», и «Микулой Селяниновичем» и «светлым мощным рыцарем», отмечали установившееся между мной и моими подчиненными «полное взаимное понимание и «сердечное объединение»...

И. И. Тхоржевский, верный своему таланту, сказал вызвавший общее одобрение, ныне им самим для меня восстановленный, экспромт такого содержания:

Из скромной норки «Трехугольной»²

Вернувшись в ваш широкий круг,

Рад подхватить я рифмой вольной,

Что прозой высказал мой друг.³

Трудясь – и страстно, и серьезно, –

Вы были пламенным бойцом!

Царю служили честно, грозно,

С открытым сердцем и лицом.

И, забывая грани службы,

Мы, рядовые, шлем вам вследъ

Дань благодарности и дружбы,

Дань уваженья – и привет!

Закончилось это чествование поднесением мне двух адресов: от чинов Министерства Земледелия и от служащих в Управлении Особого Продовольственного Совещания.

Копия последнего каким то чудомъ⁴ в моих бумагах уцелела. Считаю уместным текст полностью воспроизвести:

«Древний мудрец задал вопрос молодому знаменитому современнику: «Вот перед тобой три жребия жизни: первый – богатство Креза, второй – любовь красивейшей в мире женщины, с которой в красоте не могла бы поспорить сама прекрасная Елена, и третий – гусли самогуды. От тебя зависит выбрать любое. Блестящий юноша выбрал последнее. Излишнее богатство сделает меня зависимым; красивейшая женщина состарится, и красота ее пропадет, а гусли самогуды – это чудное напряжение нервов, которое, творя в области мысли, всегда доставит высочайшее наслаждение человеку, приближая его к божеству.

«С незапамятных времен человечество живет, представляя собой разновидности, из которых каждая сделала выбор между этими тремя жребиями, названными древним мудрецом.

«Золото увлекло за собой огромную массу сильных порою, но тупых людей, женская красота поработила других, и лишь немногие взяли себе гусли самогуды.

«Однако, все человечество, во все времена, прислушивалось к чарующим звукам этих гуслей, и под их ритм слагалась сама жизнь. В особые же моменты даже звон золота не в силах был оторвать человечество от их музыки, и красивейшая женщина плакала порою, наслаждаясь их дивной мелодией.

«И никогда еще с тех пор, как создался мир, властные звуки гуслей самогудов не были слышны так далеко, когда почта, телеграф, телефон и печатный лист разносят их повсюду, и никакое расстояние не может уменьшить их обаяния и силы.

«Завиден жребий гусяра певца. Но чем могущественнее его песнь, тем отчаяннее враг стремится порвать струны божественных гуслей, и неведомые силы усеивают терниями и шипами путь гусяра.

«Как восточная сказочница Шехеразада, он должен напрягать все силы своего ума и воли, чтобы звуками гуслей самогудов развеять власть этих темных сил...

«Без колебаний сравнивая Вас, глубокоуважаемый Александр Николаевич, с благороднейшим юношей, избравшим творческую мысль своим жребием жизни и, являясь свидетелями удивительной силы свободного духа, проявленной Вами в переживаемый момент на пользу великой родины и на благо всего русского народа, мои товарищи по службе в Управлении делами Особого Продовольственного Совещания уполномочили меня передать Вам душевный привет и выражение истинного восторга, что» судьбе было угодно дать нам возможность участвовать с Вами в Вашей благородной и плодотворной работе. Если правда, что даром ничего не дается, судьба жертв икупительных просит, то мы еще более верим также пророческим словам поэта: чем ночь темней, тем звезды ярче, чем глубже скорбь, тем ближе Бог.

«Желая успеха в дальнейших трудах Ваших, которых от Вас попрежнему будет ждать страна, мы позволяем себе просить Вас и в дальнейшей Вашей деятельности вспомнить иногда ту малую семью, которая зовется Управлением делами Особого Совещания. Она была допущена быть к Вам близкой и сохранит о Вас самую светлую память, как о прекрасном человеке, «который дел своих ценою злата не взвешивал, не продавал, не ухищрялся против брата и на врага не клеветал».

2 августа 1916 года. А. Петров (след. подписи).

До отъезда 1-го июля из Петрограда я, с помощью моего секретаря, срочно разбирал груды накопившихся бумаг и в то же время отбивался от осаждавших меня многочисленных газетных интервьюеров, которым я категорически отказывался что либо сообщать о причинах моего ухода. Несмотря на это, они

умудрялись заполнять длиннейшие газетные столбцы своими редакционными соображениями и предположениями.

Из этих статей мой секретарь Загорский сброшюровал целый объемистый альбом, представлявший для меня несомненный интерес. При этом, весь этот газетный материал, касавшийся моей отставки и оценки моей министерской деятельности, был, в общем, для меня весьма благоприятным.

Изо всей массы газетных отголосков чудом уцелели и имеются у меня под руками некоторые вырезки, случайно попавшие среди немногочисленных бумаг, захваченных мною при спешной эвакуации из Крыма.

Я привожу наиболее интересные из них.

В номере от 1-го июля 1916 года, в одной из наиболее распространенных в России газет, «Русское Слово», жирным шрифтом отпечатан заголовок: «Уход А. Н. Наумова, Министра Земледелия».

– «В Государственной Думе А. Н. Наумов встречал к себе, наравне с Министром Народного Просвещения гр. П. Н. Игнатьевым, очень благожелательное отношение, которое несколько раз проявлялось особенно ярко при выступлении А. Н. Наумова с думской трибуны. За последнее время много говорили о недовольстве А. Н. Наумовым и его тактикой в применении твердых цен на продукты со стороны влиятельных аграрных кругов, в частности аграриев Государственного Совета.....

Следующия две вырезки, судя по шрифту, повидимому, принадлежат «Утру России» и «Русским Ведомостям».

В первой говорится: – «Уходящий Министр Земледелия проявил себя за все семь месяцев своего пребывания во главе «зеленого ведомства» человеком того традиционного такта, который стал своего рода обязательством для преемников Статс

Секретаря Кривошеина. А. Н. Наумов не упускал ни единого случая, чтобы не подчеркнуть своего доброжелательного отношения к сотрудничеству с общественными силами. У всех в памяти добрые взаимоотношения, создавшиеся между Министром и Государственной Думой. Член Государственного Совета по избранию Самарского земства являлся в составе кабинета Б. В. Штюмерера, по существу, едва ли не единственным общественным элементом. Сейчас, понятно, неподходящий момент проводить оценку деловым качествам уходящего Министра и определять, в какой мере плодотворным было сотрудничество в одном и том же ведомстве деятелей типа А. Н. Наумова и Г. В. Глинки. Но надо признать, что, каковы бы ни были личные качества и личная энергия любого Министра Земледелия, у него нет и не могло быть ни той полноты власти, ни того авторитетного исполнительного аппарата на местах, без которого деятельность заведывающего продовольственным делом Империи заранее обрекалась на неуспех. Сознал это, по слухам, и сам А. Н. Наумов, выдвигая проект создания особого Министерства Снабжения страны всеми необходимыми продуктами за исключением предметов военного снаряжения»...

В последней, имеющейся в моем распоряжении, газетной вырезке значится: – «Уход Министра Земледелия А. Н. Наумова не является неожиданностью и не случайно совпадает как раз с тем моментом, когда в правительственных кругах вновь усиленно заговорили о необходимости начать борьбу с общественными силами и союзами, работающими на защиту страны. Далекий от тенденций либерализма, – достаточно вспомнить, что он входит в группу правых Государственного Совета, – бывший Министр Земледелия являлся все же в кабинете Штюмерера представителем, хоть и не ярко выраженной, но общественной

струи. С печальных дней весны прошлого года было сделано несколько попыток влить эти струи в чисто бюрократические воды. Но опыты эти неизменно терпели крушение, и уход А. Н. Наумова, это ликвидация чуть ли не последнего такого опыта. Недавно, за несколько дней до отставки А. Н. Наумова, в печати появилась беседа с ним на злободневную тему о роли общественности. Сопоставление высказанных в этой беседе взглядов с последними выступлениями официальных и правых официозных сфер очень ярко подчеркивает изолированность Наумова среди кабинетского большинства.

Министр Земледелия, человек с почтенным общественным стажем и один из немногих русских министров, успевших завоевать известное доверие нашей палаты народных представителей, резко подчеркнул в своей беседе, что, по его убеждению, правительству, без поддержки общественных организаций, не справиться с продовольственным кризисом. Поэтому, по мнению Министра, необходимо установить доверчивые отношения сотрудничества правительственных органов. И установление подобных отношений, по убеждению г. Наумова, вполне возможно, но для этого необходимо, чтобы правительство отказалось от своей политики недоверия к органам самоуправления и общественным организациям. Раз только подозрения исчезнут, сговориться той и другой сторонам будет не трудно. Совершенно очевидно, что подобная декларация Министра Земледелия резко противоречит всему курсу политики г. Штюмерера, который идет последовательно по стопам г. Хвостова и стремится окончательно взять продовольственное дело в руки Министерства Внутренних Дел. Вновь возродился классический проект накормить Россию «досыта» путем губернаторских и градоначальнических обязательных постановлений, опирающихся на

твердую и нигде не стесненную власть губернской администрации. Губернатор еще раз является понаецей от всех бед дороговизны и расстройств внутренней жизни страны. Г. Штюмер остался, таким образом, верным исконной бюрократической традиции: ни события войны, ни опыт прошлого не научили его и его единомышленников справа ничему! Впрочем, г. Штюмер не одинок в своих разногласиях с бывшим Министром Земледелия. Против г. Наумова говорит не только бюрократическая традиция, но и стоящая за спиной сильных мира сего российская плутократия. Продовольственной политикой г. Наумова, и особенно его твердыми ценами, оказались весьма недовольны гг. землевладельцы и торговые люди, которые еще недавно на съезде подняли такой дружный шум против «стеснений» русской коммерции и внушали г. Наумову и его ведомству столь любезные им мысли насчет «свободы» торговли и прочих «свобод» по части наживы и эксплуатации обывателя. В интересных разъяснениях Министерства Земледелия дана была у нас вчера картина борьбы ведомства со спекуляцией сахарозаводчиков, вскрывающая весьма любопытные отношения из области «сахарного» патриотизма. Гг. сахарозаводчики, не менее гг. торговцев и русских аграриев, имеют все основания быть недовольными Министром Земледелия. И, несмотря на то, что твердые цены г. Наумова были установлены к явной выгоде гг. сахарных и иных спекулянтов, непомерные аппетиты мародеров тыла заставили их всеми правдами и неправдами вести борьбу с твердыми ценами.

Вся совокупность указанных обстоятельств придает уходу г. Наумова крупный общественный интерес. Г. Наумов пришелся со своими общественными симпатиями не ко двору чисто бюрократического кабинета, не угоден оказался он и тем, кто, не взирая на бедствия войны, не может поставить интересы

родины выше интересов своего кармана и самой беззащитной наживы, и Министру Земледелия пришлось очистить свой пост»...

В том же номере московской газеты «Русское Слово» от 1-го июля 1916 года, где были высказаны редакционные мысли и предположения по поводу моего ухода из Министров, напечатана статья, озаглавленная: «Министерство Земледелия и продовольственное дело», дающая общую картину «положения продовольственного дела в Империи и деятельности в этой области Министерства Земледелия».

Происхождение этой статьи было таково: лишенный возможности 21-го июня, с трибуны Государственного Совета, познакомить его членов и все русское общество с общей постановкой продовольственного дела в стране, с уже достигнутыми в этой области результатами и намеченным дальнейшим планом снабжения, я решил то, что я имел намерение публично сказать в открытом заседании Общего Собрания верхней палаты, сообщить, в кратком конспективном виде, редакциям наиболее авторитетных и распространенных в России газет, и перед выездом моим на могилевское экстренное совещание 28-го июня, дал журналистам интервью.

Вернувшись 29-го того же месяца в Петроград, ввиду ухода моего со службы, я счел неудобным, чтобы это интервью было помещено от моего лица, как Министра, вследствие чего, через посредство Н. А. Гаврилова, я принял к тому меры. Редакции согласились напечатать полученные ими данные не от моего имени, а как добытые из «осведомленных источников Министерства Земледелия».

1-го июля во всех наиболее видных, петроградских и московских органах периодической печати появилось то, что я счи-

таю небезынтересным поместить теперь в моих воспоминаниях, пользуясь уцелевшей газетной вырезкой из «Русского Слова». Все то, что в копии с нее будет помещено мною здесь, появилось одновременно в том же самом виде во всех остальных крупных русских газетах, чему я был несказанно рад, так как, хотя и косвенным путем, но все же до некоторой степени добился своего, оповестив *urbi et orbi* о положительных результатах моей продовольственной деятельности, и тем самым дал всей стране отчет о моей министерской службе.

Помещенные 1-го июля 1916 года во многих газетах данные о положении продовольственного дела достаточно ясно и доказательно говорят, насколько несвоевременным и неуместным являлся конфиденциально обставленный всеподданейший доклад Министра Внутренних Дел Штюмерера о ломке всей, установленной мною, совместно с Особым Совещанием, системы продовольственного снабжения и проект передачи последнего в заведывание Министерства Внутренних Дел.

Воспроизвожу здесь точную копию имеющейся в моем распоряжении газетной вырезки из «Русского Слова» от 1-го июля 1916 года:

«Министерство Земледелия и продовольственное дело»

«Один из главных руководителей ведомства Министерства Земледелия, в беседе с нашим корреспондентом, сообщил следующие сведения о положении продовольственного дела в Империи в настоящее время и о деятельности в этой области Министерства Земледелия.

Запасы хлеба. – По общему вопросу, естественно интересующему всю Империю, о состоянии продовольственного дела могу заявить, – сказал наш собеседник, – что хлеба в Империи

имеется совершенно достаточное количество, которое обеспечивает в полной мере потребности армии и населения. От урожая прошедшего года, который исчисляется приблизительно в 4 миллиарда 300 миллионов пудов, за удовлетворением потребностей населения в хлебе в 3½ миллиарда пудов, остаток составляет около 800 миллионов пудов. От урожая прошлых лет осталось около 500 миллионов пудов. Таким образом, всего, ко времени сбора урожая текущего года, остаток хлеба в Империи может быть определен в 1.300.000.000 пудов. Заготовка Министерства Земледелия для армии и населения из урожаев последних двух лет составляет до 800 миллионов пудов. Если даже допустить, что эти 800 миллионов пудов хлеба должны быть целиком отнесены за счет вызванного войной увеличения потребления хлеба в Империи, то и тогда свободный остаток хлеба составит не менее 500 миллионов пудов.

Собираемая Министерством Земледелия сведения о состоянии посевов позволяют надеяться, что урожай текущего года будет выше среднего, т.е., во всяком случае, при сокращении посевной площади, все же превысит 4 миллиарда пудов, что при потреблении 3½ миллиардов даст вместе с прежним остатком, в общем, свободный запас в миллиард пудов. Из этого количества заготовка Министерством Земледелия для армии и населения на период 1916-17 г.г. исчисляется в 500 миллионов пудов. Таким образом, за покрытием не только всех потребностей, но и с образованием крупных правительственных запасов, чистый свободный остаток хлеба в Империи будет не менее полумиллиарда пудов.

Мясной вопрос: – Следует ожидать недостатка в снабжении населения мясом. Но и здесь не может быть и речи о призраке голода, и в самом плохом случае населению придется

примириться с необходимостью переносить некоторые лишения. Это уже признано армией, где уменьшена мясная порция. Тем больше может государство потребовать этого от населения, ибо мясной капитал, во имя интересов всей страны, необходимо беречь. Прежде всего, были приняты меры для более равномерного использования имеющихся запасов мяса. Для этого Министерство Земледелия обратилось ко всем земствам с просьбой о сотрудничестве в распределении по губерниям того количества мяса, которое необходимо готовить для армии и населения. Привлекая для такого важного государственного дела земства, Министерство Земледелия далеко было от мысли, таким образом, переложить ответственность с ведомства на земства. Общее руководство остается попрежнему за Особым Продовольственным Совещанием. Все земства откликнулись на приглашение ведомства, и уже первые результаты показывают, насколько правильна была мысль о привлечении их к этому важному делу. Остается в настоящую минуту лишь благодарить земства за оказываемое ими энергичное содействие.

Потребление овощей. – В числе других мер, которые приняты ведомством для улучшения питания Империи, была и забота о развитии потребления овощей. С этой целью за время войны значительно увеличилась площадь земли, отведенной под огороды. Всего в настоящее время по 28 ми губерниям под огородами находится 200.000 десятин.

Сахар. – Установленная 9-го октября 1915 года твердая цена вполне отвечала желаниям сахарозаводчиков и считалась ими выгодной. Особое Совещание, применяя в октябре несколько преувеличенные цены, имело в виду возможное повышение стоимости производства сахара в будущем. Однако, в ближайшее же время обнаружилась тенденция сахарозаводчиков к дальнейшему повышению цен. Неуклонно и постепенно

на рынке стала все в большей степени проявляться раздвоенность цен, твердой и вольной, при постепенном росте последней. При таком положении вещей, достать продукт по твердой цене оказалось невозможно, так как спекулянты принимали все меры к сокрытию сахара и к задержанию его подвоза на железнодорожные станции. Тогда Особое Совещание стало вести борьбу с раздвоенностью цен и стремиться создать такие условия, при которых получение продуктов по твердым ценам сделалось бы действительно невозможным. Повысив цены на сахар рафинад, Особое Совещание применило ко всем перевозкам сахара разрешительную систему на адреса уполномоченных районов потребления. Но сахарозаводчики стали обходить это ограничение путем принявшего массовый характер вывоза сахара с заводов гужом. После всего этого, пришлось прибегнуть к радикальным мерам, – к допущению пропуска сахара с заводов не иначе, как с разрешения центрального бюро, учрежденного в Киеве Особым Совещанием и к устранению расчета покупателей с заводами. Установлен обязательный порядок покупок через это центральное бюро, которое само рассчитывается с заводами, т.е. была введена фактически сахарная монополия.

1 Изданные письма Императрицы к Государю подтверждают этот слух.

2 В то время Тхоржевский состоял на частной службе в Обществе «Треугольник».

3 А. А. Риттих.

4 Все подлинные адреса, фотографические группы и пр. хранились после революционного большевистского переворота 1917 года у моего московского доверенного Алексея Алексеевича Семенова, о котором с 1929 г. нет никаких известий. Слух дошел, что бедный старик, заключенный большевиками в тюрьму в 1930 году, отдал Господу Богу свою душу.

В связи с принятыми мерами, явилась необходимость организации равномерного распределения сахара, что возможно лишь на началах государственного регулирования по составленному Особым Совещанием плану. Установленные твердые цены и принятые меры, как думается, предупредили опасность повышения цен на сахар до невероятных размеров в ближайшем будущем. Если исходить из нынешнего потребления сахара, то на будущий год для всей Империи необходимо будет 96 миллионов пудов, между тем выработано будет только 85 миллионов пудов. При таких условиях несомненно, что и в будущем придется распределение сахара в Империи регулировать распоряжением правительства.

Соль. – Относительно снабжения населения солью, в настоящее время приняты все необходимые меры, и едва ли следует ожидать затруднения в обеспечении населения этим продуктом. Для урегулирования дела, вся соль, добытая в Пермском районе, около 14 миллионов пудов, уже закуплена казной через уполномоченного и доставляется в нуждающиеся районы.

Дороговизна, – Спекулятивные аппетиты во всех областях рынка безграничны. Особое Совещание по продовольственному делу делает в этом вопросе всё возможное в областях, доступных его влиянию. Являясь главным оптовым покупателем хлеба и мяса и имея возможность путем твердых цен регулировать оптовую стоимость продуктов, Министерство Земледелия уже совершает очень крупный шаг в смысле борьбы с дороговизной. Заниматься мелочной, так сказать, раздробительной продажей продуктов Министерство не в состоянии. Это уже сфера деятельности городов, земств, кооперативов и других местных организаций. Во всяком случае, несколько сдержат развитие дороговизны пищевых продуктов Особое Совещание

по продовольствию может, только благодаря именно твердым ценам и праву реквизировать необходимые продукты, в случае нарушения этих цен. О необходимости твердых цен не может быть двух мнений. Нынешнее время есть время лишений и жертв. О нормальной свободе рынка говорить нельзя, и все государства принимают меры для того, чтобы упорядочить вопрос продовольствия и рыночные цены.

Сельское хозяйство. – Естественно, что война в сильнейшей степени повлияла на сельскохозяйственную промышленность, и мероприятия Министерства Земледелия были направлены к тому, чтобы по возможности уменьшить влияние войны на народное хозяйство. В этом направлении, в области сельского хозяйства, при энергичном содействии земских и общественных учреждений и самого населения, удалось достичь немалых результатов для возмещения различными способами убыли рабочих рук, замены ручного труда механическим, и т. п. С особым вниманием следует остановиться на том, что сделала в это время русская женщина, эта великая сила нашей страны. Женщина заменила мужчину в сельском хозяйстве и работает с полным успехом. Она пашет, обрабатывает поле, возделывает огород, ведет все хозяйство, неустанно, работает, полная самоотверженного труда. Надо преклониться перед заслугами русской женщины в настоящее трудное время».

Вечером, 1-го июля 1916 года, провожаемый всеми своими сослуживцами по Министерству, я, после своих поездок в министерских вагонах, снова в качестве «свободного гражданина», уселся в скромное купе симбирского вагона «прямого сообщения» и, тепло простившись с дорогими для меня людьми, тронулся в путь, в свое благословенное Головкино....

Приложение.

Стенографический отчет.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.

Четвертый созыв.

Сессия 4. Заседание двадцать третье Четверг, 18 февраля 1916 г.

Стр. 1831 1856

Министр Земледелия А. Н. Наумов. Гг. Члены Государственной Думы. Ввиду исключительной важности тех вопросов, которые затронуты подписавшими их, я счел своим срочным долгом отозваться ныне же, в мере тех данных, которыми я располагаю и которые буду иметь честь сейчас Вам представить. (Голоса: правильно). Я не стану говорить вам, гг., о той сложности всей нашей сельскохозяйственной жизни, которая создавалась условиями необычайными, которые переживает в настоящее время наша страна» масштаб войны исключительный, небывалый, безпримерный. Земледелие же все таки – основа нашей мощи, с этим надо считаться, и я лично приветствую, что Государственная Дума своей первой очередной задачей поставила именно этот вопрос. Вступая в ряды министерства, я, гг., прежде всего исповедывал одно, что то или другое состояние тыла должно отражаться соответствующим образом на настроении нашей доблестной армии. (Голоса: правильно). Я считаю, гг., что связь тыла и армии в настоящее время такова, что, надо сказать, в настоящее время происходит борьба не армий, а народов. (Голоса: верно). Гг., малейшее нарушение этой органи-

ческой связи несомненно отзывается на успехах нашего доблестного оружия и придти на помощь делу упорядочения этой связи – наша святая обязанность. Здесь многими лицами говорилось об этом, со многим из того, что было сказано, по отношению общего настроения и учета настроения, я должен согласиться. Так вот, если мы примем во внимание, гг., что ведомству земледелия поручено дело продовольствия армии, которое потом разрослось в продовольствие тыла и населения, если вы учтете, что ведомство земледелия должно обеспечить действительно добычу продуктов не только в данный момент, но и на будущее, то перед вами встанет картина огромной, я скажу жуткой ответственности ведомства земледелия. Но одно могу вам сказать, что тех традиций ведомства, которые я получил от моего глубокоуважаемого предшественника Александра Васильевича Кривошеина, я их свято держусь, я их держусь кровно и иначе не могу себе представить, – я, изстари, с университетской скамьи, общественный земский деятель и не могу себе представить правительства одиноким; я никогда ответственности не боялся, но всегда искал искреннего делового сотрудничества, помогите, гг., мне вашей критикой, но критикой, гг., содействующей, а не обособленной. (Милюков: вы одиноки в правительстве). В вопросе написано: все ли сделано? Гг., само собою разумеется, не все. В этом сомнения быть ие может. Я постараюсь только вам сказать то, что именно ведомством сделано в отношении разрешения вопросов, которыми заинтересовалась Дума, и, между прочим, относительно сокращения посевной площади. Но все то, что я буду иметь честь вам сейчас говорить, все это несомненно не будет материалом исчерпывающим. По многим обстоятельствам, о которых, вы, вероятно, сами знаете, это входит отчасти в область нашей военной государственной

тайны, ибо деятельность наша тесно связана с фронтом, а с другой стороны, эта область настолько многогранна, настолько обширна, что я прошу, гг., дать мне возможность в будущем, постепенно, при случаях, в порядке известной системы, вам давать соответствующие разъяснения и выслушивать ваши суждения. Но одно только могу сказать, что я лично, как человек реальной политики, всегда держался известного плана, и буду очень рад совместно с вами установить известный план не только на ближайшее, но и на грядущее длительное будущее. Конечно, эта задача огромна, поскольку огромна вся наша Россия, относительно которой недавно одно лицо, представитель одной из наших союзных держав, сказало мне, что Россией надо управлять широкими штрихами Микель Анджело. (Шингарев: с его талантом). Повторяю, обширная наша страна требует большого размаха; но, во всяком случае, гг., именно по громадности нашей родины и нужно сделать широкие задания на будущую государственную жизнь, скажем, в частности сельскохозяйственную, в связи с другими отраслями промышленности. Непременно надо установить известную систему жизни государственной на долгое время. (Рукоплескания в центре, голоса: правильно). Итак, гг., я постараюсь в дальнейшем, иллюстрируя соответствующими цифрами, ответить на те вопросы, которые я получил недавно, и постараюсь эти вопросы в известной степени осветить, само собою разумеется, постольку, поскольку они касаются вверенного мне Министерства Земледелия. Что касается общей политики правительства, то я имею поручение передать вам от лица г. Председателя Совета Министров, что он в соответственное время даст свои разъяснения.

Внимание общественное с глубочайшей тревогой относится теперь ко всему тому, что обнимает собой понятие сель-

ского хозяйства, и пытается уяснить себе значение и размер потрясений, внесенных войной в эту основную отрасль русского народного хозяйства. И на самом деле, гг., тревога эта вполне естественна: ведь земледелие дает нам свыше двух третей нашего народного хозяйства – не менее 9.000.000.000 р. из общей годовой производительности империи в 15.000.000.000 р. Не есть ли это основа нашего благополучия? Не есть ли это основа той мощи, которая при сопутствующих ей благоприятных обстоятельствах является неодолимой в борьбе? Вместе с тем, разрозненные впечатления, получаемая в глубине страны, заставляют думать, что сельскохозяйственная промышленность, в которую в настоящее время несомненно внесено известное расстройство, должна обратить на себя серьезнейшее внимание. Особенности опасения высказываются по отношению к убыли рабочих рук, которая несомненно связана с уменьшением посевной площади. Позвольте мне по сему поводу дать несколько цифровых данных. Имеющиеся исследования показывают, что сбор главнейших хлебов в России – рожь, пшеница, ячмень, кукуруза, овес, составлявший в среднем за 1910 1913 гг. 4½ миллиарда пудов, в 1915 г. сократился до 4 миллиард. пуд. Приведенное уменьшение сборов составило соответственное падение его на 6,5% в 1914 г. и 10,7% в 1915 г.; в абсолютных цифрах это дает недобор в 284.000.000. пуд. на 1914 г. и 485 мил. пуд. для 1915 г. Такой недобор появился в годы войны, взамен наблюдавшегося ранее увеличения сборов. Это сопровождалось соответствующим уменьшением с 1913 по 1915 гг. засеваемая площадь уменьшилась на 9½ миллионов десятин, в 1914 г. – 89 мил. дес. и в 1915 г. – 82 мил. дес. Следовательно с 1913 по 1915 гг. засеваемая площадь уменьшилась на 9½ миллионов ддесятиин, или на 10,3%. Умалять значение этих цифр невозможно; несо-

мненно, они знаменуют собой ежегодную потерю производительности русского сельского хозяйства, приблизительно, на четверть миллиарда рублей в год. Но нельзя, с другой стороны, и преувеличивать влияния указанного недобора на общую совокупность хозяйственных сил России. Отчасти недобор 1915 г. связан был с временным оставлением нами во власти неприятеля некоторых губерний, но в связи с этим уменьшением сбора сократилось и количество потребителей; а затем, и это главное, война прекратила наш вывоз. В среднем, главнейших хлебов вывозилось ежегодно до 680.000.000 пуд. т.е. около 15% общего сбора. Я, гг., подхожу к освещению этого вопроса не с точки зрения обрисовки обогащения нашего денежного хозяйства, но с точки зрения учета имеющихся у нас хозяйственных сил, постольку, поскольку они связаны с той или другой длительностью войны и обеспечением тыла. Почти весь этот вывоз, 680.000.000 пуд., со времени войны стал оставаться в стране. В 1914 г. мы вывезли 348 миллион. пуд., в 1915 г. из 4 млрд, всего лишь 31 миллион пуд. – свыше, следовательно, 3.900 мил. пуд, осталось в стране. Между тем, годовое требование для армии и населения – разрешите, гг., в общей цифре это сказать – четырех главнейших хлебов: ржи, пшеницы, овса и ячменя – составляют, приблизительно, около 2 миллиард. пуд.(причем в данном случае расчет, безусловно, сделан нами в самых широких размерах – по норме в 21,3 пуд. на душу, причем это считается с семенами. Таким образом, при учете небольшого – 150.000.000 пуд. – остатка урожая 1914 г., в империи имеется до 900 миллионов пуд. избытка главнейших хлебов, могущих идти на удовлетворение потребностей страны в 1915 1916 гг. Другими словами, не менее одной третьей части годовой потребности у нас имеется в запасе на один год вперед. Само собою, это

в значительной мере уравнивает опасную сторону временного сокращения площади посева. Разумеется, приведенный расчет производства потребления хлеба основан на тех сведениях, которые имелись в моем распоряжении. Особым Совещанием по продовольственному делу предreshено производство общей сельскохозяйственной переписи. Но думается мне, что общий вывод, сделанный в докладе бюджетной комиссии Государственной Думы по росписи, на стр. 37 доклада о наличии у нас избытка продовольственных запасов, будет безусловно подтвержден тою переписью, которая имеется в виду. Из этого я только могу заключить, что безусловно силы наши хозяйственные еще представляют громадный запас; оне, скажу больше, неисчерпаемы, н, следовательно, у нас нет грозного призрака недостатка продовольственного хлеба, который страшен нашим врагам. Но, вместе с тем, Министерство Земледелия не считает, что все в сельскохозяйственной жизни идет совершенно нормально. Во первых, ненормально в стране распределение запасов и избытков, проистекающее из транспортных затруднений, создающее временный недостаток продовольствия в одних местах, в то время как другия страдают от низких цен и невозможности сбыта; это само по себе причиняет много тревог населению и правительству. Но, во всяком случае, наличие, хотя бы и ненормально распределенных запасов, несомненно, и оно обеспечивает пользу и настоятельность всяких мер, направленных со стороны правительства к устранению упомянутых затруднений. У меня, гг., недавно был бывший начальник Акмолинской области, который мне говорил, видимо, с чувством чрезвычайной тревоги и досады, что ему пришлось оставить Акмолинскую область, где в одном Кокчетавском уезде имеются сотни миллионные запасы пшеницы, которую не могут

даже сбыть и по 40 коп.; в Кокчетавском уезде, говорит он, которыми возможно было бы по крайней мере года на два обезпечить этим самым продуктом чуть ли не всю Европейскую Россию; если бы этот Кокчетав соединить с Петропавловском – там около 300 верст, – то все равно мы приткнемся к той Сибирской магистрали, которая более 750 вагонов опять таки не может дать. Мы из-за каждого вагона на Сибирской дороге торгуемся, каждое ведомство отбирает себе этот вагон, я боюсь, что это сможет отозваться, между прочим, и на скорости доставки уборочных машин из Владивостока. Между тем, если бы была своевременно проведена южная Сибирская магистраль, перед войной, соединяющая Орск и Семипалатинск, то коренным образом обезсилено было бы то несчастье, с которым мы должны бороться – уменьшение посевной площади в Европейской России, ибо такая провинция, как Сибирь, обладающая колоссальными богатствами, всегда смогла бы подавать эти богатства в Россию. Там закуплено чрезвычайно много всяких продуктов – и овес, и сено, и мясо, и масло, но доставить сюда вовремя, к сожалению, невозможно, за отсутствием развитой железнодорожной магистрали.

Теперь, гг., я позволю себе подойти к вопросу о видах на сбор хлеба в текущем 1916 году. Основная причина уменьшения посевов – сокращение числа рабочих рук в сельском хозяйстве – получила силою вещей дальнейшее развитие. Военные события повелительно требуют пополнения рядов бойцов нашей армии. Из общего числа населения империи в 178 миллионов, сельским хозяйством занято до 140 миллионов, т.е. около трех четвертей всего населения, в том числе мужчин рабочего возраста, полных рабочих, надо считать около 45 мил. Не малая часть их, гг., призвана под оружие, и этот отлив наиболее работоспособной части населения, естественно, должен отражаться

на результате производительности земледельческого труда, как бы не напрягали свои силы оставшиеся.

Подсчитывать результаты сборов 1916 г., разумеется, преждевременно, но некоторые справки и указания в этом отношении могу дать – о посеве озимых в 1915 г. и подготовке земли к весеннему севу. Министерство Земледелия, с первых же шагов вступления моего в качестве руководителя ведомства, обратилось ко всем возможным источникам, чтобы получить сведения относительно угрожающего уменьшения посевной площади. Были использованы все возможные в этом отношении местные силы и административные учреждения: и губернская, и уездные земские управы, и местные агрономические организации, но, само собою разумеется, гг., что это является не картиной точного цифрового учета, скорей я должен охарактеризовать это известной областью впечатлений. К сожалению, гг., это вопрос очень больной у нас. Подойдя ближе к ведомственным работам, я столкнулся с крайней необходимостью чисто государственного порядка – иметь в нашем правительстве особый такой орган, который бы учитывал действительно на основании цифровых данных все то, что у нас имеется в стране, и чтобы это был бы один источник, а то получается такая картина, что по части статистических сведений в разных министерствах имеются различные данные. Так что я лично считаю, что этот вопрос чрезвычайно важный в случае необходимости срочного его упорядочения, дабы при наличии его установить известную планомерную государственную деятельность и работу. Вот по таковому, собранному нами, сведениям, о которых я говорил, явчилась некоторая возможность установить районы и губернии, где наиболее заметно сократилась площадь озимых посевов. Районами этими являются Малороссия, южное Поволжье, Предкавказье, Западная Сибирь. Особенно сильный недосев, в среднем,

свыше 20, а иногда и до 50%, отмечается в Донской области, в Ставропольской губ., в Кубанской обл., в отдельных уездах Саратовской, Самарской, Воронежской, Астраханской губ., а именно: в Царицынском, Камышинском, Новоузенском, Новохоперском уездах. В Западной Сибири посевная площадь вообще уменьшилась для озимых хлебов на 20 22%. Кроме того, не столь сплошной характер имел, но в отдельных хозяйствах достигал крупных размеров, недосев в Херсонской губ., Подольской губ., Таврической и, в особенности, в Екатеринославской губ. Как общее явление, уменьшение площади озимых посевов чаще наблюдается в тех районах, где и до войны наблюдался недостаток рабочих рук, и притом более в крупных частновладельческих хозяйствах и менее в хозяйствах крестьянского типа, причем, где существует трехпольная система, этот процент почти сведен на нет. Что касается яровых посевов 1916 г., то пока можно было выяснить только сокращение вспашки полей под зябь, и это явление, конечно, может повлечь за собой уменьшение посевов, но, с другой стороны, это может отозваться не на уменьшении, собственно, не на количестве площади посева, но в смысле качественном, потому что, само собой разумеется, продукт не может родиться в том размере, если земля не была подготовлена во время. Изложенные данные бесспорно говорят за то, что 1916 г. в отношении сбора хлебов даст результаты худшие против 1915 года. Оценивая их, нельзя вместе с тем забывать одного: 1915 год не только имел запас от прошлого, но сам дал на душу населения хлебов в размере более среднего обычного потребления, и что поэтому положение вещей в отношении запасов продуктов сельскохозяйственных является отнюдь не угрожающим и уравнивается на ближайшие годы наличностью 33% избытка хлебного запаса, ввиду отсутствия вывоза. Из этого, гг., конечно, не следует выводить

того заключения, чтобы с сокращением посевов площади нельзя или не надо было бороться. Наоборот, я считаю это необходимым, и некоторые меры в этом направлении ведомством приняты в самом срочном порядке. Но я заранее говорю, что при наших огромных пространствах и при отбытии почти четверти рабочего населения в армию, восстановить ВСЮ площадь прежних запасов полностью при действующих условиях я считаю весьма затруднительным.

Но, прежде чем переходить к перечислению принятых ведомством мер, я должен коснуться одного, если хотите, большого и вместе очень важного вопроса в нашем сельском хозяйстве – это относительно нашего скотоводства, о чем здесь уже говорили, в связи с мясным питанием армии и населения. Несомненно, гг., не мне вам доказывать, какое тесное взаимоотношение имеет этот вопрос с теми интересующими Государственную Думу сведениями, которые касаются посевной площади, ибо рабочий скот, с одной стороны, и необходимость в некоторых губерниях унаваживания, с другой, это вопросы чрезвычайно острые и находятся в постоянном и тесном взаимоотношении. Но этот вопрос настолько огромный, настолько сложный, что я попросил бы по поводу его представить вам в соответствующее время самостоятельный и подробный доклад. (Голоса: просим). Теперь же я считаю необходимым отметить следующее: и в нормальное время Россия была бедна домашним скотом по сравнению с другими государствами; на всю огромную территорию империи в 1913 г. было всего только 52.4 миллиона голов рогатого скота. Ежегодно естественный прирост давал около 9.000.000 голов. Этим количеством измерялось приблизительно обычное годовое потребление населения. С начала войны питание армии требовало усиленного притока

мяса; увеличилось потребление мяса и в населении, под влиянием прекращения пьянства и тех данных, о которых мы имели случай здесь слышать. За год армия взяла до 5.000.000, что, вместе с потреблением мирного населения, составит расход 14.000.000 голов. Кроме того, эвакуация, как здесь тоже было заявлено, ряда западных губерний была сопряжена с потерей для хозяйства страны не менее 4.000.000 голов, частью оставшихся в занятом неприятелем районе, частью павших. По этому поводу я, опять повторяю, сочту своим долгом сообщить все подробности особо. В общем, за год было израсходовано более 18.000.000, т.е. сверх нормального прироста было взято из стада более 9.000.000 голов. Оставшиеся 43 миллиона, считая и Сибирь, дадут в следующем году нормальный прирост до 7 миллион. Потребление же армии и населения предъявит спрос на 14 миллион. Придется снова уменьшить стада на 7 миллионов или сократить размер мясного питания страны, о чем в настоящее время уже возбужден вопрос в Особом Продовольственном Совещании, – и ждет по этому поводу суждений и решений с вашей стороны. (Голоса слева: конечно, сократить). В этом я считаю самый тяжелый ущерб, который нанесла война сельскому хозяйству, ибо в других отраслях оно стойко выдержит последствия военной бури. Конечно, определить точно размер этого ущерба нельзя до выяснения результатов той переписи скота, которая готовится в настоящее время министерством, согласно постановления Особого Продовольственного Свещения. Дело это в настоящее время направлено в самом срочном порядке. Особым Совещанием принят ряд мер в отношении армии и пленных, в смысле ограничения расходования мяса. Вследствие сношений Министра Земледелия с начальником штаба Верховного Главнокомандующего, делаются по-

пытки замены говяжьего мяса бараниной и свининой. Обращено также внимание на увеличение добычи рыбы. Затем, мною установлена роль земства в деле реквизиции скота. (Голоса: это правильно). Все подробности об этом, гг., вы разошлите мне доложить вам в свое время при соответствующих условиях. Затем, громадный рынок, который уже частично использован в прошлом году и на который мною обращено особое внимание, это рынок монгольского скота. Об этом вы также позвольте мне, гг., доложить вам особо. Но главные заботы приходится устремлять на восстановление нашего отечественного животноводства. Для этого необходимо сохранение племенного скота, и на указанную сторону мною обращены преимущественно заботы. Министерство испросило для этого согласие штаба Верховного Главнокомандующего освобождать ближайшие к фронту районы от доставки племенного скота точно определенной категории, передавая таковой в министерство для эвакуации. В остальных местностях театра военных Действий освобожденный племенной, с установленными клеймами, скот разрешено либо оставлять у хозяев, либо передавать ведомству. При этом, весь скот, имеющий клейма и снабженный соответствующими удостоверениями, разрешено освобождать от сгона на сборные пункты, взамен чего владельцы скота должны представить удостоверения, что этот скот не подлежит реквизиции. Освобождение от предварительного сгона даст возможность избежать неудовлетворительного держания скота в гуртах, отчего наиболее страдают культурные породы. На осуществление этого мероприятия Министерство Земледелия испрашивает, для возмещения реквизированной стоимости, на содержание и перевозку скота во внутренние губернии, кредит в сумме 6½ миллионов рублей. Ведение этого дела поручено

особой организации, при деятельном участии земских учреждений и местных властей; равным образом достигнуто соглашение с военными властями об облегчении в деле реквизиции лошадей и установлена льготная норма для обязательного оставления лошадей в хозяйстве, а именно: на каждый крестьянский двор пару или на каждые 12 дес. в экономии также пару. (Голоса: правильно).

Позвольте перейти теперь к мерам прямым, например направленным для возможного сохранения посевной площади. Главная причина недосева – убыль рабочих рук, вызванная наборами. Министерство Земледелия, когда еще нужда в сельскохозяйственных рабочих не чувствовалась с такой остротой, поставило на очередь вопрос о привлечении на сельскохозяйственные работы военнопленных; это было в феврале 1915 года; оно внесло на обсуждение бывших тогда в Петрограде представителей губернских и уездных земских управ и других земских деятелей и сведущих лиц; затем, в соответствии с суждениями совещания, по соглашению с Министрами Военным и Внутренних Дел, были выработаны правила, вам, вероятно, гт» известные. Для обеспечения сельскохозяйственных работ рабочей силой в текущем году приняты по соглашению с теми же министерствами следующие меры: по данным Военного Министерства, свыше 700.000 военнопленных прочно заняты на работах первой для страны важности, значительная часть на сельскохозяйственных – 260.000, другие в каменноугольных копях, на заводских работах особой срочности, на целом ряде новых сооружаемых железнодорожных линий, на лесных работах, по заготовке железнодорожных шпал и т.д. Оставшийся контингент составляют исключительно немцы и мадьяры, которых к некоторым работам не признавалось возможным допускать в

прошлом году, а на другие, например, на сельскохозяйственные, нередко избегали брать и сами заинтересованные – хозяева и сельские общества. Поэтому, этот контингент оставался в Сибири и в значительной степени использовался не постоянно, а только периодически. Но так как при назначении немцев и венгров на сельскохозяйственные работы никаких неблагоприятных результатов, по отзывам сельских хозяев, не наблюдалось, то при увеличении нужды в рабочих руках, по настоянию Министерства Земледелия, решено передвинуть из-за Урала для нужд сельского хозяйства часть военнопленных в количестве 120.000, сверх 260.000. Военное ведомство, подробно учтя все дополнительные требования на рабочую силу для прочих нужд государственного значения, сделало передвижку этих 120.000 новых, распределив их между губерниями с таким расчетом, чтобы в каждой губернии общее количество военнопленных достигло высшего числа, бывшего в прошедшем году. Затем, телеграфными распоряжениями губернаторам сообщены подробные указания относительно порядка, доставки и распределения, причем это предоставлено и местным земским управам. Таким образом, все военнопленные всех национальностей уже распределены по таким работам, в которых они заняты. Остаются лишь совершенно непригодные к труду вследствие войны. Какое либо дальнейшее пополнение на сельскохозяйственных работах количества военнопленных сверх достигнутого признается военным ведомством в настоящее время уже невозможным. Следовательно, общий комплект военнопленных на сельских работах в 1916 г. выражается в 380.000. Само собою разумеется, всякий успех военный опять в данном случае даст некоторое количество военнопленных, которые будут распределяться соответствующим образом по империи. Но это количество далеко не возместит того недостатка рабочих рук в

сельском хозяйстве, который предвидится в текущем году. Поэтому мною испрошено, по соглашению с Военным Министерством, Высочайшее соизволение на использование для полевых работ, в периоды обсеменения полей и в периоды уборки урожая, до четырех недель, некоторого количества нижних чинов. (Голоса: правильно). Гг., вам известно, что у наших врагов – немцев в прошлом году весною все почти сельские хозяева и земледельцы были отпущены из строя на время весеннего посева. В настоящее время это Высочайшее повеление состоялось, оно испрошено, так что имеется в виду привлечь к работам, приблизительно, около 250.000 чел. нижних чинов. Распределение их будет произведено через земские управы, а там, где их нет, через подлежащих воинских начальников. Наконец, третья мера, от которой возможно бы, конечно, при известной организованности, – ожидать наиболее важных результатов впоследствии, это – привлечение к сельскохозяйственному труду беженцев, общее количество коих превышает 3.000.000 душ. В соответствии с этим, по соглашению Министров Внутренних Дел и Земледелия, телеграфно предложено губернаторам, при посредстве земских управ, а где их нет – при посредстве образованных для этого особых комитетов, срочно ввести на местах посреднические особые организации, причем указывается, что для широкого привлечения беженцев к сельскохозяйственным работам надлежит устраивать их целыми семьями и группами односельчан или товарищескими артелями и усилить меры попечения о семьях, оставляемых беженцами на время работ. (Голоса слева: правильно). Наряду с этим, для облегчения беженцам отдельного от их семей пребывания на работах, предложено немедленно широко оповестить их, что каждый, ставший на сельскохозяйственные работы, независимо от признания его трудоспособным или нет, сохраняет причитающееся от казны

воспособление, которое и выдается его семье сверх им получаемого. (Голоса слева: правильно). Эта мера может дать от 500.000 до одного миллиона сельских рабочих (голоса справа: никогда), а в случае привлечения к работам женщин и подростков – и свыше одного миллиона душ. Таким образом, при успешном осуществлении всех указанных выше мер, направленных к восполнению убыли рабочих рук в сельском хозяйстве, может быть привлечено к сельскохозяйственным работам в наступающий полевой период – я бt~у собственно минимум – от одного до полутора миллионов новых сельскохозяйственных рабочих. Я, вот, слышал здеть, гг., относительно беженцев выражение «никогда». Но, с другой стороны, я имею от целого ряда лиц сведения, что в настоящее время уже и беженцы начинают приспособляться к работе и поступают на работы, и их трудом довольны. Теперь коснусь вопроса возможного дальнейшего увеличения кадров рабочих – я коснусь вопроса относительно желтого труда. По соглашению с Министром Внутренних Дел, у нас имеется в виду тоже некоторая организация, которую желательно было бы обосновать при Приамурскому генерал губернаторстве. Собственно, фактически, желтый труд в лице китайцев и частично корейцев, уже частными экономиями, частными предпринимателями использован. Здесь, опять таки, мы встречаемся с большими затруднениями в виде невозможности Сибирской магистрали; если бы этот источник – желтый труд – и удалось использовать, то все равно возможно было бы переправлять не более 15.000 чел. в месяц. Так что, в общем, если взять и полную интенсивность напряжения работы железнодорожной магистрали, возможно было бы на полевой период 1916 года иметь только до 50.000 человек.

Все принятые меры к увеличению рабочей силы, само собою, не могут восполнить той убыли в рядах рабочих, которая

произошла от многомиллионного призыва в армию; поэтому, для разрешения этого исключительно важного вопроса я считаю необходимым все таки коснуться вопроса о мобилизации женского труда, который мог бы заменить мужской.

К широкому применению женского труда Министерство Земледелия приступило уже в области тех громадных лесных заготовок, которые оно ведет для снабжения лесным материалом и топливом армии и страны.

Это, гг., вопрос очень обширный и, думается мне, не безынтересный, н я считаю, что он поставлен благоприятно в смысле учета имеющихся реальных результатов. По этому поводу я сочту своим долгом при ближайшем рассмотрении бюджета, в части, касающейся Министерства Земледелия, вопрос этот всесторонне осветить. В настоящее время я его опускаю. Затем, я не буду касаться тоже некоторых мер, не имеющих такого большого значения, но которые имеют значение частичного концепта это – устройство рабочих артелей в Сибири, при посредстве переселенческих наших организаций. Затем, граф Павел Николаевич Игнатьев, Министр Народного Просвещения, тоже имеет намерение образовать вольные дружины школьников. Все это вопросы, заслуживающие полного сочувствия, но которые основным образом помочь этому делу сами собой не смогут. Позвольте перейти к вопросу относительно сельскохозяйственных машин, тех самых машин и орудий, которые несомненно смогут сберечь живую мускульную силу населения. На съезде, в октябре этого же года, было выяснено, что вопрос об орудиях обработки и обмолота ке внушает серьезных опасений. Главным образом, надо иметь уборочные машины: косилки, сноповязалки, молотилки, конные грабли. (Голос справа: со шпагатами). Разумеется, и шпагат, о чем будет сказано мною

потом. Министерство Земледелия, войдя, на предмет удовлетворения потребности неселения, в соглашение с объединенной земской кооперативной закупочной организацией, – это Орловское товарищество, товарищество западных земств и народный банк, – предоставило этим организациям соглашение с фирмами при распределении заказов. На испрошенный Министерством Земледелия кредит в сумме 6.000.000 руб. заблаговременно произведены в Америке и Швеции заказы свыше 25.000 уборочных машин; отпущена на это дело иностранная валюта и приняты все решительные меры к возможной заблаговременной доставке машин. Часть машин идет через Владивосток, часть направляется через Норвегию и Швецию. Я думаю, что уже на днях будут эти машины поступать на платформы железных дорог, и я предполагаю, что, ежели не встретится каких-либо особых обстоятельств затрудняющих, вероятно, в мае месяце мы их станем получать. Что касается дальнейших мер в отношении запаса кос, то надо считать, в настоящее время этот запас обеспеченным. В настоящее время имеется до 3.000.000 этих кос, причем на днях еще было предложение увеличить их производство. Относительно ремонта машин – отпущено до этого времени свыше 500.000 р. и еще предполагается отпустить до 250.000 р. Отпускаются эти средства разным земским учреждениям и обществам в числе 59. Затем, ведомство приняло необходимые меры по снабжению отечественных заводов сельскохозяйственных орудий необходимым для производства сырьем и углем. Комитету по делам металлургической промышленности разрешено отпустить 4.000.000 пуд. сырья чугуна. В отношении снабжения углем ведомство достигло того, что сельскохозяйственные заводы были переведены по очереди предоставления им угля двумя разрядами выше. Теперь коснусь вопроса о шпегате. С начала войны остро

сказалась нужда в шпагате. Потреблялось ежегодно для земледелия до 800.000 пуд., отечественное производство давало не более 100.000 пуд. Для удовлетворения предстоящих нужд 1916 г. выписано иностранного шпагата до 935.000 пуд. Будет изготовлено русского шпагата до 200.000 пуд. и имеется остаток с прошлого года свыше 110.000 пуд.; таким образом, все количество выразится в размере 1.245.000 пуд. То же самое, – Министерством были принимаемы до сих пор все меры для того, чтобы своевременно доставить этот шпагат сюда, причем, главным образом обращалось внимание, чтобы нена на сюда. Причем, главным образом(обращалось внимание, чтобы цена на размере 15 руб. за пуд. К сожалению, ввиду непомерного вздорожания веревочных и пеньковых изделий, пришлось ограничиться выделкой в нашем отечестве 200.000 пудов шпагата, вместо предполагаемых ранее 400.000 пудов.

Вопрос об обсеменении полей, о снабжении поселян посевным материалом, поручен, по соглашению ведомств, ближайшему попечению Министерства Внутренних Дел по сельской продовольственной части (голоса слева: это напрасно), и в этом отношении я могу сказать, что согласованность действий установлена. Здесь, в центре, собственно, продовольственное совещание устанавливает размеры потребности, а на местах все поручения Министерства Внутренних Дел закупочного, собственно, характера, переданы уполномоченным по заготовкам Министерства Земледелия. Всего приблизительно предполагается приобрести 12 миллионов пуд. овса и 2 мил. пуд. ячменя, не считая собственных закупок земства. Министерством Земледелия осуществлены в этой области также и частичные мероприятия, касающиеся, например, свекловичных семян. В целях сохранения их, была устроена в Киеве особая организация, которой удалось провести вывоз этих семян из района военных

действий и сохранить значительное количество ценных семяных материалов. Затем, для нужд приобретающего ныне столь важное значение огородничества, заготовлено около 170.000 пуд. семян, главным образом, простейших овощей, которые и используются согласно требованиям земских и кооперативных учреждений. При этом приняты меры к льготной раздаче хозяевам земли под огороды, с облегчением сбыта продуктов огородного хозяйства путем выдачи задатков из отдела заготовок по снабжению армии. Все то количество, которое может быть выращено, мы уже заранее взяли себе. Наконец, ведомство поставило в текущем году очистку семян и луговых трав, полученных впервые из урожая вновь устроенных семенных рассадников, в числе тринадцати. Кроме того, идя навстречу потребностям фронта в увеличении запаса сена в районе расположения войск, ведомство наметило для Четырнадцати губерний фронта ряд мероприятий для увеличения там засева земли однолетними травами или смесью их с хлебными злаками или даже сгущенным хлебом, предназначенным к уборке на сено, установив широкие меры поощрения (голоса: правильно), а именно выдачу задатков при посевах и затем при уборке сена, с определением вперед цены такого сена на месте, при обязательстве взять весь урожай на нужды войны. (Голоса: правильно). Арендаторам казенных земель в тех же целях предоставлена самая широкая льготность при распашке неочередных полей. Мероприятия эти ныне получили уже Высочайшее одобрение. Вчера я получил об этом телеграмму. Затем я должен буду коснуться, конечно, лишь вскользь, вопроса относительно искусственного удобрения. У нас имеется избыток сернокислого аммония и костяной муки. Серная же кислота идет на воинское снабжение. Затем приняты меры относительно расширения выделки удобрений на земских заводах в Пермской и Самарской губерниях и

при пороховых заводах военного ведомства. – Вот, гг., те меры непосредственные, какие ведомством направлены к расширению производства у нас продуктов питания. Позвольте теперь, в дополнение к ним, конечно, в возможно кратком изложении, коснуться деятельности неразрывно связанного ныне с Министерством Земледелия Особого Совещания по продовольственному делу, существенно влияющего на ход хозяйственной жизни в стране и устанавливающего в совместных закупках, насколько, конечно, представляется возможным, благоприятное соответствие между интересами производителя, – а эти интересы производителя, несомненно чрезвычайно влияют на оборот всего его хозяйства, а, следовательно, и на посевную площадь, – а также интересами потребителя, причем главной задачей этой государственной организации, при осуществлении ее закупочных операций, являлось не абсолютное удешевление стоимости сельскохозяйственных продуктов, а предотвращение их недостатка на рынке потребления и меры против спекуляции ими. Вот, касаясь этой области, гг., я должен буду привести иллюстрирующие это положение вещей, относительно цен, данные и цифры. Цены эти несомненно выросли, но, принимая во внимание общия экономические условия, созданные войной, падение курса рубля, удорожание издержек производства и т.д., повышение цен для большинства продуктов надо признать безусловно не чрезмерным. К 1915 году цены возросли: пшеница на 54% (десятыя доли я откидываю), мука пшеничная на 43%, рожь на 45%, мука ржаная на 53%, ячмень – 37%, овес – 62%, крупа гречневая – 74%, пшено – 55%, мясо – 42%, сахар рафинад – 40%, сахарный песок – 37½%, масло почти 90%, соль – 102½%; в среднем, считая и эту цену на соль, – удорожание цен на 56,7%. Для сравнения с тем, что делается в лагере наших врагов, я укажу, что с июля 1914 г. по июль 1915 г.,

когда у нас цены еще резко не повышались, в Берлине цены на предметы потребления повысились, по английским источникам, имеющимся у нас и совпадающими с германскими, также имеющимися в нашем распоряжении, в среднем на 69,6%, и это несмотря на все принятые там правительственные меры регулирования снабжения. Цены на мясо в Берлине с января 1915 г. по январь 1916 г. возросли: на говядину – на 80%, на телятину и баранину – на 100%. Еще сильнее вздорожание мяса в Австрии; на говядину втрое, – на 190%, на свиное сало вчетверо – на 325%, на конину, которую там приходится есть, втрое – на 202%.

Перехожу, гг., повторяю, в кратких чертах, потому что это вопрос громадный, я буду считать долгом выяснить его более подробно при ближайшем случае, – к вопросу борьбы с дороговизной, поскольку она касается Министерства Земледелия. Я считаю, гг., что основная задача Министерства Земледелия, ко- ему поручено продовольствие армии и тыла, это, прежде всего, как я уже говорил, добыча продуктов (голоса: верно), но, как сопутствующее обстоятельство одновременная задача, конечно, и борьба с спекуляцией (голоса: верно). Это есть, гг., основа моего взгляда; прав я или не прав, но я его высказываю. Прежде всего, мне нужно было выяснить цифру существующих у нас запасов, во вторых, наряд для армии, – это уже более или менее определенная величина, – и затем наряд на нужды населения в тех или других размерах на продукты первой необходимости. Это, гг., область безбрежная, это область безпредельная, так что вопрос этот я поставил так: постольку, поскольку в местах производства уполномоченные ведомства могли производить закупки и образовывать запасы государственные и местные, постольку, но соглашению с уполномоченными районов потребления, и давалось населению. Пока это идет в соответствии с той планомерностью, которая учитывалась нами в смысле установления

очереди, срочности и необходимости того или иного продукта и транзитной способности. По этому поводу я скажу несколько слов потом. Перепись торговых запасов была начата тотчас же по вступлении моем в должность с ноября месяца, и в настоящее время в нашем распоряжении имеются данные почти в полной их совокупности. Они показывают, что по расчетам на душу населения размер торговых запасов представляется безусловно нормальным. В отношении мер, каким образом надо было подходить к борьбе с дороговизной, в связи с той основой деятельности, которую ведомство земледелия, так сказать, имело у себя, г. е. добычей продуктов, пришлось пойти на меру, безусловно, чрезвычайной важности. Я подчеркиваю, гг., слово «пришлось», ибо мы вынуждены были пойти на это: именно, на установление предельных, твердых цен на предметы первой необходимости; иа овес, на рожь, на пшеницу, на ячмень, на все продукты мукомольного производства, муку, отруби, крупу, пшено, а также на сено, солому; твердая цена установлена на сахар и масла, предоставлено земствам принимать на себя заготовку мяса и установить цену на мясо. При этом действительность твердых цен обеспечивается применением реквизиции с понижением цены на 15%. Оговариваюсь опять, что министерство вынуждено было пойти именно потому, что эти продукты сначала реализовались при условиях более или менее нормальных. Тот подъем патриотизма, который был вначале, влиял также на уровень цен; сделки совершались при совершенно обычных нормальных условиях. С одной стороны, закупочные операции стали разрастаться в более широкие размеры, с другой и патриотизм стал переходить, в некоторых случаях, я оговариваюсь, – в иную плоскость. Появились, простите меня за выражение, патриоты в кавычках, и если ранее была нормальная цена, которую хозяева считали совершенно достаточной,

ну, например, 1 р. и 1р.05к. за рожь, – я беру наше Поволжье, – потом, через некоторое время, им давали 1р. 10 к., они хотели 1р. 15к., им давали 1р. 15к., они требовали 1р. 20, и т.д. – рынок принял выжидательное положение. Между тем, гг., ответственность той правительственной организации, которая должна была снабжать армию и потом расширилась в организацию, которая должна питать все население, эта ответственность заставила искать опору, которая позволила бы не ставить армию в зависимость от капризов рынка. И вот эти соображения были учтены Особым Продовольственным Совещанием, и ввиду этих обстоятельств пришлось пойти на этот путь. Что значит твердая предельная цена? Это есть та опора, которая позволяет продовольственной организации в переживаемый очень ответственный момент, получить продукт в необходимом количестве. Продовольственная организация может сказать: я по этой цене беру этот продукт. Причем я, гг., подчеркиваю то обстоятельство, что все эти предельные, твердые цены были проведены Особым Продовольственным Совещанием, на основании голоса местных совещаний, с участием даже некоторых сидящих здесь местных людей; они были проведены с большой осторожностью, и в настоящее время я считаю, что этот вопрос был разрешен безусловно удовлетворительно, ибо, благодаря ему, я всегда могу быть обеспечен необходимым количеством продуктов для питания армии и тыла. Я, гг., позволю себе вам сказать одно, что наряду с безпримерными подвигами нашей доблестной армии, – последнее взятие Эрзерума доказывает это самым блестящим образом, к глубокому сожалению, у нас начинает кое где проявляться серая, кислая, заплесневелая обывательщина; начинают на почве переживаемого сейчас исключительного времени разыгрываться всяческие аппетиты и приходится за этим, несомненно, следить. Важным средством я считаю эти

предельные цены; они безусловно не исключают частного товарообмена, но риск падает на эти сделки, потому что, если свыше предельной цены данный продукт обращается на рынке, то, конечно, в самый важный момент, и я этот продукт могу получить по установленной цене, и, конечно, потерпит этот убыток тот, кто будет держать его на руках в данный момент; но, во всяком случае, это не есть запрет рынку производить добровольные сделки, но это есть опорное положение всей громадной правительственной организации в известный момент иметь достаточное количество продуктов. (Голоса: правильно). Итак, гг., я считаю, что, собственно, эти предельные твердые цены, они уже по существу своему заключают в себе сдерживающие начала, так сказать, на всем нашем хлебном рынке в отношении таких скачков спекулятивного характера. Все таки, каждый коммерсант, каждый контрагент будет считаться с тем: а, ну, как у меня возьмут!

Затем, гг., дальнейшею мерою я считаю заготовку запасов для населения. Производятся эти запасы для населения Министерством Земледелия через своих местных уполномоченных. В первую очередь заготавливается это, – помимо запасов для армии, – для столиц; затем для прочих нуждающихся местностей. Таких запасов в настоящее время передано городам и земствам свыше 30.000.000 пуд. Затем другим способом образования запасов является закупка продуктов городами и земствами при помощи выдачи продовольственных ссуд. Этих ссуд выдано на 18.500.000 р. Но образование запасов, как и регулярный подвоз продовольственных продуктов, стоят, несомненно, в зависимости от успешной деятельности перевозочных средств. Это, гг., громадная область, которая, несомненно, чрезвычайно важна для учета всей нашей продовольственной организации, и в этих

видах для семнадцати северных губерний уже теперь установлена перевозка по заранее выработанному распорядительным комитетом плану, а по остальным губерниям – внеочередная перевозка по нарядам районных железнодорожных комитетов. Был установлен сначала план Министерством Земледелия в ноябре и декабре, план продовольственный, план согласованности между районами производства и районами потребления. Это огромный продовольственный план, который имеется в распоряжении Министерства Земледелия, – я был бы очень рад, если бы вы удостоили его своим вниманием. Произведенные работы, не говоря о том, что они дорого стоят, отнимают много труда и энергии, но они признаны всеми другими ведомствами в настоящее время чрезвычайно отвечающими данному моменту. Эти продовольственные планы были переданы в распорядительный комитет для согласования с нашей грузовой и провозоспособностью железных дорог. Вот в результате учета продовольственных запасов и недостаточной провозоспособности дорог составлен известный общий план; этот план имеется уже для семнадцати губерний и стал осуществляться с января месяца. Эти данные сосредоточены в распорядительном комитете Министерства Путей Сообщения, где у нас существует наш ведомственный представитель. Теперь коснусь только того, что впереди – открытие навигации. Это безусловно облегчит наш товарооборот, и, вместе с тем, выполнение заданий всех продовольственных операций. Организация навигационных перевозок занимала много времени и в настоящее время завершена и закончена. Одна Волга при открытии навигации подаст до 50.000.000 пуд. продовольствия, готовых совершенно, причем фрахты обеспечены. Итак, гг., в общем, план наш заключается в том, что район производства связан с районом потребления через посредство уполномоченных, которые все объединяются

здесь, в одном центральном ведомстве. Уполномоченный район потребления может всегда снести через центральное ведомство относительно необходимости получения того или другого продукта и даже цены на таковые у уполномоченного района производства, и может тот же, при этих сношениях, таксировать данный продукт. Вот это я считаю важной мерой в борьбе с дороговизной. Затем, ежели этим не достигнута, то в настоящее время уже выработана Особым Продовольственным Совещанием организация местных таксирований. То, что я говорю относительно уполномоченных районов производства и районов потребления, это у нас принято называть разрешительной системой; но, в дополнение к этой разрешительной системе, имеется еще возможность таксировать предметы первой необходимости массового потребления и на местах. В этом дана инициатива местному уполномоченному; но для того, чтобы эти районы не слишком пестрели своим разнообразием, все это сведено в центр, который имеется здесь в Особом Продовольственном Совещании, т.е. председатель такового будет следить за тем, чтобы не было таких вопиющих аномалий, чтобы все было относительно согласовано.

Вот, собственно говоря, в самых кратких чертах, гг., схема, план; с одной стороны, необходимость усилить добычу продуктов и, с другой, построить наши работы так, чтобы спекулятивное движение цен уже не принимало такого серьезного угрожающего характера. Это касается Министерства Земледелия. Но при всем этом, гг., главным образом, еще я обращаю внимание на необходимость одного: это – единства действий. (Голоса слева: верно). Это единство действий, гг., в смысле продовольствия, в смысле закупок и распределения, это главная основа борьбы с дороговизной. Если бы этого возможно было бы до-

стигнуть в полном объеме, то, мне кажется, этим само собою вопрос решался бы, при тех сопутствующих обстоятельствах, о которых я имел честь вам докладывать. В отношении достижения единства безусловно сделано очень много и с другими министерствами, и частью даже с представителями снабжения фронта. (Шингарев: далеко не все). В этом отношении уже состоялось Высочайшее повеление 23 ноября 1915 г., чтобы начальники снабжений в этом отношении шли в полной согласованности со мной. Затем, получено от штаба Верховного Главнокомандующего согласие на привлечение скота на армию земств тех губерний, которые входят в район театра войны, – ранее, чем прибегать к реквизиции скота. В отношении закупки продовольственных семян гражданскими ведомствами и Земствами также достигнуто объединение закупок с Министерством Земледелия. Все заготовки, производящиеся частью Министерства Внутренних Дел и земством, совершаются всегда по соглашению с главноуполномоченным Министерства Земледелия по закупке хлеба для армии. (Шингарев: это не столько единство, сколько ваше одиночество). Я коснусь еще одного вопроса, который одно время принял некоторый болезненный оттенок. Гг., я считаю так, что продовольствие без соответствующего транзита, без топлива, которое нужно для мукомольного производства, это есть что то абстрактное, висящее в воздухе. Поэтому на первых же порах необходимо было установить какую либо объединяющую организацию, содействующую успеху всех особых совещаний: по продовольствию, по перевозке, по топливу и проч., – я очень, гг., настаиваю на этом – «содействующей», а отнюдь не претендующей на отнятие в данном случае чего либо от сути того закона – положения 17-го августа 1915 г., которое уже существует и функционирует. Вот, ради этой согла-

сованности и необходимо было всем председателям особых совещаний принять участие: Военному Министру, Министру Внутренних Дел, который безусловно должен был принять участие потому, что на нем лежит ответственность за весь государственный порядок, затем, несомненно, Министру Путей Сообщения, Министру Торговли и Промышленности, как председателю совещания по топливу, и затем Министру Земледелия. Таким образом, сама жизнь подсказала нам собираться, так сказать, более срочно, ибо весь Совет Министров представляет собой для этой цели учреждение слишком громоздкое. Образование «Малаго Совета» я считаю безусловно положительным результатом. Мы целый ряд мер проводили чрезвычайно быстро. Хотелось бы, с другой стороны, достигнуть отражения этой согласованности, повторяю, лишь в порядке большей взаимной осведомленности и лучшей согласованности действий. Подобно этим совещаниям здесь из пяти министров и на местах было бы желательно тоже устроить такие совещания из представителей местной администрации, представителей по продовольствию, по перевозке и по топливу. Это тоже в высшей степени облегчило бы проведение в жизнь тех заданий, которые возложены на все особые совещания.

Возвращаясь, гг., к мерам, принимаемым для обеспечения производства продуктов, я свидетельствую, что я обычно всемерно прибегаю к содействию местных общественных организаций, в частности, близкой сердцу и пониманию моему, – земской среде. В этом отношении я могу привести только те слова из моего циркуляра, где я говорил, что: «считаю долгом обратиться к земствам с усерднейшей просьбой внести в столь важное для сельской России дело свою энергию, свой деловой опыт, будучи убежден, что в сложной области местных сельскохозяйственных нужд земства ближе всего осведомлены и потому

найдут наиболее жизненные способы к успешному использованию того состава рабочей силы, который привлечен для посильного удовлетворения этих нужд».

Я считаю, что общность работы Министерства Земледелия со всеми местными общественными организациями есть тот фундамент, на котором можно осуществить огромнейшую задачу, возложенную на ведомство. Вне этого общения я не мыслю совершенно работать. Я должен засвидетельствовать здесь, в Государственной Думе, что те сотрудники, которых я получил из министерства Александра Васильевича Кривошеина, работают с полным сознанием всей важности их дела и исторической ответственности перед страной. Работа их беззаветна. Работу всех лиц на местах я называю не иначе, как самоотверженной работой. Но если вся эта могучая сила, все эти, так сказать, деловые пружины, которые облегли всю Россию, если они сольются с местными общественными силами, то я думаю, что в этом единении мы, гг., безусловно победим того врага, который имеет главную, основную ставку на нашей разобщенности и на нашей дезорганизации. (Бурные рукоплескания слева и в центре). Потому, гг., ваше обращение к населению, хотя бы в том виде, как здесь я о нем слышал, я глубоко приветствую. Если бы можно было восстановить то сознание, которое проявилось в первые месяцы войны! Я вырос, гг., с крестьянами и, вероятно, там и останусь со временем, но я не узнавал многих, настолько они сознательно относятся к моменту, переживаемому страной (рукоплескания и голоса: правильно), настолько это война среди них популярна. Если, гг., в настоящее время война приняла затяжную форму, то я боюсь, что этот подъем начинает кое где остывать; ведь это кое где замечается. Гг., помогите оживить эту страшную мощь нашей страны. Помогите в этом отношении, путем единства действий, восстановить нашу старую

пословицу: «мир – велик человек». (Бурные и продолжительные рукоплескания в центре, слева и справа).